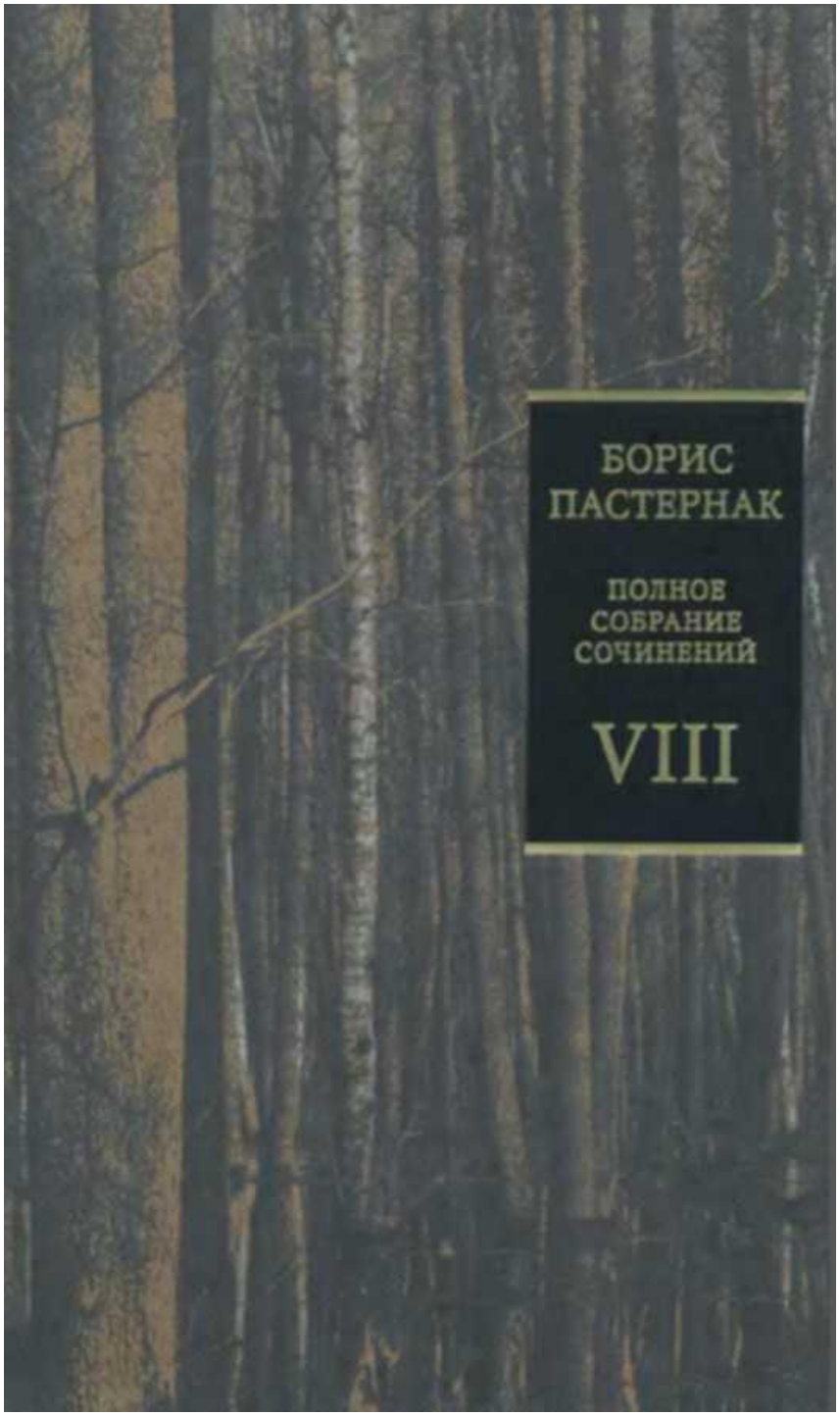

БОРИС
ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
VIII



БОРИС ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В одиннадцати томах

БОРИС ПАСТЕРНАК
Том VIII
ПИСЬМА 1927-1934

СЛОВО/SLOVO 2005
УДК 821.161.1 ББК84 (2Рос-Рус) 6-5 П19

Издание осуществлено
в рамках Федеральной программы
поддержки книгоиздания России
Российский Государственный архив литературы и искусства, Москва
Рукописный отдел Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
Рукописный отдел Государственного Литературного музея, Москва
Рукописный отдел Института
русской литературы (Пушкинский Дом),
С.-Петербург
Рукописный отдел Института мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук, Москва
Главный редактор Д. В. Тевекелян
Составление и комментарии
Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской
На авантитуле:
Борис Пастернак. Сентябрь 1934 года. Одоево
ISBN 5-85050-688-8 (т.VIII) © Наследники Пастернака Б. Л., 2005
ISBN 5-85050-680-2 © Пастернак Е. В. и Рашковская М. А.,
составление, комментарии, 2005 © Журавлев К. Е., художественное
оформление, 2005 © Слово/Slovo, издание, 2005

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Архив МГУ — Центральный Государственный исторический архив Москвы, фонд Московского Государственного университета.

Архив РАН — Центральный архив Российской Академии наук.

Воспоминания — Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., «Слово/Slovo», 1993.

«Встречи с прошлым» — Встречи с прошлым. Сборник материалов Российского Государственного архива литературы и искусства. М., «Русская книга».

«Второе рождение» — Борис Пастернак. Второе рождение. Письма кЗ. Н. Пастернак. 3. Н. Пастернак. Воспоминания. М., «Грит», 1993.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.

ГЛМ — Рукописный отдел Государственного Литературного музея.

ГМГЛ — Государственный музей грузинской литературы им. Г. М. Лео-нидзе (Тбилиси).

ГМИИ — Рукописный отдел Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Ежегодник ПД — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома.

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук, Москва.

НОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка АН СССР.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом), С.-Петербург.

ЛН. Т. 70 — Горький — Б. Пастернак. Публикация Е. Г. Коляды // Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. М., 1963.

ЛН. Т. 82 — А. В. Луначарский. Неизданные материалы. М., «Наука», 1970.

ЛН. Т. 93 — Борис Пастернак. Из переписки с писателями. Публикация Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. Литературное наследство. М., 1983.

«Минувшее» — «Минувшее». Исторический альманах. М.-СПб., Atheneum-Феникс.

М. Ц. Собр. соч. — Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. М., «Эллис Лак», 1995.

Новые материалы — В. Г. Смолицкий. Два года из жизни Б. Пастернака (1905-1906) // «Новые материалы по истории литературы». М.,1994. Публикация В. Г. Смолицкого.

Памятники культуры — Письма Бориса Пастернака из Марбурга. Публикация Е. В. Пастернак, К. М. Поливанова // «Памятники культуры. Новые находки. 1989». М., 1990.

Пастернак. Об искусстве — Борис Пастернак. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М., «Искусство», 1990.

Переписка с О. Фрейденберг — Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Harcourt Brace Jovanovich. New York, 1981.

Письма к родителям и сестрам — Борис Пастернак. Письма к родителям и сестрам. Кн. I, П. Stanford Slavic Studies. Stanford, 1988.

Письма Пастернака к жене — Письма Б. Л. Пастернака к жене 3. Н. Ней-гауз-Пастернак. М., «Дом», 1993.

Письма 1926 года — Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., «Книга», 1990.

«Пожизненная привязанность» — Борис Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. М., «Арт-Флекс», 2000.

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства.

РГБ — Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.

РНБ — Рукописный отдел Российской Национальной библиотеки.

«Россия». Torino, 1977, N9 3 — Пастернак и Брюсов. К истории отношений. Публикация Е. Пастернак // Russia / Россия. Studi i ricerche a сига di Vittorio Strada. Torino, 1977, JSfe 3.

«Россия». Venezia, 1993, № 8 — Борис Пастернак и Александр Штих. Публикация Е. Пастернак // Russia / Россия. Studi i ricerche a сига di Vittorio Strada. Venezia, 1993, JSfe 8.

Собр. соч. Т. 5 — Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., «Художественная литература», 1992.

«Существованья ткань сквозная» — «Существованья ткань сквозная». Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. М., 1998.

ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936 — Марина Цветаева. Борис Пастернак. Письма 1922-1936 годов. Души начинают видеть. М., «Ваг-риус», 2004.

ЦГА РК — Центральный государственный архив Республики Казахстан, Алма-Ата.

Slavica Hierosolymitana — «Slavica Hierosolymitana». The Hebrew University. Jerusalem.

346. О. Д. ФОРШ

1 февраля 1927, Москва

1. И. 27

Глубокоуважаемая и дорогая Ольга Дмитриевна!

Моему свинству должен быть наконец положен предел. Наперед это мне послужит наукой. Надо давать выраженье естественной радости тотчас по вскрытьи бандероли,

не дожидаясь того, как сложится чтенье присланного и что именно ему помешает. Примете ли Вы теперь мое столь запоздалое и слишком, вероятно, для Вас остывшее спасибо?1

Тем временем я успел прочесть и чудесный Ваш «Горячий цех»2. Наверное, я ничего не понимаю, но при однородной, сизифовой, навязанной (как, вообще говоря, навязана человеку история) задаче, позволяющей ставить «Московские рассказы» в параллель с Вашими последними работами3, высоты «Цеха» больше других достигает рассказ «Во дворце труда». Как раз по этой вещи и ложится моя благодарность Вам, быть может оставив недооцененными другие. Рядом с вещами, измеряющими новизну набежавших перемен мерой задумчивости далеко назад оглядывающегося человека, простые описанья этих перемен, как бы они ни были художественны, необходимо проигрывают. Но не всё драмы писать, скажете Вы, и будете правы.

На «Салтычихине гроте» застали меня неожиданные затрудненья, о которых не стоит говорить, и, не успев Вас вовремя поблагодарить за доставленное наслажденье, за память и надпись, я должен был на время позабыть обо всем на свете ради одной не в меру затянувшейся работы4. Тогда, до «Цеха» и «Дворца труда», я с восхищеньем глазел на Ваш густой бытовой цукат, так далеко отставая от Вас в его знаньи, что не всегда он мне казался правдоподобным. В том же, что в последнем заключеньи я, вероятно, не отдал ему должного, виноваты только Вы и Ваша последняя вещь. Рассуждать о ее достоинствах в подкрепленье своего чувства вряд ли было бы удобно: Вы вправе этим не интересоваться. Все, что Вам нужно для Вашего общественно-исторического расчета от фактов, взято Вами так, что точно лишь случившийся вовремя читатель додумывает за Вас эти, безотчетно легшие ему в руку положенья. Таков в особенности конец вещи.

Как Ваше здоровье, Ольга Дмитриевна?

Вполне ли Вы оправились после московского ушиба? Еще раз горячо Вас благодарю за все. От души желаю Вам работать и дальше с тем же увлеченьем, как и над напечатанной частью.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 732, оп. 2, № 178).

1 Пастернак благодарит О. Д. Форш за присланную ему книгу «Московские рассказы» (Л., 1926). Разбираемые далее в письме рассказы «Во дворце труда» и «Салтычихин грот» входили в этот сборник.

2 Роман О. Д. Форш «Горячий цех» (М.-Л., Госиздат, 1927).

3 По поводу прочитанного романа «Современники» см. в письме к Е. В. Пастернак 27 авг. 1926: «Это очень увлекательная книга, восходящая к материалам захватывающей значительности...»

4 «Лейтенант Шмидт».

347. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

3 февраля 1927, Москва

Дорогой друг! Я пишу тебе случайно и опять замолкну1. Но нельзя же и шутить твоим терпеньем. Шел густой снег, черными лохмотьями по затуманенным окнам, когда я узнал о его смерти2. Ну что тут говорить! Я заболел этой вестью. Я точно оборвался и повис где-то, жизнь поехала мимо, несколько дней мы друг друга не слышали и не понимали. Кстати ударил жестокий, почти абстрактный, хаотический мороз. По всей ли грубости представляешь ты себе, как мы с тобой осиротели?3 Нет, кажется нет, и не надо: полный залп беспомощности снижает человека. У меня же все как-то обесцелилось. Теперь давай жить долго, оскорбленно-долго, — это мой и твой долг. — Нелегко мне далось это молчанье. Особенно больно было открыть его вслед за полученьем Мур'овой карточки и не успеть сказать тебе, как он великолепен в своей

младенческой надменности и насколько, действительно, — наполеонид4. — Версты не могли дойти до меня: зарубежные русские книги посылать никогда не следует, они остаются в цензуре. Их мне дал Зелинский5. У меня странная привычка: только я успею разрадоваться и разволноваться, как тотчас спешу осчастливить кого-нибудь из друзей источником этого волненья. Тут даже есть закон пропорции, и так как на этот раз чувства были предельны, то Версты пробыли у меня только сутки. Но, конечно, я проглотил все, разве только не дочитал (и жалею об этом) статьи Шестова6. В книжке, точно как на приволье, против меленькой листовки, — Поэма Горы сильно выиграла. Свое настоящее место она заняла в особенности в отсутствие «Конца» и «Крысолова», которые находились в тот день у Асеева. Конечно и сейчас я скажу, «Гора» — в подчинении к «П<оэ-меЖонца». Но тогда я прочел ее вне этой ее подчиненности, словно бы тех исключительнейших поэм не существовало. Твоя, конечно, твоя. Особенно все куски с перемежающимися: гора горевала — гора говорила7.

Раз случился скандал. Надо тебе знать, что я проворонил корректуру 1-й части Шмидта, и по этой случайности вещь осталась как бы за тобой, т. е. акростих был напечатан8. Поначалу его не прочли (прописная колонка не была выделена). Когда же (удружил один приятель) уже по прошествии двух месяцев после выпуска эта «тайна» была раскрыта, редактор, относившийся ко мне, не в пример многим тут, исключительно хорошо, стал рвать и метать, заговорил о черной моей неблагодарности и не пожелал больше никогда ни видеть меня, ни слышать, ни, следовательно, и объясняться. Напуганного всем происшедшим приятеля секретари Нового Мира поспешили успокоить фразой, заставившей меня сердечно пожалеть о недоразуменьи, обидевшем такого человека. Он, сказали они, слишком любит Цветаеву и Пастернака, дело обойдется, это размолвка ненадолго. — Представь, он вообразил, что это я ему подсунул, чтобы его одурачить. Я ему написал письмо, где всем вещам (в том числе и его мыслям) вернул поколебленное достоинство9. Это прекрасный человек, и он ведет журнал лучше, чем это возможно в оглоблях, в которые взяты здесь ответственные редактора. Версты нравятся им. Поняла ли ты суть происшедшего? Ты — за границей, значит твое имя тут — звуковой призрак. Передают (я не был), на отчете Всероссийского Союза Писателей об истекшем годе в прозе, поэзии и пр. Асееву, читавшему доклад о поэтах, задали вопрос, отчего он не говорит о тебе, не поэт ли Ц<ветаева>? Нет, ответил будто бы он, Цветаева поэт огромный, но ее здесь нет. Ты не сердись на него, даже я за тебя не обиделся: ни Маяковский, ни Коля не могут себе позволить многого из того, что спускается мне. Они воспринимаются в обрамленьи ответственности, популярности и пр. Я же на положении безответственном, т. е. сущие дети, поголовные дети и подчас дурные, воображают, что я — ребенок. Зато и живу я несоизмеримо лучше (морально) и хуже (матерьяльно) многих. — Уже ты заметила вероятно, к середине письма, что я болтаю с тобой как ни в чем не бывало, точно мы вчера расстались.

Что ты сейчас делаешь, чем в настоящее время занята?

Я получил твое вложенье (письмо от Св.-Мирского)10. Я не знаю его имени и отчества. Сообщи мне его, пожалуйста.

Отвечу, разумеется, через тебя. Покамест же, горячее ему спасибо за письмо и за его приязнь.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 161). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Перерыв в письмах Пастернака Цветаевой продолжался четыре месяца. Цветаева за это время писала ему не менее восьми раз.

2 Р.-М. Рильке.

3 На этот вопрос Цветаева ответила: «Грубость удара я не почувствовала (твоего "как грубо мы осиротели") <...> Грубость сиротства — на фоне чего? Нежности сыновства, отцовства?» (9 февр. 1927; там же. С. 290,292).

4 Цветаева, с юности влюбленная в Наполеона, считала, что ее сын Мур похож на него.

5 В № 1 журн. «Версты» были опубликованы глава из поэмы «Девятьсот пятый год» и глава из «Поэмы Горы» Цветаевой.

6 В «Верстах» напечатана работа Л. И. Шестова «Неистовые речи (по поводу экстазов Плотина)».

7 Главы VI-VII «Поэмы Горы»: «Гора горевала (а горы глиной / Горькой горюют в часы разлук), / Гора горевала о голубиной / Нежности наших безвестных утр», «Гора говорила, что не отпустит / Нас, не допустит тебя с другой» и т. д.

8 Поскольку Цветаева резко раскритиковала «Лейтенанта Шмидта», Пастернак просил позволения снять «Посвященье», написанное в виде акростиха Цветаевой («Мельканье рук и ног и вслед ему...»).

9 Имеется в виду В. П. Полонский и письмо № 345 с объяснением.

10 Письмо Святополка-Мирского было послано 12 янв. 1927 г. через Цветаеву. «Пересылаю тебе письмо Мирского, которому не давала твоего адреса и которому умоляю его не давать», — записала она на конверте, — «чтобы запечатать волю (его к твоему адресу), твою — к даче его» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 267-268).

348. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

9 февраля 1927, Москва

Вот — то, что написано из И-й части1. Если сцена суда и казни не будут лучше этих, т. е. не будут достаточно серьезны и человечны, мне придется на этом письме и кончить. Однако насчет суда у меня имеются кое-какие мысли, и я — попробую, т. е. пока что я этого письма концом не признал. Окончательно сделано все до 17-го деленья. С 17-го и до письма может быть буду переделывать. Нужны были деньги, и эту порцию я гнал к, своего рода, — двадцатому числу2. Особенно это относится к бою. Может быть две строки многоточий будут заполнены, так строк на 16 — на 20 самой судьбой «Очакова» в обстреле. А может быть этого и не надо3. Вообще вся работа относится к самому последнему времени. Лето и осень прошли пусто и бесплодно. Но конечно читал, думал и наброски копились. По-настоящему все зажило на Рождестве. Особенно замечательна была ночь на 1-е. Я никуда на встречу Нового Года не пошел. Мне хотелось тебе написать в эту ночь, без малейшей тени даже метафизического предательства в отношеньи Ж<ени>, встречавшей Новый Год с Асеевым, Маяком и всей лефовской компанией. И вот, так же точно как я не писал тебе все это время, или еще отчетливей и сильней, я вместо письма к тебе решил собраться с мыслями и с волей, и в эту-то ночь и зажила И-я часть как целое. В 6-м часу утра Женичка (мальчик) закашлял очень страшно, мне показалось, что у него коклюш. Я стал ему греть молоко, по страшной рассеянности делая страшные глупости с примусом, на котором каждый раз то взрывом, то целым столбом отзывался огонь, без опасных последствий, точно только одушевленно говоря о своих способностях. Сейчас, написав это, я вспомнил о рожденьи Мура4. Со встречи вернулись Ж<еня> с Маяковским. Он был вторым поздравителем в эту ночь. Первою поздравила меня в 12 на минуту зашедшая Харазова5. Ты ни ее, ни, верно, о ней не знаешь. Существованье ее для меня (т. е. знакомство) начинается с Аси. Я тебе может быть когда-нибудь о ней расскажу и о том, как и чем она связана с Rilke. Связь далекая и легкая, и однако составляющая единственный тон моего отеческого, редкого (т. е. неплотного) к ней отношенья. — Если И-я часть лучше отвратительной первой, то этим я обязан твоему осужденью.

Скоро напишу, с письмом к С<вятополку>-М<ирскому>6.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3. ед. хр. 161). Датируется по почтовому штемпелю.

И

1 Вместе с письмом Пастернак послал рукопись второй части «Лейтенанта Шмидта»: от начала гл. 11 (часть I, гл. 9 оконч. редакции): «Окрестности и крепость...» — до конца гл. 18 (часть III, гл. 1): «В старых газетах — полный отчет» (опубликована в «Новом мире», 1927, № 2-4). На последней странице рукописи приписка с объяснениями морских терминов: «Кин<г>стоны — каналы, ведущие в балластные цистерны двойного дна. Гальюн — место в носовой части корабля (где находятся отхожие и свалочные места). На "Пруте" находилась часть осужденных по Потемкинскому бунту (который произошел перед тем за 5 месяцев). Броненосец Потемкин после этого был переименован в "Пантелеймона". "Прут" служил плавучей каторжной тюрьмой» (там же. С. 311-312).

2 В последней главе посланной части (Пастернак называет главы «де-леньями») дано письмо Шмидта к своей «корреспондентке». Двадцатое число — до революции было днем выдачи жалованья чиновникам.

3 Строки многоточий стоят в конце гл. 17, отделяя две последние строфы. Намерения переписать названные главы и расширить сцену боя не были осуществлены автором, напротив, при подготовке книги конец гл. 17 был отброшен.

4 Цветаева писала о рождении сына: «В самую секунду его рождения — на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени» (14 февр. 1925; М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 243).

5 Елена Георгиевна Харазова — поэтесса, писавшая по-немецки. См. о ней в письме № 431.

6 Письма Пастернака к Святополку- Мирскому не сохранились.

349. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

22 февраля 1927, Москва

У меня вышла почтовая бумага, и неприятно писать тебе на этой. Я только что получил «Попытку комнаты»1. Ты знаешь сама, — как это хорошо и как близко мне, утратившемуся, настоящему. Но вот, только успел открыть рот, как уже — непрошенная бестактность. Нет, я не сравниваю. Я не могу не завидовать тебе, но сильнее моей зависти, — гордость и радость. Ты удивительно стройно растешь и последовательно. Всего больше поражает и волнует меня в твоем безостановочно и безущербно развертывающемся мире тот стержень, по которому выравнивается твое богатство. Зачеркнул приблизительно то же, что следует дальше, по неудачнос-ти выраженья2. Мысль, т. е. самый шум «думанья», настолько порабощена в тебе поэтом, что кажется победительницей. Кажется ей никуда еще не падалось так радостно и вольно, как в твои до последней степени сжатые и определенные строчки. Твои поэтические формулировки до того по ней, до того ей подобны, что начинает казаться, будто она сама (мысль) и есть источник твоей бесподобной музыки3. Точно, очищенная от всякой аритмии предпо-лаганий, она не может не превратиться в пенье, как до звучности очищенный шум. Т. е. это то, о чем мечтал (но конечно и мечтает, всеми страницами (т. е. они и живы этой мечтой)) Баратынский. Все это, я знаю, не понравится тебе. Меня-то, конечно, очень трогает, нравится ли тебе что или нет. Мне хотелось бы удивляться тебе так, чтобы это тебе доставляло радость. Но не одни вещи, близко и лично касающиеся нас, нас с тобою связывают. Закону этой связи во многом до нас даже нет дела. Это сказывается между прочим и на «Попытке комнаты». Следуя твоей воле, я мыслю «Попытку» обращенною к Rilke4. Ты представить себе не можешь, как мне бы хотелось, чтобы всем движеньем своим она летела к нему. Нам нужно в живом воздухе трусящих дней, в топотне поколенья, иметь звучащую связь с

ним, т. е. надо завязать матерьяльный поэтический узел, который как-то бы звучал им или о нем. Но «Попытка» страшно связана со мною. Ты не возмущайся, пожалуйста: я ни хочу, ни не хочу твоего посвященья. Не в нем дело. Но если даже не существо, — пусть эмоциональная роль, пусть именная маска — но маска тут задета и окликнута моя. То есть я хочу сказать, что R<ilke> ты дани еще не уплатила. Субъективно, т. е. прямо от себя тебе ближе ко мне, чем к нему. Для соприкосновенья с ним требуется перерыв волевой волны, с большой долей объективного размышляющего, изучающего усилья. Можно довериться сновиденью о себе самом и о близлежащем: такой сон местно вещественен5. Он всегда содержит много говорящего о существе вещей, вовлеченных в его круг. Далекое же, чем оно роднее нам и больше (далекое в реализации сроков, возрастов, расстояний и пр.) и чем больше страсти предполагает перспектива — всегда роняется сновиденьем. Если бы не было этого соотношенья, которое я выразил так плохо, что и сам, перечтя, не пойму, то, наряду со сном, не существовало бы искусства. Оно вызвано к существованью именно этой перспективой — воздушно-далеких и сердечно-близких вещей, с которой никогда не справляется, которым никогда не воздает должного — бесперспективное сновиденье6. Род такого усилья, в высочайшей, сверхчеловеческой степени, дан в философии Крысолова. Но я свалил чересчур в кучу несколько очень несвязных соображений на одну и ту же тему. Слышишь ли ты мой голос за всем этим? Напиши мне, что письмо не раздражило тебя. Через месяц мне обещают И-е Версты, Лестницу7 и все, что смогут достать. Светлову (о «Гренаде») передал8: это было первое мое знакомство с ним. Тут много способных. Талантливым считаю одного Сельвинского. Он очень настоящий, очень замечательный.

Вот стихи Харазовой, возникшие в мыслях о R., ему посвященные и написанные, по ее словам, в последние дни года, за день, за два до ее полночного появленья у меня9. Я хочу, чтобы ты их знала. Она очень милый человек с совершенно потрясающей биографией, — попроси Асю, — она тебе расскажет ее историю. Она — необыкновенный человек, чрезвычайно вдохновенный. Это я говорю о ней, а не о том, что она доносит до страницы. Ты знаешь, что это вещи разные. Но может быть, я слеп, и ты будешь справедливей к ней, и тогда окажется, что я ничего не понимаю и проглядел крупное дарованье, оглушенный сухостью и педантизмом своих мерил.

AN R. M. RILKE 1

Das Дек yqnLerchenglocken schwer, Such ich dich einsam im Spiegel; Und leise fallt das Leben umher Von der Wande traulichem Hugel.

Als rauschte der Glasquelle steigender Teich, Worin Fenster und Teppich ertrinken, Ein Madchen im Sessel der Mondsichel gleich, Und Tlschtucher sinken und winken.

Und Stunden gehen aus und ein Und falten alternd die Hande, Bis die eine ergreifet des Некеш Schrein Mit sprengendem Schlusselwenden.

Oh! — Darauf ein RauschenL Ich glaube der Tod! — Holunder und tropfende Regen! — Weil in des Некеш leiser Not Sich Lerchen Kopfe bewegen.

2

Jeden Abend trittst du, ein veigess'ner Engel In des Некеш Kammer fordernd und bestimmt. Setzest dich ans Spinnrad und mit gold'nen Faden Leitest du mein Schicksal, bis die Herzwand glimmt.

Stunden Knien nieder, trinken mir aus Handen. Der Erinnru^ Murmeln Klujg undtranerdeer. Und die Ampel schrumpfet, eine rote Schale Wie Bananenwinken in des Teppichs Meer.

Draussen wachsen Blumen, nahen sich die Wolfe Und mit weichen Rufen locken sie dich fort. In des Blutes Brunnen sammelt sich der Nachklang, Naht mit Unbestimmtheit deinem letzten Wort.

Weiter ist Karfreitag. Weiter wird es Ostern, Wenn die Vogel fragen, wie ein Menschenherz... Und im Spiegel gleitet deine Auferstehung Hinter Wolkenstossen langsam himmelwarts*.

Maria Wyss (это ее псевдоним)1

Многоточьем подчеркнуто то, что тронуло.

* К Рильке. 1. «Уменя тяжело на сердце от колокольного звона жаворонков, я одиноко ищу тебя в зеркале; и вокруг тихо опадает жизнь с отвесных стен холма. Когда зашумел хрустальный родник вздымающегося пруда и им упивались окно и ковры, подобно девочке, сидящей в изгибе месяца, никли и трепетали скатерти. Часы идут вперед и назад, и, старясь, складывались руки, пока одна не вскрыла ларчик сердца, взломав его поворотом ключа. Ах, — оттуда шум! Думаю, что — смерть! Бузина и капли дождя! Потому что в тихой печали сердца качаются головки жаворонков». 2. «Каждый вечер, забытый ангел, ты уверенно и стремительно вступаешь в келью моего сердца, садишься за прялку и золотыми нитями вершишь мою судьбу, пока не истлеют стенки сердца. Часы преклоняют колена, мудро и бесслезно пьют из моих рук рокот воспоминаний. Висящая на шнуре лампа уменьшается в размерах, и ее красная раковина кивает, подобно банановым деревьям в море ковра. Снаружи растут цветы, волки все ближе и с нежным зовом увлекают тебя вдаль. В источнике крови возникает отзвук, неясно близится твое последнее слово. Затем — Страстная Пятница. Потом настанет Пасха, когда вопрошают птицы, словно человеческое сердце... "Твое воскресение медленно скользит в зеркале за порывами облаков ввысь, к небесам (нем.).

Св.-Мирскому напишу в следующем, и очень большое письмо. Какая радость держать в руках твой дар и глядеть в глаза ему! Ни с чем не сравнимое наслажденье.

Получила ли ты П-ю часть Шмидта? Ругай свободно, если не нравится.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 161). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Поэма «Попытка комнаты» была написана летом 1926 г., в ней отразились образы писем Пастернака этого времени.

2 Перед этим в письме зачеркнуто три с половиной строки.

3 Ср.: «Ж...> всегда считал, что музыка слова <...> состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания» («Люди и положения», 1956).

4 В письме 9 февр. 1927, посылая поэму, Цветаева писала: «Стих о тебе и мне — начало лета — оказался стихом о нем и мне, каждая строка. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был — сознанием и волей — к тебе. Оказался же — мало о нем! — о нем — сейчас (после 29т декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому — к которому же собиралась* — как не встретились, как иначе встретились. Отсюда и странная, меня самое тогда огорчившая... нелюбовность, отрешенность, отказность каждой строки. <...> Прочти внимательно, вчитываясь в каждую строку, проверь» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 268-272).

5 «Нынче (8т февраля) мой первый сон о нем, в котором не "не все в нем было сном", а ничто» (там же).

6 В письме начала марта Цветаева отвечала: «Бесперспективность сна? Об этом еще должна подумать. Кажется, ты прав» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 318).

7 Поэма «Лестница»; летом 1926 г., когда Цветаева писала ее, называлась «Как живет и работает черная лестница».

8 В письме 31 дек. 1926 Цветаева просила Пастернака: «Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его Гренада — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший — стих за все эти годы» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 266).

9 То есть как раз в тот день, когда скончался Рильке, 29 декабря 1926 г.

10 Псевдоним Лили Харазовой — имя ее учительницы в швейцарском пансионе.

350. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

12 апреля 1921, Москва

12/IV.27

Дорогая Раиса Николаевна!

Как Вы замечательно, в трех строках, сказали о смерти M. Kellermann1 (боязнь одиночества и темноты)!

Как всегда, Ваше письмо было для нас большим сердечным событьем. Моя благодарность Вам живет, т. е. ведет свое особое и иногда замкнутое существованье. Естественно, что Вы не всегда знаете о ней и никогда не узнаёте вовремя. Я этого не стыжусь и не боюсь. Но надобности в деньгах нет никакой, и в особенности ее не было бы, вздумай мы серьезно собраться за границу.

Я думал, до Вашего письма, о поездке, главным образом во Францию. Съездить предполагал будущей весной, или к концу 28 года. Ваше письмо заставило подумать нас об этом плане нетерпеливее; оно без Вашего ведома и желанья прозвучало чем-то вроде предостереженья мне. Меня охватил страх, что может быть через год мне за границу не попасть.

И вот возможно, что я увижусь с Вами.

Никаких шагов покамест не предпринимал, все это выяснится и разрешится, хочется верить, в теченье месяца.

Только на днях закончил я мучительно затянувшуюся работу, стихотворную книжку о 1905-м годе, ббльную часть которой займет цельная вещь о лейтенанте Шмидте. Определенного и хоть сколько-нибудь спокойного взгляда на сделанное у меня нет. Но я знаю одно. Я на нее (параллельно с исполненьем она печаталась в журналах) просуществовал больше года и поправил матерьяль-ные дела. Она послужила к моей реабилитации, т. е. возвратила в разряд людей, о которых можно тут говорить, не рискуя быть обвиненным в вере в привиденья. Обеих неопровержимостей довольно, чтобы быть о качестве книжки самых безутешных мыслей: потому что оплачивается только более или менее откровенное во-доснабженье. И, надо думать, дань общему месту и очень среднему пониманью в этой работе уплачена большая. Однако писал я ее честно и с наилучшими намереньями. Но вообще ведь, не только мы тут, но и весь мир и все поколенье охвачены поветрием посредственности. Мне кажется, последствия войны шли по расширяющимся кругам, от близлежавших и грубейших к более далеким и невесомым. Матерьяльное восстановленье, как принято у нас утверждать, уже тут достигнуто. Тем ощутительней, от года к году, наше духовное одичанье. Здесь недавно был Duhamel2. Что прием наш, одинаково дутый, всезначащий и потому ничего не означающий, меня подавил и сконфузил — в порядке вещей. Но и облик гостя показался мне не много чем значительнее нашей штампованно-радушной встречи. Не смею судить о писателе, — я его почти совсем не знаю. То немногое, что я читал, очень человечно, но и не более того. Говорил же он и вел себя крупно-безлично. Простите мне это случайное и неблагозвучное словосочетанье. Здесь не было скромности и простоты неведомого человека, которые я так люблю. По-видимому эти не в характере дня. Может быть объективно он не противоречит себе, мне же кажется удручающе противоречивым. День этот гонится за радостью и наслажденьем, за властью, за славой, за крупными масштабами. Международное стало его домашним мерилом, его разумеющеюся прозой. Между тем

«международность» без истинного, как-то по-особенному кем-то переживаемого мира — пустой звук. Вообще следовало бы вспомнить, что только человеческое сердце, чем-то отмеченное и потому — реальное, может быть истинной столицей культуры. Вне этого соотношенья и верованья все превращается в ужасную астрофизическую провинцию. Таким-то — неизлечимым мировым провинциализмом было проникнуто вы-ступленье ОиЬатеГя. — Разумеется, я не сужу по нем обо всей Франции или о западе, как это иногда делают. Я всегда верил в малости более, чем в ложную «всеохватывающую» крупноту. — Но и в этой даже аргументации мое желанье побыть год за границей (и поработать) не нуждается. Я мог бы еще без передышки прожить с год в атмосфере нашего непомерно разросшегося софизма, да так и хотел. Ряд обстоятельств, в их числе и Ваше письмо поколебали мое решенье. Однако еще не знаю, к чему приду. — Долго ли Вы пробудете в Италии? Встречаетесь ли Вы с Горьким3. Не думаю, чтобы он знал меня и помнил, да и не за что, для меня же это — величайший человек нашего путаного времени. Т. е. все элементы путаницы, столь лицемерные в иных сочетаньях и у иных людей — в нем истинны до огромности. Такие люди как он или Ром. Роллан и являются основаньем для ложного паразитированья человечности в кавычках, каковою повеяло на меня от Дюамеля. И о «крупноте» я говорил только кавычешной. Эти, первостепенные, вперед, разумеется, подавляют особенностью своей совести и воли, и лишь затем, в размене и хождении, начинают оцениваться со стороны «всечеловеч-ности» охвата. Вторые же так прямо с широты охвата и начинают, внося в эту тему, которая должна бы отдавать исключительностью, всю буднишнюю скуку и скудость рядового журнального сердца. —

Не удивляйтесь этому топчущемуся, нелитературному письму. Недавно от меня ушла дочь Серова, старинная подруга детства4. Это была саркастическая семья, и актерской наблюдательностью и даром передачи отмечены все ее члены. Около трех часов, сам того не желая, я поддерживал невеселый разговор о нашей повседневности, так, с ее стороны, был он убийственно остроумен. Чувство угомленья, которым я пропитан, как и все у нас, особенно сильно сказывается у меня сегодня, после этой беседы, когда это ощущенье подкреплено этими беглыми, раз навсегда припечатывающими формулировками.

Еще раз громадное Вам спасибо за все. От всего сердца привет Юрию Владимировичу и Вашему сыну. Как сошло его отчаянное по простоте и прямолинейности путешествие?5

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено 20 апр. 1927 в Сорренто и оттуда переадресовано в Рим и Анцио.

1 Мери Келлерман, жена писателя Бернгарда Келлермана, была сотрудницей Ломоносовой по созданному ими в 1923 г. литературному и переводческому агентству в Берлине. Скончалась в октябре 1926 г.

2 Жорж Дюамель — французский писатель, его впечатления от поездки в Россию отразились в книге «Le voyage de Moscou» (1927).

3 Ломоносовы приехали в Сорренто в феврале 1927 г., но с Горьким они не встречались.

4 Ольга Валентиновна Серова — дочь художника В. А. Серова.

5 Сын Ломоносовых Юрий приехал из Англии к родителям в Италию на мотоцикле.

351. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

29 апреля 1927, Москва

Дорогая Марина!

Опять ты со мной, и что в мире может с этим сравниться! Твое письмо пришло как раз в тот день, когда я сдавал весь 1905-й (вместе с накануне оконченным Шмидтом) в

Госиздат. Я кончил его именно так, как ты о том говоришь, и думаю о нем в точности твоими словами1. Я говорю об этом только затем, чтобы ты узнала об этой новой твоей, и может быть тебе неведомой, помощи. Между прочим. Только «1905-м» я наконец добился тут права первого изданья «Тем и Варьяций», да и то не отдельного, а одним томиком, при «Сестре»2. Напиши мне поскорее о своем вечере3 и обо всем обещанном.

Твой Тезей замечателен4. Так начинают только единственней-шие. Трагедия взята с места в карьер. Бездна благородной, мерно и без отступлений наслаивающейся правды, и ее вершина — в сцене с Вакхом, о которой просто невозможно говорить. Здесь, на внезапной высоте, отдельно от остальной трагедии и над ней, дается трагедия самой вакхической истины, как нагорное законодательство этого мира.

За «Тезеем» с особой, окончательной категоричностью испытал радость: удивительная, — за что ни возьмется, во всем, везде, — своя рука, свой голос, свой опыт, и все это предельной, несравненной крепости и глубины. Что это особенно заметно в «Те-зее», — естественно. Сами по себе эти качества быть может в нем не сильнее, чем в других вещах, но тут они, помимо твоей воли, составляют часть тематики: черта законченной одухотворенности, к которой сводятся они, и есть ведь извечная тема греческого духа. Короче: за этой трагедией я пережил тебя, как героиню: как абсолютно навсегда под собой расписующегося поэта. Разумеется, у меня ее нет, и она гуляет по рукам.

Скажи, как ты думаешь, Марина, можно ли думать о настоящей работе (т. е. о писании в безвестности и вне участия в полит-литературщинке какого бы то ни было направленья) во Франции или Германии, или же лучше, скрепя сердце, постараться это сделать за год тут, и, значит, отложить еще на год все? Глупый вопрос и заданный в нелепейшей форме, но прошлогодний твой ответ5 сделал больше, чем могла бы одна моя воля, в одиночестве. Надо ли говорить тебе, как меня тянет к настоящему, т. е. к тебе и ко всему тому, чего я не могу не мыслить обязательно в твоем воздухе? Ты однажды предложила мне просто съездить на время, как ездят сотни путешествующих и благополучно возвращающихся «освеженными». Но ты ведь знаешь, что это абсурд и не про меня никак. Этой муки я не приму

Ответь мне сухо и спокойно, как я того и заслуживаю, главное — о себе, о своем вечере. Морального ада и тоски, в которых я тут варюсь, изобразить не в силах. Не пойми превратно. Я просто задыхаюсь в том софизме, о который тут, без всякого последствия, разбивается решительно всякая действительная мысль.

Х<одасеви>ча получил и прочел6. Странно, меня это не рассердило. Чепуха не без подлости в ответ на чью-то может быть еще большую чепуху? В<ладислав> Ф<елицианович> меня знает. Странно7.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 162). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Цветаева писала: «1905 г. — ложный ход, работа не по тебе, вся на во всем — и всего-себя — перебарывании. Ты хотел простого человека, ты дал пошляка (Письма). Ты не знаешь, какие простые люди бывают. <...> В Шмидте (1905 г.) твоя дань людскому, человеческому, временному» (там же. С. 318).

2 Пастернак неоднократно предлагал к изданию свою книгу «Темы и варьяции», вышедшую в Берлине в 1922 г. Она была переиздана только в 1927 г. («Две книги»).

3 Вечер М. Цветаевой, устроенный в студии актрисы Н. И. Бутковской в апреле 1927 г.

4 Пьеса Цветаевой «Тезей» была опубликована в журн. «Версты», 1927, №2.

5 Имеется в виду ответ Цветаевой на вопрос Пастернака: «Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?» (письмо № 302) — «Через год. Ты громадное счастье, которое надвигается медленно. <...> (Ты гроза, которая только еще собирается.) Не сейчас!» (там же. С. 189,190).

6 Цветаева послала Пастернаку статью В. Ходасевича «Бесы», написанную в ответ на рецензию Г. Адамовича по поводу «Лейтенанта Шмидта» («Звено, 3 апр. 1927): «Развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися — существуют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость — и сумели стать "созвучны эпохе"» («Возрождение», 11 апр. 1926). «Порадуйся на своего protege Х<одасевича>. Отзыв труса», — писала Цветаева, посылая статью (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 321).

7 Пастернак часто встречался с Ходасевичем в Берлине в 1922 г.; после отъезда Пастернака у них завязалась переписка. «Вообще я его во врагах не числил. Я даже как-то переписывался с ним...» (письмо № 297). Эта переписка не сохранилась.

352. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

Змая 1927у Москва

3. V. 27

Дорогая Марина!

Пока я занят был этой ретроспективной и ставившей в несколько облегченное положенье к «современности» работой, я все думал, что выровняется и время, и к ее концу, когда станет пора вспомнить о своем, это будет мыслимо, т. е. будет и кругом дышаться свободнее. Поразительно, что как раз с ее концом совпало у меня сильнейшее на этот счет разочарованье. Я не смогу и не сумею пересказать тебе всех случаев, когда я его испытал, они один другого необъяснимее и ужаснее, и только расскажу об одном, потому что он почти что семейный, и люди, в нем замешанные, тебе известны. И для полной ясности: все эти дозы отчаянья и недоуменья сопровождаются вниманьем и исключительною теплотою ко мне, а иногда даже и любовью, т. е. я хочу сказать, что заподозрить себя в пессимизме по личным причинам я не вправе.

Изолганности и раболепному лицемерью нет предела. Нравственное вырожденье стало душевной нормой.

Однажды у тебя в Верстах очень хвалебно отозвались о «Лефе». Я никогда не понимал его пустоты, возведенной в перл созданья, канонизованное бездушье и скудоумье его меня угнетали. Я как-то терпел соотнесенность с ним, потому что это чувство ведь ничем и не выделялось из того океана терпенья, в котором приходилось захлебываться. Потом этот журнал благополучно кончился, и я об его конце не тужил. Теперь, скажем, в самые последние годы, мыслимое, слыханное, человеческое возродилось, но конечно в узко бытовых, абсолютно посредственных, вторично-рядовых формах, заливающих журналы и разговоры какой-то мозговиной обезглавленного сознанья. Зимой стал снова собираться Леф. Я туда, т. е. на эти ужины, ходил в качестве гостя. Тогда писался Шмидт, и я читал его, и Маяковский объявлял работу гениальной. Ты знаешь, Марина, что я целиком с тобой в сужденьи о вещи, и это слово не должно нас сбивать. Дело не в этом. Я хочу сказать, что не только трогательность Володина отношенья ко мне, но и моя старая любовь к нему (помнишь чтенье в Кречетниковском с Белым?)1 не могли ослабить моего раздраженного удивленья по поводу их затей и затем вскоре вышедшего журнальчика2. О, это не было открытьем для меня, я в 19-м году сказал Маяковскому о 150.000 то, что теперь начинают говорить в печати3, но (и с этого я начал письмо) была у меня какая-то

смутная надежда, что М<ая-ковский> наконец что-то скажет, а я прокричу или даже изойду правдой, и — нас закроют или еще что-нибудь, не все ли равно. Вместо этого вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости, вперемешку с легализованным сквернословьем4 (т. е. с фрондой, апеллирующей против большинства... к начальству), что в сравнении с этим даже казенная жвачка, в которой терминология давно заменила всякий смысл (хотя бы и духовно чуждый мне), показалась более близкой и приемлемой, и более благородной, нежели такое полуполицейское отщепенчество. Потом пошли диспуты, на которых официальное болото со своим вечным словарем застоя и лицемерной глухоты5 разносило крайнюю группу своих неофициальных головастиков. Ты понимаешь, в чем тут дело, и поймешь, как действовала на меня эта вопиющая дичь, как далеко в стороне я от нее ни находился. Для того, что я тебе хочу поверить, сказанного достаточно. Но подчиняясь тяге фактов, прибавлю еще кое-что. Они знают, что я не с ними. Но Маяковский, нестерпимо цинический в обиходе, меняется в моем обществе, а со мной бывает иногда просто метафизичен. Т. е. он что-то знает обо мне такое, чего не знает Асеев, несмотря на наше давнее приятельство и близость в жизни, не знает, как человек эмпирических температур. Вот отчего, когда в ответ на мое заявленье о выходе из «Лефа», в конце длиннейших, затянувшихся до 6 часов утра переговоров, последовала с их стороны просьба не оглашать разрыва с ними, ограничась простым и как бы случайным отсутствием в журнале, номер за номером, я с этим примирился, под влияньем какого-то, сквозь все слова пробивавшегося взгляда М<аяковского>, тяжелого и пристально безмолвного, и которым точно говорило его прошлое. — Однажды ты меня удивила и даже обидела, предостерегши от приравниванья М<аяковского> — Р<ильке>6. Неужели ты подумала, что я — нуждаюсь в таком замечаньи? Но я говорю о М<аяковском> с тобой, и будь жив Р<ильке>, на третьем разговоре с ним рассказал бы о М<аяковском> и ему. Вот и все, и это очень много: М<аяковс-кий> участвует в моей повести, все равно где и в каких годах. Он участвует также и в твоей: ты была тогда у Цетлиных, ты помнишь себя и Белого и Сабашникову, «Человека» и «Войну и Мир»7. Затем я благодарен ему также за себя и тебя. О существованьи «Верст» (твоих) узнал я от него от первого. Годом раньше я узнал от него о существованьи «Сестры»8. Ты понимаешь? — Наконец, вне этого всего: смею утверждать, что даже и тебе, тебе, Марина, не может быть полностью известно, в каком отталкивающе чуждом мире я тут живу. Он совершенно беспросветен и особенно ясно беспросветен бывает в свете так называемых удач и «успехов». Дооценить этого ты не можешь оттого, что ты, а значит и то, чем я живу, вечно под рукой у себя. Значит представить себе того, что тебя нету, ты по-настоящему не в силах. Но добро бы хоть как-нибудь (как человек — человека) напоминали тебя тут: строем совести, что ли, языком или логикой, сколь угодно отдаленно и бледно, все равно как. И знаешь, только вот этот взгляд М<аяковского>, когда он безмолвен, как-то в этом отношеньи приемлем, как-то годится, чем-то напоминает о поэте и жизни поэта9. Я совершенно не умею говорить о таких промежуточных, растекающихся вещах и наверно раздосадую тебя.

Продолжаю без всякой последовательности. Остаюсь еще на год. Бесконечно счастлив и рад, что — перекипело и что могу писать об этом спокойно, после двух недель волненья. Вот отчего придется остаться: Нельзя, чтобы нахожденье на чужой территории разом же совпало с возвращеньем к себе: т. е. с философией и с тоном, которые конечно должны будут пойти вразрез со всем здешним10. Это надо попытаться начать здесь, открыто, в журналах, на месте, в столкновеньях с цензорами. Ясно ли это тебе? Тут не бытовые соображенья. Не бытовые не от «храбрости», конечно, а оттого что блюсти «чистоту» мне и в голову бы не пришло. Твое окруженье мне

близко, я, ничуть не задумываясь, отдал бы все свои силы тем, кого бы ты мне назвала и указала. Т. е. тут никак не забота об условной и насквозь фальшивой «репутации». Нет. Но ты представляешь себе, насколько бы я облегчил задачу всем этим людям двух измерений, заговори я о трех не с Волхонки? Произвели бы все истины географически, от страны, откуда бы это посылалось друзьям и в журналы, и тем бы и отделались. Этого, легчайшего из штампов, мне не хочется давать им в руки. Если не убедить, если не переделать что-то, то уж во всяком случае мне хочется трудно даться им и себе. Не буду округлять письма и заканчивать. Но вот, очень существенная просьба. Сообщи мне обязательно день, т. е. число полученья этого конверта. Не забудь, пожалуйста. И затем, в ответе мне, не касайся всех этих тем. Это тоже серьезная просьба11. Наконец, прости за третью по счету, и — вот она в чем: как сумеешь, попроси за меня извиненья у Св.-М<ирского>. Меня мучит, что я до сих пор все еще ему не ответил. Надо ли комментировать этот предположенный возврат к себе? Если надо, то вот краткий комментарий. Я себе и не изменял никогда. Я бездействовал, доходил в недоуменьи до одичанья, бросал литературу, служил библиографом, переводил, наконец нашел выход в ретроспективное™, но писал эту вещь пониженно и водянисто, по многим причинам, частью виноват в ее недостатках и сам. Но за этой работой, чувствуя за счет прошлого, которому по теме разрешалось чувствовать и верить (хотя и тут цензура кое-что выкидывала12), в привилегиях темы, отошел душою и сам, настолько, что вещь стала моральным рычагом освобожденья во что бы то ни стало. Но ты не будешь ждать от меня лирики, которой уже тут спрашивают с меня, на том одном основаньи, что я... «заработал 1905-м право на нее». Ты знаешь, что писаньем лирических стихов, когда они требуются и у тебя на них есть «право», я никогда не занимался. Ты знаешь, что лирика начнется опять с обожествленной жизни, если начнется; ты знаешь все. Но прозу, и свою, и может быть стихи героя прозы писать хочу и буду13. Обнимаю тебя.

P. S. Пожелай мне успеха на этот год и будь со мною. Если я или кто-нибудь другой скажет тебе когда-нибудь, что я не был счастлив, не верь. О таком друге и таком чувстве не смел никогда и мечтать, загадочный по незаслуженности подарок. Не пугайся однообразья нашей судьбы (т. е. что все мы да мы, да письма, да годы). Так однообразна только вселенная.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 162).

1 Имеется в виду поэтический вечер у Амари (М. О. Цетлина) в январе 1918 г., где Пастернак познакомился с Цветаевой.

2 «Новый Леф», № 1, 1927. В этом номере была опубликована глава из «Лейтенанта Шмидта».

3 См. в «Охранной грамоте»: «Он (Маяковский. — Е. П., М. Р.) в тесном кругу прочитал "150 ООО ООО". И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал».

4 Имеются в виду номера журн. «Леф» (1923—1924), а в 1927 г. — «Новый Леф».

5 Речь идет о развернувшейся в печати дискуссии В. П. Полонского с «Лефом». Причем позиция Полонского (официальное болото) была равно чужда Пастернаку, как и установки «Лефа». См. также письмо № 356.

6 «Сопоставление Р<ильке> и М<ая>ковского для меня при всей (?) любви (?) моей к последнему — кощунственно. Кощунство — давно это установила — иерархическое несоответствие», — писала Цветаева 9 февр. 1927 (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 290).

7 На вечере у Цетлиных Маяковский читал поэму «Человек» (1917). Среди присутствовавших были А. Белый и художница М. В. Сабашникова. «Война и мир» — поэма Маяковского, написанная в 1917 г.

8 Маяковский был первым, от кого Пастернак услышал похвалы Цветаевой по поводу ее книги «Версты», 1921 (см. также письмо № 194). «...Прочтя ему первому стихи из "Сестры", я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать» («Охранная грамота», 1931).

9 Цветаева не поняла слов о говорящем и понимающем взгляде Маяковского и писала 7—8 мая 1927: «О Маяковском прав. Взгляд — бычий и угнете<нный>. Так<ие> / Эти взгляды могут всё» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 329).

10 Речь идет о будущей работе, посвященной вопросам искусства и судьбе поколения, которая потом оформилась как «Охранная грамота».

11 Эта просьба означает беспокойство Пастернака по поводу прохождения через границу резких слов, высказанных в письме.

12 В «Лейтенанте Шмидте» цензура изъяла места, где речь шла об отношении большевиков к кровопролитию и смертной казни.

13 О замысле романа и стихов героя впервые Пастернак высказался еще в стихах 1917 г. («Но и им суждено было выцвесть...» — «Осень», 3), а осуществил только в «Докторе Живаго».

6 мая 1927, Москва

6.V.27

<...>Потом он убежал, и я не возобновлял попытки записывать его медиумические состоянья1. Вообще его трудно сосредоточить на мыслях о письме. Но что за чудные карточки ты ему послала! Спасибо и за открытку для нас. Женя чего-то хочет писать тебе, душа опять у ней скорбит, по твоему поводу. И оттого, что я этого не делаю и держусь в стороне, говорит она, что я только о себе думаю и собою занят. Может быть, это и верно. Что ж поделаешь, так бывает. Иногда так складываются, десятилетьями: личный опыт, попытки вмешательства в чужие миры, попытки устройства своей жизни и прочая, и прочая, что в результате этого всего остается только думать о себе и быть занятым собою. Но это, разумеется, не первичный эгоизм. Это сложная, сводная форма всего пережитого.

Теперь, как бы в подтвержденье, — несколько слов о себе, если это тебе интересно. Был соблазн (письмо Ломоносовой, заразительное действие целой оравы едущих в Париж, выселенье с предложеньем многих тысяч на приобретенье другой квартиры, некоторая скопившаяся к полученыо сумма в Госиздате), был соблазн поехать втроем за границу этим летом. Но поездки освежающей, для отдыха и впечатлений я пока еще не понимаю: уже окончательно нормальной я ни деятельности своей здесь, ни ее перспектив назвать не могу. А именно такого чувства дома и нормы требует психология экскурсии. Этот же полуразрушенный дом не отстроен еще и вполовину, так что, если бы ехать, я поехал бы только на долгий срок, для работы. Вот это-то по многим соображеньям и неудобно. В силу множества причин, перечислять которые по их сложности не стоит, мне придется начать касаться вещей, которые тут считаются спорными. Открывать эту щекотливую полосу из-за границы было бы неловко. Это отразилось бы на весе истин, т. е. на их достоинстве. — Кончился «1905-й г.», спасавший меня ретроспективностью темы. Передо мной опять современность. Я понимаю свое ничтожество перед лицом ее реальных и бесспорных исторических основ. Но с бытовым их завершеньем у меня одно расхожденье, и время не изменило его. Это — разность миросозерцании. Этого нельзя уступить, не обессмыслив жизни: не в завтраках же и обедах смысл, не в гонорарах же. Плохо, что я не музыкант или не живописец. —

У меня будет трудный год. Сам собой, и неизбежно произойдет у меня разрыв с истинными моими друзьями, Асеевым и Маяковским, главное с последним. Их чувства особенно теплы были ко мне весь этот год, в особенности со стороны Маяковского, у которого представленья о «1905-м годе» просто преувеличенные. Тем горше для меня эта неизбежность. А ее не предотвратить: они далеко не на высоте своего призванья. Они и все эти годы были ниже его, но, как ни трудно мне это постигнуть, нынешний софист мог бы сказать, что эти годы именно и нуждались в сниже-ньи совести и чувства, ради большей доступности. Теперь же даже и смысл времени требует большой и мужественной чистоты. Ими же владеет облегченная рутина. Субъективно они искренни и добросовестны. Но мне все труднее и труднее принимать во вниманье эту личную сторону их убеждений. Я не одинок, ко мне хорошо относятся. Но это все до известной границы. Мне кажется, я подошел к ней. —

Крепко тебя обнимаю и целую, и не беспокоюсь за тебя. Жизнь бывает иногда умнее нас2.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Письмо начинается словами, записанными под диктовку сына Жени.

2 В конце письма — приписка Евгении Владимировны: «Противное письмо Борино к тебе. Когда Боря заводит эти разговоры — мне хоть из дому уходить. И вовсе, Жоничка, я не скорблю по твоему поводу. А просто тебя представляю и крепко тебя целую и желаю тебе самого хорошего. Не получая долго от тебя письма, я забеспокоилась и в дни Пасхи все говорила Боре и Ине, "а не случилось ли чего-нибудь у Жони, здорова ли она", и т. д. Иду домой, встречаю Надю Денисову. "Вам Жоня писала?" В голосе какая-то странная интонация, я сразу же насела "что, о чем писала?" Надя отнекивается. Я наседаю и наконец сама спрашиваю: «Может, у Жонечки ребенок должен быть, скажите же, в чем дело, теперь же», и т. д. Так вот, Жоничка, вовсе я не "скорблю", как написал Боря, а тебя, если бы святее была, благословила. Дай Бог, чтоб весна, тепло, запахи, солнце напоили бы тебя и твоего ребеночка. Федю целуй. Твоя Женя» (там же. Кн. I. С. 127). Надежда Дмитриевна Денисова (Шарыгина) — одноклассница Жозефины, художница. В недатированной записке Пастернак просил А. Крученых помочь ей с материалами для ее работы: «Милый Алеша! Окажи, пожалуйста, услугу подательнице сего, Надежде Дмитриевне Шарыгиной. Она пишет работу о Филонове и зашла ко мне с просьбой: рассказать ей, что я помню о "Союзе молодежи". А я о нем ничего не знаю и даже названье не сразу показалось мне знакомым. Все это вероятно ты должен хорошо знать и помнить. Н. Д. подруга моей старшей сестры и я ее давно знаю. Ты очень обяжешь меня, дав ей необходимые для ее работы сведенья» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1,ед. хр. 184).

7 мая 1927, Москва

Дорогая Жоничка! Тут какое-то недоразуменье. Жене легче чувствовать и легче выражать свои чувства. Ее приписка удивительна по своей свежести, по звучащей в ней любви к тебе. Но неужели ты можешь допустить, что мое чувство к тебе слабее! Правда, я точно в каком-то тумане вижу и воспринимаю не только вас, моих родных, но даже и обоих Жень. Я и сам от него страдаю. Я его себе ни выдумал, ни пожелал. И это не от бесчувствия. И я бы вовсе его не заметил, не заметь о нем Женя.

Быть больше братом и горячее другом тебе, чем я, нельзя. Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

Датируется по штемпелю на открытке.

355. Д. П. СВЯТОПОЛКУ-МИРСКОМУ

10 мая 1927, Москва

10.V.27

Глубокоуважаемый и дорогой Димитрий Петрович!

Простите, пожалуйста, и уверьте меня, что Вы не заметили этого непомерного запозданья, что все забыто. В Вашем проще-ньи я нуждаюсь настоятельнее и неотложнее, чем в чем бы то ни было — Вы от меня. Я тотчас стал отвечать Вам на письмо, но и в настоящую минуту опять налицо та трудность, которая 5 месяцев назад решила судьбу моей попытки. Заговорить с Вами впервые значит заговорить о необозримо многом и нестерпимо болезненном. Это значит заговорить о себе в десятилетьи, — тема плачевная и не поддающаяся изложенью. Допустите, что это не первый разговор наш. Убедите меня, что Вы и сами догадывались и знали, что это существованье было похоже на полусон со страшными сновиденьями и почти лишено внутренних признаков жизни при очень слабой видимости внешних; что полный отказ от деятельности, в былой ее форме, сменялся деятельностью нечеловечески затрудненной и ослабленной, а эта последняя — приступами возобновленного отчаянья; что чувствованье времени, составлявшее почти метафизическую природу лета 17-го года, уступило место голой и пока не утоленной потребности понять и почувствовать все поколенье, во всей его горькой и несчастной целости в 27-м, — потребности, уже не утолимой одной интуицией, а обреченной долго и мучительно побираться в своем голоде по бесформенно расползшимся дорогам неизученных фактов и чужих преждевременных обобщений.

Скажите, что этот разговор уже состоялся и всё известно Вам, и тогда со всею точностью я вернусь к Вашему письму. В дальнейшем же, если это суждено, мы будем перекидываться с Вами частностями о частностях.

Мне не сказать, как оно меня взволновало. Даже и Ваша совершенно очевидная переоценка моих сил1, чтобы не говорить об остальном, и та растрогала и умилила меня, как черта, несоразмерно более рисующая Вас самих, нежели как бы то ни было относящаяся до меня. Не объясню Вам, за дальностью темы, но сам прекрасно знаю, отчего именно черта эта отбросила меня к годам первых детских пробуждений2, когда те же щедрые, неожиданно широкие ноты слышались в разговорах и сужденьях людей Толстовского времени и круга. Отец стал только иллюстрировать его тогда3. Самого Л<ьва> Н<иколаевича> помню очень смутно. Его почти замещает в том сводном ощущеньи образ другого старика, художника Н. Н. Ге4. Именно к нерасчлененному пятну той поры сходятся, как это ни странно, корни всего потом воспоследовавшего. Даже Rilke (он тогда ездил в Ясную Поляну) зарождается именно тут, впрочем несколько к концу, около 1900 г.5 В традиции, туда же восходит и мое ощущенье Вас. И Вы легко себе представите, с каким чувством лично к Вам натыкался я, за чтеньем матерьялов к 1905-му году, на факты, делающие такую честь Вашему имени и семье6. Это к тому же и история, да еще вдобавок и история ослепительнейшего исключенья из всего этого странного царствованья.

А сила, превращающая нечаянности личной повести в партии исторического письма, есть именно та сила, которая, к глубокому моему горю, все больше и больше порабощает меня. Где-то она играет между нами. Наверное я давно кончился, деятельно и страдательно поглощенный одним из ее уравнений.

— Совершенно нелепо наверное поминать теперь про предложенье «Согшпегсе»7. Там незаслуженно любезны. Переведены ведь решительные пустяки. Для меня большим счастьем было помещенье переводов именно в этом журнале. Если они не оставили мысли о гонораре, то вероятно можно его перевести сюда по моему адресу через какой-нибудь банк. Гораздо ощутительнейшим вознагражденьем было именно вниманье журнала и, прежде всего, самые переводы. Они мне понравились. Если Вы знаете Е. Извольскую, передайте, пожалуйста, ей мою глубочайшую признательность.

Горячо Вас благодарю за мысль перевести «Детство Люверс»8. Допустив даже, что вещь заслуживает Вашего труда и вниманья французов и до конца не будет Вами брошена, — откуда быть и тут гонорару, о котором Вы говорите, если не из готовности Вашей урезать свой собственный или уделить мне его долю? Разумеется, это ни с какой стороны не допустимо, и разговоры об этом должны быть оставлены. — Мне очень трудно писать Вам, как трудно (и еще труднее) временами переписываться с М. И. Это в полном смысле — растравливанье раны, и без того постоянно дающей чувствовать себя. На поездку же с женой и ребенком у меня нет денег.

Не сердитесь, что письмо пересылаю Вам через М. И. Это вне моей власти, я не знаю, отчего это так, но во всем верю ей и ее живому превосходству9. Желаю Вам счастливого и успешного лета.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Список рукой М. Цветаевой с ее примеч.: «Письмо Б. П. к Св.-М<ир>скому, по праву моей собственности на Б. П. прочитанное и переписанное» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 162). Письмо сопровождалось запиской к Цветаевой: «Вот письмо к Св.-Мирскому. Сделай одолженье, перешли его» (там же. С. 339).

Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, профессор Кембриджского университета, литературный критик, входил в группу «евразийцев», автор статей о Цветаевой и Пастернаке. Письма Пастернака к нему не сохранились.

1 Д. П. Святополк-Мирский 8 янв. 1927 г. писал Пастернаку: «Если бы я смел думать, что моя оценка может Вам быть интересна, я бы хотел Вам говорить также о том, что такого поэта, как Вы, у нас в России не было со времени золотого века, а в Европе сейчас может быть спор только между Вами и Т. С. Элиотом» (Slavica Hierosolymitana, 1981, № 5/6. С. 536).

2 Имеется в виду ночное пробуждение 23 ноября 1894 г. во время домашнего концерта в квартире Пастернаков, на который приезжали Л. Н. Толстой с дочерьми.

3 Иллюстрации Л. О. Пастернака к «Войне и миру» были сделаны в 1893 г., к «Воскресению» в 1898-1899 гг.

4 Н. Н. Ге познакомился с Л. О. Пастернаком в 1889 г.; бывая в Москве, навещал его и сдружился с его сыном. «Я знал Ге, когда был мальчиком. Он даже иногда говорил, что у него есть только два настоящих друга: Лев Николаевич и я», — записал А. К. Гладков слова Пастернака («Встречи с Пастернаком». М., 2002, С. 108).

5 Р.-М. Рильке познакомился с Л. О. Пастернаком в 1899 г. и с его помощью был принят Толстым; в мае 1900 г. Пастернаки встретились с

Рильке на Курском вокзале, когда тот направлялся в Ясную Поляну. Этим эпизодом Пастернак начинает «Охранную грамоту».

6 Отец Святополка-Мирского, Петр Дмитриевич Святополк-Мирский после убийства В. К. Плеве был назначен министром внутренних дел (1904 — начало 1905); его политика отличалась смягчением мер подавления общественного недовольства.

7 Святополк-Мирский писал 8 января 1927: «...Французский журнал «Сотшегсе» напечатал некоторое время тому назад переводы двух Ваших стихотворений <...> Они хотят Вам заплатить за них гонорар, и вероятно хороший. Как Вам было бы удобнее всего, чтобы Вам выслали деньги: куда и в какой форме (чек, перевод, валюта)?» (Slavica Hierosolymitana, 1981, № 5/6. С. 536).

8 Святополк-Мирский собирался перевести «Детство Люверс» на английский и на французский языки, но ни один из переводов не был осуществлен.

9 Цветаева хотела быть в курсе переписки Святополка-Мирского с Пастернаком и, переправляя 12 янв. 1927 г. его письмо, писала: «Пересылаю тебе письмо М<ир>ского, которому не давала твоего адреса и которому умоляю его не давать. Причины

внутренние (дурной глаз и пр.) — посему веские, верь мне. <...> Нарочно пишу на его письме, чтобы запечатать волю (его к твоему адресу), твою — к даче его (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 267).

356. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

17 мая 1927, Москва

17/V/27

Дорогая Раиса Николаевна!

Как мы ни были бы рады письму от Вас, мы при нашей корреспондентской практике не вправе рассчитывать на скорый ответ. Таким образом никак не обманутое ожиданье, а то обстоятельство, что я письмо к Вам отправил простым, и для адреса воспользовался подчеркнутым названьем гостиницы на открытке, вот что наводит меня сейчас на опасенье, что Вы его может быть не получили. Восстанавливать его содержанья совсем, конечно, не стоит. Главное существо его заключалось в горячей и давней благодарности моей Вам, недавно обновленной Вашим приглашеньем в Сорренто. Горько мне будет узнать, что эта ссылка на то письмо есть первый наш, до Вас дошедший отклик1.

А лето верно у Вас в полном разгаре, и Вы давно забыли новизну первых дней приезда, сказавшуюся между прочим в Вашем письме? Как живется Вам тут и что Вы делаете? Работаете ли? А я продолжаю жить надеждою на поездку и продолжительное пребыванье где-нибудь на Западе. Второй год я осуществленье этой мечты откладываю на год. Говорят, это дурной признак. У меня действительно слабая воля, а может быть ее и вовсе у меня нет. Со стороны позволительно видеть в моих доводах пустые отговорки. Мне они не кажутся простыми выдумками в защиту неподвижности.

Мне предстоит очень трудный, критически-трудный год. Трудности его надо взять на себя, оставаясь здесь. Разрыв с людьми, с которыми тебя все время ставили в связь, неосуществим из-за рубежа: в этой перспективе есть какая-то, трудно преодолимая неловкость. Вы наверное имеете представленье о совершенно непроходимом лицемерии и раболепьи, ставшем основной и обязательной нотой нашей «общественности» и словесности, в той ее части, где кончается беллетристический вымысел и начинается мысль. Есть журнал «Леф», который бы не заслуживал упоминанья, если бы он не сгущал до физической нестерпимое™ эту раболепную ноту. По счастью совесть видно до конца не вытравима и у современников. Журнал вызвал резкий, эмоционально понятный, отпор. Пошли диспуты о «Лефе». Но чувство и тут не развязало сов'языка. Аргументация противников стоит лефовской: ли-цемерье вращается вкруг лицемерья2. Те же ссылки на начальство, на авторитет, как на олицетворенную идею, то же мышленье в рамках должностного софизма, то же граммофонное красноречье. Вот из этого ложного круга, в оба полукружья которого я взят против моей воли, катастрофически и фатально, надо выйти на месте или по крайней мере попытаться.

С Маяковским и Асеевым меня связывает дружба. Лет уж пять как эта связь становится проблемой, дилеммой, задачей, временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивали нас и еще не делали врагами. Не безжизненно-двойственна ли и вся действительность кругом, не насквозь ли она условна в своих расчетах на какую-то отдаленную безусловность? Мне всегда казалось, что прирожденный талант Маяковского взорвет когда-нибудь, должен будет взорвать те слои химически чистой чепухи, по бессмыслице похожей на сон, которыми он добровольно затягивался и до неузнаваемости затянулся в это десятилетье. Я жил, в своих чувствах к ним, только этой надеждой. Но мне и непонятно, и неизвестно до сих пор, что могло привлекать их ко мне, и не раз я их спрашивал, на что я дался и занадобился им, самый дальний, самый противоположный из дальних?

Так было до сих пор, пока в своей фальши (объективной конечно; субъективно они — искренни, но истории это неинтересно) они тонули в общей, бытовой. И клочок из «Лейтенанта Шмидта» был дан Маяковскому (мне тяжко стало его упрашиванье). Я не представлял себе, чтб будет в журнале и каков будет журнал. Когда же я увидал, что они стали обостренными выразителями этой ноты, когда фальшь стала их преимущественным делом и правом, которое они, как какое-то даренье свыше, с пеной у рта оспаривают у более бледных гипокритов3, готовых даже сказать правду лет через пять, — отношенья наши пришли в ясность. Маяковского нет сейчас тут, он за границей4. Мне все еще кажется, что я их переубежду и они исправятся. Нам предстоит серьезный разговор, и может быть последний. Гораздо трудней будет выступить с печатной аргументацией разрыва. Здесь придется говорить о том, о чем говорить не принято.

Удивительно, что я так расписался по вопросу очень мелкому и совсем неинтересному Вам. Странно вообще, что я этим делом так озабочен. Очевидно с этой точки начнет отходить и пробуждаться моя воля.

Осенью получу возможность выслать Вам две моих книги. Женя говорила, будто Вы не знаете ни «Сестры моей жизни», ни «Тем и Варьяций». Они переиздаются в одном томике. Другая — тот 1905-й год5, который нравится тут и верно будет хорошо встречен, но не ближе мне, чем эта встреча. Я писал его честно, он подвергался цензурным сокращеньям, но... Вы увидите и поймете. Наверно он скучен, холоден, прозаичен. Я его писал как-то не по-своему: меня тут всегда обвиняли в непонятности. Я старался сделать попонятней. Не может быть, чтоб эта вещь удалась. — Простите за скучное письмо. От души желаю Вам и Вашей семье приятного и полного отдыха.

Преданный Вам Б. Пастернак

Письмо на всякий случай посылаю по Вашему берлинскому адресу.

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

Отправлено в Берлин, оттуда было переслано в Италию (Анцио).

1 В письме № 350, которым Пастернак откликнулся на приглашение Ломоносовой.

2 Противником «Лефа» выступил В. П. Полонский в статьях «Леф или блеф» («Известия», 15 и 27 февр. 1927) и «Критические заметки. Блеф продолжается» («Новый мир, N° 5). В письме к Цветаевой эти статьи Пастернак назвал «официальным болотом со своим вечным словарем застоя и лицемерной глухоты» (№ 352).

3 Лицемеров (от фр. hypocrite).

4 Маяковский из Парижа поехал в Берлин и Варшаву; в Москву вернулся 22 мая 1927 г.

5 «Девятьсот пятый год». М.—Л., ГИЗ, 1927.

357. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

20 мая 1927, Москва

20/V/27

Дорогая Раиса Николаевна!

Ваше письмо получилось спустя час после отправки моего. Из Берлина Вам его перешлют, наверное. Большое спасибо за чудные фотографии. Особенно хороша групповая, где, посредине, так прекрасно вышли Вы.

Мы же, по-видимому, снимем дачу в 60-ти верстах от Москвы, поблизости от Абрамцева, бывшего когда-то именья Аксаковых, в местности вообще очевидно отличавшейся высоким литературным вкусом — (невдалеке в 5-ти верстах от деревни — именье Тютчевых)1. Вы знаете, вероятно, что теперь дачи строются и сдаются крестьянами, планирующими их наподобье собственных изб. С невымышленной и правдивой подоплекой происшедшего сталкиваешься именно за этими летними

поисками. А сравнивая год от году эти наблюденья, делаешь выводы и о росте явленья. И вот, наш будущий хозяин в этом отношеньи особенно замечательный пример.

В развороте и размерах строенья он вообще оторвался от психологии деревни и заскочил, надо думать, вперед. Глядя на кирпич и дерево этого коттеджа, верится, что он что-то знает и не ошибается, что года его нагонят и утвердят. Достаточно сказать, что этот дом2, который он, конечно, для себя строил, он вынес на самый обрыв, нет, более того, за откос, укрепив дикую среди остальной деревни (по дерзости и художественным запросам) террасу огромными бревнами. Выбор места делает подозрительным его классовое самосознанье. Это лучшее по живописности место верст на двадцать крутом. Что-то такое мы видели у Лар-сона и Цорна. Но его зовут Веденеев, он не финн и Скандинавии не знает.

Итак, в этом году нам не увидаться, как, еще дольше вероятно, мне не видать Италии. Я ее немного знаю. Стыдно сознаться, — я не был в Риме. Но Венецию, Флоренцию и Пизу я помню3. Путешествовал я недолго, и на совершенные гроши, студентом.

Тогда не было виз и собственных притязаний, заводящихся в одно и то же время с жиру и от скудости (борьбы за существованье). Чудным летним вечером в одном Марбургском кафе три товарища, два немца и француз стали убеждать меня, что надо мне посмотреть Италию. Не расстраивая стола и не учащая темпа беседы, мы спросили у кельнера Kursbuch*. Был отыскан ближайший по времени Bummelzug" с целым хвостом пересадок. Оставалось еще время сходить к хозяйке. Денег потребовалось так мало, что если бы теперь я вздумал путешествовать из того же расчета, можно было бы трижды опоясать земной шар. Собеседники мои уже находились на вокзале, куда перешли из LokalV**. Все это носило характер студенческого задушевного чудачества. Впоследствии я сообразил, что был в Милане, и образ собора составился у меня не по одним репродукциям. Дело в том, что уже в Базеле, бродя по музею, я падал с ног от недосыпанья: ночи я проводил в дороге, в поезде, чтобы не издерживаться на гостиницы. И Милан точно приснился мне, лучше сказать — сновиденьем скользнул по ногам, бессильный подняться выше. Зато не в пример Милану как раз это состоянье, похожее на медиумический транс, помогло Венеции и Флоренции, и без того ни с чем не сравнимым, всей своей неподготовленной божественностью войти и до самой кости врезаться в мою память. Люди и земля принимали меня тогда как брата. В Венеции я остановил человека, показавшегося мне двойником Марбургского кельнера (с Kursbuch'oM), особенно тогда настаивавшего на моей поездке. Без знанья итальянского, которому я подражал исключительно по-птичьи, одного курьеза ради, — без языка, я вознамерился объяснить остановленному эту сложную метафизическую иллюзию и ее прелесть. Я нес невозможную околесицу и меня понимали. Я пугал scimie и camisce (так, кажется?), смешивал coltello и sportello****, и на мои вопросы об обезьянах меня успокаивали, что комната без клопов, а на вопрос о ножике указывали билетную кассу. По черной неблагодарности, глубоко вообще вкорененной в человека, я находил, что мне в Италии недостает глубины и тяжеловесности германского духа (я люблю эту глушинку, составляющую переход от человека к природе, некоторый полутон, находящийся на границе между субъективностью и

* расписание поездов (нем.). ** почтовый поезд (нем.). *** кафе (нем.).

**** обезьяны; рубашки; ножик; окошко в кассе (ит.).

объективным). Не говоря об итальянской повседневности, мне даже и моя очарованность ею казалась как бы смазанной прованским маслом. Вспоминались легкие опереточные мотивы, время скользило и располагало к скольженью. Позднее в Вене я понял, какое наказанье попасть из Италии в другую страну. Я пожалел, что едущих на север не хлороформируют в Местре4. Операцию переезда следовало бы

производить под наркозом, в состояньи беспамятства. Туг я измерил, как артистична итальянская улица, как одарен и гениален ее звук и воздух, и насколько бездарным кажется людское прозябанье после ее, немного мошеннического, оптимизма.

В своем письме Вы вновь даете выраженье беспричинной симпатии к обоим Женям. Еще менее заслуженно Вы признали душевно близким мое письмо. Горячо благодарю Вас за эту теплоту. По отношенью ко мне она держится только на том, что Вы меня не знаете и не видали. Вы представить себе не можете, до чего я не в Вашем вкусе, не в правилах Вашей эстетики, не в духе Ваших знакомств, Вашей завидной, как смею догадываться, по душевной образцовости, семьи и жизни. Всегда, сколько себя помню, я жил какой-нибудь одной (всегда болезненно-ложной) предвзятой идеей. Я не уничтожался только оттого, что они сменялись. Одна освобождала от другой. — Вдруг выяснилось, что время, которое наступало, наступало, — пока мы зевали, и в один прекрасный день объявило себя окончательно наступившим, не знает больных и повернуто к ним спиною. Некоторую метаморфозу должен был, вероятно, испытать и я. Меня оздоровили заботы о семье и то положенье в литературе, которое я назову утратой неизвестности. — Что это такое и для чего оно сделалось, покажет время. Я тягощусь собой в этой временной неизвестности, и еще тяжелее для близких.

О Дюамеле я верно написал недостаточно ясно5. Я не упрекал его в нескромности, напротив, это исключительный по непритязательности человек. Я говорил не о его поведенъи, а о характере современного художественного познанья, которое держится количественным коэффициентом мнимо обнятого и охваченного, и умеет любить человека, разлюбив живые качества. И то я верно несправедлив к нему: он тоже не был тут самим собою. —

Всего лучшего, дорогая Раиса Николаевна! Сердечнейший привет Юрию Владимировичу и Вашему сыну.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Анцио.

1 С мая по середину сентября 1927 г. Пастернаки жили в деревне Мутовки недалеко от знаменитого имения С. Т. Аксакова Абрамцево; перешедшее к С. И. Мамонтову, на рубеже XIX и XX вв. оно стало центром художественной жизни. Имением Тютчевых Пастернак называет Мураново, принадлежавшее Б. А. Баратынскому, перешедшее по наследству сыну Тютчева и ставшее музеем обоих поэтов.

2 В 1998 г. на этом доме была открыта мемориальная доска в память пребывания здесь Пастернака летом 1927 г.

3 Пастернак здесь во многом предваряет описание своей поездки в августе 1912 г. из Марбурга в Италию в «Охранной грамоте» (1931).

4 Местре — первая остановка на конце дамбы, соединяющей Венецию с материком. Обратный путь Пастернака из Италии лежал через Инсбрук и Вену.

5 См. письмо № 350.

358. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

27мая 1927, Москва

Дорогая Марина.

Я и второпях пишу тебе с полнейшим сердцем, без опасенья. Ты все видишь, ты увидишь, как и когда что пишется. Живость положенья целиком дойдет до тебя, не останется за порогом; действительность тебя в заблужденье не введет.

Я не учел, не додумал, а потому и не сказал тебе, в какой степени все это зависит от денег. Даже и Кавказ, представь (в семейной части, в комбинациях), пока недоступен.

Но у меня большая радость. Стало совершенно легко на душе. Вот основанье этой легкости. Я довел до конца, до каких-то простых человеческих положений тот круг

мыслей, который меня беспокоил. Отчасти ты знаешь их. Ты чудно о них сказала (Pestalozzi1).

Эти формулы ушли на дно ночного сосуществованья с временем, в рост волос, в походку. Я забыл об этих силлогизмах, выводы их материализовались в убежденьях. Я стал существовать в созданном обществе, которого нет, наверное. На пути такого восприятия его природы меня ждут может быть неприятности, может быть и крупные. Но я их встречу как неожиданность. Готовность к ним была бы невыносима. Я рад, что от нее избавился.

Как ни сильно обскакивала ты меня эти годы, осенью ты оставишь меня Бог знает где2. По стихотвореньям 24-го года книжка твоя совершенно бесподобная по полету и силе, ты и сама еще не знаешь ее заряда. А мне придется заняться реализацией неиспользованных начал (отрывков). Я попробую дописать Спектор-ского. Ты мне о нем ничего не говорила, он верно не нравится тебе. Но я его попытаюсь докончить. Личных побуждений тут гораздо больше, чем в случае с «1905-м». В замысле это почти на границе полной апологии поэтического мира. Ты скажешь, что он в ней не нуждается. Тогда ты не совсем представляешь себе, что тут произошло и насколько подчинен я — не чревовещанью времени, а жизни, протекающей среди чревовещающих лет. Чьей? Твоей, Р<ильков>ской, дважды моей. Но тебе покажется, что не так она протекла?

Спекторский это почти предпоследняя инстанция, так он задуман. — Кстати, ты как-то обмолвилась, что Шмидт, в 1-й части, был где-то перепечатан3. Где именно? Что касается И-й и Ш-й части, которую, просто для порядка, пересылаю4, то не давай их перепечатывать: может быть в корректуре я тут кое-что переделаю, и тогда правы окажутся те, что уже говорят, будто по многим признакам я скорее печатаюсь у вас, а тут перепечатываюсь. Осенью, думаю, выйдет книга. —

Замечательно говоришь ты о 2-й строке, о гимнасте, о гении связи5. Это та же тема, которой ты коснулась тогда из Лондона, о правдивости, ненарочитости даже явных поручений воли, ее почти что даже заказов судьбе у людей нашего строя. Слов твоих не помню, мысль была та же. Именно эта композиционная подоплека, как это тебе ни покажется странно, ввязала меня во все эти истории с историей, с духами года, с Pestalozzi и пр. Именно она и не оставляет меня без надежд среди самых иногда безнадежных предвестий. — Твои слова о М<аяковском> уже подхвачены, все поражаются их меткости и исчерпывающей глубине. — Говоря о моей связанности и трагизме твоей доброй воли, ты прибавляешь: «так например я достоверно теряю славу, свой час при жизни». Ты говоришь это не без горечи, меня это волнует6, мне хочется тебе по этому поводу сказать все, что знаю и что удесятерит мое чувство к тебе, — но у тебя это сказано слишком широко и неопределенно, раскрой и уточни этот намек, допускающий больше трех толкований. Утвержденье это противоречит фактам при любой дешифровке, но мне хочется знать, что именно померещилось тебе. Скорей и обязательно напиши об этом. —

Неужели ты не пересаливаешь, не шаржируешь (о Бунине, порнографии и пр.)? Но в таком случае что с ними? Это ведь неправдоподобно, непредставимо! А какой чистоты и силы и молодой, идеальной правды стихотворенье! А насчет письма (мир открытий, не могу одна, поящий — пьющий7) — ну конечно, Марина! И это мое «ну конечно» ведь известно тебе. — О, Марина, все будет прекрасно, не надо только говорить. Все, все, все решительно. Самое главное: книга твоя будет бесподобна!

Письмо становится все глупей и глупей. Не могу описать тебе душевной легкости, которая меня охватывает все более и более. Не представляю себе и никогда не смогу представить, чтобы ты могла стать когда-нибудь для меня меньше, чем есть или была. Ни о чем не хочу думать. На днях специально назначил встречу с Асеевым и Маяк<овским>, чтобы договориться, со всею резкостью, и поссориться. Говорили,

противоположности подчеркнуты и будут расти, и при всем том: — пустяки. Всем троим бросилось в глаза, что любим и любили друг друга больше, чем знали (о том). Это к характеристике состоянья. А пример — совершенная ничтожность в сравнении с тобою. Так хочу провести лето. Начинаю верить, что буду опять поэтом когда-нибудь.

Обнимаю. Очень твой.

Спасибо за журьбу по поводу письма к Св.-М<ирскому>. Шутливость его дошла до меня. Может быть и правда наделал глупостей.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 162). Датируется по почтовому штемпелю.

1 В наброске письма 8 мая 1927 Цветаева писала: «Но твой довод (повод) правдив и, <> ибо давно считаю правдой (чудовищное созвучие) тебя и обществ<енность>. В конце концов — простая qu'en dire-t-on, доброта и забота. О говорящ<ая>, почти что Pestalozzi. Я без злобы и без иронии» (там же. С. 328). Цветаева имеет в виду высказанное в письме Пастернака N° 352 желание начать писать вещи «с философией и с тоном, которые конечно должны будут пойти вразрез со всем здешним» и тем «убедить, если не переделать» отношение общества к вопросам искусства.

2 Осенью ожидался выход в свет книги Цветаевой «После России».

3 В журн. «Воля России», 1927, № 2.

4 Одновременно с письмом был послан оттиск 2—3-й частей «Лейтенанта Шмидта» из «Нового мира», 1927, № 5.

5 Имеются в виду слова Цветаевой из письма 8 мая 1927: «Ты же поэт, т. е. в каком-то смысле (нахождение 2-ой строки четверостишия, например) всё-таки акробат <гимнаст — гений!> мысл<ительн>ой связи» (там же. С. 328).

6 На эти слова Цветаева отвечала: «Борюшка, ты взволновался о славе. Дай, пойму. ...теряю свой час славы. Есть в этом горечь? Досада, пожалуй, и вот почему. <...> И вот, мое глубокое убеждение, что печатайся я в России, меня бы все поняли <...> потому что каждый бы нашел свое, потому что я — много, множественное. И меня бы эта любовь — несла. <...>

Просто, в России сейчас пустует тр<он>, по праву — не по желанию — мой. Говорю с тобой, как со своей совестью. Тебя же никогда не будут любить так, как Блока <...> Но, чтобы вернуться к славе — моих книг в России нет и поэтому поэта нет. Не Маяковского же им любить — служебного, не Асеева — бездушного, не тебя — иодсущного, когда они и сущего-то не видят, конечно, Борис, меня — с моими перебоями, перемежениями сокровения и откровений. Меня, Борис, — молнию, ту синюю вчерашнюю, бившуюся в мои окна в 2 часа ночи» (там же. С. 347, 348).

7 Цветаева писала 11 мая 1927: «То, что узнаешь вдвоем, — так бы я назвала, так это называется. <...> Подумай: странно<сть>: целая область души, в которую я (ты) не могу одна, Я — НЕ МОГУ ОДНА. И не Бог нужен — а человек. <...> Я бы такие слова нашла, самые (о <линии?> говорю) чистые, с<амые> точные. (Читатель бы думал, конечно, что я пишу о Царстве Небесном, <а?> меня сейчас здесь все обвиняют (Бунин, Гиппиус, молодежь, критика) обвиняют в порнографии за стих. <...> Ка<кая> чудн<ая> стра<на> для открытий — твоих и моих» (там же. С. 332, 333). И в другом месте: «...Не странно ли, что мужчина пойщий припадает к женщине как к роднику. Пбящий пьет! — Правда этой превратности (перевернутости). Дальше: не есть ли поить — единственная возможность жить» (там же. С. 336).

359. В. П. ПОЛОНСКОМУ

1 июня 1927, Мутовки

1. VI. 27

Дорогой Вячеслав Павлович!

У меня к Вам большая просьба. Введите, пожалуйста, в должное русло работу подателя Н. Н. Вильяма в Большой Советской Энциклопедии1. Я видел и знаю две его статьи для Словаря. Обе они удачны и содержательны. По моему мненью для недоразумений, которые у него случились с заместителями П. С. Когана, не должно быть никаких оснований. П. С. заказал ему статью о 1ель-дерлине на 6000 знаков2. Он статьей был удовлетворен. По отъезде П. С. при расплате Вильяму говорят, что о Гельдерлине была предложена статья всего лишь на 1000. Статья о Верфеле встретила замечания, которые просятся в Ваш Скобеевский литературный ларек3. Между тем у Вильяма работа выравнивается, он уже, и очень быстро, вошел в требующийся тон. Его обязательно надо поддержать и, Вячеслав Павлович, очень решительно.

Жалею, что не увижу Вас на этих днях, по приезде.

Я ухожу, и на этот раз окончательно, из Лефа. Вероятно, я оформлю это в виде письма к В<ладимиру> В<ладимировичу>. Вы знаете, как я его люблю и продолжаю ценить — метафизическим авансом. Вот часть письма, имеющая отношенье к Вам и к статье. Вы должны мне оставить свободу ее толкованья, лишь под этим условьем, даже при резкости, эта часть не только не обидна для Вас, а может быть, даже и наоборот4. Кроме того, таково и мое истинное пониманье. Дальше под словом «Вы» надо, значит, разуметь Маяковского. Предшествует мотивировка выхода: «Только вне лефовского пониманья поэта смею напомнить, что поэт не есть психологический тип, в своей общности реконструируемый из метафор, как из частностей дознанья, и из образов, как из реальных стычек с людьми отдаленных эпох. Бессмыслица, проникающая значительную часть статьи В. Полонского в «Новом мире», не может не быть сознательной. Нельзя предположить, чтобы критик и редактор забыл о границе, отделяющей переносный смысл от — во всех отношениях — непереносного. Утверждаю, что этот вопиющий по своей рискованности выпад против сильнейшего, что есть в нашей литературе за последнее десятилетье, гораздо шире и больше того, чем он может казаться. Это не только правомерная самозащита человека, пользующегося оружьем нападающих. Это защита всей литературы, всей той, среди которой числится и «Облако в штанах», от лефовских методов, не слышавших о таком произведеньи. Таким, каким Вы получились у Полонского, и должен выйти поэт, если принять к руководству ле-фовскую эстетику, лефовскую роль на диспутах о Есенине, полемические приемы «Лефа», больше же и прежде всего, лефовские художественные перспективы и идеалы. Честь и слава Вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана именно на Вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существованье «Лефа», как и раньше, считаю логической загадкой. Ключом к ней перестаю интересоваться».

Разрыв этот для меня нелегок. Они не хотят понять меня, более того, хотят не понимать. Я останусь в еще большем одиночестве, чем раньше. Буду в конце июня в Москве, хочу с Вами повидаться. Не оставьте Вильяма без подцержки.

Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268).

1 Пастернаки проводили лето в деревне Мутовки вместе с семейством Вильямов. В. П. Полонский заведовал отделом литературы и искусства БСЭ.

2 П. С. Коган был редактором отдела иностранной литературы.

3 Юмористический отдел «Нового мира» назывался «Литературный ларек. Фрол Скобеев».

4 Резкость по отношению к высказываниям Полонского в его статьях против «Лефа» («Новый мир», 1927, № 5, и «Известия», 26 и 27 февр. 1927) значительно смягчена в сравнении с тем, что Пастернак писал Цветаевой (письмо № 352) и

Ломоносовой (№ 356). Предполагаемое письмо к Маяковскому Пастернак не написал, возможно, это был деликатный способ высказать Полонскому свое несогласие с его позицией.

360. М. А. ФРОМАНУ

17 июня 1927, Мутовки

17/VI/27

Глубокоуважаемый тов. Фроман!

Благодарю Вас за книгу1. Искренность этого движенья исчерпывающе естественна. Не зная Вас лично, я при просьбе сообщить мне Ваше имя и отчество, впредь до Вашего письма, мог бы этим ограничиться.

Но Вы, верно, интересуетесь моим мненьем о книге?

Тогда — несколько слов о себе. Я ославлен за свою дурную, якобы, терпимость. За моей действительной мягкостью людям, ищущим во всем подозрительных пружин, мерещатся виды и мотивы, которых нет за ней. Настоящая ее причина та, что я сын художника, искусство и больших людей видел с первых дней и к высокому и исключительному привык относиться как к природе, как к живой норме. Социально, в общежитии оно для меня от рожденья слилось с обиходом. Как размноженное явленье, оно для меня не выделено из обыденности цеховым помостом, не взято в именные кавычки, как для большинства. Размежевывающей, строгой нотой сопровождается у меня только моя собственная работа. В том же изолирующем духе, и тогда строго и пристрастно, я умею судить еще лишь об искусстве, ставшем историей и, так сказать, выделившемся из жизни, да еще об узком круге разительно близкого, исходно подобного современного творчества. Лет в шестнадцать я все, за вычетом сказанного, и отрицал, как письменность нетворческого быта. Ясно, что при таком мериле нельзя было остаться, перешагнув за порог собственной комнаты. И теперь я принимаю очень многое, несравненно больше Вас и любого судьи и ценителя. Но даже и то, что мои товарищи признают со строгим отбором, я оцениваю излишне широко, вне рамок творчества и мастерства, в плоскости идей и нравов поколенья, как цвет и лучшее выраженье его повседневности. Потому что и теперь, если бы я отказался от этой излишней широты, строгость истинно творческого подхода отбросила бы меня к моей юношеской узости, поклонявшейся одному имени, и переживавшей, как предательство, всякое второе. Кроме того и в работе я давно отошел от чистой и насыщенной субъективности. А последнее десятилетье и просто силою перетащило на растворы различной слабости и сомнительности. И если не время было взыскивать с себя, то к другим следовало ослабить требовательность и подавно. Однако временная и случайная причина моей терпимости ничтожна по сравненью с главной и прирожденной.

Теперь, вместо того, чтобы разбирать ее подоплеку, попробуем ей воспротивиться. Итак, я буду беспощаден.

Я не знаю Вашего поэтического прошлого. Может быть Вы писали ярче и смелее, и «Память» это свидетельство смиренья, перелома во вкусе, перехода к классической простоте и скромности, свободной от пошлости позы. Все это мыслимо и допустимо.

Но вот что получилось. Блок и Пушкин подхвачены Вами с пагубнейшей для поэта стороны. Они царят в Вашей поэтике и большинстве стихов, обесценясь и сами, в виде обобщенно-типической стихии, с неопределенною тропикой, с приблизительнос-тями и однообразьем словаря. Нет значенья, чему бы оно ни было свойственно, которое бы этой нейтрализующей средой не обезраз-личивалось до полной незначимости. Его утрачивает и поэтическая мысль (метафора начинает казаться стилистическим орнаментом, реторической случайностью без глубины; она понижается). Его теряет и

отдельное слово (прямой смысл начинает восприниматься тоже орнаментально, как выраженье без обиходно-житейской соли; оно, в ущерб себе, идеализуется).

Пример первого (обесцвеченья темы, метафоры, распространенных поэтических элементов). В стихотвореньи на стр. 21 хороший, на протяженьи 8 строк поэтический матерьял выветривается лирическим трафаретом двух заключительных строчек, 2 первые строки тоже слабы, но сами по себе они сошли бы еще с рук, не погуби всего дела заключительные2. Но ведь, ничего не значащие (в этих эпитетах), и они могли бы отвечать вложенному значенью! Так, слева, на стр. 20, общий непритязательный разброд каждострочной символики сообщает недействительность и строчке: «Морщинами в ладонь легли дороги»3. Поэтически значимая в отдельности, она сама отказывается от мелькнувшего за нею образа во имя общей непретенциозности контекста. Но ведь взятье поэтического образа, всегда крутого и неожиданного — не претензия только оттого, что оно в тысячу раз сильнее и внезапнее всякой претензии. И образ кажется тем естественней, чем эта божественная сверхпретензия ближе к природе: т. е. чем насильственнее она относительно прощающейся общепринятое™, чем полнее натурального внушенья, чем победоноснее. — Так, стихотворение на стр. 22 все время колеблется между хорошим пейзажем и хорошим слогом, и первого не дает, потому что его обижает этим колебаньем4.

Так, Берлин и прошлое были бы несоизмеримо живее в имеющейся и уже набранной своей ткани при множестве прекрасных строк, без «уютных и простых»5 эпитетов, дважды разъясняющих читателю, что это не хорошая картина, как он раньше думал, а хороший тон и литературное добронравие. То же самое происходит и на стр. 32 с хорошим началом и концом стихотворенья6 и с хорошей строчкой «Слепую смерть ведет слепая жизнь» на стр. 337.

В качестве примера обесцененья отдельных слов возьму, для краткости, два. Не говоря уже об утрате эмоционального смысла обоими, они обезличены и в своей функции: при частой повторяемости по разным и всегда приблизительным, не заостренным поводам, они под конец выравниваются по какой-то средней промежуточной между словарным прилагательным и поэтическим эпитетом. Виноват, я забыл, что одно из них — существительное. Но все равно. Это слова: веселый на стр. 15,17, 33, 35 (повеселевшая), 52, 548; и слово улыбка на стр. 19, 26, 28, 31, 39, 40, 43, 549.

Между тем, поэзия, как я ее понимаю, в первую голову призвана поляризовать эти крайности (прямой и переносный смысл). В дальнейшем, при двинувшейся циркуляции оживающего выраженья, она вправе думать и о единстве стиля и о деятельной гармонии, о гармонии в действии и на ходу.

Приблизительно с середины книги, со страницы 38-й, недостаток, которому я уделил столько вниманья, ослабляется; книга, в отдельных пропорциях и итогах становится лучше. Характерно, что не сознавая источника обессмысливающей нейтрализации, Вы в этой части удачно боретесь с ним силой одной потребности изложить связно сложный предмет или событье. Видите, значит достаточно заинтересоваться хотя бы устойчивостью содержания, чтобы тотчас же разорвался этот слитный, мнимо-лирический стиль, и, разъединясь, уступил место хотя бы выразительным достоинствам живой речи. А что получится, когда Вы станете заботиться не только о соответственной передаче темы, но о том, чтобы и вся передача ее была значащей тканью, тканью, проводящей значенье! Эта часть, как я сказал, лучше первой. Здесь находятся стихи «28 декабря», «Гроза» и «Молодость», положительно и без оговорок понравившиеся мне. Но и в этой части ряд неплохих стихотворений добровольно тяготеет к бесцветности и ее достигает с помощью строф, подобных, к примеру, последним 3-м на стр. 42 и 43. При неточности тона, как понимать эту

реальную девочку, ежели не эмблематически?10 А тогда это — оперный плафон. «Der Dichtung Schleier aus der Hand der Warheit»* — звучало в свое время легче и свежей11.

Не обижайтесь на меня. Я приложил к Вам строжайшее поэтическое мерило. Кроме того, этот подробный разбор, который стоил мне труда и времени, предпринят из симпатии, объяснимой, при незнакомстве моем с Вами, какими-то другими достоинствами, оставившими след в Вашей книге. Они шире строки и рифмы, шире поэтического пути. Но они шире и личных Ваших качеств: их, и зная, я бы не касался. Это те качества, без которых культура мигала бы, и не светилась ровно и бесперебойно.

Простите, что я не фиксировал их и говорил о другом. Жму Вашу руку. Еще раз, спасибо.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, JSfe 9. — Автограф.

Михаил Александрович Фроман, поэт и прозаик, вместе со своей женой И. М. Наппельбаум входил в группу Н. С. Гумилева «Звучащая раковина».

1 М. Фроман. Память. 1924-1926 г. Л., «Academia», 1927.

2 Стих. «Мне страшно, друг. Я слышу хруст и ржанье...»

3 Из стих. «И вот вся жизнь: сомненья и тревоги...»

4 Стих. «Скрипит сосна. Над мутною рекой...»

5 Из стих. «Томлюсь тридцатою весной, / Как не томился двадцать первой, — / Такой уютной и простой».

6 Стих. «За шагом шаг, не подымая рук...»

7 Стих. «Вот так и жить: набухшим от тревоги...»

8 «Каждый день меня встречает / Веселей и горячей», «Четыре веселые брата задуть не сумеют», «Когда-то милые веселые дороги», «Повеселевшая вдруг запоет душа», «Еще есть веселая игра», «О веселой улыбке на теплых губах».

9 «Ты в мире не один. С улыбкою подруга», «С простой улыбкою твоей», «И заслонив лицо улыбкой торопливой», «Мне улыбнулся свежий рот», «Своей улыбкой неземной», «Улыбка наглая лжеца», «И уст улыбку, и лучей», «О веселой улыбке на теплых губах».

* «Покров поэзии из рук истины» (нем.).

10 «И вся озарена лучами, / С цветущей веткою в руках / Предстала девочка пред нами» из стих. «Насвистываю у окна...».

11 Знаменитая формула Гете из «Посвящения» к поэме «Тайны»; в переводе Пастернака: «Поэзии покров благоуханный / От Истины, ее руками тканный».

361. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

19 июня 1927, Мутовки

19 / VI / 27. Дер<евня> Мутовки Дорогая Марина!

Мы на даче. С неделю готово письмо тебе, в ответ на твое (где о славе, переоценка III части Шмидта, несколько слов о М<ая-ковском> и работе над лирикой). Оно лежало, и я не даю тебе деревенского адреса, потому что не доверяю местной почте. В особенности заграничная переписка ей не по навыку. Не пересылаю его и пишу новое потому, что оказия, с которой хотел его послать, против моего ожиданья запоздала. Брат не приехал из города в воскресенье1, как думали, завтра отправлюсь в Москву я сам. И только оттого, что письмо пролежало больше, чем я предполагал, оно мне кажется несвежим. Это с ним случилось именно в дни, прибавившиеся против недельного расчета.

Сначала несколько слов о себе, с этим я разделаюсь быстро, без трудной точности. Здесь очень хорошо. Это в 5-ти верстах от Хотькова. Под боком — Абрамцево, Аксаковское в далеком прошлом, позднее — Мамонтовское именье. Помнишь лавочку

в одно окно в Петровских линиях, с Поленовыми, Малютиными, Врубелями и др. из дуба, ореха и майолики. Твой лев, третий год служащий мне настольной пепельницей, думается, тоже оттуда2. Ну вот, мы теперь на их заброшенной родине, в 60-ти верстах от Москвы, в прекрасной новой избе, на самом краю лесистого обрыва, с соответствующими просторами, открывающимися с него, и рекой Ворей, являющейся из лесу на противоположной высоте и сворачивающейся в две круглых излуки на наших глазах, под нами, в кустах, болотцах и других неописуемых неожиданностях. День на третий или на четвертый после переезда, набродившись, сколько надо, кругом, я проснулся в том самом мире, от которого, в твоем выраженьи, у меня пойдет мороз по коже3, как и сама ты хорошо предчувствуешь. Ты занята им сейчас, я страшно верю в эту твою полосу и люблю твою готовящуюся книжку и твое лето перед ней: это и по историческим часам Европы нынешним летом (т. е. им самим над головами и в сердцах и по лицу земли) мыслимо, нужно и жданно и воплотимо. Просыпается послевоенный человек, с природою, как сном, в чуть-чуть постаревших глазах, с жаждой наверстать проспанное без сновидений. Нечто подобное, в качестве близких рабочих видов, колыхнулось и во мне. Завозился над Спектор-ским, кое-что обдумал, кое-что записал, нашел вновь, что Тютчев выдерживает, как всегда, предельное испытанье сырого зеленого соседства, облюбовал урок: сходить в Мураново, Тютчевское именье в 8-ми верстах отсюда и о прогулке написать, что дадут сказать, на тему: время, природа, поэзия (гётеанская гамма, внушаемая тут каждым оврагом, каждым часом, отданным лесу или реке). Так зажилось тут сначала, я с верой и повеселевшей волей взглянул вперед. И вдруг все изменилось. Я знаю, условья, в которых ты работаешь, в смысле времени, средств и житейских сил — в тысячу раз хуже моих, и стыдно и больно, что я этого не могу изменить. Но ты понятья не имеешь о том, какие нравственные неожиданности (в смысле перспектив и настроений) подстерегают тебя тут на каждом шагу, в лучшие, лучшие абсолютно, т. е. не для тебя одного, а для всего дня, минуты! Так было и сейчас. В конце недели из города привезли газеты. Есть вещи, относительно которых всего естественнее молчанье полной подавленности и потрясенья. С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явленью» свободолюбивого века! И вот — не дано, — возмущает до основанья, застилает горизонт. Что сказать? Завтра я разверну привезенную из города газету4, и журналист в пиджаке, обремененный семьей и этим зарабатывающий себе и ей на пропитанье, пропишет мне, что четвертованье и сажанье на кол есть последнее открытье передового человечества, читавшего Маркса в библиотеке, а не глодавшего его в пещере, а послезавтра другой сукин сын (прости, Марина) по служебным обязанностям докажет, что я английский шпион потому, что на конверте, полученном мной, английские марки, и оно из Лондона, и потребность в связи с людьми и миром — блажь на взгляд обесчухломленной чухломы5, которая лучше меня знает, что надо мне для моего спасенья. На эти фразы мне не отвечай, не облегчай другим выслуги6, если меня спросят, я отвечу: да, ради этого герои шли на смерть, об этом мечтало человечество: чтобы отмывшись от вшей, изойти от душевного зуда внутреннего подглядыванья, чтобы покрыться паразитами по всей совести, чтобы зачесалась душа.

Кроме того — настали холода, пошли дожди, заболел мальчик. Я не знаю, чем он хворал. 3 дня у него был сильный жар.

Я дважды за пять верст лесной дорогой (почему описываю? — один раз это было ночью) ходил за доктором. Обещал и не был: раз, потому что был занят в больнице; другой — потому что подряженный для него извощик затонул по пути в доме крестьянина (культурное учрежденье с прямо противоположными целями). Мальчику

давали по вдохновенью то касторку, то еще что-нибудь. Показалось — корь. Сегодня он первый раз гулять вышел.

Итак, это время было не до работы, и хуже: как всегда при таких причинах широкого характера и неопределимо распространяющегося действия — должно было сказаться и на близких: мальчик капризничал, буянил и нюнил (тонкая переборка не доверху, т. е. вдвое больнее уху, чем без перегородки, когда занят и глаз) — ссорились с женой.

Сегодня впервые выглянуло солнце. И мальчик гуляет. И я пишу тебе, т. е. мне кажется, что душу отвел. Словом, давай признаем, что мне надо «светлее» взглянуть на себя и свое, и лета с работой не уступать настроеньям. Может быть и правда все улучшится и опять наладится ладившееся уже было.

Перед отъездом раза два виделся с Асей. У ней завязалась переписка с Горьким, читала мне одно письмо, удивительное по уму и сердечности: он зовет ее вместе с ее другом в Италию7 и вызывается помочь им не только денежно, но в смысле влиянья по ис-хлопотаныо виз. Подумай, может еще так случиться, что ты с ней встретишься! Я от души ей желаю осуществлены! этой мечты.

Я не знаю, писал ли я тебе, что болел Ш-й частью Шмидта, т. е. темой суда и казни, т. е. этой не утратившей остроты, людоедской и в наши дни, темой. Думаю и я, — она лучше других. Но ты ее хвалишь сверх меры и, радуя своим желаньем придраться, к чему можно, чтобы обнять похвалой, вместе с тем и смущаешь. Если бы эта часть была так хороша, как тебе того хочется, мне пришлось бы пожертвовать половиной денег, следуемых за книгу, и сократить поэму вдвое, равняясь по этим мнимым ее превосходствам8. Я же к этому ни с какой стороны не готов, особенно в качестве книги не был заинтересован, примирившись с самого начала с ее уровнем, и вообще, относился к этому легко. И вот, глупый, как это иногда у меня бывает, вопрос к тебе. Напиши мне, если можешь, не откладывая, как мне быть. Делать ли из этого готового и почти вперед оплаченного греха стоющее нечто или пощадить, в этом изданьи, время и карман? Кстати завтра еду за первой корректурой. Ответь так, чтобы застать меня за ней. Я к тебе даже обращаюсь как к самому дорогому и к оракулу, а не как к поэту за советом: для этого последнего случая вопрос поставлен слишком расплывчато и нелепо.

Написал отсюда С.-М<ирскому>, воспользовавшись данным адресом. Дал также и свой. Честное слово, я не понимаю твоих замечаний по этому поводу, даже как шуточных. Зимой я принял это без рассужденья, как твою волю9. Теперь ты, видно, отказалась от такого порядка. Зачем же ты подтруниваешь над собою и мной?

Но все это пустяки. Как не хочется мне говорить тебе под руку, но как представляю я себе, что с тобой делается и что ты дашь! Горячо тебе желаю подходящего расположенья, требующейся тишины и свободы, здоровья кругом, хорошей погоды и сосредоточенной силы, превращающей эти дни и недели в начальные, с новой мыслимой необозримостью сроков впереди. О, как я безбожно комкаю всегда, когда, не продумав, ляпаю разом, желая много сказать. Горячо желаю тебе досуга и удачи, горячо, горячо. Это не только сильнейшее мое пожеланье тебе, но и сильнейшее вообще мое желанье. Верю в тебя и в то, что чтб ни наметишь, исполнишь.

Из твоих слов о славе существенно только соображенье, что книг твоих тут нет. Между прочим до сих пор и я в таком же положены!, и оно изменится только осенью, не знаю, с каким результатом для меня. Но вернусь к тебе. Замечанье правильное. Их отсутствия недооценивать нельзя. Но вывод («а стало быть, нет и меня») неправилен и, — как свидетель ручаюсь, — ложен. Вот мои наблюденья и соответственные сему предположенья.

1) В широчайшем, нарицательном смысле тебе предстоит еще стать открытьем для местной литературной заштатности, для тех, которым нет числа, т. е. скажем, для провинциальной газеты. Тебе этого не миновать, и ждать, относительно, — недолго. Ну что же, с этим можно поздравить. Не смейся. Из всех видов популярности это — еще живая ее форма. При ней безлично неопределенное множество входит в твою жизнь еще облагороженным своей по-раженностью, состояньем своего восторженного прозренья. В таком виде, взволнованное первым знакомством, среднее арифметическое, входя в твою биографию, еще не портит ей желудка, еще по свежести своей годится в дорогу тебе. Это о перспективе известности вновь повсеместной.

2) В более же узком кругу, в том, в котором живу и я, и проживу свой век, и вне которого меня нет, ты последние годы не перестаешь вести исключительное, завидно повышенное существованье. Эти разговоры о Марине Цветаевой особенно удивительны тем, что они ничего не утрачивают в своей свежести, несмотря на свое постоянство. И в апреле их жиру не мешает то, что с такою же дружной внезапностью они по тем же редакциям (разумеется, неофициально) велись в феврале и марте. Существованье это не развешано по гвоздям именных связей. Оно расходится по неведомым путям. Поэмы ходят в списках.

Однажды в журнале, поставившем себе нечеловеческую цель ругать все человеческое и называющемся «На Лит. Посту», я прочел выдержку из В<оли> Р<оссии> о твоей вероятной популярности тут, у нас, как явленья нового, послереволюционного. Это предположенье В<оли> Р<оссии>, справедливое, как сама истина, настолько отвечает действительности, что кажется корреспонденцией отсюда. Но, разумеется, в журнале этот факт отрицается. В том же № высказывается одобренье моему «новому на-правленью». Но хвалит меня человек, разносивший за Сестру и Темы10, и хвалит так, точно я у него и у журнала в кармане. И что это за карман! — Но как я записался! Надо ложиться спать. Завтра еду в 6 ч. утра.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 164).

1 Лето в Мутовках Пастернаки проводили вместе с семьей Александра Леонидовича, который приезжал на дачу по воскресеньям и привозил почту.

2 В Абрамцеве был центр кустарных промыслов, изготовлявший по рисункам знаменитых художников различные предметы быта и украшения. Керамическая пепельница с изображением льва была привезена Эрен-бургом из Парижа в подарок Пастернаку от Цветаевой.

3 Из письма Цветаевой 31 мая 1927 о «Поэме Воздуха»: «Борис, я пишу вещь, от которой у тебя мороз пойдет по коже. Эта вещь — начало моего одиночества, ею я из чего-то — выхожу» (там же. С. 351).

4 Речь идет о «Расстреле двадцати», сообщение о котором было опубликовано 10 июня 1927 г. Расстрелянным вменялись в преступление шпионаж, диверсии и убийства руководящих лиц. Совершенное 8 июня 1927 г. убийство в Варшаве советского полпреда П. Л. Войкова вызвало новую волну шпиономании. Особенное внимание обращалось на связи с Англией, поскольку реальной подоплекой расстрела был разрыв дипломатических отношений Великобритании с СССР. В письме Пастернака — указание на его переписку со Святополком-Мирским: «английский шпион», «английские марки», «письмо из Лондона».

5 Название небольшого города в Костромской области на берегу Чухломского озера употребляется как обозначение глухого невежества и бескультурья.

6 Просьба не затрагивать в своем ответе эти темы объясняется возможностью перлюстрации переписки и желания уберечь Цветаеву от чьего-нибудь доноса.

7 А. И. Цветаева с поэтом-импровизатором Б. М. Зубакиным ездила к Горькому в Сорренто и в октябре 1927 г. навестила сестру. Это была их последняя встреча.

8 Для книжного издания Пастернак сократил поэму «Лейтенант Шмидт» на треть, выкинув некоторые письма Шмидта, которые раскритиковала Цветаева.

9 Переписка со Святополком-Мирским велась через Цветаеву. О нем Пастернак писал родителям, что он «с год добивался у Цветаевой моего адреса, и она не давала, а когда написал через нее, то в препровожденье к письму она заклинала меня переписываться через нее и не называть ему Волхонки. Как говорит, она боялась дурного глаза, т. е. того, что меня свяжет его восхищенье и, полное обязывающего ожиданья, стоянье над душой. <...> Вышло так, что я ее не послушался. Не скажу, чтобы сбылись ее опасенья в полности и совершенно точно. Святополк-Мирский замечательный человек, и если он мне дался и не без ущерба, цена его сердца для меня от того не меньше. <...> Но наблюденья ее замечательно верны. Я глубоко связан со всех сторон» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 135; см также письмо № 347).

10 В статье Н. Новича «О новой повести Бунина "Митина любовь"» («На литературном посту», 1927, № 2) упоминается отзыв о Цветаевой из «Литературных откликов» М. Л. Слонима, опубликованных в «Воле России», 1926, № 8/9. Там же статья В. Перцова «Новый Пастернак».

362. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

24 июня 1927, Мутовки

24/VI/27

Дорогая Жоничка! Цветы эти так и называются — ночною фиалкой, в обиходе, в продаже и одноименной поэме Блока (...И ночная фиалка цветет1), и — любкой в русской ботанической номенклатуре. За письмо же твое о ней, о нас и о себе — горячее спасибо.

Я приехал в город и письма ваши оставил себе на третье. Пять часов был в такой гонке и так по-летнему безоблачно и полуденно вспотел (солнце, асфальт, песок, мухи и Охотный), что несколько полосок почтовых марок, лежавших в наружном кармане жилетки, слиплись сплошным пластырем, и их пришлось на другое утро распускать в пару над самоваром.

Конверт ваш я вскрыл только за Пушкином, когда в вагоне стало свободнее, легли длинные тени, пахнуло томленым березовым листом, и поезд пошел широкими раскатами, облегченно, как дальний. Дорогу эту наши помнят по жизни в Райках, и она ничем не изменилась. Так же мало изменился и папа, и меня страшно волнует и радует его бодрость большого человека с большим зарядом далекобойной породы. Все это, от садовой тачки и грабель в суровой бумаге для Женички и полоски на лбу от надвинутой кепки, от толчеи Клязьминской и Тарасовской публики до содержанья вашего письма и обстоятельств его чтенья так типично для всей прожитой нами жизни! Это какая-то константа случайных мимолетностей; с участием природы именно в этом городском сочетании, анамнестически повторяющаяся, точно без изменений. Начинает казаться, что это — стиль, который взят нами для данного изданья, называемого жизнью на земле. Его выпирающая случайность (почему именно этот, из возможной тысячи других?), как раз и составляющая его щемящую прелесть, эмпирически неограничима: т. е. сделайся вдруг из поэтов путешественником-географом и куда-нибудь на Борнео увезешь обязательно и ночную фиалку и звук: Мытищи.

Для того, чтобы в гармонии с жизненной логикой и сердцем додумать до конца этот атрибут случайности и его пугающую одинокость и тоскливость (времени было несколько минут, и из всех земных возможностей подобрал, нагнувшись, рядом лежавшую подкову, а может быть, следовало молниеносно осмотреться и выбрать уж самое стоящее, при такой скоропалительности!); для того, говорю я, чтобы оценить по

справедливости этот оттенок планетарного ротозейства, надо, конечно, как-то, все равно как, жить и пользоваться идеей бессмертия.

Из ее поправок к этому ощущенью главный корректив тот, что времени, по ее утвержденыо, — бесконечно много, и как не случаен твой стиль, он — первый и последний, попавшийся для тебя под солнцем, но ни первый, ни последний в живом ряду — или, точнее и честнее, в какой-то обывательской парафразе Канта даже и обсужденье его тревожности требует и приносит с собой в виде переживаемой предпосылки смену этих стилей, из которых один — твоя случайность на земле.

Я некстати вдался в эту метафизику, когда-нибудь для этого набора пяти-шести краеугольных чувствований будут изобретены знаки вроде рукопожатья или поцелуя. Тогда, в этой далекой приблизительности намека, допускающей индивидуализацию по каждому случаю и для каждого лица, они не будут извращаться до степени притупленно схоластического нонсенса, как в словесном, догматизованном выраженьи. Натолкнула же на эти темы, может быть, папина похвала моей «мудрости», как он сказал2. Может быть, я инстинктивно набиваюсь на ее повторенье. Конечно, я шучу, но есть и другая, нешуточная сторона в его наблюденьи, и, может быть, она косвенно заставила меня «высказаться на эту тему».

Я не постарел, но я и более, чем постарел. Мне не кажется, что я буду жить достаточно долго, как того бы хотелось мне. Но не только из этого чувства — причину приведу ниже, — я в сознании, в душевном своем хозяйстве, без вниманья к биологической подоплеке повел и стал чувствовать себя так, точно нахожусь в заключительном возрасте. Главная причина та, что только под таким видом можно жить в России в наше время, не кривя душой, не мотая попусту, а то и с безобразными катастрофами (при совершенной безрезультатности) запальчиво-личностного, творческого огня средневозрастной зрелости, предельно и заслуженно свободолюбивой. Этого предмета мне не хочется размазывать. Сказанным ограничусь.

Дорогая Жоничка, сейчас я штурмую тебя целым отрядом просьб. Ни одна из них нисколько не существенна. Все они — с жиру, удовлетворенья не требуют и родились под влияньем Же-ничкина соседства: капризы его и сейчас стоят у меня в ушах. Представь, нигде здесь нельзя достать приличной и легкой почтовой бумаги. При оказии, не пришлешь ли мне два-три блока вашего берлинского образца (Titan, кажется? изображен Геркулес).

Мне бы хотелось иметь последнюю книгу Rilke, Duineser Elegien. Также не вышло ли хорошей монографии о Rilke (с биографическим матерьялом). Нет ли у тебя возможности справиться у кого-нибудь знающего? Был, кажется, такой номер Querschnitt'a, который либо весь был посвящен его памяти, либо же, во всяком случае это я знаю, была там статья Paul Valery о нем3. Не достанешь ли ты журнал? — Но опять повторяю: блажь, — и только при случае, если мимо пройдешь и из витрины в глаза выскочит.

Мне очень бы хотелось знать побольше и поподробнее о жизни и работе Лидочки. Папа обмолвился вскользь, что она в Эссене. Но этого мало, и тем интереснее узнать, надолго ли она там, что именно делает, одна ли или со знакомыми, служба ли это, или поехала посмотреть и поучиться. Если позволяет срок ее пребыванья, сообщи, пожалуйста, ее адрес4.

Прости за несколько безжизненное письмо, сажался совсем не за такое. Обнимаю тебя и Федю.

Твой Боря

Папе и маме напишу в следующий раз. Вообще, — торопился, писав: у Жени сломался зуб, и она едет короновать свои обломки в город.

Впервые: «Знамя», 1990, № 2. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Поэма Блока «Ночная фиалка» (1906); стих. Ж. Л. Пастернак под назв. «Ночная фиалка» вошло в ее сб. «Координаты», Берлин, <1938>.

2 «...Как прекрасно ты в последние годы пишешь, как ты умеешь анализировать и четко выражать свои мысли и как мудростью, как лаком, кроешь свои продуманные и верно уловленные мысли, — я бы сказал, ты как-то вырос...», — писал Л. О. Пастернак сыну 12 июня 1927 (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 128.).

3 Статья Поля Валери «Gedenken und Abschied» в немецком переводе Франца Леппмана, опубликованная в журн. «DerQuerschnitt». 1927, Heft 2, Propylaem-Verlag, Berlin.

4 Лидия Пастернак после окончания университета получила работу в Эссене.

363. Г. НЕРАДОВУ

25 июня 1927, Мутовки

25/VI/27

Глубокоуважаемый тов. Нерадов!

Возвращаю гранки книги «Девятьсот пятый год» со следующими замечаниями и просьбами.

Книга за исключеньем самого первого, вводного стихотворенья, отмеченного звездочкой, распадается на два отдела. Хорошо бы каждый из них открыть шмуцтитулами. Первый носит названье книги, т. е. называется «Девятьсот пятый год». Второй называется «Лейтенант Шмидт». Первый отдел составляют стихотворенья 1. Отцы. 2. Детство. 3. Мужики и фабричные. 4. Морской мятеж. 5. Студенты. 6. Москва в декабре. В отличие от простых тире, которыми я отметил два-три случая делений в границах самих этих стихотворений (внутри), друг от друга я их отделил в гранках знаком <>*. Это не значит, что он именно должен быть повторен типографски в книге. Но я бы хотел, чтобы знак, обозначающий концы этих стихотворений и соответствующий моему ромбу, отличался толщиной или другим чем-нибудь от прочих внутренних тире. Так, может подойти тире, стоящее в самом конце последней гранки. А может быть это достигается одной верстkой? Полагаюсь на Вас.

Второй отдел целиком занимает «Лейтенант Шмидт» (мне не

* Изображен ромб. 54 хочется никакого родового подзаголовка вроде: поэма, лирическая повесть и т. п. Ограничиваюсь одним названьем и только). «Лейтенант Шмидт» состоит из трех частей. Каждая из них распадается на более мелкие деленья, озаглавленные в тексте соответствующими порядковыми цифрами, а в оглавлении — начальными строками, как это в обычае в отношеньи стихов без названий. Таких делений в части первой — 9, во второй — 10, в третьей — 9. Оглавленье, уясняющее Вам сразу все сказанное, приложено к гранкам.

Теперь несколько просьб. 1) Просмотрите, пожалуйста, сами гранки перед тем как сдавать их в типографию. Я очень много выкинул из текста, главным образом из «Шмидта». Книгу, общей сложностью, я сократил более чем на 400 стихотворных строк. В одном месте мне показалось потом нужным оставить выброшенный кусок. Я на полях красным карандашом сделал надпись: «Оставить». Перебор совсем незначительный, почти что никакого. Главные моменты правки следующие. В 1-м отделе, где ритм передается начертаньем строки и это все очень капризно1, несколько случаев перебора строк (я не знаю, как это называется точнее, технически, просмотрите, Вы сами увидите). Это — исправленья кропотливые, как бы тут не произошло путаницы, может быть сделаете соответствующие замечанья о тщательной выправке. Во втором отделе, кроме указанного уже множества кусков, выбрасываемых вовсе из набора (что ведь для наборщика трудности не представляет), для меня важна еще разбивка на строфы, в которой я уклонился от оригинала и следовательно, от уже проставленных знаков корректора. Клятвенно не поручусь, что я не вернусь к

первоначальной: мне сперва свою пробу, как и многое другое, надо увидать в осуществлены!. Поэтому обязательно известите через Клавдию Павловну (у нее есть мой Хотьковский адрес), как только будет корректура в листах. Хорошо, если бы она была поскорее: торопите, если можно. Почти уверен (надеюсь), что если в листах будет отвечать вручаемой Вам правке без путаницы и недоразумений, ничего больше марать не буду и ее качеству себя подчиню. Прочтите это письмо при жене; при ней же2 для пробы взгляните: на какой-нибудь случай перебора строчки в 1-м отделе (гранки 1—16); на пример выброса (скажем на гранке 21, где и единственный случай восстановлены! выброшенного), на примеры разбивки строф (гранки 17—38). Может у Вас будут какие-нибудь замечанья мне, она передаст.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Заранее спасибо за все.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 203).

Г. Нерадов (Георгий Борисович Шатуновский) — журналист, редактор Госуд. изд-ва (ГИЗ), где печаталась книга поэм «Девятьсот пятый год». Упоминаемая ниже Клавдия Павловна — младший редактор.

1 Поэма «Девятьсот пятый год» написана 5-стопным амфибрахием, но при публикации длинные строки разбивались на короткие интонационные отрывки, величина которых могла варьироваться по вкусу автора.

2 Корректурные гранки книги «Девятьсот пятый год» повезла в Москву Е. В. Пастернак, которая должна была объяснить непонятные места правки.

364. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

13 июля 1927, Мутовки

13/VII/27 Дорогая Жонюра.

Жаркий летний полдень. Встали, как часто в последнее время, в 7-мом часу. После чаю с Женечкой отправились в лес за соседнюю деревню. Он — на обрыве, место называется Маланьина гора. Сейчас пора покоса, ты догадываешься, чем дышит ветер. Тем лесом дорога со станции, и этим утром по ней должна была пройти ожидавшаяся из города Маргарита Вильям. Мы пошли по ягоды. Помнишь свое младенчество? Вызови его в памяти, и ты вживе увидишь Женичку с корзиночкой на руке и со страстью в глазах, тонущего на корточках в густой сочной траве, глушащей пни и кочки на этой полосе прошлогодней лесной порубки. А в ней, не менее милые тебе, — крупные зернистые рубины измлев-шей от зрелости земляники. Мы были так поглощены сбором, что в двадцати шагах от тропки, по которой пронесли мне пачку залежавшихся в городе сюрпризов, — и твой подарок, и письмо в их числе, — прозевали Маргариту, точно ее не бывало, да и бесследно пропали для нее. Правда — холмист и густ этот ягодник, а густой березняк, в котором все это происходит, так ослеплен солнцем, что нет материи и краски, которая бы в этот час не показалась частью его горящей зелени. Ты его видишь? Он замер в упругой белизне берез и водянистых переливах молодой, словно отечной дубовой листвы, самой светлой в этом, синевой облитом, бесподобном море. Мы идем босиком, ступая прямо на круглые теплые лапы греющихся на дорожке теней. Она вдруг круто, заворотами, сгущающейся зарослью, как сквозь ночь, бежит книзу, и там река. Ольха так низко свесилась к ней, что прямо с корней лежит на своем собственном отраженьи. Это лесное зеркало в полном ее обладаньи, под нее тут только нырнуть, но никак не подплыть. —

Дома — твое письмо и блок, письмо от Цветаевой, июльский номер журнала The London Mercury. И первой, тотчас же отвечаю тебе и начинаю с предложенья, прямо связанного с последним. Пока у тебя родители, достань, прошу тебя, этот номер.

Думаю, тебе нет надобности его выписывать, верно, сможешь достать в библиотеке. Итак это: The London Mercury, July, 1927, vol. XVI, N 93. Прочти и, если будет время, устно переведи им статью: «The Present State of Russian Letters*1. Это доставит им радость, тебе же и особое удовольствие. У тебя есть свое мненье о многом высказанном, и ты сравнишь его с мненьем автора. Да и радость папы и мамы будет тебе приятна. Но мне, понятно, журнала не надо, он — моя собственность.

Почтовую бумагу, как видишь, получил. Она только чуть-чуть смялась. Громадное тебе спасибо за нее. Еще больше благодарю за обещанные книги. Если книжка Insel Verlag'a, посвященная Rilke, о которой ты говоришь, есть Das Inselschiff. April 1927. VIII. 2, то мне ее не надо, ее мне давно прислал в подарок Ernst2, за что вовремя я его поблагодарил.

Orplid'a лучше не читать. Что за позор! Письма из Тулы ведь и в оригинале ни на что не похожи3. Зачем их было переводить!

Свои же письма напрасно ты называешь каракулями. Я их люблю и всегда читаю с интересом и волненьем. Поцелуй Федю и всех наших. Лиде писал недавно. С вами ли она?

Что делать после статей, подобных этой английской! Я могу работать и хочу, и полон надежд, но как исключителен режим, в котором это удается. Тогда земляники втроем собирать нельзя.

Если прилагаемый набросок я отделаю, то посвящу его тебе. Прости за глупую идиотическую сырость, в которой его тебе, сейчас забрасываю.

Недавно этой просекой лесной Прошелся дождь, как землемер и метчик. Лист ландыша с расплющенной блесной, Тугие капли в сонных рыльцах свечек.

О них и речь, холодным сосняком Задоренных до мушки в каждой мочке Они живут, селясь особняком, И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай, И день захлопывает свой гербарий, Пускаются они озорничать В порядочном кругу Иван да Марьи.

Зовут их любкой, Александр Блок, Сестра, жена и сын — ночной фиалкой. Зову и я зимой, когда далек От истины, и мне ее не жалко4.

Дальше еще хуже. Обрываю.

Обнимаю тебя. Твой Боря

P. S. Ты часто спрашивала о Жениной матери и, конечно, тебе не отвечали. Она с сыном и другой дочерью на днях переехала на дачу по Казанской ж. д. Она чувствует себя хорошо, речь вполне и давно вернулась к ней, но по-прежнему она прикована к кровати и вряд ли скоро будет владеть ногами. У Жени и Маргариты Вильям к тебе просьба: вложи два листика пластыря кукпроль в письмо. Речь именно о пластыре.

Впервые: «Знамя», 1990, № 2. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 В статье «The Present State of Russian Letters* («Современное состояние русской литературы»; «London Mercury*, July, 1927, vol. XVI, № 93) Святополк-Мирский дает высокую оценку творчества Пастернака.

2 Сборник «Памяти Рильке», включивший воспоминания о нем, стихи, посвященные ему, письма и неизданные стихи самого Рильке, фотографии и факсимиле его рукописей. Эрнст Розенфельд — племянник Ю. С. Розенфельда.

3 Имеется в виду перевод на немецкий язык повести Пастернака «Письма из Тулы».

4 Первонач. вариант стих. «Любка»; при включении в книгу «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (1929) печаталось с посвящ. В. В. Гольцеву.

365. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

17 июля 1927, Мутовки

17/VII/27

Дорогой мой друг! Твое письмо пролежало ровным счетом две недели в городе. Не сердись, никто не мог знать, что заболеет брат, перестанет ездить сюда1 и что ему не придет в голову вложить письмо в новый конверт и сюда переправить. Ну и досталось же ему за это! Если ты даже и отомщена, я все еще не могу успокоиться. Когда вновь и вновь, по поводам, которыми густо покрыт весь мир и поросли дороги, и каждый из которых забывается в следующую же минуту, я вспоминаю и вновь измеряю бесконечностью was ich in Dir habe*, мне, не считаясь с тобой, хочется прямо тебя спросить: скажи мне еще раз, что ты не выдумана, что ты — человек в юбке, что ты не заглавье редчайшей, обнимающей тысячу душевных повестей идеи, что ты не история счастья, первою из сказок рассказанная мне детством и потом поэтами и философами и потом собственным одиночеством в минуты его сильнейшей тоски по таком рассказе. Но ты скажешь, что именно все это ты и есть, о, я знаю, но ты недооцениваешь того, что у тебя есть адрес и руки, которые я без конца целую тебе за то, что их можно целовать, говоря этой нежностью так редкостно много. Ты существуешь. И не может быть положенья, при котором я мог бы почувствовать себя несчастным.

Ты совершенно права в своих объясненьях насчет Св.-М<ир-ского> и сороконожки2. И как права! Но ведь это такой милый, такой настоящий человек, такое достоянье наше в лице, что ради этого приходится чем-то и платиться, становясь и его достоянь-ем, т. е. платиться именно тем, о чем ты говоришь. Я очень неловко это выразил, получилось что-то вроде расчета: а я хотел сказать о страдательном обороте исторического сродства (понимаешь?). Он прислал мне номер журнала The London Mercury со своей статьей. Читала ты? Я, как и ты верно, не можем принять greatest («first greatest*) и second greatest**, потому что это для нашей породы ничего не значит, точно так же как значило для иных все; мы об этом уже однажды списывались3. Но много верного сказано о тебе и обо мне, — и я доволен. Ведь ты еще неожиданнее и оригинальнее меня, и еще труднее описать тебя. А он кое-чего достиг тут. Хвалю его робко, не зная еще твоего мненья, а то бы похвалил решительнее. Я уже писал тебе, как тут тебя знают. Не могу пожаловаться и я. Но от таких разборов вплотную, в стремленьи уловить суть, мы тут отвыкли, и я поражаюсь его глазу и глубокомыслию. Относительно меня сказано самое важное в указании о поэтическом опыте. Не сердись, если ты других мыслей. — Дорогая Марина, не жди от меня в ближайший год ничего стоющего, по статье (вот — сороконожка!). Приходится все еще зарабатывать из недели в неделю. Т. е. надо будет кончить Спекторского и в том случае, если я

* что я в тебе имею (нем.).

** величайший; первый величайший, второй величайший (англ.).

даже считаю этот жанр — категориально ложным. Ты знаешь, что все это значит. Обнимаю тебя, дорогая, незаслуженная!

Твой Б.

Что это за птицеловы? Не знаешь ли ты их адреса, и к кому обратиться? Кого они издают и кто они для меня, если ты их не знаешь?!4

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 163).

1 В письме 10 июля Пастернак жаловался на отсутствие вестей от Цветаевой: «Вторую неделю брат не приезжает сюда и нет связи с городской квартирой. <...> Разумеется, особенно грустно бывало садиться в вагон не солоно хлебамши, т. е. без твоего письма. И всегда это бывает к вечеру, когда солнце слева полосует скамейки, светит под них и поезд от Пушкина становится пуст и точно даже без машиниста, т. е. когда и без того все это так похоже на детство. Но если даже и сейчас еще нет ничего от тебя, то как ни противятся этому всякие суеверные изворотъ сознанья, основное мое

настроенье находит только радостное объясненье твоему молчанью, потому что только им может удовлетвориться. Наверно ты работаешь, и — представляю себе, — как!» (там же. С. 356).

2 См. рассказ Цветаевой о сороконожке в письме родителям 17 июля 1926: «Кто-то ей: да как ты не спутаешь, да каким чудом помнишь, когда какой из сорока? И вот — стоп» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 135).

3 В письме Цветаевой 2 июля 1925 Пастернак высказывал свое мнение по поводу определения «первый поэт», которое употреблял Святополк-Мирский в статье «The Present State of Russian Letters* («Современное состояние русской поэзии»): «Первым был Брюсов. Это не по нашей части. Анненский не был первым» (№ 260).

4 Парижское изд-во «Птицелов», владельцем которого был поэт Дмитрий Юрьевич Кобяков. Сб. его стихов «Горечь», вышедший в изд. «Птицелов» в 1927 г., открывался стих., посвящ. Пастернаку. Цветаева отвечала: «Птицелов жулик, знаю главного заправилу, а конвенции нет <...> Огорчена, наверное, не меньше тебя, потому что за тебя. Картина знакомая: плод твоих рук (локтей) не пожинает, а пожирает другой — кому и руки только на то даны. Так было — так будет» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 362-363).

366. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

26 июля 1927, Мутовки

26/VII/27

Дорогая Раиса Николаевна!

Лежит предо мною конверт с полным Вашим итальянским адресом и стыдит меня и третью неделю ждет не дождется использованья. Странный, скажете, у некоторых способ: начинать с конвертов. Ничуть не бывало. Все шло обычным порядком. Довольно-таки давно и с достаточным-таки запозданьем было Вам написано письмо, и этот незапечатанный конверт — его пощаженный остаток. По-видимому и действительно, впадая в сентимент, я начинаю зажевывать до невозможности какое-нибудь наблюденье, послужившее ему толчком. Я Вам писал о деревне и о прелести лета. Тогда еще не было этих дождей, холодными ушатами изливающихся уже больше недели, при резком шумном ветре, как бы вышибающем землю из-под этих топочущих потопов. Откуда у тебя это уменье затверживать какую-нибудь одну простую мысль до общего изнеможенья, — спросила Женя, пробежав глазами эту идиллическую философию на двух листах. Были уже прецеденты, и не знаю, писал ли я Вам тогда об этом1, но в Вашем случае ее замечанье решает судьбу письма. Объясняю я себе это тем, что она видала и слыхала Вас. Далекий от мысли как-либо отожествлять или сближать вас обеих, я не могу не ценить куска осязательности, подобно волосу или нитке оставшемуся на ней от Вас. И если она так говорит, то, — ну, не Вы, — так хотя бы почтовый путь к Вам — того же мненья. Зачем же его отягощать? Но вдруг Вы вообразите, что я жалуюсь Вам на М-ме Рин Тин Тин?2 Нет, я жалуюсь на свою черту, очевидно справедливо ею подмеченную.

Затем она выразила беспокойство о Вас и Вашем сыне, в связи с некоторыми осложненьями, и я не мог не согласиться с ней, что это мысль — основательная, и удивительно, как она не только не пришла мне в голову, но и никогда бы не смогла прийти. Это так возможно, так близко, так, по фабуле, правдоподобно, что никогда не поверю, чтобы эти вероятные неприятности как-нибудь коснулись Вас, и почему-то на этот счет совершенно спокоен. Все же большою радостью для нас будет, если Вы это при случае нам подтвердите.

Сейчас кругом в природе так «невзаправду», что трудно писать о себе. Так неестественно преждевременен этот конец лета, и так похожа эта погода на его конец. Но город еще не завтра, переезд еще далек. Положенье — неестественно, и никогда не

следует в таких положеньях говорить о себе или о жизни: никогда не попадешь в тон, всегда скользнешь мимо сути, — как по этой непроходимой слякоти. И более чем уместно задавать вопросы Вам. Хочется слушать, а не рассказывать. Один (о сыне) Вам уже предложен. Все остальные — ворохом: где Вы сейчас? как провели лето? куда думаете на зиму? как Ваши и Юрия Владимировича работы и планы? Сегодня Женя — в городе. Она страшно будет жалеть, что не дал ей приписать Вам. Но не в том дело. Наконец-то хоть простой привет Вам и пожеланье всего лучшего Вам и Вашим попадут в конверт и пойдут по должной дороге.

Хотя Вас наверное уже нет в Anzio, пользуюсь старым итальянским адресом, и думаю, — перешлют. Маленький Женя просит сообщить, что он Вас «очень крепко любит».

Преданный Вам Б. И

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено 28 июля 1927 в Анцио и оттуда переадресовано в Ленно (Италия).

1 Пастернак вспоминает аналогичный случай, когда он уничтожил свое письмо к Ломоносовой, не понравившееся жене (№ 341).

2 Р. Н. Ломоносова называла Е. В. Пастернак именем Рин-Тин-Тин в честь киногероини нескольких немых голливудских фильмов 1920-х гг. — немецкой овчарки.

367. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

26—27 июля 1927у Мутовки

Ответ на твое от 15-го/VII. — Не беспокойся за письма. Все доходят вовремя. Это только мне их привозят по вдохновенью. Прошлое твое, на которое я даже толком еще не ответил, пролежало больше 10-ти дней. В самый канун его прибытья я сам был в городе, и значит, когда грустил о твоем молчаньи, оно, бедное, отлеживалось там, бессильное помочь мне и за тебя вступиться. Но я не хочу поддаваться побочным ощущеньям, как бы они ни были естественны, т. е. не дам сегодня воли своей, часто праздной, сентиментальности перед сильными и прямыми чувствами, которые вызывает нынешнее твое, замечательное, письмо. Как оно написано, и как много ты сказала в нем! Мне много хочется сказать тебе в ответ. Разумеется, я не скажу и части должного. Ведь это из той области широчайшей и серьезнейшей зрелости, которою-то и дышет все твое письмо. А ведь ее не сведешь к перечню положений. Вся она — однажды выражена 1-й строфой Гётевской эпиталамы: Ich ging im Walde / so fur mich hin / und nichts zu suchen / das war mein Sinn*1. Т. е. это прогулка с непрерывно развертыва-

* Я пошел в лес, просто так, сам по себе, с мыслью ничего не искать (нем.).

ющимися находками, шаг за шагом ложащимися тебе под ноги. Но ты не мирочерпалка, всего не возьмешь, природа заботливо одарила тебя рассеянностью и даром невниманья; ты родной брат случайности, ты видишь и светишься периодически, — одно подберешь, другое упустишь. Итак, я ничего не скажу тебе по порядку, а по прошествии времени, в итоге ближайшей предстоящей переписки, все сразу, по разным поводам, исходящим от тебя. Твое изумительное письмо просто радиоактивно. Я не знаю, что оно даст завтра. На сегодня оно меня излечивает от самой дурной моей болезни: от буднишной обстоятельности, столь страшно свойственной мне. Она в семье у нас трогательна и благородна. У меня же она, в обстановке соседствующих качеств, выродилась в наследственный порок. Она, как ты верно часто замечала по моим письмам и линии моего поведенья, переколдовывает меня во что-то другое и глубоко мне чуждое. Я в ней кончаюсь, как теленок в студне. Много этой обстоятельности затесалось в мой недавний «историзм». Именно эта обстоятельность писала письма Шмидта и, — надо быть строже, чем ты или даже

Д<митрий> П<етро-вич>, — не написала их. Однако надо ей отдать справедливость: как раз эта-то обстоятельность помогла мне без душевного вреда пережить это десятилетье. Сколько живых и удивительных когда-то людей перестали отличать проволочную проводку эпохи от собственных нервов и волокон, сколько их принимает первое за второе! Несчастная же моя обстоятельность распутала эти перевившиеся мотки, и — боюсь сказать, мне кажется, концы в руках у меня: разнять, оглянуться и — поминай как звали. Что-то кончилось, что-то начинается, так скажут другие. Нам радостно будет это услышать. В счастливейшие наши поры так именно говорили о нашем и дорогом нам: о беспрепятственно продолжающемся. Итак, что-то опять продолжается, по миновеньи препятствий. Но я начинаю чревовещать. Перебью и возвращусь потом. Перебью тем, с чего следовало бы начать. Где твоя Поэма Воздуха и Письмо к Р<ильке>*?2 Отчего ты не шлешь их? Я был уверен, что получу их в этом письме и оттого о них не заикнулся в предшествующем. Это было грубо. Не следовало чувствовать себя в обладаньи их, не получив их в руки, и мне стыдно сознаваться в этом. Прости же и пришли. Но спокойная моя уверенность насчет всего, касающегося тебя и меня, ничего общего ни с какими частными чувство-

* Или «Письмо к Р<ильке>» есть именно так «Попытка комнаты», которую я знаю? (Прим. Б. Пастернака.) ваньями не имеет. — Сам я ничего из того, чем, очевидно, на месте была охвачена ты, — не пережил. Но Линдберг становится для меня новым Ариэлем3 с одной-двух твоих недомолвок в том письме. Сюда могло дойти только через газеты. Но я их не читаю. Знаю, что надо бы, стараюсь — и не могу. Я говорю о наших, здешних. Их вот отчего нельзя читать. Действительность, которую они, точно свою, расхваливают в пух и прах, в тысячу раз лучше их похвал, хвалят же они так, точно это — дрянь, которой, без их рекламы, земля б не носила. Вообще, по-видимому, революционны те мненья, мысли и интонации, слушая которые, готов думать, что революция — ложь и выдумка, нуждающаяся в остервенелой охране от нечаянного разоблаченья. Но как-нибудь надо ведь назвать то, что со всеми нами случилось? Однако карманнический этот стиль так убедителен, что начинаешь сомневаться в собственных воспоминаньях. Но есть и более простые и сильнейшие причины, отчего их нельзя читать. Как ни сильна привычка, анахронистич-ность этого допетровского всеисповедывающего, никем не оспариваемого листка — сильнее ее. Кроме того, в деревне я еще и рад их не читать. — Ты несколько раз думала писать о Шмидте, а теперь — даже и статью4. Прости, что не успел вовремя тебя остановить, хотя еще есть время. Ни мне, никак, Марина! Прошу тебя! Мало у тебя своего, неотложного. Не возражай, что, мол, и это «свое». Тогда ведь я еще скорее скажу тебе, что — твое, да не мое, против твоего такого, что и мое, — и мы заспоримся до бесконечности. Статью, разбор! Да ведь это Сизифов труд, и вдесятеро нарымистее исходного нарыма5. И кому это надо? Тебе? Мне? — В скобках сообщу тебе, что подарил книжке на платье четыреста рублей с лишним. Да, вынул и выложил. Не знаю, много ли она приобретет от этого сокращены! (Шмидта) более чем на треть, но за корректурой показалось мне, что неплохо бы ей похудеть и чуть-чуть стянуться. Залежалось именно то твое письмо, которое меня от этих забот избавляло, — разрешительное. —*

27/VII. Как убийственно! Ну что я тебе написал должного в ответ на твое открытое, громадное и милое — не доверием ко мне — но верностью непосредственной передачи нашей каторги (Днепр, например). Дай хоть объясню, зачем я начал с этой ахинеи с эпиталамой. Когда я читал: про твое одиночество (чтенье и молчанье), отчаянье выстраиванья столбцов (Днепр, долженствующее значенье, десятисложно-односложное), поэтическое знанье все-

* Так в письме.

го без кокаинов, духовных и физических, пустоту и беспредметность полета и нечувствительность в жизни, — мой собственный опыт отвечал твоему всем своим существованьем6. Он отвечал в том же одиноком своем пребыванъи, той же невознаградимой мучительностью. Он не отвечал ударами отдельных мыслей или признаний, а всем своим фактом, родным тебе. Это был разговор неподвижно родных областей, более потрясающий, чем их метафо-ризированное Бирнамское передвиженье7. Ты только одного еще не знаешь, или не сказала. Что ты сама пока еще моложе своей поэтической зрелости. Этот факт единственная причина кажущейся тебе беспредметности полета. Марина, прости, что сегодня я оставляю тебя при почти пустом листе вместо ответа. Обо всем перечисленном мне надо сказать тебе то, что я по себе знаю. Об этом и буду писать в следующем письме, что бы ни заключало твое ближайшее, если будет. И прости, прости меня. И не отвечай, пока я не заслужу, т. е. пока не на что. Кончаю ночью в страшной усталости. Завтра в 6 часов утра в город.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 163).

1 Из стих. Гете «Gefunden» («Нашел»).

2 «Письмо к Рильке» стало поэмой «Новогоднее». Цветаева писала Пастернаку: «Борис, ты не знаешь "С моря", Письма к Рильке, Поэмы Воздуха, — сушайшего, что я когда-либо написала и напишу. Знаю, что нужно собраться с духом и переписать, но переписка — тебе — безвоз-вратнее подписания к печати» (там же. С. 363).

3 Чарльз Линдберг— американский летчик; 21-22 мая 1927 г. он совершил перелет из Нью-Йорка в Париж; впечатления от этого события отразились в «Поэме Воздуха» Цветаевой. Ариэль — дух воздуха в пьесе Шекспира «Буря».

4 Наброски разбора поэмы имеются в черновых тетрадях Цветаевой. 15 июля 1927 она писала: «Борюшка, в последнем письме я писала тебе, что буду писать — и отчасти, чтб буду писать о Шмидте» (там же. С. 357). В письме 24 июня 1927: «Я не твой критик, Борис, я твой биограф, — ду-хописец. Такова будет моя статья о Шмидте, зорче и жестче, чем ждешь. <...> Весь Шмидт, Борис, весь ты — вопрос контекста, соотношения слогов, слов, четверостиший, частей, перевода вовнутрь — где конец?!» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 834).

5 Нарым упоминается Цветаевой в письме 24 июня 1927: «Но я не хочу, чтоб Шмидт в твоей жизни был еще раз (Нарым)» (там же). Нарым — место ссылки и каторги в Томской области.

6 Имеются в виду слова Цветаевой: «Вообще, Борис, разъясни мне и одновременно знай — откуда это свободное уверенное двигание в воздухе, которым в жизни не дышал! Ведь — ни одного спиритического сеанса за жизнь (брезгую!), ни одного антропософского заседания, ни шприца кокаина, ничего. Откуда — опыт, точное знание, не-удивление, свойственность, осведомленность» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. С. 358).

7 Исполнение предсказания о гибели Макбета: движущийся на его замок Бирнамский лес в «Макбете» Шекспира.

368. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

7—8 августа 1927, Мутовки

7/VII/27*

Марина, я страшно стыжусь своего последнего письма: мне хотелось сделать тебе несколько дельных сообщений, несколько наблюдений над самим собой, в ответ на то твое письмо, которое до конца исчерпало твой блокнот с синей каемкой. Между тем, дальше вдохновенных приготовлений и вступлений к этой «сути» дело не пошло. В свое извиненье скажу, что писал его в конце кратковременной полосы, отданной работе, т. е., как это у меня всегда бывает с работой, в последний день недельного или

десятидневного периода, уже с половины обыкновенно пугающего меня на-ступленьем бессонниц, пустой нервности и нестерпимой, по бессмысленной мучительности, подверженности настроеньям. Не поправить мне этого и сейчас, в исходе другого, тоже типического срока, — одного из тех, которыми я бессознательно уравновешиваю действие первых и отдаю чтенью, домашним заботам и прочим таким вещам, никогда, в своих прямых целях, не удающимся, потому что отдыхать не умею, т. е. для отдыха добровольно перерождаюсь в более или менее далекого мне истукана, от которого жду не дождусь избавиться, лишь установится сон и уходится учащенная маховая инерция рабочего возбужденья. Если бы я был моложе и здоровее, или если бы была сделана уже более заметная доля должного, я бы никогда не жертвовал этими запасами легкой и увеличивающейся стремительности. Я доверял бы им больше, чем переходам от нулевой точки до их вступных высот, за которыми начинается бесконечный и только выносливостью сердца ограниченный разбег. Именно этому уровню, а не предварительным подъемам обязан я всем, что делал когда-то, лет десять назад и раньше. Когда ты говоришь о беспредметности полета, то сверх всего прямого, что заключено в этих словах, я понимаю тебя и так, что ты щадишь себя меньше, что от основных навыков, прямо восходящих к прирожденностям, ты не отступаешь, что, словом, ты работаешь на несущихся возвышенностях полного душевного разгона, а не на переходах к ним, как я в последние годы. Отчего и зачем это у меня, — разговор очень долгий, главное же — излишний в обращении к тебе: потому что любая из догадок, какие явятся тебе, будут живо-правдоподобны, а значит и истинны. Вот именно: корни этого душевного маневра целиком в современной действительности, в непреодолимом ее реализме. Только большое воображенье, способное живо и разом обнять ее, может истолковать и это полусознательное перемещенье. Но сказав, что это разговор долгий, я как будто и начинаю вступать в него. Прервем эту тему.

Ты пишешь о своем недохождении при первой читке, о круговом молчаньи, воцаряющемся за ней1. Мой опыт в этом отношении страдает если не той же, то очень близкой правильностью. Только самые ранние и сырые вещи, лет 15 назад (т. е. буквально первые и самые начальные) доходили (но и до 1У2-ра только человек) немедленно. Вскоре же я стал считать двухлетний промежуток между вещью и ее дохожденьем за мгновенье, за неделимую единицу, потому что только в редких случаях опаздывали на эти два года, чаще же на три и больше.

Разумеется, ты не только не в счет, но ты и настолько не в счет, что те два-три непостоянных исключенья (сегодня один человек, завтра другой), которые тоже отступают от этого закона, тоже подчинены тебе, т. е. они и переживаются мною, как частность нашей истории, как ее третьи лица, и сами, в действительности, тебе подчинены: переписчики твоих поэм, распрощики о тебе, твои верные.

У Б. П., пишешь ты в Чехию, «есть двое-трое друзей поэтов... и т. д.»2. Итак, значит о Б. П. речь, если принимать в расчет эти две буквы, могла бы идти только об Асееве и Маяковском. Сель-винский и Тихонов не хуже и не враждебней. Но ты, ты, например, меня приковала. Ты — родной, главное же громадный поэтический мир. Громадным он сказался раньше, чем оказался, мало-помалу, родным. Потом внутренние истории (мать, музыка, Rilke, Германия, — чтобы что-нибудь сказать) стали поражать сходствами. Раньше же всего были — размеры и крепость (чистота). Так вот. Требуется теперь нечто такое, чтобы оно вошло в мою жизнь, как бы о том не вопияли вакансии. Ни Сельвинский, ни Тихонов, вероятно, этого предъявить не могут. Вероятно. А то бы они места эти заняли, я и сам не заметил бы, как и когда. Я их не собираюсь порочить, как не опорочу и Маяковского с Асеевым дальнейшим о них разговором. М<аяковский> предъявлял нечто равнозначи-тельное. Это я помню и не хочу забывать. Отошло же это в такое незапамятное прошлое, что моя потребность в их дружбе фамильярна с обоими

одинаково. Но и эта фамильярность еще достаточно была бы горяча, и от этого чувства, оглядывающегося на давность связи, на ту Москву, те годы и тех нас (в особенности с А<сеевым>, от этого чувства было бы одно благо, все еще перевешивающее свежий интерес С<ельвинского>, Т<ихонова> и других молодых дарований. Но деятельность А<сеева> и М<аяковс-кого>, теперь имеющая значенье лишь поведенья, — так враждебна всему тому, что я люблю, так давно этому враждебна; допуще-нье же их, что их неумеренная преданность мне может примирить меня с этим, с таким расхожденьем, — так противно пониманью истинной жизни и живых перспектив; все это отдает такой жалкой удовлетворимостыо, таким рыночным релятивизмом, так где-то не у меня в Москве, а где-то там, в отвлеченной провинции происходит, что наконец я (совсем недавно) с ними порвал документально. Я двадцать раз выходил из Лефа, и весною — категорически. Мне рассказали, что и в последнем номерке я значусь на обложке участником. И вот недавно я послал им заявленье в тоне, который им, в их ослепленьи, покажется пределом подлости, неблагодарности и прочих качеств. «Благоволите поместить... и т. д.»3 Ничего, кроме просьбы сотрудником не считать и эту просьбу о том напечатать.

Я жалею об этой утрате. Зима в Москве, еще и без них, — не знаю, что это будет! Но побочных смыслов (не для посторонних, а для самого чувства), выраставших из этого взаимокасательства, было чересчур много. Простой факт близости (а как бы мне ее хотелось сохранить; о, конечно в тысячу раз больше, чем им) проходил, активно прогонялся ими через цыплячью призму «Лефа», этого неописуемого органа с комариными запросами.

8 / VII* Конечно ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего4. Ну что ты скажешь! Надо тебе еще знать, как она тут жила! И вдруг, в самое средоточье этой героической, без ропота отбивающейся от самой оскорбительной прозы борьбы за существованье — такой сон, такая поездка! Это так исключительно, что от ее поездки я получил больше удовольствия, чем получил бы, отправься я сам. А ведь как я рвусь!..

И наверное сама путешественница не испытала той радости, что я. — Как и с письмами, так и в остальном у меня с городом связь очень случайна. Известие это привез брат, да и то не сам говорил с ней по телефону, а соседи передали. Она звонила, отправляясь на вокзал!! Ведь вы съедетесь, странно даже спрашивать?5 У меня столько наверно промахов по отношенью к ней, что тот факт, что она меня не известила о поездке заблаговременно, при вероятной суматохе последних сборов, не стоит упоминанья. Ну что б я еще сделал? Что-нибудь может быть передал? Умею ли я вообще это делать? Все равно, ей есть что рассказать и передать, если только избыточная, переливающаяся через край полнопробность встречи с тобой не вытеснит памяти о всех Мерзляковских и Волхон-ках6. Каких несколько у ней будет дней: снова вполне сегодняшних, присущих всему сердцу, оглушительно настоящих! — Настолько не знаю ни адреса ее, ни обстоятельств поездки (кроме гаданий, которые тебе сообщал), что наконец и не уверен, не впустую ли радуюсь: может быть не поняли и переврали. —

Вместе с этой новостью привезли из города и посылку из Мюнхена от сестры, Duineser Elegien*, которых ведь я до нынешнего дня не знал.

Все и всякие «если бы», каковы бы они ни были, — отвратительны и заслуживают сложенной о них поговорки7. Не лучше их и то, на которое я все же отважусь. Так вот, если бы эта книга, или хоть слабое представленье о ней, было у меня прошедшею весной, она, а не мои планы и полаганья руководили бы мною. После нее вероятно и Сонеты Орфею предстанут в другом виде. Без элегий же и до них сонеты (может быть моя тупость тому виною) разделяли в моих глазах судьбу теперешнего человечества.

История гнетом лежала на них, на их тоне, на их тематике8. Трудно и долго это объяснять. Но не писал я ему оттого, что первою по порядку и обязательной была живая встреча с ним. Уверенья и доказательства на вещах, на случайностях, на погоде, в которых бы эта встреча разыгралась, что эти элегии написаны всеми остальными его книгами час назад, в эти дни и для них. Я не знал, что такие элегии и действительно написаны, и он сам, не нуждаясь в помощи чужих показательных потрясений, стал истории на плечи и так сверхчеловечески свободен9. Я переживал его трагически, и эта трагедия требовала чрезвычайной осязательности сношенья. Мне следовало знать, что немыслима у такого человека трагедия, которой бы

* «Дуинезские элегии» Рильке. 69

сам он, допустив, не разрешил, не успел разрешить. — Я бы писал ему, писал бы все лето, как более молодому счастливцу, обращенье к которому настраивало бы меня на беспечный лад, точно все кругом —- как всегда и годы никому не прибавили возраста, и не расстреливали тысяч, и ничего страшного не произошло. Как ты терпела мое незнанье этой книги и что об этом думала?

Вышли, как только сможешь, все три вещи10. Я не знаю ни одной. Кончаю неожиданно: торопят, а до этого произошла неприятность.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 163).

1 В письме Цветаевой 15 июля 1927: «Ты не знаешь моего одиночества. <...> Кончила Поэму Воздуха. Читаю одним, читаю другим — полное — ни слога! — молчание, по-моему — неприличное, и вовсе не от избытка чувств! от полного недохождения, от ничего-не-понятости, от ни-слога! А мне ясно, и я ничего не могу сделать» (там же. С. 357—358).

2 В том же письме Цветаева пишет: «Недавно писала кому-то в Чехию: — Думаю о Б. П., как ему ни трудно, он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей-поэтов, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы — на час — стихи предпочел бы всему. Это — так. У меня нет друзей» (там же. С. 358).

3 В заявлении «Редакционному коллективу Лефа», датированном 26 июня 1927 г., Пастернак упрекал своих бывших друзей в том, что его имя продолжает печататься в списке сотрудников, несмотря на неоднократные заявления о его выходе из журнала, и просил «поместить целиком настоящее заявление» в следующем номере (см. т. V наст. собр.).

4 Речь идет о приглашении А. И. Цветаевой к Горькому в Сорренто, где она пробыла август и сентябрь 1927 г.

5 Сестры увиделись в начале октября 1927 г., когда А. И. Цветаева на две недели съездила в Париж.

6 В Мерзляковском пер. жила сестра С. Я. Эфрона Елизавета Яковлевна; на Волхонке — Пастернак.

7 «Если бы да кабы, да во рту росли грибы, тогда был бы не рот, а целый огород» («Русские пословицы». Составители Ф. Н. Селиванов и Б. П. Кирдан. М., 1988. С. 91).

8 Пастернак получил «Сонеты к Орфею» Рильке в подарок от Жозефины и писал ей, что его «поразило то, что... он стал хуже писать, что и мы» (письмо № 267).

9 В ответном письме Цветаева в духе свого неприятия истории, истолковала эти слова как совет Пастернаку также преодолеть свою тягу к «историзму»: «"Вскочить истории на плечи" (ты о Рильке), т. о. перебороть, превысить ее» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 380). С точки зрения Пастернака преодоление зависимости от истории означает не сбрасывание со счетов, а перерастание истории через принятие ее в себя.

10 «С моря», «Письмо к Рильке» и «Поэму Воздуха».

369. С. А. ОБРАДОВИЧУ

29 августа 1927, Мутовки

29. VIII

Глубокоуважаемый тов. Обрадович!

При сем высылаю матерьял для альманаха1, Вам на выбор. Его свободу я несколько ограничу. Тут вещи двух родов: чисто антологические и исторического характера. Страницы первого рода перенумерованы красным карандашом, страницы второго — чернилами. Их мешать нельзя, потрудитесь выбрать что-нибудь одно, либо то, либо другое. Если Вы остановитесь на антологических стихах, то попрошу Вас взять не меньше трех стихотворений, причем в таком сочетаньи: либо «Пространство», либо же «Приближенье грозы» (но никак не оба) с двумя какими-нибудь из ботанических в придачу2. Или же можно было бы пожертвовать «Любкой» как недоделанной, т. е., вернее, недописанной (отброшены две строфы, слишком сырые и темные)3, и тогда взять остальные четыре стихотворенья.

Стесняю Ваш выбор я, разумеется, не с тем, чтобы легче и скорей сбыть стихи, — Вы знаете, что их у всех нас отовсюду просят, значит, и от меня, — а потому, что одно отдельное стихотворенье, в качестве показательной единицы, ни во что не ставлю, и элемент неделимости, для данного случая наименьший, Вам назвал.

Если антологии Вы предпочтете стихи, более подходящие для октябрьского юбилейного сборника, то Вам придется взять все эти 135 строк полностью, да еще с условьем, что они напечатаны будут только в том случае, если со стороны цензуры не будет предложено их сократить или что-нибудь выбросить4.

Что бы Вы ни выбрали, я просил бы гонорару по три рубля за строчку, и если издательству это не по силам, то нам придется разойтись. По два рубля со строки я получал за «1905-й год», вещь в 2000 строк, полностью и без пропусков шедшую в «Новом Мире». Это же вещи, которые пишутся со ставкой на сжатость, с отбором. Не смотрите на октябрьский матерьял, как на поэму. Это я говорю Вам как товарищу и поэту. В моем понимании Октябрь шире того трагического пятиактного члененья, при котором со-бытье, переживая катастрофу, годится в рельефные темы для самостоятельной вещи, выводящей это событье как лицо или как предмет, в его сменяющихся перипетиях.

Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию и элемент нашего исторического дня. Иными словами, если предложенные отрывки — слабы, то, на мой взгляд, исполненье этой темы было бы сильнее только в том случае, если бы где-нибудь, например, в большой прозе, Октябрь был бы отодвинут еще больше вглубь, и еще больше, чем в данных стихах, приравнен к горизонту и отождествлен с природой, с сырою тайной времени и его смен, во всем их горьком, неприкрашенном разнообразьи. Вы легко догадаетесь, что предложенное — одна из попыток (и — первая) зафиксировать для себя и собрать воедино эту расплывчатую неуловимость, как бы впрок, для той более широкой переработки, о которой я сейчас сказал выше.

Стихов об Октябре к юбилею я не собирался вообще писать. С другой стороны, в прямейшие мои планы, не приуроченные ни к каким дням, входило провести свой матерьял, поэтический и повествовательный, именно через его атмосферу. На очереди у меня работа по продолженью Спекторского5.

Из всяких запросов и предложений одно Ваше, сверх уже раньше отклоненных и упущенных, — связано твердым сроком и, как будто, посвящено годовщине. И я имел, собственно, в виду ЗиФ, когда засел в последнее время за октябрьскую запись. Прибавлю еще, что ее конец выиграл бы, если бы у меня было время дать еще небольшую

вставку (еще немного развить тему бытового преломленья и три-четыре строфы посвятить 2-му Съезду Советов). Так это я и предполагал, и, может быть, пропуск этот чувствуется во внезапности концовки.

Но я боялся задерживать Вас ответом. Поправлять ли это, и как (можно бы в корректуре), — я решить не могу до Вашего редакционного решенья. В пятницу мне привезут почту из города. Я очень бы Вас просил дать мне ответ до четверга*. Простите, что стихи, против правила, написаны на обеих сторонах бумаги. Это из почтовых соображений, да и все равно их придется перепечатать. Не удивляйтесь также, что как будто обставляю все излишними усложненьями. Так, съездить самому в город и Вас повидать было бы всего проще. И если бы Вы знали, как меня туда тянет, хотя бы даже в эту самую сутолоку редакций, — ведь мы народ отравленный в этом отношеньи! Но я так напуган полосами совершенной бездеятельности или еще более частыми периодами вялой работы, что сейчас, когда мне вдруг стало работаться, я, превозмогая эту тягу по улице и телефону, умышленно и насильно

* По городскому адресу: Волхонка, 14, кв. 9. (Прим. Б. Пастернака.) решил отсидеться тут остающееся небольшое время. Да кроме того, до середины лета я с конца марта ничего не делал, и это надо нагонять. Жму Вашу руку. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1638, оп. 1, ед. хр. 4). Год написания письма определяется по содержанию.

В 1927 г. поэт Сергей Александрович Обрадович был одним из основателей литерат. группы «Кузница» и организрвал литерат.-худож. журн. «Земля и фабрика» («ЗиФ»).

1 Обрадович обратился к Пастернаку за материалом для первого номера журн. «ЗиФ». Пастернак ответил ему 22 авг. 1927: «Простите за запоздалый ответ, но лишь половина этой оттяжки ложится на меня непосредственной виною. Деревня находится в стороне от железной дороги, и если бы даже я дал всем свой прямой летний адрес, то все равно письма приходили бы с недельным запозданьем против своего прибытья на станцию. А так мне их возят с тем же запозданьем по воскресеньям из города — зато есть гарантия, что ни одно не пропадет. Так что и Ваше, от десятого, я получил не так-то давно. Можете на меня рассчитывать. Я смогу дать Вам матерьяла строк на 70 или немного больше, несколько небольших стихотворений.

Перешлю я их Вам, либо же сам зайду с ними — через неделю. Кое-что надо еще привести в должный вид. Тогда же и об условиях. Всего лучшего. Ваш Б. Пастернак» (там же. С. 718).

2 Просьба Пастернака не была соблюдена: два из «антологических» стихотворений, «Пространство» и «Ландыши», были помещены в первой книге «ЗиФ» (1927), а третье — «Сирень» — во второй (1928).

3 Стих. «Любка» неоднократно перерабатывалось, первонач. его редакция приведена в письме № 364.

4 Небольшой цикл, названный позднее «К Октябрьской годовщине», не был взят в «ЗиФ»; без 5 строк и без назв. он был напечатан в «Звезде» (1927, №Ц).

5 Пастернак писал родителям 17 июля 1926: «Ах, если бы немножко денег! Тогда бы я знал, что делать! Сейчас же, при работе, мелкой сантиметровой сеткой, то есть вершок в вершок вынужденной совпадать с периодически регулярным заработком, приходится заниматься заканчива-ньем вещей, возникавших в это водянистое время. Их бросать нельзя, не пропадать же "вложенному капиталу". И я буду стараться дописывать "Спекторского", прозу в стихах, жанр, родовым образом и категориально бессмысленный и компромиссный, возможный только в период художественного безбожья, т. е. тогда, когда искусство переводится на гражданское состоянье и нигде

никогда не звонит на колокольне гениальности. Теперь эта пора на исходе, но материально я еще не могу воспользоваться освобожденьем» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С 135-136).

370. РОДИТЕЛЯМ

7—17 сентября 1927, Мутовки — Москва

Мутовки. Очень старая дата Дорогое папа и мама!

Еще только вчера я просил Жонечку передать вам, чтобы вы не сердились, если от меня долго не будет писем1. Но сердце не камень, и несмотря на то, что сейчас писать письма просто вредно мне, надо бы не тем заниматься, это извещенье о временной заминке лучше я сам вам передам. Я еще не видал Пепы, но уже через Шуру смутно знаю о новой альпийской лавине неисчислимых подарков. Вы легко и сами вообразите не только то чувство счастья и благодарности, но и глубокой неловкости, которое я испытаю, когда стану под этот обвал. Но я не об этом хотел писать.

Несколько дней с сильным северным ветром до неузнаваемости изменили местность, нашу обстановку, привычки и обиход. Осень, хворает (желудком и горлышком) Женичка, и начинает пахнуть переездом в Москву. Как всегда, благодаря такому пере-мещенью разом, в теченье дня, из сезона в сезон, и этот последний мыслится в виде цельной глыбы, точно сразу в первый же день предстоящий год встретит нас со всеми своими декабрями и январями. Ну и что же, если только не будет каких-нибудь непредвидимых болезней или несчастий, надо сказать, что кажется он редко благоприятным. Это прежде всего — со стороны матерьяль-ной. Я думаю, нет такой дряни, которой бы не взяли охотно у меня, и разумеется, чувствуя эту новую опасность, я еще строже и осторожнее буду к себе относиться: доверяться фильтрующей силе препятствия, как бы оно ни было слепо, уже не приходится, как бы внутренне шатка ни была требовательность редакторов, даже и эта инстанция кажется изымается из моей деятельности, и является подозренье, не гипнотизирует ли уже моя репутация, делая черное белым. Повторяю, я только еще осмотрительнее буду относиться к работе. Но грошовых договоров мне подписывать в ближайшее время уже не придется, и есть возможность ставить свои собственные условия и настаивать на них. Говорю — на ближайшее время, потому что знаю, как это все превратно, и как зависит от тысячи случайностей, из которых даже и ближайшая, твоя собственная жизнь и твой труд, едва поддаются предвиденью и управленью.

Вполне удовлетворительна и моральная сторона. Судьба и всегда-то баловала меня ею. Особенно же это как-то сгустилось сейчас. Тут мне не хочется входить в подробности: мне как-то верится, что с тою же случайностью, как доходят эти иногда неожиданно далекие волны симпатии до меня, доходят они и до вас, не обязательно те же самые, но — подобные и не всегда известные мне.

Так же не хочу распространяться и о своих планах: здесь я до некоторой степени суеверен. Но так как действию судьбы, по-видимому, лишь подлежат предвосхищенья, т. е. представленья чего-то, сбывающегося в будущем, сознанье же долга и необходимости не превышает душевных прав и суевернейшего человека, то могу сказать пока одно. Близко время, когда писанье крупных и абсолютно свободных вещей станет (субъективно) непосредственней-шей и единственной моей задачей2. Объективной судьбы этих попыток не предопределит никто, ни я в том числе. Однако эта неизвестность нисколько не может изменить положенья, при котором мне не останется ничего делать, кроме названного. Подготовке благоприятных условий для перехода на эти чистейшие задачи я и постараюсь посвятить эту зиму. В условья их осуществимости, в виде плана, может войти и продолжительное пребыванье за границей. Не потому, чтобы я считал вообще жизнь там жизненным для себя идеалом. Как раз наоборот, в противоположность Шуре и, теперь, Жене, которая все рвется туда, я

глубочайшим своим существом мог бы жить только в России. Но так уже повелось, что подбор больших денег впрок и вбиранье больших надолго рассчитанных длительностей мыслимы только в тех случаях, когда это внешне символизовано заграничным паспортом. Ничего не говорю о том, что я смертельно соскучился по вас и должен вас увидеть. Для этого достаточно было бы прокатиться на месяц в Германию. Нельзя знать, может быть, к этому и сведется вся затея, если по приезде я увижу, что мне там не работать. При той, ни с чем не сравнимой радости, которую обещает одно это свиданье, мне значит нечего бояться и разочарований. Каковы бы они ни были, они сторицею будут покрыты одною встречей с вами. Однако все это еще очень далеко и говорить об этом рано.

— Надо ли также напоминать вам, что у порога, о котором я вам пишу, я уже стоял ровным счетом десять лет назад, и только задача глубокого обходного движенья, выпавшая на долю этого десятилетья, на тот же срок отдалила все цели, естественно находившиеся тогда под рукой. Только теперь можно измерить, насколько недооценивалась война и ее ликвидация со всеми влияньями и последствиями3. Это — цельный и неделимый процесс, так же как цельно и не расщеплено в нем все русское общество, что бы ни казалось близорукому взгляду Трудовая повинность времен военного коммунизма была лишь частичным терминологическим выраженьем того, чем были и должны были быть все эти годы. Я ее нес и отбыл книжкой «1905 год».

Так как, по-видимому, это общесемейное письмо, то и пересылаю его через вас4. Оно записано карандашом Женею, но так как она пишет очень неразборчиво, я его вам переписал. Крепко вас всех целую. Ваш Боря

17 утро. Дорогие мои! Какою дикостью мы ни отличались всегда в отношении сроков в переписке, но данный случай даже и в этом ряду совсем выдающийся. Письмо это пролежало, вероятно, не меньше 10-ти дней. Произошло это от того, что последние наезды Вильямов и Шуры из города носили характер ликвидационных, предотъездных, и ни в чем не походя на летние, выталкивали из колеи привычных поручений в город. Так три случая я пропустил по своей рассеянности; еще важная причина: у меня на даче вышли конверты и марки, и значит письма к отправке в обычном смысле и виде, какой изображается на ящиках и почтовых фургонах, у меня не было, поручать же купить конверт и марку казалось хлопотным для лица, получающего такое порученье. Вчера вечером мы перебрались с дачи в город. Переезд предполагался сегодня, но так как с того времени, как я «возведен в мировое дворянство» и все более и более презираю хлопоты и заботы как «темы» существованья, с другой же стороны они всегда целиком на мне, то начав укладываться, я стал это делать без всякого уваженья к делу, т. е. со зверской гонкой, без вчувствованья и психологического смакованья. Вдруг мне пришло в голову, что вся эта ерунда не заслуживает суточного вниманья человека, и достаточно мне было этим проникнуться, как все было сделано в 4—5 часов, и дикий груз, потребовавший двух телег, пошел на станцию на день раньше чем думали, и с тем вместе и — мы.

Сейчас у меня сильная головная боль: с набегающим то и дело головокруженьем. Это оттого, что я недоспал. Кроме того, это и действие города, квартиры. Утомленья от перевоза, укладки, беготни, трат и пр. я не испытал никакого, и предпочел бы каждую неделю заниматься всем этим на свежем воздухе, в завидных ус-ловьях широкой крестьянской современной избы, на открытых перронах станций и пр. — неописуемой бессмыслице нашего современного города.

Мне хотелось пойти в баню и съездить к тете Асе в Петроград сегодня же. Первого, верно, не приведу в исполненье, так как при головокруженьи боюсь как бы не упасть в обморок в мыльных парах. Билет же сейчас пойду купить. Оттуда и напишу. Больше не могу — буквы танцуют.

Целую и все наши вас также. Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по письму к Ж. Л. Пастернак отбсент. 1927.

1 В письме к сестре Пастернак просил прощения за перерыв в письмах: «Стал я писать вам меньше, потому что скоро уезжать, заработанное прожито, и что-нибудь ведь надо привезть в город, хотя бы из суеверья. <...> Для меня в свое время было бы огромной радостью, если вы все же достали The London Mercury. Теперь это до известной степени безразлично. Как философ, ты знаешь, что точных и разумных целей (в противоположность причинам) не существует. Трудно прямой целью осмыслить и жизнь. <...> Если бы я сказал, что живу для родителей или чтобы доставлять им радость, я, конечно, был бы смешон и в собственных глазах. <...> Из целевых же замещений (с Богом, родиной, всем миром и редкими друзьями) всю эту целевую музыку, все это внутреннее телеологическое мурлыканье живее, проще и плотнее всего олицетворяет семья, т. е. даже вы не так, как папа и мама. И мне хотелось, чтобы им это было переведено у тебя» (там же. С. 137-138).

2 Речь идет о задуманной «Статье о поэте», посвященной Рильке; в процессе работы она получила название «Охранная грамота».

3 Эти мысли о революции как следствии войны и разрухи выражены в стихотворном цикле «К Октябрьской годовщине» (1927).

4 Приложен листок с письмом от сына, переписанным рукою отца.

371. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

8 сентября 1927, Мутовки

Дорогая Марина! Не значит ли что-нибудь твое молчанье? Может быть ты почему-либо недовольна мной? Перебираю и не нахожу, что бы я мог сказать или сделать такого, что бы могло тебя огорчить. Когда же перехожу к фантастическим, с трудом мыслящимся немыслимостям, то, как ты сама знаешь, этой области нет границ. Вот, в качестве примеров. Я переборщил, послушавшись твоей просьбы не говорить с Асей о тебе (помнишь?); ты с ней виделась или списалась и удивлена, в какой малой доле составляешь мою жизнь и на нее ложишься. Или. Ты виделась или списалась с Асей, она рассказала тебе про меня прошлою весной, и, забыв, что все это происходило до твоей просьбы, ты возмущена тем, что я твоей просьбы не послушался и что Ася знает, чтб ты составляешь для меня и т. д. Чем бы ты ни была задета, бесконечно ли большой оплошностью или бесконечно малой, умоляю тебя, опомнись и прости меня. Иногда же приходит мне в голову, что взявшись переписывать обещанные три вещи, ты два-три слова в списке изменила, и отсюда вдруг пошла и разрослась переделка, которая тебя ото всего оторвала. И еще, несравненно естественнее: хлопоты по осуществлены© встречи с Асей, в которых, понятно, деятельной стороной приходится быть тебе. Такие предположены! успокаивают, и они вероятны. Но если ты даже сердишься на меня, то, уверен, сердясь, чудесно знаешь, что будь ты здесь, я был бы вполне счастлив родиной и либо совершенно не думал о «загранице», либо в той только части, которая приходится на родителей и сестер. Но тогда ведь и они были бы тут? И не потому, что я тут так очарован, а потому что мне должно быть особо по-русски темно и трудно, чтобы жить, подыматься и опускаться и за что-то перевешиваться, когда кажется, что тянет завтрашним днем или будущим годом. И так как вышеприведенное допущенье — пустая мечта, то зиму я потрачу на то, чтобы как-нибудь научиться забываться по-немецки или по-французски, с тем, чтобы вероятная будущим летом поездка была живым, а не только пространственным фактом. Я пишу тебе сегодня страшно бедно и несвободно. По правде говоря, печальная неизвестность гаданий о тебе, т. е. о твоем, вероятно, мнимом недовольстве — сейчас единственная моя тема, она глядит на меня

изнутри и в окно, всей осенью, всем холодом и облачным небом. И так как вырваться из ее широкого кольца у меня сейчас нет сил, то лучше я кончу.

Что сказать тебе нового, дельного, «фактического»? Я хочу все же написать статью о Р<ильке> — для здешнего критического журнала. Намеренье безнадежное, но попытаюсь. Говорил ли я тебе, что даже и расположенный ко мне редактор зимой сказал1, что о нем (т. е. о Р<ильке>) дадут писать уж никак не мне, а облеченному доверьем знатоку из ГУС'а (госуд. ученого совета), потому что в эту и без того жгущуюся тему я только масла подолью. А нужно бы — воды, чтобы от нее кроме шипенья и грязи ничего не осталось. Странно, все свои разговоры я всегда свожу к таким сплетням. Это простительно прислуге, и то не нынешней. Может быть по переезде с дачи в Москву я на неделю съезжу в Петербург.

Мне надо отдохнуть, хотя я за лето ничего ощутительного не сделал. Оттуда я может быть напишу тебе о своих планах, но строжайше только тебе: если их узнают Аля или С. Я., то уже и тогда есть риск, что им не сбыться. Ты на себе, верно, замечала, что нет такой мелочи, которой бы не подхватил общий сквозняк. Тебе зев-нется, и после ты об этом узнаешь из другого города или уж совсем с чортовых куличек.

Всей душой и всей осенней растерянностью крепко обнимаю тебя.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 164). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Имеется в виду В. П. Полонский, главный редактор «Нового мира», где Пастернак, по-видимому, предполагал напечатать статью о Рильке. См. письмо № 373 про книги о Рильке.

372. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

18 сентября 1927, Москва

18/IX/27

Дорогая Марина! С нетерпением жду Асю и рассказов о тебе. Мы друг у друга в долгу не остаемся. Последние наши письма как-то не наши. Я говорю о твоих. Вероятно таковы же и мои. В предпоследнем меня огорчил играющий тон в отношении героя «П<оэ-мы> Конца»1. Давно как-то ты мне писала о своей «ненависти». Сейчас ты скажешь, что твоя манера думать о людях такова именно, и если это мне не понравилось, то это — мое дело2. Да и что вообще ты такова, и т. д. Но так как кому и знать лучше твоего, к чему сводятся корни так называемого «характера», то долго тут говорить не придется. Вся суть конечно в волевых оттенках самопоз-нанья, в их выборе. Может быть все это еще сложнее, чем я думаю, т. е. то, что мне кажется, природою в свою очередь еще сложено вдвое, но мне кажется, что ревновать тебя я могу только к тебе же, и мне было бы по-настоящему хорошо, если бы ты о нем не написала так бессердечно3. Однажды это было и с какими-то твоими словами о Р<ильке>4. Это трудно сказать в двух словах, но быть может ты все поймешь и с них. На меня веет от тебя холодом, и вызывает чувство, похожее на ревность, всякое проявленье добровольно бесплодного самопознанья с твоей стороны. Но теперь ты рассвирепеешь за стиль, т. е. за то, что от этой психологии пахнет ладаном. —

Вчера мы переехали в Москву. Писал ли я тебе в свое время о местности, в которой мы жили? Поначалу там было удивительно хорошо, и редкой сердечности люди в деревне. Всему этому есть объясненья в прошлом этого места, но это долго рассказывать. Я много гулял, почти совсем не работал и теперь не знаю, на что ухлопал больше трех месяцев. Приложенные пять стихотворений в редакциях принимают очень восторженно, но ты мне скажешь, как и о Шмидте, не есть ли это модифицированный Ходасевич, т. е. не пришел ли я, дав возобладать над собою 1етеански-Тют-чевской стихии, исторически тяготевшей над самим местом (Абрамцево и Мураново!), к

какому-то подобию Ходасевичева «классицизма». Добавлю еще, что это никак не «вехи», что ни к чему я не шел и целей себе никаких не ставил, т. е. что все это — между прочим, но восходит к очень сильным и настоящим впечатлениям5. Жаль, если они выставлены в смешном виде. В ощущении, история у меня вернулась в природу, где ей и подобает быть. — Маяковский и Асеев понемногу берутся за ум и написали по хорошей поэме к десятилетью6. Меня это радует. Их благоденствовавшее безделье рядом с моим долго выбивавшимся из нужды трудом стало меня просто задевать в последние годы. Теперь это уравновесится. Письма моего они не поместили, но имя с обложки сняли7. Встретились с Асеевым по-дружески. В авторском чтении его поэма показалась мне местами прямо-таки замечательной. Как выйдет, пошлю тебе. С Маяк<овским> еще не встречался. Однако в глубине отношенья эти непоправимо двойственны. Хуже всего то, что Асеев, защищая сантиметровые масштабы своего «миро-созерцанья», начинает швыряться и тоЬою, удивляясь, как, любя Крысолова, я не понимаю, за что его люблю. Ты, оказывается, тоже «формалистка», сознательная, как они, или бессознательная, как я, по их мненью. Все это совершенные пустяки, но бывают состоянья души, при которых даже положенья за столом или то, кто с кем идет на общей прогулке, переживаются с отчетливостью со-бытья. Именно этой повышенной чувствительностью я и страдаю по отношенью к тебе. — Временности начинают редеть. Их будет все меньше и меньше. Эту зиму я еще посвящу заделываныо последних дыр: реализации Спекторского и прочего. О дальнейшем, т. е. о том, что тебе всего интереснее: о тебе, — боюсь говорить. Пока все шло, как надо. Спасибо тебе, что удержала меня год назад8. Уже я знаю и вижу, зачем это было. Если и моя выдержка получит такое же оправданье, это будет просто удивительно. — Как здоровье Мура? С «пузом» — чудесно9. То, что ты написала о нашей «дружбе», конечно, неправда. Ты все прекрасно знаешь и только дразнишь меня. Это опять одна из крайностей самосознанья. Но раз подпал ей и я. Это когда я поставил в пару (в одном письме к тебе) Ахматову с Волошиным. Ты сама знаешь, что по отношенью к ней это было низостью10. Я не знаю зачем, т. е. как, это сделал. Ты не остановила меня потому, что поняла, что это такое, я же настолько неловок и глуп, что каждую твою холодность к другому слышу собственной кожей.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 164).

1 Имеется в виду К. Б. Родзевич. В начале августа 1927 Цветаева писала о нем: «"Не тот человек" — совершенно верно, не тот человек, потому что тот был, пока любила, но был» (там же. С. 372).

2 Пастернак имеет в виду слова о ненависти из письма 27 февр. 1927: «Святополк-Мирский в своей английской Истории русской литературы называет (прозу Цветаевой. — Е. П., М. Р.) "худшей на протяжении русской литературы". Он меня, между прочим, сейчас ненавидит — за всю меня — так же как я его и, должно быть, в ответ» (там же. С. 317).

3 Из наброска к письму конца августа: «Как это может быть, что после такого нудного чувства люди могут выносить друг друга не-чудных, вне этого чуда — без. <...> Как такое чувство локализировать, не распростр<анить> его на всё. Человек обрекается им на божественность. Как после него не понимать стихов, смерт<и>, всего, куда он девал это знание» (там же. С. 380—381).

4 Цветаева писала 22 мая 1926 о Рильке: «На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: всё взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания — я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей» (там же. С. 207).

5 Речь идет о приложенных к письму стих.: «Ландыши», «Пространство», «История», «Приближенье грозы», «Сирень». Об их возникновении Пастернак писал 10 июля 1927: «Косвенно я уже тут сказал тебе, какие чувства у меня берут постепенно верх над прежними и недавними. Кажется, я оживаю. Как ни отличны условья, в которых мы с тобой живем, то, что меня начинает подымать, — шире этих различий. Т. е. я думаю (меня это чувство не покидает), что нечто, подобное моему, в то же самое время переживаешь и ты и делаешь из этого одинаковые выводы. <...> Я проговорился против воли. Если по переезде в город мне нечего будет показать тебе, куда я денусь от стыда со всею этой метафизикой? Но с какою верой смотрю я на будущее!» (там же. С. 356-357).

6 Имеются в виду поэмы «Хорошо!» и «Семен Проскаков», написанные Маяковским и Асеевым к десятилетию Октябрьской революции.

7 Речь идет о заявлении «Редакционному коллективу Лефа» (26 июня 1927) - см. письмо № 368.

8 Имеется в виду ответ Цветаевой Пастернаку на вопрос о приезде к ней весной 1926 г.

9 Цветаева писала о сыне 15 июля 1927: «Но Мур — заглядение. Чудная голова, львиная. Огромный лоб, лбище, вздым<ающийся> це<лой> белой бурей кудрей. Разгов<оры> такие: <...> Мама, поцелуй Мурке пузу» (там же. С. 360).

10 Имеется в виду начало письма N° 302, где Волошин и Ахматова противопоставлены Цветаевой как подлинному поэту.

373. В. П. ПОЛОНСКОМУ

19 сентября 1927, Москва Дорогой Вячеслав Павлович!

Вероятно, я поздно хватился, и Вы даже при желании и готовности не успеете исполнить моей просьбы. Все же, на всякий случай, вот она. Не попадется ли Вам в Вене или Берлине1 стоящая и исчерпывающая книга о Рильке (с большим биографическим матерьялом) или люди сведущие, которые таковую могли бы указать? Простите тут же неловкость, которую я сейчас же допущу. Зная Вас, я прошу Вас принять мою просьбу во вниманье только при том условии, что это не будет подарком. Лучше сказать, достаточным подарком будет уже и то, что среди множества легко представимых забот и поручений Вы уделите долю времени и ей.

У меня есть весь Rilke, кроме двух книжек дешевой библиотеки. Inselbucherei: «Requiem» и «МапегйеЪеп». Если после книг, вышедших при его жизни, появились какие-либо посмертные, т. е. какой-нибудь «Nachlass»*, то нет у меня и этого последнего. За эти пополненья был бы Вам также глубоко благодарен. Из книг же о Rilke есть у меня: книжка Faesi, сборник французских писателей «Reconnaissance a Rilke» («Cahiers du mois»)*** и сборничек издательства Inselverlag под названием «Inselscliiff»****. Однако все это совсем не то, чего хочется и что, по всей вероятности, уже о нем имеется в немецкой печати.

Только вчера мы переехали с дачи. От Жкова> 3<ахарови-ча> узнал о громадной работе2, чудесно исполненной Вами в такой невероятно короткий срок. Тем глупее чувствую себя я при сознании, что три с половиной месяца провел в прекрасной мест-

* Книжки издательства Инзель: «Реквием» и «Жизнь Марии» (нем.). " Наследие (нем.).

*** «Памяти Рильке» («Ежемесячной тетради») (фр.). **** «Корабль издательства Инзель» (нем.).

ности без видимой пользы. То немногое, что я сделал (несколько небольших стихотворений и небольшой набросок, имеющий отношение к Октябрю3, но абсолютно не тематический и очень слабый), я отдал в ЗиФ и «Звезду».

Я боялся впечатленья, что Вы так благоволите ко мне, что любая дрянь моя находит всегда гостеприимный кров «Нового Мира», и чтобы себя и Вас избавить хоть на время от этой тени, направил свои предложенья в другие места, затруднив соглашенья повышенными требованьями гонорара. Однако их сговорчивость превзошла все мои ожиданья, и после этого опыта совесть моя в отношении Вас и себя много чище и легче.

Страшно рад за Вас. Поработать с таким успехом и пользою в поездке это ведь одна из тех редкостностей, которые граничат с выигрышем в лотерею. И как Вам, наверно, ездится при таком «feci»*, дающем полный нечеловеческий отпуск Вашим глазам и ушам!

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268). Датируется по почтовому штемпелю.

1 В. П. Полонский в сентябре 1927 г. посетил Берлин, Вену и Париж.

2 Я. З. Черняк, сотрудник Полонского по журн. «Печать и революция». Речь о книге «Очерки литературного движения революционной эпохи. 1917-1927» (М.-Л., ГИЗ, 1928).

3 Цикл «антологических» стихотворений и 4 отрывка «К Октябрьской годовщине».

374. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

30 сентября 1927, Москва

Дорогая моя! Как ужасно! Опять я не исполнил твоей просьбы. Ты просила о немедленном знаке, что письмо дошло. Оно написано 14-го, пришло 20-го, как и все предшествующие без исключенья. Все они, перечисленные тобой, шли по 5-ти дней, как им полагается, и в свое время доходили, почта исправна, неисправен я. Я ездил в Петербург, я вез туда свою предвосхищенную поездку с предвосхищенным письмом к тебе из самой сердцевины предположенного гощенья где-то, скажем, у тетки и двоюродной сестры1. Из предвкушенной тишины давнишних и проверенных и но-

* «сделал» (лат.).

вых, заданных случайности впечатлений. В этом забеганьи вперед нет для тебя ничего чуждого. Так ты живешь и жила всегда, так же и я. И у меня не было там разочарований от того, что все сложилось иначе и меня встретили другие неожиданные мелочи, благоприятные, но незначительные, за вычетом одной-единствен-ной, о которой два слова в конце. Вчера я вернулся оттуда. Я не написал тебе из П<етербурга> оттого, что остановился в проходной комнате и все время, что бывал там, был на виду, отвечал на беспорядочно порывистые расспросы тетки и сестры и участвовал в сумбурных философствованьях этих существенных и по-своему мне близких женщин. У всякого в родне бывают исключенья, иллюстрирующие его собственный род и лучшую его зарядку. Так обстоит дело и с этими.

Но то, что мне стало трудно писать тебе, в этом есть некоторая закономерность. Ты на время отняла у меня легкое счастье писать тебе десятые и двадцатые письма, поставив перед ложною надобностью первого, т. е. первого вновь, и в который раз, письма. Ты что-то сказала о превращеньях, зимами постигающих нашу дружбу. Ты сравнила эти дни, которым зимой пойдет третий год, с чешской неизвестностью. Ты была всегда, ты открылась мне в Верстах, но не надо смешивать, — полная и неприкосновенная истина нашей связи начинается там, где именно это слово «ты» к тебе в одном письме надломило и сорвало мне голос2. И вот я говорю тебе его, и ничего с ним не делается зимами, и все было, не было только его в Чехии. Говорить же за птиц, а ими именно и будут те случайные вещи и прохожие и крыши над нами и французский язык, которым еще осталось сказать вокруг нас о том, что нами уже

сказано друг другу — это выше моих сил. — Иногда же теперь, в самое последнее время, мне кажется, что это будет тут, что моя задача, в которой я еще не разобрался, чтобы место, где ты столько лет жила с такой силой в виде вздоха и сна и сердечного пробела, первым тебя увидело живою; не только чаянной, неповторимой. Слово же, которое тебе может быть весело услышать в двадцатый раз по тому труду, с каким оно произносится в разлуке, торчит из строк, и надо его хотеть не видеть и не слышать. — Где ты сейчас? Выздоровел ли Мур?3 С вами ли еще Ася? Перешли, пожалуйста, Св.-Мирскому его экземпляр «1905-го». Его наверное уже нет во Франции, нового же его адреса я не знаю. Тебе хотел послать 2 экземпляра: один свой, другой расхожий, с надписями разных температур. Стал надписывать, как расхожий, оставалось еще, в этом назначении, слово: современнице (в<еликой> и л<учшей> современнице); задержался на превосходных качествах, на живой тебе, и вот оба назначенья слились в одно. Можно таить и показывать. Обнимаю тебя. Твой Б.

Об одной петербургской подробности (очень важной) другой раз4. Напомни. Сообщи мне имя и отчество (и адрес) Сувчинско-го. Удобно ли послать ему 1905, его не зная?

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 164). Датируется по содержанию.

1 А. О. и О. М. Фрейденберг.

2 Первый раз Пастернак обратился к Цветаевой на «ты» в письме № 283, когда сообщал ей «радость» о том, что Ахматова выздоровела. До этого он всеми силами сопротивлялся этому: «Мое вы к тебе найдено <...> как единственная мыслимость среди немыслимых трудностей времени» (№ 280).

3 Мур заболел в начале сентября скарлатиной, от него заразилась Аля, а потом и сама Цветаева.

4 Имеется в виду знакомство с молодым поэтом Вольфом Эрлихом, близким другом Есенина. См. письма № 375 и 378.

375. РОДИТЕЛЯМ

30 сентября 1927, Москва

30/DC/27

Дорогие! Нежность и доброта где-то соприкасаются с ленью. В том, что я о вас думаю, всегда сказывается нежность, пишу же я вам часто из лени, писать, конечно, надо не письма, а книги. Вчера я приехал из Ленинграда. Я ездил туда с единственною целью повидать теток и двоюродных сестер. Вы видите, что поездка ближайшим образом отразилась на наименовании города: трудно после повседневных сношений с трамваями, редакциями и железнодорожными билетами помнить, что он — Петроград, или Петербург.

Так как в Москве даже и высокий заработок кучится в тесных и загроможденных квартирах, совершенно неописуемых, рождаются дети, появляются няни и слуги, частые и многочисленные посетители и пр., — то неудивительно, что простор и чистота решительно всех виденных петербургских квартир производили на меня грустное впечатленье опрятной и благородной бедности, приблизительно по тому закону, по которому осень кажется тем печальнее, чем она тише и золотёе. Везде, на московский взгляд, открывались комнатные перспективы, охваченные непривычным для москвича покоем, и казалось, что по ним, и именно там, где у нас начинаются соседские примусй, бродит нужда в проседи и чистом белье.

Объективно же, вне этого сочувствующего освещенья, справляются с трудностями и тут. Призрачный же и неземной налет исходит как раз от петербургских преимуществ, нам недоступных.

Я проверил впечатленье Еты1, передававшей весной, что бабушкиной старости (физически) можно пожелать каждому. Она не привирала. Молодцом держится и тетя Клара2. Я зашел с вокзала к ним первым. Застигнутая врасплох, она выбежала ко мне прежнею красавицей в буре улыбок и восклицаний. Я ей это сказал, и потом, пока я умывался и брился в ванной, она успела себя обезобразить и состарить пудрою и прочим. Она вообще молодчина. По-видимому, все не только материально, но и душевно держится на ней. Вы, вероятно, знаете о ее поездке на край Средней Азии на 16 дней пути отсюда, и о дорожной краже, и о других ее испытаньях. По той же драматической стезе тянется за ней и Машура3.

Болела перед тем тетя Ася. Но я ее застал выздоровевшей. Она немного постарела, так мне показалось в первый миг. Но потом я это чувство бесследно утратил за ее шутками и смехом и разговорами. Сашка4 недавно выехал от них, и они сдали половину квартиры троим жильцам, молодым одиноким ученым, разместившимся в трех комнатах, ближайших к парадной лестнице. И это опять не московское уплотненье. Резкость различья, о котором я уже говорил, здесь сказывается еще сильнее, чем у тети Клары, где ничего никому не сдано. Это — я, живущий у хозяев в Лебяжьем5. Оля готовит новую большую работу. У ней есть друзья и враги, ее ждет большое ученое будущее. Она — та же Олюшка, что и раньше, и лицом не переменилась. И естественно, что те же чувства к ним обеим и у меня, а вы их знаете.

Но все меньше и меньше в моем отношении к людям, и к ближайшим, участвуют те активные формы, которые сами они нашли для своего существа. Они и не подозревают, насколько их собственное сырье ближе и роднее мне той оправы, которой они думают его облагородить. Часто равными мне я воспринимаю только их неудачи и вообще все то, чего они стесняются, рассказы же их об удачах принимаю только из умиленья, вызванного их самолюбивыми умолчаньями о препятствиях, тенях и преградах. Если вы не согласны, что всю совокупность дарований, составляющих природу их дома, пронизывает тема неутоленной или надорванной гордости, то я вам напомню о Сашке, где направляющая магистраль этих качеств оголена до крайности. Фантазирующее самолюбье разрослось тут до вихря. Оно носит его по морю бесплоднейшего нигилизма. Без удивляющегося слушателя этой жизни нельзя вообразить.

Как во всякой семье, здесь мрачатся и умываются друг другом два разные мира. Я не знаю, что из этой меняющейся и движущейся смеси надо отнести на счет покойного дяди Миши6. Может быть, я буду несправедлив и дам лишку, сказав, что авторство этой темы восходит к твоей крови, папа. Но толчки и барахтанье ее помню в себе. Я догадываюсь, как свертывал ты шею этой чертовщине, которая унижает человека и делает смешным, если дать ей волю. Я знаю, как расправлялся и расправляюсь с ней я сам.

И вот: трактовку успеха приходится прощать даже и Оле, несмотря на то, что по сравненью с Сашкиными россказнями ее рассказы — ангельская чистота, горний воздух, органная музыка. И вот я слушаю их, ее и тетю, и люблю, и трогаюсь, и восхищаюсь, и они не знают, что действует на меня не место их среди людей, а только то, что частью растеряв, частью донесши, они волокут за собой на это место. Я их люблю так, точно их написал: это не сверхчеловечество, тут нечем хвастаться, это невымышленная психологическая странность. Но она же обращена и к тете Кларе, и это стирает иерархические отличия.

Тетя Ася и Оля ближе Клары мне, потому что они продираются сквозь живую заросль образованности и культуры, и у меня с ними общий язык. Тетя Клара же ближе мне потому, что продирается через живую толпу пьяных на Лиговке, и у меня с ней общие движенья. От одной хочется к другой со всей правдивостью разных мест одного

пространства, тянущегося, — в Питере из Питера в Москву, в Москве же из Москвы в Питер. —

О себе не пишу, потому что если коснуться внешней стороны, и в особенности в двух словах, то она такова, что рассказ об этом неизбежно отдаст хвастовством, и незаметно все сказанное о людях опрокинется и на меня самого. Все идет надлежащим и наилучшим порядком. Одна вещь случилась в Ленинграде, никому с виду не заметная и не поддающаяся описанью. Она имеет величайшее и решающее значенье для меня. Для меня, т. е. еще зЬке: — для моего сердца закончилась и разрешилась моя давняя тяжба с Есениным, навязанная мне им самим при жизни. Может быть, я предвосхищаю событье, и оно еще разрастется и подтвердится, но кажется мне, что это уже исчерпано и сейчас через того самого мальчика (молодого поэта), которому Е<сенин> кровью написал стихи перед смертью7. Я видел его и говорил с ним.

— Получили ли вы посланную книжку и не доставила ли она вам разочарованья8.

Горячо благодарю вас за письма Женечке. Вас и Жоню. Крепко обнимаю вас всех.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Генриэтта Абрамовна Дайлис, двоюродная сестра Р. И. Пастернак, навещавшая в Петербурге свою тетку, Берту Самойловну Кауфман.

2 Клара Исидоровна Лапшова — сестра Р. И. Пастернак.

3 Мария Александровна Маркова — ее дочь.

4 Александр Михайлович — брат О. М. Фрейденберг.

5 Пастернак снимал комнату в Лебяжьем пер. зимой 1913-1914 и весной 1917 гг.

6 Михаил Филиппович Фрейденберг, муж Анны Осиповны.

7 Имеется в виду В. И. Эрлих, к которому Есенин обратил стих. «До свиданья, друг мой, до свиданья...», опубликованное на следующий день после самоубийства. Об отношениях с Есениным см. в письме № 270.

8 «Девятьсот пятый год» (М.-Л., 1927) с надписью: «Дорогим папе и маме с глубоким чувством, которого сыновняя любовь—только малая часть. Боря. 20. IX. 27. Москва» (Pasternak Trust, Oxford). Благодаря за книгу, Л. О. Пастернак 5 нояб. 1927 писал сыну, что «испытал искреннее удовольствие от самих стихов», но подумал, что нужно было бы «дать ряд исторических справок в конце книги, что облегчило бы просто последовательное понимание забытых современниками событий (а будущим поколениям и вовсе ничего не поймется) и исторических фактов» (там же. Кн. I. С. 151). Соглашаясь с отцом, Пастернак объяснял причины своего отказа от этого: «Все, что вы мне написали (ты и Лида) о "Девятьсот пятом", было бы совершенно справедливо, если бы только фактическая ткань Года не была элементарной исторической азбукой для всего здешнего грамотного юношества. Правда, в отличье от этой "Богородицы", наизусть известной каждому, я мог бы дать свой прагматический комментарий; однако в таком случае книга по цензурным соображеньям не увидала бы света. Мне кажется, книга имеет успех. <...> Летом, до корректуры, она была понятнее, но всю поясняющую воду, в количестве одной пятой всей книги, я из нее отвел» (там же. С. 153). Знание общеизвестных фактов 1905 г. Пастернак сравнивает с заученной с детства молитвой «Богородице, Дево, радуйся...».

376. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

2 октября 1927у Москва

2. X. 27

Дорогая! Вот несчастье! Новость эта страшно меня встревожила1. Береги себя и будь осторожна. Ничего не читай и не пиши, и остерегайся долгих разговоров с Асей и близкими. Это очень важно. Лучше скучай и тоскуй, но избегай хотя бы и мнимых и, — на самом ходу, незаметных напряжений. По выздоровлении, а ты должна

выздороветь без малейших следов перенесенного, если только твое дьявольское своеволье не вмешается в дело природы, которая ведь больше, горячее и привязчивее меня, — по выздоровлении тебе покажется, что твоя память переродилась и притупились ее острия, в тех местах, где ты их привыкла всю жизнь находить. Не бойся этой перемены обстановки. Позднее ты найдешь другие воспоминанья, в новом расположеньи. Это не изменит ни тебя, ни мира. А может быть даже и этого не будет с тобой. Остального не помню, болел ею в 909-м году. Но ведь к тебе ходит врач, и все скажет? Бедные дети, и особенно Мур! Ничего не пиши, старайся ни о чем не думать. Это последнее длинное мое письмо к тебе. Буду исподволь тебе писать легкие и короткие, для развлеченья. Страшно жалею, что успел послать тебе «1905», надеюсь С. Я. или Ася догадались не давать его тебе. Ты же не пиши мне не только оттого, что ничего тебе писать не полагается, а и по другому: тут кругом дети (не один мой, но конечно и он в их числе), а скарлатина колдовски прилипчива. Она может п<е>редаться и через конверт с письмом. Однажды моя старшая сестра заразилась от младшей через прикосновенье к ее школьному учебнику спустя месяц после (несовершенной, вероятно) дезинфекции2. Если можешь, наладь, пожалуйста, чтобы меня о твоем здоровьи извещал кто-нибудь другой, не из твоей квартиры, этот неизвестный навсегда меня этим обяжет. Может быть Св.-М<ирский>? Или может быть Надежда Александровна3, которая через неделю собирается в Париж? Нет, она будет опасаться за сына, если только у них не было скарлатины. Уподобься растенью, прошу тебя. Вообрази, что ты — ползучее, и всеми стеблями в цветах лежишь на гряде. Отдайся этому лежанью целиком, дай времени течь и свертываться над тобой, и близким — поливать тебя лаской, когда это надо. Над всеми своими демонами поставь духов лени, лежи и ленись изо всех сил. Это и ради детей. Возвысься до совершенной бездумности, от сна ко сну, от слова до другого, по одному в сутки; это будет лучшей и труднейшей твоей заботой о них. Житейски очень хлопотливо и тяжко, что вы болеете все сразу втроем. Глубже однако и в стороне от этой трудности то, что Мур Алю и тебя возвращает детской, обращенной в больницу. Подчинись его внушенью и болей, как его ровесница. Кляну вчерашнее свое письмо4. Оно могло взволновать тебя. Думаю и все время буду о тебе думать мыслями той же усыпительной и успокоительной силы, как эти сегодняшние колыбельные заклятья.

Целую тебя. Выздоравливай поскорее, лежи как можно глупей.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165).

1 Известие о скарлатине, которой Цветаева заразилась от своих детей.

2 В 1914 г. весной болела Лида, — в августе заболела Жоня.

3 Н. А. Нолле-Коган.

4 Письмо № 374.

377. Ф. К. ПАСТЕРНАКУ

3 октября 1921 у Москва

Дорогой мой Федя! У меня к тебе большая просьба, и я не обращаюсь с нею к Жоничке только оттого, что она, вероятно, вся в заботах, а кроме того, все равно, в решающей инстанции просьба эта перейдет к тебе. В Париже заболела скарлатиной Марина Ивановна Цветаева, мой большой друг, вместе с обоими своими детьми. Вероятно, они нуждаются в помощи, может быть, и в денежной. Я мог бы это сделать и отсюда, но в той комбинации, о которой я тебя хочу попросить, это будет скорее. Тут время уйдет и на неизбежные формальности. Будь другом, переведи, пожалуйста, по адресу, который — ниже, сумму, равную ста рублям и, если можно, по телеграфу. Я знаю, вы иногда помогаете бабушке и Кларе. Названные деньги у меня на руках, я их откладываю и в любое время немедленно по твоему порученью целиком или по частям

готов их перевести, куда ты мне укажешь. Прибавлю еще, что этой просьбой я нисколько не обхожу наших законов: сумма, о которой я тебя прошу, является максимальной разрешенной нормой перевода русских денег за границу от частного лица в теченье каждого месяца. Но и не переблагородничай. Ста рублей, отложенных в твое распоряженье, я не коснусь и с нетерпеньем буду ждать твоих относительно их указаний. На переводе, если можно, короткое замечанье: «по просьбе Б. Пастернака», или «по порученью Б. П.» — по-немецки или по-французски.

Прости, что надоедаю тебе во время твоего короткого отдыха. Или он уже кончился? Как провели вы это время? Как здоровье Жончики? Мне живется теперь легче, чем бывало раньше. О вас обоих много говорили и расспрашивали тетя Ася и Оля. Я только на днях вернулся из Питера, где пробыл неделю. Заранее благодарю тебя за огромную услугу.

Известие, которое вызвало эту просьбу с моей стороны, естественно, меня волнует и пугает. Вот ее адрес:

M. Tsvetaieva-Efron. 2 Avenu Jeanne d'Arc. Meudon (S. et O.) France.

Крепко обнимаю тебя и Жоню.

Твой Боря

3 /X /27

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

378. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

3 октября 1927, Москва

3. X. 27

Дорогая Марина!

Ну, как ты спала? Против нас на сквере храма Спасителя цветут вторым цветом яблони. Посылаю тебе этот редкий обращик октябрьского цветенья на счастье1. Когда я был в Питере, то мало где бывал и с кем видался. Ник. Тихонов затащил меня к себе. Он славный и настоящий, и очень мне мил. У него хорошая жена2, из той редкой женской породы, у которой от женскости и даже -ствен-ности ничего не отымает и не отымет возраст. С вероятным наливом крупного ума и сердечности, который раньше, чем сказаться в словах и делах, сквозит через внешность. Но я хотел тебе писать легко и весело, пишу же сложно и скучно. Вне сравнений и сближений, и только если говорить о ремесле в истории и обществе, Тихонов — имя, которое могу назвать по полуторачасовой паузе после тебя, единственной, ну, как ты называла мне иногда кое-кого из Верстовцев3. Пауза же после его имени, никем уже больше не прерывающаяся, целиком возвращается к тебе, в полуторачасовую. Т. е. если бы речь шла о журнале, и ты бы меня спросила, с кого начать ряд. Его жена из образованной военной семьи, может быть с примесью польской крови. 7 лет на фронте провел и он, кавалеристом. Умный, существенный человек, хороший друг, без наигранной романтики. Очень просто и хорошо, не по-плебейски (тут начинаются мании с эстрады) управляется с именем и успехом.

Но это не та мелочь, которая осталась за мной в последнем предскарлатинном письме4. А вот она. Там читали, людей было очень немного. Собрались поздно, в одиннадцатом часу. Читал в теченье часа отрывки большой прозы поэт Конст. Ватинов, молодое дарованье, с которым там очень носятся. Среди его стихов, которые все — не от мира сего, попадаются такие, что нравятся и мне. Проза же не только не понравилась мне, но она нехороша и на деле. Я это сказал, чем очень огорчил автора, и гостей и хозяев. Однако, с разрастаньем разговора вокруг этой вещи и моих слов, все к концу со мной согласились. Потом читали стихи, и пристали ко мне, прочесть хотя бы известные им вещи, потому что «чтенье мое не записано в граммофон, его нельзя завести, и они меня никогда не слыхали». Я прочел Ш-ю часть Шмидта. Среди при-

сутствовавших оказался тот самый мальчик, которому Есенин кровью написал свое известное «До свиданья, друг мой, до свиданья». Действие, которое это чтенье на него произвело, ни он ни я не могли, конечно, оценить иначе, чем в том духе, что глухая тяжба покойного со мной разрешилась наконец, в эти несколько ночных и напряженнейших минут. Бесследно растворено, и становится преданьем то, что однажды довело меня до озверенья5. Был шестой час утра, я возвращался с этим молодым полпредом того света на извощике с Петербургской стороны. Перед самым нашим носом развели мост, и пришлось стоять, пока проходили баржи, в широкой и неописуемой тишине забывшейся невской панорамы. В ее предрассветной сдержанности, в ее широковерстном отступ-леньи к самому крайнему берегу мыслимости и вообразимости было все, что когда-либо давали людям русская тонкость и загадочность. Я принадлежал ей вместе с тобой, с этим спящим берегом хотелось спать рядом, мне и сейчас не хочется и трудно говорить о нем, разбивать же эту далеко ушедшую, вытянувшуюся тень на отдельные дома и тени меня ничто не заставит. Но тут были и Пушкин и Блок и все, кого бы ты, родства ради, в этот час ни пожелала. Эту мелочь, случившуюся у Тихоновых, посылаю тебе вместе с цветком. Она в том же роде6.

Ты болеешь и выздоравливаешь, я об этом догадываюсь. Но когда ты выздоровеешь совсем и об этом мне напишешь?

Твоя болезнь в одно время с детьми не может не быть связана и с такими трудностями, которые стыдом ложатся на твое время и на далеких твоих поклонников и поклонниц, ничего впрочем о том не ведающих и ни в чем не повинных. На днях ты получишь немножко денег по почте. Если ты хоть словом о них заикнешься, Марина, это будет безмолвным знаком того, что ты со мной рвешь и меня намеренно за что-то оскорбляешь7.

В заключенье, прости за письмо. Так больным не пишут. Еще просьба. Если прямое обращенье (и почерк и стиль) тебя утомляют, попроси Асю сообщить мне, и я буду писать тебе через нее. Кланяюсь сердечно ей и С. Я., и целую Мура и Алю.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165).

1 Благодаря за цветок, Цветаева писала 7 октября 1927: «Твой цветочек растравителен, потому что с сквера Христа Спасителя, где я постоянно, все весны, лета и осени Революции гуляла с Алей. Пойди, во имя мое, к плотине. Там всё одиночество тех моих годов. Але было 5 лет, она читала андерсеновскую Русалочку, плотина шумела, я спала» (там же. С. 398).

2 М. К. Неслуховская.

3 То есть сотрудников журнала «Версты».

4 В письме № 374 Пастернак упомянул «об одной петербургской подробности (очень важной)» и обещал написать «другой раз».

5 См. описанную в письме № 270 ссору Пастернака с Есениным. Пастернак признавал, что для «антипатий» Есенина «имелось много врожденных оснований», которые он принимал, — «как принимаю, — писал он, — до крайности неудачную, совершенно мне не нужную и чуждую по духу частность моего рожденья» («Охранная грамота», из ранней редакции). Цветаева поняла мистический смысл встречи Пастернака с В. Эрлихом: «Рада за тебя и Есенина. Помирились» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. С. 398).

6 Вечер у Тихонова состоялся 27 сентября, этим числом надписаны «Две книги» (М., 1927), которые Пастернак подарил В. Эрлиху (Journal of Russian Studies, 1984, JSfe 47). Цветаева оценила «посылку» в письме 7 окт. 1927: «Борис, выпила всю твою

петербургскую ночь, вобрала и не захлебнулась. Всю Неву, всё небо над ней, все баржи с грузом, всего тебя — с грузом неменьшим — хотя бы одной моей любви к тебе» (там же).

7 Деньги были посланы через Ф. К. Пастернака. См. письмо № 377.

379. А. М. ГОРЬКОМУ

10 октября 1927, Москва

Ю/Х/27

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю Вас за письмо1. Ваше обещанье сообщить мне дальнейшие подробности относительно перевода «Д<етства> Л<юверс>» смутило меня до крайности2. В неловкости, которую оно для меня несет, я неповинен. Неужели не найдется никого другого, кто бы это сделал вместо Вас? Ваш рабочий день для всех нас драгоценен. Легко вообразить, сколько на него делается отовсюду покушений. Вы у всех на виду и, вероятно, связаны дружеской перепиской с лучшими людьми мира. Вы в родстве и перекличке с крупнейшими его событиями.

Можно догадаться, с какой бесцеремонностью и в каком числе забрасывают Вас всякими просьбами и вопросами отсюда. Ведь каждый тысячный считает себя первым и единственным, произведения же Ваши, обращенные к человеку без обиняков и околичностей, вероятно, развязывают в русском читателе его исконную сущность, и он, «тоже» не чинясь и точно делая Вам этим честь, тотчас лезет к Вам в прямые собеседники. К этому надо прибавить Вашу удивительную отзывчивость и редкую заботливость о людях, примеры которой и у меня перед глазами. — Пополнять эти ряды, даже и с Вашего согласия, я считал бы преступлением. Ради Бога, бросьте мысль о «Детстве Люверс», и в том случае, если только этой мысли я и обязан переводом вещи.

Выставляя себя таким непритязательным, я себе как будто противоречу. Я послал Вам книжку и, может быть, на Ваш отклик рассчитывал. Но вот и точные границы моей претензии. Я не мог не послать ее Вам. О посылке Вам первому и более, чем кому-либо другому, именно этой книги я мечтал, когда еще только собирал ее для отдельного издания. Определяющие мотивы этой мечты мне хотелось выразить в надписи Вам, но, может быть, это не удалось мне. Взволноваться Вами как писателем особой заслуги не составляет. Проглотить в два долгих вечера «Артамоновых»3, не отрываясь, это только естественно для всякого, кто не кривит натурой и не создал себе искусственной чувствительности взамен прирожденной и наличной. Однако эта естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее правда, если бы в русской истории не было Вас. Вне вас, во всей плоти и отдельности, и вне Вас, как огромной родовой персонификации, прямо открываются ее выдумки и пустоты, частью приобщенные ей пострадавшими всех толков, то есть лицемерничающим поколеньем, частью же перешедшие по революционной преемственности, тоже достаточно фиктивной.

Дышав эти десять лет вместе со всеми ее обязательной фальшью, я постепенно думал об освобождении. Для этого революционную тему надо было взять исторически, как главу меж глав, как событие меж событий, и возвести в какую-то пластическую, несектантскую, общерусскую степень. Эту цель я преследовал посланной Вам книгой. Если бы я ее достиг, Вы скорее и лучше всякого другого на это бы откликнулись. Вы о ней не обмолвились ни словом, — очевидно, попытка мне не удалась.

Еще раз горячо благодарю Вас за письмо. Трудно говорить о неудаче без некоторой печали в голосе. Но Вы бы ее только усугубили, если бы в моих последних словах прочли что-либо подобное упреку. Откуда и быть ему.

Не сердитесь на неприлично-скупую запись полей4.

Глубоко Вам преданный Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.2).

1 Письмо от 4 окт. 1927 в ответ на присылку книги «Девятьсот пятый год» (М.-Л., 1927) с надписью: «Алексею Максимовичу Горькому, величайшему выраженью и оправданью эпохи с почтительной и глубокой любовью. Б. Пастернак. 20. IX. 27. Москва» (там же. С. 297).

2 «...Извещаю вас, — писал Горький, — что "Детство Люверс" переведено на английский язык и, вероятно, в ближайшие недели выйдет из печати в Америке. Условия перевода и издателей я еще не знаю, узнав — немедля сообщу Вам» (там же. С. 296). Перевод должна была делать М. И. Будберг, издание не состоялось.

3 Роман М. Горького «Дело Артамоновых» (1925).

4 Последние строки написаны на полях.

380. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

13 октября 1927, Москва

Мой родной друг! Вчера приехала Ася1. Она прямо от тебя. Лишний, и судьбой воплощенный, каламбур: она даже может заразить тобою. Мой друг, знаешь отчего я почти никогда не пишу тебе о чувстве? Потому что оно настолько неизмеримо больше существует, чем... называется, что все ушло в эту потрясающую разницу между фактом и словом, и в ней живет. О, как оно существует! О если бы мне или тебе существовать хоть в его половину! Но ближе, ближе. Оказывается, я без головокруженья не могу слышать о твоих трудностях и слезах2. Родная моя, любимая Марина, слушай меня со всей усталостью, со всей обидой, со всей простотой! Я все это сделаю, все это сделается постепенно. Все, задолженное тебе временем, будет заплачено тебе. Ты все это увидишь. Скоро весь этот выверт, в который попала твоя судьба, как и многих из нас, выправится и станет воспоминаньем. Все, что в моих силах, я сделаю, чтобы приблизить это время. Сейчас я больше ничего не скажу тебе. Умоляю, верь мне, что тебе заживется легче! Я отвечаю перед тобой за эти слова: в них — клятва. Не относись к ним свысока, как к низменным представленьям, не наполненным духом, достойным тебя! О, никогда так естественно и разом я не отдавал всей своей души даже и музыке, как отдаю и отдам ее мечте о том, чтоб тебе жилось легче, лучше и вольней. И я этого добьюсь. О, ты увидишь, как все сойдется. Ради этого уже написан 1905-й год. Мы потом поймем, чтб это было за звено, и зачем и в какой цепи. Сейчас выздоравливай, и не думай о мире и о своей жизни в целом. Я прошу тебя! Прости и отпусти себя, но ради Бога не так, как ты это толкуешь. Стань девочкой, этого хотела скарлатина. Сколько сделанного уже, сколько силовых швырков, приросших к нашей родовой истории, — и ты не заслужила отдыха? Но я знаю, как вы живете. Этого позора на нас больше не будет. Облегченья пойдут с разных сторон, вот увидишь. Так было и со мной, как я любил эти проявленья поддержки, как их принимал. Прости что пишу о пустяках, это оттого, что я боюсь <за> тебя. А потом кому-то и чему-то надо тебя рассудить и примирить с Россией. Как это будет, в подробностях не вижу. Будет сплошь в случайностях и неожиданностях. И скоро. Опять (я и другие люди) в этом году попробуем двинуть это колесо. А дальше оно само пойдет. Я не знаю, как это будет. Может быть разлетятся другие жизни и я увезу тебя сюда. Но нет, этого не будет, это они так думают, никому нет надобности разлетаться: у тебя и у меня в доме светятся лампы, играют дети, движутся близкие люди. Они облиты светом. Но насколько они облиты моим и твоим созерцаньем, этого они не знают. Никого и ничего

не покинем и не подкинем. Хватит сил и дыханья и за этими пристрастными кавычками и вне их. Я увижусь с тобой совсем не так, как ты иногда представляла. Свободно, широко, бессчетное число раз\ А сейчас обнимаю, люблю, люблю и целую. Твой Боря

Две цели умеряют и теснят это письмо: нежеланье волновать тебя и нежеланье описывать перечувствованное. За подарки и стихи благодарю в следующем.

Но мундштук, какая мысль, Марина! Совершилось, и этот миллионно первый, где-то на полпути между настоящим полным и всеми прежними, пережитыми и писанными3. Но если б ты знала, как я люблю тебя!

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Пастернак был предупрежден телеграммой о приезде А И. Цветаевой и встречал ее на вокзале.

2 На эти слова Цветаева отвечала: «Борис, твое письмо после приезда Аси. Мне стыдно, Бог весть чего насказала, мне совсем не плохо живется, моя беда в том, что я не могу растроиться — десятериться — и т. д., древняя беда. <...> Боюсь, моя беда во мне, в германском, Бог весть отколе, не понятии, а чувстве долга, съевшем всё» (там же. С. 410).

3 А. И. Цветаева привезла от сестры мундштук. М. Цветаева писала в ответ на угаданный Пастернаком символический смысл подарка: «О мундштуке. Без подлежащего, без сказуемого, какими путями сказанное тобой — дошло. Вот минута, когда слову грозит опасность (еще секунда — его не будет), отказавшись от всех своих охранных грамот и прав на жительство, оно становится чистым духом, самой вещью, тем, о чем, в данном случае — ртом, твоем на моем» (там же. С. 411).

381. А. М. ГОРЬКОМУ

13 октября 1927, Москва

13/X/27

Дорогой Алексей Максимович!

Приехала Ан. Цветаева, и я спешу загладить несколько оплошностей, допущенных во вчерашнем письме по незнанию. Прежде всего я глубоко признателен Марии Игнатьевне за перевод «Люверс». На эту тему я говорил, как о какой-то далекой, заокеанской вещи. Ничего дурного я этим не сказал, но именно в этом упоминании факта, находящегося под Вашей крышей, в холодно-неопределенном тоне безразличного неведения и заключена неловкость, и Вы мне ее простите. Об этом же прошу и Марию Игнатьевну.

Ан<настасия> Ив<ановна> передала мне вскользь и Ваше впечатление от «Девятьсот пятого года». Мое предположение подтвердилось, и если бы я об этом узнал вчера, я бы его не стал высказывать Вам в виде догадки1. Я знаю, как неприятно бывает говорить человеку, что его работа не годится или тебе не нравится. Как ни счастлив я был бы получить от Вас еще одно письмо, я еще более хотел бы Вас уверить в сказанном уже вчера. Среди случаев, когда Вы жертвуете своим временем и силами в чужую пользу, попадаются и стоющие, серьезные. Мой пока не из таких. Я не жду от Вас ответа. Если в нем явится неизбежная и крайняя надобность, я сам Вам об этом напишу

Еще одна неотложная поправка. Не понимаю, как это могло случиться. Цветаева и Зубакин, между прочим, как-то рассказывали Вам о моем житье-бытье. В том бедственном виде*, в каком

* С начала абзаца и до этих слов подчеркнуто рукою Горького.

они Вам его представили, оно было года два еще назад, однако от этих трудностей теперь ни следа не осталось. Переменой этой я как раз и обязан «1905-му году». Теперь

я не только не нуждаюсь, но иногда имею возможность помогать и другим в нужде. В этом неприятном недоразумении кругом виноват я. Очевидно, я не умею с таким же красноречием радоваться удачам, с каким, видно, жалуюсь на препятствия.

Алексей Максимович, оснований моей душевнейшей благодарности Вам — не перечислить. Иных я и не вправе касаться. Горячо Вас за все благодарю. Кроме того, кто еще лучше Вас знает природу прямых человеческих связей и их дальнейших случайных ветвлений! Поэтому я ложных сближений на мой счет с Вашей стороны не боюсь.

В том узле лиц и фактов, которого Вы с таким великодушием этим летом коснулись, важно и близко мне огромное дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, непосильно запутанная судьба. Существенная и в отдельности, Ан<настасия> Ив<ановна> во многом родная сестра ей. Вот и все, поскольку может быть речь обо мне. Роль же и участь первой, то есть М<арины> Ц<ветае-вой>, таковы, что если бы Вы спросили, что я собираюсь писать или делать, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека2, может быть, не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно. — Я не имел еще возможности прочесть «Жизнь Клима Сам-гина»3. Это моя ближайшая мечта. Если разрешите, я запишу то, что эта книга во мне вызовет.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.3).

1 Горький рассердился на А. И. Цветаеву за передачу его слов и 19 октября, опровергая их, писал Пастернаку: «Вы сообщаете, что Цветаева "передала вскользь" мое "впечатление" о "905 г." и "подтвердила" Ваше "предположение". Из моего второго письма Вам (18 окт. — Е. П., М. Р.) Вы, конечно, видите, что не "подтвердила". Но она подтвердила сложившееся у меня представление о ней, как о человеке слишком высоко и неверно оценившем себя и слишком болезненно занятым собою для того, чтобы уметь — и хотеть — понимать других людей» (там же. С. 301).

2 Слова о возвращении России этого большого человека Пастернак трактовал широко, то есть как доступ и публикацию в России книг Цветаевой, в частности готовящейся выйти книги «После России», о чем просила М. Цветаева Горького: «Вещь вернулась бы в свое лоно. Здесь она никому не нужна, а в России меня еще помнят» (24 августа 1927. «Новый мир», 1969, № 4. С. 201). Горький не ответил Цветаевой, а Пастернаку писал:

«М. Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию, но — это едва ли возможно» (ЛН. Т. 70. С. 302). Для Пастернака дело в первую очередь касалось его будущей работы, того, что он собирался писать или делать. См. также письмо N° 382.

3 М. Горький. «Жизнь Клима Самгина» (Сорок лет). М., Госиздат, 1927.

382. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

15 октября 1927, Москва

15. X. 27

Дорогая Марина! Валит снег, я простужен, хмурое, хмурое утро. Хорошо верно сейчас проплыть на аэроплане над Москвой1, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидать, что они делают с городом, с утром и с человеком у окна. В Шмидте инстинктивно и случайно поиски матерьялов о смерти ведутся именно в таком мокром снеге2. Зима открылась с Аси. Первою крупой из первой обреченной тучи я был осыпан под Триумфальными, по дороге на вокзал. Теперь опять стали прибывать на Брестский, а не на Виндавский, как недавно3. Я отвез ее домой. Против ее окон за лето вырос кирпичный остов нового дома, в голых мокрых лесах, с каменщиками и черными тучами, разглядывающими ее комнату из тоскливых сквозных пролетов. В комнате же сухой и пыльный хаос тряпья и книг, постепенно сползших на диван и на

пол с размягчившихся полок и этажерок. И вот она стала переодеваться, начала раскладывать вещи, рассказывать. Волевой, практический вывод из той тоски, которая все сильней стала меня при этом душить, я изложил тебе вчера. Прежде и больше всего я, конечно, люблю тебя, это может быть ясно ребенку. Но я не был бы собой, теперешним, если бы оставался у этого сумасводящего родника, а не шел вниз вдоль его теченья, по всем последовательностям, которые лепит время. Время, твоя величина и моя тяга. И вот — планы, планы. Тебе кажется естественным положенье, в котором ты находишься, мне — нет. Выправить эту ошибку судьбы, по нашим дням, пока еще Геркулесово дело. Но оно и единственное, других я не знаю. И, клянусь тебе, оно будет совершено. В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность выразил так: «...Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь писать, я ответил бы: все что угодно, что может вырвать это огромное дарованье (т. е. тебя) из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России»4. Не могу от тебя скрыть. Чем дальше, тем больше ты обез-различивала для меня прямую мою работу. Теперь она обезразличена для меня до предела. По счастью все сплелось с такою логикой и смыслом, что при этом я не кривлю ни душой, ни собственною судьбой, ни — возможным и мыслимым назначеньем. Я должен добиться авторитета и прав, которые были бы способны переплавить твои соотношенья с этой современностью5, в некотором отношении и субъективно, то есть в тебе самой. Прости за цинизм, но вот главные нервные пути моего влеченья к тебе, способные затмить более непосредственные: мне надо соблазнить тебя в пользу более светлой и менее отреченной судьбы, нежели твоя нынешняя, и я это так чувствую, точно именно это, а не что-нибудь другое, составляет мою грудь и плечи. Теперь все это тебе может быть чуждо, но мы ведь встретимся и, как этого ни понимай, будем жить друг возле друга. Тут это и сделается. Если моему плану суждено осуществиться, то за границей я разделю с тобой работу, которая тебя обеспечит на год на два. Она будет тебе близка, я не хочу ее покамест называть из суеверья6. Я достиг некоторой независимости тут, мне верят и имеют основанье верить. Но ради тебя я был бы даже готов лакействовать как Лефы. К счастью не придется. Вечная моя просьба остается в силе. Когда у тебя продезинфицируют, и ты мне напишешь7, не апеллируй к моему чувству. Такое мгновенье, загоревшись от одного слова, обезоруживает меня против долгого, долгого года, и у меня опускаются руки. Менее, чем когда-либо, им теперь позволительно опускаться.

По словам Аси, она старалась рассказывать обо мне в наи-возможно худшем духе (чтоб уберечь тебя от неизбежного разочарованья?). Она либо клеплет на себя, либо поступала, как надо, либо же мне все равно: ее заявленье меня не огорчило и не обеспокоило. Замечательно, что о тебе она рассказывала так, что я с трудом удерживался от слез. Очевидно на мой счет у ней нет опасений.

Она дала мне свои экземпляры «С моря» и «Новогоднего», — Е<катерина> П<авловна>8 скоро должна привезти мои. Что сказать, Марина! Непередаваемо хорошо. Изложенное легче оказывается таким с разу, изложенное трудней, — со второго или третьего. Так, как это, я читал когда-то Блока; так, как читаю это, писал когда-то лучшее свое. Страшно сердечно и грустно и прозрачно. Выраженье, растущее и развивающееся, как всегда у тебя, живет, как в лучших твоих вещах, совпаденьем значительности и страсти, познанья и волненья. Особо горячо благодарю за «Море»; особо — за «Новогоднее». В обоих, сама знаешь, все до боли близко и лично. Благодарю за обращенье в «Море», за ссылку на мое сновиденье весны 1926-го9; прости, если прочел, вкладывая не то что вложено, так понял. За игру, за подарки, за бездну вниманья к сигналам земного инвентаря, утопленную в этой игре, за философию этих сигналов, живую, наслаивающуюся, непоспешную, — за море и мели и материки и толкованье рожденья и жизни: обме-левающее бессмертье (!). За ту же

дикую в своей неподвижной, немстительной, плещущей тоске географию «Новогоднего». За идеальную естественность требованья: «Не один ведь рай, над ним другой ведь — Рай; не один ведь Бог, над ним другой ведь — Бог»10. За изумительную изложенность этой последней страницы, дающейся, вместе с некоторыми другими местами, сразу, и оттого кажущейся лучшей на первый раз. Очень хорошо, Марина. Хочется читать и перечитывать, не хочется разбирать, т. е. писать об этом. Спасибо, спасибо.

Поправляешься ли ты? Жду косвенных о тебе сведений.

Твой Боря

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165).

1 См. письмо № 383 о полете над Москвой.

2 Di. 6-я III части «Лейтенанта Шмидта» предваряет сцену суда над Шмидтом: «Но зима не верит в близость, / В даль и смерть верит снег. / И седое небо, низясь, / Сыплет пригоршнями известь».

3 Какое-то время поезда из Западной Европы приходили на Виндавс-кий (Рижский) вокзал, затем снова — на Брестский (Белорусский). Триумфальные ворота находились на площади Белорусского вокзала, под ними проходили трамвайные пути.

4 См. письмо №381.

5 «Ради этого уже написан 1905-й год», — отсчитывал Пастернак определенное «звено» на пути приобретения авторитета и права видоизменять соотношение сил (письмо № 381). Об этом же см. в письме к сестре 16 окт. 1927 при посылке поэм: «Если не понравится, ругай, не скрывая. Эта книжка — звено в цепи необходимостей. Это убежденье освобождает меня от мыслей и забот о ее качествах» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 148).

6 Речь идет о предложении, которое получил Пастернак со стороны издательства «Academia», подготовить новое издание «Фауста», который он предполагал делать за границей с участием Цветаевой.

7 Пастернак получил письмо от К. Родзевича, в котором тот «по поручению Марины Ивановны» писал: «Собственным письмом она не хочет нарушать запретную черту карантина, который продлится у нее, вероятно, числа до 20-25 октября». Перечисляя по пунктам просьбы Цветаевой, он сообщал, что она пошлет ему свое письмо после дезинфекции (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 402).

8 Е. П. Пешкова — первая жена М. Горького; вернулась из Сорренто в Москву 21 октября 1927 г.

9 В письме № 302 Пастернак описал Цветаевой свой сон, в котором встречался с ней. Отражения этого сна — в поэмах Цветаевой «С моря» и «Попытка комнаты», писавшихся летом 1926 г.

10 Из поэмы «Новогоднее» («Письмо к Рильке»), 1927.

383. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

16 октября 1927, Москва

16. X. 27

Ты наверное, как все мы, не любишь технических новшеств, и ждешь, чтобы за их действием сменили друг друга три поколенья пока их признаешь. Летала ли ты когда-нибудь? Представь, это знакомее и прирожденнее поезда, и больше похоже на музыку и влеченье, чем верховая езда. Сегодня я впервые подымался с Женей, одним знакомым и простой солдаткой, — женой коменданта аэродрома. На караулке надпись, неизвестно кем, когда и для чего составленная: привесвую дорох товарищиф 1905. Такова и вся Ходынка. Уже сейчас, по прошествии 6-ти часов, мне эти сорок минут представляются сном. Восстановляю, во всей реалистической точности. Восстановляю

не в чаяньи передать ощущенье, потому что знаю, что это еще не перетасовано, не испытано всеми, и значит, пока, невыразимо. Восстанавливаю скорее с целью рекомендации тебе, на случай, что ты еще не летала, чтобы ты верила им снизу, когда они пролетают над тобой, и знала, что «механизма» в них, в пропорции с целым, меньше, чем в рояли, и согласилась бы когда-нибудь повторить это со мной: грохот и гуденье нас заглушат, я не смогу помешать тебе, это будет одиночество вдвоем, вмененное высотой. Так как ощущенье это совсем особенное, совершенно не испытанное, то и в сыром переживаньи оно вкатывается волной навязывающейся аналогии. И до чего же неожиданно-родной! Ну вот. Разбегаешься по земле и не замечаешь, как от нее отделяешься. Через мгновенье (два-три раза чуть-чуть успело упасть и подняться сердце) вся метаморфоза уже позади, ты не заметила, как совершилось преображенье. На свете существует лишь: 1) твое безмолвно-оглушительное одиночество, громогласно-бессловесно любящее, поклоняющееся расстояниям и высоте, да 2) огромное, покрывшее полгорода серое с черными исполинскими R.R.O.B. крыло справа, под тобой, под твоим окошком. И никого кругом. Небо, гром и грохот паренья, клочки несущихся туч, единство воздуха, обнятого этим «случаем с тобою», стоверстного и замкнутого, как сон о чем-то одном, Москва (тысячу лет назад существовавший с людьми и движеньем город) на дне этого сна, и крыло о твою правую, огромное, неописуемое, в этой серой бездне крыло, с которым ты только и говоришь и которое обожествляешь. О эта твоя опущенность в мир в этот день, в этот час! Всего поразительнее, и я когда-нибудь научусь говорить об этом, как о дождях, всего поразительнее (в цвете, в страсти черноты и очертанья, в трагике затерянности и размеров и пр. и пр.) именно соотношенье этого крыла, страшного небесного туземца, Робинзона облаков, со всем миром, с землей, которая была до него, теперь — под ним, и вновь будет после него. Какова же она теперь, когда она не просто в себе, а в сколь угодно глубокой его памяти, на том или ином дне и отвесе его 1000-метровой или 1500-метровой тоски? И тут вторая по важности замечательность, и вновь неожиданно родная, гигантски несоизмеримая с родственностью лошади или паровоза. И опять я буду точен. Марина, найдись среди хаоса этих сближений, я их не успел еще отобрать, тут дать характеристику, приближенное представленье — предел мечтаний. «Смыслы», которые подвернутся тебе, посвящены ей (характеристике), а не обратно. Вещь тут на первом месте, нажимы философских регистров, ее составляющих, — на втором. Что делается с землей, куда, во что она погружается? Какой отраженный образ несется снизу в ответ на это ее окунанье? Как это отражается на тебе и на крыле? Эта, сеткою человечества исчерченная равнина, эта нежно-серая и волнующе одноцветная ширь, царапнутая там и сям коготками железных дорог, эта Москва в рыжем бисере кирпичных кружев, чайной дорожкою положенная на призрачную скатерть зимы (вот кончается кружево и рядом, — какая сервировка! — отступя лежат мшистой подушкой Воробьевы Горы, вот, совсем тут же — другой конец, и мхи Сокольников). И все это взято опрятною октавой (палец тут, палец там) на снегу, и происходит в смертельной тишине. Так вот, эта Москва теперь такова, как Петербург у Достоевского и у Диккенса — Лондон. Если судить это волненье и запросить обо всем один глаз, то и тогда: эта Москва провалилась вся в таинственное виденье старинных мастеров: ее коричневость не нарушает призрачной одноцветности творящегося: начни с нее, — это — коричневое преданье, начни с застав, — она серебристо сера. И вот, снова, подняв голову, переводишь глаза на крыло, жаркое, понятное, воплотившее для тебя все, что есть жизнь, и им вновь охватываешь все целое. И итоги, как в музыке волны исходной и окончательной тональности, теснятся опять в самом переживаньи, а не в размышленьи о нем. Это — тысячеметровая высота неразделенного одиночества. Ее история и ее источник ясны:

они уже оглушили тебя и глухота долго не пройдет: эта высота достигнута гудящим и непрекращающимся напором; это высота предельного напряженья, подымающего на воздух в тот миг, как ты в нем разбегаешься по земле. Этот неописуемый образ, разостлавшийся внизу, есть сумрак неизбежного, при таком одиночестве, единства и нежность неизбежного, при такой высоте, обобщенья. Красота этих сумерек в любой час дня если на какую красоту походит, то только на красоту земли в истинной поэзии, на красоту связного, рассыпного, мельчащего в своих ве-роятьях, невероятного в своей огромной печали пространства, встающего за мелодическими отчетами музыки или сопровождающего воображенье истинного романиста. Все это тысячу раз видено и предчувствовано в жизни, все это до удивительности пережито и прирождено. Мы спустились. Пустой автобус стоял у остановки в Петровском парке, продолжавшем с неслыханной тишиной купаться во всем том, что открылось сверху. Нельзя было поверить, что дома, люди и улицы высохли и затвердели, и, поддержанные перекрестной порукой, — заняты собой. Было чувство, что улица останется на рукаве и ее придется счищать бензином. Слова не слышались. Они плыли и падали кругом не внятнее, чем листья ясеня, клена и осины. Только спустя два часа я постепенно вошел и вчленился в действительность, наплетенную людьми за мою 37-летнюю жизнь. Эти же два часа (на земле скоро зажгли огни) я провел, все слабее и слабее это чувствуя, между двумя сырыми страницами той книги, которая меня манила снизу, и оказалась точь-в-точь отвечающей заглавию и обещанью переплета1.

Этот сбивчивый лепет тебе посылаю. Для себя не оставил никакой записи. Может быть когда-нибудь, если это можно забыть, попрошу у тебя. Вероятно это сырье ничего не передает, но мне оно многое сможет напомнить.

Обнимаю тебя. За первыми 1300 франками, которые действительно от меня, есть надежда, последуют еще деньги. Эти уже не от меня, а от неизвестного, пожелавшего остаться в неизвестности, и для этого пользующегося моим именем2. Но потом и я опять смогу кое-что сделать. Не лишай меня этой радости.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165).

1 Цветаева отвечала на это письмо: «Борис, понимаешь ли ты сам значение для тебя этого дня. Тобою открыт новый мир, твой второй дождь, уже ставший — в определении тебя — общим местом и посему — ощущала это с тоской — нуждавшийся в заместителе. Борис! Ведь еще ничего о полете, а о воздухе — только моя поэма, еще не вышедшая. <...> Новая эра, вторая песнь твоего эпоса, Борис» (там же. С. 415).

2 Деньги, посланные Ф. К. Пастернаком (см. письмо N° 377). Первые 1300 фр. и надежда на следующие деньги основывалась на обещании гонорара за американское издание «Детства Люверс»; Пастернак писал сестре 16 окт. 1927, что попросит Горького «направить гонорар по тому же адресу, по какому ушла и редкая и не имеющая названья отзывчивость Феди» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 148). Но издание не вышло в свет.

384. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

21 октября 1927, Москва

21/X

Дорогая Марина!

Сейчас получил милое письмо от К. Родзевича1. Не могу ему ответить, так как не знаю его отчества. Передай, пожалуйста, ему сердечную благодарность за сообщенье и личную приписку, тебе же большое спасибо за переданные известия. Одно меня огорчило. По его словам, ты пишешь мне длинное письмо, пока в тетрадку, с тем чтобы его потом переписать: это именно то, чего тебе не надо делать2. С каким бы

малым напряженьем это ни было связано, тебе надо остерегаться и такого. О том, чтобы ты провела это время в совершенной глупости, наверно немало говорили тебе врач и близкие люди. Страшно рад, что тебе и детям лучше. Судя по письму К. Р<одзевича> и по сведеньям, еще раньше сообщенным Эренбургом, у вас (потому что их мненье не самостоятельно, а — отраженье вашего) господствует взгляд, что твое и их здоровье хорошо и абсолютно, и что все прекрасно. Верю, что так и будет, и не хочу внушать тебе страхов, однако именно теперь нужна наивысшая осторожность. Может быть, Марина, тебе придется когда-нибудь еще писать о неодушевленной человечине, как в Крысолове. Постарайся же играть ее, как роль, еще неделю, другую. За этим перевоплощеньем ты сможешь обогатить свой сатирический опыт. Не сердись на меня, но как мне тебя уговорить? Ей-богу мне хотелось бы, чтобы ты побольше говорила с маслом, и вовсе не разговаривала со мной. Горячо тебя благодарю за тепло твоих приветов и твоего одобренья3. Все это полностью дошло в передаче К. Р. Когда начнешь писать, не хвали мне «Девятьсот пятого». Истина твоего отношенья лежит где-то посредине между словами Аси, вскользь, без упора, сказавшей, что он не нравится тебе, и той похвалой, на которую ты сейчас напустишься, чтобы доставить мне радость. Улови также тон, которым полны эти последние слова. Естественность этого положенья ни для кого из нас не обидна. Я ее знаю, жил в ней всю жизнь, люблю ее законы, и люблю тебя в ней. Не обманывайся также насчет той середины, в которой я ищу настоящего значенья вещи и нашего к ней отношенья. Этим сказано не то, что вещь — посредственна, а то что область, в которой можно и надо ее судить, — где-то в стороне, может быть — впереди, и уже по тому одному — гадательна. Во всяком случае с нею мне легче быть в каком-то отношении полезным обществу (и опять не морщься), чем без нее. Ее судьба живейшим образом касается меня и тебя4. Может быть это — иллюзия, но чем меньше ты мне скажешь своего, горячего, поэтического о вещи (а это почти невозможно в отношении ее), тем легче мне эту иллюзию питать. Завуалированные же осужденья Сави-ча, например, или еще больше, — Эренбурга, меня именно оттого и не трогают, что в их существованьи нет узла, как в твоем и моем, который эта вещь пытается помочь распутать5. Один человек тут очень хорошо и неожиданно выразил то, что составляло основную корысть этой книжки. Провести в официальный адрес нечто человечное, правдивое и пр. было задачей еле мыслимой. Если бы это сделали еще два-три человека, лающий стиль официальщины был бы давно сорван. Но представь, этот мой опыт уже благотворно отразился на некоторой части последних работ Маяковского и Асеева. Они уже не так бездушны6. Авторы со мною в пассивной ссоре. Они не знают меня, и все, что со мною делается без моих для этого усилий, воспринимают, как мою личную интригу против них, как желанье обскакать их и сесть им на голову. Положенье получилось глупое и печальное. Обнимаю тебя.

Твой Боря

Не забудь, пожалуйста, поблагодарить Родзевича. Не сообщит ли он мне свое отчество?

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165).

1 Письмо было послано по просьбе Цветаевой во избежание передачи инфекции 13 окт. 1927.

2 Родзевич сообщал Пастернаку: «Вам пишется длинное письмо — пока в тетрадку, после дезинфекции перепишется и пошлется» (там же. С. 402).

3 Первым пунктом письма Родзевича были слова Цветаевой:«" 1905 г." дошел, много раз перечитан, превзошел все ожидания. Если бы на него было убито 5 лет — и то бы стоило» (там же).

4 В письме 8 мая 1927 Цветаева иронизировала над желанием Пастернака воздействовать на общественные взгляды (см. письмо № 352). В письме № 383 Пастернак писал о роли поэмы в его желании помочь Цветаевой наладить отношения с современностью.

5 По-видимому, речь идет об устных отзывах О. Г. Савича и И. Г. Эрен-бурга о поэмах.

6 Имеются в виду написанные к 20-летию революции поэмы «Хорошо!» и «Семен Проскаков» (1928). См. письмо № 372.

385. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

24 октября 1927, Москва

Дорогая Марина! Сейчас узнал о происшедшей путанице и ко всем, через одно твое посредство, спешу на помощь. Спасибо за отклик, которым ты всех их подарила, все перепутав1. Книгу свою, если можно, подари старшей сестре Жозефине, она ее полнее и лучше оценит, чем папа2. Пассивно она — почти что я. Из нашей семьи она мне ближе всех, и человек замечательной доброты и тонкости. На этой неделе, или около того, она ждет ребенка. Она замужем за моим (и своим, значит) троюродным братом. Французская записка была от него. Он родился в немецком подданстве и хотя долго жил и потом был интернирован, как военнопленный, в России, но, очевидно убоявшись твоего литературного имени, предпочел тебе написать по-французски. Зачем вообще было ему писать тебе, одному Богу известно. Не сделай он этого, не было бы и путаницы. Теперь, слышу, собирается тебе писать папа, и я серьезнейшим образом боюсь, как бы он не написал каких-нибудь глупостей, которые тебе покажутся странными, особенно в этом случае3. Всего хуже, что твое письмо, по словам сестры, замечательно, т. е. тот факт, что оно их взволновало или привело в восторг4, удесятеряет мою тревогу. Тут папа что-нибудь и выкинет. Однажды ты меня просила не судить о тебе по Асе и не делать заключений из семейных посылок. Обращаясь сейчас к тебе с такою же просьбой, я рассчитываю на полную твою проницательность в отношеньи этой тревоги5. Тогда я понял, что за притворной обеспокоенностью насчет себя самой, ты прячешь горячую и ревнивую заботу об Асе, т. е. то ответвленье личной гордости, которое боковым побегом тянется за семьей, и без ее ведома ее покрывает. Я узнал тогда твое движенье не только по его горячности, но и по его неосновательности и беспричинности. Объективно Лея его не вызывала, но именно эта беспричинная мнительность мне была близка. И вот, для полного подобья я тебя и отвожу к старшей сестре; только в ней аналогия и осуществилась. Я всегда знал, что знакомства с тобой она когда-нибудь заслужит. Люблю же я, конечно, их всех, оттого и взволновался. Сейчас у ней тревожное время, которое наверное еще продолжится с месяц. Вот отчего не могу посоветовать ей написать тебе теперь же. Потому же ни слова не обращаю ни к кому из них по поводу путаницы, и как ее распутать. К кому бы из них я с этим ни обратился, все равно это отдастся по ней, так как она — сердце семьи, или просто взяла на себя труд его во плоти представлять. Она любит тебя и, кажется, Поэму Конца ей возили. Не знаю, дошел ли до нее «Крысолов». Восторженность, с какой они встретили твое письмо, имеет давние корни. Она не выносит своего имени за его «красивость», и тяготится множеством таких же пустяков, которым придает преувеличенное значенье. В ответ на книжку она зальет тебя потоком пессимистической метафизики, наивной, сырой и детской, несмотря на ее 27 лет. За всем тем это человек прекрасной души, склонный к экзальтации, по-своему умный, и много страдающий от своей мягкости и вовремя не преодоленного самомучительства.

Вновь из ее письма о письме узнал о твоем, готовящемся, с тем же чувством, какое вызвало и сообщенье К. Б. Ася находит, что нам лучше не переписываться непосредственно. Заражаюсь ее осмотрительностью. Пишу статью «о поэте»;

подвигается медленно: звонки, посещенья, просьбы, бесчисленные «начинающие», никогда не кончающие.

Это не письмо. Запрети мне писать их, ради статьи. Обнимаю тебя.

Твой Боря

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Благодарность за деньги, присланные Ф. К. Пастернаком, Цветаева выразила в письме Л. О. Пастернаку, написанном по-французски. В нем она просила также передать в Москву Борису, что получила «Девятьсот пятый год», что дети почти выздоровели, сама поправляется, и что как только будет сделана дезинфекция, пришлет ему большое письмо (11 окт. 1927. Марина Цветаева. Неизданные письма. Paris. Ymka-press, 1972. С. 251-253).

2 Цветаева просила у Л. О. Пастернака позволения прислать ему в знак дружбы и восхищения книгу «После России», не пугаясь ее «новизны» (там же). Пастернак называет свою младшую на десять лет сестру «старшей», потому что она старшая из двух сестер и в письмах к брату держит ноту нравственного старшинства по отношению к нему.

3 Опасения Пастернака были напрасны, Цветаеву очень обрадовало и взволновало письмо Л. О. Пастернака: «И вчера, Борис, письмо от твоего отца: чудесное, молодое, доброе, без обращения Chere, но ст<оль> звучащее им, <...> письмо — эра во мне к тебе» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 426).

4 О своем французском письме Л. О. Пастернаку Цветаева писала: «Письмо к твоему отцу! Ты не знаешь меня по-французски. Первое: безукоризненность. Почему по-французски? Потому что он по-французски, он Chere Madame, я Cher Monsieur. <...> Чуя, что ты в каком-то смысле его больное место (большое больное место), я конечно не преминула порадов-<аться> его honneur и bonheur (чести и счастью. — фр.) иметь такого сына. — Цитата из твоей автобиографии — (указание на отца). Параллель с Марком Аврелием» (там же. С. 404).

5 «Вчера твое письмо об отце и сестре; параллель с мои<ми> неког-даш<ними> опас<ениями>. Будем ясны: не хочу себя никогда друг<ому> из ничьих рук, особенно родств<енных>, особенно — любящ<их>. В этом, если хочешь, частичное отречение от родства» (там же. С. 427-428).

386. А. М. ГОРЬКОМУ

25 октября 1927, Москва

25/X/27

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю Вас за письмо1, — на него надо бы отвечать телеграммой из одних коротких, порывистых глаголов. Вы знаете, что меня им осчастливили, — так и писали. Оттого я и был неуверен насчет вещи, и Ваше недовольство ею представлялось мне легко вероятным, что ради нее я покинул привычную мне область неотвязной субъективности: Вы же прежде всего огромный художник, и, следовательно, неумеренный, неловко учтенный или плохо пережитый отход от нее (как бы частная форма этой субъективности ни была вам далека) мог Вас оттолкнуть как ложное вообще творческое поползновение. Но, значит, это не так, и радости моей нет конца.

Письмом Вашим горжусь в строгом одиночестве, накрепко заключаю в сердце, буду черпать в нем поддержку, когда нравственно будет приходиться трудно.

Пишу сейчас, потеряв голову от радости, точно пьяный, — не мой почерк, и, наверно, пишу нескладицу: не судите сегодняшних моих слов литературно.

Ради Бога, не пишите мне, не тратьте на меня время и не создавайте мне праздника на самых буднях. Когда надо будет, я сам, нарушая эту просьбу, Вас о том попрошу.

Цветаева рассказывает о Вас с большим упоением, с глубиной, со способностью постижения и с хорошей, никого не унижающей, преданностью. Зубакина не видал, но о роде нашего знакомства Вы успели догадаться по моим умолчаниям. Теперь, после Ваших слов о нем, не будет с моей стороны предательством, если я скажу, что встреч с ним избегаю давно и насколько возможно*. Я не знаю, что Вы разумели, назвав его аморальным2. Надо сказать, что о нем ходит сплетня, определенно вздорная, и мне кажется, что он сам ее о себе распускает. Я почти убежден в этом, да это и в духе его психологического типа. Ведь весь он из алхимической кухни Достоевского**, легче всего его себе представить в Павловске на даче у Мышкина3. Это надо сказать в его защиту. Он очень изломан, но никакою подлостью ни в малейшей мере не запятнан. Я избегал его не из-за этих слухов, а оттого, что всякая встреча с ним ставит в нестерпимое положение особой двойственности. Человек ведет себя так, точно он призван только поражать и нравиться (если такое призвание вообще мыслимо!!), а между тем менее всего в естественную тайну настоящего воздействия посвящен. Будто он никогда и не нюхал того, чем сам хочет пахнуть. Мы даже никогда не знакомились с ним. Он мне однажды представился, с визитной карточкой и чепухой, точно выскочив на пружине из трескучей потешной коробки. Между тем даже и этот скачок уже поражал какой-то несоответственностью, глубоко меня переконфузившей. По всему смыслу его подорожной, т. е. его склонностям и притязаниям, менее всякого другого ему было позволительно выскакивать из коробки. Избытком треска одно время, под его вероятным влиянием, страдала и А<настасия> И<вановна>.

Простите меня за это путаное письмо и по его беспорядку судите о действии Вашего одобрения. От всего сердца желаю Вам всего наилучшего и легких, больших дней.

Ваш Б. Я.

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.4). 1 В письме 18 окт. 1927 Горький высоко оценил книгу «Девятьсот пятый год»: «Книга — отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают

* Конец фразы подчеркнут Горьким.

" Три предыдущих слова подчеркнуты Горьким.

по достоинству, но которым суждена долгая жизнь <...> это — голос настоящего поэта, и — социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия» (там же. С. 300).

2 В том же письме Горький так отозвался о Зубакине: «У меня гостил месяца два знакомый Ваш — Зубакин, который, по письмам его, показался мне человеком интересным и талантливым, но личное знакомство с ним очень разочаровало и даже огорчило меня. Человек с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способный и аморальный человек» (там же. С. 301).

3 Главный герой романа Достоевского «Идиот».

387. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

26 октября 1927, Москва

Любимый мой друг, у тебя нет страху, что отныне я буду только писать тебе письма, и ни на какую деятельность уже больше не способен? О, если бы ты была здесь! Как трудно из передач, сообщений и упоминаний собирать холодное подобье присутствия, и потом приходить в ужас от нагороженного, и разрушать его, чтобы дать дорогу простому потоку тепла, лучом упирающемуся в милое имя! Сегодня меня растрогали Святополк и Горький1, растроганность же эта, мало потраченная в ответах, знает один лишь медонский адрес.

Знаешь ли ты, что сейчас такое Россия? О, конечно, больше прежнего это постоянная возможность оказаться за одним столом с осведомителем, с тенью вечной

бессовестности, подпущенной под тебя для того, чтобы твою горячую, выдающуюся верность подделать под предательство. Так Россия когда-то заботилась об ограниченном круге. Теперь, с действительной ее заботой о миллионах, этот ужас удесятерился.

Но и вот еще что она, и об этом расскажи Сереже2. Она еще — и гость, нынешним вечером являющийся к твоей прислуге, восемнадцатилетней рязанской крестьянке. Он на этом месте у ней впервые. Он земляк ее предшественницы и подруги, от нас пошедшей замуж этим летом. Он с нашей теперешней одного уезда, разных деревень. Нюра входит ко мне пунцовая, пылающая, в это время меня зовут к телефону; когда я возвращаюсь, на столе беспорядок. Снова меня куда-то зовут, проходя коридором, где ее угол, вижу на коленях у ее гостя развернутую «Сестру мою жизнь». Он вполголоса ей эту чепуху читает. Мы с тобой близкие люди, ты легко вообразишь, чтб я им говорю, с непринужденнейшей душой и с радостью за поколенье. Но на предложенье бросить эту ерунду и взять у меня Толстого он отвечает светлой, осмысленной улыбкой и просьбой дать им, в таком случае, «Девятьсот пятый»! Оказывается, посидев у ней минуту-другую, он в числе первых задал ей вопрос о том, у кого она служит. Речь шла о фамилии. И вот, едва Нюра меня назвала, как он сказал ей, кто я, и послал ее за книгами. Он рабфаковец, т. е. студент рабочего факультета. И — не исключенье. К ней больше ходят, чем к нам, и все рязанские и каждый раз либо билет в Художественный, либо еще что-нибудь, свежее, проще и счастливее, чем мы в те же годы. Романы же ровные, щадящие, без ложного рыцарства, но с прелестью братства, т. е. подавленного и упрятанного в бережность мужского превосходства.

Понимаешь ли ты это и радует ли это тебя?3

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Пастернак получил письмо от Горького (18 окт. 1927) с похвалами книге «Девятьсот пятый год», письмо Святополка-Мирского не сохранилось.

2 Объяснение Цветаевой и С. Я. Эфрону (расскажи Сереже), что такое Россия в ее крайностях, вызвано все более определяющимся в это время их желанием возвратиться на родину.

3 На этот вопрос Цветаева ответила 1 нояб. 1927, сопоставляя начало письма про осведомителя с концом про Нюру: «А нынче письмо с Нюрой. Лучше бы мне таких вещей не знать, они с детства разрыв<ают> мое сердце. <...> — Так вот все эти Иваны-Царевичи, хлынувшие в Москву, "за книжками", и твое сжатое сердце от бездны между данным и Сестрой моей Жизнью, СТЫД ЗА НЕЕ, как мой — за столькое. И твоя радость отводу — Года. Знаю всё. Вывод? Это — народ, а то — нарост. Одно с другим не путаю. Хотя в Россию, к таким хочу» (там же. С. 428, 429).

388. А. М. ГОРЬКОМУ

27 октября 1927, Москва

27/X/27

Дорогой Алексей Максимович!

Зачем Вы так безжалостно бросаете меня из крайности в крайность? Как хорошо, что я вчера успел дать волю своей радости, — недаром меня тянуло к телеграмме; как трудно было бы мне это сделать сегодня! За что Вы обрушились на А<настасию> И<ва-новну>, между тем как источник Вашего гнева лежит, по-видимому, в моем письме, в какой-то его черте, мне неведомой, и навлекшей Ваше негодованье на людей неповинных?1 Но хотя это сознанье вины перед ними и Вами меня не оставляет, однако я ума не приложу, в чем мне оправдываться. Все письма, кроме вчерашнего, взволнованно беспорядочного, я писал Вам в состоянии признательной

сосредоточенности, с наивозможнейшей точностью, к которой обязывает забота о том, чтобы на Вас не нависало хвостов из неясностей, домыслов, возможностей и вопросов и чтобы Вам не казалось, что их надо разбирать, приводить в действительность, дарить ответом.

Только стремленье к этой исчерпанности, избавляющей Вас от траты времени, и вызвало у меня второе письмо вдогонку первому, потому что ведь ничего дурного, требующего других каких-нибудь поправок, ушедшее письмо не заключало. Но вот оно ушло, и в тот же день, — каков бы сам по себе он ни был, — приехал живой человек от Вас. Мог ли я оставить Вас, большого, поглощенного заботой о людях и непомерно занятого человека, с моими предположеньями, после того как, правильно или нет, он мне их подтвердил? Ведь от ответа, воспользовавшись его обходимостью, я бросился бы Вас избавлять и в том случае, если бы он эти пред-положенья не подтвердил мне, а рассеял. Ясно, что никакой эквивалент Вас заменить не может, что мало таких вещей, которые в полном смысле можно сделать за Вас. Ясно также, что, не говоря уже о письме, один Ваш автограф — бесспорная ценность, как ее ни понимать и какого употребленья из нее ни делать.

Однако вот ведь всякое мое обращенье к Вам я заканчиваю постоянною просьбой не писать мне. Кстати, верите ли Вы в деятельную искренность моих слов, в полное их соответствие моим мыслям и желаньям? Странно, Вы можете что угодно сказать о моих вещах, о моем литературном складе, Вы всего меня можете заключить в какие угодно кавычки, но допустите только, что Вы мне не верите, и это разом выпрямит меня нравственно и заставит сказать Вам, что эту же недоверчивость Вы наблюдали в Толстом2, что это — профессиональная подозрительность романиста, мне очень знакомая и, пусть это не смешит Вас, побежденная мною в первом зачатке.

А от Ваших ответов и связанной с ними радости я добровольно отказываюсь еще и потому, что помимо переписки существует жизнь, не в смысле страстей и характеров, а в смысле истории, т. е. широко и досуже спутывающегося и распутывающегося времени. Разве исторические силы, которым Вы дали выраженье, не в переписке с моей судьбой? Разве огромное, сложившееся Ваше поведены не переписывается с моим, складывающимся и выясняющимся?

Нет, как поэт, я нисколько не «начинающий»3, как Вы это сказали (но ей-богу не обидно!), но для того чтобы приносить пользу, нужен авторитет, — и тут я, конечно, еще совершенный щенок. Между прочим, этим кругом интересов я обязан Вам, как и строем мыслей о русской истории, о своеобразной миссии и судьбе интеллигенции и прочем. Тут на моих взглядах и, главное, — склонностях сильнейший отпечаток Вашего именно влиянья.

А теперь о лицах, Вами затронутых. Допущенная Ан. Цветаевой неточность, основанная на произвольно истолкованной недомолвке, по-моему, не из тех вещей, которые заслуживают таких возмущенных кавычек. А вокруг них ведь и собралось Ваше негодованье, и от них распространилось дальше, по пути захватывая имя за именем, положенье за положеньем. Бе ошибка, конечно, огорчила меня, но трудно сказать, как огорчили меня Вы, придав ее оплошности такое значенье. Я рад, что в прошлом письме успел сказать, как она говорит о Вас, т. е. как живы и высоки Вы в ее мыслях4. И так как ничего, кроме рудимента, т. е. простого благородства и порядочности, мы в виде нормы с людей спрашивать не вправе, то она абсолютно перед Вами чиста. Другой вопрос — безотносительная ценность людей на наш глаз и мерку.

Тут мне и хочется Вас спросить: зачем все это о Цв<етаевой> и З<убаки>не знать мне, за что Вы на меня именно взвалили это бремя? Ведь все это было и остается Вашим делом. Ведь вниманья Вашего к Зубакину и через него к Цветаевой я не мог

счесть досадною странностью: зная Вас, я не мог этого себе позволить. Объясненья этой неожиданности я охотнее искал в чем угодно другом: в моей, может быть, недооценке Зубакина, в Вашей доброте, в готовности пригреть человека и поставить его на ноги.

Видимое расхожденье наших взглядов, в особенности, на З<у-бакина>, я, как мог, поспешил свести к очевидной несоизмеримости наших альтруистических ресурсов, в особенности же потому, что на Ваше приглашенье смотрел, как на рождественскую сказку, вкус же к таким метаморфозам прямо у меня связан с тем чувством к людям, которое сами Вы во мне Вашей деятельностью воспитали. Я душой радовался их поездке, как чуду, свалившемуся с неба. Я ни единым помыслом не смел вмешаться в эту историю, и более того: я как неизбежность переварил и наперед спустил Зубакину весь тот мыслимый вздор, который он по своей природе обязательно должен был удручающе нагородить* у Вас и на мой счет. За них у меня не было тревоги, потому что прямого интереса к З<убакину> как к писателю я в Вас не предполагал и иначе понял Ваше движенье; за себя не тревожился, потому что помимо слов, Зубакинских и всяких, есть жизнь и время, все ставящее на должные места, — тревожиться за Вас мне не приходило в голову. Итак, вмешательству моему не было ни повода, ни причины. И вот, во все это меня вмешиваете Вы, и на каком тягостном переломе всего эпизода!

Ну что мне теперь делать?

Вправе ли я оставлять в полном неведеньи Ан. Ив-ну, за которую мне больно, потому что для меня это ничуть не писательница, не неоформленная претензия, ничего такого, а просто человек и друг, и, в настоящих границах, — достойный?

Вправе ли я, при моем отношении к Вам, оставлять Зубакина при его иллюзиях, или, в уваженье к Вам, надо будет открыть глаза и ему, когда меня с ним столкнет первый случай. Как мне себя вести? Связываете ли Вы меня этим письмом или даете мне свободу. Я в полной неизвестности и, как видите, первым делом считаюсь с Вами. Но тяжкой миссии этой я не заслужил, и не знаю, зачем Вы меня в это положенье поставили.

Однако есть дело, в которое я теперь не могу не вмешаться, не дожидаясь Вашего решенья. Позвольте мне говорить со всей откровенностью. Я знаю, что это — в какой-то мере — тайна, которую я вправе знать, но которой не должен касаться. Но как мне выйти из этого круга с соблюденьем всех градусов и ничьих запретов не нарушая!

Итак, я прорываю его. Я говорю о новом примере Вашей отзывчивости, о деньгах для М. Ц<ветае>вой5. Дорогой, дорогой Алексей Максимович, знайте, никакая фамильярность или задняя мысль относительно Вас с моей стороны немыслима! Ничего, кроме желанья простоты и блага, моя просьба не содержит. Вы меня осчастливите, если ее поймете и ей последуете. Вот она. Я умоляю Вас, откажитесь вовсе от денежной помощи ей, неизбежной тягостности в результате этого ни Вам, ни М. Цв<етаевой> не избежать! В этом сейчас нет острой надобности. Мне удалось уже кое-что сделать, может быть, удастся и еще когда-нибудь.

* Слова «наперед спустил Зубакину», «мыслимый вздор», «удручающе нагородить» подчеркнуты Горьким красным карандашом.

Я страшно устал за этим письмом и, верно, не меньше того утомил Вас. Простите.

Заключу вынужденно лаконично. Я люблю Белого и М. Цветаеву и не могу их уступить Вам6, как никому никогда не уступлю и Вас. —

Письмо это попробую послать воздушной почтой. Если удастся, то оно опередит то, на которое я ссылаюсь, как на вчерашнее. «Клима Самгина» буду ждать с благодарностью и нетерпеньем7.

Глубоко преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: НОЛЯ. Т. 64, № 3,1986. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12. 5).

1 Письмо Горького 18 окт. содержало похвалы «Девятьсот пятому году», а 19 окт. — раздражение по поводу неточной передачи А. И. Цветаевой его отзыва о поэме. См. коммент. 1 к письму №381.

2 Пастернак сравнивает отношение Горького к его творчеству с «недоверием», которое испытывал Л. Толстой в отношении к самому Горькому. В очерке «Лев Толстой» (1919) Горький писал: «Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит» (Собр. соч. Т. 14. М., 1951. С. 279-280).

3 Из письма Горького 19 окт. 1927: «...Вы всю жизнь будете "начинающим" поэтом, как мне кажется по уверенности Вашей в силе Вашего таланта и по чувству острой неудовлетворенности самим собою» (ЛН. Т. 70. С. 301). В этом плане интересны слова Пастернака из его «Автобиографии» (1932): «От этого недовольства собою мог бы избавиться, если бы в согласьи с основным тоном революции мог бы и сам обвинять и поучать, как Демьян Бедный, Горький и Маяковский. <...> Всем им общо то прирожденное и возвышающее сознание личной правоты, которого нет у меня и без которого такое морализирование немыслимо» (см. т. V наст. собр.).

4 По словам Пастернака, А. И. Цветаева рассказывала о Горьком «с хорошей, никого не унижающей, преданностью» (письмо N° 386).

5 А. И. Цветаева передала Пастернаку, что Горький согласился денежно помочь М. И., но для этого искал непрямые пути посылки, желая сохранить это в тайне. Пастернак сразу понял обоюдоострую «тягостность» и даже опасность такой помощи как для Цветаевой, так и для Горького, у которого даже завуалированные намеки на эту тему вызвали решительное требование прекратить переписку. Эту догадку подтвердил С. Я. Эфрон: «Насколько ценно нам его сочувствие и расположенность со стороны, настолько было бы опасным, а может быть, и гибельным включение его в наш круг» (12 янв. 1928; Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 463). Тем не менее, А. И. Цветаева вместе с С. Я. Эфроном втайне продолжали некоторое время питать надежды на помощь Горького, Пастернак просил М. Цветаеву сообщить ему «при случае, произошло ли что-нибудь во ис-полненье Асина плана, или же нет. Это касается и Горького. Я не уверен, что вся эта Асина затея удачна. Я попал в нее как кур во щи, как может быть, и все участники. Хуже всего, что подчиняясь во всем этом Асе, я, по ее настояныо, вынужден об этом предмете писать с окольной таинственностью. <...> Да, правда, попроси С. Я. тебе обо всем рассказать, сообщи (или попроси его сообщить), было ли что-нибудь, что говорит о движеньи дела, а затем я тебе и С. напишу, что думаю и знаю» (там же. С. 444). Предложение Горького не имело никаких результатов.

6 В письме 19 окт. 1927 Горький ополчился на обеих сестер, называя талант М. Цветаевой «крикливым и даже истерическим»: «...Словом она владеет плохо и ею, как А. Белым владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его» (ЛН. Т. 70. С. 301).

7 Горький обещал, как только получит новые экземпляры «Жизни Клима Самгина», послать Пастернаку (19 окт. 1927; там же. С. 302).

389. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

28-29 октября 1927, Москва

Вовремя не поставил даты. Это 20-е числа октября Дорогая Марина!

Недавно я писал тебе, что меня растрогал Горький, потом я получил еще письмо от него, в результате которого спешу предостеречь тебя от возможных случайностей, которых надо избежать. Очевидно Ася и ее спутник, главным же образом этот последний, прирожденный дурак и путаник, наделали там каких-то бестактностей, или превратно поняли свое положенье, или же вовсе встали в ложное. Если это случилось с

Асей, то только благодаря З<уба-ки>ну, потому что если бы Ревизора написал не Гоголь, а Достоевский, то Хлестаковым был бы именно этот З. Мое постоянное отношенье к нему выражалось в терпеливом отмалчиваньи, к которому меня обязывал тот факт, что Ася его как-то ценит. В отношении Горького к тебе нет ничего обидного. Он относится к тебе с тем же холодом природного отчужденья, как и к Белому; и если такое отношенье не целиком сказывается и ко мне, то только оттого, что он непосредственно мне и пишет. От души советую тебе, чтобы не скатывать этого клубка дальше, придерживаться совершенной пассивности в отношении Горького. Т. е. если будет тебе письмо от него, на него же только и отвечай, не касаясь неизвестных тебе и только воображенных положений, как например А<си-ной> и Зубакинской поездки, или моих предостережений, или еще чего-нибудь. В противном случае ты неизбежно, сама того не зная, попадешь в неприятное положенье, которыми нас с избытком награждает эта поездка, по З-нской, повторяю, вине. Все это совершенные пустяки, просьба же моя о сдержанности и пассивности целиком совпадает с моими общими рецептами тебе на это время: вот отчего я с такой охотой и высказываю ее. И потом будь покойна: ничто тебя не уронит и не заденет, и все это сделается без тебя. Тут был план, отчасти допущенный Асей, с ролью, созданной для меня, которой я подчинился, потому что Асино пониманье этого плана было тем единственным, что я о нем знал1. Чутье за тебя у меня развито до чрезвычайности, и можешь быть уверена, что он придет в осуществленье только в том случае, если он также светел и приемлем, как это представила Ася. Я это проверяю, ты будь от этого в стороне. Если при пропуске через все сердце он даст хоть какой-нибудь осадок, этот план будет заменен другим, более трудным, но целиком уже родным, и может быть мне предложенной Асею роли играть не придется, хотя до этой минуты я душой готов был ее играть2. В заключенье о важном, — о литературе. Горькому Белого разумеется не уступлю, о тебе же и говорить не приходится. Но мы не Ходасевичи, и оттого, что не нравимся Г<орькому>, он не становится меньше: главное же надо помнить, что помимо нас ищут и друг друга находят наши романы и поэмы и наши пути в литературе, и не всегда мы даже знаем о том.

Обнимаю тебя, и еще раз предостерегаю: не суйся в эту путаницу даже и через Асины двери: я ей ничего не скажу, это больше ее огорчит, нежели что-нибудь исправит.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165). Датируется по содержанию. Приложено письмо А. И. Цветаевой к М. И.

1 Желание организовать для М. Цветаевой денежную поддержку со стороны Горького. См. письмо N° 388 и коммент. к нему.

2 В этом плане Пастернаку выпадала роль передатчика помощи.

390. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

28 октября 1927, Москва

Дорогая, глубокоуважаемая Раиса Николаевна!

Ну как Вам? Вполне ли Вы выздоровели? Мы часто с беспокойством и верой в Вашу скорую и полную поправку думаем о Вас, но — беспокоимся, интересуемся, а молчим, как дураки. Наконец приходит время, когда догадываемся, что таким путем ничего о Вас не узнать. Дорогая Раиса Николаевна, тотчас по получении этого письма напишите открытку, как Вам и что с Вами.

Отчего я не спросил Вас об этом раньше? Время совсем не принадлежало мне. Я третий месяц не могу по-настоящему работать, а весь октябрь у меня, как у звонаря — веревками, руки были заняты и спутаны перепиской. Я все время мысленно благодарил Вас за то, что Вы такое удивительное из нее исключенье, что Вы ни в ком и ни в чем не

нуждаетесь, что нет клубков, с Вами связанных, которые приходилось бы заочно скатывать и раскатывать, мотать и разматывать, торопясь и не поспевая за множащимися недоразуменьями, прямо ко мне отношенья не имеющими, кроме боли за людей, которые в разных городах и странах в эти положенья попадали, по глупости или бестактности одних, наивной фантазии других, дурной осведомленности третьих1. Весь в таких нитках пишу я Вам и сейчас, но их уже меньше, и скоро их можно будет снять простой щеткой.

Потом я послал Вам свои книжки2, и вот что об этом я хочу Вам сказать. Раиса Николаевна, Вы о них мне писали, и только не помните; я все получил и знаю, чем они Вам нравятся и не нравятся, и прошу Вас второй раз всего этого не касаться. Совсем не это мне нужно от Вас, а жду я от Вас рассказа, как Вам и что со всеми Вашими, и что Вы делаете и собираетесь делать.

Больше всего в жизни (навыками и склонностями и взглядами на искусство) я обязан книгам R. M. Rilke. Сейчас очередная моя мечта написать статью «О поэте», посвященную его памяти, но более широкую, чем прямой монографический разбор. Мне хочется, чтобы она читалась как хорошая художественная проза (т. е. чтобы читалась легко и эмоционально). До сих пор мне и частью не удавалось ей отдаться, не говоря уж о том, чтобы вполне свободно и целиком. Однако, кажется, можно уже спуститься с корреспондентской колокольни, месяц наиболее тяжелого трезвона, по-видимому, миновал. И вот, дорогая Раиса Николаевна, если Вы хотите мне пользы и удачи, напишите нам о себе, не откладывая. В день полученья известий о Вас я Вас за них поблагодарю и почту это сигналом к началу настоящей работы.

Сердечный привет Юрию Владимировичу и Вашему сыну.

Душою Ваш Б. Пастернак

28/X/27

Впервые: «Минувшее», N° 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Берлин, оттуда — в Грюневальд под Берлином, потом в Кембридж.

1 Речь идет о переписке с Горьким по поводу М. Цветаевой.

2 Пастернак послал Ломоносовой «Девятьсот пятый год» (М., ГИЗ, 1927) и «Две книги» (М.-Л., ГИЗ, 1927) с дарственной надписью: «Дорогой Раисе Николаевне Ломоносовой от безбожно искаженного на следующей странице с горячими пожеланиями скорейшего и полного выздоровления Б. Пастернак. 29/1X/ 27. Москва». (На фронтисписе «Двух книг» дана до неузнаваемости испорченная ретушью фотография.)

391. П. П. СУВЧИНСКОМУ

31 октября 1927, Москва

31/X/27

Дорогой Петр Петрович!

Вчера я получил Ваше удивительное письмо1 в обстановке подчеркнутого до крайности совпадения. Я писал статью (она будет посвящена памяти Рильке) и часть дня провел над ней в состоянии напряженного воздержания от той терминологии, которой Вы в Вашем письме дали волю. Я старался писать о Ганимедо-вой сущности детства2 и о том, к чему приводит неполная пога-шенность детских долгов, обходя слово «инфантильность», все время естественно навязывавшееся. И вот, в этот самый час оно взглянуло на меня с Вашей страницы3.

Преувеличения Вашей оценки «Девятьсот пятого» меня не смутили, потому что я целиком отнес их на счет Вашей симпатии, на эту же последнюю, по всем Вашим, мне известным, работам (в 1-м Геликоновском сборнике4), я готов отвечать в высочайшей мере. И не надо говорить, как я ей рад. Я давно запрашивал М. И. о Вашем отчестве, теперь мне его сообщила А. И.

На этот раз позвольте мне этим выраженьем душевнейшей благодарности и ограничиться. Сейчас мне кажется, что я остаюсь Вашим должником по вопросу о «взрослости», т. е. что, принадлежи мне сейчас время хоть скромною долей, я написал бы Вам о том, каким прагматическим, осязательным и удобообсудимым содержанием я наполняю это Ваше, до крайности мне близкое и много говорящее понятие. Лет пять или немного больше назад, когда то, что с нами сделалось, было еще на всем ходу и во всем разгаре, я к тем же мыслям приходил не в виде живой оценки современников, а в форме исторической параллели. Я плохо знаю историю литературы и по части фактов совершенный невежда. Но я не мог отделаться от чувства, что захватывающая взрослость Пушкина и раннего Толстого теряет в кровности своего правдо-подобья, когда ее застаешь вне мирового контекста. Мне кажется, что эта взрослость эстетически ими поглощена и навсегда присвоена, с корней, у себя эту взрослость тянувших пополам с кровью и со всем питательным мусором переломной повседневности. Не говоря о 12-м и 15-м годах5 и о декабристах, я этого ботани- ч ческого волокна искал для обоих в Шенье и Стендале6, в дилювиальном быте* последних и в том, что гораздо разительнее и существеннее (по своей интимности) всяких вопросов о влияньи. Как сейчас не каждый на своей шкуре, но и на судьбе родных и вообще соотечественников познал все то стообхватное, что вошло в наш опыт, так было ведь и при французском светопреставлении7 и при Наполеоне. Ведь и тогда так же работало родство. И вот, такими «родными», пишущими письма из полосы иной оккупации и иной зрелости, казались мне оба.

О нашей же взрослости разговор, понятно, непомерно порывистее и проще. Еще раз сердечное спасибо за письмо. Ваш Б. Па-стернак.

Как только у меня будут новые экземпляры книги, я счастлив буду ее Вам послать8.

Впервые: «CaЬIегз des etudes slaves*, Paris, LVIII, 1986, 4. — Автограф (Bibliotheque National, Paris). Публикация В. М. Козового; в наст. собр. используются его комментарии.

Петр Петрович Сувчинский, музыковед, издатель, после революции эмигрировал; один из идеологов «евразийства», участник журн. «Версты».

1М. Цветаева писала Пастернаку о том, как взволновала Сувчинско-го поэма «Девятьсот пятый год»: «Сувчинский пять дней носил в сердечном кармане (сердечной сумке!) — как не то соблазн, не то раскаяние — письмо к тебе <...> которое отправил только после моего утверждения, что ты всё равно поймешь другое» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922— 1936. С. 423). Свое письмо, посланное 23 окт. 1927, Сувчинский начал передачей слов М. Цветаевой: «Прежде всего исполню поручения Мар. Ив. Она просит Вам написать, что: 1) все посланное — получено, 2) книга С. Мирскому — переслана, 3) что она сдала последние корректуры «После России» и что книга выйдет через 2 недели и, наконец, 4) что она Вам напишет через 10 дней (Вам и Ан<астасии> Ив<ановне>) после дезинфекции». Письмо Сувчинского — восторженный отклик на «Девятьсот пятый год» («CaЬIегз des etudes slaves», 1986. P. 647).

2 См. в «Охранной грамоте»: «В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеде и из множества сходных».

* diluvium — потоп (лат.), т. е. быт во времена всемирного потопа.

3 Из письма Сувчинского: «Вы, конечно, первый взрослый поэт. Ведь и Маяковский не смог (и уже не сможет, подобно Белому и Блоку, но в другом смысле) преодолеть своего инфантилизма» («Cahiers des etudes slaves*, 1986. P. 646).

4 Вероятно, речь идет о сб. «На путях. Утверждение евразийцев». Кн. 2. (М.— Берлин, «Геликон», 1922) со статьями П. П. Сувчинского: «Вечный устой», «Знамение былого (О Лескове)» и «Типы творчества (Памяти Блока)».

5 Имеются в виду Отечественная война 1812 г. и европейский поход русской армии.

6 Судьба и творчество погибшего на гильотине поэта Андре Шенье стало важной частью мировоззрения Пушкина, посвятившего ему элегию «Андрей Шенье» (1825); тогда же он начал перевод стих. Шенье «Покров, упитанный язвительною кровью...». Произведения Стендаля, участника Наполеоновских походов и свидетеля последующей европейской реакции, оказали влияние на творчество Льва Толстого.

7 Сувчинский сопоставлял волнение от «Девятьсот пятого года» с тем, которое он пережил, когда «вдруг понял» «Медного всадника» Пушкина. Сувчинский писал: «Ваш "1905", конечно, второй «Медный всадник», вернее сказать, что и тут и там выражено то, что я бы назвал русским светопреставлением» («CaЬIегз des etudes slaves*, 1986. P. 647). Пастернак здесь французским светопреставлением называет Великую французскую революцию 1789 г.

8 У Сувчинского сохранилась книга «Девятьсот пятый год» с дарственной надписью: «Петру Петровичу Сувчинскому от всего сердца с пожеланиями счастья и бодрости на трудной службе веку. Б. Пастернак. 4. XI. 27» (там же).

392. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12 ноября 1927, Москва

12. XI. 27

Дорогой мой друг! В том свинстве, что от меня давно ни слова, главное же в то самое время, как от тебя приходит, день за днем, Шарлаховая хроника1, виноват не я. Но тороплюсь тут же, в обгон сказанному: эти три пакета такая драгоценность, что никакими словами за хронику тебя не отблагодарить. И сейчас пишу не в ответ на нее, а просто, чтобы ты превратно не истолковала моего молчанья. Много чего сошлось в эти две недели: дряблые, затяжные, как ненастье, обстоятельства. Во-первых, денежная запинка, займы по пятиалтынному (послезавтра, во вторник, все это будет бесследно покрыто блестящим авансом). Куча писем и рукописей (чужих), бесконечных поэм и начинающих посетителей2. Словом, нечто такое, что даже и для отказов требует времени, а я, к сожаленью (за очень незначительным вычетом), гнать не умею и почти всегда вхожу в разбор того, что делать человеку, если его приход к литературе — случайность или ошибка. И если ты решила, что я воспользовался твоей просьбой не писать тебе, и сижу за работой, то вообразила сущую небыль. Не пропали же эти две недели оттого, что частью и неизвестным тебе образом были посвящены тебе. Ты легко себе представишь (о других радостях дальше), какую радость доставило мне то, что впервые за эти годы ты заикаешься, или начинаешь думать или допускаешь мысль о приезде сюда3. Что бы я ни сказал дальше, — это душевное событье огромного значенья для тебя, для всех нас и для истинного нашего дня. Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький4. Однако устраивать это надо, и вероятно в устройстве этого, в результате, нам удастся преуспеть. Темы этой оставлять нельзя, ты сама дальше увидишь, до чего она носится в воздухе. Но вот я допустил, что завтра или через месяц ты получила бы визу. И знаешь, я первый стал бы тебя просить с приездом повременить. Я бы не поручился, что в случае какого-нибудь процесса, ни волоском не имеющего к тебе отношенья, тебя бы не припутали по периферии каких-то третьих лиц и десятых гаданий, как это тут бывает с целым рядом ни в чем не повинных людей. Для меня, в таком случае, оставалась бы облегчающая возможность сесть вместе с тобой (так или иначе я бы неизбежно пришел к этому), но во всяком случае я не могу звать тебя к таким перспективам. Но тема, тема твоей готовности и

желанья, существовать начинает, и чем больше она тут пустит корней, чем они будут разнообразнее, многочисленнее и неожиданней, тем спокойней я буду к месяцу ее осуществлены!.

Воспользовавшись моим разрывом с Лефовцами, всякие досужие сплетники стали мне уже передавать невообразимые глупости, будто бы ими обо мне сказанные. Если и не всему этому вздору я верил, то все же у меня было чувство, что они против меня ожесточены, и с ними не встречался. На днях я был посрамлен вдребезги Ник. Асеевым. Может быть он и знал, чем меня можно умилить в конец, до загипнотизированное™, но и это соображенье смысла его звонка не умаляет. Он попросил меня принести «Поэму Конца» и «Крысолова», так как добился разрешенья написать о тебе в своем годовом отчете о поэзии, в чем до сих пор отказывали мне, или предлагали с оговорками, для меня (в отношении тебя) неприемлемыми. Далее он сказал, что принимается за дело о твоем возвращеньи, что говорил уже об этом с Луначарским, но тот будто на стену полез и объявил, что это покамест совершенно невозможно. У Асеева — итальянская виза, он скоро собирается в Италию, где между прочим, хочет о том же поговорить с Горьким и так ему прочесть твои поэмы, что потом его и убеждать-то особенно не придется5. Читает же он тебя отлично. Детское отступленье, которое туг же сделаю, прямо к делу не относится, но считаю нужным, чтобы ты знала впрок, что я вас не ревную, или это чувство побеждаю, и что чем живее вы друг друга воспримете, тем это будет благоприятнее в отношении множества вопросов, т. е. в отношении житейских перспектив, а может быть и более глубоких, т. е. перспектив поэтического сцепленья. Клянусь тебе, что говорю совершенно чистосердечно, и умоляю тебя, в этой связи, мифов на мой счет не строить и какой-то логики вещей, тебя касающихся, с этой стороны не ограничивать. Он читал мне свою поэму, написанную к десятилетью (из истории сибирской партизанщины под Колчаком), и множество мест в этом чтении показались мне прекрасными. Я все еще не мог получить ее на руки. На днях он получит авторские, получишь, вероятно, и ты6. Чтобы покончить с этой тирадой, вставляю упущенную мелочь. В прозе, которую посвящаю памяти Рильке (полувоспоминанья, полуфилософия), будет о «Поэме Конца», как о событии, т. е. будет о всей силе случившегося той весной7, и, говоря объективно, это будет действительнее статьи. Пишу же я все это, т. е. пока еще думаю написать, так, чтобы мне не могли отказать в помещены!. Т. е. это вроде того «так», как собирается тебя прочесть в Сорренто Асеев. Ты не можешь себе представить, как взволновал и обрадовал меня твой намек о книжке для С<ергея> Я<ковлевича>8. Ты точно угадала мое желанье и мне эту возможность подарила. Это ведь движенье сродни мысли о России, т. е. это — то растягиванье души, при котором легче становится и тебе самой и тем, которые больше всего тебя любят. Не хочу отбирать слова и уяснять мысль: догадайся о ней, если она непонятна. Летом я писал Мирскому о том, как мне всегда бывает больно оттого, что ты идешь (в творчестве и в жизни, т. е. по департаменту поступков, ах, все это не то, но ты поймешь) сплошной и постоянной высотой невознаградимости. Т. е. мне больно не как поэту, а как Боре, которому бы хотелось, чтобы тебе было весело и вольно, и так далее. Тут, в быту и в распределены! планов надо больше любить и щадить себя, нежели это в твоих нравах. Милая Марина, прости за глупость, с которой я об этом говорю, не читай моих слов построчно.

Так вот, о книжке для Сережи. Именно ради него, я тотчас после твоих слов побежал в склад Госиздата и достал несколько новых экземпляров, так что ряд лиц, которые их получат, того не зная, обязаны ему, человеку, который делит и разделил с тобой жизнь. Опять глупости. (Ты знаешь, я сейчас пишу, сильно волнуясь.) Да, так вот. С 4-го числа лежит эта стопка бандеролей, и я все еще не имел возможности их отослать по временным, до смешного сошедшимся, затрудненьям. Больше всего за

ними меня раздражала именно эта невозможность отозваться моментально на твое предложенье, но скажи С. Я., что прочитав тот кусок Шарла-ховой хроники я моментально побежал на Никольскую и по воз-вращеньи домой тотчас ему книжку надписал. Два другие экземпляра пусть распределит по своему усмотрены©. Горячо благодарю тебя за письмо отцу и за твои слова на всю эту тему9.

Утопаю в мелочах, которые надо сказать тебе, и не могу себе позволить расписаться о хронике, т. е. о том, как она обняла мое сердце, и как ты добра, щедра, и как я люблю тебя. — Значит опять о мелочах. Родная Марина, вдруг напросился и подобрался новый источник, не тот, о котором Ася говорила Сереже и потом тебе10 и об этом в другой раз, а пока короткий рассказ. Летом 1925 г. нам было так трудно, что просто на переезд с дачи в город не было (и «дача»-то была снята на займы, просто — крестьянская изба). Тем летом я что-то пробовал для детей писать (хорошо шла детская литература и те, кому она удавалась, богатели). У меня ничего не выходило. По этому поводу я был в переписке с Корнеем Чуковским, который до небес превозносил меня, как поэта, но ничего устроить не мог11. И вот мы мокли под дождями, крепкие земле12, по причине задолженности, и не могли сдвинуться и переехать в город. Раз как-то жена, отправясь в Москву за очередной десятирублевкой, возвратилась, сияющая, с известием, что «все устроилось» и протянула пакет с 10-ю фунтами стерлингов неведомого происхожденья, поданный ей утром, на городской квартире, неизвестной ей курьершей из Управления Курской Ж. Д. (!!!). Отдаленного намека на разгадку она, очевидно, ждала от меня, и только в таком чаяньи приняла деньги, из которых половину уже успела разменять в банке. В глубине души я порадовался, что меня не было в городе, потому что я наверное бы от денег отказался, как от заведомой ошибки.

Прости, доскажу в другой раз.

Не сердись на меня. Карточки Асе передал. Какие они все у тебя прекрасные и как я люблю их!13

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 165).

1 Так назвала Цветаева свои письма, написанные в черновой тетради во время скарлатины (от нем. Charlack — скарлатина). «Теперь будешь получать ту скарлатинную, шарлаховую хронику — отрывочками, всего — много...» (там же. С. 424).

2 Об этом Пастернак писал также Горькому: «...Письмами и рукописями из провинции завален даже и я, работать почти не приходится, и "Самгиным", как и своей работой, я жертвую слабым взрослым людям, нуждающимся в няне и за этим обращающимся ко мне» (ЛН. Т. 70. С. 303). В частности, именно в это время Пастернак читал поэму Б. К. Ковынева «Судьба», о чем писал В. П. Полонскому 30 окт. 1927, ходатайствуя за нее (ЛН. Т. 93. С. 699).

3 Мысль о поездке в Москву возникла после слов К. Б. Родзевича. «Пришел Родзевич, я прочла ему кое-что из твоего письма, чувствуя, что озолачиваю, оалмазливаю. В первое твое ты бросилась как с мостов в море — унося с собой и его... И знаешь, первое, что он сказал: М<арина>! Вам надо бы в Россию. — Я похолодела. — Что?! — Да, да, не навсегда, съездить, вернуться, летом, Вам надо, Вас надо там, они тянутся к Есенину, потому что не доросли до Пастернака, и никогда не дорастут, а Маяковский и Асеев — бездушны, им нужно души, собственной, Вашей. Отсюда Горький, оттуда Пастернак, в две силы, возможно. Нельзя жить своим запасом, Вы 5 лет как уехали...» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922— 1936. С. 423).

4 «М. Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию, но — это едва ли возможно» (ЛН. Т. 70: С. 302).

5 Ни статьи с разбором поэм Цветаевой Асеев не написал, ни разговоров с Горьким о возвращении Цветаевой в Москву не вел.

6 Ник. Асеев. «Семен Проскаков». М.—Л., ГИЗ, 1928. Книга была подарена с надписью: «Борису Пастернаку, дорогому всегда, а минутами ненавистному аристократу поэзии от рифмача-санкюлота, чьи жизни накрепко переплетены эпохой навсегда! Ник. Асеев. 1927. XI. 27».

7 В оконч. тексте «Охранной грамоты» о чтении «Поэмы Конца» ничего не сказано, но в словах о Цветаевой на вечере у Амари в 1918 г. выражены чувства горячей любви к ее поэзии: «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее "Верст" я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье». О «Поэме Конца» как о «событии» и о силе случившегося той весной 1926 г. Пастернак написал в «Послесловье» к «Охранной грамоте», не вошедшем в издание, и в анкете «Советские писатели о писателях и читателях» (1928).

8 Из письма Цветаевой конца окт. 1927: «Когда я вчера сказала С<е-реже>, что буду просить у тебя книгу для Родзевича, он оскорбленно сказал: А мне?? А мне (мне) почему-то в голову не пришло, конечно в первую голову С, который — сделай это — всё равно вы судьбой связаны, и, знаешь — не только из-за меня <...>, из-за круга и людей, и чувствований, словом — все горы братья меж собой. У него к тебе отношение — естественное, сверхъестественное, из глубока* большой души» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 423).

9 В ответ на опасения Пастернака, высказанные в письме N° 385, Цветаева писала: «Тебя в свете семьи я чувствую двойственно: то осиянного св<етом> Ясной, бывшей одновременно и молодостью отца, почти что в том ламповом кругу его картин<ы>, то семью покинувш<им> с утробы матери, в свете уличного фонаря. <...> За отца не бойся, у меня для отцов свое сердце, возникающее только от биения ихнего, с твоим отцом я бы чудесно подружилась, потому что во мног<ом> больше соглас<на> с н<им>, чем с тобой — меньшим мо<его> сердца. <...> Папу, кстати, видела раз в Берлине, крас<ивого>, мол<одого>, легкое явление. <...> Кроме тебя, о нем с большой нежностью неоднократно мне писал Рильке, и он мне о Рильке расскажет» (там же. С. 428).

10 Речь идет о помощи со стороны Горького.

11 От этой переписки сохранилось только письмо Н. К. Чуковскому 14 мая 1925, у которого Пастернак просил «протекции» в издании стихов для детей «Карусель» и передавал привет Корнею Ивановичу (Собр. соч. Т. 5). Результатом заботы К. И. Чуковского явилась переписка Пастернака с Ломоносовой и неожиданная помощь от нее. См. письмо №425.

12 Эта старинная грамматическая форма употреблена в стих. Пастернака «Двор» (1916), в изданиях она снабжалась объяснением: «Крепкий кому — подвластный, обязанный данью или податью».

13 Фотографии детей и мужа, привезенные А. И. Цветаевой от сестры.

393. А. М. ГОРЬКОМУ

15 ноября 1927, Москва

15/XI/27

Дорогой Алексей Максимович!

Просьбу о М. Ц<ветаевой> мне внушило одинаково сильное чувство к Вам и к ней1. Высказывая ее, я настолько был убежден, что истинные ее мотивы дойдут до Вас во всем чистосердечьи, что видимая нескромность дела меня не испугала.

Вчера я получил Ваше письмо с предложеньем не писать Вам больше2. С нынешней Вашей суровостью, впервые обращенной непосредственно ко мне, мне легче, чем с той косвенною, которая меня так взволновала. Тогда мне пришлось переживать за других. При этом я не мог не дать лишку. Что-то подсказывало мне, что в замкнутости переписки, т. е. наедине с Вами, долг мой — вступиться за них, а не подхватывать Ваше негодованье. В последнем случае я бы их предал, хотя бы потому только, что Вы бесконечно сильны, а они слабы. Неужели на моем месте Вы поступили бы иначе?

Или, вот еще что, — с этого ведь все началось. Ради Бога, Алексей Максимович, станьте на мое место. NN превратно передает мне Ваше мненье о вещи, меня кровно касающейся (о «905-м»). Из радости получается огорченье. Потом все разъясняется, радость двойная, и ей нет границ. И вот в самый ее разгар получаются Ваши раздраженные строки об оплошности этой NN. Ну что бы Вы стали делать в моем положеньи? Разделили бы это раздраженье против NN, или, как лицо замешанное, как невольный и несчастный повод, всеми силами этому раздраженью воспротивились?

В заключенье, за все это поплатился я. Хочется верить, что запрещенье Ваше временно и Вы когда-нибудь его с меня снимете. А пока, подчиняюсь ему. Вы хорошо знаете, как это меня огорчает3. Однако либо этого не было и у Вас в мыслях, либо довольно и того, что я этому не подавал оснований, но обиды в мое огорченье никакой не замешалось. Я только получил письмо с дурною вес-тью от Вас и в меру ее и опечален.

Неизменно преданный Вам Б. Пастернак

P. S. Я еще раз писал Вам, в первых числах месяца. Вероятно, письмо пропало. Хотя там прямых извинений не было (потому что ни в чем перед Вами не виноват), но истерическим свое предпоследнее письмо признал в нем и я.

Получив его, Вы меня бы, вероятно, пощадили. Мне оно было дорого другой стороной, и жалко, что не послал его заказным4.

Ваш Б. И

Впервые: ИОЛЯ. Т. 64, N° 3,1986. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12. 8).

1 Высказанная в письме N° 388 просьба отказаться от денежной помощи Цветаевой.

2 Горький писал 7 нояб. 1927: «Борис Леонидович — истерический тон Вашего последнего письма для меня загадочен, оправданий ему я не вижу и предлагаю Вам прекратить переписку со мною...» (там же. С. 274).

3 См. об этом в письме 16 нояб. 1927: «Совершенно убийственна мысль, что все началось для меня с ничем не сравнимой Вашей внимательности (известие о переводе), и дальше, слепо следуя желанью оградить Вас от лишних слов, заменимых движений и ненужной траты времени, я роковым образом пошел по направленью, докучному для Вас, двойственно-мучительному для меня, и так блестяще отблагодарил Вас за тепло и ласку. Однако благодарность моя по-прежнему велика и ничуть не стала меньше от того, что Вы не захотели понять меня. Я счастлив, что узел Вы разрубили именно на мне. Всего меньше минутных случайностей повлечет за собой удар по этому месту» (Собр. соч. Т. 5. С. 225).

4 Вероятно, Горький этого письма не получил, в архиве его нет.

394. Ф. К. и Ж. Л. ПАСТЕРНАКАМ

18 ноября 1927, Москва

18. XI. 27. Дорогие мои Федя и Жоничка!

Без конца поздравляю и целую вас1. Вот и в вашу сторону будет глядеть время и следить, как горящая точка будет разрастаться в кружочек, кружочек в лепечущее лицо, лицо — в световую повесть женщины небывало новой от начала до конца. Туда

же, как по сигналу, летят уже и наши порывы радости и пожеланья. Спасибо вам за маленькую племянницу, за новую родную жизнь, за то, что благодаря тебе, Жоничка, темному, наполовину растрясенному, подавленному и неудавшемуся грузу знакомой крови, пережитых предрасположений и надежд дано опять стать начисто новостью и распахнуться возможностью, никакими гаданьями не-предвосхитимой. Живое, непобедимое чувство говорит мне, что тебе, Жоничка, сейчас писать нечутко, нелепо, кощунственно. Оттого что у тебя сейчас нет никаких родственников и не должно их быть. Каждое движенье их говорит, будто что-то «продолжается», между тем, как ты вправе сказать, что до тебя 15-го числа никого не было и никогда еще ничего так не начиналось. Но что бы все сказали, а может быть, и ты в их числе, если бы я вдруг промолчал с месяц!

Представляю себе, какой ты сейчас лежишь красавицей! Скорей поправляйся! Крепко обнимаю тебя и Федю, папу, маму и Лидочку.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Поздравление по поводу рождения дочери Елены (Аленушки). Через несколько дней, узнав более подробные известия, Пастернак писал: «Сейчас получил твою открытку, и сообщенье о том, какие трудные были роды у Жонички, взволновало меня, огорчило и напугало. Главное, что это совершенная неожиданность, и почему-то, когда я ей писал, у меня этой возможности и в мыслях не было, хотя, конечно, ни в Женином, ни в особенности моем письме и тени ходовой "веселости" все равно не было.Сознавать ее мученья мне тем страшней сейчас, что в эти дни я даже от такого пустяка, как растяженье связок, временами теряю разум; что же сказать о пытке, которую перенесла она! <...> И если я не заключаю о Жониных страданьях по простому закону пропорции, то оттого лишь, что в ее случае эта сверхъестественная пытка где-то смягчена тем, что посвящена жизни, в моих же недомоганьях последних лет процесс откровенного умиранья ничем не уравновешен» (там же. Кн. I. С. 156).

395. А. М. ГОРЬКОМУ

23 ноября 1927, Москва

23. XI. 27

Дорогой Алексей Максимович!

В последний раз нарушаю Ваше запрещение, следуя побуж-денью несравненно сильнейшему, чем до сих пор. После этого раза я все равно бы надолго замолк, и без Вашей просьбы. Ко многому из того, что я постараюсь тут сказать Вам, я был готов наперед. Но я не мог предвидеть, что растяну и частью разорву себе плечевые связки на левой руке, что необходимость полной и продолжительной неподвижности, выведя меня из привычного строя, даст мне случай прочесть «Клима Самгина» почти без перерыва и что писать я об этом буду, превозмогая отчаянную физическую боль.

Прежде всего горячее и восхищенное спасибо Вам за всю громадную 5-ю главу, этот силовой и тематический центр всей повести. Чем она замечательна помимо своей прямой, абсолютной художественности?

Характеристика империи дана в ней почти на зависть новому Леонтьеву1, то есть в таком эстетическом завершении, с такой чудовищной яркостью, захватывающе размещенной в отдалении времен и мест, что образ непреодолимо кажется величественным, а с тем и прекрасным. Но чем более у него этой неизбежной видимости, тем скорее он тут же, на твоих глазах, каждой строчкой своей превращается в зрелище жути, мотивированного трагизма и заслуженной обреченности. Именно неуловимостью атмосферных превращений этого удушья, с виду недвижного (почти монументального) и потрясает эта глава и остается в памяти. И я не о Ходынке только2. Исход романа Клима с Лидией3, как одновременность, тоже треплется,

сыреет и сохнет на том же воплощенном воздухе. Этим и гениальна глава, то есть тем, что существо истории, заключающееся в химическом перерождении каждого ее мига, схвачено тут, как нигде, и передано с насильственностью внушения.

Странно сознавать, что эпоха, которую Вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое время она прямо с натуры изображалась именно Вами и писателями близкой Вам школы как бытовая современность. Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего мира, или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером. В этом смысле эпоха еще никем не затрагивалась.

По какому-то странному чутью я не столько искал прочитать «Самгина», сколько увидать его и в него вглядеться. Потому что я знал, что пустующее зияние еще не заселенного исторического фона с первого раза может быть только забросано движущейся краской, или, по крайней мере, так его занятие (оккупация) воспринимается современниками. Пока его необитаемое пространство не запружено толпящимися подробностями, ни о какой линейной фабуле не может быть речи, потому что этой нити пока еще не на что лечь. Только такая запись со многих концов разом и побеждает навязчивую точку эпохи как единого и обширного воспоминания, еще блуждающего и стучащегося в головы ко всем, еще ни разу не примкнутого к вымыслу. Благодаря тому, что современный читатель хотя бы в этой памятной причастности притянут к душевному поводу произведения, он его оценивает в некотором искажении. Он недооценивает его сюжетности и порядка. Может быть, он переоценивает его историчность, т. е. какую-то предварительность, в чей-то или какой-то прок и не догадывается, что в этом ощущении сам он, читатель, чувствует впрок потомству. Он забывает, что следующее же поколение воспримет Самгиных и Варавку, т. е. оба этажа первой главы и неназванный город кругбм дома как замкнутую самоцель, как пространственный корень повествованья, а не как первую застройку запущенной исторической дали, не как явочно-случайную запись белого анамнестического полотна. Однако аберрация современников так естественна, что, не гнушаясь ею, позволительно судить даже под ее углом. Даже в том случае, если допустить, что работа сделана во облегченье чьего-то нового приступа (пускай и Вашего во второй может быть части), Ваш подвиг не умаляется в своей творческой колоссальности, т. е. в каком-то элементе, который я бы назвал поэтической подоплекой прозы. Какова же радость, когда за пятой главой вдруг открывается, что она-то и является этим отнесенным в даль гаданий новым приступом, когда видишь, что он уже сделан. —

Мне сейчас очень трудно писать, да, вероятно, не легко и думать, потому что по ночам я не сплю. «Самгин» мне нравится больше «Артамоновых», я мог бы ограничиться одним этим признаньем. Однако, вдумываясь (просто для себя) в причины художественного превосходства повести, я нахожу, что ее достоинства прямо связаны с тем, что читать ее труднее, чем «Д<ело> Артамоновых^, что обсуждая вещь, с интересом и надеждой тянешься к оговоркам и противоположениям, короче говоря, высота и весомость вещи в том, что ее судьба и строй подчинены более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная.

Отнюдь не в пояснение сказанного, но просто по невольности, с какой это мне припомнилось, расскажу другой случай. По тому, как тут носились с «Митиной любовью»4, по сознанью того, что может написать Бунин, и по многому другому, я начал читать книгу с понятным волнением, наперед расположенный в ее пользу. Красота изложения, наполовину бесследно прошедшая мимо меня, оставила во мне отзвук пустоты и психологической загадки. И это после всего! После всего,

перенесенного хотя бы автором, нет — именно им! Не поймите меня превратно. Не сюжет наперед я навязывал ему, или разочаровывался выбором темы. Нет, нет. Героя и его чувство разом я принял с благодарностью как данность, в смутно нетерпеливом предвидении того, чем будет автор в дальнейшем мерить жизнь и как трактовать ее фатальность. Я простил бы ему сколь угодно чуждый комментарий, объяснимый биографически, я ждал, что разверзнутся небеса и устами писателя заговорит онтология средневековья, я ждал, что на меня пахнет хоть чем-нибудь из того, чего недавно нельзя было позволить себе здесь и что огульно, на круг, называют мистикой или идеализмом. Я не требовал от него историзма в смысле глубокой и далеко идущей летописности, но то, что он, историк, «обыкновенные истории» продолжает рассказывать так же, как во времена, когда об их прямом родстве не догадывались, это было неожиданностью полной, решающей и разочаровывающей вчистую.

Не могу больше писать и сейчас брошу. Я не знаю, близки ли будут Вам мои слова о «Самгине» и скорее думаю, что весь круг моих рассуждений Вам чужд и ничего Вам не скажет. Вы как-то ложно воспринимаете меня, но как я уже сказал, я знаю, что это выправится в свое время. Но у меня к Вам просьба. Не отказывайтесь от обещания и пришлите мне «Клима Самгина». Пожелайте мне чего-нибудь хорошего в надписи, пусть это будет даже нравоученье. Это было бы огромной радостью для меня. И горячее спасибо за прочитанное.

Ваш Б. П.

Прочитав, вижу, что изложил ничтожную долю того, что хотел сказать. И вообще не умею писать письма.

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.10).

1 Согласно теории «процессов развития» К. Н. Леонтьева, на протяжении XIX в. русская государственность и общество претерпели фатальный сдвиг от фазы «цветущей сложности» к фазе «вторичного смесительного упрощения» («Византизм и славянство», 1875). Пастернак усматривает у Горького в описании оппозиционной интеллигентской среды конца XIX в., с ее поверхностным народничеством, симптом именно такого «упрощения». «Перед окончательной гибелью, — пишет Леонтьев, — индивидуализация как частей, так и целого слабеет. Гибнущее становится и однообразнее внутренно, и ближе к окружающему миру» (там же, гл. VI. «Что такое процесс развития»). В 5-й главе Горький дает широкую картину разнообразных слоев общества, отчетливо выявляя его обреченность.

2 В 5-й главе Горький рисует массовую трагедию, унесшую почти полторы тысяч жизней, случившуюся 18 мая 1896 г. на Ходынском поле во время раздачи подарков по случаю коронации Николая П.

3 Клим Самгин, Лидия и далее упоминаемый отец Лидии Тимофей Васильевич Варавка — главные герои романа Горького.

4 И. Бунин. «Митина любовь». Л., «Книжные новинки», 1926.

396. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

27 ноября — 3 декабря 1927, Москва

27. XI. 27. Дорогая Раиса Николаевна! Со дня полученья Вашего письма прошло три недели, которые кажутся тремя месяцами. Упустив трудную, но мыслимую возможность ответить Вам вовремя, я скоро очутился перед полной немыслимостью сделать это хотя бы с запозданьем. Почти без видимого повода я растянул, а частью и разорвал себе плечевые связки на левой руке, и больше десяти дней провел в вынужденном бездействии. Рука в компрессе и сейчас, но нынешнюю ночь я спал наконец, впервые за этот срок, и могу Вам писать, не слишком отвлекаемый болью. По странному и очень злосчастному совпадению, разболелся вообще весь дом, и Женя сбилась с ног, за всеми ухаживая. Заболела приходящая няня, повредила себе ногу

живущая прислуга (общая у нас с братниной семьей) и в довершенье бед слег маленький Женичка с очень большим жаром и без видимых к нему симптомов. Сегодня ему лучше, было предположенье, что это — корь, но вероятно это был грипп, завтрашний день это покажет. Сейчас десять часов вечера, я погнал Женю пройтись и подышать свежим воздухом, а сам засел отвечать Вам. Буду писать неровно и неразборчиво, так как все еще в бинтах.

И прежде всего, — как здоровье Вашего сына?1 Ведь если бы я расшибся на 170-километровой скорости, то не то что от меня, но мне кажется и от моей семьи и от книг и оставленных черновиков места бы мокрого не осталось! И Вы, мать такого здорового, счастливого и сказочно удачливого юноши поддаетесь такой печали на его, а потом и на свой собственный счет! Первого я не вправе касаться. В семейных расхожденьях этого рода2 много может сделать авторитет и чутье отца, да наверно так оно и есть, и Юрию Владимировичу пришлось тут обсуждать и взвешивать и убеждать не меньше Вашего. Должен сказать, что когда взвешиваешь Ваши опасенья, не зная третьего лица, и вообще зная очень мало, то чувствуешь в самой общей, почти отвлеченной форме. И вот какое соображенье берет перевес над всеми другими. Достаточно знать, что это Ваш сын, чтобы вообще за него не бояться, и в том случае, если даже он рискует или ошибается. На любой путь, каким бы неожиданным он Вам ни показался, он приходит во всеоружьи редкой и завидной наследственности. Порода, т. е. кровь, закваска, основные линии воспитанья, все это ничуть в своей дальновидности не уступает Вашей сознательной ежедневно возобновляющейся тревоге за него. А ведь эти прирожденные и усвоенные черты душевного иммунитета всегда при нем. Разумеется, самым лучшим исходом из всех этих осложнений был бы тот, который совпал бы с Вашими собственными пожеланьями насчет его образованья и более позднего и удачного выбора подруги. Мне почему-то верится, что все уже разрешилось таким именно, наисчастливейшим образом. Горько изо всего, Вами рассказанного, лишь то, что как к этому ни подойти, объективно незатронутым остается Ваше огорченье. Основательно ли оно или нет, все равно оно — налицо, и передалось нам. Очевидно оно велико, потому что только под его влияньем могли Вы сказать те непозволительные вещи о самой себе, которыми закончили письмо. Откуда Вы взяли, что Вам осталось недолго жить?3 Я одних лет с Вами (или старше? — мне 37 лет), и чувство, которому Вы дали выраженье, впервые явилось у меня три года назад. Тогда врач нашел у меня расширенье сердечных мышц и предощущенье смерти впервые в жизни пронизало меня не в идее, а в знобящей осязательности наперед вообразимого факта. Теперь оно утратило остроту ошеломительной новизны, и я привык к этому чувству. Итак условимся. Жить нам с Вами еще вечность, и примем за безразличность, измерится ли она годом или десятком лет, или двумя. Моя мать и все родные с материнской стороны больны сердцем (кто — неврозом, кто грудною жабой) с тридцатилетнего возраста. Теперь дальше, о недостатке таланта и здоровья для настоящей работы, о творцах и т. д. Не помню, дал ли я в последнем письме к Вам выраженье тому чувству, которое у меня от представления о Вас неотделимо. Если бы это представленье было ложно, то Женя, которая Вас видела и всегда склонна критиковать мои построенья, его бы не поддерживала. В последний раз мне именно и бросилось в глаза, каким счастливым исключеньем являетесь Вы изо всей моей разнообразной переписки. Я не знаю, сказал ли бы я это самое до войны, как и не знаю того, останется ли это навсегда моим взглядом, но в данной исторической обстановке, которая скоро составит половину всего нами прожитого, я от сужденья о творческом даре в чистой и обособленной форме отказываюсь наотрез, как от разговора о величине мифической и реально непредставимой. Почти пятнадцать уже лет жизнь, повседневная рудиментарная жизнь так глубоко, повелительно и самозванно вмешивается в нашу судьбу, что я себе не

представляю такой необыкновенности в человеке, которою можно было бы интересоваться в виде подавленной или неосуществленной возможности. Все же осуществленья именно в том и заключаются, как справляется человек с обступившими его обыкновенностями, как он им подчиняется или их себе подчиняет. Ваша редкая душевная независимость, Ваша свобода обращенья с близкими и отдаленными людьми и вещами, Ваш закал, Ваш кругозор — скажите, откуда все это, с неба ли это свалилось или подобрано с полу? Я не люблю называть этих вещей прямо и ограничусь замечаньем, что весь Ваш облик глубочайшим образом расходится с Вашими словами, и он красноречивее их, и он красноречиво и с тактичным лаконизмом, который вообще свойственен природе, говорит именно о той талантливости, которую Вы вскользь, и в виде грустной шутки отрицаете за собой на словах. В заключенье еще о творцах. Если бы я был провинциальным вундеркиндом (живописцем или скрипачом), я носил бы бархатную куртку и собирал газетные рецензии о себе, то разумеется я был бы творцом и может быть радостно подхватил это Ваше словечко. Но так как простая случайность рожденья уже сразу подняла меня над этим бурным и исключительным уровнем и с первых детских лет погрузила в чудеса крупной обыкновенности, то позвольте мне, дорогая Раиса Николаевна, остаться именно в той категории, к которой принадлежите и Вы, т. е. в категории людей, живущих с миром и временем запросто, на короткой ноге, а не как-нибудь иначе, в искажении более или менее смешного оперенья. Тон этих последних слов может повести к недоразуменью. Если в них прозвучит какая-нибудь задетость, то знайте, что обиделся я только за Вас, т. е. за то, что Вы о себе пишете так неправильно и небрежно. — Теперь о Вашей чикагской приятельнице4. Во-первых, позвольте мне не верить в нее и подозревать, что этою приятельницей являетесь Вы сами, или в нее превращаетесь, когда Вам мало собственной доброты и великодушья и Вы к этим чертам еще прибавляете благородство вымысла, чтобы до полной бесследное™ затеряться в глубинах этого инкогнито. Как бы то ни было, горячо Вас благодарю за эту постоянную готовность. Как я уже Вам писал, я больше не нуждаюсь, и пользоваться Вашей добротой было бы в моем случае просто бессовестно. Однако может быть я когда-нибудь прибегну к Вашей помощи не прямо, а косвенно, т. е. может случиться, что я Вас попрошу о поддержке кого-нибудь другого, более в ней нуждающегося и более заслужившего ее. Тогда речь будет о сумме несравненно меньшей, чем та, которая у Вас в виду. Теперь об этом говорить рано, потому что может быть это все уладится как-нибудь иначе. Выяснится это через месяц, в свое время я Вам подробнее об этом напишу5. А теперь — до свиданья, и всего лучшего Вам и Вашей семье. Благодарность моя Вам всегда безгранична и не стану о ней говорить вновь. — Простите за письмо, которое Вам покажется смешным и скучным. Но мне трудно еще писать, да и помимо того что я связан перевязкой, трудны и темы, которыми Вы связали меня.

Преданный Вам Б. И

Письмо, уже написанное пролежало с неделю. Это оттого, что я не выходил и надо было купить марку.

Впервые: «Минувшее», JSfe 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено 3 дек. 1927 в Кембридж.

1Ю. Ю. Ломоносов разбился, упав с мотоцикла.

2 Речь идет о желании сына бросить университет и жениться.

3 У Ломоносовой был органический порок сердца, и еще в 1915 г. известный врач В. Н. Сиротинин определил, что «жить ей осталось максимум пять лет» («Минувшее», JSfe 17. С. 375).

4 В том же письме Ломоносова писала о своей приятельнице из Чикаго Рахиль Акимовне Яррос, благодаря которой она могла бы обеспечить Пастернакам «год

спокойной работы» за границей на ту сумму, которую получила от Яррос за услуги в качестве компаньонки во время ее лечения и болезни.

5 Речь идет о помощи М. И. Цветаевой, на которую Пастернак намекал в письме JSfe 392.

397. РОДИТЕЛЯМ

19 декабря 1927, Москва

19. XII. 27. Дорогие мои! Горячо поздравляю вас всех и папу с состоявшимся вчера открытьем1. Легко себе представить, как по-разному, но с одинаковой силой волновались вы все, если волненью поддались и мы, несмотря на даль, на непричастность к хлопотам и всему делу в его осязательной действительности, и на сознанье, что это воскресное утро уже позади. Вероятно, оно было морозное, и уже пахло приближающимися праздниками; вероятно, были цветы в помещеньи и друзья среди медленно собиравшейся публики, и все это напомнило папе былые зимние вернисажи, а с ними и многое другое. То, что все это собрано, воплощено, осуществлено и помещено в 27-м году в чужом огромном городе, названье которого разом вызывает в памяти все перипетии тринадцатилетья и его далекое трагическое начало, уже это одно неизмеримо громадно.

Мысленно представляю себе вид выставки. Ведь ты, папа, вероятно, снимешь ее и пришлешь нам фотографии комнатных групп и углов? И опять будут писать, и среди пишущих будут попадаться дураки и невежды. Все это живейшим образом интересует меня, и если всегда я просил вас обходиться открытками или вовсе не писать мне, ограничиваясь косвенными известиями через Жоню, то от этого правила будет теперь резкое отступленье. Как хочешь, Лидок, а придется тебе изредка писать мне, как идет выставка, и что у вас в связи с нею слышно. По тому, что я знаю (т. е. видел и что слышал), самые интересные и серьезные папины работы — последние. Из них только две-три мне известны по репродукциям. — Очень наивно думать, чтобы Ан<атолий> Вас<ильевич>2 что-нибудь мне передал, хотя бы тот живой привет, о котором говорит папа в приписке. Может быть, это было бы ему легче, если бы я жил иначе; т. е. бывал в театре, на диспутах, вечерах и прочем. Когда случай сталкивает нас, не больше разу в три или четыре года, он изумленно спрашивает, в Москве ли я. Занят же он так непомерно, что мне не верится, чтобы он и люди его разряда жили по общим со мною часам. Меня бы не хватило и на сотую долю его занятий. По-моему, он очень хороший человек и незаурядный; мне очень бы хотелось знать, как было папе с ним и что говорилось (о вещах и прочем). Затронут ли был вопрос о заказах, о Ленине и прочем?3 Обо мне он ничего путного передать не мог. Он меня не знает и обо мне знает слишком мало, чтобы это могло быть интересно. Тем временем как я пишу, проветривают на Жениной половине. Он возится под боком у меня, и несмотря на мои возмущенные стоны, ежеминутно просовывает кудлатую голову под самый мой локоть. Я предложил ему вложить его в конверт и переслать вам. «Что за глупости. И конверта-то такого не взять. Не так надо ездить». А если бы я нашел конверт. «Тогда кого-нибудь на первый раз другого. И еще другого. Вот когда они доедут, тогда я тоже лягу». Так как по его последней версии он — львенок, мама львица, а я — лев, то я, между прочим, говорю, чтобы он не приставал, что льву писать надо. «Откуда ко льву перья? Вот курица, — другое дело. Подумает, подумает, хвать перо из попки, — и запишет». — У него было легкое воспаленье почечных лоханок (кажется называется пиорит), которое Баландеру представляется осложненьем после простуды, явленье очень распространенное сейчас. Он теперь на ногах, но очень, конечно, похудел и бледен. Гулять его еще не водят, потому что стоят двадцатиградусные морозы. Близятся праздники, а с ними и обычная суматоха. Ни в превратно понятой вами

открытке, ни где бы то ни было еще я никакому раздраженью не поддаюсь, и для него не нахожу причины. Но занят — смертельно!

Обнимаю всех вас в Берлине и Мюнхене.

Кстати поздравляю и с праздниками и желаю провести их в полном здоровьи и в соответствующем настроеньи. Женя и Же-ничка нежно всех целуют.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Выставка Л. О. Пастернака открылась 18 декабря 1927 г. в галерее Виктора Хартберга в Берлине.

2 На выставке побывал давний знакомый Л. Пастернака А. В. Луначарский, нарком просвещения.

3 Пастернак говорит о сделанном с натуры наброске с Ленина, который художник хотел продать, и других возможных закупках со стороны Советского правительства.

398. А. М. ГОРЬКОМУ

21 декабря 1927, Москва

21. XII. 27

Дорогой Алексей Максимович!

Простите, что, не находя другого выхода, воспользуюсь Вашим адресом для пересылки письма Асееву1. Он до сих пор не сообщил мне своего, а между тем у меня залеживается его телеграмма, на которую надо ответить. В письме к нему я попрошу его сообщить свой адрес, и возможностью Вашей передачи больше злоупотреблять не буду.

Я знаю, что написал Вам глупости о второй части «Самгина»2. Когда Вы были больны, я еще не слышал, что она уже написана. Случиться это могло оттого, что я живу дикарем и никуда не хожу. Но Вам, наверное, смешно было читать эти на год запоздавшие пожеланья. О существованьи второй части узнал сравнительно недавно, т. е. недели две тому назад. Когда мне стало известно, что второю долей она пойдет в Красной Нови, это сразу определило мое отношение к новой редакции3.

Вообще говоря, у меня лично не было причин относиться к ней враждебно. Кое-кто из ее состава даже заслуживает симпатии. Воронский никогда особенно не жаловал меня, и при всем искреннем моем к нему уважении я не люблю людей, полагающих, что они сами недостаточно типичны, и находящих в искусственном усиленьи типа некоторую защиту от жизни или облегченье ее трудностей. У Вас в «Самгине» эта черта или очень близкая восхитительно воплощена в писателе-народнике, которого Вы сравниваете с кормилицей. Воронский падок на этот жанр, и вообще, валянье дурака распространено у литераторов и считается признаком сырой и широкой монументальности. Между тем этот Малый театр доступен всякому, не вовсе уже обиженному Богом, и данные для него всегда приходят с третьей рюмкой.

Однако, несмотря на все это и совершенную малозначительность тех форм, в которые вылилось осужденье расправы с Ал<ександром> Конст<антиновичем>, было что-то примитивно благородное в неоговоренной общности, с какой это производилось4.

Долгое время я от участия в новой «Красной Нови» воздерживался. Можно радоваться, что это чуранье кончилось5. Пользуясь Вашим сравненьем, скажу, что оно начало вырождаться в очень глупый и длительный Воспитательный дом.

От души желаю Вам и всем Вашим веселых праздников и хорошей встречи Нового года.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: НОЛЯ. Т. 64, № 3,1986. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56. 12. 11).

1 Письмо Асееву 21 дек. 1927 было послано на адрес Горького, но его Уже не застало в Сорренто. «Асеев давно уехал отсюда, а так как московского адреса его я не

знаю, то Ваше письмо пересылаю Вам, Борис Леонидович», — 28 дек. писал Горький (ЛН. Т. 70. С. 306).

2 «"Клима Самгина" недавно достал и читаю урывками, Вы не поверите, но <...> Ах, ведь и все наше недоразумение из этого же круга, и как Вы этого не поняли!! Но по поводу "Самгина" в данный миг, на этой странице, следующее. Всей живой первой частью он разбрелся впрок, под вторую часть, когда грянет гром и заскачут молнии над его пастбищным досугом. Вся их судьба в ней, во второй части, отложенной в эти дни в сторону, на каком-то отдалении от постели», — писал Пастернак Горькому 16 нояб. 1927 (там же. С. 302).

3 В «Красной нови» (1928, JSfe 5-6) печатались последние главы второй части «Жизни Клима Самгина». В новую редакцию журнала, составившуюся в апреле 1927 г. после резкой критики на обсуждении в Отделе печати ЦК ВКП(б), были введены Ф. Ф. Раскольников, В. М. Фриче и В. Н. Василевский.

4 Фактически в это время Александр Константинович Воронский был устранен от работы в журнале. Октябрьский номер был последним, им подписанным. 15 декабря он подал заявление также об уходе с поста председателя правления издательства «Круг», надеясь этим поступком сохранить издательство.

5 В «Красную новь» Пастернак отдал следующую главу «Спекторско-го» (1928, № 1).

399. Н. Н. АСЕЕВУ

21 декабря 1927, Москва

21.12.27 Дорогой Коля!

Я не так виноват перед тобой, как тебе покажется. Когда я дал согласье переслать тебе оставленные деньги, я имел в виду способ сложный, обменный, ты знаешь какой, а не прямую пересылку через банк, которая, помимо чудовищной хлопотливости, еще и попросту в ближайшие месяцы, до краев расписанные очередями, неосуществима. Итак, лежат они у меня и ждут тебя или твоих распоряжений, более мыслимых1. Собака ты, конечно, что не написал мне до сих пор. Прислал хотя бы открытку с адресом. Впрочем, не убивайся, упрек бесстрастный и незначащий, я наперед знал, что так будет, да и сам бы на твоем месте так же себя вел. — У нас тут чудесные трескучие морозы и есть на что глядеть из окна. Не скучаю среди полосы семейного гриппа, которую открыл сам, как глава. Близится Рождество, на всех углах косматятся костры, видно, как дышат на улице безумцы со свертками, и так как даже и лошади стали трубачами, то весь кусковой воздух кажется мороженой музыкой, помешавшейся на орехах, яблоках и стеарине. Новый год хочу встретить с Володей2. Я хочу испытать, могу ли я еще его любить, как хотел бы, и по силам ли ответное чувство ему.

Нелегко среди «хороших людей», в большинстве самозваных. Ими, без кавычек, должны были бы быть вы, и черт вас поймет, почему вы предпочли быть мерзавцами по праву. Может быть, ты вспыхнешь от последнего слова, найдя, что и шутке есть мера, но разве это не так? Конечно, не все в жизни логично и теченье лет скорее дано не на решенье задачи, а на изложенье, на выписку ее распираемой недоуменьями формулы, которую решают помина-тели, как бы низко или высоко и где бы именно ни стоял поминаемый. То есть я говорю не о слове, а о рядовой памяти переживающих, об Иване Ильиче3. Я знаю, что клубок моих недохваток, недоотвлеченностей и прочих свинств в отношеньи тебя разорвут, распутают и объяснят другие. Моя дружба с тобой и в прошлом и сейчас одинаково естественна и фатальна, и вот не из одного же только благородства ты мне не колешь глаз тем, что я тебя меньше радовал, чем огорчал. Но не этих роковых слоев я касаюсь. «Понедельничная» деятельность проходит без метафизики4, о ней можно было бы говорить логичней. Ну не безумье ли, что у нас нет журнала, от которого молодежь теряла бы голову и который чем-то напоминал бы

праздничную стужу, как напоминало ее все то, к чему прикасались, когда-то, такие же, как мы, Белый и Блок. Помнишь? Впрочем, и эти вздохи у меня тоже незначащи и бесстрастны. Все это, верно, порядком надоело тебе. Однако будь благодарен, что я письмом тебе напомнил, как тут тесно, бесплодно и накурено. Тем радостнее ты ощутишь, что далеко от Кривоколенного, обнимешь и расцелуешь по моей просьбе Ксаночку5 и оглянешь красоту и вольность твоего, столь скрываемого, географического секрета. Счастливо встретить вам обоим 28-й.

Впервые: Из писем разных лет. М, 1990. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 375).

1 «Писал ли тебе Асеев? Он в Италии, кажется в Палермо. Я от него не получил еще ни слова, если не считать телеграммы с порученьем, которого мне, верно, не придется исполнить по его неописуемой хлопотливости, — писал Пастернак Цветаевой 14 дек. 1927, — и особенно потому, что лучше моего посвященный в его трудность, он об этом меня просит с пре-дурацкой миной совершенного неведенья» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 443).

2 Из-за воспаления надкостницы Пастернак встречал Новый год один дома.

3 Герой повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

4 По понедельникам собиралась редколлегия журнала «Леф».

5 Ксения Михайловна — жена Асеева.

400. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

1 января 1928, Москва

1.1. 28

Дорогая Марина! С Новым Годом! Едва я опустил Асино письмо, как пришло твое, и только я начал тебе отвечать, как вновь пришла болезнь — грипп, а потом и очередной флюс. Только теперь от них избавился, хотя еще не выхожу, и, значит встречи 28-го, какой желал С. Я. и тебе, сам не сподобился1. По счастью на этот раз болезнь не затянулась, хотя в частоте этих возвращающихся сюрпризов есть нечто, приводящее в отчаянье. Причина одна: нет времени заниматься руками, зубами и прочим, они этим и пользуются.

Несколько твоих слов о Б. З<убаки>не радостнейшим образом «разрешают мне уста» относительно темы, которой я до сих пор не смел касаться. Разумеется, он именно то, что ты о нем пишешь. Мое уваженье к Асе очень велико, и никакая несуразность никогда его не изменит. А отношение мое к Б. З. всегда состояло в терпеливом отмалчиваньи, к которому меня обязывал тот факт, что Асе он как-то дорог. До знакомства с ним (в 23-м или 4-м г.) я конечно не знал, до какого конфуза может опускать человека стихия холостого, сборного и копеечного любительства, по сравненью с которой стихия дилетантизма кажется источником вечного откровенья. Он не дилетант, а тапер, и было бы жестокостью судить о нем с этой стороны. Не знаю, надо ли тебе пояснять, что я не из людей, для которых святая, умная обиходная вселенная начинается с «талантов», «искусств», «творцов» и прочего. И не только никого я в жизни никогда таким «творческим» небреженьем не обидел, но всегда изо всех сил старался разоблачать ту безвкусную оперную чепуху, которой столько наверчено вокруг этих вопросов. Человеку неодаренному я первым делом стараюсь вбить в голову, что в его ошибке ничего роняющего и фатального нет, что если в таком сеченьи призванья его профиль минуется, то он обязательно должен быть налицо в каком-то другом. Но что ты поделаешь, есть люди, которые сами толкают тебя на неловкость, и у которых помимо дарованья, нет такта и какого-то уваженья к своей судьбе. Мне больно писать эти вещи, так как не целиком, но в большой доле они относятся к З<убаки>ну. Между прочим в том, что чудесная, сказочная Соррентийская история, подлинных начал и концов, которой я не знаю, резко оборвалась и как-то бе-

зобразно закончилась, виновата та же путаница. Летом я думал, что просто хорошие, незаурядные люди, умные и с большой, многого натерпевшейся душой неожиданно вырываются в сновиден-ный географический рай к человеку, одарившему их таким случаем и пообещавшему гостям сыграть чисто, без сбоя и полностью хозяина. Я не знаю, кто кому помешал тут, но в том, что там речь зашла о литературе, о З<убакине> как поэте и т. д., уже была допущена какая-то бестактная, безжалостная и зловещая дичь, и не один Г<орький> наверное виноват в созданьи этой бессмыслицы. А когда, в результате двух-трех писем от Г. с конечным мненьем, частью об А<се>, главное же о З. я встал, скрепя сердце решительнейшим образом, на защиту обоих, а в особенности стал просить его исключить тебя из клубка, без твоего ведома и участия на твой счет смотанного, т. е. отказаться от Асиного плана, потому что мне больно было, что ты хотя бы в поминаньи вязнешь в неведомой и мне нелепице, которою закончилась их поездка, то в итоге за все это досталось мне. Он просил меня больше ему не писать, раздраженный истерикой (действительной) моего письма по последнему пункту2. В том, что все по твоим словам повисло в воздухе, — большое счастье. Я очень тебя прошу всю эту историю похоронить в душе и даже с Асею о ней не заикаться. Тебе, а также и мне не на кого и решительно не за что сердиться, и само теченье вещей, без нашего участия, нас от принадлежности к чужим промахам постепенно освобождает. Не знаю, давно ли я завел у себя или развил эту способность, но в последнее время я стал совершенно спокойно относиться к возможностям превратных представлений или толкований на мой счет, неизбежных всякий раз, как где-нибудь кто-нибудь, вроде З<убакина>, принимается говорить о тебе, все равно как, как о враге ли или друге. Ты очевидно держишься таких же привычек, потому что твои былые предостережены! об Асе показывают, что тебе этот вкус заочных интерпретаций слишком знаком. Прости за многословное и неинтересное письмо, главное же за то, что оно пишется с таким запозданьем: его следовало написать уже неделю назад. Выслала ли ты в Берлин свою книгу, как я тебя об этом просил?3 Если она еще не ушла в Берлин, то теперь пошли ее в Мюнхен Maria Theresia str. 19, потому что на Праздники все из Берлина уехали в Мюнхен. А проза всё ни с места. Это печалит меня; оттого и письмо такое.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 166).

1 В письме 27 дек. 1927 Пастернак писал: «От души желаю тебе на эти дни, чтобы у тебя задуманный урок был сделан, благословлен и отложен по боку, и чтобы ты с Сережей попала в общество, где будут знать, чего вы заслужили, т. е. будут точно знать, кто ты, и любить его, и обставят вас вином и мельканьем хороших лиц, т. е. желаю тебе шибкого и свежего отдыха и радостной встречи 28-го года, падающей блаженным жужжащим отблеском на короткий сон под 1-е число» (там же. С. 445).

2 Письмо Горького 7 нояб. 1927 (ИОЛЯ. Т. 64, № 3, 1986).

3 «Если не будет оказии Асеевской, пошли без дальнейших объяснений, и только с надписью мне, родителям в Берлин: Motzstr. 60, Berlin W30. Может статься, им подвернется случай переслать ее мне», — писал Пастернак 14 дек. 1927 по поводу книги Цветаевой «После России» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 443-444). Выход книги задержался до июня 1928 г.

401. С. Я. ЭФРОНУ

Начало января 1928, Москва

Дорогой Сергей Яковлевич!

С Новым Годом, и крепко Вас обнимаю. М. И. писала мне о предполагающейся поездке Д<митрия> П<етровича> и П<етра> П<етровича> в Сорренто1. У меня явились кое-какие догадки о побужденьях, связанных с поездкой, и если они

правильны, то я от всей души желаю им обоим успеха и целиком разделяю Ваши чаянья. Сближенье с Горьким могло бы дать Верстам давно и с превеликою лихвой заслуженную опору; изо всех носящихся в воздухе и напрашивающихся возможностей это — самая естественная. Если же я, что называется, «попал пальцем в небо», то — простите. Я убежден, что мое отношенье к Г<орькому> совпадает с Вашим собственным и со взглядами Вашего круга. Для меня Г. — чистейшее и крупнейшее оправданье эпохи, ее осязательная и покоряющая персонификация2. В этом случае человек настолько заслоняет для меня писателя, что последнее обстоятельство кажется мне производного частностью. Я далек от мысли тут же строить обязательный для себя идеал художника по этому примеру, потому что этот распорядок прямо противоположен тому, в котором я себя воспитал, но ведь и из Вашего, М<арины> И<ванов-ны>, и моего собственного склада я также не стал бы делать рецептов для вселенной. Я долгое очень время хворал, болезнь сменялась болезнью, и страшно запустил неотложнейшие (хотя бы лишь в отношении заработка) работы. Мне очень хотелось бы написать Св.-М<ирскому> и Сувч<инско>му, но в ближайшее время от этого удовольствия придется отказаться. Если Вы в переписке с ними, я очень бы Вас просил передать им мой сердечнейший и напутственный порыв им вслед и в их сторону. Я также хотел бы, чтобы они помнили, что в любом сочетаньи и при какой угодно встрече там, они — прямейшие и непосредственнейшие мои друзья изо всех, какие там могут быть или оказаться. Т. е. я скорее наперед подпишусь не только под их мировоззреньями, но и под отдельными их мыслями и тем, что им на Адриатике привидится во сне, чем приложу руку к какой бы то ни было случайности, не от них исходящей. — Меня очень огорчает, что вследствие растерянности, овладевшей мною в последние дни (залежи неотложных и накопившихся дел и пр.), я не могу написать Вам настоящего, Вас достойного письма. Но еще недостойнее я написал Марине, что уже прямо преступленье. Но все это возместите и загладите Вы сами. Всем сердцем с нею и с Вами.

Ваш Б. П.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 209). Датируется по содержанию.

1 Д. П. Святополк-Мирский и П. П. Сувчинский в начале января 1928 г. ездили в Италию и навестили Горького в Сорренто. Об этой поездке Пастернаку писал С. Я. Эфрон 12 янв. 1928: «Получил короткое извещение о состоявшемся свидании Сувч<инского> и Д. П. с Г<орьким>. Все, кажется, обошлось прекрасно. Обе стороны разговорились, договорились и остались довольны друг другом. Но Ваши догадки о цели свидания совершенно ошибочны. Ни о Верстах, ни о М. речи не было, да и не могло быть. Состоялось лишь взаимное ознакомление, для нас очень важное, но не в том смысле, в каком Вы предполагали. Всякая связь с Г. лишила бы нас независимости, а в ней наше главное достоинство. Насколько ценно нам его сочувствие и расположенность со стороны, настолько было бы опасным, а может быть и гибельным включение его в наш круг» (там же. С 463).

2 См. письмо № 381 и коммент. к нему.

402. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

3 января 1928, Москва

3.1. 28

Дорогая Оля! Твое письмо дочитывал со слезами на глазах. Ты не можешь себе представить, до чего мне нестерпимо бывает читать твои печальные письма. Если бы ты была моей женой, с которой я жил, т. е. от любви которой все взял, и потом бросил, в мое огорченье, наверное, не столько замешивалось бы роковой тревоги и раскаянья, как когда я читаю твои страницы, в которых утоплена такая бездна горделивой

задушевности и почти бесстрастного, почти пластического, т. е. не нуждающегося ни в ком и ни в чем, ни даже в разумной причине, страданья! Боже, каким непосильным и давно мною утраченным воздухом ты дышишь! Он разреженно, — нет, убийственно чист, в нем нет ни пылинки того облегчительного, уступочного сору, который мы привносим к возрасту, чтобы вынести парадокс бессмертия среди болезней и сделать его мыслимым и правдоподобным. Ты же ослепительно гибка и молода сердцем, и этого нельзя видеть, не потрясаясь, даже и не будучи братом. Ты не всегда писала мне, как сегодня, но ты сама всегда такова. С таким ощущеньем тебя, твоей матери и твоей крови, твоей комнаты и твоего дара, твоего дьявола и твоей судьбы, т. е. в таких чувствах я ведь и переступил порог вашего дома!1И хотя я достаточно знал, каким оттенком сдержанной властности ограждаетесь вы обе от всяких любвей и пониманий и тому подобного, и значит, в наивысшей пассивности, на какую был способен, нес себя в ваше, т. е., лучше и вернее, твое распоряженье, но и эта мера безинициативности показалась мне недостаточной при первых тетиных словах.

Помнишь, ты сказала мне, что обычно я более веселым и шумным приезжал, чем на этот раз? Вы должны были себе представить, что моим настроеньям есть причины, коренящиеся во мне или оставшиеся в Москве, что у моего приезда есть какие-то деловые цели. А между тем я приехал только к тебе и вошел к вам только взволнованный, за исключеньем же этого волненья, во всем прочем весь начисто посвященный встрече, как только что для зарядки взятая светочувствительная пластинка. Это — о причинах моей грусти и сдержанности. А теперь о «деловых» целях. Я просто приехал сделать все, о чем ты меня попросишь, и последовать всюду, куда ты меня позовешь. Все это вранье о Царском Селе и Гатчине — было тем минимумом активной мечты или предвосхищенья, который я привез с собой и который, как я говорю, мне показался еще не довольно малым. Но что мне не к кому было в Питере, как только к тебе и маме, я и так, без всякой пользы и радости для тебя, доказал. У меня литературных друзей пол-Ленинграда, и ведь я не видал ни Ахматовой, ни Кузмина, ни Чуковского, ни десятка других менее милых, хотя почему же — менее, этого, может быть, о них нельзя сказать. Единственным исключеньем был Тихонов, но ведь это же почти младший брат мне. — Не знаю, как и благодарить тебя, что ты не попрекнула меня моим свинским молчаньем. Ты знаешь или легко догадаешься, что первые дни по приезде меня так и тянуло писать тебе и благодарить тетю за ласку. Но просто и не сказать, сколько наползло отовсюду разнообразных неотложностей. Однако обстоятельства сложились так несчастливо, что сейчас, когда я пишу тебе, их еще вдесятеро больше. Дело в том, что почти все это время я проболел. Я разорвал себе плечевые связки на левой руке, и на это, т. е. на неописуемые мученья и потом постепенное овладевание отхворавшей и атрофировавшейся рукой, ушел месяц. Тогда же болел и весь дом, и, как вы его зовете, — Дудлик2, представь, — воспаленьем почвенных (как он говорит) лоханок. Потом по истеченье недельной передышки схватил я грипп, и кончился он на самое Рождество — флюсом, так что Новый год встретил я... чрезвычайно надуто. А работать и надо и хочется. А писем, писем! Олечка, замечательные были среди них о «1905-м». От Горького. От лучших и независи-мейших из эмиграции. Конечно, права ты, а не Канский3, но никому этого не говори, говорю и я достаточно. Статью в «Печ<а-ти> и Рев<олюции>», конечно, знал до приезда к вам. Статья прискорбная, но нельзя ее ругать: автор, очевидно, желал мне блага и вынужден был сделать это в «терминах эпохи»4. Он москвич, и я его даже в лицо не знаю. Но если эти статьи тебе что-то по-сестрински дают (обстоятельство это меня волнует до крайности), то найди способ достать где-нибудь у вас июльский номер консервативного английского журнала «The London Мегсигу» за этот год (July, 1927). Там статья кн. Святополк-Мирского о современной русской литературе5, и хотя

оценка, которую он мне дает, незаслуженно преувеличенная, но это — единственная, о которой тебе не придется «спорить с Канским». И потом, я тебе о Цветаевой рассказывал. Там тоже удивительно хорошо о ней. Но прочти всю статью. Я и эту статью читал еще летом, как и «Печ. и Рев.»-скую. — Я знаю, что не ответил тебе на письмо. Прости. Горячо тебя за все благодарю и целую. Также и маму. Жени тоже.

Да, а о настоящей радости, которой хотел поделиться с вами обеими, не написал ни слова! Папина выставка в Берлине протекает блестяще и встречает баснословный прием. По моей давно забежавшей вперед просьбе, он выслал мне три газетных вырезки из лучших берлинских газет, при записке, прямо начинающейся восклицаньем: «Успех небывалый!» Таким образом, мою стихийную, т. е. элементарную радость по поводу его победы сопровождает еще и другая, идущая от сознанья того, кйк он, в таких летах, еще несогбенно молод, и как я, несмотря на мои годы, фатально стар, т. е. добровольно сед. Какое живое, почти детское по непосредственности доверье к радости сказалось в этих словах, в моей судьбе немыслимых, даже и наедине с собою! Но за этой простой, молодящей параллелью вскрывается другой, роковой пласт, и тут — только реветь да руками разводить. Дело в том, что он недооценивался всю жизнь и недооценен и по сей день настолько же, насколько меня преследует переоценка. Гордитесь, тетя, братом и своею костью, и давайте обнимемся и поплачем втроем.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Во время своей поездки в Ленинград в сентябре 1927 г. Пастернак останавливался у Фрейденбергов.

2 Сын Женя.

3 Р. Б. Канский — искусствовед, занимал одну из комнат в квартире Фрейденбергов.

4 Статья В. Красильникова «Б. Пастернак» («Печать и революция», 1927, № 5).

5 Речь идет о статье Д. Святополка-Мирского «The Present State of Russian Letters* («London Мегсигу», July, 1927, vol. XVI, JSfe 93).

403. С. Д. СПАССКОМУ

3 января 1928, Москва

3/1/28

Дорогой Сергей Дмитриевич!

С Новым годом Вас и Вашу супругу!1 Не знаю, как и благодарить Вас, что щадили меня эти два месяца и не напоминали о столь неслыханно просроченном долге2. Слушайте же, как я их провел. Чуть ли не в день Вашего письма или на другой я разорвал себе плечевые связки на левой руке с внутренним кровоизлиянием, две недели промучился в бинтах, только к концу их научившись спать сидя, и потом больше двух недель постепенно возвращал себе владенье рукой, не хуже вашего Лугина3. Дел тем временем накопилась уйма. До этой несчастной случайности я успел задумать и начать что-то среднее между статьей и художественной прозой, о том, как в жизни жизнь переходила в искусство и почему, род автобиографической феноменологии какой-то. Меня тянуло к этой работе. А тут письма набегали о 1905-м годе, неожиданные, от Горького, от Евразийцев (знакомы ли Вам эти люди, правоприемники скифов и Вольфилы: Сувчинский, Святополк-Мирский, Карсавин4), неожиданно-теплые, незаслуженные, преувеличенные, но душа несчас отвечает. Как всегда бывает, с моей болезнью совпали заболевания всего дома, вплоть до прислуги, наконец, и финансы заболели и стали слать меня, точно в аптеку, по редакциям, за повторными авансами, тем решительнее, по своей повторнос-ти, отбрасывавшие меня к работе, продолжавшей однако оставаться мечтой, и недостижимой. Прошло немного времени, и снова подарок — грипп, за которым вдруг разнылись зубы. Чтобы не

входить в подробности, скажу просто: 28-го года я не встречал, встретил меня он, да еще в сильнейшем флюсе.

Теперь о Вас, — хотя я и тут, по естественности повода, буду часто на себя сбиваться. Такую свободу в отношенье Вас я себе позволил, да, впрочем, позволяю себе и в этом письме, потому что тонкость и благородство Вашего дарования мне близки, я их ощущал не раз и в них, как в явлениях наличности, уверен. Это и Вам известно, оттого Вы в Москве и заходите ко мне. Хорошо, что Вы написали эту поэму. В корректуре я бы на Вашем месте ее сжал, примерно на четверть. Я все время больше говорю о Вас, нежели о ней. Т. е. скорее не из заботы о вещи, а о самом себе, я бы произвел это сокращенье, потому что до конечного выхода, пока еще типография нас не окончательно разлучает с произведеньем, мы все еще в нем вольны и повинны. Говоря о четверти, я разумею не какие-нибудь определенные места меньшей силы или удачи, — они-то, конечно, есть, и приблизительно в указанной пропорции, но начинать надо не с них, т. е. не с качественного установления слабых мест и их суммирования, а я бы (так летом я Шмидта на треть сократил в гранках) стал идти в обратном направленьи, т. е. прикинув коэффициент недоработанное™, недосыщенности в целом и определив его на круг количественно, так бы и поставил себе задачу: сжать вещь на столько-то и на столько (путем простых выкидок) — и пошел бы от хороших и бесспорных мест, устраняя тексты явно пониженные и ослабленные, в меру их фабульной или другой какой устранимости, разумеется. О вещи я не хочу и боюсь говорить, так как говорить о ней по существу и вплотную можно только путем далеких отклонений, разом покидающих эту Вашу рукопись как таковую. Для того, чтобы это угвержденье не показалось Вам софизмом и не осталось в ушах в виде обидного каламбура, объяснюсь хоть несколько, не вдаваясь в те обязательные детали, которые меня немного отпугивают своей пространностью. Помните ли Вы род, аллюр и наклон Вашего дарованья к 17-му, скажем, году? Не ясно ли Вам, что если бы земля не заслужила катастроф и не позвала в каратели, а затем и во врачи, искусство, его отношенье к нам, художникам или поэтам, было бы совсем иным нежели теперь. Всегда любой истинный задаток, каковы бы ни были его размеры, избирал для себя форму несущую, подхватывающую содержание, множащую его выразительность, моющую его и протирающую ему глаза, а никак не теснящую, то есть не ущербляющую, не тормозящую. И вот, удивительное дело, до чего этот закон оказался всеобщим! Искусство, став вольно или насильно, общественною силой, бросилось объедать художников. Вглядитесь, как безразличны комбинации, под которыми и в которых оно присасывается к нам опустошающей какой-то кровососною банкой. Один добровольно расстается с даром и со всею искренностью дает проглотить себя тенденции. Другой фальшивит и дает рифме с своей совестью ухлопать и самое звучание смысла. Эти платятся левым уклоном и их зовут новаторами. Другие, что называется, — правеют.

С кого из нас обоих начать? Для краткости, начну с себя, с этим я скоро разделаюсь. А потом на Вас перейду. Так вот. Ведь каков бы ни был Спект<орский> и что бы о нем ни говорили, это пример того же закона. Ведь только путем Сизифовых усилий (в 1-й части) я не даю этому глупому, социально-понятному пятистопнику, уже однажды отъевшемуся на Фетовой трагедии того же порядка5, выесть всех моих потрохов без вычета и таким образом почти ценою судороги остаюсь при части внутренностей. Ведь дальше, если бы я стал продолжать, не дав себе отдыха, пошло бы уже совсем бесчинное чавканье, и я бы бесследно исчез в послеобеденном благоду-шьи нажевавшейся формы. Ведь только оттого, что этот неизбежный сеанс начат, я собираюсь кончать вещь, приготовясь к новой схватке, бессмысленной и фатальной, но исторически оправданной. Форма минусом приставлена к нам, та самая форма, которая

когда-то смеялась над таким положительным обещаньем поддержки и приращенья. Все равно, агитка ли это и тенденция и коммунизм, или эпос, поправенье и пр., и пр. Упираться изо всех сил, подпускать ее и даваться ей как можно меньше — вот единственное, что нам дано. И вот «Возмездие» — Ваш Фет6. Пока это Возмездие, цел Спасский, его стих, его пейзаж, его лирическая сентенция, его просветленный фатализм, самостоятельность и независимость его ума в Блоковской каденции, как Блок самостоятелен в Пушкинской. Когда же с каденции Возмездия автор соскальзывает в оборот Медного Всадника, разверзается именно та четверть, на которую, как мне кажется, надо вещь усечь.

Простите за частые помарки в письме и общую его несвязи-цу. Писал второпях и сгоряча. Привет Вашей жене.

Не сердитесь на меня, пожалуйста, и помните, что сделали Вы — неизбежное, т. е. то, что надо; без чего Вам пришлось бы уступить это место, исторически оправданное, другому. Вы соблюли себя и взяли большое препятствие.

Крепко жму руку. Ваш Б. Я.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

С поэтом Сергеем Дмитриевичем Спасским Пастернак познакомился в начале 1920-х гг. в Москве. С переездом Спасского в 1925 г. в Ленинград отношения между ними продолжались в переписке. Спасский посылал Пастернаку книги своих стихов и прозы, регулярно виделся с ним, бывая в Москве.

1 Скульптор Софья Гитмановна Спасская-Каплун.

2 Разговор идет о неотосланной автору рукописи поэмы С. Спасского «Неудачники» (1925-1927; опубликована в 1928). «Как только Вы вышли от меня, я сел читать Вашу поэму, — писал Пастернак Спасскому 15 нояб. 1927. — Это объясняется не моей добротой, а моим интересом к Вам и качеством Ваших работ. Я мог бы Вам тогда же и написать и исполнить свое обещание (выслать рукопись). Мне помешала некоторая неясность сюжета. Я решил еще раз перечесть ее. Но до сих пор мне этого не пришлось сделать. Я по горло завален письмами и всякими чужими путаницами, которые мне приходится распутывать. Время совершенно не принадлежит мне, и мне почти не удается работать. Читаю Вашу "Историю,, в Кр<асной> Нови. Стихи эти мне очень близки» (Собр. соч. Т. 5. С. 224). Цикл стихов «История» был опубликован в журн. «Красная новь», 1927, № 7.

3 Герой поэмы Спасского «Неудачники».

4 Евразийцы — течение в русской эмиграции, утверждавшее, что у России, находящейся на стыке Европы и Азии, «особый путь», отличный от социальных установлений европейской цивилизации. Эти идеи были близки группе «Скифов», объединявшихся в 1917-1918 гг. вокруг журн. «Скифы», и «Вольфиле» («Вольной философской ассоциации»), среди основателей которой были А. Белый, А Блок и Р. Иванов-Разумник.

5 Имеется в виду поэма А. Фета «Сон» (1856), написанная 5-стопным ямбом, как и «Спекторский». Ср. у Фета: «Мне не спалось. Томителен и жгуч / Был темный воздух, словно в устьях печки».

6 В поэме Спасского слышны интонации «Возмездия» Блока.

404. А. М. ГОРЬКОМУ

4 января 1928, Москва

4.1. 1928

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо Вас благодарю за подарок1. Нелепая прихоть иметь от Вас надпись в виде пожелания явилась у меня в самом разгаре очень докучливой и мучительной болезни, когда наша физиология становится суеверной и даже пожеланию выздоровленья ра-

дуешься как близкому его наступлению. Вероятно, эта потребность передалась Вам, потому что, взяв тему шире, Вы все же в надписи пошли по ее направлению, пожелав мне выздоровления и в моей работе, которая Вам кажется без надобности сложной и надломленной. У Вас обо мне ложное представление. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану. — Я со смешанным чувством читаю Вашу, несмотря ни на что, все же дорогую надпись. Мне грустно, что привет в ней омрачен какой-то долей осужденья и что мое чутье отказывается решить, насколько симпатия в ней уравновешена антипатией. Что-то в моих словах, очевидно до Вас не доходит, и уже от того одного остальное обречено на постоянные превратности. Еще раз спасибо.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.12).

1 В письме № 395 Пастернак просил Горького прислать ему «Жизнь Клима Самгина» и пожелать ему «чего-нибудь хорошего в надписи». Горький отозвался на эту просьбу 27 дек., «раньше не мог, не было книги» (там же. С. 306). Дарственная надпись: «Борису Леонидовичу Пастернаку. Пожелать Вам "хорошего"? Простоты, — вот чего от души желаю я Вам, простоты воображения и языка. Вы очень талантливый человек, но Вы мешаете людям понять Вас, мешаете потому что "мудрствуете" очень. А Вы — музыкант и музыка, — при ее глубине, — мудрости враждебна. Вот мое понимание. Книгу только сегодня получил из Москвы. А Пешков. 27. XII. 27» (НОЛЯ. Т. 64, № 3, 1986. С. 268).

405. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5 января 1928, Москва

5.1. 28

Моя дорогая Марина! С окончаньем Федры тебя1, крепко, крепко и от всей души. И спасибо за виды Медона. Rue des Pierres я ни разу доселе не видал, и без нее у меня бы так и оставалось превратное представленье о Медоне, как о городке недавно возникшем и без старины. Но и очень немногое из твоей улицы показалось мне виденным раньше, в воображеньи, и давно знакомым. Да и это также оказалось ошибкой. Дело в том, что часто представлявши себе, где и как ты живешь, я видел именно тот (второй) двухэтажный домик повыше, который находится от вашего входа через дорогу наискосок, как раз против переулочка за вашим домом. А может быть, это проще, и все дело в том, откуда снята фотография. Очевидно, когда я о чем-нибудь запрашиваю воображенье, оно всегда ставит просимый образ лицом на зрителя, т. е. именно так, как изображен ваш визави.

Для переправки «После России» воспользуйся обеими оказиями, твоею собственной и той, о которой писал я2. Обманет одна, — выручит другая. О полном имени твоей подруги догадался по инициалам. В Берлине я раз или два видался с — пасынком ее, вероятно; кажется звали его Владимиром, и пробовал он себя в стихах. После о нем ничего не слышал3.

Ты вспомнила о времени, когда я говорил тебе Вы. Вероятно в тот же день мне явилось другое воспоминанье, близкое и, может быть, сильнейшее. Я вдруг вспомнил, что моему «ты» с тобою предшествовало твое предложенье разорвать отношенья, которые ты признавала обидным и недостойным заблужденьем с твоей стороны. Помнишь, это было в ответ на быстроту, с какой я тебе доставил все (т. е. то, что имелось) о Есенине, для задуманной поэмы4. И хотя все мое существо возмутилось против твоего предложенья, и я восстал против него просто, по-человечески, но преодолевая боль, я, может быть, на словах бы ему на некоторое время подчинился, если бы вслед за тем не грянули подряд два грозовых, очищающих, проясняющих весь мой кругозор удара: «Поэма Конца» и известие, что я попался Рильке на глаза. Ты знаешь, эти две вещи были тем первым знаком мира и родства, которого я ждал с

самого 914-го года! Понимаешь ли ты, о чем я говорю? Помнишь, как все ждали мира и выхода из тыловой фальши? Помнишь время, когда Бетховен оказывался бельгийским композитором на программах Кусевицко-го?5 Эти бельгийские композиторы были до «коллективного творчества» и пролетарской поэзии. Уже тогда началась эмиграция душевная и саботаж совести и сердца. Не была ли ты временами скрытой германофилкой, не в отношеньи Берлина, разумеется, а по линии Беттины?6 Но тогда мы были моложе и свежее, да к тому же и требованье приспособленья было государству в первоучину; надзор за обезличенностью и изолганностью не был еще достаточно организован. В сентябрьском №-ре журнала «Die Neue Rundschau* напечатано несколько писем Rilke7. Прочти, узнай в нескольких местах себя самое; потрясись тем, чтб он должен был там в те годы выносить, и... и поблагодари Бога, что все же, все же (ценой каких жертв!!) все это пришло, приходит к какому-то концу, — придет. И вот первым обещаньем, провозвестием подтвержденное™ того, что родной, чистосердечный и умный воздух сомкнётся вокруг меня может быть еще при жизни, были два эти явленья. Особенно благодаря тому, что в своей равновеликости они существовали независимо от меня и друг от друга, далеко в пространстве. Случайными путями, из третьих рук, попалась мне «П<оэма> Конца». Такими же случайными обходами пришла весть о моей прикосновенности к R<ilke>. Оба факта и не глядели в сторону Волхонки. В мученическом одиночестве они двумя столбами били где-то в свою высоту, головокружительно родные и любимые. Оттого и первое, что я сделал, было порывом тотчас же вас уведомить друг о друге и породнить. Для меня же с этой минуты (после 12-тилет-него перерыва!) началось что-то другое. Волны едва чаемого воздуха уже существовали. Он становился мыслим в предвосхище-ньи. Я понял — элементарно, по-мужски, — что можно и стоит и надо бороться. Что надо напречься, и хотя бы на голову встать, но взять свое и быть с вами. Так зародился Шмидт, так собралось и выпрямилось отношенье к уже сделанным частям «Года». И когда, нарычавшись и отхрипев в своих рабочих припадках эта, названная по имени, кликнутая и призванная вновь через 12 лет к существованью воля падала в себя, она себя узнавала и себе радовалась в постоянном и прямящем обожаньи тебя, как в своей отныне постоянной, незаслуженно счастливой участи. Помнишь, как много я тогда тебе писал о счастьи? Так оно и осталось, так есть и сейчас.

А чтобы ты все-таки вспомнила о бельгийских композиторах полностью и по-настоящему, — вот выдержки из его писем того времени. «Ich fuhle mich von einer Welt, die imstande war, in so sinnlosem Wirksal ohne Rest aufzugehen, widerlegt und verlassen und vor allem bedroht Derm dieses sollten, mussten, mehr als friihere, meine Jahre sein, Jahre geschutztester Leistung, und nun weht mir der bose Zufall eines aus Menschenmache hervorgegangenen Untergangs ums preisgegebene, arme, wehr loseste Leben. Was soil ich sagen? Fur die

Freunde in Schweden hab ich das herzlichste Zutraun. Noch 1914 wollte ich wieder hin, nach zehn Jahren; hatt'ich's getan und iiberstiinde dort das Argste dieser Welttriibe: mir ware heimatlich zumut. Griissen sie hiniiber. MeineBemuhungen hinanszukommen, waren vergeblich.... Noch Eines: der Cornet ist eine alte Sache, man moge ichgenugsein lassen, besonders nicht mit Musik ihn vorbringen; mit mir hat er nur von feme, mit dieser Zeit vollends hat er nichts, nichts zu thun*. (Подчеркнуто мною. Ты догадываешься? Из «Корнета» вероятно сделали патриотическое «военное» чтенье!!8) Ach wie war er anders, anders gemeint!» "

Из другого письма.

— Es ist eine Beunruhigung und Sorge, ja eine fortwahrende Warnung des Herzens in mir, die mir innerlich zuruft, dass jetzt unaufhorliche /ей/ergeschehen (auf deutscher Seite), ich starre taglich in ffinf, sechs Zeitungen, und so unbeholfen und reinunkundig ich sie lese,

eine jede bestatigt mir's, und mit jedem Atem ziehe ich das vorwurtsvolle, widerspriichige Bewiisstsein tiefer in mich ein und weiss den Irrtum und kann ihn doch nicht sagen, denn wie sollte meine anders erwachsene Stimme sich plotzlich in den Dienst des grobsten Momentes finden. Da und dort spricht einer, wie ich reden wurde, aus einer verwandten Warnung heraus — Naumann neulich im Reichstag, Prof. Forster, der Pr. Al. Hohenloe, — aber das sind ja gerade die Stimmen,

* Я чувствую, что мир, который оказался способен без остатка раствориться в такой бессмысленной деятельности, отвергает, отталкивает меня и, главное, мне угрожает. Ведь эти годы больше, чем предыдущие, должны были бы стать годами, годами моей тщательно оберегаемой работы, а теперь мне грозит злая судьба обманутой людьми бедной и бесцельно потраченной беззащитной жизни. Что мне сказать? Я сердечно доверяю друзьям в Швеции. Еще в 1914 году, после десятилетнего перерыва, я хотел вернуться туда; сделай я это, мне бы удалось переждать там самый пик мирового мрака: мне было бы как на родине! Передайте им туда привет. Мои усилия перебраться туда оказались тщетными... Еще одно: Корнет — старая работа, можно было бы не касаться его, в особенности не соединять его с музыкой; он лишь отдаленно связан со мною, с настоящим временем ему совсем, совсем нечего делать (нем.). " Ах, насколько по-иному, совсем по-иному он был задуман! (нем.) die keine Geltung haben*. — Но все это гораздо выразительнее в общем контексте9.

Так как вчера по-видимому закончилась и моя короткая эпопея с Горьким10, то я хочу ее вкратце тебе пересказать, и подробнее, чем я это делал раньше. До поездки А<си> туда у нас с ним не было переписки. Мое отношенье было к нему тем, к которому я опять вернулся и о котором недавно писал Серг. Як-чу. К этому историческому признанью и безмерному уваженью осенью у меня присоединилось личное чувство глубокой благодарности за А. Она мне сообщила оттуда, как хорошо он относится к моей прозе, в частности к Детству Люверс. Это меня тронуло и обрадовало, но о своей растроганности я написал только Асе. Потом я послал ему 1905-й с надписью: величайшему оправданью эпохи11. Он мне ответил коротким сердечным спасибо'м за книгу, и сообщил, что Детство Люверс выйдет весной в английском переводе в Америке. Он также обещал уведомить меня об условьях изданья, лишь только они выяснятся12. Тогда я написал первое ему письмо, в котором умолял не заниматься такими пустяками и предоставить инфор-мированье меня кому-нибудь другому. Я знал или представлял себе, какова, по размерам, его переписка, и мне больно было от мысли, что вот она еще разрастется и благодаря мне. Это чувство заботливости повторялось у меня в ряде далее последовавших писем, т. е. оно, больше всего другого, вызывало их, и оно же и повлекло к первым недоразуменьям между нами, т. к. он либо не понял его, либо в искренность этого чувства не поверил. В том же первом письме я прибавил, что если бы 1905 г. был таков, каким

* Эти беспокойство и забота — постоянное сердечное предвосхищение, которое внушает мне, что сейчас (с немецкой стороны) совершаются непрерывные ошибки. Я пристально вглядываюсь в газеты, — в пять или шесть ежедневно, и хотя читаю их беспомощным и неопытным взглядом, — об этом свидетельствует каждая из них. С каждым вздохом в меня глубже входит это противоречивое и упрекающее меня сознание, я знаю, что это заблуждение, и не могу об этом сказать, потому что мой голос возник иначе и не приспособлен служить этим грубейшим обстоятельствам. То тут, то там некоторые предостерегающе высказывают это так, как сделал бы это я — недавно Науман в Рейхстаге, проф. Фёрстер, Пр. Ал. Гогенлое, — но это именно те голоса, которые не имеют никакого влияния (нем.).

мне хотелось его сделать, он бы наверняка обмолвился о нем, и что молчанье его на этот счет многозначительно. Что я прошу его не тратить время на меня и не разуверять

в этой неудаче13. Приехала Ася. Она мне между прочим сказала, что 1905 его не удовлетворил, а также рассказала о плане с тобою. С. Я. расскажет его тебе во всех подробностях, вплоть до той фиктивной роли, которую А. в этом плане создала для меня. Какою радостной случайностью было для меня в этот вечер то, что до всех этих планов я успел давно и просто предупредить все эти фикции. В тот же вечер, движимый почти сыновней преданностью к Г-му за все то, о чем мне рассказала Ася (да я забыл еще сказать, что от Аси узнал, что переводчица Люверс на английский — М. И. Закревская, близкий друг Г-го, которой посвящен Самгин), я написал ему о твоем значении, как поэта, о моей безмерной, не знающей края, благодарности, о том, что моя догадка о его впечатлении от 1905 подтверждена Асей и, следовательно, тем сильнее моя просьба не тратить время на ответ мне, раз все это известно. Это было второе мое письмо14. Между первым и вторым был промежуток в сутки: по роковой случайности я написал ему первое накануне А<сино-го> приезда, а второе, в его день. И вот, спустя шесть дней, с таким же промежутком в сутки пришли два его последовательные ответа: одно на первое письмо, другое — на второе. Отвечая мне на неопределенную догадку первого, он начинал «Дорогой мой Б. Л.», и о 905-м отзывался с той теплой похвалой, на которую мне показалось недостаточным отвечать письмом и хотелось ответить телеграммой. Мое ответное (в тот же день) письмо и походило по лаконизму порывистой признательности, на телеграмму15. Но вот на другой день пришло второе ответное, где, значит, он исходил: из моих слов о тебе, из моей, с достаточным тактом и с конспиративностью, навязанной мне Асею (по его просьбе) благодарности за его ласковость к миру, мне дорогому, и наконец из моих слов о подтвердившейся догадке. Его письмо было настолько же ужасно, насколько радостно предшествующее. Он со страшной едкостью, сплошь в кавычках, обрушился на ни в чем не повинную Асю, построив на этой мелкой, всем нам из повседневности известной черте «третьих уст» чуть ли не психологическое определенье Аси. Далее следовало несколько ограничительных примечаний к кану-нишним словам обо мне, может быть справедливым. Далее следовала чепуха о тебе, которой я не привожу из уважения к его имени, хотя мне это трудно, так документально глупо и ошибочно и так значит к вящему твоему торжеству было бы это утвержденье математика, что 2x2=5, и ты, мол, этого простого правила не знаешь. Заканчивалась эта тирада тем, что тобою, как и Андреем Белым владеет слово, вы же, напротив того, не владеете им16. На это письмо было ответить убийственно трудно. Это было трудно мне, по той сложности чувств, тем и положений, которые передо мной встали: одни — в своей справедливости, другие — в естественности своей, третьи в предвидимости. Главное, я знал, что уваженья к нему я не теряю и расстаться с ним должен достойно, т. е. написать надо было так, чтобы письмо не оскорбило его. Однако мысль о том, на какой невинности разыгралась вся эта буря, приводила в отчаянье. Сейчас я расскажу, как и что я ему ответил. Я не знал, как мне быть, говорить ли об этом Асе или нет. Во-первых, он с ней еще не порывал и письмо его меня связывало. Я боялся осложнений, к которым повел бы я сам, если бы ей его письмо передал. Но первой я написал тебе, — и там было много «теплых» слов о Зубакине и о каких-то вероятных неосторожностях, сделанных Асею в соседстве последнего и под его влиянием. Неотправленное это письмо и по сей день у меня. Я призывал тебя в нем к наи-возможнейшей пассивности и точности с Г-м, советуя касаться только известных тебе вещей, и ничего, ни даже Аси, другого. Ведь можно было ждать исполненья обещанного, и я боялся, что тут с тобой случится что-нибудь подобное тому, что произошло со мной. Вдруг какое-то чувство подсказало мне, что лучше все предоставить судьбе, и ни о чем этом тебе не заикаться, и видишь, все к лучшему, — оно не обмануло меня. А теперь о том, чтб я ему ответил. О тебе было вдвойне, и было это к концу письма. Все же оно было

посвящено двум вещам. Во-1-х, я спрашивал, за что он взвалил на меня бремя своего раздраженного мненья о 3<убакине> и А. и что хотел этим мне вменить. Должен ли я затаить в сердце его негодованье и скрыть его от человека (А.), с которым дружен, или же он дает мне право помочь им порвать друг с другом? Во-2-х, я взял под одинаковую защиту как А. так и 3., и последнее не должно тебя удивлять, потому что никакое мое отношенье к 3. не разрешает мне несправедливостей к нему, а А. и 3. я тут защищал именно от несправедливости. Я удивился негодованью, которое вызвала у Г-го пустая оплошность А. (с передачей мненья о 1905); я, не называя этих категорий прямо, звал его от придирок желчного крючкотвора к жизни, к тому, как всегда бывает с передачами. Переходя к другим причинам Г-ского недовольства ими, я между прочим ему написал, что, по-моему, мы от других, в виде нормы, вправе требовать только благородства и порядочности, гениальности же, в виде нормы, каждый обязан требовать только с себя. А в отношеньи первых требований А. и 3. чисты и перед ним, как перед Богом. Однако всего труднее было выразить то, что — прости меня, мой друг, за это вмешательство, — составляло цель и оправданье письма. Я должен был попросить его отказаться от всего этого плана относительно тебя. Я умолял его с чистосердечностью и порывом, смывавшим все неловкости и тени, и вырывавшим меня из того проволочного круга, которым они нас обоих опутали, забыть про обещанье, потому что оно добра не принесет ни тебе, ни ему. А заканчивал я так: я люблю Цветаеву и Белого, и не уступлю их Вам так же, как не уступлю никому и Вас17. Ответом на это письмо было предложенье прекратить переписку18. В тот же день я узнал, что он заболел воспалением легких и при смерти. Я написал ему глупое, взволнованное письмо с заклятьями и пожеланьями, в стороне и за 1000 верст, разумеется, от тебя и Белого и Пастернаков и пр. и пр. Т. к. я сижу дома и ничего не знаю, то я строил какие-то вероятные предположены! о рукописи 2-й части Самгина, «находящейся невдалеке от постели», и «ждал от нее чудес больше чем от врачей и от лекарств» и пр. и пр.19 Потом я узнал, что эта 2-я часть давно написана и уже набирается для Московских журналов. Но что же преступного в этой ошибке? Затем захворал я и несколькими бессонными ночами болезни прочел 1-ю часть Клима Самгина. Тут же, в болезни, я написал ему о книге с просьбой, которую ты может быть поймешь. Я был в бинтах, не спал ночами, был лишен возможности мыться и делать холодные обтиранья каждый день, ни за что не мог взяться, все было подернуто завесой грязной мучительной и сонливой безотрадности, и в письме я попросил, чтобы он мне прислал обещанного Самгина с надписью в форме пожеланья. Я попросил его пожелать мне чего-нибудь хорошего20. В том, что все это обращалось к человеку, попросившему не трогать его, не было ничего ни удивительного, ни навязчивого. Сама судьба игнорировала его разрыв со мной. Кроме того было несколько вещей, заставлявших меня желать примиренья. Среди них тот например факт, что вся эта история оставалась тебе неизвестной, и что план относительно тебя, мог, несмотря на мою просьбу (он ведь ее как будто бы с возмущеньем отверг) стороной, между Сорренто и Парижем прийти к осуществленью. Или например поездка Асеева с еще более радостными планами относительно тебя и опять с Г-м21. Или, наконец, поездка Св.-М<ирского> и Сувч<инского>. Но теперь всему этому, и А<сее>ву, и всем гадательным возможностям, и всем попыткам сердца был дан достаточный срок, и совершенное вы-бытье мое из Соррентийской темы никого не запугает и никому не повредит. Я не только не о тебе, конечно, но даже и не о Сувч. и Св.-М., когда говорю «никого» и «никому». Именно в верном предчувствии исчерпанных по адресу Г. средств ко взаимопониманью и в чаяньи вероятного конца я и напоминал на днях С. Я., что бесспорными и первыми своими друзьями в любом кругу и окруже-ньи считаю их, а не кого-нибудь другого22. Но как не поставить точки? Суди сама. Вчера я получил

книгу. Кавычки — его. Борису Леонидовичу Пастернаку. Пожелать Вам «хорошего»? Простоты, — вот чего от души желаю я Вам, простоты воображенья и языка. Вы очень талантливый человек, но Вы мешаете людям понять Вас, мешаете потому что «мудрствуете» очень. А Вы музыкант и музыка, — при ее глубине, — мудрости враждебна. Вот мое пожеланье. Книгу только сегодня получил из Москвы. А. Пешков23.

Хотя это «мудрствуете» очень, вместе с «очень талантливым человеком» (вроде «молодого человека») в особенности же философское угвержденье о музыке... хотя все это, говорю я, того же ранга, как замечанья о тебе, но я не предаю его, сообщая тебе надпись, потому что это не письмо, а надпись в книге, которую каждый может увидать. Я поблагодарил его, искренно и по-хорошему за подарок, и не скрыл от него, что надпись прочел со смешанным чувством. Я признался ему в том, что мне грустно, потому что мое чутье отказывается решить, какая доля осужденья омрачает радостность его привета и насколько его симпатия ко мне уравновешена антипатией. Мы ему категорически чужды. Я ни слова, после пробы с тобой, не писал ему ни о себе, ни о поэзии, ни о чем бы то ни было с этой стороны, а только о человеческих, живых вещах, которые мне казались общими для нас всех. И если я когда-нибудь для кого-нибудь из нас мечтал о хороших с ним отношеньях, то конечно только по линии этих простых, общечеловеческих чувств. Ведь только о таком пожеланье я и думал, когда о том его просил. Он же понял, что я прошу его об отметке, о полном литературном балле, и выставил мне его с двумя минусами! И это я мудрствую, а его отношенье: к А, к З., к тебе, к моим словам и просьбам и т. д. и т. д. — просто! И надпись его проста! И он не знает, что можно уважать его без меры и даже любить, как явленье, и в то же время не хотеть не только быть из счастливцев, которые ему нравятся в искусстве без минусов, но даже и им самим.

Мне очень трудно было распугать перед тобой всю эту историю, и как все последнее время, при страшной торопливости, я ее изложил невозможно-суконным языком. Я наверное что-нибудь пропустил в ней, и очень может быть важное, т£к она сложна. Но чувство подскажет тебе все коррективы, если ты чего-нибудь, за пропуском, не поймешь. Если хочешь мне доставить удовольствие, не касайся этой истории ни в письме ко мне, ни где бы то ни было еще. И не думай, родная, что в желаньи освободить тебя от осложненного до недосягаемости великодушия Г., я действовал легко и с запальчивой опрометчивостью. Нет, все обдумано и переустроено.

Если ты не поверишь, что зачеркнутое — непростительный сентимент, то я тебе его раскрою. Я прошу поцеловать Сережу, зачеркиваю, пишу С. Я., зачеркиваю, заменяю Сережей. Какова же сумма? Я целую Сережу и прошу поцеловать Серг. Як.

Не сердись за такую длинную реляцию: мне ведь еще труднее было ее писать, чем тебе читать ее.

Удалась ли поездка друзей в Сорренто?24 Крепко обнимаю тебя, самая родная и милая сила на земле, тебя и всех, кто с тобою.

Больше таких чудовищных писем не будет. Пишу все утро. А от «отчета» голова болит.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 167).

1 Цветаева работала над драматической поэмой «Федра» с 1926 по конец 1927 г.

2 Пастернак в письме 14 дек. 1927 просил послать для него «После России» в Берлин на адрес родителей (там же. С. 444).

3 Имеется в виду краткое знакомство Пастернака с В. Л. Андреевым, поэтом и прозаиком, сыном Леонида Андреева и пасынком Анны Ильиничны, вдовы писателя и

подруги Цветаевой. В. Андреев вспоминал о встречах с Пастернаком в Берлине в 1922 г. в своей автобиографической повести «История одного путешествия» (М., 1974. С. 310—317). В 1956 г., когда В. Л. Андреев приезжал в Москву, их знакомство восстановилось.

4 Материалы о Есенине были посланы Цветаевой в феврале 1926 г., ее письмо о разрыве переписки неизвестно.

5 Из-за антигерманских настроений времени войны 1914—1918 гг. фамилия Людвига ван Бетховена, отец которого был родом из провинции Бельгии Брабанта, давала возможность называть его бельгийским композитором.

6 Цветаева не скрывала своего германофильства, оформила для издания свои дневниковые записи «О Германии» (1919) и в Петербурге в 1916 г. публично читала на вечере свое стих. «Германия». Беттина фон Арним — девочка, вступившая в переписку с Гёте, затем — автор книги «Переписка Гете с ребенком», была предметом пожизненного восхищения Цветаевой. Том этой переписки перед отъездом из России она подарила Н. А Нолле-Коган.

7 Имеется в виду публикация пяти писем Рильке к Элизабет фон Шмидт-Паули за 1917-1922 гг.: Rainer Maria Rilke. Briefe an eine Freundin (Die Neue Rundschau, 1927, № 9).

8 Цитата из письма 3 дек. 1917 (там же. С. 302). Имеется в виду книга Рильке «Сказание о любви и смерти Кристофа Рильке».

9 Из письма 4 февр. 1918 (там же. С. 303).

10 См. письмо № 404 в ответ на получение книги с надписью. Но «эпопея с Горьким» не кончилась, см. письмо к нему № 406 с коротким пересказом их осенней переписки.

11 Книга поэм с надписью была послана 20 сент. 1927.

12 Письмо Горького 4 окт. 1927 (ЛН. Т. 70. С. 296).

13 Письмо № 379.

14 Письмо №381.

15 Письмо Горького 18 окт. 1927 (ЛН. Т. 70. С. 300).

16 Письмо Горького 19 окт. 1927 (там же. С. 301).

17 Письмо № 388.

18 Письмо Горького 7 нояб. 1927 (ИОЛЯ. Т. 64, № 3,1986).

19 Письмо Горькому 16 нояб. 1927 (ЛН. Т. 70. С. 303).

20 Письмо № 395.

21 Асеев обещал написать о поэмах Цветаевой в статье и поговорить с Горьким о возможности возвращения Цветаевой в Москву (см. письмо № 392), и Цветаева надеялась на встречу с Асеевым. «Его приезд мне как весть от тебя, — писала она 19 нояб. 1927. — ...Пусть Горький... позовет меня в Сорренто, приеду, во имя тебя. Он мне расскажет о тебе и о России, для меня равнозначащих» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 437).

22 См. письмо № 401, в котором Пастернак передавал Сувчинскому и Св.-Мирскому свой «сердечнейший и напутственный порыв» и называл их «прямейшими и непосредственнейшими» друзьями.

23 ИОЛЯ. Т. 64, № 3, 1986. С. 268.

24 О «состоявшемся свидании» Сувчинского и Святополка-Мирского с Горьким Пастернаку писал С. Я. Эфрон 12 янв. 1928 (там же. С. 463).

406. А. М. ГОРЬКОМУ

7 января 1928, Москва

7.1. 28

Дорогой Алексей Максимович!

Ваше сопроводительное письмо при моем на имя Асеева было для меня неожиданностью1. Надпись на «Жизни Самгина» с советом не мудрствовать я понял, как прощальную. Оттого и в ответе моем Вы могли прочесть тихо сплоченную печаль и — примиренье. Но одно тягостное чувство, временами являвшееся у меня в эти месяцы, и Вашей надписью, как мне казалось, подкрепленное, рождается у меня и сейчас, за Вашими словами о «Двух книгах»2.

У меня все время впечатленье какой-то длящейся бестактности по отношению к Вам, которой я, того не ведая, являюсь назойливо повторяющимся предлогом. Зачем меня показывают и навязывают Вам, зачем надоедают мною? Догадываетесь ли Вы, что это не только не вызвано лично мною, но просто противно моим привычкам и всей моей природе? Особенно неуместно, что этим угощают именно Вас.

Я знаю, что Вы в моей бережности не нуждаетесь. У меня, разумеется, есть свои непоколебимые представленья о Вашей силе, охвате и историческом значеньи, о глубине и почти что вездесущности Вашей души. Но бережность в отношении Вашего времени и вниманья тем не менее никогда меня не покидала. Я только раз от нее отступил. Я должен был послать Вам «1905-й год», потому что, в идее, я писал его, как-то все время с Вами считаясь. По той же причине я должен был интересоваться Вашим отзывом о нем, о Годе. Но не обо мне. Занимать Вас собою, «талантом» и пр. никогда, никогда я не хотел и не осмелился бы, если бы даже мне свойственны были такие поползновенья. Ведь сам-то я не посылал Вам «Двух Книг» и никогда бы их не послал, потому что для обсужденья большим человеком они чересчур, и до неприличья, — личные. — Вот почему Ваши замечанья обо мне по-многому, по-разному глубоко меня конфузят. Притом я догадываюсь, что чужд Вам, что крупной покровительственной простоты у Вас ко мне быть не может, и Ваше признанье, на котором есть налет сторонней неделикатной навязанности, ставит меня перед Вами почти что в несчастное положенье. Ваш одобрительный отзыв о «Детстве Люверс» и слова Ваши о «Годе» меня осчастливили. Этого, на тему о «способностях», было с меня за глаза довольно. В дальнейшем, то есть в том, что исподволь, в Вашей близи, напоминанье обо мне продолжало работать в виде ненасытного до неприличья насоса, я не повинен, и легко себе представить, как это удручает меня.

Однако из уваженья, с которым я отношусь к любому Вашему слову, я Вашего совета не могу оставить без поясняющего воз-раженья. Осматриваюсь и вспоминаю. Мудрил ли я больше, чем мгновеньями, в молодости, случается всякому? Нет, Алексей Максимович, как ни обманчива видимость, греха этого я за собой не сознаю. Напротив того, когда ни вспомню себя в прошлом и недавно минувшем состоянии увлеченья и собранности, везде и всегда это посвящено взрыву против мудрствования в мудреном, всегда отдано прямому и поспешному овладенью мудреным, как простым.

Зато до ненавистное™ мудрена сама моя участь. Вы знаете моего отца, и распространяться мне не придется. Мне, с моим местом рожденья, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезываю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почта до неподвижное™ доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом? Ведь писали же Вы в свое время об идиотствах, допускавшихся при изъятьях церковных ценностей3, и глубоко были правы. А ведь этими изъятьями кишит наша действительность на каждом шагу, и не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окруже-ньи не казалась мне (мне самому, а не «княгине Марье Алексеевне»4) неудобной, потому что все пристрастья и

предубеждены! русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуюсь на вынужденные путы, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «доброй», но зато и проклятой же воле! О кривотолках же, воображаемых и предвидимых, дело которым так облегчено моим происхожденьем, говорить не стоит. Им подвержен всякий, кто хоть чего-нибудь в жизни добивался и достиг. Ведь и вокруг Пушкина даже ходили с вечно раскрытою грамматикой и с закрытым слухом и сердцем. А что прибавишь к такому примеру? — Нет, внешняя судьба моя незаслуженно, преувеличенно легка. Но во внутреннем самоогра-ниченьи, в причинах которого я Вам признался, может быть, и есть много такого, что можно назвать мудрствованьем. — Дорогой Алексей Максимович, простите, что вошел в такие интимности. С долей той или иной фатальное™, вероятно, живет каждый.

Вы не ошиблись в Асееве. Это человек большой сердечное™ и очень хороший5. Когда-то мы с ним были очень близки, и только в последние годы наши пути разошлись. Особенно осложнилась наша дружба благодаря пресловутому «Лефу», который мне кажется недостойною Ник. Ник-ча и Маяковского ерундой. Но может быть журнал и люди, им объединенные — выше моего пониманья. Я с этом теченьем давно порвал, и разумеется, они на меня обижены. —

Я Вам наверное давно надоел своими благодарностями, но всегда есть причина Вас благодарить. Большое спасибо Вам за высылку XIX-го тома6, он вероятно на днях придет. Алексей Максимович, если дело с переводом «Детства Люверс» осуществилось и мне будут причитаться какие-нибудь деньги, то пожалуйста пусть не переводят их сюда: у меня есть один старый долг за границей7. Простите, что пишу мелко.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: ИОЛЯ. Т. 64, № 3, 1986. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.11).

1 Письмо Горького 28 дек. 1927 (ЛН. Т. 70. С. 306).

2 Борис Пастернак. «Две книги. Стихи». М.—Л., Госиздат, 1927. Горький писал Пастернаку: «Асеев оставил мне Ваши "Две книги", прочитал их. Много изумляющего, но часто затрудняешься понять связи Ваших образов и утомляет Ваша борьба с языком, со словом. Но, разумеется, Вы — талант исключительного своеобразия» (там же).

3 Горький был председателем комиссии по защите культурных ценностей, в частности выступал против изъятия икон и ограбления церквей, что отражено в его письмах к Луначарскому. Свое отношение к антирелигиозным эксцессам во время революции он выразил также в «Несвоевременных мыслях».

4 Ставшая пословицей последняя реплика Фамусова из комедии А С. Грибоедова «Горе от ума»: «Ах, Боже мой! Что станет говорить / Княгиня Марья Алексевна!» (действие IV, явл. 15).

5 В том же письме Горький писал: «Очень понравился мне Асеев, хороший человек, и много он может сделать хорошего, кажется мне» (ЛН. Т. 70. С. 306).

6 Одновременно с письмом 28 дек. 1927 Горький послал Пастернаку XIX том своего собрания сочинений: «Воспоминания. Рассказы. Заметки». Берлин, «Книга», 1927.

7 Долгом за границей Пастернак называет намерение переслать эти деньги Цветаевой. См. письмо JSfe 413.

407. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

10 января 1928, Москва

Моя родная Марина! Приехал человек, привезший Версты. Кто же теперь привезет «После России»? И потом, по своей глупости, я некоторое время думал, что Федра

будет уже в них, в III-их1, но по последнему письму догадался, что III и готовили давно, в одно время с твоею работой над Федрой. Но так как III-и обложкою похожи и на IV-й №, то хотя я и знал, что Федры в них не будет, я это отсутствие вижу, как какую-то положительную, сине-желтую неожиданность. С Моря и Новогоднее я уже знаю и писал тебе. Скажи мне правду, Марина, бывает ли при чтеньи «меня» то, что неизменно, как действие простого закона природы охватывает при пробеге твоей страницы, лишь только ее развернешь. Как чувство элементарное и неразложимое, его трудно описать. Все вероятья за то, что мы — люди, и что людей еще пребольшое множество там — вообще — кругом. Есть какие-то загадки о душе и ее судьбе. Есть участки, куда сажают по недоразуменью, и откуда не выпускают, пока не догадаешься вдруг сойти с ума (общество, история, вечные вопросы и пр.). Есть золотые силы, называющиеся умом, сердцем, голосом слова. Есть в косматом реве природы минуты, когда она надеется на переделку всего сделанного, и в этом наплыве веры, называемом весною, хочет детей, и до того влюбляется в свою трехмесячную надежду, что влюбляет и нас. Есть минуты, когда в пространстве, которое до того занимала одна она, оплакивая раскинувшийся под ней муравейник, вдруг проносится сонм равновеликих ей Природ, о которых пишут романы. Есть все это, и есть еще более того неисчислимого, качественного, свежего, уходящего, — и обиход смотрит на все это в окно, и так привык видеть эти вещи за мутным стеклом, что возведя слабость в заслугу, начинает поучать в статьях, партиях, университетских лекциях и пр. и пр., как глядеть, чтобы видеть помутнее, и время катится, и уличные прохожие земного существованья валят на службу и все становится литературой в Верленовом смысле слова2. И вдруг — бац, оконные створки врозь, — говорит поэт, и о физическом движе-ньи его губ, точно о прерывистых рассужденьях ветра знают не только твои легкие, но и волосы и пола пиджака. За этой головою живет все, потемненное навыком мутновиденья, но только на один первый миг оно за спиной поэта, на тот миг, в который переживаешь всю поэзию как визит, как явленье. Потому что в следующую же минуту начинается чтенье и вниканье, и вся улица вселенной, поворотясь, по тексту вплывает к тебе. Эта божественная, орфеева, временно обритая голова3 вдувает тебе в глаза и во взволнованное горло вдруг по лирическому кильватеру выстроившийся мир (глотай, дависъ, реви и обмирай), точно игрушечную флотилию. Ну и конечно я ничего не сказал, сколько ни намямлил. Терпеть не могу этих вылазок в будущие разговоры с глазу на глаз. Ты — удивительна, ты — непередаваема. Я никогда не смогу тебе дать понятье о том — чтб ты в действии и выраженьи. — Когда ты пишешь о контекстах, не забывай, как я в важнейшем — твоей же вязи. Я то же самое, в основном, что ты. Но я это неизвестное в прозаическом рабстве, а ты — на прозаической свободе*.

Пробежал конечно и статью Дм<итрия> Петр<ови>ча4. Прочти дальше и сделай за меня то, что сочтешь нужным, т. е. передай или не передавай ничего, как рассудишь. Мне легко было бы ему написать в том случае, если бы несоразмерность его похвал была вещью только незаслуженной (как оно и есть на самом деле). Тогда бы я так ему и сказал: растроган и сконфужен и пр. и пр. Но дело сложнее. Вот слушай. Он вообще — умница без меры и человек глубокого пластицизма. Все его статьи всегда меня восхищали, да и в этом же номере прекрасны его Годовщины и Библиография. Он их писал сам, без всякой помехи. Статью же о «Годе» скомкал ему я. Вот как это случилось. Осенью я написал ему, что он единственный человек, чье мненье об этой черно-красной книжке станет и моим собственным, и прекратит мои колебанья в отношены* ее. Я и сейчас держусь такого взгляда на его мненье насчет этой контекстово-водопроводческой, исторической, адовой, уродливо мужской работы. Но именно эти мои слова вероятно и связали его, не в мысли, так в эмоции. Вероятно, он писал ее, боясь не додать в чувстве, т. е. все ему казалось недостаточным после моего заявленья,

которое на него действовало (и его отвлекало), как доверчиво протянутая рука. Вся статья хороша, тонка в разборе и констатациях, вся сплошь преувеличенно незаслужена, но есть четыре слова, в нестерпимое™ которых нельзя винить его, потому что в них-то и сказалась аффектация (даже и стилистическая), повод к которой подал я своею несчастаой фразой. Но во-первых, я имел в виду личное ко мне письмо от него, а не статью, что было ясно. И во-вторых, я не напрашивался на ласку, а говорил о самостоятельном мненьи математика о полуматематической работе. (Мненьем о «Сестре» или какой-нибудь иной личной внематематической вещи я так глупо и откровенно никогда не интересовался.) Эта 4 слова, как ты догадываешься, в последнем абзаце. «Великий революционер и преобразователь русской поэзии»5. Да, но в том-то и суть, что всему виной недоразуменье. Сам сказал. Этими 4-мя словами я изгадил ему статью, чего бы не было, не случись недоразуменья. Но вообще о «Верстах» (о Сувчинском и Струве)6 как нибудь в другой раз.

* На полях рядом: «И нет, нет, конечно нет: но твое женское рабство не так уродливо, как мое — мужское (гражданское и пр.). Водопроводческое».

Сережину статью обнял по братски, как младшего брата: так точно и я тянусь за проблемой, прикуривая у курящегося теоретизма7. Страшно похоже. Но это я тебе говорю. Ты же его поцелуй, не говоря от кого и почему.

Крепко обнимаю тебя, и да будет это письмо совершенным секретом. «Версты» просмотрел бегло.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 167). Датируется по почтовому штемпелю.

1 «Версты» (1927, JSfe 3) были привезены из Берлина Б. И. Збарским. Драматическая поэма «Федра» была опубликована в журн. «Современные записки», 1928, кн. 36-37, как вторая часть трилогии «Тезей».

2 Пастернак имеет в виду последнюю строку стих. П. Верлена «Art poetique» («Искусство поэзии»): «Et tout le reste est litterature» (перевод Пастернака: «Всё прочее — литература»).

3 Во время скарлатины Цветаева обрилась наголо для дезинфекции.

4 В «Верстах» (1927, JSfe 3) опубликована статья Д. П. Святополка-Мирского «"1905 год" Бориса Пастернака».

5 Святополк-Мирский писал: «"Лейтенантом Шмидтом" Пастернак, великий революционер и преобразователь Русской поэзии поворачивается ко всей старой традиции русской жертвенной революционности и дает ей то творческое завершение, которой она сама себе не в силах была дать» (там же. С. 154).

6 В № 3 «Верст» были напечатаны «Письма в Россию» П. П. Сувчинского. Упоминание имен П. П. Сувчинского и П. Б. Струве рядом, как предполагают Е. Коркина и И. Шевеленко, связано с их выступлениями в печати в защиту «евразийства», которое обвинялось в сотрудничестве с ГПУ (П. Струве. «"Разоблачения" В. Л. Бурцева и какая им цена?» // газ. «Россия», 15 окт. 1927; П. Сувчинский. «Письмо в редакцию» // газ. «Дни», 23 окт. 1927).

7 Статья С. Я. Эфрона «Социальная база русской литературы» («Версты», 1928, № 3).

408. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12—15 января 1928, Москва

12.1. 28

Дорогая Марина! Напрасно ты вдаешься в сближенья с Р<иль-ков>ским белокровьем: этим ты, как угодно отдаленно, превращаешь свою болезнь во что-то допустимое, и нельзя сказать как пугаешь меня. Знаю я эти нарывы, знаю и нравы их1. Как и сотня других вещей, мелких и громадных, вызванных войной, они могут быть

побеждены долготерпеливым недопущеньем их, и ни в какие параллели с концом Р<ильке>, — явленьем совсем иного исторического стиля, идти не могут. Не смейся над этим психологическим анализом накожной неприятности. Ты не представляешь себе, насколько эти вещи связаны с душевною тактикой по их адресу. Причинно они с нервами не связаны, а вызваны исто-щеньем. Но раз появившись, они проходят скоро или загащиваются надолго, а это и зависит уже от нервной системы, потому что управленье биологическими сроками находится конечно в этом ведомстве, и сюда поступают прошенья об отсрочке ото всех на нас паразитирующих испытаний. Надо, чтобы тут они получали отказ, — и вот почему меня огорчают твои сопоставленья. У меня бывали они под мышками и это может быть настолько же отвратительнее той формы, в какой они у тебя, насколько твои, вероятно, мучительнее. Тогда мне выписали очень хорошую мазь, которою я, после компрессов и прочего, в течение более чем года предупреждал их повторенье, — потому что это вещь очень прилип-чивая. Главной составной частью в эту микстуру входил некий thygenol, — спроси врача, не применима ли эта комбинация и в твоем случае. Потом я долго, путем постепенно увеличивавшихся перерывов отучал кожу от этой аптекарской поддержки. Прости, что так много об этом пишу и не сердись. Но ради Бога не освящай этой возмутительной вольности бактерий, принимая ее, как какой-то мыслимый факт. Пожалей себя. Ведь интуитивно ты не хуже врача разбираешься во всем, что в тебе происходит, и все эти шепоты крови до тебя доходят. Как это ни скучно, надо добиться соответствия между питаньем и расходованьем сил. Прости еще раз, я знаю, как иногда это трудно.

Зачем ты говоришь, что я стал забывать тебя? — В том, что мои письма стали мало говорить обо мне, есть закономерность, коренящаяся во множестве случайностей этого года, но то или иное качество моих писем, само по себе, такой пустяк, что это меня не пугает. Так, недавно мне вместо простой сердечной волны в твою сторону, что протерло бы глаза и мне, пришлось измучить тебя утомительнейшим отчетом о Соррентийской путанице2, и если ты получила этот отчет, то наверное он удручил тебя еще больше приписки в Асином письме. Не хочу каламбурить насчет засоренъя слуха и вниманья: какое-то чувство говорит мне, что эти производные от Сорренто слова идут ко мне в твоем ответном письме, которого я еще не получил. Но может быть я обманываюсь.

15 января

А сейчас пришло твое письмо со столбцом фамилий и боязнью, что эти контексты нас рассорАт*. Ты видишь, даже по линии каламбурного словопроизводства мысль у меня идет по противоположному направленно. Я просто забыл, что от Сорренто можно произвесть твой глагол с его угрожающе-двойственным ударе-ньем: мне мыслилось только здсоренье, т. е. преодолимая, требующая разбора и уборки тягостность. Но ведь всю ее целиком я беру всегда на себя. И если я говорю о докучности моего длинного письма (ты его еще не получила), то ведь это не тебе я по своей воле докучаю, а только вынужден допустить случай, где ты меня увидишь за всеми этими дрязгами. Т. е. мне больно, что я тебя низвел до такого зрелища и чтенья. Если бы ты не была для меня Мариной, я бы просто не мог всю эту путаницу взять на себя: не смел бы и не снес. В значенье же глагола «быть Мариной» я входить не хочу, ты должна знать его смысл. — У меня горячая, огромная, безбрежная просьба к С. Я. Если бы подвернулась возможность воспользоваться на месте, практически «Годом», то эта вещь его полная и личная собственность. Я ничего об этом не буду знать4. Тогда только надо будет анапест собрать в четверостишья5, Шмидт же останется в неизменности. Я написал бы С. Я. об этом, но по некоторым причинам на эту тему можно только промямлить вскользь и лишь на полях. Возможность или мыслимость применены! допускаю,

потому что был прецедент с «Птицеловом»6; и если это неосуществимая чепуха, то пусть он простит меня за просьбу и предположена.

Читай исподволь себя, когда забываешь, кто ты мне. Это тебе всегда забытое напомнит.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 167).

1 В ответ на письмо Цветаевой 30 дек. 1927: «...Подумай, Борис, моя чудная чистая голова, семижды бритая, две луны отраставшая — пушистая, приятная и т. д. — и вдруг — нарыв за нарывом, живого места нет. Терпела 2 с лишним недели, ходила в кротости Иова, но в конце концов стало невтерпеж, — 10 или 12 очагов сгуст<ившейся> боли. Лечебница на краю света, ехала, одним Парижем, час, ждала два <...> Причина 1) трупный яд, которым заражена вся Франция (2 миллиона трупов) 2) малокровие, еще гнуснее и точнее: худосочие». Письмо Цветаевой написано в годовщину смерти Рильке, что вызвало «перекличку» с его смертью: «умер ведь пожранный белыми шариками» (там же. С. 445-446).

2 Имеется в виду письмо N° 405 с отчетом о переписке с Горьким осенью 1927 г.

3 Неизвестно, о чем идет речь в письме Цветаевой.

4 Скрытое намерение дать С. Эфрону возможность перепечатать обе поэмы в каком-нибудь издании, чтобы денежно поддержать Цветаеву.

После перепечатки глав поэмы в «Верстах» у Пастернака были неприятности, отсюда нежелание обсуждать вопрос о передаче прав в переписке, подвергающейся перлюстрации.

5 Четверостишиями были напечатаны в «Верстах» (1926, № 1) две главы из поэмы «Девятьсот пятый год», в московском издании они разбиты на короткие интонационные строчки.

6 О владельце изд-ва «Птицелов» см. в коммент. 6 к письму № 365. По-видимому, в ответ на просьбу Кобякова Пастернак выслал ему какие-то материалы.

409. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

19 января 1928у Москва

19.1. 28

Золотой мой папочка! Так как Жени в день приезда Пепы не было в Москве (она была в санатории под Москвою, и только сегодня вернется домой), то весь транспорт предметов, т. е. всю их партию я до ее приезда в нетронутом и неразобранном виде поставил в сохранное место, и это удовольствие разбора нам всем еще предстоит. Но благодаря этому я отступил от обычая и не написал тебе тотчас обо всем, рассказанном Пепою, или, вернее, о чувствах, которые вызвал этот рассказ. Прежде всего он в эту поездку нашел вас обоих особенно бодрыми и моложавыми, и это и в особенности то, что мамочка est encore verte*, обрадовало меня не сказать как. Потом он рассказал, как ты ему назначал встречи в ресторане, как ездили вы на выставку и много-много интересного и радостного о самой выставке, об успехе, о продаже вещей, о предполагающемся перевозе выставки в другие города. Так же до слез растрогали твои расспросы о Шуре и твоя готовность помочь ему полечиться (Кавказ и пр.). В скобках. — Единственный Кавказ, конечно, для него (субъективно) на Motzstrasse", и любую географическую и объективно ему нужную драгоценность, вроде Кисловодска и Ессентуков, он заложит или продаст татарину, ради свиданья с вами, Untergrundbahn'oM*** и пр. и пр.

Когда же он рассказал, как в последнюю минуту Фрося вспомнила о Женином списке1 и как ты сам полетел добывать эту полупудовую путаницу и докуку, тут уже моей восхищенной растроганности и удивленью не стало границ, и никогда ничем я тебе не опи-

* еще свежая (#.)•

** Берлинский адрес родителей.

*** Берлинское метро.

шу этого чувства и ничем равным не в силах буду ответить. Главное же, что сверх конфуза, в который приводит твое великодушье, это еще и потрясает радостью: в такой немедленной готовности нельзя не увидеть тебя въяве и воочию: молодым, порывисто-отзывчивым, с седой прядью, выбивающеюся из-под шляпы, на звонкой немецкой панели. Дай Бог, всегда тебе так покупать эти краски для Жени!

Как это бывает (всё — сразу), столкнулся я на днях и с Ан<ато-лием> Вас<ильевичем>2. Он с подчеркнутым энтузиазмом отзывался о тебе, о твоей свежести, о чудесной старости, которой можно пожелать всякому, о жизнерадостности стен, увешанных и записанных тобою, в особенном восхищеньи он от твоих каких-то роз.

— В том, что статья умнейшего и утонченнейшего Святопол-ка не свободна от некоторых смешных несообразностей, виноват не автор, а одно мое осеннее письмо к нему, после английской статьи, в котором, того не ведая, я его связал эмоционально. Посылая ему «1905», я ему написал, что его мненье о работе станет моим собственным, полагая, что он мне ответит частным письмом, и тем, после такого доверья, свободнее. А эта распахнутость толкнула его на гиперболы, т. е. он повел себя со мной, как с навязывающейся и отдающейся женщиной. Это меня огорчает не за себя, конечно, а за него. «Великий революционер и преобразователь»?!3

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1В письме 5 дек. 1927 упоминается о поручении Ефросинье Ивановне Саломон, которая вместе с мужем сопровождала Б. И. Збарского в Берлин, купить краски для Е. В. Пастернак, «так как здешние никуда не годятся» (там же. Кн. I. С. 157).

2 А. В. Луначарский вернулся из Берлина, где был на выставке Л. О. Пастернака. См. письмо № 397, в котором Пастернак выражал сомнение в том, «чтобы Ан. Вас. что-нибудь мне передал, хотя бы тот живой привет, о котором говорит папа в приписке».

3 Цитата из статьи Д. П. Святополка-Мирского о «Девятьсот пятом годе» («Версты», 1927, № 3). См. письмо № 407 и коммент. 5 к нему.

410. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

23 января 1928, Москва

23.1. 28

Дорогой мой! Ты меня страшно взволновал с сегодняшнего утра, и весь день у меня работа из рук валится и ни за что не могу приняться. Прежде всего объем твоего нынешнего письма (главным образом, — Шуре, но с припиской и нам). Потом — сила чувства и вездесущей заботливости, не ослабевающая на протяжении этих восьми страниц! Наконец, то настроенье, которое сопровождает, главным образом, твой рассказ о выставке, и которое в двух-трех строках сказалось и прямо. Неужели ты не знаешь, что я всегда с вами и иногда, в особенности, — с тобой? Получил ли ты мою открытку в ответ на вырезки? Прости, что я был так лаконичен, но я думал, что за этим лаконизмом мои чувства все-таки дойдут до тебя.

Эти твои месяцы во всей их нервной вещественности и во всем их широком, знаменательнейшем красноречьи я переживаю сильнее, чем когда бы то ни было переживал что-либо свое. Ах, как жалко, что ты этого не знаешь!! Но не от этой разминки сердец дрожал у меня голос за твоим письмом, не от жалости, что ты не видал и не видишь моего восторга, а от той бездны душевного на-пряженья, которая в нем излита по всем адресам и предметам. Умоляю тебя, не пиши больших писем — дикое по матерьялизму суеверье преследует меня за ними. Мне всегда кажется, что

часть души и крови отдается с ними, и внутри остается вырез, как в круге сыра, и не затягивается.

— Женя тоже написала Лидочке и просила, чтобы написал и я. Я начал и не мог1. Ведь причины далеки и глубоки, и нет лиц, к которым бы можно было обратиться с советом об их устраненьи. Как и Жонина болезнь, так и Лидины перспективы восходят, ведь, к одному корню. Где те новые люди, которые вошли в их собственный кругозор после тех, которых они привыкли видеть в твоем? Где их личный круг, хоть сколько-нибудь соизмеримый с кругом, который был свойственен дому? Но виноваты ли они? Или ты и мама? Ах, ведь, это все в порядке вещей и никто тут ничего не может поделать. Мог ли ты, сверх всех уступок, которые ты делал в ущерб своим силам — вечным побужденьям простой сердечности, еще и бороться с тем безмолвным демоном отшельничества, который с трудом художника нерасторжим? Я не говорю, что ты не принимал и не ходил в гости. Напротив того: делами и поведеньем ты был человечнее и общительнее, чем мог. Но тяги к одиночеству, его предпочтительности ты бы не мог скрыть, как бы ни старался. И виноват ли ты, что это всегда висло в воздухе и что дети заражены этой болезнью, лучеиспускаемой самим художественным трудом? Ну что же ты мог или должен был сделать? Жить на стороне? Чтобы твоя склонность не заражала дома? Чтобы девочки никогда этой олифы не слышали и ею не пропитались? Но, ведь, именно забота о семье заставила тебя поступиться этим сокровищем полной принадлежности себе! И ты еще виноват, что последнее: ее дух, ее запах, разделил с домашними, и они на нем, себе на горе, воспитались? Нет, все начала, все основанья были прекрасны, и не о чем тебе тужить. Крепко тебя обнимаю и за все благодарю.

Женя просит передать, чтобы ты не удивлялся, что во всех вкусах и взглядах она сходится с тобой. Они тут попрекают меня молчаньем на Лидочкину тему и говорят, что больше всего я озабочен своим спокойствием и будто бы бессердечен. Ах, как я завидую их сердечности и вообще всей их жизни, ни в чем никак не похожей на мою. Это мое «обыкновенничанье», это ж такое лице-мерье!! И ты не знаешь, как я от него устал!

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

10 возможном браке Лидии и Эрнста Розенфельда, племянника друзей Пастернаков. Письмо к Лидии было написано только 15 февр. 1928. «Обоснованных до конца шагов на свете не бывает. Всякий новый — всегда рискован, — писал Пастернак сестре. — Всего лучше и живее те поступки, оправданье которых — впереди. Пережитые доводы и аргументы выкачивают чувство до остатка, жизнь не силлогизм, выводов и следствий не ждет и своего заряда до них никогда не дотягивает. <...> Решай сама, не обсуждай, вот, что хотелось мне сказать тебе. Решай легко: выходи замуж за Эрнста на Рейне или близ Базеля, но не вообще, но не в сознаньи последней решенное™. <...> И еще, почему сейчас нельзя слушать житейских советов живых людей, состоит в том, что вся наша эпоха — один неудачный брак, огромный и всепоглощающий, и эта трагедия становится комедией, когда с ее сцены раздаются сужденья о счастьи, делаются пред-положенья о нем или даются его рецепты. Сейчас, дорогая, такое время, что слушать кроме радио или Бальзаков и Толстых — некого. Потому что те, которые поддержат когда-нибудь речевую связь и перекинут осмысленный мост от последних счастливцев к первым счастливцам нового ряда, живут в страшной скромности, с советами не лезут, счастья в этом овраге не ждут и, проникшись логикой несчастья, только за то и любят время, что с трудом его постепенно очеловечивают, научась его понимать. Надо видеть трущобу, из которой идут Шурины заветы и сужденья о счастьи. Надо видеть «радостную» внутреннюю жизнь Жени, в соседстве с моим постоянным молчаньем годами, чтобы тоже поверить в ее компетенцию. Надо учесть «блистательность» душевного баланса у Феди или —

биографического — у папы, чтоб тоже сразу сказать — вот профессора истинного эйдаймонизма. Ты скажешь, «а ты сам, Боря?» Да, но я-то не обманываюсь на свой счет, и я молчу. — Я думаю, что Эрнст человек самостоятельного ума и независимых убеждений. Он легок, за ним не тянутся хвостом предрассудки среды и семьи. Думаю, что учившись и раньше у жизни, он и в дальнейшем не будет упускать ее уроков, если таковые представятся. А это из дорог самая интересная и живая» (там же. Кн. I. С. 176-177).

411. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

14—18 февраля 1928, Москва

14. II. 28. Дорогой папа! У меня есть три вырезки: из 8 Uhr Abend Blatt, из Berliner Tageblatt, и из Vossische Zeitung1. Пришли еще, если есть среди других стоющие и интересные. Также пришли, если можешь, фотографии наилучших и наиважнейших вещей (портрет Коринта, Гарнака, Эйнштейна и других). Теперь речь не о графике2, а о лучших из новых, здесь не известных вещей, и более всего отмеченных художественной критикой. Расширенную, типа статьи, информацию даст журнал «Красная нива», и вот были бы очень желательны фотографии. Написать ее собирается Яков Захарович Черняк, один из моих ближайших друзей, если помнишь, тот именно, у которого я, офортированный с «Поздрав-ленья»3. Он скорее литературовед, но человек очень образованный и одаренный, ученик Гершензона. Если моя просьба имеет смысл, то посылай поменьше евреев, так как с меня довольно и тех двух, которыми судьба выпустила меня с тобою. Кроме того остается в силе предположенье относительно «Печати и революции», но тогда потребуется статья из Берлина и на тему о графике по преимуществу. Я страшно бы хотел тебя видеть, в особенности сейчас, т. е. вообще попасть к вам. —

В сильнейшем противоречьи с моей просьбой окажется то, что я сейчас тебе скажу. Вчера я прочел «Закат», пьесу Бабеля, и еврейство, как этнический факт, стало для меня чуть ли не впервые в жизни явленьем положительной и непроблематической важности и силы. Вряд ли, впрочем, это изменит мою судьбу, потому что она складывается не под влияньем отдельных впечатлений. Я бы хотел, чтобы ты прочел эту замечательную вещь, но в номере, где она помещена, имеется большая статья, обо мне4, и если я ее вырежу, ты, увидав, чтб вырезано по оглавленью, обидишься, а купить сейчас другой номер не могу, мы опять понемногу влезаем в долги, но эта заминка временная, которая ничуть меня не пугает. Письмо это лежит четвертый день, а теперь-то вас и с Жонич-киным рожденьем поздравить поздно. Передайте ей все же, что я ни на минуту не забываю о ней и от всей души ей желаю выздоровленья и полной и здоровой душевной инициативы над домом и окруженьем5, т. е. вами, без чего ее исцеленья не мыслю, потому что ее болезнь только объясняю себе слишком далеко зашедшим смещеньем каких-то личных, центральных точек, на которых держится жизнь. Я оттого и не пишу ей, что все это слишком по-живому серьезно, или лучше сказать: оттого, что все это так болезненно по той толстой путанице, которая растет с каждым новым советом и с которой, может быть, могло в счастливую минуту пониманья справиться личное присутствие, но никак не письмо, осужденное только эту путаницу множить.

Изо всех наших меньше всего по вашим письмам понимаю, что с ней, собственно, делается, я, потому что «нервы», «немного лучше», «слава, слава Богу» ничего решительно не говорит мне. Но я и не прошу вас назвать мне ее болезнь, потому что все равно, будь вы даже медиками, вы мне вместо болезни назовете какое-нибудь естественное заблужденье. Не пойми и меня превратно. В таких случаях переписка бессильна и нелепа, вот что я хочу сказать.

Обнимаю тебя и маму и верю, что Жоня сама с собой справится. Замечательно, что все наиболее безвольные в житейской носке люди, по характеру — самого волевого покроя. Тут страшная задача: связать сильно расходящиеся: замысел и осуществленье.

Через мои руки с января прошло 12 отзывов обо мне, из которых 4 — большие статьи и среди которых вырезка из «Правды», наименьшая по размеру6.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Вырезки из немецких газет с отзывами о выставке Л. О. Пастернака в Берлине. Желая удовлетворить просьбу отца, Б. Пастернак просит о репродукциях его работ для заметки в московских журналах. «Если тебе хочется, чтоб тут были заметки, и если ты позволишь мне, я пошел бы с тремя посланными тобою вырезками к Тугендхольду, очень просто, очень прямо и очень наперед возмущенно, или послал их при письме Луначарскому, или наконец в самые редакции. Твою или какую-либо нашу обработку матерьяла давать неудобно. Так же нельзя требовать от художественных критиков пространных статей, потому что они их пишут о виденном, а не с пересказа. Т. е. тут может быть лишь та передача успеха и исключительности выставки, как факта, которая дается в заметке» (3 февр. 1928; там же. Кн. I. С. 169).

Я. А Тугендхольд заведовал худож. отделом журн. «Красная нива». Год тому назад он просил Л. О. Пастернака предоставить для журнала рисунок на тему «Берлин ночью», но это намерение не было осуществлено.

2 Первым шагом в этом направлении было помещение заметки о выставке в хронику журн. «Печать и революция». «Там охотно бы поместили и статью о выставке, по части графической, т. е. о новых рисунках (в этом журнале, — книжно-библиографическом, изобразительными искусствами интересуются с этой, графической стороны), если бы кто-нибудь эту статью написал оттуда, из Берлина, и присоединил снимки», — писал Пастернак отцу 13 февр. 1928 (там же. С. 170).

3 Имеется в виду офорт портрета Б. Пастернака, сделанный отцом с наброска к картине «Поздравление» в 1924 г. Один из присланных из Берлина оттисков Пастернак подарил Я. 3. Черняку.

4 Статья И. Поступальского «Борис Пастернак» («Новый мир», 1928, №2).

5 Речь идет о нервном заболевании Ж. Л. Пастернак, срочно вызвавшей родителей к себе в Мюнхен. «Всем этим я порядком напуган, и очень прошу держать меня в известности относительно Жони, хотя бы открытками», — писал Пастернак 27—28 дек. 1927 (там же. С. 161).

6 Приводим некоторые из них: Б. Бухштаб. «Поэзия Пастернака» («Красная газета», 10 февр. 1928); И. Н. Розанов. «Маяковский и Пастернак» («Родной язык в школе», 1927, кн. 5); Д. Горбов. «Литературный год» (Литература, искусство, культура. Прилож. к «Учительской газ.», 1928, JSfe 1); И. Оксенов. «Борис Пастернак» («Жизнь искусства», 1928, JSfe 4); рецензия А. Лежнева («Правда», 28 дек. 1927).

412. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

Февраль 1928, Москва

Мой дорогой друг! Ты не сделаешь ошибки, если в промежутки, когда я тебе не пишу или пишу мало, станешь просто жалеть меня. Это всегда бывает вызвано незадачами, неприятностями или чем-нибудь в этом роде. Я не люблю слова неврастеник и верю в свое душевное здоровье. Но всякий пустяк, особенно же проявленье глухой враждебности, идущее откуда-нибудь издалека, датированное каким-нибудь 24-м годом, когда меня тут стерли в порошок и довели до решенья «бросить литературу», и вдруг доходящее до меня случайно в 28-м — омрачает меня на недели. Какой-нибудь услужливый «темный» друг докладывает тебе какое-нибудь четверостишье Ив<ана> Приблудного, в те времена возникшее и по странности оставшееся тебе неизвестным. Оно невинно, там только говорится о том, что ты

бездарен, как пара сапог. И хотя ты прекрасно знаешь цену этому авторитету, а также и то, как и зачем это сказано, но эти чуждо-значащие в чужом и малозначительном голосе слова так напоминают (номинально) твой собственный ужас перед твоим нынешним вынужденно двойным существованьем, что, получив другой смысл, становятся твоей собственностью, аккомпанементом к твоей работе.

Обыкновенно эти мелочи повседневности ложатся на почву, подготовленную действительной, объективной неприятностью. Я не знаю, достаточно ли ты знаешь и умеешь ли живо это вообразить, что я тут существую совершенно depayse*, что сердцем и будущим я абсолютно вне всего того, что могло бы быть моим кругом, моими радостями и пр., что письма, приходящие ко мне из далеких углов России, я пробегаю условно, как далекий секретарь моего горячего и наполовину находящегося у тебя одиночества, что о себе читаю статьи и рецензии как о чужом, что интересы свои блюду как интересы человека, который мне поможет матерьяль-но тебя увидеть? Я бы не хотел, чтобы ты себе это представляла романтически, как только чувство разлуки, как чувство, которое может усиливаться и ослабевать, потому что то, о чем я говорю, гораздо шире, грубее и постояннее такого представленья, и если бы существовала фотография нравственных состояний, мою душевную ожесточенность можно было бы сфотографировать в любой момент, меня о наводке объектива не предупреждая. Иначе говоря, мне за границу на год на два надо, как никому. Ты знаешь, что я один не поеду, и представляешь вероятно себе, как это трудно втроем. У меня на этот, денежный так сказать, счет было два плана, и вот, один из них рухнул на днях. Относительно второго у меня нет еще ответа, но мало веры уже и в него. Тогда мне останется выгонять требуемое прямо из-под пера, т. е. сколачивать теми самыми недописанными прозами о Рильке, «Спекторскими» и прочим, т. е. всем тем, что по своей медленности до сих пор не поспевало и за нуждами дня. Я боюсь панического чувства скоротечности времени, перед которым вероятно вскоре стану. А за ним все у меня обыкновенно и вовсе выпадает из рук. Между тем твои письма вибрируют и колеблятся, подымаются и опускаются, как все в жизни. Они живут и бывают двух родов. Одни из них прочитываешь, как то, что сообщает тебе безусловно и категорически дорогой человек: в них все ценно своим источником. Другие действуют почти анатомической близостью своего строя: написанное говорит о пишущем больше, чем он о том ведает. Таково, из двух твоих последних писем — первое, где о читке Федры, о Сувч<инском> и его рассказе о Г<орьком>, о Т<омашевско>м1 и пр. В этом письме столько тебя невольной, реальной и живой, и твоя естественность так близка, что точно испытав твое присутствие, я как в тумане пошел после него к Асе, чтобы попеть о тебе, но не застал ее дома.

Высылаю тебе № Печати и Революции, где статья об эмигрантской литературе, и о тебе и о Верстах. Но ведь у тебя нет мери-

* выбитым из колеи, букв.: переселенным в другую страну, лишенным страны (фр.).

ла, чтобы оценить даже и такой тон! А как мне дать его в письме тебе? Горбов еще и партийный к тому же2. Оцени и насладись.

Попроси прощенья у С, что не пишу ему. Мне грустно, потому что поездка пока что пошла прахом.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 168).

1В Париже в январе 1928 г. были Борис Викторович Томашевский со своей женой Раисой Романовной. В наброске письма Цветаевой 1 февр. 1928 — краткое упоминание о разговоре с ним: «Из-за тебя я в первый раз выслушала 1 У2-часовой доклад о формальном методе, из которого впервые узнала об Опоязе и несбывшемся каком-то

Емельке (М. Л. К.), несколько хороших мыслей Шкловского (наследие по линии дядя — племянник: из которого след<овало> что Пушкин наследник не Державина. Я: А кого же? — Не исследовано. Сложный узел и т. д. — "А может быть негрской крови?" — Он не был негром, а эфиопом)» (там же. С. 466). Опояз и М. Л. К. («эмэлька») — Общество изучения поэтического языка и Московский лингвистический кружок—две близкие по направлению формальные школы литературоведения.

2 Д. А Горбов. «10 лет литературы за рубежом» («Печать и революция», 1927, № 8). В статье подробно разбираются сб. «Версты» и поэзия Цветаевой, «Поэма Горы», «Фортуна», «Крысолов». Тон статьи сдержанный, лишенный резких выражений, свойственных советской печати в отношении эмиграции.

413. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

25 февраля 1928, Москва

25. П. 28

Дорогая моя! Уже затомашились и томашатся. Я их не видел, они верно прямо проехали в Ленинград. Он пишет то открыточку, то — тем же бисером, — сопроводительный бланк при посылке1. Ее не принесли на дом, я пойду сейчас за ней, и так как буду на самой почте, то, обижая тебя и то, что из рук твоих, пишу тебе до полученья и разворота. Благодарю тебя. Твои подарки, как камни по мелководью, как мостки: ты заставляешь эту давнюю воздушную версту (Die Antenne spricht zu der Antenne*) жить в материи. Итак о Т<омашевском>. Я его не знаю. Кажется я был однажды, до 22 г. на каком-то его докладе, и набросился на него, и никто меня не понял. Я смеялся над вечной «научностью» словесников, которая мне кажется немужественной, нелепой. Я говорил, что

* антенна говорит антенне (нем.).

описательные науки возможны лишь тогда, когда они подхватывают описанье, начатое самим объектом их изученья. Так, ботаник продолжает курс, который в своем росте и цвете и самохарактеристике описывает растенье. Яблоню можно описать только потому, что раньше нас она сама себя описывает. Это вечный парадокс биологических наук, я его однажды подсмотрел на психологии, тоже — «наука» рабски и грамотно записывающая свободные и безграмотные слова пациентки. «Научность» же формалистов, по крайней мере в той стадии, в какой она тогда была, заключается в совершенном нигилизме метода и предмета. Они собезьянили у точной науки ее деловой цинизм, и думают впасть ей в тон, приводя к нулю предмет своего исследованья. Вообще формализм есть метод ничегонеговоренья ниочем. По счастью его теперь и не существует. Все они стали теперь честнейшими историками литературы, с большими подчас знаньями, с чем их и можно поздравить. Что до Т<омашевского>, то я его плохо помню, мы грызлись, я его обидел, и сейчас я не столько равнодушен к нему, сколько свой интерес к нему хотел бы отложить до после-смерти. Она написала мне письмо о тебе2. На него я ей отвечаю посылкой 1905-го с надписью: «Р. Р. Т<омашевск>ой, в знак благодарности и на память о ее знакомстве с моим лучшим другом и любимейшим поэтом». Благодарю ее за привоз и пересылку. В итоге же ее письма* — следующее. Разумеется, ты не была бы собой, если бы поступила по-иному, и вообще может быть мой упрек не имеет смысла и противоречит себе. Но чего-то мне все-таки жаль. Зачем она знает о твоем «исключительном интересе» ко мне3, и знанья ее так односторонни (если уже допущены), что я их спешу пополнить и поправить в надписи? Отчего ты говорила о себе? Почему ты не сказала ей: «он любит меня как свет небесный, и если, Р. Р., Вы этого не знаете, то у Вас нет литературных познаний, в настоящее время необходимых». Зачем ты вообще говорила с ней? Я ее не видал, и может быть, в своих словах покаюсь. Я знаю, иногда в одиночестве трудно носить эту постоянную преданность, но ведь ты счастливее меня:

раньше я тебя носил в Леф или к Асееву, — но ведь я с ними больше не вижусь; тогда как у тебя под боком родной человек (С), который, по сравненью со всеми очевидчествами Т<омашевски>х, — вчера от меня, и твое разлетающееся одиночество поддержит трезвым разделом. Как бы мне хотелось, чтобы это живо коснулось Жени когда-нибудь. Когда я осенью был в Петербурге, она в мое отсутствие прочла «Поэму Конца» и поразилась ее силе. Я тебя попрошу когда-нибудь об этом, то есть о письме к ней или еще о чем-нибудь. Кстати, не знаю, к чему эта Т<омашевская> вздумала посылать тебе вырезку4. В ней нет ничего дурного, и все может быть, правильно, но она очень случайна и в своей отдельности не имеет смысла. За этот месяц до меня, случаями, дошло 9 таких заметок и рецензий и 3 больших статьи5. Из них меня больше всего растрогала статья И. Розанова в периодическом сборнике «Родной язык в школе» своей живостью, непосредственностью, биографическим правдо-подобьем и пр.6 И хорошей, благородной наивностью среднего, одинокого человека, беззаветно любящего поэзию и до последней простоты знающего ее. Вдруг бытовой русский книголюб, на которого старается Х<одасеви>ч, возвысил свой голос. Между прочим ты помнишь, что Поэму Конца я получил не от тебя? Ну, так вот, пришла она в списке из тех вод, где водится этот Румянцевс-кий отшельник, если и не прямо от него. Твое предложенье о подписке невыполнимо: пересылать отсюда деньги нет никакой возможности, я это в поездку Асеева до конца проверил. Но то, что ты сообщаешь о задержке книги просто ужасно7 и меня как громом поразило. Надо найти какой-нибудь выход. Не может ли С. или ты занять где-нибудь денег месяца на два? Дело в том, что вся моя эпопея с Г<орьким> началась с его сообщенья о переводе Детства Люверс на англ<ийский> и ее предполагающемся выходе весною в Америке. Я тогда же понял, что авторские поступят С, но, доведено ли Г<орьки>м это дело до конца, когда будут деньги и сколько их будет, пока не знаю. Я заикнулся ему об этом в последнем письме, и попросил, чтобы мне никаких денег сюда не переводили, если они будут, так как у меня есть за границей долги. Но пока ни слуху ни духу. Я напишу Закревской.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 168).

1 Речь идет о Томашевских, которые, проехав Москву, посылали письма, открытки и посылки уже из Ленинграда.

2 Письмо Томашевской Пастернак переслал Цветаевой (там же. С. 675).

3 Из письма Р. Р. Томашевской: «Я была одновременно с Б. В. Тома-шевским (моим мужем) в Париже, видела М. И. и поняла, как она дорожит всем тем, что отдаленным образом касается Вас, как Поэта и человека. <...> Ее радует Ваша поэтическая слава и беспокоит Ваша внешняя жизнь. <...> — Забота и интерес к Вам у М. И. необычайный. Всё это — в связи со всей внутренней структурой ее — носит трогательный характер. Она жаждет Ваших новых стихов, следит за критикой» (22 февр. 1928; там же).

4 Томашевская пишет, что послала Цветаевой рецензию Б. Бухштаба «Лирика Пастернака» из «Красной газеты» (10 февр. 1928).

5 Статьи и отзывы о Пастернаке в печати. См. коммент. 6 к письму №411.

6 Библиограф Румянцевской библиотеки И. Н. Розанов в статье «Маяковский и Пастернак» давал последовательный разбор стихотворных книг Пастернака («Родной язык в школе», 1927, кн. 5).

7 Речь идет о задержке из-за материальных трудностей выхода книги «После России», для чего потребовалась рассылка «повесток» с подпиской на книгу и предварительной ее оплатой. В невозможности посылки денег из России Пастернак убедился, пытаясь выполнить просьбу Асеева, путешествовавшего по Италии.

414. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

28 февраля 1928, Москва

28/II

Моя родная! Что скрывать от тебя временами все то, что ты знаешь с избытком обо мне, а не о себе? Ведь ты знаешь, как ты любима? Но для меня и С. и Женя — и дети — и друзья — в нем, в этом чувстве, а не вне его. Ты не представляешь себе, как много оно подымает. И как раз от того, что это не частность, и не перегретый аффект, его иногда можно не узнать за теми формами, которые оно принимает, когда вмешивается в жизнь. Она не потеряет, и ни одно из ее прав не будет ущерблено, если даст себя подчинить его дыханью. Дай я что-то тебе расскажу. Здесь стала выходить газета «Читатель и Писатель». Опрашивали кто чем занят, что готовит и пр. и пр. Мне захотелось звякнуть тобой и Рильке в ответ, но не как делом моего сердца, не как точкой моего фанатизма (потому что это и не так), а с объективным спокойствием, как здравым и для всех обязательным фактом, всеми разделяемым. Представь, поместили, и даже, вчера узнал, в Prager Presse почему-то перепечатали, где вдруг (в Праге!) сошлись втроем: известие о Р<ильке> и его смерти, Поэма Конца и мой долг вам обоим1. Но это надоело уже тебе, на советской же странице было заявлено впервые. Поместили с почти трогательной оговоркой от редакции, что хотя она на «все это» смотрит иначе (на что?), но дескать слова Б. П. так искренни, так искренни, что их нельзя не помещать2. К чему же я это тебе рассказываю? Вот зачем. Представь, за тебя обиделся близкий мне человек, братний шурин, Н. Н. Вильям, — я тебе о нем однажды писал. Он как-то написал о тебе статью для Р<усского> Современника, — вернули3. В этом году он написал по заказу «Красной Нови» обо мне (умнейшая и преполезнейшая для молодых статья, где не похвалы, а дело и пр.), — и с тем же успехом: за слово «апперцепция» вернули и за то, что не отдал должного моему «общественному сдвигу». Так вот, в этом моем упоминаньи о тебе его обидело, что я назвал с тобою рядом Маяковского и Есенина. Вот эта фраза. «В те же приблизительно дни мне попалась в руки "Поэма Конца" Марины Цветаевой, лирическое произведение редкой глубины и силы, замечательнейшее со времени "Человека" Маяковского и Есенинского "Пугачева"». Не надо было этого говорить. «Но я же не для вас это писал, Количка!» — «Все равно, вы, Б. Л., так не думаете, вы знаете цену каждому в отдельности, вы унизили М. И., М. И. вас за это не поблагодарит». Вот видишь ли, мне вместо водворенья тебя здесь, надо было бы сослать тебя на св. Елену, и рассорив со всеми здешними силами, афишировать свое неразделимое ни с кем поклоненье тебе (да его бы и не поместили!).

Родной мой друг, биографическая проза движется до чрезвычайности медленно. Она тебя разочарует. Матерьяльная необходимость заставила меня отдать в «Звезду» небольшое и до смешного незначительное начало4. Оно мало говорит о дальнейшем. Может быть я его тебе пошлю, но так: через С<ере>жу или С<ув-чин>ского. Позволь через второго. Понятен ли тебе такой обход? Мне хочется на пути к тебе забрать побольше общей родственности в дорогих лицах. Ну не сводник ли я? — А может быть то же чувство толкало тебя к Т<омашевской>? Но то Т., а то — С, — разница. Крепко обнимаю тебя и без конца целую.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 167).

1В раду ответов на анкету «Советские писатели о писателях и читателях» в еженедельнике «Читатель и писатель» (1928, № 4-5) опубликована заметка Пастернака, посвященная событиям весны 1926 г., когда он узнал, что его читал Рильке, и получил «Поэму Конца», «лирическое произведение редкой глубины и силы, замечательнейшее со времени "Человека" Маяковского и есенинского "Пугачева". Оба эти факта обладали такой сосредоточенной силой, что без них я не довел бы работы над

"Девятьсот пятым годом" до конца. Я обещал себе по окончании "Лейтенанта Шмидта" свидание с немецким поэтом, и это подстегивало и всё время поддерживало меня».

2 «Оговорка от редакции» относилась к словам Пастернака «о читателе»: «Я ничего не хочу от него и многого ему желаю. Высокомерный эгоизм, лежащий в основе писательского обращения к "аудитории", мне чужд и недоступен. По прирожденной золотой способности читатель сам всегда понимает, что в книге делается с вещами, людьми и самим автором» (там же).

3 См. письма № 224, 228.

4 Первая часть «Охранной грамоты» была отдана в журн. «Звезда», опубликована в № 8, 1929.

415. П. Д. ЭТТИНГЕРУ

1 марта 1928, Москва

Дорогой Павел Давидович!

Вы меня прямо атакуете любезностями и мне за ними не поспеть. Не знаю просто, как благодарить Вас. Между прочим Ваше примечанье относительно Рильке в конце не совсем правильно1, я Вам при свиданьи расскажу, как все это произошло, но по сравненью с фактом Вашего вниманья это решительнейшие пустяки, о которых и заикаться-то не надо. Вообще Вы меня совершенно переконфузили, а знакомство с Вашим Броневским2 воображается мне что ли так. Если судьба мне будет собраться за границу, я через Вас узнаю его адрес, телаграммой запрошу, не придет ли он на вокзал, условлюсь о примете, по которой бы он узнал меня, обращусь к нему, как и ко всем на польской территории, по-французски, он меня прервет на родном языке и дальше все пойдет как по маслу, за тем единственным изъятьем, что ничему этому не бывать, потому что я работой подтачиваю заработок, а не повышаю его, и чем дальше, тем больше отдаляю себя от перечисленных перспектив. Как это на вид ни странно, но это так, да и не странней, чем переписываться между собой, живя в одном городе, впрочем, в этом только Вы виноваты, — не завели телефона.

Как-то писал мне папа, и меня огорчило, что наш с Вами разговор по телефону преломился в его сознаньи в тонах какого-то якобы равнодушья к нему с моей стороны3. Я уж не знаю, как это вышло, может быть, Вы не поняли меня, или он — Вас. В отношении заметок о выставке кое-что будет сделано, за одними фотографиями задержка, я об этом папе написал4.

Еще раз от души Вам спасибо. Обнимаю Вас. Если увидите Айзенманов — душевнейшие всем приветы5.

Любящий Вас Боря

1 / III / 28

Впервые. — Автограф (ГМИИ, ф. 29, оп. Ill, JSfe 3246).

1 Возможно, что замечание Эттингера относилось к случайной встрече Пастернаков с Рильке на Курском вокзале в мае 1900 г., описанием которой Пастернак начинает «Охранную грамоту».

2 Польский поэт Владислав Броневский был дружен с Эттингером и выражал желание познакомиться с Пастернаком. Переводил стихи Пастернака на польский, в 1950-х гг. Пастернак сделал перевод его стих. («Я и стихи»).

3 Пастернак передавал отцу мнение Эттингера о нежелательности участия сына в публикации заметки о берлинской выставке, даже и в той форме, — писал он, — «которая мне кажется естественной, не предосудительной и, главное, подсказанной самим чувством», и предлагал для проникновения в центральные газеты кандидатуру Б. И. Збарского. В ответ Пастернак столкнулся с тем, что отец воспринял рассказ Эттингера как упрек в его безразличии. «В данном же случае меня огорчает не столько полная противоположность Павла Давыдовичевых суждений о моем "вли-яньи" (на

которое ты ссылаешься), тому, что он сам мне говорил о недопустимости моего вторженья (а откуда бы тогда Збарский в его предполо-женьях явился?), — писал 13 февр. 1928 Пастернак отцу, — сколько то, что зга выдумка о моем равнодушьи идет по линии наименьшего сопротивле-нья, т. е. прямо ломится в ленивый и банальный нравственный штамп, по которому строится вечное правдоподобье оперных либретт, по которому любовь всегда "пламенна", массы всегда "широки", дети всегда "небла-годарны" и прочее» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 170—171).

4 См. письмо № 411 с просьбой о фотографиях с новых работ, нужных для статьи, которую согласился написать Я. З. Черняк. В конце марта Пастернак писал отцу: «Твои фотографии в свое время получены. Замечательные обе работы, все мы и все видевшие в восторге. У Черняка, которому я их передал, дети в скарлатине и все задержится» (там же. С. 178).

5 Ольга Александровна и Семен Борисович Айзенманы.

416. С. Я. ЭФРОНУ

6 марта 1928, Москва

6. III. 28

Дорогой Сергей Яковлевич!

Сейчас, на этой незаписанной странице, я ищу поддержки у Вас. Утренний час, я захожу за Вами и, не сказавши М<арине>, мы с Вами бродим по нижеследующим строкам, они ленятся на солнцепеке, по ним, из пятой в десятую, поют петухи, мы с Вами давно перешли на ты и обходимся без отчеств. Я рассказываю Вам, как глупо и болезненно я устроен, как множеством роковых случайностей намеренно затруднен, заторможен мой шаг. Как, позабыв обо всем, чему успели научить годы, вдруг, на смену рабочему уединенью, начинаешь принимать людей и ходить, если не к ним, то в места, где их можно встретить. Как двоит и принижает симпатия, идущая, вероятно по недоразуменью, путями, на которых ее нельзя принять и на нее ответить. Как наблюденья, произведенные не в пользу наблюдаемых, уничтожают не их, а тебя. Как, повесив голову и с опустившимися руками, возвращаешься в свое логово. Но неузнаваемо уже и оно, оскорбленная твоим отсутствием, ревнивая работа, как оказывается, оставила его на этих днях;

она сбежала не сказавшись куда, и в ее добровольное возвращенье веришь только оттого, что уж кому-кому, а ей известно, как она тебя наказала и положенья этого не выдержит и сама. Но время идет, на свете есть смерть, между тобой и теми единственными, которых любит и она всем своим раскинутым миром — неисчислимые версты и препятствия; чтобы их одолеть, нужны деньги, для этого надо работать без перерыва; зачем же, играя мною, она так страшно рискует сама? Ведь эта встреча — ее подорожная, ведь Вы нужны ей не меньше, чем мне. Или это круг, из которого нет выхода? Трезвеешь ты, — теряет голову твое назначенье; собираешься весь в комок почти непосильного, изматывающего бла-горазумья — безумеет твоя работа. И вот мы бродим с Вами, уходим незаметно за Девичье, верим, что скоро заговорят колеса, и, близкие друг другу люди, делаем друг с другом чудеса. То я, легко и отрывисто, отвечаю Вам на Ваши рассказы то, что должен был бы Вам сказать облачный кругозор, то в ответ на свои слова слышу и от Вас такие же возраженья. Скользят лошади, блещут крыши, мы расходимся, пьяные и осчастливленные, убедясь еще раз, что дружба — вещь баснословная и сверхчеловеческая, что другом называется тот, кто одаряет словом воду и воздух и, зарядив их этим даром, оставляет потом с тобой.

Я пишу Вам в состоянии очередного упадка. Были встречи, слышал глупости, видел мерзости, видел одаренных людей, которые преждевременно впадают в детство. Видел вчера новую кин<ематографическ>ую картину талантливого режиссера, автора «Брон<еносца> Потемкина», на тему «Октябрь». Режиссер и оператор рослые, светлые,

молодые, хорошо сложенные, достойные люди1. Был просмотр для литераторов, для печати. Были ле-фовцы, были все, для кого сделана картина. По просмотре из зрительного хлынули толпой в другой зал, вроде фойе. По смежности находилась темная каморка. В ней скрывались оба автора фильма. В зале толпились люди, похвалы которых были обеспечены. Черт их дернул, постановщиков, зазвать, кажется первым, меня в эти взволнованно-именинные потемки. «Вы нам скажете правду, как еще ее услыхать». Они стояли торжествующие, молодые, а приходилось говорить им безнадежные неприятности. Но зато и беспардонна нравственная сторона картины. И это — история?! Все, что не большевики — пошлая карикатура. Вроде эренбурговой... иронии.

Никак не судите этого странного письма. Его вдруг оборвали эти кинематографщики. Перед ним шла волна признаний Марине и Вам, Вам и жене и жизни, Марине, Вам, жене и жизни и судьбе. Вы все это знаете. Дай Бог, чтобы все мы созрели в один час, и никто не запоздал.

Обнимаю Вас. Ваш Б. П.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 209). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Имеются в виду режиссер кинофильма «Октябрь» (1927) С. М. Эйзенштейн и главный оператор Э. К. Тиссэ.

417. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

10 марта 1928, Москва

Моя родная, моя родная! От тебя давно нет писем и я тебе написал дурацкое (а какое и напишешь?) и чего доброго первое, что ждет меня от тебя будет заслуженным ответом. Когда я получил твои подарки, я дважды начинал тебе писать и рвал написанное; не говори, что не надо было: было б тяжелее и тебе. Меня качало от одного поминанья твоего имени, мне вдруг захотелось разом кончиться в твоих руках и чтобы из них меня получили Женя и Сережа и дети и все, у кого столько прав, оплаченных недолетами, обидами, недоуменьями, всей тихой безмолвной музыкой безмолвного «за что», «зачем». Ведь я только иногда справлялся с тугостью этого никому вполне известного беатричианства1, где ты так круто вдвое переплетена с временем, вдоль всей его стальной струны, где ты единственное и с лихвой достаточное объяс-ненье, оправданье, ключ и смысл всего что я делаю и чего не делаю и всего что делается со мной. Ведь по правде говоря 23-я тоска и разлука никогда не кончались, никогда не становились чем-нибудь другим2. И я умоляю тебя. Напиши мне что-нибудь в духе нашей трезвейшей и спокойнейшей переписки, а то все попадает из рук и ничего никогда не будет. Ради Бога помоги мне и скажи, что это тебе не нужно, что ты знаешь, слышишь, слышала. Ведь это слово, как пробка в квасной бутылке, тронь и кончено. Оно непроизносимо в разлуке. Я рад, что оно не прорвалось. Как мне трудно без тебя. Горячо благодарю тебя за подарки. Р. Роллан и Конрад конечно и мои любимейшие. Я мало их знаю. Ж<ан> Кри-ст<оф>, музыкальные монографии, два-три романа Конрада. Как ты живешь, то есть нет ли неотложной надобности в деньгах? О прости, ведь я знаю, что — есть. Может быть что-нибудь удастся сделать до Люверс3.

Сейчас сделаю ужасное признанье. Заговорив о материальном, почувствовал облегченье. Матерьялизация разреженной муки в заботе. Звери мы. Порода — добрые.

Обнимаю тебя без конца. Ведь кроме тебя я никого здесь не помню, ни с кем не видаюсь.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 167). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Имеется в виду состояние постоянной душевной тоски Данте по его возлюбленной Беатриче.

2 Тоски 1923 г., первого года переписки Пастернака и Цветаевой.

3 То есть до поступления денег за американское издание «Детства Люверс», обещанное Горьким.

418. В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДУ

26 марта 1928, Москва

26. III. 28

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Жалею, что заходил к Вам вчера в антрактах. Ничего путного я Вам не сказал, да иначе было бы и неестественно1. Но вот сегодня я весь день, как шалый, ни за что взяться не могу. Это — тоска о вчерашнем вечере. Вот это другой разговор. Это доказательство, это я принимаю.

«Ревизор» был гениальной постановкой, и в разбор ее не хочется входить. Были места неравного значения и в нем, но так именно и дышит всяческая творческая ткань: тут ядро, там протоплазма.

Может быть, в «Горе» те же достоинства распределены не с такой правильностью, может быть, размещенье их не так часто, но эти же достоинства и тонкости в нем против «Ревизора» стали еще глубже. В последовательности работ это восхожденье совершенно неоспоримое, и на этот счет тратить слов не приходится. Еще приятнее, чем говорить это Вам, было бы мне жить этим сознаньем молча, и если бы не нелепости, которые, как мне передавали, Вам пришлось выслушать и прочесть о постановке2, Вы о моих восторгах так бы и не узнали.

Я мало знаю театр, и меня в него не тянет. Достаточно сказать, что прожив всю жизнь в Москве, я ни разу не был в Малом и в Камерном3. Когда я однажды у Суинберна в его книжке о Шекспире4 прочел, будто бы он лучшие свои вещи писал для чтенья, а не для сцены, меня такой взгляд, даже и в применении к такому имени, не удивил. Надо согласиться, что более, чем кто-либо другой, Шекспир обращался не столько к труппам, сколько к человеческому воображенью. Но давайте допустим (так хочется верить и, может быть, так оно и было), что Блекфрайер был истинным театром5. Тогда, значит, он был театром реалистическим. В таком случае, он был списан и слеплен с натуры.

Что же может служить моделью театру? Типы, нравы, человеческие повадки, настроенье? Нет, всего этого мало, живые эти частности просятся в натурщики и, конечно, без пользы пропадают, но они служат образцом актеру, живой, главнейшей частности театра, но не театру. Правда, даже и талантливый актер так редок, что не часто культуре приходится довольствоваться одним, но все же и в этих редких случаях она вправе желать большего и мечтать о целом: о театре.

Мне кажется, натурою, которой должен следовать в своем построении театр, может быть только воображенье, воображенье в целом, его строй, его неповторимая, вся напролет, сплошной особенностью бегущая мускулатура. Говоря проще, через среду воображенья все искусства тяготеют к идеальной сцене и иногда, и очень редко, на нее попадают.

Я помню несколько постановок Станиславского, тринадцати лет попав на несколько дней в Петербург, вечер за вечером ходил к Комиссаржевской, я смотрел Чехова6, я их неоплатный должник в том градусе и смысле, как Ваш, но есть вещь и несоизмеримая: придя к Вам, я впервые и единственный раз в жизни попал в театр, понял, что это значит и в мыслимость этого искусства поверил.

Когда меня касается дыханье истинного дара, оно превращает меня в совершенного мальчика, ничем не искушенного, я беззаветно привязываюсь к произведенью, робею его автора, точно никогда не жил и жизни не знаю, и чаще меры тянусь за носовым платком. Когда прокатывается волна этой первой непосредственности и я начинаю

отдавать себе отчет в происшедшем, то, замечательно, на меня всегда начинают действовать родовые общности, сказавшиеся в произведении, законы, его сложившие, широчайшие человеческие секреты, которым оно обязано своим обаяньем.

Странно, но, очевидно, со вниманьем я умею относиться только к тому, что его не заслуживает. Все же стоящее делает меня невнимательным дважды: сперва тем, что оно потрясает меня, а потом тем, что толкает на размышленья, отвлекающие от его частностей. Но я рад этой черте и не хотел бы жить иначе.

Чему же мимоходом учили Вы и о чем напоминали? Главное я уже сказал. Едва представимая редкостность, к которой, по Су-инберну, адресовался Шекспир, осуществлена Вами и находится на Садовой.

Я был у Вас трижды — не сердитесь и не смейтесь — это очень много для меня. На «Рогоносце»7 меня поразили две вещи. Ваше отношенье к виртуозности и Ваше отношенье к материалу. Я видел, как Вы накапливаете виртуозность, как ею запасаетесь, точнее — в каких видах ее у себя заводите. Вы ей отвели именно роль, которой она заслуживает в большом захватывающем искусстве. Она заняла у Вас место ручного огнетушителя или тормоза Вес-тингауза, доведенных до совершенства, всегда находящихся под рукой и в ненужную минуту незаметных.

Вы поняли, как никто, что искусство в целом — это трагедия, с которой не должно быть трагедий и которая должна прокатываться по всему пути, предохраненная от катастроф. Но естественно, избежав ошибки некоторых быстро сгорающих дарований, Вы не впали и в ходовую типическую ошибку дурно понятого мастерства. Вы не стали пленником переродившейся виртуозности, Вы не меблировали своего дома одними огнетушителями, как, может быть, это случилось с Брюсовым и теперь (как это ни странно при темпераменте Маяковского) повторяется с лефовцами. Ваш поезд действительно подхватывает и уносит, а не стоит на мертвой вестингаузовой точке отупелого формального навыка.

Затем, как я сказал, меня поразило Ваше отношенье к мате-рьялу. Однажды под трехсотлетье Шекспира я много думал о его метафорике, о его поэтическом богатстве. Я пришел к убеждению, что у него не похожа только живая Мирандола на мертвую8, все же остальное, все живое, связано волной кругового, вихревого сходства. За его образностью и вечными уподобленьями я открыл то чутье сродства всего на свете, которое охватывает большого поэта в минуты наиболее порывисто из всех видов движенья движущегося творчества.

«Загреб золы из печки, дунул и создал ад», — сказал Георге о Данте, и слова эти говорят как раз о том, что у меня сейчас в виду. Когда я увидел, как Ильинский и Зайчиков сносят у Вас до основанья привычную нам интонировку и потом из ее обломков, которые по своей бесформенности должны были бы смешить, мнут и лепят беглые формы выраженья, которые начинают потрясать и становятся особым языком данной вещи9, я вспомнил об этой редкой и молниеносной вершине искусства, с которой можно говорить о совершенном безразличии матеръяла.

Это я встречал у Эсхила, у Данте, у Шекспира — впрочем глупо перечислять — ни один большой поэт без этого немыслим, но я не представлял себе, что метафора воплотима в театре.

И вдруг после вступительной полосы этой ненасытимой энергетики, с которой всегда должно начинаться большое творческое дело, но которая потом почти у всех либо кончается катастрофой, либо вырождается в пустую беспредметность, совершенно неожиданно и к великому счастью оказывается, что Вы еще и бездонный пластик, драматург не меньший, чем режиссер, и удивительный историк, и, что всего важнее, историк живой и целеустремленный, то есть такой, который не может не

любить родины и ее прошлого, потому что ежедневно в лице своего дела любит часть ее живого будущего. А только такой футуризм, футуризм с родословной я и понимаю.

Не могу сказать Вам, как много мне дали Ваш «Ревизор» и «Горе». Легко было припомнить, что было существенного в «Рогоносце». Здесь мыслимо сказать: меня поразили две вещи, потому что постановка была принципиальная и поражали принципы, которые всегда можно назвать и насчитать. Живые достоинства Ваших последних организмов именно оттого и неисчислимы, что они организмы.

Если бы я попал за кулисы «Ревизора», я не растерялся бы при встрече с Зинаидой Николаевной10. Дело не только в том, что она там прекрасна и роль Софьи вообще (и у Грибоедова) менее благодарна, а в том несосветимом абсурде, которым ее коснулась улица. Меня страшно стесняло это обстоятельство, я чувствовал, что, что бы я ни сказал, она стала бы меня слушать отраженно и все бы, что хорошего бы я ни сказал, произвела бы от факта этой обиды. Но все это — решительные призраки последней пустоты, для меня их не существует, я преклоняюсь перед Вами обоими и пишу Вам обоим, и завидую Вам, что Вы работаете с человеком, которого любите11.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: В. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896-1939. М., 1976. — Автограф (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2166).

1 Пастернак был на спектакле «Горе уму» 25 марта 1928 г. См. одновременно написанное стих. «Мейерхольдам»: «Как дурак, я зайду к вам в антракте, / И смешаюсь, и слов не найду».

2 Премьера состоялась 9 марта 1928 г., но еще до этого появились критические нападки на Мейерхольда, из театральных кругов перекинувшиеся на страницы газет. Противостояние интеллигента Чацкого грубому барству и хамству, ненавидящему свободную мысль, вызвало возмущение советской бюрократии («Правда», 2 марта 1928). В «Известиях» (15 марта 1928; «"Горе уму" или Мейерхольдовы причуды») Н. Осинский обвинял Мейерхольда в «бегстве к классикам» и «угасании общественно-политической чуткости». Критика спектакля выразилась также на диспуте в ГАХНе 17 марта 1928 г.

3 В 1916 г. Пастернак был в Камерном театре на спектакле «Виндзорские проказницы». Об этом см. письмо № 130.

4 А-Ч. Суинберн. «Очерк о Шекспире» (A Study of Shakespeare), 1879.

5 Блекфрайер — монастырь, в трапезной которого давала спектакли труппа актеров, в которой играл Шекспир.

6 В декабре 1904 г. Пастернак ходил в недавно открывшийся театр Коммиссаржевской. В 1920-х гг. был на нескольких спектаклях I студии МХАТа с участием Михаила Чехова.

7 Пьеса Ф. Кроммелинка «Великодушный рогоносец» в переводе И. А Аксенова шла у Мейрхольда с 1922 г.

8 К 300-летию Шекспира, отмечавшемуся в апреле 1916 г., Пастернак написал статью о Шекспире, текст которой утерян.

9 И. В. Ильинский играл роль Фамусова, а В. Ф. Зайчиков — роль За-горецкого.

10 Исполнение роли Софьи подверглось критике. В «Правде» (17 марта 1928) был помещен шарж на Зинаиду Николаевну Райх в роли Софьи; Н. Осинский отмечал, что З. Н. Райх «не годится для роли семнадцатилетней Софьи и играет ее чисто внешним образом» («Известия», 15 марта 1928).

11 См. в статье И. Федорова «о соединении за кулисами наших театров "семейного началами "служения НСКуссТВу,,» («Известия», 28 апреля 1928).

419. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

29 марта 1928, Москва

29. III. 28. Благодарю Вас, дорогой поэт, за книжку1 и память. Вы не смотрите, что — открытка, и не сердитесь. Это — спешности ради. Благородная, ровная, живая ткань, промытая до ясности, до игры, постоянно текучим чувством, как в отношеньи содержанья (пережитого), так и в отношеньи доходности до другого (выраженья). Чем дальше, тем горячей, но без измен себе, без так называемых «новых путей», без их «нащупыванья». Часто удивляются мне: чтб, например, такого я нахожу у Рождественского, скажем2. Вот то же самое, но несколько зрелее, может быть. — Все же дальнейшее — дело случая и личной судьбы. Приневолят Вас, и Вы, может быть, будете одним из тех, кто из этих данных построит город. Или еще сильнейшее, нечеловеческое принужденье уты-сячерит Вашу волю. Вдруг какая-нибудь неосуществимая, затруд-

ненная любовь к какой-нибудь далекой исторической силе, которую Вы станете ощущать как женщину, встанет перед Вами прямым отвесом, и Вам придется на руках подтягиваться к ней, и через год Вас не узнать будет. —

Крепко жму Вашу руку. Сердечный привет Вашему отцу.

Б. П.

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. Д. Н. Чуковского).

1 Речь идет о книге стихов Н. Чуковского «Сквозь дикий рай» («Изд-во писателей в Ленинграде», 1928). Впервые Пастернак познакомился со стихами Н. Чуковского в 1922 г., он слышал об их «задушевности» от Мандельштама (см. письмо № 195). В 1925 г. Чуковский хотел показать Пастернаку недавно вышедшую свою повесть «Танталена». Пастернак писал ему 14 мая 1925: «Бели бы я даже не видал Ваших стихов и не знал о Вас понаслышке, о том, что Вы в литераторы посвящены вполне, я бы заключил по одному признаку: Вы мне обещали прислать Вашу книжку (прозу для детей) и, разумеется, как посвященный, слова не сдержали» (Собр. соч. Т. 5. С. 169).

2 Пастернак неоднократно отзывался с похвалой о стихах поэта Всеволода Александровича Рождественского.

420. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

31 марта 1928, Москва

31. III. 28

Дорогая Марина, я не писал тебе вечность, соответственно этому и на душе у меня. А конечно надо было ответить тебе тотчас, в особенности насчет того, что ты назвала «физиологией творчества»1. А ты думаешь у меня иначе? La secheresse morale?* А летние стихи? Не Х<одасеви>ч?2 Недавно скончался сосед по квартире, один из уплотнителей, старик, первым перебравшийся к нам еще в 19-м году, когда по дому выселяли3. Кстати, знаешь сколько у нас сейчас народу в квартире, бывшей когда-то папиной, казенной? 21 человек! В комнаты обращены: передняя, ванна, одна комната поделена перегородкой надвое. 6 семейств. Ну так вот, на этом отпеваньи не узнал себя, глаза сухие, всё мимо. И ты во всем права, но вот тут-то унывать и нечего. Страшно было бы, если бы у тебя было по-другому. — Марина, вытерпи, и/ювремени, как хочешь и знаешь, и не стыдись сердечной унизительности этого состоянья. Оно кажется тебе: личным, т. е. лично твоим, завися-

* Духовная сушь, обмеление, оскудение (фр.). 193 щим от возраста и главное — окончательным. Таким оно кажется тебе именно потому, что ты молода, и оно, пусть даже с год или больше, приходит к тебе впервые. Я не так сказал. Я должен был сказать: оно кажется тебе лично твоим и окончательным, потому что ты — у его начала, и не видишь ни смысла его, ни происхож-денья. Ничего об этом не мог знать Пруст и ничего тут нет похожего4. В этом споре с тобой мне не интересны твои доводы и воз-раженья, не потому что они — во вред тебе, а потому что твои молодые

заблужденья насчет этого «перерожденья» могли бы меня растрогать в близости и заставили бы целовать тебя, как ребенка вслед за каким-нибудь особенным проявленьем его детскости, и они совершенно неинтересны, т. е. ими нельзя живо взволноваться на расстояньи. Если Х<одасеви>ч действительно таков, каким он тебе представляется, то вот уж кто наверняка не знает того, о чем ты пишешь. Я может быть лучшего мненья о нем. Я думаю, что secheresse marinienne* и моя, известны и ему, хотя, как кажется, в противоположность нам, ни на стихах его, ни на поведенье не отражаются. — Насколько мне известна эта тема, суди из тона, которым полно письмо: это уверенность, инстинктивно перекинувшаяся из предмета в голос. Я был у начала этого состоянья давно, еще когда ходил к тебе с письмами С<ереж>и в Борисоглебский5. Тогда оно приходило кусками еще, налётами, как верно к тебе в последние годы. Так, как оно утвердилось у тебя в самое последнее время, оно у меня оформилось в заграничную поездку в 22-23 году. Ты думаешь, после «Верст» я не сумел, как надо, прочесть твои первые письма в Берлин, те весенние, где ты прощалась и напутствовала?6 Для меня было тогда мукою не то, что я был мертвой особью (я ею не был), а то, что смысл твоих писем был в живом будущем следующего мгновенья, а между тем предо мной, отделяя меня от его даты, лежал неотменимой полосою мертвый период, истинной длины которого я не знал. Половину сказанного я понял теперь, половина сказалась уже и тогда в проти-воречивостях тогдашнего ощущенья. Это состоянье и мне тогда должно было казаться лично моим и окончательным. Возвращенье мое сюда было ужасно. Я был открытьем этой secheresse оглушен и нравственно для себя уничтожен. По своей удручающей честности я нес свою робость и растерзанность перед собой, как заполненную анкету, я сам себя стирал в порошок и отдавал на

* Маринино обмеление (#.)• 194

затирку. Я ходил, как клеймлений и провинившийся, повеся голову, делал адову работу за неслыханные гроши, наконец понял что «пора бросать» и стал искать службы7. Я так искал ее, что, конечно не скоро смог найти. Замечательно, что и тут я казался себе ничтожеством, т. е. умудрился позабыть, что кончил университет и что-то знаю, и так как думал, что ничего не знаю и ни на что не гожусь, а следовательно, и все равно, за что приниматься, то засел изучать статистику, в надежде на то, что с ее знаньем легче найду себе место. (По образованию я филолог.) В моих столкновеньях с Есениным больше был виноват я сам, нежели он. Я сам на это напрашивался и подавал повод. Я говорил тогда так, как ты сейчас. Вот он мне и возвращал истины, бывшие в первоисточнике моими же словами8. А говорил я точь-в-точь что ты сейчас, потому что оскорбленный этим новым душевным обличьем, смысла которого не понимал, я и не щадил себя в нем, и уничтожал и ненавидел. Но довольно размазывать. Вот что хотел я сказать. Работать я начал, когда увидал, что состоянье это временное, а не окончательное, и не мое, т. е. не меня в поэте, а поэта во мне, т. е. не Маринино, а — Цветаевой. Но я еще не вполне это понимал и перенадеялся. Я начал писать Спекторского, которого писал наивно, собой и поэтом сразу, т. е. Мариной Цветаевой, а это было рано тогда до безумья, — начал и сорвался. Вдруг я понял, что писать надо силой и страстью именно этой secheresse, именно этой страны во мне, истории во мне, именно потрясающей жалостностью несчастного поэта во мне, всегда обставлявшим его порывистее, богаче и сердечнее, чем он теперь обставлен историей и судьбою. Что из этого что-то выйдет. Выйдет? Значит тут-то и будет выход (это не игра слов) и у этого выхода опять мы встретимся. И вся эта книга так именно написана. Она писалась так бездарно, так неслыханно по-Х<одасеви>чески, что если бы тебе даже эти уловки двойникового состраданья (себя к поэту во мне) явились в полуобморочном бреду, или во сне, ты бы их не увидала, твой талант отразил это виденье и встал между тобой и

им. Все почувствовано на одном лишь крепком чаю. — Давай я кончу пока, а то я заговорился и буду повторяться. И когда ты это получишь? Лучше отправлю сейчас. Я верю в твою волю. Все в ней. Ты (хронологически) пришла к этому поздно, и проходить придется не долго. Что это не окончательное состоянье, видно из того, что оно тебе поперек встало. Иначе ты бы не заметила его. Твое страданье — твой размер, твой огонь. Ты еще будешь радоваться именно так, как не чаешь. Обнимаю тебя. Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 168).

1В письме 4 марта 1928 Цветаева объясняла свое творческое «оскудение»: «Борис, я всегда жила любовью. Только это и двигало мною. <...> С 1925 г. ни одной строки стихов. Борис, я иссякаю: не как поэт, а как человек, любви — источник. Поэт мне будет служить до последнего вздоха, живой на службе мертвого, о, поэт не выдаст, а накричит и наплачет, но я-то буду знать. Просто: такая жизнь не по мне <...> Мне нужна моя собственная душа из чужого дыхания, пить себя. Та сушь, которой я сначала так радовалась, губит меня» (там же. С. 475).

2 Посылая Цветаевой свои летние стихи, Пастернак писал: «...Не есть ли это модифицированный Ходасевич, т. е. не пришел ли я <...> к какому-то подобию Ходасевичева "классицизма"» (письмо N° 372).

3 Василий Иванович Устинов. О его смерти, последовавшей за кончиной жены, Пастернак писал сестре Лидии 15 февр. 1928: «Скончался Вас. Ив. Опять, как три года назад, отодвигали сундуки и шкапы, чтобы растворить двери на обе половинки, опять утром под пробужденье и плач детей шла лития, и выносили, подымая на лестнице воротники» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 177).

4 В том же письме Цветаева говорит о себе, что она «гениальный врач над безнадежным больным (это я, кстати, сказала о Прусте)» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 474).

5 В письме 22 июня 1922 Цветаева вспоминала, что Пастернак осенью 1921 г. приходил к ней в Борисоглебский с письмом от Эренбурга, который писал ей о своих поисках С. Я. Эфрона (там же. С. 14).

6 Речь идет о письмах 10 февр., 9 марта 1923 г. (там же).

7 Пастернак поступил на службу осенью 1924 г. и занимался подбором иностранной библиографии по Ленину.

8 В письме к Цветаевой № 270 Пастернак признавался, что «доходил до самоуничиженья» в отношениях с Есениным, но однажды, когда «из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя <...> я тут же на месте, за это и только за это, дал ему пощечину».

421. А. М. ГОРЬКОМУ

Первые числа апреля 1928, Москва Дорогой Алексей Максимович!

Так как уже и конверт, покрытый Вашей рукой, приводит в понятное волнение, то письма Ваши читаешь всегда почти превратно, т. е. с готовой уже и преувеличенной чувствительностью. Перечтя последнее Ваше письмо (где об обеих Цветаевых и т. д.1), я поздно увидал, что в нем совсем нет тех нот, которые до пугающей явственности почудились мне в нем при первом чтении, и понял, что я ответил Вам глупо, с тою именно истерикой, которую Вы так не любите. Я не раскаиваюсь ни в одном из движений, сложивших мое нелепое письмо, — взять под защиту от Вашего гнева всякого, кого бы он косвенно, через меня, ни коснулся, было и остается моим трудным долгом перед Вами, — но в том-то и нелепость, что, может быть, Вы этих движений вызывать не думали, и я неправильно понял Вас2.

Последнее время часто в газетах читаешь адреса и приветствия Вам и во всех них разноречивые даты3. Наверное Вы считаете все это докучливой пошлостью и на всех

поздравителей сердиты. Однако, может быть, за далью, от Вашего взгляда ускользнуло, как разительно в Вашем случае все эти юбилейные тексты отличаются от извечно знакомого нам академического трафарета. Я не видал ни одного, где не жила бы, и отдельными местами не находила себя, выраженная, особая, в каждом данном случае, прямая, неповторяющаяся задетость. Так же точно, к примеру, взволновала меня вся первая, историческая часть правительственного манифеста4. И тут горячность правды либо рвет риторический наигрыш, либо вдруг в фальшивом ложе периода находит себе свободное, некрасноречивое место.

И так как рокочущая пошлость этой условности в Вашем случае опрокинута даже фраками и крахмальными грудями, то в ту же дверь ломлюсь и я. И вот — без красноречивых фигур. Я за несколько тысяч верст от Вас. Я могу подумать и передумать. Я могу написать слово и зачеркнуть. Так именно мне и хочется поздравить Вас, медленно, медленно, в нестесненном раздумье, с неторопливым отбором предвидений и пожеланий. Все они стекаются в одно. Оно уже давно готово. Как только его назвать? — Ну, так вот. Я желаю Вам, чтобы чудо, случившееся с нашей родиной, успело в возможнейшей скорости обернуться своей особой давно заслуженной чудесной гранью лично к Вам. Чтобы огромная, черная работа, взваленная в России на писателя, когда он крупен своим сердцем и своим истинным патриотизмом, была, видимо, для Вас, сделана современным русским мыслителем, историком, публицистом. Чтобы дикая миссия работы за всех была снята с Вас и Вы могли бы дать волю Вашему безошибочному воображению, избавленные от надобности исправлять чужие ошибки. Вот, в намеке, глубочайшее мое пожелание Вам. Но и в ряду близких, желающих Вам радости, здоровья, счастья и долголетия, позвольте мне быть не последним.

Преданный Вам Б. И

Впервые: ЛН. Т. 70. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56. 12. 6). Датируется по содержанию.

1 Письмо Горького 19 окт. 1927 (ЛН. Т. 70).

2 См. письмо 388.

3 29 марта в газетах отмечалось 60-летие Горького (день его рождения — 28 марта 1868).

4 Речь идет о Постановлении Совета народных комиссаров Союза ССР от 29 марта 1928 г. в связи с юбилейными торжествами, посвящ. Горькому («Правда», 30 марта 1928).

422. В. В. МАЯКОВСКОМУ

4 апреля 1928, Москва

4. IV. 28

Наш разговор не был обиден ни для Вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует ни временем, ни безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку (и ее за Вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход — переход, и я кого-то кому-то предпочел1. Точно это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете?!), что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знанья трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня?

Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда на приснившейся позиции.

Я сделал эту попытку заговорить с Вами потому, что все эти дни думал о Вас. Зачем Вы выдумали, что летнее письмо я писал Вам?2 Вам? Вы его держите у себя, как получатель? И я Вам поверю? Нет, простите меня, Вы сами давно доказали мне, что с адресатами не произошло недоразуменья. Если Вы хоть минуту считали, что оно обращено к Вам, Вы бы его напечатали, как я об этом просил, Вы бы это сделали из гордости. Но Вы прекрасно знаете, что это не Вы его скрыли и о нем умолчали, как и получали его не Вы. — Все это бред, дурной сон, абракадабра. Подождем еще год.

И потом, как Вам нравится толкованье, которое дается у Вас моему шагу? Выгода, соперничество, использование конъюнктуры и пр. И у Вас уши не вянут от этого вздора? Притом как похоже на меня, не правда ли? Ведь у Вас люди с общественной жилкой, бывают на собраньях, в театрах, в издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая Леф, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не затем, чтобы начать весь ряд сначала. И Вы пока стараетесь этого не понять.

Б. И

Впервые: Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2577, оп. 1, ед. хр. 1185).

1 Речь идет о выходе Пастернака из журнала «Леф».

2 Имеется в виду письмо Пастернака «Редакционному коллективу "Лефа"», 1927: «Вашему коллективу прекрасно известно, что это было расставание окончательное и без оговорок <...> Благоволите поместить целиком настоящее заявление в вашем журнале. Борис Пастернак* (т. Унаст. собр.).

423. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

5 апреля 1928, Москва 5. IV. 28. Дорогая Раиса Николаевна!

Две тяжести у меня на душе, о которых следовало бы рассказать Вам, и одна это та, что при всей моей тяге за границу, которая обесцвечивает все здешние радости, я все же и этой весной еще туда не попаду, а другая, — что я так долго не писал такому другу, как Вы. Причин много, и они переплетены, и друге другом связаны. Но между прочим (и как это непростительно!) молчал я, вернее, — откладывал ответ на Вашу открытку и потому, что все искал способов не затруднять Вас той просьбой, с которой сейчас и начну, так как других путей не нашел. Ради Бога, исполните ее, если это вообще возможно, во всей точности. Сообщите мне, пожалуйста, кому бы из Ваших здешних родных или друзей я мог передать сто рублей, и только в таком случае переведите такую же сумму Марине Ивановне Цветаевой по адресу: M. Tsvetaieva-Efron, 2, Avenue Jeanne d'Arc, Meudon (S.-et-O.) France. Я Вас прошу остаться в границах этой комбинации потому, что все равно это с Вашей стороны будет огромный подарок, вспомните, я Ваш неоплатный (во многих смыслах) должник, а это не пустяки. Она самый большой и передовой из живых наших поэтов, состоянье ее в эмиграции — фатальная и пока непоправимая случайность, она очень нуждается и из гордости это скрывает, и я ничего не писал еще ей о Вас, как и Вам пишу о ней впервые. —

Вчера пришло письмо Ваше от 25-го III, и как все Ваши письма, прокатывается все той же волной давно знакомого и всегда волнующего тепла: как хорошо, что к самым прекрасным вещам никогда не привыкнуть. Естественно, что Женя ликует, предается мечтам, и в мыслях, как прошлый год, едет злоупотреблять Вашим радушьем1. Но и всего то, как прошлый год. Дело в том, что может быть по слабости или какому другому недостатку, но поездки за границу в виде короткой прогулки я бы просто не перенес, так как слишком много связал с этой возможностью, у меня есть свои планы и цели, без их осуществлены! или хотя бы попытки их осуществить мне будет тем тяжелее возвращаться, чем прекраснее будет обстановка такой прогулки. А до этого

мне надо закончить две работы2. Я думал, что справлюсь с этим за зиму, но я удивительно мало сделал в теченье года. Это так же необъяснимо, как и мое продолжительное молчанье, т. е. и тут столько же причин, и когда их начинаешь разбирать, то натыкаешься на самые несущественные и до обидности поверхностные. — Это письмо я пишу особняком от Жени, она — противница той просьбы, с которой я его начал, и помешала бы мне обратиться к Вам с ней, но если она даже и права, то грех мой перед ней и Вами на этот раз совершенно неизбежен. Я говорю это к тому, что все эти дни она собирается Вам написать, и на днях, вместе с ее письмом я напишу Вам больше, живее и, если смогу, интереснее. А Вы напишите поподробнее о Вашем, лично, здоровье. Сердечный привет всем Вашим. Преданный Вам Б. И

Я не осложнял своей просьбы извиненьями, потому что горжусь той простотой, которую Вы мне разрешили относительно Вас и всего, что мне дорого. Верю, что Вы ее исполните так, как я о том прошу.

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 Ломоносова писала: «Как только начнутся летние каникулы, думаю опять поехать на 2—3 месяца в Lenno (Largo di Сото). Это будет в конце июня и если у вас есть возможность выбраться из Москвы, то мы зовем вас всех очень, очень к нам в гости» (там же. С. 237).

2 «Охранная грамота» и роман в стихах «Спекторский».

424. Р. И. ПАСТЕРНАК

6 апреля 1928, Москва

6. IV. 28. Дорогая мамочка! Женя напишет тебе обо всем, что касается твоей неосновательной тревоги, адрес же Наташи таков: Natalie Seroff. 3, Rue Albert de Lapparent, Paris VII. И Олюшка Серова просит крепко, крепко вас обоих целовать1. Не сердитесь на меня, что не пишу. Все я расхожусь в работах с теченьем времени, года стали жить и сменяться шибче, чем я в силах рассчитать наперед. Я думал, что к весне кое-что доделаю, без чего не хочу выезжать, хотя бы не надолго, отсюда. Но за зиму я успел сделать неописуемо мало, и опять все приглашенья Р. Н. Ломоносовой, как каждое лето, раздаются втуне. Не знаю почему, при этом устаревшем слове моя электрическая лампочка разгорелась с небывалой силой, верно, на станции машину сменили. Ни в коем случае, дорогие мои, не посылайте сюда денег, а если надо будет кому помочь, сообщайте в точности мне: у меня есть долги за границей2 и подчас является желанье начать их погашать, пересылка же денег отсюда сопряжена с большими трудностями и, главное, тратой времени. Я об этом уже раз просил (чтобы не посылать), но по-видимому в той открытке, где на первые папины вырезки откликнулся. Сейчас я даже и догадался, почему она не дошла: я, верно, записал пол лицевой стороны, что по-видимому не принято, хотя по размещенью бланка можно было думать, что это разрешено. Однажды папа писал о письмах Rilke для изданья3. Но со всем архивом они, очевидно, в одном из тех ящиков, которые до невозможности нагромождены тут у нас друг на друга. Их трудно найти. Кстати вы плохо, верно, представляете себе, какая у нас теснота. Иногда я косвенно пишу вам, то рикошетом через Лиду, то Женичка вдруг добьется того, что я, наконец, напишу под его диктовку бабушке, то к Наташи Серовой адресу привяжусь. Писал ли я, как хороши папины портреты? Но у Черняка дочка в скарлатине и пока о статье не приходится говорить.

И за то, что с рожденьями вас не поздравляли и не поздравляем, не сердитесь. Хотя — хамство конечно.

Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Год назад Р. И. Пастернак сообщала сыну, что вдова Серова Ольга Федоровна, находясь в бедственном положении, просила позволения переслать им несколько работ

Валентина Александровича, чтобы выручить за них какие-нибудь деньги. Возможность продать картины Серова в Берлине представлялась Розалии Исидоровне в мрачном свете, и она просила сына похлопотать об их закупке государственными музеями и спрашивала адрес дочери Серова Наталии в Париже. Что-то из небольших рисунков Л. О. Пастернаку удалось пристроить друзьям, что-то приобрела Жозефина с мужем, что-то купил он сам. Адрес Н. В. Серовой Б. Пастернак узнал у ее старшей сестры Ольги Валентиновны.

2 Своим долгом Пастернак называет помощь М. Цветаевой.

3 Письма Рильке к Л. О. Пастернаку оставались в Москве и, когда издательство Insel Verlag обратилось к Леониду Осиповичу за их текстом для готовившегося собр. соч. Рильке, — возникла необходимость выписывать их из Москвы.

425. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

11 апреля 1928, Москва

11. IV. 28

Дорогая Марина! Может это легкомыслие с моей стороны, но я верю, что ничего дурного ни с тобой ни с твоими не случилось, что вы здоровы и что с письмом моим С<ереж>е не произошло недоразумений. Мне скучно и тоскливо без твоих писем, но легче на душе от сознанья, что не я один молчу месяцами. А это всегда так тяжело, несмотря на то, что временами и неизбежно. Я очень мало сделал за зиму, много занимался посторонним и много накопил причин свирепеть на самого себя и отказывать себе, для наверстки упущенного, в самом нужном и дорогом. Но все время, а с присылки твоего подписного листа в особенности1, я помнил, что положенье ваше нестерпимо, и искал прямых, беспосредственных путей вступиться, и не нашел. И ты не сердись на меня, что пошел обходными. Я давно, в письме к Г<орько>му косвенно запросил М. И. Закревскую относительно перевода «Люверс»2, но месяцы прошли и я ничего об этом не знаю. А из обходных путей этот был бы, относительно, более прямым, т. е. это было бы наше дело и мы никому бы не были обязаны.

Я очень боюсь, что Раиса Николаевна Ломоносова, которой я, не найдя другого исхода, написал в Кембридж3, переблагород-ничает, по редкостности своего характера, в отношении тебя и меня. Однажды я начал тебе рассказывать о 20-ти ф<унтах> стер-<лингов>, чудесным образом пришедших на мое имя в миг, когда мы сидели без гроша и не в состоянии были переехать с дачи4. Я прервал этот рассказ так, как всегда, менее заметно, прерываю свои письма, как и ты, впрочем, потому что жизни не переслать в конверте, а с этим только детским умыслом и садишься за письмо. Оказалось, что это деньги от Р. Н. Ломоносовой, приятельницы Корнея Чуковского, который, как потом выяснилось, написал ей о моем положеньи, — долго рассказывать, почему он его именно знал и почему я ему так в то лето полюбился. Так завязалось у меня знакомство с Р. Н., человеком, о котором я дотоле ничего не слыхал и которого доселе не видел. Она — переводчица на английский язык, знаток английской литературы и жена выдающегося инженера Ломоносова, который изобрел тепловоз — усовершенствованную форму локомотива. Они не эмигранты, напротив того, в начале революции Юр<ий> Влад<имирович> был задержан в Англии в качестве политического заложника5; но он не нашел достаточного примененья своим познаньям и талантам и, кажется, работает за границей. А может быть, я ошибаюсь, — говорю со слов Жени, которая лично познакомилась с ними в свою бытность в Берлине в 26 году. Вернулась она с восхищенным рассказом о всех троих (у них сын, кончает Кембриджский университет). По всему тому, что я знаю, мне они представляются как раз теми настоящими, простыми, счастливыми и сердечными людьми, с которыми нас тянет дружить всякий раз, как мы вспоминаем, что литературный круг — круг проклятый и заколдованный, оправданный существованьем двух-трех исключений, и,

точно в это оправданье, состоящий из сотен или тысяч мнимостей. Я не только убежден, что Р. Н. не знает меня, и, если бы себя поставила перед альтернативой, нравится ли ей то, что я делаю или нет, должна была бы от меня отказаться, но я даже рад тому, что ничего этого не надо, что все это существует вне электрической зарядки, сосущей и съедающей меня, что она хороша как-то по-своему, на неведомый мне и недоступный манер. Но так как я ее ни разу не видел, то может быть я неправ, и при всей своей симпатии, ее недооцениваю. Женя им понравилась, они ее живо, т. е. беспросчетно — полюбили. Во мне, при встрече, они бы разочаровались. Я вероятно был бы грустен и мнителен среди них, а им — скучен. Я, а ты тем паче, по-другому живой, по-другому современный человек. — Я просил ее об одолженьи мне6, по способу легко выполнимому, и просил о точности в исполненьи просьбы потому, что в предвиденьи ее разочарованья, считаю себя ее должником.

Ты спрашивала о дневнике В<ырубовой>. Я его не читал, но и тут он вызвал сенсацию. По-видимому, это все же не подлинник. Я разузнавал и жалею, что вовремя не записал данных. Его приписывали Ольге Форш, но это вздор, она никакого отношенья к этой талантливой мистификации не имеет7. Теперь называют (за что купил за то и продаю), — некую Брошниовскую (кажется, не переврал), особу того круга и слоя, где много могли из этих сенсаций знать. Но что тебе в том? Мериме ли, нет ли, — для тебя это — Песни западных славян и кончено8. Не удивляйся, что и после твоих запросов я не вцепился в дневник. И до них я уже предчувствовал, что это невпору может взволновать и отвлечь меня. Так, по другим причинам, но в одинаковых чувствах, я боюсь читать Пруста, пока кое-чего не сделаю и не стану вдесятеро старше и проще его9. Прислать ли тебе дневник? Напиши мне, все же. Обнимаю тебя. Напиши мне также и о Сереже. Твой Б. А главное: как книга?

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 168).

1 Лист подписки на книгу Цветаевой «После России» обязывал подписчика на предварительную оплату книги. Задержка денег откладывала издание книги на неопределенное время.

2 См. письмо JSfe 406.

3 См. письмо JSfe 423.

4 См. письмо JSfe 392.

5 Ю. В. Ломоносов был откомандирован за границу в начале 1920-х гг. по делам возглавляемой им Российской железнодорожной миссии и на несколько лет обосновался в Берлине. В 1927 г. он отказался вернуться в Россию.

6 Пастернак просил, чтобы помощь Цветаевой была покрыта эквивалентными денежными посылками с его стороны кому-нибудь из родных или знакомых Ломоносовой в России.

7 «Дневник Анны Вырубовой» // «Минувшие дни». Иллюстр. исто-рич. альм. Под ред. М. А. Сергеева и П. И. Чагина. Л., изд-во «Красная газета». Декабрь 1927-1928. 4 вып. Авторами социально заказанной мистификации были А. Н. Толстой и историк П. Б. Щеголев, редактор 7-томного изд. «Падение царского режима». А. А. Вырубова — фрейлина и близкая подруга императрицы Александры Федоровны.

8 Литературная мистификация Проспера Мериме — сб. «Гузла» (1827) вдохновила Пушкина, посчитавшего его собранием подлинных народных песен, на цикл «Песни западных славян» (1834).

9 Пастернак объяснял свое нежелание читать Пруста в письме В. С. Познеру 14 мая 1929: «Пруст года три назад был для меня совершенным откры-тьем. Боюсь читать (так близко!) и захлопнул на пятой странице. Оставил впрок, отложил, не знаю насколько. А тем временем и опасность уменьшается: в прозе ближусь к Боборыкину, в стихах —

к Щепкиной-Куперник» (ЛН. Т. 93. С. 725). Аналогичное высказывание см. в письме к Ж. Л. Пастернак 15 июля 1930 (JSfe 555): «До сих пор я боялся читать Пруста, так это по всему близко мне. Теперь я вижу <...> Прусту не на что уже влиять во мне».

426. В. Н. ОРЛОВУ

21 апреля 1928, Москва

21. IV. 28

Пгубокоуважаемый тов. Орлов!

Простите, что отвечаю с таким запозданьем, но всю неделю я проболел гриппом и только сегодня встал с постели, хотя чувствую себя еще неважно. Я очень дорожу вниманьем Института1, но этою весной съездить в Ленинград мне никак не удастся. Бели осенью или в начале будущего учебного года это будет легче, я позволю себе сам заговорить об этом, чтобы избавить Вас от неприятности запросов, каждый раз кончающихся неудачей, и ставящих меня тоже в неловкое положенье, так как отвечать отказом мне еще неприятнее, чем Вам его получать.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2833, оп. 1, ед. хр. 217).

1 Литературный отдел Института истории искусств, где учился Владимир Николаевич Орлов, предполагал выпустить исследовательскую работу о творчестве Пастернака. Осенний приезд Пастернака в Ленинград тоже не состоялся; по просьбе секр. лит. отд. Института, Б. В. Казанского, О. М. Фрейденберг 27 дек. 1928 просила для этого исследования, написанного Б. Я. Бухштабом, прислать автобиографическую статью (см. письмо № 464).

427. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

24-26 апреля 1928, Москва

24. IV. 28

Дорогая Раиса Николаевна! Не обиделись ли Вы на меня за мою просьбу?1 Если Вы ничего еще не успели предпринять в этом направленьи, то и не надо: надобность в этом, как я узнал, совсем миновала, там наступило улучшенье. Грипп мой привел к очень неприятному осложненью, и я еще не знаю, чем это кончится. Упорство головных болей, не оставлявших меня все последнее время, разъяснилось очень неожиданно. Оказывается, у меня вос-паленье какой-то лобно-пазушной кости (нижняя часть виска), и если это не пройдет само собой, в результате различных и очень кропотливых манипуляций, то придется эту кость продалбливать хирургически. Пишу Вам утром, воспользовавшись некоторым ослабленьем боли, но достаточно было записать эти полстранички, чтобы она возобновилась. Откладываю до вечера, когда опять, по опыту последних дней, наступает улучшенье. Ничего (ни писать ни читать) нельзя. —

25. IV. Это ужасно странная болезнь. Приступы боли продолжаются от 4-х до 6-ти часов и падают на середину дня. Вечером по их миновеньи, начинает казаться, что это было в последний раз, что ты выздоравливаешь и их завтра не будет, а завтра все повторяется по-прежнему. И что это за боли! Мигрень — просто блаженство в сравнении с этим ощущеньем расседающегося черепа. Сегодня опять был врач и усилил леченье. Мне ужасно хотелось бы выздороветь и ни о чем кроме этого я думать сейчас не в состо-яньи. Здесь наконец наступила весна. Хорошо ли Вы знаете Москву? Помните, есть большой сквер из четырех кругов, кольцом облегающий Храм Спасителя? Наш дом, двухэтажный, окнами выходит на эту площадь и веснами, чуть подсохнет, пол-Москвы высыпает сюда, причем фланируя чуть не задевает локтями за мой стол, придвинутый к самому окошку. Это всегда очень тревожит и бесцельно нервирует, потому что можно быть святым, но не отзываться на блистанье и помигиванье сборной и несметной и безымянно случайной жизни, когда она

охорашивается на гулянье, — трудно. Она для того и охорашивается, чтобы кого-нибудь где-нибудь волновать, а я как человек робкий и доверчивый всегда ее, хотя бы в воображеньи, предупреждаю. — Осуществлена моей давней мечты, поездки за границу, опять, как я писал Вам, откладывается. Я в существе ее давно уже пережил, я свыкся с теми главными чертами, в каких мне являлась эта выдумка, и не могу от них отступить, потому что иначе все в ней лишится смысла. Я убежден в своей правоте, и думаю, что и Женя, которая видит все эти вещи проще и досадует на мою медлительность, тоже не будет в накладе. —

26. IV. Я наконец отправлю эту глупую канитель. В основе — попытка заговорить свой собственный висок, но она не приводит ни к какому результату. Простите за несвязицу и совершенную бессодержательность. Важного тут было только сказать, что надобность в деле, о котором я Вас просил, миновала. Горячей, чем когда-либо, желаю Вам здоровья и всем Вашим. Преданный Вам Б. И

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 Имеется в виду просьба о помощи Цветаевой. См. письмо № 423.

428. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ 10-20 мая 1928, Москва

10.V.28

Дорогая Олюшка!

Жалею, что не было меня дома, когда звонил Mr. Лившиц1 — он с Шурой говорил; расспросил бы я его по-своему и побольше. Все же знаю, что готовишься ты к осенней защите и день ото дня идешь в гору. Болел я. Началось с гриппа, кончилось скверным осложненьем. Только тут, смущенный странной точностью и упорством головных болей, и обратился я к врачу. Оказалось — воспа-ленье лобной пазухи (есть и такая), т. е. полости, находящейся под височной костью. Слава Богу, обошлось без трепанации, — и выздоравливаю, а то бы не писал тебе. Больше месяца ничего не делал, да и сейчас берусь за работу с большой опаской; а ну, как опять стрельнет в висок и все пойдет сначала. — Сидим пока без денег, но я их, разумеется, добуду. Когда поселяешься на лето тут, под Москвой, кругом только и говорят, что о дешевизне Кавказа или Крыма. Справляются о деньгах, зарываемых где-нибудь в 60-ти верстах от Москвы, приходят в ужас и доказывают, что за них вчетвером по Кавказу можно доехать до Персии. Так с осени Кавказ пускает глубокие корни, по закону озимых посевов, зимой о нем не думаешь, весной же оказывается, что дело зашло так далеко, что вся твоя семья давно уже в Кабарде или Теберде, и только остается эту галлюцинацию дополнительным образом оформить. — Я много болел этой зимой и мало чего сделал. В двух-трех работах, которые мне предстоит довести до конца2, я теперь дошел до очень тяжелой и критической черты, за которой находится, по теме, — истекшее десятилетье — его событья, его смысл и пр., но не в объективно-эпическом построеньи, как это было с «1905-м», а в изображеньи личном, «субъективном»; т. е. придется рассказывать о том, как мы все это видели и переживали.

Я не двинусь ни в жизни, ни в работе ни на шаг вперед, если об этом куске времени себе не отрапортую. Обойти это препятствие, занявшись чем-нибудь другим, при всех моих склонностях и складе значит обесценить наперед все, что мне осталось пережить. Я бы мог это сделать, только если бы знал, что буду жить дважды. Тогда я до второй и более удобной жизни отложил бы эту ужасную и колючую задачу. Но нужно мне об этом написать, и интересно это может быть лишь при том условии, что это будет сделано более или менее искренно. Ну вот. А ты знаешь, террор возобновился3, без тех нравственных оснований или оправданий, какие для него находили когда-то, в самый разгар торговли, карьеризма, невзрачной «греховности»: это ведь давно уже и далеко не те пуританские святые, что выступали в свое время ангелами карающего правосудья. И вообще — страшная путаница, прокатываются какие-то, ко времени не

относящиеся волны, ничего не поймешь. Вообще, — осенью я не того ждал и не так было грустно. Я боюсь, что попытка, о которой говорю выше и без которой я не могу закончить двух вещей, принесет мне неприятности и снова затруднит мне жизнь, если не хуже. Но это — в естественной последовательности должного и предопределенного, вовсе не из задора какого-нибудь или чего-нибудь в этом роде. А может быть, все обойдется благополучно. Скорее верю в последнее.

20. V. Дорогая Олюшка! Вот всегда так. Письмо лежит десять дней. Я его не кончил, потому что тем временем пришло тети Аси-но, — замечательное, на которое хотелось и надо было тут же ответить, но в котором заключались вопросы, ответ на которые, как мне казалось, придет в теченьи ближайших двух-трех дней, но эти вопросы задержались и до сих пор не получили разрешенья: мы все еще не знаем, что предпримем летом. Кажется, я на месяц отправлю Женю с Женичкой на Кавказ, а сам в городе останусь, по их же возвращеньи поселимся где-нибудь тут на даче. Но все это еще в предположении. Во всяком случае, где бы то ни было, ты всегда будешь желанной гостьей (хоть на Кавказе). Если же — (или — и когда) мы поселимся под Москвой, то я очень бы хотел, чтобы пожила у нас и тетя. Крепко тебя обнимаю. Не сердись, что не отвечал тебе. Часть объяснений почерпнешь из письма, всех же не перечесть. Твой Боря

20.V.28

Дорогая тетичка!

Вы знаете ведь, или должны знать, как меня растрогали своим чудесным письмом. А так как к числу Ваших главных достоинств относится осужденье излишних сентиментов, то, вероятно, Вы даже и не позволите мне много распространяться на эту тему.

Я не ответил Вам тотчас, потому что только в истекшую пятницу могло выясниться, достану ли я денег и сколько достану; не далее как вчера мы ездили к Оке в Каширу на предварительную разведку: — словом, у нас относительно лета ничего еще не решено, и как только решится, я не только буду звать к нам Олю, но, конечно, не менее горячо и Вас. Задержка в ответе произошла потому, что я со дня на день ждал разрешенья всех этих колебаний, но пока что, в своих надеждах обманываюсь.

Женя неописуемо худа и если в чем делает успехи, то только в умалении своего веса и ухудшении самочувствия. Это меня огорчает и беспокоит. Ей надо поправиться. Это вполне достижимо объективно, но в субъективной части, т. е. той, которая зависит от нее самой, никогда не удается. Мальчик, хотя и при няне, растет в какой-то общей и расплывчатой дикости. Он и озорник и в то же время отъявленный меланхолик. Эгоистичен до бессердечья, но притом и женственно ласков. Вероятно избалован, хотя я не могу уследить, кем, собственно, и чем. Живется ему, при современном устройстве московских квартир, ничуть не сладко. И то же самое устройство мешает мне понять, в чем его недостаток, или чего ему не достает. Путано очень и тесно, и разобраться в том, что делается с тобой рядом, и вмешаться воспитательно так же трудно, как заняться настройкой рояля среди расстроенного колокольного звона. Утешает то, что он будет жить со своими современниками, а они в большинстве вырастают на таких же колокольнях.

Вы спрашиваете о Жоне и о наших. Там все более или менее благополучно. Похварывала мама, теперь ей лучше. Несравненно лучше и Жонечке. Я оттого не имел от нее давно писем, что и сам больше полугода ей не пишу. Перестал я ей писать как раз, когда узнал о ее болезни и по причине именно ее состояния. Я не знал, как и не знаю и сейчас, чтб именно было с ней, и давно научился не касаться вещей неясных, причем эта осторожность тем больше у меня, чем эти вещи ближе мне и дороже. Если бы я был там, я не щадя сил постарался бы понять, что лежит в основаньи ничего не

значащего и суеверно-научного обозначены!, «нервы», которым с легкой руки докторов, все время они отписывались. Объяснить же что-нибудь во весь рост и достойно наши не мастера, потому что они все истерики, а не философы. Иногда истерия безмерная, прорывающая границы дома, по своей интуиции заменяет ясное и большое вниманье. Тогда эта истерия так же самоотверженна, как ум, и не щадит самое себя, потому что в себе не заинтересована. Но у них истерия домашняя, частновладельческая, т. е. такая, которая ничего кроме путаницы, при рассуждениях не родит. Печального тумана этого я и не трогал, чтобы не заставить их еще его сгущать.

Но вчера я видел живого человека, видавшего всех их дней десять тому назад4, и он мне о них рассказал подробно и восторженно. Все там, слава Богу, благополучно.

Очень Вы меня огорчили сообщеньем о Вашем посещении окулиста. Знаете ли Вы, тетя, что и папе было так же сказано лет восемь тому назад?5 Конечно, он в постоянной печали на этот счет, но, вот видите, работает все, и как хорошо!

Я не так-то их скоро увижу. Мечта о поездке остается в силе, но все откладывается. В настоящее время я верю, что, наконец, все-таки зимой соберусь, но как часто я уже обманывался!

Крепко Вас обнимаю, горячо люблю и благодарю без конца.

Ваш Б.

Женя читала Ваше письмо со слезами на глазах, и оно на нее имело действие еще большее, чем на меня, насколько это вообще мыслимо. У ней сейчас зачеты и всякие другие хлопоты.

Простите, что пишу на клочках: кончилась бумага обоих сортов, хорошая и плохая.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Аспирант Института литературы и языка Востока, египтолог Исаак Григорьевич Лившиц, снимавший комнату у Фрейденбергов.

2 Речь идет об «Охранной грамоте» и «Спекторском».

3 Имеется в виду борьба с политической оппозицией, перекинувшаяся и на идеологическую. В «Охранной грамоте» эти обстоятельства нашли выражение в главе о Венецианской республике и в описании щели для тайных доносов на лестнице цензоров: «Кругом — львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, — львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь». При издании книги (1931) это место было снято цензурой. В «Спекторском» «истекшее десятилетие» отразилось в последней, 9-й главе; см. также: «А за углом, смыкая круг лиловый / И вымораживая рубежи, / Носился террор в лодке рыболова / И разливал по жилам рыбий жир». Первонач. редакция этой главы, по требованию цензуры, была переписана для книжного издания 1931 г.

4 Антонина Константиновна Энгель, вдова композитора.

5 Речь идет о катаракте, которую врачи нашли у А О. Фрейденберг. Аналогичную операцию считали срочно необходимой и для Л. О. Пастернака, что было одной из главных причин отъезда родителей в Берлин в 1921 г.

429. Л. О., Р. И. и Л. Л. ПАСТЕРНАКАМ

21 мая 1928, Москва

21. V. 28. Дорогие папа, мама и Лида! Ваше общее письмо к Женечке было одним из тех драгоценных излияний, которых я всегда так боюсь, потому что мгновенный ответ на них необходим и никак не мыслим с задержкой, но редко когда могу ответить я, а кроме меня этим тут у нас занимаются слабо. И сейчас я ни на что отвечать не буду. Это просто внеочередная скороговорка, чтобы просто вам не оставаться долго без всяких вестей от нас. Письмо к Женечке было чудесное, неоценимое, свинноприимное и бисер-нометное, и он его ни в малой доле не заслужил. Являлся он ко мне с предложеньем писать бабушке и дедушке только в таких случаях, когда знал,

что я занят до последней степени, и мне мешать нельзя. Два-три раза я ему отказал в такой просьбе, сам же ни разу не имел повода предложить, потому что за время болезни накопилось много недоделанного, неразрешенного, и еще более всего такого, что приносит с собой весна и близость лета.

У нас относительно него ничего еще не решено. Шура снял дачу в Битце, по Курской, если помните, дороге, не доезжая Подольска.

Мне хочется поскорее, не спрашиваясь полномочий ото всех в доме, поблагодарить вас за новые подношенья. Частью это шоколад, какао и вещи, привезенные Ант<ониной> Константиновной1, частью говорю я о почтовой повестке на Шурино имя, извещающей о денежном пакете. Но я и благодарю за всех и ото всех, потому что боюсь, что все это не будет сделано вовремя каждым, кому надо это сделать.

Вообще моя жизнь совершенно не похожа на вашу, т. е. на ту, которую я знаю по воспоминаньям и в которой вырастал. Или, может быть, я тогда плохо глядел и видел. Я не могу постигнуть, откуда у вас бралось время и желанье помнить детей по именам и вообще, принимать весь этот шум и шевеленье всерьез. К тому же вы не только одевали нас (что делаю и я), но по непонятной полноте сердца, и любили. Не хочу сказать, что я вовсе бессердечен, или что у меня какая-нибудь «драма». Но все происходящее дома, даже и в тех частых случаях, когда это делается моими руками, как укладки, уборки и пр., доходит до меня как сквозь сон, через среду далекой тишины и рассеянности, которую я всегда ношу с собой и всегда вокруг себя распространяю. Меня не терроризирует дом и не пугают дела и хлопоты, хотя всего этого и у меня хоть отбавляй. Некогда мне по совсем другим причинам.

Как и деньги и вещи, которых я не умею ценить, и всегда рад дать другому, я, вероятно, рад был бы делиться и высочайшею драгоценностью, какую знаю, т. е.: свободным временем (это, может быть, и есть то, что под именем бога обожествляли все религии), т. е. тем чистым промежутком, в который глядится настоящая, как у деревьев и животных, предельно полная жизнь. И как это ни невероятно, свободного времени, для разделенья с кем бы то ни было, у меня бы нашлось достаточно, потому что каждый всегда ухитряется добывать и копить то, что считает наиценнейшим. Но более, чем какая другая на свете, это — вещь на знатока. Пониманье искусства, как оно ни редко, распространено гораздо больше, чем чутье и пониманье свободного времени. Я говорю о вещи, которая гораздо более простого «досуга». Я говорю о живом времени на свободе. Эту вещь я готов был бы разделить (и разделял, случалось) только с тем, кто знает, что такое — мгновенье. Оттого столько красоты в грозе, которая, громоздя пространства на пространства, заставляет их мигать, т. е. показывает, как бездонно мгновенье, и какую прорву верст оно может поглотить и какой прорвой разродиться. Но так как редко кто знает, как неисчерпаемо и поместительно мгновенье, то почти не с кем его и делить, а мгновенье-то только и есть свободное время. Так, в таком смысле и некогда мне всегда, т. е. у меня нет времени для тех, кто не знает, что это такое.

— Я жалею, что разболтался на тему, которая мутнеет, а не разъясняется от не сосредоточенной и не сведенной в формулу, болтовни. И вообще это совершенные пустяки, а в такой передаче, возможно, к тому же и ошибочные.

— Я к чему стал вам писать, — во-первых, видел Ант<онину> Конст<антиновну> и спасибо вам за приветы и чувства и все то, что она о вас рассказала. Потом еще два-три сообщенья. Сказался однажды по телефону Гарштейн, — можешь себе представить, как я его звал и хотел видеть; он обещал прийти на другой день, но только его и видели, а спросить, где он остановился, по крепости и естественности его обещанья я не догадался. — Сергеенкин2 поклон тебе уже передан. — Читал на днях в здешней Академии Художественных Наук о тебе, как графике, Паветти3. Читал тепло, с понятным и уместным чувством, т. е. упрекнуть его лично не в чем, — но очень

неумно читал и очень наивно. Разумеется, это последнее — между нами. Но если он доклад свой подготовит к печати, произведенье это так или иначе не минует меня, и, может быть, без его ведома, чтобы его не обижать, нужные поправки будут внесены в нужную минуту. Ошибка его заключалась в том, что он момент некоторой недооцененное™ подал скрипично-жалостливо, в тонах глупейшего сентиментального трафарета, а в стремленьи «объяснить» и — «разгадать» такую «проблему», такую, с позволенья сказать, небывалую невидаль и новость, как недооцененность художника (точно это не постоянный закон истории, ничего единичного и исключительного не заключающий), соскальзывал в пошлейший лепет об еврействе, о правах жительства, гоненьях и пр., что уже просто, по чутью, скажем, Ольги Александровны или Аристовой, или Ек<ате-рины> Васильевны4 не соответствовало истинному твоему облику тех лет, и людям тебя не знавшим, молодым и новым, представляло в превратном (пусть на взгляд П<авла> Д<авыдовича> и «трагическом» или трогательном) виде. Но сердиться нельзя, потому что в этот вечер, на половину давший личные воспоминания П. Д. (не то, чтобы он говорил о себе, я не то говорю, он себя и словом не помянул; но, ведь, говоря о тебе, он невольно припоминал и лучшее и самое дорогое свое время); да так тут вдруг простодушье его развернулось во всем объеме. Если бы он был эгоистичнее, он, конечно, был бы гораздо умнее.

— Наконец, письмо от тети Аси, страшно милое, непоследовательно-содержательное, с прижиманьем меня к своему сердцу, — удивительное, — но в котором сообщает, что была у окулиста, который нашел у ней катаракт на правом глазу и просит донести это до твоего сведенья. Кстати сообщает о твоей рассеянности, как ты ее из Фрейденбергов опять (на конверте) в Пастернаки перевел, и очень горячо о вас всех спрашивает. Вчера ей ответил, напишите и вы.

— Здесь под Москвой где-то обретается Женя Геникес5 с мужем и ребенком. Она раз была тут. Она, кажется, порядочная дура, муж же ее махровый и оглушительный parvenu*. Кстати, я не спросил ни ее адреса, ни фамилии. Взаимно излишне.

Крепко вас всех обнимаю. Ваш Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Вдова Ю. Д. Энгеля возвращалась из Палестины, где скончался ее муж, через Берлин.

2 Петр Алексеевич Сергеенко — друг и последователь Л. Н. Толстого.

3 П. Д. Эттингер.

4 О. А. Айзенман, Анна Ивановна Аристова и Е. В. Гольдингер — художницы, ученицы Л. О. Пастернака.

5 Внучатая племянница Л. О. Пастернака.

430. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

21 мая 1928, Москва

21.V.28

Дорогая Раиса Николаевна!

Я уже совершенно здоров. Без конца благодарен Вам за ис-полненье просьбы. На этот раз меня в особенности поразила чистота Вашего слуха. Вы догадались, что я почувствую себя совершенно несчастным, если Вы не соблюдете всех мелочей и подробностей, о которых была тогда речь1: и эта догадка, вытекающая, вероятно из Вашего доверья ко мне, меня особенно взволновала.

* выскочка (фр.).

На Вас можно загадывать, Вы выдержите любое «испытанье случайностью». Спасибо, спасибо Вам.

Вчера я наконец воспользовался Вашим сообщеньем2. Временная задержка, которая с этим произошла, отчасти отразилась и на ответе. Простите меня, мне не хотелось иначе.

Скоро ли Вы собираетесь в Lenno? Как только это случится, известите меня о перемене адреса. Вот уже третья весна, как Ваши передвиженья сопровождаются слабыми земными толчками на другом конце земли, где путешествует, в мыслях о Вас, не сдвигающееся с места воображенье. Особенно наблюдается это весной, вероятно потому, что с весны на весну именно и откладываются надежды на очную встречу.

Сейчас ничего не сообщу Вам интересного. Вообще, для того чтобы это получилось, я не должен касаться себя, потому что каждый раз, как я говорю о себе, или рассказываю о планах, непременно выходит какая-нибудь плохо представимая отвлеченность. Здесь ждут Горького, он приедет на будущей неделе. Я вероятно увижу его и тогда напишу. Я многого жду от этой встречи. Из больших людей он пожалуй единственный может дать ключ ко времени, очень странному и полувымышленному, которого он однако служит наиярчайшим оправданьем одним своим обликом и судьбою. Главные надежды я возлагаю не на его устные объясненья необъяснимого, а на то, что, собравшись вокруг Горького, как близкого центра, это необъяснимое станет зрительно понятнее и мертвый факт может быть засветит живой очевидностью3. Т. е. к его приезду я протираю глаза гораздо усерднее, чем прочищаю уши.

Женя регулярно худеет, месяц к месяцу, неделю за неделей. Зимой она была в санатории, стала поправляться и принимать в весе, я очень просил ее остаться еще на две недели в доме отдыха, но учебные сроки по-детски терроризовали ее, чему не было никаких оснований, кроме той охоты, с какой она этим пустякам давала над собой власть. И вот вся поправка пошла насмарку. Вероятно мне удастся отправить ее с мальчиком и прислугой на Кавказ, на месяц, или же, если ей там понравится, то и на другой. Я же останусь в городе, так как болезнь наготовила мне всяких неожиданностей и перепутала все планы. Были случаи, когда люди с Кавказа приезжали окрепшими и пополневши. От Жени же я такого подарка не жду. Когда доктора ей что-нибудь прописывают, она достает микстуру в аптеке, чтобы сложить вину с провизора и переложить будущую ответственность с него на себя. На этом все и кончается. Конечно все это очень честно и человеколюбиво, но и не более того. Все доктора прописывали ей всегда железо, она неизменно запасалась им и никогда не принимала. В этом она показала большую выдержку и силу воли. Последнее письмо, что я получил от М<арины> И<вановны>, было еще до Вашего, т. е. в конце апреля. Она там восторженно и увлеченно говорила о письме, полученном от Вас4. Но я и сам больше месяца не писал ей.

Это не письмо, Раиса Николаевна. Это уведомление о двойной растроганности и признательности. Если Ваши дорожные сборы не за горами, то тут же и пожелаю Вам, Юрию Владимировичу и Юрию Юрьевичу счастливой дороги. Расстаюсь я с Вами в сознании, что я Вам обязан отчетом о Горьком, о литераторах, которых у него увижу и пр. и пр.5 Всего лучшего.

Преданный Вам Б. И

Жене нездоровится, она от души кланяется Вам и всем Вашим.

Впервые: «Минувшее», № 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 Имеется в виду просьба, выраженная в письме № 423, о посылке денег Цветаевой и желании Пастернака компенсировать эту сумму родственникам Ломоносовых в России.

2 По-видимому, Ломоносова сообщила адрес своей приятельницы

В. Е. Тар, которой Пастернак с этого времени регулярно высылал деньги.

3 См. письмо № 432.

4 Цветаева ответила Ломоносовой 20 апр. 1928 (М. Ц. Собр. соч. Т. 7. С. 313).

5 См. письмо № 435.

431. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

28 мая — 7 июня 1928, Москва

28. V

Дорогая Марина! Я ужасно рад твоему листку и его живой, почти укоризненной короткости. Ты и это умеешь, как никто. Мне его недоставало, чтоб написать тебе. Я совершенно здоров. Ты права, что я написал тебе туманно. Хуже, я писал тебе как старая баба, с ханжеской похоронной многозначительностью, со всех сторон дурацкой. Но мне было плохо тогда, да впрочем я и сознавал глубину музыки, в которой в том письме плавал, отчего и попросил тебя его уничтожить1. — Но еще хуже: я ничего не сказал тебе о Красном бычке, точно его и не было. Он очень настоящий и безвыходно-простой; всего грустнее и сильнее средние строфы: длинный, длинный, длинный, длинный2, и т. д. где эта песня всего песеннее, и так все вобрала в себя, точно сложена самим походом, а не в нем только. Непростительно, что я вовремя тебя за его посылку не поблагодарил. Но мне кажется, что ты меня простила. — Я совершенно выздоровел, но отдохнуть не придется. В отличье от прошлого года, когда мы все втроем провели чудное лето в чудесном месте, мне это не удастся на этот раз. Вероятно я Женю с мальчиком и няней подыму на Кавказ, но тем моя подъемность пока и кончится. — Странно. Я должен был бы зарабатывать много, несравненно больше, чем зарабатываю, в совершенно других счетных единицах, — тысячи, как их тысячи и зарабатывают, — писатели, журналисты, критики и компиляторы. Отчего же это у меня не выходит и мне так трудно? Я думаю, это от того тоскливого отчужденья, которым я охвачен: я все не могу отвыкнуть от мысли, что временно живу не своей жизнью, но может быть я неправильно выразился, следовало сказать: я не могу привыкнуть к ней. О как все было бы по-иному, если бы ты была тут! — Ты неправильно называешь Ломоносову: ее зовут Раиса Николаевна, ты же пишешь Р. В. — Применительно к твоим последним письмам Ася просила тебе сказать, чтобы ты не писала о лицах, которые ее не интересуют и упоминанье о которых, напр. В<ырубова?>, может доставить ей огорченье3. К этой просьбе присоединяюсь даже и я. Я никогда не ограничивал тебя в переписке, как и себя, в этом отношеньи ничего не изменилось, только смотри, чтобы здравое чутье не изменяло тебе. И прости, родная, за докторальность тона. В упреке Аси всего более виноват я сам, так как сам подал основанье твоей тематической вольности. — Перед болезнью я близко познакомился с Мейерхольдом. Было это так. Он поставил «Горе от ума» настолько же дерзко по-своему, как перед этим и «Ревизора» (постановка гениальная), т. е. с кройкой текста по авторским черновикам, с привлеченьем историко-бытовых красноречивос-тей, Грибоедову современных, но им не затронутых. Он дал многоговорящую возможность эпохи, несравненно более правдоподобную, чем прямая действительность комедии, какова она есть. В постановке множество провалов, детских, неописуемых, как всегда у него. Но если бы ты знала, насколько глубоко то настоящее, что беспорядочными глазками навара плавает в этом детском супу! В официально-критических кругах, «простивших» ему Ревизора, на этот раз подняли травлю. Тут с вечной омерзительностью, этой категории присущей, больше всего кричали об индивидуализме и «нереволюционности» былые нововременцы, ко-

торые «верой и правдой» служат новому порядку именно по департаменту его невыносимости, т. е. всякие тупицы и Слащевы от литературы4. Я и не посмотрев еще «Горя» (с меня Ревизора довольно было, навсегда поверил) послал ему «1905-й год» с надписью. Он немедля написал мне, позвонил, мы познакомились и несколько дней я

жил им, его женой, детьми Есенина5, их домом, их гостями и театром. Особенно он меня пленил своим непередаваемым pile-mile* из «Балаганчика», террористического коммунизма, седины, провалов, прозрений и других несовместимостей, живущих в его молчаливой улыбке. Кроме того, он, как редко кто, знал, как и о чем со мной говорить, т. е. был на редкость прост и приветлив. В те дни я точно побывал в отъезде и только-только не доехал до тебя, хотя это было очень близко, даже и внешне, благодаря множеству иностранцев, встреченных у него. — Последние дни мне пришлось писать одну вещь, тягостную по своей неисполнимости еще больше, чем от воспоминаний, с этой работой связанных. Осенью скончалась Лили Харазова, помнишь, я однажды послал тебе ее немецкие стихи, и в вечер смерти Рильке она ко мне заходила?6 Теперь ее второй муж издает в Германии ее стихотворения, и мне, по смыслу контракта, который он там заключил, надо писать к ним послесловье7. Она скончалась 24-х лет, была красавица и не от мира сего, была медиумичкой, рассказывать о ней, — не кончить, она была человеком глубоко одаренным с действительно, — по двум-трем подробностям, — ужасной судьбой — только оттого я и отнесся и отношусь к ней как старший брат (я видел, что иначе нельзя, потому что всякая радость при-выкла оборачиваться для нее несчастием, а с нее и перенесенных уже за глаза довольно). Она кроме того писала стихи, и часто хорошие, и во всяком случае, со всем перечисленным связанные и косвенно о нем говорящие. Таких данных для людей бывает достаточно, чтобы, путая биографию, психологический разряд, судьбу, обстановку и пр., заговаривать прямо о поэтической документации, будто бы носящей все эти волнующие черты, между тем как весь фатальный трепет человеческого явленья и ухода именно в том, что вещь не одна, а их две, и один разговор — характеристика возможностей, характеристика же дела—другой. Самое главное в ее жизни, на мой взгляд, было то, что она родилась в Швейцарии и безотлучно там прожила до 15-летнего возраста, воспитывалась в одном из лучших пансионов, а когда кончилась война,

* смесью, путаницей (фр.). 217 была одна, 15-ти лет, ни слова в жизни не слыхав по русски, препровождена в Россию (на Кавказ) к отцу, уехавшему оттуда в начале войны. Девочка проделала этот путь (18-й — 19-й год!) одна, сквозь хаос, разруху, тиф, мешочничество, гражданскую войну и пр., прямо из-за стола табльдота, — а об отце всю войну не было вестей! Но это еще только полповести, главное же впереди. Отец ее талантливый мерзавец из мистических анархистов и средне-пробных гениев, математик, поэт, все что хочешь, — чтб ему дочь, да еще в момент, когда его, богача, разорила революция? Если и до нее, по пятому изданью Заратустры все было ему (именно ему, это о нем радел Fr. N<ietzsche>8) позволено, то что же говорить о 19-м годе. Тут ведь он даже вправе мстить, направо и налево, дочь так дочь, кому попадется. Благодаря ему, ее кругом стала среда тифлисских вундеркиндов кофейного периода, имажинистов, ничевоков и пр. (Ты помнишь этот кокаинный олимп в «Домино»9 и «Дв<орце> Иск<усств>»?) — Так вот, все встало в своей мере предо мной, когда я ее всего лишь увидел, при полном же вторичном огляде и подавно. Так я и написал. И началось. Муж, Ася, Женя. Я-де «ничего почти не сказал о ней, как о поэте». А в том-то и ее трагедия, что поминать ее значило проклясть вновь и насвежо случай (переезд) и среду, именем покойницы, ее памяти ради. Придрались к фразе: «Я увидал, что искусство в ее жизни только случай, что неотразимо обаятельная и глубоко несчастная, она — свободна и не порабощена им»10. Я не знаю, зачем я пишу все это тебе и вдался в такие детали.

Сейчас я дописываю, начало письма пролежало больше недели. Прости, что так долго тебе не отвечал. Теперь я понял, к чему такая реляция о послесловьи. Дела были, много таких вот дел. Сама покойная Lili конечно не «одна из» неотложностей, она вне

разряда (ты должна была ее видеть!), но советы и пересуды и уго-вариванья вокруг статьи. — Как пример и хотел привесть.

Вчера на Кавказ уехала Женя с Женичкой11 (буду в другой раз жить позабочусь о несовпаденьях, очень неудобно). Ей надо поправиться, она очень худа и бледна. Я остался, потому что не успел справиться матерьяльно, вообще это лето придется поработать, не знаю, вырвусь ли куда-нибудь. — Больше таких идиотских писем не будет. Это оттого, что я его пишу урывками, ввожу и бросаю, не успев ничего сказать. У меня к тебе большая просьба. Не могу найти 2-го и 3-го тома Бальзаковых «Illusions perdues»\

* «Утраченных иллюзий» (фр.). 218

Первый есть, верно при распродаже книг в голодные годы отнес без первого и так сошло. Купи, пожалуйста, и пришли мне их почтовой бандеролью, иностранных книг не задерживают, всегда получал. О том же довольно давно просил сына Балтрушайтиса, Жоржика, но он не сделал, и чтобы не было повторенья (а вдруг соберется) извести его, пожалуйста, открыткой Paris XIV Villa Virginie 5 (т. е. наоборот: 5, Villa Virginie). Изданье Calmann Levy в серии Nouvelle collection Michel Levy, im franc le volume (так было когда-то) в зеленой обложке. Первого тома не надо, — есть. Прости, что так прямо без обиняков, утруждаю и заставляю тратиться. Если будут когда-нибудь еще подобные просьбы, устрою иначе и для тебя легче. — Пожалуйста, не сердись за молчанье и такой его перерыв. Мне правда, временами, трудно. Напиши мне, пожалуйста, как с твоей книгой. Извести о выходе, но по почте не посылай, русские книги никогда не доходят. Поцелуй Сережу, я виноват перед ним, но сейчас, правду говоря, я ни перед кем не виноват, ни перед ним, ни даже перед тобой, моя дорогая, родная.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 168).

1 Имеется в виду письмо 22 апр. 1928 с описанием гайморита. «Спусти мне, пожалуйста, пошлость этих расхожих советов, — писал Пастернак, — потому что мне сейчас и думать запрещено, но мне кажется, все устроено как нельзя лучше, потому что ко времени, когда положенье (т. е. значенье затраченной жизни и заключительная безвыходность итога) становится действительно глупым, глупеешь и кончаешься до положенья и его не замечаешь. Не хочу сказать, что так полностью обстоит сейчас со мной, но равнодушье, которое меня охватило последние дни, дает о том достаточное представленье. Это — равнодушье простое, одноголосное, не расщепленное возраженьями, в своей внутренней молчаливости похожее на беспамятство. Мне не хочется умирать, хотелось бы поскорее выздороветь, но ничего не надо и ничего не нравится. Глупо писать из недр такого туманно-обложного состоянья, и с этого признанья я начал. Я несомненно оттолкну тебя. Но я скорее и не пишу, а извещаю тебя о неписаньи и о его причинах. Благодарю С. Я. за приписку. Прости, разорви письмо и забудь о нем. А может быть, поправившись, мы (поколенье сверстников) еще покажем» (там же. С. 486).

2 Поэму «Красный бычок» Цветаева посвятила недавно скончавшемуся, бывшему участнику гражданской войны на стороне «Добровольческой армии» В. А. Завадскому. «Длинный, длинный, длинный / Путь — три года на ногах! / Глина, глина, глина / На походных сапогах».

3 «Огорченьем» Пастернак называет опасность упоминания в письмах некоторых имен с точки зрения перлюстрации переписки.

4 О критике спектакля Мейерхольда см. в коммент. к письму № 418. Яков Александрович Слащев — генерал Белой армии, с 1921 г. — в Красной армии.

5 Жена Мейерхольда, актриса З. Н. Райх, была первой женой Есенина и матерью его детей.

6 В письме к Цветаевой № 349.

7 По просьбе мужа Лили Харазовой, поэта А. И. Ромма, Пастернак написал послесловье к посмертному сб. ее стихов, готовившемуся и не вышедшему в изд. И. Оттенса в Берлине. См. т. V наст. собр. С. 31.

8 Имеется в виду книга Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»; в данном случае речь идет об обыденном восприятии ницшеанской идеи сверхчеловечества, которой оправдывались властные и аморальные претензии.

9 Кафе поэтов на Тверской, д. 18.

10 Эти слова не вошли в сохранившуюся в бумагах А. Ромма машин, статьи «Лили Харазова» (1928).

11Е. В. Пастернак с сыном уехали 5 июня 1928 г. в Геленджик, на Кавказское побережье Черного моря.

432. А. М. ГОРЬКОМУ

30 мая 1928, Москва

30.V.28

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо Вас поздравляю со счастливым приездом и со всем тем, чего Вы были виновником и свидетелем1. Надо ли говорить Вам, как я хочу Вас видеть! Но не только не думаю я о встрече в эти первые дни или о часе, мне назначенном, но прямо бы этого не хотел и такой возможности испугался, потому что не выдержал бы разговора с Вами наедине и обязательства, которое бы такой случай на меня налагал.

Я мечтаю о совсем другом. Пройдет время, и Вы может быть как-нибудь соберете у себя кого-нибудь из писателей или из моих сверстников. Я был бы тогда рад получить от Вас разрешенье быть в их числе. Если бы в таком случае Екатерина Павловна меня об этом известила, она без конца обязала бы меня2.

Но наверное и таким пожеланьям нет счету, и они неисполнимы, и среди них отпадает и мое. Я и не для того Вам пишу. Я только хотел Вам сказать, что я тут, т. е. что со вчерашнего дня стал читать газеты и, не видя Вас, все это сопереживаю. Они неузнаваемы, как и лучшая часть людей кругом, и неудивительно: среди нас второй день находится высочайший авторитет страны и времени, тем не менее оставшийся человеком, и живой, — редкость, со времени Вашего отъезда и смерти Ленина и несчастий с Троцким3 утраченная и только вчера возмещенная.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12. 14).

1 Горький приехал 28 мая 1928 г., впервые после 1921 г. Пробыл в Москве до октября, после чего снова вернулся в Сорренто.

2 Пастернак пробовал высказать свои надежды, которые он возлагал на приезд Горького, на заседании в редакции «Красной нови» 9 июня 1928 г. Но Горький никак не отозвался на его слова. См. письмо N° 549.

314 декабря 1927 г. Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев были исключены из партии, в январе 1928 г. Троцкий с семьей был выслан в Центральную Азию. 18 января 1929 г. было принято постановление ГПУ о высылке Троцкого за пределы Советского Союза.

433. Е. П. ПЕШКОВОЙ

1 июня 1928, Москва

1. VI. 28

Дорогая Екатерина Павловна!

Церемония представления по отношению к Вам бессмысленна и излишня, в своей доброте Вы не щадите себя и делаете все, что в Ваших силах, и в этой посредствующей роли я чувствую себя перед Вами очень глупо и неловко.

Но она меня не тяготит, потому что вручительница письма Татьяна Павловна Руднева хлопочет о том же, чего всей душой хотел бы и я, убедить же ее в том, что никаких писем к Вам ей не надо, и что ни одно из них Вам не скажет больше того, что Вы почувствуете сами, мне не удалось.

Т<атьяна> П<авловна> живет по соседству с нами. У ней я и видел однажды ее сестру, Е. П. Васильчикову1. Это — девушка, уже и в детстве натерпевшаяся неисчислимых бед и испытаний и теперь совершенно больная. Надо верить, что подозренья, основанные на ложной видимости, рассеются, а одно происхожденье основаньем к обвиненью служить не может. Ее вероятно освободят и так, но в виду ее болезненного состоянья Т. П. хлопочет о том, чтобы это случилось по возможности скорее.

Не присоединяю к ее голосу своего, и не прошу Вас обо всем этом особо, потому что знаю Ваше сердце, и с высотой Вашего деятельного участия своим словесным и ничего не стоящим равняться не смею.

Глубоко уважающий Вас и признательный

Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (Архив Горького, Ф ЕП — Кр. 45.11. 1).

Е. П. Пешкова — первая жена А. М. Горького, работала в Красном кресте, помогавшем политическим ссыльным и заключенным. В ее архиве сохранилась аналогичная просьба Пастернака (вероятно, 1935 г.), касающаяся Георгия Венуса (см. коммент. к письму N° 725).

1 Екатерина Павловна Василъчикова — художник-иконописец, после освобождения вышла замуж за пианиста А А Егорова, скончалась в 1980-х гг.

434. Е. В. ПАСТЕРНАК

13 июня 1928, Москва

Дорогая Женичка!

Спасибо тебе за телеграмму и открытку из Краснодара. Мне пришло в голову, что ты считаешь телеграмму извещением об адресе и будешь молчать, пока я тебе не напишу. Извести меня все же, нравится ли тебе в Геленджике и рада ли ты, что в нем поселилась? Кроме того, справься и напиши точно, куда и как посылать деньги. Ходят также всякие тревожные слухи о юге, о хлебных карточках и прочем. Успокой меня и на этот счет. Если ты разочаровалась, то не пугайся видимой бессмыслицы, какая бы получилась в отношении сделанных затрат, и поскорее возвращайся, никакой бессмыслицы не будет, наоборот, было бы бессмысленно оставаться там, где тебе не нравится. Мы бы тут поселились под Москвою. А если там у тебя хорошо, то тогда, разумеется, не о чем и говорить, живи, не отказывай себе ни в чем. Постараюсь деньги тебе выслать через неделю.

Похвалиться ничем не могу, чувствую себя неважно, не сплю. Первое время, пока было холодно, было довольно хорошо. Но вот второй день духота и это, ты знаешь, как бред. Еще два раза видел Горького, второй раз на редакционном собраньи «Красной Нови». Говорили ничего не значащие общие места, исключеньем явились слова Конст. Федина и Ник. Никитина. Пробовал сказать и я.

Когда я кончил, Горький встал и, не глядя на меня, простился со всем собраньем, ссылаясь на недосуг. Никто ничего не понял. Я же говорил понятно и, думаю, что не пустяки. Так думают и другие1. Оттуда в обществе Ал. Толстого, Никитина, Катаева и Олеши пошли к Буданцевым. У них новая квартира в две комнаты на Петровке. Он, как и многие, продал собранье сочинений в Гизе, вышел уже Ш-й том. Живут они во

всех отношеньях прекрасно, тебе бы понравилось, и, правда, не налюбоваться. Она ему посвятила всю жизнь, даже в работе помогает, он ей сказал, не подумав, двусмысленность, она надулась, все хором стали упрашивать их помириться, что они скоро и исполнили. Они оба с дарованьем и мне нравятся.

Вообще, конечно, они из числа тех немногих людей, с которыми я почти не встречаюсь потому, что они близки, и я с ними хотел бы встречаться и надо бы. Лето они проводят в Кашире. Нам надо было смотреть на заводском берегу, мы этого не знали, там сдаются настоящие дачи.

В конце недели едут в Евпаторию Асеевы. Я у Коли провел полвоскресенья. Вчера смотрел «Растратчиков» в Художественном2. Катаев написал мне записку, когда я пришел домой и ее развернул, то увидал, что она — на два лица.

Я предложил Стелле, и очень рад, потому что один побоялся бы идти в театр (т. е. просто не пошел бы, — я плохо сплю), а так, — был связан обещанием. Кроме того, ее соседство успокаивало меня.

Было большим несчастием, что грипп с головой пришлись на самую весну. При здоровье я, может быть, справился бы со сроками, как прошлый год, и мы были бы все вместе. Потом, как понимал, я все-таки предлагал тебе комбинацию с общей дачей для нас и месячным санаторным отдыхом для тебя. Для меня это было бы счастьем. Но грех говорить о нервности, о нездоровое™ летнего одиночества, когда рядом — случай, где те же самые начала развились до угрожающих размеров, в которых уже обращаются к врачам. Таков случай с Ниной. Я не вправе в письме рассказывать тебе о том, что узнал от Коли3.

У него дрожат губы, и он сдерживает слезы, когда об этом заговаривает. Разумеется, он дрожит только за нее и о себе не думает. Как и ее состоянье, так и их жизнь — гораздо сложнее, чем ты думала (помнишь наш разговор по дороге в Тайнинку?). Я изумился его выдержке и нравственной высоте. Кроме того, он хорошо делает, что ничего не говорит родным.

Напиши мне, пожалуйста. Я не жалуюсь. Есть единственное светлое пятно в той грустной каше, в которой я сейчас тону. Я почему-то очень надеюсь, что на этот раз ты в точности будешь исполнять наставленья Разумовой4, отойдешь, пополнеешь и, может быть, станешь спокойней. Если бы это случилось, и ты такой приехала, это было бы сверхкавказом для меня, ты это знаешь.

Дорогой Женичка! Ну как же твои кавказские яблоки и камушки и крабы? Рад ли ты, что попал к морю? Тепло ли у вас, и смотришь ли ты за тем, чтобы мама часто кушала? Кланяйся Мане5. Крепко целую тебя. Твой папа

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

1 Заседание в редакции «Красной нови» было 9 июня 1928 г. О своем выступлении на этом собрании Пастернак писал также Р. Н. Ломоносовой (письмо № 435).

2 «Растратчики» — пьеса В. П. Катаева.

3 Речь идет о нервном заболевании жены Н. Н. Вильяма-Вильмонта Нины Павловны Воротынцевой.

4 Известный врач-гомеопат; ее приглашали к Б. В. Пастернак.

5 Прислуга Пастернаков.

435. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

15 июня 1928, Москва

15. VI. 28

Дорогая, дорогая Раиса Николаевна!

Я Вам дважды начинал писать на этих днях. Пятого числа Женя с Женичкой отправились на Кавказ. Они обосновались в Геленджике, это под Новороссийском у

Черного моря. По-видимому это место ничем не замечательное, голое и грязноватое — да и море там, как бывает в бухтах, не совсем настоящее, с налетом застоя, я представляю себе1. Женя очень переутомилась за год и уехала совсем худая, побывав у врача, который ничего, кроме общего и нервного переутомлены! у нее не нашел, но в ее случае и этого больше, чем много. Ей нужно смотреть за собой, хорошо и правильно питаться и отдохнуть. Все эти вещи, в каком-то отношеньи связанные с доброй волей. С ней прислуга, в средствах она не будет стеснена. Для меня было бы больше чем простой радостью, если бы она поправилась, успокоилась и поплотнела: я бы пережил это и лично, как нечто, произошедшее со мной или с моим внутренним миром. И оттого, что это такая мечта, она мне кажется несбыточной, я боюсь, что этого мне не подарят. Выбор места был неудачен. Ей хвалили его2. У нас были сомненья. Чтобы с ними покончить, она как бы с отчаянья собралась в два дня и опрометью кинулась в эту пыль и захолустье. Вы много сделали бы мне и ей, если бы туда написали. Это значит: СССР, Черноморская область, Геленджик (близ Новороссийска) улица д-ра Гааза, д. 22, Е. В. Пастернак.

Я остался тут один, заканчивать всякие дела, дописывать всякие вещи, и не знаю, сколько это продолжится. В противоположность отдаленным школьным годам, одиночество теперь меня делает больным во всех отношеньях. Я это знаю и всегда наперед его боюсь. Я говорю о лете в городе. На этот раз его не удалось избежать. Я затянул дела во время весенней болезни и за семьей не поспел. Оно, т. е. это непривычное одиночество не только лишает меня сна, но превращает в тряпку и надо прибавить, в душевных каких-то возможностях, — еще и грязную. Вообще как страшно, что у человека есть доступ к отдельным элементам, из которых он сложен, благородный только в целом, только на ходу, только в непрерывном движеньи судьбы. Общеизвестно слово «самоанализ» и достойная оценка ему давно и навсегда дана. Меньше говорится о том сумасшествии, о том «самоанализе», который без ведома и тайно от нас, пока нас спасает привычка, и вдруг открыто на наших глазах, когда мы остаемся непривычно одни, производит вся наша нервная сеть, всё то, что попадает в объектив, когда нас снимают во весь рост. Этот распад, этот от здоровья неотличимый бред, дает отдаленное понятье о грязи и позоре, заключающихся в смерти, не смерти вообще, не в моей для Вас, а в моей без меня3. Стараешься держаться на достойной высоте над этим переполохом горячих и щемящих частностей. Начинаешь думать, что прежде, да и всю жизнь, тебя поддерживали на ней друзья, родительская семья, потом твоя собственная, т. е. всегда чьи-то другие руки, которые следовало целовать по тому аду, от которого они тебя спасали, и которые не всегда ценил, как они того заслуживали. Но довольно об этом.

В идиллическом состояньи, которым я тогда пренебрегал и которое верну не скоро, я обещал написать Вам о Горьком4. Законное, заслуженное и естественное значенье подлинно-народного авторитета поставило его в положенье неба надо всеми простертого и все решительно объединяющего. Оно когда хмурится, когда согревает всех своей улыбкой, но вне этой постоянной широты немыслимо. Его разговоры со страной самая сырая правда и лучше ничего не придумать. Его встречи с писателями обоюдные недоразуменья и неудача, самоограниченье, с которым эти встречи сопряжены, ему не подобает, а это и других ставит в ложное положенье. Три раза я видел его в такой обстановке. Два раза молчал, и он улыбался мне, на третий заговорил вслед за Фединым, и он встал и ушел, на нас не глядя. Вероятно он меня не любит, хотя прямых доказательств тому не имел, и письма его в этом не убеждают.

Не следуйте его примеру. По тому, что в давнишнем майском письме о Вас писала М. И., чаю, что она в деятельной переписке с Вами5. Она — большой и горячий

человек, что бы Вам ни показалось. Я Вас обеих друг по другу ревную и в данную минуту Вас больше, чем ее. Вы не знаете как я дорожу Вами.

Преданный Вам Б. И

От души привет всем Вашим. Где Вы и что Вы сейчас?

Впервые: «Минувшее», JSfe 15. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 Б. В. Пастернак писала 9 июня 1928: «Здесь бухта, море у берегов грязноватое, подходит почти в упор к отвесному склону, так что между морем и горой узкая полоса серых однообразных камушков...» («Существованья ткань сквозная». С. 252).

2 Год назад в Геленджик ездила Ольга Александровна Айзенман, была очень довольна и рекомендовала Пастернакам поехать туда.

3 Здесь в письме передается содержание писавшегося в те дни стих. «Рослый стрелок, осторожный охотник...». См. письмо JSfe 442.

4 Письмо JSfe 430.

5 См. письма Цветаевой к Ломоносовой (М. Ц. Собр. соч. Т. 7).

436. Е. В. ПАСТЕРНАК

17 июня 1928, Москва

17. VI. 28

Дорогая гулюшка! Сообщи мне, не откладывая, как и куда посылать тебе деньги, т. е. простым ли почтовым переводом на д. 22? Можно ли тебе прислать 300 руб.? Как к тебе относятся кругом, и хорошие ли вас окружают люди? Наступила ли перемена в твоем самочувствии? Лучше ли чувствуешь себя? Пополнела ли? Как сказать мне тебе это, чтобы ты простотой и серьезностью сказанного прониклась: не отказывай себе ни в чем и счета деньгам не веди, плюнь временно на призванье, на работу и заботы, отдохни, предоставь себе полную волю. Я знаю, что данных для этого меньше, чем могло бы их быть: оттого и стоял я за твою полную изоляцию и помещенье в санаторий. Теперь твой долг доказать, что я ошибался, и стать Столяровой1 и в Геленджике.

Милая, я огорчил тебя, верно, прошлым письмом, тебя могло обеспокоить мое состоянье. Мне гораздо лучше, т. е. — фу ты черт, о чем приходится писать — с желудком наладилось, нервы уходились, всем этим я обязан холодной погоде, стоящей эти дни. Сплю же я по-прежнему редко когда хорошо, но все-таки это далеко не то, что было в первые дни по вашем отъезде.

Вчера мне звонил Всеволод Эмильевич2 и законтрактовал меня на сегодня к себе на дачу. Это в 4-х верстах в сторону от Салтыковки, условился о лошадях, но я плохо спал и не поеду. К тому же я и занят. Я хочу сейчас сделать то, чего не собрался сделать за год и чем не смогу заняться в другое время: собрать старые книги и стихи, разбросанные по журналам, по прошлогоднему договору с ГИЗом. Я пробовал переделывать «Близнеца» зимой, но это как-то не шло, теперь двинулось и кажется пойдет легче. Я тебя страшно люблю и моего зрелого, взрослого Кудлаша. Только была бы вам польза от нашей разлуки. Сделай, о сделай, чтоб было так. Какое бы это было счастье!

Я не знаю, когда и где мы увидимся. О возможности, скользнувшей в свое время при обсужденьи лета, т. е. о том, чтобы провести все его без вас, с короткой поездкой к тете Асе, не хочу и думать. Но вы ли вернетесь сюда, или я к вам через некоторое время (две недели — один месяц?) поеду, мне не ясно и это должно быть яснее тебе.

Вот что вкратце тебе напомню, чтобы ты помогла мне это решить. Длительного безделья, как прошлый год (пол-лета я больше читал и гулял), я себе в этом году позволить не могу, в этом может быть виноват 1 У2-месячный пропуск по болезни (да и больше, если вспомнить зимнюю историю с рукой). Следовательно, приехав, я действительно вскоре должен засесть за дело. Мыслимо ли это в Геленджике? Ты писала, что да3, и возможность эта стоит передо мной: я только говорю о ней с

сомнением потому, что ведь и вообще ты Геленджиком не очарована, и не лучше ли, по моем приезде будет нам всем переехать куда-нибудь еще, скажем, в горы? В последнем случае потребуется больше денег, чем мы думали и чем по бюджету у нас пока есть, но такая возможность не отнята у нас, я бы изловчился и достал их, — несколько больше для того задержавшись. Больше всего мне улыбается именно такой план, и он допускает разнообразные изменены! (например, если Геленджик вовсе не годится, то чем давать крюку и тратиться на переезды, могли бы прямо вы переехать куда решим, и я прямо бы к вам туда поехал, или, если Геленджик все-таки место морское, приехал бы я туда и побыл там до переезда куда-нибудь еще). Когда дело решенья дойдет до меня, я поступлю так: я куплю подробный путеводитель по Кавказу4 и с верой в найденное и с легким сердцем туда с вами отправлюсь, не спрашиваясь знакомых. Мерещится мне что-то под Боржомом, Арбелиани, кажется, точно не помню, путеводителя у меня еще нет, да и денег, все это придет. Но как бы то ни было, куда бы мы ни попали, мне за дело придется засесть очень скоро, перерыва сам бюджет нам не даст, ты помнишь, мы однажды это разбирали. — По мере уясненья того, на что я могу рассчитывать денежно, а также и того, чтб у меня на очереди в работе, устанавливается некоторый порядок в мыслях, я становлюсь спокойней и светлей на все смотрю. В первый раз за последнее время (и понятно: была еще путаница предположений, отрывок Спекторского не был дописан, собиранье Гизовской книги было еще спорным гаданьем и пр., — ты, Женек, никогда об этом не догадываешься и меня в этом отношеньи не щадишь), да так в первый раз я о нас и о горах думаю, как прошлый год о Мутовках: с заманчивой ясностью и сильным желаньем. Успокой же меня насчет Геленджика и твоего здоровья. Напиши мне об этом последнем. И зачем вы берете 2 обеда? Берите 3, прошу тебя.

Гите отдал для мамы всю нашу муку. Не хотела брать, но в городе ее нет, и по-моему так надо было. У них сейчас папа, и все благополучно. Крепко целую тебя и Женичку. Любите меня немного побольше, мне легче будет. Недавно, сейчас не помню, по какому поводу, вспомнил, какая ты умница. Факты были. Но какие, убей, не помню.

Крепко, крепко. Твой Б.

Дорогая Маня, от души кланяюсь Вам. Как Вам нравится море?

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Вероятно, пополнеть, как Вера Николаевна, жена философа М. Н. Столярова.

2 В. Э. Мейерхольд.

3 Е. В. Пастернак писала 9 июня 1928: «Теперь о тебе: работать здесь можно вполне <...> комнату для тебя могла бы снять в доме рядом <...> Ты бы мог там целый день работать, а ночевать могла бы там Маня» (там же. С. 252).

4 Перед отъездом в Геленджик Пастернак купил путеводитель С. Анисимова «Кавказский край» (1927), на нем надпись: «Моей Женюре 20 / VII. 28, по сдаче книги в Гиз. Геленджик значит по-черкесски см. стр. 72». На указ. стр. назв. «Геленджик» в переводе значит «Белая невеста».

437. Е. В. ПАСТЕРНАК

19 июня 1928, Москва

19. VI

Дорогая! Я рад, что до твоих последних писем написал тебе о том же. В воскресенье, 17-го, отправил тебе письмо, а вчера и сегодня (вторник), читаю в твоих о том же, т. е. о решеньи. Мне только показалось трудно выполнимым везти еще и Пр<асковью>

Пет<ровну> в дополненье к Мане1. Я тебе объясню. Не то что это невыполнимо, но меня бы смущало и печалило то, что нам приходится так глупо и сложно расходоваться

вокруг себя самих, там, где у других при бблыпих заработках это делается проще и экономнее: оттого и одеваются хорошо люди, и квартиры имеют и путешествуют. Я не сравниваю, потому что в большинстве это все бездетные, так сказать, примеры. И чтобы тебе ясен стал оттенок, которым меня это предположенье о Пр. Пет. смущает, я скажу тебе, чтб бы, например, я сделал очень легко и не колеблясь. Если бы я был здоров, я на днях, при первой получке денег отправил бы тебе Пр. Петр-ну (после твоих писем, по которым я вижу, что ты продолжаешь терять в весе). Я отправил бы ее, а сам бы остался, потому что уехать я пока еще не могу. Это бы меня смущало меньше, потому что я бы этого хозяйства не видел. Вот и все, потому что говорить о высоте расходов фарисейство: именно сумма их безразлична; зарабатывать 150 рублей так же трудно как и 500, или наоборот, первое труднее второго. И когда я говорю тебе, забудь о деньгах, то я высказываю вещь трезвую, зиждущуюся на фактах и без всякого благородничанья; не в них дело; но когда тб, что должна была дать одна комбинация (Узкое2 или вообще изолированный санаторий), достигается громоздкими переездами многих людей, да еще с сомнительным исходом, тогда это печально. Но и это, говорю, я принял бы без всякой критики, потому что ведь от душевных твоих противоречий, которые ко всему этому приводят, труднее всего тебе, и это ведь не блажь, — да, так я говорю, со всем бы этим я согласился, лишь бы не видеть той стороны, с которой все эти сложности начинают пугать своей глупостью и бесполезностью. Не огорчайся, и улови тон, в котором я все это говорю. Я говорю это любя, дружески и очень спокойно, как в тех редких случаях, когда мне ясно, что оба мы друг друга стоим, и я ничуть не умней и не удачней тебя, и когда я еще вдобавок вспоминаю, как изменило тебя... хотя бы одно лишь мое соседство.

Затем, чтобы поскорей покончить со всеми этими «если бы», я сразу скажу тебе прямо и положительно. Перестань, дорогая, думать, что тебе надо поправиться, что, словом, что-то случилось, что поскорей надо поправить и пр. Не пугайся, если поправки нет и если даже тебе хуже. У меня уже решено, и решенье это неотменимо, то есть на этот раз я тебе не уступлю, что осенью, по приезде домой, я тебя на месяц отправлю в Узкое. Тут, одним словом, и будет сделан урок, который тебе задала Разумова, и исполненья которого мы так ждали. Это сделается без тебя, ты об этом не думай. Живи на Кавказе, не думая, что тебе его (т. е. этот урок) надо приготовить. Наоборот, живи свободною от него. Никто от тебя ничего не потребует. Однако исполняй все-таки ее наставленья, все, по возможности, пускай частый стол, лекарства и пр. будут особенностями Кавказского климата, а не какой-то стороной твоей жизни, которая должна дать результаты. Никто ничего с тебя не спросит, это первое, а второе то, что если даже ты поправишься, то все равно октябрь ты проведешь в Узком.

На днях я позвоню Дуне с тем, чтобы с осени опять взять няню. Она прекрасный человек, и мне хочется, чтобы до сборов наших за границу или до поры, когда бы окончательно выяснилась неосуществимость задуманного, была у нас она. Кроме того, теперь такое время, когда бы мне хотелось, чтобы у нас был человек, которого мы знаем и который знает нас. Но не только в этом ее достоинство. Она внутренне, морально очень ценный характер. Ты была права, когда напирала на то, что на нее можно положиться. Затем не думаю, чтобы Женя уже то, что она может дать, перерос. Во всяком случае речь ведь лишь о половине зимы, не больше. — Так как я сейчас занят собираньем стихов самых разнообразных периодов, начиная с 12-го до 28-го года, то сами собой набегают обобщенья и среди них я часто думаю о тебе. Хорошо, что ты упорна. Возможны всякие неожиданности. Но часто непредвиденности, на которых строится рост художника, следуют за перерывами в работе, и даже более того: за перерывами заботы о ней, за перерывами мысли. У меня много тому примеров. Хороши бывают случаи нового упорства, и ради них одних следовало бы чаще

порывать со старым, если бы позволяла жизнь. На твоем месте я без тревоги, и только в том случае, если бы тебе надоела разлука с холстом, взялся бы за этюды, разнообразные и ни к чему не обязывающие, и делал бы это балуясь, себе на радость, и дальше баловства бы не шел: переход от такого баловства к новому упорству совершился бы сам собой, без твоего ведома. Вообще ты в себе и на работу ближайшего времени выработай взгляд подобный тому, чтб я говорил о здоровье и об Узком. Это не только потому, что сейчас лето и можно, если умеешь и позволяет жизнь, отдыхать, а еще и потому, что ты окончила школу3, а это самый разительный, самый косный вид того упорства, которое надо обновлять периодами забвенья и пропусками. Я много бы мог тебе сказать о школе, как она сказалась на мне, но это бы меня далеко завело, сделаю это когда-нибудь устно. То, что из дружбы я считал делом, наукой и пользой и чем себя считал обязанным Боброву и (даже!) Асееву, вижу ясно теперь на бросающихся в глаза сравненьях, — было никчемным вредом, приближавшим судьбу сделанного к действительности (всегда условной) и всегда понижавшим мои живые задатки или лучше сказать уровень, предшествовавший у меня каждый раз таким «успехам». У меня много было компромиссов в работе, я это всегда знал по воспоминаньям, в былом ощу-щеньи, но неправильно толковал их роль, полагая, что компромисс всегда на пользу художнику и что он за ними созревает. Только компромиссы в сторону живых сил, литературой не затронутых, сказывались благотворно. Таковы С<естра> м<оя> ж<изнь> — Люверс (последняя отчасти желанье выслужиться перед папой, который бы меня наконец признал). Но все, что обращено в Близнеце и Барьерах к тогдашним литературным соседям и могло нравиться им — отвратительно, и мне трудно будет отобрать себя самого среди этих невольных приспособлений, и еще труднее—дать отобранному тот ход, который (о как я это помню!) я сам тогда, скрепя сердце, пресекал, из боязни наивности и литературного одиночества. Отсюда и Центрифуги и Футуризмы. — Но я записался, между тем как у меня куча дел. Я одного не успел сказать тебе, когда признался, что одну Праск. Петр., без себя, охотно и без всяких мудрствований к тебе бы направил. Я не могу этого сделать. У меня колит, и мне придется долго от него лечиться. Короткие приступы, которые бывали зимами, были первыми его проявленьями. Теперь может быть бессонницы дали ему поддержку, и болезнь развилась вовсю. Если ты умеешь читать, то легко отличишь веселый, здоровый и оптимистический тон письма от моих обычных. Так оно и есть. Я себя, правда, чувствую очень хорошо последние дни, когда наконец узнал, что со мной и что мне надо делать. Лечусь вовсю, все строго исполняю и хорошо себя в этой ясности чувствую. «Обрел сон».

Кончу, Женюра, и отправлю. Будь спокойна на свой и на мой счет, я правду тебе говорю, все образуется. И если тебе это нужно, знай, я крепко люблю тебя. Твой Боря

Крепко целую тебя, золотой Женек, за твое письмо. Вот ты и на Кавказе! Всю зиму говорили про него, ан вот ты на нем и очутился! Обнимаю тебя, дорогой мой сынок, а ты также крепко за меня мамочку обними и кланяйся Мане.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Соседка П. П. Устинова помогала Пастернакам по хозяйству.

2 Санаторий Академии наук, в котором Е. В. Пастернак провела две недели в январе 1928 г.

3 Весной 1928 г. Е. В. Пастернак окончила Вхутемас (Высшие художественные мастерские), осталась защита диплома.

20 июня 1928, Москва

20. VI

Не скучай, гулюшка золотая, не скучай, не думай о письмах, сами они будут приходить, не жди их, а то нет хуже терзанья.

Вчера живой привет передала от тебя по телефону ваша соседка Л. Дмитр. и сказала о письмах, чтобы почаще. Между прочим, хотя скука скуке рознь, и не о том речь, но все же, чтобы тебе не так скучно было, пошлю тебе книжек, с просьбою, чтобы ты их прочла. Мне тоже их потом читать придется, для статьи, может быть, да и вообще надо. А тут, когда я к вам попаду, они под рукой будут, все меньше везти.

На протяженьи трех дней, прошедших с большого письма, ничего нового о приезде, конечно, не скажу. Лучше вообще думать, что меня задерживают деньги (как оно и есть на самом деле), чем думать о задержке по болезни (как оно есть тоже и ничуть не меньше). Я себя чувствую очень хорошо, потому что ни на йоту не отступаю от предписанной диэты, и того, что мне по ней можно, с меня достаточно. Стал я лучше спать: каждый вечер перед сном гуляю и сплю при открытом окне, хотя тут сейчас ужасные холода. Лечусь кроме того, но о таких вещах не пишут (промыват<тельное> и пр.).

Но теперь подумай, что папа бы перед выставкой собрал сделанное за 16 лет и вдруг увидал, что там неладно, тут неладно, и целые периоды ложны и пр. и пр., и тут же, развесив все это по всей квартире, принялся бы разом все это переделывать, когда — это, когда — то, сегодня одно, завтра другое и все это походя и вперемежку. Ты настолько легко себе представишь громоздкость и трудность этого всего, что пожалуй даже скажешь, что это сумасшествие и этого делать нельзя и не надо. Но даже и ты, родная, можешь говорить, что хочешь, а я это делаю и сделаю. Вот отчего я и не могу тебе много и часто писать. Это адова работа потому, что в неделю или две надо набраться масштабов, растянувшихся по десятилетьям, чтобы не соврать в переделке в отношеньи разновременных замыслов и пожеланий, так неудачно в свое время исполненных. Но ведь отказываться от трех тысяч и их последующего переизданья нельзя. А в том виде, в каком они сейчас находятся, я всех этих Близнецов и Барьеров не перевариваю. Следовательно, мне только и остается то одно, чем я сейчас и занялся. Благослови же меня на этот труд, моя золотая родная, и будь весела и здорова.

Весь твой и твоего тезки в трусиках. Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

23 июня 1928, Москва

23 /VI

Дорогая гулюшка!

Благодарю тебя за телеграмму. Жаль, что только три, но хорошо, что дело двинулось, расти же и множь их!1 Она пришла ночью, я слышал стук, потом мне снилось, что вы приехали. Я плохо спал, в 5 проснулся и днем нынешним не доволен. И всегда в такие дни пишут письма, звонят, мешают. Я раздражаюсь. Но ведь я бы взвыл, если бы обо мне забыли. Не знаю, по телеграмме ли или против нее, но деньги я тебе вышлю через 3—4 дня.

О поездке же пока рано думать. Я не сделал и половины того, что надо. Только бы высыпаться, тогда все идет как по маслу. Я думаю, эта книга будет не хуже «Сестры». Отделы будут посвящены: Асееву, Маяковскому, Жене, Андр. Белому, может быть другим. При переизданьи «1905» я выставлю посвященье М. Цветаевой. Здесь же ничего с ней не связано, и она обидится, не найдя себя среди родных и друзей. Как грустны всегда эти расхожденья чужих чувств с твоим, готовым обнять их полностью, и навсегда обнявшим. Вдруг вспоминаю Ахматову. Что посвятить ей? И вдруг вспоминаю, что вознесли и теперь обижают Гладкова (обязательно ему кое-что посвящу) или что, например, посвященье «Высокой болезни» Асе Цветаевой дало бы ей нечто вроде революционной рекомендации, а жизнь ее трудна, и мне уже звонили из Нового Мира, что не все с рукописью ладно, и не так-то близки деньги, а я уже успел порадовать ее и поздравить. Но спокойных, широких, длительных посвящений будет три: тебе, Коле и Володе2.

Поправляйся только, моя золотая, и не думай: я не собираюсь умирать. Но что-то по-ребячески ликует во мне при мысли, что к зиме вся старая заваль будет выправлена, собрана и приведена в порядок. Можно будет осмотреться и взглянуть вперед. Квартира эта была еще в большем запущеньи, чем наша действительная.

Я на прежней диэте. Вечерами гуляю. Да, ведь я писал тебе о Коле и Нине, и тогда много было страхов и беспокойств. Все улеглось и улучшилось3, могу успокоить тебя. Спокойной ночи, мои родные. Понесу письмо на главный почтамт и это будет моей прогулкой. Обнимаю тебя.

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. 1В телеграмме было сказано, что Е. В. Пастернак стала поправляться и прибавила 3 фунта (1 кг 200 г).

2 В сб. «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (1929) раздел «Начальная пора» был посвящен Асееву (Коле); «Поверх барьеров» — Маяковскому (Володе); «Эпические мотивы» — Жене. Вместо посвящений М. Цветаевой и А Ахматовой были написаны стих, послания им; «Высокая болезнь», расширенная отрывком о Ленине (первое издание, 1929), посвящена Ан. Цветаевой.

3 См. о болезни жены Н. Н. Вильяма-Вильмонта в письме N° 434.

440. Е. В. ПАСТЕРНАК

25 июня 1928, Москва

25. VI

Дорогая моя! Спасибо за большое и содержательное письмо от 19-го, где так много успокоительного. Всего больше дали мне твои слова о хозяевах и об отношении Женички к ним1: большое уточненье моих гаданий о вас, большая радость.

Был, то есть заходил к тебе Моля, он собирается в Геленджик, он отвезет тебе кобальт и манную, зайдет перед отъездом, я его просил об этом.

Я и сам думаю, что возвращаться тебе сюда нет смысла. Я с первых дней предлагал это тебе, потому что не знал, приживешься ли ты в Геленджике и насчет того, как отнесешься к месту, да и как оно к вам отнесется, не был уверен. Ехала же ты туда по своему настойчивому почину. Я боялся, что все это будет тебя угнетать и ты сразу не найдешь должной легкости, чтобы Геленджик зачеркнуть и бросить. По тому же, что ты пишешь теперь, я не знаю, зачем тебе приезжать и 15-го2.

Я еще не знаю, когда к вам попаду и как. Ты об этом не думай, все это и в отношении комнаты и всего другого устроится само собой, легко и просто. Если можешь, выравнивай дни в какой-то здоровой, оздоровляющей строгости, как отчасти я это делаю тут с собою. Правда, я один, и теперь после некоторого тревожного порога3, который я преодолел, мне это легче, чем тебе с Женей, — я не сравниваю.

Но если бы мне не удалось выехать даже и к августу, чего я сейчас не допускаю, то и в таком случае я вас так не оставлю.

Август ты проведешь с Женичкой в горах, может быть, я попрошу Пр<асковью> Петр<овну> поехать к тебе в замещенье Мани, которой ты тогда предложишь вернуться (пусть значит, что «для обслуживанья» меня, если я останусь, — речь об августе). Но все это будет так: либо я с вами перееду в Грузию, в Бакуриани, либо же, и только в таком случае вопрос о моем присутствии или отсутствии становится безразличным, потому что все сделается без нас, либо же, говорю я, мы или Вы будете в Теберде.

Вчера очень горячо Кира Александровна4 развила следующий план. Они в августе на месяц поедут в Теберду, все нам устроят (то есть снимут помещенье вне дома отдыха и условятся о нашем сто-лованьи в нем, сведенья, которые мы получили весной, — преувеличены и неточны) и вызовут нас телеграммой на все готовое. Я представляю себе, что даже и в том случае, если бы я задержался, в Геленджике же

Маню заменила Пр. Петровна, и вы бы с ней поднялись в горы прямо к друзьям, в условья, предусмотренные и, может быть, даже матерьяльно облегченные влиянием Вяч<еслава> Пав-л<овича>, это будет благом, и я буду спокоен. Тогда, пусть не с первого дня, я все же, в случае задержки, оставляю для себя возможность съездить к вам, хоть недели на две, и этой надеждой живу.

Тебя, может быть, удивит, о какой это я все время говорю задержке. Но ты ведь помнишь, что прошлый год, я к лету, сразу получил на руки около 1000 руб., да и жили мы от всяких Госиздатов под боком. В этом году этого не случилось. Правда, к середине июля я надеюсь что-то выкроить, эта надежда все время в моих предположеньях звучала, вот отчего неожиданностью тебе может показаться мой нынешний впервые сомневающийся во всем этом тон. Но дело в том, что нервозную мелочь одиночества я победил. Мне работается, перспективы для вас подвертываются хорошие, я спокоен. Что-то гонит меня изнутри, почему-то эти сроки кажутся мне ответственными, без повторенья. Я немножко боюсь зимы. Поговаривают о голоде. Не станем думать об этом и говорить, не надо стращать друг друга. Верю в лучшее и за вас не боюсь. Но как в первое знакомство с тобой я бегал стихов, чтобы не быть больным, так я боюсь быть слишком поэтом, слишком поглощенным работой в тревожный год. Я боюсь растерянности, с этим сопряженной. Я выражаюсь неясно, но в двух словах этого не сказать.

Крепко обнимаю тебя. Завтра, может быть, получу деньги, уплачу за два мес<яца> квартиры, выплачу налог, оставлю на один месяц себе и остаток вышлю тебе.

Целую без конца Женичку. Писала ли ты нашим вновь про Nujol? Твоим кланялся.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Из письма Е. В. Пастернак: «Наш хозяин замечательный, и дочка его тоже, мы дружим, а Женичка за дедушкой (хозяином) ходит собачкой» (там же. С. 268).

2 Ответ на слова Е. В. Пастернак: «Итак, я буду считать, что лучше и понятнее тебе как можно скорее приехать сюда. Если же у тебя явятся какие-нибудь другие планы, то я, конечно, здесь на все лето не останусь и числа 15 июля вернусь в Москву» (там же. С. 268).

3 Болезненная тревога отчетливо слышится в письме 22 июня 1928: «Милая! Иногда, как сейчас, мне становится грустно. Но если я поддамся этому чувству, все у меня пойдет вверх дном, и, как могу, я с ним борюсь. Я пишу тебе намеренно суховато, делай так и ты, не надо грустить. Сейчас с дачи на два дня приехали Шура с Ириной. Дом наполнился шумом. Вот почему я не так боюсь сегодня признаться тебе в том, что испытываю каждый вечер: под боком люди, они не дадут разыграться чувству разлуки, вообще же оно таково, что только его тронь, и — посыпется. И лучше его не касаться, не знать, что скучаешь» (там же. С. 265).

4 К. А. Эгон-Бессер — жена В. П. Полонского.

441. М. А. ФРОМАНУ

26 июня 1928, Москва

26. VI. 1928

Дорогой Михаил Александрович!

Со дня Вашей посылки прошло больше полутора месяцев, а я все еще не поблагодарил Вас за неожиданный и незаслуженный подарок! Чем это объяснить? Одно время даже мне казалось, что я это уже сделал в первый же день, таким реальным фактом легла в воспоминаньи та инстинктивная волна признательности, которую Вы вызвали.

Но я болел этой весной, и довольно долго. Болезнь задержала мою производительность. На два месяца мне пришлось отказаться от работы. Это отразилось на заработках, а лето подступало, — надо было подумать о семье.

Накопилось много неотложного, и все время я был очень занят. Однако и это не оправданье и изви-ненья мне нет.

Мне пришлось остаться в городе, семья на Кавказе. Но не жалуюсь, мне работается, удивительно подчас, т. е. с каким-то сопутствующим трепетом, с чувством подсовываемого подарка. Может быть, и всего вернее, это — ложные, иллюзорные ощущенья, которым ничего реального не соответствует, но временами я переживаю нечто схожее с тем, что бывало в годы «Сестры» и «Люверс». Я говорю о проблесках дареной объективности, перерастающей личные усилья. Только в отличье от тех лет, личных и самозабвенных, я теперь дохожу до каких-то точек забвения о себе, т. е. до того рода безличья, с которым и не расставался бы, если бы это было возможно.

Кажется впервые в жизни я написал большой кусок повествовательной лирики, с началом и концом, где все претворено движеньем рассказа, как в прозе. Я не знаю, удачна ли эта вещь и хороша ли, но композиционная стихия в первый раз вошла в мое переживанье как неразложимый элемент, т. е. я пережил ее так же безотчетно просто, как метафору, как мелодию, как размер или строчку. И это до такой степени, что сюжет мне все время кажется размером, в котором написан отрывок, хотя это продолженье все того же Спекторского и тот же пятистопник. Его печатают в VII № Красной Нови1. Еще раз большое спасибо и простите меня, пожалуйста. Сердечный привет Вашей милой супруге.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф.

1 Речь идет о гл. 5-й «Спекторского» в первонач. редакции.

442. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

29 июня 1928, Москва

Горячо поздравляю тебя! Какие удивительные выдержки!1 Нетерпеливо жду путешественника с книгой (я совсем не знал, что он у вас)2. Я знаю, что она будет событьем, вторым рожденьем, мукой, счастьем и не для меня одного. И это совсем излишнее признанье.

Все что он (Х<одасевич>) говорит о тебе в ущерб мне — правильно, и я сам бы сказал, и говорю. Но одно утвержденье — вошло в меня глубоким уколом. Неужели правильно и оно? Нет, нет, промёрзни до полного бесстрастья и отступи от меня как можешь далеко, но только не за край правды, не в несправедливость. Но разве ты мне это скажешь? Неужели меня спасает темнота, и рассейся она, ничего бы не стало, неужели действительно во мне никого нет? Он серьезно так думает?3

Иногда, — не по его поводу, он оснований не подал — думаю о Синаях и Давидах. Правда и то, — по-разному они показали себя4. И твой чужеземец из Гайаваты отольется мне прегорько5. Но разве расхлебать все это, изменить, вмешаться или хотя бы понять в моей власти? Как случайно (случайней тебя) я родился! Ведь ничего, кроме этой случайности, изо всего этого, на мне нет. Но и этого малого я не мог не оставить на себе и на сыне. Ведь это не человеческая оплошность, ведь то, что ее допустило, больше меня.

Я буду говорить сейчас глупости. Но допусти их в их мысли-мости, в идеале. Чем больше я буду совершенствоваться, чем ближе я буду к правде, тем больше я буду говорить о родине, тем больше я буду ее куском. Тем вернее тогда, что я причиню ей страданье, что ей со мной будет трудно, что застенчивая (и тем понятная мне и прекрасная) она будет дошедшее до нее скрывать и отворачиваться от меня всякий раз, как между нами будут вырастать природные ее ревнители, перед легкостью и простотой которых ей стыдно будет трудности, которой я ее наградил. Веянье племенного недружелюбья почти никогда меня не касалось. Да я и не увидел бы в нем обиды. Сознанье же того, что чем естественнее и бе-зотчетней меня тянет к русской памяти,

тем неестественней ей будет со мной — составляет невеселый круг, о котором я никогда не забываю.

Вообще — устал. Скучаю по Жене и сыну, они на Кавказе, я один, так сложилось. Перерабатываю для переизданья две первые книги, избавляю их, как могу, от символического хлама (не Белого, не Блока — это люди простые) от архаизма и гороскопии тех времен, как и излишней порывистости футуристического нахрапа, заново переделываю только лучшее, т. е. то, где темы-находки бесследно утоплены в беспомощности и манере; из худшего же, что приемлемо, оставляю почти без переделки, жалеть нечего. Темы же обрабатываю так, как может быть нельзя, как прозу. Мне все равно, иначе не могу: такова теперь моя поэтика, взволновы-ваюсь только в состояньи совершенного безличья и забвенья о себе, как и того, по личному ли это пошло поводу или нет. Забываю начала. Может быть прав Ходасевич, он ведь хочет сказать, что я не поэт. — Работа спешная, хочу вырваться на воздух. Не знаю, как примусь за нее завтра или послезавтра. Мысль, что тебе в этой полосе или с нее стану чужд, — нова и появилась только сегодня. Привыкнуть не смогу, постараюсь прогнать. Это сделалось по двум причинам. Как никак, внутреннее несогласье, мешавшее разделять общие радости, затем позитивистический воздух, разлитый кругом, должны были рано или поздно сказаться. Они загнали в угол, привели к тишине и простоте. Я рад, что они сделали невозможной позу, пока я был поэтом, «похожим на поэта» я не стоил нынешнего своего мизинца. Но может быть в стрем-леньи к отчетливости я забыл меру, и высох, как на то (в себе) жаловалась и ты. Но я не боюсь. Мне что-то открывается. Лишь бы лавина несправедливостей меня не опередила. Как я всему этому поддаюсь. Я люблю тебя и ты изумительная, неправдоподобная

правда. На днях я думал о смерти, и конечно твое «Знаю, умру на заре»6 неотступно звучало, я был близок к слезам. С твоих тех слов, в том тоне, я записал, в духе того, что говорю сейчас.

Рослый стрелок, осторожный охотник, Призрак с ружьем на разливе души! Не добирай меня сотым до сотни, Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной. С ночи одень меня в тальник и в лед, Утром спугни с мочежины озерной. [Целься и славься и] Бей меня влёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки О пренебрегнутые вы мои, Благодарю и целую вас, — руки Родины, робости, дружбы, семьи!

Т. е. они-то и подымают на высоту7.

Твое, все твое, не оскорбляйся, я не крал, не помню, откуда. И вообще это не так, потому что слова «Бей меня в лёт» (в них весь смысл) должны быть восклицаньем, отделенным точкой, т. е. что-нибудь вроде того: Стой до скончания. Бей меня влёт!8

Я это тебе не как стихи (слабые!) а чтобы услышала, что мне грустно*.

И потом, Рильке был отшельником, поэтика его год от году кажется мне все более потрясающей по своей чистоте, и это на мне сказывается тоже. И потом человек, с которым я тут дружу всего сильней, Н. Н. Вильям (брат моей невестки), — я тебе о нем писал, твой первый после меня поклонник в бесконечном ряду мне известных — он о тебе писал, статьи не приняли, и обо мне, — статьи не приняли9 — да, так этот Вильям двадцатипятилетний тоже меня поддерживает во всем, что со мной делается, и не любит 1905 г., и Бог знает что говорит о работах этого года, где отмер всякий романтизм, и вне этой разновидности толстовства, гете-анства и р<омен>-роланства истины не видит и не ищет. Не жди Бог весть чего, я говорю только о тоне, о повествовательности, вошедшей впервые наконец в захват вдохновенья, как элемент, т. е.

* Приписано на полях. 239 как это прежде бывало со строчкой, с метафорой, с образом, с аллюром чувства в ритме.

Какое глупое написал я тебе письмо! Марина, родная, с этой безмерностью в мире мер10, — вот что произошло: он о тебе недостаточно хорошо сказал, но приемлемо; он поставил ребром несколько гениальных твоих строк, и под ними наговорил мне гадостей, и они кажутся мне допустимыми, потому что произнесены на гениальном фоне.

Посылаю не перечитывая, может быть встретятся несообразности. Я говорил с тобой. Обнимаю С.

Я ужасная свинья перед тобой. Я не успел повидаться с Мейерхольдами перед их отъездом в Париж, а о поездке П<авла> Г<григорьевича> не знал и вовсе, потому что больше года не видался.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 169). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Цветаева послала рецензию В. Ф. Ходасевича на недавно появившуюся книгу «После России», опубликованную в газ. «Возрождение», 19 июня 1928; Пастернака взволновали приведенные в статье цитаты из стихов Цветаевой.

2 П. Г. Антокольский, вместе с театром им. Вахтангова приезжавший в Париж.

3 У Пастернака вызвало недоумение заявленное в статье Ходасевича открытое признание непонятности и «темноты» его стихов, прикрывающей отсутствие мысли: «Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что всё это так темно: если словесный туман Пастернака развеять — станет видно, что за туманом ничего или никого нет» («Возрождение», 19 июня 1928). Подобное отношение Ходасевич высказывал и раньше, вспоминая первое чтение «Тем и варьяций» в Берлине: «Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком и весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковских метафор и метонимий — крошечную кочерыжку смысла» (газ. «Дни», 13 июня 1926). Аналогичная критика стала причиной той переделки, которой Пастернак подверг книги «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров».

4 Упреки в сложности, «мудрености», — как назвал это Горький, Пастернак относил к своему происхождению (см. письмо JSfe 406).

5 В главе XXI поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855) в образе «чужеземца» герой встречается с вестником христианского мира.

6 Начальная строка стих, из книги «Версты» (1921), которой Пастернак начал свое первое письмо к Цветаевой 14 июня 1922 г.

7 См. пересказ этого стих, в словах из письма JSfe 435 о «грязи и позоре» насильственной смерти, над которой «стараешься держаться на высоте». «Начинаешь думать, что прежде, да и всю жизнь, тебя поддерживали на ней друзья, родительская семья... т. е. всегда чьи-то другие руки, которые следовало целовать... и которые не всегда ценил...»

8 В окончательном виде эта строчка читается: «Цельсь, все кончено! Бей меня влет».

9 Об этом в письме Цветаевой № 414.

10 Строка из стих. Цветаевой «Что же мне делать, слепцу и пасынку...».

443. Е. В. ПАСТЕРНАК

6 июля 1928, Москва

Меня огорчило твое вчерашнее письмо (от 30-го). Мне кажется, я его ни с какой стороны не заслужил.

Теперь я, право, не знаю, как мне быть. Я рассчитывал при первой возможности приехать с Пр. Пет., как ты об этом просила и только ей нужно твое заверенье, что Фатик не помешает тебе.

Избаловать тебя полной возможностью работы моя мечта, она к несчастью пока не настолько исполнима, как хочешь ты и хотелось бы и мне. Ты же боишься побаловать меня даже добрым письмом1.

Меня огорчает, что причина, почему я тут еще сижу, непонятна тебе. Это понимают все кругом, но их пониманье не нужно мне, я не с их пониманьем связал свою жизнь и не в нем нуждаюсь.

Но ты очень хорошо описала, как Женичку водила к зубному врачу2, и за это благодарю тебя. Поцелуй его крепко и расскажи, что в вечер того дня, когда я ему написал про Самсончика3 и нашел, что они друг на друга похожи, я собрался спать, зажег свет и вдруг увидал, что котенок блаженнейшим сном спит в Женички-ной кроватке. Я его тихо вынес в другую комнату, и, немного поворочавшись, он опять заснул как убитый.

Ты, может быть, придешь в раздраженье от моей сдержанности, и она покажется благородством в кавычках, нравоучительной демонстрацией. Но конечно, это не так, и при желаньи можно во всем найти одно дурное. Кроме того, если бы я принял во вниманье, что тебя взбесит эта «всепрощающая» мягкость, мне пришлось бы ее оставить, а это бы привело тебя еще в большую ярость.

Я убежден, что за твоим письмом последуют другие, где тебе станет жалко этого всего и которые будут более достойны4. Вот почему, получив это мое письмо, помни, что оно отклик на твое, и не начинай всего сызнова в ответ на мой сегодняшний, огорченный, уязвленный и недоумевающий тон.

Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию.

1 Ответ на слова Е. В. Пастернак: «Я не избалована возможностью работать и, надрываясь в одно время, теряю эту возможность в другое» (30 июня 1928; там же. С. 277).

2 Из письма Е. В. Пастернак: «У Женички сегодня заболел зубок, и я с ним была у зубного врача, Ему сверлили бор-машиной, и он вел себя чудно, только был взволнован и бледен» (там же).

3 Письмо 2 июля 1928.

4 В следующем письме 3 июля 1928 Е. В. Пастернак писала: «Милый Боря <...> не сердись на мое неприятное и злое письмо последнее. Но я иногда чувствую себя ненормальной и растерянной от постоянного напряжения с Женичкой и от страха, который вдруг на меня нападает, что и для меня и для Женички вдруг лето пройдет впустую» (там же. С. 279).

444. Е. В. ПАСТЕРНАК

7 июля 1928, Москва

7. VII

Дорогая Женичка!

Я боюсь, что вчера огорчил тебя. Прости меня. Но умоляю, будь нежней со мной. Немного тепла, хотя бы изредка. Ты знаешь, как я живу. Я в нем нуждаюсь.

Я не могу изменить своей жизни, я не могу отказаться от признательности людскому, живущему, меняющемуся, тянущемуся через годы. Ведь что-то я хотел сказать заглавьем Сестры мой жизни, и это что-то живет во мне. Я не могу отказаться от дружбы, от почти домашней интимности, перехлестывающей на улицу, от чувства страшного родства с совершенным, оформляющимся в лице, искусством. Но все это — мой характер, а не образ жизни, и если правда, что я твой, то все это могло бы быть твоим. И неужели все перечисленное так тебе в тягость? И неужели все это недостатки? Но что от меня останется, и прежде всего для тебя, если я, скажем, от них

избавлюсь? Все эти особенности я привел, как теневые и досадные, помня твои упреки и ввиду новых. Но я-то сам никогда за эти качества не держусь, не стою на них, их деятельно не форсирую: они ужились со мной, и когда бы не ты, я бы их не замечал. Все простые, живые, непринужденные надежды сосредоточены в тебе. Если от потребности в радости и тепле я отказаться не в силах, то источник этого всего в тебе. Если мне не безразлично чье-то пробужденье, чье-то состоянье духа, чей-то уход и приход, то разве не ясно чьи именно. И вот, когда ты заговариваешь со мной, как вчера, у меня ничего не остается. — Сейчас подали твою открытку и все чудно сошлось. Хорошо, когда бы всегда так было. Горячо благодарю тебя за нее. Ты гораздо меньше виновата передо мною, чем перед собой. Владеть собой надо прежде всего ради себя же, и особенно это нужно тебе, в этом вообще залог твоего выздоровленья. Без конца тебя целую, дорогая моя. Как чудесно Женичка пишет Пр. П-не! Прости меня, если вчера чем тебя обидел, но ты не представляешь себе, как огорчила меня. Чтобы нагнать вчерашнее письмо, отвезу это на главный почтамт.

Дня через два закончу работу. Мне осталось еще переделать «Марбург» и выправить «Высокую болезнь». Потом дело будет за деньгами, т. е. за Гизом. Ввиду того, что это будет большая сумма (руб. 500—600), я ее получу не сразу. Однако все сделаю, чтобы достать все в неделю. Какая ты глупая! Ты не представляешь себе моих вечеров и того, что со мной делается, когда я даю себе расчувствоваться на твой и Женичкин счет. А ты зовешь и обижаешься, точно я и сам не рвусь. И все время головные боли (обыкновенные, без связи с носом). Но в общем — мне очень хорошо.

Весь твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

445. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

7 июля 1928, Москва

7. VII. 28

Моя родная, благодарю тебя за письмо с маршрутами1. Поистине, это путешествие я разделил полностью и пережил, как ты. Мне было очень весело и хорошо в дороге.

Мне очень жалко П<авли>ка2. Хотя все, что ты говоришь — справедливо. Я это находил уже давно. Помнишь вечер в Доме Печати, куда, кажется, ты пришла с Т<атьяной> Ф<едоровной>?3 Выступали: ты, он и Буданцев. В твоем присутствии я уже и тогда чувствовал что-то абсолютное. Но что именно? Чистоту? Правоту? Обаянье открытости? Но Верст я тогда еще не знал. Я не знал еще, кто ты. Так вот, на том вечере я уже говорил ему о декламации, театральной тематике, триумфальных цезурах (ты прекрасно знаешь, что я этой последней чепухой хочу сказать). Может быть повредил ему я. Да, наверное. Поводов для этих производных недоразумений надавал я много. Как удивительно промолчала ты в свое время о «Барьерах», их получив4. Молчи и сейчас. Теперь когда я их переделывал, моей рукой водило именно это молчанье. Но была своя правда и в них, и как ни дика она, я в переделке только ее и восстанавливал.

Затем и ты была бы меньше, если бы не являлась источником поэтических несчастий. Виновата, конечно, и ты. И твой ранний романтизм, прекрасный и по-естественному агрессивный (потому что вот что из него теперь выросло, и не зря я его переписывал от руки целое лето) — тоже понят был как последнее слово именно в его блеске, который ему задавало нетерпенье, т. е. неудовлетворенность. Он же впитал его как законченное достиженье, как равновесный стиль.

Так что все это справедливо, и виноваты мы оба, но я стараюсь всего этого не знать и смягчать это. Слишком безжалостна и сама уж логика всех этих вещей. И обо мне ты когда нибудь так же скажешь. Но тут дело другое. Я знаю, что к чему бы жизнь не пришла, все это — хорошо. И вот откуда я это знаю. Представь, я загадал тогда на

почтамте. Если телеграмма попадет на ее вечер, то тогда все хорошо5. И ты вправе оскорбиться, что твое сообщенье о ее судьбе пережито мной не в одном только твоем движеньи, милая. Но оно заменило мне Лейбницеву Теодицею6. Чтб же хорошо, спросишь ты? Зачем называть несомненное? Я не загадывал о тебе. Но и все, в чем можно сомневаться, — хорошо и то. Спасибо тебе. Счастливой дороги тебе и всем твоим.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 169).

1 По-видимому, в письме Цветаевой были обозначены маршруты их скорой поездки на Атлантическое побережье Франции в Понтайяк. Цветаева с детьми уехала туда 10 июля.

2 П. Г. Антокольского. Сохранилась недатированная записка к нему Пастернака, вероятно посланная вскоре после его возвращения из Парижа: «Дорогой Антокольский! Мне очень хочется и надо Вас видеть. Зайдите ко мне ближайшим же вечером, как только получите письмо, с утра об этом позвоните, 11 66. Заходите одни. Не стройте себе иллюзий относительно предстоящего разговора, а то разочаруетесь, никакого практического значенья беседа иметь не будет. Не откладывайте посещенья. Любящий Вас Б. Пастернак» (РГАЛИ, ф. 1010, оп. 3, ед. хр. 68). Антокольский привез для Пастернака экземпляр книги Цветаевой «После России», но свидание не состоялось (см. письмо № 448).

3 Т. Ф. Шлецер-Скрябина. Установить датировку вечера в Доме печати не удалось.

4 В ответ на посылку 7 июня 1926 «Поверх барьеров», 1917 г. Говоря о вреде, который он нанес Антокольскому, Пастернак имеет в виду влияние поэтики своих ранних книг. Источником поэтических несчастий Антокольского Пастернак называет также и Цветаеву, ее ранний романтизм, воспринятый им как последнее слово и законченное достиженье.

5 Телеграмма неизвестна; вечер Цветаевой, к которому телеграмма должна была прийти, состоялся 17 июня 1928 г.

6 Пастернак называет сочинение Г. Лейбница «Теодицея (О том, что Бог добр)».

446. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

9 июля 1928, Москва

9. VII. 28

Дорогая Раиса Николаевна, дорогая, дорогая! Какое удивительное письмо я от Вас вчера получил. Громадное, несравненное, высокое, захватывающее. Какого оно роста, какое лицо у него, как я его люблю! Оно как живой человек, и место, где оно лежит, благороднее всего, что когда-либо видала моя комната, всего, что в нее входило и выходило. И я никогда не расстанусь с ним1. Знает ли Чуковский, что он сделал, когда в то лето подарил Вас нам, и мне, и насколько — мне!2 С тех пор я с ним не переписываюсь. Я должен был тогда ответить ему на его опрос о Некрасове3. Я Некрасова плохо знаю, мне стыдно было, я хотел его подчитать. Но так и не пришлось, я в долгу у него, так и замерла переписка. Но если бы он только знал в каком я перед ним другом, неоплатном, неизмеримом долгу! Родной долг мой, почему нельзя переписать сердца и невралгии на меня?! Как охотно бы в этом случае я их на себя принял! Попросите профессоров, пусть перешепчут, пусть перепоручат. Я ждал письма от Вас, в последнее время стал беспокоиться. Я возлагал на него какие-то надежды. Не надо говорить, что у меня были неприятности, без него откуда и было быть добру. И вот оно пришло. Но смотрите, как я туп! Я думал Вы за что-нибудь на меня рассердились, а что Вы больны и страдаете, мне в голову не пришло. А Вы всегда обо всем догадываетесь и все знаете, и как заразительно-достойно все понимаете! Теперь я

сдам книгу в ГИЗ и поеду в Геленджик. Там Женя с Женичкой, море, здоровье, покой. Вы не смеялись надо мной? Это Вы действительно мне так несравненно сердечно, так незаслуженно писали? Как Вас благодарить за эту высоту?

Я Вам напишу из Геленджика потолковей. Сейчас взволнован и могу только поражаться и восклицать. Но дошло бы и это до Вас, может быть и в этом свой толк, сила же его мне писать и не дает. Говорить ли Вам, как мне больно от Вашей боли, и как, — если только тут есть смысл, — я буду стараться ее от Вас отвлечь. Не пишите больших писем, это может Вас утомить. Когда станет лучше, пришлите открытку.

Ваш Б. Я.

Впервые: «Минувшее», JSfe 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 Об этом письме Пастернак 10 июля писал жене: «Я получил удивительное по душевной силе и высоте письмо от Р. Н. Там с большою любовью и пониманьем говорится о тебе. Не пересылаю, сам привезу. Ответил сгоряча и на радостях. Она в Берлине, у ней невралгия правой руки, это осложненье на сердечной почве, очень страдает. От этого письма исходит редкая, почти благотворная сила, нечто вроде того, что горный воздух для легких. Я ее страшно люблю, за тебя, за все, за нее самое» («Существованья ткань сквозная». С. 282).

2 К. И. Чуковский познакомил Пастернака с Ломоносовой летом 1925 г. (см. письмо № 264).

3 К. И. Чуковский рассылал «Анкету поэтам» о Н. А Некрасове, начиная с 1919 г.; на нее отвечали А. Ахматова, А Блок, М. Горький, Н. Гумилев, В. Маяковский и др. Вопросы касались отношения к Некрасову в детстве и юности, к его стихотворной технике, народолюбию и распространенному мнению о его «безнравственности» (К. Чуковский. Рассказы о Некрасове. М., 1930. С. 307).

447. Е. В. ПАСТЕРНАК

13—14июля 1928, Москва

Дорогая моя! Не оставлять же тебя, мою родную, мою все-таки действительную, невымышленную жизнь, без вестей! Но что писать тебе, на какую твою волну, на какую помощь твою, на какое поддерживающее твое веянье тебе отвечать!1 Бывают периоды, когда справляясь с предъявленными трудностями, я удовлетворяюсь той философской сердечностью, которая всегда есть в моих мыслях о тебе, но как одинок, нет, более чем одинок, я, когда они непосильно велики! О, как я боюсь минут, когда мне приходится искать в себе помощи от тебя и против тебя, ведь это не настроенье, это факты, это опыт, из которого выводишь законы, это быт, который сложился и становится все сложней, это шесть лет, которые позволяют заключить о следующем шестиле-тьи. Но я хочу тебя видеть, потому что все же это то «ты», которое я произношу всего живее и кровнее, и я соскучился по тебе. Мы выезжаем в пятницу, почти без денег, их надошлют, мне придется работать, а у вас, наверное, адова жара. Ах, если бы ты меня послушалась весной с санаторием и со всем. До скорого.

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию.

1 Б. В. Пастернак сердилась на задержку с приездом и писала мужу «нетерпеливые письма», что, в свою очередь, волновало его и сказывалось на работе. «Я не досыпаю, очень утомлен и нервен, и работа задержалась, — писал он 9 июля. — Я рассчитывал отдать числа 7—8-го, и неделю клал на расчет с Гизом. Теперь я только верно к 15-му смогу ее сдать и все отложится на неделю» (там же. С. 282).

448. С. Я. ЭФРОНУ

20 июля 1928, Москва

Дорогой Сергей Яковлевич!

Вероятно Вы еще в Медоне и моя открытка Вас тут застанет. Все последнее время я был в такой же приблизительно переделке, что и Вы. Последние две недели работал, как каторжный, болел, недосыпал, жил в обстановке осадного положенья, мною же самим по дому объявленного, посетителям и телефонистам говорилось (соседями, по моему наущенью), что я то в Китае, то, что Нобиле улетел спасать1. Через два часа уезжаю к своим в Геленджик. Адрес будет такой: Геленджик, Черноморское побережье Кавказа, улица доктора Гааза 22. Это в течение 2—3-х недель. Ася в Сочи, скоро возвращается в Москву. Свою китайскую экспедицию мне было тем труднее выдерживать, что ждал возвращенья Антокольского и его звонка: был уговор на этот счет с опросчиками. Но он так и не сказался. Маринину книгу получил вчера вечером2. Разыскивать П<авла> Г<ригорьевича> и ее отправилась по моей просьбе Маринина горячая поклонница, некая Эва, как она себя в виде псевдонима называет3. Книжки не раскрывал, так как боюсь зачитаться и остаться в Москве. Ваш Б. П.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 209). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Имеется в виду итальянская экспедиция к Северному полюсу под руководством Умберто Нобиле на дирижабле «Италия».

2 «После России».

3 Неустановленное лицо.

449. К. А. и В. П. ПОЛОНСКИМ

24—25 июля 1928, Геленджик

Дорогие Кира Александровна и Вячеслав Павлович!

Геленджик вовсе не так плох, каким его представила Женя. Море, как море, и у самой его обнажающей синевы голой перламутровой ослепительностью рассыпаны купающиеся, лодки, белые дачки греческого городка, белоногие моряки и греки-киосщики, чистильщики сапог, дети кофеен и кефирен, горячий, невинный и неразвращенный юг, бездельничающие олеандры, мимозы, персики, айва (но тут уже покинута синтаксическая согласованность) — а сзади — горы, не Бог весть какие, но все-таки горы, настоящие горы, т. е. спокойные нагроможденья сторожевой неменяющейся обширности, отдаленно похожие на большую громаду времени, разом воображенную, на какую-то «целую жизнь», дожидающуюся чьего-то переживанья и никем не пережитую. Одним словом, это юг, каким ему полагается быть, и я бы им без конца любовался, если бы не был им сконфужен, если бы он не сконфузил меня своей ослепительной законченностью при совершенном спокойствии и здоровьи. Он этого достиг без всякой нервной утечки. Я же приехал сюда совершенно больным. Это позорно и об этом нельзя говорить, меня же тянет на такие признанья, потому что не хотелось бы ничего таить о себе. Вообще я рад как угодно уронить чувство своего достоинства, потому что живу чувством достоинства природы, и она не потеряет, как бы я ни унижал себя, всякий раз, впрочем, по заслугам. Три дня брожу здесь очарованный, уничтоженный, неудачный. Я совершенно забыл, откуда приехал, что собой изображаю и достигал ли когда чего. Однако надо взяться за ум. Необходимо что-нибудь возомнить о себе, а то сложно расчлененная, здоровая система человеческого самомненья сотрет тебя, и близким, ближайшим тебе людям (они очень загорели, и я их очень люблю) нечего будет есть. Пишу вам в день переломный, в день «принятых решений», так называемого «дальше так нельзя» и пр. Будем гулять, загорать, купаться. Очень хочется в Теберду, всем семейством, улыбается эта мысль и Евгении Владимировне. — Вспоминаю предложенье Киры Александровны и ловлю ее и вас на нем1. Не знаю, чем отвечу и чем смогу воздать за такую услугу, но так хочу побывать там и в одно время с вами, что решаюсь обо всем этом вас просить. Прекрасно было бы, если бы можно было поселиться вне дома

Цекубу (если кругом имеются помещенья) в двух комнатах, с правом столоваться в Доме, и со скидкой, скажем, на одно мое лицо. Готов ассигновать на две недели двести, а если этого мало, то и несколько больше, рублей. Очень хорошо было бы все это знать между 5-м и 10-м, чтобы к 10-му VIII* уже и подняться отсюда (таковы сроки съемки тут). Страшно буду вам благодарен за сведенья и сопряженные со всем этим хлопоты. Поездим верхом, говорят, там это даже и с моим спорным стажем возможно, и даже без всякого, как у Жени. Не обращайте вниманья на тон в начале письма, это всегда у меня и не без причины.

Преданный вам обоим Б. П.

Адрес наш. Геленджик. Черноморское побережье Кавказа, ул. Д-ра Гааза, 22, нам.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268). Датируется по содержанию.

1 См. в письме № 439 о «плане» К. А Полонской вызвать Пастернаков в Теберду. В письме 29 июля Пастернак писал Полонскому о своем желании поехать «в настоящие горы. И, конечно, о Теберде заходит речь не только в виду ее прославленных красот, а и оттого, что Вы там будете <...> в последнем уточнении просьба моя клонится к тому, чтобы Вы обо всем просимом известили нас телеграммой, и, как можно скорее по Вашем приезде в Теберду» (там же. С. 701). Эти планы не были осуществлены. В. П. Полонский писал Пастернаку 26 авг. 1928 о болезни Киры Александровны, из-за которой они поехали не в Теберду, а в Кисловодск.

450. И. Н. и А. Л. ПАСТЕРНАКАМ

29 июля 1928, Геленджик

Дорогие Ирина и Шура!

Это вложенье опустят в Москве возвращающиеся, чтобы поскорее вышло. Геленджик совсем не то, что о нем писала Женя. Мне, не говоря о море и горах, нравится и то, что он так населен, — в этом его особая колоритность. Это и восток и Италия одновременно. Соединенье белого цвета с синевой везде преобладает. Белыми плитами вымощены прямые улицы, сплошь в палатках фруктовщиков, мороженщиков, кофейщиков, табачников, чистильщиков сапог и пр. Сорокаградусная жара мила и прекрас-

* В автографе описка: VII. 249

на, потому что она шаркает в белых башмаках и ослепительных брюках того же цвета, тянет турецкий контрабандный кофе и заедает его льдом. Это — цветные афишные столбы, пирамидальные тополя, персики и пшенка и сзади горы, жалкие, конечно, на Кавказский ранжир, но все же такие, подъем на которые длится около 2-х часов. Мы с Женей на днях поднялись на одну такую вершину, за которой вдруг открылась громадная долина, как на швейцарских плакатах в Куковских бюро. Карабкались же мы лесом, в котором бук, граб и кизил так же часты и густы, как крапива и хмель в Мутовках. Потом мы ездили на днях в большую горную прогулку в Джанхот вчетвером с малюткой на паре в экипаже «доброго старого времени», который тут, как и на всем юге, называется фаэтоном. Этой 12-ти часовой прогулки с панорамами, как на Гарце, «да плюс прибавьте» море — не описать! В теченье 1/2 часа ты все над тем же ущельем, поросшим лесами и виноградниками, и лошади идут рысью, и кожаные подушки колышутся, и кругом сосны, мимоза, грецкий орех и горы, и наверное медведи, и вдруг с шоссе в лес, извиваясь, кидается змея, — а ущелье все то же, но только ярус за ярусом вас прокатывают над ним до десяти раз. Поцелуйте Федичку и всех, и всем привет. Второпях, уезжая, я запер шкапы в нашей комнате, ключи положил в Веласкецовский книжный шкап1, а ключ от него при мне. Если можете, потерпите и не взламывайте.

Оказия уехала, пойдет обычной почтой.

Впервые. — Автограф. Датируется по содержанию. 1 Верхняя часть буфета, используемая как книжный шкаф, за стеклом которого стояла гравюра с картины Веласкеса.

451. Н. И. ЗАМОШКИНУ

24 августа 1928, Геленджик

Геленджик, Черноморское побережье Кавказа, ул. д-ра Гааза, № 22 24/VIII/28

Дорогой Николай Иванович!

Столкнувшись в этом году с возможностью переизданья своих первых книг, я увидал, что в прежнем их виде выпускать не в силах, худшие из стихов вовсе выбросил вон, стихи среднего достоинства оставил без большой правки, лучшие же, т. е. те, поэтические темы которых не перестали звучать для меня и сейчас, стал подвергать коренной переработке, часть же и попросту переписал наново. Объяснять причины всего этого долго, если Вам покажется все это странным и не будет скучно, я при встрече обо всем этом Вам расскажу, пока же лишь вот что.

Летом я читал несколько таких переделок Вяч<еславу> Павловичу, и он пожалел, что не в Новом Мире, и что я их предназначил «Звезде»1. Это было в городе, в дни моих звонков по поводу Ан<астасии> Ив<анов>ны2. Сейчас я переписал для книги стихотворенье «Мельницы», в первоначальном виде имеющееся в сборнике «Поверх барьеров». Прилагаю его при письме. Не устроите ли Вы его в Новом Мире? Так же как и от Вас, я не скрыл от редакции «Звезды» того, что в этих переделках, рядом со множеством (и — большинством) новых строф, сохранены местами старые, с малыми измененьями или вовсе без таковых, но это редакции от печатанья этих вещей не удержало, и они идут в осенних номерах. Расчет будет такой. Тут 52 строки совершенно новых, и пойдут по 3 р. строка. 28 строк представляют переделку старых строф и могут быть оценены вполовину, по 1 р. 50. Половину суммы задержите в постепенное погашенье аванса. В заключенье — разговор литературный и косвенно — просьба. Если это не чрезмерное насилие над словом и кажется Вам возможным, я бы в первой строчке решился сказать терпк, вместо правильного и более обычного терпок, ради ровности размера и рифмы3. Далее, не слишком ли натянуто ударенье «умолот», возможное, как мне кажется не меньше, чем на последнем слоге4. И наконец, — переделке не дал отлежаться, и если она дика и неудачна, Вы ее мне вернете, и не будете срамить. Не правда ли?

Всего лучшего. Вернее спасибо. Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ГЛМ, о. ф. 5978). К письму приложено стих. «Мельницы» с подзаголовком «Из старой тетради» и посвящ. Вл. Маяковскому. Н. И. Замошкин был редактором «Нового мира».

1 В «Звезде» (1928, № 9) было напечатано стих. «Марбург» в новой редакции.

2 Пастернак звонил по телефону в «Новый мир» по поводу обещанной публикации в журнале прозы А. И. Цветаевой. «Вчера заходила ко мне Ася, — писал Пастернак жене 21 июня 1928. — Я очень рад за нее: у ней приняли в Новом мире рукопись в полтора печатных листа, и на днях она получила половину гонорара» («Существованья ткань сквозная». С. 264). Какая это была вещь А. И. Цветаевой, не удалось установить; публикация не состоялась.

3 В автографе это слово написано: терпок. «Хрустальна ночь и ветер терпок. / Рыдает пес, обезголосев, / И месяц протирает серп / Хрустящею струей колосьев». В письме Н. И. Замошкину, написанном на следующий день, 25 авг., Пастернак предлагал новый вариант, без этого, смущавшего его, слова: «Не упростить ли 2 первые строфы следующим образом: Стучат колеса на селе. / Луна волнует строй колосьев. / Далеко, на другой земле / Рыдает пес, обезголосев. / Он рвется под колеса дрог / Из-под навесов хат потухших. / Его остервенелый брёх, — / Как стук разбитой

колотушки и т. д. Так живее и торжественней как будто? Достаточно и нынешнего примера, чтобы просьба о невыпуске без моей корректуры стала Вам понятна и не показалась излишней претензией» (ГЛМ, о. ф. 5981). В корректуре текст снова подвергся изменениям, первая строфа осталась такой же, во второй автор вернулся к прежнему варианту.

4 Слою умолдт, которое означает количество обмолоченного зерна, по правилам должно произноситься с ударением на последнем слоге. У Пастернака: «Теперь перед ними всей жизни ^молот. / Все помыслы степи и все слова, / Какие жара в горах придумала, / Охапками падают в их постава».

452. Р. И. ПАСТЕРНАК

24 августа 1928, Геленджик

24/VIII/28 Дорогая мамочка!

Сейчас я шутки ради надел очки, и вышло, что я так похож на тебя, что Женя даже просила не снимать их, чтобы подольше тебя видеть. Вероятно, наше продолжительное молчанье нуждается в объясненьи, и я должен его дать, но перечисляя причины, я бы не сказал ничего ни важного, ни интересного, так что лучше эту тему оставить.

Связь с вами естественно нарушена той неизвестностью, в которой мы тут одно время находились. Мы предполагали переехать отсюда поглубже в горы и послали в Москву просьбу прекратить пересылку писем в Геленджик до нового уведомленья. Между тем, давно решив сохранить «базу» в Геленджике и только изредка делать экскурсии без Женички, мы вовремя москвичей об этом не известили, и потому не удивляемся, что пока сидим без писем. Косвенно думаю, что у Вас все ладно, потому что была открытка от Стеллы, и она, конечно, была бы другой, если бы у вас было что тревожное. То, что я обращаюсь в этом письме к тебе, случилось само собой, и я тебе рассказал, как именно, случайность же эта находится в редком согласьи с моим самочувствием последних дней. Оно очень хорошо, — чтоб ты чего не подумала дурного, — и как все хорошее, невыносимо рвется наружу и совершенно не допускает передачи, немыслимой во многих отношеньях.

В автобиографической вещи, которую я начал зимой и которую вы когда-нибудь прочтете (ее продолженье — очередная работа, которая ждет меня по возвращеньи в Москву), да, так в автобиографической этой вещи1 я описал мое расставанье с музыкой в тех именно словах, которые подошли бы и к моему нынешнему состоянью. Кто этой сложности, где-то завершающейся горькой гармонией всепримиренья2, не испытал, тот живя, прозевал свою собственную одухотворенность.

В таких чувствах я на днях написал вам огромнейшее письмо на 32-х страницах, о себе, о Кавказе, о Жене, о море, о нашем путешествии и о многом другом, но оно не вышло, и взамен его я сейчас живу большой нежностью к вам, горячим сходством с тобой, вдруг обнаружившимся сквозь очки, и бездной поцелуев и приветов всем вам от нас.

В час добрый. Ваш Б.

Это письмо опустят в Москве наши соседи, сейчас отсюда выезжающие.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 «Охранная грамота», первая часть которой посвящена отроческой влюбленности в Скрябина и расставанию с музыкой.

2 Свое прощание с музыкой Пастернак уподобляет горечи, сопровождающей работу над ранними стихами, в которой он расставался с импрессионистической манерой 1910-х гг. и в стремлении к отчетливости терял живость и непосредственность первого чувства.

453. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

28 августа 1928, Геленджик

Дорогой Шура! Отчего нам не пересылают почты? Мы уедем отсюда никак не раньше 10-го IX, а может быть и позже. Ездили мы отсюда с Женей в небольшое путешествие, были в Туапсе и Сочи1, 600 верст в оба конца, на автомобиле (185 верст), пешком, по железной дороге и морем на блестящем пароходе экспрессе (залитая электричеством кают-компания), все в белом, сияет сервировка, путешественники-иностранцы, преобладает английский

язык, plat* той ночи (ужин, фаршированные кабачки и камбала жареная, пластом на тарелке). Знаю, кому что пишу, ты бы лопнул от блаженства. Сочи — воплощенная иллюстрация к немецкой юношеской Kolonialgeschichte, — die Deutschenin Westafrika**. Слонами по асфальтированным улицам без тротуаров шагают исполинские пальмы (вокзальной разновидности), но тут они заносятся в небеса. Фикусы с дуб величиной, «bungalo» тонут под пуками банановых листьев. Финиковые! И — <даже>*** во дворах. И на них переки<нуты> веревки и сушится белье. <Скоро> отправимся в более обширную <поездку>, но базой останется Геленджик. Целую Федичку и Ирину, Риту и <Аню>. О Коле и Нине2 думаю часто с глубоким и большим чувством.

Скажи Коле, что я сказать не могу, как его люблю. Тв<ой Боря>.

Впервые. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

1 Об этой поездке Пастернак писал Полонским 24 авг.: «...Мы разнообразными способами пропутешествовали от Геленджика до Сочи, и открытка ваша застала нас по возвращеньи из этой прогулки, одновременно бывшей и семейным экзаменом. Так как Женичка испытанье это выдержал блестяще, то нас тянет вновь в путешествие. Мы надеемся его оставить на неделю сроком и в это время заскочить куда-нибудь в горы» (ЛН. Т. 93. С. 701).

2 Сестры и брат Ирины Николаевны Вильям: Маргарита, Анна и Николай с женой.

454. К. А. ФЕДИНУ

9 сентября 1928, Геленджик

9. IX. 28

Дорогой Константин Александрович!

«Того» письма я, как видно, так и не напишу. Но вместе с тем и возмутительно, что: читал и переживал я восхитительных «Братьев»1, — непомерный по полноте подведенья и полноте погашены! расчет по целому ряду серьезнейших наших долгов, и громадный вклад в нашу тематическую культуру; глотали «Братьев» кру-

* блюда (фр.).

" «Колониальные истории: Немцы в Западной Африке» (нем.).

*** Пропуски в тексте на месте вырезанной марки. 254

гом, в моем экземпляре и других, благоприобретенных и библиотечных; разволновывались и мирились, благодаря Вам, со всем тем, что им должно казаться чепухой, старики, бывшие помещики и генералы (Вы улыбаетесь, думая, что эта фраза из печатного воззванья, но нет, — это живая обстановка айвового и орехового сада, — наши соседи и хозяева); «допускали» женственно лирического интеллигента, интеллигента вообще — обычно не приемлющие его красные девицы, племянницы и дочери вышеназванных; захлебывался, в лице всех временных обитателей и обитательниц (и если бы Вы видели одну из них!), весь олеандровый участок; главное же впереди, и вот оно: каждое сотое слово этого молчаливого, подвижного и полного незнакомых встреч и разминок, частью — путевого, лета были «Братья».

Разговоры эти подхватывались и поддерживались, когда говорившие нравились, и только невольно подслушивались, когда они не располагали к сближенью: на вокзале в Новороссийске, на палубе «Кречета» на переходе от Сочи, еще где-то раз, не помню

где, может быть на Голодном шоссе близ Туапсе. И все они были радостны и лестны для Вас. Так вот: что я могу еще сказать?

Я распишусь и обниму Вас. И я только не свел периода. Возмутительно, хотел сказать я, что все это делалось на моих глазах, и в той части, которой я был свидетелем, Вам неизвестно. Было множество замечаний за чтеньем, гофрирующих радость подробностями, пестрящих ее деталью. Но я их позабыл, да и совсем не нужно это. Явился страх (так близок мне Ваш мир2), что Вы заподозрите меня в подражаньи Вам, когда прочтете автобиографические заметки, наполовину уже написанные для «Звезды»3, так поразительно временами однотипен этот матерьяал: Германия, музыка, композиторская выучка, история поколенья. Но будь что будет.

Любящий Вас Б. Я.

И Вы ввели чудесное точное слово для тишины: неопытность. О, как его подхватят! И оно пропало для меня. Я Вас люблю и ревную.

Отсылаю не перечитывая, идут на почту, стояли над душой, оттого и скомкано.

Впервые: журн. «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

1 Сохранилась записка Пастернака с благодарностью за присланный роман «Братья» (Л., 1928): «14.VI.28. Дорогой Константин Александрович! Только что получил "Братьев". Горячо благодарю Вас за посылку. Улажу все дела, вырвусь на Кавказ, и наперед знаю, как буду поздравлять Вас. Еще раз спасибо за доставленную радость. Преданный Вам Б. Пастернак» (там же. С. 171).

2 Слова Пастернака о близости ему «мира» Федина смутили адресата, отмечены на полях и были ему непонятны. «...Вы пишете о нашем "сходстве" и ничего не говорите о "различии"», — возражал ему Федин (там же. С. 172).

3 Первая часть «Охранной грамоты» была опубликована в «Звезде» (1929, № 9).

455. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

24 сентября 1928, Москва

24/IX/28

Дорогой Осип Эмилиевич!

Вчера достал Вашу книгу1. Какой Вы счастливый, как можете гордиться соименничеством с автором2: ничего равного или подобного ей не знаю!

Все эти стихи, кроме разве рассвета с чернецами в сенцах3, — знал, но и без того они росли и вырастали при каждом новом чте-ньи, а тут — перечитка капитальная, с ведома автора и при беглом его участии, и что это за устыжающее наслажденье!

А я закорпелся над переделкою первых своих книг (Близнеца и Барьеров), их можно переиздать, но переиздавать в прежнем виде нет никакой возможности, так это все небезусловно, так рассчитано на общий поток времени (тех лет), на его симпатический подхват, на его подгон и призвук! С ужасом вижу, что там, кроме голого, и часто оголенного до бессмыслицы движения темы, — ничего нет. Это — полная противоположность Вашей абсолютной, переменами улицы не колеблемой высоте и содержательности. И так как былое варварское их движенье, по уходе времени, отвращает своей бедностью, превращенной в холостую претензию (чего в них не было), то я эти смешные двигатели разбираю до последней гайки, а потом, отчаиваясь в осмысленности работы, собираю в непритязательный ворох почти недвижущихся, идиотских, хрестоматийно-институтских документации. Летом кое-кому показывал, люди в ужасе от моих переделок. Я понимаю их и чувствую почти им в тон. И однако ничего не могу поделать и продолжаю начатое. В этом есть что-то роковое. Может быть, я развенчиваю себя и отсюда такое упоенное, ничего не слышащее упрямство.

Теперь нашел человека, который бы мог это сделать без труда и не тратя времени. Это Вы4. С каким правом Вы могли бы судить и осудить меня! И как легко это бы

принято было и сказалось! Туг весь вопрос в праве. Но я коснулся одного из таких житейских мотков, путаница которых ясна лишь на месте, и которой ни в каких письмах не описать. И вряд ли Вы меня поймете. А тогда и все это приплетанье себя самого к восхищенью Вами должно будет показаться досадным придатком неотесанности. А я совсем не о том! Ах, что за книга!

Скоро ли Вы приедете и зайдете ко мне? Сердечный привет Надежде Яковлевне5.

Любящий Вас Б. П.

Не смотрите на это, как на письмо. Я и не рассчитывал говорить о книге. Совершенство ее и полновесность — изумительны, и эти строки — одно лишь восклицанье восторга и смущенья. Вот и все Еще раз весь Ваш Б. П.

Впервые: «Вопросы литературы», 1972, № 9. — Автограф.

1 Осип Мандельштам. Стихотворения. М.-Л., 1928. Вскоре Мандельштам подарил Пастернаку свою книгу с надписью: «Дорогому Борису Леонидовичу с крепкой дружбой, удивленьем и гордостью за него. О. Мандельштам. 25 окт. 1928».

2 Пастернак оспаривает самоуничижение Мандельштама, сказавшееся в словах: «О, как противен мне какой-то соименник, / То был не я, то был другой...» из стих. «Нет, никогда, ничей я не был современник...» (1924).

3 Имеется в виду стих. «Сегодня ночью, не солгу...» (1925).

4 Эти слова не парадокс и не шутка, они передают сопоставление ранних стихов с новыми их переработками. В письме В. С. Познеру Пастернак так характеризовал новую книгу: «Книга переделана с верой в читателя, она запросто беседует с ним <...> В ней господствует добрый акмеистический лад» (Собр. соч. Т. 5. С. 282-283).

5 Н. Я. Мандельштам.

456. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

7 октября 1928, Москва

Дорогая Марина! Никогда так благодарно не удивлялся тебе, как на этих днях. На письмо хотел ответить телеграммой, и жаль, что этого не сделал. Если, чтб превзошло мои надежды, ты мне простила эти три необъясненные месяца, не ищи им пока еще объясненья. С твоей помощью я это сделаю, но не сегодня. Ничего так не хочу, как скорейшего твоего выздоровленья. Вскользь сообщенные планы предупреждают мои собственные. Тянусь к тому же, но держат незаконченные вещи в разноотдаленных от окончанья долях. Если найду путь и согласятся, хочу и могу прислать немного денег. — Но перерыв в переписке (такой вот — с тобой и абсолютный — с родными и друзьями) пока неизбежен. Не могу, не в силах и не вправе забегать вперед, почему он и к чему, но, — в границах человеческой подверженности самообману — допущен в наилучших чаяньях, в счастливейшей, чем когда, преданности тебе и верности всему, чем я когда-либо кого мог привлечь и сделать другом. Книга? Передал ли ее А<нтокольс-кий>? О, разумеется1. Без ее боя, без ее сгустков, без ее сосредоточенной силы, то, что наползло, осело, приурочилось и вздумало объявить себя гранью (для воли, выбора и полаганий) потребовало бы вероятно больше пристальности и напряженности с моей стороны, чем это случилось. Именно о ней не хочу сейчас говорить, и если уж это себе по отношенью к ней позволил, то уже ни с кем ни о чем. Изумительные стихи, более счастливые, чем мы с тобою. Если бы нас уже не было, и нам больше ничего не оставалось, первый разговор был бы о ней. Или если бы у нас было право на долгий отдых, с путешествиями, с обеспеченною оглядкой. Ради Бога не думай, что я что-нибудь преувеличиваю или умничая, паразитирую на какой-нибудь из былых «бездн». Без всяких потусторонностей: в нашем положеньи (исторически) нам надо еще пожить и поработать. Вдруг я зачувствовал это элементарно, здорово и сверхсловесно. Страшно этого хочу. Дай мне доубрать твою же собственную елку*, хотя бы это длилось и целый год, ведь не в потемках же тебе ждать, а только жить

своим и не думать. Буду писать тебе, а ты не отвечай. Поцелуй С. Я., а он пусть — Д<мит-рия> П<етровича> и П<етра> П<етровича>.

Как удивительно, что ты меня не прокляла! Я шел на этот Цветаевский исход, на этот удар с самонадеянностью, которой ты не должна оскорбляться: с надеждой на то, что это будет не окончательно. Что я что-то заслужу и все начнется вновь и еще лучше! То же, что ты написала мне, — лучше всего.

* Это не так притязательно, как ты может быть заподозрила: я не о себе, конечно, и не прямо о тебе, а о том, что у нас общего и самого невыясненного, самого ускользающего, и, как пока еще правы враги: — превратного в смысле судьбы и пути. (Прим. Б. Пастернака.)

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 169). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Антокольский привез книгу Цветаевой «После России» (см. письмо №445).

457. А. БЕЛОМУ

30-31 октября 1928, Москва Дорогой Борис Николаевич!

Вчера мне звонил П<етр> Н<иканорович>, и я с нетерпеньем жду субботнего вечера1. Но вчера же весь день до его звонка я собирался написать Вам, потому что мне, по счастью, подвернулся случай осмыслить мое непоправимо запоздалое обращенье к Вам, без чего оно не только лишено смысла, но без чего может быть у меня нет уже на него и права. Свое письмо я бы начал с просьбы простить мне этот неслыханный, ни с чем не сравнимый и все же никак не извинимый позор: целый месяц я живу с Вашим письмом2 на руках и в душе, присвоив себе незаслуженную ласку и прямой писательский подарок, которые в нем заключаются, и ни разу, ни минутою не возвысился над той рядовой, повседневной нищетой, из обстановки которой отвечать Вам было, разумеется, немыслимо. Как всегда, случилось это оттого, что я не ответил в первый же момент, потому что этот-то миг достаточно приподнял меня, и заговори я тут же, я бы хоть в отдаленном отражении дал Вам понятие о той радости, которую Вы на меня излили.

Но, по-видимому, Вы простили меня. А то П<етр> Н<икано-рович>, позвавший меня, вероятно, с Вашего ведома, этого бы не сделал. А за эту снисходительность мне Вас ничем и никак уж не отблагодарить.

Предлог же вчерашний таков. В воскресенье у меня был и долго просидел Шарль Вильдрак, вероятно его направил ко мне кто-нибудь из друзей, Пильняк или еще кто-нибудь. Он показался мне очень милым, простым и задушевным человеком. Как поэта я его еще не знал, книги его получил на другой день, и они усилили это впечатление, а не ослабили, что бывает гораздо чаще. Сейчас ловлю себя на том, что (ничуть не погрешая против истины) стараюсь расположить Вас в его пользу: для него величайшей радостью было бы познакомиться с Вами, Ваше имя знакомо ему еще со времен Золотого Руна3. Вот повод просить Вас ко мне с некоторым, может быть, для Вас интересом. День, покамест предположительно (в отношении как Вашей, так и его собственной поденной росписи), назначили: воскресенье 11/XI. Если бы Вы вспомнили кого-нибудь, или пожелали с кем-нибудь прийти, с кем находите, ему надо познакомиться, — это было бы шагом в том направлении, в котором сам он ищет, и таким вот образом, сцеп-леньем живых случайностей, находит дорогу. Но это не пожеланье во что бы то ни стало, а стремленье считаться с Вашими желаньями. Мне же радость этой встречи, если она состоится, отравит лишь одно. Вы услышите, на каком диком волапюке я с ним буду объясняться, да и то не все время, потому что и такого французского языка мне хватает лишь на первые полчаса, вслед за чем наступает полное онеменье.

А теперь до скорой встречи в субботу, и, если разрешите (хотя как я об этом узнаю? ну да все равно, рискну), я приду с близким мне человеком, Ник. Ник. Вильямом, который полностью разделяет мое нетерпенье, а ему, в свою очередь, не утерпится привесть жену, замечательно-настоящего и достойного человека, и, понятно, Вашу поклонницу4.

Без конца, безо всякого конца благодарный Вам и преданный

Б. П.

P. S. О предположении насчет Вильдрака, пожалуйста, громко не заговаривайте при всех, потому что, того не желая, я, может быть, кого-нибудь неизбежно обижу. Но П. Н. я пригласил. Не сердитесь за это предупрежденье: делаю его инстинктивно, потому что сам в таковых нуждаюсь, более чем кто.

Впервые: Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13. — Автограф (ГНБ, ф. 25, к. 21, ед. хр. 12). Датируется по содержанию.

1 В субботу 3 ноября 1928 г. А. Белый читал у П. Н. Зайцева 1-ю главу романа «Маски».

2 В ответ на несохранившееся письмо Пастернака Белый написал ему 23 июля 1928 из Коджор (Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988).

3 Журнал московских символистов (1906-1909), в котором сотрудничал А. Белый.

4 Нину Павловну Воротынцеву.

458. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

14-19 ноября 1928, Москва

14/XI/28 Дорогая Жоничка!

Сегодня тебя поздравляют телеграммой, но все же, крепко целую тебя и Федю и именинницу1 и желаю вам полной и долгой жизни с нею, а ей — легких, спокойных и подводящих итоги, а не разбрасывающихся в начинаньях, — времен. Больше всех тут некогда мне, но один я, по закону противоположности, и пишу вам изредка. Сейчас пришел конверт от тебя. В нем страничка с воспроизведенным Рахманиновым2. Может быть, это вложенье сопровождалось письмом, но никакого следа не осталось. Ты, верно, уже слышала о смерти Жениной мамы3. Характер ее смерти, ее последние слова и пр. выдвинули и укрепили в последний момент то сходство, которое всегда было между ней и Женей, а дол-годневные слезы последней, особенно в первые сутки, подхватили и еще усилили эту неуловимую связь. Она плакала, гладила и обнимала тело, оправляла под ним подушку и украдкой, сквозь слезы и между разговорами с посетителями, ее рисовала. Все это было бегло, изменчиво, по-детски полно и непосредственно, все это было сплавлено в одно — смерть и горе, конец и продолженье, рок и заложенная возможность, все это было, по ускользающему благородству, невыразимо словом.

И столь же легко одним словом назвать и выразить то, что тут воспоследовало. Ворвалось нечто самозванное, чтб непостижимым для меня образом сходит за религию для целого народа и сохраняется в своей бессердечности веками, почти не изменяясь, в то время как рядом, через музыку, философию, пластические искусства, романтизм и пр. и пр. сердце завоевывает себе все большее и большее место в истории. Обряды, предшествовавшие погребенью и его сопровождавшие, носили характер скорой и бесцеремонной расправы, все это произвело на меня впечатленье откровенной мерзости, и когда над кладбищем низко пробушевал аэроплан, поднявшийся с соседнего аэродрома, я только в нем и нашел опору для своей инстинктивной потребности в возвышающей правде и возносящей чистоте; только он и знаменовал собою действительно живую религиозную традицию, т. е. высочайшую ноту, однажды взятую в древнейшей древности и живым, звучащим голосом, из поколенья в поколенье (с развитием неизбежным в истинной жизни) протянутую до наших дней: и мне все рав-

но, куда его кидало на его пути: в науку ли и в технику или еще куда. Потому что выступленье религии над свежей могилой (и может быть, только в этой обстановке) напоминает нам всегда, что родилась она, как всецелость, и когда-то, вероятно, должна была охватывать и такие вещи, как изобретенье колеса.

19. XI. Это письмо очень залежалось. Мне давно хотелось поговорить с тобой о многом и по-серьезному, но нет никакой

возможности, все не до того. Но это не уйдет, всякий свежий повод бьет в ту же точку, и существенно лишь то, что мне кажется, что дружбу с тобою я сохраню в теченье долыпего времени, чем с кем-либо еще. Как наивно все кругом, как наивны друзья и близкие люди, как наивно то самоистолкованье, которое дает себе время.

Все возрастает число тем, на которые я вынужден невозмути-мейше отмалчиваться: изобличить их глупость легче легкого, но этого нельзя делать без риска быть понятым очень ...молодо и превратно. Ибо не превратное пониманье не могло бы и порождать того, что я наблюдаю и с чем сталкиваюсь; не превратное представленье не могло бы обращаться ко мне с иными просьбами и порученьями, как это случилось даже с Олюшкой4; не превратная фантазия не могла бы мне сделать предложенье, с каким меня поспешила порадовать мамочка. Она, видишь ли, со слов Иды5 пишет мне, что, Ида, дескать, просила передать: если я соберусь в Париж один (без Жени и мальчика), то она мне может предоставить свою гостиную, а чтоб я не думал, что звбнки, дескать, бубны за горами, она спешит прибавить от себя и подчеркивает: «и это не maniere de parler*, а истинная правда» и т. д.

Разумеется, ни я, ни кто тут на мамочку не обиделись, но, конечно, смеялись все. Для меня же существенна эта чепуха как симптом маминых представлений о том, как и зачем мне может занадобиться Париж. И в своем роде это трогательно6. Ида же меня удивила. Разумеется, она жива во мне и для меня, как все, мною пережитое, где каждая часть дороже и больше всего целого. Та же реальная Ида, которая передала маме вышеприведенное, сделала бы, конечно, лучше, если бы написала мне или хотя бы сообщила адрес в ответ на полученье книжки, которую я ей однажды послал окольными путями. Но попробуй заговори о чем-нибудь подобном, и решат, что я... «вообразил о себе нечто несоответственное» или вообще, что моя мысль движется по этому самолюбивому пути. Оттого я все меньше и меньше рассказываю о себе в письмах.

Обнимаю тебя. Твой 2>.

Крепко целую Федю. Верно, и он будет примечаньем к И<ди>ной деликатности и радушью восхищен.

Письмо писал второпях, ту часть, которая касается мамочки, надо было, знаю, выражать обдуманнее, но, ведь, ты и сумеешь

* форма вежливости (фр.). 262

прочесть, и поймешь, что показывать ей этого нельзя. Главное не она, конечно, а Ида.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 День рождения дочери Ж. Л. Пастернак Аленушки.

2 Портрет С. В. Рахманинова работы Л. О. Пастернака.

3 Александры Николаевны Лурье.

4 О. М. Фрейденберг попросила Пастернака помочь ей в опубликовании ее работы.

5 Ида Давыдовна Фельдцер (Высоцкая).

6 Сказанное по отношению к матери мучило Пастернака несколько дней, и 20 ноября он снова писал сестре: «...Несправедливо все, сказанное о маме. Потому что не только у старших, и в особенности у родителей, есть право видеть младших и все, что с

ними связано, в свете своей собственной жизни, но и более того, они обязаны так видеть и думать, если не молодятся, не современничают и не кривят душой. И о маме я упоминал лишь как о передатчице чужой глупости, хотя недостаточно точно это оформил» (там же. Кн. I. С. 199).

459. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

16 ноября 1928, Москва

16/XI/28 Дорогая Олюшка!

Прости еще раз и наверное не в последний. Но было много чего, а главное на прошлой неделе скончалась Женина мама. Хотя перед этим всякие другие огорчения бледнеют и кажутся пустыми, но нервное существо человека продолжает их воспринимать и суммировать, как ни кощунственен такой подсчет на взгляд сердца. Так оно и с Женей. Потрясенье это застало ее в полубольном состояньи, после поздки в Питер и небольшого заболеванья по возвращеньи в Москву. Она не только изошла слезами в эти несколько последних дней, но и как-то вообще потрясена и уничтожена. Ее испугала и ожесточила та быстрота, с какой природа и традиция (тление и обряд) спешат убрать с дороги жизни то, что было жизнью и ее дало. Но это ничего не передает, и я взываю к твоей догадливости и воображенью. В двух словах этого не скажешь. Я видел в первый раз в жизни, как хоронят евреев, и это ужасно.

И как бы варьируя эту тему устрашенья, судьба в те же дни послала ей новое испытанье. Вы помните Феню, по наследству перешедшую к ней от стариков и два года бывшую нянею при

Жене1. Мы с ней расстались давно. Некоторое время она служила у Жениной сестры (здешней), помогая в уходе за больною госпожой Лурье. С теченьем времени ее замкнутость и упрямство стали несносны и для людей, сжившихся с ней, как с родным человеком, и они ее рассчитали. Она поступила на другое место. Потом его сменила новым. Ездила на родину к себе, но не прижилась, и приехала несчастная, улыбающаяся и загадочная. С ней стали происходить какие-то странности, незадача сменялась незадачей. Дня за два до смерти своей бывшей госпожи, дождливою ночью, она постучалась к нам, грязная, промокшая, с несомненными признаками жара, улыбающаяся и загадочная, ее тотчас уложили спать, и она моментально уснула, с градусником под мышкой, показавшим что-то около 40 градусов. А утром оказалось, что незадолго перед тем, перевозя свои вещи на новое (и которое по счету!) место, она выволокла тяжелую корзину с трамвая на тротуар, и тут ее оставив, с тем, чтобы потом подхватить, налегке с адресом в руках (она неграмотная) пошла разыскивать своих новых хозяев. Когда найдя их, она вернулась к трамвайной остановке, корзины, разумеется, и след простыл, а в ней были ее документы и 300 рублей денег. А потом в ребяческой последовательности шли подробности о дальнейшем, о какой-то землячке, затем о простуде, затем о том, что накануне вечером она больная пришла домой к хозяевам и те отказались отпереть ей дверь. Мы ее приютили. Она страшно неопрятна, ходит босиком и с распущенными волосами, подбирает у соседей по подоконникам селедочные хвосты и затем, заняв у кого-нибудь пятирублевку, заказывает в кондитерской торт Наполеон со сбитыми сливками, угощает кухню и всю многолюдную квартиру.

Вчера она в сумерки ушла к Жениной родне и вернулась сегодня утром. Она не помнит, как названье той деревни, где она провела ночь. Туда завез ее трамвай, на который она села в направлении обратном тому, в котором требовалось, и это было близ какой-то железной дороги, она пропустила восемнадцать поездов мимо себя, с гордостью призналась она, и потом призналась, что будь при ней деньги, она бы домой не вернулась, так ее потянуло вдаль.

Сейчас Женя пошла с ней к психиатру, а я с утра начал хожденье по разным местам, где надо будет восстановить все утерянное и утраченное ею по корзинам и неизвестным деревням, по местам ее многочисленных служб и по ее карманам, с подкладкой в давленых яичных желтках и подсолнухах.

Страшнее всего то, что для Жени в этом воплотились две вещи, мучительные по своей бесконечности, т. е. по неизмести-мости, по тому, значит, что им нельзя положить границ своими руками и в то же время своими же руками надо положить: расплывчатость нравственного долга и расплывчатость жизненной угрозы, скорчившей живую гримасу прямо вслед за тем, как она показала ей (и какую, т. е. чью\) маску мертвеца.

И опять, чтб я пишу, что я себе позволяю! Отчего я считаюсь с тобой и отвечаю тебе, зная, что писем писать не могу и не должен. Но это временно, этого и с тобой скоро не будет. Это оттого, что в моем чувстве к тебе я еще доверяю твоей потребности в ответе и ей подчиняюсь, хотя должен бы уже знать, как призрачна эта потребность, если не ошибочна.

Твое и тетино порученье я исполню послезавтра, в воскресенье, вечером, хотя я не совсем его понимаю и не уверен, надо ли это именно так, как вы задумали, и приятно ли это будет Струве2. Но это ваше дело, и насколько я понял суть вопроса, буду просить о том, чтобы музей ограничился одним экземпляром книги, с тем, чтобы сойтись, может быть на двадцати пяти.

Сохрани вас Бог писать об Эфросе папе. Это его заклятый враг, c'est 9a bite noir\ Когда-то Эфрос писал о выставках в «Русских ведомостях» и позволял себе возмутительный тон по отношению к папочке и главное, о как несправедливо и слепо!3 А ведь папа был и есть живой человек, со всеми слабостями действительно живого, самолюбивого, на своем месте и в свое время — яркого существованья, не то, что я с моим «почти что ханжеством», как говорят все близкие люди, т. е. с чертой характера, которая выросла не из меня, а все более и более в меня врастает из того соче-танья, в какое вошла моя жизнь, с окружающим, с временем, с планами и пр. и пр.... И как его все это чисто язвило! Точь-в-точь как запутанно оставляет рассеянным меня.

Дорогая тетечка, видите, что у нас делается, а я не рассказал ведь и половины, потому что ни словом не обмолвился о себе. Горячо Вас благодарю за письмо. При виде Вашей подписи Женя умилилась до слез, это ничего, и может быть, хорошо, что все так совпало. Но на ней лица нет, кожа да кости, ей надо бы в дом отдыха на месяц, и это бы очень легко сделать, но она не соглашается, — вперед ей надо Феню устроить в больницу и затем поработать, потому что больше полугода она не трогала кистей. И просто

* исчадье ада, воплощенье зла (фр.).

не знаю, что с ней будет. А Эфрос не далее как вчера меня очень расстрогал своей речью об одном французском поэте, сейчас находящемся в Москве. Это была прекрасная речь и очень в точку; вечер был посвящен творчеству этого гостя, прекрасного, между прочим, поэта, Ром<ен> Роллановской «человечной» складки4. И теперь, благодаря Вашей просьбе, я воспользуюсь его пригла-шеньем на воскресенье вечером, а он-то и не будет знать, что я у него обедаю на «египетском» основании. А я бы не пошел, хотя он и умница и интересный человек, потому что больше дома сижу*.

Зачеркнул о результатах врачебного осмотра, из суеверья, пока не подтвердилось анализом.

Не сердитесь, когда не пишу. Вот видите, какова жизнь. Оттого и тороплюсь и скуплюсь на время и считаю каждый день подарком. О результатах разговоров с Эфросом сообщу отдельно.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Феня была взята в няньки к маленькому Жене летом 1924 г. «Приспособлена ли Феня? — писал Пастернак жене. — Если по зрелом обсуждении, тебе она представляется в качестве няни подходящей, мы экспроприируем ее...» (письмо № 227).

2 Василий Васильевич Струве — историк Востока, египтолог.

3 См. письмо № 152 о статьях А. М. Эфроса в «Русских ведомостях».

4 Имеется в виду Шарль Вильдрак.

460. Н. С. ТИХОНОВУ

19 ноября 1928, Москва

19. XI. 28

Дорогой Николай!

Пишу второпях, и прости, в письме ничего не найдешь, кроме просьбы. Сегодня выезжает в Ленинград Шарль Вильдрак1, остановится в Доме ученых Цекубу (кажется, на Миллионной) и пробудет у вас три дня. Ему надо и хочется познакомиться с тобою и следовало бы повидать несколько человек, которых мы назвали с ним почти в один голос, не сговариваясь. Я бы возлюбил тебя еще больше, если это возможно, а также и он был бы тебе очень признателен, если бы ты связался с ним, не откладывая дела в долгий ящик, по телефону и повидался с ним. Прости за нескромность, но лично я советовал бы тебе пригласить его к себе в первый же вечер, позвав из людей, которых ему хочется узнать, тех,

* Далее вычеркнуты четыре строки. 266

которые Марии Константиновне2 и тебе приятны. Мандельштам, кажется, — здесь в Москве. Ну, так вот, познакомиться ему надо с Анной Андреевной, с тобою, с Кузминым, с прозаиками, т. е. с Замятиным, Фединым, Тыняновым, Кавериным и др. Впрочем, он только тебе будет благодарен, если ты, помимо права хозяина, воспользуешься и своим правом передового и первейшего поэта и выправишь этот список и в этом отношеньи, т. е. заменишь своим. Да, и про Ольгу Дмитриевну забыл!3 Он милейший человек, и очень простой, и как поэт мне очень нравится. Я думаю, он как живое явленье, как частица переживаемого и как обещанье будет мил и близок тебе. Это первый случай, что я захотел действительной дружбы с приезжим, которой лично пока не заслужил, но одно другому не помеха. Дорогой, ты не пожалеешь. И не бойся, что он будет тебе в тягость: в среду приедет Пильняк, который много с ним тут встречался и на которого, в основном, Вильдрак возлагает все надежды (в смысле показа города, людей и пр. и пр.). А главное, это не «знатный иностранец» и очень прост. Ты знаешь, как я живу. В том, что он ко мне пошел, нет ничего удивительного: у меня много друзей тут. Но он у меня сидел довольно долго, и я его видел и успел узнать. И поэт очень настоящий. Позови его к себе. Обнимаю тебя и целую руку Марии Константиновне. Прости за вмешательство, — но как было это сделать иначе? Ну, бегу на вокзал отправить письмо.

Твой Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. Н. С. Тихонова).

10 знакомстве Пастернака с Ш. Вильдраком см. письмо N° 457.

2 Мария Константиновна Неслуховская — жена Н. С. Тихонова.

3 Писательница О. Д. Форш.

461. К. А. ФЕДИНУ

6 декабря 1928, Москва

6. XII. 1928

Милый, дорогой мой Константин Александрович!

Я хотел Вам ответить немедленно, — мне помешали печальные происшествия в жениной семье1.

Я не помню летнего своего письма. Но раз Вы заинтересованы нашими отличиями и их, как и слово: сходство, берете в кавычки2, значит, летнее мое письмо было написано слишком наспех и, не соответствуя чувству, которое его вызвало, пришло к Вам с налетом дурной навязчивости. И вот, если это так, то, конечно, это — недоразуменье, коренящееся в недостатках стиля и в торопливости, с какой я выражал Вам свое удивленье, радовался Вам, благодарил Вас и поздравлял. Краснею и сейчас, если в письмо действительно затесалась такая нота. Верите ли Вы мне вполне и безо всякого усилья? Ну так вот, поверьте и в то, что не только не мог я навязываться Вам и не навязываюсь ни в какие спутники, ни во что бы то ни было другое, но и полную неуместность и невозможность этого переживаю без всякой грусти и боли, потому что, по счастью, у меня есть глаза, и когда именно они, а не молва или видимость, говорят мне, что кто-то рядом делает полностью и до конца то, до чего я только дорабатываюсь в сотой доле, я только могу завидовать этому счастливцу и любить его превосходное дарованье и удачу, а никак не урезывать свою радость сни-женьем ее источника до самого себя.

Но когда, больше всего любя искусство, мы встречаемся с большим и истинным его проявленьем, мы вправе, не боясь показаться притязательными, говорить, что автор нам близок. Разумеется, никогда бы Вы в таких словах не прочли притязанья, и, стало быть, не в этом промах моего письма. Как сказал, — я его не помню. Я не стану перебирать того, о чем мог я писать, касаясь Вас и «Братьев», — тема эта — бесконечная, потому что случай — живой, прекрасный, необязательный, насквозь дарёный.

Но (и опять — бессильный вспомнить, сделал ли я это или нет) я знаю, что я должен был Вам написать, говоря об особой близости Вашего пути и последнего произведенья. Предмет этот очень трудный, потому что не уловлен терминологией, и если я в своем письме об этом не заикнулся, то, значит, меня остановила тогда трудность задачи, и я от нее отказался. И может быть, я плохо понял Вас. Тогда простите. Но, — попробую. И без подробностей.

Мне казалось, что если Вы, как все мы, или многие из нас, добровольно ограничили свой живописующий дар, свою остроту и разность, свою частную судьбу в эпоху, стершую частности и заставившую нас жить не непреложными кругами и группами, а полуреальным хаосом однородной смеси, то подобно очень немногим из нас, и, может быть, лучше и выше всей этой небольшой горсти, Вы это (все равно вынужденное) самоограниченье нравственно осмыслили и оправдали.

Когда я писал 905-й год, то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки с временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю, и линии истермографической преемственности, если мне суждено остаться, и идолотворствующим тенденциям современников и пр. и пр. Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно-дорого мне), с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы.

Но я напрасно заговорил о себе. И пример слишком бледен, и труднее мне им пояснить свою мысль. История всегда (все равно, в мозгах ли или на бумаге) набиралась с натяжкою, и весь вопрос в том, когда с какой.

Когда-то для нашего брата было необязательно быть историком или его в себе воспитывать.

Очень немногие поняли необходимость этого в наши дни. И хотя это понято по-разному, и велики политические различья между понявшими, но, странно, мне кажется, само искусство последнего времени (реалистическое и повествовательное) точно объединилось в одном безотчетном стремленьи: замирить память хотя бы, если до сих пор нельзя помирить сторон, и как бы склонить факты, за их изображеньем к полюбовной. Есть в этом какая-то бессознательная забота о восстановлены! нарушенной нравственной преемственности. Это в одно и то же время забота и о потомстве, и о современниках, и о части поколенья, попавшей в наиболее ложное положение (об эмиграции), и о западе с его культурой, и вновь, наконец, о том, чтб все эти части вместе со множеством других, неперечисленных, содержит, — об истории.

Мы так заинтересованы в том, чтобы она как можно скорей пришла к своим окончательным, олицетворительным движеньям, нам так надо получить от нее устойчивое, не оставляющее уже больше спору лицо, что там, где в этих движеньях ее может еще остановить временная несговорчивость фактов, мы подсовываем ей облагороженную легенду о них, — лишь бы она не задерживалась на горьких частностях, шаткость и временность которых очевидна.

Я не собирался писать Вам длинное письмо и жалею, что так оно вышло. Эту безвкусицу я допустил не для того, чтобы занять Вас вещами, более моего Вам известными, а чтобы отчитаться в своих словах об особой близости, вкравшихся и в сегодняшнее письмо. Затем простите, что вымарываю его на Ваших глазах, и не усматривайте в этом небрежности.

Хотя Вы просили принять Ваши слова о Вашей неудовлетворенности без возраженья, а говорить о Вашей художественности и действительно значит ломиться в открытую дверь, не могу не признаться Вам, что 1905-й я Вам послал только ради надписи и документации того чувства, которое во мне неизменно вызывали Ваши книги.

И опять, как сырой и неискушенный читатель, увлеченный ходом повести и ее красотами, я сохранил в памяти ряд эпизодов так, точно сам их в тех местах пережил.

В заключенье благодарю Вас за письмо. Не правда ли, как фатальна эта двойственность нашего времени? Все оно пришло к нам с запада, им внушено и подсказано, а между тем никогда не бывал так взрыт до основанья наш восток, как в результате этого западного событья.

Но как мне исполнить Вашу просьбу и как сказать о нашем различьи, если, не говоря о качественном, — неисчерпаемом и бесконечном в любом живом случае — в нашем безмерно и количественное?

Как ни рад был бы я любой Вашей строке о любом предмете, однако последними словами на эту тему прошу Вас считать мои, — и больше ее не касайтесь3. Я знаю, что всякий разбор неизбежно отдает преувеличеньем, что тех размеров, которые получила тут эта тема, не было в Вашем письме, что, вообще, быть может, оно ничего подобного не заключало. Все равно, я поспешил воспользоваться случаем выйти из (возможного) смешного положенья. Я дорожу Вами как лучшие из Ваших читателей и писал Вам только в этих границах.

Любящий Вас Б. П.

Не отзывайтесь, пожалуйста, на это письмо. Я Вам напишу еще как-нибудь. Я хотел сказать, что чувство объективности мне не чуждо, что если бы между нами, к Вашей чести и славе, не было огромной разницы, и я бы ее не знал, я бы и не разлетался к Вам так.

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

1 Смерть матери Е. В. Пастернак.

2 Пастернак выражал свое восхищение романом Федина «Братья» (см. письмо № 454). В ответ на него Федин заметил, что, отмечая их «сходство», Пастернак ничего не сказал о «различии» (там же. С. 165).

3 Федин отозвался письмом 14 дек. 1928: «У меня очень велико желание ответить Вам, дорогой Борис Леонидович, на Ваше письмо. Поняв его после первого прочтения, я с наслаждением углублял это понимание новым перечитыванием — так хорошо сказали Вы в нем именно то, о чем я просил Вас сказать. У меня легчайшее чувство от Вашей искренности, от той прекрасной искренности, в черте которой уже не может быть горечи недоумений. Я не могу не поблагодарить Вас за такое письмо, и только поэтому нарушаю просьбу Вашу — "не отзываться"» (там же. С. 166).

462. Р. И., Л. О. и Л. Л. ПАСТЕРНАКАМ

11 декабря 1928, Москва

11. XII. 28

Дорогие мама, папа и Лида!

Спешу ответить. Письма Рильке и некоторые другие, случайно оказавшиеся поблизости письма и фотографии из архива найдены и лежат у меня с самой весны1. Если я об этом не сообщил, то это — странная оплошность.

Как предполагалось, я думал, что их возьмет Паветти, но ему отказано в разрешении, и у меня есть смутное ощущенье того, что я с папой перекинулся сомненьями насчет того, можно ли рискнуть переслать их заказным пакетом, и он меня в этой нерешительности поддержал. Но если бы это было так, не могло быть и сегодняшнего вопроса, а следовательно я и не понимаю, откуда у меня это чувство взялось. Во всяком случае непростительно, что я только ждал папиных распоряжений, и не воспользовался ни одной из представлявшихся за это время оказий. При случае исправлю.

Что бы ни взбрендилось на этот случай близким по квартире, более живым, эгоистическим, мечтательным и пр. людям, чем я, — категорически вам заявляю, что никаких вообще посылок, ни вещевых, ни провизионных никому из нас не требуется, т. е. они нам от вас нужны не более, чем вам от нас. Успокойтесь на этот счет, вам сообщили решительный вздор, т. е. рассказали что-то люди, не умеющие рассказывать связно и полностью, с чувством цельной реальной правды.

Наконец о елочных деньгах. 50 рублей сегодня же будут распределены между детьми, и если я не пишу вам, что это уже сделано, то лишь оттого только, что деньги у меня на руках, обеих же матерей, которым я их должен вручить, нет дома (сейчас — утро). Через три часа они о совершении этой операции вас известят. Но так как они сделать это не поторопятся, то тут же горячо благодарю мюнхенцев не только за себя, но и за них.

Вещи в Одессу еще не зашиты в бязь. Это сделают сегодня, а завтра я их отправлю. У нас были огорченья и неприятности в последнее время, — да и адрес я не так уж давно узнал: всем же этим Шура не занимается.

Крепко целую вас. Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

10 пересылке писем Рильке в Берлин для включения их в собр. соч. см. письмо № 424.

463. С. Д. СПАССКОМУ

22 декабря 1928, Москва

22. XII. 28

Дорогой мой Сергей Дмитриевич!

Горячо Вас благодарю и поздравляю. Как хорошо, что дело доведено до конца и книга1 есть, живет, существует. Перелистывая, с удовольствием и радостью попадал на

знакомые места, которые в печати еще выиграли. Разумеется, это — победа, и эта нешуточная, всюду поддержанная настоящим поэтическим напряженьем вещь, где Вы справились с таким множеством непреодолимых трудностей, заслуживает вновь особого и обстоятельного разбора, но Вы его мне простите навсегда, и не числите меня в должниках, лучше я неожиданно когда-нибудь скажу Вам или напишу какую-нибудь частность о ней, предрешенно-приятную, потому что как было, так оно и остается: это истинная в своей свежести поэтическая бесконечность, укрепленная прозою, отстоянная и не сданная на этих укреплениях, и серьезностью последних окупленная. Это зрелая и мужественная встреча с временем, которая без самоограниченья немыслима. Честь Вам и слава, что справились с этой нелегкой и, о, какою мучительной задачей. Я тем живее радуюсь и завидую Вам, что с самой весны ничего стоящего не сделал и теперь, когда по материальным причинам уже обязательно пора что-нибудь предъявить, еще дальше от этого, чем когда. К личным причинам и отчасти семейным в последнее время присоединились обстоятельства объективные: меня очень нервируют и почти до физического заболевания удручают недавно начавшиеся и все развивающиеся толки о «правой опасности» в литературе2. Было бы легче, если бы с официальной стороны были предприняты какие-нибудь определенные шаги, на которые можно было бы отозваться так или иначе. Но не только их не делают, но, кажется, они и не предвидятся, и только атмосфера, ставшая с годами сносной благодаря привычке, с обновленной свежестью напоминает о своей несносности. Опять в неразложимый (в силу единства официального аппарата) — фактор сливаются чересчур различные силы. В растущей неопределенности, которою нас томят и донимают, сегодня слышится справедливое, по-своему, пролетарское недоуменье по поводу всех нас, пролетариату по-советски аттестованных в качестве одного из плодов его победы. Уже готов по-новому (и в который раз!) с интеллигентским чистосердечьем пережить, казалось, теряясь и заболевая, действительный трагизм этого действительного подлога (осложненного тем, что подделывали нас, а не мы фальшивили). Как вдруг, назавтра, с уже наставшей нравственной лихорадкой в душе, сдаваясь и уступая, открываешь в продолжении вчерашней темы уже новые подголоски, — тут и голоса мелкого неприкрытого завистничества и карьеризма, и, наконец, уже и свинская, По-хамски самодурствующая несправедливость. Так, на двух-трех заседаниях, куда предусмотрительно писателя не пригласили, оказываются «врагами», обманщиками и нетерпимыми ничтожествами все, коих существованье могло подсказать Горькому названье задуманного им журнала3. Все, что хоть несколько отдает действительным достиженьем, идет насмарку, и в первую голову: Леонов, Федин, Всеволод Иванов и др. Об этом узнаешь со стороны и после этой мерзости не знаешь, что тебе делать с твоим вчерашним раскаяньем. — Но довольно об этом, заговоришь, увязнешь.

Но только не сердитесь на меня, что пишу до нового полного прочтения «Неудачников». Эта книга поступает в тот десяток, к которому я неизменно тянусь всякий раз, как по ходу моей жизни это право себе зарабатываю, т. е. когда я такого удовольствия достоин, когда в ладах с собой и хоть сколько-нибудь своим повеленьем удовлетворен. Не то сейчас, когда в расчете на Вашу жалость и участие я остаюсь преданным Вам Б. П.

Но Вы и в самом деле, конечно, не знаете, как велика Ваша заслуга и сколько в ней заложено обещающего для Вас!

Горячо Вас также благодарю за надпись. Привет Вашей милой супруге. От души желаю обоим Вам счастливо и весело встретить наступающий Новый год. Ах как мрачны его официальные акушеры!

И, вероятно, у меня начинается грипп.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9. — Автограф (частное собр.). 1 Издание поэмы Спасского «Неудачники. Повесть в стихах» (М., «Никитинские субботники», 1929).

2 «Правой опасности» в литературе был посвящен ряд докладов дискуссии в Ком. академии, открывшейся докладом В. М. Фриче «Буржуазные тенденции в современной литературе и роль критики», прочитанном 6 декабря 1928 г.; критике подверглись Б. Пильняк, Вс. Иванов, И. Сель-винский, Ю. Олеша и др.

3 Имеется в виду назв. ежемес. журн. «Наши достижения», основанного М. Горьким (1927-1937).

464. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

27 декабря 1928, Москва

Дорогая Олечка! Ах, если б ты знала, как мне плохо, как безысходно-неопределенно-трудно последнее время. С самой весны я как-то справлялся только с житейскими нуждами, ничего же нового и живого не сделал. Виноват в этом не я один, а также и время, т. е. официальные его настроенья. Сейчас ничего не могу тебе ответить на предложенье Института1, вероятно, инспирированное тобой, со дня на день собираюсь засесть за дело, чтб только меня и спасет душевно, и только отсюда, из вновь отвоеванного круга этого, не только теперь, но и извечно обреченного, благо-родно обреченного чистосердечья, способен буду сообразить, что написать и сделать. Но, думаю, писать теперь, в эти дни, стал бы лишь об этом: о невольном самоограничении «попутчиков», ставшем их второю природой, и об искаженьи, которому подвергается оценка их исторической роли в самое последнее время. Но если ты знаешь Бухштаба лично, передай ему, чтобы он цитатами из моей второй книги «Поверх Барьеров» не пользовался, не спра-вясь у меня: эта книга испещрена опечатками, она вышла без моей правки, в год, когда я был на Урале2.

Крепко целую тебя и тетю.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф. Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

1 Ответ на письмо О. Фрейденберг: «Секретарь литературного отдела Института истории искусств Борис Васильевич Казанский, добрый мой приятель, просит, чтоб я передала тебе просьбу института и его. Институт выпускает о тебе исследование Бухштаба, и у них принято, чтоб в начале книги шла статья самого автора. Она может быть автобиографическая (примечание мое: ради Бога, без Одесс и т. п.), либо принципиальная, либо о поэзии вообще или о своей и т. д. Так вот просят тебя прислать им такую статью и спешно, кажется...» (там же. С. 119). Издание не состоялось, Бухштаб был арестован.

2 Борис Пастернак. Поверх барьеров. М., «Центрифуга», 1917.

465. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

3 января 1929, Москва

3.1. 29

Дорогая Марина. Это далеко еще не то письмо, которое я тебе должен написать: приступить к последнему нет никакой возможности; все — клубком у меня. Третий месяц я со дня на день собираюсь взяться за работу после тяжелого полугодового перерыва. Как и почему он получился, — это тоже длинная история. Но только за работой светлеет у меня голова, а потому и мысль об отчетном письме к тебе у меня все время была связана с этим, и сегодня еще не наступившим сроком.

Между тем твои фантазии о М<аяковском>, обо мне; о его роли в Москве и главное, о твоей судьбе волнуют меня не меньше твоего1, а может быть, и больше. Все твои представленья на этот счет (кроме разве одного: о прирожденном обаяньи М<аяковско-го> и его загроможденной противоречьями гениальности) — превратны.

Мне это отсюда видней, и позволь мне, пока что, остаться голословным. Вспомни, что за эти годы я доверье твое заслужил, ну хотя бы как друг и информатор. Вспомни и верь мне, что огорчаться или быть недовольной собою у тебя основанья меньше, чем даже у того же М. Именно оттого я и называю этот совет свой голословным, что он исходит из объективных данных, которых в письме не охватить и не перечислить. Сделай же удовольствие мне, и уверенно гони все сомненья и обиды взашей.

Я не знаю, предал ли М. инцидент с тобой огласке2. Я с ним не встречаюсь и давно от его круга далек. Среди многих причин сделали невозможной нашу дружбу и те его бестактности в отношении тебя, о которых ты мне в разное время писала. Началось с рассказа о книжной лавке, комсомолке и Сельвинском, года 2 тому

назад, если вспомнишь3. И тогда его обычную хамоватость я стал чувствовать по-новому и свежее, чем может быть нужно.

Но все это, и эта моя сложность с М. — в порядке вещей.

Не знаю, поддержали ли рассказы М. эти городские толки, но все упорнее, с самой весны, ходят у нас слухи о твоем предполагающемся возвращеньи. Теперь, в беспорядке, несколько советов на эту тему. Отрывочно, от А<нтокольского>, узнал о героизации наших дел, отличающей С<ереж>у, и о том, как мало его мог удовлетворить в этом смысле А<нтокольский>. Так вот, ближе к правде конечно С. Я., а не А., с той поправкой, что это правда не дареная, не стилизационно созерцательная, не романтическая, а — заданная, скупо растущая уступами крутых преодолений, антиромантическая, пушкинская, а не пушкинианствующая, т. е. такая, где личностно гениальное без остатка почти до анонимности переплавляется в трудовой массив произведений и влияний — и..., довольно — прости мне эти, все равно ничего не говорящие, прилагательные. Но я не знаю, вернусь ли еще когда к этой осведомительной характеристике (а здесь я обращаюсь столь же к его (С. Я.) сердцу, как и к твоему) и потому вкратце дополню. Мне кажется, нашему времени тут (а оно вместе и есть время века, время Европы) не столько даже враждебна прямая политическая враждебность, сколько, даже при дружестве, — придаванье какого бы то ни было значенья: потенции, обещанью, faculte virtuelle*. Традиция силовых зарядов и тех положений, при которых их лаконизм или прямое безмолвие были красноречивым языком, была прекращена войною. Она не только ведь разрушила Лувен4 — что обнаружить было не так трудно, — но я не знаю, сколько должно пройти времени для того, чтобы беременность Лувеном стала духовно говорить что-нибудь и что-нибудь означать, — так велико было уничтоженье этой... преемственности всходов. Ты вряд ли оценишь, как много значит сказанное и какую необозримую сферу неизбежных превращений эта перемена определяет. Скажу кратко: сейчас я верю только в дух, который, страдая и деформируясь, подымает на моих глазах матерьяльную тяжесть. Состоянье лебедки — вот нынешнее призванье творческого самородка. Взгляд, будто сейчас существует несколько вольно и естественно живущих миров, чуждающихся и враждующих, но порознь и в отдельности естественных и не чуднйх (старый и новый, правый и левый, такой-то и такой-то) — недалек и наивен. Он господствует и у нас и у вас. Он зиж-

* скрытой возможности (фр.). 276

дется на отвлеченьи и на сказке, и в моем представленьи одинаковые романтики как Ходасевич, так и Маяковский и Горький. Каждым из них задача облегчена до узости родного круга. В другое время против этого нечего было бы возразить.

Все это (и главным образом на этой строке уничтоженное продолженье*) — лежит давно. Все это сухо, многословно, а главное, неизвестно к чему. Мне так и не удалось до сих пор попасть к тебе. Тебя осведомляли другие, непосредственно или издали, — в печати, как, скажем, иностранцы или тот же Горький. Мне здесь видны их нехватки и

границы, и в самых экономных, отвлечен-нейших чертах я их осведомленье хотел исправить. Это труднее, чем я думал. Все это еще когда нибудь успеется.

Задолженность моя перед тобою растет со строки на строку. Я должен подробно написать тебе о «После России». Я должен досказать тебе то, о чем тут заговорил. О том сложном трудном и провокационном, что тут в последнее время творится5. О себе, может быть. Наконец я давно должен был исполнить твою просьбу о Перекопе. Уже больше месяца тому назад я с этой просьбой обратился к знакомому — знатоку по части книг, которому много обязан по этой и другим частям6. Но пока им ничего не сделано. Сегодня послал тебе совершенный пустячок, скоро достану журнальную военную статью и может быть достану книгу Слащева, изданную давно и которой нет больше в продаже7. Тебе же советую достать книгу Г. Н. Раковского «Конец белых», изданную «Волей России» в 21 г.8 Кажется (библиографическое указанье) там есть матерьял. — И наконец то, с чего я не хотел начинать, чтобы не затруднить делового тона. Спасибо тебе за берет, за письма. С Новым Годом тебя и всех твоих. Крепко целую тебя и С. Я.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 170).

1 Маяковский приезжал в Париж в ноябре 1928 г., Цветаева была на его вечере и опубликовала в газ. «Евразия» 24 нояб. 1928 приветствие: «Маяковскому. 28 апреля накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского. — Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе? — что правда — здесь. 7 ноября 1928 г. поздним вечером, выйдя из Cafe Voltaire, я на вопрос: — Что же скажете о России после чтения Маяковского? Не задумываясь ответила: — Что сила — там» (М. Ц. Собр. соч. Т. 7. С. 351).

* Начало предложения зачеркнуто. 277

2 В письме Маяковскому 3 дек. 1928 Цветаева писала, что публикация этого приветствия кончилась для нее «изъятием» из газеты «Последние новости», где она публиковалась: «Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным. Можете и огласить» (там же. С. 350).

3 Два года назад Цветаева приводила Пастернаку напечатанные в газ. «Дни» 30 мая 1926 слова Маяковского из заметки «о недостаточной действенности книжных приказчиков»: «Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Бй, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, — Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина!» (письмо Цветаевой 21 июня 1926; там же. Т. 6. С. 259).

4 Лувен — знаменитый университетский город в Бельгии, ставший благодаря Эразму Роттердамскому просветительским центром Европы; был разрушен в 1914 г., университетская библиотека сгорела. Символ варварской жестокости Первой мировой войны.

5 Речь идет о кампании по борьбе с «правой опасностью» в литературе. См. письмо № 463.

6 Для работы над поэмой «Перекоп», посвященной заключительному эпизоду гражданской войны, Цветаева просила Пастернака прислать ей какие-нибудь опубликованные материалы. Он обратился за помощью к своему другу, историку революционного движения, Я. З. Черняку.

7 Я. А. Слащев. «Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний». М.—Л., 1924.

8 Г. Н. Раковский. «Конец белых: от Днепра до Босфора (вырождение, агония и ликвидация)». Прага, «Воля России», 1921.

466. В. А. СИЛЛОВУ

4 января 1929, Москва

4.1. 29

Милый Володя!

У Вашего телефона таинственное техническое устройство. Не зная его, я безуспешно в течение полутора недель был соединяем с Вашим номером — сперва по поводу Вашего обещания прийти к нам с Олегом, а в последние дни и по делу, с личною просьбой к Вам.

Мне кажется, пора и надо постараться поставить Мариечку (М. Гонту-Петровскую) на ноги. Я хотел просить Вас об участии и поддержке. Если сценарий, который она Вам предложит (я его не знаю), не подойдет, найдите способ, если это возможно, одним этим сужденьем не ограничиться, и занять ее чем-нибудь другим. Ей необходимо подыскать заработок. Я ее знаю, и, взвесив одинаково трезво, как сильные, так и слабые ее стороны, знаю, — что она привлечены! к делу и к заработку заслуживает без всякого спору. Из кажущихся ее недостатков нет ни одного, которого бы не сгладила регулярная платная работа, та ежедневная школа, которая, в конце концов формирует всех, и Вам и мне дала и продолжает давать последнюю шлифовку. И, по совести, в ее примере, в смысле прав и способностей, не вижу существенных отличий. Если я с такой настойчивостью и с готовым, на случай неудачи, недоумением в душе, не вступался за нее раньше (не перед Вами лично), то лишь оттого, что подготовительным курсом этой школы считаю некоторый срок неизбежного бедованья. Я считаю, что она его прошла. Намытарилась она, и всяких столкновений, не только с трудностями жизни, но и с глупостью и бездарным бессердечием натерпелась с блестящим и вопиющим избытком.

Теперь, Володя, Вы разведете руками и спросите меня, зачем с этой просьбой, и как раз в момент ее переломной настоятельности я навалился на Вас? Я говорил с Витей1, из его слов понял, что возможность ее осуществлены! не исключена объективно, и что эта помощь может прийти от Вас. Трудно сказать, как Вы меня обрадуете и обяжете.

Мы не видались целую вечность, и я не знаю даже, в Москве ли Оля?2 Весной, в самую неделю моего отъезда, было у нас услов-лено, что я позвоню ей, — помню даже день, — это была пятница, точно был назначен и час, — точность была вызвана тем, что она жила на даче и редко бывала в Москве. В назначенный час я позвонил ей, но никого в квартире не было. Я виноват перед ней тем, что потом не повторял звонка. Это вынужденное дисциплинарное свинство лежало тогда на мне и на всем моем поведеньи. Я должен был выехать и откладывал отъезд со дня на день. Перед отъездом надо было сдать книгу в Гиз, и меня задерживала ее спешная, до подлости спешная переделка. Боюсь, она обиделась на меня. Такое заключенье вывел я из Ваших, может быть случайных, может быть даже и пригрезившихся мне, умолчаний. Если она тут, и это может дойти до нее, сердечный, — как он только и может быть от меня Оле, — привет ей.

Ваш Боря

Впервые. — Автограф.

0 В. А Силлове см. коммент. к письму JSfe 259.

1 Вероятно, литературный критик Виктор Викторович Гольцев.

2 Ольга Георгиевна Петровская — жена В. А. Силлова, поэтесса, переводчица, писала под псевдонимом Петроль.

467. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

10 января 1929, Москва

10.1. 29

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Что же Вы не шлете обещанной книги1? Ваше молчанье толкую в том смысле, что вероятные осложненья с бумагой связали Вам руки и отразились на Ваших планах, во всяком случае в части, касающейся меня2.

Между тем обстановка последнего месяца (толки о попутчиках, о правой опасности и пр.)3 всего менее располагают к работе. С самой осени ничего не пишу и второй месяц живу на журнальные авансы. Когда Вы со мной говорили по телефону, я себе не представлял, что это все так разрастется и так безнадежно на мне отразится. Вот отчего в обсуждении всяких возможностей я ни нетерпенья, ни повышенной, сверх приличной меры, заинтересованности не выражал. Не то сейчас. По состоянию моего бюджета мне вскорости (недели через две) надо обратиться к договорным предположениям о «Спекторском» как к источнику по истребованию большого единовременного аванса. И если это невозможно у Вас или вообще все это предположена отпадает, не откажите меня о том известить, и чем скорей, тем лучше. И пришлите книгу. Жду ответа. Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

Мой адрес: Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9. Борису Леонидовичу Пастернаку.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, on. II, ед. хр. 7). Павел Николаевич Медведев, критик и литературовед, был зав. ли-терат.-худож. отделом Лениздата.

1 П. Н. Медведев. «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику». Л., 1928.

2 По предложению Медведева был заключен договор с Пастернаком на издание романа «Спекторский».

3 Речь идет о кампании по борьбе с «правой опасностью» в литературе, носителями которой объявлялись «попутчики», то есть не входящие в группу «пролетарских писателей». См. письмо JSfe 463.

468. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

16 января 1929, Москва

16.1. 29

Дорогая Жонюра!

Третий день как я взялся за работу и то, что я ее бросаю ради письма, объясняется двумя просьбами. Как видишь, мы тут верны себе, и я не лучше других. Но ты сама увидишь, как они необязательны, эти просьбы, и только если эти вещи сами лягут тебе под руку, исполни просимое, а то не надо. В объясненье одной из них я расскажу тебе коротенькую историю, мне кажется, она в твоем духе.

Месяц тому назад, предварительно спросясь по телефону, явилась ко мне особа типа и склада Лидочки (но это очень приблизительно и, может быть, я ей* польстил) и, поминутно вспыхивая и загадочно смущаясь, осведомилась, возможно ли и допустима ли просьба о переводе любимого немецкого поэта со стороны частного лица, то есть мыслим ли такой заказ. Речь шла о переводе нескольких стихотворений из «Stundenbuch»**, и я ей отказал, потому что был занят, а кроме того, и долг свой памяти Rilke исполняю в другом совсем плане, и шире1. Я что-то пробормотал о том, что другое, мол, дело, если бы предложенье какого-нибудь издательства, но она, перебив меня, спросила, не все ли мне равно — издательские условья могла бы предложить и она, и я улыбнулся, потому что не только меценатство теперь у нас матерьяльно немыслимо, но все это еще особенно становилось трогательно при взгляде на ее стоптанные башмаки и более чем скромную кофту.

На всякий случай я записал ее адрес (она из Ленинграда), узнал, что она преподавательница Ленинградской консерватории и переводы ей нужны для приближенья Рильковской поэзии к музыке и музыкантам в России, что ей представляется существенно важным2, и фамилия ее мне ничего не сказала. Однако

надо прибавить, что я больше сижу дома и в том, говорят ли что-нибудь или нет теперешние имена, не судья.

Прошло некоторое время, и как-то я познакомился с одним из лучших наших пианистов здесь, Генрихом Нейгаузом, побывав перед тем на одном из его концертов3. И вот, отклоняя мои комплименты и пр., он стал настойчиво мне советовать пойти на концерт (еще не объявленный) одной пианистки из Ленинграда, перед которой сам он-де совершенное ничто, и что это замечательная музыкантша, и со странностями: мистически настроена, под платьем носит вериги и так выступает, и интересно: — по проис-хожденью еврейка, и пр. и пр., и он назвал мне мою посетительницу.

* Авт. примеч. на полях: «то есть посетительнице, а не Лиде».

** «Часослов» (нем.).

Она играла Баха, Крейслериану, несколько вещей Hindemit'a и снова Баха, главным образом, органные его хоралы4. В антракте я ей послал единственное, с чем из вещей Rilke я мог расстаться и что было у меня под рукой: юношеский сборник слабых для позднейшего Rilke рассказов «Am Leben hin»* с соответствующей надписью: Простите, что не знал, кто Вы. Напишите из Ленинграда, переведу все, что захотите.

Теперь я получил от нее письмо, именно такое, как должно было последовать. Но просьбу ее я исполню не скоро, теперь это исполнимо менее, чем когда. Но мне бы хотелось послать ей настоящего, стоящего Rilke, и — по ее настроенью. Таковы две книги: «Buch der Bilder» и «Geschichten vom lieben Gott»*\ Пришли мне их, если тебе нетрудно. И мне это нужно именно для того, чтобы оставить все в той скупой духовной деятельности, как это случилось. Я, может быть, при книжках, даже не отвечу ей. Может быть, в порядке той же экономии пошлю ей, если будет время отыскать, мои последние по времени, былые музыкальные рукописи. Но вернее, что дам их Neuhaus'y5.

— Что у тебя слышно? Да, ты будешь в недоумении относительно второй просьбы? Я, ведь, изложил только одну. Одной ей и ограничимся, другая была своя, то есть для меня, но раздумал, — и она отпадает.

Много рассказывал о вас Левин, между прочим о Бургундском — Аленушке в приданое. Поцелуй ее и Федю. Обнимаю тебя. Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Имеется в виду работа над «Охранной грамотой», посвященной Р.-М. Рильке.

2 Письмо посвящено знакомству Пастернака с пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, которая занималась в то время расширением русского певческого репертуара, в частности она мечтала об исполнении «Marienleben» («Жизнь Марии») Хиндемита, написанной на слова Рильке. В 1928 г. она совместно с поэтом Всеволодом Рождественским занималась переводами из Рильке.

3 Здесь концом декабря 1928 г. датируется начало дружбы Пастернака с Генрихом Густавовичем Нейгаузом, сыгравшей огромную роль в жизни обоих.

4 Речь идет о первом сольном концерте М. Юдиной в Москве 5 янв. 1929 г., на котором она играла Прелюдию и фугу до-диез минор из 1-го

* «К жизни» (нем.).

" «Книга образов» и «Истории о Господе Боге» (нем.).

тома «Хорошо темперированного клавира» Баха, «Крейслериану» Шумана, пьесы из сб. «Музыка для фортепиано» Хиндемита и хоральные прелюдии соль минор и фа минор Баха-Бузони.

5 Г. Г. Нейгаузу Пастернак подарил рукопись своей Сонаты для фортепиано 1909 г. с тайной надеждой, что тот когда-нибудь ее сыграет в концерте.

25 января 1929, Москва

25/1/29 Дорогая Жонюра!

Ты не даешь мне отдохнуть, т. е. лучше сказать, отрываешь от работы. Только написал я тебе, казнясь, что отвлекаюсь, как пришли те два бельевых тюка, за которые, до возможных в будущем разъяснений или опровержений, надо, по-видимому, благодарить тебя. И ты поймешь, как искрения и горяча моя благодарность, которую только пулеметный ход твоих нагоняющих друг друга даров не дает возможности разнообразить, и поймешь тем легче и полней, что мне, кроме нее, ни тебе, ни вообще нашим на этот поток одаряющей сердечности ответить нечем.

Я очень увлечен работой, за которую взялся с таким запозданьем, что ее теперь приходится вести изнурительно-экзаменационным темпом и, вероятно, до самой осени; правда и то, что в этом отношении я человек крайности и по-другому не умею, и все это, по-видимому, предопределено1.

Раз уж взявшись за перо, хочу рассказать тебе о Пильняке, т. е. правильнее, передать всем, и в особенности тебе, его приветы2. Ты, вероятно, знаешь, что в числе четырех-пяти наших писателей у него — мировое имя, что он переведен на много языков и, может быть, даже видела или могла видеть в витрине «Das nackte Jahr»\ Мы стали опять видаться, т. е. мы часто ездим к нему в Петровский парк, где у него чудесный небольшой коттедж, великолепный дог, привезенный из Египта, хороший подбор старинных книг, мебель красного дерева, накупленная в разное время за бесценок по разным глухим углам вроде Углича, или Путивля, куда он сейчас собирается, колеблясь только между этим городом Ярославны и Касимовым вместе с дядей Осипом, которого он знает по моим рассказам и на поездку к которому как раз и подбивал нас с Женей вчера вечером, и со своей женой и даже с Panait Istrati3, с которым мы там знакомились, и пр. и пр.

* «Голый год» (нем.). 283

Семья его, т. е. дети, находятся в Коломне при его первой жене, а он пятый, кажется, год женат вторым браком на очень милой, простой и задушевной женщине, молодой артистке Малого театра4. И теща у него подходящая и, кажется, тоже прекрасный человек, и я с первого разу запомнил ее имя и отчество, потому что зовут ее Елизавета Ивановна. И это похоже, разумеется, с переводом в другой жанр (дворянско-интеллигентс-кий).

Мне вдруг подумалось, что папа прочтет (или даже Федя) про коттедж и прочее и, прикинув на глаз, восскорбит обо мне. И, конечно, это может быть досадно, но ровно ничего не значит. Я знаю, что сделал несоизмеримо меньше Пильняка и никогда много не сделаю (хотя я, по-видимому, пишу сейчас настоящую вещь, но и ее задумал очень коротко). Я ни с кем не равняюсь и легко и справедливо думаю о заслугах других, и — с особенной теплотой — о заслугах людей, мне по жизни близких, — и, однако, я думаю, что достоин его товарищеских чувств ко мне и что в глубокой основе между нами — полное равенство, нарушаемое только тем, что мы бываем у него, мне же некуда его звать, его и тех иностранцев, для которых он меня иногда приглашает. — Да, так все это a propos du cottage pour le cas qu'on en souffre*.

В остальном же Пильняк все чаще и чаще стал поминать вас и рассказывал Жене о тебе и о том, как он боялся Леонида Осиповича и просил не раз кланяться тебе.

Тут я остановлюсь, так как это лишь разросшаяся благодарность за присланное, т. е. все другое к слову пришлось. И в приливе наглости, по контрасту охватившей меня на этом перегибе страницы — вот что попрошу тебя передать Лидочке. В те дни, когда она на нас дулась, или — правильнее, когда я думал, что она дуется на меня, я косвенно попросил в Malik Verlag'e препроводить ей экземпляр того альманаха, где помещен перевод «Воздушных путей»5. Я сам его не видал, но слышал, что изданье

разошлось и моя просьба будет, верно, исполнена через месяц, по выходе второго. Так вот, «в тот день», когда у ней будет на руках книжка и она прочтет ее, пусть она мне пошлет бандеролью блок почтовой бумаги**, как это бывало, но прошу тебя: именно она и именно тогда, как я указываю. У меня такого рода приурочиванья с налетом до-

* по поводу коттеджа, как причине страдания (фр.). ** У нас, кстати, и бумажный кризис, и почтовую бумагу трудно достать (авт. примеч. на полях).

могательства — в характере, и не лишай меня, пожалуйста, этой — как ее назвать — клянч-freude* — что ли.

Затем бурно обнимаю Федю, Аленушку, папу, маму и Лидка, а в отношении двух названных мужчин вы обе, пожалуйста, стойте на страже моего достоинства (коттедж и т. д.), чтобы мне спокойно спалось.

Любящий всех вас Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Работа над «Повестью» была окончена в мае 1929 г.

2 Пильняк, будучи в Германии, познакомился с Пастернаками.

3 Румынский писатель Панаит Истрати.

4 Ольга Сергеевна Щербиновская.

5 Перевод «Воздушных путей» на немецкий язык был напечатан в сб. «Dreissig neue Erzahlerdes neuen Russland. Junge russische Prosa. Berlin, Malik-Verlag, 1929» («30 новых прозаиков новой России»).

470. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

28 января 1929, Москва

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Книгу Вашу получил и очень благодарю за нее. Так как в дни ее полученья я времени для чтенья урвать не мог, то и не воспрепятствовал одному теоретику, приятелю моему со студенческой еще скамьи, ею завладеть. Мы должны были в этот день навестить Б. Садовского, он зашел за мной, и так мы втроем (с книгой) туда и отправились1.

Вы не поверите, как мне больно и неловко надоедать Вам и не то что проявлять, а просто-таки оголять свое нетерпенье. Но так, к несчастью, сложились обстоятельства. Вот в чем дело. У меня давно, несколько уже месяцев, нет никаких денежных ресурсов, и держался я это время журнальными авансами. Но по своей робости я бы никогда на это не пустился, а пустившись, не стал бы Вам в этом признаваться, если бы не сознанье моей кредитоспособности, которое только-то в последнее время ко мне и вернулось.

Если бы меня сейчас поддержали, то вот какова моя программа (или лучше, — планы). Все это должно быть выполнено к осени, скажем, к сентябрю. Это, первым делом, повесть в прозе, ко-

* удовольствия, радости (нем.). 285

торую я только, только начал, но — надежно, т. е. с увлеченьем, заставляющим верить в то, что она будет доведена до конца. Названа она вчерне «Революция», будет листа на 3 на 4, а может быть, и больше, и явится звеном «Спекторского», т. е. в ней я предполагаю фабуляторно разделаться со всем военно+военно-гражданс-ким узлом, который в стихах было бы распутывать затруднительно2. При всем том пишется она как вещь самостоятельная, и включу я ее в сборник прозы, а не — (интерполятивно) в роман, на который мы заключили договор. Во-вторых, по исполнении названной прозы, должен быть закончен стихотворный «Спектор-ский», опять хотя и последовательно вытекающий из порученного прозе звена, но без ущерба для самостоятельности сплошь из стихов состоящей книжки.

Наконец, в-третьих, должна быть дописана автобиографическая вещь (памяти Рильке) об искусстве, половина которой готова и лежит в Звезде под временным, впредь до измененья, заглавьем «Охранная грамота»: редакция по неоценимой своей любезности воздерживается от печатанья этой, давно оплаченной части, пока не допишу всего.

Тогда, по доведеньи до конца этих трех работ у меня будут готовы те именно две книжки, которые интересовали Вас, т. е. Спекторский и Проза (так мне хотелось бы назвать прозаический сборник, так собственно был он назван, когда был, в старом объеме, без «Революции» и «Охранной грамоты», предложен Кругу и затем выпущен под названием «Рассказы», самовольно замененным издательством ради пущей расхожести; — «Проза» казалась хозяйственной части названьем нерентабельным).

Фатально то, что ни план этот, ни очередной распорядок работ измененья не допускают. Т. е. я ни отложить его исполненья не могу, ни переверстать очереди. Я набрал (и прожил) авансы во всех трех журналах, и это время мне остается жить на авансы книгоиздательские (т. е. данные под книги, а не под отдельные вещи) или, короче говоря, под Ваши, если мы сделаемся и насчет прозы. В ней будет листов 12, — 6 листов будут новые; представил бы книгу осенью, за лист просил бы 250 р. Разумеется, прошу не у Вас, а через Вас, т. е. вполне на Вас полагаюсь и знаю, чью сторону Вы будете держать. Простите, что тороплю Вас, но не могу оставить надежды на скорый ответ от Вас, в расчете на что и берусь снова за работу. Не задержитесь ответом и в том случае, если он сложится отрицательно, — тогда я обращусь в Гиз или в Федерацию, главное, мне теперь откладывать этого нельзя и руку приходится наложить и на «Прозаический» аванс. И — главнее главного — поспособствуйте скорейшей присылке всех авансовых денег под «Спекторского». Только в таком случае можно будет продолжать работу. Задержка же и дробление сумм делают ее невозможной, и проживаются в покрытие задолженности, а тем временем дело не делается, вот и получается отчаянная чепуха. Не сердитесь, что надоедаю.

Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Книгу П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении» Пастернак отдал историку литературы К. Г. Локсу. С поэтом Б. А. Садовским Пастернак и Локс были знакомы со времени их общего участия в группе «Лирика» в 1909-1912 гг.

2 Ср.: «Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу» (Анкета «Писатели о себе», 1929; т. V наст. собр.).

471. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

30 января 1929, Москва

30.1. 29

Милый Павел Николаевич!

Мне кажется, Вы в обиде на меня, и это очень грустно. Если повод подан моим прошлым письмом1, то что же сказать о моем позавчерашнем, которого Вы не могли еще получить, и деловой тон которого крайностью обстоятельств доведен до крайности?2 Опасаясь впечатления, которое оно на Вас произведет, я искренне и безо всякого сердца прошу Вас с ним никак не считаться, точно его не было, и вопросов, в нем изложенных, нет. За вычетом той гонки, которую я Вам изобразил без преувеличенья, у меня сейчас ничего, кроме такого вот дела, не остается и долго не будет. И если это Вам показалось неприличным, то я рискую попасть в такое же положенье. А это пугает меня, потому что я предпочел бы, чтобы Вы вовсе не знали

меня, нежели, зная, сомневались в мере моего естественного (все же я кое-что читаю) уваженья к Вам, в какие бы нестерпимые тиски не были зажаты временем его знаки или выраженья.

В свете Вашего невысказанного толкованья мое последнее письмо становится исключительно неловким и излишним, и я стыжусь его отсылки. Прошу Вас целиком его похерить и не обсуждать. Крепко жму Вашу руку и еще раз благодарю за книгу. Не сердитесь хоть теперь на меня, я постарался загладить все, что мог, и быть может больше даже того, что могу в моем настоящем положены!3.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РНБ, ф. 474, on. II, ед. хр. 7).

1 См. письмо № 467.

2 Письмо № 470.

3 Вычеркнуто : «в моем переплете».

472. А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 февраля 1929\ Москва

8/П. 29

Дорогие тетя Ася и Олюшка!

Я знаю, я знаю, что обе вы на меня наверное сердитесь, и что у вас неизбежно превратные представления о моем житье-бытье и о причинах моего молчанья. Но все это побоку, а вы поскорее успокойте меня насчет того, как вы справляетесь с этими дьявольскими холодами, и вволю ли у вас хлеба, и легко ли вы достаете его. Ах, такие иногда прокатываются слухи!1 Скорей открыточкой «отпишите» мне, что вы делаете в эти страшные, сорокаградусные по Цельсию, фантасмагорические морозы, — ведь водки вы не пьете! Так как же тогда вы спасаетесь?

Я знаю, что вы сейчас подумаете. О нет, нет. — Пишу вам в иззябшем, несогретом еще состояньи, и взволнованный мой тон объясняется тем, что, во-первых, запущенные, на полгода (а что было в те полгода, я вам писал) запоздалые мои работы me tiennent en haleine et encore un pareil mois de plus me rendra fou*; во-вторых, потому что я сейчас из сторонних источников узнал тревожно вздорные какие-то вещи о Ленинграде; в-третьих же, наконец потому, что я верю, что это известия вздорные (из Парижа), и с нетерпением буду ждать от вас подтверждены!. И третья эта причина разумеется важнейшая, если не единственная, — моего волненья: если бы я не верил, что все в порядке, я понятно, был бы не взволнован, а удручен или убит.

А у меня вот что. У меня бюджет и заработок так разошлись, что я во все тяжкие пустился в долги и авансы и сейчас, например,

* душат меня, и еще один такой месяц сведет меня с ума

поедаю сентябрьские мои посулы и предположенья. Можете себе представить, какая у меня гонка и какое, по ней, настроенье, и какой досуг! Разумеется, я не «вдохновляюсь» сплошь по 16 часов в сутки. Но сколько надо и приходится читать!2 К тому же мне обязательно хочется освежить в памяти языки, порядком позабытые3. Вот день и оказывается расписанным, не считая часов, уходящих на наш адский, полусумасшедший дом с его дырами, многолюдьем и непоправимым неуменьем людей делать что-либо по-настоящему, сверх механизации, остановившейся на каком-нибудь бытовом стандарте: на удовлетворительном, скажем заработке, уличной температуре не ниже — 10 или 15° и т. д. и т. д. О, если бы вы знали!

Крепко обнимаю вас и целую, жду открытки и наперед сознаюсь: свиньей буду, свиньей не смогу не быть до самого может быть 1930 г.

Любящий вас Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Кампания сплошной коллективизации в деревне обернулась жестоким голодом по всей стране. Получив письмо, О. М. Фрейденберг записала в дневнике: «Как горько я расхохоталась, когда читала февральское письмо Бори. Подумаешь "морозы, хлеб" — волновали его. Курсивом душевным запросил: вволю ли у нас хлеба — хлеба! А наука, а бедствия, а все наши муки, на это он не откликался. Хлеб его волновал!» (там же. С. 126).

2 Для работы над «Повестью» Пастернак погрузился в чтение книг о мировой и гражданской войнах и революции.

3 В надежде на близкую поездку за границу Пастернак брал уроки французского языка.

473. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

11 февраля 1929, Москва

11-11-29

Дорогой Павел Николаевич!

Не знаю, как и благодарить Вас за Вашу сердечность. Письмо Ваше доставило мне большую радость, — все оказалось недоразуменьем. Своими теплыми строками Вы меня вывели из нестерпимо неловкого положенья, когда помимо воли я оказался без вины перед Вами виноват, и, — правда, так себя почувствовал. А теперь еще и договор, с тиражною подробностью (в три тысячи1), в чем теперь, после всего происшедшего, не могу не видеть удовлетворенного каприза. Вы меня вконец переконфузили.

Но о прозе все же, пожалуйста, погодите говорить. А то что получится, если по нескольким договорам, заключенным с такой поспешностью, пойдут регулярные проволочки по пункту 3-ему?2 Ведь это приобретет характер системы. Я уже писал Вам о взаимной зависимости работ, связанных с подготовкой «Спекторско-го», прозы и собранья. Из этого плана мне не выскочить. Пока разговор об одном контракте, 3-й пункт меня не пугает. Минуя Вас, чтобы не создавать Вам лишних затруднений, я предполагаю в апреле, т. е. по истеченьи льготного месяца, в официальной форме походатайствовать об отсрочке, каковая именно тогда потребуется; тогда и видней будет, какой надо будет просить. Конечно мне будет неприятно, если в удовлетвореньи просьбы мне откажут, но и в таком случае я ни дела, ни, косвенным образом, Вас не подведу, и предложу какому-нибудь другому издательству возвратить Ленгизу аванс в выкуп переуступаемой книги. Простите еще раз, что опять вот все дела да дела. Но дайте мне дописать повесть, и Вы увидите, как все это я восполню и исправлю! Еще раз, и не один — сердечное спасибо за все. Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7).

1В письме 20 янв. 1929 Пастернак просил Медведева «понизить тираж с 4-х тысяч до трех», чтобы не перекрывать возможности издать полное собрание стихотворений.

2 Пункт 3-й предполагал издание и сроки сдачи «Повести».

474. Я. З. ЧЕРНЯКУ

17 февраля 1929, Москва

Воскресенье 17-го II Дорогой Яша!

Ну и везет же Вам! Бедные вы и в особенности Елизавета Борисовна, какое все время сплошь беспокойство и морока! Просто не сказать, как Вас жалко1. Не хотел надоедать Вам вчера вечером, а сегодня весь день отвечают, что телефон у Вас выключен. Но Вы ничего не потеряли, поохал бы и только и ничем Вам не помог. Зная приблизительно предшествующие обстоятельства, легко себе представляю, как у Вас вероятно и с деньгами, и сейчас ничего не могу предложить, но через неделю или две жду аванса из Ленгиза и тогда обязательно Вам навяжусь. И чтобы меня окончательно уничтожить, Вы в числе всех этих печальных новостей еще сообщаете о книгах. Ах как

все сошлось! Понятно я в конец пристыжен. Было бы неискренней демонстрацией, если бы я сказал, что и не хочу о них думать, но, разумеется, и не до того теперь. Когда случится, позвоните мне, выйду к Вам за ними навстречу. Говорят, они за форточкой, и что им там, правда, сделается. Пусть проветриваются, ведь не улетят. А главное не то, известите о ходе болезни, потому что первое, о чем я Женю спросил, так это о прививках, в надежде, что это во всяком случае было во благо, узнал же от нее, что напротив, деток это ослабило и Вас беспокоит. Не знаю просто, что сказать Вам и чего пожелать Е. Б., и в полной этой беспомощности с Вами прощаюсь. Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2208. Новое поступление). 1 Болезни детей.

475. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

23 февраля 1929, Москва Дорогой Павел Николаевич!

Только что получил повестку о денежном переводе, и так как за этой быстрой помощью вижу Вашу добрую руку, то и спешу от души Вас поблагодарить. Иногда на теперешнюю свою работу смотрю как на постепенно выписывающуюся оправдательную от-читку перед двумя-тремя друзьями (и Вами в том числе), перед которыми глубоко виноват. Вы простите, что я неловкость положенья, в котором сам нахожусь, то и дело сам подчеркиваю беспрестанным поминаньем о книге. Но так лучше, хотя и в обнажении своего собственного стыда мало такта. Но как все сбежалось! Теперь два месяца можно будет спокойно работать, и надо торопиться, чтобы время не прошло без пользы. Как уже сказал, утешаюсь мыслью, что первый ремингтонный оттиск беды моей можно будет послать потом в виде оправданья — и Вы думаете — Вам? Нет, искреннейшим образом и без всякой задней мысли, — вот о чем я мечтаю. Я возьму с Вас слово, что Вы на нее и не взглянете, а от Вас она поступит к кому-нибудь близкому Вам и более свободному человеку1 и, может быть, такому, ради досуга которого Вы поступились своим. И моего условья не изменит то обстоятельство, что к тому времени я, наверное, Вам напишу о книге, потому что следующая моя работа (Охранная грамота) — частью об искусстве, и при переходе к ней мне вдвойне будет интересно и важно за одно из долгих лишений себя вознаградить.

Туг в письме есть налет пока неоформленной, но самой неподдельной сердечности, и, если рука мне не изменяет, Вы ее уловите. Так она потом оформится и сложится и найдет по себе назначенье, вот что я хотел сказать. Ваш Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7). Датируется по почтовому штемпелю.

1 По-видимому, Пастернак рассчитывал на мнение М. М. Бахтина, как более свободного человека, близкого друга Медведева и реального автора книги «Формальный метод в литературоведении». «Мы были друзьями, — вспоминал Бахтин. Мы разговаривали. Но они (П. Н. Медведев и В. Н. Воло-шинов. — Е. П., М. Р.) служили, а у меня было время писать» (там же. С. 707).

476. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

28 февраля 1929, Москва

Раиса Николаевна, дорогой друг мой, как понять, что до сих пор, с самого лета я не постарался сказать Вам, что молчу не случайно, а оттого, что письма — пустяки в сравнении с тем, что я должен сделать не столько Вам, сколько благодаря Вам. Когда я весной собрал из старых вещей книжку, то увидал, что все хорошее, что было в моей жизни до 30 лет, я как-то, прямо или косвенно, а словом добрым все же помянул, и только перед последними годами в черном, неоплатном, позорном долгу1. Вас не обидит, что Вы не в одиночестве? Но среди неотложных работ, вдруг скопившихся к концу этого года, за писаньем прозаической повести я не расстаюсь с мечтой написать

несколько настоящих, т. е. достойных Вас и Ваших соседей посвящений: Марине, Ломоносовой, жене, Ахматовой, обоим Мейерхольдам2.

Мне хочется так хорошо написать Ваше (т. е. обращенное к Вам), что просто страшно: разумеется, не получится, как я бы того хотел. И конечно я всех Вас друг к другу ревную и не понимаю, как кто-нибудь из вас не съел всех остальных.

Итак вот то наименьшее, что может меня избавить от того, что меня преследует, когда я, например, обращаюсь к Вам. От сознания, что бесплодно зная Вас, я как бы Вас украл, и отойдя на краже и отъевшийся, никому не показываю. Так я отдам и покажу.

А между тем идет время, и я не знаю, как Ваше здоровье. Я допустил почти что преступленье по отношенью к самому себе, когда оставил Ваше летнее письмо без ответа. Если бы Вы знали, в какой урочный час оно пришло! Но не все можно называть, и не на все хочется оглядываться. У меня нет чувства, что я Вам сейчас пишу, вся моя чувствительность поглощена надеждой на посвященье. Но сообщите мне, не откладывая, как Ваше самочувствие, и напишите, пожалуйста, вообще о себе. — Знаете, чем я занят? Мне на днях минуло 39 лет (как стыдно! — не цифра сама по себе — а уровень мыслей и забот в связи с нею). Я хочу подвести и закончить все недоделанное настолько, чтобы к 40 годам этот цикл был готов, и можно было бы либо спокойно умереть, либо остаться жить, и тогда как бы снова, новым циклом. Привет Юрию Владимировичу и Вашему сыну. Не забудьте написать о себе. О как помню я ту Вашу руку, что писала, превозмогая боль.

Преданный Вам Б. И

Женя Вам написала большое письмо и на днях посылает.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Датируется по почтовому штемпелю. Отправлено в Италию, в Санта Маргериту, переправлено в Рим, оттуда в США, в Балтимор.

1 Разделы книги «Поверх барьеров. Стихи разных лет», относящиеся к разным периодам творчества, посвящены близким в то время людям (Асееву, Маяковскому).

2 Из этого списка были осуществлены стих, послания Цветаевой, Ахматовой, Мейерхольдам.

477. Л. О., Р. И. и Л. Л. ПАСТЕРНАКАМ

Конец февраля 1929, Москва Дорогие папа и мама, дорогая Лида!

С ужасом устанавливаю, что вас еще не благодарили за чудные игрушки и какао, привезенные пр<офессором> Воробьевым. Простите это Жене и мне; не оправдываюсь, ибо приблизительные представленья о наших днях у вас имеются. Они по-прежнему не принадлежат нам. Хотя я избавлен от беготни по редакциям за мелкими, и не всегда осуществлявшимися заработками, как это было раньше, и хотя на добрую половину моей и жениной деятельности нас давно заменила прислуга и няня, однако мне давно не удается работать, столько просьб кругом, симпатий, начинающих из провинции, людей, нуждающихся в совете и пр. и пр. Это — некоторое повторенье твоей каторги, папа, слабое и отдаленное, конечно. Так вот: — вы изумительно любящие люди с изумительно внимательными сердцами. Нет благодарности, которая могла бы эти качества покрыть. Когда они дождем изливаются на ребенка, это конечно легче, чем когда вы одариваете нас, потому что вообще дети—улыбка что ли природы (или что-то в этом роде). Но даже и в этом случае мне всегда бывает больно и стыдно, что вы так тратитесь (лаской, трепетом и ожиданьем эффекта, которого никогда, за далью, не видите). Вы давно не писали нам, и ради Бога, не пишите. Этот рефрен всегда возвращается у меня, потому что у меня одинаково не меняются ни любовь к вам, ни взгляд на всевозможную гибельность писем, просьба же о неписаньи их прямо

из обеих предпосылок проистекает. Все узнаётся со стороны. Итак, горячо благодарю за все. Крепко вас от лица всех нас обнимаю. Ваш Боря

P. S. Сейчас звонил Е. Б.1 — не застал дома. Завтра повторю звонок. Сегодня сажусь за переписыванье писем Rilke. Ах, этому имени нет. Как я виноват, что до настоящего мгновенья, когда я до слез, с дикою болью это почувствовал (по-детски, как насчет мамы с Бразом, как в своем чувстве к ней2) я не сознавал, как я пред тобою виноват, а не перед памятью R<ilke>, или литературой. Но у меня такой страх, что они пропадут (и за тебя страх, что тебя их лишат), что просто передать не могу. Говорят, тут опять будет Стеф. Цвейг, вот с кем, всего охотней я бы их передал. Можно бы через посольство, но через наше... ты помнишь, что там? И сожаленья, что Горький социал-демократ? Тогда через германское? Но пойдут толки, зачем ходил, какие такие письма. Все-таки лучше бы с живою оказией. Утешь меня и сам скажи, что никогда это не будет поздно (т. е. до весны, не позже), если даже и выпустили томик, их будут переиздавать и пополнять, а это в Neue Rundschau может быть опубликуют. Но и не говори, я сам знаю. А как угонишься за временем? Ведь я всего, всего себя лишил, мне бы только отписаться до 40 лет или до 41 года, а то слишком все кажется, что где-то около этих дат окачурюсь. Попробую чем-нибудь вещественным оказаться у вас в комнате 11-го3.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

1 Евгения Борисовна Збарская (Перельман) — вторая жена Збарского собиралась ехать в Германию, и Пастернак думал послать с нею письма Рильке Л. О. Пастернаку, требующиеся для собрания сочинений (см. письмо № 462).

2 Пастернак вспоминает чувство детской ревности к художнику О. Э. Бразу, который дружил с родителями и по-старинному целовал руку его матери (см. также письмо № 480).

3 На 11 марта было перенесено объединенное празднование дня рождения Р. И. Пастернак и 40-летие свадьбы родителей (см. там же).

478. П. Н. ЗАЙЦЕВУ

4 марта 1929, Москва

4. III. 29

Дорогой Петр Никанорович!

Вместе с письмом к О. Э. Озаровской пересылаю Вам и стихи для Недр1. Не удивляйтесь вложенью: хочу узнать, подойдут ли они на Ваш взгляд для альманаха. Первоначально они предназначались для «Звезды» вместе с двумя-тремя ненаписанными еще обращеньями, задуманными наподобье приложенных. Говорю о 1-ми 2-м — Маяковскому не в счет, это старая надпись на «Сестре», но и ее я в этот ряд включаю2. Однако в «Звезду» мне хотелось их отдать все циклом, а я не знаю, когда допишу недостающие, потому что к этому обращаюсь между прозой, в редкие дни, когда чувствую себя неважно и не справляюсь с ней. Когда Вы это просмотрите, не откажите, пожалуйста, позвонить мне, всего лучше в 3 ч. дня или вечером, между 8-ю — 9-ю. Тогда я заберу у Вас рукопись и передам, куда укажете, я затерял адрес.

Крепко жму Вашу руку. Привет супруге.

Преданный Вам Б. Пастернак Кстати № телефона у нас новый: 1-71-64.

Впервые. — Автограф (ИМЛИ, ф. 15, оп. 1, № 49).

1 П. Н. Зайцев входил в комитет по организации юбилея фольклористки О. Э. Озаровской, и Пастернак через него получил приглашение на вечер (см. письмо № 479). Кроме того, Зайцев был секретарем издательства «Недра», в котором выходили литературно-художественные сборники под тем же названием.

2 По-видимому, в предлагаемую подборку входило стих «Мейерхольдам» (1928), «Анне Ахматовой» (см. письмо № 481) и дарственная надпись «Маяковскому» (1922).

479. О. Э. ОЗАРОВСКОЙ

4 марта 1929, Москва Глубокоуважаемая Ольга Эрастовна!

Я не воспользовался честью, которую мне оказал Ваш комитет1, пригласив на чествование. Там я не удержался бы от желания присоединить свои поздравления к тому, что и раньше до Вас доходило, а тут сразу на Ваших глазах поднялось большое, торжественное незабывающейся волной. Меня должны были бы представить Вам, и тут я не знал бы, куда со стыда деваться. В самом деле, какими словами мог бы я отплатить за воспоминанье, мгновенно вставшее передо мной, как только я развернул юбилейную повестку? Вы тогда с бережностью, свойственною дару в отношении дара, впервые выводили за руку, как ребенка, старуху Кривополенову2. Это было в Политехническом музее, та же бережность подсказала Вам, что лучше бы, чем с эстрады, этому голосу, помнящему Грозного, прокатиться из края, который его сложил, и не долго думая, Вы всего этого молниеносно достигли.

Вы разбросали по аудитории, точно все это было у Вас в горсти, вороха нетерпеливой олонецкой скороговорки, рои еще носились, сохраняя упругость, с какой были брошены, когда, увидав, что аудитории не стало и ветер колыхнул березы, как требовалось, а летнее облачное небо, смыкаясь и размыкаясь, всей высотой двинулось на реку к бабам, Вами поставленным греметь ведрами, свариться и воевать, Вы развалили эту деревню, как полный городок, и движением руки предоставили Кривополеновой говорить с созданного Вами пригорка.

Я солгал бы, если бы сказал, что этот чудесный случай был единственным моим столкновеньем с искусством в его цельной неожиданности. Но зато это и было одной из тех редких встреч, каждым в жизни испытанных, когда нас волнует вся его неуловимая основа, вся ускользающая коренная его целостность, составляющая его секрет. Если бы я не знал, что пишу большой артистке и что она меня извинит, я при всей силе навязывающегося воспоминания не стал к Вам с ним соваться. И как, вдобавок, оно уличает меня! Я назвал Вам вечер, может быть, для Вас малозначительный. А сколько их у Вас было. Сколько, значит, случаев обновить свое восхищенье я проворонил. Я оставлю эту странность, настолько мне свойственную, что я ее не стыжусь, без объяснения. Это случается со мной тем легче, чем прочнее мой восторг, чем пожизненнее признательность.

Еще раз от души поздравляю Вас. Не ищу и не надеюсь что-нибудь прибавить к тем выражениям благодарности, которые Вы услышали в дни Вашего торжества. Такие чувства особенно хороши тем, что всех охватывают с равною силой, и если бы я был уверен, что мне дадут потонуть в них без следа, мне не пришлось бы притязать на Ваше внимание. Затем простите, это конечно не то, что Вам следовало написать. Ведь на эту кровную тему всегда приходится говорить сдерживаясь, из страха показаться смешным или впасть в фамильярность.

Как истинной исключительности, связанной ревнивейшими нитями с жизнью и привыкшей с детства переоценивать себя прошлым, недооценивая в настоящем, я было пожелал Вам скорейшего наступления поры, когда это проходит и жизнь уже без растравы лежит перед нами во все лицо, навсегда неотменимая и в перемене не нуждающаяся. Потом я предположил, что это уже для Вас наступило и, может быть, как раз в эти дни, и тогда Вам больше нечего пожелать. Потом я увидал, что ничего этого, по глупости тона, писать нельзя, и разорвал четвертушку пополам, чтобы этого больше не упоминать на чистой странице и вот, снова упомянул.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Машин, копия (РГАЛИ, ф. 2238, оп. 1, ед. хр. 44). Письмо написано к юбилейному вечеру в честь 30-летия научно-художественной деятельности известной собирательницы и исполнительницы северного фольклора О. Э. Озаровской.

1 Юбилейный комитет, в который входил П. Н. Зайцев, приславший Пастернаку приглашение на вечер.

2 Марья Дмитриевна Кривополенова — сказительница из Пинежско-го уезда Архангельской губернии, в 1915 г. приезжала в Москву, выступала на вечерах, которые устраивала Озаровская. Былины Кривополеновой собраны в книге Озаровской «Бабушкины старины» (М., 1916).

480. РОДИТЕЛЯМ

5—6марта 1929, Москва

5. III. 29

Дорогие, дорогие мои!

Поздравляю вас с днем, в который сильнее чем когда хочется и надо присутствовать, пишу вам и не вижу вас в этот день (и радуюсь? и вы мне поверите?). Ах, молодцы, молодцы! Папа в сегодняшней поздравительной открытке дорит мне еще 10 лет (моей) жизни, больше вдвое того, на что я рассчитываю. Ах как убийственно давно мы не видались, и как надо бы о многом переговорить! И конечно это придет; как могу, к тому и веду. Если бы я только в себе был хотя бы вполовину того, что в вас, уверен!

Неожиданный отдых. В квартире у соседей заболела девочка корью. Вчера мигом Женя увезла Женичку к своим родным. Уже и вчера была сорвана работа, а сегодня и более того. Перед тем вдруг напомнили, что я четыре года живу без охранной грамоты, 2У2 года как исключен из профсоюза за невзнос платы, и что вообще у меня ни одного живого, непросроченного документа не имеется. Вот и воспользовался передрягой. Ходил по учрежденьям, прекрасный весенний день, ни о чем можно не думать, а заявленья писать — это ли не наслажденье, разом набело, коротко, и с прямою целью, с предрешенным действием! Вы, надеюсь, понимаете, что я не иронизирую и нисколько не шучу, а говорю чистейшую правду. Потом поехал заимообразно кровь свою отдавать в Мечниковский институт Женичке на противокоревую прививку. ТУг же вспомнил, как в 1903 г. болели мы корью (или раньше?), и папа в Париже был (нет, вру, ведь это, кажется, было до Жонич-ки?1) — ну словом, Браз ходил мамочку навещать, и верно, к ручке, по-петербургски, прикладывался, а я уже наверное тогда книжки читал, сердцещемящие и с завязками, и как же я тогда его к духу семьи ревновал и ненавидел! Короче говоря, неоформленно, я ждал похищенья и что все в семье к черту пойдет, и это бывало в полдни, и у нас был жар, — одним словом, это все под самый сон рисовалось, как летнее отравленье в Гамлете. Иногда теперь я пользуюсь этим воспоминаньем. Оно прекрасно, в бредовой форме выражает весь дикий, атавистический деспотизм, свойственный вообще семье. Теперь, вспоминая ту молодую женщину, я скорее жалею, что она ничего не позволила себе в жизни, и мне только страшна и отвратительна тираническая аксиома, владевшая ребенком.

Пишу вам забинтованною рукой (после института), что не так-то удобно. Пока я в пиджаке и с галстуком, моя рассеянная манера выражаться, производит впечатленье живой особенности, если даже не причуды. Но стоит мне разоблачиться, как та же черта действует совсем по-другому. На всех призывных комиссиях мне предлагали вопрос, грамотен ли я, — в голом виде весь лоск двенадцати школьных лет слетал без следа. Даже и сегодня, хотя я только снял пиджак и заголил руку, повторилось то же самое, фельдшерица, спра-вясь по листу, не поверила моему родству с самим собою.

Я сказал, что нынешний день показался мне днем отдыха. Разумеется, этого нельзя сказать о Жене, которую эти хлопоты и перемещенья очень измотают. Не умеет она за собой следить и очень всегда, чуть что, сдает.

Бабушке деньги высылаю, т. е. завтра, когда письмо отошлю, вложу в конверт и квитанцию, так что это будет свершившимся фактом. Еще раз благодарю за заботу и возможность обмена. Кстати, я забыл счет, т. е. потерял листок, где это отмечено, и при случае назовите в марках, сколько получается по присоединены! этого, мартовского платежа. И, если можно и нужно, давайте еще порученья. Простите за скучное письмо, которое придет в день двойного торжества: маминого рожденья и 40-летья2.

Итак мне теперь столько лет, сколько было папе в 1902 г. Как он тогда был молод, и с каким аппетитом и правом на аппетит смотрел вперед. А я думаю о вещах, которые бы мне успеть сделать в год или в два, чтобы потом можно было спокойно быть готовым к смерти. Это не только не слова, а даже источник некоторой заемной радости и для этого времени.

Крепко вас целую. Ваш Б.

6. III. 29. Дорогие мои! Начал вам писать и, видимо, никак не отвязаться. Если вы получите от меня короткую записочку при подношеньи3, то знайте, что произошло вот что. Все это делалось настолько наспех, что и предметы не те, что я хотел, главное же, как только я все отправил, то вспомнил, что не подписался за Женю и Женичку, как хотел, и как это было нужно. Ради Бога, исправьте эту ошибку, и не моей, так вашими руками припишите их, прошу вас, и не обойдите при ответе4.

Но вообще отвечать не надо, и в извещеньи нуждаюсь только по 2-м пунктам. Дошли ли письма Rilke и какова сумма, которая получается по присоединеньи вложенной квитанции. И только первое меня волнует. Еще раз вас и Федю и девочек поздравляю.

Ваше сорокалетье почти совпадает с тридцатилетьем первого письма5.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Л. О. Пастернак участвовал в Париже в 1900 г. во Всемирной выставке, где был удостоен большой серебряной медали за серию иллюстраций к «Воскресению» Л. Толстого (Толстовский музей) и картину «Перед экзаменами» (Музей д'Орсе).

2 Р. И. Пастернак родилась 26 февр. 1867 г.; свадьба родителей состоялась 14 февр. 1889 г. (ст. стиль).

3 Отъезд в Берлин писателя Овадия Герцевича Савича позволил Пастернаку послать с ним подарки и просить купить цветы родителям. Благодаря сына, Л. О. Пастернак писал 11 марта 1929: «Я догадался, через кого ты это устроил — через Козинцеву-Эренбург? Это предположение основано на полученном от нее приглашении на ее выставку картин...». «Вы совершенно напрасно придаете такое значенье подарку. И Люб<овь> Мих<айловна> тут не при чем. Я просил об этом Савича, Овадия Герцеви-ча», — отвечал Б. Пастернак 16 марта 1929 (там же. Кн. I. С. 218).

4 Сохранилась записочка, сопровождавшая посылку: «Крепко вас обоих обнимаю и целую без конца и счета. Боря*. Рукою Лидии дописано: «Женя и Женёнок» (там же. Кн. I. С. 21).

5 Одновременно заказным письмом по почте были посланы автографы писем Рильке. Первое письмо Рильке Л. О. Пастернаку датируется 20 апр. 1899, что создавало дополнительный юбилей: 30 лет знакомства Рильке и Л. Пастернака.

481. А. А. АХМАТОВОЙ

6 марта 1929, Москва

6. III. 29

Дорогая Анна Андреевна!

Мне кажется, я подберу слова, Похожие на Вашу первозданность, И если не означу существа, То все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок, Колоколов безмолвные эклоги. Какой-то город, явный с первых строк, Растет и узнается в каждом слоге.

Волнует даль, но за город нельзя. Пока внизу гуляют краснобаи, Глаза шитьем за лампою слезя, Горит заря, спины не разгибая.

С недавних пор в стекле оконных рам Тоскует воздух в складках предрассветных. С недавних пор по долгим вечерам Его кроят по выкройкам газетным.

В воде каналов, как пустой орех, Ныряет ветер и колышет веки Заполуночничавшейся за всех И счет часам забывшей белошвейки.

Мерцают, заостряясь, острова. Метя песок, клубится малокровье, И хмурит брови странная Нева, Срываясь 3d мост в роды и здоровье.

Всех градусов грунты рождает взор: Что чьи глаза накурят, все равно чьи. На самой сильной крепости раствор Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик Ваш и взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, Которым Вы пять лет тому назад Испуг оглядки к рифме приkололи,

Но, исходив от Ваших первых книг, Где крепли прозы пристальной крупицы, Он и сейчас, как искры проводник, Событья былью заставляет биться.

Дайте мне, просто даже открыткою, санкцию на печатанье этого стихотворения. Может быть, в корректуре я его усилю. Очень много работаю сейчас, но над прозой, и для того чтобы ее дальше писать, пришлось прибегнуть к помощи стихов.

Но последний остаток лирического чувства живет и догорает во мне только еще в форме живого (и конечно неоплатного) долга перед несколькими большими людьми и большими друзьями. Я написал Вам, Мейерхольдам и Маяковскому. Я у Вас спрашиваю не мненья о стихотвореньи, потому что знаю, что оно слабо, и в нем нет того движенья, которое соответствовало бы записанным образам, Вами вызываемым. Но, может быть, Вам что-нибудь просто не понравится как-нибудь лично, и это я должен знать и с этим обязан считаться, потому что это обращено к Вам, то есть «Ахматовой» будет заголовком, а не только посвященьем.

Необходимость уписать строку в почтовую строчку довела мой почерк до такой не свойственной ему бисерности, что у меня нет чувства, будто я Вам пишу письмо. Я и не пишу его. Это деловой запрос. Буду с нетерпением ждать Вашей открытки. Адрес: Москва 19, Волхонка 14, кв. 9. Отдам, если позволите, в альманах «Недра», вместе с двумя другими обращеньями, которые еще хуже.

Еще раз повторяю — вопрос в том, терпимо ли оно для Вас. Вы знаете, с какой силой живете во мне, как и во всяком, и насколько это лишь естественно, не более того. К этому знанью стихотворенье ничего не прибавляет. Затем ясно ли, что речь об особом складе электрической силы, которая выражена не только в Лотовой жене и не в образе соляного столба1 только, а исходит от Вас всегда и никогда не перестанет исходить.

Ваш Б. П.

Вьюном подчеркнул места, которые постараюсь заменить во всяком случае, по их невыразительности или неуклюжести2.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (DIM, о. ф. 4840).

1 Имеется в виду стих. Ахматовой «И праведник шел за посланником Бога...», позднее получившим название «Лотова жена» (1924). Не соглашаясь с позицией героини Ахматовой, не желавшей расстаться с прошлым («Лишь сердце мое никогда не забудет / Отдавшую жизнь за единственный взгляд»), Пастернак противопоставлял безысходности этой позиции веру в особую электрическую силу ее поэзии.

2 Стих, подверглось существенной переделке: 6-я строфа выпущена, 3—5-я и 7-я переписаны заново, но некоторые из подчеркнутых волнистой чертой (вьюном) слов остались без изменения.

482. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

15 марта 1929, Москва

15. III. 29 Дорогой папа!

Получил твою открытку и, продолжая пересылку, высылаю тебе пять, хронологически следующих за отосланными, писем R. M. Rilke. Надеюсь, и эти дойдут благополучно. Тогда мне останется дослать два последних (из имеющихся у меня) письма, одно от 25 марта, другое от 10 декабря 1906 года. Я их еще не переписал, все же отсылаемые уже скопировал. Что касается копий, то я думал их оставить у себя на память. Если мои соображенья покажутся тебе неправильными, то я, разумеется, с ними готов расстаться и вышлю копии тебе. Но мне кажется, что они не могут иметь той документальной ценности, какою обладали бы списки, нотариально или как-нибудь еще снятые с оригиналов на месте у вас в Берлине. Неужели тебя только лишат оригиналов, не оставив никакого следа того, что они когда-то тебе писались?1

Между прочим в последних, еще не переписанных письмах будет много дорогого для вдовы2, там и ее приписка и, главное, в другом письме, когда они в разных городах жили, — знаки его заботы о ней. А я кое-что знаю и о многом догадываюсь. Кроме того, это все болезненно похоже и на все мое, до последних мелочей, но об этом лучше не говорить. Опять уведомь открыткою о получке.

Крепко целую и обнимаю маму. Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 На следующий день, 16 марта, Пастернак писал: «Досылаю два последние письма Rilke для изданья. Уже отослав вчера конверт с пятью предшествующими, я перечел твою открытку и увидал, что о присылке копий ты не просишь, как мне показалось сначала. Таким образом, отпадают все мои рассужденья на этот счет <...> P. S. Это все, что удалось найти из переписки. Вся она списана моей рукой и настоящими двумя письмами до конца исчерпывается» (там же. Кн. I. С. 218). Пастернак пропустил и не послал отцу еще одно письмо Рильке, написанное по-русски 13 февр. 1901.

2 «Какое фатальное стечение обстоятельств, — писал Л. О. Пастернак, получив первую посылку писем Рильке 10 марта 1929. — За полчаса вчера до получения твоего заказного письма я после многих-многих лет встретился у одной художницы с ее приятельницей — M-me Rilke! И тут я ей стал рассказывать, что... к стыду моему — я имеющихся писем его никак достать не могу и всячески старался объяснить причины» (там же).

483. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

26 марта 1929, Москва

26. III. 29. Дорогой папа! Получил открытку, извещающую о дошедших письмах. Ну, слава Богу. Пишу тебе с шалфеевым отваром во рту, раздув щеки и прихлебывая из чашки полосканье. Старая история — приступ ежегодной пиореи, когда зубы, очевидно, стремясь выйти из десен, рвут золотую плотину, поставленную Майзелем1, и — не будучи в силах сдвинуть ее, вымещают это на мне.

— Сообщи мне (ты или кто другой), пожалуйста, два адреса. Один (я об этом уже как-то просил) — дяди Осипа. Достаточно ли так: Касимов Рязанской губ. — Д-ру И. И. Кауфману? Это задерживает посылку. Другой — об этом я прошу впервые — адрес Frau C. Rilke. Не говори ей, кстати, что я об этом спрашивал, потому что я не уверен, что напишу ей, и не знаю, когда именно. Может быть, мне придется, и это случится в случае крайней необходимости. Я, может быть, переведу тут одну его вещь и как раз в этом случае существенной может оказаться справка, которую она, наверное, сможет

дать. Именно потому и надо умолчать об этом, что у меня сейчас пропасть дел, а тут еще и зубы разыгрались, так что я почти и не верю, что перевод сделаю в обозримый срок. А то, хочешь, сам спроси, кто такой был Wolf Graf von Kalkreuth, которому посвящен Requiem2. По духу стихотворенья это должен быть поэт голой эмоциональной складки, противоположной Rilke, с яркой, верно, биографией и со страстями, кончивший самоубийством. Но как и где и что. И так, чтобы на сведенье можно было опереться. А то и сам спрошу, в соответственном письме, конечно. Крепко маму и Лиду и тебя целую.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Зубной врач в Берлине, лечивший Пастернака в 1923 г.

2 Пастернак перевел Реквием Вольфу графу Калькройту («Звезда», 1929, N° 8). В ответ на запрос Л. О. Пастернака Клара Рильке ответила: «Он был, как это следует из Реквиема, чрезвычайно одаренным человеком; после его смерти был издан том его стихотворений. Вероятно, ему приходилось страдать от сильной неуравновешенности своей натуры, с одной стороны возносясь в высоту духовных переживаний, с другой мучась от депрессии. Начавшаяся тогда военная служба, от которой его отец ожидал успокаивающего и укрепляющего действия, еще более углубила его депрессию, что и привело к роковому исходу, о котором идет речь в Реквиеме» (перевод с нем).

484. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

3 апреля 1929, Москва

3-IV-29

Дорогой папа! Наверное, на днях придет от тебя открытка в ответ на мою последнюю, и напрасно я пишу сейчас, ее не дождавшись. Мне теперь стало лучше и я стал выходить. Работаю помногу каждый день, как впрочем и все это время. Я наверное писал, что хочу в год-полтора привести лучшее из сделанного к некоторой целостности, к такой, чтобы можно было поставить либо временную точку, либо навсегда, и отчасти передохнуть, отчасти, если будет случай, может быть, и за что-нибудь другое взяться, не за другую вещь, а за другую область; из близких, разумеется. Но для этого надо дописать и доделать очень много, и это больше того срока, который я себе отпустил. Весной, месяца через полтора-два выйдут «Поверх Барьеров»1, книжка, которой вы не узнаете не только потому, что она вдвое больше старой, но и потому, что все, что было в первых книжках хорошего, за немногими исключеньями, написано наново. Девочки сперва огорчатся, как было со всеми, а потом, привыкнув, переменят мненье. Жива ли Lou Andreas Salome2, нельзя ли это узнать, и если жива, то нельзя ли узнать ее адрес? Сейчас я занят прозой, которую нельзя будет показать ни Вальтеру, ни Пепе, ни Синяковым, потому что хотя в ней не говорится ничего плохого, им будет ясно, откуда все черпалось3.

От долгих компрессов у меня раздраженье на подбородке и страшно чешется.

Обнимаю тебя и маму. Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Сб. «Поверх барьеров» вышел в октябре 1929 г.

2 Лу Андреас Саломе — приятельница Рильке, с которой он приезжал в Россию в 1899 и 1900 гг. Описанием встречи с нею и Рильке на Курском вокзале в 1900 г. Пастернак начинает «Охранную грамоту».

3 Имеется в виду «Повесть», вобравшая в себя подробности жизни Пастернака в семье Филиппов и его знакомства с Н. М. Синяковой и братьями Збарскими. См. также письмо № 524 о том, что «материалы "Повести"... — автобиографические ответвленья "Охранной Грамоты", т. е. все то, чего нельзя рассказывать о себе, т. е. вести от 1-го лица».

485. А. А. АХМАТОВОЙ

6 апреля 1929, Москва

6.IV.29

Дорогая Анна Андреевна!

Недели три тому назад я Вам отправил письмо по Вашему старому, а легко может быть, и по ложному адресу1. Я в нем испрашивал Вашей санкции на печатанье стихотворенья, к Вам обращенного. Оно было приложено. Своей оплошностью я поставил себя в положенье неуяснимой неизвестности. Но все же мне казалось, что Вы бы мне отказали на словах (в случае, если письмо дошло), а не в такой молчаливой, обрекающей на догадки, форме. Вероятно, так оно и есть, и я очень рад пропаже письма, потому что я им поторопился, и стихи послал в первой записи.

Я третий месяц очень усидчиво работаю над большой повестью, которую пишу с верой в удачу. Я недавно болел, но не прерывал работы. Мне очень хорошо. Далекий от мысли, что я это осуществляю, я вновь, как бывало, умилён до крайности всем тем, что человеку дано прочувствовать и продумать. Мне некуда девать это умиленье, повесть потеряла бы в плотности, если бы я все это излил на нее одну. Мне приходится исподволь писать стихи. Их теперь, в моем возрасте, я понимаю как долговую расплату с несколькими людьми, наиболее мне дорогими, потому что, конечно, именно они — истинные адресаты, к которым должно быть обращено это умиленье. Я хочу написать стихотворенья Марине, Вам, Мейерхольдам, Жене и Ломоносовой, нашей заграничной приятельнице.

Вам и Мейерхольдам они написаны, и когда будут сделаны остальные (повесть задерживает), мне бы хотелось их напечатать.

Если я пока не заслужил Вашей искренности, то заслужу еще ее. И потому, будьте, пожалуйста, со мной откровенны. Если прилагаемое стихотворенье чем-нибудь неприятно Вам (помимо того, что оно недостаточно сильно), напишите мне о том, пожалуйста, со всем прямодушьем. Пусть неудачно, но свое виденье Вас и свое чувство я в нем выразил, и этого достаточно, чтобы на мой взгляд оно годилось для печати, и в этом случае, по понятным причинам, даже в нее просилось2. Но я обязан считаться и с Вами.

Ответьте, пожалуйста, и напишите несколько слов о себе. Ответьте хотя бы открыткой.

Всей душой преданный Вам Б. И

Впервые: Russian Literary Triquarterly, 1974, JSfe 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 149).

1 Долгое отсутствие ответа на письмо JSfe 481 Пастернак объяснял ошибкой в адресе и запрашивал его у Л. В. Горнунга: «21. III. 29. Милый Лев Владимирович! Простите, что пишу Вам на начатой и подчищенной открытке, но другой нет под рукой, а я сейчас не выхожу. Опять у меня мука с челюстью, как каждый год, оттого и не могу прибегнуть к помощи телефона. Вот какая у меня к Вам просьба. Вы в переписке с Анной Андреевной. Не откажите в услуге, позвоните, пожалуйста, по нашему телефону 1 71 64, как-нибудь в 3 ч. дня, вызовите жену и сообщите ей точный адрес Ахматовой. У меня он записан неразборчиво. Ул. Халтурина 5 кв. 12. Но можно прочесть и 15 (JSfe дома). Может быть так именно я ей и адресовал одно письмо, отосланное тому назад две недели, и оно не дошло, отчего и нет на него ответа. Какие у Вас вообще вести от нее непосредственно или же хотя бы о ней? Заранее благодарю Вас. Всего лучшего. Ваш Б. П.».

2 Понятными причинами Пастернак считал появление в печати имени Ахматовой, что могло помочь ей в период ее замалчивания. Возможно, он знал о запрещении издания ее поэтического сборника. См. также письмо Ц>уздеву об Ахматовой как о «блистающем глазе нашего поколения» (№ 281).

486. А. А. АХМАТОВОЙ

10 апреля 1929, Москва

10.Г/.29

Дорогая Анна Андреевна!

Горячо благодарю Вас за ответ и очень обеспокоен концом телеграммы1. Если это возможно, я просил бы кого-нибудь из Ваших близких или друзей, Вас навещающих, сообщить мне, что с Вами и как Ваше самочувствие. Не надо прибавлять, с какой признательностью я приму такое извещенье. Я просто бы, миновав Вас, запросил Лукницкого2, но, к сожалению, затерял его адрес. А Вы, Анна Андреевна, пожалуйста, простите меня, что в такое время я Вас обеспокоил подобной ерундой — ведь это произошло без моего ведома, и не по моей воле вышло так нехорошо и глупо.

Всей душой, как только можно, желаю Вам поскорее оправиться. Я и сам болел недавно, и по упорству и естественности, с какой, точно у себя дома и как постоянная жилица, обосновалась болезнь, еще недели две назад не видел, отчего бы и зачем ей кончиться и смениться здоровьем. Пишу в вере, что моя просьба к Вашим друзьям застанет Вас в состоянии, когда это кажется уже более вообразимым.

Всего лучшего. Еще и еще раз большое спасибо.

Но об этом лучше не распространяться. Мне страшно стыдно. Я все знаю. Правда и то, что невозможно сказать что-либо, хоть отдаленно Вас достойное. Или не только Вас. Но когда мы говорим о природе или о третьем лице, или о себе — мы не спрашиваем и не слышим ответа. И все сходит с рук. А Ваша телеграмма, как старшая, смотрит на стихотворенье, и в ней больше содержания, живого и противоречивого, чем в последнем.

Ваш Б. Я.

Жена шлет Вам сердечный привет и тоже желает скорейшего и полнейшего выздоровления.

Впервые: Russian Literary Triquarterly, 1974, № 9. — Автограф (РГАЛИ, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 149).

1 По-видимому, в телеграмме Ахматовой, кроме разрешения на публикацию стихотворения, было упоминание о нездоровье как причине ее молчания.

2 Павел Николаевич Лукницкий занимался сбором материалов по биографии Гумилева, Ахматова помогала ему в этом.

487. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

23 апреля 1929, Москва

23. IV. 29

Дорогая Раиса Николаевна!

Какую радость доставили Вы нам вчера! Обходом и, вероятно позднее придет к Юрию Владимировичу запрос о Вашем здоро-вьи, отосланный с неделю назад!1 По его содержанью Вы догадаетесь, как склонен я сейчас к мрачнейшим предположеньям и каким подарком были вчерашние вести от Вас. Письмо Вы заканчиваете обещаньем написать в скором времени и мне2. Мне хочется уверить Вас, что Вы это уже сделали, потому что после пережитой тревоги радость, заключавшаяся в Вашем вчерашнем письме так велика и всестороння, что я не знаю, что Вы смогли бы еще сказать такого, что не покрыто ею. Это один из тех случаев, когда реальный факт жизни говорит за человека, и своим дарящим крас-норечьем далеко обгоняет его. Разумеется, я буду рад всякой Вашей строчке, но не мог умолчать и об этом ощущеньи. Во всяком случае не думайте об ответе мне и не спешите им, я все еще в том долгу перед Вами, о котором писал в последний раз3, и если бы Вы принялись разубеждать меня в этом сознании, то только бы огорчили.

Мне удастся отправить Женю на месяц в Крым. В конце недели она, вероятно, выедет в Гаспру4. Я думаю, она оттуда ответит Вам.

У меня работ по горло, год сложился не совсем так, как я предполагал, хотя и довольно удачно в матерьяльном отношеньи, — но чего это стоит! Впрочем эти все решительные пустяки, и если они могли вкрасться к концу письма, то только потому, что самое главное я уже сказал: что Ваше письмо ведет самостоятельное существованье и само пишет письма, потому что оно означает, что Вы живы и здоровы, а это все, и даже больше Вас и меня. Как только у меня несколько разрядится время, напишу Вам больше. Я пока спешу горячо поблагодарить Вас за известия. Неужели мы никогда не увидимся?

Ваш Б. П.

Привет от всего сердца Юрию Владимировичу.

Завидую Юрию Юриевичу. Как я любил в молодости эту регулярную «Экзальтацию недосуга», когда дело начинает забавлять и радовать, как спорт. Любил экзамены и пр.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Нью-Йорк и оттуда в Чикаго.

1 Имеется в виду письмо Ю. В. Ломоносову 20 апр. 1929: «Без меры буду Вам признателен или Вашему сыну, если Вы или он вкратце, в открытке известите нас о том, как здоровье Раисы Николаевны. В ее мол-чаньи в ответ на наше письмо нет ничего такого, что бы не оправдывалось еще более длительными случаями отмалчивания с нашей стороны, которых было немало. Но на этот раз ее безмолвие странно пугает и беспокоит меня. У ней бывали случаи невралгии, когда писанье сопряжено для нее с физической болью, и вот из опасенья, не так ли это и сейчас, я решаюсь обременить Вас или Юрия Юрьевича своим запросом» (там же. С. 152-153).

2 Письмо Ломоносовой было обращено к Е. В. Пастернак.

3 В письме 28 февр. 1929 Пастернак писал о намерении посвятить Ломоносовой стихотворение.

4 Е. В. Пастернак уехала в Крым 27 апр. 1929 г.

488. Е. В. ПАСТЕРНАК

30 апреля 1929, Москва

30. IV. 29

Дорогая Женюра! Уверен, что и у тебя все так же неожиданно хорошо и легко, как тут у нас. Прежде всего Женичка на редкость мил, спокоен, примерно себя ведет, и если бы я его видел только таким, каким он себя показывает в эти дни, то никогда не стал бы бояться излишка эгоизма в нем и просто даже о такой черте не подозревал.

На другой день после твоего отъезда тут наступила весна, и все время стоит теплая погода. Ты уехала в субботу, а в воскресенье утром неожиданно в мою комнату вошла Олюшка Фрейденберг. Сегодня (вторник) она уезжает назад. Ее вызвали в Ком. академию, где вчера она с большим успехом читала доклад о своей работе (я присутствовал)1. Ее любовь (и особенно тети Асина, о которой она рассказывает) к Женичке не ослабела, и он очень к ней льнет2.

Разумеется, я очень ей рад, но мне на эти два дня пришлось отказаться от работы и помимо сознанья, где-то внутренне (почти органически) это меня очень гложет. Пугает и то, что опять придется нагонять и наверстывать. Пользуясь ее присутствием (т. е. отказом от экономии времени), я уж и не отваживаю деловых посетителей и пр., и у меня два дня совершенная ходынка. Покамест из тех 400 руб., что я должен бы достать на этой неделе (Страстной), я раздобыл лишь 100. Мне верится, что и тебе хорошо в Гас-пре и что погода там хорошая. Оля, разумеется, хотела (и хочет) тебе отсюда написать, тебе и за границу нашим, и Женичка во всем этом хочет участвовать, но не

дожидаясь их и пользуясь тишиной, поскорее хочу тебя известить обо всех этих радостях. Пр<аско-вья> Петр<овна> Оле очень нравится и нравится то, как она Женичкой руководит и как он ей отвечает. Я пресерьезнейшим образом готов был согласиться и еще сейчас готов (а о Женичкином желаньи и говорить нечего) с таким планом, Оля (может быть, с Шурой даже) везут его сегодня к тете Асе, а из Ленинграда привозят Ирина с Ритой, которые вчера туда уехали. Но Пр. Петровна наотрез запретила об этом даже заговаривать. Она вчера принесла весы, свесила Женичку и собирается нагнать ему столько же, сколько обязана прибавить и ты. До свидания, целую тебя.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Приложено написанное Пастернаком под диктовку письмо сына.

1 «Я ни за что не хотела останавливаться у Бори, — записала О. Фрейденберг. — Мне нужно поселиться как можно ближе к Ком. академии. Тогда он подвел меня к окну, выходившему во двор, и засмеялся: — В таком случае тебе придется остановиться здесь! Предо мной, во дворе стояло здание Ком. академии. Вечером я читала доклад, и со мной пошел, вопреки моим просьбам, Боря, у которого болели зубы. — Только поскорей кончай! — говорил он мне, совершенно не считаясь с тем, какое значенье имел для меня этот доклад...» («Пожизненная привязанность». С. 162). Книга О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» была принята к печати.

2 О. М. Фрейденберг писала Е. В. Пастернак, что «совершенно очарована Дудлем и не представляла, что он таков, как есть» («Существованья ткань сквозная». С. 288).

489. В. С. ПОЗНЕРУ

1 мая 1929у Москва

1.V.29

К моему стыду и крайней досаде я забыл Ваше отчество1.

Сердечно благодарю Вас за подарок. Насколько могу судить, — переводы превосходные. Но еще и по другой причине я могу гордиться трудом, Вами на меня положенным, и тем, так сказать, что побывал в Ваших руках. Если отбросить Ваше лестное ко мне отношенье2 и обратиться к остальным характеристикам, надо сказать, что они мне до чрезвычайности близки своей широкой, благородной положительностью и тем неназванным прямо, общим мерилом, которое легло в их основанье. Тут Вы дали мне случай порадоваться тому, что мои оценки, вероятно, пристрастные (они внушены посторонними причинами, о которых дальше), почти целиком совпадают с Вашими, а Вы в этом отношении свободнее моего.

Я думаю, что огня и гения, так сказать, больше всего у Бабеля и Всеволода Иванова. И однако из крупных наших писателей мне всего ближе Пильняк и Федин. Я мог бы себя, например, заподозрить в лицеприятии в отношении Бабеля, т. е. в том, скажем, что, не состоя в списке людей, с которыми ему по пути, я ему плачу взаимностью и не включаю в свой собственный. Но с другой стороны, моя работа доступна Всеволоду Иванову, и он знает, к чему я в ней тяготею, не говоря уже о том, что мое преклоненье перед громадным даром их обоих ему известно. Так что не в этом дело. В наше время, которое начинает измеряться уже десятилетьями, мне ближе, роднее и понятнее то, что берут на себя, по-разному себя ограничивая и прибледняя, Пильняк и Федин. Тут и причина того, отчего я к Леонову отношусь холоднее, чем ко всем перечисленным того же полета. Пильняк и Федин ограничивают себе исторически, т. е. в согласии со всеми сторонами (теневыми и светлыми) эпохи, Леонов же идет путем стилистического самоограниченья. Может быть, я ошибаюсь, но дело мне представляется в таком что ли виде, что два первых приходят к академической крупноте и бесстрашию в отношении общего места скрепя сердце, ради действительности, которая того хочет, и которую как-то можно подправить и

облагородить такой уступкой; последний же и в любое время развивался бы так же, как сейчас, т. е. ему по душе капитальность места, к которому он пришел и так заслуженно занял. Я знаю, что все это рассужденья внехудожественные. Оттого я и назвал причины, слагающие мое отношенье к товарищам, посторонними. — Я мечтал Вас тотчас же отдарить посылкой книжки «Поверх Барьеров», которую обещали выпустить к концу апреля. По-видимому, это желанье придется отложить недели на две. Но Вы доставили бы мне большую радость, если бы тем временем у Вас нашелся бы свободный экземпляр книги «Litterature russe»3. Верьте мне, что интерес у меня к ней не только лично-корыстный (да ведь я и не знаю, что меня в этом смысле в ней ожидает). Не на всякое свидетельство симпатии и признанья я отзываюсь так живо, как на Вашу посылку. Но зато и ни одно доказательство широты, спокойно верящей в будущее и не цепляющееся за частности, не оставляет меня безответным, как в Вашем, например, случае. А вложенное в «Prose russe» ог-лавленье (я говорю о перечне глав, а не об аннотации) обещает книгу захватывающей широты и существенности. И в перечне особняком поставлен Федин, и этот намек, как и несколько других, до крайности напрягают мое любопытство. Простите, если это чувство предосудительно. —

Пишу Вам утром 1-го мая. По Волхонке мимо окон третий уже час идут на парад войска, отряды рабочих, дети. Надо быть совершенным ничтожеством, чтобы догадаться назвать это все помехой, но все же письмо под беспрерывное следованье оркестров было писать трудно, и если Вы уловите что-нибудь такое, что Вам покажется неясным или досадным, то знайте, чтб именно меня отвлекало, рассеивало и волновало. Всего лучшего.

Глубоко Вам признательный Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. В. Познера, Париж).

1 Пастернак познакомился с писателем и литературным критиком В. С. Познером в Берлине весной 1923 г. В 1929 г. Познер прислал Пастернаку составленную им «Anthologie de la prose Russe contemporaine» («Антологию современной русской прозы»), Paris, 1929, включавшую его переводы и краткие заметки об авторах. В «Антологии» дан отрывок из «Детства Люверс» в переводе Познера.

2 В заметке о Пастернаке в «Антологии» Познер писал: «Пастернак-поэт знаменит, Пастернак-прозаик еще не известен публике. Мы завидуем тем, кто получит счастье через несколько лет открыть его для себя» (перевод с фр.).

3 Книга В. С. Познера «Русская литература» в серии «Панорама современной литературы («Panorama des litteratures contemporaines. Utterature Russe, par Vladimir Pozner». Paris, 1929).

490. РОДИТЕЛЯМ

3 мая 1929, Москва

3. V. 29. Дорогие мои! У нас сейчас по всем комнатам уборка, и я сижу у Женёнка в комнате да и пишу не на своей бумаге. Тут же и Шура с Федичкой. Прасковья Петровна хлопочет на кухне по хозяйству, прислуга пылит в соседней комнате, Ирина в Ленинграде, Женя в Крыму — и все это я говорю никак не в выраженье трогательности, а чтобы объяснить свою словоохотливость: вызвана она беспорядком. Сейчас выслал бабушке обычные деньги, квитанцию прилагаю. Месяца полтора тому назад писал дяде Осипу, ответа не имею. Я обращался в письме и к тете Варе1 и вот теперь боюсь, не дал ли маху, в живых ли она? Обычные сомненья, естественные в тех случаях, когда годами ничего друг о друге не знаешь. Но где бы и добыл я время, чтобы писать всем, кому надо и хочется, когда и с собственной семьей я не живу, а только квартирую в совместности. Оля здесь была, как вы уже знаете2. Страшно ей обрадовался. Умный, глубокий, хороший человек, несомненно талантливый, и —

однако с недостатком, который я давно уже перестал понимать. И так как я не моралист, то меня эта удивленность своею ролью смущает не со стороны житейски душевной, а тем, что она вредно отражается на ее трудах, т. е. на том, ради чего она отказалась от жизни, не отказавшись от самого пустого и малоценного в ней. Я заметил, что самого существенного в своих исследованиях, т. е. того, что могло бы составить ее собственную мысль, она до конца не додумала, потому что всякий раз это становилось гордостью близких в тот момент, когда, по Евангелию, близкие перестают и должны перестать существовать. Я был на ее докладе и со всей простотой, которую мне внушает чувство к ней и которую она заслужила несколькими, мной уловленными достоинствами читанного, высказал ей приблизительно то же, о чем пишу и вам3. И все же, мои слова должны остаться между нами, потому что заочное дво-енье и троенье тем всегда ведет к обидам и недоразуменьям. — За границу (в Париж, проездом через Берлин) едет Ник<олай> Влад<имирович> Синезубов. Если успею и удастся, пошлю с ним Манфреда4.

Крепко вас целую. Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Жена И. И. Кауфмана Варвара Григорьевна, скончалась в 1940-х гг.

2 О. М. Фрейденберг пробыла в Москве с 28 по 30 апр. 1929 г.

3 Об этом разговоре О. Фрейденберг записала: «Боря, держась за щеку, мрачный, торопил меня. По дороге он сказал мне, что я не признаю в своей работе категории времени, и я удивилась его тонкости. Он еще что-то говорил мне верное, но не профессиональное, и я видела, что он прав, но слишком абсолютен, как человек, не знающий истории науки» («Пожизненная привязанность». С. 162).

4 Большой парадный портрет Манфреда Кана — работа Л. О. Пастернака, заказанная и оплаченная его родителями, уехавшими во время Первой мировой войны в Германию и теперь требующими ее присылки. Художнику Н. В. Синезубову не удалось отвезти портрет из-за неоформленного своевременно разрешения на вывоз.

5—6 мая 1929, Москва

5.V.29

Дорогая Женичка!

С большим чувством прочел сегодня твое прекрасное описанье крымской весны. По-видимому это еще более походит на Италию, чем Кавказ, и воображаю, как это должно быть удивительно в своей тонкости и чистоте тона1.

Поздравляю тебя с праздником2. У нас окна настежь, перед окнами толпы гуляющих, Москва очень нарядна. Шура на два дня (чтобы освободить няню) перевез Федюка в Машков3, и Ирина тоже из Ленинграда прямо туда поедет. Так что у нас редкая и необычайно наполняющая все кругом большим значеньем тишина. Это преображает и Женичку, который очень мил, сердечен и не по возрасту разумен. Конечно у него не хватило терпенья прочесть самому твои печатные (т. е. по-печатному написанные) строки, и он уже был готов раскапризничаться в требованьи, чтобы это ему прочли вслух. Разумеется, я уступил ему, чтобы его не расстраивать. Растительная посылка привела его в шумный восторг, и он собирается выгнать целый тропический лес из присланного4. Вчера встретил Ольгу Александровну5, она расспрашивала о Женичке и, между прочим, узнав, что я собираюсь сводить его на Синюю Птицу, нашла, что этого не следует делать, и напомнила мне, что там представлена «Тьма» (кот туда водит, — предатель, — детей — помнишь?) и там души неродившиеся и пр.6 И действительно, вспомнив все это и сопоставив с Женичкиной склонностью к страхам (дурных снов боится) — я порадовался тому, что до сих пор так и не открыл ему, куда его собираемся повести. Возможно, что я это отменю, завтра

видно будет, — без тебя оно даже еще как-то деликатнее, и я не хотел бы рисковать его детским душевным покоем.

6. V. 29. Вчера я прервал это письмо, потому что пришел прощаться Борис Ильич. Он едет один, Евг<ения> Бор<исовна> и Элик тут остаются7. Он похудел против того, каким мы его видели зимой, и намекнув об этом, я узнал от него, что у него были неприятности с Алексей Николаевичем, и они даже в ссоре8, что для него, разумеется, событье не малое и очень гнетущее. Эти огорче-нья и являются причиной его отъезда на полугодовой срок, причем поездка не деловая, а частная и со значеньем долговременного отпуска для успокоенья и поправки. Между прочим и он, когда я ему напомнил содержанье Метерлинковой сказки, поддержал меня в нежеланьи пробовать ее эффекты (Ночь, Страхи, — ведь это все — действующие лица или олицетворенья там!) на Женич-ке. Теперь я пишу в самый момент, когда мы должны были бы быть в театре, а Женичка, ничего об этом не ведая, гуляет с Прасковьей Петровной. Она замечательный все-таки человек большой душевной тонкости и доброты. Их с Женичкой теперь водой не разольешь. И Оле она очень понравилась.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Е. В. Пастернак писала 2 мая 1929: «Боже! Как тут хорошо. Такое благородство и ясность, такая тонкость. Весна очень запоздала, мы ходим еще в пальто или теплых платьях, цветет миндаль и начинают цвести черешни. <...> Когда я вчера в 7 часов утра вышла на шоссе, то увидала, Боря, как ты бы разревелся. Это пейзаж до того неотделимый, до того глубокий, сросшийся с землей, морем, небом и людьми, в нем живущими <...> Горы покрыты круглыми большими камнями, которые как бы ползут и катятся все время сверху вниз, и из этих камней складываются стены домов, улицы, заборы, крохотные игрушечные дворики...» (там же. С. 292).

2 Праздник Пасхи.

3 В Машковом пер. жили Вильямы.

4 Е. В. Пастернак включила в свое письмо слова к сыну, написанные печатными буквами; в конверт были вложены засушенная лаванда, цветок миндаля, семена туи и кипариса.

5 О. А. Айзенман.

6 Сказка М. Метерлинка «Синяя птица» шла во МХАТе.

7 Збарские.

8 Учитель Б. И. Збарского и директор Биохимического института им. Л. Я. Карпова академик А. Н. Бах.

492. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12 мая 1929, Москва

12.V.29

Дорогая, это третий по счету ответ на твое письмо. В тех были другие обращенья. Но что я люблю тебя, ты знаешь, а также и то, ктб ты. А волнующая чернильная чепуха, которой поддаешься, немыслимо-нестерпима уже через мгновенье по написаньи, и как раз она осуждает письма на неотсылку. На этот раз она была еще вызвана и характером твоего письма. Это качество ты получила при рожденьи, и оно сказывалось всегда в твоих письмах, но всего больше его — в последних. Никогда еще твои слова не действовали на меня так, как в этом году. Может быть ты и сама не знаешь о переменах, происшедших в тебе, но так именно я читаю твои строки за несколько тысяч верст от тебя, так сужу, так вынужден

судить, и не смейся надо мной, если я ошибаюсь. В прошлом году ты писала о secheresse morale*. И это тебя огорчало. Я тогда бы не сумел тебе сказать, что суха только новизна этого открытья, а не его предмет, что горька неожиданность, неподготовленность на-блюденья, а не наблюденное1. Но теперь по-видимому это уже

позади, и озадаченность не застилает озадачившего, а последнее, предоставленное себе самому, оказалось влажнее влажного, и ты убедилась, что мысль не только не разлучит тебя с живым миром, а напротив того, это опять новое какое-то в жизни новоселье, на которое он пойдет вновь ломиться всей своей свежей целостностью, как во все наши переломные сроки. Итак, тебе уже больше не больно, мой друг, и ты не обижаешься на свою новую зрелость? Ты мне ничего об этом не пишешь. Я это вычитываю из волнующего спокойствия твоих строк. Чтобы их прочесть, на них надо глядеть глазами. А прочитав их, испытываешь чувство, точно сопровождал их ход, закрыв глаза. Это действие крупнейших на свете вещей, так действует на нас обреченное достоинство природы. Таковы же люди складки Goethe-Rilke, и так как твоя порода мне давно ясна, то я знал, что на горечи прошлогоднего признанья ты не остановишься, что тебе сужден шум нового прилива, новой реальности, по-новому молодой, т. е. не ограниченной одним только сердцем. — Я думаю, если бы ты была здесь, это развитье у тебя и у меня шло бы скорее. Мы облегчали бы работу тому, что в нас с тобой сидит, и вероятно это протекало бы так. Мы бы расходились и ссорились друг с другом и потом друг к другу возвращались. В эти промежутки ты ненавидела бы меня больше, чем я тебя, и мы причиняли бы друг другу больше боли, чем ее заключено в нашей разлуке. Но наше созреванье (которому ведь нет конца) шло бы скорее и мы бы только оттого и терзали друг друга, что разом бы терзались тем одним, чему сейчас подчинены порознь.

Ты догадываешься, что частью сказанного о тебе, я попутно рассказал и о себе. Но в отличье от тебя, я еще и просто постарел, и может быть даже и болен. Но еще более, чем стар и болен, я счастлив. Никогда я еще не радовался тому, что свет устроен, как он устроен, как в последний год. И не последней радостью для меня было то, о чем я упомянул вскользь выше. Этого нельзя назвать открытьем, потому что трижды или четырежды в жизни это было уже видано. Но эти состоянья просветленья, видно, нуждаются в напоминаньи. И вот теперь, когда я увидал, что болезненная тя-

* душевном оскудении (фр.). 316

гостность зрелости вновь поворачивает весь мир на оси и совершенно так же, как в какие-то мгновенья детства, первой любви и первой поэтической объективности, я понял, как падка жизнь до наших краеугольных переломов, и что ко всем нашим переменам она относится, как к праздникам, хотя бы сами-то мы иные из этих превращений и оплакивали.

И если я теперь тебе скажу, что давно перестал читать ту ерунду, которую пишут о тебе и обо мне люди, этого не переживавшие, но только и живу твоим и моим будущим, то есть надеждой на нашу общую работу, в сотрудничестве с людьми, наиболее близкими, то я назову тебе ту же радость, о которой выше, и лишь в несколько иных выраженьях.

В теченье мая я вышлю тебе несколько вещей, которыми был занят весь истекший год. Я с разных сторон захожу к той большой обыкновенности, которую спешу противопоставить всему необыкновенному, что о нас двоих слышу. Я одновременно начал две прозаических вещи и пока не кончу их, не вправе взглянуть на тебя, потому что это мой долг перед Rilke, тобой и собою2. Кроме того, как выйдет, пошлю тебе «Поверх Барьеров», которых ты не узнаешь. У меня чувство их полной тождественности с тем, что я хотел сказать уже во времена футуристического разврата, как-то уживается с чувством того, что в них ничего старого, кроме названья книги, не осталось. Даже в том случае, если это полный самообман, и никто в книге не найдет поэзии, все равно остается непо-колебленным тот факт, что прошлое лето я видел, слышал и чувствовал так, как в наиважнейшие годы моей жизни. И у меня просьба к тебе, чтобы ты мне ни о чем не писала в отдельности, пока посылки не улягутся во

всей совокупности. И еще другое. Ты живешь не здесь и не знаешь того, что когда при встрече с кем нибудь на людях, в издательстве я начинаю, мямля: «А, NN — здравствуйте! Знаете — мм — » то рядом стоящие подсказывают, шутливо как бы предупреждая попугая, фраза которого всем известна: — Марина Цветаева... Так, и довольно пикантно, получилось с Лилей Брик, это мне подсказавшей в тот миг, когда увидав ее с возвратившимся Маяковским, я собрался рассказать им, как у меня в «Кр<асной> Нови» не приняли посвященья тебе (устранили твое имя, но стихотворенье взяли) и отказались печатать эпиграмму на Маяковского, как ни настаивал на ее напечатаньи Всеволод Иванов, один из соредакторов3. Ну так вот. Дело не в том, что попугайской моей фразы ты не найдешь ни в чем из присланного, ни также среди посвящений в «Барьерах» — потому что вряд ли это попугайство может тебя радовать, да и никакого попугайства нет, или попугаев тысячи, о чем ниже. Но по тем частям задуманного, которые пока готовы, ты не сможешь догадаться о месте, которое займешь и должна будешь занять в дальнейшем продолженьи обеих работ и во всяком случае, в развитии Охранной грамоты, за окончанье которой я возьмусь по исполненьи другой прозы, начисто повествовательной и не философской4.

За переделкой «Барьеров» я еще больше, если это возможно, полюбил Святополка, Ломоносову, С<ергея> Жковлевича> и остальных друзей, части которых ты не знаешь, потому что им тут не дают ходу. — И так как я этого не успел сделать за «Сестрой», когда чувство было еще очищенней, то пришлось наверстывать упущенное и похоже, в состояньи налета на целую книгу, я уяснил себе существо всего нелюбимого и побежденного — будь то чиновник от культуры, как Ходасевич, или талант, у своего таланта ничему не научившийся, как Маяковский. Для меня они совершенно безразличны. И вот (ты сейчас оскорбишься) всю дугу, от бездарности через пустоцвет (момент высшего подъема) ведущую к бесплодию я называю для простоты романтизмом — и меня не пугает, что мы разойдемся с тобой в терминологии5. Но я опять вдруг (попутно) увидал границу, у которой одинаково кончаются и дурак и «интересный человек», и с которой начинается тот голый, громадный поэт, который явлен на свете только под двумя мне известными видами: в гении и в обыкновенном человеке. Не смейся, это — одна порода, посредственность же гораздо ярче и ядовитее, чем ее принято изображать6.

А твой случай с Маяковским только частность. Я был готов заняться вашими зимними восторгами, потому что любить Маяковского мне легче, чем презирать7, а до твоего отзыва о «Хорошо» я уже было примирился с тем что стать советским Бальмонтом, по странности, выпало на долю именно ему. Правда, в «Хорошо» есть места, возвышающиеся над этой пустой инструментально стью, но я их насчитал немного. Кроме того, если вспомнить, что музыка есть совесть слова, то я бы даже эту бессовестную словесность не назвал и музыкальной, хотя по-Северя-нински. Но тут, знаю я, мы разойдемся. Однако я заговорил о нем по другому поводу. Прости, он мог бы тебя ударить, и все же это было бы не так низко, как случай его странной забывчивости. Нет, уверь меня, еще раз. Он не сказал, он правда не сказал тебе: «не анекдот ли, Марина, — всес<оюзная> асс<оциация> пролет<ар-ских> пис<ателей> (ВАПП) ценит Вас, как поэта, больше чем меня»? У него этого не вырвалось при виде тебя, как вырвалось бы у всякого попугая? — Когда-то Брюсов писал о хожденьи ручных списков с «Сестры» (ее не издавали8). Но что сказать о Крысолове? Как измерить тираж этого рукописного изданья? Он исчисляется, вероятно, тысячами, и только вопрос, — сколько их.

Теперь секрет, о котором никому, даже С. Я., ни слова, а то все погубишь. Уже и сейчас ясны формы моего появленья у тебя. Беспощадно-конфузную, почти порочаще ответственную наглость одного предложенья я приму только затем, чтобы сдать тебе

на руки или может быть, с тобой разделить. При твоей нелегальности это временно останется нашей тайной и у меня найдется нескромности (напускной) покрыть ее своим именем. Предстоит обработать существующие переводы Фауста (по невежеству я знаю только два: Фетов и Брюсовский); думаю половину придется переводить наново. Я об этом еще не говорил, но меня называли.

Если бы не это проклятье с прозами и недоконченными вещами, я бы мог сняться на эту работу (я приму ее только при условии долговременной командировки в Веймар) хоть сейчас. — Пока ничего об этом не знаю, потому что по горло занят другими работами, и лето наступает, т. е. дает чувствовать себя и денежно. — Может случиться и так, что я до дачи все это оформлю, и тогда, если ты согласна и у тебя будет досуг, может быть, сейчас же к этому и приступишь, и напишешь мне, какие партии себе облюбовала. И мы будем друг друга править, не правда ли, мой друг? Ты рада? Но, как сказано, молчок, — и при ответных поминаньях называй это работой и не более того. Думаю, я найду способ периодически переводить тебе деньги9. Но только не торопи меня. В той счастливости, о которой я писал на начальных страницах, единственный несчастный изъян это моя мешкотность и все усиливающееся расхожденье со сроками. — А теперь, если можно, расцелуй, пожалуйста, С<ережу>, Св.-М<ирского>, и всех тех, которых я полюбил еще больше, но не переписываюсь по обилию допущенных в прошлые годы пробелов и по необходимости спешно восполнить их. Обнимаю тебя.

Весь твой Б.

P. S. Книжку В. Познера вчера получил. Еще ранее он прислал мне свою антологию10. Судя по нескольким вводным замечаньям в антологии, частью совпавшим с моими собственными симпатиями, я ждал настоящей широты, объективности и благородства и от его истории литературы. В таком духе ему и написал, с просьбой о присылке книги. Я ее только пробежал пока, и чем милее мне иные страницы (об Анненском, об Ахматовой и др.), оправдывающие мои надежды, тем досаднее его промахи, непонятные и непозволительные, нет, — просто говоря обесценивающие, дискредитирующие всю книгу целиком и все содержащиеся в ней утвержденья. Нельзя, находя место для упоминанья Бобровых, Лунцев, Родовых, Эльз Триоле, Кирсановых, Кусиковых, Крученых и т. д. и т. д. — обходить полным молчаньем Асеева. Он не упомянут ни разу хотя бы в перечисленьях имен собственных, и это такое упущенье, что сразу бросается в глаза. Удивляюсь, как это могло с ним случиться. А что сказать о такой неполноте мне, ежели и забвенье Демьяна Бедного показалось мне смешным с его стороны капризом, а как нужен мне этот самый Демьян, ты легко себе представишь. Асеев же настоящий, хотя и несчастный по своей судьбе — поэт. Это человек, легкомысленный и от природы, да еще вдобавок и слишком предавшийся Лефовскому влиянью. Вообще осведомленность Познера кончается по-видимому на 22 годе, и он лучше бы сделал, если бы честно ограничил свою задачу, и неосведомленность свою либо оговорил либо же восполнял. А оплошность с Асеевым так меня удручает, что затрудняюсь и отвечать В. П<ознеру>, а то придется ругаться.

Ужасная безвкусица этот перечень двадцатостепенных фигур при очень хорошем взгляде на крупные вещи, на ход десятилетий и пр.

«Охр<анную> Гр<амоту>» посылаю на имя С. Я.11, это вместе и привет ему.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 168).

1 Пастернак отзывался на эти жалобы в письме Цветаевой № 421.

2 Имеются в виду «Повесть» и «Охранная грамота».

3 Цикл стихотворных посланий был отдан в «Красную новь», но назв. «Марине Цветаевой» потребовали снять, а надпись на «Сестре моей жизни» «Маяковскому» («Вы заняты нашим балансом...») исключили из публикации. В подборке под назв. «Четыре стихотворения» остались: «Анне Ахматовой», «Мейерхольдам» и два стих, без назв., обращенные к Цветаевой, «Ты вправе, вывернув карман...» и не опознанный в редакции акростих «Мгновенный снег, когда булыжник #зрен...» («Красная новь», 1929, JSfe 5). Акростих был также записан на шмуцтитуле подаренного Цветаевой сб. «Избранные стихи» (М., «Огонек», 1929) с назв. «Вместо стихотворения. Акростих» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 170).

4 «Повесть» (1929), по мысли Пастернака, была частью прозаического романа, над которым он продолжал работу. Сюжетная связь повести со «Спекторским» позволяет считать, что Мария Ильина, чьим прообразом была Цветаева, должна была появиться в продолжении романа. Цветаева также занимала значительное место в замыслах «Охранной грамоты», о чем Пастернак писал ей (письмо № 392). Весной 1926 г., получив «Поэму Конца», Пастернак четко осознал не только свою деятельность, но и поэзию Цветаевой как развитие того, что сделал Рильке. Он понял, что «истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его пережившими и на нем сложившимися» (письмо № 513). См. в «Охранной грамоте»: «Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями, и чего он не знает».

5 О романтизме как мировосприятии, свойственном времени и идущем от немецких романтиков, Пастернак писал в «Охранной грамоте»: «В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнеописание покоряюще ярко и неоспоримо <...> Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла».

6 О гении и обыкновенном человеке Пастернак говорил в «Выступлении на III пленуме правления Союза писателей СССР»: «На мой взгляд, гений сродни обыкновенному человеку <...> Это — количественные полюсы качественно однородного, образцового человечества, дистанция же между ними не пустует. Промежуток этот заполнен теми "интересными людьми", <...> которые-то, на мой взгляд, и составляют толщу так называемой посредственности» (см. т. V наст. собр.).

7 По просьбе А. Крученых Пастернак записал на групповой фотографии с Маяковским дошедшие до него известия о зимних восторгах евразийцев: «Когда Маяковского в Париже спросили: "Ну, а как Пастернак...?" — он ответил: " — Провожал меня. —". Попутно свидетельствую (из того же источника), что поэма "Хорошо" произвела там на слушателей потрясающее и неизгладимое впечатленье, как это бывало с первоначальными вещами М<аяковского>, и представители левейшего крыла эмиграции (евразийцы) были счастливы пожать руку этому первому мировому пролетарскому гению (собственные слова одного из них, до меня дошедшие). Чувства последнего разделяю, — с вечною растравой для чувств к Маяковскому неизбежной. Б. П.» (РГАЛИ, ф. 1334. См. т. V наст. собр. — Из альбомов А Крученых).

8 См. статью В. Брюсова «Вчера, сегодня, завтра русской поэзии» («Печать и революция», 1922, № 7): «Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям <...> приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках».

9 Пастернак намекал Цветаевой об этом предложении, по-видимому, исходившем от М. Н. Розанова, который вместе с А. В. Луначарским осуществлял общую редакцию Юбилейного собрания Гете. Но этот план вскоре отпал (см. письмо № 516).

10«Panorama des litteratures contemporaines. Litterature Russe, par Vladimir Pozner». Paris, 1929 («Панорама современной литературы. Русская

литература»); «Anthologie de la prose Russe contemporaine», Paris, 1929. См. письмо № 494 с разбором книги.

11 Рукопись первой части «Охранной грамоты» послать не удалось. См. письмо № 497.

493. Е. В. ПАСТЕРНАК

12 мая 1929, Москва

12.V.29

Дорогая Женичка! Женёночек так свыкся с твоим отсутствием, что утерял опять достоинства, временно в нем вызванные к существованью новизной разлуки. И этого лентяя не легче заставить писать письмо тебе1, чем бабушке. Он страшно был рад пр<офессору> Зеленке с подношеньями от тебя, и действительно, цветы пришли в прекрасном виде и р<ахат>-локум превосходен. Никаких фотографий пока нет, и никуда я их без тебя посылать не буду2. Как, кстати, имя и отчество Аристовой?3 Я ей поклонился в одной открытке к тебе, и неудобно было, что без отчества. Может быть, Вячеслав Павлович и не поедет в Гаспру, потому что для Киры Ал<ександров>ны не оказалось места. — Сегодня у меня сняли и выколотили ковры, может быть сегодня же и уложу их, — воскресенье, и у меня нет нафталина, но думаю, в аптеке найду. Я был еще раз у американцев и кажется тебе об этом писал. Их несколько человек, 3 или 4 четы, все очень милые, все путешествуют без деловой цели, для собственного удовольствия, провел у них час за чаем. Р<аисе> Н<иколаевне> еще не писал4. Получил из-за границы Антологию русской прозы, с 10-ю страничками из Enfance de Luvers*, а совсем недавно и книжку о русской литературе, начиная с первых символистов до наших дней5, книжку, местами очень неплохую, но в то же время в целом и очень спорную и с недопустимыми пробелами. Так, там даже однажды вскользь, при перечисленьи нескольких имен, упомянут Бобров — и совершенно обойден молчаньем Ник. Асеев, точно его и не бывало. Переводы же в прозаической антологии — превосходные. Автор той и другой книги — Вл. Познер — помнишь тот, что балладу читал, где «идут и идут, и идут»6. Но как это его с Асеевым угораздило — не понимаю. И (говорю, разумеется, с совершенно другими чувствами) — не назван также Демьян Бедный, что тоже странно. Слабее всех последняя часть

* Детства Люверс (фр.). 322

«Aujourd'hui»* — тут его осведомленность кончается 22-м годом и дальше пополнялась, вероятно, слабо и случайно.

Если В. П<олонский> не поедет, то деньги вышлю по почте.

Здесь была твоя кузина Фирочка7, и я как раз в это время мылся в ванне и не мог ее принять, т. е. пришлось ее промаять минут 15—20. Она очень тебе кланяется. Здесь уже с неделю совершенное лето, и сегодня была первая гроза. Я регулярно по-прежнему недосыпаю и с такой же правильностью вывихиваю себе чуть ли не ежедневно большой палец левой руки. Все еще не могу оставить работы8, хотя занят ею уже не с той тревогой, как раньше, т. е. думаю, ближайший месяц денежно будет обеспечен. На наши облигации никакого выигрыша не пало.

Крепко обнимаю тебя. Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 К письму приложена написанная под диктовку маленького Жени записка.

2 Перед отъездом Е. В. Пастернак повела сына в фотоателье и просила послать карточки в Берлин.

3 Художница Анна Ивановна Аристова была соседкой Е. В. Пастернак по комнате в санатории.

4 О приезде группы американских специалистов по педагогике и проблемам детской преступности, в которую вошли друзья и знакомые Ломоносовых по совместной работе, Пастернак писал жене 2 мая и Р. Н. Ломоносовой 16 мая 1929: «Это очень, очень милые люди. <...> Мне они все очень понравились, и Вы наверное не ошиблись в них, доверив им ломоносовскую волну: они ее хорошо приняли и полностью докатили, мне за суд волны болеть душой не пришлось. Иное дело — я. Я наверняка (через их преломленье) обманул Ваше доверье. Во-первых, Жени уже не было в Москве ко времени их приезда. Было 1-е мая и дни Страстной. Учрежденья, музеи и пр. были закрыты по майским основаньям, дома у нас на два, на три дня разбежалась по другим, бытовым причинам генеральная предпраздничная уборка. Все стояло кучею и вверх ногами: мне некуда их было пригласить. Далее, хотя я предлагал им свои услуги, но так и остался совершенно бесполезным для них — у них были другие пути и связи» («Минувшее», № 16. С. 155).

5 Книги Познера. См. письмо JSfe 489. В письме JSfe 494дан разбор книги «Панорама...».

6 Воспоминания о знакомстве с В. Познером в литературном кафе Prager Diele в Берлине весной 1923 г.

7 Эсфирь Беркович.

8 Работы над «Повестью».

* «Наши дни» (фр.). 323

494. В. С. ПОЗНЕРУ

13 мая 1929, Москва

13.V.29

Вы мне опять не сообщили Вашего отчества. Благодарю Вас за книгу. Позвольте сказать Вам искренно, что я о ней думаю, Вас не щадя, потому что если Вы со мной согласитесь, то недостаток, который, на мой взгляд, роняет ценность Вашего труда и может дурно повлиять на судьбу книги, — легко поправить, да и случая внести эти исправленья недолго придется ждать, благо это 4-е уже изданье и, следовательно, книга будет переиздаваться. Я Вам укажу на две, на три частности, но суть не в них, они будут пояснительного характера, а потому и назову я их не сразу, а вперед скажу о том общем изъяне, который и мог только их вызвать.

Предупреждаю Вас, что книгу я получил лишь третьего дня, и все время был очень занят. Я прочел ее не всю и читал не по порядку. Однако, пусть и без последовательности и вперемежку, две трети ее я все же прочел и не думаю, чтобы в недостающей трети находились те оговорки, которые служили бы автору изви-неньем, либо же, заключая теоретические обоснованья шероховатости, возводили недочеты книги в намеренно осознанную систему.

Книгу Вы выслали мне по моей просьбе, просьба была внушена ожиданьями, ожиданья были вызваны Вашими вводными замечаньями в Антологии1. Тремя первыми частями книга эти ожиданья оправдала. Объективными эти 277 страниц можно назвать лишь с тем ограниченьем, которое привлекает к Вам и делает Вам честь. Это — историческая широта человека живого, с при-страстьями, но такого, который этими пристрастьями не тешится, а сквозь них и при их помощи растет, переходя к широте еще большей и предрешенно живой. Откуда я это заключаю, или, другими словами, чтб подтвердило мне, что я в своих надеждах на Ваше лицо не обманулся? Вы нигде не даете своей поэтики, которая бы являлась мерилом Ваших суждений и оценок, и хорошо очень сделали, что не пустились на такую подделку. Потому что глубже и богаче всяких эстетических схем встает Ваша эстетика из сотни разбросанных по всем главам незначительностей, говорящих о Вашем незаурядном, — творческой складки пониманьи. Таковы замечанья о переводах в главе об Анненском2;

таковы соображенья о Бальмонтовой музыкальности первых книг, когда эта музыка умела звучать, потому что представляла новизну для автора, такова трактовка Брюсовской судьбы (непоэтическая недооценка жизни и действительности, ее, так сказать, порядкового места в последовательности творческого дела) и пр. и пр., — называю лишь затем, чтобы Вам было ясно, о чем говорю. Тут много прекрасных глав (об Анненском, о Блоке, об Ахматовой) — но я не занимаюсь разбором достоинств книги, побужденья у меня совсем обратные, я просто хочу, перед тем как перейти к четвертой части, ставящей Вас и книгу в ложное положенье, указать, как сильно и с какой выгодной стороны показывает себя автор, как много, другими словами, мы вправе от него требовать.

Почему Вы не пополнили своей осведомленности, с 22-го года становящейся очень недостаточной?3 Отчего, если это было невозможно, не предпочли ограничить книгу тремя первыми, прекрасными частями. Наконец, если Вы не могли отказаться от характеристики этого периода, естественно близкого Вам и дорогого, то надо было из матерьяла, Вам доступного, выделить одно только несомненное и проверенное. Эту часть, шаткость подступа к которой Вы не могли не сознавать сами, следовало писать совершенно по-иному, нежели первые три. Тут сухая осторожность должна была заступить место личного лиризма, который в предыдущих частях дает историческую действительность, преломленную одаренным автором, а в этой преломляет ее через ряд житейских случайностей, т. е. через превратную среду, представляющую Вас в еще более ложном и незаслуженном свете, нежели Ваши утвержденья. Здесь надо было позабыть кучу имен, Вами удержанных в памяти, и во всяком случае, посвятив две страницы Лунцу, назвав Боброва, Эльзу Трио-ле и пр. и пр., немыслимо было обходить совершенным молчаньем Ник. Асеева, равно как и странно было при Родовых, Машировых и пр. забыть о существованьи Демьяна Бедного4.

Надо ли говорить, что для личной неудовлетворенности Вы мне прямого повода не подали, кроме того косвенного (с Асеевым), который, может быть, стоит прямого. Потому что как бы ни различествовали наши устремленья, как чужд не был бы мне былой Леф, как мимоходом не содействовал бы я всем смыслом моих работ постепенному оттесненью их на задний план, Асеев есть Асеев, и он поэт мировой и бессмертный в том случае, если Кирсановы и Вагановы и т. д. и т. д. остаются у Вас на страницах и с них не скатываются. Вы должны понять меня: я не отказываю названным в поэтической жилке, я не перевожу их в самозванцы, я просто призываю Вас к масштабам и пропорциям. Ведь вот сумели же Вы представить участь Брюсова как трагедию и горькой серьезности ее не понизили. Нашлось же у Вас достойной человечности написать, не роняя предмета о Бальмонте, Вяч. Иванове, Ходасевиче (Вам этот такт изменил лишь в главе о Северянине, тут Вы тему обидно упростили, тем ее исказив). А трагедия Асеева есть трагедия природного поэта, перелегкомысленничавшего несколько по-иному, нежели Бальмонт и Северянин, потому что тут не искусство, но время выкатило ту же, собственно говоря, дилемму: страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других. — К сожалению, я очень занят и вряд ли скоро опять смогу Вам написать. На Вашем месте я бы обязательно запросил Ленинградских друзей о книге и выбрал бы судьями наименее пристрастных, и кто постарше. Вас просто засыплют указаньями, и то, что я привел, я сказал Вам только в поясненье общего впечатленья от последней части.

Вы же не сердитесь на меня. А за всем сказанным горячо благодарю Вас за подарок. Ваш Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. В. Познера, Париж).

1 «Anthologie de la litterature Russe contemporaine» («Антология современной русской прозы»), Paris, 1929.

2 Глава об Ин. Анненском начинается с рассуждения о том, что поэт не может быть понят и оценен в переводе на другой язык, а признание Петрарки, Шелли и Гейне во Франции основано на «культурном ханжестве» и подчинении авторитету школьных учителей (там же. С. 40).

3 Владимир Познер учился в Петербурге, в Тенишевском училище, в литературной жизни которого принимал активное участие, входил в группу «Серапионовы братья». В 1922 г. уехал в Париж.

4 В письме 23 мая 1929 Пастернак извинялся за скороспелое суждение: «Я был несправедлив к Вам в отношении IV-ой части. Урывками успел в этом убедиться, как и в том, что книгу надо читать в ее естественной последовательности. Многое из того, чего ждал и не нашел в IV-й, рассыпано в предшествующих главах, там, где досказываются отдельные истории старших, концом приходящиеся на революционное время. Отказываюсь ото всех моих замечаний, кроме одного, об Асееве. Впрочем, напрасно я их беру назад: от проверки и переработки последней главы в новом издании, и такой проверки, которую произвели бы Вы, книга бы только выиграла. Но и тон у меня сегодня совершенно другой. А главное, не то совсем надо было Вам написать. Не о книге, а о том, что удивительна в 24 года такая зрелость, и благородство, и — глубина. Что написать книгу по истории литературы, которая бы читалась как серьезнейшие произведенья живейшего творчества и за которой постоянно бы веяло завидно-пластическое, достойное разделенья и по-должному не высказанное, не отделанное под теорию пониманье мира, да еще на чужом языке при всех этих качествах, в этом языке свободно проявленных, да еще в таком возрасте, — это чудо, с которым надо поздравить и перед которым можно преклониться. Вот что я упустил Вам сказать* (ЛН. Т. 93. С. 725—726).

495. А. Е. КРУЧЕНЫХ

14 мая 1929, Москва

Милый Алеша!

Заходил к тебе вчера (но не застал), и вот по какому поводу. Мне хочется повидаться с Николаем1, но стыдно казаться ему на глаза, не прочитав вперед двух его теоретических книг, — ты мне о них говорил, и будто есть они у тебя2. Не согласился ли бы ты позвонить мне как-нибудь в 3 ч. дня или в 8 по телефону. Мы бы условились о часе, и я бы к тебе за ними зашел, если бы ты конечно был согласен дать мне их временно на прочтение. Жму твою руку. № мой телефона — 1-71-64. Твой 2>. Я.

14.V.29

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184). ,Н. Н. Асеев.

2 Имеются в виду книги Асеева: «Дневник поэта» (Л., 1929) и «Работа над стихом» (Л., 1929), в первой из которых многие примеры для анализа рифмы или интонации взяты из стихов Пастернака, в частности «Тем и вариаций». Вероятно, обида за Асеева, обойденного молчанием в книге В. Познера, вызвала желание навестить друга.

496. Е. В. ПАСТЕРНАК

17 мая 1929, Москва

17.V.29

Дорогая Женюра! Только что подали твою глицинию, но Же-ничка уже спит, передам ему завтра по пробужденьи. Что же ты нам не пишешь, собака. Не пиши, не пиши, Бог с тобой, только набирайся здоровья. Мы Женичке стали делать по утрам холодные обтиранья (стоялой с вечера водой) и спим с ним при открытом окне. Он ликует, предвкушая, как тебя напугает этими впервые допущенными задатками будущего мужества. Только надо заметить, что жара тут адская, и только разве сами окна помнят, открыты ли они или нет, нам же и не почувствовать. — Вя-ч<еслав> Пав<лович> задерживается и очень спорно, поедет ли он в Гаспру вообще или нет. Тем

временем, прости, пришлось прожить твои деньги. Но не печалься. Во вторник (21-го) постараюсь обязательно достать, и у тебя еще будет довольно времени их получить.

Приходила Феня, получив отпуск на одни сутки из больницы. Ей мечталось и переночевать, — дом отказал ей в этом. Я позвонил Сене, не насилуя его, просто сказал, что хотела бы и с ними повидаться, он, не колеблясь, предложил привезти ее и на другой день заехать для отвоза в больницу. Разъезжала с ней Маня.

От наших с самого твоего отъезда ни звука. Если и завтра ничего не получу, запрошу.

Был у Мейерхольдов. Так это получилось. В 7 часов позвонил он с настойчиво-проникновенной просьбой прийти к ним тотчас же и выслушать какое-то 14-летнее дарованье. Просил так, что я не нашелся, как отказать. Но через минуту очухался (перед тем я только-только от нафталина и шуб расселся работать), и позвонил ему, что не приду, и что у него есть способность просить по-женски. Но он пристал с удесятеренным жаром, сказав, что на коленях у телефона стоит, и все в таком роде. Шел страшно рассерженный с намереньем открыто это показать. Но у них оказалась изумительная квартира и несколько человек гостей, между прочим, Полонские, мальчик же оказался действительно феноменально одаренным: Блоковско-Есенинский напев изливался неисчерпаемыми, не скоро кончающимися волнами1, — но в таком возрасте традиция всегда заслоняет лицо и даже его как-то искать неуместно. Все постепенно разошлись, оба проводили меня на Волхонку. Говорили между прочим, что «Клоп»2 матерьяльно поднял театр, полные всю зиму сборы, чего раньше никогда не бывало.

Прозы все еще не сдал, что задерживает и деньги3. Учащаются случаи глупости и неловкости при общей изолгавшейся атмосфере. Все чаще и чаще, того не зная, попадаешь в мучительно ложные положенья, не имея власти о том сказать.

Обнимаю тебя. Твой Б.

Привет Анне Ивановне4. Говорят, ты с ней в одной комнате.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Евгений Долматовский.

2 Премьера комедии Маяковского «Клоп» в театре Мейерхольда состоялась 13 февраля 1929 г.

3 Деньги были посланы 21 мая 1929. На бланке почтового перевода в 50 руб.: «Дорогая Женюра! Посылаю, что могу, если будет мало, телеграфируй. Доживай с пользой и без забот остающуюся неделю. Нельзя сказать, чтобы баловала ты нас письмами, но я не сержусь, и если тому нет более серьезной причины, то и слава Богу. Обнимаю тебя. Твой В.».

4 Художница А. И. Аристова.

497. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

30 мая 1929, Москва

30.V.29

Дорогая Марина!

Мне вернули с почты ранее принятую бандероль с рукописью на твое имя при разъяснении, что на такие пересылки требуется специальное разрешенье1. Я не пойду его исхлопатывать не из лени, а из боязни, как бы не посеять в инстанции, которая меня может быть, не знает, подозренья относительно всей нашей переписки, и — будущей.

Мне очень хочется показать тебе, что я сделал за год, придется однако повременить. К концу лета все сбежится в печатном виде, в котором до сих пор пересылка производилась беспрепятственно. До этого времени все и придется отложить.

Вероятно из этих разноразгонных прыжков разной длины и удачи самым стоющим будет начало прозаического романа, который я начал в феврале и в одной части (четвертой, т. е. не по порядку, а в смысле пропорции) недавно кончил. Мне посчастливилось его на днях читать в исключительно благоприятствующих условьях (у Пильняка, перед молодежью его — советско-славянофильской школы2), почему и критика выродилась во взаимные объятья, признанья в любви, и пр. Слова же, там произнесенные, — всем приснились, и я счастливого этого сна цитировать не буду.

Но им уж захотелось абсолюта, и тогда некоторые из них стали высказывать цеховые пожеланья. И вот этим немногим я сказал, что их советами бы воспользовался, если бы был свободным художником, каким они себя и, верно, меня считают. А я не художник, а несчастный человек. Мне не пришлось делать ссылки на тебя и твой крут, потому что все известно, и они меня поняли. Это заявленье о своей эстетике я делал в состояньи беспредельного, незаслуженного счастья. Счастлив я был и Ямским Полем и Avenue Jeanne d'Arc3.

У Мандельштама осенью случилось очень досадное недоразуменье с Горнфельдом, по вине одного издательства. Оно было улажено обоюдосторонними письмами в редакцию4. В середине зимы он имел глупость и несчастье «в общественном разрезе» поставить тему, одноименную с областью, в которой он проштрафился, или только, как хочу думать, благородно обжегся. Он напечатал в «Известиях» фельетон о постановке переводческого дела в СССР, прекрасно написанный и показавшийся мне глубоко антипатичным5. Он там называл изъяном дела то, что переводы поручаются (как бы сказать покороче) тем, кому бы я их только и поручал, т. е. людям нуждающимся, знающим языки, а не литераторам-специалистам. Это даже немного било по моим постоянным усильям и по моим симпатиям. Я люблю людей обыкновенных, и сам — обыкновенный человек.

Теперь против него поднята, действительно недостойная, травля, и как всё у нас сейчас, под ложным, разумеется, предлогом6. Т. е. официальные журналисты, являющиеся спицами левейшего колеса, нападая на него, сами может быть не знают, что в своем движе-ньи увлекаются приводною тягой правого. Им и в голову не приходит, что они наказывают его за статью в «Известиях», что это, иными словами, действие всяких старушек, от «Известий» находящихся за тысячу верст. Это очень путаное дело. У нас против травли протестовало 15 лучших писателей (протестовали соседи старушек!), и я в том числе7, сейчас в «Литературную Газету» прислан протест из Ленинграда с Ахматовой, Тихоновым, Толстым и другими подписями. И все это разбивается о какую-то невидимую стену, постановления комиссий, разбиравших его дело, не печатают, письма писательские обходят молчаньем. А сам он удивителен. Правда, надо войти в его положенье, но его уверенности в правоте я завидую. Вру, — смотрю, как на что-то нежданно-чужое. Объективно он не сделал ничего такого, что бы хоть отдаленно оправдывало удары, ему наносимые. А между тем он сам их растит и множит отсутствием всего того, что бы его спасло и к чему я в нем все время взываю. На его и его жены взгляд я — обыватель, и мы почти что поссорились после одного разговора. Напрасно я об этом с тобой заговорил. Неполнота рассказа тут равносильна искаженью.

Всего лучшего. Я опять, кажется, на верном пути. На твоем. Вот увидишь.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 170).

1 Это была машин, первой части «Охранной грамоты» (см. конец письма №492).

2 В числе слушателей был А П. Платонов, прозу которого Пастернак характеризует как советско-славянофильскую.

3 Адрес Пильняка, где происходило чтение, и адрес М. Цветаевой в Париже.

4 Издательство «ЗиФ» выпустило литературную обработку перевода романа Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», сделанную Мандельштамом, обозначив на титуле его имя, как переводчика. По его требованию, издательство печатно признало свою ошибку («Красная газета», 13 нояб. 1928); переводчик Костера А. Г. Горнфельд снял свои обвинения Мандельштама в плагиате («Красная газета», 28 нояб. 1928).

5 О. Мандельштам. «Потоки халтуры» («Известия», 7 апр. 1929).

6 Имеется в виду фельетон Д. И. Заславского «Скромный плагиат или развязная халтура» («Литературная газета», 7 мая 1929).

7 Письмо в защиту Мандельштама было опубликовано в «Литературной газете», 20 мая 1929.

498. РОДИТЕЛЯМ

31 мая 1929у Москва

31.V.29 Дорогие мои!

Я не на все мог ответить в открытке. Горячо благодарю тебя, папа. Насколько я тебя понял, ты предлагаешь подарить мне шестьсот пятьдесят рублей? Но, разумеется, я не приму такого подарка ни целиком, ни в сколь угодно малой его доле. Да это и не нужно. Для меня таким же подарком был бы простой обмен с тобой, подобно пересылкам бабушке, соответственно расширенный и направленный по другой родне. Таким образом, попутно оказались бы одаренными они, что было бы очень добрым делом, а для меня незабываемой услугой, равносильной прямому дару, было бы предоставленье такой меновой возможности. Не так давно я отклонил такого же рода подарок в 250 долларов, которые привезла сюда одна американская писательница от Ломоносовой для Жени, и она деньги повезла назад. Я и Раисе Николаевне ответил тем же, что и тебе, т. е. просьбой об установлены! способа, как нам расквитаться1. Не форсирую тебя сроком, т. е. не прошу, чтобы ты тотчас мне указал, кому и какие суммы стать посылать, потому что тут нет Жени (она завтра утром приезжает из Севастополя), а без нее мне наш бюджет не вполне ясен. Же-нюшок немного охрип, и странно слышать его скороговорку в басистом тембре Розалии Александровны2. Он волнуется, как бы ему завтра не проспать на вокзал и, верно, поздно уснет и плохо будет спать. Все сошлось очень хорошо, Жени не было тут целый месяц, и только вчера я сдал переписчице первую часть романа (в прозе)3, так что временное освобожденье почти день в день совпадает с прибытьем Жени и два дня я смогу ей посвятить, ни о чем не думая. Это первый за долгие годы случай, как и первый случай, когда (как десять лет тому назад), я чувствую, что что-то сделал, и что и со мной что-то неизбежно и в том же крупном духе, должно сделаться.

Есть у всего этого и другая сторона, роковая и тревожная. Сильнее всего я чувствую и понимаю природу, людское же общество тогда, когда оно всего больше приближается к действию ее законов, т. е. в состоянии глухоты, накануне взрыва, в том состояньи, когда оно похоже на огромное и несчастное живое тело. И моя удача, т. е. серьезность сделанного пугает меня, как побочный исторический симптом. Я все это хорошо понимаю и ничего не могу изменить. Т. е., может быть, Женю с мальчиком я вам подкину, но сам должен буду остаться на весь этот год. Раньше года мне с начатой вещью не справиться. Можно вспомнить о том, что всякое большое творчество несет в себе трагедию. Итак, — вот моя. — Но я дурак, каких свет не создавал. Зачем я вас зря волную. Я забыл об одном, и это должно успокоить вас. Тут немало людей, которые меня крепко, незаслуженно крепко любят. А беда и любовь вот две силы, которые только и остаются на сцене, очищенной от пустяков, на сцене, нас достойной. За границей я работы не допишу. О чем же разговаривать.

За сделанную часть я вознагражден сторицей. Во вторник я ее читал у Пильняка в обществе начинающей и, в отдельных лицах, одаренной молодежи. Вероятно, мы друг друга взаимно гипнотизировали, и эта ночь в Петровском парке всем нам приснилась. Сном этим я с избытком и вознагражден. Я давно-давно (после вашего отъезда отсюда ни разу) этого не переживал. Мне многое это напомнило. Это же счастье и натолкнуло меня на темные параллели. — Но, — тороплюсь. Папа, предложи портретному человеку зайти к нам, предварительно уговорившись со мной, или, если я уеду из города, то с Шурой, по нашему телефону 1-71-64; с Шурой же (архитектор Ал. Леон. Пастернак) по служебным: 93-75 или 3-27-31. Разрешенье получено4.

Крепко обнимаю вас всех. Когда Женя приедет, то напишет вам и по своему выбору пришлет Женичкину фотографию.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

10 встрече с американцами, привезшими подарок от Ломоносовой, см. письмо № 493 и коммент. 4 с цитатой из письма к Ломоносовой 16 мая 1929.

2 Р. А. Розенфельд.

3 «Повесть».

4 Разговор о перевозе портрета Манфреда Кана в Германию со специально приезжавшим портретным человеком.

31 мая 1929, Москва

Дорогой Николай!

Мы живем как свиньи, ничего друг о друге не знаем. Но я доволен жизнью. С конца января все время работал, кажется, не без удачи. Начал большой роман в прозе, написал первую часть, листа на два с половиной, на три, сдал в Новый мир. Не знаю как назвать... Да и называть рано, четвертая, вероятно, доля предположенного1. В целом, может быть назову «Революция», если к лицу будет. Но это нисколько решительно не относится к делу, о котором ниже.

Сейчас поэтический язык, в разных пропорциях состоящий из Хлебникова, тебя и меня, становится и начинает казаться мне нейтральным, незаимствованным и обыденным. Я перестал его слышать, мне не холодно от него, не жарко; мне было бы от него тяжело и страшно, если бы я перестал работать. С моей постоянной тягой к опрятному одиночеству, мне, конечно, жутко бы показалось оставаться доживать свои дни в таком многочисленном и наполовину отталкивающем обществе, если бы, — как говорю, я не знал и не чувствовал, что ухожу в сторону, ну хотя бы Чарс-кой — не смейся, как не смеюсь и я, называя эту писательницу.

В отношении людей, застрявших в формах и средствах в немолодом возрасте, можно сказать просто. Они удовлетворились преддверием искусства, его первой, лицевой половиной, и мне страшно созерцать баб с керосиновыми бидонами в молочной: зачем, спрашивается, было входить именно сюда?

Гораздо труднее с молодежью, с которой этого (по ее возрасту) нельзя и спрашивать. Дело было бы легче, когда бы не время такое крутое <...>

Впервые: Переписка Бориса Пастернака. М, «Художественная литература», 1990. Печатается по машин, копии (собр. Д. Хренкова). Конец утрачен.

1 Первая часть вышла под назв. «Повесть» («Новый мир», 1929, № 7). Роман не был дописан.

500. Н. С. ТИХОНОВУ

14 июня 1929, Москва

Дорогой Николай, благодарю и уступаю: с ласковостью и содержаньем твоего письма тягаться не в силах, сдаюсь, рекорд — твой.

Но шутки в сторону, — я рад, — я не знал, что все у нас с тобой так хорошо, — спасибо.

А мне на будущей неделе удалят разом 6 зубов и потом будут долбить челюстную кость, — развязка прескверной истории, тянувшейся около пяти лет и только теперь, благодаря рентгену, разъяснившейся.

Знаешь, с кем еще мне так просто радостно (и ясно), как с тобой? С Пильняком. Это единственный, пожалуй, человек, с которым встречался эту зиму. Наверное, семья вскоре после операции поселится под Можайском, я же задержусь недели на 2 или больше, — сколько перевязки потребуют. На этот, вероятно, срок буду «осужден» на полное молчанье — то-то отдохну — тут уж никакие таланты и обещанья ничего со мной не поделают и перед собою буду чист. Прочту «Вазир-Мухтара»1, все откладывал до подходящего случая, вот и нашелся.

Вообще нынешней весной повернулась жизнь (на двух-трех примерах) неожиданно простой, беспощадно трогательной стороною. Это как когда у Шекспира герои без штанов сидят и зал рыдает, а Лир под дождем мокнет и колобродит.

Во-первых, Коля Асеев стал кровью харкать, и тут обнаружилось, что у него в острейшей форме туберкулез, чуть ли не то, что прежде звали скоротечной чахоткой. По счастью, он уже в санатории, где такие формы теперь поддаются полному излеченью (из одного легкого воздух выкачивают, оно сморщивается комочком, и, благодаря его бездействию и неподвижности, каверны зарубцовываются; тогда его вновь распускают). Случаев кровохарканья у него было два-три, и по внешности никто бы не сказал, в какой он опасности. Меня, естественно, эта новость ошеломила, я с ним видался, помногу и так, как когда-то, т. е. как лет 10 или 15 тому назад.

Потом Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время2. В какую непоучительную, неудобоваримую, граммофонно-газетную пустяковину превращает он это дареное, в руки валящееся испытанье, которое могло бы явиться источником обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства, если бы только он решился признать свою вину3, а не предпочитал горькой прелести этого сознанья совершенных пустяков, вроде «общественных протестов», «травли писателей» и т. д. и т. д.

Тут на днях собиралась конфликтная комиссия4. Его на ней не было, и я, защитник, первый признал его виновным, весело и по-товарищески, и тем же тоном напомнил, как трудно, временами, становится читать газеты (кампания по «разоблачению» «бывших» людей и пр. и пр.) и вообще, насколько было в моих силах, постарался дать движущий толчок общественнической лавине, за прокатом и падением которой широко и звучно очистился воздух, обвиняемому подобающий и заслуженно присущий. И теперь вся штука в том, воспользуется ли Осип Эмильевич этой чистотой и захочет ли он ее понять.

Наконец — последний случай жизненной простоты — читал я как-то прозу у Пильняка ему и его питомцам. Все это было удивительно счастливо и радостно. Это была замечательная ночь, и люди были замечательные. И хотя я понял, что все это вызвано Петровским парком5, а не прозой, меня именно то и радовало, что эта неприкрыто чистая чужепричинность мне дороже каких-то критических выяснений сделанного. Я радовался ей, как сквозной, неподдельной случайности, до бесстыдства откровенной.

Имей в виду (с этого следовало начать), что это не ответ на твое письмо. Ответить тебе я бы мог лишь с твердого места, широко и щедро, как ты, ощущая обоих в диалоге. Но под собой я чувствую нечто шаткое и неопределимое, точно меня занесли в некую операционную пятилетку, и пока мне не индустриализируют челюсти, не

знаю, как себя вести и за что приняться. Видишь, вот и «Вазира» я раньше наступленья социализма читать не смогу.

Расхожденье бухгалтерских данных с моими расчетами проистекает верно оттого, что в «Грамоте» считали I1/2 печатных листа, а теперь их, видно, оказалось меньше. Потому что так было дело. «Грамота» была оплачена из полуторалистового расчета, и за нее получено 625 руб. (350 р. х 1У2)6.

Потом я в этом году получил аванс в 200 р. и в его погашенье послал «Реквием». Не помню, сколько в нем строк (полтора руб. за переводную строчку расценка очень хорошая), но, кажется, около 150-ста. Тогда за него выходит что-то около 225 р. Из 625 и 200 и получается та сумма аванса, которую тебе указали (у тебя 819 р., а не 825 оттого, что почтовые расходы с меня вычитывались). Итак, если в «Грамоте» I1/2 листа, то мне с «Звезды» дополучить еще 25 руб. Если же правилен расчет бухгалтерии (т. е. что я «Звезде» еще около полутораста рублей должен), то это лишь в том случае, если листовой расчет «Грамоты» был произведен неправильно, а производили его у вас и, кажется, Н. Л. Это ничего, что я с тобой на такие темы?

Выраженья твоей скромности не знаю как высмеять и чем отстранить. Да и не надо. Мечтаю о времени, когда индустриализация будет уже за плечами и проза подвинута, и некоторые домашние сложности лета далеко позади. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, пока подбородок цел. Сердечный привет от нас обоих Марии Константиновне.

Твой Б.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. Н. С. Тихонова). Датируется по почтовому штемпелю.

1Ю. Тынянов послал Пастернаку свою книгу «Смерть Вазир-Мухта-ра» с надписью: «Борису Пастернаку, который своим существованием делает жизнь более достойной. Ю. Тынянов. 1929. И. 20».

2 См. письмо № 497.

3 После извинений изд-ва «ЗиФ», напечатавшего переработку «Тиля Уленшпигеля» как перевод, и открытого письма автора перевода А. Г. Горн-фельда, признавшего необоснованными свои обвинения в плагиате, Мандельштам заявил, что не снимает с себя «моральной ответственности» за происшедшее («Вечерняя Москва», 10 дек. 1928).

4 Несмотря на постановление Исполбюро ФОСП (Федерация объединений советских писателей) считать дело Мандельштама исчерпанным, по настоянию редактора «Литературной газеты» С. И. Канатчикова была создана конфликтная комиссия, на заседании которой 11 июня 1929 г. Пастернак протестовал против обвинения Мандельштама в плагиате, однако признал его «морально ответственным» перед автором перевода (ИМЛИ, ф. 51, оп. 1, ед. хр. 13 и 28).

5 Пильняк жил на Ямском поле вблизи Петровского парка. Имеется в виду чтение «Повести» 29 мая 1929 г.

6 Здесь и далее речь идет о расчетах за первую часть «Охранной грамоты» и перевод «Реквиема» Р.-М. Рильке («Звезда», 1929, № 8). Очевидно, в расчете аванса была допущена ошибка — 625 р. вместо 525 р.

501. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

14 июня 1929у Москва

14. VI. 29

Дорогая Раиса Николаевна!

Как бы мне хотелось по-настоящему ответить на оба Ваши последние письма, и как это сейчас невозможно! Я в большой растерянности и меня не столько смущает предстоящая операция1, сколько целое множество забот, связанных с переездом семьи на дачу, с появленьем новой воспитательницы у Женички2 и с другими вещами того

же порядка. Вслед за Вашим письмом мне, которое Вы просите уничтожить (зачем? что в нем роняющего Вас или недостойного, или не похожего на жизнь и ее большую, простую глубину?), пришло письмо, адресованное Жене в Кореиз (его сюда дослали3). Я оттого и сказал, что хотел бы Вам ответить на оба письма. Потому что Женина письма, отправленного Вам до полученья Вашего, нельзя считать ответом. И мне больно сознавать, что душевная звучность Ваших обоих обращений тонет без явного для Вас отзыва. Итак, не считайте этого ответом: я озабочен, я нездоров, т. е. я мелок сейчас; я несравненно ниже того уровня, на который приглашают Ваши последние строки. И — чтобы избежать неясностей. В одном письме Вы говорите о Mrs. Mead, в другом — о себе, и так, что Вам кажется, будто это можно уничтожить4. Так вот, это более чем круг вещей, которыми я живу последние годы: это — мой язык последних лет, это мое существованье, это — единственная серьезная музыка, которую я еще слышу. Хочу ли я сказать, что при посещеньи Mrs. Mead у меня не сжалось бы сердце? О нет, конечно! Но мне через год будет сорок лет. И как я рад, что это так, как рад, что мне не двадцать! Вы видите, мы с Вами почти что однолетки, и в современной смешанной школе мы сидели бы в одном классе, мы с Вами не знали бы приблизительно одного и того же. Но насколько радостнее знать одно и в этом одном узнавать живую связь! Разве знанье само не волнуется, не отливает красками, не старается нравиться, разве знанье больших, грустных, притихших людей не похоже на то, чем эти люди были в молодости и в детстве? И я вдруг повеселел и успокоился, когда не на словах только, а всей манерою держать себя, всею походкой и пр. впервые почувствовал и понял, как я умру, как переживу то, что меня не станет. Но я и лет на 50 старше Вас, и глупо, что так распропо-ведовался. Зачем я пишу Вам сегодня, в самое неподобающее время? Чтобы Вы знали, что Ваше письмо дошло все полностью, и что мне с ним, среди моей ближайшей житейской программы легче, чем было бы без него. Я разделил также и Женино волненье, в письмо к ней уложено ведь не меньше души, чем в письмо в Москву. Если обстоятельства сложатся так, что мне не скоро случится опять собраться с духом, как было в последние месяцы, и я Вам не напишу в июле, тогда прошу Вас взглянуть на мою прозу (в июльском № Нового Мира)5 как на какое-то подобье ответного письма. Но, разумеется, это аналогия очень неопределенная и речь может идти только о голосе, который мне сегодня изменяет. Хотя это будет начало большой вещи, и вся она еще впереди, но я уже и в этой первой части поспешил заговорить о тех важных вещах, которые составят завязку целого. Ваши извиненья (по поводу американцев и подарка Жене6) меня ошеломляют и конфузят.

В чем извиняться Вам? И куда мне деться от таких извинений? Похоже, будто Вы решили меня совершенно этими тонкостями уничтожить. Я В. Е. Гар7 послал, сколько Вы просили, прилагаю квитанцию8. Осенью сообщу Женин адрес9, Вы же не напоминайте мне об этом, а прочтя повесть, напишите непосредственно и коротко, легко ли и хорошо Вам читалось или нет. Сердечный привет всем Вашим.

Любящий Вас Б. Я.

Впервые: «Минувшее», N° 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Нью-Йорк и переадресовано в Филадельфию. 10 предстоящей зубной операции см. письмо N° 500.

2 Елизавета Михайловна Стеценко (урожд. Гирей, в первом браке Лопухина).

3 Письмо 24 мая 1929 (там же).

4 В письме 24 мая 1929 к Е. В. Пастернак о своей приятельнице Эллен Мид, умирающей от рака, и, по-видимому, в несохранившемся письме, адресованном Б. Пастернаку, Ломоносова писала о своем предчувствии близкой смерти.

5 В «Новом мире» (1929, N° 7) печаталась «Повесть».

6 См. письмо N° 493 и коммент. к нему.

7 Вероятно, ошибка чтения, — фамилия подруги молодости Ломоносовой — В. Е. Тар.

8 Приложена «Расписка в приеме перевода» на 200 рублей в Ленинград 12 июня 1929.

9 Речь идет об адресе Ж. Л. Пастернак, куда следует переслать деньги для Е. В.

502. РОДИТЕЛЯМ

30 июня 1929, Москва

30. VI. 29 Дорогие мои!

Сегодня у нас был Осип, сын покойного Индиди1, я в первый раз с ним познакомился. Он на практикуме в Орехове-Зуеве на ткацко-набивной фабрике и студент 3-го курса полиграфического отделения художественного училища, куда в октябре и вернется. На нынешнее воскресенье он с товарищами по экскурсии приехал в Москву. Мое знакомство с ним было очень затруднено тем, что мне нельзя разговаривать, и я целую тетрадь исписал в беседе с ним. Оказывается, он уже и прошлым летом был в Москве и заходил к нам, но мы были на Кавказе. Он мне очень понравился. Очень простой и независимый молодой человек, по-хорошему застенчивый и по-хорошему чем-то своим занятой и своего добивающийся. Некрасивый, как я и все в семье, но с каким-то благородством в пробегающей улыбке. Ему 22 года, и как у всего современного поколенья, местные черты почти стерты и провинциализма почти никакого нет. Больше лицом в мать, чем в отца.

И — семейная, может быть черта — некоторая все время отвлеченность своими мыслями и рассеянность при очень милой и живой понятливости: когда я писал, он часто угадывал недопи-санное. Очень хвалил молодых рабочих в Орехове и всю тамошнюю атмосферу. Легкие, ясные отношенья, отсутствие праздных и посторонних людей, и много строят. Посидел часа два-три и заторопился в Третьяковскую к товарищам.

Моя история с челюстью довольно канительная, хотя уже теперь и безболезненная. На днях после снятья швов рубец разошелся, но его не перешивали, а будут некоторое время тампонировать. Женя самоотверженно ухаживает за мной, ходит по моим делам и никого ко мне не допускает. Цветы на столе у меня не переводятся, и Юлия Бенционовна2 нас пансионирует и отхаживает меня, потому что среди многих перемен, о которых писать не стоит, мы на днях рассчитали прислугу. Я бы никогда не решился писать вам на хирургические темы, если бы все это не было вполне и целиком позади.

Всех вас и мюнхенцев крепко обнимаю. Ваш Боря.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Сын старшего брата Л. О. Пастернака Александра, домашнее имя которого было Индидя.

2 Соседка по квартире.

503. А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

9 июля 1929, Москва

9. VII. 29

Дорогие мои тетя Ася и Олюшка!

Пишу вам, чтоб не думали, что забыл. Скоро опять за работу придется взяться и тут будет не до писанья, перерыв был длительный и много, верно, упущенного сбежится. Так что не сердитесь — предупреждаю, — если вздумаете написать в ответ, а я потом на ваше письмо не отвечу. А перерыв был неприятный и вот какой.

Помнишь, Олюшка, говорил я тебе про свое пяти последних лет проклятье, про периодические, длительные боли в нижней челюсти, хуже всякой зубной, распространявшиеся по всему подбородку? Пошел наконец на просвечиванье и оказалось, что никакая не невралгия, а мое ощущенье было научно-точным. Рентген

показал громадную дыру под зубами там, где полагалось бы быть кости, — результат ее долголетнего, периодами, разрушенья. И вот мне сделали операцию, удалили костную кисту, там сидевшую, и доломали, для гладкости, костные фестоны и зубцы — остатки ее работы. По мне, т. е. по моей внешности, сейчас ничего не сказать, я даже принялся уже за работу и только совершенно пока не разговариваю. По окончательном заживленьи раны дело, надо надеяться, сведется просто к частичной беззубости, потому что эта операция потребовала предварительного удаленья семи зубов, и в их числе всех передних. А потом месяца через три, и это горе поправят. Но это было очень мучительно, операция, рассчитанная на двадцать минут, длилась полтора часа, и я за нею терял сознанье, потому что местная анестезия не удалась, в костной дыре нечему было анестезироваться, а общую побоялись делать, чтобы не перерезать центрального лицевого нерва; а тут, когда извлекая кисту, зацепляли за него, или не видя его под кровью, проводили вдоль по нему ватой, я кричал, конечно, и сигнализировал им фактом обморока. А Женя, бедная, за дверью стояла, и к ней бегали и без успеха пробовали увести. Но теперь, слава Богу, все это уже за плечами, и только думается еще временами: ведь это были врачи, старавшиеся насколько можно, не причинять боли; что же тогда выносили люди на пытках? И как хорошо, что наше воображенье притуплено и не обо всем имеет живое представленье!

Ну, всего лучшего. Крепко обнимаю вас.

Напишите непременно, как и что у вас, главное, как здоровье, какжактерия ваша1. Дайте нам устроиться на остаток лета где-нибудь. Может быть удастся вызвать вас к нам?

Ваш Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Жактерия — слово образовано по аналогии с «Жакерией» — крестьянской войной во Франции. Имеется в виду многомесячная борьба Фрейденбергов с домоуправлением (Жактом) за свою квартиру. «Одиннадцать судебных процессов! И двадцать два обследования нашей квартиры различными комиссиями, в любое время врывавшимися в дом, — записала О. Фрейденберг. — Мы проиграли дело во всех инстанциях. Но этого мало. Нам предъявили иск в такую сумму, что мы лишались не только квартиры, покоя, независимости, но должны были продать все свое имущество и остаться нищими. И вдруг, — чистейшая случайность, — смена прокуроров — спасла нас на краю несчастья» («Пожизненная привязанность». С. 165).

504. Е. В. ПАСТЕРНАК

11 июля 1929, Москва

Четверг

Дорогая Женичка!

Прости, что не писал до сих пор, каждый день собирался. Чувствую себя хорошо, все в наилучшем порядке, во вторник вечером жду тебя, если тебе уже будет можно1. Третьего дня ходил по делам. В обоих местах в секретарьяте дамы одна другой милее*. Вскакивают, машут руками, молчите, дескать, знаем, дело сделается без вас. Все идет как по маслу, и невольно осматриваюсь, нет ли на стенах нового плаката: дорогу беззубым. До нынешнего дня не клеилась работа, душно было, застревал на местах, неудачных и в немецком подлиннике. Сегодня свежее, и у Rilke пошли страницы более выразительные2. Как-то был Коля Вильям, забылся, и — переговорили; испугались оба, но, слава Богу, ни к чему дурному не повело. Полоща, нащупал нечто тесьмоподобное и тоже очень взволновался. Находился в неизвестности два дня, боясь исследовать (думал — нечто вросшее или вшитое, боялся тянуть). Сегодня с неописуемой острожностью вытащил свободно лежавшую марлевую нитку, остаток тампона. Постепенно начинаю жевать, зубов же еще не чищу, не решаюсь. Не задаю

вопросов, потому что для ответного письма времени не останется и ты сама мне все расскажешь. Была Мариечка3, страшно мила и не так худа, как всегда. Рассказывала содержанье нового сценария. Шура вошел (верно, Л<юдвига> Б<енционовна> подсказала) присутствовать при свиданье, не давал мне говорить. Писем никаких ниоткуда. Удивляет молчанье наших, но не беспокоит, есть косвенные сведенья об их добром здоровье. Тишина в квартире необычайная и чистота. Сейчас пришла проститься и уехала Пр<асковья> Пет-

* И все это, конечно, — живые результаты твоих распоряжений; и новые напоминанья о твоих заботах и об этих днях, которых все равно не забыть. И ей-богу, цветов со дня твоего отъезда в Москве не найти. (Прим. Б. Пастернака.) ровна. Целует Женичку, кланяется тебе. Крепко обнимаю тебя и нежнейший привет всем, в особенности Елизавете Михайловне4.

Женюшка обнимаю и глажу, и гляжу на него долго и молчаливо, как всегда. Смотри, отдыхай, пока, как бы то ни было, одним человеком меньше.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию. Адресовано в Можайск.

1 Переехав на дачу 8 июля 1929 г., Е. В. Пастернак тяжело заболела.

2 Пастернак переводил Реквием Рильке «По одной подруге».

3 М. П. Гонта была киносценаристом.

4 Е. М. Стеценко.

505. РОДИТЕЛЯМ

15 июля 1929, Москва

15. VII. 29 Дорогие мои!

Первоначально врачи думали, что мне на осмотр надо будет ходить до середины июля. Но и без того уже Женичка в этом году застрял дольше нужного в городе, а потом еще операция моя всех задержала. Неделю тому назад, когда я перешел уже в состоянье полной безопасности, я настоял на том, чтобы они переехали в деревню. Теперь они под Можайском, у Дмитрия Петровича Кон-чаловского1, жена которого на летние месяцы открывает пансион для отдыхающих. Я там не был и ее не знаю, и не знаю, как там, на днях за мной заедет Женя и я тоже туда перееду. Я остался в городе, придравшись к первоначальному предположенью врачей, по которому мне именно до этих чисел следовало оставаться, и остался с умыслом, потому что хотел докончить работу, начатую после операции, — перевод одного Реквиема Рильке. Сделал я это с тем более легким сердцем, что перешел на хлеба к Юл<ии> Бенц-<ионовне>, а это идеал санаторного питанья. Я только не рассчитал, что работа пойдет не так гладко и скоро, что наступит удушливейшая жара, что Людвига Бенционовна раньше моего примется морить у себя клопов за выездом своих, и они целыми полчищами гнетущей мрази поползут в мою сторону, а не обратно, т. е. не мои к ней, и что постепенно соберутся все данные для того, чтобы упасть нервами и утратить сон. Пишу же я теперь, а не потом, потому что послезавтра уеду из города, и из Можайска почта, вероятно, не так гладка, как отсюда. Вчера я получил ваше письмо. Беспокоиться вам решительно не об чем. Операцию сделать было нужно, сделана она была превосходно, делал ее лучший из хирургов по этой части2, киста была незлокачественной, т. е. надо надеяться, что у меня не будет другой, от этой же неоткуда ждать продолженья. Распространяюсь лишь ввиду вашего интереса, а то этот предмет яйца выеденного не стоит. Что она была очень мучительна, теперь начисто дело прошлого, и если тут что заслуживает упоминанья, так это самопожертвованье, которое проявила Женя, в теченье двух недель не отходившая от меня ни на шаг и за самой операцией, продолжавшейся полтора часа, перенесшая не меньше, чем выстрадал я. — Насколько я понял маму, она держится той мысли, что мне следовало бы теперь поехать на отдых

за границу, и прибавляет, что это пребыванье было бы обеспечено имеющейся уже суммой. Разумеется, она серьезно не верит в то, что так я и поеду, и хорошо, что не верит. Потому что это деньги не мои, а семьи, и назначенье их — более отдаленное по сроку и в том, чтобы обеспечить пребыванье за границей Жени и Женички, когда по ходу моей работы мне надо будет с ними туда съездить и не менее, чем на год, и не на отдых. Я об этих планах вам, наверное, не раз писал. Как ни страшна такая ответственность, я, наверное, по исполнении собственных работ, возьму на себя перевод Фауста для нового юбилейного издания Гете или пересмотр и переделку старых переводов (Фетовского, Брюсовского и др.3). Разумеется, как ни удобно и приятно делать это на месте, в Германии, все это можно было бы сделать и тут — мы все же не Афганистан, и у нас есть библиотеки. И может быть, я делаю ошибку, переоценивая душевную притягательность заграницы. Для этого много оснований, и первое — вы все; потом друзья во Франции и в Англии, большинство которых я в лицо не знаю; наконец, и вся германистическая закваска моих симпатий и воспоминаний: Мар-бург, Рильке, музыка, философия. И если вы хотите мне в этом помочь, то это очень возможно: откажитесь вовсе от всяких пересылок сюда и за этим обращайтесь ко мне. Чем больше будет таких случаев, тем лучше. — Вас не должен обманывать тон моего письма, это — мой обычный. Есть профессиональные недостатки, вырабатывающиеся с теченьем времени, и верно я от них не избавлен. Я не умею острить, не умею смеяться, не умею трогаться так, чтобы это более всего было — видно. Я спокойно-суров с собою, с Женей, с маленьким Женичкой и только в этом, не всегда дающемся духе спокойной суровости чувствую, что накачан изнутри добротой, всеобщей и не семейной, и то, как ею еще можно и надо накачаться. Очень хорош Рильковский реквием «Fur eine

Freundin»\ ты его знаешь, Жоничка? Это, по лаконизму и ясности, пожалуй, самое сильное и нравственное из всего, сказанного с социалистическою нотой в искусстве последнего, предвоенного времени4. И тут мещанство уличается без упоминанья, par defaut**, без вызова, в инстанциях, куда ему все равно нет доступа. И как все великое, теза этого реквиема, если сделать из нее вывод, — упирается в абсурд. В еще более смелый абсурд, чем Крейцерова Соната5. — Мне совершенно немыслимо писать об Аленушке, пока не сменено то оскорбительно-мизерное, что заключается всегда в готовой наперед заглазной семейной растроганности, — тем неизбежно большим, что есть в ней и во всем кругом нее, и что я увижу. И — зачем стесняться, — у меня хватит глаз и сердца не умалять ее огромной и таинственной прелести и ее прав на огромное и таинственное восприятье ее явленья и существованья. Зачем же я стану, не смотрев, включать ее в дешевый репертуар восклицаний, без которых не бывает семейственности, как жанра. И ты, мама, не сердись и не думай, что я что-то усложняю, видит Бог, как говорится, — что моя сложность проще иной простоты.

Крепко вас обоих, Федю, Жоню и Лиду обнимаю. Дмитрий Петрович (Кончаловский) просил кланяться. Ваш Б.

Женя, поскольку вы о нем пишете, некрасивый, сплошь покрытый веснушками хитрец и умник и, кажется, учиться ничему во всю жизнь не собирается. У него сейчас, в качестве француженки, воспитательница, 60-летняя умная, ироническая дама очень высокого происхожденья, из рода, семейно-связанного с Лермонтовым6. Произношенье у Жени по-французски — солдатское. Лё кут (le coude"*) размеренно говорит он, чтобы иметь возможность положить локоть на стол, что ему запрещено, а тут — это иллюстрация. «Лё кут» — и кладет его на стол.

А Женя большая, как оказывается, замечательный человек и прекрасный друг.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Дмитрий Петрович Кончаловский — историк, сын издателя П. П. Кончаловского, дружившего с Л. О. Пастернаком.

2 В ответ на сообщения об операции и фотографию, снятую на пятый день после нее, отец писал 7 июля 1929: «Надеемся, что проделывал это

* «По одной подруге» (нем.). ** через отсутствие (фр.). '** локоть (фр.).

все очень надежный и знающий специалист? Как ты в письмах своих ни старался умалить — задевая лишь вскользь "хирургическую тему", но достаточно взглянуть на твою присланную фотографию, чтобы увидеть, каким страданиям подвергся ты за эту болезнь!..» (там же. С. 238).

3 О заказе на перевод или пересмотр старых переводов «Фауста» см. письмо JSfe 492.

4 Социалистической нотой Пастернак называет открыто высказанное Рильке обличение общества в жестокости по отношению к художественному таланту женщины. Реквием посвящен художнице Пауле Модерзон-Беккер, скончавшейся от родов.

5 Повесть Л. Н. Толстого.

6 Елизавета Михайловна Стеценко, урожд. Гирей.

506. И. М. НАППЕЛЬБАУМ

23 июля 1929, Огневский Овраг

23. VII. 29

Дорогая Ида Моисеевна!

Благодарю Вас за редкое по теплоте письмо. Ответить на него вовремя было моей живейшей потребностью, и если я ее подавлял с большой неохотой, то никак не состоянье здоровья было в те дни главной помехой, а мне приходилось наверстывать упу-щенья в заработке. Я очень спешно и усердно переводил другой реквием Рильке: Fur eine Freundin*. Говорю: другой, потому что их два, и один из них, переведенный зимой, помещен в том же №-ре Звезды, что и «Охр<анная> Гр<амота>»!. Для того и остался на неделю в городе, устроив семью в одном пансионе близ Можайска. Затем за мной приехала жена и только я добрался до названного пансиона (он в 6-ти верстах от станции), как тут же и слег и пролежал с сильным жаром и на голодной диете целую неделю, что было очень неудобно тут, как в отношеньи врачебной помощи, так и в других. Видите, какое неудачное лето. Теперь встал, но слабость сказывается даже в почерке. В таком состоянии я не смогу Вам сообщить ничего интересного, и уже по одному тому в нем (т. е. в таком состояньи) не следовало бы браться за перо. Но всю болезнь меня мучило сознанье, что Ваше милое письмо осталось без ответа, между тем как оно было большою радостью для меня и мне хотелось тогда же Вам это сказать. Никогда больше не буду откладывать задуманного, в особенности, когда его так хочется и оно так приятно. То был бы может

* «По одной подруге» (нем.). 345

быть ответ человека, которому Вы писали, теперь же я его и сам, не знаю на какой срок, утерял. Понравилось мне стихотворенье Фромана о дубе2, кланяйтесь ему, пожалуйста, и очень поблагодарите за привет в Вашем письме. Если мне не случится написать в улучшенье этого письма другого, то я все это постараюсь поправить на словах при ближайшей же встрече с Вами и с Михаилом Александровичем, если позволите.

Еще раз большое и сердечнейшее спасибо Вам.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф.

1 Публикация первой части «Охранной грамоты» в «Звезде» (1929, № 8) сопровождается переводом Реквиема графу Калькройту.

2 К несохранившемуся письму И. М. Наппельбаум приложила несколько стихотворений своего мужа Михаила Александровича Фромана.

507. В. М. САЯНОВУ

5 августа 1929, Огневский Овраг

5. VIII. 29

Глубокоуважаемый тов. Саянов!

Простите: знаю Ваше имя, но не знаю отчества. Пишу в крайних торопях. Я живу за Можайском в глуши, где почтовые сношения очень затруднены (в 8-ми верстах от города), сегодня на несколько часов приехал по делам в город и предстоит большая гонка. Этим и объясняется сильная запоздалость моего ответа: только сейчас вскрыл Ваше письмо, пролежавшее в пустой квартире, у соседей, больше недели.

<Напечат>айте\ если не поздно, в <ко>нце отрывка следующее. «От автора. Продолженье Охранной Грамоты появится в одном из зимних номеров Звезды. Все сделанные в отрывке оценки являются воспоминаньями: их жар надо отнести к тем далеким годам, когда они составлялись и впервые произносились. Как именно остывали эти убеждения и какими заменялись, будет показано дальше»1.

Надеюсь, такое разъясненье удовлетворит редакцию. Если номер выйдет до 1-го сентября, пришлите мне его, пожалуйста, простой бандеролью по следующему адресу: Можайск Московс-

* Угол листа оторван. 346 кой губ., Зинаиде Ивановне Кончаловской, для Б. Л. Пастернака. Соблюдайте, пожалуйста, всю строгую последовательность адреса. При отступленьи от н<ее> получаются почтовые осложненья, изобилующие верстами и днями. Этим же адресом воспользуйтесь, если авторское замечанье не удовлетворит редакцию и переписка по этому поводу продолжится. Но не пишите заказных писем: опять те же осложненья.

Вашему письму был очень рад и всегда ценил Ваши стихи. Просить извиненья Вам решительно не в чем, и вообще вся эта сторона Вашего письма, смягчающая неприятность, говорящая о моей ценности как сотрудника Звезды и пр. <и> пр., мне была тяжка. Охранную Грамоту продолжать буду обязательно и нигде кроме Звезды никогда печатать не предполагал. Простите за невольное промедленье. Крепко жму Вашу руку. Если нетрудно будет, известите открыткой в Можайск, улаживает ли моя приписка к отрывку дело и успею ли я до 1 сентября получить №.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1977. Л., 1979. — Автограф (ИРЛИ, ф. 597).

Поэт В. М. Саянов был в то время редактором журн. «Звезда».

1 Это примеч. было написано по просьбе редакции и помещено на первой странице публикации «Охранной грамоты» в «Звезде» (1929, № 8. С. 148).

508. Е. И. ЗАМЯТИНУ

9 августа 1929, Огневский Овраг

9. VIII. 29

Дорогой Евгений Иванович!

Письмо от Издательства писателей подписано также и Вами1. Я получил также отдельное письмецо от Б. Эйхенбаума, но не знаю его отчества и на даче под Можайском, где нахожусь, мне не у кого об нем осведомиться. Передайте ему и Слонимскому, если Вас не затруднит, сердечный привет и благодарность за письмо. И хотя писать Вам большая честь и великое удовольствие, я никогда бы не стал Вас беспокоить, если бы не названное затрудненье. Мне очень хочется участвовать в сборнике и это либо очень легко сделать, либо же вовсе невозможно. Это было бы легко, если бы редакция сборника согласилась взять из автобиографической вещи, называющейся «Охранная грамота» и печатающейся в «Звезде» (начало ее идет в 7-м

номере или пойдет в 8-м), отдельные куски и партии, наиболее, на ее взгляд, отвечающие теме и задаче сборника, и это было бы совсем неисполнимо, если бы редакция от такой мысли отказалась. Дело в том, что «Охр<анная> Гр<амота>» целиком задумана в направлении, намеченном сборником, и продолжение порции, печатающейся в «Звезде», является моей очередною на осень работой. Двоить же эту тему и развозить ее по двум производным кажется мне и непосильным делом и ненужным, да и по времени не справиться.

Знаю и догадываюсь, как Вам трудно2, и не могу побороть чувства беспричинного и противоестественного стыда от сознанья, что относительно, и с оговорками, мне теперь гораздо легче, чем было в годы, когда мы встречались у Пильняка и в «Современнике»3. Как я люблю и ценю Вас, Вам известно. Что же тогда еще? А о том, что письмо пишется жарким летним днем, десятикопеечными чернилами из сельского кооператива, и обо всем прочем Вы догадаетесь по расплывчатости строк и по бодрой несвязности предобеденного канцелярского слога.

Крепко жму Вашу руку и от всего сердца желаю Вам возможного преуспеянья.

Ваш Б. Пастернак

На ответ — искреннейшим образом и безо всякой позы — нисколько не притязаю. На всякий же случай адрес до 1-го сентября (в точной последовательности) таков: Можайск, Московской губ. Н. Д. Кончаловской, для меня4.

Впервые. — Автограф (ИМЛИ, ф. 47).

1 Речь идет о письме от «Изд-ва писателей в Ленинграде» с приглашением принять участие в альм. «Дневник писателей». Судя по ответу Пастернака, оно аналогично полученному им 30 янв. 1929 с припиской Федина и требованием предоставить рукопись до 20 февраля. В обращении говорится: «Редакция сборника предоставляет авторам полную свободу в выборе темы: она может быть связана с фактами искусства, критики общественности или, наконец, личной жизни писателя».

2 Поводом для нападок на Замятина послужила его пьеса «Аттила», признанная одним из оимптомов «правой опасности» в литературе. В результате печатной травли Замятин заявил о своем выходе из Всероссийского Союза писателей («Литературная газета», 7 окт. 1929).

3 В 1924 г. Пастернак печатался в журн. «Русский современник», в редколлегию которого входил Замятин (цикл стихотворений 1923 г. и повесть «Воздушные пути»).

4 Имеется в виду Наталия Дмитриевна, дочь Д. П. Кончаловского.

509. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

20 августа 1929, Огневский Овраг

20. VIII. 29

Дорогой Павел Николаевич!

У меня лето сложилось очень неудачно, я болел, меня оперировали. С месяц живу под Можайском в семье одного историка Рима1 — род пансиона. Когда-то очень давно, когда он и сам был мальчиком, а я — младенцем, мои родители были дружны с его семьей, а потом, с кончиной его родителей, это разладилось, и нашему теперешнему симбиозу предшествует более чем 30-летний перерыв.

В силу изложенного, он с особенной теплотой выделяет меня из числа своих нахлебников, и он не может меня третировать как мальчика: я тут с женой и ребенком, мне 39 лет, мое имя и профессия ему, стороной, известны. Но в силу тех же приведенных причин он не может не отрицать меня со всею названною теплотой, и я ему должен казаться ложным порожденьем, бездарной претензией, кладущей пятно на его светлые юношеские воспоминанья о моем отце и матери, около 8 лет (по болезни последней) живущих за границей. В двух словах этой обстановки, очень обыкновенной и естественной, не изобразить2. В этой атмосфере мог бы работать только человек

крайне самоуверенный. А я, вдобавок, приехал сюда после болезни, и если допущенный перерыв уже и тогда требовал силы для преодоленья, то теперь, «принимая во вниманье» описанное, он мне кажется непреодолимым. Но откровенничаю я не ввиду Ленгизовского договора. Как с этим будет, боюсь думать и думать начну, когда возопиет само учрежденье. В подробности же эти вдаюсь вот зачем. Последние дни читаю Вашу книгу и хотел написать Вам по ее прочтеньи, но сегодня, на 270-й странице3, почувствовал страшную тягу к работе, и это обстоятельство — живейшая ей похвала. Я не смею сказать — лучшая и высшая, потому что надо всем моим миром с его градациями подъемов и падений имеется целая бесконечность еще более разительных реакций и отзывов, и значит, со своим пределом я не вправе ломиться в объективный суперлатив. Но что касается меня, то очень существенные и краеугольные вещи оживлены и наведены на память этим чтеньем. Я не знал, что Вы скрываете в себе такого философа4. Читал без карандаша, в оправдавшейся надежде, что главные тонкости не изгладятся и так. Очень... не в бровь, а в глаз отделаны постоянные lapsus'bi дешевого гибридного марксизма с его непониманьем внутреннего функционального воздействия в пределах самой литературы и поисками запредметного давленья и праздного, науке ни во что не дающегося и ни к чему не нужного влиянья5. Я слаб в теоретической литературе и не начитан, но с таким ясным разбором этой давно, как бабушкина бородавка, знакомой путаницы, столь характерной для нашей публицистики, встречаюсь впервые. И Вашу позицию в отношении формализма целиком разделяю6, с той, впрочем, лишнею оговоркой, что, разумеется, в деталях Вы к ним несправедливы. Это, вероятно, сознаете и Вы, и это допущено умышленно. Я говорю о недостаточных толкованиях некоторых понятий, как-то: остра-ненье, взаимоотношенье фабулы и сюжета и пр. и пр. Мне всегда казалось, что это, теоретически, очень счастливые идеи, и меня всегда поражало, как позволяют эти понятья, эвристически столь дальнобойные, быть их авторам тем, что они есть. На их месте я тут же, сгоряча, стал бы из этих наблюдений выводить систему эстетики, и если что всегда, с самого зарожденья футуризма (и чем дальше, тем больше), меня от лефовцев и формалистов отдаляло, то именно эта непостижимость их замиранья на самых обещающих подъемах. Этой непоследовательности я никогда понять не мог. С трудом представляю себе, чтобы при такой методологической содержательности Вас признали правоверным марксистом. И, вероятно, с внешнею удачей Вас поздравить нельзя. Тем сердечнее благодарю Вас за удовольствие и за минуты радостного изумленья, которые Вы мне доставили. Особенно мне близко Ваше пониманье историзма, социальной перспективы7 и других неуло-вимостей, на которых, пожалуй, все и держится.

Крепко жму Вашу руку. Всего, всего Вам лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Труды по знаковым системам (Семиотика)», вып. V, Тарту, 1971 (не полностью). — ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7).

1 Д. П. Кончаловский.

2 О чувстве скованности первых недель Пастернак писал родителям 24 июля: «У Кончаловских очень хорошо, они милые люди, и часто и тепло вспоминают вас (как Дмитрий Петрович, так и Зинаида Ивановна, его жена), и Берги (Меррекюльские) тут, но не в этой среде я прожил и проработал эти десять лет, и даже выходит, что если как-то преуспел, то, значит, способствовал их оттесненью с прямой дороги. Это, разумеется, к характеристике духа, общего языка и т. д., и ясно, что ничего подобного и в намеке не раздается» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 241).

3 В книге Медведева «Формальный метод в литературоведении...» всего 232 страницы, так что, вероятно, Пастернак остановился на 170 странице (далее цитаты даются по этому изданию).

4 В этих словах скрывается доля иронии; Пастернак; судя по письму Nq 475, хорошо представлял себе отношения Медведева и Бахтина и то, что автором книги был именно Бахтин.

5 Имеются в виду нападки на проповедуемый В. М. Фриче и др. принцип «закономерного соответствия известных поэтических стилей определенным экономическим стилям» (С. 50). «Думать, что отдельные, выхваченные из единства идеологического мира, произведения непосредственно, в своей изолированности определяются экономическими факторами — также наивно, как думать, что рифма к рифме и строфа к строфе в пределах одного стихотворения подгоняются непосредственным действием экономической каузальности» (С. 26).

6 В книге выражено резко отрицательное отношение к формальному методу, который принципом «воскрешения слова» низводит слово «с его символических высот». «Именно от него берут начало нигилистические тона, проникающие все выступления формалистов. Формалисты в слове не столько открывают новое, сколько разоблачают и упраздняют старое. <...> Не столько раскрытие новых миров и нового смысла в звуке, сколько обессмысливание осмысленного в слове звука воодушевляло формалистов» (С. 85).

7 Понятие «социальной оценки» обозначает у автора книги актуальное содержание и «ценностную атмосферу» высказывания (С. 169).

510. Ж. Л., Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАКАМ

Начало сентября 1929, Москва

Дорогая Жонюра!

Поздравляю от души тебя и Федю с твоим ученым триумфом1. Тебя могла обидно удивить длительность моего молчанья и этим запоздалым поздравленьем ничего не поправить. Объясняется это тем, что жить в наших условьях все же очень трудно, т. е. это трудно мне, и я сам, вероятно, этому причиной. Нужно быть совершенно другим, надо зарабатывать не столько больше, сколько более легким путем, надо любить действительность не издали, а в рядовой близости к ней, и как-то в ее ходе участвовать, надо уметь воспитывать свою семью, и облегчая свою долю в ней, ставить ее в более трудные, но в то же время и более живые условья, нежели в какие она поставлена у меня; — и ничего этого я не умею.

А несуразные трудности всего этого обычно сказываются в городе, в нашей запущенной, перенаселенной квартире, и год от году все сильней. Вот почему в деревне, оплатив вперед содержанье всего лета, вдали от названной грусти и грязи, я эгоистически дорожил каждым часом этого счастья и не только не пытался работать, но боялся и письма писать, потому что и это дело напоминадо мне о городе, откуда оно делалось всего чаще, а именно города мне не хотелось вспоминать.

На этот раз такое счастливое забвенье было внушено не одной природой. Как ни восхитительна местность, в которой мы жили, далеких прогулок я по ней не делал. У всех этих прелестей оказался большой соперник в виде семьи Кончаловских, которые все мне очень полюбились. В июле месяце за стол садилось больше 20 человек, и это хозяйство, находящееся в 6-ти верстах от ближайшего продовольственного пункта, велось силами семьи с помощью одной только девушки судомойки. Не хочу распространяться, но тебе будет понятно, как мне эта атмосфера трудовой горячей простоты, политой потом, расторопностью и очень коренной просвещенностью, была близка. Вначале я их стеснялся, но очень скоро втянулся в их строй и сам принял в нем участие.

А теперь я пишу тебе с городской квартиры и очень впопыхах, потому что у меня множество спешных дел. Я запустил, разумеется, не одну переписку с вами, а и свои хозяйственные дела довел всякими оттяжками до невозможного состоянья. Говорю это только с тем, чтобы выговорить себе у вас отсрочку числа до 15 в отношеньи возможных просьб, если бы таковые последовали, хотя пока никаких не было.

Однако деньги бабушке я вышлю, вероятно, раньше, числу к 8-му. Прими, между прочим, к сведенью, на случай будущих оказий. У нас нельзя достать чаю, и всякой его присылке таким путем (он ведь менее хлопотлив) я буду крайне рад. Не надо прибавлять, как я его поглощаю.

Крепко тебя и всех твоих обнимаю, люблю и целую. Так как ниже пишу нашим и боюсь, чтобы не заслали, в случае твоей отлучки, куда-нибудь далеко, то адресую конверт маме. Они же перешлют тебе, вскрыв и прочитав.

Дорогие мои!

Прошу и вас о том же, о чем Жоню: не сердитесь на меня за продолжительное отмалчиванье. Также и продолжаю теперь для вас, — на ту же тему. К<ончаловские> часто вспоминали вас и много о вас говорили. Последнее время Дмитрий Петрович спрашивал, не получал ли я от вас писем по своем к нему переезде, и я говорил, что не получал. Вероятно, ему было бы приятно получить пару слов от папы, и если бы папе выдалась минута простой несложной сердечности, то адрес их, на этот случай, следующий: Москва, Пречистенка, Мертвый пер., д. 22, кв. 6.

Они люди гордые, замкнутые, и трудности жизни, которые он не искал обойти уступками, не сломили его независимости. У него трое дочерей и один сын, старшей дочери 26 лет, младшей 21, все очень разные и все, разными своими достоинствами очень милые. Семья очень дружная, что, вероятно, неблагодарным образом скажется на личной судьбе детей, как это всегда бывает, тем более, что выращены они в правилах, теперь несовременных (т. е. они открыто религиозны и индивидуалистичны, хотя бы в том отношеньи, что любят свою семью и пр. и пр.). Отнеслись они к нам, как родные, но даже и без взаимности, как мне кажется, я все равно не мог бы их не полюбить. Пожалуй, еще существеннее его самого Зинаида Ивановна, его жена. За иными ее теперешними разговорами и сужденьями угадывается какая-то большая культура вкуса (жизненного и литературного), и эти догадки уводят к другим, еще, наверное, более глубоким и вероятным. И черта сдержанной незаинтересованности ни в чьей симпатии, характерная для всех них, сильнее всего именно в ней.

Вначале меня немало стесняла путаная ложность положенья, которую я наперед предполагал, и не был бы собою, если бы не считал обязательной. Не буду в пространной форме называть ее, ты легко уловишь характер этого сочетанья, извечного и закономерного. Вот его суть, в отрывочном перечисленьи. Объективность (может быть, несправедливая: знаем, дескать, кто теперь подымается и за что отличают) моего имени и занятья; симпатия, готовая наперед: родители с родителями дружили, сам нянчил и пр.2; вероятная непонятность и чуждость при этой гарантированной симпатии (каково же ничтожество, если не трогает даже при такой готовности принять и приветить) и пр. и пр.

Но однажды вечером я именно для себя вознамерился преодолеть эту сложность и почитал им стихи, им и дачникам. И я не знаю их мненья и так и не услышал его, но сам я эти полтора часа пережил очень глубоко, горячо и удовлетворенно и вместе с ними со всеми, что важнее всего, и готов, так сказать, знать о происшедшем за всех них в совокупности. И вот с того вечера все стало легко, и я очень с ними сжился и — (без явной близости) — сблизился. — Да, мама, ты спрашиваешь о лекарстве. Оно дошло и за него благодарят. Бабушке деньги вышлю не позднее 8-го, т. е. на ближайших днях.

Крепко обнимаю вас всех. Лидочку целую особо и с великой нежностью.

Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Датируется по содержанию.

1 Ж. Л. Пастернак защитила в Мюнхенском университете докторскую работу по психологии об акустических аспектах общения.

2 Пастернак вспоминал, что во время наездов отца к Кончаловским в Давыдково, его, тогда еще ребенка, определяли к младшему из детей Кон-чаловских, Дмитрию, который развлекал его, томясь желанием играть со старшими.

511. РОДИТЕЛЯМ

Середина октября 1929, Москва

Дорогие мои!

Я вовремя не поблагодарил за письмо к Женичке и за деньги на подарок ему, тотчас же мною за вас внесенные. Кроме того, прекрасного папина письма к Дм<итрию> П<етровичу> я не передал, потому что он там назван Митей, а сам меня зовет Бор<и-сом> Леонидовичем. Наверное, это глупо с моей стороны, но меня это обстоятельство стеснило.

В Париже скончался 36-ти лет от разрыва сердца Юра Серов. Оля1 при сем случае справедливо заметила, что нас сводят с нею одни панихиды, а то живем неподалеку и совсем не видимся.

Ольга Александровна жила этим летом в Тарусе2. Она бывала в Поленовском доме и теперь с большим чувством рассказывает, как однажды вдова Поленова усадила ее слушать твои воспоминанья о покойном, которым нет равных среди остальных, посланных ей другими художниками3. Она не может забыть этого вечера и волновалась, и гордилась тобой, слушая эти страницы. Я от нее никогда никому таких похвал не слыхал, как при этой встрече с ней, когда она мне все это рассказала.

Куда-то заложил и не могу найти, или затерял квитанцию о посылке бабушке сентябрьских денег. Так как такие квитанции могли стать механическими счетными фишками растущего кредита, то прошу вас самих заменить квитанцию какой-нибудь бумажкой, чтобы не нарушить счета. О том же, были ли в сентябре посланы туда деньги, легко справиться у самой тети Клары. Октябрьскую квитанцию прилагаю. Таким образом все вместе (т. е. сентябрьские + Женя + октябрьские) составит 150 р.

Как-то позвонил А. Л. Вишневский, — сын по всему городу рыщет, нигде моей книжки не достать4, — и затем полились вздохи, воспоминанья, нежности. Спустя несколько дней опять звонок, обязательно к ним с Женею к чаю. Он мало изменился. У него красавец сын 16 лет и дочь, высокая, дашь 18 лет, а ей 14. Дети в мать, а сын очень похож на молодого Трубецкого (сына С. Н. Тр<убецкого>). Говорили, руками разводили, вздыхали. Ваш Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

1 О. В. Серова.

2 О. А. Айзенман.

3 Н. В. Поленова обратилась с просьбой к Л. О. Пастернаку записать свои воспоминания о знакомстве с В. Д. Поленовым для сборника, который она составляла. Полученная ею рукопись воспоминаний Л. О. Пастернака опубликована в кн. «Леонид Пастернак в России и Германии». М., 2001.

4 Борис Пастернак. «Поверх барьеров. Стихи разных лет», 1929.

512. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

6 ноября 1929і Москва

6. XI. 29

Дорогой Павел Николаевич!

Сегодня высылаю Вам «Спекторского»1.

Вероятно, Вам, как заведующему отделом, придется его прочесть. Так как на все вопросы я ответил себе уже и сам, — и в самом безутешнейшем смысле, то назову лишь один, решить который сам не в состоянии.

Я знаю, что это — неудача, но не знаю, мыслимо ли ее оггуб-ликованье? Или еще точнее: мне трудно судить, находится ли ее выпуск в пределах объективной мыслимости, широкой, человеческой, — а не главлитовской (в последнем отношении вещь совершенно невинна).

Потому что со стороны субъективной я этот вопрос решаю положительно. Более того, мне хотелось книжке предпослать короткое предисловье, которое состояло бы из признанья этой неудачи и ее разбора; потому что она не случайна, и в ее выяснившейся неизбежности весь интерес вещи2.

Когда пять лет назад я принялся за нее, я назвал ее романом в стихах. Я глядел не только назад, но и вперед. Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, т. е. фабулы об отдельных лицах, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте. В этом я обманулся, я по-детски преувеличил скорость вероятной дифференциации нового общества и части старого в новых условьях, и той наконец части, о которой принято говорить наиболее фальшиво и лицемерно: точно ее отсутствие ничего, кроме публицистического злорадства, не вызывает и не оставляет в воздухе ощутительной пустоты; точно разлука не является названьем того, что переживается в наше время большим, слишком большим множеством людей3. — Я знаю, в какое смешное бы положенье себя поставил (хотя бы перед Вами), если бы столь крупные предметы стал поднимать только ради объясненья бездарности моей поделки, или просто даже поставил их в связь со столь малым пустяком. Я этого и не делаю. Я только хочу сказать, что начинал я в состояньи некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановится в теченье лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданьи. И как бы я ни был мал, такой ход придал бы мне силы, — а ее рост, при живом росте общих нравственных сил, и есть единственная фабула лирического поэта. Потому что даже и о гибели можно в полную краску писать только когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состоянии роста. Но — довольно сказанного, — если Вы меня поняли, то все остающееся и гораздо более существенное добавите и сами, — и гораздо лучше моего. Скажу только, что в моих словах нет ничего противозаконного, и если здоро-вейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой, нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье4.

А теперь несколько слов совсем в другом роде. Последние V/2 страницы рукописи я отделаю или, может быть, перепишу в гранках. Т. е. самый конец приведен будет в бблыпий порядок. Это во всяком случае; этот недочет будет восполнен, — это в моих еще силах. — Конец станет более тем, чего мы требуем от всякого конца. Вот почему я и попрошу, чтобы корректуру мне предоставили недели на V/2 — на две. — Сейчас я этого сделать не могу, потому что только что отбросил строк сто, тему окончанья развивавших5. Они совершенно немыслимы, потому что их бы неминуемо ложно истолковали. И вот мне нужно на известный промежуток времени отложить работу и перебить чем-нибудь иным. В том, что отсылаю рукопись в таком виде, нет никакого риску. Если бы я не считался со своей уверенностью, я сделал бы это раньше6.

Крепко жму Вашу руку. Всего, всего Вам лучшего. Благодарю Вас за письмо, простите, что не ответил. Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7).

1 Посланная рукопись «Спекторского» состояла из 9 глав, семь из которых ранее публиковались в журналах, а две последние — только что написаны.

2 Предисловие не было написано.

3 Речь идет об эмиграции и разорванности общественного сознания, трагически переживаемого в среде русской интеллигенции.

4 Ср. «И разве я не мерюсь пятилеткой, / Не падаю, не подымаюсь с ней? / Но как мне быть с моей грудною клеткой / И с тем, что всякой косности косней?» («Борису Пильняку», 1931).

5 Первонач. редакция концовки неизвестна, в публикации в «Красной нови» (1929, N° 12) 9-я глава обрывается эпизодом участия Спекторского в разборке конфискованного имущества на Сыромятнических складах. Через год для отдельного издания романа (ГИХЛ, 1931) конец главы был переписан заново.

6 Через неделю, 15 дек., Пастернак посылает деловую записку: «Дорогой Павел Николаевич! Я обошел молчаньем денежный вопрос, так как у меня были расчеты на другой источник. Но они не оправдываются, во всяком случае их реализация задерживается. Если будет возможность, поторопите, пожалуйста, Ленгиз, чтобы не задерживали высылки 40% по пункту 8-му договора. Очень этим обяжете. Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак» (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7).

513. С. Н.ДУРЫЛИНУ

7 ноября 1929, Москва

7 ноября 29 г. Дорогой мой Сережа!

Какая неожиданность! А ведь знаете, я Вашу руку узнал сразу, до вскрытого конверта, хотя и не сразу с первого взгляда, а только после того, как был смутно откинут в то самое прошлое, о котором речь у нас у обоих (в Вашем письме и в моем отрывке) и благодаря которому мы нашли друг друга на таком расстояньи1.

Тут ничего словом не передашь, и потому чудесности происшедшего не буду касаться. Но и о себе ничего не скажу. Вы меня знали; как ни старался я всю жизнь измениться (потому что был всегда в тягость себе) — ничего из этого не вышло, я тот же. Я тот же, и потому Вы легко догадаетесь о моем преимущественном, чтобы не сказать — постоянном, самочувствии последних лет. И, разумеется, я не исключенье. Разумеется, мы увидимся. И если даже это произойдет не завтра, Вы-то ничего от этого не потеряете. В первую минуту мне захотелось написать Вам большое письмо и о многом. Но теперь вижу, что это трудно и ни к чему: как бы мрачный мой тон не омрачил и без того, вероятно, невеселого Вашего настроенья. Вот видите, по какому пустому поводу возникают уже затрудненья. Что же сказать о главном. «Охранная грамота», т. е. № 8 журнала «Звезда», придет к Вам обязательно, но с некоторым запозданьем: у меня этого №-ра нет, и я сегодня же напишу в редакцию, чтобы мне выслали давно испрошенные оттиски. Однако, чтобы предохранить Вас от неизбежного разочарованья, тут же скажу: иркутские Ваши знакомые2 указали Вам страницу для нахожденья строк, приведенных Звягинцевой. И Вы их знаете. Понятно, и контекст, в котором Вы названы, думается, местами будет близок Вам. Вы вправе были бы оскорбиться скупостью моей памяти и неблагодарностью только в том случае, если бы «Охр<ан-ная> гр<амота> «была рядом воспоминаний в прямом и собственном смысле слова. Однако это не так, и вот какое убежденье легло в ее основанье. В конце 26-го года в Швейцарии скончался R.-M. Rilke. Мне так и не удалось написать о нем статью в ближайшие к его смерти месяцы. Самую мысль о ней отклоняли, даже и в предположены!, намечая для нее людей надежнейших и официальных3. Но дело не в том. Пожив в кругу размышлений, такой замысел предваряющих, я подивился тому, насколько не рвусь я узнать его биографию, или лучше сказать, насколько не от нее

жду решающих указаний для работы. И тут то самое, что я чувствовал всю жизнь, я впервые понял очень отчетливо. Что истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его пережившими и на нем сложившимися, и поняв свою жизнь, как часть его сборной, темной и бесконечной биографии, я и принялся ее излагать в этом духе, посвятив свою запись его памяти. Она не кончена еще, мне пришлось работу бросить на первой трети или на половине. Мне пришлось ее упрощать. Так, например, соображенье, легшее в основу этой вещи, было на своем месте выражено лучше и осязательнее, чем тут в письме. И я его вымарал, из боязни, что эта мысль покажется сложной и ее не поймут4. Были и курьезы. Страница о Когене и Марбургской философии вызвала такое осужденье, что мне ради ее сохраненья пришлось сделать сноску в самом начале «Охр<анной> гр<амоты>», где в дальнейшем обещается переоценка всего высказанного5.

Дорогой Сережа, я не могу отделаться от чувства связанности, когда пишу Вам, и как это несправедливо и печально. И это почти вошло в привычку, эта связанность, эта осужденность на ложное толкованье, почти на каждом шагу вероятное, сковала все, что нуждается в дыханьи, чтобы существовать, — жизнь, работу и все прочее.

Благодарю Вас за присланные стихи6. Сильно состарился и я. И я рад старости: в моих обстоятельствах это возраст уместный и подходящий.

Еще раз горячо благодарю Вас за письмо и обнимаю Вас.

Ваш Боря

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. М., 1990. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980. Новое поступление).

1 Ответ Пастернака на письмо Дурылина от 1 нояб. 1929 из Томской ссылки, где он получил от В. К. Звягинцевой выписку из «Охранной грамоты», касающуюся первого знакомства Пастернака с Дурылиным.

2 Имеется в виду профессор Г. С. Виноградов, этнограф и фольклорист, в то время преподаватель Иркутского университета.

3 См. письмо № 371 о разговоре Пастернака с Полонским, который сказал, что о Рильке «дадут писать» только «облеченному доверьем знатоку <...> потому что в эту и без того жгущуюся тему я только масла подолью».

4 В оконч. тексте «Охранной грамоты»: «Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужим, в биографическом столбце его последователей. <...> Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает».

5 Речь идет о сноске: «Все сделанные в отрывке оценки являются воспоминаньями: их жар надо отнести к тем далеким годам, когда они составлялись и впервые произносились. Как именно остывали эти убеждения и какими заменялись, будет показано дальше» («Звезда», 1929, № 8).

6 К письму было приложено стих. Дурылина «К гитаре», написанное в 1928 г.

514. В. С. ПОЗНЕРУ

Ноябрь 1929, Москва Дорогой Владимир Соломонович!

Я выслал Вам «Поверх барьеров» с очень многословной надписью — компенсацией за ненаписанное письмо. Теперь я сообразил, что этот способ замещенья не пригоден. Книга не скажет Вам, что Ваши «Стихи на случай», сверх всякого ожиданья, своевременно дошли1.

Я должен был тогда же поблагодарить Вас и этого не сделал. Вот причина. Мне делали операцию летом, — Вы верно об этом слышали, — и чуть ли не первым моим чтением после нее была Ваша книга.

Известить Вас вовремя о ее полученьи мне было трудно.

Теперь я здоров, и Вам интересно, верно, узнать что-нибудь о ней самой, а не об исправности почты.

Догадываетесь ли Вы, что мне о поэзии судить очень трудно, что я в ней ничего не понимаю? Это не обмолвка, не кокетство, не увертка. Это точное обозначенье того, что я знаю за собой очень издавна, с первого темнейшего детского переживанья искусства. Разумеется, это — недостаток. Но мне бы не хотелось с ним расставаться.

Высылке книги, сколько помню, предшествовали оговорки с Вашей стороны. И напрасно. Вам книжки не надо (и не приходится) стыдиться. Читать ее было приятно. Даже в невыгоднейших для поэзии расположены^, в жанре, например, невыпуклой задумчивости с обезличенным словарем (какова вся 1-я часть), Вы с промежутками, от страницы к странице, нападаете на значащие строчки. Они — Ваши союзницы. От них узнаешь, что и страницы Вашей художественной несамостоятельности (умышленной, разумеется) — восходят к самостоятельно пережитому. Тогда их перечитываешь по-новому. Эта перечитка, не подымая их эстетической судьбы, спасает их творческое достоинство. За ними обнаруживается живой опыт. Всего больше таких защитниц у Вас к концу отдела, на стр. 33, 35, 37-ой. И на 20-той2. И в других местах.

Лучше (в счастливейших своих частях), — второй отдел. Тут есть композиционные удачи. (Стр. 47, 493).

И больше всего их в отделе Ш-м (65,67,69,73,74,78,80,814). Тут есть вещи положительно хорошие.

Но Вы уловите сдержанность в моем отзыве. Слух не обманет Вас. Все, что я Вам говорю, я сказал искренно. Но с примесью грусти.

В самом деле, порядок ли это и так ли справедливо, чтобы большинство писало с помощью средств и на основаньях, только что изложенных, с верой (сбывающейся) в предрешенное расположена читателя, в то, что смысл и образ, звук и краску и силовую игру принесет он сам из дому и из жизни? А немногим несчастным с первых шагов приходится заводить пожизненную драму с ним и его пустыми руками, годными лишь для аплодисментов и свистков в три пальца5. Эти подозрительные уроды тоже любят личные непритязательные записи, как любят их простые, немудрящие люди, вроде революции или Ходасевича. Беда лишь та, что за веденьем записей им приходится заниматься созиданием глаза. Потому что записи их так личны и так просты, что их не прочесть, если читателю не вылепить добавочного, по природе выправленного, воображенья. Отсюда и все «лишнее» и «темное» их. Их образность не щеголянье собственными прихотями, а уход за восприимчивостью ближних6.

Мой милый, это не в Ваш огород. Но я Вам посылаю книгу насвеже переписанную местами7. Я был свидетелем незаслуженного признанья. Я не тщеславен, но сердцу моему это должно было что-то сказать. Я должен был отвести этой безымянной любви место в жизни. И вдруг я стал узнавать, что оно для нее не удобно. Что эта любовь желала бы меня видеть другим; что она лучше моего понимает, кем мне надо быть, и как отблагодарить ее за ее издержки в вере. Следите ли Вы за моими словами, ясно ли Вам, что это разговор не о «славе», а о семейных вещах, о страстях — о грязном белье.

Вы думаете, не обязывал меня некогда Ходасевич, когда уступал, когда допускал меня, когда тема родства пробегала (творческая же любовь есть ответная любовь8).

И вот, выходит, — я его обманул. Он прогадал, оказывается; он передал мне в доверьи, и я не оправдал его. Вы думаете, я не бросился бы его оправдывать? Простите, — я так устроен. Тут тот же секрет, что и в моем непониманьи стихов. Но Ходасевичево «но» в отношеньи меня разрослось в оговорку, ничего от меня не оставляющую. Этого романа не поправить. К тому же до Х<одасеви>ча и далеко. Свободой, взятой в отношеньи меня, он меня освобождает: вина перед ним с меня

снимается. Но вот под боком другой друг, почти с такой же эстетикой и с той же подозрительностью, это — время, т. е. революция. Уж меня ли не баловал этот жизненный спутник, ждал, спускал, терпел подражанье, рассыпался в авансах, допускал.

Трудно, знаете, жить в постоянном сознаньи своей черной неблагодарности. Наимягчайшие сожаленья о «непонятности» (при непрекращающихся знаках расположенья) действуют на меня, как неосновательная ревность человека, всем для тебя пожертвовавшего. И я не зверь, надо, наконец, внять столь милым людям, ну ее к черту истину, если с нею в доме так трудно.

Я бы желал, чтобы в переизданных «Барьерах» Вы усмотрели пример, иллюстрирующий все вышесказанное. Книга переделана с верой в читателя, она запросто беседует с ним, почти плюнув на искусство, т. е. не вынеся драмы в доме. В ней господствует добрый акмеистический лад. Футуризм же, имажинизм и Сельвинский были продолжением символизма. Были — символизмом, т. е. разгоряченно-мировоззрительным, полноприемным искусством. И я.

В конце концов письмо мое — сплошная чепуха. Простите.

Ваш Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. В. Познера, Париж). Датируется по содержанию.

1 Вопреки предупреждению Пастернака, что русские книги, напечатанные за границей, задерживаются на почте и не доходят, о чем он писал Познеру 23 мая 1929, его сб. «Стихи на случай. 1925-1928» (Париж, 1928) благополучно пришел в Москву.

2 Имеются в виду стихи: «Когда несчастье бьет кругом...», «Ты спать решился? Так спокойной ночи...», «Воздушные перебирая снасти...», «Взывает ветр из темноты...».

3 «Однажды под вечер, в обыкновенный день...», «Вот женщина пред зеркалом...».

4 Из цикла «Опасный город»: «На запах города стремятся поезда...», «На пыльном небе солнечный июль...», «У церкви, не успевши на прощанье...», «Осенний дождик брызжет сквозь туман...», «Сади! Таинственные острова...». Из цикла «Черная Венера»: «Вкруг африканского материка...», «Германия».

5 Аналогичные мысли о вере одних в «восприимчивость потомства», которая позволяет им «высказывать только самое главное... в надежде на то, что воображение читателя само восполнит отсутствующие подробности», и о «художниках-отщепенцах мрачной складки», обреченных на то, чтобы «договариваться до конца. Они отчетливо доскональны из неверия в чужие силы» (см. в статье «Николай Бараташвили», 1946; т. V наст. собр.).

6 Упоминание Ходасевича, как «простого, немудрящего» человека, вызвано его недавней рецензией на книгу Цветаевой «После России», где Пастернака удивило следующее признание: «...Если словесный туман Пастернака развеять — станет видно, что за туманом ничего или никого нет» («Возрождение», 19 июня 1928). Пастернак писал Цветаевой по этому поводу: «Неужели меня спасает темнота, и рассейся она, ничего бы не стало <...> Он серьезно так думает?» (письмо JSfe 442).

7 Речь идет о книге: Борис Пастернак. «Поверх барьеров. Стихи разных лет», 1929.

8 Имеются в виду встречи Пастернака с Ходасевичем в 1922 г. в Берлине и их переписка начала 1920-х гг.

515. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

28 ноября 1929, Москва

28. XI. 29

Дорогой Павел Николаевич!

Это совсем не то, что я ждал от Вас услышать1, т. е. не к этому готовился, когда писал Вам свое письмо.

И, прежде всего, я не знаю Вашего мненья и лишен прямой встречи с тем сопротивленьем, которое вырастает рядом с Вами или за Вашей спиной в Ленгизе. Я не знаю размеров и характера неодобренья, или превратного толкованья, или же недоуменья.

Распространяется ли это на всю вещь в целом, или же на отдельные ее части? Или возраженья вызывает один ее конец?

Итак, объяснюсь, как могу, с риском полного непопаданья, так как не располагаю прямыми вопросами, на которые мог бы дать ответ.

Я бы и сам никогда не примирился с таким неподготовленным пресеченьем фабулы, если бы тот же «Сп<екторский>» не пошел у меня боковыми разрешеньями в прозе. Проза выпрямит его конец и его дополнит. Заявленье об этом имеется у меня среди черновых строф конца, и, может быть, этих строф не надо было вымарывать в беловой, как я это сделал2.

Но даже и при таком условии вещь нельзя было обрывать в виде фрагмента, т. е. при ее фрагментарности нельзя было допустить бесформенного конца. Т. е. сознанье границ (замысла или собственных сил) должно было внушить форму окончанья, привести, так сказать, к заключительной мысли, это сознанье обнимающей, как часть. Это я и сделал, и это мне удалось. Т. е. из всей рукописи, находящейся сейчас у Вас, самое достойное (поэтически и по-человечески) место это страницы конца, посвященные тому, как восстает время на человека и обгоняет его. Это была очень трудная, очень неуловимая по своей широте тема, и я доволен ее разрешеньем3. Я никогда не расстанусь с сознаньем, что тут и в этой именно форме я о революции ближайшей сказал гораздо больше и более по существу, чем прагматико-хронистической книжкой «905-й год» — о революции девятьсот пятого года. Все это, так сказать, о себе.

Теперь об инциденте. Категорически ли отказывается отдел от изданья вещи? Если да, то тут ничего не поделаешь, и окончательный разговор об этом надо отложить, примерно, на год, когда проза, являющаяся широчайшим дополненьем к стихотворному эпизоду фабулы, будет налицо и доступна обозренью тех, кто сейчас протестует. Вы легко себе представите, в какое положенье это меня ставит матерьяльно, но насильно ведь не издашься.

Если же есть хоть какая-нибудь возможность уговорить несогласных, то я так верю в Ваше участие и в удачу Вашего заступничества, что мне остается только попросить у Вас прощенья за доставленные беспокойства и заботы.

Или, может быть, я не понял Вашего письма и что-то должен был из него вычитать сверх сказанного прямо? Но ведь это невозможно, не правда ли? Тогда я услышал бы Ваше собственное мненье, и Вы не отказали бы мне в практическом совете, не затрудняя моей догадливости. Правда?

Когда, посылая Вам вещь, я в письме заикнулся о том, что, может быть, Вам придется ее читать, я хотел этим сказать, что примирился бы с читкой рецензентов и прямо на Ваше время не хочу притязать. Опасений о ее нецензурности у меня не могло быть, потому что все ее части в свое время печатались в повременных изданьях без возражений, как будет напечатан и ее конец4. Как мне резюмировать сказанное выше?

Уломайте, слезно прошу Вас, кого надо, если это хоть сколько-нибудь возможно. Не задержите ответным известием. Никаких переделок на себя взять не могу, потому что не в состояньи их буду выполнить в той неопределенной плоскости, в какой они могут быть испрошены. И в то же время прошу на известный срок предоставить в мое распоряженье гранки, чтобы переработать вещь, т. е. привести ее в менее фрагментарный и более гармонический вид, что, легко может статься, и почти наверняка совпадет со смутными пожеланьями отдела. Но эта работа может быть про-

изведена только в корректуре (так было с 1905-м годом) и только при условьи, что я буду свободен в правке и не связан обещаньями, т. е. что матерьял будет принят в его теперешнем виде.

Мне кажется, что фрагментаризм вещи не преступает границ дозволенного. Еще раз повторяю: на мой взгляд, спад фабулы возмещен (формально, с точки зренья пропорций) и оправдан поэтически страницами, посвященными смыслу этого спада, как прямой теме конца. Вот что, по моему разуменью, надо сделать с вещью в окончательной обработке: ее надо сжать, соразмеряясь с названными страницами заключенья. Это я и имею в виду, говоря о гранках.

Еще и еще раз выражаю уверенность, что если бы Вы на все это смотрели по-другому, Вы бы сами об этом мне сказали. Потому что в своей книге Вы дали немало доказательств того, как живо и тонко Вы улавливаете случаи тождества плана творческого с социальным, а стало быть и случаи социальной несостоятельности, совпадающей с несостоятельностью художественной5. И, допустим, тут этот случай был бы налицо. Неужели Вы ничем бы об этом не обмолвились, сколь угодно мягко и отдаленно, а довели бы далекость своих намеков до полного испаренья темы, до бесследного ее исчезновенья среди слов об отделе, препятствиях и т. п.? Мне кажется, я этого ничем у Вас не заслужил.

Итак, либо дело непоправимо, т. е., во всяком случае, поправимо не скоро, и не так, как думает Ленгиз (путем писанья заною заключительной части?); либо же оно поддается благополучному разрешенью и последним, — как мне ни стыдно в этих незаслуженных расчетах на Вашу помощь, — я могу быть обязан только Вам. —

Говорить ли, что трудность этой задачи (если она Вам по сердцу) и значенье вероятной Вашей услуги я наперед измерил? — Ведь я не ребенок.

Скоро выйдут «Две книги» 2-м изданьем6. Я их выменяю на соответствующие экземпляры «Поверх барьеров», потому что все авторские роздал случайным гостям и посетителям, и на долю действительных друзей и людей литературы ничего не осталось. Разумеется, это не общее правило, и среди 25-ти казусов были случаи раздачи по действительному назначенью. Но все это происходило явочным порядком, дома. На днях получу эту возможность.

Всего лучшего. Ваш Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. И, ед. хр. 7).

1В письме Медведева шла речь о колебаниях Ленгиза в вопросе об издании «Спекторского». См. об этом в письме № 520: «В Ленгизе не знают, издавать ли Сп<екторского> или не издавать».

2 Эти строфы неизвестны.

3 Речь идет о строфах 17—30 восьмой главы «Спекторского» по публикации в «Красной нови» (1929, № 12), в которых зарисовки разрушенного быта Москвы 1919 г. чередуются с размышлениями об общественных сторонах уклада, широтой исторических масштабов уничтоживших возможность существования индивидуальной биографии. В отдельном издании романа (ГИХЛ, 1931) эти строфы выпущены. Пастернак считал их «единственно подлинно новым», что ему «посчастливилось сделать за все последние годы» (письмо № 522).

4 Две последние главы были опубликованы в «Красной нови» (1929, № 12).

5 «...Поэтическое произведение, как и всякое конкретное высказывание, — говорится в «Формальном методе в литературоведении», — является реально неразрывным единством смысла и действительности на основе единства проникающей его снизу доверху социальной оценки» (С. 169).

6 Борис Пастернак. «Две книги». Стихи. М.-Л., ГИЗ, 1930. Сборник включает книги «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции».

516. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

1 декабря 1929, Москва

1. XII. 29 Дорогая Марина!

Буду писать, точно не тебе, точно не молчал, точно все по-другому. А то не написать никогда. Итак, первое. Я здоров. Ты напрасно тревожилась. И тому дикому свинству, что я тотчас же тебя не успокоил, нет имени. Мне делали операцию летом, вынули кусок кости из нижней челюсти, предварительно перед этим удалив шесть зубов. Там была костная киста, цинготное следствие голодных лет. Операция с точки зренья внутренней хирургии несерьезная, но очень мучительная. В том месте проходит центральный лицевой нерв, операцию производили почти без анестезии, по причинам в которые вдаваться было бы долго, все сделали в один прием (зубы и вскрытье и пр.), дело длилось 1'/2 часа, когда задели за лицевой нерв, я от боли потерял сознанье. Именно мучительность этого всего, вместе с некоторыми частностями, которые осложнили бы и без того пространный рассказ, и повела к разговорам и слухам. Вот и все.

Но все что ты пишешь о крови, — верно. Кровь ли или еще что, дело не в том, а в том что конечно наша работа не «литература» и сами того не зная, мы все время расходуемся. Я наверное тебе писал не раз о странных и нестерпимых болях, периодически случавшихся раза по два в год в теченье шести последних лет, и всегда в полосы разгара работы, когда пошатывался сон и пр. и пр. Это вот и разрушалась кость в подбородке. Но внешне я не изменился после операции, она произведена изнутри, без наружного шва, и кость, по-видимому, регенерирует.

Ты читала повесть?1 Там есть несколько ничтожных опечаток, главная же опечатка та, что не указано, что это начало романа, и, примерно, — первая его треть. Но только она пока и написана. «Повесть читала собой» — говоришь ты, и я понял эти слова. Разумеется, ты права. Но ведь это не все еще. И если бы даже было все, то ведь я еще не умер. И если бы я даже и умер, то ведь жива еще ты. Видишь, сколько еще глав впереди. Тебе понятно? Жаль, если нет, потому что подымать эту тему словесно, и в письме, сил нет. Да и права. Вычеркни, сделай милость, весь этот абзац из письма и из памяти.

Существую я одиноко и невесело. Живу мечтой, давно тебе известной2. И опять, не надо ничего предрешать: говорю о немногом, житейском, детском, вольном. Что земля и люди разошлись врозь для меня, что ближайшие мне люди не на той земле, что мне всего ближе. Прежняя цель остается в силе. Приближаюсь ли я к ней? Я думаю, что да. Но ты видишь, как медленно, и чем дальше, тем все медленнее я иду к ней. Все что ты прочтешь моего — этапы на пути к ней. И не творческие, разумеется, а — заработочные. Но не хочется ныть, да и не до того.

Я совершенно вне здешней литературы, т. е. дружбы мои не тут. Люблю Мейерхольдов, его и ее (это значит: вижусь все-таки раз в два года). Познакомился кое с кем из философов, с музыкантами, и только обнаружил, с большим опозданьем, что мне всего живей и милей там-то и там-то, как выяснилось, что они знают П. П. Сувчинского, а поводом к узнанью послужил Прокофьев, с которым встретился у Мейерхольдов. Там же был и пианист Генр<их> Нейгауз. И, можно сказать, благодаря вам (потому что много этого духу было на вечере) свиделся с Маяковским, подошедшим к концу, и узнал, чтб он пишет, после почти 3-х-лет-ней разлуки3.

Давай писать друг другу легкие письма, о чепухе, о житейском. Но перед этим скажи, как ты думаешь поступить с письмами R. M. R<ilke> к тебе?4 Мое единственное разделит участь твоих. Но у меня на этот счет нет определенного мненья (я его издателям не посылал)5.

Ты знаешь, я перевел оба его реквиема, и напечатал. Трудно было, и ты будешь недовольна. После операции мне две недели нельзя было разговаривать, и тут я именно и перевел один (An eine Freindin*). Если увидишь (он тоже в Новом Мире6) не суди строго, и, кажется, опечатки есть и там. Но переводилось хорошо, я находился все время в возбужденьи после принятых мук (первый случай неотвлеченного переживанъя после долгого поста этих глубокомысленных лет) и Женя была удивительна, за дверью операционной и еще долго потом. И — молчать, иметь благовидный предлог, причину и основанье для молчанья, молчать без страха, что в него вложат какой-нибудь смысл, это стоит испытать, это — вроде музыки!

Тут кончу и скорей отошлю, чтобы не залеживалось. Как получить «Молодца» с Гончаровой?7 Не будет ли оказии? И проза ли или не проза — гибель семьи, что ты пишешь?8 Лучше бы проза. Хотя ты в другом положеньи чем я, ты и за пределами лирики и в самых широких просторах остаешься поэтом, у меня же повествовательное в стихах ни разу не удалось.

Пожалуйста, передай С<ереже>, что я люблю его, нуждаюсь в нем и никогда не забываю. Из Гёте ни для тебя, ни для меня ничего не вышло9.

Обнимаю тебя. Б.

* По одной подруге (нем.). 367

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 170).

1 Публикация «Повести» в «Красной нови» (1929, № 7).

2 Имеется в виду поездка за границу на длительный срок.

3 После выхода Пастернака из «Лефа» летом 1927 г. они с Маяковским не виделись.

4 «Через пятьдесят лет, когда все это пройдет, совсем пройдет, и тела истлеют, и чернила просветлеют, когда адресат давно уйдет к отправителю <...>, когда письма Рильке станут просто письма Рильке — не мне — когда мне уже не нужны будут письма Рильке, раз у меня — весь Рильке <...> Те семь писем, лежащие у меня в ящике <...> с его карточками и последней элегией отдаю будущим <...> Это будет день воскресения его мысли во плоти. Пусть спят до поры, до — не Страшного, а Светлого суда» (М. Цветаева. Несколько писем Райнера Мария Рильке // «Воля России», 1929, № 2).

5 Отослав отцу письма Рильке для включения их в собр. соч., Пастернак задумался о судьбе полученного им письма от Рильке. Оно вошло в собр. соч.: R. M. Rilke. Gesammelte Briefe in sechs Banden: Briefe aus Muzot 1921 bis 1926. Bd. 5. Leipzig, 1935.

6 В «Новом мире», 1929, № 8-9.

7 Издание поэмы «Молодец» по-французски в переводе Цветаевой с иллюстрациями Н. Гончаровой не состоялось.

8 Имеется в виду «Поэма о Царской Семье», о которой, судя по выпискам О. Н. Сетницкой, Цветаева писала 29 окт. 1929 Пастернаку: «Пишу большую вещь — гибель семьи» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 834). Работа над поэмой продолжалась до 1936 г., сохранились некоторые отрывки.

9 Имеется в виду несостоявшийся заказ на работу над переводом «Фауста» Гёте. Издание Юбилейного издания собр. соч. Гёте растянулось на 15 лет; первые тома вышли в 1932 г., 5-й с «Фаустом» в переводе Н. Холод-ковского — в 1947 г. Пастернак надеялся делать этот перевод вместе с Цветаевой (см. письма № 492 и 505).

517. РОДИТЕЛЯМ

2-3 декабря 1929, Москва

Спасибо большое за письмо. Все заняты и работают1, одному мне досужно. Замечанье о том, что Женичка начинает слегка читать по-французски, надо понимать в

том смысле, что он знакомится с азбукой. На ритмику он ходит к Александре Андреевне Эгиз, которая всегда его о всех вас расспрашивает и очень вам кланяется. Изредка старые знакомые выныривают с неожиданными симпатиями. Привет от Ан. Ив. Трояновской (младшей).

Это не письмо, разумеется. Обнимаю вас крепко, скоро напишу.

3. XII. 29. Дорогие мои!

Вчера получили посылку, благодарностям числа нет, радость безмерна, спешим поскорее дать знать о своем веселье. Мне просто вас жалко, вам не дано это испытывать, как нам. Чай — настоящее состояние, и какой (!) — мы от такого отвыкли. Женя большая знай прыгает на одной ноге: чулки там у нее, берет, перчатки, все как на заказ.

Вкладываю залежавшееся посланье внука. Женя записывала карандашом, мне для переписки сдали. Извините, что от руки, не на машинке. Зная мою слабость, Шура благороднейше отказался от чаю. Тронут до края, но с трепетом жду будущего: боюсь, что неспроста, и скажется. Вдруг бочку кофе у вас попросит, и я буду доводом, — и вот тебе и чай. Они не пишут, потому что, правда, заняты. Занят и я, но так как все мои мытарства исходят чернилами, — доходит до вас в виде писем и моя невозможность писать их. Завтра на тачке повезу опускать в почтовый ящик претолстую пачку. И все — за границу. В Лондон, в Варшаву, вам в Берлин, в Щриж — русское, в Нью-Йорк по-французски, в Пасадену (в Калифорнии) — и каждое, за недосугом, страницах на десяти. Оттого и в смешливых чувствах: вторые сутки пишу. А половина — самым близким сердцу людям, год не писал, вдруг узнали про летнюю операцию.

Вдруг полезла музыка. Познакомился с Прокофьевым у Мейерхольдов. Или писал уже?..

Многоточье потому, что долго рассказывать, а никакой многозначительности или грусти за ними ни в помине. Прекрасно сделал я, что ее бросил. Надо было пианистом быть, а не «самородком». Не бросил бы, ходил бы теперь бездонным... калекой.

Вот, говорят, долги надо отдавать. Была у меня 500-рублевая ссуда из Лит. фонда Госиздата. Была недавно получка по договору и предстояла еще другая из Ленинграда, по почте, за высланную в те же дни рукопись. Стеченье обстоятельств было благоприятное, я решил, что другого такого случая не будет. Возвратил 500 р. И что же! На другой день получаю из Ленинграда письмо, что рукопись задержана по... неясности ее общественных тенденций — и денег не будет2. Ш, гм, 500,500, 500, 500 и т. д. и т. д. и т. д. Пока это еще entremets*, полный отказ подадут на сладкое.

К письму присовокупляю почтовую расписку на 115 руб., отосланные тете Кларе. Это значит 50 ноябрьских, 50 декабрьских да

* легкое блюдо перед десертом (фр.). 369

15 р. даме, ухаживающей за бабушкой. Ты мне, мама, о последнем ничего не писала, а я получил от В. И. Лапшова3 открытку, где говорилось об этой предполагаемой посылке в размере 25 р. и В. И. находил, что это много, и просил ограничиться пятнадцатью. Что и сделано.

Ко второму госиздатскому изданью (а со всеми «Сестрами» оно четвертое) стихов дал без твоего разрешенья голову твоей работы4. Срепродуцировали, как тут умеют, лучше не могут. Заставили меня дать тут же свой автограф, во имя отца и сына, как ты выражаешься; и чтоб их черт подрал, карандаш дали жирный, сколько ни молил, нет и нет другого. Выходит, что я тебя перечернить хочу. Прилагаю. Не запрещай, пожалуйста, да и все равно поздно. Все в восхищеньи, на стены вешают и удивляются, как при такой голове твоей руки я мог терпеть всякие фотографии и главное всевозможные... «творческие разрешенья». О деньгах не заикался, все равно были бы пустяки, да и тех не дадут.

Но только ты, пожалуйста, этой темы не подхватывай: о сыне неблагодарном, о лакее и великом человеке и пр. и пр. Оба вы, ты и мама, любили ловить меня именно на этом. Ничем этим, конечно, в моем случае и не пахнет. Напомню автобиографическую справку, так однажды тронувшую вас, где о вас было сильнее и полнее, чем о самом себе5. Только стиль мой таков, что не сразу все у меня сказывается. И об этом долго говорить. Я совершенно лишен хвастовства или тщеславья, и никакие щелчки этого поверхностного свойства меня не могут огорчить. Но я нуждаюсь в объективном накопленьи какого-то (одному Богу ведомого) достоинства вокруг своей судьбы, для того, чтобы стать говорить о вещах, о которых мог бы сказать давно. И это не оглядка на людей, а нечто физическое, вроде того как воздушные пары нуждаются в давленьи, чтобы сформовать облака и разразиться дождем, снегом или градом. И разумеется, все это гораздо интереснее этой аналогии, я говорил, этого в двух словах не объяснить.

Крепко обнимаю вас обоих. Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Приписка к письму жены, в котором она благодарила за подарки и на вопрос родителей по поводу остутствия писем от Шуры и Ирины писала об их занятости. Пастернак внизу страницы на свободном месте уточнял ее слова о Жениных занятиях французским и передавал родителям поклоны от друзей. К письму приложена записка маленького Жени.

2 См. письмо Медведеву № 515.

3 Владимир Иванович Лапшов — муж Клары Исидоровны, сестры Р. И. Пастернак.

4 Портрет, сделанный Л. О. Пастернаком в 1924 г., был помещен в изд. «Две книги». М., 1930.

5 Речь идет о заметке из сб. «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков» под ред. Вл. Лидина. М., 1926. Л. О. Пастернак в письме 29 окт. 1926 писал о своей растроганности ею: «На днях попалась мне на глаза книжка "Автобиографии" (или биографии — не помню) русских писателей, где я, конечно, первее всего отыскал тебя: прекрасная, с большим тактом, серьезная, кратковразумительная автобиография, выделяющая тебя особенно этой формой и сжатостью среди болтовни остальных, "обрадовавшихся случаю". Конечно меня до слез тронуло твое преувеличенно приписанное мне и маме значение!..» (там же. С. 122—123). См.: «Автобиография», 1924 («Многим, если не всем, обязан отцу...» — т. V наст. собр.).

518. Д. П. СВЯТОПОЛКУ-МИРСКОМУ

4 декабря 1929, Москва

<... > А вот случай. У нас приятельница, Р. Н. Ломоносова, живущая когда в Англии, когда в Америке. В 26-том году в Германию ездила моя жена, и для нее эта дружба, завязавшаяся раньше путем переписки, нашла воплощение в живой и все оправдавшей встрече. Я же ее никогда, как и Вас, в глаза не видал. Пять лет тому назад ей обо мне написал К. И. Чуковский, речь шла о переводе Уайльдовских Epistola in carcere et vinculis, с авторизацией, которую ей легко было достать для меня1. Все делалось без моего ведома. К. И. знал, что я бедствую и таким образом устраивал мой заработок. Но французский и английский языки я знаю неполно и нетвердо. До войны говорил на первом и понимал второй, и все это забылось. Сюрпризом, который мне готовил К. И., я не мог воспользоваться. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р. Н. человек не «от литературы», и только в самое последнее время я мог убедиться, что мои поделки что-то говорят ей (она мне писала про «Повесть»). По всему я бы должен был быть далек ей. Она живет миром недоступным мне (я бы должен был родиться вновь, и совсем совсем другим, чтобы в нем только найтись, если

не очутиться); она иначе представляет себе мой обиход и мою обстановку. Ее занимает движенье европейских вещей, т. е. по ее счастливой непосредственности прямо говорит ей о движущихся под этим глубинах. Я не менее ее люблю Запад, но мне надо было бы уйти от явности, от злобы дня в историю, от заведомости в неизвестность, чтобы свидеться с глубиной, с которой она сталкивается походя, уже на поверхности. Она — жена большого инженера и профессора, Ю. В. Ломоносова. Они никогда подолгу не заживаются на одном месте — журналы, путешествия, переезды, общественность — все это она, видно, осиливает, смеясь. — И вот, меня волнует один ее почерк, и это можно сказать Вам, а не ей, потому что это совсем не то, что может получиться в прямом к ней отнесеньи.

Иногда сюда приезжают просто путешествующие англичане и американцы, ездят, как съездили бы в Индию, или Грецию, или в Тунис. Было два случая, когда это были знакомые Р. Н. с рекомендацией от нее. Так, осенью, мы были в гостинице у некой Ms. M. Kelsey, седой, порывистой, горячо во все вникающей, — милой — дамы2. В исходе долгой беседы она спросила, не имеется ли чего в переводе из того, что она записала под мою диктовку (я назвал ей с десяток имен прозаических и трех или четырех поэтов) и нет ли статей по-английски или по-французски. И тут жена назвала Вашу статью в Mercury3. Оно (т. е. отступление. — М. Ц.) послужило поводом к рассказу о Ломоносовой, а не может быть той дряни, которая этим обстоятельством не была бы обелена. Я уже познакомил М<арину> И<вановну> с нею. Теперь знакомы и Вы. <...>

Впервые: «Минувшее», 1989, № 8. — Выписка, сделанная Цветаевой в письме к Р. Н. Ломоносовой 1 февр. 1930 (Russian Archive, Leeds University).

1 Письма Пастернака к Святополку-Мирскому пересылались через Цветаеву. Переписывая этот текст, Цветаева объясняла Ломоносовой: «Это отрывок из письма Бориса Святополку-Мирскому (профессору русской литературы в Лондоне, единственному в эмиграции критику, ненавидимому эмиграцией, англичане любят и чтят), переславшему письмо на прочтение мне <...> Об этом дохождении письма Борис не должен знать. Это его смутило бы» (М. Ц. Собр. соч. Т. 7. С. 319).

2 Мери Келси — активная деятельница квакерского благотворительного движения. См. о знакомстве с ней письмо № 519.

3 Имеется в виду статья Святополка-Мирского «The present state of Russian letters* (The London Mercury. July, 1927). В этом месте Цветаева,пе-реписывая для Ломоносовой письмо Пастернака Святополку-Мирскому, делает пропуск и пересказывает содержание: «Тут следует чисто пастерна-ковское, в самом прямом смысле отступление, как перед врагом — перед хвалой ему Мирского» (там же).

519. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

4 декабря 1929, Москва

4. XII. 29

Раиса Николаевна, дорогая! Мало интересного скажу я Вам на этот раз. Только что писал в Лондон Св.-Мирскому после полуторагодичного перерыва1, и письмо вышло неприлично длинным, потому что вдруг заговорил о Вас, и рассказ об этой изумительной, почти незатронутой словами и фактами дружбе и о Вас, ее главном лице, дареном и далеком, распер бока конверта, как гармонику.

Тишину Вашего дома, о которой Вы писали, очень легко увидать на приложенной фотографии. Мы ею любовались. Но Вы удивительны. Вы в чем-то извиняетесь, касаясь встречи с Mrs Kohn2. Вы, разумеется, знаете, что извиняться Вам в том, что Вы меня растрогали и доставили мне радость (независимо от практических перипетий последней), — абсурдно. Но это же должен подтвердить и я. Итак, подтверждаю. Вам не только не надо извиняться передо мной в случаях Вашей благороднейшей

невиновности, но у Вас даже есть право и огорчить меня, не извиняясь. И как мне его не любить?

Неудовлетворенность, которую должна была ощутить Mrs Kohn от нашей встречи, она может быть ошибочно относит к случаю с передачей. И может быть в неловкое положенье поставил Вас я (как уже и писал Вам тогда же), не оправдав Ваших надежд и Вашей рекомендации. Однако я не прошу прощенья, потому что причины всего этого вне меня. Причины этого лежат в непредставимости нашего общего русского обихода последних лет. Вещам неуловимым, но разлитым в воздухе, основным, всех касающимся и т. д. я поддаюсь почти по-женски. И если я говорю, что теперешний наш обиход трудно себе представить, то это значит, что всего труднее себе представить — мой собственный и людей моего склада и в моем положеньи. Разумеется, я тот, кому Вы пишете, кто радуясь отвечает Вам, и не договаривает, и посылает Вам поклоны в «Повести» и т. д. и т. д. Но я не тот, кому Вы поручаете Ваших друзей. Они должны разочаровываться, не столько во мне (это меня не интересует, потому что касается прямо меня, и тенью, которая при этом на меня падает, я Вас не задеваю). Они должны разочаровываться в моем поведеньи, в порядке встреч, в несоответствии перспектив от этого знакомства с тем, на что они могли рассчитывать, зная Вас. И вот только в этом подчеркнутом отрезке меня их разочарованье интересует и печалит. Повторяю: это не проявленье небрежности к Вашей рекомендации, а то, что я живу совсем не так, как надо жить, чтобы подхватывать людей и им что-то открывать и показывать. Позвольте мне не разъяснять этого во всех подробностях: это — беднейшая из тем, но это тема нашего существованья.

Причины эти могли сказаться при знакомстве с Mrs Kohn. Но они выступили с такой фатальной остротой в судьбе моего знакомства с достойнейшей и очень нам понравившейся Miss Kelsey3, что просто страшно, чтб она должна обо мне думать. И как назло я занят был труднейшим (тематически и политически) окончаньем одной вещи4, которую по договору должен был сдать прошлой зимой, и которую сел дописывать именно в это время, под градом участившихся напоминаний из Ленинграда. Но суть не в том, что мне было некогда. Нет, нет. А в том, что я со дня на день надеялся ее кончить и вздохнуть свободно, и потом повидать Miss Kelsey вновь, в самый миг этого вздоха: я рассчитывал, что эта ремесленная и мгновенная радость хоть на минуту подымет над мизерным и подневольным уровнем первой встречи человека, ей названного Вами. Но я переоценил свои силы, хотя и опоздал всего на два, на три дня. И Miss Kelsey никогда не узнает, какою краской стыда и невольного позора она меня покрыла, не известив заблаговременно о своем отъезде. Конечно мы бы еще увиделись, и ряд случайных обстоятельств, отягчающих мое положенье перед ней, был бы устранен. Я не знаю ее адреса, и пользуюсь Вашим, чтобы переслать ей мои пространные извиненья. — Все же это в сумме совершенные пустяки, и довольно об этом.

«Повесть» — начало романа. Не знаю, напишу ли я его. Но это третья, приблизительно (по размеру) часть задуманного целого. Ошибкой редакции было не указать этого. Концом этой части я был как раз занят весной, в бытность тут Mrs Kohn.

И это трудно выразить, но воздух повести Вы могли признать, как в каком-то отношеньи знакомый, свой и родной: Вы в нем побывали. Я не мог бы Вам назвать места или лица, где Вы бы себя нашли (и я этого не умею, не в этом мое назначенье), но в лучших частях ее состава Вы принимали участье, чему-то Вашему я искал выраженья, какую-то высоту, подсказанную Вами, брал для Вас; короче, все это явилось и с Вашей помощью. Разумеется, Вы об этом догадываетесь, и о том, что житейски это ровно ничего не значит, что этим нельзя воспользоваться, что это никому ничего не прибавляет, и не отымает ничего. И вместе с тем это теплее всякого жара, и

больше и точнее любого вида преданности. — Простите мне все убожества этого отвратительного письма. Так ли должен я говорить с Вами при всем том, что я о себе знаю! И содержанье этих последних страниц не ново. Оно известно Вам. И в замечаньях о «Повести» нет ничего неожиданного. Я не мог не писать Вам чего-нибудь такого уже и раньше, и как раз в те весенние дни. И наверное так и сделал. Или меня что-нибудь остановило? Теперь не помню. А литературно это вещь уж не ахти какая, и в журнале много замечательного. Так например я в вос-хищеньи от Толстовского «Петра» и с нетерпеньем жду его продолженья5. Сколько живой легкости в рассказе, сколько мгновенной загадочности придано вещам и положеньям, именно той загадочности, которою дышит всякая подлинная действительность. И как походя, играючи и незаметно разгадывает автор эти загадки в развитии сюжета! Бесподобная вешь.

Посылаю письмо без Жени, чтобы не задерживать, Она на заводе, пишет кузнецов6. Мне попадет, когда она узнает, что письмо послано без ее участия. Этот пробел восполню в ближайшем следующем письме.

Крепко Вас любящий Б. Я.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Пасадену, где в Калифорнийском технологическом институте работал Ю. В. Ломоносов.

1 См. письмо № 518, часть которого Цветаева переписала в своем письме Ломоносовой.

2 В письме к Ломоносовой 16 мая 1929 Пастернак описал свою встречу с группой американских психологов, среди которых находилась приятельница Ломоносовой Эстер Кон, привезшая от нее письмо.

3 С Мери Келси Ломоносовы познакомились в апреле 1929 г. в Филадельфии, где она возглавляла общество культурных связей с Советской Россией.

4 В это время дописывались заключительные главы «Спекторского».

5 В «Новом мире», 1929, № 7, где напечатана «Повесть», была начата публикация романа А Н. Толстого «Петр Первый». См. отзыв Пастернака в письме № 520.

6 Е. В. Пастернак писала свою дипломную работу. «У Жени теперь очень трудное и тревожное время, — писал Пастернак родителям 15 дек. 1929. — Ей сдавать через три дня дипломную работу по живописи. Она изобразила работу в кузнечном цеху металлургического завода <...> Работала на самом заводе, но в движеньи это было трудно, и дни были темные, а дома ей негде мольберт поставить. Работа не кончена, несколько счастливых кусков среди больших порций подготовительной мазни. Увидим, что будет, но дома негде повернуться, условия для работы ужасные» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 256).

5 декабря 1929, Москва

5. XII. 29

Дорогой Николай!

Горячо благодарю тебя за письмо. «Поэм» с «Вырой» у меня нет, хотя все в отдельности знаю по прежним изданьям, а «Выру» по «Звезде», и я был у тебя, когда ты ее писал, и Ракова как бы пережил1. Страшно буду благодарен за книгу, если пришлешь. «Барьеры», за двумя-тремя исключеньями, я роздал кому попадется, все больше случайным посетителям, чтобы поскорей уходили. Но и эту скучную книгу ты получишь. Я обменяю авторские второго изданья «Двух книг» на барьерские, и ждать этого придется недолго. Между прочим, я тебя безбожно плагиатировал в основной мысли, заложенной в окончанье «Спекторского». Потому что если в двух словах выразить то, что со мной делалось, то это были — поиски героя2. Ты скажешь, что это слишком общо, но можешь быть уверен, что пустыми каламбурами я бы тебя угощать

не стал и, думается, знаю, что говорю. Это было следованье по направленью твоей метафоры, которая шире и обязательнее словесного названья, точно так же, как «Облако в штанах» все еще поэзия, а не заголовок, и можно быть под властью всей поэмы, вторично вложенной в эти два слова. Еще точнее я мог бы сказать о «Сестре», но это не столь удобно. Со всем, о чем ты пишешь, я глубоко согласен и не так наивен, как тебе, верно, кажется. Я уверен, что литература никому не нужна, и только в этом вижу достоинство эпохи3. Я стал бы ликовать, если бы об этом заявили открыто и свернули издательства и закрыли бы лит. газету и лит. отделы в других. Я только оставляю про себя право раздражаться по поводу того, что этого не делают и ради какого-то отвода глаз ставят нас в положенье детей, не без баловства даже.

В одном я не согласен с тобой: мне нравится «Петр Первый»4, и я не могу понять, как это он тебя оставляет равнодушным. Дай его Марии Константиновне: она счастливее и свободнее нас с тобой, она не опутана последствиями дружб каждого из нас, которых нельзя пресечь без того, чтобы не сделать людей (может быть, только в нашем дружеском мненьи) несчастными. Комкаю и кончаю. Ты все понимаешь! Но «Петр»! Молодец Толстой. Как легко, густо, страшно, бегло все двинуто. Как не перестает быть действительностью в движеньи, как складывается в загадки (не сюжетные, а историографические), как во всех изворотах, на всем ходу разъясняется!

Впрочем, дар легкости в прозе и у тебя очень велик, и мы, может быть, в разном положеньи. Ты был вправе недооценить его.

Получил от Эрлиха обе книжки5. Напрасно он стыдится «Перовской». За вычетом двух-трех действительных штампов, где он рассуждает о штампе, а не жертвует собой ради него, все в ней — настоящая поэзия. Она вообще без самопожертвованья немыслима. Я жертвовал собой и во имя прозрений и во имя традиции. Первое делалось, когда любилось легко и когда пристрастим дифференцировались. Когда одни любили одно, а другие — другое. Когда же настало такое положенье, когда все будто бы любят одно, а на самом деле ничего не любят, я полюбил традицию, чтобы не вовсе распроститься с этим чувством6. Меня не может не трогать Перовская. Я сам все эти годы жертвую собой для штампа. Я знаю, что и это поэзия, мне это близко. Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься. Писать ему не буду. Не хочется размазывать в виде трактата и в упор человеку то, что тут сказалось коротко и гладко. Передай, что захочешь, и мою благодарность. Последняя новость. В Лен-гизе не знают, издавать ли «Сп<екторского>» или не издавать. Но ты молчи, не звони. Храни в тайне, — есть соображенья. Обнимаю. Твой Б.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. Н. С. Тихонова).

1 Поэма «Выра» вошла в книгу Тихонова «Поэмы» (М.-Л., 1928). Впервые публиковалась в «Звезде» (1927, № 11). Пастернак виделся с Тихоновым во время приезда в Ленинград в сентябре 1927 г., когда тот писал свою поэму. Раков — герой поэмы, комиссар рабочей бригады, погибший 29 мая 1919 г. в деревне Выра, около Гатчины, когда бывший Семеновский полк перешел на сторону белых.

2 Несколько строф 8-й главы «Спекторского», посвященных концу индивидуальной биографии человека, можно выразить метафорой, заложенной в названии книги Тихонова «Поиски героя» (Л., 1927): «Недоуменьем меди орудийной / Стесни дыханье и спроси чтеца: / Неужто жив в охвате той картины, / Он верит в быль отдельного лица?»

3 Ср. «В последние годы жизни Маяковского... не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого... скажем проще, прекратилась литература...» («Люди и положения», 1956).

4 Имеется в виду первый том романа А. Н. Толстого «Петр Первый», публиковавшийся в «Новом мире» (1929, № 7-12).

5 Вольф Эрлих. «Софья Перовская». Поэма, 1929; Вольф Эрлих. «Право на песнь. Воспоминания о Есенине», 1930. О знакомстве с Эрлихом в гостях у Тихонова см. письмо № 378. См. также письмо № 526.

6 Разговор о сознательной переориентации на традицию, штамп и отказе от раннего периода поэзии, строившегося на прозрениях. Здесь даны творческие основы будущей книги «Второе рождение» (1930—1932).

521. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

5 декабря 1929, Москва Дорогой Павел Николаевич!

Отойдя немного от недавно сделанного, по прошествии некоторого времени, взглянул сегодня непредвзятым взглядом на конец «Спекторского» и простить себе не могу двух последних моих писем к Вам. Концом удовлетворен совершенно, от возникших редакционных сомнений отделяюсь абсолютно, изумляюсь им и никогда не пойму. С легким сердцем советую Вам: печатайте вещь. Всякое препятствие буду рассматривать как случай внешней и посторонней силы, искать вразумленья у нее не стану, философии своей перестраивать на основании инцидента не буду. Это — во исправ-ленье и в уточненье сказанного в письме. Спешу поделиться с Вами этой радостной уверенностью. Вот что только и обращено к Вам. Остальное — мимо, в направленьи неведомого объекта. Ваш Б. П.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. II, ед. хр. 7). Датируется по почтовому штемпелю.

522. И. С. ПОСТУПАЛЬСКОМУ

9 декабря 1929, Москва

9. XII. 29

Милый Игорь Стефанович!

Пользуюсь указаньем адреса на бандероли, чтобы поблагодарить Вас за летнее подношенье1. Правильно заметили Вы и сами: первое стихотворенье — вне всякого сравненья с остальными и лучшее в сборнике. Не плоха также одиннадцатая страница.

Та бандероль была получена в мое отсутствие из Москвы. Вместе со множеством скопившихся писем и пакетов я получил ее в день переезда. Началась уборка. Взорванная бандероль вместе с ворохами ненужной бумаги была выметена, и я оказался без Вашего адреса, вовремя не догадавшись переписать его в книжку.

Вы очень к себе несправедливы, и это тем хуже, что повод к этому подала, очевидно, наша первая встреча у Асеева. Чем «глупа» (как Вы выразились на полях «Резца»2) Ваша новомирская статья?3 Это одна из серьезнейших Ваших статей, и в наше время всякому можно пожелать писать так о поэтах. Затем, Вам ее сокращали, как я слышал. Кроме того, Вы меня, может быть, не поняли тогда, на Мясницкой. Я хотел сказать, что в некоторых отношеньях я нелегко дался Вам, что я затруднил Вам работу в Ваших лучших и законнейших намереньях, что у меня нет многих из тех заслуг, которые Вы мне приписали. И на все это Вы вправе возразить, что не моего, авторова, ума это дело.

Я думаю, не ошибусь, если Вашу нынешнюю посылку истолкую и с Вашей стороны, как указанье адреса, как привет и напо-минанье? И я очень этому рад, так оно лучше будет. Попутно благодарю за защиту.

От неприятностей меня предохраняет мой глухой и нелегкий образ жизни. Редко что доходит до меня, как дурное, так и хорошее. Это очень бедные формы существованья, очень недостойные, очень временные. Но это не жалобы: время и обстоятельства слишком снисходительны ко мне.

Недавно кончил «Спекторского», т. е. примирился с тем, что он не таков (по многим причинам), как я его, поначалу, задумал; примирился, приписал небольшой отрывок о революции, и в этой, ни на что не похожей, безголовой форме отправил в Ленгиз, встретившись (опять по многим причинам) с необходимостью его реализовать quelque mal qu'il soit\ Вам скажу, что эти две-три страницы о преображеньи времени (между прочим и о революции и истории) — единственное подлинно новое, что мне посчастливилось сделать за все последние годы . Мне кажется, только эти строфы, объект которых мне открылся лишь с большого подъема, хоть несколько возвышаются над нелирическим состояньем всей нашей лирики, т. е. над тем ее состояньем, при котором человеку ничего сверх уже усвоенного им в повседневности, не открывается. Если вещи посчастливится, Вы увидите этот отрывок в XII № Красной Нови. Тогда напишите. А пока, о сказанном — молчок. В моих глазах этот кусок оправдывает неудачность всего «Спекторского», т. е. он мог бы оправдать что угодно другое, и порискованней. Молчать же о моих словах надо, чтобы не повредить вещи, чтобы, чудом, отрывок мог появиться в журнале4. Крепко жму Вашу руку, пишите, всегда буду рад. — Вы хорошо помянули Гумилева: обе страницы живо и убористо покрыты настоящей поэзией.

Ваш Б. П.

Впервые: «Русские новости», 7 февр. 1969. — Автограф. 1 Речь идет о книге Игоря Поступальского «Несколько стихотворений». Л., 1929.

* как бы ни был он плох (фр.).

2 В критическом фельетоне «Документ невежества и апломба» (журн. «Резец», 1929, № 49) Поступальский выступает в защиту Э. Багрицкого, Б. Пастернака и Н. Тихонова, резко полемизируя с высказываниями И. Уткина. В дарственной надписи на «Избранных стихах» (М., «Огонек», 1929) Пастернак благодарил «за защиту»: «Дорогому Игорю Стефановичу Поступал ьскому от подзащитного Б. Пастернака».

3 В «Новом мире» (1928, № 2) опубликована статья И. Поступал ьс-кого «Борис Пастернак».

4 Речь идет о строфах 17-30 главы 8-й «Спекторского», которые вызвали возражения в Ленгизе. См. письмо № 515.

523. Ф. И. ВИТЯЗЕВУ

1929, Москва

Уважаемый товарищ!

Препровождаю Вам мои мысли на интересующую Вас тему1 в том виде, как они были однажды напечатаны (в 1922 г.), потому что лучше и по-иному мне этого не сказать, а от взглядов, тут выраженных, я не отказался. И одна у меня забота. Не сомневаюсь, что отводить мне полторы страницы будет для Вас обременительно, да в этом было бы много неудобства и для меня, потому что имело бы вид претензии, а притязательность не в моих правилах. Но с другой стороны никакое дальнейшее сокращенье четырех первых пунктов «Положений»2, прямо посвященных Вашей теме, — недопустимо. А то из этих утверждений, пусть и афористически изложенных, но во всей живости понятных, получилась бы афористика самодовлеющая, тешащаяся именно самым недо-говариваньем и поджиманьем губ, т. е. тот жанр, который я считаю всех вреднее. И вот не знаю, как тут быть.

Во всяком случае очень попрошу Вас переремингтонить присланное и сверив список, мне эти два листка возвратить по почте. У меня они единственные, а легко возможно, что когда-нибудь понадобятся. И, правда, то, что я сказал о неделимости подчеркнутой красным карандашом доли, — условие непременное.

С товарищеским приветом. Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГБ, ф. 576, к. 1, ед. хр. 24).

1 Ферапонт Иванович Витязев-Седенко — основатель издательства «Колос», собирал материал для сборника отзывов писателей о книге.

2 Пастернак послал первые четыре главы из статьи «Несколько положений» (1918), опубликованной в альм. «Современник», 1922, N° 1.

524. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

24 декабря 1929, Москва

24. XII. 29 Дорогая Марина!

Эту зиму мы живем вне календаря. Я не ищу кругом признаков того, что сейчас сочельник, и если бы искал, не нашел. Но ударил сильный мороз, и мне всегда кажется, что в мороз электричество горит жарче. И сына купали, и мыли полы, и дом пуст, все ушли в гости: но все это случайные совпаденья.

Нового Года, как праздника, тоже не будет1. И я не возражаю, это тоже в порядке вещей.

Однако я мечтал его встретить у нас, и хотел встречать с Мейерхольдами и Белым и еще кое с кем: а потом, по легком охмеле-ньи и в разгаре шума, позвать несоединимых: Маяковского и Пильняка, скажем, или еще кого-нибудь. И мне представилось, что все мы пошлем тебе поздравленье, разными почерками, — прижжем и продымим и припечатаем донышком стакана; всегда найдется хоть один, без умысла, в ходе встречи залитый вином. Но для всего этого потребовались бы деньги, и я имел все данные на них рассчитывать, но меня подвели, расплаты перенесены на январь. Или это тоже вид нравственно-оздоровляющего воздействия? Ото всего этого я уже отказался и поздравляю Сергея Яковлевича, тебя и Алю и целую Мура один и без всякой торжественности, и тебя — одним тоном этих строк, — по-ночному осторожных, чтобы не проснулись дети.

Я сам врежу себе. Стоит мне допустить, что от тебя и твоих могут быть письма, как их полученье становится условьем моего существованья. Я под них подгоняю ход работы, я с них, в воображении начинаю всякий завтрашний день. Тогда одно из двух: либо надо самому писать часто, либо вовсе не писать. И первое было естественно однажды, и второе — неизбежно; а теперь ни на то, ни на другое у меня нет силы.

У нас есть официальное учрежденье, называющееся Вокс (Всесоюзное об<щест>во культурной связи с заграницей). Мне из него звонили недавно: в него обратились из Польши с просьбой склонить меня на поездку к ним. Я отказался из тех соображений, что собираюсь который уже год во Францию и не оставил этой мысли: что встретить там долю французского веянья будет мне мучительнее полного лишенья. Что куда бы я ни поехал, я поеду как незаметное частное лицо и на свои средства. Потом пошли официальнейшие уговоры, и я узнал что-то вроде того, что не имею права отказываться, т. к. союз должен пользоваться всяким случаем укрепленья связи с Западом, и союзный полпред в Варшаве настаивает на желательности моей поездки, т. к. приглашенье исходит как от левых, так и от правых писательских кругов, что... и т. д. и т. д. Дорогая Марина, чувствуешь ли ты, какой это вздорный анекдот, и поймешь ли, как трудно мне было втолковать собеседнику, что я не скромничаю, и не разыгрываю дурака, и что это нонсенс совсем по другим причинам. Мне между прочим гарантировалась полнейшая свобода в выраженьи мнений, меня снаряжали, как тенора.

Но еще труднее, чем ездить в Польшу, — писать письма. И еще труднее не писать их.

Прости, что пишу на обрывках, — у меня нет бумаги, вся вышла. Я боюсь, не рассердилась ли ты на меня за что? Дорогая моя, если тебе что-нибудь в тягость, ты не должна нуждаться в основаньях, чтобы от нее избавиться, и всегда будешь права. Но сам-то я их, по доброй воле, никогда не подам, и вряд ли ты себе представляешь, как связано тобой самое расположенье моей жизни, ее смысл и ее очерк.

Напиши мне, пожалуйста. Я живу, — трудней нельзя, пишу туго. Много важного и существенного хотел вложить в вещь, называющуюся «Охранная Грамота», и рад, если ты не читала (начала, напечатанного в «Звезде»2). Теперь занялся ее продолженьем. Материалы «Повести» и предполагаемого продолженья последней — автобиографические ответвленья «Охранной Грамоты», т. е. все то, чего нельзя рассказывать о себе, т. е. вести от 1-го лица3. — Отсылаю, чтобы пришло к первому. Итак, новых сил, новой выдержки! И мира и удачи в семье, и удачи детям.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 170).

1 Были введены пятидневные рабочие недели и отменено празднование Рождества и Нового года. Сочельник — канун Рождества.

2 «Звезда», 1929, № 8.

3 См. письмо № 484 о том, что «Повесть» нельзя показывать Филиппам, Збарскому и Синяковым, как реальным участникам пережитых событий.

525. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

30 декабря 1929, Москва

30.12.29

Дорогой Павел Николаевич!

На Ваше большое письмо я в свое время ответил, и ответ, как все свои письма, отправил простым. Если Вы его не получили, Вы ничего не потеряли. В нем была прежде всего искренняя и естественная благодарность Вам за Ваш обстоятельный разбор несчастного «Спекторского», выраженье согласья с Вашей оценкой; некоторое расхожденье с Вашим мнением об окончаньи. Единственным пунктом несогласия с Вашим письмом было несколько строк о Сельвинском. Я их не повторю, смысл же их был тот, что я был бы счастлив, если бы мог идти с ним в сравненье, потому что «Улялаевщина» и «ПушторЫ — блестящие победы и удачи большого поэта как раз на том поприще, на котором я провалился со своим «Спекторским». Тут и кончается передача этого давнишнего письма, либо утраченного, либо еще не дошедшего: отправлено оно было по домашнему Вашему адресу.

А нынешнее начну с этой же параллели. Чаянья насчет «Спекторского» исходили не от меня. Никогда я об этой вещи как об эпопее не думал. Скажу точнее и проще: сближенья с «Онегиным» не стал бы делать, если бы и был полною себе (по складу характера) противоположностью. В том же, что такие ожиданья высказывались критикой, я неповинен: я шел мимо них и этих сопоставлений не любил; это все были особо-типические случаи современной манеры объявлять человека Наполеоном или Гомером с пребудничнейшим спокойствием, точно такие возможности на полу валяются и не редкость. Между тем как, на мой взгляд, и по поводу малейшей художественной правды следовало бы звонить в колокола, так это исключительно и за тысячу верст от Толстых, и Онегиных и Наполеонов2.

Вчера я получил записочку из Леноттиза (от 27/ХП) с Вашей припиской. Ею заканчивается цепь колебаний редакционных и моих собственных. О решеньи моем, которое не обойдется без личной к Вам просьбы, — ниже. А теперь несколько слов об истории этой переписки.

Она застала меня в состояньи больших денежных затруднений. Я этого не сказал сразу, пока мог терпеть. Я в этом признался, когда дело очень обострилось: но и с этого признанья прошло больше двух недель. Всего охотнее, по моему собственному недовольству «Спекторским» (совершенно иному, чем недовольство

Отдела), я бы отказался от печатанья его в настоящее время и отложил бы до того времени, как будет дописана проза3 (не из соображений фабулы). Но этому мешала

безвыходность моего положенья. Однако и противоположное решенье выходом не явилось и облегченья не принесло.

Если бы около месяца назад, как следовало по договору, я получил бы оговоренные в нем в пункте 8-м 40%, это бы поддержало меня и, не нарушая ни работ моих, ни жизни, дало бы в будущем ту возможность прохожденья гранок, в которую я верил, и как-то... творчески ее предвосхищал. Такая работа мне не в новость: «Девятьсот пятый» и «Поверх барьеров» выходили неузнаваемыми именно из такой переработки4. Потребность видеть вещь в единообразном типографском сырье, как-то уже лепечущем о книге в целом, быть может, и каприз, но я до него дослужился, и мне в нем не отказывали. Мне верили, и я и у Вас надеялся встретить это доверье.

Вспомните, Павел Николаевич, о нашем прошлогоднем разговоре по телефону. Я не только не навязывался Вам, но, если Вы не забыли, в первое время указывал на отдаленность Ленгиза и трудность сношенья с ним в критические минуты, между тем как Гиз, учреждение близкое по типу, — под боком, и все либо улаживается, либо уясняется в два счета. Лишь затем, как дело пошло своим ходом, я стал надоедать Вам и на Вас наседать. И вряд ли я Вам говорил о «Спекторском», как об «Онегине».

Письмо очень растягивается. Я думал во всех подробностях разобрать происшедшее, но на это ни уменья моего, ни досуга у Вас не станет. Условия, при которых шероховатости (художественно-композиционные) «Спекторского» могли быть сглажены, Лен-гизом не соблюдены, он отказал мне в доверии, он в трудную минуту не пришел мне на помощь, он произведеньем заинтересован только с той точки зренья, чтобы договор, заключенный с большими выгодами для меня и в этом смысле исключительный, был исполнен.

К этому присоединился взгляд, так и оставшийся для меня спорным, на окончанье вещи, и об идеологической его несоответственности я получил письмо, подписанное Лебеденкой5.

Все б это ничего, но разговор пошел как с уличенным мошенником: на букве идеологии стали настаивать, точно она — буква контракта.

Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под хлороформом или местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен. Точно я по договору выразил готовность изобразить революцию как событье, культурно выношенное на заседаньях Ком. Академии в хорошо освещенных и отопленных комнатах, при прекрасно оборудованной библиотеке. Наконец, точно в договор был вставлен предостерегающий меня параграф о том, что изобразить пожар значит призывать к поджогу. Получилось так, что я обманул договорно-расчетную часть и за то и должен платиться.

Когда я посылал последнюю свою телеграмму, я искал выхода из крайности все в том же направленьи, я еще попыток выйти из положенья как-нибудь по-другому не предпринимал. Но и это ни к чему доброму не повело.

Мне совершенно непонятно откуда взялась сумма в 256 р. 25 к., обещанная мне высылкой 6. I. 30 г. в последней записке Ленотгиза. Ввиду расхожденья предположенного числа строк (1500) с их настоящим числом (их, кажется, 1300 (?)), я эту арифметическую задачу решил так. По пункту 8-му договора авансом следует получить 35%, при сдаче рукописи — 40%, итого, общим счетом получено должно быть по сдаче — 75%. Ввиду того, что мне авансом было переплрчено (строк предполагалось больше), всего легче установить причитающуюся мне во второй срок сумму, вычислив 75% с истинной договорной суммы (по 1300 строк), и вычтя из этого числа (1218 р. 75 к.). По моим расчетам в ответ на мою телеграмму мне должно было получить 592 р. 50 к. Я нетвердо помню число строк в «Сп<екторском>». Если я даже и ошибся на сотню, то все равно никак не может получиться того, что мне обещано к

высылке. Кроме того, дальнейшее оттягиванье расплаты лишает меня и этой последней, загадочной по своим размерам опоры.

Все это сошлось очень фатально, но, думаю, к добру. Матерь-яльный план, первое время влиявший на все мои решенья, за последние две-три недели истаял и истончился сам собой. Времени прошло слишком много. Да кроме того выяснилось, что и в расчетах своих я с Ленгизом разошелся как-то уж слишком грубо.

От всего происшедшего остается долг мой Ленгизу в размере полученного прошлый год аванса. Я обязуюсь его вернуть. В крайнем случае, если я не встречу иной возможности с ним расплатиться, я эту сумму отработаю в «Звезде».

Каких-то чрезвычайных усилий для поправки своих дел мне все равно не избежать. Вот я и воспользуюсь полной ничтожностью «Сп<екторского>», как матерьяльного ресурса, чтобы вовсе

его изъять на полгода на год из плоскости какого бы то ни было обсужденья. Между прочим, при доработке его, за которую я возьмусь лишь по написаньи прозы, я наверное с благодарностью воспользуюсь рядом Ваших указаний, за исключеньем тех единственно, которые относились к идеологии окончанья (да они и не от Вас исходили). К тому же все это окончанье идет в XII книге «Кр. Нови» целиком безо всяких изъятий. Итак, — резюме. Прошу Вас 1) приостановить распоряженье о высылке мне 236 р. 23 к.; 2) расторгнуть от моего имени договор с Ленгизом (№ 48/29 от 15/ II), с обязательством моим вернуть аванс (сейчас я не в состоянии указать срок точно, но в теченье года это будет сделано обязательно); я понимаю, как слаб этот пункт, но расчитываю на снис-хожденье (т. е. что на год); 3-е) и главное: отошлите мне назад рукопись, у меня нет копии.

Просьба обо всем этом очень настоятельная, я не могу изменить этого решенья. И не сердитесь, пожалуйста, на меня. Никакого иного выхода я не вижу. Дело не в строках, указанных в официальном письме6 (насчет этих строк только я и уверен, что они останутся); дело не в строках, а в сроках. Ленгизу же предлагать вновь переработанную вещь спустя большой срок после скандала с ней, будет неудобно. Да и строк я не уступлю. Простите за утомительное письмо. «Барьеры», как будут, пришлю непременно, это мой долг.

Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. П.

A la marge* — вне дела: с новым годом Вас.

Как все это, в общем, тяжело! Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний! И неужели я самое яркое в ряду этих явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать Охранную Грамоту. Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминанья за дело, на основаньи моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал. Но и «литературой» не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей: я не любуюсь тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко.

Поскорей бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен, я писательство брошу. Я б это сделал и сейчас, ничего не докончив, если б не семья и пр. и пр.

* На полях (фр.). 386

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РНБ, ф. 474, оп. И, ед. хр. 7).

1 Поэмы И. Сельвинского, опубликованные в 1927 и 1928 гг.

2 Сближенья с «Онегиным» высказывались критикой. В частности, в статье «Борис Пастернак» В. Красильников высказывал предположение, что «Спекторский для Пастернака будет тем же, чем был Онегин для Пушкина и Печорин для Лермонтова, то

есть частицей самого себя <...> Размах романа заставляет оценивать "Высокую болезнь" и " 1905 год" как материалы. <...> Любовная интрига, поставленная рядом с "грохотом событий", <...> нужна самому поэту как частная проблема к будущим главам "Евгения Онегина" наших дней» («Печать и революция», 1927, № 5). Б. Бухштаб на основании знакомства с первыми публикациями глав «Спекторского» писал, что взятый темп экспозиции позволяет думать, что «Спекторский» «должен быть не меньше другого "романа в стихах" русской литературы "Евгения Онегина"». Он говорит о близости этих романов «показом людей, как представителей своей среды и эпохи» и «фабульностью». Различие романов он усматривает в отсутствии автобиографизма в «Спек-торском» и «сравнения судьбы героя со своей, авторских воспоминаний» (Б. Я. Бухштаб. Фет и другие. СПб., 2000. С. 335-338).

3 Речь идет о продолжении работы над прозаическим романом, часть которого была опубликована под назв. «Повесть». Роман не был написан.

4 Последняя авт. доработка названных книг проходила на стадии верстки.

5 Сотрудник Ленинградского отдела Госиздата писатель А Г. Лебеденко.

6 Речь идет о строках, по-видимому, указанных в официальном письме издательства, которые показались «идеологически невыдержанными» и требующими замены, на что Пастернак не дал согласия.

526. В. И. ЭРЛИХУ

9 января 1930, Москва

Дорогой мой Вольф!

Вы и не знаете, как выручили меня, а еще выражаете боязнь, не поступили ли бесцеремонно! Разумеется, я сразу ничего понять не мог по данным телеграфного перевода1; и вдруг меня осенило, что при тесной собранности литературного Ленинграда, это кто-нибудь из молодых, и — поэт, которому нелепая безвыходность моего положенья должна быть известна по посещеньям Ленгиза. Я стал перебирать возможных кандидатов на эту рождественско-новогоднюю (по Диккенсу), вакансию. И зимнюю сказочность комбинации я уже постиг и разгадал (т. е. я целиком предвосхитил все Ваше письмо), когда бывший у меня в это время В. Каверин, без всякой связи с происшедшим, — потому что я не сразу объяснил ему, зачем отлучался в кухню, — рассказал о новом журнале, предположенном к выпуску при «Кр<асной> Газете», и о Вас, как его литературном редакторе. Таким образом, единственно достойный кандидат был утвержден и найден.

И в Вашем письме меня всего более тронуло его построчное соответствие ходу моей догадки. Я его прочел так, точно в нем дано не объясненье дел, а моего озаренья. И мне в первую минуту хотелось ответить Вам, что Вы не ошиблись, что так все и было, и просто удивительно, как Вы догадались и сумели все это описать из другого города! Ах как это хорошо и сколько во всем этом знаменательного для Bad

Вот Вы о Перовской2. А Спекторский? Но не следует унывать.

Матерьяльная стесненность моя не кончилась. Хуже всего то, что мне придется выжимать из сделанного еще больше, чем до сих пор. Вероятно я не дам продолженья «Охр<анной> Гр<амоты>» в Звезду (это не для передачи, когда нужно будет, я сам о том напишу). Просить у них больше, чем давали — недопустимо; я этого себе не могу позволить, потому что кругом у них блистательные прозаики и обращаться почти что к ним самим с просьбой, чтобы они себя обделяли в мою пользу — было бы нелепейшей претензией. А все это безо всякой неловкости дадут мне здесь.

Итак, Вам Н<иколай> С<еменович> передал о безразличии того, в какую сторону направлено самопожертвование поэта?3 Косвенным путем это было легко сказать, не размусоливая. Вы можете быть счастливы и гордиться тем, что Ваш случай наводит именно на эти мысли о поэзии, а не на десяток других, более поверхностных, поводом

для которых служит множество нынешних стихов, и часто неплохих. Потому что важно и это, т. е. то, какому уровню сужденья подсуден художник, в каком именно этаже приходится разбирать его дело. И тут уже удача или неудача, виновность или невиновность становятся видоизмененьями судьбы, не более того. Ваши слова о Перовской находятся со всем этим в согласьи, Вы это понимаете.

Был у меня Ваш земляк Нилли4. Пора бы ему в люди. Нельзя ли ему в этом помочь? По-моему он — заслуживает. Собирается послать Вам воспоминанья о зиме 21—22 г., проведенной в Ленинграде, с портретами, как говорит он, виднейших серапионовцев и других. Этой его тетради не видал. В первой, виденной, много хорошего. Подоплека у него чудеснейшая, и странно, что он до сих пор так и не видал от нее прока.

Ответить Вам следовало совсем по-другому, но так всегда бывает, когда отвечаешь не вовремя. Привет всем.

Ваш Б. Я.

Не найду Вашего адреса, посылаю по Тихоновскому.

Впервые. — Автограф (ИРЛИ, ф. 697, № 42). Датируется по почтовому штемпелю.

Знакомство Пастернака с В. Эрлихом состоялось 27 сент. 1927 г. См. письмо к Цветаевой № 378.

1 Письмо явилось ответом на телеграфный перевод гонорара за предложение включить одно из стихотворений Пастернака в собиравшийся при «Красной газете» альманах. При выходившей с 1918 г. в Ленинграде «Красной газете» постоянно печатались журнальные приложения «Человек и природа», «Литературная неделя», «Красные ребята», «Резец» и др. Публикация Пастернака не обнаружена, вероятно, предполагаемое издание не было осуществлено.

2 Эрлих послал Пастернаку свою поэму «Софья Перовская» (Л., 1929).

3 Отзываясь на посылку «Перовской», Пастернак писал Н. С. Тихонову (письмо № 520) о принесении жертвы в пользу традиции, которую представляет собой «Спекторский».

4 Николай Николаевич Ильин (Н. Ними), организатор «Дома народного творчества» в Симбирске, автор сб. стихов «Глаза, обращенные к солнцу» (1922).

527. Л. Л. ПАСТЕРНАК

9 января 1930, Москва

9.1. 30

Дорогая Лидочка!

По получении твоего письма я тебе ответил тотчас открыткой. Она лежала с неделю, т. е. вернее, я носил ее в боковом кармане с собой, выходя на улицу. Но в газетных киосках не находилось доплатной марки, которая мне была нужна, а через три дня я сам разорвал ее, так как весь смысл ее пропал, хотя в ней его и не было.

Теперь я тебе пишу во избежанье обиды с твоей стороны и беспокойства со стороны родителей. Я не отвечал потому, что писать решительно не о чем.

У нас были жестокие морозы с обычным у нас в такие холода квартирным злом. Коридор, примыкавший к папиной мастерской, уже в теченье многих лет отделен перегородкой, доведенной до потолка. Он, помнишь, и раньше не отапливался и был холодный, а теперь в морозы в нем, как в сенях. Чем больше топишь внутри, тем резче разница температуры в комнате и в нем. И вот все мы попростужались и в разные сроки переболели гриппом, по счастью, впрочем, в слабейшей форме и без осложнений.

Ты это письмо перешли папе. Последним от него было большое и очень содержательное письмо, с пересказом Олиных бедствий1. Они действительно — гомерических размеров, но вовсе не исключительны, как должно вам казаться.

Сейчас все живут под очень большим давленьем, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравнены! с тем, что делается в деревне2. Там проводятся меры широчайшего и векового значенья, и надо быть слепым, чтобы не видеть, к каким небывалым государственным перспективам это приводит, но, по-моему, надо быть и мужиком, чтобы сметь рассуждать, об этом, т. е. надо самому кровно испытать эти хирургические преобразованья; со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем писать в тылу о войне. Вот этим и полон воздух.

Знаешь ли ты, что Геня (Генр<иетта> Петр<овна>3) в Москве? Я ее раза два видел в концертах и уговаривался, чтобы позвонила и пришла. Ей этого очень хочется, встречала она меня почти восторженно, да и я ее хотел бы видеть, но она не заявляется.

Положительно не о чем писать. Что еда, питье и пр. необходимейшие элементы у нас еще осязательны, совсем, как в жизни, ты вероятно догадываешься. Все же остальное на наши привычные представленья не похоже. Точно в витрине большого магазина швейных машин. Сидят рядком выставочные манекены-портнихи, руки на ручках швейных машин, последние же вращаются на приводе от динамо-машины, бесшумно и гладко, ибо — на холостом ходу. Вот верное изображенье нашей жизни, трудолюбивой, гладкой и бесперебойной. Но я об этом когда-нибудь расскажу, мы, ведь, увидимся, будет время. Теперь тороплюсь обнять тебя и отправить письмо; как бы не забеспокоились наши, от нас давно ведь не было вестей. Пусть мама сообщит, когда следует мне возобновить периодические посылки бабушке, временно прерванные.

Поцелуй Федю, Жоню и Аленушку. Б.

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. М., Б-ка «Огонька», 1990. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Речь идет о затяжном судебном процессе, в который была втянута О. М. Фрейденберг, за отстаивание своей квартиры. См. письмо к О. М. Фрейденберг № 503 и коммент. к нему.

2 После доклада Сталина 27 дек. 1929 г. было принято постановление ЦК о плане перехода к сплошной коллективизации и ликвидации кулачества («Правда», 5 дек. 1930).

3 Пианистка, знакомая семьи Пастернаков, Г. П. Орлова-Дукельская после продолжительного пребывания в Англии вернулась в Москву.

528. РОДИТЕЛЯМ

10 января 1930, Москва

10.1.30

Дорогие папа и мама!

Боря ваш объявился1, я был у него. Его звонок оторвал меня от письма, которое я писал (с опозданьем!) Р. Роллану.

Дело в том, что я в подарок от последнего (и — в результате одного стеченья обстоятельств, которому противился, как мог2) получил книгу к новому году и как раз 1-го числа3, с надписью, которую он в своей щедрости мог бы сделать каждому человеку, т. е. такую, которая в хвастливые цитаты (а вы это любите!) отнюдь не годится, но которая именно этой всечеловеческой и надо всякими самолюбь-ями парящей высотой и связывает и обязывает и порабощает.

Ибо, если в твоей комнате находится книга, где на титульном листе значится: «A Boris Pasternak, Au jeune frere de la rive du ciel ob le soleil se leve, le vieux frere de la rive, ou se couche le soleil. Bon jour, Bon an et Bonne traversee, de Tun a Pautre bord!

Romain Rolland. Villeneuve, Tan qui s'en va\

— то, разумеется, это не только подчиняет себе, а и огорчает даже и мучит; и трогает до слез.

Тем худшее впечатление произвел на меня ваш должник. Он вам должен, и этот долг должен был отдать мне, но вокруг этих пустяков развел столько невыносимой элегантности, что одним фактом своего разговора со мной затруднил до невозможности продолженье письма Роллану.

Я не вынес этого состоянья и на другое утро отнес ему деньги назад. За ними пошел Шура, причем я Шуре облегчил дело тем, что внушил этому золотозубому пшюту4, чтобы он умерил свои таинственные ухватки. Мещане любят играть в прятки и китайские тени, и без этого им было бы скучно жить, я же не выношу этой манеры.

Прошу вас впредь не направлять ко мне людей, разговор с которыми несовместим с моим отношеньем к жизни, людей, осмеливающихся давать советы мне, который старше их на целую вселенную, людей, что всего хуже, подчиняющих меня своей обывательской таинственности там, где она не нужна и неуместна. У меня нет секретов от времени, у меня — роман с ним, я — его часть.

Ваш Боря

Стелле привет передал, Соне 100 рублей перевел5, все будет сделано. Вы же меня не любите. Меня нельзя опутывать паутиною блажных и не вызванных надобностью недомолвок. Отчего было не направить к Шуре, он человек свободный, я — невольник.

Впервые: Шсьмакродителям и сестрам — Автограф (BasternakTrust, Oxford).

1 Лицо не установлено.

2 Благодаря знакомству с М. П. Кудашевой, которая в это время переписывалась с Ролланом и собиралась к нему в гости.

3 Romain Rolland. «Essai sur la mystique et Taction de l'lnde vivante» («Очерки мистики и подвижничества современной Индии»).

4 Пшют — пошляк.

5 Софье Иосифовне Геникес, племяннице Л. О. Пастернака, в Одессу.

* «Борису Пастернаку, младшему брату на том берегу неба, где восходит солнце, старший брат с берега, где солнце садится. Добрый день, доброго Вам года и доброго перехода с одного берега на другой! Ромен Роллан. Вильнев, уходящий год» (фр.).

10 января 1930, Москва

10.1. 30

Великий мастер, великая судьба, обожаемый автор Жана Кри-стофа (в памяти возникают два решающие в моей жизни лета, полностью посвященные чтенью и перечитыванью этого откровения1), — нечаянный случай привел к своим последствиям: я получил книгу, я прочел надпись2.

Настал час, на который я не смел рассчитывать даже в самых укромных уголках сна. Неужели, действительно, я должен преодолеть то прекрасное расстояние, которое приводило меня в восхищение, не сравнимое ни с чем другим?

За ним скрывалась целая страна, носящая Ваше имя, загадочная и волнующаяся. Мои посещения ее должны были оставаться Вам неизвестны.

Нужно ли, чтобы я разрушил это и высказал Вам что-то, кроме своей оторопелой благодарности, вырывающейся сама собою и лишающей меня слов?

Тут же проглотив введение (dieses grosse Faustische Vorwort*), я должен был на время отложить эту книгу, огромную перспективу которой это предисловие позволяет предчувствовать. Я испугался этого. Мне надо кончить работу, необходимую для существования семьи, прежде чем я смогу возобновить чтение книги, полностью обесценивающей мой труд.

Это происходит не столько силой разделяющей их несопоставимости (грубо и банально даже упоминать ее!). Ваша книга поглощает его целиком, как это делают со всякой поэтической частностью произведения этого редкого рода: подлинные евангелия жизни. Есть ли что-нибудь, чего бы они ни касались, не занимаясь этим

специально? Чем они глубже, тем полнее представляют нам историю всякого живого воображения, — единственной свободы, верной своему призванию. Или движущей силы поэзии в целом, которую они дают нам почувствовать. Такова — и Вы это прекрасно знаете — Ваша книга.

Я Вам пишу в мучительный для себя день, когда удивительный случай дал мне возможность убедиться, насколько могущественна сила Вашей книги, даже если она закрыта.

Я был вне себя и чуть было не попал в ложное положение, но стоило мне только вспомнить о Вашем незаслуженном подарке,

* это большое фаустианское предисловие (нем.). 393

лежащем на столе, чтобы затруднения были мгновенно преодолены таким взрывом чувств, какого я не испытывал с давних лет3.

В тот момент я смог оценить на расстоянии чудесное действие нравственной меры Вашей надписи на книге, восхищенный омолаживающей силой всего того вечно-зеленого, ликующего, вечного, — что исходит от Вас.

Мучение и одновременно наглость писать Вам на таком французском. Я решил испытать первое и не мог избежать второго4.

Простите меня. Б. Пастернак

Впервые: «Еигоре. Revue litteraire mensuelle. Boris Pasternak*, mars 1993; в переводе на рус. яз.: «Знамя», 2001, № 11. — Автограф (Архив Р. Роллана, Париж).

1 Имеется в виду чтение «Жана-Кристофа» летом 1913 г. (тома I-IV), летом 1917 г. (том V).

2 См. письмо JSfe 528.

3 От писания письма Пастернака оторвал приход незнакомого человека, разговор с которым вывел его из себя. См. письмо № 528.

4 Проф. Мишель Окутюрье, опубликовавший переписку Пастернака с Ролланом по-французски, отмечает, что французский Пастернака действительно не всегда правилен, но отличается присущей ему выразительностью («Еигоре», Paris, mars 1993).

530. РОДИТЕЛЯМ

Середина января 1930, Москва

Дорогие, золотые мои!

Простите, что я упустил из виду, что вы одни в Берлинской квартире, без девочек, — и написал вам такое письмо1. Ни слова о нем, оно, верно, дошло, но то, что я позабыл о вашем одиночестве и о том, что нет никого рядом, чтобы его разрядить немного, непростительно и ужасно! Ради Бога, простите меня за доставленное огорченье и забудьте обо всем, кроме просьбы, в нем заключавшейся. Никогда не ставьте меня в положенья обывательские: они для меня убийственны.

Что я на другой же день по отсылке письма пожалел о громком голосе, дошедшем до вас в вашу тихую квартиру, об этом вы догадываетесь2. Надо ли мне говорить, как я вас люблю и как терзаюсь данной вам отповедью! Но вы удивительно странно представляете себе мои обязанности, мою ответственность, мою особую, внеобывательскую несвободу!

Крепко обнимаю вас и целую. Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

1 Письмо № 528.

2 Получив письмо, Л. О. Пастернак в тот же день писал сыну: «Ничуть я не обиделся на твой возвышенный голос — а мне тебя было искренне жаль, ибо я знал, что ты будешь грызть себя и каяться и на другой день пришлешь искреннее сожаление <...> Какая судьба и "сцепление": когда-то я хотел Роллану послать мой офорт

Толстого и мой "hommage" <...> пока судьба повернула в сторону сына» (там же. Кн. I. С. 263).

531. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

19 января 1930, Москва

19.1. 30

Я еще не поблагодарил тебя за телеграмму1, а от тебя третье письмо, и это мне не дает покою. Ты еще летом окольно и издалека говорила об оказии. Но только из рождественского твоего письма в первый раз узнал, кто это. Я три раза ходил к В<ере> А<лександровне> и не заставал ее дома2. Вчера мне посчастливилось прийти ко времени их обеда. Я получил шарф и редикюль для Аси, ужасно тебя благодарю. Но ходил я не за этим, а главным образом за твоей статьей о Рильке и за другой, о Гончаровой3. Представь, она их и не повезла. Это было для меня большим разочарованьем. Я затем и задерживал ответ тебе, чтобы написать по прочтении статей, и о них, первым делом. На нее нельзя сердиться. Но половина установлений, имеющих силу в любом государстве в какое угодно время, исходит от передового населенья, от того, как себя люди ведут. И в тех случаях, когда я сознаю совершенную чистоту и невинность того, что я делаю, мне и в голову не может прийти, каким ложным истолкованьям может подвергнуться или даже принято подвергать эти вещи. Чем верить в какую-то атмосферическую неврастению, я лучше ошибусь, веря в широкое здоровье воздуха, которым я дышу. По той же причине, по которой В. А. не привезла статей, она не ответила на письма С<ер-гея> Я<ковлевича> и Д<митрия> П<етровича>4, и не ответит.

А я всегда с ужасной тягостью подчиняюсь вынужденной «конспирации», испрошенной со стороны, т. е. недописыванью инициалов и прочей ерунде этого порядка. И это всегда бывает, когда приходится говорить о других, о милых, робких, суеверных и пр. людях. От В<еры> А<лександровны> же узнал впервые о серьезном желаньи Святополка приехать сюда (Прокофьев говорил об одном Сувчинском5). Однако В. А. не верит, чтобы он получил разрешенье. А это изменило бы всю мою жизнь.

Как ты замечательно пишешь! И всего больше тебя и жизни, т. е. музыки земного притяженья в твоих спокойных описаньях. Над будками и дворовым выкачиваньем в эпических скобках поднялось французское Рождество, и я его провел с тобою не в силу какого-нибудь своего влеченья, а силой чуда производимого тобою привычно-размеренно, поденно и затрапезно, без восклицательных знаков, за которыми никогда не бывает никаких чудес.

Вчера я получил от С. Я. письмо и сегодня ему отвечу. Я ужасно ему обрадовался. Я мысленно уже писал тебе, и вот о чем, когда его получил. Я хотел у тебя попросить прощенья, что долго не отвечал, зная в особенности, что ты одна, и чтб это, по моему собственному опыту, может значить. И тут я делал сближенья с тем засореньем нервов, которого я никогда не ведал в моем до-семейном одиночестве, веселом и огромном, и которым я заболеваю всякий раз в квартире, признавшей фактом меня и моих, и меня — благодаря последним. Разреши не вдаваться в тонкости: ты либо знаешь это, либо от этого счастливо избавлена. Далее я жалел, что мало знаю С. Я., потому что только о нем бы и писал тебе все это время, и ты бы радовалась. Его страшно любят люди, имеющие касательство до тебя и меня. Назову, чтобы кого-нибудь вспомнить, Асю и Антокольского. В их рассказах по посещеньи тебя он участвовал в превосходной даже, против тебя, доле. И то, что я люблю его — не фраза, не желанье какой-то сердечной позы, не лирическое намеренье: все это было бы для него обидно, и я бы это спрятал, не показав. Он замечательный человек, мне это известно. Нутро же его — это я сам в некоторой высокой степени, забрасывающей в области, куда я не попал (потому что

часто там, где он возводил себя в степень, я извлекал корень). Последнее, впрочем, вздор, инерция разбежавшейся фразы, и я бы должен был это зачеркнуть; но в данном месте тебя бы заинтересовало, что именно зачеркнуто. Вот почему это схематическое закругленье (как я их ненавижу, а вот и сам не свободен иногда!) оставляю. Кроме того, я хотел тебе признаться, что твоя цитация дачи и общего крова резанула меня, представив (против твоей воли) большим пошляком, чем я мог себя считать6. — И тут пришло его письмо. —

А у В. А. я застал служащего Нац<иональной> библ<иотеки> в Париже, очень милого человека, наговорившего мне кучу прият-ностей. Он отправляется с С<мышляевы>ми7 в Ростов, на Кен-озеро и на Ледов<итьгй> океан. Я плохо говорю по-фр<анцузски> и еще более того смущаюсь. Они вернулись с обхода букинистов и жуя, запивая вином и пр., раскладывали покупки, хвастая сходностью купленного. Я увидал старый «Петербург» Белого, твою Вишняков-скую «Разлуку»8, несколько сборников народн<ых> песен; — но меня тотчас отвлекли, — были еще гости, и я только успел сказать ему, чтобы он достал твои Версты и не верил твоему мненью о них9, — что ты их недооценила. С<мышляев>ы же однажды отдыхали с Женею в здешнем d'Arcine10 (в «Узком»; я ни разу ни в каком доме отдыха Цекубу не жил и, кажется, единственное изо всех «кубистов»11 исключенье: Женя — дважды, Ася — просто несчетное число раз). И — не знаю, врут ли или верить—Женя им понравилась. И тут ты оценишь весь клубок: Ист<орический> музей; круглый стол с гостями (И. Н. Розанова ты ведь знаешь?); ты и твои подарки мне (что прозы не будет, я еще не знал); француз, осыпавший меня комплиментами и пожирающий глазами; d'Arcine — Узкое; любят Женю, — и все это почти что в Париже. — Выхожу блаженный, бездонно облагодетельствованный; шестой час, вечер уже наступил, мне на Петровку в кассу за билетами на конц<ерт> Оборина. Думаю, теперь обязательно что-то случится «эгоцентрическое», и тут же предвосхищаю, знаю мол, — чтб: по дороге на Петровку увижу в витрине «Недр» (книжного магазина) «Поверх барьеров» или что-нибудь подобное, не более того. Но вместо «Недр» — пустое помещенье с огромной надписью, что Недра переведены туда-то и туда-то (куда — не успеваю прочесть)... а дальше, в двадцати шагах, за углом Большого Театра, последнею в огромном хвосте дожидающихся автобуса — Женя. Я страшно ей обрадовался. Так ли это у тебя, т. е. любишь ли ты также чтобы любили близкого тебе человека, и тогда ли только убеждаешься, как он близок тебе? —

Прервал письмо. Зашла Ася с сыном Ад. Герцык12. Я совершенно не нужен ему, Ася же, вперед взвинтив себя, успела, верно, внушить ему, как важно для него со мной познакомиться. Такая страсть ко взаимным пронзеньям и к сталкиванью людей, которых ни жизнь, ни случайность без ее вмешательства не столкнули б — единственный ее недостаток, но я его терпеливо сношу во вниманье к остальным ее заслугам и достоинствам. Но часто это бывает очень неловко. — Зачем дали Муру «Зверинец»13, и как ты могла это допустить? Я не знаю на свете книжки нелепее и неудачнее: совершенно неизвестно, для кого она написана. В ней есть два-три места поэтически-жизненных; однако для того, чтобы быть предназначенными для взрослых, они должны были бы отличаться большей серьезностью. То же, что для детей она никак не годится, ясно не только автору, читателю и издателю, но и бумаге, которая это стерпела, как и многое. Этот Зверинец вместе со столь же прекрасною Каруселью были написаны в самую тяжелую для меня пору, весной 25 года; и — в частности, Зверинец в те самые дни, когда одна девушка передала мне по оказии твое письмо о рождении Мура (Feuerzauber* со спиртовкой, помнишь!14). Мне тогда очень благоволил Чуковский, но даже и его усилья конечно ни к чему со Зверинцем не могли привесть: легче было устроить десть чистой писчей бумаги по детскому отделу, чем эту остроум-

ную рукопись15. Чуковский писал мне неслыханно лестные и по-настоящему сердечные письма. Он готов был в лепешку расшибиться, чтобы мне помочь. И тогда-то родилась Ломоносова, о которой ты вновь прочла в моем письме к Д<митрию> ГКетрови-чу>16, которое так же нужно было тебе показывать, как давать Зверинец Муру. — Но как все это связано, а! — «Зв<еринец>» же из милости издали в прошлом году для какого-то п-го возраста, об определимости которого лучше не думать17. — Мне правда стыдно перед Муром. Я мечтал о будущей дружбе с ним, а теперь навек вами перед ним опозорен. — Книжки достану и пришлю.

Однако пора кончать. Знаешь ли, как начался у меня год, т. е. что сопутствовало твоей телеграмме (очень хорошо France в виде пожеланья!18), т. е. кто был тебе спутником в этот день? Я получил книгу от R. Rolland'a, с надписью, в конце которой есть тоже пожеланье bonne traversee de Tun a l'autre bord** (хотя в смысле переправы с востока на закат, из молодости в старость19). Это подстроила Майя (М. П. Кудашева, помнишь?). С ее слов он знает о тебе и обо мне. Она золотой человек и очень скромная и умная. Жалко, что эта тема к концу пришлась, потому что так ни о ней нельзя писать, ни о том, как меня взволновал этот подарок. Я не умею «переписываться с великими людьми», и этого не было у меня в жизни. Но мне и по-фр<анцузски> было отвечать R. R<olland> легче и вольнее, чем в свое время по-русски Горькому.

Прости за длинное письмо. Негде даже и поцеловаться. Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171).

1 Цветаева поздравила Пастернака с Новым годом телеграммой: «Sante courage France Магша» («Здоровья мужества Франция Марина». — фр.). — там же. С. 515.

2 В. А. Завадская, подруга Цветаевой, вернулась из Парижа в Москву.

* огненное волшебство (нем.).

" доброго перехода с одного берега на другой (фр.).

3 Публикация Цветаевой «Несколько писем Райнер Мария Рильке» с предисловием, предваряющим их текст по-русски, в «Воле России», 1929, № 2, и ее статья «Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)» в «Воле России», 1929, №5/6-8/9.

4 Д. П. Святополк-Мирский.

5 Известие, полученное от композитора С. С. Прокофьева, вернувшегося из Парижа.

6 Имеется в виду трактовка в духе времени объяснения Сергея Спекторского с мужем Ольги Бухгеевой из журн. редакции «Спекторского»: «..."Послушайте! Мне вас на пару слов. / Я Ольгу полюбил. Мой долг..." — "Так что же?/ Мы не мещане, дача общий кров. / Напрасно вы волнуетесь, Сережа"».

7 Имеются в виду режиссер Валентин Сергеевич Смышляев, ставший мужем Завадской, и его первая жена Ольга Федоровна.

8 Андрей Белый. «Петербург». Пг., 1916; Марина Цветаева. «Разлука». Берлин, 1922. А Г. Вишняк — главный редактор изд-ва «Геликон» в Берлине.

9 Марина Цветаева. «Версты». М., «Костры», 1921. Цветаева неоднократно отрицательно отзываясь об этой книге, восхищенное письмо Пастернака о которой положило начало их переписке (см. письмо № 194).

10 Название санатория в Савойе, в котором находился в это время С. Я. Эфрон.

11 Слово образовано от аббревиатуры ЦКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

12 Даниил Дмитриевич Жуковский, поэт.

13 Детские стихотворные книжки Пастернака «Зверинец» и позже называемая «Карусель».

14 Имеется в виду письмо Цветаевой 26 мая 1925, где она писала: «...Сын мой Георгий родился 1-го февраля, в воскресенье, в полдень. В секунду его рождения взорвался разлитой возле постели спирт, и он был явлен во взрыве» (М. Ц. Собр. соч. Т. 6. С. 246).

15 «Карусель» сначала была опубликована в журн. «Новый Робинзон», 1925, № 9, потом в том же году вышла отдельной книжкой, тогда как «Зверинец» Чуковскому не удалось пристроить, Пастернак опубликовал его в журн. «Огонек», 1925, № 52.

16 Письмо № 518, часть которого Цветаева переписала в своем письме Ломоносовой 1 февр. 1930.

17 В 1929 г. «Зверинец» вышел отдельной книжкой.

18 См. текст телеграммы в коммент. 1.

19 См. письмо № 528.

532. С. Я. ЭФРОНУ

20 января 1930, Москва

20.1. 30

Дорогой мой Сергей Яковлевич!

Единственное мое намеренье крепко Вас расцеловать за Вашу братскую подпись1. Братом меня назвали с тех же гор, где теперь и

Вы, в самый первый день года. Я получил от R. Rolland'a книгу с надписью, в которой встречается то же слово, и теперь после Вашего случая, оно мне кажется альпийским2.

Все о Вас знаю из письма М. И. Она даже с Ваших слов описала мне местность, которою Вы окружены, и я ее вижу. Новостью для меня был точный Ваш адрес, радостью и преогромной — Ваше письмо.

Из рождественского письма М. И. узнал впервые о ее прозе, посланной с оказией. Ходил к В<ере> А<лександровне>, и только на третий раз застал ее дома. Она ни Вам, ни Дм. Петровичу не сможет ответить по той же причине, по какой не повезла с собой и прозу. Хотя совесть ее так же чиста, как у меня, и у нее никакого повода нет впадать в суеверную сторожкость обывателя, она предпочитает воздерживаться от переписки с заграницей, так как на этой почве бывает много недоразумений3.

Поправляйтесь, пользуйтесь случаем, в санатории наш брат попадает нечасто. И сколько наверное кругом Вас бездельников, которым это совсем не нужно!

Мне становится все трудней год от году. Никто кроме меня в этом не виноват. Когда-то я естественно рос из своего одиночества, не задумываясь над тем, к чему этот рост ведет и что значит. Потом это изменилось. Начиная с «Девятьсот пятого» я пишу не от себя, а все для кого-то. Между тем ответа я от этого местоиме-нья не получаю, и с тем, что до меня доходит, жизни завести не могу. В отношеньи меня здесь уже успели застыть кое-какие местные суперлативы, и при пользованьи ими, в них не заботятся даже внести разнообразья. Правда, словарь, которым приходится пользоваться нашей критике, беден и ограничен; значащих слов в нем почти нет, — отсюда и стереотипы. «Повесть» я писал прошлой весной, добрую ее долю с хорошим волненьем. По-настоящему ее принял только Пильняк с молодежью им руководимой4. Но вот и все, что я от нее видал. Дм. Петровичу я недавно напомнил, что заграничная моя звезда сводится к Вашим совместным усильям. Но я позабыл прибавить, что эта ясность причин и источников меня радует, а не смущает. Я этой «перепиской с друзья-ми» счастлив, это именно то, чего мне недостает в моей здешней судьбе: очень хорошо, что все это узко, субъективно и спорно; я участвую в общем разговоре и — не одинок.

Но сколько бывает случаев радоваться всему происшедшему, и неописуемой трудности времени, и его суровости и пр. и пр.! Они неисчислимы. Вдруг забредет что-нибудь такое с «поэтом-вещуном»

(это Тютчев, если помните (!!!)) на устах; с «пушкинской простотой» вегетарианского стиха, в жизни не убившего и мухи. Или, например, статью Люб<ови> Столицы об Адел<аиде> Герцык вам покажут5. Бог ты мой! И еще ты стонешь?! И главлит не по тебе?!

Так это все еще «пишет» и «размышляет»! И сквозь мир зримый незримый провидят? И отметинки остались, как накладывать? А кощунства-то сколько (не говоря уже о посвященности в судьбу и назначенье форм!). Евангелисты бедные старались, показали безумно-правое, молниеносно вечное, отвесно-молодое (как лошадь в мыле, как трава в росе) — тысячелетья шли, только искры сыпались, — так гениален заряд, — а послушать иную такую, так это ведь нечто губернское, только под косынкой и понятное, то самое, что стали прозирать, когда табак перестали нюхать, ну, знаете, что под кивки и вздохи сказывается; такая, знаете, безыскусственность; наследство небольшое, но много ли человеку нужно. А мы-то думали... Так вот они первоприглашенные вселенной! Мы-то щурились — лицо в улыбку — на небо глядя. А тут маститая кресло просидела при спущенных занавесках, сидит и истины нижет, что зерно клюет, птица певчая. Говорят тоже Ходасевич не выдержал, юбку надел, но не верю. — Или вдруг с противоположной стороны заедет. Что-нибудь золотозубое в элегантно сшитом пиджаке, покачиваясь как в фокстроте, рассказывает вам, как прелестно оно прокатилось по Германии. И лезвия для бритв передает и просит написать, что «привет Ваш передан; благодарю Вас». Но позвольте, я отказываюсь, я лезвий никогда приветами не называл, я напишу как есть, называя вещи их именами. Плеск рук, глаза с тарелку, вы непрактичны, я вам услугу, а вы меня губить, и пр. и пр. и все явленье, как платок, надушено спекуляцией, духами, мерзость которых нами тут позабыта.

Чувствуете ли Вы, чем близки эти противоположности? На одной только и мелют, что о духовном, но... но по душевной импотенции не знают, что такое бессмертие, и не желают его, потому что не могут его хотеть. На другой не успели ни разу им соблазниться ввиду заполненности жизни акциями и бутербродами.

Революция есть ответ оскорбленной истории; ее бурное объясненье по всем пунктам с человеком, по тем или иным причинам к бессмертию безразличным. Да здравствует революция. Обнимаю Вас.

Ваш Б. Я.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 209).

1 Свое письмо 7 янв. 1930 С. Эфрон закончил словами: «Братски обнимаю Вас» (там же. С. 516).

2 Эфрон написал письмо Пастернаку из Савойи, Роллан жил в Швейцарии (Вильнев дю Леман).

3 О визите к Вере Александровне Завадской см. в письме №531.

4 См. письмо № 497.

5 Речь идет о статье Любови Столицы, посвящ. памяти Аделаиды Ка-зимировны Герцык. Статья называлась «Поэтесса-вещунья» («Возрождение», 1 сент. 1925). Возмущение статьей, напомнившей Пастернаку худшие образцы литературных писаний 1910-х гг., вызвало внезапное прославление революции, поставившей человека один на один, впрямую перед вопросами смерти и бессмертия. Эти слова также должны были помочь Эфрону увидеть разницу между его литературными интересами и советской реальностью.

533. Н. Н. ИЛЬИНУ

Конец января — 14 февраля 1930, Москва

Дорогой Николай Николаевич!

Эрлиху написал давно, вскоре после Вашего отъезда, и как раз в том духе, как было уговорено1. «Повесть»2 вышлю при ближайшей возможности, вероятно скоро.

14. II. 30

Дорогой Николай Николаевич!

Роясь у себя на столе, наткнулся на начало неотосланной открытки. Между тем у меня какое-то смутное чувство, будто я Вам ответил. Так это или не так? Отсылаю с риском, что это — повто-ренье уже известного Вам. Видите, как я стал за последнее время забывчив. Болел гриппом. Теперь отравился. Кроме этого, радостей никаких. Любящий Вас Б. П.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1892, оп. 1, ед. хр. 5). Н. Н. Ильин — поэт, писавший под псевдонимом Н. Нилли. Свидетельством многолетних дружественных отношений с Пастернаком служит также письмо Н. Нилли 11 дек. 1943 с посылкой стихов и сообщением, что он работает вахтером, пишет автобиографическую повесть «Юность» и просьбой прислать ему книгу «На ранних поездах».

1 В письме В. И. Эрлиху № 526 Пастернак писал о приходе к нему Ильина (Нилли) и просил помочь ему с печатанием.

2 Экз. «Нового мира» (1929, № 9) с публикацией «Повести».

534. С. Н. ДУРЫЛИНУ

24 февраля 1930, Москва

Дорогой мой Сережа!

Как мне Вас благодарить! Вы и короткой открыткой сумели взволновать меня и прийти на помощь. Ваше большое письмо было поразительно. Вы, вероятно, и не догадываетесь, как много значит и какою гордостью за Вас преисполнило меня то, что Вы из реквиема процитировали строчки для всей вещи и ее смысла — вершинные1 и которые так легко не заметить, потому что их драгоценность в том и состоит, что даже и эта высота взята с натуры и в натуре оставлена; что она не теряется в прозаической простоте дневника; что она не задогматизирована и не выделена никаким голосовым курсивом.

«Есть между жизнью и большой работой...» и т. д.2

Ах, ах, Сережа — с чудом Вашего пониманья ничто не может идти в сравненье, и всего менее — я сам. И я ведь снизу, а не на одном уровне обсуждаю Вашу проникновенность и дивлюсь ей. Сами посудите, разница не мала! Передо мной был подлинник, я жил с ним, у меня было время; я мог по двадцать раз проворонивать незаметную поразительность каждой строчки, прежде чем она мне открывалась в двадцать первый. С этого двадцать первого раза и двинут перевод. И он дан Вам разом. Вот пропорция наших шансов. — При всем высказанном, Вы верно догадались, что главной трудностью задачи было сохранение тона подлинника3.

И такое-то письмо я оставил без ответа! Не догадаетесь ли Вы и тут, как это могло случиться?

Дорогой мой друг, вот я допишу две-три вещи и, как говорится, — сложу оружье. Дело — тупик, дольше обманывать себя я не в состояньи. Как рассказать, до чего мне трудно! Мне, может, было бы легче, если бы я был связан с каким-нибудь одним из реальных установлений духа, а не с воздушными следами лучших из них, и со всеми сразу; не с местом их в истории и в душе. Я понес бы одну осязательную утрату, меня постигло бы горе определенное. Я в рассужденьи начинал бы с себя, а не кончал собою. А так мне жизнь не мила лишь в последнем счете: т. е. надо вперед пропитать ядом мир и время, чтобы отравить меня. И я думаю: как должен быть несчастен свет, если мне так тоскливо!

Лично мне, на первый взгляд, жаловаться не на что. Напротив того, я неоплатный должник очень многих, давших мне доказательство любви незаслуженной, причинно неисследимой, дареной.

Я несколько раз принимался вслед за этими строками описывать Вам свой «curriculum vitae»* и теперь махнул на это дело рукой. Этого не сделать по причинам техническим. Не сердитесь на меня за мои неполные, недоговоренные письма. Я готов всю силу нынешней подозрительности, видящей часто то, чего нет, целиком принять на себя. Но мысль, что каким-либо своим движеньем я могу привлечь ее на Вас, меня парализует4.

Сейчас кончу. Вам, наверное, живется трудно в самом простом, житейском смысле. Мне стыдно, что я в этом отношении ничего пока не сделал и в самое ближайшее время не сделаю; что вместо стоющего и должного я высылаю Вам новые «Поверх барьеров». Они Вам не понравятся, и Вы будете правы.

У меня зачитали, т. е. вернее, увезли в другой город и утеряли единственный номер «Звезды» с «Охранной грамотой». На что она Вам в ее неоконченном виде, притом далеко отставшем от Ваших представлений, выращенных упоминаньями преданных Вам людей, которые справедливо радуются встрече с Вашим именем?5 Но если не уступите, я вышлю Вам истрепанный и истлевший до полной неотчетливости ремингтонный список, с которого ее набирали. Мука будет читать. Обнимаю Вас.

Ваш Боря

P. S. Список прилагаю к «Барьерам». Известите о полученьи.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 695). Датируется по дате, проставленной на письме неустановленным лицом.

1 Дурылин в письме 26 нояб. 1929 отзывается на перевод Пастернака Реквиема Рильке «По одной подруге», опубликованный в «Новом мире», 1929, № 8-9.

2 Заключительные строки Реквиема: «Есть между жизнью и большой работой / старинная какая-то вражда. / Так вот: найти ее и дать ей имя / и помоги мне. Не ходи назад. / Будь среди мертвых. Мертвые не праздны. / И помощь дай, не отвлекаясь; так /как самое далекое, порою / мне помощь подает». «"Большая работа" — для Бытия — уходит от нас, — пишет Дурылин, — а малая — для бытования — томит как праздный труд, спутывая, как косматая кудель. И постепенно, и постоянно "...ты теряешь вечности кусок / На вылазки сюда..."» («Встречи с прошлым». Вып. 7. С. 382).

3 О значении для переводов Рильке тона подлинника Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956): «У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Перевод-

* краткое жизнеописание (лат.).

чики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне».

4 Нынешнюю подозрительность тем страшнее было навлекать на Дурылина, что после ареста в 1927 г. он находился в ссылке, в Томске.

5 В своих письмах Дурылин называет имена друзей, переписывающихся с ним: В. К. Звягинцеву, Н. Э. Метнера, М. А. Волошина и др.

535. Ж. Л. и Л. Л. ПАСТЕРНАК

26 февраля 1930, Москва

26. И. 30

Дорогая Жоничка!

Вместо поздравительного письма мы отправили тебе Шехе-резаду. Дошла ли она вовремя и утешает ли тебя?1

Но кроме того я на днях написал тебе большое письмо, но не отправил по техническим причинам.

По Жениным расчетам семейное событье, которое ожидается у тебя, уже не далеко2. От души желаем тебе здоровья и всем сердцем с тобою. С нетерпеньем будем ждать вестей.

Дальнейшее относится к Лидочке. У меня спутались все сроки семейных рождений. Пусть не откладывая сообщит мне даты всех их, т. е. мамина, папина, своего и Федина. Нечего обижаться, с головой моей и не то делается.

Вновь, как уже однажды, — туманные, трудные годы. Говорят, за их грядой — блестящее и невиданное будущее. Это так, но я себя чувствую полусумасшедшим автоматом.

Дорогая Лидочка.

Неизвестно зачем я тебе отправил номер журнала с куском моей «Охранной Грамоты» и оттиск первой части замышленного романа, напечатанный весной отдельно в виде повести3. Если будет время, прочти. Дай Жоне, если я ошибаюсь в сроках, и ей еще до того. Перешли в Берлин, — папе и маме, думается, приятно будет кое-что припомнить.

И, если можно, напиши мне умно и серьезно.

Для этого отделайся временно от видимости, что все скок да скок, и сплошной блеск, у меня и у папы, а главным образом, у Оли4, — и семейную бутылку распирает от соды, — шумной, успешно-торжественной. Не для этого, и безо всякой улыбки посылаю я тебе эти куски.

Совершенно напротив. Это скучнейшая из трагедий, я едва справляюсь с ней. И ты мне скажешь, справляюсь ли. Ты не скроешь?

Охр<анную> Гр<амоту> я написал в 27-м году5. Тогда было все же другое время. Но и в ней уже есть то, что увеличивается с каждым годом и убивает меня. Я стал отягощать искусство прощальными теоретическими вставками, вроде завещательных истин, в каком-то не оставляющем меня чаяньи моего близкого конца, либо полного физического, либо частичного и естественного, либо же, наконец, невольно-условного6. Не все ли равно. Но ты моими настроеньями не огорчайся, а посмотри, можно ли все это читать, т. е. не отяжеляет ли познавательная заинтересованность, о которой я говорю, мой текст до совершенной несваримости. Под этими писаньями нет счастья, как было оно за страницами Люверс. Причины того, разумеется, не личные и не семейные.

Крепко целую всех в Мюнхене и Берлине. Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 «Книга тысячи и одной ночи». Перевод М. А. Салье. 8 т. Л., «Academia», 1929.

2 Рождение сына Чарльза (Карла Александра).

3 Оттиски из журналов «Звезда», 1929, № 8, и «Новый мир», 1929, № 7. Через четыре дня Пастернак писал об этих вещах родителям: «Я послал Лиде почитать кое-что мое. <...> Я боюсь, что языком совершенно непобедимая тяжесть и еле преодолимый сердцем мрак так сильно сказались на мне, что от искусства у меня ничего не осталось. И прочтете ли вы в этих вещах то, что я хотел сказать? Все же, верно, кое-что оживет для вас там. Если будете писать мне, напишите хоть что-нибудь об этом. <...> — Я хотел сказать и забыл (по поводу этих вещей): какой-то безысходный, не тот, лирически-молодой, а окостенело разрастающийся автобиографизм все теснее и теснее охватывает все, что я делаю. И тут кончается искусство» (там же. Кн. I. С. 265). Ср.: «Когда строку диктует чувство, / Оно на сцену шлет раба, / И тут кончается искусство, / И дышат почва и судьба» («О знал бы я, что так бывает...», 1932).

4 О. М. Фрейденберг.

5 Речь идет о первых двух частях «Охранной грамоты», посылаемых с письмом.

6 Три вида ожидаемой гибели: самоубийство, естественная смерть и арест.

536. В. М. САЯНОВУ

27 февраля 1930, Москва

27. II. 30

Глубокоуважаемый Виссарион Михайлович!

Благодарю Вас за письмо. Деньги мне нужны гораздо скорее, чем Вы обещаете. Я опять без гроша. Если Вы уверены, что продолженье «Охранной Грамоты» пригодится «Звезде», и думаете, что мне можно будет уплатить по 400 р. с листа (то, что я получу в Новом Мире), поторопите, пожалуйста, как только можете, редакцию высылкой намеченной Вами к марту суммы1.

Ваши слова, что редакция считает меня «одним из наиболее близких и нужных сотрудников «Звезды», лишний раз напомнили мне о ложности моего положенья, угнетающего меня год от году все больше, и в котором я не повинен2.

Ведь я не вредитель. Книги мои выходят не под крепом, не за слоем матовой кальки. В них все прозрачно. Что же Вы в них нашли актуального и полезного?

Разве я не индивидуальность? Мне никогда это не казалось попутной случайностью, от которой можно отвлечься, что-нибудь сохранив в остатке. Но разве это не то, с чем теперь борются с таким воодушевленьем?3 И как можно признавать меня, если и Британская Энциклопедия относится ко мне незаслуженно лестно, в статье о русской литературе4.

Если бы у меня не было семьи и в нравственном плане я не был средним человеком, то, глядя, что творится кругом, я должен был бы выступать в печати с возраженьями против благожелательной критики. Все это скверная и мучительная загадка. Жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

А прислали бы мне лучше Вашу книгу — (поэму: П. Н. Медведев в переписке ссылался на нее)5.

Деньги, если собираетесь слать, пришлите, пожалуйста, в теченье недели. Если нельзя, известите. На этом настаиваю. Надо будет найти другой выход. Прошу Вас.

Впервые: Ежегодник ПД, 1977. Л., 1979. — Автограф (ИРЛИ, ф. 597).

1В ведомостях журнала «Звезда» за Пастернаком записан аванс 547 руб. (ИРЛИ, ф. 109, № 835). Саянов был редактором журнала. Вскоре полученное требование Ленгиза скорейшим образом возместить предоставленный год назад аванс под издание «Спекторского» заставило Пастернака вновь обратиться к Саянову: «18. IV. 30. Дорогой Виссарион Михайлович! Вскоре после нашей встречи пришло прилагаемое отношенье. Будьте, пожалуйста, добры, похлопочите о перечислены! долга на "Звезду", т. е. о приобщеньи этой суммы к ранее полученным авансам. Это напоминанье, кончающееся угрозой, не входило в мои расчеты, когда я с Вами говорил... Может быть, обстоятельства сложатся так, что мне придется просить о временной отсрочке части суммы при расплате по "Охр<анной> Грамоте". Это будет видно через месяц; насколько будет в моих силах, постараюсь этого избежать. Теперь понятнее встревоженная настоятельность Ваших практических предложений. Вероятно, Вы знали о готовящемся требованьи. Тем признательнее за живость Вашей заботы. Ваш Б. Пастернак» (там же. С. 198).

2 Слова Пастернака продиктованы недоумением по поводу «терпимости» РАППа, к которому принадлежал В. Саянов, по отношению к его поэзии при общем характере «рапповской» воинственно настроенной критики. В частности, в статье о В. Саянове («На литературном посту», 1930, N° 4, февраль) Пастернак был назван одним из «литературных предшественников Саянова в смысле изобразительной фактуры» и «исключительным мастером стиха» (С. 43).

3 См. также письмо Медведеву N° 525: «Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний! И неужели я самое яркое в ряду этих явлений? <...> Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать Охранную Грамоту. <...> я не любуюсь тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко».

4 Автором статьи «Русский язык и литература» («Russian Language and Literature*) в Encyclopaedia Britannica (1929) был Д. П. Святополк-Мирский, который писал: «Борис Пастернак <...> — несомненно, крупнейший из ныне живущих русских поэтов <...> Его поэзия отмечена абсолютной свежестью восприятия и стиля в соединении с напряженностью лирического чувства, что можно найти только у классиков. <...> его проза <...>, раскрывая подлинную сущность человеческой души, стоит обособленно от прозы его современников» (vol. 19, p. 757).

5 Речь идет о поэме Саянова «Картонажная Америка» (Л., 1929), ославленной критикой за использованные в ней формально-экспериментальные приемы.

537. Р. И. ПАСТЕРНАК

6 марта 1930, Москва

6. III. 30

Дорогая мамочка!

Хотя я писал в прошлом письме о датах1 и от Лиды еще ответа получить не мог, я все их, всё же помню (неуверенно), и знаю, что (26-1 Г) в день полученья письма — твое рожденье. От всей души поздравляю тебя с этим днем и горячо желаю здоровья и долголе-тья, свободного времени, радостного и беззаботного духа, легких родов — Жоне, успешной работы — папе.

Твоя открытка о Зелинской2 только что подана, а та, за которой вдогонку ты ее отправляла, еще не пришла. Передам Шуре.

Я о себе ничего не пишу или редко и очень мало, потому что это трудно и нё к чему. Я очень устал. Не от последних лет, не от житейских трудностей времени, но от всей своей жизни. И это надо понять точно, как сказано. Меня утомил не труд, не обстоятельства се-

* 26 февр. по ст. — 11 марта по нов. ст. 408 мейной жизни, не заботы, не то, словом, как она у меня сложилась*. Меня утомило то, что осталось бы без перемены, как бы ни сложилась она у меня. Вот то-то и грустно и утомительно, что эти две стороны друг от друга отделимы, и что чуть ли не весь я всю жизнь оставался и останусь без приложенья. Ни я, ни кто другой не виноват.

Шура и Ирина последнее время работали дни и ночи и очень заняты. Всем вам просил кланяться А. С. Шор, которого я недавно видел на концерте. И Неменова-Лунц, — совсем седая, но по-прежнему жизнерадостная и бодрая. И Гнесина. Наконец, — папе и Кенеман, который учеником консерватории встречал его у Сафонова3. Единственная отрада нашего существованья это разнообразные выступления последнего моего друга (т. е. друга последнего года) — Генр. Нейгауза, и у нас, нескольких его друзей, вошло в обычай после концерта остаток ночи всей компанией проводить друг у друга. Устраиваются обильные возлиянья с очень скромной закуской, которую, по техническим условьям, достать почти невозможно. В последний раз он играл с Кенеманом на двух роялях, и любопытно было узнать, что уже и одна разница в ударах превращает рояли одной фирмы в несвязуемо различные по тембру инструменты. Ни разу не разойдясь в ритме, они все время расходились в музыке, и даже Женя и Ирина, закрыв глаза, понимали, когда вступает Нейгауз, и в бойко текущие упражненья для пальцев вдруг вливается волна значащей звучности, с дьявольским чувством ритма и темпераментом. Потом (без Кенемана, разумеется) до 6-ти часов утра пили, ели, играли, читали и танцевали фокстрот в Шури-ной и Ирининой

комнате; а Федичку к Жене перенесли. Женичка же так нервен, что достаточно небольшого отступленья от режима, как он уже и не засыпает до 11 часов, а когда и позже.

Крепко обнимаю вас. Все с большим чувством присоединяются к моему поздравленью.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 См. письмо № 535.

2 Неустановленное лицо.

3 А. С. Шор, М. С. Неменова-Лунц, Е. Ф. Гнесина, Ф. Ф. Кенеман, В. И. Сафонов — известные музыканты, дружившие со старшими Пастернаками в 1910-х гг.

* Вычеркнуто предложение в 3 строки. Дальше в тексте письма отдельные вычеркивания.

11 марта 1930, Москва

Пользуюсь случаем и приписываю1. Пожеланья мои тебе только растут и приобретают в силе. Только что получил письмо от Лидочки, — горячо благодарю тебя, Лидок. Ты сказала несколько вещей, безупречно существенных и глубоких. Если их даже и нельзя прямо отнести ко мне, все равно, они сохраняют свою лаконическую дефинитивность в отношеньи всякого большого искусства. Ты молодец, я крепко тебя целую.

Говоря об освобожденьи жизни в искусстве, ты прямо по оси пересекаешь основное чувство, которым я живу и в работе, и в общеньи с теми токами, которые она потом мне приносит2. А твоя боязнь, не за прошлое ли меня балуют симпатией, — основательна и справедлива. Она тебя не обманывает, это именно так. Ну так что же. В этом нет ничего позорного. Моя молодость давно кончилась, я не властен длить ее безгранично.

Не вздумай только показывать «Повесть» Вальтеру. Он поймет превратно и огорчится3.

В заключенье целую и обнимаю вас обеих и Федю. Аленушку для той же цели беру на руки. Весь ваш и с вами. Б.

Про Вальтера, если пошлешь, предостереги и наших.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Приписка к письму Е. В. Пастернак, по которому датируется.

2 Лидия писала брату 1 марта 1930: «Ты освобождаешь жизнь и меня, и вообще все пережитое. Я до невозможности остро чувствую именно вот это: освобождение (из-под гнета времени) и радость, и благодарность за освобождение» (там же. Кн. I. С. 268).

3 Имеется в виду Вальтер Филипп, учителем которого Пастернак был в 1913—1915 гг. Описанная в «Повести» обстановка дома Фрестельнов имела биографической основой годы, проведенные Пастернаком в семье Филиппов, в 1918 г. вернувшихся в Германию. После смерти отца, мать с сыном жили в Берлине и встречались с Пастернаками.

539. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

17 марта 1930, Москва

17. III. 30

Дорогой Николай Корнеевич!

Мне о Вашей прозе первая говорила Е. Тагер1, и я так доверяюсь ее суждению, что с большими надеждами ждал случая ее прочесть. Вы их не обманули. Благодарю Вас за книгу.

У меня есть недостаток, ведущий в жизни ко многим неудобствам. Я не умею перемежать свою работу чтением. Последнее, по близости вещей, рождаемых в душе,

производит во мне путаницу и выводит из рабочей колеи. А я давно уже тружусь лишь по необходимости, без радости и через силу. Утраченную инерцию я потом восстанавливаю не легко и не скоро.

Но «Юность» я прочел давно. Вашей соседкой была Кузмин-ская «Форель», одно из моих непростительных упущений, несмотря на то, что я о книжке слыхал отовсюду, а в последний раз даже от А. Д. Радловой. Лирическая высота и сила поэмы и «Лазаря»2 таковы, что я чуть было не сделал глупости. Я искал выражения чувству безразличья к автору, совершенно заслоненному страницами, которые движутся так совершенно, и в этом побужденьи начал писать А<нне> Д<митриев>не как одному из лиц книги. У меня не было под рукой ее адреса, вот почему эта нелепость, не имеющая прецедентов, осталась без исполнения.

А потом, с почти месячным запозданьем, по причинам моего обихода, которого я и теперь не изменю, я узнал о расстреле В. Си-лова3, о расправе, перед которой бледнеет и меркнет все, бывшее доселе. Это случилось не рядом, а в моей собственной жизни. С действием этого событья я не расстанусь никогда. Из лефовских людей в их современном облике это был единственный честный, живой, укоряюще-благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался, по ее полной недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению которой (безуспешному и лишь словесному) весь леф служил ценой попрания где совести, где — дара. Был только один человек, на мгновенья придававший вероятность невозможному и принудительному мифу, и это был В. С<иллов>. Скажу точнее: в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силовых в пролеткультовском общежитьи на Воздвиженке. Я не видел его больше года: отход мой от этой среды был так велик, что я утерял из виду даже и его.

Здесь я прерываю рассказ о нем, потому, что сказанного достаточно. Если же запрещено и это, т. е. если по утрате близких людей мы обязаны притворяться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет: если мое письмо может навлечь на Вас неприятности, — умоляю Вас, не щадите меня и отсылайте ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами).

А теперь о Вашей книге. Ваше дарованье не могло быть для меня открытьем. Вы его показали в стихах. Но что удивительно, и с чем

Вас надо поздравить, так это неожиданная зрелость Вашей прозы. Этим словом, немного не подходящим, я разумею тот композиционный тон, который является смыкающим током прозы, без которого все в ней распадается и перестает служить, и которым Вы завидно легко овладели. Например, естественно от поэта, переходящего на прозу, ждать живых и удачных описаний. И они местами, очень хороши у Вас. Но это неудивительно и не в том заслуга. Ибо тот же, скажем, дождь, нимало не шел бы у Вас, т. е. не задевал бы воображенья, если бы он не изливался над Громовским участком фабулы, если бы он не преследовал своими потоками этот элемент темы.

Реалистически картинным становится он лишь благодаря повествовательной неотступности, которой без этой композиционной связи он бы не имел. И едва ли бы картины второй главы так овладевали воображеньем, если бы не это параллельное чер-панье их из разных, и потом сливающихся углов памяти. Короче говоря, уже и первая половина книги, трогающая достоинствами якобы только поэтического порядка, обязана действенностью своих изображений условьям, одной поэзией не дающимся.

Они с полной ясностью начинают выступать с середины книги, когда описанье отходит на задний план, очищая место характерам, развитью интриги, развязкам и пр. Здесь, в сфере настоящей прозы, Вы достигли очень многого, и я на Вашем месте толь-

ко не стал бы называть достигнутое романом, потому что лишь этот уровень, в Ваши планы и не входивший, замыслом не захвачен, да и захвачен быть не мог. От такого обозначенья я бы воздержался, тем скорее, что в поставленных темою границах имеется несколько существенных побед.

Вам удалось уловить и передать несколько расплывчатых, нематериальных, забывающихся черточек недавнего прошлого. Чутье не обмануло Вас, когда в иных из них Вы усмотрели существо эпохи. Но Вы воспользовались и распорядились ими как художник, т. е., отстояв, растворили в фабуле, где они опять кажутся ускользающими и неуловимыми, но откуда им не ускользнуть, потому что ничто не улетучивается из художественного раствора. — В этом отношеньи Леня Бейлинсон совершенная находка. Его эмфаза, избалованность, отношение к матери, бескорыстное во все вмешательство и пр. — черты, делающие честь Вашему глазу и смелости, с какой, по нашим временам, Вы делитесь этими на-блюденьями с читателем. Я не удивлюсь, если Вас упрекнут в антисемитизме именно за то, что Вы увидели ряд вещей, которых ни сквозь какие очки (в том числе и очки антисемитизма) не разглядеть. Но именно убийственности этого дружелюбно-зрячего на-блюденья, дающего пищу таким широким размышленьям, именно неопровержимой типичности образа Вам и не простят, если заметят. Кроме того, хорошо, что ни он, ни мать нигде не утрачивают объемности, если бы сами персонажи были посвящены в то, что из них неизбежны выводы, они стали бы карикатурами. Вы их выдержали в неведеньи относительно их поучительности, и из всех трудностей замысла эта преодолена всего поразительней.

Мне досадно, что письмо вышло таким длинным. Это оттого — ну да Вы сами понимаете. По той же причине уведомьте о полученьи. Еще раз спасибо. Вы — молодец и не по летам глубоки, спокойны и сердечны.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Литературное обозрение», 1990, № 2. — Автограф (собр. Д. Н. Чуковского).

1 Историк литературы Елена Михайловна Тагер. Речь идет о романе Н. Чуковского «Юность» (Л., 1930).

2 Имеется в виду книга стихов М. А. Кузмина «Форель разбивает лед» (Л., 1928), шестой цикл которой называется «Лазарь».

3 Письмо написано на следующий день после премьеры «Бани», где Пастернак узнал о расстреле В. А. Силлова. Э. Г. Герштейн записала рассказ Пастернака: «У подъезда Театра Мейерхольда встретил Кирсанова, спросил его: "Ты знал, что NN расстрелян?" — "Давно-о-о", — протянул тот, как будто речь шла о женитьбе или получении квартиры» (Воспоминания. С. 389). См. письмо Л. О. Пастернаку № 541.

540. Ж. Л. и Ф. К. ПАСТЕРНАКАМ

22 марта 1930, Москва

22. III. 30

Дорогие мои, от души себя и вас поздравляю с этой новой победой неведомого и бесконечного1 над нашими суеверными страхами, которые, — теперь скажу — ведь и я так живо и больно разделял. Молодчина, Жонечка, благоговейно целую тебя и смертельно тебе завидую. Вот вы плачетесь всегда, женщины, и то не так, и это, и обошли-то вас, и славы вам никакой. А родить, а быть сержантом этой божественной победы, чего стоит это одно! Вот лежишь ты во всем широком и белом (ну, допусти, если даже уже давно и не лежишь), лежишь и кормишь, и отовсюду поздравленья, подарки, глупости, — тот светлый, трогающий шум. И как бесспорен бездонно милый и безмолвный повод, всему этому послуживший! Ведь главные, нет: — единственные подарки исходят от него! Во-первых, он одаряет тебя возможностью любить с предельной горячностью, но не с ней одною. Судьба твоей нежности, которую ты

будешь изливать по этому адресу — в твоих руках. Не любить его невозможно, любить легко, как бы ты его ни любила, он будет расти воплощень-ем твоего чувства, осуществленным отзвуком, переведенным в звук. Но главный дар не в этом, а в том, чем он незримо населяет комнату и дом, где он появился. Он лежит в люльке и сочиняет будущее, далекое и близкое, и там, где скучал бесформенный воздух, никого не пугая и неопределенным капризам не ставя границ, появляются сопротивляющиеся очертанья (когда-нибудь так будет и тут), появляется варьянт определенности, той самой определенности, которая одержала победу. И у нас новые страхи, которые она вновь победит, нам страшно, но воздуху радостно: он любит новые формы и верит в них. Какое счастье родить сочинителя и кормить его и от него зависеть, и как ничтожно рожать сочиненья, ими кормиться и ненавидеть за их зависимость от тебя!

В заключенье целую Аленушку тем горячее, что терплю ту же несправедливость, что и она. Письмо пошло аллюром, несколько обидным для нее. Отчего оно не было написано при ее рожденьи, отчего к этим словам о Карле Александре не сделано примечанья, что у форм, которые он расставил вокруг вас, есть предшественницы, что рядом стоят Аленушкины, и что будущее ваше он будет сочинять не безраздельно, а вслед за ней?

Правильно, дорогая девочка, пусть тебя утешат мои обиды, давай дуться и плакать вместе.

Крепко, крепко, крепко вас всех и родителей и Лидочку милую целую.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Речь идет о рождении сына, которого назвали Карлом-Александром.

541. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

26 марта 1930, Москва

26. III. 30 Дорогой папа!

Поздравляю тебя с днем рожденья. Какой ты молодец, как замечательно живешь, какой путь проделал! Крепко тебя целую и обнимаю.

Я давно хотел тебе написать, что здесь во втором М. Х. А. Те, т. е. бывшей студии Московского Художественного театра идет переделанное Воскресенье, в мизансцене, значительно примыкающей к твоим иллюстрациям1. Говорю так неопределенно-окольно и осторожно, потому что сам еще не смотрел, видевшие же восторженно хвалят в один голос и передают, будто твои иллюстрации, перенесенные из музея (?), развешаны в фойе. Ты, разумеется, уди<вишься>, что я еще не сходил, и будешь прав; но ты удивишься еще более, если узнаешь, что на это зрелище, которое ничего, кроме удовольствия не обещало, я еще и должен был пойти, чтобы не обидеть автора переделки, просившего меня на премьеру2. Я тогда не знал, насколько ты, в духе и незримо, участвуешь в постановке, а то бы я во всяком случае побывал.

А тут я не только упустил возможность, но еще и должен был попросить извиненья, что не смогу воспользоваться билетом. Прислан был один, а Женя у меня... обидчива; Женичка чем-то хворал; накануне, в аналогичной ситуации, я ходил с знакомой (Женя не могла пойти по причине Женичкиной простуды, и ее билет пропал бы) на генеральную «Коварства и Любви» в новой постановке. Вышло бы, что я каждый день хожу в театр, а она прикована к дому. Получилось бы нечто мрачное, а свету и так кругом и дома не много. Как бы то ни было, Воскресенье у меня на очереди, и чуть побываю, напишу. Вы, я помню, тоже, ведь, много посещали театры, и из них не выходили, — а насколько времена были легче!

Да что и говорить. Вот тебе пример того, как я живу. Знал я одного человека, с женой и ребенком, прекрасного, образованного, способного, в высшей степени и в лучшем смысле слова передового*. Возрастом он был мальчик против меня, мы часто с

ними встречались в периоде между 24-м и 26-м годами, а по роду своей деятельности (он был лектором по истории и теории литературы в пролеткульте и в нескольких рабочих клубах), главное же, по чистоте своих убеждений и по своим нравственным качествам он был, пожалуй, единственным, при моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор в том, что я не как он — не марксист и т. д. и т. д. В последнее время я мало с кем встречаюсь. Недавно я случайно, и с месячным запозданьем узнал о том, что он погиб от той же болезни, что и первый муж покойной Лизы4. После всего изложенного ты поймешь, как ужасен этот случай.

Ему было 28 лет. Говорят, он вел дневник, и дневник не обывателя, а приверженца революции, и слишком много думал, что и ведет иногда к менингиту в этой форме. Когда, узнав все это, я пошел к его жене, с которой был одно время в большой дружбе, у ней уже зарубцевалась шрамом через всю руку ее первая попытка выброситься из комнаты на улицу (ее удержали, она только успела разбить стекло и сильно себя поранила).

Вот тебе и театры.

Я много работаю сейчас, но очень медленно и трудно. Чем дальше, тем труднее мне определить, что это, собственно, такое, философия ли, искусство ли или что-нибудь другое. Но в художественном письме не требуют от себя мыслей, доведенных до точности формулы, а в контексте, где уместны формулы, не добиваются живости художественных изображений. Я же подчиняю себя и этим требованьям и многим другим5, что чудовищно замедляет работу и отражается на заработке.

Не забудьте, сообщите Лиде мою просьбу. Как только у ней освободится номер Звезды, ей посланный, пусть она его пошлет бандеролью по следующему адресу. Prince D. Mirsky. 17, Gower St. London WC1.

Повести посылать не надо, там знают, а только журнал с «Охранной Грамотой». Пусть сотрет, если там что-нибудь написано ей, но, разумеется, это не относится к знакам корректурной правки, которых стирать не надо. Вот и все.

Жоню вчера с Федей и Аленушкой поздравил. Поздравляю и вас с новым внуком.

Обнимаю вас обоих и целую. Ваш Б.

Впервые: Борис Пастернак. Из писем разных лет. М., 1990. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Имеются в виду иллюстрации Л. О. Пастернака к роману Л. Н. Толстого «Воскресение», оригиналы которых хранятся в музее им. Л. Н. Толстого. В фойе театра были развешаны репродукции с некоторых из них.

2 Инсценировка романа была сделана для II МХАТа Ф. Ф. Расколь-никовым, спектакль поставлен В. И. Немировичем-Данченко.

3 Имеется в виду В. А. Силлов. См. письмо N° 539.

4 Первый муж Елизаветы Леоновны Гозиасон был расстрелян в 1918 г.

5 Речь идет о работе над «Охранной грамотой», в которой, в главе о Венеции, отразились впечатления террора того времени, в частности реакции знакомых на расстрел В. А. Силлова.

9 апреля 1930, Москва

9. IV. 30

Дорогая мамочка!

Спешу успокоить тебя, что бабушке 75 р. высланы, как явствует из прилагаемой квитанции. Я послал из своих денег, и не 50, а 75, потому что Шурин запас истощился, и те 25, что ты хотела, чтобы он из твоих послал, не из чего было посылать. У меня такое впечатленье, что ты забыла о своем подарке Федичке, или упустила что-нибудь другое, потому что твои расчеты с Шурой не сходились именно на 50 руб., ты его ресурсы преувеличивала в последнее время — именно на эту сумму. Надеюсь, что он

успел написать тебе об этом недо-разуменьи, и ты вспомнила, что забыла и уверилась в своей ошибке, так что теперь тебе все ясно и все улажено. Приобщи, таким образом, эти 75 руб. к остальным, — яо своих деньгах, разумеется.

Меня огорчило, что вы ни словом не обмолвились о прозе, которую, наверное, получили от Лиды.

У нас все благополучно, лишь Федя ангиной болеет, бедный, но уже выздоравливает.

Последнее время у меня была полоса запойной работы, я возобновил работу над «Охранной грамотой» и написал дальше, несколько больше уже напечатанного: о Марбурге, Когене, Иде В<ы-соцкой>, Венеции. Надо писать дальше и собственно не следовало бы прерывать, так трудно мне бывает потом входить в оставленную колею. Но в разгаре работы я так ото всего ухожу, что это становится в тягость близким, и заниматься непрерывно — (единственное условье, при котором получались бы вещи действительно редкие) — не дано мне и невозможно.

Как и все прошлые годы, эту зиму усиленно звала к себе Р. Н. Ломоносова. Они в Пасадине (Pasadena), в Калифорнии, и оттуда приходили письма редкого великодушья и нежности с фотографиями тропической светосилы. — Я давно собираюсь на год — на полтора за границу и сам ежегодно от этой мысли отказываюсь. Вы, наверное, помните, что зимой меня приглашали в Польшу, и — бытовым образом — всех тут удивил мой отказ от поездки. Но при имеющемся решеньи когда-нибудь все же по-ехать, при конфузящей трогательности и заманчивости приглашений Р<аисы> Н<иколаевны> и при общей нашей измотаннос-ти, что всего важнее, нельзя вечно от этого вопроса отмахиваться, нельзя рано или поздно к обсужденью его не прийти. И вот я дал слово Жене, что когда очередная глава Охр<анной> Гр<амоты>, о которой была речь выше, будет написана, я окончательно этот замысел взвешу и примусь за его осуществленье. Кстати писанье этой главы мне с редкой тонкостью догадалась облегчить одна знакомая, Ирина Сергеевна Асмус. Она при Жене заказала мне ее к оп-ределенному числу, дню своего рожденья (таким образом срок был фиксирован, и фиксирован не мной) и—что помогло мне еще больше, предложила Жене рисовать ее, ходила с ней гулять и пр. Так что и с Женей у меня был уговор, что — седьмого я прочту главу, а с восьмого начну хлопотать о паспорте. Я вам пишу обо всем этом затем, чтобы кончить просьбой об исхлопотаньи въездной визы для Жени с Женичкой. Я не упоминаю себя, потому что сам сейчас о поездке не могу и думать. «Охранная Грамота» есть и будет сочине-ньем решающего значенья. Не так важно, что по ней будут главным образом судить обо мне, как то, что по ней, больше всего мне будут следовать. Тут можно наплодить много бед. Поэтому в ее исполнены! не может быть ничего случайного, ни в размере ее, ни в объеме охваченных ею предметов. Есть определенная порция, которая должна быть написана именно у нас, и разработки которой нельзя пе-ренесть за наши пределы. Это именно та часть, которая перебирает основы моих воззрений, наиболее несовременные, наиболее, на поверхностный здешний взгляд, спорные и т. д. Писать обо всем этом в других, нетрудных условьях было бы неблагородно: и это вносило бы в текст то, чего в нем нет. Я думаю приехать потом, через полгода; Женю же с Женичкой хотел бы отправить раньше. Они у вас не заживутся, т. к. верно поедут к Раисе Николаевне. Но так как вы за визой не завтра побежите, и побежите, может быть, не вы, то об этом будет еще речь. Вот чем объясняется мой тон, не умоляющий и без извинений, который, может быть, вас обидит.

Крепко обнимаю вас. Ваш Б.

Деньги отправлены седьмого. Простите все же, что о визе заговариваю с вами, а не пытаюсь действовать через других, как бывало раньше. Теперь это неудобно, и

свинство, конечно, что из нежеланья кумовства и интимностей я именно иду по линии прямой интимности (вероятно, эти хлопоты коснутся Жони, так я себе представляю, и потому нарочно заранее пишу вам, на случай, что нельзя, и вы отсоветуете).

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

543. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

После 14 апреля 1930, Москва

Мой друг, я хотел и должен был давно ответить Вам. Сообщите Ваш европейский адрес1. Я Вам еще напишу, положив перед собой оба Ваших последних письма. Сейчас я не могу этого сделать. Не потому, чтобы совершившееся2 заслонило от меня то, что было и осталось крепким, дорогим и высоким в моей жизни. Нет, напротив, — всякая крупная определенность возвышает и очищает жизнь. Но здешние отклики на смерть Маяковского прокатываются странно и как-то не вполне по-человечески. Мне надо дождаться, чтобы выздоровела ближайшая ко мне почва, чтобы участок, на котором я стоял, когда это случилось, освободился от нахлынувших на него пустяков. Если бы я обращался к Вам только как человек, убитый утратою, перед Вами было бы здоровое, настоящее, в каком-то смысле и к Вам тянущееся горе, побежденное восхищеньем. По счастью я иду к этому уединенью, и его скоро достигну. Тогда и напишу Вам, как раньше. А сейчас я, как сыпью, покрыт посторонними наблюденьями, и в этом виде даже не хочу приближаться к Вам.

Ваш Б.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Датируется по содержанию. Отправлено в США в одном конверте с письмом Е. В. Пастернак от 16 апр. 1930.

1 Летом 1930 г. Ломоносовы путешествовали по Европе, побывали в Англии, Германии, Швейцарии, Чехословакии, Италии и Франции.

214 апр. 1930 г. застрелился Маяковский.

544. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

18 апреля 1930, Москва

18. IV. 30

Дорогая Марина!

Ты все знаешь уже, вероятно из газет. Если можно, удовлетворись тем немногим, что прибавлю о себе. Три дня я был весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от событья1, и этого было достаточно, чтобы мое чувство, объявленное чужим и далеким, перестало на него отзываться на общей церемонии. Я нигде не мог пристроить двух столбцов о нем, которые ничего страшного, кроме признанья красоты его свободного конца не заключали2. Сохрани, пожалуйста, этот факт в тайне. Если бы туг узнали, что он стал известен у вас, я бы стал мишенью ежедневной клеветы, а это менее чем когда, нужно мне.

Все это совершенные пустяки вот почему. В дальнейших главах «Охранной Грамоты», которые я написал зимой, он и его смысл и его роль и обаянье и главное: его значенье в моей судьбе даны так, что это покажется многим неожиданным. Я потому с самой осени и не видал его, что все ждал, когда главы эти будут переписаны, и даже не посвящал в эти планы. — Дорогая моя, друг мой, прости, что не пишу тебе. Это некоторое время еще будет продолжаться. Меня очень мучит, что я не знаю твоего «Перекопа»3. Волны восхищенья разрозненно доходят до меня, вероятно это замечательно. Из твоих сообщений меня сильнейше коснулось все о французских переводах, это было самым реальным и счастливым изо всего, что я узнал «заграничного» за этот год. Твоя французская строфа настолько твоя, что сливает оба языка в один, как сливаются немецкий с французским под St. Gothard'oM (?)4. Ты

страшно ты во всем этом и страшно мне нравишься верностью в этом всему, что в тебе всегда восхищало. Я и от Володи ждал чего-то подобного. Я думал, что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предуга-данности всеми, т. е. исчезнет в неизвестность или обманет ожиданье еще чем-нибудь. Но, мне казалось, что обманув, останется жить, чтобы совершенствовать неожиданность, а о таком именно исходе я не думал. Но, разумеется, и он (т. е. конец) того же высокого рода. Не поддавайся волненью или тревоге, работай как до сих пор, я люблю тебя, если это тебе нужно, и крепко целую. Неандер был, благодарю за подарки, но деньги он сам переведет, а я сейчас не могу5. Пусть С. Я. простит, что до сих пор не ответил ему.

Тут превосходную лирику выпустил М. Кузмин, и я написал ему как раз накануне самоубийства В. М<аяковского>6.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936.— Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171).

1 Скорбь Пастернака по Маяковскому и его понимание мотивов гибели «лефовские друзья» восприняли как лицемерие. Об этом «соприкос-новенье с умственной пошлостью» см. также в письме № 547. «Друзья же изощрялись в спорах, / Забыв, что рядом — жизнь и я. <...> Так пошлость свертывает в творог / Седые сливки бытия», — писал Пастернак об этом в стих. «Смерть поэта» (1930).

2 Текст этой заметки неизвестен.

3 Поэма Цветаевой, посвященная заключительному эпизоду гражданской войны. Работа над ней была начата летом 1928 г., Пастернак помогал в сборе материалов (см. письмо № 465).

4 На альпийском перевале Сен-Готард смешиваются французский и немецкий языки жителей пограничных кантонов. В «Охранной грамоте», описывая свою поездку через Альпы, Пастернак отмечал «место слиянья обоих речевых бассейнов». Слова о французской строфе Цветаевой, которая сливает оба языка в один, вероятно, относятся к авторским французским переводам отрывков из поэмы «Молодец».

5 Борис Николаевич Неандер — журналист, вернулся из эмиграции в Россию в начале 1930 г.

6 М. А. Кузмин. «Форель разбивает лед. Стихи 1925-1928». Л., 1929. Письмо Пастернака Кузмину неизвестно.

545. В. М. САЯНОВУ

15мая1930, Москва

15. V. 30

Дорогой Виссарион Михайлович!

Во-первых, я не поблагодарил Вас вовремя: за деньги, которыми ссудил меня П. П.1; за улаженье претензии Ленгиза и телеграмму об этом. — Все это превращается у меня в крупную задолженность перед «Звездой», которую я надеюсь погасить (т. е. от-работать) к осени, и может быть полностью. Разумеется, всем этим Вы страшно облегчили мне жизнь и работу, и не знаю слов, которые выразили бы мою благодарность.

Но делу о 656-рублевом Ленгизовском авансе под Спекторского2 был, очевидно, дан ход до Ваших переговоров. На днях я получил из Юрбюро Гиз'а требованье о погашеньи этой злосчастной задолженности. Юрбюро действует по просьбе Ленинградского отделенья и грозит в случае неуплаты судебным взысканьем. Я подам туда заявленье о состоявшемся перечисленьи долга с Лит. Худа Ленгиза на «Звезду»3, основываясь на Вашей телеграмме. Но я и Вас просил бы распорядиться о том, чтобы Юрбюро и его юрисконсульт, тов. Ломакин, были Ленгизом извещены о состоявшейся конверсии. Пожалуйста, простите, что со мной столько всегда хлопот. Делового

письма не хочу осложнять интимностями, напишу как-нибудь в другой раз, когда и поделюсь ближайшими планами.

Крепко жму Вашу руку. Еще и еще раз большое спасибо.

Ваш Б. Я.

Впервые: Ежегодник ПД, 1977. Л., 1979. — Автограф (ИРЛИ, ф. 597).

1 Имеется в виду Петр Петрович Крючков, секретарь Горького. В письме Горькому 31 мая 1930 Пастернак упоминает об этой помощи, оказанной ему «в трудную минуту».

2 Окончательно Пастернак завершил работу над «Спекторским» летом 1930 г. в Ирпене под Киевом. 29 сент. 1930 г. он писал С. Д. Спасскому об его окончании и сдаче в «ЗиФ». Отдельным изданием с цензурными купюрами «Спекторский» вышел в свет в 1931 г. в Государственном издательстве художественной литературы.

3 То есть литературно-художественный отдел Ленгиза, выплативший аванс. Судебное взыскание, однако, было подано, и разбирательство длилось до весны 1931 г. См. упоминания об этом в письмах к З. Н. Нейгауз № 595, 596, 598.

546. Н. Н. ИЛЬИНУ

18 мая 1930, Москва

18.V.30

Мой дорогой Николай Николаевич!

Не могу себе простить, что до сих пор оставил Вас без ответа. Ваша фантазия (с книгой) до крайности меня растрогала и обязала1. Мне бы хотелось, если посчастливится, написать Вам стихотворенье, потому что покрывать обыкновенной надписью страницу после такого шага как-то неловко. И все нет случая. Приближенье лета всегда сопряжено с семейными заботами и делами. Дайте схлынуть этой волне, и я обелюсь перед Вами. Но не ждите ничего особенного: именно и пустейшее не в моих силах сейчас, так я погряз во всем насущном. Может быть я на неделю другую, пристроив своих за городом, останусь один в квартире. Тогда будет легче. У меня ничего нет законченного, а цифру авансов страшно назвать. Придется спешно дописывать.

Еще раз спасибо. Не сердитесь на меня. Обнимаю Вас.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1892, оп. 1, ед. хр. 5). 1 Вероятно, просьба надписать недавно вышедший сборник («Две книги», М.-Л., ГИЗ).

547. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

Май 1930, Москва

Дорогая Марина! Ася давно просила переслать тебе эти карточки. Прости, что позабыл вложить в последний раз. Огромное тебе спасибо за твое письмо. В нас сказалась одна и та же забота друг о друге, но как оценить твою, принимая во внимание мое свинское повеленье последних месяцев.

Мне немного нездоровится, утомлен, недосыпаю, весь день хожу с мутной головой.

Когда застрелился Маяковский, я два дня прокипел в здоровом, чистом, укрепляющем горе. Я давно-давно не чувствовал так отлично — не скажу: себя, но отчетливую размещенность всего любимого: особенности столетья, тебя, твоих, язык, задачи, не-дооткрытые области поэтического знанья, — прости за вздорное теченье фразы, так к слову пришлось.

Я писал тебе, что во всем перечувствованном получил скорый отпор1. Было бы ложной аффектацией задерживаться на этом случае дольше, чем я на нем задержался на практике. Эта мелочь и в письме должна была уписаться в одну строку, как и в жизни она заняла одно мгновенье.

Но с этого мгновенья меня как-то залихорадило. Однако ты не беспокойся. Это наполовину нечто мнимое, хотя я так создан, что мне от одного соприкосновенья с умственной пошлостью обметывает губы: от одной мысли, что выход из рабочей сосредоточенности подобен разврату и загрязненью крови. Я скоро возьму себя в руки: да это уже почти и случилось.

Моя работа затрудняется происшедшим. Я начерно писал зимой о Маяковском, крупно (в замысле), горячо и живо2. Но как о живом, в расчете что попадется на глаза живому, и чем-нибудь ему да послужит. Иное дело теперь, когда все это надо вести холоднее и суше, чтобы не потеряться перед разом разросшейся натурой: ибо теперь — так я понимаю — писать о нем значит писать об истории гос<ударства> целого, и этот образ впервые для себя откапывать, обтирать, — и заводить в душе3. (Скользни и забудь: — приблизительности непозволительно невоплощенные.)

Я с просьбами. Передай, пожалуйста, Дм<итрию> П<етро-вичу>, что я страшно его благодарю за Eliot'a и рад подарку4, но чтобы простил, что не скоро ему напишу. Пусть также за то же не сердится на меня С<ергей> Я<ковлевич> — Можно ли поместить во 2-м изд<ании> Барьеров стихи к тебе?* Я их доправлю5.

Вышли новыми изданьями «Две книги» (хорошее изданье) и «Девятьсот пятый» (в отвратительном виде). Если кому нужно будет, напиши.

Не сердись на меня и не суди по этим письмам. У меня нет сил победить их бессодержательность, т. е. диссимулировать ее. Твой Б. А почт<овая> марка — твой «Перекоп». Заметила?6

* Ответь на подчеркнутое. Мне бы хотелось, чтобы позволила. (Прим. Б. Пастернака.)

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171). Датируется по содержанию.

1 См. в письме N° 544: «На четвертый день меня отлучили от собы-тья...» и коммент. 1 к этому месту.

2 Разговор идет о третьей части «Охранной грамоты».

3 Родство Маяковского и «ломящегося в века... небывалого, невозможного государства» нашло краткое выражение в заключительной главе третьей части «Охранной грамоты»: «В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами».

4 Какую именно книгу Т.-С. Элиота прислал Святополк-Мирский Пастернаку, узнать не удалось.

5 Во втором издании «Поверх барьеров» (1931) цикл «Смешанных стихотворений» расширен стих, посланиями 1928-1929 гг.; обращенное к Цветаевой стих. «Ты вправе, вывернув карман...», публиковавшееся без назв. в «Красной нови» (1928, N° 5), вошло в него в переработанном виде и с обозначением инициалов адресата «М. Ц.».

6 Марка на конверте, посвященная победе Красной армии при Перекопе, была отклеена.

548. Р. И. ПАСТЕРНАК

20-е числа мая 1930, Москва Дорогая моя, дорогая мамочка!

Печальное известье о кончине бабушки уже достигло тебя, как я думаю1. Ищу и не нахожу слов тебе в утешенье. Тем более, что и меня эта весть поразила больше всяких расчетов. Обычные в таких случаях угрызенья совести нахлынули и стали теснить меня. Мнимые, разумеется, потому что какая может быть вина моя перед ней?

А главное, прежде уходили из жизни, от определенно-живых. И горе было отчетливее, и загадка не так расплывчато-обидна. Как сказать, откуда уходят теперь?

Пишут, что в последние дни она себя хорошо чувствовала и ничто не предвещало конца.

Все это меня застает рассеянно обомлелым. То, откуда постепенно все мы уйдем, и само очень мало походит на жизнь. Вероятно, я состарился и устал. Кроме того, меня угнетает повторность явлений. Опять очереди, опять я в них стою. Все это я уже переживал однажды.

У меня были готовы и остаются 150 р. на отправку в Ленинград. Пусть папа сообщит, посылать ли их Кларе, или часть, и тогда — какую. 50 р. Соне отправил, квитанцию прилагаю. Мне бы очень хотелось сделаться с вами на всю эту сумму, чтобы эта возможность не пропала зря. Если можно, ответьте немедленно, потому что после 10-го я уеду в Киевскую губернию. Женя с Женичкой и воспитательницей уже там, там же наймет и прислугу. Большой багаж пришлось отправлять. Они недавно уехали, знаю по телеграмме, что доехали благополучно, письменных же и более подробных известий не получал, рано по времени. — Только что подали ваше письмо с приложеньем, которое сейчас же пересылаю Б<ерте> С<оломонов>не. Л<ев> С<еменович> болел чрезвычайно долго и скончался после мучительно долгой агонии2. Я не писал вам об этом, потому что не ищу новой квартиры, и будучи всем тем, что я есть, работаю при худших рефлексах, чем те, при которых пришлось даже тебе, папа, всю жизнь работать3. Но разумеется, еще я баловень по сравненью с многими, и судьба моя тут с некоторых сторон, по ее мягкости, необъяснима. — Относительно денег ответьте, пожалуйста, и наладьте мне возможность обмена, это очень важно для меня. В результате предварительной рекогносцировки относительно выезда получил отказ, но надежд и хлопот не оставлю4. Боюсь немного встречи с вами со всеми, долго говорить, почему, но какие-то нехорошие предчувствия. — И так как вы в Мюнхене, то всех всех вместе с вами крепко обнимаю и целую. Ваш Боря

Простите, пожалуйста, за приступы беспричинной горечи. Это у меня бывает, вдруг, на всех, и тогда начиная с самых дорогих и близких. — Прошло, целую, забудьте.

С середины июня адрес будет: Киевский округ, ст. Ирпень, Ю-3. ж. д. Пушкинская, 13, мне.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Смерть Берты Самойловым Кауфман, матери Розалии Исидоровны, жившей в Ленинграде у младшей дочери Клары.

2 Л. О. Пастернак узнал от Эттингера, что 26 апр. 1930 г. скончался их общий друг врач-отоларинголог Л. С. Штих, лечивший когда-то детей Пастернаков, и пересылал через сына соболезнования его вдове. Л. О. Пастернак рисовал двойной портрет Л. Штиха и К. Пастернака.

3 Перед отъездом на лето в Мюнхен к дочери Пастернаки освободили свою прежнюю квартиру. «Квартир масса и меблированных комнат еще больше — но, ведь условия для меня: мастерская, северный свет, лифт — в старых домах, если есть все — нет лифта, или напротив красный дом и "рефлекс"» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 278).

4 Речь идет об отказе в заграничном паспорте и разрешении на выезд.

549. А. М. ГОРЬКОМУ

31 мая 1930, Москва

31.V. 30

Дорогой Алексей Максимович!

У меня к Вам огромная просьба. О ней — ниже, вперед несколько слов о другом.

Я видел Вас три раза в Ваш первый приезд летом 28 г. и на третий, чтобы не показаться бессловесной куклой, попросил слова в Вашем присутствии на собрании в

Кр<асной> Нови1. Когда я кончил, Вы поднялись и, не глядя в мою сторону, покинули собранье. Безмолвная укоризна, которую нельзя было не прочесть в этом движеньи, осталась для меня загадкой. Я уловил упрек, но не понял его. Однако я понял, что какие-то мне не ведомые обстоятельства так низко уронили меня в Ваших глазах, что, при невозможности все это выяснить, мне придется с этой тяжкой неизвестностью примириться2. С того вечера я ничем не беспокоил Вас. Я и сейчас не осмелился бы нарушить этот порядок, если бы не весенняя моя встреча с П. П. Крючковым.

Он может рассказать Вам, какую неоценимую поддержку он неожиданно оказал мне в трудную для меня минуту3. До посещения его на Кузнецком я с ним не был знаком. На столе лежала редакционная почта. Я узнал Вашу руку, и, естественно, зашел разговор о Вас. П<етр> П<етрович> слушал, кивая и улыбаясь.

Так не мог бы вести себя Ваш секретарь, если бы таинственная преграда, затруднявшая мой доступ к Вам, существовала реально. Он должен был бы знать о ней. Я сказал ему, что какие-то люди или превратно поданные факты погубили меня в Вашем мненьи. Он возразил, что меня ложно информировали, что ничего такого нет. Это было страшной радостью для меня и большим освобожденьем.

Потому что в глубине души я знаю, как Вы ко мне относитесь, когда меня не навязывают Вам, без всяких натяжек в ту или другую сторону. И я люблю Ваш трезво-дружелюбный суд тем более, что он мне кровно близок и давно знаком. Так ко мне относятся самые дорогие люди: мой отец и старшая сестра4.

Итак, П. П. с редким участием расспрашивал меня о моем житье-бытье, планах и нуждах. Я предположил, и, вероятно, не ошибся, что то была новая волна Вашей удивительной заботы обо всем мало-мальски проявившем себя в России, коснувшаяся также и меня, и потому не отвергайте, пожалуйста, моей глубочайшей благодарности Вам за себя и за всех.

Между прочим, перебирая всякие соблазны, П. П. назвал то самое, что является существом моей нынешней просьбы. И как жалко, что я тогда же не оформил своего желанья окончательно. Он согласился бы, может быть, помочь мне до отъезда, что крайне упростило бы все и ускорило, а также избавило бы Вас от чтенья длинных писем.

Все последние годы я мечтал о поездке на год — на полтора за границу, с женой и сыном. В крайности, если это притязанье слишком велико, я отказался бы от этого счастья в их пользу. Поездки же без них я и не обсуждал, за ее совершенной непредставимостью. Я хотел бы повидать родителей, с которыми не видался около 8-ми лет. Зимой 22 года я побывал в Германии, с тех пор ни разу не выезжал.

Помимо свиданья со своими, мне хочется и нужно побывать во Франции, и в Англии, может быть. И я боюсь встречи с друзьями, как боялся бы поездки к Вам, потому что тепла и веры, излившихся на меня за эти годы, ничем, ничем не возместить. Чем больше я это сознаю, тем несчастнее делает меня сознанье моей глубокой и позорной задолженности. В том, что я бессилен отдариться, виноват, разумеется, я сам. Но и не я один.

Оттого-то из весны в весну, я так долго и откладывал испол-ненье этой мечты. У меня начато две работы, стихотворная и прозаическая, мыслимые лишь при широком и крупном завершеньи, и конфузно-смешные без него или с окончаньем невыношенным и скомканным. Мне туго работалось последнее время, в особенности в эту зиму, когда город попал в положенье такой дикой и ничем не оправдываемой привилегии против того, что делалось в деревне, и горожане приглашались ездить к потерпевшим и по-здравлять их с их потрясеньями и бедствиями5. До этой зимы у меня было положено, что, как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался.

Но теперь я чувствую, — обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а может быть, и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю, — когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец.

Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, — вот моя просьба. Ответьте, прошу Вас, либо сами, если урвете время (я знаю, — это бессмыслица: его не может у Вас быть, если его даже не хватает мне и товарищам в моем положеньи), либо попросите П. П. ответить мне по адресу «Ирпень, Киевск. округа, Пушкинская ул., 13, мне».

Надо ли говорить, в каких чувствах я пишу Вам, и как равно готов принять любой Ваш ответ, потому что с радостью признаю над собой Ваше право даже и осудить меня за желанье и быть о нем особого мненья. Но если бы Вы нашли нужным замолвить обо мне, Ваше слово всесильно, — я знаю6. Будьте же моей судьбою в ту или другую сторону. В обоих случаях равное спасибо.

Ваш Б. Пастернак

Сердечный привет П. П.

Впервые: ИОЛЯ. Т. 64,1986, n9 3. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56.12.14).

1 Заседание в редакции «Красной нови» происходило 9 июня 1928 г. Пастернак высказал на нем свои надежды на то, что приезд Горького, исправит к лучшему литературную и идеологическую обстановку в обществе. См. в письме N° 432 о том, как присутствие Горького, «высшего авторитета страны и времени», сразу изменило содержание газет и «лучшую часть людей кругом»: В. А. Катанян запомнил слова Пастернака на заседании «о фарисействующем поколении», что резко диссонировало «с всеобщей елейной бессодержательностью» выступлений, его упор на: «Вот приехал барин, барин всех рассудит» («О Маяковском и Пастернаке» // Russian Triquarterly, N° 13, 1975. С. 510).

2 Горький писал в ответ на эти слова: «Решительно, искренно говорю Вам — у меня нет ни тени неприязни к вам, нет ничего, что — на мой взгляд — могло бы задеть Вас, внушить Вам странную мысль о моей неприязни <...> Инцидента в редакции "Кр. Нови" я не помню, но косой взгляд мой не мог относиться в Вам. Я терпеть не могу безделья "деловых" собраний и заседаний, и всегда раздражаюсь, присутствуя на них» (Июнь 1930. ИОЛЯ. С. 281).

3 Крючков ссудил Пастернака суммой, необходимой для возвращения аванса Ленгизу, выплаченного за неосуществленную публикацию «Спекторского» (см. письмо N° 545).

4 Имеется в виду Жозефина, которая была младше Б. Пастернака на 10 лет, но по возрасту из двух сестер была старшей. В ее письмах брату явственно звучат ноты требовательной строгости.

5 Имеется в виду постановление секретариата ФОСП о создании ударных бригад писателей для посылки их в колхозы и совхозы, опубликованное в «Правде» 6 янв. 1930.

6 «Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу, — подождите!» — отвечал Горький и приводил примеры выехавших недавно писателей, публикующихся в эмигрантской печати. — «Всегда было так, что за поступки негодяев рассчитывались приличные люди, вот и для Вас наступила эта очередь» (там же). Одновременно с письмом Пастернаку Горький сообщал Г. Г. Ягоде, что отказал Пастернаку, человеку «безусловно порядочному», опасаясь, что тот в силу

своего «безволия» поддастся влияниям «белоэмигрантов» (Неизвестный Горький. М., «Наследие», 1994. С. 172).

550. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

3 июня 1930, Москва

3.VI. 30

Дорогая Раиса Николаевна!

Я не знаю где Вы, и сейчас пишу Вам по делу по старому адресу; Бог знает, когда и где нагонит Вас это письмо1. Мне хочется знать, остается ли в силе возможность с В. Е. Гар, могу ли я ей воспользоваться и не переменила ли она своего адреса2. Не исключена, кажется, возможность, что мы увидимся. Я произвел кое-какие попытки, но получил отказ. Однако, хлопот не оставлю. Если эти расчеты придется ограничить, я постараюсь добиться этого хотя бы для Жени с сыном.

Вот собственно и все, но Вы напишите мне подробно о себе. Ведь Вы живете в других широтах, и именно в тех, которыми мне хочется подышать; и если Ваше письмо будет, как мое, я сделаю кучу ложных заключений о жизни на западе, и рвенье мое ослабнет. Меня же эта зима, тяжелая во многих отношеньях, измотала до крайности. Вы простите мне, что я мало писал Вам? Если не я, то может быть Женя опишет Вам когда-нибудь, среди каких обстоятельств протек этот год.

Они сейчас в Киевской губернии на даче, куда нас сманили знакомые. — Сердечный привет Юрию Владимировичу и Вашему сыну.

Я еще по-другому напишу Вам и по-другому подпишусь, и, вероятно, до Вашего ответа на эту деловую записку. Наш адрес: Киевский округ, ст. Ирпень, Юго-Зал. ж. д. Пушкинская 13, нам.

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 Письмо отправлено в Пасадену (Калифорния), переслано в Нью-Йорк и в Берлин.

2 Настоящая фамилия подруги Ломоносовой — Тар (см. коммент. 7 к письму № 501).

551. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

11 июня 1930, Москва

11. VI. 30

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Часто переносился мыслями к вам в этом году, часто собирался писать, и ни разу не написал, если не считать одной, оставленной Олею без ответа, открытки.

И сейчас пишу неизвестно почему. Повод посочувствовать вашим квартирным напастям и таске по судам, о чем сообщил однажды папа зимою, давно, по счастью, утрачен1. Повод поздравить тетю с семидесятилетием я сам позорно пропустил. Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что, если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь.

Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в созданьи настоящего, и живой любви у меня к нему нет.

Что всякому человеку положены границы, и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мною будет.

И однако, письмо все-таки не так беспричинно, как мне показалось. Собираясь изо дня в день вам написать, я постепенно забыл о первичном мотиве. Новые знакомые сманили нас на это лето под Киев и сняли нам дачу там. Женя с Женичкой и воспита-

тельницей уже с конца мая на месте. По-видимому, затея была не из умных: первые впечатленья Жени и Шуриной жены (его семья тоже поселилась в той же местности) граничили с отчаяньем; так далеко и с такими трудностями ездить было незачем. Но всеобщее мненье, что с продовольствием на Украине все же будет лучше, чем на севере2. Послезавтра, 14-го, и я к ним отправлюсь. Не погостили ли бы вы у нас, или, по крайней мере, ты, Олюшка? У меня есть причины предполагать, что среди лета мне придется, может быть, вернуться в Москву. Но и до этого разрешенья жилой площади, все это, кажется, возможно, — дача большая. Напиши мне, Оля, туда, если будет охота, по адресу: Ирпень, Киевского окр. Ю. 3. ж. д., Пушкинская ул., 13, мне.

Крепко вас обеих обнимаю. Прошу прощенья за грустное письмо.

Ваш Боря

P. S. Бумага — подарок одной американки, которого не трогал, пока не стало простой почтовой бумаги; и нигде не достать.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 См. коммент. к письму N° 503.

2 Надвигающийся голод был следствием кампании по коллективизации деревни и раскулачиванию.

552. Р. И. ПАСТЕРНАК

12 июня 1930, Москва

12. VI. 30

Дорогая мамочка!

Благодарю за телеграмму. Деньги тете Кларе выслал, квитанцию прилагаю.

Все зависит от поддержки Горького. Я ему написал в Италию числа 5-го1. Ответа жду в Ирпене, куда отправляюсь 14-го, послезавтра. Оттуда напишу. Вмешиваться в это, разумеется, не нужно, — на случай если бы папа пожелал.

Все годы я мечтал, увидав вас, не только порадоваться вам, но оказаться, наконец, и самому достойным вас, со своей судьбой и семьею. И вот это как раз оказывается недостигнутым, и вероятно, недостижимым. Если это осуществится, я приеду не таким, как думал, ничего не доведя до конца, ничего не сделав.

Вот и Жоня мерила меня аршином, которым я не располагаю. Боюсь и завидую. Откуда он у ней? И как она спокойно им пользуется2.

Я не так хотел, я не торопился бы, мне бы год еще только. Но Женя встревожена, Женичка подрос, и пр. и пр.

Получил письмо от Сони. Если хотите, пошлю ей еще.

Теперь я еду на дачу, довольно далекую, не представляя себе толком, что будет дальше. Не исключена возможность, что придется скоро вернуться в Москву для хлопот и переговоров. Лето будет дробленое, все из кусочков, прошитых заботами и неясностями. А на лето у меня всегда главные расчеты в смысле работы. Это потому, что даже обстановка деревенских срубов шире и привольнее зимней разносемейной скученности. И летом точно наконец, попадаешь под тихий спокойный кров. Как все прошлые лети, наперед проедено и это. Но оно не будет принадлежать мне. Впрочем, может быть, все устроится. И это первое лето, когда денег мне давали в кредит сколько угодно. И можно было бы спокойно и с пользой прожить его. Но и Женя, может быть, права, не всегда все можно откладывать.

Будьте, пожалуйста, снисходительнее ко мне, я прошу вас. Вспомните, как я смешон был однажды, как не удовлетворял вашим пожеланьям и казался иногда бременем и наказаньем семьи. И не все, ведь, это оправдалось, т. е. я вас своим дальнейшим существованьем не уронил. Ах, я так боюсь, так боюсь вас, — если бы вы только знали! Вашей гордости, ваших суждений и советов. И все же вот я лезу к вам. Как быть? Это первая нелогичность и бестактность в ряду многих, которые мне суж-

дено, верно, сделать, если я сдвинусь с места, неописуемо фатального и здорово-таки... необыкновенного, но все же — своего. Не задумывайтесь особенно над сказанным. Больше таких болезненных писем не будет. Итак, до свиданья в Ирпене. Тот же рассказчик анекдотов и циник, который однажды Жоне устраивал предполагавшийся визит к нам, теперь за меня говорил и получил отказ3.

Крепко всех вас обнимаю. 2>.

Объясненье всего в том, что мне до похоронности грустно и беспричинно обидно. Бабушка не уходит из головы. И я не вижу разницы между ее смертью и своей неопределенно близкой.

Летний адр.: Ирпень, Киевский округ Ю.-З. ж. д. Ирпень, Пушкинская, 13.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Речь идет о письме № 549.

2 Жозефина Пастернак писала брату о «Повести», что «завлекательность сюжета» и «замах на толстовский роман» не выдерживают обещаний (там же. Кн. I. С. 282).

3 Речь идет о Карле Радеке, славившемся своими анекдотами, далее в письме стояло «человек с громким именем» и было вычеркнуто, чтобы не дезавуировать неудачу его попытки помочь Пастернаку с разрешением на выезд. О намерении Жозефины приехать в Москву см. письмо № 253.

553. Л. Л. ПАСТЕРНАК

20 июня 1930, Москва

20. VI. 30

Дорогой мой Лидок!

Почему-то именно к тебе просит Женя обратиться с этою просьбой. Речь о посылке ее брату все того же медикамента:

Aphologol-Zapfchen «Silbe», Dr. Ernst Silten, за который они однажды так были вам благодарны. В конце письма найдешь адрес.

Вероятно, ты знаешь от наших о моих недавних предположе-ньях. Я так был уверен в успехе, что стал уже вживаться в это веро-ятье и мыслью уже побывал у вас. Но мне на всех путях отказано, и вчера я получил ответ от Г<орького>, где он очень сердечно советует мне подождать, т. е. отказывается поддержать меня в моих попытках1. Итак, временно на это надо махнуть рукой. Осенью я возобновлю усилье относительно Жени и Женички, так как главное препятствие, очевидно, во мне. Просьба о том, чтобы папа не приобщался к этому делу, остается в силе. Остается в силе и другая; о том, чтобы случаи помощи родственникам не проходили мимо меня. Я хоть о названных стараюсь не терять надежды.

Обманулся я в расчетах и касательно дачи. Я дважды «уезжал» туда и дважды оставался, а второй раз даже и так, что у меня чемодан был сложен и билет готов, и через два часа надо было на поезд, и в последнюю минуту пришлось в городскую кассу мчаться билет продавать, и потерял половину при продаже. И опять, как с вами, в воображеньи я уже с утра был со своими, так что когда из «Об<щест>ва сп<альных> ваг<онов>» (других не достать) домой возвращался, я смотрел на Москву глазами приезжего или человека, месяц просуществовавшего на стороне.

Причина — челюстная протеза (или это слово мужского рода?) Мне такую штуку соорудили, что она в первые же сутки въелась мне в подъязычную полость, глубоко изъязвила живую ткань, и когда, не зная, как с ней быть, я надел ее в дорогу, я почувствовал, что с этим ехать нельзя, что тут на месте должны сделать какие-то нужные исправленья. И на подбородке у меня что-то экземати-ческое, и я никак не могу от этого избавиться.

А главное, болезни баснословно затягиваются у меня, привязываясь до безнадежности. Все они несерьезны, не опасны и физически переносимы. Но с годами

они меня все больше терроризируют неотступностью своего присутствия. Точно кто-то неприятный втерся к тебе в самый разгар надежд, или работы, или разговора с близкими; и все приходится бросать, и водить его к докторам, и по его милости становиться на голову, если скажут, и, главное, жить вечно с ним, под его косым неприятным взглядом.

Но ты не печалься и посоветуй не принимать близко к сердцу сказанного никому из наших, кто прочтет письмо. Когда доходит до того, что я готов по-детски плакать о неласковости обстоятельств, я вспоминаю о своем вечном выходе, неотъемлемом, неотъемлемом. Я, разумеется, забыть не могу твоего замечательного мужского письма, — как правильно я угадал, куда посылать свое существеннейшее! Но, разумеется, и Жоня права, — я сам первый сужу, как она. Но она не представляет себе моей жизни. Того, чего не забыла ты, когда все это назвала освобожденьем2.

И вот мне летом предстоит обработать к изданью две мусорных кучи: книгу прозы и мой злополучный роман в стихах. Если я это сделаю (а это надо будет сделать), то только одолев перевал, подобный обработке «Поверх барьеров» 28 г., когда я ликовал приблизительно среди тех же болезней, от которых сейчас падаю духом, и не замечал того, что сейчас мне застит глаза. Итак, я надеюсь на счастье. А «хорошая жизнь»?.. Дорогая моя, объясни мне, пожалуйста, что это значит. Никогда, или давно-давно не видал и мечтать не смею. Не умею.

Адрес: Семен Владимирович Лурье — Москва 54, Арсеньев-ский пер., д. 28, кв. 235.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 См. коммент. 6 к письму JSfe 549.

2 «Неотъемлемым» выходом была для Пастернака работа, поэтому сразу разговор переходит на обрадовавший его отзыв Лидии об «Охранной грамоте» и «Повести» (см. коммент. к письму JSfe 538 «об освобождении жизни в искусстве»).

554. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

20 июня 1930, Москва

20. VI. 30 Дорогая Марина!

Я хочу, чтобы ты это знала. Этой весной я хлопотал и получил отказ. Я писал Г<орькому>, слово которого в этих вопросах всесильно, и вчера получил ответ. Под разными предлогами он отклоняет мою просьбу и советует подождать1. Не могу, но хотел бы научиться верить, что это слово что-нибудь значит, т. е. что время изменит что-то и приблизит, что это не навсегда, что попытку можно будет возобновить.

Оттого и не писал. Все последнее время был в большом вол-неньи. Верил почему-то в успех. Когда не нужно, — любят, говорят, раскупают изданье за изданьем, прощают (сильнейшее из имеющихся) противоречье всему, что возведено в канон. Когда нужно, — узнаёшь, что прикован за ногу и никто палец о палец не ударит тебе в освобожденье. Настроенье соответствующее. Не начинать, — не знал бы, испытанье не из приятных.

Пока это свежо, трудно даже письмо дописать. Оно — тебе и С<ергею> ЖковлевичуХ Главное в сообщении. Можно сказать Д<митрию> П<етровичу>, но никому больше. Да и больше некому.

В этом году выдумали почему-то под Киев на дачу. Идея знакомых, одного из которых, пианиста Нейгауза, кажется, знает П<етр> П<етрович>2. Семья с конца мая уже там, завтра и я еду. Адрес будет такой: Ирпень, Киевского окр. Ю-3. ж. д. Пушкинская 13, мне. Люди, сманившие туда, главным образом тот же Н<ей-гауз>, — очень милые.

Итак, придется смириться и временно перестать об этом думать. Но осенью возобновлю попытки относительно Жени и Женички.

Не сумею тебе этого описать толком, но на Кузнецком, прямо от секретаря Г<орького>, с его письмом (прочитанным) в руках, и больше: переходя через дорогу и остерегаясь автомобилей, — именно в этой обиде и, — относительном, — несчастьи, вспомнил о поэзии, о том, скажем, чем занимался иногда Верлен (чтобы не бубнить все о том же R<ilke>). И мне хочется и тебе об этом напомнить, если ты так же полно забываешь себя, как я тут, — годами. И вдруг, в огорченьи, приходится становиться собой, ничего, за закрытьем всех выходов, другого не остается. —

Мне придется в ближайшие месяцы позаботиться о книге прозы и о злополучном, чтоб его черт побрал, романе в стихах3. На подготовку книги я смотрю всегда как на первую, в настоящем смысле слова беловую, после тех черновиков, какими были отдельные части целого или отдельные вещи сборника, появлявшиеся в журналах. По-моему, это тебе близко и «После России» собрано и вновь написано именно так. Вот и попробую. — Часто болею, ложность положенья растет, своей судьбы не понимаю. Из Ирпеня лучше напишу. Когда ты попросила меня написать С. Я., мне тоже было очень тяжело. Простила ли ты мне, и он, что просьба осталась без исполненья? Ответь. Эта вина меня очень мучает.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171). Из Парижа переслано в Савойю (Chateau d'Arcine).

1 См. коммент. 6 к письму Горькому № 549.

2 П. П. Сувчинский был знаком с Нейгаузом по Киеву.

3 Разговоры об издании сборника прозы велись с 1929 г., в него должна была войти «Охранная грамота»; под назв. «Воздушные пути» и без «Охранной грамоты», вынутой их него на последней стадии работы, сборник вышел в ГИХЛе в 1933 г. «Спекторский» был дописан летом и сдан в издательство осенью 1930, вышел в 1931 г.

555. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

15 июля 1930, Ирпень

15. VII. 30 Дорогая Жоничка!

Мне давно следовало успокоить тебя насчет своего здоровья и сказать, как крепко я тебя люблю и как глупо было с моей стороны так тебя пугать и расстраивать. Что же помешало мне? Лучше не говорить о причинах, так они второстепенны. Зато это запоздание застает меня совершенно оправившимся и отдохнувшим. И, верно, это к обоюдной выгоде скажется на письме. Вот одна только неприятность. Тебе, верно, уже известно, что из сугубой осторожности Г<орький> отказал мне в поддержке, и это равносильно полному крушенью соответствующих надежд. Ну что ж, примиримся, оно, может быть, и к лучшему.

В исходе очень трудной зимы, изобиловавшей разными разочарованьями и утратами (один М<аяковский> чего стоит!), Москва весной к началу ремонтного сезона приняла совершенно бредовый вид. Как это всегда с нами бывает, довольно безропотно преодолевая очень крупные затрудненья, я разнервничался от двух-трех сущих пустяков. Особенно я обозлился на экзематозную дрянь, высыпавшую у меня на губе и, как казалось, без намеренья когда-нибудь это место покинуть. — Но теперь все это прошло.

— Я тут с двадцатых чисел июня. При мне была твоя «Ь'аше enchantee»*, которую я с первого же дня стал глотать том за томом. Когда я кончил четвертый том, меня точно разлучили с большим и захватывающим миром, присутствие которого стало для меня необходимостью. И мне страшно скучно без него. Собственно, две последние книжки составляют один том, — третий.

Нынешним летом R. R<olland> пишет или уже написал пятую книжку (IV-й том). Ведь ты в Швейцарии? Вот тебе на всякий случай его адрес: Mr. Romain Rolland, Villa Olga, Villneuve (Vaud) Suisse.

* «Очарованная душа» — роман Р. Роллана.

Я его тебе не навязываю, но и не скрываю, потому что что бы ты ни сделала, у тебя не может быть движенья, которое бы не было лучше и свежее моего. А по ряду счастливых случайностей у меня есть ничем не заслуженное право думать о письме к нему, и даже настолько близкое, что если я им не воспользуюсь, получится неловкость. Право это — сплошной конфуз. Я его ничем не заслужил.

Одна моя знакомая, М. Кудашева, одаренная французская поэтесса и очень, очень хороший человек, — ближайший друг и, может быть, даже больше — R. R. Она по матери француженка, москвичка, всегда живет в Москве и в давнишней переписке с ним. На днях она поехала к нему в гости. Между прочим, у ней были опасенья, что швейцарцы не выдадут ей въездной визы, и на этот случай предполагалось, что они встретятся во Фрейбурге. И вот, зная о вас от меня, она заблаговременно попросила меня о помощи. Могло так статься, что, Федя, тебе пришлось бы хлопотать о близком Rolland'у человеке. Так вот, эта Кудашева по доброте своей рассказывала что-то обо мне Rolland'у; а кроме того, я значусь в списке современных русских имен, — обстоятельство еще более случайное, потому что совершенно устарелое, ничем не обновляемое и, за давностью, — тягостное и ложное.

—■ Но несколько слов об Ирпене. Тут зимняя дача; дом, как в Райках, три комнаты с террасой, между светлыми, высокими комнатами настоящие стены. Короче и не преувеличивая, это в сравнены! с моей московской обстановкой — настоящий дворец. Большой сад. К моему приезду все отцвело. Аисты, журавли, иволги, удоды. При мысли, что отсюда придется скоро уезжать, меня охватывает страх. Я навсегда бы тут остался. С первого же дня взялся за работу. Наблюденья еще более огорчительные, чем над плотностью стен и числом комнат: охватываю вдесятеро шире, успеваю качественно и количественно раз в двадцать больше. Пугаюсь сравненья, потому что это облегченье — недолговечное.

Дорогая Жоничка, я опять к тебе с просьбой о книгах. Но читать Rolland'a было таким наслажденьем! И в городе я бы его себе позволить не мог! Пришли мне сюда, если можешь, но тогда — не откладывая, два тома Пруста, —■ 1-й и 3-й; второй, «А ГотЬге de jeunes filles en fleurs» у меня есть. Мне же надо: Marcel Proust: A la recherche du temps perdu, tome I «Au cote de chez Swann» и tome III «Le cote de Germantes»\ До сих пор я боялся читать Пру-

* «В поисках утраченного времени», том I «В сторону Свана» и том III «У Германтов» (фр.).

ста, так это по всему близко мне1. Теперь я вижу, что мне нечего терять, то есть незачем себя блюсти и дорожиться. Прусту не на что уже влиять во мне. Но ты помни, что письмо мое — веселое и просительное, а не грустное!

Дорогой Федя! Крепко целую тебя и люблю. Однажды мы гуляли с тобой по Kurrurstenstrasse. Ты мне про все рассказывал. Таким тебя помню. Как давно все это было!2

Адр. Ирпень, Киевский округ. Юго-Западной ж. д. Пушкинская 13, мне.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 В письме JSfe 425 Пастернак писал Цветаевой: «...Я боюсь читать Пруста, пока кое-чего не сделаю и не стану вдесятеро старше и проще его».

2 Восемь лет назад, во время последнего пребывания Пастернака в Берлине в начале зимы 1922-1923 г.

556. М. А. ФРОМАНУ

17 июля 1930у Ирпень

17. VII. 30

Дорогой Михаил Александрович!

Особенно виноватым перед Вами почувствовал себя на днях, прочитав обе повести. Оправданья представлю ниже, сперва несколько слов о них1.

Как хорошо удается Вам проза, читать эти вещи было большим наслажденьем. Вы прекрасно живописуете и, по-видимому, с хорошо изученной, родной и тепло пережитой натуры. Ваше сво-еобразье нематерьяльно, его нельзя отчеркнуть ногтем, пальцем в него не ткнуть.

Особенно много полноты и равновесья в «Жизни милой Ольги», и вся бы вещь, прямо начатая на этом счастливом уровне, на нем бы и осталась, если бы, — на мой взгляд, Вы его не снизили в самом конце некоторыми покаянными рассужденьями на нескольких, чередующихся с последними движеньями повести, страницах. Умолчанья во всех этих местах сказали бы гораздо больше. А до 136 стр. все идет отлично, причем это относится ко всей книге, т. е. и к «Концу Чичикова». Очень тонкий рассказ! Надо ли говорить, что род Вашей наблюдательности, сосредоточенно сдержанной, очень близок мне, — я сам в лучшую свою пору думал кое-чего достигнуть в нем, но почти ничего не сделал, пережил ее закат и теперь питаюсь воспоминаньями. Итак, — большое спасибо за подарок и за надпись на таком хорошем и прочном мате-рьяле.

А я хворал весной. У меня были всякие неприятности и осложненья, — вот объясненье той неприличной медленности, которую я проявил по отношенью к Вам и книге. Вас даже могла взорвать та легкость, с какою я отложил чтенье и выраженье своей благодарности до более удобного времени, нисколько не пугаясь его отдаленности и ничем не постаравшись это прикрыть; и я вовсе не уверен, что Вы меня теперь простите.

А я, — если это Вам интересно, очень запутался в своих делах, денежных и литературных. И только в насмешку можно назвать «творчеством» мое старанье вывернуться из них. Однако для этого приходится и писать, надо сказать правду. Думаю, если буду здоров и не случится ничего дурного, приготовить к осени подновленного и кое чем дополненного Спекторского. Удовлетворяет ли Вас сборник «Поверх барьеров» в его новом виде? Если да, то такого же единства добиваюсь я и в работе над Сп<екторс-ким>, — я хочу, чтобы рукопись стала рукописной книгой, и более крупных требований, готовя его к печати, себе не ставлю2.

Передайте сердечнейший мой привет Иде Моисеевне3. Еще раз от души благодарю Вас. Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф.

1 Михаил Фроман. «Жизнь милой Ольги» (Л., 1930); «Конец Чичикова» (Л., 1929).

2 Работа над «Спекторским» была окончена осенью 1930 г., отдельной книгой роман вышел летом 1931 г. с издательскими сокращениями.

3 И. М. Наппельбаум — жена М. А. Фромана.

557. Р. РОЛЛАНУ

18 июля 1930, Ирпень

18. VII. 30

Я ничем не заслужил этого счастья. Откуда оно? Право обращаться к Вам возникло в моей жизни неожиданно, по доброте <Ма-рии Павловны?>1. Я совершенно не подготовлен к нему. Я предпочел бы не касаться его. Не говоря о том, что я никак не достоин этой великой привилегии, мне запрещает ею пользоваться мой французский, совершенно не приспособленный для этого.

Уже месяц, как я здесь, в этой прекрасной местности под Киевом, две недели назад я кончил читать «Очарованную душу».

Никогда я не мог бы вообразить себе такого сада, который передо мной, если бы не верил в то, что это сад, где родилась Аннет, сад ее судьбы, превратностей и самого ее

существа2. При первой же мысли о фруктовом саде, вишнях и криках иволги, я всегда буду вспоминать о подавленных восклицаниях безмерного восхищенья, и это лето 1931 года3 навсегда останется летом слез, пролитых над многими страницами этой книги: спором с Роже, смертью Одетты, войной и пленными немцами, над музыкой вечером у Винтег-рюнов и примирением Марка4.

Что мне сказать, если мне не хватает способности представить себе, что создатель этих 1200 страниц — человек, даже если его зовут Ролланом? Произведение в той же мере единственно, в каком произошла и осталась последовательность событий: война и все, что предшествовало ей, и все, что пришло потом.

Этот постепенный разрыв... Рождение нового человека < >5, рассеянные времена, ошибочно называемые «романтизмом» (я не люблю философии, связанной с этой ложной терминологией). Завоевание пространства и новые явления, связанные с этой исключительностью и все чаще повторяющиеся. Ее приливы и отливы на рассвете наших дней, ставшие настолько частыми, что надо было бы сказать, что она больше не уйдет и останется при нас, утвердившись как правило. И спутник этого нового человека, его тень, даже после нашей революции ни в чем не потерпевший ущерба; карикатура на него: революционер позавчерашнего дня, раб доктрины, куда более древний, чем противники нововведений — шут, желающий заставить нас быть материалистами в эпоху наисильнейшего разоблачения материи6, сделать нас материалистами в условиях наших неисчерпаемых открытий, тогда как даже греки и евреи, которым это было легче при бедности их знаний о материи, не остановились на этом и не могли остановиться, увлеченные великой радостью познания, расцветом мысли и воображением — единственным выражением человеческого достоинства. — И вдруг эта война, которая заговорила на языке войн прошлого времени, но меньше походила на них, чем современный лес на доисторический. Война, которая заставила признать новизну мира только новизной усилий, примененных для того, чтобы это скрыть.

Потому что в первый раз, может быть, за столько веков страдали не от нарушения добрых абстрактных принципов, а от разрыва существовавших отношений. Это был только что возникший и появившийся на свет сгусток этих принципов, и война впервые вскрыла его. Дело было не в запрете исходной веры в то, что немец такой же человек, как и любой другой, а в том, что, благодаря легкости общения, были знакомы и фактически любили друг друга совсем не так, как, к примеру, во время наполеоновских войн, — вот что составляло новое отвращение и новые страдания в этой войне, вот что отличало ее от всех предыдущих.

Это именно та ее разительная особенность, которую искажают заново, переводя воспоминания о пережитых страданиях в понятия морали. Как только они оборачиваются общим местом, столько раз повторенным после войны, они лишаются своего нового содержания. На этот раз это не намеренная недавняя ложь, искажающая факты, но невольная неспособность большинства, сохраняющего в памяти лишь ненужные, сами по себе повторяющиеся факты, и упускающего, забывающего то, что может повторить только память.

Видите, с каким трудом я говорю о Вашей книге? Мне будет горько, если мой французский лепет покажется Вам не только смешным, но из-за ошибок — и совершенно непонятным. Это еще можно вынести. Но выше моих сил — подавить свои чувства по поводу этой несравненной книги из-за их невыразимости. Вот единственное и самое главное, что я хотел бы, чтобы Вы знали: что эта книга воспринимается природой, что охват и глубина Ваших страниц остаются в той местности, где они были пережиты, что довоенная жизнь и война, такие, какими Вы их изобразили (в каждой своей частности, которые я так плачевно пытался выразить во французской части письма) — владели моим летом, как облака, полагавшие здесь путь

среди берез, дубов и вишневых садов, подобные местам книги, заново перечитываемым. И на их серо-зеленом языке я всего охотнее и лучше рассказал бы о ней7. — Если Вы захотите осчастливить меня несколькими строчками, пишите, пожалуйста, по-французски. И я тоже заставлю себя. Это стыд, а не случайность, что ко времени этого невероятного знакомства я не обеспечил себя блестящим французским языком. Почему я не знал этого заранее? Я был обязан! Я позволяю это себе только один раз. Бегство в немецкий (как бы я тоже его ни любил) я воспрещу себе)8.

Я нигде не находил изложения того, что видело и пережило мое поколение до тех пор, пока не погрузился в Вашу книгу. Она беспредельно велика. То, что в ней невероятно, единственно и необъятно, Вы определили сами, использовав в заглавии. Глубже всего упомянутое мною теперешнее наблюдение воплощено в тройном романе вокруг побега Франца9. В том, что некоторые нравственные предписания (бывшие предчувствием будущих превращений) к нашему времени сгустились и можно говорить о сердечных событиях в большинстве тех случаев, где раньше видели только идеалы. Что современная душа в новых условиях — совсем другое, чем была раньше, и она — очарованная душа так же, как ее история — сама История, история всех и для всех.

Я не знаю языка, на котором я мог бы найти обращение и подпись, достойные Вас10.

Б. Пастернак

Впервые: «Еигоре. Revue litteraire mensuelle. Boris Pasternak*, mars 1993; в переводе на рус. яз.: «Знамя», 2001, JSfe 11. — Автограф (Архив Р. Роллана, Париж).

1М. П. Кудашевой. В машин, писем Пастернака ее имя вырезано ножницами, чем объясняются лакуны в тексте, частично восстанавливаемые нами в угловых скобках.

2 Анкет Ривьер — главная героиня романа «Очарованная душа».

3 Описка автора, надо: «лето 1930 года».

4 Роже Бриссо — возлюбленный Аннет, Марк — их сын, Одетта — племянница Аннет, г-жа Винтергрюн — персонажи романа.

5 Вырезаное место в машиноп.

6 Роллан выразил согласие с этими словами в письме 24 авг. 1930: «И как вы правильно говорите о "спутнике нового человека", "рабе доктрины", "революционере позавчерашнего дня", который находится еще во власти материализма 1880 года! Что бы он ни делал, его обогнало стремительное развитие Разума!» («Знамя», 2001, № 11. С. 171).

7 Роллан отвечал на это: «Ничто не может доставить мне большую радость, чем родство, которое Вы устанавливаете—которое вы почувствовали — между моей книгой и этими дубами, буками, вишневыми деревьями, этими облаками, которые плывут над садами Киева и криками иволги» (там же).

8 Этот абзац письма написан по-немецки.

9 Эпизод романа.

10 Последняя фраза написана по-немецки.

558. РОДИТЕЛЯМ

26 июля 1930, Ирпень

26. VII. 30

Дорогие папа и мама!

Ваше и Лидочкино письма я получил лишь на этой неделе, — их привез сюда Шура, у которого они пролежали около месяца. Вот отчего я благодарю вас за них с таким ужасным запозданьем. У меня была надежда, что мой ответ Жоне так или иначе вас не минует1, т. е. вы вовремя узнаете, что я со своими в Ирпене, и что тут всем, мне

же в особенности — хорошо и привольно. — Разумеется, я из города писал вам под влияньем настроенья2, но не преувеличивайте моей неврастеничности. Насколько моя боязнь Москвы несубъективна, заключите хотя бы из следующего. Попав на дачу с ее «лесной капеллой», колодцем и темными вечерами, ничем не просветляемыми за недостатком керосина, я был оздоровлен в сутки не близостью прекрасного сада, а прежде и разительнее всего превосходством дачного комфорта по сравненью с квартирными условья-ми Москвы. Тут три комнаты с настоящими стенами3, и в доме живут только две семьи: мы и хозяева. Вы себе не представляете, что это значит. Мысль о возвращеньи в город меня ужасает. Я хотел бы со всей полнотой воспользоваться не только рекой, лесом, солнцем и воздухом, но и настоящей квартирой, достойной званья человеческого жилища. — Так что не все тут — неврастения.

— Об ответе Г<орько>го я, кажется писал Лиде4. Мысль о свидании придется на время отложить. По приезде в город возьмусь, может быть, хлопотать о Женях. Но пока об этом не думаю.

Приходится экономить даже праздные мысли: много работаю, — это во всех отношеньях необходимо, работа же требует строжайшего режима, вплоть до последних мелочей; малейшее отступ-ленье, и тогда не только ей одной конец, но и здоровью: сегодня бессонница, завтра желудок, послезавтра еще что-нибудь. Удивительно тягостна эта необходимость эгоизма и педантичности во время работы. — Тут замечательно хорошо. Только приехал, стал зачитываться Ролланової эпопеей, — о которой писал Жоне5. Поразительной Толстовской широты вещь, изобильно (с гениальностью и многословием вперемежку) — излитая. Но такая настоящая, что забываешь, что это литература, и у ней автор есть. Р<ол-лан> знает о моем существованьи, и если бы, отдаваясь своему нежеланью думать об авторе, я ограничил бы собеседованье о прочитанном кругом местных фруктовых садов, в обществе которых наслаждался чтеньем, мое стремленье остаться незаметным было бы замечено. И мне пришлось победить нечто большее, чем простую стыдливость, чтобы написать ему: в самом положеньи была искусственность, не отвечавшая моим живым побужденьям, и я лишь с отвращеньем ее победил.

К старости становишься покладистым и безразличным: мое письмо к нему — предел пустоты и тупоумья, осложненного еще к тому в придачу невозможным языком. Оно отправлено, и это нимало не беспокоит и не пугает меня. Я стал замечать, что живу и поступаю так, точно и я, и все вокруг меня стали куклами. Не затрудняя ничьего воображенья и не угрожая ничем новым, работает пружинный завод приличья и здравого смысла, и все делается само собой.

Крепко вас целую. Лиде громадное спасибо за письмо. Женины родные горячо благодарят Лиду за полученное лекарство.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Письмо № 555.

2 Родители были испуганы «похоронным» настроением письма N° 552 и сразу откликнулись на него. Отец приводил его слова об ожидании «неопределимо близкой» смерти и боязни будущего свидания с ними, их «суждений и советов» (там же. Кн. I. С. 282—283).

3 В ответ на это письмо отец писал: «Получили вчера твое письмо, в котором ты затронул проблему стен настоящих <...>. Очень рад за тебя, что хоть временно ты можешь отдохнуть от городских просторов и несколько поработать (там же. С. 289).

4 Письмо № 553.

5 Ромен Роллан. «Очарованная душа».

559. Я. З. ЧЕРНЯКУ

20 августа 1930, Ирпень

20. VIII. 30 Дорогой Яша!

Пользуюсь оказией (в Москву уезжает сестра Ник. Ник-ча1), чтобы переслать Вам эту записку. Н. Н. передал мне Ваш поклон. По тому немногому, что он тогда говорил о Москве, Ваша поездка удалась, и Вы впечатленьями довольны. Но расспрашивать его в те дни было нельзя. Вы ведь знаете, вероятно, о постигшем его ударе2. Приближается осень, начинают отсюда уезжать, становится тоскливо. Здесь было очень хорошо, хорошо и сейчас. Хотел бы сказать, что останусь тут еще месяц, но вероятно все сложится по-другому, и вернусь через недели две-три. Работал — бился с количественно незначительными следами над качественно труднейшей задачей. Спекторского надо было свести к единству, без которого не бывает книги. Главное сделано, кое-что осталось доделать. Я его сдам по приезде. Дорогой Яша, как всегда, письмо это заключает просьбу. Выхлопочите мне, пожалуйста (в Зифе), получку, обусловленную при сдаче, то есть то, что я должен был бы получить сдав Спекторского, и распорядитесь, чтобы деньги перевели по почте сюда по адресу Ирпень, Киевск. окр. Ю.-З. ж. д. Пушкинская 13, мне. Это дело неотложное, и даже в случае одной заминки придумайте, пожалуйста, что-нибудь другое, более действительное и скорое. Хотя об этом нельзя говорить, но нынешняя дороговизна так роняет договорную сумму, что просить о выплате за месяц до сдачи даже и не будет претензией. Но разумеется, дело вовсе не в этих расчетах, и в том, что мы прожились до копейки, и удивительно не это, а то, что это не случилось гораздо раньше. Не сердитесь за назойливую пошлость порученья, я так не хотел этого, что пока было возможно, Зифа не брал на абордаж. И — известите.

Коля говорил мне, что Вы собирались мне написать. И напрасно этого не сделали; отсчитав сколько нужно, несколько дней ходил на почту. Но вероятно за письмом должен был зайти Н. Н., и Вы не знаете моего адреса. Поцелуйте пожалуйста Наташу и Боричку3 ото всех нас, и такой же поклон Елизавете Борисовне4. Я в восхищеньи от Киева, и в связи с этими впечатленьями у нас с Женей был разговор о ней: многое в ней объясняется и становится рельефней в свете именно этих впечатлений; это как Комбрэ у Пруста5. Но для этого надо писать новое письмо, так что лучше покончим на том, что о Киеве не сказано ни слова, и Е. Б. передается просто сердечный привет, без умозрительных придатков. Целую Вас. Ваш Б.

Воспользуйтесь адресом и, если будет время, напишите мне.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2208. Новое поступление). 1Н. Н. Вильяма (Вильмонта) Ирина Николаевна, жена А. Л. Пастернака.

2 Скончалась жена Вильяма Нина Павловна Воротынцева.

3 Дети Я. З. Черняка.

4 Елизавета Борисовна Черняк (Товбина) родилась и провела детство и юность в Киеве.

5 Комбрэ — провинциальный французский город, описанный в серии романов М. Пруста «В поисках утраченного времени».

560. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

21 августа 1930, Ирпень

21. VIII

Дорогая Олюшка!

И опять я не думаю писать тебе, а только хочу поблагодарить за письмо. Сколько ты в них иногда умеешь вложить и как изумительно их пишешь! Просто жалко, что такой отряд мыслей, выхваченных сгоряча, из прямых состояний духа, стройный, на всем ходу, куда-то отправляется и кем-то получается, и все кончается известием о его прибытьи.

Я умышленно воздерживаюсь сейчас от сообщенья чего-либо, мало-мальски стоящего упоминанья. Все это я расскажу при свида-ньи. Для того, чтобы проронить в письме хоть слово о своих, о себе и лете, о свободных видах и сознаньи фатального, мне надо было бы себя уверить, что нет и скоро не будет обеденного стола посреди комнаты, и буфета у левой стены, и платяного шкафа в углу у окна. Отталкиваться же от такого грустного допущенья просто невозможно.

Крепко тебя и маму целую. Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа на большой (и действительно посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой) террасе, главное же, эти мошки и мотыльки, — сколько это все должно было бы напомнить! Но революция или возраст, — а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений, и мне жалко только их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не охлаждает их пыла, а не того, что все это однажды было августовской ночью на Большом Фонтане, и море было впереди, чуть вправо, где теперь, за рекой, обдаваемый зарницами лес1. — Но это похоже на «описание природы», и притом — пошлейшего разбора, что в мои планы не входило.

Твои объясненья случая с А<птекарем> представили мне все дело с иной и совсем неизвестной мне стороны2. (Ты замечаешь, какая тут мазня? Это все — бабочки. С особенным остервененьем они налетели на А<птекаря>.) Открытку твою я толковал иначе, эгоистичнее и своекорыстнее с твоей стороны. Но в этой теме, в основном, мы так схожи и так сходно поставлены, что я даже и отрицанье родства принял бы по-родственному, в глубочайшем смысле этого слова. Объясненья тут более или менее безразличны именно потому, что существом и центром сплетенья служит здесь то, чего никак объяснить нельзя, и наша одинаково фатальная подчиненность этой необъяснимости. Короче говоря, если бы ты не могла написать такой открытки — ты была бы далеким мне человеком. Обнимаю тебя. Твой Боря

P. S. Когда я стал читать твое письмо, надо мной наклонилась Женя, предложив читать его вместе, т. е. то, чего я совершенно не умею. Я предложил ей прочесть его даже до меня, но только отдельно. Она на меня так обиделась, что и до сих пор его не читала и не хочет читать. Этим объясняется вновь ее отсутствие в письме. Но ты, конечно, знаешь, как она вас любит.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Летние месяцы 1890-х гг. Пастернаки проводили вместе с Фрейден-бергами на даче на Большом фонтане, под Одессой.

2 Речь идет о намеченной к изданию в Ком. академии книге О. Фрейденберг, где это было поручено ученому секретарю В. Б. Аптекарю.

561. РОДИТЕЛЯМ

11 сентября 1930, Ирпень

11. IX. 30

Дорогие мои! Это вам всем письмо, а то по-другому не выйдет. Вот косвенная причина моего молчанья. В последнем вашем письме было несколько страниц Женёнку, как вы его зовете. Против обыкновенья он тут же продиктовал большое письмо в ответ на все вопросы бабушки, — хорошее письмо. Я записал его на одном из своих черновиков, получернильных, полукарандашных, как раз для верности, и отложил до ближайшей своей к вам оказии. По-видимому, я забыл о нем, чего не могу себе простить, и ко времени перехода к беловым, когда я стал кипами уничтожать эту бумагу, где именно смесь карандаша с чернилами служит признаком для быстрейшего

ее уничтоженья, я по оплошности разорвал и Женечкино письмо. Если это не так, оно найдется во время уже недалеких наших сборов в дорогу, и я восстановлю его.

Но понятно, не это причина того, что от меня давно нет писем, а, как это не стыдно сознаться, тормозом в переписке было то, что давно мне не было так хорошо, как этим летом в Ирпене. Тут было гораздо сытнее, чем было бы под Москвой, я много и не без удачи работал, нас окружали замечательные люди, очень близкие, мы много слышали музыки, — и я скаредничал, ловя на каждом шагу золотое время, вдруг так разрадушничавшееся, как никогда. И всего охотней я б так и не уезжал отсюда. Однако понемногу все разъезжаются, уедем и мы, двадцатого, если достанем билеты.

Кстати о деньгах Женичке на рожденье: разумеется, попрошу присовокупить к сбереженным, а я ему выплачу, большое спасибо. Женя большая первое время очень хорошо себя чувствовала тут, у нас был роман с ней, и она работала не менее моего успешно. Сделала несколько карандашных портретов с большим сходством и технической свежестью, прекрасный масляный этюд дуба с солнечным передним планом и тенистою заглохшей глубиной заднего, очень хороший натюрморт и много другого.

Ее и Женичку вы, может быть, увидите. По приезде в Москву хочу хлопотать о них, это по многим соображеньям необходимо. Я же, вероятно, останусь, мне хочется остаться, было бы трудно объяснить зачем, но это связано с самым основным моим отношеньем к жизни, т. е. иными словами, все с той же работой.

Дорогая Жонюрочка, горячо благодарю тебя за Пруста, какой удивительный писатель!1 Р. Роллан проявил гораздо больше отзывчивости в отношеньи моей весенней мечты о встрече с вами, чем Г<орький>, — хотя я Р<оллану> об этом даже не заикался, и даже для этой цели пустил в ход... Тагора2. Он написал мне замечательное письмо летом, а сейчас другое, небольшое, где если есть разгадка, то только в надежде на то, что Т<агор> может явиться такой... протекцией, — он советует мне выехать в Москву, где ожидают Т<агора>, с которым он говорил в Женеве.

Пишу это, разумеется, лишь затем, чтобы порадовать папу и маму, потому что тут радостного только та случайность, по которой Р<ол-лан> поверил, что я достоин его доверья и доброго чувства. И это все тоже в духе Ирпеня. А как замечательны последние сонаты Бетховена, и особенно fur Hammer Klavier, которые мы тут слышали!3

Крепко, крепко вас всех обнимаю, не сердитесь. Ваш Б.

Шура был очень родным тут во всем этом обществе, и уехал, вероятно, отсюда с грустью, чрезвычайно мне дорогой.

Впервые: «Знамя», 1990, № 2. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 В письме № 555 Пастернак просил Жозефину прислать ему первый и третий тома романа Пруста: «В сторону Свана» и «У Германтов».

2 Р. Роллан 29 авг. 1930 написал Пастернаку о своей встрече с Р. Тагором, который собирался в Москву, и на помощь которого в получении разрешения на выезд Пастернака за границу он надеялся.

3 В исполнении Г. Г. Нейгауза.

562. Р. РОЛЛАНУ

18 сентября 1930, Ирпень

Ирпень. 18. IX. 30 Дорогой и великий мастер!

Нет слов, чтобы выразить мою огромную радость и благодарность. Они были необъятны. И вдруг это новое излияние доброты (проект встречи с Тагором)1, в котором я посмел угадать скрытый расчет, говорящий лишний раз о Вашей заботливости по отношению к каждому, кто имел счастье соприкоснуться с Вашим

обществом. Надо ли добавлять, что этот случай останется таким же сказочным, если я не ошибаюсь, и без этого дополнения.

Послезавтра мы уезжаем в Москву. До сих пор я ничего не узнал о приезде Т<агора>. Если я не опоздаю, я попытаюсь воспользоваться этой редкой возможностью, которую Вы с такой готовностью мне предоставляете. Она родилась и существует благодаря Вам, и единственно для Вас я надеюсь ее использовать так, чтобы не уронить Вашей высокой рекомендации. Мой страх, который нужно преодолеть по отношению к Р. Т<аго-ру>, — больше, чем все наши ВОКСы2. И этот страх так велик, что возможность увидеться с ним становится более, чем сомнительной.

Итак, уходит лето, начавшееся моим чтением Души... и кончающееся завершением работы, которую я и не мечтал никогда окончить без огромной помощи от Вас, от местности и добрых друзей, которые меня окружали3. Позвольте, я Вам их назову и когда-нибудь расскажу Вам о них, начиная с нашего друга, воспитательницы моего сына, госпожи Стеценко (она вместе со мной восхищалась по очереди том за томом Очарованной душой)4 и о всех других. О Генрихе Нейгаузе (профессоре музыки, замечательном пианисте) и о его жене я Вам еще не раз сообщу, пока у меня останется счастливая возможность писать Вам, и если речь зайдет о самых, вероятно, существенных чувствах, которые я должен буду углубить и распутать будущей зимой5, зимой, как предполагают — гибельной.

Однако пришла пора укладываться. Простите меня, пожалуйста, что отвечаю Вам в такой спешке, но желание еще раз написать Вам именно отсюда исходит из того, что я не уверен, что дыхание жизни продолжится вне Ирпеня (название деревни) и что я найду его в городе. Через три дня я узнаю, вернулась ли Мария в <Москву> или нет. В том случае, если она еще в Виль-неве6, прошу Вас, передайте ей мои самые сердечные чувства и сожаления, что она мне не ответила. И затем — благодарность, благодарность, благодарность без конца и мольба, без которой никогда не обойдутся мои письма: простить мне не столько грамматические ошибки, которыми, должно быть, они кишат, но ошибки в тоне, которые заставили бы меня мучиться, будь я способен их воспринять, и которые (не правда ли?) по своей доброте Вы отнесете лишь к незнанию языка, а не к неблагодарности или даже — грубости.

Ihr ergebenster* Б. Пастернак

Впервые: «Еигоре. Revue litteraire mensuelle. Boris Pasternak*, mars 1993; в переводе на рус. яз.: «Знамя», 2001, № 11. — Автограф (Архив Р. Рол-лана, Париж).

1 См. коммент. 2 к письму № 561.

2 Всероссийское общество культурных связей с заграницей.

3 Подготовка «Спекторского» к изданию.

4 Елизавета Михайловна, по первому браку Кн. Лопухина, учительница французского языка.

5 Речь идет об отношениях к Нейгаузам и пробуждении влюбленности в Зинаиду Николаевну, вскоре ставшую женой Пастернака.

6 Городок в Швейцарии, где на вилле «Ольга» жил Роллан.

563. С. Д. СПАССКОМУ

29 сентября 1930, Москва

29. IX. 30

Крепко целую Вас и благодарю, дорогой Сергей Дмитриевич! Не сердитесь, опозданье мое только недельное. Мы вернулись в Москву 22-го вечером. Меня ждало Ваше подношенье. Наконец-то! Сколько препятствий сломлено, сколько оправдано надежд. Поздравляю Вас!

Книжку1 будут читать и, верно, переиздавать. Вас будут читать как лирика, хочу сказать я, по такому чтенью изголодались, а чем утолить этот голод, лирика теперь редкость. Вот это-то и главное: Вы опять становитесь слышимы почти что непосредственно и более или менее прямо. И это редкость, это счастье и — по нашим условиям — необъяснимое, полувероятное.

Другой разговор, — форма, линия окончательных варьянтов, тот всегда переменный вид общего языка, какой, на пробу и на выбор находишь для своей музыки, когда она к тебе пришла и в тебе осталась. Это было делом условным, игрою вкуса, риска, скромности и чего хотите у всех (и у величайших) во все времена. С той только разницей, что этот выбор направлялся жизнью, а теперь он произволен. Ни общего языка, ни чего бы то ни было другого

* Всецело Вам преданный (нем.). 450 современная жизнь лирику не подсказывает. Она его только терпит, он как-то экстерриториален в ней.

Вот почему эта сторона творчества вышла из эстетического кольца2. Общий тон выраженья вытекает теперь не из восприимчивости лирика, не из преобладанья одного рода реальных впечатлений над каким-нибудь другим, а решается им самим почти как нравственный вопрос. Т. е. там, где в здоровое время мы считали бы естественным говорить так-то и так-то, мы теперь (каждый по-разному) считаем это своим долгом. И один видит его в одном, другой в другом. Это у всех без исключенья стало делом убежденья, а не вкусом. Причины всего этого лежат вне нас, ничего не поделаешь, это сильнее нас и наших усилий.

К чему я заговариваю об этом? К тому, чтобы Вы помнили, что лирика сейчас редкостнейшая редкость и она сидит в Вас, сидит и болеет3, потому что не болеть сейчас не может, а как именно внешне выражается эта ее болезнь через Вас, в отличье от ее симптомов в другой какой-нибудь палате, вопрос глубоко второстепенный. И если кто-нибудь, кто привык перегрублять в выраженье, скажет Вам, что Вы переблагораживаете, интересно только, кто именно Ваш собеседник. И если он — поэт, можете броситься друг другу в объятья: все Ваши разногласья — точки полного совпаденья. Другое дело, если в человеке нечему болеть и область внешнего выраженья всего его исчерпывает. Такой прав во всех своих ошибках. Органического чуда объективности он никогда не переживал. Нынешние условия никакого разлада в нем не заводят, в новое положенье не ставят. Он был орнаментом, в лучшем случае на нравственном грунту, орнаментом и остался. Но с таким Вам не о чем и говорить.

Кое-что в смысле тона можно было сделать, на мой взгляд, посильнее. Но это именно то замечанье, которое, в согласье со сказанным, Вы должны оставить без внимания. Потому что это — легкое расхожденье в прихотях при полном согласье в главном: в лирике, в ее наличьи.

Целиком в этой превосходной книге, и по своей выровненное™ больше других, хотя и пестрящих счастливыми образами и строками (их у Вас очень, очень много), мне понравилось: стр. 18 (Утешение. Синева), Песня (стр. 20), конец «Вступленья» (стр. 29), стр. 38 в Ломоносове, Ленин (Вагон и Смольный и части Броневика), стр. 55—58 Юности, стр. 74—76 Разговора4. Большое удовольствие доставил мне цикл «Ночь», который я полюбил (помните?) с первого чтенья, от всех же возражений по поводу «Дождя» — отказываюсь. Помните, я жаловался тогда, что ли, на то, что и хорошие стихи получили налет «Неуважительных оснований» и всего более оставляют в недоуменьи, когда они настоящие. Теперь уважительным их основаньем становится книга, и стихи удивляют только тем, чем удивлять и должны: воплощенной свежестью. Прекрасны также оба курсивных, вступительное и заключительное. Кстати, если напишете мне, сообщите, пожалуйста, какое односложное слово начинает собою четвертую строку снизу на стр. 77: перед словом «интонаций» очевидный пропуск5.

Я жалею, что пустился в разбор «Примет». Все это всегда доходит до автора не так, как говорится. Вам было бы гораздо радостнее, если бы я только поздравил Вас и остался при первых восклицаниях; для меня же оба выраженья — равносильны и ни разметка самого удачного, ни что бы то ни было другое первых восхищенных междометий не снимают.

Мне приятны были на стр. 23—26 строки о солнце, о пушистой гвоздике и о булавах куполов. Летом мы жили в Ирпене под Киевом, который привел меня в совершенный восторг. Мне очень не хотелось возвращаться в Москву, и если бы, как сказал однажды Маяковский, я был... в аппетите жить...6 я бы там остался, т. е. переселился бы в Киев. Нас туда затащили друзья-киевляне, о которых как-нибудь расскажу7. Жил там также и Ник. Ник.8 Благодаря их окруженью и редкой беспечности, царившей в нашем кругу, мне удалось кончить стихотворного «Спекторского», то есть он стал похож на книгу с началом и концом. Вчера я сдал его в ЗиФ9. Крепко, крепко обнимаю Вас. Сердечный привет Софье Гитмановне10.

Любящий Вас Б. Я.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9 (с купюрами). — Автограф (собр. В. С. Спасской).

1 Сергей Спасский. «Особые приметы». Л., 1930.

2 Очень важное для Пастернака понятие эстетического кольца сложилось в самые ранние годы его творчества. Так он называл способность произведения искусства, обращенного на читателя, вернуть автору испытанное им чувство наслаждения. «...Отдать, чтобы получить его в ближнем, — в этом цельное, замкнутое, к себе возвращающееся кольцо творчества» («Сейчас я сидел у раскрытого окна...», 1913; т. V наст. собр.).

3 О болезни лирики Пастернак писал в «Ответе на анкету "Ленинградской правды"» (1926), объясняя это тем, что «стихи не заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима» (т. V наст. собр.). Понимание такого состояния лирики выражено также названием поэмы «Высокая болезнь» (1923). Б. Эйхенбаум писал по этому поводу: «Один Пастернак, характерно назвавший ее (лирику. — Е. П., М. Р.) "высокой болезнью", напряг все стилистические мускулы, чтобы сопротивляться давлению. Поэзия больна именно "высокой болезнью" — отсутствием высокого стиля, высоких жанров. А без нее нет поэтических масштабов — нормального соотношения жанров» («Мой временник». Л., 1929. С. 590).

4 «Утешение. Синева. / И последняя, багряная, / Кроет крашеная листва /Суховатым листом аллею»; «Песня» («Близишься белизна моя,/ Пористыми снегами...»); «Вступление» (конец):«— Ни надписи. Все пусто. Лишь внизу / Я различал — вцарапаны тире / И душки. Ба! Да это просто схема, / Да это ямб. И почерк мой...»); из «Ломоносова»: «О береженое ремесло. Проверь / Упорство механики замысловатой / И оптики зоркость. (Метелью косматой / Залеплено небо). Он вышел за дверь».

5 «Оно вполне бесцельно-право / Зачеркивать свой путь, свой жест/ Интонаций, придыханий...».

6 Цитата из стих. Маяковского «Бруклинский мост»: «Как в город / в сломанный / прет победитель / на пушках — жерлом / жирафу под рост — / так, пьяный славой, / так жить в аппетите, / влезаю, / гордый, / на Бруклинский мост» (Поли. собр. соч. в 13 т.: Т. 7. М., 1958. С. 83-84).

7 Имеются в виду Асмусы и Нейгаузы, которые в начале 1920-х гг. жили в Киеве и там познакомились.

8 Н. Н. Вильям-Вильмонт.

9 «Спекторский» был издан в Государственном издательстве художественной литературы, в которое было преобразовано издательство «ЗиФ».

10 С. Г. Спасской-Каплун.

564. В. П. и К. А. ПОЛОНСКИМ

7 октября 1930, Москва

7. X. 30

Дорогие друзья!

Все лето собирался писать Вам. Помеха заключалась в том, что оно выдалось на редкость спокойное и плодотворное. Место оказалось прекрасным, люди, окружавшие нас, превзошли все мои, уже достаточно высокие и ко всему готовые, представленья. И естественно, что из этого скопленья чудесных часов и дней я боялся упустить минуту: я работал и почти не видел тех, кого так хвалю, и почти не пользовался прелестями места, которым восхищаюсь. Я кончил «Спекторского», на этот раз действительно кончил, т. е. превратил его в книгу. Это было очень трудно, потому что созданье единства нашими сознательными усильями не достигается. Этого нельзя было сделать, это зависело от случайности: и эта случайность пришла. Возможно, что мне нечем будет доказать ту волну счастья, которая на меня так незаслуженно накатила, то есть что литературные следы этого подъема ничтожны. Но все равно, я испытал его, он напомнил мне много такого, с чем я расстался давно и, как казалось, навсегда.

Не торопитесь возвращаться в Москву. Дождь, изморось, очереди, одномерно и повсеплощадно приплющенный к асфальту человек в тумане, в заботах, под колпаками учрежденческих ламп, под колесами автомобилей и трамваев. Столовые в банно-прачеш-ных парах — тоскливо-бесцветных, абстрактно-гриппозных. Как бы ни было Вам в Гаграх, там лучше, потому что, кроме людей, там море, змеи, камни, облака и деревья. И не то что все это лучше и красивее человека, но всего этого на свете меньше, чем его, и ровно столько, чтобы просуществовать без карточек1. Потому что самое страшное тут не вероятья голода и холодной зимы, а смертельная бессмыслица открытья, что существованье человека есть количественное бедствие и что его несоразмерно больше, чем догадывается наш инстинкт, напрасно переросший стадию зверства, на которой стадное чувство безошибочно подсказывает и определяет величину стада. Мой взгляд Вам известен, но каков бы ни был Ваш, от Вас не ускользнет тоска, стоящая в глазах бесчисленных здешних толп. И это тоска человека, которого в течение тысячелетий подымали над животным и увели в страшную даль от него; и вдруг заставили держать экзамен на крысу, и он, невооруженный, неподготовленный, растерявшийся, полусумасшедший, стоит перед неминуемой, по счастью, перспективой полного провала.

Все не могу всерьез уверовать в зиму и не начинаю года. Это отражается на Жене и Женичке. Точно вчера въехали и не разложились, а въезду уже вторая неделя. Но внутренне чувствую себя свободно и беззаботно. Люблю и жду Вас, целую Вас, целую руку Кире Александровне2. Женя очень кланяется.

Ваш Б. Я.

Впервые: «Путь», 1995, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268).

1 С началом коллективизации в 1929 г. были введены карточки на продовольственные товары.

2 Жена Полонского К. А. Эгон-Бессер.

565. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

9 октября — 4 ноября 1930, Москва

9. X. 30

Дорогая Раиса Николаевна!

Приятельница Ваша не застала меня дома, — с ней говорила Женя1. И, — прежде всего: как здоровье Юрия Юрьевича?2 Нас это очень беспокоит. Хорошо ли срастается кость? Пожалуйста, сообщите, независимо от общего желания писать, хотя бы открыткой.

То, что Вы называете своим долгом мне — только погашает мою давнюю задолженность Вам, — не более того, и пусть об этом больше не будет разговоров3.

Как Ваше здоровье? Если Вы простили мне мое длительное молчанье, сообщите, что с Вашей рукой. Я ее очень помню по лету 28 года, когда я точно вел с ней отдельную от Вас переписку. Правда правда, — как Вам?

Помните, я писал Вам о своих весенних планах?4 Они рухнули, категорически и навсегда, в части, касавшейся меня. Но может быть Женя и Женичка Вас увидят. Я не сразу привык к этому; теперь же (прошло три с лишним месяца) свыкся.

Этому помогли друзья, окружавшие нас этим летом. Они сыграли очень большую роль в моей летней судьбе. Я работал, количественно не столь уж плодотворно, но со следами, которые вероятно скажутся в будущем.

Между прочим прочел большой многотомный роман Р. Рол-лана и написал ему, и он мне ответил5. И — удивительно! Письмо — совсем как от Вас, или М<арины> И<вановны>, или от Св.-М<ирско>го. Сколько не зависящей от нас цельности в том, что окружает нашу жизнь и входит с ней в соприкосновенье!

4. XI. 30. Знаете, отчего так непростительно залежались эти строки? Ведь вторичными были уже и они. До них я написал Вам большое письмо, в день посещенья Вашей знакомой. Но когда я перечел его, я согласился с Женею, нашедшей его излишне грустным. И мы его забраковали.

А теперь прошел месяц, ничего нового не прибавивший к сказанному, кроме того лишь, что и мои хлопоты о семье ни к какому результату не приводят. Не могу передать Вам чувства униженья, с каким я тут столкнулся. Итак, всей своей работой я не заработал и ничтожной любезности, которая ничего решительно бы не стоила людям, от которых это зависит, потому что я прошу одного разрешенья, без всяких денег, и для людей, ничем нигде незаметных. И не отказывают прямо, а подчеркнуто дружественно, со знаками уваженья тянут и будут тянуть годы, пока сам я не попрошу это дело похоронить, чтобы покончить с неопределенностью.

Что сказать Вам? Писать письма становится все труднее. Отвечайте скорей. Главное, своей задержкой я лишил себя известий о Ю<рии> Ю<рьевиче>. Кончаю без извинений. Много такого в обстановке, что оправдывает всякие странности. И всего естественнее было бы в ней полное гробовое молчанье. Итак, пишите.

Преданный Вам 2>. Я.

Впервые: «Минувшее», N° 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено по лондонскому адресу и переслано в Кембридж.

1 Предположительно, врач Надина Кавиноки, давнее знакомство с которой Ломоносовы возобновили в Калифорнии в 1929 г.

2 Сын Ломоносовой в августе 1930 г. сломал ногу в автомобильной катастрофе, что вызвало длительное лечение в различных госпиталях Англии и Германии.

3 См. в письме N° 550 о желании послать деньги В. Е. Тар в обмен на эквивалентную сумму родителям в Германии. В связи с лечением сына Ломоносовы оказались в тяжелом материальном положении и не могли компенсировать эту выплату, которую Пастернак относит теперь за счет полученного летом 1925 г. от Ломоносовой аванса на перевод Оскара Уайльда.

4 См. в письме N° 550 о намерении Пастернака поехать за границу.

5 См. письмо Роллану N° 557, написанное после чтения его романа «Очарованная душа». Роллан ответил 24 авг. 1930 («Знамя», 2002, N° 11).

566. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12 октября 1930, Москва

12. X. 30

Дорогая Марина.

Писал тебе на днях. Сейчас получил письмо, очень меня огорчившее1. Ни в намереньях, ни в возможностях перемен не произошло, но сейчас выплачивают деньги с ужасными задержками. Это общее явленье. Мне давно должны в издательстве, однако и сами они не знают, когда смогут уплатить. Вторую неделю живем без денег и так как это удается все хуже, то выход все равно придется найти до уплаты задолженного. Но так как и это все гадательно, то я уже кое-что предпринял, и думаю, что результаты опередят письмо. Прости, это гораздо меньше должного и обещанного, но рассчитывай на остальное. Только пока не сообщай мне способа, а несколько спустя. Последние дни — так сошлось — я все пишу за границу, а к этому всегда относятся подозрительно, — а тут еще о деньгах — боюсь, что прямой мой долг перед тобой поймут превратно.

Это именно то не-письмо, которым ты мне разрешаешь ответить.

А ты мне сообщи про радость, — никак не могу догадаться, и никто еще не привозил2.

Целую тебя и С. Я. Пиши скорее, не сердись на меня. 2>.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171).

1 По-видимому, Цветаева писала о денежных затруднениях.

2 Возможно, намек на публикацию отрывка из поэмы «Молодец» во французском переводе Цветаевой. См. письмо N° 569.

567. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

28 октября 1930, Москва

28. X. 30

Дорогая Олюшка!

Страшно рад твоему письму. Из просьбы и тона ее изложения можно сделать успокоительные выводы, хотя и неопределенные.

В подчеркнутых твоих извиненьях прочел я скрытый упрек, и опять: — он приемлем, если сделай в самой неопределенной форме. Разумеется, в каком-то очень общем смысле, я — свинья, в наше свинское, в общем смысле, время. Но я растерялся бы, если бы узнал, что укор твой имеет в виду что-нибудь положительное и определенное. Переписку? Но отчего никогда не пишешь ты, зная, как мне дорого знать вовремя все о вас? Или тебя обидело, что на твои тяжелые известия я отозвался открыткой? Я не помню, — но я должен был предлагать дело в ней, что-нибудь о даче или о чем-нибудь еще. И как раз от тебя ждал на все это ответа. Правда и то (разве я отрицаю?) — что показал, как ждал: довольно-таки вяло и безмолвно. А что ты поделаешь? Писать становится все трудней и трудней. Замолкает все. Замерла заграница в моей переписке, замер, предупреждая ее, и я.

А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, — работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсунов-ского голода1, но мир здоровый и ровный.

Написал я своего Медного Всадника2, Оля, — скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего. Вероятно, он не увидит света. Цензура стала кромсать меня в повторных изданьях и, наверстывая свое прежнее невниманье ко мне, с излишним вниманьем впивается в рукописи, еще не напечатанные.

Но ты напиши мне поподробнее. Я и боюсь спросить о тете. Упреки упреками, — а твое молчанье (по ситуации и пр. и пр.) много жесточе моего. И вряд ли последствия моего так сказываются на тебе, как обратно. Итак, прошу тебя, — напиши.

Теперь об А<птекаре>3. Я только что звонил ему и ничего пут-нее того, о чем ниже, не мог добиться. Он будет в теченье двух дней, первого и второго (ноября), в Ленинграде, утрами в Яфетическом институте, постоем — в Академии наук и просит тебя ловить его там (это его выраженье), преимущественно по утрам. Я сказал, что собираюсь писать тебе, и не сообщит ли он мне чего-нибудь, кроме ловли, и — ближе к твоему вопросу, т. к. одно от другого ничуть не пострадает, но он с любезностями по твоему адресу отклонил меня, как третье лицо, вероятно потому, что не захотел показаться непосвященным в дела Комакадемии. А теперь ты будешь на меня сердиться. Но, ей-богу, я со всем уваженьем адресовался к нему. Крепко целую тебя и тетю.

И вкратце — о житье-бытье. Я зимы себе как-то не представляю, и потому в квартире у нас как-то все более, чем когда, повременному: непрочно, с полвздоха и малореально. Но — сыты, слава Богу, и в деньгах пока не отказывают (ради Бога, всегда имей в виду, — осчастливишь!). — Только Женя худа.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Имеется в виду повесть Кнута Гамсуна «Голод» (1890).

2 Сопоставление «Спекторского» с «Медным всадником» было сделано в эпиграфе, поставленном при издании «Спекторского» отдельной книгой: «"Были здесь ворота..." Пушкин. "Медный всадник"», что выявляло основную тему романа Пастернака. В издании были сняты цензурой 13 строф 8-й главы.

3 О. М. Фрейденберг хотела узнать о причине задержки издания ее книги «Поэтика сюжета и жанра» в Ком. академии. См. также письмо № 560.

568. РОДИТЕЛЯМ

5 ноября 1930, Москва

5. XI. 30 Дорогие мои!

Последним известьем была открытка от вас с предложеньем съестных подарков. Потом у Стеллы видел прекрасные карточки детей1. Как напоминает мальчик дедушку-тезку! Очаровательный мальчик. А увидать еще раз в жизни что-то дяди-Карлино было волнующе странно. Что-то старо-московское встало в глазах. Когда и где все это было?! Но вот еще ббльшая даль. Вчера слушали Шумановский квинтет в малом зале. Едва ли не первая музыка, слышанная мною в темнейшем младенчестве. И тут же гиацинты были на проволоке и розы в крутых бутонах, и фисташковой зелени шелковая лента с золотопечатными буквами — вероятно, под-ношенья маме. Или я все это путаю и, может быть, в углу стоял венок на гроб Рубинштейну?2 И была тарелочка-пепельница со стариком (Лиром?), маслом, папиной руки. Так вот, — квинтет. Между прочим покойный Брандуков перед самой смертью два концерта дал с Нейгаузом, и очень маму вспоминал, достойно, как должен был3. Отлично играл Нейгауз, мастерски, brillante (Allegro brillante) и всю струнную публику вел, как надо. Но как и куда идут нынешние артисты с концертов? Точно по подозренью в краже задержали, поваландали (ну, поиграли там), выяснили и отпустили. Холодные, абстрактные улицы, холодные, усталые люди, усталые трамваи и вечера. Кончилось Allegro brillante, Роберт Шуман такой был, идет артист и думает: спасибо, что не побили. К себе нас тянули, им из Ташкента ученик сига привез и большую дыню. Но Жене на другой день рано надо было вставать, и мы всё упирались, так что от brillante пошли нас провожать до подъезда, скуч-нейше и обиднейше, — и еще мы предупреждали гостеприимно, что зазвали бы, да Жене вставать, и у нас суховато, звать не на что. И вдруг, оказывается утром кету выдавали (тоже, ведь, для вас даль4

— вроде квинтета, вроде Гржимали!), а мы забыли. И забыл я, что за три дня перед тем вбежали и заорали: «За водкой очередь», и я побежал и стал. Так что и водка оказалась. И уломали, остались — (жена у него красавица, какой, по-видимому, судя по свидетельствам и судьбе, была Мария Стюарт) — остались и пили, и я их обоих все Шуманами звал, а потом предлагал за него, и просто — покойным Робертом. — Это к быту нашему и нашему гробовому веселью. — Дорогие мои. Я тут приватно протекционно все о Жене с Женичкой хлопочу, чтобы к вам. Я не думал визой вас беспокоить и хотел, по полученьи разрешенья, через здешнее консульство попробовать. Но меня тянут с разрешеньем, не дают, но и не отказывают. Откладывают и откладывают. Если бы мне в руки визу немецкую, я бы мог ускорить решенье в ту или другую сторону. Простите меня. Вот опять я без вас не могу ни шагу. Вы спасли бы меня. Я не могу вам объяснить, зачем это мне так нужно, но сколько блага, сколько счастья бы это принесло5. Мне трудно рассказать вам на расстояньи, чем мое положенье в это последнее время отличается от общих трудностей других. Оно не труднее, но его отличья совсем в другом. Поверьте мне без объяснений, я не обману вас. И не беспокойтесь. Я лучшего хочу. Мои права ^же общих, я не всегда и не так полно принадлежу себе, как другие. Но не старайтесь догадаться. Только простите за просьбы и за временную обузу, если вы согласны и нас ждет удача. Я дурак, каких мало. Я так вам пишу, что сам топлю себя. Разве так пишут таким родителям? Разве я не уверен в вашем сердце и воображенья? Жене 30 лет, Женичке — 7. Это для визы. —

Если вы не ошиблись в открытке, деньги Соне испрошены к 15-му ноября. Я пошлю ей сто, если позволите, но не ручаюсь за точность срока. У нас повальные заминки с платежами. Мне в издательстве должны больше тысячи, и я их никак не могу получить, или еще точнее: я получу их не раньше 15-го. Но, ведь, выкрутиться из этого положенья придется и нам, так что всего возможнее, что я и с Соней устрою. — Очень странно кончать письмо, не дописав страницы, особенно в дни бумажного кризиса. Но чрезвычайно трудно писать о себе.

Всех, всех наперечет крепко целую, вас и мюнхенских. Ваш Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Фотографии детей Жозефины: Аленушки и Чарли.

2 Воспоминания о домашних концертах у Пастернаков; Антон Григорьевич Рубинштейн скончался 9 ноября 1894 г.

3 Виолончелист А. А. Брандуков вместе с Р. И. Пастернак и скрипачом И. В. Гржимали входил в трио на музыкальном вечере в память недавно скончавшегося А. Г. Рубинштейна 23 ноября 1894 г.

4 Очереди в продуктовые распределители и выдача кеты были знакомы родителям по голодным годам 1918-1919 гг. Это отразилось в стих. Пастернака: «Вряд ли, гений, ты распределяешь кету / В белом доме против кооператива, / Что хвосты луны стоят до края света / Чередой ночных садов без перерыва» («Крупный разговор. Еще не запирали...», 1918).

5 Последние две фразы подчеркнуты рукой Л. О. Пастернака.

569. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5 ноября 1930, Москва

5. XI. 30

Дорогая Марина!

Не удивляйся, пожалуйста, — но я серьезно не уверен, не писал ли я тебе уже это все.

Твой перевод ошеломил меня1. Это верх артистизма во всей его силе и смысле. Просто-напросто это гениально и легко предречь, что твой вклад во французскую

лирику отразится на ее развитьи. — Но еще удивительнее русская сторона дела. Принято считать, что наибольшей статочностью обладает наиболее естественное, вероятное, справедливое. Наверное так бывает во всем свете, кроме одних нас. И если бы твой случай задали как задачу, т. е. спросили кто из современников способен в расцвете сил и достигнутого перейти из языка в язык и разом без переходов занять на этом новосельи прежнее, только что покинутое место, — то, разумеется, это была бы ты, и за ответом не стоило бы лазить в конец задачника. Это была бы наперед ты и ты одна, но именно в отвлеченьи от русских условий. И то, что традиция нашей судьбы побеждена тут, кажется мне самым оглушительным. Все, естественное в отношеньи Verger (я только о факте, я книги не видел2) в твоем русском случае сверхъестественно.

Как еще сказать тебе о действии твоих столбцов и всей этой новости? Прими во вниманье, что тут у нас свирепейшая проза, и я старюсь, и мне не до преувеличений. Так вот, утрачивая чувство концов и начал в этом бесплотно капканном времени, я в твоем труде обретаю для него дату. Это год твоего французского Молодца и его близкого выхода, говорю я себе, и нечто похожее на хронологию ложится в окружающий хаос. — Ты убьешь меня и разогорчишь на всю жизнь, если снимешь посвященье3. Хотя ты обещаешь его сохранить, я так дорожу этим счастьем, что боюсь, как бы в последнюю минуту что-нибудь не изменило твоего решенья. «М<олоде>ц» в свое время побыл у меня не более недели. Я носил его М<аяковско>му. Там его куда-то заложили. Так я его по сей день и видал. Сходна судьба и Асина экземпляра.

Итак поздравляю, поздравляю, поздравляю. Ты молодчина из молодчин, под тобой земля, над тобой небо, кругом воздух, ты реальна, ты электрический неразменный заряд, не все обман, не все басня.

Настоящим, мгновенным откликом на твой перевод было письмо к Майе с описаньем происшедшего и просьбой разыскать тебя4. Знаешь ли ты, что она в Париже? Я его отправил простым, но почему-то верю, что дошло, хотя от нее ни привета ни ответа. Но все равно, все это в духе года, так верно и надо. Все смолкло. У меня было хорошее лето, жили под Киевом (ах, какой город чудесный!) с отличными людьми. Один из них, знакомый П<етра> ГКетрови-ча>, рассказывал о нем и показывал его квартиру. Он же играл много, — прекрасный музыкант5. Жили дружбой, работой, вечерами, природою, обманчивостью допущенья, что все это и есть все. Пишу и чувствую, что издалека ты, в особенности же мужчины (С<ер-гей>Я<ковлевич>, Д<митрий> П<етрович>, П<етр> П<етрович>) должны меня за этот замогильный тон презирать. Что ж делать. Сейчас из-под Москвы от Б. Н. Б<угаева> (А. Б<елого>) получил письмо как из Сахары в Сахару6. Еще раз поздравляю тебя живую, новую, беспромашливую, гениальную. Поцелуй С. Я.

Твой Б.

0 себе не пишу не случайно. Это — не тема, пока лучше не надо. А без этого верно тебе читать скучно: себя самое не хуже моего знаешь, а только ты тут и есть.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171).

1 Имеется в вцду публикация первой главы поэмы Цветаевой «Мблодец» во французском переводе («Le gars*) в журн. «France et monde» (1930, N° 138), посланном ею 29 сент. 1930 (по выпискам О. Сетницкой; РГАЛИ, ф. 1334).

2 R.-M.Rilke «Veigeis» («Сады», 1926). Книга французских стихов Рильке.

3 Поэма «Мблодец» посвящена Борису Пастернаку.

4 Майя — Мария Павловна Кудашева была в дружбе с Цветаевой. После свидания с Ролланом в Швейцарии она поехала в Париж, где по просьбе Пастернака

разговаривала с Вильдраком о публикации французских переводов Цветаевой. «Он обещал почитать их и устроить, если они хороши» (28 нояб. 1930; «Знамя», 2002, № 11. С. 167). Письма Пастернака к Кудашевой не сохранились.

5 Г. Г. Нейгауз познакомился с П. П. Сувчинским в его бытность в Киеве.

6 А. Белый жил в Кучине. Письмом 1 нояб. 1930 он отозвался на телеграмму Пастернака, поздравлявшего его с 50-летием («Вопросы литературы», 1986, № 8).

570. А. Е. КРУЧЕНЫХ

8 ноября 1930, Москва Дорогая Круча, Алеша милый!

Разумеется, я свинья, хотя ты не прямо это утверждаешь. Меня трогает твой приход к лирике, когда все пришло к очередям, чтото вроде Фета по несовременности1. И как твой заумный багаж заиграл! Точно это ему, а не тебе, затосковалось, и он ударился во что-то алкейски-сафическое в отсутствие хозяина, почти что с жалобой, что раньше ему не позволяли. И какие-то ранние Володины ноты2 вдруг ни с того ни с сего местами.

Очень мило. И только карморанские реминисценции3 пополам с Фрейдом в этой связи мне не по душе. Твой Б.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр.184). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

1 Примеч. А. Е. Крученых: «Письмо 1930 г. по поводу моих лирических книжек "Ироniада" и "Рубиниада". А. Крученых».

2 В. В. Маяковского.

3 Мотивы «Баллады о яде карморане» А. Крученых (1922).

571. Р. РОЛЛАНУ

10 ноября 1930, Москва

10. XI. 30

Великий мастер, великое сердце!

Не надо видеть притворства в строках моего письма, мне чуждо притворство.

Половина того, что мне надо Вам рассказать, известна из моих писем. Вот другая.

Этим летом я работал. Последние месяцы возродили во мне вкус того, чем должна была бы быть настоящая поэтическая работа. Это пришло ко мне в тех размерах, которые в наших условиях — опасная нелепость. Я Вам писал о той части, которой я обязан лично Вам и Вашей книге.

Я вернулся в Москву, готовый добровольно принять все, что меня ожидает. Не переоценивайте этого намерения. Возврат эгоистического фатализма не содержит ничего возвышающего. Это недостойное упрямство нашего времени. Но хоть оно меня и тяготит и делает смешным, — как я могу оставить эту душевную склонность, которую не выдумаешь и не найдешь вновь после того, как ее оставишь, этот преходящий и редкий способ видеть и существовать, при котором стыд и счастье едины.

Чтобы обеспечить себе право, не опасаясь случайностей, продумать все задуманное, я решил отправить жену и сына к своим родителям в Мюнхен. Больше месяца, как я высказал и повторил эту просьбу устно (так подготавливают внимание к письменной). Я прошу только разрешения на поездку, без копейки валюты.

Это совсем другое, чем мои весенние попытки. Тогда я просил за себя самого. Всякая репутация — миф. Я и ожидал мифических возражений. Я получил их, и я их не оспаривал.

Люди не были неправы. Горький имел основание, даже желая задушить меня1. Я говорю это искренне и без всякой иронии.

Но моя жена частное лицо, как и всякое другое. Ее присутствие не увеличивает общественного благополучия, ее отсутствие его не уменьшает. — Случай ни в какой

мере не мифический. Высшие политические соображения к нему не применимы. Конечно, даже такая малость, как это разрешение, ничего не стоящее государству, будет неслыханной милостью. Но после всего того, что мифически говорится в ВОКСах и т. д., думаю, что я это исключение заслужил.

Мне не отказывают в маленьком одолжении. На путях неофициального покровительства (единственно возможного в этом деле) мне передают и варьируют ответ с полускрытым намеком на то, что я никогда не получу ни согласия, ни отказа на свою просьбу именно потому, что предмет ходатайства неопровержимо требует разрешения.

Это косвенный способ указать вам, что вы забыли, что вы раб и не можете ни на что рассчитывать, кроме того, что вам причтут, и что (не спрашивая вас) вам припишут в области официальных мифов.

Будьте свидетелем. Не делая из этого выводов. Было бы невыразимой подлостью рассчитывать, не знаю на что, с Вашей стороны и молчаливо намекать на это, повышая цену действия своего рассказа. Но я хочу, чтобы Вы знали о моих унижениях и провалах, как внутренней природе моих усилий. Я ее Вам посвящаю.

Сделайте мне великий подарок: напишите мне2. Уезжая отсюда Мария сказала мне, что Вы мечтаете продолжать «Очарованную душу». Начали ли Вы работать над этим замыслом?3 Если Вы работаете, моя просьба отпадает сама собой: я это пойму по Вашему молчанию. Простите мне плохое письмо, полное личных обстоятельств. Это больше никогда не повторится. Но мне так тяжело!

Преданный Вам Б. И

Впервые: «Еигоре. Revue litteraire mensuelle. Boris Pasternak*, mars 1993; в переводе на рус. яз.: «Знамя», 2001, № 11. — Автограф (Архив Р. Роллана, Париж).

1 Речь идет об отказе Горького помочь Пастернаку получить разрешение на поездку за границу (см. коммент. 6 к письму JSfe 549).

2 Роллан писал 28 нояб. 1930: «Я чувствую горечь вашего письма, я ею пронизан. Я сделаю все, что могу, чтобы ее смягчить. Но овладейте своими чувствами! Ваше искусство само от этого выиграет» («Знамя», 2001, № 11. С. 174).

3 «Я работаю над последней частью "Очарованной души": она будет закончена не раньше будущей осени. Мне приходится часто прерываться из-за плохого самочувствия и тысяч повседневных забот. Но я никогда не оставлю этой работы», — писал Роллан в том же письме.

572. А. БЕЛОМУ

12 ноября 1930, Москва

12. X. 30*

Дорогой Борис Николаевич!

Горячо благодарю Вас за письмо1. Посылать Вам телеграмму, да еще такую, было невежливостью — нет: смешнейшим несоответствием тому, что я мог и должен был бы Вам восхищенно напомнить, управившись к дате2.

Я принимался за это трижды, в письме к Вам. Но чувство, что я ломлюсь в открытые двери, меня не покидало. Я увидал, что не смогу сказать Вам ничего такого, что Вы бы не знали сами.

Что вспомнить лучшее из пережитого в ранние и позднейшие годы — значит вспомнить Вас всякий раз, как это пережитое коснется живой физической Москвы и ее физического перехода в разогнанное ее движеньем искусство, подхватывающее, продолжающее ее и как бы служащее ей большим движущимся горизонтом. Что вспомнить Вас — значит вспомнить последнее мерило первичности, виденное в жизни. И за Вами следует Маяковский, юношей, тот еще, каким Вы его слышали зимой 18 года3. И потом начинается путаница.

И вот Вы живы, и с лучшим из запомнившегося, — с историей гениальности в России начала XX в. можно говорить. И все же меня не покидает чувство неловкости: разве с этим поздравляют?

А писать я Вам сел вот по какому поводу. У меня была сегодня племянница Новикова4, приехавшая из Ташкента. Туда сослан

* Авторская ошибка датировки.

С. А. Поляков5, ее и самое забросила туда ссылка близкого ей человека6. Она в состоянии ужаса рассказала мне о бедственности положенья С. А. Как только будут деньги, т. е. как только их можно будет заполучить в сберкассе, я ему пошлю, что смогу. Вероятно, она начала затем припоминать не столько сильных литературного мира, сколько своих литературных кумиров, потому что назвала Вас и затем запнулась (и дальше Белого не пошло перечисленье богачей)7. Подчинясь ей, обращаюсь к Вам с просьбой о помощи к Вам первому. Разумеется, тут всего бы ближе Балтрушайтису8, бывшему закадычным его другом. Но, по-моему, к нему как к лицу дипломатическому обращаться небезопасно, в особенности по такому делу, да еще в такое время. А послать всего лучше денежным пакетом в Ташкент, до востребования, С. А. Полякову. Известит же его она, потому что, сообщив его адрес (Ташкент, Пушкинская, 1-й тупик, д. № 2)9, она усомнилась в его точности и собирается адрес проверить через родных, едущих в Ташкент. Впрочем, если захотите написать С. А., можете воспользоваться им для извещения и востребованья.

Все последние дни вспоминаю Ваш «Петербург» и министров из «Зап<исок> чуд<ака>». Какая страшная Немезида, уловленная уже Достоевским. И ведь Ваши и его (Дост<оевского>) фантасмагории превзойдены действительностью. Теперь пойми, что двойник, что подлинник в планах, а ведь дальше будет еще непонятней.

Крепко обнимаю Вас. Ваш Б. П.

Привет Клавдии Николаевне10. Познакомились с П. Яшвили и его женой Т<амарой> Г<еоргиевной>. Они все разыскивали Клавдию Николаевну, чтобы спросить, когда можно будет к Вам. И все время Вы были на языке у всех11, у них, у нас, — Спасский, верно, рассказывал.

А ведь дал маху Свифт: не знал, когда и где родиться. Вот бред-то12.

Впервые: Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13. — Автограф (РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 239).

1 Письмо А. Белого 1 нояб. 1930 («Вопросы литературы», 1986, JSfe 8).

2 Телеграмма была послана к 50-летию Белого: «От души поздравляю и горячо благодарю за счастье, которым дарили и дарите нас. Радуюсь праву обращаться к Вам. Торжествую при мысли, что лучшая часть литературы шла Вашими путями. Преклоняюсь и желаю ничем не омраченного здоровья. Пастернак» (Russian Literature Triquarterly, 1975, JSfe 13).

3 Имеется в виду вечер у М. О. Цетлина конца янв. 1918, на котором Маяковский читал поэму «Человек». О восхищении Белого Пастернак писал в «Охранной грамоте»: «Он слушал как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо».

4 Елена Александровна Новикова, племянница писателя И. А. Новикова, проведшая в Ташкенте лето, пришла после телефонного звонка В. К. Звягинцевой, просившей Пастернака ее принять. Звягинцева вспоминала, что Пастернак потом рассказывал, как длинная коса Е. А., когда она уходила, застряла в дверях, она «спустилась с лестницы, прошла чуть улицу и почувствовала, что коса не пускает... На самом деле Аля, стесняясь звонить о застрявшей косе, сидела на лестнице, куда вышел Борис Леонидович» («Душа открытая людям. О Вере Звягинцевой». Ереван, 1981. С. 274).

5 Сергей Александрович Поляков — глава издательства «Скорпион» и журн. «Весы», в середине 1920-х гг. был отправлен в Соловки, затем сослан в Ташкент.

6 Речь идет о Давиде Мироновиче Бацере — инженере, муже Е. А. Новиковой.

7 При обсуждении того, к кому из писателей можно обратиться за помощью, «ведь многие были ему в прошлом обязаны. Но к кому? Вера Клавдиевна поставила вопрос так: кто из писателей самый лучший человек? И мы обе в один голос ответили "Пастернак"», — вспоминала Е. А. Новикова (Рукопись).

8 Поэт Ю. К. Балтрушайтис был в это время послом Литвы в Москве.

9 На самом деле это адрес Константина Александровича Новикова, у которого в Ташкенте останавливалась его сестра.

10 К. Н. Бугаева — жена А. Белого.

11 В 1928 г. Белый с женой приезжали в Грузию по приглашению Пао-ло Яшвили.

12 Эти слова относятся к процессу по делу Промпартии, обвинительное заключение которого, вскрывающее «вредительство» во всех областях промышленности, было опубликовано в «Правде», 11 ноября 1930.

573. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

12 ноября 1930у Москва

12. X. 30* Дорогой друг!

Деловое, — и главное, — противоречащее сказанному в прошлом письме1.

Но только что получил письмо от М. Ц<ветаевой>2. Их описывают, у них критическое матерьяльное положение.

Я косвенно предлагал ей помощь. Но это было летом, и затем это сложный способ, который затянет процедуру3. Может быть сум-

* Авторская ошибка датировки. 467 му, о которой Вы спрашивали, Вы переведете ей по телеграфу в Meudon(S-et-O), 2, Avenue Jeanne d'Arc, Marine Tsvetaieva-Efron? Я постараюсь вновь ее возместить, и хорошо бы опять через кого-нибудь, как через госпожу Гар4. Предложенный Вами летом способ не приложим на практике. И ничего не говорите об этом Жене. Но придумайте, как мне опять их Вам вернуть через знакомых, и при случае сообщите. Заранее горячо Вас благодарю. — Я колебался, к кому из друзей обратиться с этой просьбой, и выбор был только между Вами и Ролланом. И я пожертвовал Вами только потому, что французское письмо мне долго писать, а помощь нужна немедленная; докучать же этим Вам мне одинаково больно, как было бы ему. Но все это пустяки, и какое счастье для нас, что можно что-то сделать!

Ваш ответ на наши расспросы о Ю<рии> Ю<рьевиче> вероятно уже в пути? Если нет, то хотя бы в двух строчках.

Из хлопот о Жене ничего не выходит. Это очень отражается на нас обоих. — Вы прекрасный друг, я ничего не могу сказать Вам, чего бы Вы не знали. И вот, в духе этих последних слов —

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Датируется по почтовому штемпелю. Отправлено в Лондон и переадресовано в Кембридж.

1 В письме № 565 Пастернак просил Ломоносову забыть о своем долге ему и отнести его за счет аванса пятилетней давности (коммент. 3).

2 Еще в письме № 566 Пастернак отзывался на известие Цветаевой о ее материальных трудностях.

3 Речь идет о переводе «Фауста», гонорар за который Пастернак предполагал посылать Цветаевой. Но это намерение не осуществилось (см. письмо № 516).

4 Пастернак неправильно прочел фамилию подруги Ломоносовой В. Е. Тар.

574. Л. О. ПАСТЕРНАКУ
3 декабря 1930, Москва
3. XII. 30
Дорогой, золотой мой папа!

Прости, что на твой подарок (письмо о разрешеньи)1 я ответил не моментально, и даже дал пройти четырем дням времени. Какой редкий по благородству и быстроте поступок! Без конца целую тебя. Ты и вполовину не представляешь себе, какой это было для меня неожиданностью.

Ты, верно, знаешь, что письму твоему предшествовало письмо от Лиды. Стыдно признаться, но какие непозволительные по-дозренья оно во мне родило! Я не понял ее тревог за меня на тот случай, если поездка Жени состоится, и я останусь один. И ее готовностью приехать ко мне я измерил нежелательность появления своих у вас, т. е. вообразил, что вы этого не хотите. Не смейся надо мной и не огорчайся. Мне и самому стыдно сейчас этих минутных химер2.

Но Лидины страхи странно совпали с доводами иезуитской коллегии, от которой все зависит. Там тоже не желают меня увидать в одиночестве, потому что слишком ценят. Сейчас я, разумеется, ни в каких разубежденьях не нуждаюсь. Письмо твое и молниеносность результатов пристыдили меня и уничтожили. Приношу тебе и Лидочке горячие извиненья за допущенную мысль и сделанное признанье.

Но сам я шагов в том же направленьи еще не сделал. Ты вправе негодовать. Ах, папа, томы бы исписал и все бы не объяснил тебе нашей жизни, и, главным образом, — моей, так это все непрочно и валко, и странно, и неизвестно на чем держится. Зарабатываю-то я достаточно, — старое оборачивается и питает. Но новые работы томительно медленно ползущие, держат меня в вечном порабощеньи. И в них имеются порции и деленья, к которым я отношусь с напряженным суеверьем. Любить и видеть можно только тех, кого хотят они, делать лишь то, что они желают. Главное же, не выполнив их и не переступив, нельзя ни за что взяться, меньше всего за что-нибудь житейски важное. — А полдня приходится терять на кормленье этих замыслов, и при этом глядеть всегда в сторону, прочь от родного, прямо положенного перед тобой жизнью и судьбой, от семьи, встречающей тебя потом широким, невинным взглядом молчаливого вопроса, — чем не угодил тебе дом и чем мал и плох и в чем провинился. Женичка — святая по той жизни, какая ей выпала со мной! И вовсе не она рвется отсюда, а я на этом настаиваю. И когда принимает, то только с условьем, что немного спустя подъеду. И эта возможность не исключена. — Не сердись на меня, — мой милый, милый, милый, и ты, равно дорогая мама!

Вместе с письмом получил такое же скорое (в ответ на мое) от Р. Р<оллана>. И почти твой тон.

«Cher ami. Je sens la douleur de votre lettre; et j'en suis penetre. Ce que je pourrai pour l'attenuer, je le ferai. Mais dominez vos sentiments!

Mime votre art y gagnera»*. Потом предлагает разыскать его раннюю статью 1916-го года «О правде в шекспировском театре» (тогда 300-летие было, помните?) и прибавляет: «D'une facon generate, prenez un bain dans Shakespeare. On en ressort, plus fort et plus sage»*\ — Но я вам не приводил его летних писем, прямее направленных ко мне, эти же строки процитировал, потому что в них мне послышался папа. Именно их, где он ко мне обращается, как к мальчику. И какая заботливость: этому письму предшествовала открытка3.

Cher ami, je suis souffrant ces jours-ci. Je vous ecrirai prochainement. Pour aujourd'hui, seulement un mot, afin que vous n'interpretiez pas mal mon silence. Je sympathise pleinement avec vous*". -

Крепко, крепко вас обнимаю и без конца, золотых, за все благодарю. Когда посылал Соне, шевельнулось сомненье, жива ли тетя Роза. Моему поколенью такого возраста не видать. А о Сони-ных детях, — так, ведь, это дочери4, и мы их мужей не знаем. Вряд ли они Леониды Осиповичи или Р. Ролланы.

Если Жоне не трудно, пусть пришлет английский журнал5.

Да, — а за посылку поблагодарить забыл! Надо было вам видеть, как ее распаковывали, что это был за праздник! На почту я за нею ездил, вскрывали же у Шуры на обеденном столе в передней. И неплохое употребленье имела часть сыру и колбасы.

В этот вечер в Большом зале в симфоническом два концерта (Моцарта и Бетховена) играла М. Юдина, замечательная пианистка из Ленинграда, с никому не известными Бетховенскими каденциями к первому и Брамсовскою ко второму. Бетховенские каденции к Моцарту так смелы и вдохновенно импровизационны, что некоторые заподозрили, не Юдина ли их автор, т. е. из такой современной сложно модуляционной дали они написаны на моцартовские темы, и, как оказывается, — Бетховеном! Артистическую облепили: Гнесины, Игумнов, Мейерхольд и пр. и пр.

* «Дорогой друг, я чувствую горечь вашего сердца, я ею пронизан. Я сделаю все, что могу, чтобы ее смягчить. Но овладейте своими чувствами. Ваше искусство само от этого выиграет» (фр.).

" «Вообще говоря, погрузитесь в Шекспира, как в ванну. Из него выходят более сильными и мудрыми» (фр.). *** «Дорогой друг, я болен сейчас. Вскоре вам напишу. Сегодня только одно слово, чтобы вы не истолковали ложно мое молчание. Я вполне вам сочувствую» (фр.).

А. С. Шор старик подошел к ручке со словами: «Как вас благодарить. Разрешите любить вас». И мне показалось, что я их слышу в далекой давности, в обращеньи к маме. (Всегда все справляются.) И мы ее увели к себе, с Нейгаузом. И на этот раз не как после квинтета, — без похоронности, — в ход пошла посылка. После, часов до трех ночи она нам играла. Очень много Шуберта и Крейслериану. Дети проснулись. Женичка тихо плакал, объяснив, на вопрос о причине, это тем, что у него «глаза слабые». А Федя сказал, что играли так громко, что у него насморк прошел. — Оторвите кусочек этой приписки и пришпильте к старым бумажкам в знак того, что я Жонину просьбу в отношеньи Стеллы исполнил на 50 р.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Документы о получении немецких виз для Е. В. Пастернак с сыном были высланы отцом 26 нояб. 1930 г. «Ужасно рад, что мог так скоро исполнить (и наилучшим манером) твою просьбу и тебя уже уведомить <...> Ну, дай тебе Аллах успехов в получении дальнейших разрешений», — писал Л. О. Пастернак сыну (там же. Кн. I. С. 295).

2 Загадочный тон письма № 568 с просьбой о визах и о том, «сколько счастья бы это принесло», встревожил родителей и сестер.

3 Цитаты из письма 28 нояб. и открытки 19 нояб. 1930 («Еигоре. Revue litteraire mensuelle. Boris Pasternak», mars 1993).

4 Речь о недавней кончине старшей сестры Л. О. Пастернака Р. О. Шапиро, дочери которой С. И. Геникес, ухаживавшей за матерью, Пастернак регулярно посылал деньги. У С. И. Геникес было три дочери: Маруся, Тася и Женя.

5 «Experiment», 1930, N° 6 со статьей и переводами Дж. Риви.

575. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

5 декабря 1930, Москва

5. XII. 30

Олечка, дорогой мой друг, и Вы, дорогая тетя Ася! Надо ли говорить, как подействовало на нас твое, Оля, письмо, и как вся, ничуть не переменившаяся, живете Вы, тетя, в своем! Я слышал о ваших прошлогодних невзгодах, но и в десятой доле не мог вообразить, что они таковы.

И твой упрек в отрыве, Оля, — (справедливый!) горько прозвучал и оставил горький отзвук. И это отзвук моей жизни. Так все родилось, так все сложилось, — что делать!

Недавно, как-то вечером, в гостях Женя сентенцией разрешилась, что в Ленинграде женщины замечательные и все оттуда.

Сказано это было по поводу присутствовавшей и действительно замечательной вашей пианистки М. Юдиной. А в пример привела, кроме названной, бывавших и близко знакомых: Ахматову, сестер Радловых1 и вас обеих. Тогда и хозяйка, где ужинали, напомнила, что она из Петербурга2, Жене же пришлось рассказать о вас, ввиду заявленного.

И вот я люблю вас, как сймое свое, а и не запишу до конца страницы. Тут, верно, и начинается то, что ты, Оля, назвала: отрыв. Но рассказывать о чем-нибудь своем — значит делиться, значит угощать, значит что-то предлагать, для всего же этого надо держать в руке что-то осязаемое. Осязаема ли нынешняя жизнь? Или повести это все одним восклицаньем и сказать так? Что сотой доли неизвестно за что выпадающего мне счастья было бы в былое время достаточно, чтобы вправлять его в кольца и резать им стекло. Что вновь и вновь встречаются люди, которых невозможно не любить, что до меня доходят волны, которых я не заслужил и отдаленно, что моя обыденность испещрена драгоценностями, и, следовательно, тем горше, что все это пропадает даром. Потому что это происходит в наше время, превратившее жизнь в нематерьяльный, отвлеченный сон. И чудесам человеческого сердца некуда лечь, не на чем оттиснуться, не в чем отразиться.

Но ведь я к вам с большою просьбой. Помогите мне, пожалуйста. Я не оставил надежды послать Женю с Дудликом, как вы его называете, к своим. В известных целях мне надо бы последовательно обязать их на известную сумму. Вы оказали бы мне серьезнейшую услугу, и я не знал бы, как за нее благодарить, если бы согласились раз-другой на перевод от меня, причем, только половину я бы отнес на папу3. Неужели вы меня оттолкнете? Тогда я просто не понимаю, для чего мне зарабатывать. И всего меньше, — в чем мой отрыв. Потому что с людьми близкими из московских или из друзей, с которыми мы жили в Ирпене, этого отрыва нет и в этом вопросе, и ведь это легчайшее доказательство взаимного доверья. И вы мне в нем откажете? А главное, главное, главное: услуга, которую Вы мне при этом могли бы оказать, вдесятеро серьезнее той химерической брезгливости, которую всегда ко мне питаете. Клянусь Дудликовым здоровьем! Ваш отказ будет не только пощечиной мне, но и... нуллификацией будущих Дудликовых ресурсов. И это было бы так гадко, что я этого и вообразить не в состоянии. Простите за длинный разговор на эту гнусную тему, но я так боюсь вас! Как раз этот страх причина того, что пишу вам обеим сразу. Не пощадит

Оля, пожалеете, тетя Ася, Вы. Тетечка, заступитесь за меня перед нею. Наедине же страшно.

Крепко целую и обнимаю. Ваш Б.

Писал ли вам папа о смерти тети Розы?4

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Имеются в виду сестры Дармолатовы: поэтесса Анна Дмитриевна Радлова и скульптор Сарра Дмитриевна Лебедева.

2 Хозяйкой была Зинаида Николаевна Нейгауз.

3 Чтобы увеличить постепенно собирающуюся у родителей в Германии сумму для возможности поездки к ним жены и сына, Пастернак изыскивал способы обмена рублей на марки (вывозить их за границу было запрещено), посылая их родственникам с компенсацией их со стороны немецкой части семьи.

4 Р. О. Шапиро.

576. З. Н. НЕЙГАУЗ

26 декабря 1930, Москва

26. XII. 30 Друг мой!

Мне подана сейчас бандероль с тем английским журналом, о котором давно писала сестра1. Наконец она его выслала. Помните, это было, когда у Вас повышалась температура. Вы были больны, мне об этом взволнованно сообщил Г<арри>, я тревожился за Вас2. Узнав, что что-то мое переведено, и не зная, что именно, я загадал о Вас на первую, какая будет, строфу первого стихотворенья. Как хорошо вышло! Первым переведено: «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...», где есть слова: «Как узелок с бельем у выписавшегося из больницы»3. Итак — весна и выздоровленье.

Я был у Вас сегодня и не застал. Простите меня, вчера я в первый раз перед Вами провинился. Это не давало мне покоя весь день. Оттого я и пошел к Вам, но Поля4, верно, не передала. Я не вернулся к Асмусам, как обещал, потому что после Вашего подарка по телефону я вошел бы туда еще более громким и прямым изображеньем Вас, чем это случалось раньше. Как бы я ни сдерживался, это бы так шло от меня, что вызвало бы еще большие неожиданности, чем до сих пор, и на этот раз такие, после которых надо было бы уже подняться и лететь, не оглядываясь5. А вы знаете, что это сейчас еще невозможно. Я тотчас же стал звонить туда, чтобы

как-нибудь предупредить о неприезде, но к аппарату не подходили. Простите ли Вы меня?

Чем волнует меня статья и переводы? В статье — совпаденье с моими мыслями последних дней. Часть переведенного — из того, что я читал при Юдиной (цикла «Болезнь»), вечер же с Юдиной — время Вашей болезни. Перед статьей в строчку выписано: Block 1921, Essenin 1925, Mayakovsky 1930 — даты смертей до братства близких, и еще только недостает моей. Главное же, что о моей жизни неизвестный мне человек (Geoige Reavey) за тысячу верст на чужом языке пишет как о чем-то не принадлежащем мне, и, читая его, я вдруг по-новому (по-английски) чувствую, как принадлежит она Вам, как радостно и благодарно отдаю я Вам ее смысл.

Простите меня, что еще до сих пор плохо и трудно Жене, И<рине> С<ергеевне> и многим: что высокая и ровная нота, внушенная Вами и от которой всем должно было быть хорошо, не взята еще мной, не проведена в жизнь, не осуществлена. Я приду к ней, ее не миновать, дайте мне время. Все будет разрешено. Какая может быть безвыходность, когда жизнь никогда не была для меня таким большим, таким прекрасным, таким облагораживающим выходом, как Вы. Я не сказал тут ничего, что бы могло смутить, связать Вас или озаботить. По смыслу письма и по тому, как оно мной пишется, Вы должны еще веселей, чем до него, вбежать к детям и крепко обнять Гарри и жить, как в детстве, как в первые детские победы*.

P. S. Это письмо залежалось, и я уже говорил Вам про него. Не забывайте меня. Я ничего не преувеличиваю и все — правда. Мне нельзя будет увидать Вас, и Вы про меня ничего не услышите, пока я не прерву в свою комнату. Но я уже нашел ее. Освободится, наверное, числах в десятых6. Главное, не бойтесь. Признанье Вашего существованья — вот чего я не могу спрятать и перевезу туда. Вот и все. Б.

Впервые — Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо послано в Москве с Волхонки в Трубниковский». Нейгаузы жили в Трубниковском переулке.

1 Журн. ^Experiment* со статьей и переводами Дж. Риви. 22 дек. 1930 Пастернак писал сестре Жозефине: «Папа давно как-то обмолвился, будто выслала ты мне какой-то английский журнал с моими будто бы стихами. Я его не получил, о чем вскользь несколько раз сообщал им, на что

* Далее пять строк зачеркнуто. 474 ответа не имел. Так это и повисло загадкой, то есть для меня неизвестным осталось, не спутал ли папа чего, и был ли журнал, и какой, и какой перевод там помещен, и высылала ли ты мне его, или ничего этого не было, и о ком-то другом речь, и вообще все это что-то другое. Мне особенно любопытно, как этот неведомый журнал попал к тебе, если эта живая случайность не плод фантазии или недоразуменья. Чувствую, что — пустяки» (Письма к родителям и сестрам. Кн. I. С. 298).

2 Сохранилась записка, датированная 29 нояб. 1930, с выражением беспокойства: «Дорогие друзья мои, Генрих Густавович и Зинаида Николаевна! Позвоните мне, пожалуйста, поскорее и сообщите, как здоровье Зинаиды Николаевны. Мне совестно беспокоить Соколовых. Ваш 2>.» (Письма Пастернака к жене. С. 15). Соколовы — соседи Нейгаузов по дому 23 в Трубниковском пер., чьим телефоном они пользовались.

3 Стих, из цикла «Весна», 1918.

4 Домработница Нейгаузов.

5 После объяснения с женой Пастернак ушел из семьи, комнату найти не удалось, В. Ф. Асмус предоставил ему свой кабинет. И. С. Асмус мучительно ревновала Пастернака к Зинаиде Николаевне. В записке 19 февр. 1931 переданы трудности, которые переживал Пастернак, находясь у Асмусов: «Мне пришло в голову приложить к этой записке то письмецо, которое я написал однажды утром у Асмусов и потом днем рассказал тебе на словах проездом домой к тебе на извощике. Помнишь? Оно было набросано карандашом по черновой рукописи Охр. Гр-ты. Я не мог писать его отдельно на почтовой бумаге, потому что стол стоял у дверей, мимо ходили, я работал на виду и писание письма бросилось бы в глаза И. С. Теперь я тебе его перепишу. Читая его, припомни, какое это далекое прошлое. Я чуть не назвал его сейчас грустным. Нет, неправда: это было уже мое нынешнее счастье, во всей его настоящей силе, но в еще недоуменной, гадательной бедности. Тогда говорила одна душа, и ничего еще не было дано ей в подмогу. А теперь мне хочется бросать в помощь ей все больше и больше телесных опор: себя, Грузию, юг, и радость, и горы, и волшебство работы. Моей любви к тебе, которой так недавно приходилось одним движеньем губ исполнять Вагнера, мне хочется подарить теперь целый Лейп-цигский оркестр» (там же. С. 19).

6 С комнатой, которую Пастернак надеялся снять у Пурицев в Георгиевском пер., ничего не вышло. В начале февраля он переехал к Пильняку на время его отъезда за границу.

577. З. Н. НЕЙГАУЗ

15 января 1931, Москва

Нехорошо, что я надоедаю тебе. Я боюсь, что это участится. Завтра, 16-го утром, если можно будет, я приду к тебе. Все-таки страшно трудно существовать без тебя и почти нельзя предвидеть случаев, которые дают это почувствовать. Узкой любовью они как-то не предусмотрены. Есть множество вещей, которые все время адресуются к тебе и каждую минуту требуют тебя и напоминают. Тёк ты меня не любишь, ты этой надобности во мне не можешь знать, ты не знаешь этого страха и восторга. — Будь, прошу тебя, совершенно свободна с С-м1, я прошу об этом совершенно чистосердечно, так же как прямо рассказал тебе тогда тб другое. Что бы ни случилось, мне будет не так, как до недавнего времени. И если даже будет больно, то по-человечески, а не с той

нечеловеческой силой, как у учеников. Тут дело в музыке, я объясню тебе на словах, потому что пишу сейчас страшно наспех.

Хорошо, что я решился вчера, проболтаться в твоем присутствии, что это было уже и позади. Удивительно, как могла ты принять этот полунемой и бессодержательный, — но язык, на котором я готов изливаться когда угодно за что-то написанное. Все-таки теперь мне не будет страшно тебя с этой стороны. Когда-нибудь ты будешь спать где-нибудь рядом, на рассвете, и я решусь открыть этот свой (почти безъязыкий) рот, но тише и, может быть, лучше, по-колыбельному. Я страшно люблю тебя. Но не думай, что я что-нибудь воображаю. Даже и с музыкой будет, как было. Никакой неловкости, безвкусицы, мужланства я ни в отношении тебя, ни к ней у себя не допущу.

Нестерпимо трудно поддерживать тон искусственного безраз-личья к тебе среди всех, — ты заметила вчера? Неожиданно кончаю. 15.1, перед концертом

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59).

1 Неустановленное лицо.

578. С. Д. СПАССКОМУ

15 февраля 1931, Москва

15. II. 31

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Боюсь, не огорчил ли я Вас тогда своим письмом1. Вы на него не ответили. Что в таком случае основой всему какое-то недоразуменье, должно быть ясно и Вам. Только страх остаться бесполезным для Вас мог толкнуть меня от одних восхищений к товарищеским советам. Как Вы мне дороги, Вам известно. Не только утрата Вашей дружбы, но и малейшая тень на ней была бы для меня большим ударом. — Я же молчал не из каких-либо счетов, я эти месяцы не писал никому. У меня было много хлопот, и немало еще осталось, — много перемен. Я оставил семью, жил одно время у друзей (и у них дописал Охр<анную> Гр<амоту>2), теперь у других (в квартире Пильняка, в его кабинете). Я ничего не могу сказать, потому что человек, которого я люблю, не свободен, и это жена друга, которого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки это не драма, потому что радости здесь больше, чем вины и стыда. Я как-нибудь напишу Вам по-настоящему, теперь же с большой к Вам просьбой. Мне давно надоедает один литературовед, нужен ему «Спекторский» для какой-то срочной работы3. Будьте добры, не откладывая вышлите рукопись заказной бандеролью по адресу: Москва, 34, Сивцев Вражек, д. 35, кв. 8, А. К. Тарасенкову. 20-го он должен сдать работу. Простите за лаконизм. Обрадовали бы письмом. Привет С<офье> Г<итмановне>. Евг<ении> Вл<а-димировне> сейчас тяжело, но время пройдет и мы будем с ней лучшими друзьями.

Ваш Б. Я.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, JSfe 6. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

1 Письмо JSfe 563 с разбором книги стихов «Особые приметы».

2 У Асмусов на Зубовском бульваре.

3 Окончательный текст «Спекторского» был нужен Тарасенкову для его статьи «Борис Пастернак», напечатанной в «Звезде», 1931, № 5. В статье Тарасенкова две героини «Спекторского» слились в одну, и черты Ольги Бухтеевой приписаны Марии Ильиной.

579. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5 марта 1931, Москва

5. III. 31

Дорогая Марина!

У меня в руках твое письмо к Асе. Гляжу на твою строчку: «мне ему писать сейчас неудобно, он мне давно не пишет, — письмами не считаюсь, но ввиду его переезда и т. д. не хочется тйк напоминать о своем существованьи». — Пыжу, — краснею. Ты права. Но не вини меня. — Итак, сперва о деле. Я бессовестно виноват перед тобой, что в свое время не сходил к Вавиной матери1. Но то было как раз в начале и разгаре всего воспоследовавшего, и помешало мне, что у меня тогда не было денег. Я безбожно запустил дела, — они и сейчас еще не в порядке, но на днях поправлю, надеюсь. Тогда пойду, — это обязательно, и, вероятно, с двухсроч-ной сразу помощью. Тогда извещу. — Ты не обижайся, я никому не писал давно, и в свое извиненье буду ссылаться на твой случай: не писал, мол, даже и М. Ц.

По-видимому, тебе что-то известно. Вопросы предшествующего твоего письма Асе тому доказательством. Итак, как можно короче. Мы лето провели с семьей музыканта (удивительного!) Н<ейгауза>. Я к ним привязывался день ото дня все больше. Действовали силы, которым я никогда не умел сопротивляться: его одухотворенный дар (большого полета и широкого, охватывающего философию и поэзию, кругозора) и ее удивительная красота, высокой, ходовой, инстинктивной одухотворенности. Это называлось дружбой, каждая встреча кончалась признаниями, я обращал их к обоим, и в игре свойств, которые меня к ним притягивали и в них ослепляли, он и она казались мне иногда как бы братом и сестрой между собою (ты понимаешь?): я не мог отделаться от чувства одинаково беспредельной свободы по отношенью к обоим. Осенью я понял, что люблю ее, понял с той восхитительной ясностью, немного страшной, как это понимают в начале жизни. Я написал обоим по балладе. Вторую, посвященную ей, привожу. Разумеется, это неизмеримо хуже стихов «Сестры» и ты права будешь, найдя форму и словарь сплошной пошлостью.

Но я тебе пишу о том, как жил и живу, а не о том, что сделал. Так вот, первым сильно пережитым обращеньем к лирике после долголетнего перерыва были эти осенние месяцы. Я тогда кончил Спекторского. Ты увидишь, это не совершенно пустое место. Какое-то значенье ему присвоится. И там имеешься ты, ты в истории, моей и — нашего времени2. — А вот баллада3.

Потом мы переехали в Москву. В каком-то надломе самовнушенья я продолжал обращаться к обоим, не разделяя их, и не любил попадать туда в отсутствие Г<енриха> Г<уставовича>. Но когда мы собирались втроем, нам ясно становилось, что это уже действует ее власть, ее судьба и история, что моя жизнь их разделила и выдвинула ее вперед. 1-го января он уехал в труднейшее по теперешним топливным и продовольственным условьям концертное турне по Сибири. Я этого не хотел, я страшно боялся его отъезда. Я знал, что раньше или позже наши судьбы скрестятся, что мое чувство прорвется и тогда уже ни у каких границ не остановится. Но в его отсутствие во все это могло замешаться что-то нечестное. Однако он должен был уехать. Он возвращается через две недели. Я жду его с нетерпеньем, без всякого чувства вины. Я вновь и вновь забываю, что все случившееся касается его непосредственно, а вовсе не через меня и мою неизменившуюся привязанность к нему, как, нелепейшим образом представляет это все мое ожиданье. Я не знаю, как все распутается и что будет с нами четырьмя и детьми.

Теперь мне хочется сказать тебе несколько слов о Жене. Уничтожь, умоляю тебя, все хоть сколько-нибудь дурное, что я говорил или писал о ней под влияньем минуты. Это было непростительной низостью с моей стороны и, в прошлом, я заслуживаю некоторого снисхожденья лишь тем летом 26-го года, когда мне так хотелось к тебе, и я думал с ней расстаться. Теперь сходная обстановка, но разрыв был доведен до конца, и тут только я увидел, каким преступником по отношенью к ней был в душе все эти годы. Этого раскаянья недостаточно, чтобы невозможное сделать возможным: рядом с

этим пристыженным состраданьем высится живая, все победившая бесконечность, — все затмевается ею. Но Женя — человек, мизинца которого я не стою и никогда не стоил, и это первая правда, произнесенная мною о ней за всю нашу совместную жизнь. Она верно безбожно идеализирует меня в разлуке, я не знаю что мне сделать, чтобы унять ее страданье, у меня готово и самопроизвольно рвется навстречу к ней чувство глубочайшей дружбы, я знаю, что оно несоизмеримо лучше (и для нее) того дурного и двойственного прошлого, к которому она зовет вернуться, но она живет в мираже страданья, прикрашивает прошлое и в будущем ничего хорошего не видит. Мне страшно трудно.

Мой временный адрес: Москва 40,2-я ул. Ямского поля, д. 1а, уч. 21, кв. Б. А. Пильняка, — мне. Если письмо не застанет, перешлют. Но не отвечай письмом необдуманным или несправедливым, я как-то боюсь этого. Все равно я останусь с тобой хорошей, и ничего недоброго твоего не пойму. Прости. Твой Б.

Приписки не зачеркиваю, хотя уже стыжусь ее: только что получил твое письмо. Зачем ты напоминаешь о нашем совместном? Неужели ты думала, что тут может что-нибудь измениться? Я оттого ни словом его не коснулся, что это — самоочевидность, которой ничто никогда не поколеблет.

Но твой упрек, что ты узнала последней — несправедлив. Пишу тебе первой, никому ничего не писал, к&к разнеслось, — не понимаю. Источник осведомленности Р<аисы> Н<иколаев-ны> для меня — тайна. Ни Женя, ни я давно не писали ей. И — последнее. Ничего не знаю. Может быть вернусь к Ж<ене>. Но люблю З<ину>. И тебя и Памир. И Ж<еню> и — Р<аису> Николаевну >.

В мае-июне, если буду жив, пошлю тебе две новых книги, «Охр<анную> Грамоту» и «Спекторского». Не обошлось без цензурных стеснений4, но удачи перевешивают, и мне необъяснимо везет.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171).

1 Неустановленное лицо. В открытке, посланной вскоре (27 марта 1931), Пастернак сообщал: «Дорогая Марина! Я писал тебе о неудачном состояньи моих дел, заботах и пр. Они неожиданно улучшились в тот самый день, как тебя, вероятно, достигли мои жалобы. Спешу этой открыткой успокоить тебя на мой счет. Мне даже удалось уже помочь моей старушке, и вдвое против того даже, на что она рассчитывала. Привет. Прости за торопливость почерка» (там же. С. 536).

2 В образе героини «Спекторского» поэтессы Марии Ильиной отразились некоторые черты Цветаевой и моменты ее знакомства с Пастернаком.

3 Здесь идет текст стих. «Вторая баллада» (1930), посвященного З. Н. Нейгауз.

4 Обе книги, и «Спекторский» (ГИХЛ, 1931), и «Охранная грамота» («Изд-во писателей в Ленинграде», 1931), подверглись цензурным сокращениям.

8 марта 1931, Москва Дорогой Корнелий Люцианович!

Сию минуту звонил мне Тарасенков в ответ на мою открытку: оказывается по просьбе Спасского, о которой я не имел поня-тья, он тотчас по миновеньи надобности отослал рукопись ему назад в Ленинград1. — Я буду верно читать «Сп<екторского>» в ГИХЛе, Вы будете извещены и вызваны газетным приглашеньем. Кроме того, и это будет еще лучше, я может быть прочту его у Мейерхольда (на квартире). Я еще не говорил об этом со Вс<еволо-дом> Эм<ильевичем>, но предполагаю навязаться ему, потому что в мою дружбу с ними надо внести ясность. Он подумывает о какой-то совместной работе и я не прочь. Но он несомненно превратных обо мне представлений. Что-то слышал, при ложной презумпции, что если о человеке сейчас говорят, то это — политически актуально. Эту его уверенность и надо разрушить Спекторским.

Узнал наверняка: 14-го в ГИХЛе 7 часов вечера, приходите2.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 764). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

1 См. письмо JSfe 578.

2 Чтение «Спекторского» в ГИХЛе проходило в рамках писательского «декадника», обязательной частью которого было обсуждение. Слушатели сходились во мнении о художественной несостоятельности вещи, композиционной слабости и отсутствии сюжетной связи. В защиту ее цельности выступил В. Б. Шкловский.

581. РОДИТЕЛЯМ

8—23 марта 1931, Москва

8. III. 31

Дорогие мои! Я давно не писал вам. Вы, вероятно, что-то знаете обо мне. Но что именно? И в какой форме? — Итак, ради Бога, не волнуйтесь, не осуждайте. Расскажу, как смогу.

В середине января я ушел из дому. Я жил первое время у Асмусов, с начала февраля живу у Пильняка. Я полюбил З. Н., жену лучшего моего друга Н<ейгауза>. Я вам много писал о нем последнее время. Он уехал первого января в концертное турне по Сибири. Я боялся этой поездки и отговаривал его от нее. В его отсутствие на то, что было неотвратимо и случилось бы и при нем, легла тень нечестности.

Я показал себя недостойным Н<ейгауза>, которого продолжаю любить и никогда не разлюблю, я причинил длительные, страшные и до сих пор не ослабевшие страданья Жене, — и я чище и невиннее, чем был до вступленья в жизнь.

И, прежде всего, прежде всего. Не бойтесь за Женю. Я не расхожусь с ней: в моем языке нет слова «навсегда». На то ли на свете человек, чтобы к роковым вещам, как смерть, болезнь и прочее, прибавлять фатальности своего изделья? Я всегда видел его призванье в посильном уменьшеньи рока, в освобожденьи того, что можно освободить. И это не взгляд мой, не убежденье. Это — я сам. Так прожил я эти два месяца. Так сошелся когда-то с нею, и любил, и думал устроить жизнь, и ничему не научил. Она любит меня не щадя себя, самоубийственно, деспотически и ревниво. На нее страшно глядеть, за два эти месяца она спала с лица и переживает все это, как в первый день. Любить меня так, значит ничего не понимать во мне. Я ее не упрекаю, — разве она исключенье?

Она не понимает, что я не человек ценных качеств, не характер в твердом состояньи, а — живое указанье, а палец на доске, с надписью: к сапожнику налево. Она не знает, что для того, чтобы любить меня, надо прежде всего любить сапожника, — простой, повсеместный, незамкнутый, всегда новый дух жизни, к которой я протянут всем своим смыслом, потому что жить значит для меня значить, а не существовать; значить же можно только вовне, для другого, за угол, и только существовать можно для себя, для семьи. —

23 марта. — Я пишу вам уже не первое письмо, и все их не отправляю. Вот и это пролежало больше двух недель. Оно уже устарело. — Женя, по-видимому, получит разрешенье на выезд, я этого добился1. — Две недели тому назад я Соне вместо пятидесяти отправил полтораста руб., квитанцию прилагаю. Я пишу вам еще из квартиры Пильняка. На днях, т. е. к концу месяца я переведу, вероятно, на Волхонку. Последние недели перед долгой разлукой мне хочется прожить с Женей и Женёнком. Что я себе представляю в дальнейшем? Свободу, свободу, полнейшую свободу для Жени; свободу, которая будет впервые истинной большою связью моей с нею. Мне будет грустно без них обоих. Хотя больше двух месяцев я прожил с ними врозь, они — в одном городе со мной, я по телефону справлялся о них у Шуры. Но с грустью разлуки я справлюсь. Тем более, что и голове и сердцу в ближайшее время будет много дела, каникул им ниоткуда не предстоит. Итак, это мои жена и сын. Тут ничего не

изменилось. Спустя какой-то промежуток, большой, вероятно, мы встретимся и, если Бог даст, полная совместная жизнь потечет у нас по-новому. Я эти годы душевно часто изменял Жене. Она измучилась. Эта последняя, полная и открытая измена окончательно ее подкосила. Ей надо отдохнуть. Насколько мне подсказывает чутье, Женёнок растрогает вас и вам понравится, Женя — нравственной своей высотой и серьезностью всего вынесенного и пережитого со мной (счастливого и горького) будет вам родственно близка. Я верю, — они очутятся у своих среди вас и вы дадите им нужный отдых. Женя стала хорошо рисовать. Я их все время буду поддерживать, деньги будут постоянно, надо будет только найти пути, найдутся и они. Надо ли говорить, что все скопленное теперь — ей. Замечанье это вызвано боязнью вашей родительской ревности. Она была бы дика и неуместна. Но мне теперь этих денег не надо. Не потому, что не собираюсь к вам, а потому, что будут поступать новые. Меня будут переводить. Началом (то есть первой вещью, которую мне не стыдно будет увидеть в переводах) послужит «Охранная грамота». Она уже продана во французском переводе. И теперь я начну работать вообще глубже и капитальнее. Многому я научился только истекшей зимою.

Я успею, вероятно, написать вам еще не раз до их приезда к вам. Сейчас у меня две просьбы. 1) Знать и помнить, что они ближе и дороже мне меня самого и, объективно, без примеси сенти-мента и жалости, по врожденным своим качествам и по приобретенным в страшной и нелегкой жизни со мною — могут и должны быть ближе меня и вам. И, — клянусь моей судьбой — в двадцать раз достойнее этой близости, чем я. 2) Не посылать мне испуганных, удивленных и образумливающих писем в ответ на это. Такие ответы пролетят мимо. Я всем сердцем горячо хочу добра и всей душой верю в сбыточность его и достижимость. — Я сказал, что душе в ближайшее время не будет досуга. Вчера в Москву вернулся Н<ейгауз>. Было бы нецеломудренно рассказывать вам о нашем первом объясненьи. Я не знаю, как все распутается. Он — большой человек широкого кругозора и музыкант предельной, почти гениальной подлинности. Я так люблю его, что когда узнал о его приезде (и при первой очной встрече), радость свиданья перевесила у меня все.

Я никого из вас не поздравил с днем рожденья. Простите и не сердитесь. Крепко обнимаю вас. Пишите. Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Окончательно выяснилось это только в апреле; 10 апр. 1931 Пастернак писал сестре: «Дорогая Жонюра! Женя получила паспорт. Я собирался перед их отъездом переехать на Волхонку и пожить у них немного, но вдруг у меня сделался флюс, к которому теперь присоединился грипп с высокой температурой, так что задержался у Пильняка и даже лежу» (там же. Кн. П. С. 9).

582. И. А. ГРУЗДЕВУ

21 марта 1931, Москва

21. III. 30*

Дорогой Илья Александрович!

Сегодня высылаю Вам «Охранную Грамоту»1. По прочитке известите, пожалуйста, о полученьи. Красным карандашом перечеркнуты места, вызвавшие опасенья ответственной редакции «Красной Нови». Это следы внутренней товарищеской цензуры, более стеснительной, чем общая, ибо — полюбовной и взаимно обязывающей. Думаю, что страницы о монархии, например, вполне восстановимы2.

Разрешенье о выпуске вещи отдельным изданием сегодня испрашиваю в ГИХЛ'е3. Когда получу, протелеграфирую Вам. Если не ограничат тиража, выпускайте в 10 000-х4. Обязательно выговорите аванс при подписаньи в размере четверти суммы. Нуждаюсь в деньгах по некоторым причинам больше, чем обычно, и с большей срочностью.

Куда и кому перевести, сообщу, когда выяснятся предварительные частности, как — разрешенье Гихл'а, Ваши издательские предположенья и пр. Может быть, частью аванса придется погасить задолженность в «Звезде»5, может быть — из денег следующего срока. Если будет, что сообщить, извещайте, пожалуйста, не задерживаясь. Пользуйтесь адресом Пильняка. Причины спешки, временная неопределенность положенья. Простите за нее. Спасибо за все. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. П.

Впервые: «Звезда», 1997, № 8. — Автограф (Архив Горького, ФГ, 8.8.14).

1 Речь идет о публикации «Охранной грамоты» в «Изд-ве писателей в Ленинграде» (ИПЛ), в редколлегию которого входил И. А. Груздев. Пастернак срочно попросил свою соседку С. С. Адельсон перепечать ее и писал Груздеву 3 марта 1931: «"Охранная Грамота" сейчас вся в переписке, на днях получу ее отреминготонированной, и перешлю Вам. Евгений Ива-

* Авторская ошибка датировки. 484 нович выразил готовность отвезть ее, но не знаю, поспеет ли к дню его отъезда машинистка. Я не умею исчислять листов по рукописи, но думаю, что в вещи не меньше 5-ти печатных листов, а может быть и все шесть» (там же. С. 181). Е. И. Замятин — тоже член редколлегии «Изд-ва писателей в Ленинграде». В изданной книге после цензурных сокращений получилось всего 4 печатных листа.

2 Страницы о монархии, выпущенные товарищеской цензурой при публикации в «Красной нови» (1931, № 4-6), не удалось восстановить в отдельном издании книги. Сохранилась авт. машин, со следами издательской редактуры, вычеркнувшей страницы о Венеции, о монархии и др.

3 «Охранная грамота» была включена в сб. прозы, готовившийся в ГИХЛе и для отдельного издания требовалось разрешение от издательства. Пастернак получил его 25 марта и писал Груздеву: «Шлите договор, если книга издательству подходит. Аванс переведите, пожалуйста, жене, Евгении Владимировне Пастернак, по адресу: Москва 19, Волхонка 14, кв. 9» (там же. С. 181).

4 «Охранная грамота» была издана тиражом 6 200 экземпляров и никогда больше при жизни автора не переиздавалась.

5 Задолженность в «Звезде» образовалась потому, что полученный от Ленгиза аванс на издание «Спекторского» пришлось выплачивать из гонораров за публикацию в «Звезде» первой части «Охранной грамоты».

583. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

23 марта 1931, Москва

23. III. 31

Дорогой мой друг!

В этом письме будет просьба, но этот деловой налет придаст ему только срочности, а не испортит его. — Я больше 3-х месяцев не писал никому из близких. На днях написал М. Ц<ветаевой>, только что — родным в Берлин1, теперь пишу Вам.

Судя по словам М<арины>, Вы что-то уже знаете. Итак, вкратце. Я не расхожусь с Женей. Она остается для меня близким человеком, с которым я разделил жизнь и в мыслях вижу разделенной в каком-то неопределенном будущем. Но я разлучаюсь с ней на некоторое, вероятно, продолжительное время. — Я полюбил жену друга, замечательного пианиста и очень большого во всех отношениях человека, — это Вы откуда-то, видимо, знаете. Что мне сказать о ней? Я люблю ее. Мне кажется, это самое большее, что можно сказать в таких случаях. Всякий прямой разговор о ней отдельно был бы частностью. Но она тоже пианистка, лет 12 не занимавшаяся музыкой, частью из-за семьи, главным же образом потому, что ее муж несравненно сильнейший художник в той же области, чтб, разумеется, было счастьем для нее, а не горем. Она из

старой военной петербургской семьи, с долей греческой крови2. — Всю зиму я тщетно хлопотал о паспорте для Жени. С января в дело вмешался Р. Роллан. Он взял с ездившего в то время в Женеву Луначарского слово, что А<натолий> В<асильевич> по приезде в Москву сделает все возможное, чтобы помочь мне3. А В. показал себя тут с благороднейшей стороны. На днях нам было сказано, что можно подавать заявленье, и обещан благоприятный результат. — Женя страшно измучилась за это последнее время. У ней нет прирожденной тяги к здоровью, к забвенью неприятностей, в ее характере есть черты, тяжелые для нее самой, — она упорна в страданьи. Жизнь со мной была для нее постоянным испытаньем. Вероятно она была бы такою и для всякой на ее месте, но в столк-новеньи с ее гордостью, вызывающей и непримиримой, эта жизнь превращалась временами в чистое наказанье. Без всякого лице-мерья, мне кажется, освобожденье от меня (если бы она пожелала, то и — полное) ей во благо. Когда минует острота случившегося, это скажется. — Я люблю жизнь, но не так, как это обычно понимают. Я никогда, даже и в детстве, в родительской семье, не располагался как на стуле, вкусно, прочно и надолго. Сознанье какого-то права на судьбу, на счастье, на что бы то ни было такое, что свойственно всем, было всегда чуждо мне и казалось недоступным, незаслуженным. В то же время счастье никогда не изменяло мне, и я всегда считал его и продолжаю считать необъяснимым чудом. Сколько помню себя, я везде себя чувствовал гостем, временно приехавшим на праздники, которого балуют, потому что баловать — в духе торжеств и каникул. Так я чувствовал себя в родной семье, которую любил горячо и ревниво именно потому, что с пятилетнего возраста считал себя чем-то таким, что в переводе с детского языка на взрослый пришлось бы назвать найденышем или незаконным сыном4. — Я люблю жизнь не как блюдо, уверенно и спокойно выбранное из других и наиболее вкусное, но как наиболее незаслуженный и удивительный эпизод большого одинокого путешествия, начало и конец которого утрачены и недоступны сознанью. Все высокое и прекрасное действует на меня так, точно оно прямо ко мне и адресуется, и без моего ответного порыва ушло бы из двухтысячного зала несчастным. За его мгновенный луч я должен заплатить мгновенной преданностью, и когда эта высота и прелесть воплощается в женщине или в женском, хотя бы в духе, хотя бы на расстояньи, — эта преданность может меня завести далеко. — Я любил Женю, я (просто, необязательно и добродушно) люблю ее и сейчас, но возможность измены, потенциальная измена никогда нашего дома не покидала. Зачем далеко ходить. Мог ли бы я сказать по совести, когда и что действовало сильней или слабей в моей переписке с Вами, и как это называется. Я завидую людям, которые родились с готовым разли-ченьем чувств или успели в них разобраться. Я — не то что дружбы, я вниманья без примеси любви никогда не переживал.

Вы наверное встретитесь с Женей, Вы знаете, чтб Вы для нее, — Вы будете для нее большой поддержкой. Встретимся вероятно и мы, но до этой живой настоящей встречи не раз будем встречаться письмами и в мыслях. Горячо благодарю Вас за все прошлое и будущее. — У меня к Вам две просьбы, одна пустяковая и необязательная, другая очень серьезная. Начну со второй. Переведите уже и сейчас, до ее приезда, деньги для Жени по адресу Berlin W. 30, Motzstr. 60 Herrn Prof. L. Pasternak, fur Eugenie (впрочем последнее, т. е. как обозначить назначение денег технически, Вам будет видней). Пошлите, пожалуйста, сколько можете и хотите. Говорю это так свободно и без стесненья вот почему. У меня будут некоторые матерьяльные перспективы на Западе. Я недавно кончил книгу, род отрывочной автобиографии, написанной с единственной целью ответить в меру своего опыта, реально пережитого, на вопрос: что такое искусство и как оно рождается из жизни. Это очень небольшая книжка, страниц до ста, и не надо наперед переоценивать ее значенье. Я нисколько не обнял философии

вопроса, который Вам назвал. Напротив, я стремился к предельному лаконизму и совершенной свободе от философской терминологии. Но особую ноту предмета я, кажется, передал со счастливой чистотой и ясностью. Книга называется «Охранная Грамота». Так вот, мне кажется, ее будут переводить. У меня есть уже и практические основания так думать. И, — (я знаю что Вас это не интересует, но это интересует меня) — у меня есть надежда мой долг Вам вернуть, даже если бы он немного возрос. Кроме того я мечтаю дописать «Повесть», которая была третьей, примерно, частью романа, тогда задуманного и в ней начатого. Может быть и он удастся мне, и будет достоин перевода. Вы простите мне прямую беззастенчивость этой первой просьбы? — Другая просьба просто дурацкая. Подарите мне, пожалуйста, и пришлите заказной бандеролью, как книгу, почтовый блок, того типа, который сейчас у меня кончается данным листком. Мне его подарила Miss Kelsey. Его названье: Keistone Tipewriter tablet, extra bond (№ 6004), — но ведь необязательно этот самый. Материю для моих сношений с Западом, вступающих теперь в такую новую и трудную фазу, мне бы хотелось получить из Ваших рук. — Не осуждайте меня. Напишите. Целую Ваши руки.

Любящий Вас Б. П.

Пишу не из дому. Если скоро ответите, ответьте по адр. Москва 40.2-я ул. Ямского поля. д. 1а, участок 21, кв. Б. А. Пильняка, мне.

Жене про грустное не пишите, это после, не сейчас.

Перечел Ваше последнее письмо, и строчку о Ваших 43-х годах. Вы — маленькая еще девочка, а вот мне — восемьдесят с лишним при моих сорока одном. — Напишите мне.

Впервые: «Минувшее», N° 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Кембридж и оттуда в Лондон.

1 Письма № 579 и 581.

2 На самом деле, — по своему деду Джотти, — четверть итальянской крови.

3 А. В. Луначарский приезжал в Женеву для участия в подготовке к конференции по разоружению и в ответ на просьбу Роллана писал: «Посоветуйте... Пастернаку обратиться непосредственно ко мне: я сделаю все от меня зависящее, чтобы быть ему полезным» (ЛН. Т. 82. С. 487).

4 См. в очерке «Люди и положения» (1956): «Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы <...> То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш». См. также: «Мерещится, что мать — не мать. / Что ты — не ты, что дом — чужбина» («Так начинают. Года в два...», 1921).

584. Дж. РИВИ

28 марта 1931, Москва

28. III. 31

Дорогой Mr. Reavey, Георгий Данилович!

Ваши переводы, статья, Ваше внимание и, затем, — письмо до глубины души взволновали меня1. Во всякое другое время я Вам ответил бы немедленно. Но нынешней зимой у меня было много личных событий.

Как раз в их разгаре произошло мое знакомство с Вами. Вот причина моего долгого молчанья, которое, вероятно, огорчило Вас. Однако все это продолжается и сейчас. Я отвечаю Вам наскоро, и не так, как хотел бы.

Горячо благодарю Вас за отличные переводы. Восхищен Вашим вкусом. Ваш выбор достаточно говорит о нем. Много хотел бы, друг мой, сказать о Вашей прекрасной статье и оригинальных стихах, но это как-нибудь в другой раз. Как бы не задержало это письмо.

С радостью даю Вам разрешенье на помещенье переводов (даже и не известных мне) в «Европейский Караван»2 и куда бы Вы ни пожелали. Познер ни о чем не

уведомлял меня, и из письма Вашего мне неясно, о чем должен был уведомить. За Вашим сообщением, что он взял четыре перевода для revue, у Вас следует слово, которого я не могу разобрать — [Morada (?)]3. Если увидите В<ладимира> С<оломоновича>, кланяйтесь ему, пожалуйста. Он кажется сердится на меня, но не знаю, за что.

Узнаю о себе всегда по слепой случайности, когда сообщают друзья. Мне пишут все реже — виноват я сам.

Скоро распространенье на Западе заинтересует меня с той стороны, о которой я до сих пор никогда не думал. В Германию на долгое время выезжает жена моя с сыном, и возможности посылать им отсюда у меня не будет. Тут очень кстати оказались бы иностранные издания. Но против искусственного навязывания меня Западу я первый стал бы открыто протестовать. До сих пор у меня не было ничего, что заслуживало бы европейского вниманья. «Детство Люверс» и «Повесть» — неприятные претензии, пока они не развиты во что-нибудь крупное. Последнюю я надеюсь продолжить, доведя до более достойного целого, в форме романа.

Сейчас я закончил прозаическую вещь, которая называется «Охранная Грамота». Это первая вещь, которую я без стыда увидал бы в переводе. Это — ряд воспоминаний. Сами по себе они не представляли бы никакого интереса, если бы не заключали честных и прямых усилий понять с их помощью, что такое культура и искусство, если не вообще, то хотя бы в судьбе отдельного человека. Думаю, тема эта никому не может быть далека, и разговор о ней на других языках так же уместен, как и в оригинале. Когда она появится у нас отдельной книжкой (к осени, вероятно, но, может быть, и раньше), вышлю ее Вам. Остальных ваших просьб о книгах не могу исполнить4. Последние изданья разошлись, прозы еще не переиздавали, — но по мере появленья буду всегда помнить о Вас. Еще раз большое спасибо. Крепко жму Вашу руку. Напишите, что простили меня.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (Houghton Library, Harvard University).

1В созданном группой молодых поэтов и прозаиков, в которую входили Дж. Риви, У. Эмпсон, Р. Эберхарт и Т.-Х. Уайт, журнале ♦Experiment* были опубликованы статья Риви «First Essay toward Pasternak* («Первый очерк о Пастернаке») и переводы четырех его стихотворений. Журнал в сопровождении письма, собственных стихов Риви и еще трех переводов были посланы Пастернаку 29 дек. 1930 с просьбой «скоро написать» ему.

2 «Еигореал Caravan. An Anthologie of the new spirit in European Literature* («Европейский караван. Антология новых веяний в европейской литературе»), одним из составителей которого был Риви, спрашивавший Пастернака о разрешении поместить в нем семь переводов его стихов. Первая книга антологии вышла в Нью-Йорке в 1931 г., вторая, посвященная славянским литературам, не была издана.

3 Квадратные скобки и вопросительный знак — авторские. Риви писал Пастернаку: «Познер может быть Вас уже уведомил, что он взял 4 перевода для "revue" "Morada"» (ЛН. Т. 93. С. 24). Переводы Познера четырех стих. Пастернака на французский язык были опубликованы в № 5 ли-терат. журн. «Morada», вышедшего в Италии в 1931 г.

4 Риви просил прислать ему «Детство Люверс», «Девятьсот пятый год», рассказы и статьи, намереваясь их перевести и опубликовать в различных изданиях.

585. Н. Н. ИЛЬИНУ

30 марта 1931, Москва

30. III. 31. Дорогой Николай Николаевич! Спасибо за открытку. Рад за Вас, что наблюденья у Вас новые и что к работе тянет. Желаю Вам в ней успеха. Никогда не меряйте себя, действия своего и ценности — тем, как на это отвечают и ведут себя

другие. Ничего, кроме ошибок и огорчений такой косвенный расчет не приносит. Вы меня всегда трогали, тронули и в этот приезд, то же, что я редко откликаюсь и книжки Вашей до сих пор не вернул1, объясняется моими собственными недостатками, к которым Вы отношенья не имеете. Весной или летом выйдут отдельными книгами «Спекторский» и «Охран<ная> Грамота»2. Тогда пришлю. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Я.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1892, оп. 1, ед. хр. 5).

1 Возможно, речь идет о книге стихов Н. Н. Ильина (Нилли) «Глаза, обращенные к солнцу» (Симбирск, 1922).

2 «Спекторский» вышел в июне, «Охранная грамота» — в ноябре 1931 г.

586. С. Н. ДУРЫЛИНУ

5 апреля 1931, Москва

5 апреля 1931

Дорогой мой Сережа! Свинство на такие письма, как Ваше, отвечать открыткой. Я Вам напишу по-настоящему. Я молчал все время не из счётов с Вашим молчаньем, конечно. Знаю, что и Вы этой мысли, верно, не допускали. Но у меня был довольно сложный, по-живому сложный, год. Этому можно было бы радоваться, если бы только жизнь не была заколдованным кругом, где нельзя ступить шагу без того, чтобы не доставить им страданья близким, которые часто лучше и достойнее тебя. Торопливость неурочного моего ответа вызвана словами Вашими о болезни. Горячо желаю Вам скорейшего выздоровления — пожеланья этого не хочу откладывать. Надо бы Вас как-нибудь навестить. Мечтаю об этом, — весною, как-нибудь посуху. Желаю Вам от всей души бодрости, притока сил, успеха в работе. Истекшей зимой кончил две вещи (между ними Охр<анную> Гр<амоту>). Встречают преувеличенно тепло. Еще и еще раз — всего всего лучшего, здоровья и счастья. Сделался у меня вчера флюс, — раздуло. Вот гадость. Б.

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1,ед. хр. 695).

587. И. А. БЕЛИКОВУ

6 апреля 1931, Москва

Товарищ Беликов! Я просмотрел Ваши стихи1. Я сейчас простудился и не выхожу. Как только выздоровею, пошлю их Вам обратно. Они меня не удовлетворили, отношенья товарища Э. Багрицкого к Вам я разделить не могу. Среди всего присланного я нашел только кое-что в «Береге» и в «Нищем» (Когда леса морщин нависнут, усталость ляжет как поклажа). Видимое великолепье Вашего словаря однообразно, несамостоятельно, и в нем неприятно сочетаются независимость тона с заимствованиями, блеск с беспомощностью, авторитетность выраженья с неправильностями языка. Но все это — пустяки и я бы на это не обратил вниманья, если бы встретил присутствие новой и живой поэтической мысли в темах, которым до сих пор ее недостает, в темах нашей городской современности. Туг что-то новое должно быть сказано из самой глубины и послужить основаньем новому поэтическому стилю. С этой, поэтической стороны Ваши стихи бедны и бесстильны. Жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 370, оп. 1, д. 29). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

Иван Александрович Беликов — литератор, в 1930-е гг. был научным сотрудником и экскурсоводом в Литературном музее в Москве.

1 Стихи Беликова не были опубликованы и остались неизвестны.

588. И. А. ГРУЗДЕВУ

9 апреля 1931, Москва

9. IV. 31. Дорогой Илья Александрович!

Простите, что беспокоил Вас ненужными напоминаньями о деле и о деньгах1 в то время, как договор и перевод были уже в дороге. Пристыжен и страшно признателен Вам. — Не выхожу, сначала флюс был и — на исходе, а теперь, по-видимому, — грипп. Высокая температура, собираюсь слечь и второпях выражаю Вам мою беспредельную благодарность. Ваш Б. И

Впервые: «Звезда», 1998, № 8. — Автограф (Архив Горького, ФГ 8.8.18).

1 Имеется в виду открытка 5 апр. 1931 с просьбой: «Если есть возможность, ускорьте денежную сторону дела, — крайне необходимо. Жалко также, что и тираж так мал. Не почтите нескромностью, — но думаю, что разошлись бы и все десять» (там же. С. 182). «Охранная грамота» вышла тиражом 6200 экз. Пастернак резонно предполагал, что легко может разойтись и 10 тысяч. Так, изданный 6 тысячами «Спекторский» был распродан за полтора месяца.

589. З. Н. НЕЙГАУЗ

10-е числа апреля 1931, Москва

Дорогая Зина!

Я не переехал отсюда. У меня, верно, грипп. Вечерами до 39°, утром 37,5. Я лежу в постели. У нас испортился телефон1. Я просил Ольгу Сергеевну2 известить из города обо всем этом Шуру, Ирину или Женю. Вероятно, кто-нибудь из них меня навестит*.

Я ни в чем не нуждаюсь, за мной очень трогательно ухаживают тут.

Я срезал половину записки. Дальше шло все грустнее, оно бы огорчило тебя3. Я боюсь, что пока я связан простудой, с тобой все чаще и чаще будут говорить о нас в том духе, как это было недавно*.

И опять грустное. Не надо. Будь здорова. Твой Б.

Впервые: Письма Пастернака жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Датируется по содержанию. Вероятно, незадолго до болезни, в начале апреля, Пастернак, уступив чьей-то просьбе (Д.?), взялся редактировать чужую прозу и жаловался З. Н.: «Зинуша, ничто не сравнится с тобой и я люблю тебя больше всего на свете, а между тем даю тебе грустить весь день, прикованный к бесталанному вздору Д. Я думал, что уже кончил править это преступленье против искусства, как вдруг с ужасом увидел, что внизу еще одна непросмотренная глава в запасе. Побежал отказаться и выложить ему всю правду за тебя и за всех, потому что подделка творчества есть грех общий с подделкой жизни, с облегченным представленьем о ней, и я на нем сорву всю эту горечь. Когда приду, встреть меня, как всегда, как вчера, как бывало, прошу тебя. Я хочу того же, что и ты, и все-все на свете вздор против тебя, милой, чистой, беспримерной!» (там же. С. 22).

1 Пастернак писал И. А. Груздеву 5 апр. 1931: «У нас, правда, больше недели телефон был в бездействии, — переводили на автоматический» («Знамя», 1997, № 8. С. 181).

2 О. С. Щербиновская — жена Пильняка.

3 Знакомые и поклонники Г. Г. Нейгауза уговаривали З. Н. не уходить от него. Пастернак писал об этом сестре 11 апр. 1931: «У меня было очень хорошее время, теперь оно стало смутным, и надо постараться, чтобы в дальнейшем стало опять хорошим. Я недостаточно эгоистичен» (Письма к родителям и сестрам. Кн. И. С. 10).

590. З. Н. НЕЙГАУЗ

30 апреля 1931, Москва

30. IV

Родная моя, удивительная, бесподобная, большая, большая. Сегодня тридцатое, сейчас утро. Мне хочется все это запомнить. Все ушли из дому, я один с Аидой в Борисовой квартире1. Вчера были гости, утром стол стоял, еще раздвинутый на обе

доски под длинной белой скатертью, весь солнечный, заставленный серебром и зеленым стеклом, с двумя горшками левкоев, и дверь на балкон была открыта, там тоже были солнце, стекло и зелень.

Через час я пойду к Жене и проведу у нее часть дня, больше, чем бывал там эти месяцы, когда забегал к ней редко и лишь на минутку.

Этим начнется наше прощанье с ней. Я не знал, что оно будет так легко. Что оно будет ясною спокойной весной, среди стихов, вызванных чем-либо столь огромным, маловероятным и очевидным, как ты, со взглядом, открыто и просто вперенным в наше время, с такой верой в землю и ее смысл.

Я не знал, что перед разлукой с ней буду полон чем бы то ни было подобным тебе, — буду переполнен тобою, буду разливать тебя, упрощающую все до полного счастья, — все, чего касается твое влиянье, все, на что падает твоя волна.

Я не знал, что буду избавлен при прощаньи от душевных подмен, от легкости нелюбви или прирожденного бесчувствия,— но что это будет ничем не омраченное светлое прощанье с дорогим: в мире, равном себе везде, везде живом и милостивом, равном себе без конца, верном и полном тобою.

Но я пишу отсюда ради места, откуда пишу. Скоро я отсюда уеду. Давай запомним утро и обстановку и тишину дома в отсутствие 0<льги> С<ергеевны> и Е<лизаветы> И<вановны>2, которые наполняют его своей отлучкой в город так, точно наполняют его моими мыслями о них, моей благодарностью им и удивленьем перед ними, перед этими замечательными женщинами, ставшими мне, если бы даже они этого не приняли, — матерью и сестрой.

И все это ты, все это ты, все это ты.

Я тебя увижу завтра. Мой вечер перенесен на 4-е и доклад все же будет: Баранова, начальника воздушных сил республики, но начну я3. Помнишь, как у Гаррика: Лист и дирижабль4. Странно.

Весь твой, тихая, тихая, верная моя!

Вчера много пили. Воронский5 целовал и сказал, что скоро стану Черным Спасом времени, — пишут рябым, страшным — сектантский запрещенный образ. Читал чего не знаешь, непоэтическое, но очень контровое стихотворение, написал вчера утром6.

Весь твой Боря

Впервые: Вестник РСХД, № 106, Париж-Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59).

1У Бориса Пильняка был тигровый, египетский дог по имени Аида. 2 О. С. и Е. И. Щербиновские — жена и мать жены Пильняка.

3 Выступление Пастернака на «литдекаднике» состоялось 9 мая 1931 г., на обсуждении предполагалось участие П. И. Баранова, начальника Военно-воздушных сил Красной армии.

4 Сочетание музыки Ф. Листа на концерте Г. Нейгауза в Киеве на открытой эстраде и звуков пролетающего дирижабля.

5 Александр Константинович Воронский.

6 Стих, не сохранилось. Впечатление от этого дня отразилось в другом стих.: «Весенний день тридцатого апреля...» (1931).

591. Е. В. ПАСТЕРНАК

6 мая 1931, Москва

6.V.31

Дорогой мой друг Женичка!

Ты сегодня в пути, завтра к вечеру буду ждать телеграммы1. Разумеется, буду беспокоиться, и на этот раз еще больше обычного.

Все так устроено, что для того, чтобы быть твердым, надо быть безжалостным. Но нет, нет и нет, я с этим порядком не мирюсь. Что-то глубоко искажено в нем, и — лучшее что есть в жизни. Ты высоко и просветленно стоишь во мне в эти дни; мне грустно; я устал. И в то же время я хорошо и сильно люблю Зину, и это не только совместимо, но и неотделимо друг от друга: в моем созна-ньи она и Г<енрих> Г<уставович> — люди, с которыми я всего родней могу говорить о тебе, они чтят тебя, они косвенно пережили тебя и все твое так, как никто, — исключая меня, разумеется.

На каждом шагу трогает порядок, заведенный тобой, следы твоей заботливости. Часто слышу твой и Женечкин голос: мерещится в неразличимом издали шуме женских и детских голосов за стеной и в столовой. Так легко поддаться особой, каждому известной, болезненной и полусумасшедшей печали: она бесплодна, она не обогащает, не разрывается творчеством; убить нас во славу близких — вот все, к чему она ведет и на что способна. Но эти жертвоприношенья от слабости. Не надо строить сердечную правду на них. Ты на меня сердишься? Ты недовольна? Но я хотел написать тебе; желанье было от ласковости мыслей о тебе; и я тебе пишу ласково, как думаю.

Жизнь должна тебе улыбнуться так же, как мне. Ты такая хорошая, ты так это заслужила! Ты вся истерзана сейчас, а чем богаче изболевшийся человек, тем он кажется себе беднее. Оттого ты и цепляешься за меня, т. е. уверила себя, что любишь меня больше всех возможных возможностей. Последние же придут со здоровьем. И — придут, придут.

Женичка чудно подбежал к вагонному окошку. Молодец.

Напиши мне, пожалуйста, о наших. Меня страшно беспокоит папино здоровье. Прошу тебя, скажи мне всю правду. Расскажи им, как я живу, в оправданье моего молчанья. Скажи, что просьбу относительно Жониной подруги исполнил, как просила. Ненавижу нашу квартиру. Но у нас в комнатах хорошо. Не надо ли чего Соне?2 Пусть пишут, как писали, — мне можно. Женичка, вероятно пишу тебе раньше, чем нужно: дня не прошло, как говорил с тобой. Но пойдут дела, — с судом с квартирой, с фининспек-цией3. И за работу сяду. Уже совершенно отвык от Петровского парка4. И это в три дня! Целую и обнимаю тебя и Женечка. И всех наших.

Будь счастлива. Пиши. Твой Б.

Вашу карточку двойную (для паспорта) наклеил на первую страницу лучшей книги Рильке, с которой не расстаюсь5.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Письмо написано по возвращении с вокзала после проводов Е. В. Пастернак с сыном, уезжавших в Германию.

2 Вопрос к родителям по поводу денежных посылок С. И. Геникес.

3 Суд по поводу комнаты, которая освобождалась А. Л. Пастернаком в связи с переездом на новую квартиру.

4 То есть от жизни у Пильняка в Петровском парке.

5 Имеется в виду книга R. M. Rilke «Buch der Bilder*.

592. З. Н. НЕЙГАУЗ

Начало мая 1931, Москва

Ангел мой,— прятки ни к чему не повели и не имели смысла. По лестнице передо мной спускалась старушка из вашей квартиры. На стук закрытой двери она обернулась назад и заметила меня и мое замешательство. Кроме того, как по команде, из Соколовской двери вышла их прислуга в тот же миг, что я — из твоей, и мы лицом к лицу столкнулись на площадке. Вид у меня при всем этом был, вероятно, идиотский. Идиотскую фотографию взял с собой1.

Посылаю тебе Шуру2. Всего лучше будет для меня, если ты ее возьмешь и на день (т. е. не на одни ночевки), я без нее обойдусь, меня тут возьмут на полный пансион

Шура и Ирина или Пр<ас-ковья> Петровна. Мне облегченьем будет, если ты поселишь ее у себя прислугой.

Посылаю тебе с ней ужин, который тебя ждал вчера, не сердись, это, верно, глупо. Позвони мне сегодня, чтобы сговориться насчет Шуры, кооператива и пр., но до вечера, потому что вечером, может быть, уйду из дому.

Страшно люблю тебя и ежечасно и ежеминутно благодарю.

И<рина> С<ергеевна>, после всего сообщенного, не заслуживает того внимания, которое мы ей вчера уделяли; сейчас, утром, мне все это кажется до увеселительности смешным и десятыми пустяками. Но при такой двойственности быть друзьями технически невозможно: не знаешь, с кем говоришь в четверг, с кем — в пятницу. Позвони же.

Весь твой Боря

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Датируется по содержанию.

1 Фотография вскоре была надписана З. Н. Нейгауз (оторван угол): «<Перед тв>оей <поездкой> 12 V. 31. Горячо <же>лаю тебе подъема и присутствия духа. Крепко люблю тебя, больше, чем любят женщину и человека, ты удивительная, то, что случилось со мной, все — благодаря тебе, странно, что так это случилось со мною первым, и за это тебе вечное, непомерное спасибо. Дурацкая эта фотография снята перед фосповским вечером, я стыжусь ее, и в этой надписи меня больше, чем в ней» (там же. С. 223). З. Н. Нейгауз поехала в Киев, чтобы поддержать Генриха Густавовича, тяжелое душевное состояние которого отражалось на концертах. См. об этом в письме № 595. Зинаида Николаевна писала Пастернаку: «Здесь мне беспокойно, морально тяжело, но при всем этом есть удовлетворение, что цель моего приезда достигнута, Г. блестяще доиграл концерты и был в довольно мягко разряженном настроении. Страдает он очень — но горю не помочь, не нахожу у себя в душе ничего, кроме любви к тебе, даже, если она тебе не нужна» (там же). В своих воспоминаниях З. Н. объясняет свой отъезд в Киев желанием разобраться в своих чувствах.

2 Домашняя работница Пастернаков.

593. З. Н. НЕЙГАУЗ

11 мая 1931, Москва

Дорогой друг, не смущайся торопливостью тона, пишу наспех. Билет достал, но денег на сбер. книжке еще нет. Буду доставать, оттого и посылаю Шуру, — сам буду в городе, если по телефону добьюсь чего-нибудь, то имей в виду. Может быть, правда неплохо устроиться под Киевом на лето? Если это тебе улыбается, то так и укладывайся. Я для этого и хотел достать денег. Но их можно будет и выслать тебе в Киев на ближайших днях. Я с радостью провел бы два-три месяца, как в прошлом году, в местности и обстановке по твоему вкусу, но по истечении некоторого времени, в теченье которого уладил бы некоторые мои финансовые, литературные и пр. дела и, может быть, все-таки после Магнитогорска1. Обо всем — как я это обдумал — переговорим, когда приду, пока же — такое лето под Киевом мое последнее решенье и мечта, и сообщаю это тебе для укладки.

Билета не вкладываю, как бы Шура не потеряла. Целую, целую, целую. Позвони, может быть, еще застанешь, пока я с бухгалтериями буду созваниваться.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Датируется по содержанию.

1 Пастернак был приглашен В. П. Полонским войти в состав бригады от газеты «Известия», направлявшейся на Урал в конце мая — начале июня на ударные стройки первой пятилетки.

594. З. Н. НЕЙГАУЗ

12 мая 1931, Москва

12.V.31

Сейчас вернулся, телеграмму отправил. Все время вижу вас обоих, тебя и Адика1, с закатом, англичанином и пр. Как чудесны эти первые часы пути, когда так облагораживающе сказывается усталость и вдруг получаешь право молчать, сидеть на мягком диване и засматриваться на быстро сменяющиеся картины — право, как бы заслуженное суматохой сборов и волненьями большого, рано начавшегося дня. Природа в дороге кажется наградой, которой тебя признали достойной, это возвышает и трогает — почти что подымаешься в собственном мненьи, — ты замечала? — На днях я читал тебе Вс. Рождественского. Там о березе, увиденной с поезда, «над пролетающим прудом»2 — ты ее, верно, увидела? Когда я прочел у него это место, я именно вспомнил, что-то Киево-Воронежское, прошлогоднее, на первом перегоне от Москвы, когда садилось солнце и дым был розов, а березняк, ловивший его, — влажно янтарен. Итак, теперь едете вы, ты с Адиком, — совсем как я тогда в Ирпень3.

А когда возвращаюсь на Волхонку, вижу Женю. Я вижу ее превращающим взглядом разлуки, и она у меня получается такой, какой была гимназисткой — прелестной, беззащитной, принимающей на себя мир, как дуновенье ветра или тень, а не вонзающей в него взгляд, или замысел, или деятельное желанье. И сердце исходит у меня болью о ней. О ней, а не по ней. Вот в том-то и дело, что ты есть, а то — должно было быть, и это не теперь, а так было всегда. И это не в укор ей. Я мало знал людей, которых бы так стоило и надо было бы любить, как ее,— и не за нравственные только качества, а и за внешность: за историю ее внешности, за судьбу этой внешности и ее метаморфоз.

Но так именно и любит большинство людей. Любят любовью дополняющей, довоспитывающей, отделяются завесою взаимных снисхождений от природы и именно эту завесу зовут жизнью. Любят впрок за то, что набегут года и привычки и осядут прошлым, и прошлого будет так много, что оно станет многотомной людской повестью, будет чем зачитываться и что вспоминать, любят за людскую повесть, которую пишет время, пишет независимо от того, о ком ее пишет и как бы ни были малы описываемые и их помощь пишущему. И сами ничего не делают. Вечно — делают за другого и ждут, что он будет делать за тебя, и эту взаимопомощь, извиняющую несовершенство, зовут любовью, а поклоненье несовершенству — нравственностью. Большинство любит любовью должной, а не той, которая есть.

Больше всего меня поразило, что объем моего чувства к тебе существовал раньше, чем я его измерил, что я любил уже тебя до того, как полюбить. Его не надо было хотеть, звать или желать. Твоей самодеятельной красоте не надо было помогать. Она сама пробарабанила мне тогда во сне невероятную радость того, что ты существуешь: что в Ирпене есть дачник, которого Ир<ина> Серг-<еевна> и Женя стали встречать раньше, чем увидал его я, и этот дачник — мое чувство к тебе, моя судьба с тобою, тогда еще неизвестная. Это, с немыслимой чистотой, была любовь, которая есть, а не должна быть.

Вероятно, одна и та же мысль мелькнула сейчас у нас обоих. Что все это под боком, что если бы не Гаррины страданья, можно было бы с Евг<ением> Ис<ааковичем>4 или с кем-нибудь еще съездить в Ирпень, посмотреть на те осенние недели и к вечеру вернуться в Киев.

Когда я с вокзала подымался на трамвае на гору к Арбату, я вспомнил, как проезжал тут с вещами вечером в сентябре5. Мы только что расстались.

В багажной суматохе ты не простилась со мной.

Я отвык от Москвы. За лето ее наконец замостили. Я нашел ее не такой ужасной, как оставил и как изображали в письмах.

Я разбегался глазами по ее толпам и огням, и сообщал им свою оглушительно-отчетливую новость: тебя, большую, большую, во весь вечер и город, куда я въезжал, во всю зиму, которую предстояло начать и открыть в нем по приезде и размещеньи. Я знал все о себе, как никогда еще в жизни, но ничего не знал и не смел знать о тебе. Я не знал, полюбишь ли ты меня. Я об этом запрашивал вывески. Не помню ответов, но вероятно они не слишком часто отвечали мне, — что нет, потому что мне хорошо было на пролетке, в новом костюме, в той развязно легкой позе, которая вызывалась горой чемоданов и тюков, оттеснивших меня к краю, и развязным покачиваньем коляски. Я приехал домой веселым, верящим и нетерпеливым, и так как некуда было звонить тебе, то позвонил Асмусам. И только в середине зимы, ночью на Садовой, попробовал спросить тебя о том, о чем спрашивал вывески, и у меня это не вышло, и твой утвердительный ответ был полуотрицательным.

Думаю о том, как будет тебе среди киевских твоих друзей6. Это может быть двояко. Либо, — если ты примиреньем и про-светленьем найдешь на Гаррика и цель поездки будет достигнута, тебе будет приятно среди них, как приятен отдых в дороге. Либо же, если твое вдохновенье пропадет даром, они будут так же досадно ненужны и чужды тебе, как тогда мне Бобров7: как посягательство чего-то побежденного жизнью и несуществующего. И тогда останутся только Гаррик и Киев, с кем можно будет говорить.

Ничего не прибавляю и не подписываюсь. Разве ты не чувствуешь? Поскорей напиши мне.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. З. Н. Пастернак: «Это письмо послано в Киев из Москвы».

1 Адриан Нейгауз — старший сын Зинаиды Николаевны, которого она взяла с собой в Киев.

2 Имеется в виду стих. Всеволода Рождественского «Береза, дерево любимое, / Береза милая сестра, / Тебя из розового дыма я / Над темной заводью с купавою / Серебяную и кудрявую / Увидел с поезда вчера...».

3 Имеется в виду поездка Пастернака в Киев 22 июня 1930 г.; железная дорога называлась Киево-Воронежская,

4 Евгений Исаакович Перлин — профессор Киевского университета, свекор подруги З. Н. Нейгауз, в гостях у которой она останавливалась.

5 Воспоминания о возвращении в Москву 23 сент. 1930 г.

6 З. Н. Нейгауз писала 17 мая 1931: «Киевские друзья со мной очень нежны и внимательны, но не могу сказать, чтобы мне с ними было хорошо <...> Мой приезд был объяснен киевлянами, как окончательный возврат к Гаррику, но я им объяснила, что приехала прощаться с ним».

7 С. П. Бобров пытался уговорить Пастернака вернуться к Е. В. Пастернак. См. об этом в письме 15 мая 1931.

595. З. Н. НЕЙГАУЗ

14 мая 1931, Москва

14.V.31

Прости ненужное глубокомыслие позавчерашнего письма. Я повез его на Брянский вокзал1 и опустил в почтовый вагон ускоренного, чтобы отошло поскорее. Так же поступлю с этим. Опять, значит, был вокзал, вечер. Дорогомилово, воспоминанья.

На широкой и пустой привокзальной площади попались навстречу две женщины. Старые, бедно одетые, с лицами, как вечерняя мостовая. Обе в трауре, шли, еле передвигая ноги. Я с ними поздоровался. Обе были приятельницами моих стариков, обе когда-то были очень богаты. У одной из них я снимал комнату в 20-м году2, летом. Туда в первый раз пришла ко мне Женя со своим знакомым3, я поил их чаем. Ей же о

комнате звонил нынешней зимой, не свободна ли. Я сразу догадался, что другая приехала к первой погостить и теперь уезжает в Одессу и что они спешат на ускоренный, куда я опустил письмо. Я удивил их своей догадкой и пошел дальше. А дом у первой — собственный, в Георгиевском пер. близ Патриарших, я однажды ночью показывал его тебе и Гаррику, когда мы ехали ночью от Асмусов, и я зашел к вам, и ты в седьмом часу поила нас чаем. Но — вечерний ли свет, тихая ли пустынность площади — меня, не волнуя, поразила печать старости на их каменных и почти пыльных лицах. И имя окраины, в котором звучит: дорога милого и дорого-мило,— отдалось надтреснутым звуком кладбищенского Дорогомилова. Ты удивишься. Наблюденье восхитило меня. Лишний повод, решил я, жить коротко, быстро и внутренне сильно, — Ляля, Лялечка, Лялечка моя! А там как Бог даст. Надо жить быстро, а я не высыпаюсь, просыпаюсь с первыми трамваями, ложусь поздно, мутными пропащими днями пробую работать, сонно и безуспешно, и — запускаю дела. Они плывут, я к ним не притрагивался. Что, например, может быть проще. Изд-во Ленинградских писателей берет собранье и на мои условья соглашается, надо только написать заявленье, для подшивки к делу, и даже не по почте, а еще легче — в живые руки одной приезжей сдать, и тогда будет заключен договор и сразу пойдут деньги. И, по-видимому, я враг деньгам, потому что сам отдаляю их приток таким поведеньем. Шура была в промтоварном распределителе, я позволил ей купить для себя материи на 2 рубля с копейками. Ее вызвали к заведующему, и он потребовал, чтобы до 20-го все было забрано, потому что ордер выдан в феврале, а до сих <пор> использован слабо. Но без тебя не хочу, хотя он сделал отметку на ордере об ограниченье срока. Из Тифлиса получил телеграмму: Письма ваше имя адрес Пильняка возвращены почтой. Телеграфируйте согласье приехать готовы братский привет от товарищей Паоло Яшвили. — Без тебя не отвечаю. — По комнатам летает моль день ото дня все более многомольными роями, судебным решением до сих пор и не поинтересовался4, к фининспектору не ходил, чувствую себя без парусов, усталым и счастливым. У Шуры (Ал<ександра> Леон<идовича>) — нарыв на ноге, лежит у меня в спальной, что тормозит уборку, отчего комната пыльней и летнее обычного: худой, небритый, штаны на стуле, мухи, простыни, посеревший ковер, моль.

Скоро ты напишешь мне, сердце мое, — не правда ли? Удивительно верю в тебя (это главное) и — вторым порядком — тебе. Что тебе верю — замечаю, нуждаюсь,— но вера в тебя постоянна, и она нужнее мне. Вышло именно так, как я мечтал. Огромная, огромная дружба — душ, и ртов, и ног, в близости и на расстоя-ньи, и как обязательная ее частность, — любовь, — то, что обсуждают, то, что, как нам сказали, разбило две жизни, то, что стало темою для И<рины> С<ергеевны>, но что как физический круг солнца, имеющийся на небе, когда кругом на десятки тысяч верст светло. Ослепительный, всем видный круг, на который можно смотреть только сквозь копоть сплетен и осложнений5, и — день: десятки тысяч верст несудорожной, вольной, никому не ведомой моей связи с тобой. Верю в тебя и всегда знаю: ты близкая спутница большого русского творчества, лирического в годы социалистического строительства, внутренне страшно на него похожая,— сестра его. Это знаю всегда. И иногда — кажется, почти знаю,— не смею верить: этот спутник чудной тебя — я; могу им быть, буду. Но вера в тебя постоянна. И если тебе показалось в эти киевские дни или случится и покажется завтра, что что-то новое у тебя на совести против меня, брось эти мысли и будь покойна: ничего этого нет, ты права и чиста предо мной. Только бы не было больно тебе. Но теперь совсем о другом. Бывает и так. Есть внезапная правда, которой не подозревал до того за минуту. Положенья, знакомые по тысяче раз, вдруг в тысячу первый дают открытье, немое, категорическое, стягивающее все существо сладким содроганьем. Полагавши вчера, что я есть, ты

можешь вдруг пережить сегодня, что меня нету: и новизна этого (столько раз пережитого) мгновенья с Гарриком будет именно в силе и ужасе того, что меня нет, — и как тогда быть? Тогда не жалей, не жалей — умоляю тебя! Не жалей и не бойся. Сейчас я все скажу тебе. Не жалей меня и всего слышанного мной и от тебя полученного, не жалей бедных стихов и писем, которые бежали к тебе, любя и улыбаясь, а вот теперь узнают (что узнают они!)... Не бойся случившегося — ни даже трещины в будущем, теперь как будто непоправимой, и косых взглядов и ударов, не бойся их, потому что тогда это твоя жизнь, все равно отныне большая. Потому что именно это и случилось с тобой этою зимою. Ты сейчас такая, какой была ребенком, когда дулась и хоронилась и не понимала, отчего так обидно и сказочно, что хоть плачь, и радовалась всему этому в следующую минуту. И потом все это было стеснено (о, не Гарриком, Боже сохрани, разве я о нем?). Ты родилась девочкою большой жизни, и когда судьба это связала, назначенье стало игрой, ты играла в то, чем немыслимо было жить во всем объеме: ты кокетничала, восхищала, и — я никого не хочу обижать — все твои летние обожатели были игрушками, а игрушек должно быть много (кукольные сервизы, избы, кремли, карликовый скот в сухом искусственном мху).

Но твоя подоплека восторжествовала. Ты жива сейчас во весь рост. Только отсюда нет возврата назад. Из твоего полного раскрыты!, из пробужденья, а вовсе не из позора пересудов или семейных осложнений, будто бы непоправимых. Если тебя сильно потянет назад к Гаррику, доверься чувству. Смело говорю за тебя: это будет тянуть тебя вперед к нему, все у вас пойдет твоей большою жизнью, за которой вы забудете, поправимо ли или нет случившееся6; вам будет некогда заниматься воспоминаньями: все затмит новизна твоих размеров, совершенных, как в детстве. Как это трудно выразить! Ты знаешь, о чем я говорю? О вернувшемся слухе и зреньи; о лете в квартире, как бы только что вошедшем и присутствующем, как человек; о соотнесенности твоей красоты с тем, что делается в природе; о какой-то творческой пропорции существованья: о тебе, хозяйке, и о шкапах, полных поэзии, о кухонных полках, ломящихся от вдохновенья7. Тогда не опасайся ничего дурного и тяжелого от Гаррика: ты сама будешь напоминать ему, кто он, когда он будет забываться. Так напомнила ты мне обо мне. И он будет расти от твоих напоминаний. Или же, если тебя не закружит болью, — подари, подари все это мне.

Пойми цель этих советов: ты должна быть счастлива. Сейчас у тебя столько данных обнять заглавную прелесть существованья, полную смысла и достоинства, — ты так возрождена этими по-трясеньями, так страшно, как бы ты не ошиблась! Но пойми и причину: обо всем этом я и в том случае, если ты моя, говорю, чтобы тебе было легче. Потому что ты, верно, не сдержалась и жалеешь об этом? О, прости и ты меня, если это не так, и тысячу раз благодарю тебя. Я люблю, я люблю тебя, я тебя люблю.

С вокзала, опустив письмо, отправился наконец к Пильнякам. Как все распустилось и зазеленело в парке! Как лично я отметил эти успехи, точно прямо касающиеся меня. Девять дней как я оттуда, а с каким волненьем я шел туда и вошел! Я только что не расчмокался с обеими, но руки целовал по нескольку раз. Как много обе они значат для меня и сколько дали своей сдержанной, холодной нежностью, одинаковой у обеих. Там был Вл. Эд. Мейер (сидел с Ольгой Сергеевной на вечере8). В шутку доказывали, что я их забыл. О. С. приготовила мне подарок. Развернул — полфунта чаю. Сели засветло ужинать на террасе. Опять О. С. умно и скупо, без разлета — по-девически как-то — говорила о разном, но очень умно. И вдруг Вл<ладимир> Эд<уардо-вич> как-то упомянул о вечере. Ведь тогда мы расстались: приехал туда с О. С, ушел без нее, без В. Э., без парка. О вечере сказал, что — стыжусь, был взвинчен, не учел интимности читанного, сам бы не догадался о бестактности, но потом столкнулся с мненьями, наведшими меня на ум. О. С. сказала, что тогда нельзя писать лирики, никакой, потому

что эти стихи она воспринимала всеми фибрами до последней прожилки, они кровно отдавались в ней, — и если этой лирики оглашать нельзя, то другой писать не стоит, и таким образом, она вообще невозможна. Сказал об ордере, что до 20-го, а ты, верно, в Киеве пробудешь до тех же чисел9. Тогда Е. И. сказала, чтобы я с О. С. пошел, что она тебя для тебя заменит и понимает. А я говорю, — да там главное не З. Н, а — детское, для детей (ну — чулки). Все равно, говорит О. С. и, кажется, покраснела. От П<ильняков> надо было к Звягинцевой, за письмом и книжкою С. Д<урылина>10, ссыльного, о котором рассказывал. Звягинцева — славная порядочная поэтесса, но без оригинальности. Прочла два стихотворенья, обращенные ко мне. Пришлет по почте. И. С. звонила. Узнал, что Гар-рик у Смирновых11 и что младшая С<мирнова> в Москве, сегодня возвращается в Киев. Сейчас пойду попрошу опустить по приезде в ящик.

Золотая моя, что бы ни случилось, не забывай меня, умоляю тебя! Пиши. Прости и не смейся. Больше таких длинных писем писать не буду.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо написано в Москве и отправлено в Киев».

1 Теперь — Киевский вокзал.

2 Мария Львовна Пуриц, у которой Пастернак жил летом 1921 г.

3 С Михаилом Львовичем Штихом.

4 Судебное разбирательство по делу об авансе, выданном на «Спекторского» Ленгизом.

5 Ср. «Любимая, — молвы слащавой, / Как угля, вездесуща гарь» (1931).

6 З. Н. Нейгауз отвечала Пастернаку: «Во втором письме твоем мне показалось, что ты хочешь, чтобы я вернулась к Г. Только теперь я поняла, что если это нужно для твоего счастья и покоя — то этого не будет».

7 З. Н. вспоминала, как Пастернак говорил ей, «что поэтическая натура должна любить повседневный быт... По его наблюдениям я это очень хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией» (Воспоминания. С. 177).

8 Имеется в виду авторский вечер Пастернака 9 мая 1931 г., на котором он читал стихи, написанные в апреле.

9 См. выше в письме об ордере на промышленные товары, выданном в феврале и который надо было реализовать до 20 мая.

10 С. Н. Дурылин прислал Пастернаку книгу «Сибирь в творчестве В. И. Сурикова» (М., 1930).

11 Речь идет о киевских знакомых Нейгаузов сестрах Вере Васильевне и Елене Васильевне Смирновых.

596. З. Н. НЕЙГАУЗ

15 мая 1931, Москва

15.V.31

Дорогой мой друг, я еще не надоел тебе? Ты ужаснешься и выбранишь меня, когда приедешь: я ничего не сделал из того, что должен был сделать без тебя. Но все это успеется. И я слишком много пишу тебе. Еще одно такое письмо, и я не буду уверен, дочитываешь ли ты их до конца.

Сегодня я хотел написать Гаррику, но вместо него опять пишу тебе. Я бы написал ему горячо и коротко, с беззастенчивой, ни на что не оглядывающейся любовью. Что мой разговор с ним о тебе прекращается, что это больше не тема, что это моя жизнь, в которой никому не известного больше, чем доступного обнаруженью, что это — ты, никому не известная, а не предмет наших скрещивающихся переживаний. Ты, а не я и не он. Что интерес к судьбе нескольких весенних концертов мыслим у его родных, у киевских знакомых и московских учеников, но ниже его достоинства и его природы.

Что судьба этих выступлений в его руках, и именно потому, что множество артистов в его глазах — циркачи, поприще которых дальше проволоки не идет, он намеренно напоминает себе, что он не циркач и его участь проволокой не решается, и умышленно играет всем этим, и давит концерты, как чашки. Что ни он, ни ближайшие к нему люди в таких напоминаньях не нуждаются, потому что и сами никогда проволоки не обожествляли. Что с первых встреч я уловил прирожденную бесконечность в нем и как раз к ней всегда обращался, когда всего прямее адресовался к нему. Что теперь как раз время второй раз в жизни сухо, преданно, скромно и смело всмотреться в эту бесконечность и понять себя без перебоев, как шоссе, как большой проспект. Что от этой необходимости он не уйдет и тогда, если бы ты рассталась со мной и к нему вернулась. Потому что бесконечности, твоя и моя, заговорили, и ведь это главное из того, что случилось! Ато ведь столько народу влюбляется ежегодно и перестает любить, и превратности в браках так распространены, кого бы это удивило. И вместо этого пишу тебе.

Недели две назад, в парке, мне стало казаться, что нас не хотят видеть вместе. Тогда сердце упало у меня. Приходила ты, передавала разговоры, слышанные тобой, но тем для меня и красноречивые, что тобой услышанные и неотраженные. Бобров звонил, в интересах Жени, бородато и усовещательно, из несуществующей многолетней дали, «лучший друг» Ночной фиалки1, убежденно бескрылый, навязчиво слабый, но и злой, злой, если дать ему все это заметить. И Ир<ина> Серг<еевна> огорошила общим характером сплетен, прекрасный, несмотря на все выходки, человек. И ты точно уходила, не ты (разве ты можешь уйти) — но твое присутствие, твоя помощь, естественность твоего места рядом со мной в глазах жизни, в глазах людей. Уходила так, как можешь уйти сейчас.

Но в последнее время мне легко, как зимой. Нас знают вместе и радуются этому. И это — лучшие ваши друзья. Собираясь к Вере Васильевне, чтобы передать письмо Леле2, невольно подумал: Гаррик, по слухам, у Смирновых. Тут знают это. Л<еля> никогда не видала меня. И увидит. Сравненья — в пользу и во вред — совершенно естественны. И — неизбежны. Я никогда не стал бы тягаться. Но чтобы и не заподозрить себя ни в чем, пошел невыгоднейше. Небритым, нечесаным, в затрапезнейшем моем и штопаном, которого, ты никогда не видала, и в уродливом моем пальто, хотя тепло было, в пальто, которое Женя завещала дворнику отдать. Вера Васильевна больна, бедняжка, у нее возврат давнишней малярии. Но застал ее на ногах. Слабость искажает иные лица. Но ее еще выигрывает от усталости. Какой я вздор пишу об этом посещенье! Но вот что важно. Она сияла, и дочка и сестра. Все в ее комнате прощало меня и ничего не сравнивало. Она сказала мне о своей радости по поводу всего, несмотря на свою большую и постоянную любовь к Гарри, как она прибавила. И так же неразрывны мы в сознанье Асмусов и даже — в представленьи В<алентина> Ф<ердинандовича>, — я был у них вечером.

Но ты, верно, забыла меня, моя Лялечка, любимая моя, у меня в Киеве нет союзников, и их очень много там у того, что считают и хотят считать ради собственной сохранности тобою и Гарриком. Но это не вы. Ах, как знаю я это! Обрадовались двум чудным, двум красавцам, двум вдохновенным и набросились, и окружили давним преданным кругом, чтобы вы сияньем своим осветили их полужизнь, ни перед кем не отчетную, ни перед каким небом не обязанную испытаньем, знающую одни школьные экзамены и никаких других. Ах, как обнимаю я тебя в этой грусти и недоверье к ним и — веришь ли — почти плачу над этим местом письма, горячая и хорошая моя!

Просьба. Протелеграфируй мне, со мною ли ты эти дни или нет. Но — холоднее, чем в обычае у вас обоих. Нежности в телеграммах смущают меня. Их пришли в письме, если есть и будут. И поцелуй Гарри.

Весь твой Б.

P. S. Нынешний день (15-е) хотел посвятить делам: всем — от нафталина до дачи, денежным и судебным. Но вчера либо проглотил какую-нибудь в хлебе запеченную дрянь, либо просто объелся. Проснулся от страшной тошноты, и всю ночь была рвота. Извини, что пишу об этом. Чувствовал бы себя неплохо, но еле передвигаю ноги, такая слабость. И буду день на диете. Это к тому, что опять не пришлось по делам и вновь день потерян.

Ты не сердись и не беспокойся, все уладится. Когда же ты приедешь и действительно ли Гаррик вернется не раньше 19-го? Упомянула бы в телеграмме.

Помнишь ли ты, как я люблю тебя? Видишь ли? Напиши мне письмо, большое и обо всех. Не преувеличивай значенья моих слов о Киеве и знакомых. Не только никакой неприязни, но напротив: всех люблю. Твои улицы, твои люди. И потому вижу их с понятной теплотой. И даже ведь на дачу хотел, под этим углом зренья. Адика обнимаю, — письма выражают ничтожную лишь часть того, что думаю.

Но ты ведь все знаешь лучше моего.

Да, будешь рассказывать им, сообщи, если хочешь, что избранными обязан тебе, что ты это сделала, что я этим счастлив3.

И опять длинное письмо. Последнее, клянусь тебе. До свиданья.

Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. 3. Н. Пастернак: «Письмо написано в Москве в Киев».

1 «Ночная фиалка» — книга стихов Александра Блока. Ироническое, данное в кавычках определение С. Боброва говорит о его неприязненном отношении к Блоку.

2 О намерении Пастернака передать письмо Зинаиде Николаевне через сестер Смирновых см. в письме № 595.

3 Имеется в виду книга: Борис Пастернак. «Избранные стихи», которую составляла Зинаида Николаевна (вышла в 1933 г. в изд. «Федерация»). См. письмо Асееву № 637.

597. Е. В. ПАСТЕРНАК

15 мая 1931, Москва

15.V.31 Дорогая Женя!

Я очень рад, что до полученья известий от тебя успею еще раз самостоятельно к тебе обратиться. Они могли бы повлиять на меня, т. е. ограничили бы прямую мою естественность с тобою.

Я как о подарке мечтаю о времени, когда ты мне скажешь, что ты простила меня, что дальнейшее теченье моей жизни не причиняет тебе больше боли.

Спустя несколько дней после твоего отъезда Зина получила тревожные известья из Киева. Кс<ения> Петр<овна>1 сообщала, что концерт Г<енриха> Г<установича> при полном сборе и аншлагах прошел, по ее словам, вяло. Доиграв последнюю вещь программы, Гаррик ударил кулаком по клавиатуре, вскочил, побежал с эстрады в артистическую, споткнулся, упал и лишился памяти. Когда его привели в чувство, — разрыдался и плакал, не стесняясь присутствием администрации. Кс. Петр, предлагала Зине все вновь взвесить и обдумать и выражала робкое пожеланье, чтобы она по крайней мере приехала на эти дни поддержать Гаррика и ему помочь, — сбивчивое, полное оговорок и извинений письмо, какие всегда в таких случаях пишутся друзьями. Зина поехала в Киев.

Я так подробно цитирую письмо Кс. П., потому что это — чужое. Все это нестрашно и неважно, и серьезность жизни говорит не на этом языке. Главное же, что это столь же мало Гарриков язык, как Зинин, или мой и твой. Я много по этому случаю говорил ей о тебе, о том, как удивительно ты собой овладела; о твоем достоинстве и выдержке последних дней.

Я люблю Зину и не разлюблю ее. Вероятно она нуждалась в том, чтобы я воспрепятствовал ее поездке и не захотел ее. Она сказала, что все будет по-моему, как я захочу. Но я отказал ей в такой поддержке. Напротив, мое искреннее убежденье, что она должна и может поставить сейчас Гаррика на ноги, как никогда, и только вырастет от этого. Это можно сделать в два-три дня и вернуться.

И вот я с ней в разлуке. — Обыкновенно, когда я оставался без тебя, для меня начинались неописуемые терзанья. Я исходил тоской о тебе, мне казалось, что ты все грустишь и тебе нехорошо, и никакого моего беспокойства о тебе недостаточно, чтобы твою опечаленность уравновесить, и все это наконец завершалось тем, что я убеждался в своей неспособности любить тебя так, как ты заслуживаешь и тебе это нужно. Я посылал тебе письма, одно нежнее другого, одно за другим, и всегда с таким чувством, что это я не мир строю с тобой, а заливаю какую-то пропасть, пропасть обиды или обмана, и ее никогда ничем не залить. Я вновь и вновь ловил себя на мысли, что таким мученьем жизнь не может быть ни для кого, ни для тебя, ни для меня, и значит наша совместность — ошибка. И как долго эту ошибку нельзя было исправить. Разлука с Зиной до того легка, что может показаться равнодушь-ем. Мне без нее, как без искусства, — я о своей вине перед ним не фантазирую, я знаю: его нет, а завтра оно войдет и я с ума сойду от счастья. Я именно не преступник перед Зиною. Мы оба преступники.

Я о тебе думаю много и хорошо. И впервые без всякой рас-травленности, с чистою совестью, легко, с радостной готовностью слушать тебя, быть тебе полезным, — с интересом. Когда будешь писать, напиши, как тебе: об обстановке и о людях. Мне хочется, чтобы тебе было хорошо, и если бы ты сама этого пожелала, но — серьезно, я был бы счастлив. — Больше я тебе таких дурных писем, как это, писать не буду. Его же я пишу из предосторожности. Я боюсь, что ты и дружбу нашу подвергнешь непосильному испытанью, что и дружбой этой невозможно будет дышать.

Я и тут не снес бы сознанья, что как я ни повернись, моя судьба и в качестве друга причинять тебе одни огорченья, если только я не ограничу своего дыханья одной тобою. Это можно свободно подарить, потребность же в этом, прямо показанная, — ужасает.

Сознавать себя единственною ставкой другого — невыносимо. У этого другого должны быть какие-то выходы, помимо тебя. Иных такая единственность подымает в собственном мненьи, на меня же от нее веет душевным вампиризмом, это умерщвляет меня.

Ты была удивительнейшим образом собою, и была незабываемо прекрасна, когда зимой, в ответ на мое признанье (перед ночевкой у Полонских) сказала, что берешь все свои упреки назад, что не судишь моего чувства, раз оно серьезно, и отпускаешь меня. Останься на этой высоте, дай мне знать тебя такою.

Не пиши мне, пока не уляжется все у тебя, пока не сможешь написать мне просто, как товарищу: всякая другая попытка вновь и вновь бы растравила тебя. Но напиши, если можешь, о наших (главным образом о папе) — Шуре, например. Также извести своих, — Гита часто справляется. — Поскорее выясни насчет Лизы2. Здоровье папы (Л. О.) меня крайне беспокоит. На днях напишу им и Жоне. Всякое известье о его состояньи будет легче нетерпеливой неизвестности, в которой нахожусь, потому что Жонины успокоительные сведенья, к тому же и косвенные, устарели, им уже больше двух недель.

Обними Женeнка. Открытку его, особенно трогательную тем, что слово Елесавета Михайловна занимает пол-открытки, получили. Она (Е. М.) часто заходит, страшно любит Женeнка. Последние дни болела печенью.

Сегодня уезжает Шура (прислуга), под крик и шипенье Пр<асковьи> Петр<овны> и тихие отзыванья меня в уголок Юл<ии> Б<енционовны>. Люди всегда верны себе и одинаково невозможны.

Мне хорошо, как зимой. Дай Бог тебе всего лучшего. С<ар-ра> Дм<итриевна>3 справлялась о тебе по телефону. — Не отыщешь ли Савичей4 и не возобновишь ли былого знакомства? Тогда кланяйся им от души.

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Ксения Петровна — киевская приятельница Нейгаузов.

2 Лизы Павловской, которая жила в Париже и приглашала Е. В. Пастернак.

3 Скульптор С. Д. Лебедева была близкой подругой Е. В. Пастернак.

4 Писатель Овадий Герцович Савич и его жена Аля Яковлевна.

598. З. Н. НЕЙГАУЗ

17 мая 1931, Москва

Зиночка, ляля, Зина, лялечка, Зина моя.

Благодарю тебя за телеграмму. В одном из писем я оговаривал, что по телеграфу холод естественнее прямого чувства1. Не придавай значенья этим словам. Я ими предупреждал событья и хотел облегчить тебе легко вообразимую трудность твоей роли — не всей, но только в этой части: в выборе слов, после того, что столько раз телеграфировалось Гаррику, и телеграфировал он, и, в лучшем смысле слова, мы оба подбирали для телеграмм наиболее значащие и успокоительные выраженья: Но ты ведь любишь меня? Ну и хорошо, верю и боготворю тебя.

Вчера ходил по делам, судебные уладил, нафталину не нашел, заплатил за три месяца за квартиру и впервые преступил порог распределителя, в который ты по моим настояньям ходила первой, и так давно2. Ты его видела и меня поймешь. У меня глаза разбежались. Ну как не пойти туда с тобой! С этой целью после долгих упрашиваний уломал заведующего продлить срок до 30-го. К этому времени ведь ты приедешь?3 Наверное, это нехорошо, но доступность всего подействовала на меня сверхматерьяльно, точно в исполненьи Коутса4. И мне так не терпится сходить с тобой на этот утренник. Ордер не использован, кажется, более чем наполовину. Ты накупишь детям, наберешь материи, и Иринушку (Николаевну) мы как-нибудь с собой возьмем. Приезжай же поскорее, дуся!

Зачем ты боишься Волхонки?5 Ты переоцениваешь мою мнимую нереальность. Напротив, все время, что я думаю о моей наконец близкой жизни с тобой, она у меня насыщается часами, положеньями, делами, свершеньями, ярко верными в их прозаизме, как сундук или стеганое одеяло. Я предвосхищаю эту сплошную, частыми взрывами надрывающуюся радость, как яичницу на воздухе горячим летним утром, когда все блески лета выпущены глазком на сковородку: синева — желтком, белком — облако; желтком — листья тополя, белком — дом. И я люблю жизнь с тобой, как яркий завтрак за безмерно огромным завтраком мира, как кушанье из света, заслуженное силой нашего голода, как кушанье, которое черно-белою двухсветной яичницей схватывает стереоскоп. Любишь ли ты смотреть в них? На заросшие пруды. И где-нибудь в глубине лодка, так тщательно отовсюду завешанная ивами, что ее не сразу открываешь, как человека в занавешенной гостиной.

— Ах, не все ли равно: Волхонка ли, нет ли и когда, и на сколь долгий срок*, когда что бы ни подали, все это будут блюда, и все они благодарно и радостно будут поглощаться главным в нас, чем мы переплелись и безмолвно друг другу поклялись: светопожира-ющей силой нашей радости и надобности друг в друге. — Это будет Волхонка. Неделю или две. Может быть, уборка. Может быть, какой-нибудь удар от

фининспектора. И все — букеты. Именно в своей реальности. Потом мы пойдем к Трояновской6 выяснять, под какими тополями располагаться летним нашим завтраком.

Потом будет, может быть, Магнитогорск7. А может быть, и нет. Но все это при тебе выяснится. И с тобой пойдем, заявим, и нам подыщут другую квартиру. И пр. и пр. Я хочу жить пронзенным и прозиненным. Я стану немногословным — ты будешь близко и постоянно рядом, вещи и положенья будут говорить за нас. Я буду много работать. Ты поможешь мне? Мне так верят сейчас, так одарили, дав тебя, что мой долг перед жизнью удесятерился, как ни велик он был и раньше. Но ведь ты близкая, близкая моя подруга, тебе любо ведь, что на свете нелегкими усильями, не халтурою и не на проценты с чужих капиталов, медленно и мужественно срабатывается какое-то световпечатлительное цельное пониманье жизни, руками двух, этою и так понятою жизнью и связанных, моими и твоими,— ты ведь прежде всего любишь это, если полюбила меня? И ведь я не зверь, ведь я как ты, и ты как я. Тогда зачем ты боишься Волхонки? И чем нереален я? И чем плохо, что когда ты едешь со мной и Адиком на извощике на вокзал, он уже не извощик? Или такой извощик, настолько извощик, каким он может быть только на детскую мерку Адика,— событье на четырех колесах.

После дневных дел хотел зайти в Трубниковский за чемоданом, но задержался по делам и пришел, когда Ал<ександра>

* Т. е. куда мы с нее с тобой переедем, если ты не разлюбишь меня. Я так это сказал. (Прим. Б. Пастернака.)

Арк<адьевна> уже спала. Захвачу сегодня пораньше. Отвезу письмо на Брянский и оттуда повидаю Лялика и отнесу чемодан8. Но старушка (Рыжова, кажется), отпершая мне, сказала, что Лялик весел, блаженствует, ни разу не плакал за все эти дни и Ал. Арк. им не нахвалится. Потом на лестнице поднялся невообразимый лай вперемежку с кошачьим фырчаньем, это вывели собачек Соколовских гулять. Внизу у порога столкнулся с Ан<ной> Петр<овной>9. Спрашивала о тебе, о Гаррике (я еще не знал, что дома меня ждет чудная твоя телеграмма) и тоже про Лялика: будто бы он даже сказал, что так ему лучше гораздо. Я сказал, что сообщу тебе это, сославшись на нее. Она тоже тебе напишет. Встревоженно звонил Мильман10, спрашивал о Гаррике, от лица класса и своего. —

Я вчера думал, возвращаясь оттуда, сказать ли тебе это или не сказать. И говорю. Я сам, может быть, виноват, я просил, чтобы ты меня не забывала, если что случится. И только. (Но это так много.) Может быть, мне следовало связать тебя другою просьбой, и — несвободной — тебе легче было бы сопротивляться ему и отчасти самой себе11.

Но если это опять случилось, это очень больно. Потому что на этот раз условный, несущественный, полусуеверный знак верности, телеграфный знак — должен был быть гораздо больше твоею потребностью, чем моею. Я именно не просил тебя об этом, потому что вообще желал тебе здоровья и спокойствия на дорогу—а какой здоровой и спокойной могла бы ты быть, если бы это произошло? Ты сама говорила мне об этом в тот месяц, как о муке. «Я плохая», — говорила ты, но плохи были мы, я и он, тем, что заставляли тебя нести все, а не ты.

Но теперь последние слова были сказаны, уехал Гаррик, уехала Женя, все определилось, точные пробы вечного тепла и участия на будущее время были даны обоим с обеих сторон, Гаррик, большой в своем горе, говорил мне немыслимые, непроизносимые по сочетанью собеседников слова в переулке. На что они опирались? На запоздалое воспоминанье: что пусть преступник, я человек, пусть преступница, ты человек тоже. И, может быть, на такие: пусть и в потрясеньи, он не проиграл бы, а вырос, если бы сдержался, и что именно в этой выросшей сдержанности он должен был прощаться с тобой, и что это не мораль, а чистота гениальности, и что если даже

другой человек — инструмент, на котором разыгрывают свою судьбу (а уже и это ужасно), то он ли не знает обращенья с инструментами!

Каким же мученьем это должно было стать для тебя теперь, когда все определилось, если ты любишь меня и — если это повторилось! Если это случилось, то слушай, скорее, Ляля, Лялюся моя! Тогда ведь это то же, как если бы мне пришлось расстаться с моим насквозь рвущимся светом, с моей громко бьющейся верностью тебе! Теперь, когда каждый вздох мой отливает блеском и я кажусь себе золотым, потому что все это не мое и я весь твой, а все, что принадлежит тебе, драгоценно. И неужели тебя поставили перед такою болью!

Тогда перестань мучиться, ангел мой,— ты ни в чем не виновата. Мы все покроем это с тобой, все загладим, все залечим. Но Гаррик, Гаррик — кто такой Гаррик в таком случае, если это случилось? Но я пишу о невозможном, это невероятно, этого быть не могло. И я гоню, гоню эти страхи. Я так боюсь их притягательной власти.

Die Eifesucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schaft.

Ревность — страсть, со рвеньем ищущая того, что причиняет страданье. Лучше совершенно не глядеть в ту сторону. Когда же ты все-таки приедешь?

Я знаю, что ты не уступила, что он не испытывал тебя, что этого не было. Не правда ли? Телеграфируй. Боже, как я тревожно связан с тобою! Знаешь, во что игра? О крылатой или бескрылой жизни. Помни себя, не роняй, ты большая, с большой жизнью, от этого не отрекайся. Свяжи себя с ним, если тянет, но окрыленно, громадно, наотрез без меня. Но не бескрыло с ним и со мною. Ах, как трудно объяснить, почему я чувствую за тебя, должен чувствовать и не могу иначе.

Пиши, телеграфируй. Косвенно об этом; о том, когда приедешь. 19-го, вечером, если не будет известий, — я у Ольги Сергеевны12.

Все эти дни писал тебе с верою, до последней степени глупо и длинно от полноты счастья, и вдруг напоролся на острую нестерпимую боль. Но ведь это не так?

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Датируется по содержанию. Примеч. 3. Н. Пастернак: «Письмо послано из Москвы в Киев в 31 г.».

1 В письме № 596 Пастернак писал 3. Н. Нейгауз: «Протелеграфируй мне, со мною ли ты эти дни или нет. Но — холоднее, чем в обычае у вас обоих. Нежности в телеграммах смущают меня. Их пришли в письме, если есть и будут».

2 Ведущийся в письмах разговор о распределителе промышленных товаров имеет особое значение, и слова о том, что «глаза разбегаются» от того, что там имеется, нужно оценивать с точки зрения того, что со времени нэпа в магазинах нельзя было ничего купить. «Это разгар времени, — писал Пастернак в очерке «Люди и положения», 1956, — когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться».

3 Сохранилась телеграмма: «Телеграфируй срочно, сколько пробудешь <в> Киеве. Крепко люблю. Много новостей, все радостные. Горячо благодарю за известия = Боря» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 2, ед. хр. 428).

4 Имеется в виду впечатление от концерта английского дирижера Альберта Коутса, приезжавшего на гастроли в Россию в конце 1929 г.

5 Многолюдность и тесная коммунальное™ квартиры на Волхонке психологически затрудняла для 3. Н. Нейгауз переезд в нее со своими детьми, прислугой и няней. Она выражала желание жить одной с детьми в Трубниковском пер. (письмо № 601).

6 Художница Анна Ивановна Трояновская приглашала Пастернака с семьей провести лето 1930 г. у нее на даче «Бугры» под Малоярославцем. Тогда это приглашение осталось неиспользованным из-за поездки в Ирпень. Теперь Пастернак хотел поехать туда с 3. Н. Нейгауз и ее сыновьями.

7 Речь о поездке в Магнитогорск с писательской бригадой.

8 Зинаида Николаевна беспокоилась об оставленном у воспитательницы Александры Аркадьевны младшем сыне Станиславе (Лялике) и просила принести им чемодан с вещами, оставленный в квартире на Трубниковском.

9 Анна Петровна — соседка Нейгаузов по дому в Трубниковском.

10 Марк Владимирович Мильман — композитор и пианист, друг Г. Г. Нейгауза.

11 Речь идет о возобновившихся отношениях Зинаиды Николаевны с Г. Г. Нейгаузом.

12 О. С. Щербиновской, жены Пильняка.

599. П. П. КРЮЧКОВУ

20-е числа мая 1931, Москва Глубокоуважаемый Петр Петрович!

Груздев на днях сказал мне, будто Алексей Максимович выразил готовность поспособствовать переводу «Охранной грамоты» на иностранный я<зык> в рукописи, и ее для этого можно доставить Вам1.

Передать Алексею Максимовичу мою радость и чувство счастливой озадаченности я просил Груздева. Вероятно он это исполнил. Я также сказал ему, что в другое время не с такою жадностью ухватился бы за эту возможность, но недавно мне удалось собрать за границу жену с ребенком, и они сейчас в Германии. Им валюты не дали и у меня нет возможности ее им перевести2. Такой ускоренный перевод, если бы он состоялся, неожиданно выручил бы меня с этой стороны.

Я на несколько дней уезжаю в Киев, и на всякий случай занес Вам названную рукопись. Заслуживает ли она перевода или нет, я не обсуждаю и не ставлю его перед своею совестью по уже приведенному основанью.

Итак, если под Груздевским желаньем порадовать меня была почва и сохранилась, — просьба моя к Вам передать рукопись кому укажет Алексей Максимович.

Другое дело еще важнее и я должен был бы начать с него. Прилагаемое письмо я получил более месяца назад, и ждал именно приезда Алексея Максимовича, ибо иных путей во спасенье отправителя не вижу. Письмо от Шипулина, молодого поэта, которого года три-четыре назад рекомендовала мне Екатерина Павловна. Он мне очень понравился, юноша с прирожденно-независимою тягою к непосредственному смыслу и правде, несомненно одаренный, не столько творчески, сколько с жизненно нравственной стороны. Я все это ему говорил, кое-когда и помогал даже в скромных и мне доступных размерах, — но в этом случае вмешательство мое вряд ли принесло бы ему пользу, если бы даже я и знал, как свое участие оформить и куда направить.

Очень прошу Вас, дайте ход делу, изложенному в письме3.

Жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

Волхонка 14 кв. 9

Из Киева буду на ближайших днях.

Впервые. — Автограф (Архив Горького, КК р. л. 12 8/5). Петр Петрович Крючков — секретарь А. М. Горького.

1 Желая оказать поддержку Пастернаку, он предлагал ему устроить первое издание «Охранной грамоты» в Германии, обогнав русское, чтобы автор мог получить всемирные права на свою книгу.

2 Две последние фразы подчеркнуты рукой адресата.

3 Письмо к Горькому неизвестно. Шипулин — неустановленное лицо.

600. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ 25 мая 1931, Киев

25.V.31

Дорогой, дорогой Анатолий Васильевич! Бессовестно надоедать Вам, и это — уже второй раз1. Но клянусь Вам, больше этого не будет никогда. Одного слова Вашего

достаточно, чтобы устроили в доме отдыха в Преображеньи (под Киевом) Зинаиду Николаевну Нейгауз с ребенком. Позвольте не объяснять Вам, почему за это ратую я и мне это так дорого. Да, Вы, может быть, что-нибудь и знаете. Я приехал сюда в неудачный (выходной) день секции Научных работников, от которой это зависит. Да и все равно я бы, верно, ничего не сделал. Я хотел дождаться Вас тут, но на днях должен из Москвы отправляться с бригадой в Магнитогорск. Уверен, что Вы извините меня. Привет Наталье Александровне.

Любящий Вас Б. Пастернак

Впервые: «Второе рождение». — Местонахождение автографа неизвестно.

Письмо написано в ожиданье предполагавшегося приезда Луначарского в Киев, но не было отослано и осталось у З. Н. Нейгауз. Знакомство Пастернака с Луначарским завязалось с дружеских отношений с ним его отца, Леонида Осиповича, в 1910-х гг. Луначарский неоднократно защищал Л. О. Пастернака от выселения, с его помощью Пастернаки получили возможность уехать в Германию для лечения. Благожелательность наркома просвещения к родителям смущала Б. Пастернака, что сказалось в дарственной надписи на книге «Сестра моя жизнь»: «Анатолию Васильевичу Луначарскому. Как строю мыслей, обезоруживающих своей родственностью и правотой, широте, слишком всеобъемлющей, чтобы на нее всякий раз в частях не ополчаться, дружбе предложенной и непринятой от признательного и любящего, непризнанного и теперь уже не притязающего на признание автора» (1 мая 1922). — Scottish Slavonic Review. 14 Spring 1990. С. 191.

1 Луначарский по просьбе Роллана помогал получить разрешение на выезд Б. В. Пастернак с сыном в Германию.

601. З. Н. НЕЙГАУЗ

28 мая 1931, Москва

Лялюся, золото мое, — двенадцать часов, пишу тебе перед сном, вижу тихий твой дворик1, а под окном бредовая, полная грохота и пыли, даже и ночью, — Москва. Лялечка, к вечеру в дороге мне стало невозможно тоскливо без тебя, мне так стало потому, что день был легкий, облачный, мы ехали лесами, перед тем освеженными дождем, одуряюще пахло березой, и соловьи заглушали шум поезда — и вот эта благодатная немучительность обычно мучительного пути и это свищущее наслажденье, просыревшее до недр и звонкое на версты, переполняло тою же благодарностью, что и ты, и я не знал, куда деваться от нежности к тебе: я чуть не плакал от головокружительной, выпрямляющейся во весь твой цвет, и рост, и голос тоски и взял письмо твое, единственное, полученное в Москве перед отъездом (я возил его с собой в Киев), и как ложиться спать, положил его на грудь под рубашку.

Лялечка, страсть к тебе есть огромное, заплаканное, безмолвно ставящее людей на колени знанье, и любить значит любить тебя, любить же тебя значит существовать в посланничестве, в посланничестве ночи, леса и соловьиного свиста. Милая, жизнь моя, ты — моя жизнь впервые непререкаемая, как до сих пор — в одиночестве. А по приезде нашел несколько писем на столе, и среди них твои. О, ведь их два, а ты не сказала мне, и я ждал одного! Чтоб никогда, никогда больше ты не касалась своего почерка и тем паче своего голоса в письмах! Ты знаешь, первое по времени так потрясло меня, что, не вскрывая второго, я бросился по телефону упрашивать, чтобы освободили меня от Магнитогорска. Ты знаешь, я бы остался в Москве, но вдвоем с тобою, без отвлекающего соседства спутников и впятером обсуждаемых дорожных впечатлений. И моими мольбами так прониклись, что отказали не сразу, а в некотором страхе за мой рассудок пообещали сделать все возможное и дать ответ к вечеру. — Теперь я знаю: переделать этого нельзя, — говорят, вся бригада бы развалилась и никто бы не поехал. Наверное, врут, я ничего не понимаю тут — факт тот, что меня не

отпустили. Но позволили, если мне станет невтерпеж, прервать поездку и даже улететь назад на аэроплане. Этому придают какое-то политическое значенье. Но на совещанье я предупредил, чтобы ничего «нового» от меня не ждали, что я еду с готовой и очень личной верностью жизни и ломать поэта в себе (тебе) не собираюсь, как бы ни было велико строительство, которое увижу.

— Телеграммы о Преображеньи еще не получил2. Вероятно, вышлю тебе только триста, потому что об остальных в эти два дня списаться не удастся, и переговоры о собраньи отложу до приезда из М<агнитогорс>ка. Был у Гаррика, не застал никого. В 11 часов он позвонил, оказывается, был в консерватории, а Лялик у Асмусов — Ал<ександра> Аркад<ьевна> испросила себе двухдневный отдых. От Гаррика, разыскивая его, зашел к Архангельскому3. Не найдя его, хотел и должен был уйти домой, но В<ладимир> А<лек-сандрович> задержал на несколько минут, и, естественно, о чем заговорил он. Он подвергал критике твои планы, находя их не по времени романтическими, и упрекал меня в недостатке ясно проявленной воли. Я сказал ему, что так проникаюсь твоими желаньями, что они становятся моими, и что мне верится в исполнимость всего, чего бы ты ни захотела. Но он справился о твоем адресе, я не видел причины его скрывать, и он, наверное, напишет тебе. Меня это немного волнует: как бы он не огорчил тебя чем-нибудь. Он спросил меня, все ли разорвано у тебя с Гарриком, т. е. не есть ли твое желанье жить одной в Трубниковском скрытая надежда на возврат и пр. и пр., и я ответил ему, что мне кажется, что ты с ним рассталась, — и это «кажется» удивило его и показалось ему неосновательным, я же считаю, что ответить по-другому было бы в отношеньи тебя грубо и еще меньше чем лишь по-человечески, т. е. только по-мужски (по-муравьиному, по-клопиному).

Мне страшно хочется сохранить всю твою редкую нравственную свежесть, которая от тебя неотделима и кажется им детской вздорностью. Я был у секретаря Наших Достижений4, чтобы узнать о судьбе другого детского вздора. Рукопись «Охр<анной> Гр<амо-ты>» Горьким отослана уже за границу. На вопрос о том, на какой язык ее предполагают переводить, секр<етарь> ответил: «на все», — и, по правде сказать, я не понимаю ни ответа этого, ни таинственных форм Горьковской заботливости обо мне. Это веянье загадочного всемогущества издалека, через секретаря — какая-то обидная фантасмагория. Я не мальчик, последние три года ко мне обращались иностранные издатели (из Германии и Франции), и это я сам отговаривал их от каких-либо затей со мною, потому что считал (и по праву), что ничего заслуживающего широкого интереса у меня не имеется. И «Охр<анная> Гр<амота>» — первая вещь, которая из рамок местной случайности как будто выходит5. Но насколько благороднее и выше Роллан с ненаигранной, истинной и лично прямой простотой его ответов, вне секретарей и всего прочего!

Тем временем, как я ездил, мне прислали новые стихи, мне посвященные. Вот хлынуло! На этот раз от С. Н. Дурылина, о котором тебе рассказывал. Начинается так: «Ты был задуман круговою чашей» — и как ее жизнь вытачивала, и теперь — век ее и торжество, и она пущена в крут, и пр. и пр. — страшно трогательно6.

Милая белая милота моя, бездонно чистая, скромная, покорная, равная, достойная, захватывающая, тихая, тихая, тихая — золотая моя! Я все силы приложу, чтобы Лялик поехал с нами7. Пока об этом ни слова. Я не знаю, когда буду назад и как все сложится. Тогда видно будет, я ли с ним заеду за тобой в Киев или ты за нами сюда. Но путешествие с ним будет для меня настоящей радостью, и ты увидишь, как я с этим справлюсь! — Но письма твои!! Как мне это сказать, чтобы ты поверила? Ты пишешь так чудесно, как мне не дано и в мечтах: я хотел бы уметь так выражать себя, так нерастраченно-полно, сдержанно-взрывчато, грустно-содержательно. Ты меня

многому научишь. Мы удивительно суждены друг другу: тут что-то настолько неожиданно родное, что иногда мне кажется—что-то откроется впоследствии, как в драмах с запоздалыми узнаванья-ми, какая-то вдруг всеобъясняющая биографическая подробность.

Писал все письмо в страшных торопях, кончаю еще того поспешнее. Главное: горячо благодарю тебя за твои чудные письма — они таковы, что я из-за них хотел отменить поездку. Уезжаю через несколько часов. Рассчитывать надо, что перерыв в переписке будет абсолютный: не жди ничего от меня, ничего не буду ждать от тебя. Это потому, что открытки мои с пути будут идти неделями и получаться, когда я сам буду с тобою. Напиши Гаррику. Я был у него. Лялик ужасно похорошел, ластится и жеманится — полуголый: страшная жара. На днях его возьмут на дачу либо Асмусы, либо М<илица> С<ергеевна>, либо Суворовы8, либо же Ал<ек-сандра> Арк<адьевна> — все эти возможности имеются. Я с тысячей извинений раза три просил Гаррика разрешить мне взять его с нами на Кавказ. Это мое сильнейшее желанье. Он мне отказал в этом, и ему и мне говорить об этом неудобно. Помоги мне в этом, т. е. успей списаться с Гарриком на эту тему (т. е. о Лялике и Кавказе), чтобы дети были вместе и при тебе. Успей вырешить это за те три, а может быть, и две недели, что я буду в дороге. Телеграммы о Преображеньи еще нет (28-е) — тревожусь, но через 3 часа на вокзал, и потому ничего не могу сделать. Гаррика просил сходить в ЦКУБУ и заявить, что тебе предоставляют одно из мест для москвичей, потому что тут мое появленье повлекло бы еще к большим неудобствам для него и т. д. На случай, если ты не в Преображеньи: трать вовсю, дуся моя, питайся так, как только позволят городские запасы Киева. Деньги есть и будут и для Жени, и для Гаррика, и для всех. Мне хочется, чтобы он отдохнул. Ужасная спешка мешает рассказать тебе толком о себе. По слухам, Горький много говорит обо мне, отзывается с большой любовью и пр. и пр.,— но я его не видел. Наконец узнал причину затребованья рукописи: трогательная заботливость. Оказывается, только при переводе с рукописи, до выхода оригинала, закрепляются авторские права за границей и распространяются на весь мир. Перевод с печатного изданья — никаких прав не дает. Другая новость: Горький предложил Ленинградскому изд<ательству> издать серию избранных поэтов, начиная с Державина, и последними входили Блок и я, но Пушкина, Лермонтова, Блока и меня отвели, потому что осенью все мы выходим полными собраньями в том же издательстве9. Нарочно пишу в этом хамовато-панибратском стиле: «все мы», чтобы ты оценила хлестаковскую соль этого ощущенья.

Асмусам 20 раз звонил, не подходят, нет времени, уезжаю, не сказавшись. Напиши И<рине> С<ергеевне> об этом — разрываюсь на части. Мне пиши на Волхонку, точно я тут. Приеду, наброшусь на твои письма, обниму в них. Крепко целую тебя, крепко целую тебя, крепко, крепко, крепко, Ляля, Ляля, Ляля, Ляля моя.

Твой Боря

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 3, ед. хр. 59). Датируется по содержанию. Примеч. 3. Н. Пастернак: «Письмо написано перед поездкой в Магнитогорск в Киев».

1 Пастернак только что вернулся из Киева, куда ездил к Зинаиде Николаевне, остановившейся у своей приятельницы Р. Г. Перлиной на ул. Гер-шуни (бывш. Столыпинской).

2 По просьбе Зинаиды Николаевны Пастернак занимался устройством на лето ее с детьми в санаторий ЦКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых) «Преображенье» под Киевом (см. письмо № 600).

3 Владимир Александрович Архангельский — ученик Нейгауза по Киевской консерватории, по образованию инженер.

4 Журнал «Наши достижения» издавался Горьким, секретарем редакции был П. П. Крючков, которому Пастернак писал в 20-х числах мая 1931 и передал рукопись «Охранной грамоты». См. письмо №599.

5 То же Пастернак писал Дж. Риви (письмо № 584): «Это первая вещь, которую я без стыда увидал бы в переводе».

6 «Ты был задуман круговою чашей...» — стих, неизвестно.

7 Речь идет о намерении поехать в Грузию. Получив телеграмму от Паоло Яшвили с приглашением, Пастернак сообразовал свой ответ на нее с желаниями Зинаиды Николаевны.

8 М. С. Бородкина была невестой Г. Г. Нейгауза в 1916-1917 гг., в 1928 г. стала матерью его дочери, после его расставания с Зинаидой Николаевной — его второй женой. Ученица Ф. М. Блуменфельда, пианистка Таисия Георгиевна и ее муж А. Н. Суворовы — друзья Нейгаузов и их соседи по дому в Трубниковском переулке (см. воспоминания Т. Г. Суворовой в кн.: «Станислав Нейгауз. Воспоминания, письма, материалы». М., 1998).

9 В связи с планами «Изд-ва писателей в Ленинграде» на издание собр. соч. Пастернак писал И. А. Ц)уздеву 16 марта 1931: «Дорогой Илья Александрович! Здесь Ел. Мих. Тагер. Я передал ей заявленье на имя Издательства с предложеньем собранья сочинений. Я надеялся попасть в Ленинград нынешней весной и тогда точнее сговориться, и потому затягивал сдачу заявленья. Не знаю, как сложатся у меня обстоятельства. Если другой причины или придирки для поездки не будет, я верно не поеду» («Звезда», 1997, № 8. С. 182).

602. С. Н. ДУРЫЛИНУ

28 мая 1931, Москва

28.V.31

Дорогой, дорогой мой Сережа!

Что я за свинья, и когда вздумал поправлять это дело! Через час еду в Магнитогорск и только что из Киева. Зачем писать такие хорошие стихи людям, которые их не заслужили!!1 Как благодарить мне Вас за них!

0 книжке2 на другой же день по полученьи был разговор с дочерью С<урикова>, О. В. Кончаловской3. Как знают они Вас, оказывается, и любят!

Ведь мне надо Вам по-настоящему написать, Сережа, и — поневоле — о себе. Как это все незаслуженно, и сколько всего, если бы Вы знали, — и все вдруг, — начиная с этой зимы!

Сейчас мне, правда, собираться, и это безрассудство, что я пишу Вам. Но через 3 недели я вернусь, и тогда отведу с Вами душу, и заглажу все мои промахи перед Вами, если они загладимы. И я, может быть, попробую что-то сделать для Вас.

А теперь позвольте крепко, крепко обнять Вас. Ваш Боря

Впервые: «Встречи с прошлым». Вып. 7. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, д. 695).

1 Дурылин послал Пастернаку стихотворение «Ты был задуман круговою чашей...». См. письмо № 601.

2 С. Н. Дурылин. «В. И. Суриков в Сибири». М., 1930.

3 Ольга Васильевна Кончаловская — жена художника П. П. Кончалов-ского.

603. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

28 мая 1931, Москва

Дорогая Раиса Николаевна!

Было много сложного, и хлопоты, и все я в разъездах: сейчас еду на 3 недели в Магнитогорск1. Но нельзя же Вас оставлять без ответа, — итак, вкратце, за сборами, за час до отъезда: Вы не огорчили, а восхитили меня и растрогали своим чудесным

первым письмом, Вы еще ближе стали мне, став на сторону Жени. Будьте другом ей, она в этом очень нуждается.

Сейчас брошу писать и побегу укладываться. Через три недели вернусь, и тогда напишу по-человечески. Все это временно простите мне. Меня обрадовало Ваше последнее письмо, известиями о Вашем сыне, ведь ко времени первого Вашего письма все было очень тревожно, и какое счастье, что он поправляется. Приложите все возможное, чтобы своей любовью к жизни заразить Женю: у ней тот же прирожденный дар и тяга к радости и здоровью. Но все это сковано сейчас и вот это надо расковать.

Глубокое мое убежденье, что по прошествии первого, вынужденно тоскливого периода, разрыв наш скажется на Жене благотворно. Меня всегда преследовало ощущенье, что я ограничиваю ее возможности, заслоняю от нее живую и может быть, без встречи со мною ей сужденную действительность. Задолго до встречи с человеком, по отношению к которому ни одно из этих ощущений немыслимо, меня угнетало уже и одно это на-блюденье, и мы часто и давно поговаривали о взаимном освобождении.

Но заводить об этом речь в такой спешке и над чемоданом — безумье, я наверное не те слова говорю, что надо, и рискую остаться и не уехать. Особенно горячее спасибо Вам за все то, в чем Вы зачем-то извиняетесь. И о бумаге2. В какие хлопоты втянул я Вас с ней! И совсем ее не нужно, — есть, достал себе.

Спасибо, спасибо. Целую Вашу руку. Ваш Б. П.

Я — на Волхонке, адрес прежний.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Датируется по содержанию. Открытка отправлена 29 мая 1931 г. из Пачелмы (под Пензой) в Кембридж.

1 До Магнитогорска Пастернак не доехал и из Челябинска через неделю вернулся в Москву.

2 В письме № 583 Пастернак просил Ломоносову о почтовой бумаге.

604. З. Н. НЕЙГАУЗ

29 мая 1931, с дороги

Дорогой мой друг!

Доброе утро. Очень трясет, карандаш прыгает в руке. Добрая глуповатая компания, славные люди1. Едем с водкой, и провизии закуплено на четыреста руб. Судьба послала в спутники рисовальщика-иллюстратора Сварога. Чудесный гитарист — играет Моцарта Тему с варьяциями, Баха гавот, испанцев каких-то. А фокстроты заиграл в своей аранжировке — и слушать нельзя, не подпевая, так разбирает. Я даже и подтопывал. На поездку смотрю как на цепь званых ужинов, только что на колесах. Уже заявили руководителю бригады, что нигде выступать не будем. Догадываются о моей тоске по тебе и всякий раз, что бегаю за кипятком, подозревают, что это для того, чтобы остаться и сбежать назад в Москву. Никаких корреспонденции писать не буду, и потому пишу тебе, как тебе, без привходящих соображений, но только в тоне, принятом для открыток. Пиши мне в Москву, как если бы я там сидел. Может быть, и правда вернусь туда с какой-нибудь станции с чайником. Крепко обнимаю тебя и Адика. Спал хорошо, но мало, часов 6.

За час до отъезда звонила Ир<ина> Серг<еевна>. Она, верно, поедет через Киев и поселится (по совету Смирновых), где-нибудь под Житомиром. Улыбается мне и такое лето. Вы, разумеется, свидитесь с ней, она будет в Киеве между 7-м и 10-м. Иногда меня смущает, что в последнее время не знаю, сколько зарабатываю и что трачу; что соображенья о дороговизне не приходят мне в голову и ни в чем не останавливают мерил. Так, на вокзале спросил Полонскую2, провожавшую нас, каковы ее летние планы. Она сказала, что, верно, останутся в городе, потому что в этом году все недоступно, одна дорога сколько стоит. А они живут очень хорошо. Тогда с ее слов я

вспомнил, что такие вещи существуют на свете и, может быть, это именно нехорошо с моей стороны по отношению к тебе, что я не гляжу вперед и о них не думаю. И мне стало грустно. Мне все-таки очень хочется на Кавказ. И если бы ты меня поддержала, т. е. сказала бы, что в этой моей непрактичности нет ничего дурного, что ты ее не боишься и так можно жить, я был бы счастлив. Странно писать тебе, опуская все слова, мыслимые — в закрытом.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Письмо на двух открытках, датируется по почтовому штемпелю Пачелмы Пензенской обл. Примеч. 3. Н. Пастернак: «Письмо послано в Киев».

1 Бригаду возглавлял В. П. Полонский; кроме Пастернака, там были писатели А. Г. Малышкин, Ф. В. Гладков и художник В. С. Сварог.

2 Киру Александровну Эгон-Бессер, жену В. Полонского.

605. З. Н. НЕЙГАУЗ

1—2 июня 1931, Челябинск

Жизнь моя, моя горячо любимая, единственная моя, мое самое большое и предсмертное, Зина, ликованье мое и грусть моя, наконец-то я с тобою. Я в Челябинске. Из Магнитогорска, который — дальше по маршруту, и еще ехать в Кузнецкий бассейн за Новосибирск, где зимой был Гарри. Но я ограничил свою поездку Магнитогорском. Теперь, видимо, и он отпадает. Участники бригады находят, что посмотреть на каждом из строительств надо так много, что трех пунктов в месяц не обнять и решили пробыть в Челябинске не два дня, как было предположено, а дня четыре — соответственно увеличить пребыванье в Кузнецке и вовсе отказаться от заезда в Магнитогорск. Так что я дня через три выеду отсюда в Москву (езды около 4-х суток), а в Кузнецк не поеду.

Я уже знаю, как все это делается. Строятся действительно огромные сооруженья. Громадные пространства под стройкой, постепенно покрываясь частями зданий, дают понятье о циклопических замыслах и о производстве, которые в них возникают, когда заводы будут построены. Хотя это говорилось сто раз, все равно сравненье с Петровой стройкой напрашивается само собой. Таково строительство в Челябинске, т. е. безмерная, едва глазом охватываемая площадь на голой, глинисто-песчаной равнине, тянущаяся за городом в параллель ему. Над ней бегут грязные облака, по ней бегут облака сухой пыли и вся она на десятки километров утыкана нескончаемыми лесами, изрыта котлованами и пр. и пр. Это строят тракторный завод, один только из цехов которого растянулся больше чем на полверсты, т. е. будет ютить больше чем 2 кв. километра под одной крышей. Это с одной стороны.

С другой — рядовая человеческая глупость нигде не выступает в такой стадной стандартизации, как в обстановке этой поездки. Поехать стоило и для этого. Мне всегда казалось, что беспло-дье городского ударного языка есть искаженный отголосок какого-то другого, на котором, на местах, говорит, быть может, правда. Я уверился в обратном. Съездить стоило и для этого. Теперь мне ясно, что за всем тем, что меня всегда отталкивало своей пустотой и пошлостью, ничего облагораживающего или объясняющего, кроме организованной посредственности, нет и искать нечего, и если я и раньше никогда не боялся того, что чуждо мне, то теперь уже и окончательно робеть не буду. Какая бы победа ни была суждена нелюбимому, полюбить это из одних соображений о его судьбе я не в силах1.

Я пишу тебе это без сознанья того, что письмо дойдет. Я не знаю, когда дойдет оно, и не уверен, не обгонят ли его мои письма из Москвы, через неделю, когда я туда приеду. Как ни милы мои спутники и как ни идеальны условия, в которых нас тут поставили, мне в этой артельной обстановке постоянной совместности впятером трудновато. И — именно теперь.

Еще точно вчера случилось все это наше. Только вчера еще уехала Женя, только вчера я видел тебя утром в Континентале2, вчера только писал апрельские стихи3 и мечтал о сплошном лете с тобой и новой работой. И вдруг что-то, как целый год, отделило меня от этих горячих вчерашних событий.

Я ничего не знаю. Я не знаю, в Преображенье ли ты, не знаю, как устроилось с Ляликом,— я не представляю себе ни одного из исходов всего того, что оставалось неразрешенным, когда я уезжал.

Я люблю тебя сейчас тревожной любовью и поминутно загадываю, любишь ли ты меня. Я не знаю сейчас ничего на свете, что было бы равно тебе и столь полно соответствовало бы тому, чего я хочу от жизни и что она вправе требовать от меня. Это счастье так огромно, что не всегда я верю, что ты не отнимешь его у меня. Сейчас, когда я пишу это, меня охватывают самые невозможные страхи.

Но если ты хочешь жизни со мной, тогда мне нечего бояться. Все ясно, все наперед доступно мне. И то, что я сейчас — тут, непростительная глупость и слабость. Однако, верно, она окупится когда-нибудь. — Мне тут торчать еще четыре дня. Но за писаньем этого письма я так себя растравил, что отпрошусь назад завтра. Вот чудно будет, если отпустят4. — Горячо целую ноги твои и глаза, и всю твою жизнь, и всю тебя, — твой, как никто никогда ничьим не был. А главное, как права ты была, когда не верила в надобность этой поездки!

Впервые: Вестник РСХД, № 106, Париж-Нью-Йорк, 1972 (с неверной датой). — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Датируется по содержанию. Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо написано из Челябинска в Киев, куда я уехала с Адиком из Москвы».

1 Методы индустриализации и страшные результаты коллективизации потрясли Пастернака во время этой поездки, и он, по записям в дневнике Полонского, не мог реагировать на увиденное по меркам казенного «заказа». «...Впечатление он производит обаятельное, но кажется безумным», — записал Полонский («Путь», 1995, № 8. С. 227).

2 Гостиница в Киеве, где останавливался Пастернак.

3 Цикл из девяти стихотворений, положивший начало книге «Второе рождение».

4 Пастернак уехал их Челябинска 3 или 4 июня 1931 г.

606. З. Н. НЕЙГАУЗ

9 июня 1931, Москва

9. VI. 31

Ужасная вещь почта. Где ты и как ты и что с тобой? Пока я скажу тебе, что позавчера (7-го) ночью я примчался из Челябинска в Москву, не доехав до Магнитогорска, специально затем, чтобы взглянуть на условленную телеграмму, в Преображеньи ли ты или тебе отказали, и телеграммы не нашел, и ты прочтешь в этом упрек, — пройдет несколько дней, и несколько дней ты будешь носить этот упрек, и несколько дней уйдет на твое объясненье и несколько — на мое раскаянье, как это, пусть и ценой недоразуменья, мог огорчить я тебя, тебя, которой я ежедневно и ежечасно всем сердцем желаю лучшего из всего, что может желать человеку человек, — и недели на полторы растянется то, что взрывается с трехминутной силой и в три минуты улаживается. — Итак, пусть я обманываюсь, но лучше мне думать, что ты не оставила меня, что ты такая, какою снишься и думаешься мне, высокая, лишь голову повернуть сейчас же за плечом (за левым), семнадцатилетняя, двадцатисемилетняя, мое крыло, сбитый клок быстрого, тихого духа, белое мое загляденье, гордое званье мое, пронизывающе понятное, как сирень в росе. Ты права. Кому и писать было? В пустую квартиру? Но я верил в уговор (о телеграмме). И затем это ведь практическая забота. Не вышло — надо предпринять новые шаги. Может быть, все-таки прочтет

лекцию в Киеве Л<уначарс-кий>?! Может, сходить к нему? Но ничего нельзя сделать в неизвестности, в которую поставила меня — не ты, о, не ты (горячо, смертельно-нежно целую тебя), не ты — почтовая случайность.

На делах бригады в Челябинске убедился, что телеграммы не доходят и запаздывают, письма пропадают. Перед отъездом перевел тебе немного денег. Получила ли ты их? Ничего о тебе не знаю, стал выяснять стороной. Прямо у Гаррика не решился. Шура и Вл<ладимир> Ал<ександрович>2 часто говорят, чтобы я щадил его и на глаза ему не казался. И все двоится. Доверяться ли мне инстинктивной моей тяге к нему или же здравому смыслу людей объективных? Перед концертом решил послушаться их и не волновать его. На концерте (о концерте ниже) сидел согнувшись в три погибели, прятался за спины впереди сидящих, чтоб, чего доброго, он меня не заметил, и любил его, как огонь — огонь, как один язык пламени — другой, на одном пожаре. Итак, выяснял. Но когда Архангельский отвечал, что, по слухам, ты — в доме отдыха, я подозревал, не мое ли сообщенье по приезде из Киева — источник этих предположений. Звонил Асмусам. Та же неопределенность — в ту или другую сторону. И — уверенность (она меня и теперь не покидает), что дело не выгорело и ты томишься на Столыпинской. Но как не выгорело? И в чем? Ах, если бы знать это! Или опять нанять извощика и слетать на день в Киев, при такой дикой неисправности почты. Мне так хотелось исполнить твое желанье, и ты должна была помочь мне, и вот что-то помешало, и я временно (пока рожает почта) — совершенно беспомощен. Итак, телеграфируй немедленно. И напиши. Пиши, прошу тебя. И если даже переписка с Гарриком нарушается письмом ко мне и терпит ущерб, напиши об этом: что отвлекает и писать не будешь. И если разлюбила, проснулась, представила сном — напиши: разлюбила. Но пиши. Присутствуй хоть строчкой. Вне твоего присутствия ни за что не взяться, не до дел, не до работы. — Если тебе живется так, живи, о деньгах не думай, уведомляй, если что нужно, — я бы пожил тут до конца месяца, это даже следовало бы, а дальше как ты захочешь. Будешь писать — оправдаю эти недели, сделаю что-нибудь. Страшно жалею, что дал оборваться апрельскому разгону3. И пиши по-своему, с фактами, о себе, об обстоятельствах, только такие письма, как твои, отдаленно напоминают жизнь и твою и ее прелесть, а не как мои, нелепые, в сорокатысячный раз стремящиеся заменить полное соприкосновенье рук, и глаз, и души, сорок тысяч раз убеждавшись, что письмами это незаменимо. У меня навертываются слезы, когда я перечитываю твои письма, они хватают за сердце, до покалывания.

Ты милая, ты чудная, как горько, чю я никогда не сумею передать тебе всевытесняющую снгдоголовную прелесть твоего приближенья, ты разом с одного шага входишь, как свет4.

Гаррик все играл превосходно, вечер был настоящим триумфом. Но некоторые вещи (вторую по порядку, но не знаю, которую по счету сонату Скарлатти, 109 ор. (?) Бетховена, части шумановской фантазии и as-dur-ную балладу Шопена он играл сверх-человечески смело, божественно, безбрежно властно, нежно-ле-петно до улетучиванья, нематерьяльно. После баллады поднялся настоящий рев, полы тряслись, десять минут ему не давали перейти к Листу, его заразили, он забылся, отбросил свои привычки, вставал и кланялся. Листом (этюдом) кончалась программа. Выйдя в десятый раз на вызовы и просьбы бисировать, он среди водворившейся тишины сказал, что нездоров и еле играет и что исполнит сейчас свое сочиненье. Он сыграл свою прелюдию, ту, которую я так люблю и часто напеваю, с широкой кантиленой и колокольчикоподобной второй темой. Он изумительно сыграл ее, и услышать ее было для меня торжеством: на концерте, из-под рук Гаррика, в виде единственного биса, как он, по-видимому, решил, эта прелюдия была сигналом с эстрады, свидетельством того, что и сам он проникся восторгами слушателей и если не оценил наконец себя, то хоть

понял высоту и победоносность этого своего вечера — в состоянии непобежденной неудовлетворенности он бы себя не играл5. И, сквозь печаль, он сиял и почти смеялся (живой Адик), его больше чем слушали: слушались и любили. В напряже-нье предельной близости ползала поднялось после прелюдии, памятуя его слова об утомленье, и эта покорность гипнотически удаляющейся толпы, отказывающейся от новых требований, потрясла меня больше, чем бушеванье оставшихся. Я зашел к нему в артистическую. Он все знал и понимал и был радостен. Мы разговаривали без сентиментов, близко и сухо, как братья. Немцы на полтора часа потащили его к себе6. Оттуда он пообещался в первом часу к Асмусам. Тут я ближе познакомился с Ал<ександрой> Вас<иль-евной>7, которой меня представили еще до концерта. В ожидании Гаррика говорили о нем. Я рассказывал о своей поездке.

Пришел Гаррик, разговор о нем возобновился с удесятирен-ной силой. Ал. Вас. более чем ценит и понимает его, я боюсь недооценить силу ее чувства к нему, все равно какого, но заразительно глубокого. Все это очень затянулось, стало светать. Моя усталость бросалась всем в глаза, трое суток я был в пути и прямо с корабля на бал. Но стали упрашивать почитать Цветаеву, и в третьем часу ночи извлекли «Крысолова». Вещь превзошла Гаррико-вы ожиданья, он плакал и как заговоренный твердил: гениально, гениально. Я сам поразился, как всегда выше всех наших памятей высота настоящих созданий, как вновь и вновь обгоняют они нас и всегда кажутся неожиданными. В пять утра мы с Г<арриком> вышли Скарятинским на Поварскую. Было совершенно светло, подметали улицы. И только тут, перед самым расставаньем, я решился назвать тебя и спросил, не знает ли он, где ты. Он сказал, что в своем письме ты ему о д<оме> отдыха не писала, но что письмо замечательное, редкостное, что он ответил тебе и в ответ получил телеграмму с обещаньем нового письма.

Ты улавливаешь ноту ревности в этих строчках.

О, разумеется. И так оно всегда будет и должно быть. Я сам не могу не хотеть этого. Он такой поразительный, такой несравненный! И кроме этого удивленья, всегда нового и покоряющего, — вечно вставать будет дорогое прошлое, необозримая громада сообща пережитого и разделенного, укоряющая без слов, повергающая во прах, страшная, страдающая, святая, — зимы и летние дачи, ранящие подробности тайны, известные лишь вам обоим. Но что мне делать, — я люблю тебя.

Если я предупредил тебя этим утром на Поварской, если я в мыслях твоих числился еще в отъезде и вернулся слишком рано, когда ты видела одного Гаррика на углу Скарятинского, если лучше мне было не торопиться, если вообще лучше было бы... — дорогой, дорогой мой друг, ты ведь сказала бы мне все это прямо, не правда ли? Смотри, Лялюся, мы все люди свободные, с правами и запросами другим на зависть, нечего нам щадить друг друга и бояться страданья.

Я получил от отца письмо, равносильное проклятью. Оно на 20-ти страницах. А врачи запретили ему читать; ему 70 лет, и зренье его (осложненье после гриппа) под постоянной угрозой8. И в пути Женя с Женечкой стояли предо мной — двое суток я был в вагоне единственным пассажиром, да два проводника, я перечитывал три письма твоих, я без этой помощи помешался бы. Я все вновь и вновь передумывал в готовности все переделать.

Но что делать мне, я люблю тебя. О, если бы я любил тебя просто, как любят, когда может прийти дама, образованная, и за столом, отказываясь от сыра, давать советы, сияя и соучаствуя, — я, может быть, все это пересилил.

Но этой любви нельзя оставить, и ничто на свете не может от нее оторвать. Она так непохожа на то, что становится с высочайшими вещами, когда они попадают к человеку. Ее не надо обдувать метелкой и обтирать тряпкой, беречь увереньями, она парусом развернулась над жизнью, собрала ее в одну бесспорность, украсила смыслом,

под ней можно плыть хоть в смерть и ничего не бояться, она дыханье нежности смешала с дыханьем дороги. Ты то, что я любил и видел и что со мною будет, — и довольно, довольно, а то я наскучу тебе.

Твой, твой, Лялечка

Да, и прости, в дороге — мысль, болела ли ты и заболеешь ли в свои сроки? Не озабоченность (все будет добром), а следованье памятью за твоим, за всей тобою.

Скажу опустить в почтовый ящик. Если дойдет таким путем, сходи или пошли кого-нибудь к Смирновым за сахаром и чаем, — я Гаррику не говорил, заменил своим9.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо из Москвы в Киев».

1 См. письмо № 600.

2 А. Л. Пастернак и В. А. Архангельский.

3 Речь идет об апрельском цикле стихов.

4 Ср. «Но нежданно по портьере / Пробежит вторженья дрожь. / Тишину шагами меря, / Ты как будущность войдешь» («Никого не будет в доме...», 1931).

5 Г. Нейгауз в молодости писал музыку, но потом оставил. В стих. «Окно, пюпитр и, как овраги эхом...» Пастернак писал о нем и его комнате в Трубниковском пер.: «...Здесь могло с успехом / Сквозь исполненье авторство процвесть» (1931). Нейгауз вспоминал впоследствии, что Пастернак как-то сказал ему: «Гарри, почему ты не сочиняешь! У тебя был бы такой верный единственный друг!» (Генрих Нейгауз. Размышления, воспоминания, дневники. М., 1983. С. 118).

6 Концерт давался в пользу немцев Поволжья (см. письмо № 607).

7 Неустановленное лицо.

8 См. также об этом в письме № 607.

9 Смирновы приготовили Нейгаузу дефицитные сахар и чай, Пастернак отдал ему свой, сказав, что это от Смирновых, потому Зинаида Николаевна может их продукты взять себе.

607. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

10-17 июня 1931, Москва

10. VI. 31

Родной мой друг, Марина, вот уже несколько лет, что я тебе не писал по-настоящему. Дела у меня обстоят так. Женя с Женичкой (сыном) в Берлине или Мюнхене. Это Роллан помог, без него не добиться бы мне паспорта1. Отец в письме называет Женю подстреленной птицей, и о глазах мальчика говорит, испуганных, недоумевающих. Страшное письмо, равносильное проклятью, с воспоминаньями о разговорах в Ясной Поляне, времени иллюстрированья Воскресенья, вероятно справедливое в отношеньи меня, и недалекое, не выдерживающее никакой критики в житейской своей философии. Ему 70 лет. Недавно он перенес тяжелый грипп, с осложненьем, угрожающим его, — художника, зренью. Ему запрещено читать и волноваться, и вот он берет и пишет такое письмо, на двадцати страницах. Такое, т. е. после которого мне кажется, что у меня с ним было два разговора: один — всю жизнь, другой — в этом письме. Он обращается ко мне, как к разоблаченному недоразуменью.

И добро бы шел этот гнев на меня, преступника, об руку с любовью к пострадавшим. Но к ужасу моему я в словах его прочел боязнь, не свалено ли все это ему на шею, — и тут сердце у меня сжимается за своих, потому что ни на что, кроме нравственной поддержки и развлекающего участья я в их сторону не рассчитывал, матерьяльно сам обеспечу (и частью уже сделал) и, значит в главных своих надеждах, быть может обманулся. А между тем никогда уехавшие не были мне так безоговорочно близки, во всей чистоте, как сейчас, когда полу-сон, полу-обман совместного су-

ществованья прорван, и можно человека ценить во весь рост и понятное тепло к нему совершенно бескорыстно. А о сыне?2 — Когда вера в то, что жизнь не оставит его своею милостью, крепка до осязанья. И не пойми меня превратно: все это при том, что я неотвратно буду думать и заботиться о них, и больше и лучше, чем когда, и впервые свято. И вновь свижусь.

Но покамест там мрак и печаль и мала надежда, что Женя поможет мне, что она произведет усилье и улыбнется наконец: сперва природе, потом себе и затем мне, и мы сдружимся (как я этого хочу!) и она увидит... Но пока это маловероятно, и я ошибся в своей родне: там некому ее этому научить.

И были самоубийственные волны в другой семье. Но Нейгауз человек высочайшей закваски; этот-то знает, что надо совладать, на то и брат мне, и, кажется, постепенно овладевает собой. Тут много подробностей, усугубляющих тягость испытанья. Во-первых, при жилкризисе все это происходит на старых нетронутых квартирах, а ты знаешь, что значит в таких случаях голос вещей, когда изо всех оглядок нужно рвануться в одно оздоровляющее завтра, а кругом вещи, и тут оказывается, что их развитье останавливается на последнем потрясеньи, и они только помнят и жалят и жалобят и ничего не хотят. Итак, ездил он концертировать, и оттуда слухи являлись — едва что-то не случилось, и я снаряжал ее к нему3. Так на два дня сам попал в Киев. Вернулся в Москву, — З<инаида> Н<иколаевна> осталась в Киеве, а я на другой день с Гладковым и еще кое с кем поехал в Магнитогорск4 (на Урале), это уговорено было раньше и вдруг срок подошел, когда я и думать позабыл о затее. Но не выдержал забот, тревог и призраков на зауральском, еле преодолимом почтою расстояньи, и всю поездку в смех обратил, повернув с трех суток пути из Челябинска (не доезжая 300 верст до Магнитной).

Погоди, если это тебе неинтересно. Существенное впереди, и объяснит также, почему пишу. Но прежде всего. Возможность любить так, как позволяет она всем своим прирожденным складом, перекрывает все несчастья. Она совершенно как я, но в молчаливом своем явленьи еще более просветлена инстинктом, еще менее опорочена рассудком. Почти то же место „в жизни, та же тень в тот же час.

Итак она в Киеве с одним из сыновей, я только что с Урала, мне сейчас туда нельзя, у меня куча запущенных дел, Гаррик (Генрих Густавович) — в Москве, на той же, опустевшей квартире, я с Урала приезжаю в день его концерта5, знакомые просят не ходить к нему, чтобы не волновать, на концерте почти лежу на стуле, скрытый спинами, чтобы не заметил. Он играет совершенно неслыханно, с неожиданностями такого полета, что право авторства самим звучаньем переуступается от Шопена и Шумана ему, он побеждает такое страданье, что, скрючившись, я реву и ноги готов ему целовать, думая, что меня не заметили. Но в антракте меня зовут к нему. Я говорю, что его на руках надо отнести с концерта. Потом он идет к устроителям (концерт благотворительный в пользу немцев Поволжья) и, сговорившись, мы сходимся в 3-м часу ночи у общих друзей (Асмусов). Потом светает. Замечают, как я разбит трехсуточной дорогой. Но нет сил даже подняться. Тут (странная логика) пристают — почитать тебя. Появляется Крысолов. Опять потрясаюсь твоей силой, твоим первенством. «Как гениально!» — слышится со всех сторон. «Гениально. Гениально», — твердит вполголоса Гаррик, — я гляжу, — все лицо мокрое, — слушает, улыбается и плачет. Это Асмусовский экземпляр, у меня ничего твоего нет, раздавалось, возвращалось, отдавалось вновь и вдруг не вернулось, и не всегда помню, ктб. В шестом часу уходим, Генр<их> Густ<авович> забирает Асмусовского Крысолова с собой. Сейчас звонит (и это толчок к письму). «Да, знаешь, я все утро читал. Какая высота! Какой родной, единственно нужный человек, единственно необходимый!» —

Письмо пролежало неделю. Даже успел чернила сменить. Вдобавок к рассказанному: тебя везде знают. В Челябинске на трак-торстрое подошли 2 молодых человека из Комсомольской Правды, — спрашивали о тебе, знают Крысолова. — Сейчас я один в Москве. Зимой у меня резко переменилась жизнь. Теперь, когда я остаюсь надолго один, я почти мешаюсь в уме, так полно взорваны все связи с рядовою равнодействующей, со сговоренностью общежитья. Опять какая-то подлинность (в идеале) стала единственным делом. В апреле я страшно легко написал несколько простых стихотворений, одно за другим, и писал бы все лето, если бы 3<ина> не уехала, а потом и я не сунулся в эту поездку. Дела продержат меня еще тут до конца месяца. Потом я заеду за ней в Киев и мы поедем на Кавказ6. На днях пошлю тебе вторую часть

«Охр<анной Гр<амо>ты». Ее по-видимому будут переводить7. Впервые за все эти годы стал подумывать о твоем возвращеньи, представил его себе. Пришли мне свое о Маяковском8. Ася дала третью или четвертую подкладную копию (от руки) абсолютно слепую, — читать, как музыкальную пьесу собирать из лоскутков по полтакта. Что если бы ты вздумала написать мне не откладывая, и тогда, — в КиеЁ. — Ул. Гершуни (бывш. Столыпинская) 17/ 19 кв. 9 Зинаиде Ник. Нейгауз для меня.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 171).

1 Роллан ходатайствовал за Пастернака перед Луначарским, который помог получить заграничный паспорт (см. письмо № 583).

2 В ответ на письмо № 579 с посылкой «Баллады» и рассказом о разрыве с Б. В. Пастернак Цветаева писала: «Баллада хороша. Так невинно ты не писал и в 17 лет — она написана тем из сыновей (два сына), который крепче спит. Горюю о твоем. Но — изнутри Жени, не мальчика. Какое блаженство иметь тебя — отцом раз, тебя отцом на воле — два. Если он твой — ему лучшего не надо» (там же. С. 534).

3 З. Н. Нейгауз уехала в Киев 12 мая 1931 г.

4 Пастернак ездил к ней 24 мая, 28-го уехал в Магнитогорск, 7 июня вернулся в Москву.

5 Об этом концерте см. в письме № 606.

6 Пастернак с З. Н. Нейгауз и ее сыном Адрианом выехали в Тифлис 10 июля 1931 г.

7 Из планов Горького перевода «Охранной грамоты» на разные языки ничего не вышло.

8 Цветаева написала стихотворный цикл «Маяковскому», был опубликован в журн. «Воля России», 1930, № 11-12.

608. З. Н. НЕЙГАУЗ

13 июня 1931, Москва

13. VI. 31

Дуся золотая, препровождаю тебе письмо Яшвили1. Все идет так, точно обстоятельства сами думают за меня. Позавчера я получил твое письмо с отказом насчет Преображенского, вечером — телеграфировал тебе, вчера утром пришло это письмо с Кавказа. Чтобы облегчить тебе разговор с И<риной> С<ергеевной>, я сам отправился к ней и сказал, что после таких заманчивых предложений и думать грех о Киеве, и, таким образом, летние предполо-женья, которые тебе не по душе, отпали уже тут, на месте, до ее встречи с тобой, и так что И. С. думает, что это все (особенно пе-ремена с Ляликом) — мои козни. Но она в обиде на тебя, что ничего ты ей не писала, и слова мои о том, как ты измучена, цели не достигают.

Теперь о времени поездки. Мне потребуется еще около недели для улаженья своих дел. Думаю, не больше. Но то, что так хотелось тебе и мне, совершилось. Мы опять как

братья с Гарриком. И вот я узнал, что 28-го он собирается к своим в Елисаветград2, и это ведь через Киев. Теперь я связан тем, что это мне известно. Не только уезжать с тобой из Киева до этого срока, но и появляться там до него или при нем невозможно: первое возмутило бы его, второе — растравило. Ни того, ни другого я не могу позволить себе при естественно вернувшейся моей нежности к нему. Эту бережность очень трудно дозировать. Но человек, который ее вызывает, ее сейчас заслуживает. Я ему верю и верю в него. После концерта он неузнаваем. Страшно одухотворен, полон планов, хочет работать. Снова говорил о твоем письме, и на этот раз так, что я почувствовал угрызенья совести по поводу моих слов тебе в прошлом письме. Он теперь так сказал о душевной высоте твоих строк к нему, которых он без слез читать не мог, точно это чем-то хорошим оборачивается и ко мне. Если он это выдумал, то все равно его участье трогает и пристыжает меня в минутно допущенной ревности.

Теперь о Кавказской программе. Вот несколько пояснений. Борис Николаевич — Андрей Белый3. (Но его не будет там, он — в Детском Селе.) Григ. Робакидзе4 — глава всей возродившейся грузинской поэзии, нечто вроде Бальмонта или Брюсова по возрасту, значенью и совершенной далекости мне. Я его видел несколько лет т<ому> назад в Москве, и он ничем особенным меня не пленил и никакой симпатии не вызвал. Странно с такой предпосылкой пользоваться кровом того же человека. Но я изложил свои сомненья И<рине> С<ергеевне>, и мы решили с ней, что наплевать, тем паче что он в Берлине и это его ничем не коснется. Предложенья Яшвили слабы только тем, что слишком хороши. Как смогу ограничу степень своей материальной обязанности им, чтобы осталась одна вольная, товарищеская признательность и ничто нас не связало. Но программу выполним, это, наверное, захватывающе величаво все и живописно,— походим, поездим, не правда ли? В конце концов я этому страшно рад. А ты? Они все страшные красавцы там и рыцари. Без конца целую тебя. Ты мне там изменишь.

Весь твой Б.

Хотел послать тебе посылочку с И. С, но побоялся затруднить. 18-го едет Ушаков5, злоупотреблю его любезностью. Письмо Яшвили верни, пожалуйста (вложи в письмо), мне оно потребуется для ответа после твоих замечаний.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. 3. Н. Пастернак: «Из Москвы в Киев».

1 Письмо с приглашением в Тифлис, далее Пастернак поясняет некоторые детали программы, которую предлагает Яшвили.

2 В Елисаветграде жили родители Г. Г. Нейгауза.

3 Яшвили предполагал приезд в Грузию Андрея Белого, который был там в 1928 г. Но Пастернак знает, что Белый не собирается в Тифлис, а уехал в Царское Село.

4 Григорий Робакидзе уехал за границу, в его квартире жили Пастернак с 3. Н. Нейгауз.

5 Николай Николаевич Ушаков — поэт и переводчик, Пастернак познакомился с ним в Ирпене в 1930 г.

609. 3. Н. НЕЙГАУЗ

14 июня 1931, Москва

14. VI. 31

Ангел мой, ангел мой, люби меня крепче, пиши мне, не оставляй, — чем буду я без тебя! Стыдно, но не могу скрыть: ничего не делаю, бездарнейше и бесцельнейше бьюсь над уже сделанным и читанным тебе и обоим А<смусам> (первомайским), заменяю отдельные слова, чтобы потом опять, как в большинстве случаев, вернуться к первоначальному наброску1, и временами впадаю в слабо-умье от страшной, не мной рожденной, мной не пахнущей, со стороны внушенной, вынужденной тоски. Так

действуют вещи, стены дома. Так легло на душу письмо отца2. Так действуют представленья о Жене и соображенья о Гарриковой поездке. И плохо сплю.

В письме этого не объяснить, но не хочу оставлять необъяс-ненным. Это хуже тоски по тебе. Последней я не боюсь. Я люблю тоску по тебе, в ней и ты и я, и не знаю, кого из нас больше. Я не могу забыть тебя, мне нечего бояться, что вдруг вспомню и ужаснусь, что позабыл.

Но под моей тоской кроется другое забвенье, забвенье нашего смысла и права забвенья того, что приходит ко мне от тебя и вооружает и оправдывает и чего я не могу вообразить в одиночестве, без тебя, когда при мне остается только мое чувство к тебе и прекращается новое знанье, которым ты это чувство питаешь.

Однако, если бы я был тут только один, я бы с этой тоскою справился. Между тем люди задают вопросы. Их интересует, как мы устроимся. Они ждут каких-то благоразумных планов. Благоразу-мье же, располагающееся завтраком на месте предшествовавшего благоразумья, есть убийство, освещенное мещанским попусти-тельством. Убийцами по отношенью к Г<аррику> и Ж<ене> мы не были и не будем. Та жизнь не кончилась, не пресечена ничем, не сменена. Наше с тем даже и не соприкоснулось. Зарево, которым облита истекшая зима, ничего общего с людскими представленьями не имеет. Счастье, в нем заключенное, не по их специальности. Его слагают две вещи. Твое бессмертье женщины и бессмертье моего пониманья тебя3. На их благоразумные вопросы я должен был бы ответить. Мы будем счастливы, не тревожьтесь. У нас все будет. 1де мы устроимся? Везде и навсегда. И если бы я смел так отвечать Шуре, Вл<адимиру> Ал<ександровичу> и Ирине Серг<еевне>, мне не было бы так тоскливо.

Сегодня утром видел Горького. Не просился, вышло случайно. Принял почти что с нежностью, веселый, свежий, крепкий — любо-дорого глядеть. Про Охранную Грамоту: «густо, яростно, замечательно!» На английский язык переводить будет его жена, М. И. Закревская (бывшая баронесса Будберг)4. Перевел через него для Жени 3000 марок, неоценимая любезность, почти подарок. Лялечка! Обвиваю тебя руками, не разнимаю, и хоть в бездну. Ах, как люблю тебя, путеводная моя!

Хотел письмо в руки дать Ир<ине> Серг<еевне>5, но лучше опущу в ящик почтового вагона.

Твой Боря

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. З. Н. Пастернак: «Написано в Москве в Киев».

1 Имеется в виду стих. «Весенний день тридцатого апреля...» (1931). В раннем варианте «Начало дня тридцатого апреля...» входило в цикл «Гражданская триада», посланный из Грузии В. Полонскому, было опубликовано в «Новом мире» (1932, № 5).

2 См. об этом в письме № 607. Там же об угнетающем действии вещей и домашней обстановки.

3 См. о бессмертии в стих., обращенном к З. Н. Нейгауз: «И рифма — не вторенье строк, / А гардеробный номерок, / Талон на место у колонн / В загробный мир корней и лон» («Красавица моя, вся стать...», 1931).

4 Мария Игнатьевна Будберг — жена Горького, переводчица; в 1927 г. предполагался ее перевод «Детства Люверс» Пастернака, издание которого не осуществилось, также не удалось перевести и издать «Охранную грамоту».

5 И. С. Асмус, которая уезжала в Киев.

610. З. Н. НЕЙГАУЗ

18 июня 1931, Москва

18. VI. 31

Горячо любимая моя,— подумай, что за наказанье! Больше недели не получаю от тебя ни слова, дичаю от тоски и ни за что не могу взяться, а тем временем лежит на почте то твое письмо, что по приезде Смирновой писала (о Жене, об отце и пр.). И только полчаса назад узнаю об этом по повестке, угадываю от кого, лечу, сломя голову, доплачиваю 20 коп., выкупаю Лялину руку и голос, и читаю, и не знаю, куда деваться от нежности.

Друг мой, друг мой, смертельно любимая, довольно о чувстве. Я знаю — я виден и ясен тебе. Среди дел, задерживающих меня в Москве, есть и такие. По переезде на новую квартиру Шура должен будет сдать свою площадь, в обмен на новую, в жилищный городской запас (в Руни). Это произошло бы осенью, в наше, может быть, отсутствие, и кто-нибудь бы вселился по ордеру в таком близком соседстве. Я хочу выпросить эту комнату для себя, но не знаю, как это сделать, вероятно, напишу письмо Калинину, потому что никаких законных оснований претендовать на эту комнату у меня нет1. Я хочу, чтобы ты жила тут, после того, что я этого добьюсь. Я хочу, чтобы это было первым нашим, или хотя бы только твоим, пристанищем после Кавказа. Если ты увидишь, что жизнь наша в такой постоянной совместности начинает расходиться с твоей мечтою, я переселюсь от тебя куда-нибудь, т. е. найду себе комнату еще где-нибудь, но начать нужно с чего-то твердого для тебя, а то все висит в воздухе и ничего не ясно. С будущей зимы начнем подыскивать квартиру в обмен на эту Волхонскую, но ничего этого без тебя я не могу предпринять, потому что речь идет о квартире для тебя и твоем дальнейшем устройстве, и до этого у меня все будет валиться из рук, потому что я это ты и вне тебя меня нет, как это ни печально.

Зачем ты пишешь о возвращеньи Жени? Разве тебе не ясно, что, когда она бы ни задумала приехать, ей будет куда и мы оба с тобою об этом позаботимся? Но зачем ты меня, и в предположении, от себя отделила?

Мой друг, разлука наша затянулась. Нельзя оставлять друг друга без писем, я чумею без твоих,— и мы их друг другу пишем. Я слишком часто повторяю тебе в них о том, кто ты, и как это меня волнует, и как высоко подымает надо всем, что я знал до сих пор. Когда я говорил это тебе в нескольких шагах от тебя, то говорил от удивленья, поражаемый превосходством всякой новой минуты с тобою над той, что ей предшествовала. Я говорил о том, что удивляло и тебя, я говорил за тебя, мы давали имя чему-то общему. Было две-три ночи, когда я теперь плакал от невозможности быть с тобой. Но ничто это и в сравненье не может идти с тем, что возможно только рядом с тобой, и лучше мне не повторять того, что ясно само собой и не нуждается в напоминанье. — Меня задерживает тут ожиданье денег из Ленинграда. Если бы ты позволила, я бы приехал и до 28-го, по их получении.

Безобразное письмо это писал ужасно второпях, отвезти согласился Ушаков.

Иногородние письма оплачиваются теперь 15-ти копеечной, а не 10-копеечной маркой, как раньше, я тоже этого не знал, когда опускал письмо со вложеньем Яшвилиного. Дошло ли оно?

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. 3. Н. Пастернак: «Послано из Москвы в Киев».

1 Руни — Районное управление народным имуществом. Пастернаку удалось оставить эту комнату для себя, по этому поводу он писал: «И вот я вникаю на ощупь / В доподлинной повести тьму. / Зимой мы расширим жилплощадь, / Я комнату брата займу» («Кругом семенящейся ватой...», 1931). См. также письмо № 611.

611. П. П. КРЮЧКОВУ

21 июня 1931, Москва

21. VI. 31

Дорогой Петр Петрович!

Вероятно, это бессовестно с моей стороны и Вы откажетесь вникнуть в эту новую мою просьбу, — это будет заслуженным мне уроком и докучаньям моим таким образом будет положен конец.

В своих фантазиях я зашел даже так далеко, что хотел было просить Вас минут на пять к себе, где на месте все уяснилось бы гораздо скорей и убедительней.

Я занимаю остаток бывшей отцовской квартиры, людно уплотненной чужими, на мою долю осталась бывшая его мастерская, которую я переделил пополам неоштукатуренной звукопроводящей перегородкой и занимал с семьей, в комнате рядом, последней к выходу, живет семейный брат. Осенью он переедет в кооперативную квартиру, сдав свою площадь Руни, и ее заселят по ордеру, вот меня и страшит эта перспектива.

Никаких формально-законных оснований для расширенья моей площади у меня нет, да и реальных притязаний на это не явилось бы, если бы не близкое вероятье новых людей, нового шума и постоянного хожденья за стеною, почти фанерная тонкость которой превращает весь образ жизни моей на этом большом, количественно, квадрате в какой-то сквозной, проходной образ1.

Расставшись, но не разведясь юридически с женой, я связал судьбу с другим человеком. У нее двое детей.

Мы будем жить вместе, но по многим причинам это не мате-рьял для регистрации, по крайней мере в наиближайшее время.

Когда я был у Алексея Максимовича, я признался на прощанье, что не только его редкое отношенье ко мне, но и приязнь общества пока что кажутся мне незаслуженной милостью: до сих пор я ничего стоящего не сделал. Но все эти годы я боролся с пустым и бездушным формализмом, водворяющимся в стихах, где его трудней разоблачить, прочнее и легче, чем в прозе, и с трафаретнейшим, безлич-нейшим разрешением боевых актуальных тем. Хорошо ли, плохо ль, но какое-то понятье поэзии, которым мы в России обязаны в последнем счете Блоку, я старался сохранить. Далось мне это (не в смысле работы, а в отношеньи судьбы и положенья) нелегко.

Со мной случилось много неожиданного истекшей зимою. Работать мне хочется горячей, чем когда, и надежней, чем когда-либо, мои планы и расчеты. Опять-таки в разговоре с Алексеем Максимовичем, окрылившем меня своим одобрением, я сказал о предположенном романе, начало которого однажды напечатал и дальнейшее исполненье откладывал с году на год. Это неотлож-нейшая моя задача на ближайшую зиму2.

В работе этой окончательно выяснится, справедливо ли мненье, будто чужд я духом нашему времени и обязательна ли, т. е. является ли единственно возможной комментация, которая его захватывающему величью дается.

Но ничего этого я не смогу сделать в изменившихся условиях, которые принесет осенью законное теченье дел. И для того чтобы их уладить законно (подыскать и обменяться квартирой и пр. и пр.), потребуется время.

Не допустима ли хотя бы в виде блажи, уже полуоправданной, и которую я, может быть, оправдаю в будущем полностью, мечта об оставленьи братниной комнаты в мое пользованье (как много бы я в этих улучшившихся условьях сделал!) и не мыслимо ли удовлетворенье этой мечты в исключительной какой-нибудь форме, в виде временного, что ли (на год), даренья?

Я хочу об этом написать кому-нибудь (может быть Калинину?), и не знаю кому, и хотел бы об этом посоветоваться с Вами.

Я говорю, что думаю: у Вас достаточный авторитет, и беспокоить Алексея Максимовича не надо. Помогите мне в этом, не обращаясь к нему, мне хочется поговорить с Вами. Я позволю себе позвонить Вам дня через 3—4.

Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

Впервые: Собр. соч. Т. 5. — Автограф (Архив Горького, ККр. л. 12 8/6).

1 См.: «Перегородок тонкоребрость / Пройду насквозь, пройду, как свет. / Пройду, как образ входит в образ...» («Волны», 1931).

2 Речь идет о «Повести» (1929), опубликованной в «Новом мире» (1929, № 8), которую Пастернак считал началом романа.

612. И. А. ГРУЗДЕВУ

25 июня 1931, Москва

25. VI. 31

Дорогой Илья Александрович!

Вот и снова беспокою Вас по деловому поводу. Писал Алянскому, чтобы избавить Вас от беспокойств, но от С<амуила> М<ироновича> ни ответа ни привета1. Это тем более удивительно, что в личной беседе с ним я предупредил его в конце мая о вероятно-неизбежном у меня осложнены! к середине июня и заручился его обещаньем, что к этому сроку все будет выяснено и улажено без моего напоминанья. Вот к чему сводится просьба моя: мне хотелось бы, чтобы мне ответили, в каком отношении должны измениться мои расчеты.

Все это очень досадно.

Меня зовут на Кавказ, и поездка откладывается из-за неизвестности и, связанным с этим ожиданьем, отсутствием денег.

Я ездил с бригадою на Урал, но видел один Челябинск, а до Магнитогорска не доехал. Мне очень легко писалось в апреле и жалко было расставаться с инерцией, более чем обычно, но, вероятно, обманчиво, как всегда, что-то еще обещавшей.

Я не представляю себе, чтобы и она могла передвигаться в пространстве вместе со мною, и мыслил оставшеюся дома в Москве.

Ради нее я и повернул оглобли, и по возвращеньи домой об этом пожалел, потому что и следа ее не застал на городской квартире. Теперь мне кажется, что, опередив меня, она пробралась на Кавказ.

Как чудно было бы, если бы издательство помогло мне и ускорило мою поездку.

Мне надо торопиться.

Мне страшно хочется работать, и правда, что-то сейчас происходит со мной. Но к этому истинно-наличному прирастают какие-то лишние придатки, вздорные, хотя и временно лестные толки, ложные ожиданья, много чего, — а я никогда ничего так не боялся, как ложной судьбы, параллельной истинной. Единственная причина, почему я никогда не выступаю с эстрады, восходит к раннему и однажды вовремя сделанному наблюденью. Это удавалось мне, и я поразился легкости, с какой снискивается тут успех, и тем, как легко при этом заводится вторичное, витринное существованье, навсегда разлучающее с теми трудностями жизни, без которых не было бы у ней и красоты.

Я испугался фальши этой облегченно приукрашенной биографии и сделал отсюда несколько выводов, перешедших в привычку2.

Я боюсь, что и сейчас волна преувеличенного дружелюбья опередит основанья, вызвавшие эту симпатию, и хотел бы нагнать ее движенье, чтобы остаться собой и не стать больше себя. Вот мотивы моей торопливости.

Это пишу я Вам, Илья Александрович, и Вы выставили бы меня в глупейшем свете, если бы в сказанном прочли одну осложненную аргументацию в пользу скорейшей присылки денег. Крепко жму Вашу руку. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Звезда», 1998, № 8. — Автограф (Архив Горького, ФГ 8.8.20).

1 Самуил Миронович Алянский — заведующий редакцией «Изд-ва писателей в Ленинграде», с которым велась переписка по поводу издания «Охранной грамоты» и собрания сочинений.

2 В своем выступлении на III пленуме правления Союза писателей в 1936 г. Пастернак сказал: «Товарищи, давно-давно, в году двадцать втором, я был пристыжен сибаритской доступностью победы эстрадной. Достаточно было появиться на трибуне, чтобы вызвать рукоплескания. Я почувствовал, что стою перед возможностью нарождения какой-то второй жизни, отвратительной по дешевизне ее блеска, фальшивой и искусственной, и это меня от этого пути отшатнуло» (Т. V наст. собр.).

613. З. Н. НЕЙГАУЗ

26 июня 1931, Москва

26. VI. 31

Ляля моя, кому и рассказать мне свои печали, как не тебе. Расскажу, и мне станет вновь легко, точно ничего не бывало. Но боюсь, как бы не забеспокоилась, не опечалилась и ты. Так вот не делай этого, Ляля, Люляся моя, друг мой, дыханье мое, благодатнал чудная моя опора. Перечтя перечень моих несчастий, ты вспомнишь, что именно последние мелочи повергают меня в унынье, и, найдя их недостаточными для того, чтобы разумный человек падал духом, не станешь искать других причин, чтобы объяснить себе мое настроенье... Не делай этого, дуся моя, я расскажу тебе все как на исповеди, точнейше и безо всякого остатка. Ты удивишься, улыбнешься пустяковое™ моих беспокойств, и я засмеюсь вслед за тобою.

Началось с того, что числах в двадцатых, после твоих новых писем, я так пропитался твоим присутствием, что апрельская волна ожила вновь, я кое-что набросал и, набрасывая, увидел ближайшее, что надо сделать вслед. И тут еще пошли удивительные твои письма, в душевной беспредельности которых я терялся взглядом до головокруженья, милая, чудная моя. Быть с тобою в работе и в ежедневных письмах к тебе стало для меня ревнивой потребностью жизни. И вот для меня, верно, большим горем, чем следовало бы, являлись помехи, когда меня отрывали. Писем каждое утро ты от меня не получала, они стали редки, это первым стало убивать меня. Да и поэтический разгон был сорван и повис в воздухе.

Затем я стал узнавать из твоих писем об Ире1. Чутьем легко было догадаться, сколько у нее средств терзать тебя, если она бы пожелала расстаться с совестью, истиной и тем, за что она выдает себя. И чтобы не перебирать последовательно всех звеньев моего нараставшего страха за тебя, коснусь одного заключенья, которым все это завершилось. В<алентин> Ф<ердинандович> читал мне ее письмо. Он боялся прочесть его, и если я повторю слова его, что, мол, узнав содержанье, я приколочу его, то лишь в том смысле, какой и могут они иметь: ему известно, чтб все это для меня значит. Тем лучше все это известно и ей. Она пишет, что я для нее утерян и никогда этого ей не прощу, «потому что Зина для Б. Л. — святыня». Самым ужасным, что она сделала, она сама считает свои советы тебе, чтобы ты не вмешивалась в творчество Б. Л., потому что ничего не понимаешь в литературе2. Она права: более низкой махинации в своей ненависти против меня она бы не могла придумать. Именно твое вмешательство — не только красоты твоей и души, но и вкуса,— пробудило меня к деятельности и опять сделало поэтом; лишить меня этого вмешательства значит убить. Наконец, она уверяет В. Ф., что между вами все время происходило недоразуменье. Будто бы выгораживала она меня и вступалась за мое достоинство, ты же так ее понимала, будто она говорит гадости обо мне. Знаю, дуся,— вранье и нелепость. Не только не нуждаюсь я ни в какой защите против тебя (!), но, что гораздо хуже: она сама это прекрасно знает. Она знает, что все, что я писал о Маяковском, я писал обо мне и о тебе3. Она знает, что готовности прожить хотя бы год с полной выраженностью всего,

что значит жизнь, с тем чтобы потом умереть, нельзя найти в себе по своей воле, и эту возможность должен дать другой человек, редкий, как достопримечательность, она знает, что этот гениальный толчок исходит от тебя. Она знает, что если собрать все, что ей снилось годами, сложить и умножить на бесконечность, на горячий коэффициент действительности, — получишься ты. Она знает, что свое «пониманье литературы» она должна возвысить, для того чтобы на каком-то уровне встретиться с тобою в каком бы то ни было разговоре на тему обо мне и тебе и нас обоих друг для друга, а она съезжает черт знает куда, и другого объясненья это кроме ее ненависти ко мне иметь не может, потому что она знает также (и отсюда ее просьба к В. Ф. показать письмо мне), что еще прямее, чем тебя, все это ранит меня. В первый момент я вздохнул облегченно, узнав, что вы разорвали и она больше не будет мучить тебя. Но спустя некоторое время я ужаснулся одной мысли, которая теперь преследует меня. Все ли отравленные острия успела ты вытащить, не преуспела ли она в самом для меня страшном и преступном своем: не разлучила ли она нас обоих духом? Будешь ли ты и дальше так просто и доверчиво окрылять меня и поддерживать своей помощью и советами, как раньше, не вольется ли оглядка, расчет и осторожность в твои мысли обо мне после ее подлых слов!

Но я почти не верю в то, чтобы такая плевая случайность могла подрыть и подорвать мое счастье.

И, наконец, последнее. Это я узнал вчера, а мне вперед наука. В рассеянности своей и незнаньи своих дел я дошел черт знает до чего. Я не только не записывал никогда своих получек, но дошел до того, что перестал забирать в издательствах и копии договоров. Сейчас должны выйти «Поверх барьеров» в новом издании и «Спекторский». При выходе оплачивают последние 40% гонорара.

Недели полторы назад, сверх ожиданий, я узнал, что за «Поверх барьеров» мне ничего не полагается, потому что сумма эта ушла в погашенье судебного весеннего иска (помнишь?)4. Оставались расчеты на «Спекторского», в размере 1300 р., и меня в этих расчетах поддерживала барышня в Худ. отделе, очень милая и ревностная, пока дело не перенесли в бухгалтерию к выплате, где вчера вдруг выяснилось, что они давно в разные сроки забраны мной и даже перебрано лишнего на сто с чем-то рублей. А мне даже нечем проверить, так это или не так, и в голове такой хаос по этой денежной части, что единственными островками среди него и являются те цифры и сроки, что он мне называет, хотя я их и не помню, потому что вообще по этой части не помню ничего. Вчера я себя чувствовал по этой причине очень неважно. Но ты не огорчайся. Никаких перемен в летних планах это не вызовет, и как хорошо, что предложенья из Грузии скорей говорят о лете материально более легком, чем затруднительном. Но я боюсь, что у тебя нет денег уже и сейчас, а я задержусь еще тут дней на 5—10. Кроме того, в расчете на «Спекторского» я стал приставать к Гаррику с просьбами, чтобы он от меня в теченье года принял что-нибудь вроде тысячи или больше, в целях большей независимости от консерватории, и хотя в этих просьбах не преуспел, но ссудил его мелочью (100 р.), — он заболел расстройством желудка, очень острым, после одной выпивки у Н. И. Игнатовой со Шпетом5, куда я (для него) привел Замятина, — и то, что я вдруг отступил в своей настойчивости насчет денег — очень странно, а рассказывать ему об этой неудаче нельзя. Так же нельзя сказать этого и дяде Вале6, потому что, хоть он и не сможет не поверить мне, но после вашей ссоры это будет носить такой характер: «А, вы так обходитесь с моею святыней, — подавай назад деньги!» Хотя теперь мне эти 300 р. очень бы пригодились7 и их мне достать после столь долгого сиденья без проку в несколько дней не легче, чем было бы ему. Но со всем этим, дуся моя, я справлюсь, лишь бы ты утешила меня. Скажи мне, что ерунда все это, что с этой неудачи ты не начнешь бояться моей непрактичности или житейски

во мне сомневаться. А главное — рассей мои опасенья насчет Ириного влиянья на тебя. Я давно приурочивал свой отъезд к первому июля. Но временами я надеялся, что ускорю его. Лишь в этом отношеньи я обманулся — этого не случится. Но это и не затянется хоть сколько-нибудь заметно, ты увидишь. Да, дуся моя, ведь я и не сказал тебе того существенного, ради чего утомил тебя этим скучнейшим разбором. 1) В бухгалтерии надо было тут же что-нибудь придумать, чтобы выкрутиться из беды, и я так был перепуган, что ни до чего своего, в предположеньях, не решался коснуться из страха, не переплочено ли и тут. И вдруг вспомнил о твоем заработке и как из чего-то вернейшего и надежнейшего испросил 500 р. из денег за «Избранные», за твой отбор8, с чувством, что прошу их у тебя. И получу.

Ир<ина> Серг<еевна> дивится молве вокруг нас и «тень» за это набрасывает на тебя так же, как весной за это винили меня.

Опять подход убийственный, в мещанских рамках — идеально благородный, но в наших — принижающий и несправедливый, как был бы упрек музыке, зачем она слышна. Наш праздник больше человеческого и не принадлежит нам — мы собственность времени, за что оно и греет нас своим до осязательности близким, материнским дыханьем. А о толках (вероятно, и эти распускаю я?). — Будто конфискован № Нового мира с моими стихами9. Будто у Горького было собранье писателей, очень шумное и чуть ли не кончившееся дракой, и всех шумнее вел себя я. А в основанье последней утки вот какое действительное происшествие. 30 мая, когда я был в Челябинске, здесь в Москве происходило собранье у Горького10, действительно шумное. В состоянии задора и в виде вызова лицам официальным Ал. Толстой и Вс. Иванов провозгласили тост за меня, как за «первого нашего поэта», все же смотрели в сторону наркома по просвещенью Бубнова, который сказал, что я «не с ними», т. е. не революционный. Ал. же Толстой кричал, что его доведут до того, что он станет монархистом, — заявленье в присутствии правительства довольно смелое, и пр. и пр.

Лялюся, ангел, вот тебе в ответ на Ирины подлости11: Эти плохие и малозначащие стихи углубятся и станут лучше, когда за ними последуют другие, о том, как ты будешь учить меня и чему научишь. Прости за гадостные эти строки, — обнимаю тебя.

Звонил Гаррик, ему лучше, завтра будет у меня и собирается работать. Послал (я) телеграмму в Ленинград о деньгах, запрашиваю и здесь. Кажется, скоро все поправлю, не беспокойся12. Крепко обнимаю тебя.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо из Москвы в Киев».

1 И. С. Асмус.

2 З. Н. Нейгауз писала Пастернаку 28 июня 1931: «Вдруг она стала грубо и резко кричать, что какое право я имею судить о стихах, когда я ничего не понимаю, что она меня не узнает, что ты меня испортил, что я уже смею говорить, что стихи Пастернака лучше, чем его проза и так далее».

3 Имеется в виду 15-я глава третьей части «Охранной грамоты», посвященная встрече Маяковского с Вероникой Полонской: «Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего».

4 Судебный иск Ленгиза, переведенный на «Звезду», по поводу аванса за несостоявшееся издание «Спекторского».

5 Наталья Ильинична Игнатова была ученицей и близким другом философа Густава Густавовича Шпета, в семинаре которого Пастернак учился в 1910 г.

6 Так называла В. Ф. Асмуса Ирина Сергеевна или сокращенно: «Дя-вик» (детское произношение дочери И. С. — Машеньки).

7 В. Ф. Асмус, занявший у Пастернака 300 руб.

8 Речь идет об авансе за «Избранные стихи» в изд. «Федерация», в составлении которых принимала участие З. Н. Нейгауз. См. в письме к З. Н. Нейгауз № 596: «...сообщи, если хочешь, что избранными обязан тебе, что ты это сделала, что я этим счастлив». Книга вышла в 1933 г.

9 В «Новый мир» был отдан цикл стихов, написанных в апреле, опубликован в № 8, 1931.

10 Горький 30 мая 1931 г. собрал у себя враждующих между собой «пролетарских» писателей и «попутчиков», но примирения не произошло.

11 Приведена первонач. редакция стих. «Кругом семенящейся ватой...».

12 Деньги были добыты, и 27 июня 1931 г. Пастернак посылал З. Н. Нейгауз 100 рублей: «Дорогая Зиночка! Письма своего не закончил поцелуем и подписью, отправляю спешным. Страшно боюсь, что без денег ты. Прости, что перевожу так мало. В придачу к перечисленным, узнал про новую неприятность, у Елизаветы Михайловны. Надо будет помочь, а дело очень тонкое. О как хочется наконец быть с тобою, слышать тебя, думать с тобою, работать. Не сердись на меня, что по моей вине так глупо сложилось твое лето. Все поправлю. Пиши. Сердечный привет Р. Г. и огромное ей спасибо. Часто думаю написать ей» («Второе рождение». С. 130—131). Р. Г. — Раиса Григорьевна Перлин, приятельница З. Н. Нейгауз, приютившая ее в Киеве.

614. З. Н. НЕЙГАУЗ

28 июня 1931, Москва

Любушка, прелесть моя неслыханная. Я знаю, что хотя я хуже Гаррика, и даже сравнивать ни с чем не смею твоей большой и истинной жизни с ним, но что твоя встреча со мною перемещает твою судьбу в какую-то более ей сужденную и более ее выражающую обстановку не благодаря мне, а той случайности, что с детства я поглощен тем самым, из чего ты вся соткана, тем настоящим, что условно и после многих видоизменений зовут мировой поэзией и что посвящено слушаныо жизни и женщины в глубочайшей их первопородности, как воздух предназначен для передачи звука. Это я знаю, это несомненно для меня, что, стало быть, с твоей стороны это не ошибка, что что-то старинное, давнишнее, какой-то твой врожденный лейтмотив освобождаются и получают власть при этом, что какие-то вещи, казавшиеся слабостями или ошибками и отложившие в жизни нечто подобное рубцу, неожиданней-шим образом оборачиваются к лучшему и вдруг показывают свой метанный смысл, которому можно радоваться и которым можно дышать и гордиться, что весы судьбы, в большинстве случаев болтающиеся во все стороны и так, что их движенье перестает что-нибудь выражать и ничего не доказывает, выравниваются у тебя в соседстве со мною и начинают ходить по одной плоскости, вырастая в одно спокойное измерительное показанье, когда твоя жизнь начинает означать тебя почти так же прямо, как в детстве, — тебя и твой удивительный, тебе неведомый и до слез меня поражающий душевный вес. Это я знаю.

И я знаю, что так, как я люблю тебя, я не только никого никогда не любил, но и больше ничего любить не мог и не в состоянии, что работа, и природа, и музыка настолько оказались тобою и тобой оправдались в своем происхожденье, что — непостижимо: что бы я мог полюбить еще такого, что снова не пришло бы от тебя и не было бы тобою. Что ты такое счастье, такое подтвержде-нье давно забытой моей, моей особенной способности любить, такая разгадка всего моего склада и его предшествующих испытаний, такая сестра моему дарованью, что именно чудесность этого счастья именно ты, невероятная, бесподобная, боготворимая (сколько лет прошло, и ты все-таки оказалась на ceemel) и я увидел тебя и пишу тебе и буду жить, немыслимо золотою этой жизнью с тобою, и умру с твоим именем на губах!), —

именно ты своей единственностью даешь мне впервые чувство единственности и моего существования. И это я знаю еще проще и тверже первого.

Но когда приходят твои письма (зелеными чернилами, например, с приложеньем Яшвилиного), твоя бездонная непосредственность и сердечность превышают мои ожиданья. Ты настолько оказываешься совершеннее того большого, что я думаю о тебе, что мне становится печально и страшно. Я начинаю думать, что счастье, которое кружит и подымает меня, предельно для меня, но для тебя еще не окончательно полно. Что я не охватываю тебя, что, как ни смертельно хороша ты в моем обожании, в действительности ты еще лучше. Что этот избыток остается за краем, где тебе печально, потому что твое превосходство надо мною заброшено в одиночество, куда мне никогда не достигнуть и не забросить моей радости, моей человеческой и художнической служб<ы> тебе. Что того счастья, какое даешь и будешь давать ты мне, мне тебе не дать. Ну а вдруг я еще вырасту, в погоне за этим твоим последним.

Как удивительно ты пишешь, как плохо себя знаешь, как мало ценишь! — До сих пор все это было разговором с твоим письмом, с его музыкой. Я должен был сперва ответить ему, прежде чем отвечать тебе на него. Потому что и его хочется целовать и невозможно не восхищаться, как тобою. Но тебе я отвечу на словах при встрече. Потому что в письмах я впадаю в мучительное многосло-вье. Что оно непростительно для писателя, так это с полбеды. Но оно недопустимо перед тобою. Оно искажает так много молниеносно-подлинного и прямо вызванного тобою! Эти искры говорят о твоем ударе и могли бы тебя радовать, из моих же песен ты узнаёшь о них меньше, чем если б я молчал.

Но вкратце: письмо отца наводило на меня унынье, пока я не узнал, что мне удастся удвоить сумму, находящуюся за границей для Жени1. Тогда от этой печали не осталось ни следа. Ничего живого сверх вечной дружбы я для Жени сделать не в силах, их мне неоткуда взять. Из моей жизни, сейчас удесятерившейся, я хочу делать одну тебя, и если бы ее стало во сто раз больше, все равно этих средств мало для такой цели и их всегда будет недоставать. — Ты права, что что-то свихнулось у меня в душе по приезде сюда, но если бы ты знала, до какой степени это вертелось вокруг одной тебя, и как вновь и вновь тебя одевало в платье из моей муки, нервов, размышлений и пр. и пр. Я болел тобой и недавно выздоровел и про все это расскажу тебе устно. Но чтобы выраженье «выздоровел» ты не поняла превратно, — вот в чем было дело. У меня был досуг при редких для работы, условиях, и свежа была память об апреле, когда я отхватал больше тысячи, едва замечая, как это делалось2, — я должен был теперешний досуг употребить с пользой, кроме того, мне страшно хочется умножить твои стихи и увидать осенью твою книгу, и вот я с ужасом убеждался в том, что это не выходит и мне разлуки с пользой не употребить. Я почувствовал себя как-то матерьяльно винова-тым перед тобой, и это чувство преследовало и терзало меня. Я понял, что я неотделим от тебя и был болен этим чувством, пока считал его виной пред тобою, до самого недавнего времени, когда вдруг то же чувство неотделимости показалось мне моей си-лой и правотой пред тобою и все во мне просветлело. Так я и выздоровел. И едва я извинил это состоянье, как само собою это открытье стало мне темой, и поэзия вернулась, точно прощенная, и тут я стал прочно навсегда звать тебя женою, тем самым словом, которому ты противишься в письме и с которым я теперь не могу расстаться, потому что я так полюбил его на тебе, как звуки Зина и Ляля, и это имя моего выздоровленья, и оно значит окончанье повести, и выход с тобой через революцию к какому-то последнему смыслу родины и времени3, и нашу будущую зиму с тобой, и нашу, через год, заграничную поездку. Люблю, люблю, душу тебя в своих объятьях, кончаю в слезах, любимого слова не навязываю, во всех устройствах буду следовать за твоей мечтой.

Телеграфируй, дошло ли письмо, не только в пространстве, сижу в ожиданье денег, как будут, выеду4. Будь счастлива и спокойна.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 59). Датируется по содержанию. Примеч. 3. Н. Пастернак: «Написано в Киев в 31 г. из Москвы».

10 письме отца, «равносильном проклятью», см. в письмах № 606 и 607. Горький обещал Пастернаку, что немецкое издательство Густава Кип-пенхейера, который еще в 1928 г. переписывался с Пастернаком и хотел его издавать, выплатит аванс за перевод «Охранной грамоты». См. письмо №599.

2 Из тысячи строк апрельской лирической волны осталось 9 стихотворений, положивших начало будущей книге «Второе рождение».

3 Первонач. назв. «Повести» как начала романа было «Революция» (см. письма № 470 и № 499: «В целом, может быть назову «Революция», если к лицу будет»).

4 На первой неделе июля Пастернак дважды телеграфировал 3. Н. Нейгауз в Киев: «Ляля моя, болел, были неудачи. Билетов нет. Жди десятого. Напиши. Грустно». «Ура! Дела поправляются. На днях увидимся. Рвусь. Соскучился. Целую = Бедный Боря» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 2, ед. хр. 428).

615. П. П. КРЮЧКОВУ

14 июля 1931, Тифлис

4. VII. 31

Дорогой Петр Петрович!

Жена в Мюнхене и вот адрес, по которому надо перевести деньги: Frau Eugenie Pasternak Laplacestrasse 6 Munchen 271.

Сегодня написал Kiepenheuer'y и сообщил адрес Марии Игнатьевны2, но, может быть, ошибся, потому что был неуверен: Koburstrasse, или Koburgerstrasse 1. Думаю, это неважно и разыщут. Верю, что не оставите хлопот, а то они попадут в ужасное положенье (и к тому же после посещенья А<лексея> М<аксимовича> я их слегка обнадежил), и горячо вперед Вас благодарю.

Ваш Б. Пастернак Мой адрес: Тифлис, ул. Джугашвили 7, кв. Паоло Яшвили.

Впервые. — Автограф (Архив Горького, КК р. л. 12 8/6). Авторская дата ошибочна, датируется по содержанию. Пастернак приехал в Тифлис 14 июля 1931 г.

1 Письмо написано в первый же день приезда в Тифлис. Пастернак писал о разговоре с Крючковым Ломоносовой: «Я... никогда не уехал бы на Кавказ, если бы его (Горького. — М. Р., Е. П.) секретарь (обещанная сумма от переговора к переговору все таяла) не дал мне слова, что я могу ехать спокойно, и известие о переводе 1000-чи марок вероятно застанет меня по прибытьи в Тифлис» (письмо JSfe 622).

2 Предполагалось, что М. И. Будберг будет переводить «Охранную грамоту» на немецкий для Kieppenheuer Verlag.

616. Н. И. АНОВУ

29 июля 1931, Коджоры

29. VII. 31

Дорогой Николай Иванович!

Посылаю Вам 4 стихотворения. Если можно, напечатайте их в одном номере, не разрознивая. Вчера получил деньги. Благодарю Вас.

Что с Белым, с его женой и другом?1 Если бы вздумали доставить мне радость и написали, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.

Здесь чудно к нам относятся люди, описанные в «Ветре с Кавказа»2. Близко сошелся с двумя, — П. Яшвили и Т. Табидзе, — первого, Вы, вероятно, знаете, — живые, основательные характеры, прекрасные друзья. Живем высоко над Тифлисом в Коджорах, в комнатах, которые раньше занимал Андр. Белый.

Я оставил дома 4-й № «Кр<асной> Н<ови>», не успев дочитать до конца части «Коня и Кэтеванны», там помещенной. Но прочитанное очаровало меня своей теплотой и поэтической свежестью. Тут знают Сослани. По случайности рядом живут его друзья. Первое, что я услыхал, войдя в дом, было имя Кэтеванны3. Мне о ней говорили. Передайте ему мой привет.

В посылаемом нет еще ничего о Кавказе, но я тут недавно. Думаю, таковое последует и осенью привезу. Также постараюсь приправить чем-нибудь общественным. Это, может быть, и на-дошлю.

Николай Иванович, выправьте, пожалуйста, ремингтон, если будут перестукивать, и тщательно выверьте гранки, чтобы не было опечаток, — стихи написаны четко, и просьба моя, хотя и навязчива, но выполнима.

Крепко жму Вашу руку. Кланяйтесь, пожалуйста, Евгении Владимировне. В. В., Л. М. и А. А. — сердечный привет4. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак Тифлис, Коджоры, гост<иница> Курорт, комн. 8.

Впервые. — Автограф (ЦГА РК, ф. 440, оп. 1, д. 481).

Николай Иванович Анов — главный редактор журн. «Красная новь», где Пастернак печатал «Повесть», «Спекторского», «Охранную грамоту». Посланные вместе с письмом стихи «На улице войлока клочья...», «Никого не будет в доме...», «Ты здесь, мы в воздухе одном...» и «Опять Шопен не ищет выгод...» были включены в № 9 «Красной нови», 1931.

1 А. Белый с женой в апреле 1931 года переехали в Царское Село, где 30 мая была арестована К. Н. Бугаева. Белый ездил хлопотать в Москву, и 3 июля она была освобождена.

2 В книге А. Белого «Ветер с Кавказа. Впечатления» (М., 1928) описано знакомство с Паоло Яшвили, «одним из крупнейших художников слова, красой поэтической Грузии», как писал о нем А. Белый, и Тицианом Табидзе — «сердечным вулканом, бьющим пламенем в мысль» (С. 145,166).

3 Речь идет о повести Шалвы Сослали «Конь и Кэтеванна». Кэтеван-на — детская любовь героя повести, посвященной воспоминаниям детства.

4 Е. В. Муратова и другие редакторы «Красной Нови».

617. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

30 июля — 6 августа 1931, Коджоры

30. VII. 31. Родная моя Жоничка, какую ты мне радость доставила своим письмом, как нуждался я в нем!

Сейчас я точно в первый раз в жизни пишу тебе, так много у меня и кругом изменилось. Как ни нежны бывали мои письма к вам, как ни почтительны к родителям, я их всегда писал с высоко-мерьем спокойной совести, как старший младшим.

Сейчас же я обращаюсь к тебе в совершенной сконфуженно-сти полного счастья. Оно в каком-то смысле делает меня ребенком, таким простым и ясным я никогда в жизни не бывал.

Место, где мы живем, считается детским курортом. Тут много детворы кругом. Старший мальчик З. Н. с нами. Я ежедневно без счету думал о Женичке. В долгой неизвестности, предшествовавшей твоему письму, я всей кровью сердца оценил, какой он бесхитростный и нежный, как не по-детски несебялюбив и отзывчив, как, по-видимому, заслуженно, что как бы это меня не мучило, — я ничего не знаю о нем. Как благодарить тебя за письмо? И как, какими словами или делами, — за вашу заботу?

Знаешь, Жоничка, только теперь я измерил, что как бы тих и скромен не был человек, его скромности никогда недостаточно перед лицом жизни. Он делает вид, что знает ее, чтобы не запутаться и сохранить достоинство в неизвестной обстановке. Тут решающим остается его самолюбье. Но когда любишь со всей безоговорочной

естественностью, без всякого труда и сомненья, — правда становится дороже всего, и она так много дает, что самолюбье было бы тут вредною помехой. Тогда, оставаясь в тех же гостях, в гостях у жизни, чувствуешь себя так тепло принятым ей, так по-братски, что забыв про защитный этикет, гостишь у нее откровенным невеждой. Но у восхищенья этого есть своя оборотная сторона.

Когда десять раз на дню я поражаюсь тому, как хороша З. Н., как близка она мне работящим складом своего духа, работящего в музыке, в страсти, в гордости, в расходованьи времени, в мытье полов, в приеме друзей из Тифлиса, — как, при большой красоте и удаче проста и непритязательна и пр. и пр., я никогда не могу отдаться этому восхищенью совершенно неомраченно.

Значит ли из того, что она так прекрасна, что Женя дурна? О никогда, никогда! — И как беспредельно был бы я счастлив, если бы большинство человеческих голов не было устроено, как учебники формальной логики, и для них всякое положенье не означало бы основанья для вывода, исключающего противоположное утвержденье.

Нет, нет, всякий раз, устрашаясь этого рассудочного духа, призраком витающего повсюду и сосущего силлогизмы изо всего живого, я в одиночестве, когда З. Н. на полдня уходит с сыном вниз, чтобы мне лучше работалось, и я всего удивленнее думаю о ее прелести, я всегда с тоской останавливаюсь у этой убийственной черты, обязательной для черствых дураков, и с виноватой нежностью думаю о Жене, и всю ее вновь с первого дня перепроверяю1.

Клянусь жизнью той же З<ины>, самого высокого и дорогого, что есть у меня на свете, — мне Жени не в чем упрекнуть. Я душевно люблю ее, она ни в чем не виновата. Но, — положа руку на сердце, — не виноват и я, что жизни устроить мы не сумели. Другими словами — и не надо бояться этих слов, любить так, как надо, чтобы делить в нашем случае существованье, мы друг друга не любили. И наверное, в этом виноват я, но с другой стороны, зачем стал бы я заводить эту вину, если бы она не завелась естественно? Так или иначе, но мы любили друг друга как-то по-другому, и так, хочу я сказать, как это возможно только сейчас, существуя врозь, открыто и широко дружа и ничем не вызывая друг во друге ощущенья даром понесенной и другим не оцененной жертвы.

Говорю тебе я это не зря. Примириться с тем безмолвным отсутствием Жени2, при котором получается так, точно я вычеркнул ее полностью из жизни, выселил с земли, отлучил от воздуха и собственным приговором сослал в несуществованье, я не в силах. Даже и сознавая, что все это неправда, я этой неправды не снесу. Если бы мое счастье было меньше и мельче, оно вооружало бы меня против этого несправедливого обвиненья. Меня бы по-мещански и слишком по-мужски раздуло бы от счастья и, побагровев от него, я стал бы недоступен этому обличительному призраку. Но я именно с того и начал, что счастье мое так велико, что разоружает меня и уравнивает с природой, что оно наделяет меня чувствительностью травы. Я хочу, чтобы ты знала, что власть Жени надо мной выросла, а не уменьшилась, что у ней есть возможность снова сделать несчастной себя и меня. Я не могу предугадать новых форм этого несчастья, потому что старые — совместная жизнь — уже испробованы и больше неповторимы. Но я хочу сказать, что измора чужим страданьем я не вынесу и внутренне солгу, но ему уступлю. И это тем мыс-лимей, что человек, с которым я связан, внутренне подобен мне и душевно свободен, т. е. способен к самопожертвованью, и так же, как и я, не роняется никаким видимым «позором». И все равно, все равно. Может быть и его поработят жалостью. Все равно, говорю я, как бы ни хотелось мне делить с ним одни радости, это будет снова только он, с кем я буду делить, если заставят, страданья.

А теперь о моих мечтах, которые я бы назвал планами, если бы был самонадеяннее. Я обязательно приеду к вам будущим летом с З. Н, если она согласится, если пустят нас, если мы будем живы. Так или иначе, я заявлюсь к вам. К этому времени, в теченье зимы, я постараюсь сделать все, что может дать работа, чтобы впервые успешно реализовать западные возможности. Каким счастьем было бы, если бы к тому времени Женя справилась с болью и простила меня. Если бы она не то что вернула, а обрела совершенно новый и завидный мир в большой дружбе со мною во все изумительное, небом данное нам человеческое «ты». Только тут, в этой обстановке чистого и взаимно восторженного доверья, можно было бы впервые увидать и решить, как нам жить и расти всем дальше, как воспитывать детей и что им сказать.

1. VIII. 31. Я не стану рвать написанное выше, но я себя им измучил. Мне все кажется, Женя смотрит со стороны и думает: и эти холодные слова, — это все, что осталось у него для меня? От нашей жизни, ото всех этих десяти лет? — Если можно, ничего не показывай ей. Знай ты одна, что все эти страданья временны, и, дайте срок, я все, все, все поправлю. Вот именно. Прими, что я ничего не писал тебе и не напишу, и что это воображаемое молчанье я себе позволяю не из беззаботности, а по двум основаньям. Оттого, во-первых, что слова ужасны в таких случаях: скажи я, что в горе о Жене и люблю ее (что очень близко к правде), — получилась бы бессмыслица: стали бы напрашиваться выводы, означающие общее несчастие для всех и прежде всего для меня, и потому неисполнимые; скажи я, как я и сделал, и, что еще ближе к правде, как я сейчас живу, и эти слова получают видимость холодной безжалостности в отношенье Жени, страшно дорогой мне. Во-вторых, такое отмалчиванье я могу себе позволить, потому что вы тоже люди, и как-то знаете меня и что-то должны себе представлять о том, кто я и как живу и как мне. И наверное это всего ближе к правде.

Страшно жалко, что Шура, и в особенности Ирина ничего не писали вам. Они много видели и знают и, как судьи, беспристрастны. И, что всего важнее, они любят Женю.

Но я знаю, что дико, безбожно, неслыханно стеснил вас и - и.

Ах, что тут сказать!

Не говори о письме ничего и Женёночку.

Я как-то по-своему (на посторонний взгляд, может быть, и дико) продолжал свой разговор с ним и Женею. Папино письмо и особенно просьба не писать Жене испугали меня, я ему поверил, наступил перерыв, и теперь у меня нет духа к ним обратиться. Прежде это было естественно, по-родному, и я не знал, что это бессовестно. — Теперь...

Временно тяжелой, а потом счастливой для всех развязкой явилась бы моя смерть. Но сейчас я не могу.

И как по-другому бы написал я тебе, если бы: 1) не папино письмо, 2) не сдержанно-измученный и скрытно-отстраняющий тон твоего; и 3) если бы с нами не был старший мальчик З. Н., вспышьчиво-эгоистичный и в отношеньи матери — грубый тиран. Наносный налет на прекрасном в своей подоснове ребенке, но — налет усвоенный в семье и издалека дающий картину жизни, непривычно противоположной нашей, втроем. И всякой новой вспышкой своего нестерпимого своеволия через противоположнейшее себе, через образ Женички, заставляющий меня вновь и вновь любить на расстояньи всех нас троих и втроем: Женю, Женёнка и меня: нашу жизнь.

И как по-другому бы написал я тебе, если бы со мною была только она, — лицо, характер, участь и назначенье, которые с такой силой собирают все женское воедино, как это было в Магдалине3, — если бы со мной было только то, что я любил всю жизнь и вдруг нашел. И тогда бы это было действительно письмо отсюда, из Грузии, с ее

красотами, с ее редким, неслыханным к нам обоим отношеньем, не щадящим ни сил, ни времени, ни крупных средств.

Мой адрес Тифлис. Коджоры, гостиница Курорт, комната 8.

6. VIII. 31

Горячо благодарю тебя за письмо, дорогая Жонюра, я страшно нуждался в нем и очень скучал по своим и за них беспокоился, ничего о них не зная. Ты мне эти мученья облегчила. Я написал тебе в ответ длиннейшее письмо, и оно неделю пролежало в Коджорах над Тифлисом, оно при мне, но я его не отсылаю4, потому что там была попытка растолковать тебе то, что у нас произошло, и этого нельзя сделать без логики, логика же менее всего уместна в случаях, подобных нашему. Потому что в ее формах получает характер злых счетов или роковых констатации разговор о том, что всего менее на это похоже.

Мне хорошо, Жоничка, — я никогда так не любил Женюру и Женечка, как сейчас, и верю и знаю, что им обоим и всем близким будет скоро так же хорошо, как мне, и во всяком случае лучше, чем в прошлом. Что во всяком случае все кончится светом и добром, ты увидишь. Больше ничего не хочу прибавлять, хотя рассказать есть много чего, потому что боюсь человеческой привычки принимать все с обязательными выводами из сказанного, а привычке этой подчинены и ты, и Женя, и все наши.

Только одно. Я знаю, как вам всем трудно, какими заботами я вас всех обременил и как стеснил. Тут я должник неоплатный и преступник, которому нет оправданья. Но и это, и это где-то как-то возместится.

Верь мне, верь мне, друг мой, и прости и поцелуй всех-всех.

Твой Боря

Пусть не думают, что я им чужой или они мне чужие, что они стали хуже и дальше, или я. Все выправится, все осветится и уяснится, и это не слова.

Отсюда мне трудно написать толковее, для этого надо быть дома. Но это не первое мое письмо к тебе и во всяком случае всего яснее показало мне последнее перед этим, которого я не отсылаю, что с умом писать об этом значит без сердца, а сейчас без сердца я ни существовать, ни думать не могу. И много, много его у меня для всех, для самых близких, для моей семьи, для вас. Обнимаю. 2>.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Аналогичная ситуация отразилась в записи на первой странице рукописей тетради со стихами из «Второго рождения»: «Тревога о Зине в отношении Гаррика и о Женичке и Жене. Коджоры. Зина с Адиком на лугу».

2 После письма отца, потребовавшего, чтобы Борис не писал Е. В. Пастернак, переписка между ними прекратилась полностью.

3 Образ евангельской Марии Магдалины нашел отражение в стихах к роману «Доктор Живаго», 1949 г.

4 Речь идет о первом письме, 30 июля — 1 авг., все-таки посланном в одном конверте с последующим, 6 авг. 1931.

618. К. А. и В. П. ПОЛОНСКИМ

6 августа 1931, Коджоры

Дорогие Кира Александровна и Вячеслав Павлович!

Часто думаю о Вас обоих. Все похоже на сновиденье, — боюсь проснуться. Живем в Коджорах под Тифлисом, живописно, прохладно, дышится легко, отдыхаем, гуляем, — отдохнем, будем много ездить. Тем временем работаю. Окружен заботами новых друзей, отношеньем, похожим на фантасмагорию. Помните, часто конфузился у нас на Севере, смущаемый волной незаслуженной симпатии, — (хотя бы Вашей). Но здесь так сильно и явно хвачено через край, что пружина перетерлась и я, кажется, освинел: слушаю, терплю, допускаю. Это о страдательной стороне местного пребыванья, и, по-

нятно, я чувствовал бы себя несчастным, если бы деятельное восхищенье двумя семьями — Яшвили и Табидзе, при всей его невыска-занности, не перевешивало того, что мне от них приходится выслушивать. Однако отнюдь это не Восток, не экзотика; страшно свои люди, к которым сразу же стал питать братское чувство. Простые, воспитанные, образованные, нешумные. Очень привольно. Если бы не квартирные перспективы (переезд брата, освобожденье комнаты... я рассказывал Вам), не думал бы до поздней осени о Москве.

Покуда еще ниоткуда писем не получал, сюда до десяти дней в конец почта1.

Кира Александровна, — пока Сварог2 меня таким дураком выставлял, а Ашукин3 произносил революционную речь с неуясненным заключеньем, я пообещал Вам Женин адрес, и, кажется, его Вам не оставил. Спасибо Вам большое за желанье ей написать. Вот он, адрес: Frau Eugenie Pasternak, Laplacestr. 6, Munchen 27, Германия. Ничего о ней с Женичкой, как и ни о ком из тамошних, не знаю, просил брата исподволь извещать из Москвы, ничего пока не получил, сказывается расстоянье. — Вячеслав Павлович, прилагаю (в дополненье к 9-ти стихам, у Вас имеющимся) — Гражданскую «триаду»4. Обнимаю Вас.

Преданный Вам обоим Б. И

Впервые: «Путь», 1995, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1328, оп. 5). Датируется по содержанию (по упоминанию цикла стихов «Гражданская триада»),

1 Далее 10 строк тщательно зачеркнуты чернилами другого цвета — скорее всего, адресатом. Можно разобрать первые слова: «В Киеве рассказали...». Можно предположить, что в зачеркнутых строках — отголоски сведений об инспирированном властями голоде на Украине.

2 Василий Семенович Сварог ездил вместе с Пастернаком в составе писательской бригады под руководством В. П. Полонского в начале июня 1931 г. в Челябинск. В дневнике Полонского есть запись, служащая комментарием к этому эпизоду: «У меня на вечере, хорошо выпив, Сварог превосходно пародировал Пастернака в бытность его в Челябинске. Пастернак загрустил. Сидел, опустив голову, глаза грустные. Губа отвисла. "Неужели я такой идиот?" — спрашивает меня» (начало июля 1931; РГАЛИ, ф. 1328, б/шифра).

3 Николай Сергеевич Ашукин — историк литературы, критик, поэт.

4 Посланный Полонскому для публикации в «Новом мире» автограф «Гражданской триады» датирован 6 авг. 1931 и сохранился в собр. В. Г. Ли-дина. В цикл вошли стих.: «Весенний день тридцатого апреля...», «Столетье с лишним — не вчера...», «Будущее! Облака встрепанный бок!..».

619. С. М. АЛЯНСКОМУ

12 августа 1931, Тифлис

12. VIII. 31

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

Так как все три письма: открытка, заказное с договором и спешное с гранками1 пришли сюда одновременно, то не удивитесь, если и мое спешное отправленье пропутешествует дней восемь-десять.

Распорядитесь, пожалуйста, чтобы все исправленья были сделаны аккуратно и попутно не повлекли новых опечаток.

Обложку дайте, пожалуйста, простую, строгую, одноцветную, без иллюстративных украшений, смещений или изломов2. — Сколько авторских листов оказалось в книге?3

Договор подписал. Не знаю, местная ли это особенность Кавказа или это волна вдруг усилившегося всеобщего вздорожанья, действие которой я наблюдаю тут на юге, но тут совершенно фантасмагорическая дороговизна, не менее чем вдесятеро против весны обесценивающая мои заработочные ресурсы. Если такой скачок случился и у нас

на севере, я должен буду по возвращеньи в Москву подумать об изменении своих тарифов, что сделают верно и все, так что я в одиночестве не останусь. Хотя, если бы это наблюдалось повсеместно, Вы такой катастрофический рост цен учли бы в договоре и сами (я уверен), — я предпочел бы договора на следующие томы подписать через месяц-полтора по возвращеньи в Москву, где мне все было бы виднее.

Деньги (300 р.) за «Охр<анную> Гр<амоту>» получил, благодарю Вас. Обещанные 400 (по договору за 1-й том) прошу выслать при первой возможности. Я в них нуждаюсь4.

Благодарю Вас за все и крепко жму руку.

Уважающий Вас Б. Пастернак 12. VIII. 31. Тифлис Коджоры, гостиница Курорт, комн. 8.

Впервые. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 412).

1 Имеются в виду договор на первый том собрания сочинений, подписанный 2 авг. 1931, по которому была представлена рукопись объемом 3000 стих, строк, и корректуры «Охранной грамоты», печатающейся в «Изд-ве писателей в Ленинграде».

2 Обложка была сделана художником М. Кирнарским: разделенная на две половины — черную и синюю, прямой простой шрифт: по верхнему краю — имя автора, по нижнему — название.

3 В изданной книге после цензурных сокращений осталось всего 4 печ. л.

4 Не получив гонорара до своего отъезда, Пастернак извещал Алян-ского: «7. IX. 31 Глубокоуважаемый Самуил Миронович! На днях уезжаем из Коджор к морю, адреса еще не знаю, и до его сообщенья ничего мне сюда не отправляйте, когда же переберемся, и адрес установится, телеграфное сообщенье его будет в то же время просьбой об очередном переводе. Крепко жму Вашу руку. Всего лучшего. Ваш Б. Пастернак» (ИРЛИ, ф. 519, № 412). С середины сентября по середину октября 1931 г. Пастернак с З. Н. Нейгауз провели в поселке Кобулеты недалеко от Батуми.

19 сентября 1931, Кобулеты

19. IX. 31

Дорогая Женюра!

Весной папа написал мне возмущенное письмо, в котором не узнавал меня и почти что от меня отрекался. В нем был совет: не писать тебе, чтобы тебя не волновать. Я ему подчинился. Не стану говорить, чего мне стоило это вынужденное летнее молчанье. Говорить об этом не время, — ты об этом скоро узнаешь.

Из Москвы я спишусь о многом, если не с тобою, то хотя бы с Жонею. Как бы ни была удивительна Зина, как ни чудесны были места Кавказа, нами посещенные, как ни трезвы советы Шуры или папы, направленные к твоему спокойствию, не это, конечно, я предполагал, расставаясь с тобою: не прекращенье твоего существованья для меня, не наступленье полной неизвестности относительно Женички. Особенно ранящей, по своей бессловесности неведенья, была для меня разлука именно с ним, хотя вы никогда не являлись мне врозь, и этих чувств разделить нельзя.

Я не жду ответа на это письмо. Повторяю, — определенные сведенья и прямые расспросы будут из Москвы, когда я узнаю, могу ли я писать тебе без страха, что это отразится на твоем здоровый. Но 23-го — день рожденья Женички. Я не мог вообразить телеграммы, которая без помощи письма могла бы передать хоть что-нибудь из перечувствованного за это лето. Нет этого и в письме. Но в нем есть хотя бы мой голос, и он попадет к тебе и будет с тобою. Итак, до письма из Москвы, если ты позволишь.

С Женёнком заговаривать не осмеливаюсь. Обними и расцелуй его, и чем больше хорошего ты ему скажешь о нашем будущем, тем ближе будешь к правде. Обнимаю тебя. Твой Б.

Дорогая Жоничка!

Прочти, пожалуйста, это письмо и, если найдешь возможным, — передай его Жене. Мне очень трудно было без известий от вас. Из Москвы я запрошу тебя обо всем подробно и приведу в ясность денежные дела. Сейчас я на море близ Батума (в Кобулетах), откуда думаю возвратиться домой числа 10—15 октября. Краткость письма вызвана тем, что лишь сейчас получили комнату в гостинице и есть оказия через час отправить письмо с едущими в Тифлис.

Горячо благодарю тебя и твоих за сердечность в отношеньи

Жени. Много, много о чем напишу из Москвы. На Москву надеюсь как на каменную гору.

Крепко целую папу, маму, Лиду, Федю и деток.

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

621. С. А. АСИЛОВУ

15 октября 1931, Тбилиси

Не возьмет ли у меня «Заккнига» сборник новых стихов размером строк в 800—1ООО? У меня очень неудачно сложились обстоятельства с отъездом: вчера не успел зайти вовремя в издательство, сегодня заходил дважды, но у Вас выходной день. Наличную часть сборника (600 строк) оставляю Вам при записке1. Я уезжаю завтра утром в Москву, и денежно вероятно ничего сегодня не удастся реализовать. Но может быть мы договоримся в основном, и тогда договор и гонорар можно будет перевести в Москву. Между 2-мя и 3-мя зайду к Вам сюда (в Союзфото) сегодня. Хотелось бы застать Вас, или в случае невозможности, найти от Вас записку с ответом или указаньем, где и когда Вас сегодня искать.

С уважением Б. Пастернак

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 3. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3100, оп. 1, ед. хр. 346.). Датируется по содержанию. Пастернак уезжал из Тифлиса 16 окт. 1931.

Степан Алексеевич Асилов исполнял обязанности директора изд-ва «Заккнига».

1 Рукопись под назв. «Новые стихи» из будущей книги «Второе рождение» была отдана Г. В. Бебутову для перепечатки, в нее входили 12 стихотворений весны и лета 1931 г. (18 нумерованных страниц) и первонач. короткий вариант «Волн». На следующий день Бебугов приехал на вокзал с составленным договором. Пастернак надписал ему «Спекторского»: «Милому Г. В. Бебутову с лучшими чувствами на память о встречах в Тифлисе. 16. Х. 31. Б. Пастернак». Издание книги в Тифлисе не состоялось, рукопись сохранилась в собр. Г. В. Бебугова.

622. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

20 октября 1931, Москва

20. Х. 31

Дорогая Раиса Николаевна!

Вчера я вернулся с Кавказа, и первым из непересылавшихся мне за последнее время писем вскрыл и пробежал глазами Ваше.

Как всегда или часто, в Вас я нашел единственную поддержку в минуту, когда так в ней нуждался, что принял бы ее с любой стороны.

Весною Горький без какого бы то ни было побужденья с моей стороны затребовал у меня через секретаря одну мою рукопись1 с целью пересылки ее за границу и перевода на иностранные языки, и пообещал, в предвиденьи будущего гонорара, в недельный срок устроить выплату Жене довольно крупной суммы в 3000 марок.

Затем это стало задерживаться, затем я усомнился в осуществимости его литературной услуги, и ухватясь за сохраненье одной денежной, никогда не уехал бы на Кавказ, если бы его секретарь (обещанная сумма от переговора к переговору все

таяла) не дал мне слова, что я могу ехать спокойно, и известие о переводе 1000-чи марок вероятно застанет меня по прибытьи в Тифлис.

Ничего из этого ни в копеечной доле не сделано и по сей день, и это не было бы так обидно, если бы обещанья эти давались в ответ на какие-либо домогательства с моей стороны. Дело же в том, что, по многим причинам, я Горькому ничем не давал знать о своем существованьи в дни его приезда, и знаки его вниманья как с неба свалились на меня, — его никто за язык не тянул.

Я имел в виду по возвращеньи в Москву тотчас же повидаться с его секретарем. Случилось так, что Горький со всем своим штабом (и им в том числе) отбыл в Италию накануне моего приезда2, я это узнал на вокзале, от встречавшего меня брата. Короче говоря, первое, что меня ждало в Москве, это достоверное сознанье, что Женя сидит в Берлине без денег.

И Вы легко себе представите, какой драгоценной неожиданностью явилось Ваше предложенье. Посетив С<офью> А<лексан-дровну>3, я понял, что столько же, сколько Вам, обязан этой помощью и Юрию Владимировичу. Горячее же ему спасибо. Вчера я телеграфировал Вам в Кембридж о состоявшейся передаче4. Разрешите мне, если это возможно, внести и вторые, апрельские 500 р. на ближайших же днях. Если Вас затруднит реализовать их тут же осенью для Жени, то все равно, мне будет легче от мысли, что с моей стороны это уже сделано и этой возможности не грозит никакая превратность моего заработка. — Целую Ваши руки, Вы удивительный друг. Я не знаю где б я теперь был без Вас.

Еще большее Вам спасибо за сообщенье о Жене. Спасибо за то, что Вы догадались, как я нуждаюсь в нем, и какою мукой была мне полная о ней и Женёночке неизвестность, усугубленная обоюдосторонним молчаньем: родные просили меня весной вовсе не писать ей, если я дорожу ее здоровьем.

Я сегодня же хотел рассказать Вам все, перечувствованное за лето по их живейшему и самому дорогому в мире поводу. Но это целый мир, и этого нельзя сделать сегодня, сейчас же по свежем въезде в квартиру, запущенную так, как они запускаются только тут у нас, и о чем Вы не имеете ни малейшего представленья5. Может быть я это сделаю завтра или послезавтра. Не удивитесь, если письмо начнется сразу с них, главным образом с Жени. На сегодня же еще только вот что. Незаслуженным счастьем, о котором я мечтать не смею, было бы для меня, если бы Вы пожили с ней некоторое время вместе6. Пишу Вам на днях. Крепко любящий Вас 2>. Я.

Мне хочется также сблизить Марину Ив<ановну> с ней. Опять непобедимо естественная потребность, с виду вероятно кажущаяся.

Сообщите, пожалуйста, Жене, что 105 руб. родственнице Ро-зенфельд перевел7, квитанцию перешлите (прилагаю ее).

Первую попытку написать Ж<ене> поведу через Вас. Может быть даже сделаю вещь, не имеющую прецедента: письмо к ней проведу через Вашу цензуру, т. е. попрошу прочесть его и решить, увеличивают ли такие вещи печаль на свете или ее уменьшают.

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University).

1 По предложению Горького, Пастернак передал Крючкову рукопись «Охранной грамоты» для пересылки ее немецкому изд-ву Kieppenheuer VerlagBMae 1931 г.

2 Горький пробыл в России с середины мая до 18 октября 1931 г. и вернулся в Сорренто.

3 С. А Ломоносова, первая жена Ю. В. Ломоносова, которой Пастернак передавал деньги, компенсировавшиеся ему в марках Ломоносовыми.

4 Р. Н. Ломоносова 21 окт. 1931 благодарила: «Сейчас получила Вашу телеграмму. Спасибо. Жене послано недели три тому назад. Опять она пишет редко. Мечется, бедная» (там же. С. 188).

5 В ответ на эти слова Ломоносова писала: «Живем в квартире знакомых, уехавших на зиму в Шотландию. Квартира запущена и вот я мою, чищу, стряпаю» (там же).

6 «Живи мы меньше на бивуаке, звала бы ее усиленно сюда. Но климат, но новый язык, но неопределенность. А главное климат. Лондонская зима даже для людей с здоровыми легкими — трудна, а для Жени может оказаться совсем не по силам. Думала съездить в Берлин побыть с ней неделю, другую, но Чуба (сына. — Е. П., М. Р.) нельзя оставить» (там же).

7 Речь идет о просьбе Розалии Александровны Розенфельд помочь ее родственнице в Одессе с аналогичной компенсацией в Мюнхене.

21 октября 1931, Москва Глубокоуважаемый Петр Петрович!

Прошу Вас искренне сообщить мне, что именно помешало исполненью всех моих просьб, родившихся, как Вы вспомните, не самопроизвольно, а в результате пусть и незаслуженного, но тем не менее реально проявленного участия Алексея Максимовича. Все это имело место весною, Вы помните? Зачем же было обольщать меня ложными надеждами в таком для меня серьезном деле, как положенье моих близких?1

От мысли добится чего-нибудь в этом направленьи от Вас отказался окончательно, — Алексея же Максимовича беспокоить не хочу. Пишу для очистки совести перед тем, как обратиться к тому же человеку, который устроил отъезд моей жены и сына2, я должен лично для себя документировать полную исчерпанность всех других, и более близких, путей.

Но Вы мне все же ответьте. Одной невозможностью, при Вашем всесилии, Ваших неудач со мной не объяснить. Отчего же все это сложилось так загадочно обидно?

Прошу извинить за мою дальнейшую настойчивость, которая Вас уже более не коснется. Ее основанья понятны и простительны.

Не ищите в письме и тоне того, чего в них нет. Припомните объективные факты. Согласитесь, что мне есть чего устыдиться и о чем пожалеть. Как я смешон, вероятно, был Вам все это время!

Ваш Б. Пастернак

21. X. 31. Москва 19 Волхонка 14 кв. 9.

P. S. Прошу прощенья, если вместо того, чтобы благодарить, я подвожу итог части всей этой истории, не зная остальных: если я нахожусь в неизвестности о Ваших последних попытках, может быть успешных; если известие идет от Вас и меня еще не достигло.

Простите, простить меня в этом случае можно. Вы все знаете.

Впервые. — Автограф (Архив Горького, КК р. л. 12 8/6).

1 В том же фонде имеются еще два запроса Пастернака, посланные 14авг. 1931: «Дорогой Петр Петрович! Я уверен, что Вы не нуждаетесь в напоминаньи, и даже вероятно добились благоприятных результатов с деньгами для моей семьи. Припомните, что это лишь часть ранее обещанного, и если они не увидят и этой тысячи, не знаю просто, что с ними будет. Умоляю Вас, позаботьтесь об этом деле, а если деньги уже переведены, не откажите мне в этой радости, — известите меня об этом по адресу: Тифлис, Коджоры гостиница "Курорт", Пастернаку. Адрес же семьи следующий: Eugenie Pasternak Laplacestr. 6 Munchen 27. Сделайте это, пожалуйста. Мне кажется, я вправе Вас проеить об этом, это очень серьезно, это надо сделать. Крепко жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак». Разговор теперь идет только о 1000 марок, тогда, как Горький говорил о 3000; рукопись «Охранной грамоты» была отослана издателю еще в мае 1931 г. (см. письмо к З. Н. Нейгауз JSfe 609). Одновременно с письмом была

послана телеграмма: «Телеграфируйте или сообщите воздушной Коджоры Пастернаку судьбу книги и денег семье».

2 Имеется в виду А. В. Луначарский, с помощью которого удалось получить заграничные паспорта.

624. С. М. АЛЯНСКОМУ

22 октября 1931, Москва

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

Вчера я вернулся в Москву. Спешу принести Вам искреннейшую благодарность за быстроту и аккуратность летних сношений издательства со мной, особенно оцененную мною в дороге. Большое спасибо. Вы меня очень бы обязали, если бы сообщили мне, в каком положении все наши дела:

1) состоянье наших расчетов по сей день, 2) скоро ли выйдет «Охр<анная> Гр<амота>»1, 3) как задумано собранье (вплоть до внешних мелочей, как-то: план, формат, характер обложки и пр. и пр.)2. Вообще, напишите все, что знаете из касающегося меня и того, что Вам может показаться уже мне известным, так как при продолжающейся глухости моего режима менее всего о себе знаю я сам. Кроме того, я только что с вокзала. Если будет нетрудно, переведите также и взнос за октябрь. С нетерпеньем жду письма от Вас. Крепко жму Вашу руку. Еще раз большое спасибо Вам и товарищам!

Ваш Б. И

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. - Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 412). Датируется по почтовому штемпелю.

1 «Охранная грамота» отдельной книгой вышла в ноябре 1931 г.

2 Собр. соч. не было осуществлено, в 1933 г. был напечатан только первый том под названием «Стихотворения в одном томе», о внешнем оформлении изданной книги Пастернак писал Г. Э. Сорокину (письмо № 672).

29 октября 1931, Москва

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

Я Вам написал открытку так недавно, что удивляться отсутствию ответа еще слишком рано, и скорее наоборот, в надежде предупредить его и успеть задать Вам несколько новых вопросов, пишу Вам эти несколько слов. Главное. — Не думаете ли Вы побывать в Москве, и если да, то когда именно? Мне надо было бы с Вами о многом посоветоваться. Так, например, Спекторский, как говорят, разошедшийся в 6-ти тысячах в теченье полутора месяцев, и мне советуют его переиздать. Я не знаю, совместимо ли это с полным собраньем? В «Гихле» бумаги нет и верно, можно было бы их склонить отступиться от их дополнительных прав. Второе изданье можно было бы предложить Вашему Издательству или Федерации или Московскому Товариществу1. Можно ли все это сделать без вреда для собранья и как это поставить. Как-то надо бы этими и рядом аналогичных возможностей воспользоваться. На одни периодические выплаты Вашего издательства в их настоящем размере, мне не просуществовать. И пр. и пр. Напишите же мне.

Ваш Б. П.

Впервые. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 412). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

1 Второе издание «Спекторского» отдельной книгой не было осуществлено. Полный текст поэмы вошел в сб. «Стихотворения в одном томе» (1933), с восстановлением цензурных изъятий, сделанных в первом издании (1931).

626. Е. В. ПАСТЕРНАК

2 ноября 1931, Москва

Женюра, я много писал тебе. Это, — должна догадаться ты, — не первое письмо. Мы были с Зиной на Кавказе. Мы были также однажды там с тобой. Я был там с тобой и Женeнком, с вами, — моею жизнью1. — Я живой человек, Женюра. Ты легко догадаешься, как беспросветно грустно становилось мне временами при этих параллелях и воспоминаньях, как меня душили слезы при мысли о вас.

Воображенье должно подсказать тебе, что нечто подобное твоей печали творится и со мною, что в своем страданьи ты не одинока. Зачем я говорю это тебе? Для того, чтобы слабейшие стороны твоей души не завидовали мне, а лучшие и сильнейшие помнили, что пока ты страдаешь, это делается и со мной, что это страданье нас связывает; что у нас есть связь, что мы не чужие друг другу. И эта связь могла бы стать радостною связью, если бы ты помогла мне, если бы захотела понять, к чему я тебя зову.

Вчера мы разговаривали по телефону. Еще раз, — я живой человек, мой друг. Если бы это показали в кинофильме, посторонний разревелся бы. А я — участник, я кровью сердца ощущал вас там на этом страшном расстояньи, его и тебя, далеко, далеко, — я угадывал подробности того недоступного дня в Берлине, и как вы ушли, тени ваши на панели2. Как опустошенно тихо стало потом! Точно нас всех втроем утопили, и пошли круги по остаткам дня.

Ты легко догадаешься, чего мне это все стоило. Я не сразу овладел голосом. И ты, разумеется3. В чем же дело, друг мой?

Надо жить, надо совладать с этим. Дай мне помочь тебе так, чтобы что-нибудь получилось, а не так, как тебе это кажется единственно возможным в судорожности твоего огорченья. Помоги, помоги мне, а то я опущусь и в том новом и оставшемся напряже-ньи, которое у меня навсегда к тебе осталось.

Поезжай в Париж, если это надо4. Жаль, что придется Же-ничку взять из школы, не надо бы его трепать. Лучше было бы, если бы ты смогла ради него продержаться в Берлине.

Мы увидимся, сговоримся, — трудно писать. Мы увидимся либо там, либо здесь, это зависит от тебя, от хода твоей жизни, от того, подвинешься ли ты вперед в душевной крепости, или нет.

Главное, чего тебе недостает. Ты должна понять, что я не бросал тебя, что никакого пораженья ты не потерпела, а что, наконец мы сделали то, что пробовали сделать раньше. Что речь не о тебе, а о семейной нашей жизни, которая не удавалась нам и длящаяся неудача которой обижала тебя, а меня делала перед тобою без вины виноватым. Ты часто признавала надобность этого шага. Ты сама говорила, что мне надо уйти и сказала это в последний решающий раз5. Понимаешь ли ты, что я не упрекаю и не оправдываюсь, а только напоминаю тебе, что ты не жертва, что ты — участница, что пришли мы к этому сообща, и бывши равными, мы равными и остались.

Когда я все это вижу перед собой и охватываю со всем сердечным теплом, на которое способен, благо становится мысли-мее и ближе для всех нас в моих глазах, чем оно было раньше. Ну же, будь умницей и не падай духом. Когда-нибудь ты увидишь, как я был прав и как мне было больно в этой правоте, пока ты ее не признавала.

И все это будет легче при свиданьи, переписываться об этом нельзя. Напиши мне подробно о Женичке, в особенности, если ты действительно поедешь в Париж. Я хочу и могу писать ему, но чтобы говорить с ним совсем естественно, должен знать, в каком положенье мое письмо его застанет. Целую тебя. Счастливой дороги.

Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию, написано на следующий день после телефонного разговора с Е. В. Пастернак.

1 Имеется в виду поездка летом 1928 г. в Геленджик.

2 Е. В. Пастернак звонила в Москву из переговорного пункта.

3 Евгению Владимировну испугал звук голоса Пастернака. «Ты не понял, какой тоской был вызван этот звонок. Молю Бога, чтобы расстояние и телефон были причиной того чужого и холодного голоса, который я слышала», — писала она 1 нояб. 1931 после разговора (там же. С. 345).

4 Е. В. Пастернак собиралась в Париж по приглашению Эренбурга, но ее тоже одолевали сомнения: «В том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не знаю, зачем мне ехать в Париж, зачем таскать за собой Женю» (там же).

5 Речь идет о признанье Пастернака в середине января, после чего он ушел из дома.

627. Е. В. ПАСТЕРНАК

16 ноября 1931, Москва

16. XI. 31

Дорогая Женюра, мне очень трудно писать тебе: постоянно о тебе думаю и люблю.

Так когда-то я думал о Марине или любил весь Ирпень и это огорчало тебя. Теперь это огорчает Зину.

Ты не представляешь себе, в какой грусти обо всем случившемся я нахожусь почти сплошь. Хотя теперь она вызывается тобою, но это та же самая грусть, которая однажды так смутила тебя и И<рину> С<ергеевну> при чтеньи вступленья к Спекторскому.

Я себя никогда в достаточной степени не понимал, а то я был бы с тобой настойчивее. Помнится осенью в Ирпене я сказал тебе, что как бы я ни глядел в сторону, все же хорошо, что я твой муж, и ты должна была бы в сознаньи, что ты моя жена, черпать больше надежности, чем ты имела обыкновенье. Ты, разумеется, взорвалась; ты решила, что я предлагаю тебе гордиться мною. Я же и сам не знал, какой предосторожностью мне это внушалось: это был голос заботы о сохраненьи семьи и брака.

В переписке невозможно во все это вдаваться. Я только хочу предупредить тебя, что много надежд возлагаю на нашу встречу. Все гораздо лучше и легче, чем ты может быть думаешь.

Напиши мне, где ты и что, с кем встречаешься и что думаешь делать. Послезавтра мы едем в Ленинград на несколько дней1, я боялся, что в мое отсутствие придет письмо от тебя и пролежит в одиночестве: так вот, эти несколько слов ему навстречу.

Весною в Киеве Зина поссорилась с И<риной> С<ергеевной> на всю жизнь и я Асмусов со дня твоего отъезда не видел и не скоро увижу. У нас часто бывает Гаррик, — и больше я ничего не скажу, — ему приходится бороться с постоянным страданьем, но именно об этом не хочу распространяться.

Из Одессы мне вернули деньги, посланные родственнице Р<озалии> А<лександровны>2, и лишь в тот же день пришла ее открытка о том, что больше посылать не надо. Она не проставила № № дома и квартиры при адресе (Волхонка и больше ничего), и открытка два месяца ходила в адресный стол и обратно.

Тебя очень любит Кира3. Многие стоят за тебя горой. Меня это радует. Раньше весны сюда не собирайся. Но только из соображений здоровья.

К чему я все это пишу. Знай, что мыслями я всегда с вами. Это мне стоит больше сил, чем ты думаешь. Но не все в моей власти, как не было в ней и тогда, когда так много решающего было дано тебе, почти что первенство, а не равенство, и ты представляла нашу жизнь несчастьем, и я заражался твоим представленьем, между тем как, вижу теперь, — это была хорошая жизнь, которой сейчас жалко.

Параллель с Зиной сводится лишь к тому, что в совершенно несходных условьях ко мне возвращаются настроенья, от которых всего грустнее мне первому, и которые

всегда обижали тебя, и теперь внушают сходную недоверчивость ей, — настроенья, по-видимому для меня естественные, и корни которых лежат вне любви и личной верности. Параллель с Зиной, не только не ищущей первенства или равенства, но совершенно подчинившей всю себя, досугом и силами, мне, — заключается только в том, что она сомневается в моей любви всякий раз, как я уношусь далеко в сторону, и теперь, в силу случившегося, всегда — в твою; и она ошибается и не понимает этого, как не понимаешь ты, и мне некому это объяснить, потому что это не

«Тришкин кафтан»4 (твое выраженье); он-то понятен. А это глубже и никому не нужно.

Поцелуй Женичку. Напиши мне, пожалуйста, и о деньгах.

Твой Боря

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Пастернак с З. Н. Нейгауз ездили в Ленинград в надежде найти там квартиру на случай возвращения Евгении Владимировны.

2 См. о посылке этих денег в письме № 622.

3 К. А. Эгон-Бессер, жена Полонского.

4 Басня И. А Крылова.

628. Е. В. ПАСТЕРНАК

27 ноября 1931, Москва

27. XI. 31

Женюра, я не могу собраться сейчас за границу и не хочу: ты знаешь, это всегда бывает связано у меня с ощущеньем права, а последнее, — с работой; и вот чувства права на поездку у меня сейчас нет. К весне или весною я имел в виду съездить к тебе, чтобы с вами повидаться, в том случае, если бы ты осталась за границей. Тут, разумеется, я бы ни в каком другом мотиве не стал нуждаться: желанье видеть тебя пересилило бы все другие.

Сейчас я получил твое письмо и поспешно на него отвечаю. Ты спрашиваешь, собрался ли бы я сейчас на запад, я говорю, — нет.

В остальном не могу тебе сказать пока, т. е. сегодня же, ничего дельного. Кроме денег, которых у тебя будет, надеюсь, всегда больше, чем ты захочешь принять, я ничего для тебя не успел сделать. Когда ты думаешь приехать, и нужно ли тебе так торопиться?

Я не знаю, показали ли тебе наши какое-нибудь из моих писем? Их было два, и самым существенным, т. е. таким, в которое было вложено всего больше души и значащей правды, было первое, написанное вскоре после нашего телефонного разговора1.

Они в интересах твоего спокойствия его от тебя скрыли, но если передали второе, то должны были показать и первое, потому что без него оно получает искаженный смысл, способный ввести тебя в заблужденье.

Смысл же всего вкратце таков. Я люблю тебя, но в успешность нашей совместной жизни, если бы обстоятельства даже позволили нам возобновить ее, не верю. Вероятно, к нашему обоюдному счастью этого не будет, т. е. я верю, что ты не заставишь меня уступить себе, губя этим себя и меня.

Будь мужественнее, Женюра, и все будет хорошо.

От Бубчика получил на днях деловое письмо. Кланяйся ему и Фросе, и скажи ему, что отвечу ему на днях2.

Обними крепко Женёночка. Лучше бы тебе все же досидеть до весны, и он бы в школу походил. Но видно тебе там очень тоскливо, раз не сидится. Пиши мне. Целую тебя. Ни о чем не жалей. Ты приобрела, а не потеряла.

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Пастернак посылал свои письма на адрес родителей, которые передавали их Евгении Владимировне, жившей с сыном в снимаемой комнате неподалеку. Имеется в виду письмо № 626.

2 Иван Эдуардович Саломон и его жена Ефросинья Ивановна жили недалеко от Берлина и после 10-дневного пребывания Е. В. Пастернак в неврологической клинике сняли ей комнату в том же доме, где жили сами.

629. Е. В. ПАСТЕРНАК

Начало декабря 1931, Москва

Родной мой друг!

Прости мне последнее коротенькое письмо. Прости мне мою вину, прости горечь, которую тебе ежедневно приносит всякая твоя мысль обо мне, прости мне мое преступленье. Прости, т. е. найди силы признать их как факты, чтобы жить, постепенно выходя из-под их власти. Найди эти силы, как и я находил их, чтобы умиротворять и сглаживать наши былые трения, как нахожу их сейчас, чтобы жить, потому что никогда еще я не жил так странно, как это последнее время: все идет мне навстречу, облегчая каждое движенье. Я должен был бы благословлять жизнь, как никогда, а я ничего не делаю и ни за что не могу взяться, потому что, разумеется, мне никогда не справиться с тоской, которую во мне вызывают твои непобежденные страданья. Ради Бога, не пойми это, как упрек: все, что делается со мною по твоему поводу, совершается против моей воли, само собой, а не ради или из-за тебя. Мне больно, потому что больно тебе, а ты часть моей жизни.

Когда я встал сегодня, меня ждало твое большое письмо1. Я прочел его до топки, полуодетым. Сейчас сильные морозы, и у нас нет дров. Имеющиеся ордера на них еще труднее реализовать, чем прошлую зиму. Топим щепой со строек, и у нас очень холодно. Пришла Ирина, они уже переехали и больше у нас не живут, — я дал ей прочесть твое письмо, а сам стал растапливать.

Когда я затопил, я нашел ее в слезах. Ее потрясло, как и меня, то, чем твое письмо так велико и сильно: высота твоей нравственной правоты, — твоя правда. Читали и переговаривались мы в совершенной тишине. Зина спит. Она встала сегодня очень рано и отвела своих ребят в первый раз в детской сад, потом, вернувшись, легла досыпать недоспанное.

Не плачь и не убивайся, моя Женюра. Давай поговорим спокойно. И во-первых. Не пугайся загадочности происшедшего. Мы это в предположены! не раз обсуждали, мы долго на словах привыкали к тому, что произошло на деле. Не относись к случившемуся как к наказанью. И главное, — об этом я тебе уже писал, — не отделяй себя в своей муке от меня: нас это постигло обоих.

Ты помнишь зимний вечер, когда невозможность дальше жить вместе встала предо мною с такой тоской, что ясности насильственного конца, пережитого в воображеньи, и мысли, что с тобою, близкой и любимой я успею проститься, а с Зиной, страшно любимой той недомашней, убийственно мгновенной любовью, какую можно проверить именно мигом прощанья со всею жизнью и со всею землей, проститься не успею, было достаточно, чтобы я разрыдался и все при этом обнаружилось. Я чувства к Зине не выдумал, оно родилось само. Ведь я ушел не из мести тебе, не для того, чтобы что-то сперва доказать и затем вернуться. Я ушел в результате долголетних бесед с тобой и размышлений, в итоге их и тех новых, свежих толчков, которые принесла с собой жизнь. Я ушел естественно и без вызова, ушел потому, что для того, чтоб жить, стало нужно действовать.

Я пишу это для того, чтобы ты не считала себя обманутой. Но еще меньше поводов у тебя думать, что ты кого-нибудь обманула, что в ложном свете представила все

случившееся, что в своих словах обо мне неправильно изобразила мое к тебе отношенье, что оно хуже и меньше, чем ты отзывалась о нем.

Дорогой мой друг, ты с большой болью, и как бы оправдываясь, приводишь мои слова, говорившиеся тебе весной, и в дорогу, на прощание. Но если ты отвлечешься от их житейской точности, от частного их смысла, постоянно видоизменяемого вперед идущей жизнью, к которой надо всегда приспособлять основное существо, чтобы видеть его не только в душе, но и в осуществлены!, то ведь в главном я не обманул тебя и к нашему общему горю, увы, не обманулся: несмотря на все то, что я скажу тебе ниже, я не могу и не хочу твердо и самовольно распорядиться тобой, как разведенною женой, я не могу отстранить тебя и как-то тебя отставить, я не могу, чтобы ни говорил мне разум (а теперь также и новый долг), — вообразить тебя где-то помещенной только по моей, а не и по твоей, также, воле. И скорее сломится моя, чем я пожелаю согнуть твою, — так живы твои права на меня, так признаю я их естественную власть надо мной, их уместность в моем сердце.

Я всегда хотел, чтобы ты это знала. И если бы ты это знала тверже, глубже и мужественнее, чем на самом деле, эта вера спасла бы тебя среди последних испытаний: ты по-другому, вероятно, воспользовалась бы своей душевной властью надо мной, чем теперь. У тебя хватило бы способности отделить связь и встречу наших достоинств, ничем не затронутую и только исстрадавшуюся от вечных разговоров не о ней, точно этой связи не существует или без нее можно жить и ее не стоит ценить, от той брачной связи, которую мы насильственно разорвали, потому что в разное время, но оба одинаково не удовлетворялись ей.

Я пишу тебе это письмо третий день. Я пишу его урывками. Передо мной фотографическая карточка из твоего письма, — ты и он. Как ты похорошела! Но какие вы грустные-грустные! Ты не представляешь себе, какие разрушенья производит эта карточка в моей душе. Она исходит по вас слезами. Что я сделал, что я сделал! И ты еще всегда возмущалась мной, что я ограничивался словами, что — не решался. Ты не знала тайны моей уступчивости, моей преданности привычке. Самонадеянность обманывала тебя, ты переоценивала свои силы. Я же боялся того моря сожаленья и раскаянья, которое, — знал я, — мне придется перейти вброд. Оно мне открылось летом и я все еще не могу его пересечь.

Зачем ты меня любишь так ультимативно-цельно, как борец свою идею, зачем предъявляешь жизни свое горе, как положенье или требованье, вроде того, что ли, что вот, дескать, мое слово, теперь пусть говорит жизнь, и я умру, если она скажет по-другому. Зачем ты не участвуешь в жизни, не доверяешься ей, зачем не знаешь, что она не противник в споре, а полна нежности к тебе и рвется тебе это доказать, лишь только от отщепенчества предварительных с ней переговоров, на которые она тебе не ответит, ты перейдешь в прямую близость к ней, к сотрудничеству с нею, к очередным запросам дня, к смиренному, в начале горькому, затем все более радостному их исполненью.

Но напрасно я пишу о тебе. Как бы я ни любил тебя, как бы ни жаль мне было нашего былого дня, служившего домом Женён-ку (ведь все те же вещи окружают меня и говорят его голосом!) — думать и хотеть за тебя я не в силах и не в праве.

Потому что я сел писать тебе не по адресу твоей тоски, а под давленьем моей собственной и единственное дельное, что я могу сказать, это: как справляюсь я с нею, как живу еще и на что надеюсь?

И хотя тебе, может быть, и хуже, прими во вниманье, что твое страданье не плодит ложных выводов и ни на кого не бросает незаслуженной тени. Мое же протекает рядом с человеком, которого я люблю, который любит меня, принес мне много жертв и принесет еще больше, и которого это мое двоенье ставит в двойственное положенье.

Итак, в каком-то отношеньи мое несвободное страданье еще невыносимее твоего свободного. Как же, — говорю я, — я живу еще; что вдыхает в меня жизнь, что поддерживает?

Я живу надеждой на встречу с тобой, на какую-то другую жизнь — я ее не знаю и не знаю как назвать — но которая постепенно родится не из таких страшных вещей как твои последние испытанья и мои настроенья; которая даст тебе покой и здоровье, которая оденет нас теплом и светом и вернет нам троим утраченную улыбку. Я надеюсь на жизнь, которая начнется с бесстрашного признанья действительности и обойдется без принципиального и (по-брандтовски2) ее кромсанья.

И так как я тут говорю о себе, то слушай. Предохрани меня от нового разрыва: от него, как и от разрыва с тобой, не получится добра. Я люблю Зину и никогда не мечтал, чтобы кто-нибудь меня так полюбил, как она. Прости, я не хочу унизить силы и чистоты твоего чувства, — я не сравниваю. Но мне хотелось бы опять найти тебя без насилия над ней и над собою.

Когда я начинал это письмо, я думал, что удачнее выражу тот образ, который всегда стоит передо мной и меня спасает: образ нашей встречи. Днями принимаешь людей и у них бываешь. На каждом шагу наталкиваешься на факт семьи и святость дома. Видишь детей с отпечатком спокойного воспитанья, материнского, рождающего улыбку, — не скаредного, не надрывно-трагического. И тогда по-новому — теперь в разрыве с тобой, как когда-то в сожительстве — открывается старая моя рана. Как это случилось, что я, не изверг и не кретин, — с моей чувствительностью и, — думаю, — добротою, сделал несчастными два существа, которым должен был и, вероятно, хотел принести счастье, — я, так тяжело это переносящий сейчас, я, — человек семьи и дома?

И, гулюшка, мне становится так страшно, так ужасно тогда, что я бы задохнулся, если бы не вспоминал каждый раз, вновь и вновь, что по незаслуженному, чудесному счастью все мы еще живы втроем — и увидимся. — И это так много, что хочется говорить только об этом, только об этом.

Позволь мне кончить письмо: ты не представляешь себе что за мука строить из слов, из бесконечно сменяющихся словесных внушений мост, который должна была бы теперь достроить ты, запросив свое чувство справедливости и память, и одушевившись наконец жизнью, жизнью и верой. Позволь кончить, и уже больше не касаться в письмах (это слишком трудно) — основного и первопитающего: размеров и естественной прирожденное™ твоих прав на меня, — моих чувств к тебе. Потому что объясненья эти остаются для всех непонятными. Всем кажется, что если я люблю Зину и с тобой разошелся, не могу или не должен больше тебя любить, что если даже это и так, я должен победить себя, чтобы не повеста тебя и себя к новым терзаньям. Позволь больше не трогать этого в переписке, так как нам дано счастье свидеться, помогать друг другу и встречаться.

И — несколько деловых просьб. Ты не можешь себе представить, как остра, временами, моя потребность в твоем присутствии, как естественно, иногда, мое нетерпенье в отношеньи твоего приезда.

И все же, — надо быть здоровее, уравновешеннее, смиреннее и спокойнее, друг мой, чем это у тебя в правилах. Нельзя бросаться очертя голову, как на пожар, по первому сигналу чувства, в особенности, когда оно судорожно, надо жить в сознаньи неисчерпаемости источников жизни, во всяком случае — духовных.

Если можешь, взвесь основательно, надо ли тебе возвращаться сейчас же. Не взирая на кризисы и на то, что со стороны моих родных ты не нашла той сердечности3, в которой я, дурак, был почему-то уверен, — есть за границей преимущества (ну хотя бы климата и относительного благоустройства), которые ты утратишь, переехав границу.

Надо ли тебе возвращаться зимой? Пусть не останавливают тебя денежные затрудненья. Хотя торгеин совершенно видоизменяет все в этом отношеньи возможности и расчеты4, но свет не клином сошелся, — если бы ты пожелала, я — (не в день или неделю, в месяц, — скажем) мог бы что-нибудь для тебя наладить через Цвейга или Роллана или заграничные издательства. Сообщи мне об этом вовремя, потому что это будет сложная процедура: не сразу же я брякну о деньгах, — мне никто на свете ничего не должен, я же — многим, и первой — тебе.

Но и в том случае, если такая зимовка на западе тебе не улыбнется, заблаговременно, и не менее, чем за месяц вперед, предуп-

реди меня о своем возвращеньи: мне и тут хочется приготовить тебе денег и надо позаботиться о комнате и о многом. И, предупредив, будь готова к тому, что потом, по извещеньи, я могу тебя вызвать телеграммой и тебе надо будет ехать: если комната, например, будет в руках, ее опасно будет упустить, ты ведь знаешь сама.

Кончу тем, с чего начал. Прости мне все, прошу тебя, прости, моя родная.

Крепко и всей душой обнимаю тебя. 2>.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф. Датируется по содержанию.

1 Письмо Е. В. Пастернак было написано по возвращении из неврологической клиники, куда ее поместили после телефонного разговора 1 ноября 1931 г. Она рассказывала о своем пребывании в Германии в течение семи месяцев.

2 Брандт — главный герой одноименной драматической поэмы Ибсена — олицетворение железной воли человека действия.

3 Европа и, в частности, Германия переживали тогда тяжелый экономический кризис, и Пастернаки жили в постоянном страхе за завтрашний день.

4 Система торгсинов — магазинов, продающих заграничные товары и продукты на валюту или в обмен на золото, позволяла улучшить снабжение.

630. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

11-27 февраля 1932, Москва

11.2. 32 Дорогая Жоня!

Сегодня мое рожденье и, следовательно, как раз время, принимая во вниманье почту, поздравить тебя с твоим1. Пользуюсь новым случаем горячо поблагодарить тебя и Федю за все, что вы сделали для Жени и Женички. Я видел Аленушку и Чарлика на снимках и всем показывал этих чудных детей, — видевшие в восхищении.

Мне очень трудно писать родителям2, тебе, Роллану, Ломоносовой, Марине — всем, кто далеко, с кем был перерыв в переписке и кто вправе удивиться и превратно истолковывать мое молчанье.

Всего не пересказать, без этой полноты непонятно, а неясностей нельзя допустить, потому что дело касается не меня одного, а еще двух женщин, которыми я дорожу и неправильными представленьями о которых стал бы терзаться.

Иногда мне кажется, что ты и наши готовы теперь пожалеть, что я своевременно, т. е. весной, не открылся вам определеннее, что тогда все было бы по-другому, и Женя не была бы отослана на явную пытку, только оттого, что два дома, на Motzstrasse3 и на Волхонке, были отожествлены со всем миром, и для того, чтобы застраховать себя от, — действительно непосильного ухода за ребенком, человека уговорили сделать ложный шаг.

Здесь все этому удивляются, — Павел Давыдович, Бари4, тетя Ася, Шура и др. — Тем справедливее были бы сейчас ваши упреки по моему адресу: выскажись я в свое время яснее, — ничего бы этого не случилось.

Но не говоря о том, что видимо противоречивая сложность постепенно составлявшейся у вас картины довольно близка к простоге, с которой я все это

переживал, моя откровенность осложнялась еще и соображеньями побочными. Я не мог ее себе позволить, зная, какое искаженье, Жене во вред, могли бы потерпеть мои слова при столкновеньи с нашими домашними устоями. Я боялся холода, который мог появиться к Жене, как к разведенной.

Поразительна в этом отношеньи мама. В самое последнее время, когда свершившееся стало для нее фактом, и стороной до нее достигли благоприятные сведенья о Зине, она стала искать всему случившемуся объясненья (точно это произошло в результате справедливого и трезвого решенья) и нашла их в том, что Женя чем-то мне не угодила, что она недостаточно любила меня, была дурной хозяйкой и матерью, — что она плоха. Между тем не только не плоха она, но наоборот — она слишком хороша в своей открытости для нашей семьи, потому что все дурное, что в ней есть, завелось от столкновенья ее чистой непосредственности с той скрытой жестокостью, на которой заквашена «толстовская» доброта нашей семьи. Я оказался последовательным, до абсурда доведенным раз-витьем этих основ, и Женя — живая и вечная их жертва. Именно она, а не Женечка, за которого так разрывается сердце у вас всех и у родителей: потому что он получит совсем другое воспитанье.

Все, что случится со мной, в неурезанном виде и правдивее, чем если бы я по-домашнему понял долг, воспитает его в тысячу раз лучше, чем воспитывали всех нас («тактическая ошибка» и пр. и пр.). Он чудный, я очень его люблю и радостно смотрю на его будущее. Я не понимаю, как папа мог прожить так, как он жил, будучи большим человеком, с теми рацеями, которые у него не сходили никогда с уст, если только он не врал и не рисовался перед нами.

А теперь вкратце о нас всех и о ходе событий. Мне надо, чтобы Женя успокоилась, и пока этого не будет, мне не будет покоя. Эта потребность была поставлена в нестерпимые условья летом, когда ей нельзя было писать и я ничего о них не знал. Я не сомневался в размерах вашей помощи временем, нервами, вещами и деньгами, я был уверен в ласке, заранее для них готовой, и я боялся только, что взамен сердечности, одаряющей простой беспечностью и верой в жизнь, главным во всех страданиях лекарством, Женя встретит авторитетное, отяжеленное назиданьями тепло, привязывающее к дому страшным доггущеньем, что вне его и за его порогом нет мягкости и правды. Я мучился неизвестностью и слабостью своей веры в вас. — По переезде в Москву мы поселились на Волхонке5. Всего сильнее противилась этому Зина, не мог хотеть этого и я. Но в Москве нет не только свободных квартир, но и каких бы то ни было комнат (и об этом еще раз ниже). — Совокупность чувств, вращавшихся вокруг Жени (надо ли мне тебя убеждать, что я люблю ее всей душой, и растолковывать, почему это и чтб это значит?) усугубилась тождественностью обстановки: я точно учил вещи, связанные воспоминаньем с нею, предавать ее. Каковы были пружины, действовавшие во мне, ко времени их приезда? Я страшно хотел их видеть. Накопившиеся страхи за нее, заботы и страданья стали второй жизнью у меня и точно просились снова стать единственной. Вероятно, я вообще плохо в себе разбираюсь: я становлюсь несчастным, чуть пойму себя; тут всегда кого-нибудь осудишь, что-то поставишь на место; это «самоосознанье» никогда не обходится без суровости, напоминающей скверный вымысел о роке, — я этого боюсь. Я всегда скверно представляю себе, что мне нужно, тут же стал окончательно невменяемым. Я перестал думать и занялся гаданьем, — готовый поступить так, как упадет спичечная коробка, лицом или тылом вверх. Так как я ничего не скрываю, всем этим терзалась Зина. Коробки говорили, что надо вернуться к прошлому, к семье — нет, к жертве и мученице, к Жене. Я в этом утвердился тем легче, что принимая по два решенья в минуту, я был уже без памяти: я забывал, что Зина все еще при мне, и воображал, вероятно, что этот источник моей радости (даже в страданьях) не оставит меня и тогда,

когда я сам уйду от нее к прежней жизни, что она неисповедимым образом переселится во мне во все мои новые положенья, и разделит мое существованье с Женей (а как мне последнего хотелось!), как невысказанная мысль или несообщенный сон или замысел. Тем временем они были уже в пути. Мама с палой звонили6. Бред, — девятилетняя разлука, и вдруг этот ночной разговор, верный одной единственной теме, что квартира должна быть очищена, как гипнотическое внушенье. (С их же стороны — святость, горячо мной оцененная: разговор с родным сыном и шесть минут только о деле, только о внуке. Только о внуке и больше ни о чем). — Этого нельзя было исполнить. Москва на годы прикрепляет к тому, за чем застает. Годами подготовляются передвиженья, переезды, перемены, нужные, — если жить, а не прозябать, — к минуте.

Они приехали, хорошие, молодые, нарядные — я был без ума от радости. Они поселились далеко в Замоскворечьи, в рабочем районе, в тесноте, с неудобствами7. Я ходил к ним. Уже мне минутами казалось, что возвращенье в дом было бы пониженъем моей светлой умиленной ноты по отношенью к Жене, что что-то бы случилось тогда с чистосердечьем, и добра для нее и мальчика в нашей совместности стало бы меньше, чем когда мы врозь, и я бываю у них в гостях и пр. и пр. Про себя же я не думал, потому что не располагал нужною для этого ясностью. Между прочим тогда, видя мои шата-нья и возможность безумных по непорядочности решений, меня стали засыпать советами: соседи, Шура с Ириной, грузинские мои друзья — все люди близкие, немало времени и сил отдавшие мне и этой моей истории. Еще и раньше, в Питере, тетя Ася назвала «не-слыханностью, сказкой», которая, по ее словам, мне бы не простилась — возможность возвращенья к Жене, потому что, по складу обстоятельств эта возможность и в допущеньи предполагала мысль, чтобы по моему желанью сама собой к приезду Жени восстановилась другая семья, мною же разрушенная, и Зина вернулась бы к мужу, и все это наперекор чувству и смыслу. И как раз эти-то советы, чем они были очевиднее и здравей, бросали меня навстречу Жене, потому что смысл их обращался против нее, и мне хотелось к ней, чтобы защитить ее. Итак они жили у Жениного брата; то им, то нам подыскивали комнату, в зависимости от назначенья, делавшегося Волхонской квартире, но комнаты не находили, и неделя проходила за неделей. А я то давал Жене обещанья, искренне рождавшиеся, то чувствовал, что исполненье их принесет нам несчастье. Наконец, с полным основаньем брат ее однажды вскипел, видя что с ней делается, и потребовал у меня, чтобы ее площадь была очищена, и только. Произошло это по телефону, у меня был флюс, и я не выходил. Наскоро Зининых детей увезли к отцу, и мы перебрались с ней к Шуре, на новую квартиру. У них еще красили, и мы поместились в одной с ними комнате, спали на полу, Зина на весь день уходила к детям, и уставая от работ по приведенью тамошнего хозяйства в порядок, приходила без сил сюда только ночевать. Я был в таком состояньи, что если бы даже и позволила обстановка, ничем бы заняться не мог. — Квартира Жене была освобождена, ее переезд задерживался уборкой. Я понимал, как останавливает ее перспектива одиночества в тесной и шумной, по воспоминаньям, а теперь покинутой квартире. Я знал, что с ней делается, потому что половина того, что делается с Женей, делается и со мной, но с совершенно нестерпимой силой, потому что мы переживаем одно и то же, но на разных местах в жизни и с разными ролями, — она — предоставленная себе, я же отданный во власть изумительной судьбы, но страшной, страшной. — Я не выдержал этой муки и как-то утром сказал несколько слов Зине. Она собрала свои вещи и хотела сама сходить за извозчиком. Я пошел за ним, мы тихо простились, санки скрылись за углом, она уехала на квартиру к брошенному мужу, без возвращенья к нему. Тети Асина «неслыханность» совершилась, я ее отправил на закланье. На Шуриной квартире никого не было, это произошло без свидетелей, я поднялся назад. Я не плакал, я радовался мысли, что может быть, возвращенье к

старому даст мне покой, может быть бедный и скромный, но полный и такой забытый! На Волхонке еще убирали, Женя должна была переехать на другой день. Я стоял у окна, вдруг страшное волненье накатило на меня само собой, как рожденье ветра во внешней природе. Я бросился сломя голову на Волхонку, там остались все запасы, я хотел что-то сделать и знал, что Жени там не должно быть. Вбежав в дом, я прямо на нее натолкнулся. Со мною сделался припадок, я разрыдался. Я стал целовать ей руки, как спасительнице, умоляя ее понять, что я боготворю Зину, что будет подлостью бороться с этим чувством, что если она даже и мыслима, эта победа не принесет нам счастья. Она стала успокаивать меня, напомнила, что сама ни на чем не настаивает и даже просила не сразу переезжать к ней. Я ушел к Шуре. Но один оставаться в их служебные часы я был не в силах. Я переехал к Жене. Я был у ней сутки. Решенье побыть с ней по-хорошему и успокоить, решенье бывшее мне все время острейшей потребностью, я, верно, осуществил нечестно. У какой-то черты непосредственность оставила меня. Вместо того, чтобы покориться теченью вещей, я в них вмешался. Меня испугала обидность для самой Жени того, во что превратились бы, особенно после этого года, все наши лучшие намеренья при столкновеньи с действительностью, уже однажды пережитой. Но на необитаемом острове или даже в вашем, даже в папином положеньи — это соображенье мне бы не явилось. Это была ужасная ночь для Жени. Мы провели ее без сна, точно не ложились. Утро застало нас в разговорах о разводе. Я переехал к Шуре.

Тем временем я не мог видеться с Зиной: я дал ей уйти навсегда. Ее навещали Шура, Ирина, брат последней, Николай Николаевич8. Но всех их она связывала обещаньем, что они ничего тяжелого мне не скажут, чтобы картина ее несемейной жизни в семье на меня не влияла. После моей выходки надо было заслужить чем-то новым право хотя бы увидеться с ней. Однажды я у Жени выпросил доверенность на оформленье развода. Это произошло у Шуры, я сам написал текст доверенности и дал его ей подписать. Подписав, она оделась и ушла, оставив мне все свои, нужные для этого, документы. Можешь себе представить, что со мной сделалось по ее уходе. Я тогда не довел этого до конца, и никогда не буду в состояньи это сделать. Все это гадко и значит совсем не то, что со мною случилось и чего я хочу от себя и других. Тогда я поручил Ине узнать у Зины, можно ли нам встретиться, где-нибудь на улице (а где же еще). Она пришла на другой день вечером радостная, милая, нежная и ни словом не заикнулась о происшедшем. Все так измучились и постарели за этот месяц, что в интересах всех было некоторое время пожить врозь и успокоиться. Вопрос был только в том, где всем в такой отдельности разместиться, и его не надо было ставить, чтобы не знать наперед, что в Москве он неразрешим. Мои усиленные поиски комнаты по многим направленьям сразу ни к чему не повели.

Между тем пребыванье Зины на своей прежней квартире стало угрожающим: нестерпимым было оно и для Генриха Густавовича, человека взрывчатого и с истерзанными нервами, который взял на себя непосильную задачу друга, с которой перестал справляться.

Тем временем у Шуры и Ирины малярные и столярные работы кончились, трехкомнатная квартира приняла жилой вид. Я спросил у Ирины, приняла ли бы она Зину, если бы та согласилась вернуться в дом, у ворот которого я так нанимал ей извозчика. Ирина замялась, отговариваясь трудностью ее положенья перед Женей, которую она так ценит и оправдывает, при всей своей, мне хорошо известной, горячей симпатии к Зине. Итак, я оказался без выхода. Между прочим в эти дни я второпях дописал одну очень пережитую, сильную лирическую вещь. Работа всегда поднимает мое достоинство, напоминая, чтб, почему и ради чего произошло9.

Теперь я хочу рассказать тебе одну вещь, я хочу, чтобы ты это знала. Днем я зашел к Зине и, когда этот, столько настрадавшийся из-за меня человек сказал, что хочет какой бы то ни было доли прочности в дальнейшем: устойчивой ли комнаты, близости ли детей, рояля ли для занятий или брака с двумя с обеих сторон разводами сверх неизвестности, с которой я к ней продолжаю являться, я ушел огорченным и дома стал писать ей прощальное письмо о решеньи остаться одному с сохраненьем постоянной верности мысли о ней. Я по пяти раз начинал его и не выдержав, отправился в Союз Писателей требовать, чтобы мне достали вторую квартиру хотя бы из-под земли. Было уже поздно, 10 часов вечера. Я нашел там здоровых и рассудительных людей, хороших, частью дорожащих мною товарищей, которые говорили со мной необщим языком спокойного сна и налаженного быта, и участливо, с желаньем помочь мне разбиравших возможные комбинации обмены лишней (!) Жениной площади и пр. вещей, в моем преломленьи немыслимых, как документация развода. Я ушел от них в резкой тоске.

Было около 12-ти часов ночи и мороз. Во мне быстро-быстро развертывалась пружина болезненнейшей обреченности. Я вдруг увидел банкротство всей моей жизни, никем не понятой и в этой смертельной тревоге теперь непонятной и мне, Женя и Женечка встали в моем сознаньи. Я мысленно прижал его к груди. Я бежал по улице. Я бежал потому, что было уже за 12, и звонить ночью в тот дом, было безумьем, по наглости граничащим с толстокожим хамством, потому что я бежал к ней. Почему же к ней? Теперь я тебе объясню это. Еще когда мы были с Женей, позапрошлой зимой, когда мне становилось грустно и что-то как мотив der Todesahnung* проплывало по душе, всецело еще преданный жене и ребенку и погруженный в заботы дома (я никогда не видел в них бремени, как папа), я всегда думал что последний день, отчетный, прощающийся и благодарный, провел бы весь с утра до вечера (и это была бы оттепель в марте) с Зиной, тогда еще Зинаидой Николаевной, женой изумительного Нейгауза, — таково было с первой встречи действие ее особой красоты на меня, ее крови, ее тайны, ее истории. Я провел бы его с ней, я в ее лице простился бы с землей. Я ей сдал бы дела и ей рассказал бы, как много с самого детства хотел сделать для нее, для женщины, для подруги всех нас, в большинстве здоровых и тогда глухих, реже — слышащих и тогда полубольных и измотанных, — хотел и не сделал, но все что пробовал, лишь для нее одной. И рассказал бы ей ее повесть, восхитив ее тем, что не знавши знаю ее. — Вот кто она, вот как я ее люблю. — Я спешил к ней, потому что боялся, что не доживу до утра, я шептал ее имя и думал: вот где-то ты и мама, и папа, и вы могли помочь мне и помогли в тысячеричной мере, но по-своему (а сколько их, бабушек и дедушек, других, бедных и скромных, сердечных без толстовства!), и вот я кончаюсь, а папа, как покойному Индиде10, писал мне, «с какой стати» мне, сыну, истерзанному наследственностью и воспитань-ем, как ты, но не обращающемуся к врачам, потому что у меня нет времени, потому что я должен зарабатывать (что? деньги? — нет: право смотреть воздуху в глаза), потому что я эту болезнь превращаю в громкое здоровье. И вот наконец за всю жизнь я, наконец, узнал год совершенного счастья и здоровья и естественной рвущейся к людям сердечности, и папа взвесил, возмутился и восстановил справедливость, и этот год сорвался под отвес какой-то нервной горячки, подобной которой никогда ничего не знал и я. И если даже что-нибудь восстановимо, то я никогда не выйду из круга перекре-

* Зов смерти (нем.). 583 стных страданий, которые были бы все равно, но были бы в миллион раз мягче для всех, если бы папа не был так справедлив, если бы он не ограничился своей правотою. — Мне отпер Г<енрих> Г<ус-тавович>. «Der spat kommende Gast? *», — кажется сказал он, — я плохо расслышал. Я прошел к З<ине>. Она спросила меня, что нового, с чем я явился. Мне трудно было что-либо оформить.

«Что же ты молчишь?» — сказала она и вышла запереть за Г. Г., он отправился на сборный концерт. Я увидал на аптечной полочке флакон с иодом и залпом выпил его. Мне обожгло глотку, у меня начались автоматические жевательные движенья. Вяжущие ощущенья в горловых связках вызывали их. — «Что ты жуешь? Отчего так пахнет иодом?» — спросила Зина, воротясь, — «1де иод?» и закричала и заплакала, и бросилась хлопотать. Меня спасло то, что она на войне была сестрой милосердия. Первую помощь подала она, потом побежала за доктором, в теченье полутора часов, раз двенадцать подряд мне устраивали искусственную рвоту и ополаскивали внутренности, потом приняли меры против внутренних ожогов, всего не перечислить, опасенья в таких случаях двух порядков: за ближайшие последствия (пищевод и пр.) и за более отдаленные, от про-никновенья яда в кровь (сердце, почки и пр.). Ото всего этого, как уже от своего бега по улице я страшно устал. Доктор сказал, что мне дня два надо пролежать на положеньи больного, и эту ночь лучше без движенья, я знал, что там останусь. Я испытывал совершенное блаженство: я лежал, вокруг меня бесшумно двигалась Зина, что-то заставляя глотать, я говорил шепотом (так мне было легче), — мне казалось, я с нею дома, как в начале зимы. В то же время мысль о доме подымала все пережитое, т. е. все постоянные слагаемые, из которых не нашлось выхода и не найдется, которые должны были меня встретить завтра и во все следующие дни и годы. И в этом блаженстве почти остановившегося пульса внутри у меня играла волна чистой, девственной, ничем не надломленной воли. Мне деятельно, но без напряженья, хотелось смерти, как торта; лежи рядом револьвер, я за ним протянул бы руку, как за сладким, после случившегося мне это было страшно легко, я что-то краешком уже узнал из перспектив, открывающихся за выстрелом. Столкновенье двух вещей вызывало это желанье: чувство совершенного счастья и не-мыслимость помощи, требующейся в его сложной обстановке. В 2 часа ночи вернулся домой Нейгауз. Когда З<ина> сказала ему о случившемся, он вбежал ко мне: «Нет, правда, ты это сделал? Бо-

* Поздний гость? (нем.) 584 рис, ты? Я б никогда не поверил. Неужели я тебя переоценивал?» и пр. и пр. Зине же он резко (точно в чем виноватой) сказал перед тем: «Ну что ж, ты довольна? Он доказал тебе свою любовь?»

В три часа пришла с камфарой и шприцем его родственница (ее прислуга была на кухне во время переполоха и потом, вернувшись домой, все раззвонила). Наконец, все разошлись. З<ина> постелила себе на полу рядом с моим диваном, чтобы следить за сердцем. — Я не знаю, зачем тебе, сестре и женщине, доверять ту непостижимость, что если у меня будет дочь, то из этих минут у преддверья смерти, но эти краеугольности страсти обладают такою чистотой и силой, что надо пожалеть, что не говорят и на вопросы не дают ответов: нужно было бы слушаться их, а не споров папы с Индидей, или всех тех советов, что всеми тут давались мне, как и не того, конечно, что так беспомощно пишу тебе я. Но я клевещу на природу. Ответы даются ей в виде абсолютных решений: ответы эти — рожденья.

Неудавшуюся эту попытку я хотел оставить в совершенной тайне. Это почти и достигнуто. Двух-трех из самых близких, узнавших об этом на другой день на месте против моей воли, я связал словом строжайшего молчанья, твердость которого за эти две недели успел проверить (я травился третьего). Никто ничего не знает. Довериться, т. е. поделиться коротким опытом этой драгоценной ситуации, никого, наконец, не выставлявшей в ложном свете (как я по этому изголодался!) — поделиться этими минутами облегченья, говорю я, хотелось мне только с Женей и с Шури-ной Иринушкой. Мне даже Шуре не хотелось этого рассказывать, потому что несмотря на то неисчислимо многое, что он для меня сделал (они по собственной готовности два месяца, как день, ухлопали на нас и наши дела) — налет той беззлобной отчужденности, которая явилась у меня ко всем вам, немного лег и на него. Но когда я пришел к

Ирине, первая попытка конфиденции с ней без него показалась мне настолько незаслуженно обидной, что я не стал их разделять. Шура расплакался, обнял меня и долго целовал. Но от рассказов Жене я воздержался из соображений предосторожности. Она ничего не знает и я не хотел бы, чтобы узнала. Рассказывать ли это нашим? Ей-богу не знаю, своего мнения у меня на этот счет нет. Их представленья обо мне, может быть, и завидны, т. е. я хотел бы быть адресатом их писем и предметом их дум, и был бы лучше, счастливее, и главное: несоизмеримо безответственнее и свободнее; но эти представленья не соответствуют действительности. Когда я реально вижу мамочку перед собою и, в отдельности, папу, я чувствую к каждому из них щемящую нежность. Но действий их я не понял.

Феде же ничего не говори. Я знаю, как он все это поймет (т. е. почти как папа). Папа же всегда понимает так, что другой вечно забегает вперед на его место и делает то, что сделал бы и он, если бы, по благородству, папа не избрал более трудной роли. —- Из семейной у меня (в прочном виде, без надрыва и изумленья) связи только и осталось, что с твоим умом и кругозором и Лидиной здоровой одаренностью. Значит ли это, что я не люблю родителей. Нет, напротив: потому что это давно полученная и теперь с совершенной ясностью открывшаяся рана.

К пониманью моей обстановки гораздо ближе, например, тетя Ася. Это не в укор вам, потому что вы далеко, а она в Питере, и при всей ее тонкости, в этом нет большой заслуги. Я не знаю, между прочим, понравилась ли им Зина, и скорее думаю, что нет, потому что от парикмахера она выходит изуродованной, как свеженачи-щенный сапог, а перед всеми торжественными случаями, к которым отнесла и посещенье тети, ходит завиваться. Но их тронула и участь ее со мной, и вероятные перспективы последней. Они плакали, прощаясь с нами, а Оля так даже и на голос, в рев11. Потому что без всякой переписки со мною они знают всегда все обо мне, и Оля годами крепилась, выслушивая рассказы сослуживцев по институту обо мне, как одном из объектов их специальности, пока не выдержала и не созналась совсем недавно, что я ее двоюродный брат. И тетя Ася чутьем угадывает, как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахожденье себя во всеобщей собственности, эта отовсюду прогретая теплом неволя. Потому что и в этом, — извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь12. И если от этого не спасся никто, что же сказать мне, любовь к которому затруднена ей так чрезвычайно, как любовь Германии к Heine. Но я боюсь, что ты не поймешь меня, что вообразишь, будто я хочу ей что-то прикрасить. О нет. Я назвал тебе не мотивы мои, а мою действительность, мое без мотивов движущееся существованье. И я тебе назвал мой долг перед судьбой, мой долг, о котором чутьем догадывается тетя Ася: чтобы это существованье прошло пред ней все полностью необлегченным.

Вот папа, большой, большой художник (куда больше моего), был им и есть. И вот опять он скажет, что он через это перешагнул и избрал труднейшее: семейный подвиг, —- и это ложь. Это ложь, потому что его подвит не только райское прибежище по сравненью с тем, чего я перешагнуть не в силах, но и без всяких сравнений, домашний очаг сам по себе не жертва, а отдых и покой. И вечно требовалось цитированье Толстовской похвалы13, чтобы (на то папа и подлинный художник) возвысить и выделить как-нибудь эту спокойную, завидную счастливую долю. А именно в мире (in Friden) было ее достоинство, не требовавшее тех дополнений, которые он ей давал.

Что это ложь, он мог почувствовать теперь на мне, и то, что он остался при старых словах, и вскрыло мою старую рану. Но может быть, в самом деле надо жить тут, чтобы все это понять.

И есть большая сердечность на свете, простая; не тяжущаяся о правах. Восьмидесятилетние старики Нейгауза14 души не чают в сыне и были потрясены и скандализованы весенними происшествиями. Они десятки лет держали музыкальную школу в Елиса-ветграде, а теперь доживают свой век при ней почти без средств. И у них по старой памяти осталась вся прежняя любовь их к Зине. Мать Гарри летом писала ей в Коджоры большие письма, осведомительно успокоительные о сыне (т. е. о Генр<ихе> Густ<авови-че>), тогда гостившем у них, эти письма, отправлявшиеся по моему адресу, надо почитать. Все допущенья старухи сбывались, потому что их внушала все простившая нежность, все сообщенья приходили во благо, от моих терзаний Зина была избавлена, и всякий раз, — как взрывалась моя тоска о моих, так пугавшая Зину, она неизменно просила об одном, чтобы я отпустил ее с сыном не к мужу (он тогда оттуда уехал), а к его старикам в Елисаветград. —

Я не знаю, хватит ли у тебя времени и терпенья дочитать это письмо до конца. Судьба (не внешняя, — судьба душевная мне вослед) Жени и Женички меня преследует и это никогда не прекратится. Я их люблю и мог бы к ним возвратиться, если бы мне можно было совершать подвиги. Но еще большею любовью я люблю Зину и ни ей, ни кому еще не могу объяснить отличья этих чувств и их несчастной совместимости. Так как кольцо этих страданий все суживается, то я прошу и завещаю тебе не оставить их своей сердечностью (ее у тебя с избытком), когда я не выдержу, и это меня съест без самоубийства, само собою.

Теперь о здоровье, чтоб ты чего не вздумала. Все благополучно, но душевные силы надорваны вдрызг, и опять не знаю зачем это тебе, первая неделя совершенного счастья непосредственно за отравленьем сменилась гадкими загадками, в этом союзе небывалыми и немыслимыми, и я не знаю — нервное ли это переутом-ленье или начавший сказываться иод. Но это неважно.

Я начал писать это письмо одиннадцатого, но бросил и возобновил только вчера, в день твоего рожденья. — Женя временами делает усилья, овладевает собой, живет, ходит в гости. Потом вдруг все это срывается. Она страдает ужасно и говорит, что без меня не будет жить. Хуже всего, что в этом состояньи она ничем не может быть для Женички, т. е. тяготится не им, а своим бессильем совершенно разбитого человека в отношеньи его и тем, что заражает его своим настроеньем. Она предлагает мне взять его, но в данную минуту мне взять его некуда, потому что я и Зина можем существовать фантасмагорически, везде и нигде, Женечка же в эти условья нельзя ставить. Полученье новой квартиры, до осени вообще немыслимое, затрудняется тем, что меня спрашивают, где моя площадь, т. е. где я жил до сих пор, если не приехал в Москву только что, и должен был бы сдать мою часть Волхонской квартиры в обмен на новую. Но это значило бы Женю с Женёнком на будущее время ограничить одной комнатой. Мне при всяких условьях было бы непобедимо трудно отнимать от них теперь что бы то ни было свое, однажды бывшее их и общим. В моем же случае, это просто убийственно, потому что изъятье моих прав из общего правового котла, которым были сыты и теплы все мы втроем, изменило бы Женино положенье к худшему в наивысшей изо всех существующих у нас бытовых градаций. Поэтому я прописан у ней, персональный паек, пищевой и вещевой, отдал ей, живу непрописанный, как при нашей системе регистрации немыслимо, и от сознанья трат меня спасает только то, что по их спутанности, разноречью мест и назначений и пр. я их никогда не помню и не знаю. — И все это в такое время, когда мою деятельность объявили бессознательной вылазкой классового врага, мое пониманье искусства — утвержденьем, что оно при социализме, т. е. вне индивидуализма немыслимо — оценки в наших условьях малообещающие, когда книги мои запрещены в библиотеках и в газете публиковались ответы на анкету, составленные с редкой у нас

осторожностью и снисходительностью, но с признаньем разъясненья, данного сверху15. Если я все это перечисляю, то только из чувства общительности, в ответ на ваши сведенья о небывалом кризисе — я знаю, что они не преувеличены, кругом люди читают газеты, и Женя описывала мне картину немецкой жизни. Но ты ошиблась бы, если бы подумала, что изображеньем этой стороны моей жизни я хочу что-нибудь сказать. В отличье от вас и папы это не играет никакой роли в ней, потому что я не обладаю светлым счастьем зависеть от таких вещей, под открытым небом от них зависят меньше, чем под собственным кровом, и это не ирония, а письмо брата, — это сама неприкрашенная пошлость, это правда избитого выраженья, это — крик души.

Недавно, в выходной день Жениной прислуги и в отсутствии ближайшей (по смежности) квартирной ее соседки, у Жени в мое посещенье сделалась истерика16. Женек был ей свидетелем. Улучив минуту, когда она вышла в уборную, он торопясь, говорит мне: «Пойми, это нервный припадок. А ты разговариваешь и все ухудшаешь». Вдруг он весь выпрямился, глаза у него налились слезами. «И вообще, — когда ты к нам, наконец, переедешь?» — и пошел и пошел, дав волю чему-то давно мучившему и накопленному. Сила, вложенная им в эти расспросы и упреки, была невероятна. Я ушел уничтоженный. Он отстранял мои ответы с азартом взрослого, коротким языком изнывшей и взорвавшейся воли. «Я не могу и пр., — туманно отвечал я. — А ты моги! — Ты когда-нибудь поймешь, Женек. — Я и теперь все понимаю. — Кто тебя научил так говорить. — Этому учит природа». — Возвращенье Жени в комнату застало его возбужденно бегающим по ней. Он говорил обо мне в третьем лице и точно отдавал приказанье. «Мы просто не отпустим его. Я его знаю. "Когда-нибудь..."! Это значит никогда. Надо просто запереть двери. Я не выпущу его. Звони дяде Шуре, чтобы перевезли его чемодан...» т- Во всем этом письме есть одно огромное упущенье. Оно со второй же страницы бросилось мне в глаза. Оно не раз потом повторялось на всем его протяже-ньи. Я должен был резче, чем это сделал, подчеркнуть, что все мои чувства к вам — давнего и самостоятельного происхожденья. Я не инспирирован ни Шурой, ни кем-либо еще, ни — всего менее — Женей. Всякий раз, как в разговорах с нею я позволял себе вас критиковать, жесточайший отпор получал я именно от нее. Она говорит, что в том положеньи, раздавленной несчастьем женщины, в каком она явилась бы обузою даже для своих собственных родных, вы сделали для нее больше, чем мог бы кто-нибудь на свете. Она знает, как должны были от нее устать папа и мама. Что же касается основного их уклада, то понятно, что именно его она с гневным возмущеньем ставила мне в пример и ничего бы так не хотела, как чтобы я походил на папу. Она говорит, что я (и в этом она права) не гожусь ему в подметки и как художник, и что все мои поползновенья усомниться в правильности нашего воспитанья — кощунство, кощунство и кощунство.

Я урывками писал это письмо. За ним успело пройти и Шу-рино рожденье17. В последнее время я поуспокоился, последние дни мне и вовсе хорошо. Если бы сладила со своими страданьями

Женя, то я был бы совершенно счастлив, так шла эти дни моя собственная жизнь. Но у нее действительно нет сил жить одной на Волхонке, и когда эта опустошенность обостряется, она без демонстрации, со всей угрожающей правдой хочет уйти из жизни. — Прости мне все несправедливости этого письма. Я верно, схожу с ума. Обнимаю тебя.

Твой Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford). Вторая дата дается по штемпелю на конверте: 28 февр. 1931.

1 При переводе чисел со старого стиля прибавляли 13 дней, и день рождения Пастернака отмечался 11-го вместо 10 февраля, потому что по отношению к событиям

XIX в. разница между стилями составляет 12 дней. День рождения Жозефины — 19 февраля.

2 Посылая поздравительную телеграмму родителям к Новому году, Пастернак писал: «Поздравляю желаю здоровья благодарю. Писать невозможно. Борис» (31 дек. 1931; перевод с нем.).

3 Берлинский адрес родителей.

4 Друзья родителей: П. Д. Этгингер, О. А. Айзенман.

5 По возвращении с Кавказа 22 окт. 1931 г.

6 В день отъезда Е. В. Пастернак в Москву, 22 декабря 1931 г., родители звонили по телефону сыну и, узнав, что он с З. Н. Нейгауз по-прежнему живет на Волхонке, решительно потребовали, чтобы комнаты были освобождены.

7 В комнате С. В. Лурье в Арсеньевском переулке.

8 Н. Н. Вильям-Вильмонт.

9 Стих. «О знал бы я, что так бывает...».

10 Старший брат Леонида Осиповича А. О. Пастернак.

11 Пастернак с З. Н. Нейгауз ездили на несколько дней в Ленинград 18 нояб. 1931 г. и останавливались у Спасских.

12 Ср.: «Но старость — это Рим, который / Взамен турусов и колес / Не читки требует с актера, / А полной гибели всерьез» («О знал бы я, что так бывает...», 1932).

13 Возможно, цитирование слов Толстого: «А знаете, я вот смотрю на вас, и мне ужасно нравится нравственная высота, на которой вы стоите!», — сказанных в ответ на высказанное Л. О. Пастернаком мнение по поводу преступления Нехлюдова в отношении Катюши Масловой, как «кражи жизни и чести соблазненной жертвы» («Записи разных лет», 1975. С. 189).

14 Густав Вильгельмович и Ольга Михайловна Нейгаузы.

15 Выход в свет «Охранной грамоты» вызвал резкую критику. В дискуссии приняли участие Я. Эльсберг, А. Сел ивановский, А. Тарасенков, В. Ермилов, которые признали «классовую враждебность» книги и окрестили «буржуазным контрнаступлением в литературе» (Первое производственное совещание критиков РАПП // Марксистско-ленинское искусствознание. 1932, № 3. С. 113); после этого книга была изъята из библиотек.

16 Об этом случае Пастернак писал З. Н. Нейгауз: «Зинуша, дорогая, рвусь к тебе, но попал к Жене в выходной день прислуги, Веры Васильевны (Смирновой. — Е. П., М. Р.) нет, никого нет в доме, а у ней истерика, выбегает на улицу и пр. и пр. Хочу прийти хоть на минуту, и, может быть, это будет поздно, даже в часу 12-м, если кто-нибудь придет. Крепко обнимаю. Напрасно зашел кЖ<ене> сегодня» («Второе рождение». С. 131). В. В. Смирнова после возвращения в Москву Евгении Владимировны с сыном, по просьбе Пастернака, переехала из Трубниковского, где занимала комнату З. Н. Нейгауз, на Волхонку.

17 День рождения А. Л. Пастернака — 25 февраля.

631. С. М. АЛЯНСКОМУ

16 февраля 1932, Москва

16. П. 32

Дорогой Самуил Миронович!

Если Ваш ответ не в пути уже, ответьте мне, пожалуйста, по адресу Москва Гоголевский бульв. д. 8 кв. 52. Сюда же переведите, пожалуйста, и январские деньги, замедленье их дает себя чувствовать. Если «Поверх барьеров» еще не набрано, то выкиньте из книжки, с которой будут набирать, страницы 89—96, т. е. 4 стихотворенья: обе баллады, Смерть поэта и Ирпень. Все это я хочу перенесть в новую

книгу, куда это просится (и естественно войдет) по времени написания, содержанию и пр. и пр.1 Порадуйте меня чем-нибудь, напишите. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Относительно переноса стихов — решенье твердое и очень нужное.

Впервые. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 412).

1 Во втором издании книги «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (М., 1931) названные четыре стихотворения 1930 г. составляли открывавший книгу цикл «После Ирпеня». Пастернак просит в сб. «Стихотворения в одном томе» перенести их в последний раздел под назв. «Волны» (соответствующий «Второму рождению», 1930-1932).

632. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

10 апреля 1932, Москва

10. IV. 32 Дорогая Жоня!

Очень гадко с моей стороны, что я до сих пор тебе не ответил: я отвечал раза три, но опять, — подробнейшими отчетами, которые трудно было довести до конца. И ты оставалась без известий.

Главное заблужденье, из которого мне бы хотелось тебя вывесть: твое первое письмо, относительно которого ты беспокоишься во втором, было замечательно, и все дошло и очень меня взволновало.

Вкратце. Я с Зиной. Она очень хороша и я ее очень люблю. — Но Женёнок все еще не успокоился, очень тоскует по мне и заметно чахнет. Это ужасно. Это убивает меня и ради одного него надо было бы все переделать. Но единственное разрешенье, в виде детской мечты исходящее и от него, — мое возвращенье, пока немыслимо, потому что я его не проведу, не осилю, оно мне не удастся, и это будет еще хуже. Во все это как-то вмешается судьба, это все разрешится не сейчас и как-то по-другому.

Далее. Ездить мне сейчас нечего, это совершенно лишнее и абсолютно невозможно1. Если бы это мне было нужно, я бы сам похлопотал. Может быть, теперь мне бы не отказали.

Очевидно об этом же думает и папа, когда открыткой предупреждает, что собирается поподробней коснуться одного выраженья в моей приписке к Иринину письму. Я там пожелал им: «будьте счастливы хоть вы и т. д. и т. д.»2. В ответ на это он, очевидно, собирается мне что-то посоветовать. Убежденье, что меня мог бы осчастливить его совет ничуть не задевает меня своей самонадеянностью, но такой образ мыслей ни на шаг не подвинул бы его к реальному участию в моей жизни, если он реально в ней заинтересован.

Вообще тут ничего не поправить. Я с известной стороны, знакомой мне издавна, узнал папу и маму в условьях, в которых это потом уже никогда не забывается. Я был бы мерзавцем, если бы эту горечь поддерживал и подогревал, — я этого не делаю. Но непосредственность отношенья к ним, жившая, как в детстве, до самого последнего времени, теперь утрачена навсегда. Я их люблю, как любят родителей, но с ощущеньем, будто жизнь моя протекает на их глазах, им близка и чем-то может их порадовать, расстался. Еще и еще раз: Женя и Женёнок их боготворят и ставят мне в пример. Но мне много сказали факты, которые родителям показались естественными, а мне нет.

У меня к тебе просьба. Пришли, пожалуйста, на Торгсин из Жениных оставшихся денег два перевода по 250 марок, один Жене на Волхонку 14 кв. 9, другой Зинаиде Николаевне Нейгауз Москва 59, Трубниковский 26 кв. 38, и сообщи, сколько за вычетом этих 500 останется. — Ты, может быть, мне не поверишь, но совершенно особняком от всего стоит папина выставка3, папино семидеся-тилетье, его успех, его

здоровый творческий интерес к своей художнической судьбе и то, как мама это все разделяет. Всем этим я восхищен живо, свободно, неосложненно. —

Крепко целую тебя и Лиду и за все благодарю. Обнимаю Федю и чудесных твоих детей, действительно чудесных, — писал ли я тебе, как показывал всем их последние карточки?

Будь добра, напиши, пожалуйста, Жене. Любите ее, как члена семьи, она очень насторожена в эту сторону и опечалена, что на ее письмо нет ответа. Родителям напишу как-нибудь вместе с Шурой, передай вновь поклоны и поздравленья.

Твой Боря

Папе и маме длинных своих писем писать не в состояньи. Начинаю и плачу. Они мне непонятны. И я наверное переоцениваю тягостность этого открытья: ничего из того, чего у меня к ним не стало, им не нужно и не нужно было никогда. Когда это подтвердится, станет легче. Как-нибудь да доживем.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Жозефина писала брату, что ему надо вырваться из замкнутого круга страдания и срочно приехать к ним.

2 В приписке к письму А В. и И. Н. Пастернаков 3 марта 1931 Пастернак писал: «Дорогие мои! Письма Шурина не читал. Сердечно поздравляю. О себе рассказывать трудно. Зато с радостью с разных сторон узнаю о подготовке к 70-летию и выставке. Живите и будьте счастливы хоть вы. Так время сложилось, что вы нас моложе. О папиных работах, как взрослый, рассказывает Женек. Гордится дедушкой, бедный мой. И когда Лев Григорьевич и Вова рассказывали, слушал знакомое и уже слышанное от него. Так же и Жоня Шуре писала. Обнимаю. Боря» (В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. С. 19). Л. Г. Левин и его сын — Владимир Львович были тогда в Германии.

3 Персональная юбилейная выставка Л. О. Пастернака открылась 6 марта 1931 г. в той же галерее Виктора Хартберга, что пять лет тому назад. Ко дню рождения отца 4 апр. 1931 г. Пастернак послал телеграмму: «Поздравляем, обнимаем. Двое Евгениев и Борис» (перевод с нем.; там же. С. 20).

633. РОДИТЕЛЯМ

10-е числа апреля 1932, Москва

Дорогие папа и мама!

Всей душой участвую в Вашем празднике и разделяю общую радость. Страшно рад за папу: он должен был испытать настоящее, никаким посторонним осадком не отравленное удовлетворенье.

Теперь мне легко понять ту горечь и неловкость, которые всегда сопровождали его успехи. Потому что из каких бы источников

не возникало чувство двойственности, оно всегда досадно, все равно, чувствует ли себя человек выше своей участи или ниже ее. И мне, переоцененному без заслуг и сверх меры, чувство расхож-денья это знакомо так же хорошо, как и сильно недооцененному, в последнем итоге, — папе. Хорошо, что эта нота давно уже перестала звучать в его жизни, и каким чудесным свидетельством тому — выставка и ее прием! Итак, — поздравляю.

Ты спрашиваешь, мама, по какому адресу всего лучше прислать монографию1. Если это в смысле почтового адреса, то — по любому, и всего лучше по Шурину. Если же у тебя какие-то другие соображенья, то при их незнании на твой вопрос трудно ответить и тебе тогда лучше просто руководиться ими.

Сейчас все в СССР расценивается только с политической стороны. В частности, у Ан<атолия> Вас<ильевича> сейчас тут очень мало весу. Если вы хотите подарить ему

монографию, как знакомому, это очень мило, и я не знаю, что тут можно посоветовать. Мне неясен интерес, — твой и папин, относительно здешних откликов и возможностей. И даже если бы мне это было ясно, у меня в этой области нет никакого опыта: все, делавшееся в этом отношеньи со мной, делалось всегда более или менее помимо меня. Я не знаю, что писал вам Паветти, и не уверен, догадался ли он сообщить, что второй или третий год в печати вообще об искусстве не пишут, что этот обычай вывелся. —

Ответьте, пожалуйста, маленькому Жене и напишите большой. Поддерживайте, пожалуйста, с ними связь, прошу вас. Я очень рад вашему торжеству, подпись же: «FunfKinder»* — разумеется, — не моей редакции, и находясь у Шуры, я только подчинился се-мейно-торжественной традиции, унаследованной им2, с детства мне чуждой и недавно доказавшей мне правоту моего чутья.

Обнимаю вас. Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 В связи с юбилеем была издана монография Леонида Осиповича Пастернака, впервые небольшим тиражом выходившая в 1924 г. в издании А. Штабеля в Варшаве. От нее остались готовые отпечатанные репродукции, которыми автор теперь воспользовался для нового издания. Родители хотели, чтобы этой книгой заинтересовались в Москве и надеялись на помощь А. В. Луначарского.

2 Речь идет о телеграмме, посланной А. Л. Пастернаком: «Поздрав-

* Пять детей (нем.). 594

ляем сердечно, жалеем, что отсутствуем, чокаемся за здоровье нашего любимого отца и деда, целуем и обнимаем маму и сестер. Пятеро детей и два внука» (перевод с нем.).

634. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

24 мая 1932, Москва

24. V. 32

Дорогая Жоничка!

Я пишу не из Жениной квартиры. Я не заразен, и мой карантин кончился. Так что ты не бойся1.

Когда в 25-м году я писал Спекторского, я задумал вторую часть повести в виде записок героя. Он должен был вести их летом в городе2, в мыслях я поселил его в нижнем этаже одного двухэтажного особнячка на Тверском бульваре, где когда-то, кажется, помещалось датское консульство3.

Сейчас лето, в окне Тверской бульвар, я пишу тебе из этого самого помещенья. Жизнь обернула все так, что пришло время, когда в полувоображаемое место полувоображаемого действия попал я сам.

Я переехал сюда позавчера, это две комнаты с еще недоделанной ванной и непроведенным электричеством, временная квартирка, предоставленная мне, Зине и ее детям Всероссийским Союзом писателей.

Зимой, как многие в то время, разбирая страданья и превратности мои и близких, ты призналась, что ближе всего твоему сердцу во всем этом то, что будет со мной и как чувствую себя я. Ты меня знаешь и поверишь, что в то время участие такого рода только усугубляло мою печаль, потому что я был полон противоречиво сталкивавшихся забот не о себе, и напоминанье о том, что если уже о ком заботиться, то стали бы только обо мне, а не о других, усугубляло мою озабоченность и утверждало меня в моих страхах.

Но я теперь тебе отвечу.

Я счастлив, Жоничка. Но я слишком сильно люблю Зину, и она чересчур — меня. Так можно жить месяц или два, а мы живем так второй год.

Чтобы существовать, работать и строить, надо уметь подчинить чувство какому-то успокаивающему распорядку, все равно, чем бы он ни был внушен, холодом ли себялюбья или холодом, в меру его исполнимости отмеренного, долга. Если бы папа и Федя взглянули, как я живу эти последние годы, они бы с ума сошли от полученной контузии.

Непомерно трудно, четырежды осложнение против прошлого, в вечной беготне между разными очагами хозяйства, поочередно сваливаясь то от воспаленья легких, то от операций, прожила полтора эти года, и в особенности последнюю зиму Зина, и сейчас работает не покладая рук. Непомерно много приходится зарабатывать мне. Для того, чтобы это обнять, надо иметь возможность сосредоточиться. А мы, как дымом курную избу, все время до неразличимости заваливаем эту прозу туманом счастья, и наверное, погибнем: так жить нельзя, и мы не справимся.

Она очень хороша, и была одной из считанных здесь красавиц. Я тебе сказал уже, как мы живем. Мы с заметной быстротой старим друг друга. В особенности это отражается на ней. Второй год, отчасти по вине моей милости, ей приходится стирать, мыть полы и пр. и двое детей на руках у ней; и все это еще очень хорошо в те полосы, когда дети с ней, так что все это под рукой, и ей не приходится разрываться между двумя домами.

Я тебе скажу, кто она. Если бы папа пятидесяти лет второй раз женился на восемнадцатилетней, и ты была бы третьей дочерью в этом браке, и он скончался бы, когда тебе было десять лет, и вдруг выяснилось бы, что вы бедны и генеральской пенсии на многочисленную семью от двух браков мало, и была бы шумная дача в Саблине, с обильной родней, юнкерами и лицеистами, и ты в 15 лет полюбила бы Н. Скрябина4 и отдалась ему, и он был бы твоим двоюродным братом, 45 лет и женатым, с детьми; и он с тобой, институткой, сначала встречался бы в отдельных кабинетах, а потом снял тайную квартиру для свиданий и ты полуребенком три года была бы его любовницей, три эти года деля между этою тайной и приготовленьем уроков5. И потом пришла бы революция и дальнейшая жизнь, для женщины так немилосердно рано начавшаяся, и эта вечная твоя красота, и вечное витье кругом, и приставанья. Если бы все это было так, она была бы тебе, наверное, ближе, чем станет из моих писем и рассказов. Мне же она страшно сродни и ужасно, ужасно близка. И она близка мне не так, как на мой счет, наверное, подумал бы, скажем, папа. Она близка мне не действием мопассановского рассказа, не ревнивой жалостью всякого крупного творческого темперамента к участи девочки, будущей красавицы, — это сложный закон, об этом долго распространяться, — разумеется, я подвластен ему6. Но нельзя быть и большим, запоминающимся знаком времени, нельзя быть большим поэтом только в сумме благоприятно сложившихся данных, только из средств врожденной талантливости, счастливо развитой, только из жизнью почерпнутого опыта. Но обязательно требуется полное нарушенье всей этой логики, почти несчастье какое-то, для того чтобы во все это ворвалась улица и неизвестность.

Зина близка мне кровно тем, что она полною женской и человеческой ценою оплатила свое право, дающееся другим безвозмездно, право, которым она почти не пользуется в противоположность большинству интеллигентных женщин: право сужденья о жизни и душе и ее истории и ее страданьях. И она близка мне тем, что она им не пользуется. Она так же глупа, нелепа и первоэле-ментарна, как я. Так же чиста и свята при совершенной испорченности, так же радостна и мрачна.

Я Лиде послал «Охранную Грамоту»7. Получила ли она ее? Поблагодари ее за денежный перевод на Зинино имя.

Крепко целую тебя и всех твоих.

Твой Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1В конце апреля заболел тяжелой формой скарлатины маленький Женя, отец переехал на время болезни на Волхонку. См. об этом в письме JSfe 635.

2 Два стих. «Из записок Спекторского» (1925) сохранились в собр. Л. Ю. Брик.

3 Имеется в виду флигель дома № 25, который в XIX в. принадлежал дяде А. И. Герцена и получил название «Дом Герцена». В этом флигеле Пастернак получил двухкомнатную квартиру, выделенную из пожертвованных ему соседями, писателями В. В. Слетовым и И. В. Евдокимовым.

4 Ошибка Пастернака, надо В. Скрябина. О своей отроческой влюбленности в сводного брата композитора 28-летнего Владимира Николаевича Скрябина Ж. Л. Пастернак писала брату вскоре после своего замужества в 1924 г.

5 Краткое изложение биографии 3. Н. Нейгауз.

6 Об этом в начале мая Пастернак писал также отцу: «Зина больше, чем жена мне. Помимо большого все более углубляющегося чувства, чувства ясности, чувства счастья, — меня связывает с нею тысяча мелочей, ей и мне не известных, темное множество подробностей, рассариваемых человеком в жизни и забывающихся, но составляющих главную тайну его явленья и предназначенья. Она очень родная мне. Мне очень хотелось бы написать о ней, но как раз все то, что меня всего больше всего ранит и поражает в ее немилосердно рано и страшно (с 15-ти лет) начавшейся жизни женщины, тебе, пока ты ее не узнаешь, скажет очень мало и, может быть, даже уронит ее. Но все это, между прочим, и неважно, за мненьем о ней, как и за всем имеющим к ней отношенье я стал бы стучаться только в те двери, к которым естественно привела бы меня моя судьба художника, если бы я был предельно свободен и счастлив, то есть жил, как Рильке, один. Мир одиночества, глубиной которого всегда приходится поступаться, когда его с кем-нибудь разделяешь, ничего не потерпел и не утратил, когда я попробовал разделить его с ней» (там же. Кн. П. С. 36).

7 «Охранная грамота» вышла отдельным изданием в конце 1931 г. в «Изд-ве писателей в Ленинграде».

635. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

27мая 1932, Москва

27.V.32

Дорогая Раиса Николаевна!

Непростительно, что я так долго оставлял Вас без известий, после всего перекрестно сказанного и понятого за эти годы, после всего сделанного за них Вами, Вами одной. Чем же объясняется мое молчанье? О, — слишком сложно было все, слишком трудно. И когда меня заставали Ваши запросы за последовательными частями совершавшегося, я остерегался писать Вам из их разгара, потому что и без того всякое душевное осложненье заставляет нас задерживаться на преходящих стадиях страданья, точно на всей нашей жизни, и принимать отдельные событья нашего существованья за весь его смысл. Мы и молча преувеличиваем и гиперболизируем. Когда же обстоятельства заставляют нас еще и выражать испытанное в разгаре испытаний, то это не облегчает их, как напрасно думают, а только усугубляет. Итак я не писал Вам, потому что не мог, а мог бы, — все равно не написал бы, из предосторожности.

Роковою ошибкой было возвращенье Жени, в котором отчасти виноваты мои родные. Горе ее или раздраженье или недовольство все еще не унялось. Бытовые московские особенности (главным образом отсутствие комнат для найма) все это очень усложнили. Не могу пересказать Вам всех глупостей, которые я делал и готов был довести до конца в теченье этого года. Сосредоточивать все в отношеньи Жени в одной участливой заботе, пусть и достаточно горячей, не запрашивая никаких других сторон

сердца, точно их и не бывает, стало такою прочной для меня привычкой, что и сильно любя другого человека и вырвав его из его налаженной семейной жизни, я готов был ото всего отказаться, только бы успокоить свою совесть, напуганную Жениными состояньями. В этом направленьи было сделано так много шагов, роковых и непозволительных, что просто чудесно, что этого не случилось. Я искушал судьбу больше, чем на это решается счастливый, изумленный своим собственным счастьем человек, я два-три раза так все подводил, что как бы предоставлял обстоятельствам самим от меня отвернуться, если бы это было угодно случаю. Я не скажу Вам, как бы я стал жить дальше, лишившись Зины, но я вообще не смотрел вперед, потому что знал, чтб увижу, и руководствовался только невыносимою болью минуты. А когда, подчас, все же заглядывал в будущее, и не Бог весть какое отдаленное (оно представлялось мне немыслимым), в будущее ближайшей недели, то жадно и почти практически желал себе смерти, как единственного выхода. Я даже травился тогда зимой, и меня спасло только то, что меня спасли в самый же вечер этого поступка1. А теперь, излагая Вам это все, я уже того себя тогдашнего не понимаю.

Я пишу Вам из еще недоделанной двухкомнатной квартиры в доме Герцена на Тверском бульваре, предоставленной нам Союзом писателей. Несколько дней, как мы сюда переехали. Мне страшно хорошо тут с 3<иной>. И как ни трудно ей с двумя мальчиками на руках без прислуги (на днях мы все поедем на летние месяцы на Урал2 и работницы не стоит на такой срок нанимать) — неплохо, вероятно, и ей. Я так распространяюсь о своей радости, что Вы, пожалуй, в ней усомнитесь. Тогда в двух словах. Удивительна ее жизнь, трудная, исключительно страшная. Удивительно, по глубокой близости мне всего того, что ее сложило, — удивительно, говорю я, что я так опоздал, что я не узнал ее лет 18 назад, когда, в пятнадцать лет началась эта ее безжалостно страшная жизнь. Помните мою «Повесть»? Помните, я писал Вам об участии некоторых встреч и привязанностей в образованы! главного заряда повести, и должен был написать о Вашем3. Ну вот, так 3<ина> — сама «Повесть», судьбой, внешностью, осуществленной идеей, тем, что она берет от меня и что делает со мною, она — сама Повесть и ее больше не надо писать.

Теперь о Женях. Они живут на старой Волхонской квартире (Волхонка 14 кв. 9). Месяц назад маленький Женичка заболел скарлатиной, и обеспокоенный скорее за Женю большую, я временно у них поселился. Я провел там около месяца. Вероятно я несносно тяжелый и может быть просто дурной человек, и по-видимому моя неискоренимая потребность в широкой, исполненной взаимным уваженьем Жениной дружбе, — неслыханная и житейски невопло-тимая претензия, но я въехал туда с этим притязаньем, кажется, в последний раз, и выехал, совершенно от него навсегда отказавшись, так непохоже было, чтобы оно когда-нибудь было удовлетворено, так далеко все то, что я там увидел, от того, что я лишь мыслью, хотя бы отдаленно мог бы считать себе родным, даже если бы у меня не было полного контраста для сравненья.

Простите за глупое письмо. Мне очень хотелось поблагодарить Вас за все и рассказать, как хорошо мне и легко и как хочется жить.

Простите, далее, что мне тах хотелось сказать Вам хоть что-нибудь о Зине, и я так был полонен этой потребностью, что лишь сейчас только доставши Ваши последние открытки, перечел несколько строк, которыми Вы к нам прикоснулись, и увидал, как они тревожны. Но это ведь ужасно, — операция за операцией4, — воображаю, как это Вас всегда волнует! Вы наверное не захотите написать мне, но не откажите в одном. Сообщите хотя бы открыткой о со-стояньи здоровья Чуба, очень прошу Вас, и так как я сейчас не знаю нашего будущего адреса, то в Свердловск, главный почтамт, до востребованья, — мне. Всего лучшего. Не смейтесь над моими признаньями. Сердечный привет всем Вашим. Преданный Вам Б. И

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Лондон и оттуда в Кембридж.

1 О попытке отравления см. письмо № 630.

2 Пастернак был приглашен Свердловским обкомом в качестве официального гостя.

3 Речь идет о письме № 519: «...Воздух повести Вы могли признать, как в каком-то отношеньи знакомый, свой и родной: Вы в нем побывали <...> в лучших частях ее состава Вы принимали участье, чему-то Вашему я искал выраженья...».

4 Имеются в виду тяжелые обстоятельства лечения Ю. Ю. Ломоносова (Чуба).

636. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 июня 1932, Москва

1. VI. 32

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Как хорошо, что я все время не писал Вам! Сколько глупостей бы Вы наслышались, сколько тяжелого бы, и теперь уже лишнего, прочли!

Ах, какая тяжелая зима была, в особенности после приезда Жени. Мучилась, бедная, в первую очередь и она, но сколько и всем, и мне в том числе, было страданий! Сколько неразрешимых трудностей с квартирой (нам с Зиной и ее мальчиками некуда было деваться, когда очистили Волхонку, и надо было бы исписать много страниц, чтобы рассказать, как все это рассовывалось и рассасывалось). Невозможным бременем, реальным, как с пятнадцатилетнего возраста сурово реальна вся ее жизнь женщины, легло все это на Зину. Вы думаете, не случилось той самой «небылицы, сказки и пр.», о которой Вы и слышать не хотели, и от безумья которой меня предостерегали?1 О, конечно! Я и на эту низость пустился, и если бы Вы знали, как боготворил я Зину, отпуская ее на это обидное закланье. Но пусть я и вернулся на несколько суток, пройти это насилье над жизнью не могло: я с ума сошел от тоски. Между прочим, я травился в те месяцы, и спасла меня Зина2. Ах, страшная была зима. Я, а потом и она со мной поселились у Шуры с Ириной. Начались ежедневные ее хожденья к детям и по рынкам (все, относящееся к закрытым распределителям, я оставил Жене), Зина по несколько раз сваливалась в гриппах и, наконец, к весне заболела воспаленьем легких. Мы были у Шуры, где тоже все время хворал Федя (сейчас у него корь с ушным осложненьем), мальчики же ее находились у отца, в совершенно запущенной квартире, потому что Зина не справлялась с двумя хозяйствами и ей приходилось быть им, так сказать, «приходящей» матерью, а не живущей, — я страшно виноват перед ней, ужасно расшатал ее здоровье и состарил, но и я в последнем счете был несвободен, мною слишком владела жалость к Жене, я как бы ей весь год предоставлял возможность сделать благородное движенье, признать свершившееся и простить, но не так, как она это делает, сурово и злобно или насмешливо, а широко, благородно, с затратой каких-то, пусть и дорого стоящих, сил, но с той добротой, без расчета, от которой одной и можно только ждать мыслимого какого-то будущего, человеческого и достойного. Странным образом у нее совершенно нет этих задатков, и она даже смеется над теми, кто этой мягкостью обладает. Да, так вот, мы жили с Зиною у Шуры, когда вдруг заболел скарлатиной Женичка3, и мне в последний, вероятно, раз со всей наивностью стало страшно за нее, и тогда Зина предложила мне поселиться на Волхонке на срок его болезни, а сама осталась на квартире у Шуры. И опять Жене было сказано, что я поселяюсь у них на положеньи друга на шесть недель, и вновь это была, пускай и горькая для нее, но мыслимая и совершенно определенная рама, в которой можно и надо было найтись и как-то проявить себя, и вновь с этой стороны не было показано ничего отрадного. Хотя я и чистил платье щеткой в сулеме, но, встречаясь с Зиной у нее на дворе или на воздухе,

подвергал ее детей страшной опасности, и просто чудесно, что они до сих пор не заразились.

Но я очень многословен, — доскажу, что осталось, короче.

Женичке болеть еще 11/2 недели. До сих пор все шло благополучно. С неделю я живу с Зиною в двухкомнатной и еще недоделанной квартире, уделенной нам Союзом писателей на Тверском бульваре. Здесь не проведено еще электричество и не собрана ванна. С нами же ее чудесные мальчики. Они на руках у нее, и 3<и-на> чуть ли не ежедневно стирает и моет полы, так как кругом ведутся строительные работы, и, когда входят со двора, следят мелом и песком. Через неделю мы вчетвером поедем на Урал, и на этот срок брать работницу не имеет смысла. Не думайте, что Женя оставлена материально и, так сказать, в загоне. При Женичке воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга. Будьте справедливы и к ней: все это делается против ее воли, для меня большим облегченьем служит сравнительная сносность ее внешнего быта, и всякий раз, как дело доходит до новых денег, мне больших и горьких трудов стоит, чтобы она их приняла. Но, Бог ей судья, в ней есть что-то совершенно непонятное мне и глубоко чужое. Когда я о ней думаю после длительных разлук, я всегда прихожу в ужас от той черной двойственности и неискренности, в которой держал ее всегда, и несу ей навстречу волну готовой прямоты, чтобы все исправить, и когда оказываюсь вместе с ней, то вновь и вновь единственной моей целью становится, чтобы она была весела, а для этого я должен говорить не то, что думаю, потому что она не терпит прекословии, и все это повторяется вновь и вновь и всегда мучит тем, что то чужое, что сидит в ней, совершенно расходится с ее внешним обликом и ее внутренней сутью в другие минуты, и все это так странно, что похоже на колдовство.

Я совершенно счастлив с Зиною. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили. Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мои гаданья не заключали, но я не знаю, к кому они относились.

Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованною на два-три дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещенье вас, и она к вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как Вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же ею впечатленьи я Вам говорил.

Она несколько раз порывалась писать Вам, тетя, в декабре истекшего года, когда вдруг так быстро стали близиться событья, предсказанные Вами в качестве недопустимостей или неслыхан-ностей. Я Вам их уже описал. Она бросалась к Вам за помощью в их предупрежденье. Тогда же она думала обратиться к папе. Она справедливо боялась искаженного изображенья всего происшедшего, какое могло получиться за границей. Ей было очень тяжело, и эта тягостность была тем нелепее, что мы взаимно были уверены друг во друге и в наших чувствах. Я помешал ей написать Вам и родителям из страха, как бы это не повредило Жене. В отношенье последней у меня за годы жизни с ней развилась неестественная, безрадостная заботливость, часто расходящаяся со всеми моими убежденьями и внутренне меня возмущающая, потому что я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски бездеятельном ослепляющем эгоизме, как она. Плоды этого дурацкого воспитанья сказались в виде такой опасности, что я никогда не мог избавиться от суеверного страха за нее, тем более суеверного, чем дальше меня отталкивали некоторые ее проявленья. Последним случаем такой нежности, основанной на осужденьи, ужасе и испуге, были зимние месяцы, когда, как я повторяю, я опять было готов был пожертвовать ей не только собственным счастьем, но и счастьем и честью

близкого человека, но на этот раз уже восстала сама логика вещей, и этот бред не имел продолженья.

Если захотите, напишите мне, пожалуйста, в Свердловск, Главный почтамт, до востребованья. — Вы знаете, какою радостью будет весть от Вас. Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у Вас нашлись слова для Зины, она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек и чудесная, незаслуженно естественная, прирожденно сужденная мне — жена.

Ваш Боря

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 Объяснение этих слов в письме Пастернака № 630: «...тетя Ася назвала "неслыханностью, сказкой", которая, по ее словам, мне бы не простилась, — возможность возвращенья к Жене...».

2 О попытке отравления см. в письме № 630.

3 В конце апреля 1932 г.

637. Н. Н. АСЕЕВУ

1 июня 1932, Москва

1. VI. 32 Дорогой Коля!

Благодарю тебя за вниманье и просьбу: досылаю стихотворенье1.

Между прочим отбор производила Зина прошлого зимой. Это как если бы я его в свое время доверил Наде2. У них много общего.

Через дня два-три мы едем в Свердловск на все лето. Мне очень хорошо, но много забот. Лишь бы еще успеть Женю с Женичкой устроить куда-нибудь на лето.

Сердечный привет Ксаночке.

Целую тебя. Твой Боря

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 375).

1 Речь идет о книге «Избранные стихи», готовящейся в изд-ве «Федерация» (ответ, редактор Э. Г. Багрицкий). Сборник начинался с двух стихотворений 1930 г. под назв. «После Ирпеня». Возможно, имеется в виду «Баллада», посвящ. З. Н. Нейгауз, которая отбирала стихи для сборника.

2 Н. М. Синякова, к которой была обращена часть стихотворений книги «Поверх барьеров» (1917).

638. Л. Л. ПАСТЕРНАК

1—11 июня 1932, Москва — Свердловск

Дорогая Лидочка!

Сердечно благодарю тебя за перевод на имя Зины. Прости, что так задержался ответом, но все это время было много хлопот. Хотя перевод в банке еще не получен, но эти операции всегда затягиваются, и это не должно вызывать твоих опасений.

Я отправил тебе «Охранную грамоту» еще с Волхонки. Получила ли ты ее?

Дней уже десять, как я — с Волхонки, а Зина — из Трубниковского пер. переехали в две комнаты в доме Герцена (Союз писателей) на Тверском бульваре. Почти тогда же от нее ушла прислуга, остававшаяся с детьми, и их тоже перевезли сюда. Уральский областной комитет партии пригласил меня на очень хороших условьях на лето на Урал. Мы знали, что в начале июня поедем туда, и на 10 дней работницу нанимать не имело смысла.

В результате — Зина с ног сбилась, у детей белья и платьев мало, кругом идет стройка, в комнаты наши почти без порога попадаешь прямо со двора (1-й этаж), и сколько она ни стирает и ни поломойничает (не преувеличивая, — ежедневно), чисто бывает только вечерами, когда она без сил, не раздеваясь, растягивается на кровати и тотчас же засыпает, как убитая. Ее очень жаль, но мне все это в ней очень близко, как и

весь, — всегда очень тяжело для нее оборачивавшийся, подход ее к жизни. Она родилась в среде, не знавшей лазеек словесности, и все ее переживанья были реальны, а не воображаемы.

Письмо пролежало очень долго. Доканчиваю его в Свердловске, бывшем Екатеринбурге. Как всегда у нас, из пригласительных разговоров возникает картина, не только никогда не подтверждающаяся на месте, но ни одной чертой, ни одним оттенком на нее не похожая. Нас тремя телеграммами подряд извещали, что

дача готова и чтобы мы выезжали немедленно. Теперь мы тут и временно помещены в городе, в гостинице, потому что дача еще не отремонтирована.

Гостиница воздвигнута среди полуазиатских пустырей1 по последнему слову американской техники, при двухкомнатном номере уборная и ванна, но они бездействуют, и ходить надо в общую уборную, против чего нечего было бы возразить, если бы только в этой американской 9-этажной гостинице это не понималось по-казарменному: в общих этих уборных нет крючков и несколько сидений, ничем не разгороженных: ты должен сидеть обязательно в чьем-нибудь обществе, и когда открывают двери, тебя из коридора видят идущие мимо съемщики обоего пола.

11. VI. 32. Событья развиваются. Уже дача как будто оказывается мифом. Ее не отказываются предоставить, но отказываются показать: по-видимому ее не существует в природе2. Продолжать это письмо бесполезно. Вести разговор по несколько слов в сутки из недр самбй неопределенности и неустроенности — занятье бесцельное. Поэтому прости, если отошлю его без всякого заключенья.

Здесь, между прочим, концертирует Боровский, остановившийся в соседней гостинице, и я его, наверное, увижу: что-то папа Шуре писал, чтобы его повидать.

— Уезжая я устроил Женю с Женичкой и Елиз<авету> Мих<айловну> на два месяца в одном из домов отдыха под Москвой. Хочу надеяться, что данные мне в отношении их обещанья будут солиднее моих уральских3.

Последнее время я читаю газеты и слежу за всем, происходящим у вас4. Я хорошо сознаю значенье всего этого, из международных перемен это самое важное и чреватое последствиями. А в дороге перечитывал Ремарка «Im Western nichts neues»*.

Обнимаю тебя. Твой Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford). Датируется по содержанию.

1 Через две недели Пастернак писал Евгении Владимировне: «Что касается нас, если тебе это интересно, то никакой дачи все еще нет, обещают со дня на день и не дают уехать. Мы впятером все еще в том же номере (из 2-х маленьких комнат) и до сих пор не прикреплены ни к какому из распределителей. Жаловаться нельзя, потому что обедать и ужинать ходим в столовую ОГПУ, и следовательно, не голодаем, а в отношеньи остальных удобств не слишком взыскательны. Но ради этого

* «На западном фронте без перемен» (нем.). 605

бездельного сиденья в пыльном городе со все еще длящейся и бесцельной неопределенностью так далеко ездить не стоило, и так как я местность, в которой дача предположена, уже видел, и это хуже Сокольников в их пригородной части, то поездку надо признать совершенною неудачей» («Существованья ткань сквозная». С. 367—368). На дачу переехали только 8 июля.

2 «Тут отвратительный континентальный климат, — писал Пастернак 4 июля, — с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками. Самумы эти неописуемы и никакие слова не способны это передать» (там же. С. 369).

3 Обещанные путевки в дом отдыха не были получены. См. письмо к Е. В. Пастернак 4 июля: «Когда я уезжал, мне гарантировали, что в случае, если в Голицыне 15-го июня не будет открыто, вас поместят в Малеевке. Возможности помещенья в Малеевке были с самого начала, но только с 1-го июля, и так как эта перспектива была для тебя неприемлема по отдаленности срока и длительности ожиданья, то заблаговременная кандидатура на этот дом отдыха была упущена. Мне все же кажется, что со мной вероятно не шутили, отводя места в несуществующем санатории, и может быть как-то можно в дальнейших поисках опереться на это неисполненное обещанье. Я хочу сказать, что и горком должен либо что-то тебе дать, либо помочь найти что-нибудь взамен» (там же. С. 368).

4 Имеются в виду события в Германии, предшествовавшие победе нацизма.

639. Е. В. ПАСТЕРНАК

7 июля 1932, Свердловск

7/VII/32 Дорогая Женя!

Я все дни думаю о Женичке и меня беспокоит, как бы ты не упустила сроков к определенью его в школу. Вероятно это надо сделать в конце лета. Осенью, когда мы обыкновенно возвращались и возвращаемся в город с дачи, это бывает уже поздно, и тогда вакансий не остается. Я боюсь, что вскипев по поводу моей озабоченности, как пустой фразы, ничем и нигде, как только на бумаге не проявляемой, ты в этой моей несостоятельности и в своих счетах со мной всю суть вопроса и усмотришь, позабыв, что Женичке перевес твоей правоты над моей неправотою школы заменить не может. Я не умею этого сказать так, чтобы это не показалось упреком, но это неудача выраженья: в мысли моей никакой укоризны тебе нет. Посоветуйся, пожалуйста, с Ольгой Александровной. Узнай, какая из близких по району школ считается лучшей. Если этого не знает она сама, то может быть, назовет тебе лиц, которые могут помочь тебе это выяснить и расскажут, какие формальности требуются для помещенья в школу. Если потребуются какие-нибудь просьбы лично от меня, сообщи мне, пожалуйста, все заблаговременно с точными данными, кому писать и кто это такой. — Не суди меня слишком зло и строго. Я знаю, что у тебя для этого много оснований, но пройдет время и ты увидишь, что все придет к лучшему: я только не могу все это сделать сразу. Все у нас делается страшно медленно в России, и в особенности сейчас. Как ни снисходительно я к тебе относился, многое, вызывавшееся обстоятельствами, я несправедливо приписывал лично тебе. Справедливость приходит с опытом. Может быть если бы ты была на месте Зины, т. е. второю, а не первою, я был бы терпеливее и не так замкнуто скрытен в минуты сдерживаемого отчаянья. Мне теперь легче не только потому, что 3<ина> зрелее и покладистее тебя, а еще и потому, что и я стал старше и терпеливей.

Но мне и труднее во много-много раз, чем во время оно, потому что пока я заботился только о нас троих, я мог сохранять свою художественную и бытовую независимость нетронутою. Я мог пренебрегать возможностями, которые предоставляла связь с организациями (Цекубу, профсоюз и пр.) уже и тогда. Теперь я знаю, что ведя частный образ жизни почти что не по средствам, я инстинктивно следовал моему собственному предрасположенью, чтобы ничем не связывать своего вкуса и досуга. Тогда же я этого не сознавал, и порой бывал несправедлив к тебе, в тебе одной заподазривая причину столь обременительного и противного времени хозяйственного режима. — Сейчас, в силу удвоившихся, если не утроившихся, забот, мне приходится обращаться за помощью к инстанции, которой я всегда пренебрегал. Справиться со всем частным путем я не в силах. Я потому и принял уральское предложенье, что жизнь вторым домом, при одновременном обеспече-ньи первого, собственными частными силами, жизнь, как это понимали мы или Нейгаузы или

Асмусы в Ирпене, мне будет не по средствам. И — удивительное дело. Знаешь, чем мне уже пришлось поплатиться за это обращенье? — Производительностью, — как это ни странно. Казалось бы, что сев на шею организации, чего я раньше не делал, я должен был бы обречь себя, в смысле труда, на каторгу, и прийти к положенью, в котором днем и ночью отрабатывал бы относительные блага, от нее полученные. Казалось бы, что разросшиеся обязательства тем сильнее должны были бы меня засадить за работу. Но случилось совсем наоборот. Государственная поддержка оказалась областью безвыходно противоречивой. Овладенье льготами, которые она решила мне тут предоставить, потребовало от меня целого месяца вынужденного безделья. Весь он ушел на хлопоты и досаднейшее выжиданье исполнений по ряду хозяйственных распоряжений, досадных в особенности тем, что обещанья все время давались близкие, и всё на завтра, на сутки же располагаться работой не тянуло и суток этих, в каждом отдельном случае, не было жалко. В теченье этого месяца я ничего решительно не видел специфически заводского или такого, зачем бы стоило ездить на Урал. Более того, никогда, даже в берлинское свое сиденье за Диккенсом1 я не уходил так далеко от своей природы в совершенно животном и абсолютно пассивном прозябаньи, все время перемежаемом звонками по телефону и хожденьем по всяким ведомствам. Этого не понять, это должно показаться невероятным, если этого не испытать на месте. В городе имеется телефон, но он каждый день портится и всегда в тот момент, когда ты именно по нему завязал и уже довел до половины дело. В гостинице есть электричество, но оно гаснет как раз в тот миг, как ты стал что-нибудь делать, исходя из его наличности. То же самое с водой, то же самое с людьми, то же самое со средствами сообще-нья. Все они служат лишь наполовину, достаточную, чтобы оторвать тебя от навыков, с помощью которых человек справляется с жизнью, лишенной водопровода, телефонов и электричества, но вполне мыслимой и реальной, пока она верна себе. — Мы должны были переехать вчера на дачу, но машины не подали, потому что весь день был дождь и дороги размыло. Я не знаю, попадем ли мы туда сегодня. Перспективы такие. Лета осталось два месяца. Если я засяду там на этот срок за работу так, как я сейчас есть, это в лучшем случае будет какая-нибудь субъективная отсебятина о чем-нибудь личном, как до сих пор, т. е. нечто такое, что и в Москве, в старых домашних условьях, ставило меня в незавидные ус-ловья и делало год от году смешнее, и что особенно смешно будет именно тут, за 2000 верст от Москвы и не где-нибудь, а на Урале. Итак, такой план был бы заведомым пораженьем и для того, чтобы осмыслить тяжелую поездку в такую даль, остающееся время придется потратить на что-нибудь другое. Я и думаю поездить по заводам, и возможность к тому кажется представится2. Художественно же реализовать все это придется гораздо позднее. Последнее нимало не пугало бы меня, если бы не авансы, которые я этою весной забирал тысячами. По всем ним я обязался сдать осенью объемистые произведенья, и вот, как именно я буду выкручиваться тут, я боюсь и думать. Обещаньями и обязательствами я себя связал так, как никогда, а прожил около полугода до тоскливости бесплодно. Мне грустно и страшно, за себя, за тебя, за Женю, за 3<ину>, за детей, — за всех.

И все же я не теряю надежды. Вероятно ты незаслуженным образом помогаешь мне, и я лишь этого пока не знаю и вдруг узнаю. Да и того, что знаю я достаточно, чтобы быть огромною поддержкой. Ты работаешь, пишешь ты, и, следовательно, надо думать, здоровее душой, чем во время Жениной болезни, оторвавшей тебя от жизни. Ты, вероятно, здоровее нравственно и может быть это испытывает Женичка на себе; ты может быть ласковее с ним и ему не так одиноко. И опять ты наверное думаешь, что все это фразы, и сердишься. А я часто льщу себя такими иллюзиями и переполняюсь

благодарностью к тебе, их рисуя. И наверное все это так. Напиши мне, прошу тебя. Обнимаю крепко вас обоих. Ваш Б.

Мой адрес. Свердловск. Пушкинская. П-й дом Горсовета, 4-й подъезд, кв. 43, Н. И. Харитонову для меня.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Имеется в виду поездка в Берлин в 1922-1923 гг.

2 «Литературная газета» писала о пребывании Пастернака на Урале: «Он здесь в качестве гостя правительства, и ему дали возможность изучать когда и как это захочется, жизнь шахтеров и рабочих металлургических заводов Урала» (11 авг. 1932). В действительности, возможность осмотреть окрестные места и заводы обернулась ужасом увиденного голода и разорения деревень, вызванных коллективизацией, и стоявшими на путях эшелонами вымиравших раскулаченных крестьян. Разница между повальным голодом деревень и обкомовской «обжираловкой», к которой был прикреплен Пастернак, была настолько невыносима, что он не смог дожить до конца срока и уехал в Москву, так ничего и не написав из требующегося по договору с обкомом.

640. И. В. ЕВДОКИМОВУ

10 июля 1932, Шарташ

10. VII. 32

Дорогой Иван Васильевич!

Мы только на днях переехали на ту хваленую дачу под Свердловском, куда нас нетерпеливо и по телеграфу звали с самого мая: до сих пор она существовала скорее в идее. Сейчас это все устроилось, и потеряв больше месяца на утомительнейшие приготовления, главным образом по разным ведомствам, мы с удобством разместились в деревянном домике на участке детской санатории, — домике, который можно было бы назвать монплезиром, если бы он в то же время не был мощным клоповником. Зато по питанью нас занесли в высший разряд крупнейших партработников, и эта сторона не оставляет желать ничего лучшего: в дачной столовой обкома, кухня, как в 1-й главе Евгения Онегина1; отношение «вдумчивое и чуткое».

Между тем, странным образом меня не перестает тянуть в Москву. Это по каким-то обертонным, неэгоистическим, внедач-ным причинам. Лично мне тут жаловаться не на что, и я бы их в гармонии Свердловского приема указать не мог, но тем больше их вне его круга.

Вот отчего я решился напомнить Вам о себе. Удалось ли уже закончить оборудованье наших комнат2: наружной двери, ванны, освещенья и теплопроводки? Напоминать Вам об этом на расстоя-ньи ничуть не удобней, чем в непосредственном соседстве. Я также все не могу постигнуть, отчего со всем этим приходится обращать-ся к Вам, писателю в полуписательском флигеле, редкому и почти единственному, если только не переселились уже Сергеев-Ценский и Андрей Белый. Единственное объясненье этому может быть в том, что Вы подобно Фету не верите в действительность слова, не подкрепленного деятельностью в какой-нибудь другой области. Если это не так, то все равно, — надоедая Вам по хозяйству, я-то, во всяком случае пишу, Вам на Тверской бульвар, как в Воробьевку.

Как бы то ни было, — был тут такой момент, что я уже было собрался назад со всеми своими и только то удержало, что по баснословной случайности я еще ничего тут не видал, — за хозяйственными хлопотами смотреть было некогда, — брать сюда семью было безумьем.

Теперь я это уггущенье наверстаю и, во всяком случае, к началу августа мы вернемся. Было бы, конечно, счастьем, если бы остававшиеся весною работы были произведены без нас.

Мы живем на озере Шарташ, на даче № 16а. Но тут нет почты и указанье это — не адрес. Если бы Вы захотели меня порадовать строчкой, то писать надо в: Свердловск, Пушкинская, 2-й дом Горсовета, кв. 43, Н. И. Харитонову, для меня. Тот же адрес для надобностей домоуправленья или Союза, или каких иных, если бы явились. Крепко жму Вашу руку. Простите, что беспокою.

Искренне и глубоко уважающий Вас Б. Пастернак

Впервые: Лазарь Флейшман. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1246, оп. 1, ед. хр. 218).

Писатель И. В. Евдокимов был председателем хозяйственной комиссии Союза писателей, жил во флигеле дома № 25 по Тверскому бульвару. Он поделился с Пастернаком комнатой своей квартиры и следил за устройством квартиры для него.

1 «Пред ним mast-beef окровавленный, / И трюфли, роскошь юных лет, / Французской кухни лучший цвет...» (А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава первая. Строфа XVI).

2 Для входа в новую квартиру нужно было прорубать дверь, там не было ни кухни, ни ванны, надо было класть печь, проводить отопление и пр.

641. П. ЯШВИЛИ

30 июля 1932, Свердловск

30. VII. 32

Милый мой, дорогой мой Паоло!

Проходят недели, слагаясь в месяцы, и если продолжать и дальше так, то Вы никогда не узнаете, что, едва поселившись здесь на озере1, я тотчас же стал писать Вам. Я начал Вам несколько писем и последовательно их оставлял вследствие их размеров. Они выходили то исследованьями по истории Урала, то попытками рассказать Вам (!), что такое Грузия.

Замечательно, что, едва тут водворившись, мы стали вторично переживать проведенное с Вами лето2. В такой цельности и с такой преследующей силой это случилось с нами впервые. Проявилось это в первое утро, что мы проснулись в нашей трехкомнатной даче с террасой, предоставленной нам уральским обкомом партии, и пошли на озеро и увидели стоверстные леса на том берегу, сосны и березы на этом, слюдяную гладь воды, тучи, могилы разрушенного кладбища, северную, бедную, привычную гамму. Мы ничего не сравнивали. Мы не сравнивали природы, мы не сравнивали людей. Мы просто, точно сговорившись, в один голос назвали Коджоры, и потом с возвращающимся постоянством стали вспоминать Тифлис, Окроханы, Кобулеты, Цагвери и Баку-риани, и все места и все положения. Сегодня Тезик вставал в воображении с Тамарой Александровной3, завтра кто-нибудь другой. Я со страшной силой почувствовал радость за Вас, что Вы сейчас там, что это опять окружает Вас, и Вы всех увидите.

Потому, что это не только юг и Кавказ, т. е. красота всегда бездонная и везде ошеломляющая; и это не только Тициан и Шан-шиашвили, Надирадзе и Мицишвили, Гаприндашвили и Леонид-зе4, т. е. люди замечательные на любой почве и не нуждающиеся в сравнении, чтобы догадаться об их несравнимости. А это нечто большее, и притом такое, что и на всем свете стало теперь редкостью. Потому что (оставляя в стороне ее сказочную самобытность) это и в более общих отношениях страна, удивительным образом не испытавшая перерыва в своем существованьи, страна, еще и теперь оставшаяся на земле и не унесенная в сферу совершенной абстракции, страна неотсроченной краски и ежесуточной действительности, как бы велики ни были ее нынешние лишенья.

Именно в этом свете увидели мы сейчас Грузию и поразились пережитому с Вами, как немыслимости и легенде. Ах, ведь это я, наверное, и предчувствовал, когда путаясь

и не находя выражений, говорил с М. С. Джавахишвили о Грузии как о форме5. Но надо было сперва попасть сюда, в этот организм без духовных отправлений, неведомо зачем желающий привить себе эти потребности механически, без представлений о последних, чужими руками и за большую плату6, чтобы все это понять: чтобы в тоске по русской культуре вспомнить с благодарностью Тифлис и затосковать по нем именно этой тоскою. И мне теперь ясно. Этот город со всеми, кого я в нем видел, и совсем тем, за чем из него ездил и что в него привозил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция и Рильке, — одной из глав Охранной грамоты, длящейся для меня всю жизнь, одной из глав, как Вы знаете, — немногочисленных; одной из этих глав и, в выполненьи, — ближайшей по счету7. Я говорю «будет», потому что я писатель, и все это надо превратить в речь и всему найти выраженье; говорю «будет», потому что всем этим он уже для меня стал.

Оттого ведь и пишу я Вам письмо за письмом и их последовательно уничтожаю. Уже это не предмет вольной переписки. Уже этот круг воспоминаний владеет мной: уже он пишет меня, как сказал бы Тициан8. Уже он стал для меня самостоятельным, в готовом виде найденным переживаньем, подобным цветущему растенью, то есть способным питаться всем тем, что я переживаю и буду переживать после него; и пока его не сменит какой-нибудь новый центр той же породы, т. е. в свою очередь равный Скрябину, Рильке, Венеции и Тифлису, все соки почвы, постепенно распространяемой теченьем времени, будут питать его. Пример налицо. На Урал, как мне теперь уясняется, я приехал ради него, во имя Тифлиса. Но обо всем этом трудно писать в письме, даже если оно пятое по счету. И не в письме, разумеется, скажется это все. Что бы я ни задумал теперь, мне Грузии не обойти в ближайшей работе. И все это (что именно, трудно предвидеть) будет сгруппировано вокруг Вашей удивительной родины, как рассказ о части моей жизни сосредоточен на Маяковском.

Надо ли после этого прибавлять, до чего трудно мне во всей человеческой живости реализовать эту мою самообогащающуюся любовь к Вам и всему Вашему, распределив ее по рукам и направив по адресу Вам и Тициану и Надирадзе и Гаприндашвили. Такая переписка должна была бы по тому, что я чувствую и что не оставляет моего воображенья, стать моим новым призваньем. И, уступая непосредственности, я не знал бы, где мне остановиться. Потому что, следуя сердцу, я должен был бы писать письма не только Тамаре Георгиевне и Нине Александровне, не только Ниточке и Медее9, а и улицам, по которым они ходят, и платанам, которые на них бросают тень. Нет, нет: я должен был бы даже переписываться с огорченьями, которые Вы им доставляете.

Перецелуйте же их всех от всей моей души и всем местам передайте, что они самые лучшие и дорогие, какие могла произвести земля. И одному из этих мест скажите, что, собираясь засесть на днях за прозу о всякой всячине, северной и военно-гражданской10, я несколько верю в исполнимость этого решения только потому,что об Урале буду писать мысленно из Окрохан и что это в вещи найдет свое выраженье.

Не случайно не сообщаю Вам нашего адреса. Мне очень хочется знать, как Вы живете и что делаете, Вы и ближайшие друзья. Но Вы не ответите, и это Вас будет чем дальше, тем больше мучить. Будьте же здоровы и счастливы в этом незнании того, куда нам писать. Осенью же, если Вас еще не будет в Москве, снова спишемся.

Удивительно, что в чувствах моих к прошлому лету есть одна сторона, которую всего бы легче понял человек, тогда отсутствовавший. Это — Робакидзе11. Однако, несмотря на вечное мое неуменье выразить одно существо чувствуемого, без осложняющих частностей, быть может, эта особенность дойдет и до Вас с Тицианом.

Крепко обнимаю Вас, а половина письма пишется и Зиною. Часто также Адик дает доказательства живости своей памяти именно на кавказском матерьяле. Каламис

цвери, каламис цвери12, говорю я ему, и он вдруг расцветает и говорит о ливне в Бакурианах.

До свиданья со всеми.

Б. П.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 20893, р).

1 Обкомовская дача, предоставленная Пастернаку, находилась на озере Шарташ.

2 Лето 1931 г., проведенное в Грузии, и поездки по разным местам.

3 Поэт Петре Багратиони-Грузинский и его мать.

4 ТЬциан Табидзе, Сандро Шаншиашвили, Колау Надирадзе, Николо Мицишвили, Валериан Гаприндашвили и Георгий Леонидзе — грузинские поэты, с которыми Пастернак познакомился летом 1931 г. и ставшие его друзьями.

5 Михаил Семенович Джавахишвили — грузинский прозаик, автор романа «Арсен из Марабды», посвященного историческому прошлому Грузии и ее национально-освободительной борьбе в XIX в. В русском издании этого романа Пастернак перевел вставную песню «лесных братьев»: «Не видать нам родного порога, / Как чумных нас изгнали из сел. / Не на радость в лесную берлогу / Злой удел, как зверей, нас привел».

6 Речь идет о желании свердловского обкома, который для этого приглашает писателей.

7 Первым подступом к теме Грузии стал стих, цикл «Из летних записок» (1936); осуществить этот замысел Пастернак смог только в очерке «Люди и положения» (1956), после посмертной реабилитации его репрессированных друзей.

8 Имеются в виду стихи Т. Табидзе: «Не я пишу стихи. Они как повесть пишут / Меня» (перевод Пастернака).

9 Т. Г. Серебрякова — жена П. Яшвили, Н. А Табидзе и их дочери Нита Табидзе и Медея Яшвили.

10 Речь идет о продолжении работы над прозаическим романом, началом которого была «Повесть». Действие романа должно было проходить на Урале, именно это было причиной того, что Пастернак согласился на предложения Свердловского обкома.

11 Григорий Робакидзе, в квартире которого в Тифлисе останавливались Пастернак с З. Н. Нейгауз в 1931 г.

12 Каламис цвери — кончик пера (груз.) — из стих. П. Яшвили «Стол — Парнас мой», которое переводил Пастернак.

642. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

4 августа 1932, Свердловск

4. VIII. 32

Дорогой мой Женичка.

Горячо благодарю тебя за твое письмецо. Когда бы не ты, я так бы и не узнал, где вы и что с вами1. Но и теперь мне неясно, в Теберде ли ты с Елизаветой Михайловной, или же так только называется один из санаториев в Кисловодске, подобно тому как прежде гостиницы назывались Лондонами и Парижами, никакой географической радости не представляя. Если ты и взаправду в Теберде, то это большое счастье. Говорят, это одно из лучших мест

Кавказа и таким образом, благодаря маме и Елизавете Михайловне, у тебя уже в такие ранние годы составится представление о красотах горной природы. Если же это не так, и вы в Кисловодске, то может быть не плохо и в нем?

Хорошо ли вы питаетесь, сытно и вкусно ли?2 Удалось ли маме устроить вас и себя на продолжительное время, или же только на один месяц, как это в большинстве случаев разрешается? Все это мне хочется очень знать, но отсюда до вас, и обратно, — такая даль, что я не знаю, успеешь ли ты мне ответить. Во всяком случае раньше сентября я в Москву не вернусь, и адрес здешний оста<...>* На конверте написан он

рукою Елизаветы Михайловны. Огромное ей спасибо за все, за все. Крепко поцелуй от меня ее и маму.

Я тут в письме нарочно умалчиваю о делах, которые важнее всего, о том, что может быть часто волнует тебя, а меня мучит беспрестанно. Я не заговариваю об этом потому, что все это слишком серьезно для письма, а не потому, что считаю тебя маленьким. Я знаю, что уже и сейчас могу обо всем говорить с тобой, а года через два мне будет разговаривать с тобой легче <...> отвечу на все твои вопросы. Главное же, этой зимой может быть уладятся дела квартирные, и может быть из этого проистекут улучшенья для всех и, главное, для тебя.

Ты же не грусти пока, и верь, что если бы я не думал, что когда-нибудь (и скоро) все это придет к лучшему, я бы не жил и ничего бы этого не произошло.

Крепко люблю тебя и обнимаю. Если вы с мамой живете в разных местах, передай ей, что я был бы страшно рад и ей благодарен, если бы она мне написала. Еще раз целую тебя. Твой папа

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Не получив обещанных путевок, Б. В. Пастернак обратилась в профсоюз работников искусств, где удалось получить одну путевку в санаторий Теберда в Кисловодске; для сына Жени и Б. М. Стеценко снимали комнату в случайном доме с грязным двором.

2 В стране в тот год был повальный голод и вопрос о питании был самым существенным. Курсовок достать было невозможно, рынка никакого не было. Женю с Елизаветой Михайловной удалось прикрепить к детскому саду, куда она поступила воспитательницей; кормили там впроголодь, манными котлетами со щепками. Об устройстве питания в Свердловске Пастернак писал 4 июля: «Единственное, что осмыслива-

* Верх листа оторван. 615

ет наше пребыванье тут, это хорошее питанье. В этом городе нас прикрепили к столовой ОГПУ, мы там обедаем и ужинаем. Но это же обстоятельство в то же время и обессмысливает мое здешнее пребыванье: на эти хожденья мы тратим ежедневно в общей сложности по 5 часов, так что время незаметно все уходит на большие концы между гостиницей и столовой» (там же. С. 368). Это же преимущество поездки обернулось основной причиной ссоры с обкомом и раннего отъезда в Москву, когда Пастернак соприкоснулся с атмосферой вымирающих от голода окрестных деревень.

643. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ

Середина августа 1932, Свердловск

Дорогой мой Женичка!

Я писал бы тебе каждый день, если бы дело было только во мне, и если бы я ждал для тебя от этих писем какого-нибудь толку. Но права мама, говоря, что одними словами ничего не сделать, и когда я об этом вспоминаю, мне стыдно писать тебе.

От тети Ины узнал ваш адрес более подробный, ты мне не такой длинный сообщал. Я написал тебе раз по нему и не уверен, дошло ли письмо.

От той же тети Ины узнал, что ты все время хворал желудком, и страшно огорчился. Каким крепким приехал ты от бабушки! Помнишь, я с тобой от дяди Сени пошел гулять, еще мы виноградного соку купили и ты мне рассказывал о книгах, какие читал.

Мама телеграммою попросила меня похлопотать по телефону, чтобы вам продлили срок пребыванья в санатории. Я мог только телеграфировать человеку, указанному мамой, потому что я не в городе, и так устроить, чтобы в город попасть, когда телефон и тут и в Москве будет свободен, отсюда было трудно. Не знаю, что получится из моей телеграфной просьбы и не верю в ее удачу

Сейчас нельзя сказать, кто из нас раньше в Москву попадет, но во всяком случае к середине сентября мы увидимся, и теперь этой радости не долго ждать.

Дорогой мой мальчик, крепко обнимаю тебя. Меня огорчило, что мама ни разу с Кавказа мне о тебе не написала. Много тебе хочу сказать и о многом спросить, но все это откладываю до живой встречи.

Я живу на озере Шарташ в пяти верстах от города Свердловска (бывший Екатеринбург). Здесь очень хорошо и дни стоят замечательные. Но дождя так давно не было, что где-то поблизости начались лесные пожары. Все время туман и солнце в нем — красное, похожее на луну. Это — лес горит и все застлано легкой гарью. На днях нашу дачу обокрали, взломали замок в нашем отсутствии.

Поцелуй маму и Елизавету Михайловну. Крепко, крепко тебя обнимаю, золотой мой. Твой папа

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

644. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

18 октября 1932, Москва

18. X. 32

Дорогой папа, о прошлом ни слова, — вот мое прощенье тебе, прости и ты.

На днях видел тетю Асю, Олю, тетю Клару, ее мужа1. Живут они хуже и трудней, чем прошлый год, но, за редкими исключеньями, это общее явленье.

Лишь недавно закончились у нас всякие перемещены! и перевозки. Женя переехала на Тверской бульвар (ее адрес — дом 25 кв. 7), в комнаты, ранее полученные нами, а мы — на Волхонку2. Старая квартира пришла в окончательный упадок, и я рад, что Женю удалось переместить в лучшие условия. Они лучше в квартирном отношеньи, зато хуже в продовольственном: она берет обеды в столовой Союза писателей, находящейся на одном дворе с квартирой, и это, разумеется, хуже того домашнего стола, которым она пользовалась, пока у ней была моя книжка в закрытый распределитель, и пока мы обедали и думали и дальше всегда так питаться в той столовой, где теперь столуется она с Женичкой. Желанье переехать на Тверской бульвар исходило от нее, и выбора у меня не было, пришлось совершить полный обмен, т. е. поставить ее в отношенье питанья в наши (т. е. мои с Зиной и ее мальчиками) прежние условья, потому что, если бы я отказался от столовой и от продовольственной книжки, т. е. оставил последнюю у нее, нам не из чего было бы наладить питанье.

В прошлом году, в самые мучительные для Жени моменты у нее вырывалась просьба, чтобы я взял Женю к себе. Потом мы уехали на Урал, они — в Кисловодск, и все лето мы с Зиной лелеяли мечту, что по возвращеньи в Москву Женя будет жить у нас. В первую же встречу с ним я увел его прогуляться и повел с Волхонки на Тверской бульвар к нам и в гости к мальчикам. Дорогой он говорил со мной как взрослый, и у меня текли по лицу слезы от той трагически-зрелой и сдержанной деликатности, с которой он касался до всего, как ему казалось, «моего» и пробовал соединить с этим свое, свои пожеланья и предположенья. Он посвящен во все, все знает и понимает, и смысл этой прогулки и посещенья Зины и Ади и Ляли был тот, что и он был бы не прочь к нам переехать (только затем, чтобы жить со мной, как он счел потом нужным мне объяснить). Мальчики (старшему 7, младшему — 6 лет) с Ирпеня его не видали и встретили с шумной радостью. Он для них часть меня, а меня они любят. Было уговорено, что до каких бы то ни было решений он будет ходить к нам в гости.

Но потом выяснилось, что я Жени не понял, что тб была истерика у ней, и она с Женичкой расстаться не хочет и не может3.

На новой квартире (первый этаж, вход со двора) Женя очень подружился с Димой, племянником Кости Большакова4, и все дни проводит во дворе, записался в библиотеку Союза — и очень весел. Из школы, куда его определяет Женя, до сих пор нельзя получить окончательного ответа, примут ли его или нет, — так все переполнено.

Женя очень удачно работает, прекрасно, с большим сходством и хорошей техникой нарисовала Елизавету Михайловну — и только вечный страх будущего не позволяет мне сказать, что, по-видимому, все обошлось в том смысле, что сумасшедшая болезненность прошлогодних переживаний изжита и избыта и стала воспоминаньем.

На Волхонке, когда мы переехали, не было ни одного стекла целого в оконных рамах5, плинтусы не только прогрызены, но и сорваны крысами, в одной из комнат (крыша худая) текло с потолка и во время дождей пришлось подставлять ванну; и во все время, что я на ней провел до поездки в Ленинград (на три дня) нельзя было добиться ничего от домоуправленья за совершенным отсутствием стекол и прочих нужных матерьялов. Кроме того Жене пришлось переехать со всей обстановкой (кроме одного Розен-фельдовского шкапа). Трудно было обставить огромную площадь мизерными пустяками, которые мы завели на скорую руку для крошечной квартиры на Тверском. Я это говорю для того, чтобы вам понятна была моя озадаченность, когда я, вернувшись через четыре дня домой, застал квартиру неузнаваемой и особенно комнату, отведенную Зиной для моей работы. Все это сделала она сама с той только поправкой, что стекла вставил стекольщик. Все же остальное было сделано ее руками, — раздвигающиеся портьеры на шнурах, ремонт матрацев, совершенно расползшихся, с поваленными или вылезшими пружинами (из одного она сделала диван). Сама натерла полы в комнатах, сама вымыла и замазала на зиму окна. Устройство жилья было облегчено тем, что из Зиновь-евска (Елисаветграда) вледствие голода приехали со всеми своими вещами старики Нейгаузы6 (обоим по 85 лет) и дали нам два шкапа, несколько ковров и Зине — пианино (стоявший на Волхонке рояль, как давно подаренный мамою Женичке, перевезен на Тверской бульвар).

О присылке мне монографии7 узнал только из твоего письма, и по запросе Ирины это оправдалось. Не сердись на нее и на Шуру, это в порядке нашей жизни здесь, да, впрочем, и везде теперь, — ограничиваетесь же и вы сообщеньем, что там-то то-то и то-то читали, касающееся меня, а вырезку прислать не догадываетесь. Итак, монография у меня, большое тебе спасибо за подарок.

Во-первых, ты удивительно хорошо пишешь. Твои автобиографические отрывки я прочел не отрываясь, и только четвертый, о Коринте, не понравился мне цитированьем рецензии. В этом же смысле не надо было в воспоминаниях о Рильке приводить слова его обо мне из его последнего письма (Commerce и пр.). Замечанье о десятилетнем гимназисте на вокзале уместно8, потому что это — жизнь и судьба, это нечто общее, это трогает. Таковы же и первые отзывы Толстого в твоих воспоминаньях. Это не похвалы, а слова в Хамовниках, это безразлично живые, взятые наудачу звуки очень далекого воспоминанья. Что же касается тех же вещей в главе о Коринте и в конце Рильковской, то тут совсем другое дело, это близко по времени и получает характер самоаттестации путем рекомендательных писем. Этого не надо было делать, все это немного как-то мелко.

Из неизвестных мне работ мне больше всего понравился портрет Einstein'a (самая лучшая, как мне кажется, работа), затем Liebermann и Hauptmann. Особенное, сверх того, значенье имеет для меня портрет Rilke. Замечательные работы. Приятно было также вспомнить ряд вещей, как ломовика на морозе, «За самоваром» и др., и все работы к Толстому. Но и монографию, как и автобиографические воспоминанья, портит одна неожиданность, которой я никак не могу себе объяснить. Зачем включил

ты в число эскизов и портретов этого, не специально националистического собранья столько портретов евреев и евреек, ничем, как модели, не замечательных. Одни из них некрасивы, другие уродливы, и подбор их, по непонятности, имеет характер какой-то скрытой тезы. Точно ты хотел этим что-то доказать или проверить.

Конечно, ограниченье деятельности изображеньем одного «красивого» находится вне искусства и есть удел Бондаревских9. Изображать можно и надо все. Но тогда и изображается все это как-то по-другому: эгоистичнее и как-то более в глубь и в даль самого искусства, техничнее, вольнее и вековечнее, у тебя же это часто самые плоские и внешние твои вещи, т. е. из охваченной тобою гаммы достигнутого и продуманного самое нетворческое. Повторяю, — я знаю, почему ты их писал, но не знаю, зачем поместил в монографии. Она была бы полней, если бы была неполной, и что ты этого не понял, точно так же огорчило меня. Надо было ограничиться тем, что ты любил и запечатлел деятельно и симпатически (как все Толстовское) и вовсе не касаться остального, чему ты обязан был поддержкой в жизни. Может быть, туг имелось давленье, — можно и надо было теперь в твоем возрасте и положеньи, не считаться с ним, однажды им даже воспользовавшись.

Компоновка книги, которую, как всякий подумает, составлял ты сам, ставит в тупик, потому что нельзя уловить, как смотришь на себя ты сам и в чем себя видишь. Отсутствие такой твердой точки зренья не только не роняло бы тебя, а напротив, даже возвышало, и я знаю, что на деле у тебя этого установленного взгляда нет. Но тогда этому ощущенью противоречит богатство и шикарность изданья, производящего впечатленье уверенности, а не сомнений.

Если бы я хоть на минуту думал, что все эти соображенья хоть сколько-нибудь касаются твоего художественного существа, я бы их не высказал, боясь огорчить тебя. Но обо всем этом можно говорить ровно и почти радостно, потому что разговор сводится к тем детским твоим качествам, которые всегда молодили и все еще молодят тебя.

К их числу надо отнести твою вечную привычку говорить о твоей «политической ошибке», преувеличивать гнет семейных забот, происки завистников и пр. и пр. Если бы даже это говорилось с основаньем, т. е. отвечало действительности, то, ведь, как мне кажется, наоборот, несчастно складывающиеся обстоятельства, непризнан-ность, гоненья и пр. только еще глаже обтачивают единство таланта и форму дара, в каком-то смысле однородную и целостную уже от рожденья, у тебя же, напротив, непоследовательность вкуса так сильна, что ее могли сохранить и выработать только большое счастье в жизни и усыпляющая всякую осторожность личная удача.

Не отвечай мне пространно, мне жаль твоего времени и сил и больно бывает отвечать кратко. В редкости и лаконизме моих писем не ищи особых «благородно-скрытых» причин: они отпечатлелись однажды и теперь перестали действовать. Единственно действительная — во все увеличивающейся трудности разговора с кем бы то ни было на какую бы то ни было тему. Оттого же и ничего не делаю, теперь уже более года, а надо взяться.

Телеграмму посылал, потому что видел дурной и страшный сон. Все гораздо живее и шире, и семейные условности руководят мной гораздо меньше, чем это ты приписываешь мне.

Крепко целую тебя и маму. Благодарю за письмо.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Пастернак ездил на четыре дня в Ленинград, где 11, 12 и 13 окт. у него были выступления.

2 Переезды и перемены квартирами проходили достаточно болезненно. Е. М. Стеценко писала в Берлин: «Долгие переговоры в какой квартире кому жить? с кем

останется Женя? Многое тяжелое в письме не опишешь, в результате: Борис Леонидович переехал с новой семьей на Волхонку, а Е. В. на его квартиру в дом писателей на Тверском бульваре. Отдельная квартира, две светлых комнаты и крошечная темная кухня, ванна, 1-ый этаж, центральное отопление, во дворе садик, окна на Тверской бульвар. Женя наконец, кажется через неделю пойдет в школу, проходит последний ячмень, — ну намучался он, бедный, то нарыв, то ячмень!» (Pasternak Trust, Oxford).

3 Из письма Е. М. Стеценко: «Женя... до слез был жалок, когда его спросили с кем он будет жить, бросился к отцу, но наутро, проснувшись остался с матерью. Меня спросил Б. Л.: "Ведь естественно мое желание взять Женю"; я ответила: "Да; но неестественно, чтобы ребенок был не у родной матери! Я еще ни разу в жизни не видела хорошей мачехи, у которой были свои дети"» (там же).

4 Сын сестры писателя К. А. Большакова, Зинаиды Аристарховны.

5 Следствие взрыва храма Христа Спасителя в декабре 1931 г.

6 Родители Генриха Нейгауза Густав Вильгельмович и Ольга Михайловна.

7 Max Osborn. Leonid Pasternak. Stybel-Verlag. Warschau, 1932.

8 В монографии помещены «Автобиографические отрывки» Л. О. Пастернака, посвященные детству в Одессе, «Встречи с Л. Толстым», «Встречи с Р.-М. Рильке» и составленные из писем к П. Д. Эттингеру «Встречи с Ловисом Коринтом». Пастернаку также показалось нескромным упоминание слов Рильке о знакомстве с его поэзией в журнале «Соттегсе» в письме к отцу 14 марта 1926, которые так взволновали его в свое время. Этому он протипоставляет воспоминания о случайной встрече с Рильке в мае 1900 г. на Курском вокзале, с рассказа о которой Пастернак сам начал свою «Охранную грамоту».

9 Имеется в виду художник Н. К. Бондаревский, в 1900-х гг. живший на соседней даче на Большом Фонтане под Одессой.

645. Н. Н. ЛУНИНУ и А. А. АХМАТОВОЙ

19 октября 1932, Москва

19. X. 32

Дорогой Николай Николаевич, сердечно благодарю Вас за успокоительное известие и Анну Андреевну за особенно драгоценную в ее состоянии приписку1.

Звонил в день приезда Чулкову, он обещал тотчас же обратиться по делам Анны Андреевны в Наркомпрос и Оргкомитет2, но этим не ограничился, как Вы уже, наверное, об этом знаете по результатам одной оказии в Ленинград, которой он для этого воспользовался.

Так же горячо ко всему отнесся и Борис3, пообещав намылить голову Тройскому4, главе Оргкомитета. Он собирается к Вам в конце месяца, перед этим я его увижу.

Набравшись храбрости, хочу просить лично Вас, Николай Николаевич, чтобы в этих делах вы не ограничивали допуска нас, посторонних, одними теми минутами, когда Анна Андреевна находится в опасности, что в отношеньи общества было бы как-то страшно и нечеловечно. Поправка и отдых Анны Андреевны потребуют еще больших забот, нежели болезнь, и сколько найдется людей, для которых сознанье, что они хоть чем-нибудь могут быть ей полезны, составит счастье.

Не забудьте позвонить Спасскому (Сергею Дмитриевичу)5, 4-76-99. У них какие-то замечательные связи во врачебно-боль-ничном мире, что для установлены! более твердого диагноза перед операцией может очень пригодиться, а может быть, и для производства самой операции, если ее не избежать. И вообще, во всем, вплоть до направленья мыслей и симпатий, Спасские меня легко заменяют и охотно заменят.

На вокзале собирался рассказать Вам, но забыл, — что в Москву приехал из Англии Святополк-Мирский, был у меня и очень кланялся Анне Андреевне. Он был у меня

перед самым моим отъездом, и я толком еще даже и не познакомился с ним. Упущенье это восполню на днях, когда увижусь наново и как бы сначала. Тогда помешало состоянье квартиры. Вещи не были еще расставлены, оконные рамы были частью без стекол, частью с остатками расколотых, и — (был дождливый день) с потолка текло. Это меня страшно стесняло при встрече, т. е. я не стыдился его, а все это отвлекало вниманье. Но за четыре дня моего отсутствия Зинаида Николаевна произвела настоящие чудеса, и теперь жить и принимать друзей можно сосредоточенно и не рассеиваясь6.

Дорогая Анна Андреевна, целую Вашу руку и крепко жму Вашу, Николай Николаевич. Еще раз большое спасибо за доверье и скорое известие. Выздоравливайте!

Преданный вам Б. Пастернак

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2633, оп. 1, ед. хр. 17).

1 Во время своей краткой поездки в Ленинград Пастернак был встревожен известием о тяжелой болезни Ахматовой и передал им деньги, полученные за свой авторский вечер.

2 Друзья Ахматовой ходатайствовали перед Оркомитетом Союза писателей и Наркомпросом об оказании ей материальной помощи и устройстве в больницу. Активное участие в этих делах принял писатель Георгий Иванович Чулков.

3 Б. А. Пильняк был в это время очень дружен с Ахматовой; ему посвящено стих. Ахматовой «Все это разгадаешь ты один...», написанное после известий о его аресте.

4 Журналист и главный редактор «Нового мира» Иван Михайлович Тройский был председателем Оргкомитета в 1932—1934 гг.

5 Пастернак писал Спасскому 22 окт. 1932: «От Пунина имел утешительное известие относительно Ахматовой, но в ответном письме порекомендовал все же обратиться к Вам» (Собр. соч. Т. 5. С. 330).

6 См. письмо Л. О. Пастернаку № 644.

646. Г. Н. ПОПОВУ

22 октября 1932, Москва

22. X. 32

Дорогой Гавриил Николаевич!

Неоднократно, но безуспешно звонил Вам по телефону 4-59-86, и вот с какой целью. Обратитесь, пожалуйста, в тех же видах, что и ко мне, к поэту С. Д. Спасскому, и мы сможем друг друга поздравить с находкой1.

Я не назвал Вам его с самого начала потому, что, посожалев о невозможности самому взяться за благородную и заманчивую задачу (в особенности после того, что Вы познакомили меня с Вашими сочинениями), я сразу же перестал думать о силах и возможностях близкого мне круга и с места перекинулся мыслями в область более общих возможностей.

Звонил я Вам с тем, чтобы Вы разрешили мне не обращаться к Тынянову, не запросив о том же предварительно С. Д. Спасского. Не добившись связи с Вами, я взял на себя смелость от своего лица поговорить с Сергеем Дмитриевичем, поэтические силы которого, вкус и мастерство я очень ценю, и вот что я узнал. Оказалось, что Сергей Дмитриевич давно уже носится с мечтою о драматизации интересующей Вас поэмы (видите, как я конспиративен!2) и в свое время уже кое-что набрасывал в этом направлении. Он хорошо знает Пушкина, и именно в том смысле, в каком мы об этом говорили с Вами в вагоне. Как и я, он сейчас занят прозой. Но ради Вашего замысла, оказавшегося в каком-то отношении и его собственным, он согласен и сейчас уже уделить этой работе время, какого она потребует на первых порах. В интерполяции пушкинского текста, сделанные его рукой, верю тверже, чем в собственные или чьи-либо иные.

Он Вас знает и зажегся мыслью об этом деле. Зовут его Сергей Дмитриевич, живет он на Греческом проспекте, дом 12, квартира 43, телефон 4-76-99.

Что прибавить? Известите, когда будет готов первый акт. Горячность проявляю, потому что страшно верю в Ваше начинание и с нетерпением жду его воплощения.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: «Советская музыка», 1984, № 8. — Г. Попов. Из литературного наследия. М., 1986. — Автограф (собр Г. Н. Попова).

1 Знакомство Пастернака с композитором Г. Н. Поповым состоялось по дороге («в вагоне») в Ленинград, куда Пастернак был приглашен провести свой поэтический вечер. Попов обратился к нему с просьбой написать либретто к задуманной им опере «Бедный Евгений» по поэме Пушкина «Медный всадник». Сотрудничество Попова со Спасским не состоялось. Позже композитор пробовал работать с С. А. Грессом, с О. М. Бриком, но опера так и не была написана.

2 По-видимому, Попов, приступая к этой работе, старался избежать преждевременных разговоров и расспросов о своих намерениях.

647. РОДИТЕЛЯМ

20-е числа октября 1932, Москва

Дорогие папочка и мамуся.

Я боюсь, что папа успеет мне ответить до полученья этой предупредительной записки, и из его ответа я увижу, что мое гадкое письмо успело огорчить его1. Не думай, пала, что я дуюсь на тебя. Все прошло, все прошло, верь мне. А прежнего тона нет и мне не изобрести его по совсем другим причинам. И было бы фатально, если бы ты продолжал связывать вещи, ни в каком отношеньи между собой не стоящие. Просто, как у многих тут, у меня неважное настроенье, потому что я обманулся в ряде обстоятельств, и судьба моей деятельности пошла и сложилась не так, как я думал и ждал. Удовлетворитесь неясностью этой фразы. В ней нет ничего секретного. Но раскрыть ее в точности значило бы рассказать о пяти последних годах моей жизни, не в части лично-сердечной, а совершенно другой, и для этого потребовались бы томы и томы.

Чтобы тут же отвести всякие гаданья и избавить вас от сложных беспокойств, повторю сказанное Льву Григорьевичу, вам для передачи2. Все личное мое обошлось и устроилось незаслуженно благополучно и (пока, по крайней мере) раз в тысячу лучше, чем могло. У Жени хорошая двухкомнатная квартирка. Она ровна душой, бодра и хорошо настроена. Весел, кажется, и Женек. Он еще не в школе, но, вероятно, будет в нее помещен. У него в друзьях хороший мальчик, племянник Кости Большакова. Он старше его, они на одном дворе и все время вместе.

Это, почти что счастье, омрачается для меня пока только тремя вещами, из них две — объективного порядка, третья — во мне. Начну с последней.

1) Мне иногда мерещатся всякие ужасы в будущем, общие, всенародные. В такие минуты я боюсь за их жизнь, и совсем по-особенному: я боюсь, что за мои грехи вдруг отомстится как раз им, от меня пострадавшим, и эти дикие, казалось бы, мысли внушает мне наблюденье, что, если не везде, то в некоторых местах жизнь идет не только не по справедливости, а как раз наоборот, наперекор логике. Вот почему я хотел, чтобы они были за границей и вот отчего меня так испугали твои и Федины меры3. Я знал, что вы это знаете.

Это состоянья бредовые и полусумасшедшие у меня. Они всегда будут ко мне возвращаться, потому что это настроенья преступника, а я перед ними преступник. — Перейду к более здравым вещам.

2) Меня огорчает, что находясь в худшем против нас поло-женьи в смысле питанья, Женя наотрез отказывается посылать к нам свою прислугу за распределительской

книжкой, по которой она могла бы всегда получать множество неталонных продуктов, как то фрукты, рыбу, птицу, кое-что из гастрономии и кондитерских товаров. Она отказывается от этого из гордости и во избежание людских переносов и сплетен из дома в дом, и может быть, права.

3) Меня также печалит, что только я посещаю их, а Женек ко мне не ходит. Однако может быть, и в этом она права, хотя сам я на все это смотрю по-другому. Но ввиду того, что несмотря на постоянную мою помощь и поддержку, жизнь свою с Женёнком все же в последнем счете строит она, и на ней отпечаток ее авторства, то в согласьи с моими правилами, я боюсь на чем-либо настаивать, потому что считаю, что жизнь такое созданье случайности и благодати, что врываться с советами в это паутинное сооруженье просто опасно. Теперь о себе.

«Пожарная» стадия моих отношений с Зиной прошла, и опять-таки, большое счастье, что в той фазе, где привычка открывает в человеке неожиданно новые стороны, и приносит разочарованье, оказалось, что Зина чудесная жена и только тем странная, что слишком пристрастна ко мне и в этой исключительности бывает к другим несправедлива. В моих интересах, плохо себе представляя их в такие минуты, она не щадит ни себя, ни детей.

Она мне устроила жизнь столь удобную для работы, как я этого никогда не знал, и только печально, что это все даром пока, потому что по причинам, о которых была речь вначале, у меня дурное настроенье сейчас, и мне не работается. — Наконец, чтобы вас вполне успокоить, меня пока переиздают и недостатка в деньгах я не чувствую.

Зачеркнуты пустяки, чтобы не отягощать письма новым мно-гословьем4.

Крепко вас целую. Кажущиеся вам тени только временны.

Впервые: В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Имеется в виду письмо № 644.

2 Л. Г. Левин по дороге в Сорренто к Горькому собирался навестить Пастернаков в Берлине.

3 Страхи за оставленную семью вызваны недавно увиденными на Урале картинами массового голода и свезенных туда семей «раскулаченных» крестьян. Суровость репрессий, ложащихся на ни в чем не повинных, была доказательством того, что жизнь идет не только не по справедливости, а как раз наоборот, наперекор логике. Эти наблюдения снова возвращали его к неосуществившимся по вине родителей и Ф. Пастернака мечтам о том, чтобы его сын с матерью остались за границей.

4 Несколько строк, тщательно зачеркнутых в конце письма, наводят на предположение о том, что у родителей снова возникали «бредовые» представления о сытости привилегированного сословия, в том числе и писательского, среди поголовного голода, косившего страну.

10 ноября 1932, Москва

10. XI. 32

Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.

Глубокоуважаемый Григорий Эммануилович!

Мне не удалось повидаться по-настоящему с Тихоновым. Он просил передать мне, что предисловье с книги снято, тираж увеличен до 5000 и что издательство согласно выпускать собранье1.

Жду обещанных в телеграмме подтверждений. В то же время меня беспокоит ряд вещей. Прежде всего задержка денег. Неаккуратность их выплаты очень ощутительна. Отчего это происходит и поправимо ли в дальнейшем?

Кроме того, не вышло ли неприятности с Селивановским? Я был не против его статьи, а против чьей бы то ни было: против порядка, вызванного прошлою зимой тогдашнею конъюнктурой. Недавно К. Зелинскому была навязана роль председательствующего на моем вечере2. Он пришел с переводом сказанного обо мне в Английской энциклопедии3. Нельзя придумать ничего лестнее, и мы с Зелинским друзья, но я просил его не делать вступительного слова, потому что неловко при всем этом присутствовать, и это положенье фальшивое. Можете мне верить, что из многих критиков мне всего приятнее Селивановский, он умница, и я питаю настоящую симпатию к нему4, но так же только, как с Зелинским, не как-нибудь еще иначе, тяготился бы полувынужденной торжественностью, которую бы сообщало однотомнику чье бы то ни было, а не одного Селивановского, предисловье. Я не знаю, в таком ли духе поднимался вопрос, и был бы очень огорчен, если бы не в этом.

Напишите мне, пожалуйста, и приложите все старанья, чтобы мне перевели деньги и впредь переводили бы их в срок. Жму Вашу руку. Ваш Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1Н. С. Тихонов был ответ, редактором книги Пастернака «Стихотворения в одном томе», подготовленной «Изд-вом писателей в Ленинграде» (1933; сдано в набор 21 окт. 1932). Предполагалось, что предисловие будет написано А. П. Селивановским. Возможно, что именно эта статья («Борис Пастернак») была опубликована (с пометой: «В порядке обсуждения») в журн. «Красная новь» (1933, JSfe 1) и вошла в его книгу «Поэзия и поэты. Критические статьи» (М., 1933). Селивановский обвинял в ней Пастернака в отъединенности от мира: «Искусство безволия, пассивного „фило-софствования" и пассивных ощущений — в прошлом. Поэтому все более будет становиться прошлым, документом и поэзия Пастернака, если он не совершит решительного разрыва с буржуазным реставраторством».

2 Имеется в виду вечер Пастернака в Политехническом музее. По просьбе организатора вечера П. И. Лавута, А. К. Тарасенков был приглашен сделать вступительное слово, однако Пастернак решительно отказался от такой программы. Вечер открыл председательствующий К. Л. Зелинский.

3 Имеется в виду статья «Русский язык и литература» в «Британской энциклопедии» (1929), написанная Д. П. Святополком-Мирским. Пастернак охарактеризован в ней как «крупнейший из ныне живущих русских поэтов» (Encyclopaedia Britannica, vol. 19, p. 757).

4 Эти слова могут быть поставлены в связь с обычным для Пастернака отношением к критическим оценкам по поводу его творчества, тем более, что они написаны после статьи Селивановского о «Спекторском», где он утверждал, что «линия сегодняшней поэзии Пастернака и линия искусства социализма расходятся» («Поэзия опасна?» // «Литературная газета», 15 авг. 1931). С той же точки зрения написаны его статья «Поэт и революция» (там же. 7 дек. 1932) и статья в «Литературной энциклопедии» (т. 8. М., 1934).

649. Дж. РИВИ

20 ноября 1932, Москва

20. XI. 32 Москва 19 Волхонка 14, кв. 9 Дорогой Георгий Данилович!

Не знаю, как благодарить Вас за Ваше прекрасное посвяще-нье, за чудесные, замечательные Ваши переводы, и за Ваш бескорыстный и, вероятно, ничего, кроме неприятностей и разочарований, Вам не приносящий интерес ко мне!

Еще труднее будет привести что-нибудь в оправданье моего молчанья, в ответ на Ваше милое письмо, которое я получил 2 месяца назад. Положим, оно было не беспричинно: у меня в теченье этого времени было много хлопот, я устраивал личные и семейные свои дела, ездил в Ленинград, и пр. и пр. И все-таки я очень виноват перед

Вами. Напишите мне, как сложились Ваши дела, осуществляются ли Ваши намеренья, и, если Ваши начинанья оформились, пришлите мне, пожалуйста, проспект задуманного Вами журнала.

Страшно буду рад книге Ваших поэм, жду ее с нетерпеньем1. Большую радость также доставило бы мне, если бы Вам удалось выпустить отдельной книжкой Ваши переводы из меня, лучшие из всех, какие я знаю. Если бы это удалось, мне было бы интересно знать их литературную судьбу на Западе, их относительный вес, мненье товарищей или прессы, и вот почему: мне передавали, что ко мне хорошо относятся в узких, немногочисленных кругах Европы, некоторые писатели и поэты, но все это, думаю я, основывается только на голой непроверенной легенде, на утвержденьях доброжелателей и друзей. Никто из иностранцев, слышавших звук Pasternak и привыкших относиться к нему как к консонансу, ничего не читал и не видел. И, вероятно, по первом испытаньи, т. е. после ознакомлены! их со мной, легенда эта будет рассеяна и всех их постигнет разочарованье.

Однако вряд ли пригодны для такой пробы стихи вообще, в особенности (при их условности и сложности) — современные.

Гораздо больше может передать перевод прозы. Моя задержка в ответе произошла отчасти оттого, что у меня не было ни одного экземпляра «Охранной грамоты», и я нигде ее не мог достать. Только вчера посчастливилось мне случайно раздобыть эту книгу, и я Вам ее высылаю.

Не боюсь сознаться: насколько безразлично относился я до сих пор к тому, переводят ли меня или нет, насколько не следил за своей западной судьбой и ничего в этом смысле не знаю, настолько важно мне, чтобы эта книга была переведена. Эту книгу я писал не как одну из многих, а как единственную. Мне хотелось высказать в ней несколько своих мыслей, несколько мыслей, свойственных мне, по ряду вопросов. Части этих вопросов нельзя было касаться. Остальные, которые можно было затронуть, я, вероятно, сформулировал недостаточно удачно. Книга вышла втрое меньше задуманного. Но и того, что осталось, достаточно, чтобы в моих глазах это было самым важным из всего, что я сделал. Я в этой книге не изображаю, а думаю и разговариваю. Я стараюсь в ней быть не интересным, а точным.

Вот почему книга этих мыслей наиболее пригодна к ознакомлены© всякого, и западного, читателя со мною. Если ему неинтересна будет «Охранная грамота», то не могу и не должен быть интересен и весь я остальной. И тогда не надо создавать этого интереса искусственно. Потому что не в интересе дело, он не самоцель.

А дело в моей собственной потребности разговора с Западом, и потребность эта естественна и есть налицо только в «Охранной Грамоте». Это оттого, что главным образом мысль ищет общенья с людьми, и тем более широкого, чем она глубже. Художественный же образ может удовлетвориться одиночеством, в котором он родился и может остаться. Для того, чтобы хорошо перевести «Охранную Грамоту», ее надо перевести точно, как научное сочиненье.

Итак, резюмирую.

Без всякого стыда навязываю Вам «Охранную грамоту» и не стесняюсь признаться, что очень бы хотел видеть ее переведенной, потому что только в ней, удачно или неудачно, обращаюсь к миру я сам, во всех же остальных случаях это произвол апологетов, снобизм друзей и пр. и пр.

Напишите мне, пожалуйста, не опоздал ли я с присылкою книги, хотите ли Вы по-прежнему ее переводить и не заставил ли я Вас своей задержкою упустить удобную возможность2.

Простите, что пишу Вам на разрозненных клочках, какие под руками, и ответьте поскорее, очень прошу Вас.

Дружески жму Вашу руку и еще раз горячо и сердечно благодарю Вас за все.

Ваш Б. Пастернак

Мой адрес старый, Вы его знаете. Вот он. Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.

Если писать по-русски Вам трудно, т. е. отнимает много времени, то при его недостатке, можете мне ответить по-английски, но тогда — четким почерком (very readably).

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (Houghton Library, Harvard University).

1 Книга стихов Риви «Nostradamus» была подарена Пастернаку лишь при встрече в Париже на антифашистском конгрессе в 1935 г.

2 Переводы Риви публиковались в журн. «This Quarter*, «The New Review*, «Contemps» и др. Стихи Пастернака и отрывок из третьей части «Охранной грамоты» (под назв. «Смерть поэта») в переводе Риви вошли в «Антологию советской литературы» («Soviet Literature*. Edit and translated by George Reavey and Marc Slonim. London, 1933) и были присланы Пастернаку с дарственной надписью: «Борису Леонидовичу Пастернаку с сердечным приветом. George Reavey, Paris, oct. 1933».

650. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

22 ноября 1932, Москва

22. XI. 32

Дорогая Раиса Николаевна!

От души и без счету благодарю Вас за Ваш подарок1. Какой удивительный человек! Ну как, объясните мне, пожалуйста, читать мне эту захватывающую книгу, если: 1) я настолько плохо знаю английский язык, что не могу читать без словаря и даже с ним это делается неописуемо медленно (когда-то я знал его лучше, но за последние годы совершенно перезабыл); 2) если поминутно я всюду с собой ее таскаю и всем показываю (благо такие замечательные фотографии с такой жизни и такой природы, — показываю, с пояснительною лекцией об А<лександре> И<вановиче>, Julian Duguid и о Вас, на основании того, что я успел прочесть в первые минуты (более всего я был потрясен биографическими подробностями на обертке, левый внутренний столбец, абзац второй). Вот как поступают настоящие люди, вот как надо понимать дружбу. Я был этою деталью нравственно уничтожен2. Только из редкостного Вашего такта Вы не подчеркнули эти 7 строк специально для меня.

3) Как мне ее читать, при такой медленности этого процесса, если книга выслана для перевода, а не для моих восторгов, и, значит, очевидно, мне надо, отказавшись от ознакомленья с ней, знакомить с нею кандидатов в переводчики.

Ответьте мне поскорее, прислали ли Вы кому-нибудь из здешних еще экземпляр, или мой — единственный? В ожидании Вашего ответа я успею еще несколько продвинуться в чтеньи (книга сейчас не у меня, но я возьму ее обратно). Если Вы ее послали мне одному, и дальнейшее пристраиванье книги поручаете мне, то мне по получе-ньи Вашего ответа придется с нею расстаться. Тогда, поскольку здесь требуется высокий литературный уровень перевода, я пошлю ее, предварительно с ним списавшись, Стеничу в Ленинград3. Я забыл его имя и отчество и знаю его недостаточно близко. Но это прекрасный молодой переводчик, автор переводов (авторизованных) Джона Дос Пассоса4. Теперь ему поручают труднейшего Джемса Джойса. Он личный друг Николая Корнеевича Чуковского и, если бы Вы пожелали для перевода прислать еще экземпляр, процедуру с пересылкой можно было бы сократить. Если бы Вас это не затруднило и Вы это для себя почли удобным, Вы могли прямо бы послать ее по адресу «Ник. Корн. Чуковскому, Ленинград, Надеждинская 9 кв. 31, для Стенича». А я бы по первому Вашему распоряженью с ними списался. Кстати и как характер, Стенич фигура подходящая: это человек риска и вызова и крайне острого ума. Словом, напишите мне поскорее, могу ли я свободно, на досуге, перемежая это с

текущими работами, наслаждаться чтеньем книги, или назначенье присылки прежде всего практическое, и от безраздельного пользованья ею надо отказаться. Вероятно еще до Вашего ответа у меня будут некоторые результаты (для того я ее и отдал) редакционной экспертизы официального, издательского характера. Мне это нужно для определены! дальнейшего поведенья насчет книги, а не ее судьбы, конечно.

Итак, не удивляйтесь ничему. Естественнее всего было бы, если бы я сам напросился на перевод, но для этого надо знать язык

хотя бы посредственно, я же знаю его очень плохо. Далее, совершенно очевидно, что талантливая книга о таком чистом, глубоком, ярком и увлекательном явлении, как А. И. и его жизнь, ни в какой рекомендации не должна бы нуждаться, дело говорит за себя. Это не бедный родственник какой-нибудь, которого, стесняясь, и с большими усильями, определяют в люди.

Но Вы должны ясно себе представить нашу обстановку, природу господствующих вкусов и пр. и пр.

Вот если бы тигры были капиталистами, а джунгли рабочим движеньем, жизнь же А. И. Зимеля не жизнью на его собственный лад, страх и риск, а во исполненье данного организацией порученья и пр. и пр., тогда совсем другое бы дело.

В настоящем же случае реализация перевода должна будет исходить от переводчика, и вероятно натолкнется на всевозможные затрудненья. Во всяком случае, увидим, я уже почву зондирую, и скоро, вероятно, что-нибудь узнаю5.

Тогда и отвечу Вам на главные вопросы Вашего письма, касающиеся ближайших планов Ал. Ивановича. Я от него в совершенном восхищеньи, но пока не проверку ориентировочно, действия его на местное воображенье, пусть сюда не торопится. Здесь ничего, кроме революционной политики возвеличивать не любят, а ко всему замкнутому, анархо-индивидуалистическому и самостоятельному относятся с тем большею враждебностью, чем больше, в каждом отдельном случае, заключено в нем силы.

Что за неожиданности происходят с Вашим сыном, как это ужасно! А на карточке, которую показала мне Женя, он производит впечатленье такого веселого и здорового молодого человека, прямо загляденье! И Вы как хорошо и удачно снялись!

Ах, Раиса Николаевна, вот ведь случай (и такой легкий), последовавши своему же собственному побужденыо, сделать приятное Вам, а я к этому приступаю так медленно и неудачно! И я полдня прописал, и Вас утомил, и ничего не сказал Вам.

Затем, не сердитесь... Если бы я был женщиной... Ах, как это сказать... Словом, тогда бы все это угрожало устойчивости моего почтового адреса. Но серьезно, без усмешек, перечтем 7 строк желтого столбца (какой замечательный поступок!).

Знаете ли Вы, что значит такой choice of the lonely existence* и в состоянии ли его оценить?

Ваш Б. П.

* выбор одинокой жизни (англ.). 632

Впервые: «Минувшее», N° 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Лондон.

1 Книга «Tiger-Мап: An Odyssey of Freedom* («Человек-тигр. Одиссея дружбы») английского путешественника Джулиана Дюгида, посвященная жизни охотника на тигров и исследователя южно-американских джунглей Александра Ивановича Зимеля, с которым Ломоносовы недавно познакомились.

2 На внутренней стороне суперобложки во втором абзаце речь идет о решающем моменте жизни Зимеля, который «выбрал одинокую жизнь охотника, потому что он влюбился в жену своего лучшего друга. Это произошло в Буэнос-Айресе, когда ему

было двадцать три года. Он отправился на север в Бразилию». Поступок Зимеля, противоположный Пастернаку в аналогичной ситуации, устыдил его.

3 Валентин Осипович Стенин — литературный критик и переводчик. «Стенич уже прочел книгу, — писал Пастернак 5-14 дек. 1932. — Он был тут в Москве, и взял ее прочесть, наперед сказав мне, что так загружен Джойсом, что ничем другим в теченье года заниматься не сможет. Но наперед зная, что практического примененья это не сможет получить, он попросил ее у меня на прочтенье, заинтересованный с одного перелисты-ванья. Книга произвела на него большое впечатленье» (там же. С. 200).

4 В 1931 г. в переводе В. Стенича вышел роман Дос Пассоса «42-я параллель»; выдержки из романа Джойса «Улисс» были опубликованы в журн. «Звезда» (1934, JSfe 11) и «Литературный современник» (1935, N° 5).

5 О дальнейшей судьбе книги Пастернак писал Ломоносовй 5-14 дек. 1932: «Сейчас она находится у одной очень хорошей московской переводчицы, и по всему тому, что я успел выяснить, вероятная судьба книги будет такова: ее в некоторой переработке, т. е. в сокращеньи, если это потребуется, предложат издательству «Молодой Гвардии», выпускающему книги для юношества» (там же).

651. РОДИТЕЛЯМ

24 ноября 1932, Москва

24. XI. 32

Дорогие мои. Завтра уезжает Б<орис> И<льич>, и я с ним передал мои поклоны и поцелуи. Кроме того, в тот раз, что я его видел по приезде от вас, я от него узнал твои слова: «Хоть бы карточку мне прислали...».

Посылаю тебе три фотографии Зины, все неудачные. Ближе всего маленькая вырезка из одной дачной группы, где в кружок попала голова ее младшего сына, это снято 5 лет назад, большие же фотографии сделаны летом 1930 года. Зина очень хороша, но на обеих карточках ее внешность сильно вульгаризирована. Так снимаются горничные, и этих, особенно улыбающейся карточки, я не хотел посылать. Она очень хорошо сложена, у нее правильные черты, и лучше всего живые глаза и зубы. При некоторой идеализации в классический тип ее можно было бы получить из тети Клары, или из одной из тех двух сестер (смуглой), которые жили в Молодях под вами, я забыл их фамилию, у одной из них был мальчик, лицом похожий на друга дома, который к ним приезжал по праздникам. — Конечно, если бы З<ина> была некрасива, ничего бы не произошло. Но если бы она была только красива, все бы кончилось так же, как началось, и более или менее внезапно и скоро. — Если бы, впрочем (и это позволительно), ты усомнился в скорой осуществимости разрывов, как они ни бывают иногда желательны, я скажу по-другому.

Если бы Зина была только красива, и теперь, по прошествии первой горячки (уже теперь двухгодичной) я хотел с нею расстаться, и наперекор своей воле, почему-либо не мог, я бы чувствовал себя несчастным, скрытно раздраженным и пр. и пр. Между тем я никогда не был так спокоен и счастлив, как самое последнее время, и с Зиной мне так хорошо, просто и естественно, точно я с детства с нею жил и вместе с нею рос и родился. У ней много общего со мной и даже какое-то сходство. Вся — созданье мелкодворянского (военного) мещанства, она также опролетаризована дикостями своей жизни, музыкальностью и трудовой, работящей подоплекой своего сильного (но бесшумного и безмолвного) темперамента, как, по другим причинам и с другими слагаемыми (мещанства и искусства) это имело место у тебя, у мамы и у меня. И потому многое, что у нас считалось специфически Пастерна-ковским, а по существу гораздо распространеннее и социально объяснимо, я встретил и у ней, с той только разницей, что слова и настроенья играют почти ничтожную роль в ее складе и судьбе, замененные делами и реальными положеньями. Я с ней церемонюсь гораздо меньше,

чем было с Женей, не только потому, что, может быть, люблю ее сильнее, чем любил Женю (мне не хочется допускать этой мысли), но и оттого, что к Жене всегда относился почти что как к дочери, и мне всегда было ее жалко. Между тем я не представляю себе положенья, в котором я мог бы пожалеть Зину, так равна она мне каким-то эмоциональным опытом, возрастом крови что ли. Женя гораздо умнее и развитее ее, может быть, даже образованнее. Женя чище и слабее ее, и ребячливее, но зато тем вооруженнее шумовым оружием вспыльчивости, требовательного упрямства и невещественного теоретизма. Надо сознаться, что много дурного у Жени от меня, но продолжая сравненье, скажу, что если для двух по-разному сырых существ семейная жизнь была школой, то жизнь со мною вместе с бесспорною пользой принесла Жене и много вреда, жизнь же с Гарриком Зину только воспитала и духовно обогатила, хотя школы эти, при всей разности наших характеров поразительно близкие. Что они близки, явствует из продолжающейся моей дружбы с Генрихом Густавовичем, как ни тяжка она ему бывает временами. Он человек очень противоречивый, и хотя все улеглось именно к истекшей осени, у него все же бывают состоянья, когда он говорит Зине, что когда-нибудь в приступе такой тоски убьет ее и меня. И все же с нами встречается почти что через день, не только потому, что не может забыть ее, но не может расстаться и со мною. Последнее доходит до трогательных курьезов.

В Москву приехали Гарриковы старики1 и живут с ним. Оба, в особенности отец, питают большую симпатию ко мне, в ответ на мою собственную, разумеется. Доходит до того, что когда они хотят оказать влиянье на сына (он совершенно не занимается, потому что по дарованью должен был бы быть мировым именем, и раз этого не случилось, то ему более или менее все равно), то 85-летний старик пешком является ко мне с соответствующим порученьем (повлиять на Гаррика, если я с его, отцовыми доводами согласен), и тут в разговоре с этим замечательным стариком я обнаруживаю, как перезабыл немецкий язык и как такой проникновенный разговор на нем меня утомляет. Удивительная семья! Отец немец, мать — полька (тетя Шимановского2), оба друг с другом разговаривают по-французски. Туда, познакомившись как-то у меня, зачастил в последнее время Паветти3. Однажды мы туда зашли с Зиной и застали разговор на четырех языках, потому что П<авел> Д<авыдович> говорил с Гарриком по-польски.

— Обо всем этом я в таком тоне пишу вам, кажется, впервые. Поздравьте меня с этим и позвольте с тем же поздравить вас. Боюсь сглазить, но, по-видимому, все более или менее успокоилось, и я бы хотел, чтобы всегда мне и всем ближайшим кругом было, как сейчас, и лучше не нужно.

Единственное, что меня продолжает озабочивать, так это судьба Женёнка. Хотя и его теперешнего состоянья не сравнить с ужасами прошлого года (он с матерью в уютной квартирке, и я всегда застаю его шаловливым и даже до тоски, чуть-чуть чрезмерно-дурашливым; кроме того, он в восторге от школы, в которую я его не без труда среди года определил). Но меня интересуют не одни настроенья его: он ребенок, и мере имеющихся для него и только наполовину использованных ресурсов не судья. Для него можно было бы сделать гораздо больше, если бы, по простительным странностям са-молюбья, этому не сопротивлялась Женя. Одного ее воспитанья для него будет мало. Исподволь ему надо было бы бывать со мной. Я часто бываю там, но там, как всегда и прежде, я слишком растворяюсь в атмосфере Женина требовательного и принципиального мира, которым Женёк дышит всегда и без того. Бывать со мной значило бы бывать у нас на Волхонке, потому что только тут я вполне я, естественен и реален. Я понимаю, с какою тяжелой сложностью в лице Зины, как факта, должен будет столкнуться ребенок, но именно с этою-то травмой было однажды благополучно покончено, когда в первую же встречу с ними я взял Женёнка к себе,

тогда еще на Тверской бульвар, и он видел мальчиков и Зину, и не только рвался к нам (пусть и ко мне, главным образом) на другой день, но даже сам со мной готов был дебатировать вопрос о переезде к нам в положительном смысле. Однако к посещенью этому, которое мальчик сразу со всем этим клубком освоил и очень благотворно, Женя отнеслась резко осуждающе и навсегда такие визиты запретила. С тех пор они не повторялись, и теперь некоторые приобретены!, важные для душевного равновесья Женечка, опять утрачены.

Он не впал в прошлогоднюю грусть, и повторяю, настроенье у него вполне веселое, но повторив в двадцатый раз в его присутствии (техническая неизбежность) свою просьбу к Жене о том, чтобы она пускала его к нам, в гости к мальчикам, я с грустью убедился, что выделяя Зину (ни в чем не повинную, кстати), он смотрит или старается на нее смотреть глазами Жени, т. е. как на мамину обидчицу. А это шаг назад по отношенью к осени, и притом шаг пока что для него безболезненный, но который может дать ненужно горькую для его души складку в будущем.

Настоянья мои, чтобы Женя победила свои взгляды и эта преграда для мальчика была сломлена (т. е., чтобы он бывал у меня), Женя отстраняет доводами, что это сумасшествие, и ни один здравый человек меня не поддержит. Она находит вредным в воспитательном отношеньи то, что кажется мне педагогически полезным и нужным.

Когда же я ссылаюсь на Нейгаузовский пример (никого не спрашиваясь старший мальчик Адик (Адриан), возвращаясь из детского сада, затащил воспитательницу к Женичке, и потом еще раз заходил с ней к нему в гости) — отец бывает у детей, дети у отца, дети видят нас обоих, трагедии пережиты взрослыми и на детей не перенесены, — когда я на это ссылаюсь, она отвечает, что это вообще не люди и сумасшедший дом, и что Зина не мать, и надо еще подождать, каковы вырастут дети (они и правда не так изнежены, как Женя) и пр. и пр. Абсолютно несправедливая в суж-деньи о Нейгаузах (какой это притон, явствует из того, как льнут к этому кругу Павел Давыдович или Ольга Александровна4), Женя, может быть, права в том отношеньи, что знает что-нибудь лучшее и деятельно даст это Женёнку. Именно в допущеньи такой возможности я не превращаю своей просьбы в требованье, чтобы не срывать Жениных планов. Но, как сказано, лишь это продолжает омрачать меня и заботит.

Если бы у вас явились мысли по этому поводу, и не в пользу Жениной точки зренья, и если бы вы пожелали написать что-нибудь по этому поводу Жене, сделайте это в сердечной и наименее для нее обидной форме и так, чтобы это носило характер случайности, не инспирируемой мною. Сделайте так же задушевно, как всегда говорили с ней. Я не знаю, чего она, глупая, боится.

Что же касается до Зины, то ваше сближенье произойдет само собой, потому что она простой, сердечный, ничем не исхищрен-ный человек, и как бы вы ни хотели подойти к ней, это надо сделать благородно, т. е. без всякого напряженья, без фамильярности, как и без всякой стилизации, в какую бы то ни было сторону.

Крепко обнимаю вас. Ваш Боря

Вообще говоря, в отношеньи Зины ничего не надо, и только пригодно одно свободное, достойное, натуральное. Задетая перипетиями прошлого года за живое, она хотела тогда писать папе, но я ей запретил. Это повредило бы Жене.

У меня нет времени перечитывать написанное. Видите, как я рискую. Мысль, что мои письма, может быть когда-нибудь кому-нибудь понадобятся, и неряшливое мое многословье будет обнаружено с позором, кажется мне временами вероятной5.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Г. В. и О. М. Нейгаузы.

2 Кароль Шимановский — польский композитор.

3 П. Д. Эттингер.

4 О. А. Айзенман.

5 Л. О. Пастернак отвечал на эти слова сына: «Да! В одном из твоих писем ты беспокоишься (может когда-нибудь мои письма понадобятся!) за неряшливое твое многословие (из-за неперечитывания), но этот твой страх совершенно неоснователен. Я нахожу прекрасными твои мысли, доводы и вообще поражаюсь твоему умению основательно, толково и логично излагать свои мысли (пусть иногда — парадоксы, — но разобрано логично, серьезно и плавно). Так что страх твой зря» (там же. С. 53).

652. З. А. НИКИТИНОЙ

3 декабря 1932, Москва

3. XII. 32

Дорогая Зоя Александровна!

Зина и я благодарим Вас за приветы и желаем Вам всего лучшего. В следующий приезд надо будет повидаться основательней.

Отсылаю договора с задержкою, непонятной и мне самому. Мне хотелось написать Вам большое письмо. Так хочется мне написать Марине Николаевне, Вам и М. Комиссаровой1, последней, сверх желанья, еще и надо. Но всякий раз, как за это берусь, кто-нибудь приходит, или случается еще что-нибудь, и быстро наступает ночь, и так до следующего дня, когда все это повторяется в том же порядке.

У меня к Вам техническая просьба, если не забудете. Вы лучше меня сообразите, кому и как это сказать.

Во «Втором рожд<ении>» совершенно зря, как я это теперь вижу, разбиты «Волны» на ряд отдельных страниц2. При печата-ньи в однотомнике всю эту совокупность надо набрать так, как было в «Красной Нови»3, т. е. попросту говоря, восстановить заг-лавье «Волны» и набирать цельною вещью, отмечая разделы только теми знаками (тире или пробелами), которыми обозначаются внутренние, второстепенные деленья.

Кланяйтесь, пожалуйста, Григорию Эммануиловичу4, очень благодарю его за письмо. Кстати, когда я подписывал договор № 534 на однотомник, где общее количество строк исчислено в 9000, я все боялся, что число их меньше и между 8-ю и 9 тысячами. Дома я подсчитал, и оказалось, что их будет за 9 тысяч и может быть до 10-ти.

Еще раз спасибо. Всего, всего лучшего. Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Путь», 1995, № 8. - Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

1 Марина Николаевна Чуковская, жена Николая Корнеевича. Мария Ивановна Комиссарова — поэт, переводчик, жена поэта Н. Л. Брауна.

2 То есть отрывки «Волн» набраны в корректуре как отдельные стихотворения в цикле.

3 «Красная новь», 1932, № 1.

4 Григорий Эммануилович Сорокин.

653. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

27 декабря 1932, Москва

27. XII.32

Дорогой папа, я изнемогаю под бременем моего «авторитета», ложного, скверного, мифического: он мне жить не дает. Лишь этим объясняется, что так запаздываю ответом.

Сердечно благодарю тебя за письмо. Жаль, если вырезка из группы пропала. Спрошу у Б<ориса> И<льича>1. Ты спрашиваешь, какого разряда Зина, маленьких или изящных женщин или какого-нибудь другого?2 Она моего роста, и я скорее бы назвал ее высокой. Видишь, как неудачна улыбающаяся карточка: игривостью и лукавством

она натолкнула тебя на естественные, но неправильные догадки. Итак, спасибо за письмо.

Но еще раньше и гораздо больше я должен был поблагодарить тебя за Вестермановский оттиск3. Прежде всего целую и поздравляю тебя с самым фактом отвода стольких страниц ежемесячника под тебя и твое дело. Репродукции, по-видимому, очень близкие. Не правда ли? Я очень безотчетно, непосредственно, как бывает только при виде самих полотен, воспринял твою новую манеру, твою гармоническую, счастливую красочность и восхищен ею.

Статья же, от которой, по картинам, я ждал многого, не понравилась мне. Она недостаточно суха и дельна, в ней нет той почетной строгости, которой ты заслуживаешь; в ней царит какая-то неавторитетная, фамильярная болтливость; написанная о художнике, она говорит об искусстве, как об именинах: ее писал дурак, и туг ничего не поделаешь. Тем лестнее, что несмотря на все его юби-лированье, воспроизведенные вещи выше его поздравлений.

Кроме галстуков, за которые, понятно, большое спасибо, Лидия Алексеевна4 передала, что ты до сих пор продолжаешь работать, со все возрастающею бодростью и удачей. Какой ты молодец, и как я тебе завидую! Какая, верно, радость быть при тебе и все это видеть. Вероятно, это служит немалою поддержкой мамочке, а может быть, и Лиде с Жонею, и Феде. Завидую и им. Знаю, знаю все и себе представляю, — (читаю, ведь, газеты, стал недавно читать)5.

Только представляешь ли ты себе там, далеко, все наше здешнее? Думаю, что нет. По тону твоему кажется мне, что ты рисуешь себе все несоизмеримо нормальнее. Одухотворенные и неподкупные газетные корреспонденты, наверное, поддерживают тебя в этом мненьи, и такие гениальные, ответственные, бессмертные и свободные свидетели, как Б<орис> И<льич> или Л<ев> Г<ригорьевич>6. Между тем апокалипсис, который ты однажды покинул, только усложнился в своей безысходности.

Я догадываюсь, чем вызваны твои советы мне и Жене относительно воспитанья Женички: отчасти моими сожаленьями о том, что он у меня не бывает, отчасти же, может быть, неудовлетворительностью его писем. Наполовину все то, о чем ты напоминаешь, ты говоришь всерьез. Т. е., если бы положенье не изменилось (а на этом ни в коем случае не надо настаивать), я бы должен был больше проводить у Женечка времени, чем позволяет мне моя жизнь. А это совершенно невозможно. Может быть, так живут и могут жить наивные советские мещане, вроде Б. И. или Л. Г., верой своей в рассудок мнимо застрахованные от посмертной ответственности и предчувствия больших катастроф. Ты побольше их расспрашивай. Много они знают, много тебе расскажут.

Я же относительно Женички мечтаю об одном: чтобы он узнал когда-нибудь, и как можно скорее, как я любил и люблю его: и время мне эту возможность подарит. Тут непременно будет какая-нибудь случайность, которую надо будет подхватить и в ней укрепиться. Насиловать, пока что, тут ничего нельзя. Послав его к вам, несмотря ни на какие ваши кризисы, я хотел облегчить ему жизнь. Я хотел уберечь его от тех страшных возможностей, которые я относительно себя всегда допускаю, в допустимости которых себя стараюсь воспитать, если еще не воспитал. Это не удалось. Что же теперь остается мне, кроме пожеланья, чтобы он был при мне, и, прижав его к сердцу, я бы мог сообщить ему жизнеспособность той моей тоски, которая не верит ни в какие страховки, ни на что не обижается и никого не обвиняет.

Работать я буду, работой я замаливаю богов, влияю на судьбу, работаю над своим бесстрашием. Работа приближает меня к безусловному, к единственной почве в беспочвенной вселенной, работой я утверждаю мальчика в пространстве, склоняю какие-то силы в его пользу.

Ах, ты так-таки не представляешь себе моего существованья. Ты от обрастанья семейственностью предостерегаешь меня и попадаешь мимо, как тонко б я тебя ни понимал (даже в смысле возможности нового ребенка). Это как если бы ты меня от насморка предостерегал, как от самой для меня серьезной опасности. Счастливый, счастливый. Отсюда у тебя и юмор, отсюда отсутствие его у меня. Это, верно, тетя Ася тебе писала, что я без юмора и слишком серьезен.

Но, чтобы вернуться к фактам, Зина ревниво оберегает меня от прикосновений семейственности, она дунуть не дает на меня ничему, что бы могло помешать моему уединенью в комнате, соб-ственно-ножно по-полотерски ею натираемой каждое утро, и она как изменой женщине огорчается моей необходимостью выслушивать сотни людей и читать десятки рукописей, в наше страшное голодное время, когда чужое несчастье лишает тебя всех твоих прав и превращает в порабощенного слушателя, пока, ошалев от частой повторяемости этих жертв, ты не убеждаешься, что эта отзывчивость не к добру, и в результате ничего не плодит, кроме твоего собственного бесплодья. И тогда ото всех и всего отказываешься, до какого-нибудь вопиющего промаха, который тебя пугает.

Но не работал я не из-за этих помех: я сам их допускал потому, что не мог работать. Не мог, при редком благоприятствованьи, при сравнительной обеспеченности, при счастливом взаимопони-маньи с Зиной, при почти бесшумном существованьи двух мальчиков, которых мать сумела научить не мешать мне без ущерба для их воли, мягко, без льда и мрака и обоюдной горечи; не мог при сильной тяге к работе, не мог: потому что той условной действительности, которую воображают и о которой рассуждают Б. И., нет на свете, и искусство не может заниматься несуществующим, а оно сейчас притворяется, что им занимается. Наконец, должен был подумать и я, что я слеп или неглубок и малоопытен, если уже не критика или Б. И., а Ирина и Шура, и Гаррик, и близкие стали упрекать меня в узости, несовременности, недальномыслии. И полученные тысячи угнетали меня, и страшная снисходительность порядка, и свидетельства признанья, — ах, опять ты неправильно представляешь меня, если думаешь, что я победителем выхожу на сцену, Могилевским или Собиновым7, нет: я Жонею выхожу на сцену к полуторатысячной Гос. Капелле сплошь близких людей — (Распутина это тете Асе напомнило) — и если бы они стали нападать, я бы не защищался. Денег не было тогда, и мне в Ленинград было нужно. А когда со мной расплатились в Ленинграде за Ленинград и Москву, я вдруг узнал, что опасно больна и совершенно, совершенно без средств Анна Ахматова, и 500 рублей, которые должен был привезть (но кое-что сверх этой суммы осталось) не без труда упросил принять ее близких8. Но в указаньях своих ты прав, они остаются истинами и вне рамок чуждого мне артистического карьеризма, и спешу уверить тебя, что я им следую: я предельно, т. е. до непозволительности естественен, что в свою очередь людям слабым и без нравственного воображенья кажется особым актерством. — Так это все подав<ляет...>9

Этим обращеньем к ней10 мне б хотелось расцеловать ее и Лиду и мамочку и всех вас, и на этом кончить. Но так как Шура, наверное, не скоро напишет вам, то вот что о нем. Они вернулись из Крыма, Ирина поправившись, Шура же ничего не прибавив. Опять кашляет и лежит в постельке Федюшок (почти прозрачен и очень худ также и Женёнок: радость его по поводу по-ступленья в школу уже прошла, он одинок там, хотя его встретили ласково). Еще о Шуре. Они много работают. Он угрюм и скучен, и хотя не постарел, как где-то ты упоминаешь, но худ и несколько нелюдим, потому что даже и он твой сын, а не кого-нибудь еще другого и, следовательно, общая беспросветность, безрадостность и прочее не могут не отпечатлеться на нем, — не носорог же.

А я как, может быть, спросишь ты? А откуда же и взрыв был, так нас перекроивший и расшвырявший? Но в 30-м, летом, когда не стало сил существовать, и я поддался этому увлеченью, я думал, что никаких 31-го и 32-го года у нас не будет, и мы умрем зимой, а Женечка вы бы тогда, может быть, если бы он с Женею один остался, приняли, и они бы уцелели. Но вот мы все остались жить, и мне с Зиною хорошо, хорошо и в любой тревоге не тревожно, но за Женечка часто сердце сжимается (и сжималось бы, если бы он был даже при мне) — но, по-видимому, все это бред. Ах, несчастная жизнь! Но таким делает меня что-то, без чего не было бы у меня ничего другого, ни глаза, ни слуха. Ты посмотри, что эта дикая война 1914-1918 наделала!! А теперь скоро 1933 — (язык не поворотится с новым годом поздравить) — и столько, столько еще времени будут расхлебывать, что когда-нибудь, в каком-нибудь 2014 году, пожалуй, убедятся, что война-то, ведь, действительно, несмотря на четырехлетний корень, была столетней. Но как ужасно у вас, — знаю, знаю, и сердце кровью обливается: бедные, бедные, ни в чем не повинные немецкие дети, бедный немецкий MittelstancT, честный, благородный, гениальный! Плачу и прощаюсь.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Речь идет о переданной с Б. И. Збарским маленькой фотографии З. Н. Нейгауз, вырезанной из группы, о которой Пастернак писал отцу 24 нояб. 1932.

* среднее сословие (нем.). 642

2 Л. О. Пастернак писал сыну по поводу полученных карточек З. Н. Нейгауз: «Я представлял ее себе только более крупной женщиной — а по фотографии судя, мне сдается, что она типа не крупных, но изящных» (там же. Кн. 2. С. 52).

3 Оттиск из худож. журн. «Westermanns Monatshefte» (B. 153,1; S. 915) со статьей Карла Мейснера о Л. О. Пастернаке и цветными репродукциями его работ.

4 Л. А. Бах — историк рабочего движения, дочь академика А. Н. Баха, виделась с Пастернаками в Берлине и привезла от них подарки.

5 Надвигающаяся угроза фашизма в Германии заставила Пастернака читать газеты.

6 Отталкиваясь от совершающегося в Германии, Пастернак говорит, что благополучие, которое описывают советские репортеры или выезжающие за границу ответственные работники, как Б. И. Збарский, Л. Г. Левин или Л. А. Бах, — ложь и в действительности не существует.

7 Разговор о выступлениях в Ленинграде, начатый в письме А. О. Фрейденберг брату, был подхвачен Л. О. Пастернаком, который писал: «С этим поздравляю, но... я не сторонник таких успехов. Писатель, поэт, как Егова, должен быть невидимым и легендарным, как перед valet de chambre (слугой. — Е. П., М. Р.), так и перед толпою, чернью, ежели она его часто за полтинник может одобрить или освистать... — словом будь очень скуп на показыванье себя и не увлекайся этими материальными выгодами: только художественно литературная работа твоя ценна, значительна...» (там же. С. 53).

8 О болезни Ахматовой и необходимости помощи ей см. в письме №645.

9 Две страницы отсутствуют, и скорее всего, они были уничтожены. Заключительные слова письма о последствиях мировой войны, определяющих политическую обстановку в Германии и России, своим неожиданным перескоком проливают некоторый свет на содержание пропущенной части письма и позволяют предположить, что она была посвящена событиям, обусловившим победу Гитлера на выборах.

10 К Жозефине.

654. З. А. НИКИТИНОЙ

27 декабря 1932, Москва

27. XII. 32

Дорогая Зоя Александровна!

Опять задержался ответом. Сергей Дмитриевич1, если был, мог порассказать о причинах, среди которых болезнь З<инаи-ды> Н<иколаевны> (она уже выздоровела и шлет Вам привет и сердечное спасибо за добрую память) — была лишь каплей в море. Звонки и письма, и посещенья, просьбы и порученья, рукописи и лица, старички и молодежь, несправедливые обиды и справедливое недовольство, спешные притязанья и иногда, сквозь дыру какой-нибудь непритязательно страшной истории беглый взгляд на всегда доступное, но всегда все же из самозащиты прикрываемое зрелище черной, тысячеверстной, смертельной правды — ото всего этого нет отбою, но всему этому, разумеется, будет конец, радостный и достойный, когда при ближайшем же поводе обнаружится, что ничего из того, на основаньи чего официально утверждаются авторитеты, я не разделял и не думал, и этот авторитет будет разрушен, — неавторитетное лицо не будут осаждать. Какой стыд, какой стыд. Но я ни в чем не каюсь, так все надо было.

Я хотел послать корректуру со Спасским, но мне не дали ее досмотреть. Высылаю с новой оказией: 30-го едет домой ленинградец М. М. Казмичев2, он согласился отнести Вам сверток. К начальным листам пришпилено письмо к корректору, его надо передать непременно, а то получится путаница.

Подписанный договор возвращаю. Поговорить с кем-нибудь из художников не имел времени, тем более попозировать. Пускайте однотомник без портрета. На фотографиях, за двумя единственными исключеньями (огоньковская, на «Избранных стихах» и в семейной группе, наппельбаумовской3), никогда не выходил, т. е. выходил может быть, похоже, но несносно уродливо: часто выступали те именно черты, которых я не выношу и которыми тягощусь в себе: те, на изжитье и заглаженье которых я положил все лучшее в деятельности моей и жизни. Не боюсь говорить об этом, потому что естественностью в таком пониманьи не дорожу. Я не матерьялист и считаю, что рождаемся мы не для того, чтобы оставаться на месте, куда нас положила тайна явленья, а для того, чтобы подыматься над местом и уноситься4.

Горячо благодарю Вас за милое ко мне и Зине отношенье, — разрешите не переписывать, т. е. не обращайте вниманья на помарки.

Ваш Б. Пастернак

P. S. На днях напишу Г<ригорию> Эм<мануилови>чу. Он внушает мне большую симпатию. Пока что кланяйтесь, пожалуйста, ему. Письмо же это только Вам, не потому лишь, что оно нескромно и многословно. Всего Вам лучшего.

P. P. S. Правда ли, что И<здательство> П<исателей> выпускает полную или обширную Ахматову, и что нужно сделать, чтобы это оправдалось, если это неправда?

Впервые: «Путь», 1995, № 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

1 С. Д. Спасский.

2 Михаил Матвеевич Казмичев — поэт и переводчик.

3 Наппельбаумовская фотография с женой и сыном 1924 г. и его же работы 1929 г., напечатанная на обложке маленького сб. Пастернака «Избранные стихи», «Огонек», 1929.

4 Пастернак имеет в виду еврейские черты своей внешности, связывающие его со случайным, как он считал, фактом рождения, тайной явленья, существенной лишь для материалиста, считающего данность неизменной причиной, обуславливающей характер и деятельность человека. Ему была близка «всеобъемлющая мысль христианства», которую интересовало не то, «чем рождался человек, а то, к чему он в жизни приходил и чем становился» («Замечания к переводам из Шекспира», 1946).

655. С. П. БОБРОВУ

Зима 1932-1933, Москва

Дорогой Сережа!

Приходи, пожалуйста, не сегодня, а завтра (8-го) вечером в 9 часов. Будут Зелинский и Динамов1. Принеси, пожалуйста, рукопись «Близлежащей неизвестности», мне бы очень хотелось, чтобы она была при тебе, не предрешая того, будет ли чтение, в тот же ли вечер или в другой, и т. д. Но завести разговор о ней мне бы хотелось при Д<инамове>, это одно, а другое — ее не знают Зина и Генр<их> Густ<авович>, — принеси, не забудь, пожалуйста. Приходи непременно с Марией Павловной2, если свободна.

Твой Борис

Впервые: «Новое русское слово», 13-14 нояб. 1999. Публ. В. Шента-линского. — Автограф (ЦА ФСБ РФ; дело С. П. Боброва). Письмо было взято при аресте С. Боброва 28 дек. 1933 г. вместе с рукописью повести «Близлежащая неизвестность», написанной 5 окт. 1931. На допросе Бобров назвал Пастернака среди лиц, которым он читал повесть и которые восприняли ее «как сатиру на положение в СССР».

1 Критик и ответ, редактор «Литературной газеты» С. С. Динамов вместе с ведущим советским литературоведом К. Л. Зелинским, которого Пастернак в это время числил среди своих друзей, должны были, по его мысли, рекомендовать повесть Боброва к публикации. Следователь НКВД определил повесть как «антисоветскую и контрреволюционную»; Динамов был снят с должности 29 сент. 1933 г., в 1937 г. — арестован.

2 М. П. Боброва-Богословская — переводчица, третья жена Боброва.

1933-1934

656. Дж. РИВИ

2 января 1933, Москва

2.1. 33

Дорогой Георгий Данилович, с Новым годом! От души желаю Вам всяких удач в этом году и облегченья Вашей жизни, если кризис захватил и Вас, и она Вам затруднена.

Получили ли Вы мое письмо и «Охранную грамоту»1. Очень тревожусь, что она до Вас не дошла, судя по Вашему молчанью. Если Вы ее получили и прочли, не бойтесь написать мне искренно в случае разочарованья. Вероятно движенье по слишком знакомому Западной Европе пути, который тут называют идеализмом, не представляет для Запада никакого интереса, и от русской литературы ждут произведений, богатых фактами, и на совершенно иной и новой социальной подкладке.

Очень Вас прошу писать мне без всякого стесненья, не опасаясь огорчить меня отказами или неудачею с книгой.

Мне бы также хотелось знать, что сталось с Вашими осенними планами, о которых Вы мне сообщали в сентябре из Парижа. Осуществляются ли они. Да и в Лондоне ли Вы? И где обещанная Вами книга Ваших собственных стихотворений?

Напишите мне, пожалуйста. Крепко жму Вашу руку. Всего Вам наилучшего.

Ваш Б. Пастернак Москва 19 Волхонка 14, кв. 9.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (Houghton Library, Harvard University). 1 Книга была послана в конце ноября 1932, см. письмо N° 649.

657. РОДИТЕЛЯМ

4 января 1933, Москва

4.1. 33. Дорогие мои, простите мне несколько неумеренную аффективность прошлого письма, — слишком многого я коснулся, — боюсь, не огорчило ли оно вас. Жоня моя, как бы я хотел с тобой повидаться! Но, ведь, ничего не скажешь словами, не потому что они бессильны (если не словами, тогда чем же и сказать), а что слишком много всего, всего же не охватить, а только всё — живо и удивительно. Вот когда все

на свете разъяснится, и найдут опять способ жить, успокоятся люди, пойдут художники, можно будет письма писать, а сейчас задачи и судьбы не распределены, не облегчены, не ограничены. Ничто не исполнимо, и последнее веянье жизнеподобья еще немного сохраняется в совершенно недоступном целом, которым даже воспользоваться нельзя, так оно общо и далеко, в том целом, над которым ломает голову мировая политика. Частности же давно умерли. Частности врут и поражают своим анахронизмом. А вся жизнь, ведь, в частностях. Вот, ведь, время!

Сейчас был у Жени. Светло у них, чисто. Маленькие, маленькие две комнаты. Молодцы они оба, как живут, как держатся!! Женек мне «Таинственный остров»1 вслух читал, подперши голову рукой. Читал, как корабль пиратов на воздух взлетел, и как с берега стали ловить обломки, и прозу эту читал, как лирику, благородно, нараспев, печально; и был очень красив в профиль, очищенно красив, чуть-чуть даже капризно изящен. А Женя напротив него сидела и палитру чистила, умная, грустная, дружелюбно понимающая. А когда я домой пошел (ну, откуда быть юмору!), — я подумал, что, ведь, вот они сейчас такие, какими я их всегда желал, — нет, в тысячу раз чудеснее, но в желаемом именно направленьи: и такими сделала их печаль, моя и их, и то, что я им не мешаю быть естественными, как мешал всегда ежеминутной ревнивой критикой, все боясь, что они кому-нибудь не понравятся2.

Адрес твоего скрипача: Анисим Александрович Берлин, Москва, Центр, Мясницкая 24.

Не было ли каких-нибудь новых поступлений мне сверх Жениной, неприкосновенной суммы? Если были, то переведите ей на Торгсин, у Женечка опять нарывы, но это не страшно, это только в виде роскоши пожеланье.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Роман Жюля Верна.

2 Дальше вычеркнуты четыре строки.

658. А. БЕЛОМУ

15 января 1933, Москва Дорогой Борис Николаевич!

Податель сего, горячий Ваш почитатель, молодой непечата-ющийся поэт Алексей Владимирович Нарский1 второй или третий уже год просит у меня записки к Вам, чтобы к Вам проникнуть и иметь случай высказать Вам свою признательность и удивленье. Щадя Ваш досуг, который, разумеется, дорог и ему (он им злоупотреблять не будет), я оттягивал под всякими предлогами исполненье его просьбы. Сегодня не могу отказать ему в рекомендации к Вам, потому что его притязания сведены до последней малости: он зайдет к Вам за пропуском на диспут во Всероскомд-раме2, на который я и сам бы его провел, если бы не был простужен и мог последовать своему желанию услышать и увидеть Вас.

Для меня было бы большим счастьем свидеться с Вами, и если я в этом не проявляю самодеятельности, то только потому, что в той мере недоволен собой, что до поры до времени отнял у себя право искать больших и глубоких удовольствий, вроде свиданья с Вами, пока не заслужу. Я неудачно это выразил, но, вероятно, чувство это Вам знакомо, может быть, по далеким воспоминаниям.

Я больше полугода ничего не делаю, не работается как-то мне. Это оттого, вероятно, что весна принесла с собой глупый призрак относительной свободы, ложной, поверхностной и, может быть, в нашей действительности неуместной3. Эта ненужная иллюзия развила чувство ответственности, в наших условиях ни во что не воплотимой. На меня большое впечатление произвели речи Бухарина и Рыкова на пленуме4. Они эту двусмысленную видимость разрушают.

Крепко любящий Вас и преданный Б. Пастернак

Впервые: Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13. — Автограф (РНБ, ф. 60, ед. хр. 62). Датируется по содержанию (днем выступления А. Белого).

1 Алексей Владимирович Нарский, знакомый Пастернака с 1929 г., в его архиве имеются 5 писем Нарского 1944 г. Сохранилась недатированная записка Пастернака профессору литературного факультета Университета К. П. Новицкому с ходатайством за Нарского: «Глубокоуважаемый Константин Петрович! Простите, что не будучи представленным Вам, обращаюсь к Вам с просьбой. Товарищ, попросивший у меня рекомендации к Вам, Ал. Вл. Нарский выбыл из числа студентов этнологического факультета по болезни, не успев во время сдать урочные зачеты. Я его знаю давно, его тяга к поэзии прирождена и не случайна, его задатки внушают доверье. Он подал заявленье о зачисленьи его на лит. фак. и, на мой взгляд, в отношеньи литературных способностей заслуживает принятья. Неловкость же моего положенья заключается в том, что он полагает, будто моя заручка может что-нибудь сказать Вам, что отнюдь не требуется и вовсе в мои притязанья не входит. Прошу смотреть на моё письмо как на письмо человека, окончившего университет шестнадцать лет тому назад и хлопочущего о такой же судьбе для младшего собрата, — и только» (DIM, ф. 143, оп. 1,д.24).

2 Имеется в виду выступление А. Белого с докладом «Гоголь и "Мертвые души" в постановке Художественного театра» 15 янв. 1933. В фонде Белого (РНБ, ф. 60) среди записок, полученных им после доклада, была подписанная Пастернаком; она экспонировалась на выставке в РНБ в 1990 г., устроенной в честь юбилея Пастернака, но потом была утеряна.

3 Имеется в виду роспуск РАППа после постановления ЦК ВКП(б) от 23 апр. 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций».

4 На январском пленуме ЦК ВКП(б) Н. И. Бухарин и А. И. Рыков выступали с покаянными речами и полной поддержкой политической линии Сталина («Известия», 14 и 15 янв. 1933).

659. Г. Э. СОРОКИНУ

16 января 1933, Москва

16.1. 33

Дорогой Григорий Эммануилович!

Горячо благодарю Вас за все сделанное, и, хорошо зная нынешние условья, глазам своим не верю.

Как мне Вас благодарить, и как мне совестно, что я такого Лазаря распустил почти что, может быть, накануне этого денежного ливня1. Нелегко же, верно, далась Вам и издательству эта благотворящая буря. Тем ценнее она и тем более обязывает меня.

Известье о запрещеньи собранья2 не могло, конечно, не огорчить меня, но прямо вслед за ним идущие новые доказательства незаслуженной и неслыханной заботливости обо мне, Вашей и товарищеской, все, разумеется, перевешивают, и — что сказать мне? Мало варьянтов благодарности в словаре по комнате на Невском, 13, и просто слов недостает3. Спасибо же Вам всем, спасибо.

Что касается до самого запрещенья, то в моральном отношеньи оно даже скорее кстати. Они правы, что в отношеньи меня все это было как-то уже слишком, и все подряд, одно за другим.

Меня и самого такое щеголянье творческой нищетой, не раз и не два, с возобновленьями, наперед смущало. Тут ведь с 1929 года по давно оплаченному договору Гихл мою прозу набирал, и вот, кажется, наконец выпустит весною4. Так что все это к лучшему, культпроп выводит меня из неловкости, в которую меня поставили бы житейские мотивы, непозволительно легко преодоленные. Буду преодолевать их по-другому, и подостойнее. Пишу что-то сейчас, какой-то сомнительный вздор и, что

хуже всего, — точно не для печати. Впрочем, говорить еще не о чем, только что начал5.

Номер журнала с «Повестью» у Фаворского6. Одна из невероятностей современного быта, — а может быть в особенности моего: я с ним ни разу не виделся, что, наверное, с моей стороны, бестактно. Журнал с «Повестью» ему передали, и у меня нет другого. Но я это дело поправлю и скоро вышлю Вам текст7.

В дополненье ко всему услышанному примите еще одно мое уверенье. Совершенно особое и громадное Вам спасибо за Ваши письма, живые, щедрые и всегда урочные. Крепко жму Вашу руку.

Искренне преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1 Имеется в виду письмо 8 дек. 1932: «Простите, что надоедаю Вам, но, если возможно, переведите мне следуемое по договору № 534 в нынешнем месяце в срок, и первую половину, или во всяком случае не меньше половины, — на самых ближайших днях: у меня сейчас нет денег, и Вас это не должно удивлять. Крупная часть посланной в 20-х числах ноября суммы пошла в погашенье домашней задолженности, допущенной прежде; кроме того, переоценивая всегда будущие перспективы договоров, т. е. возможность их аккуратного соблюденья при общегосударственной финансовой конъюнктуре, я не отказываю иногда в поддержке кое-кому из знакомых, из тех, кому живется туже, чем мне; наконец, — и я хочу, чтобы Вы это знали, — у меня 6 иждивенцев, на мне две семьи, два полных отдельных хозяйства. Вы не поймете меня, если присвоите сказанному какую-нибудь интонацию, которой в моих словах не содержится. Не только ни в чем не виноваты Вы и Вас ничего из сообщенного не касается, но, наоборот, я должен у Вас просить извиненья, что посвящаю Вас в такие подробности, ибо такая нескромность бестактна» (там же. С. 209).

2 «Изд-во писателей в Ленинграде» 2 авг. 1931 г. заключило договор с Пастернаком на первый том собр. соч. Была представлена рукопись объемом 3000 стих, строк. Договор был следствием предложения Горького напечатать серию избранных поэтов, от Державина до Блока и Пастернака. Из серии были исключены Пушкин, Лермонтов, Блок и Пастернак с тем, чтобы выпустить этих поэтов полными собраниями в том же издательстве (см. письмо № 601). Пастернак обратился к Горькому: «Сейчас Культпроп ЦК в общем порядке (то есть не в отношении меня одного) предложил Ленинградскому издательству писателей отказаться от моего собранья» (3 марта 1933).

3 «Изд-ву писателей в Ленинграде» (Невский пр., 13) удалось отстоять уже набранный первый том собр. соч. и издать его как «Стихотворения в одном томе» (1933).

4 Имеется в виду сборник прозы, в который должны были войти «Охранная грамота», «Повесть», «Апеллесова черта», «Детство Люверс» и «Воздушные пути». После исключения «Охранной грамоты» сб. «Воздушные пути» вышел в свет в ГИХЛе в 1933 г.

5 Расторжение договора на издание собр. соч. отразилось на работе над романом, который Пастернак не смог окончить (см. письмо Горькому № 664).

6 «Повесть» Пастернака была напечатана в «Новом мире» (1929, № 7). Журнал был послан Владимиру Андреевичу Фаворскому, который сотрудничал в «Изд-ве писателей в Ленинграде», для иллюстрированного издания. «Повесть» вышла с иллюстрациями В. Конашевича в 1934 г.

7 Намерение издательства выпустить «Повесть» упиралось в требование скорейшего получения текста. Книга была сдана в набор 24 янв. 1934 г.

660. Г. Э. СОРОКИНУ

30 января 1933у Москва

30.1. 33

Дорогой Григорий Эммануилович!

Я денег еще не получил, но не только в этом дело. Я знаю, что Вы и издательство ни в чем не виноваты, и привык за эти годы скорее, как чуду, удивляться исполнимости простых вещей, нежели более естественной их неисполнимости.

Но мне хотелось бы, чтобы, как я о Вас, знали и Вы обо мне, что только дотерпев до последней крайности обращаюсь я к помощи телеграфа.

Я не знаю, чтб из того, что я скажу ниже, находится в пределах осуществимости и какая часть осуществимого будет издательством выполнена, однако как ни велика сумма в полторы тысячи ежемесячных, их едва хватает на меня и на семь моих иждивенцев. Как бы ни сложились обстоятельства, все равно, двухмесячное существованье двух семей, в денежной оценке, выразится в трех тысячах с лишним, и в долговой ли форме или какой-нибудь другой, может быть в будущем на врачей, но они будут израсходованы. Любопытно, что вся эта масса денег ухлопывается, не считая воспитанья детей, почти на один стол, при таком многолюдстве довольно умеренный.

Основную единицу этих расходов, постоянную и слишком мне известную, имел я в виду, когда, с Вашего согласия, определял цифру ежемесячного фикса по договору. Я не про то говорю, что это — контракт, или Ваше слово должно быть свято, — ах, дорогой мой, ведь с того я и начал свое письмо, что все эти химеры, в длящемся этом сновидении бредовых наших условий, вероятно, неисполнимые, — а я на то напираю, что, назвав Вам свою цифру, я не мечту в ней выразил (о мебели или квартире, библиотеке или машине или путешествии), я не частичным ресурсом заручился (для «маневриро-ванья», так что ли, — на такие, как сейчас вот, случаи), я назвал Вам голую, периодически восстанавливающуюся необходимость, я назвал Вам три четверти своей надобности. Я для того пускаюсь во все эти унизительные признанья, чтобы Вы ко мне отнеслись серьезно.

Когда я вскоре по возвращеньи в Москву усомнился в возможности бесперебойных выплат в регулярные сроки, Вы мне эти сомненья рассеяли, сначала в письме, а потом, в продолженье двух месяцев, и на деле. Большое спасибо. Но теперь опять мне трудно поверить, чтобы выслав обещанную телеграммой тысячу (из январских), издательство спустя две недели было способно перевести мне новых две (остаток январских с февральскими)? А как ни притязательны эти расчеты, только такая сумма соответствует моим потребностям и договором допущенным ожиданьям. Не оставляйте меня в неизвестности, ложным образом переоценивая, быть может, мои ресурсы, вот главная моя просьба.

Сердечно благодарю Вас за милое письмо. Очень буду рад Вам, обязательно заходите. Звоните по телефону 1-71-64. Если меня не будет дома, попросите соседей (это их телефон) вызвать жену, Зинаиду Николаевну, и ей обязательно назовитесь по имени, она с Вами сговорится. Если будет время, ответьте, пожалуйста, и в ответе коснитесь стороны матерьяльно-деловой, прошу Вас. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л, 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, N9 507).

661. К. А. ФЕДИНУ

12 февраля!933, Москва

12. И. 33

Дорогой Константин Александрович!

Крепко целую Вас. Вы должны знать, как я чту и люблю Вас (как самые скромные из Ваших поклонников), и верно догадываетесь, как полон я был тревог о Вашем здоровье и постоянных мыслей о Вас пока Вы были за границей1, — многочисленные общие знакомые по Вашем приезде вероятно надоели Вам моими приветами.

И вот Вы меня предупредили своим драгоценным подарком и памятью2, — и мне ничуть не неловко, к такой совершенной естественности без малейшего принужденья располагает счастливая и свободная преданность Вам.

И знаете, в чем предупредили? Как Вы приехали, я все порывался написать Вам письмо с короткою просьбой: что бы как-нибудь не случилось, что Вы приехали бы в Москву и мы бы не повидались. И в таких допущеньях я не Вас заподазривал и даже не самую свою судьбу, а только техническую сторону моего обихода, по которой такая вещь могла бы легко случиться, что Вы были бы в Москве и это знал весь город, а я бы не знал.

И сейчас я к Вам с той же просьбой. Если бы Вы приехали, подарите меня этим, — позвоните по тел. 1-71-64. Вам ответят соседи по квартире. Если они скажут, что меня нет дома, попросите к телефону мою жену, Зинаиду Николаевну, и скажите ей, кто Вы. У меня предчувствие, что Ваш вызов уже содержится в круге сужденного мне счастья, что не может того случиться, чтобы Ваш голос меня не застал.

Больше ничего не скажу, потому что слишком сильна надежда на живую с Вами встречу, и никакими письмами ее не заменить. Вы большой, редкий и чудесный, вроде того, книгу о ком подарили мне, т. е. из этой немногочисленной и отмирающей семьи; Ваш приезд огромная радость; в добрый час, поздравляю Вас. Будьте здоровы.

Любящий Вас Б. П.

Москва. Волхонка 14, кв. 9. У Вас был адрес неправильный, и бандероль мне доставили лишь сегодня, с большим запозданьем.

Впервые: «Волга», 1990, № 2. — Автограф (собр. Н. К. Фединой).

1С сентября 1931 г. до середины декабря 1932-го Федин лечился от туберкулеза в санаториях Швейцарии и Германии.

2 Вероятно, Федин подарил Пастернаку вышедший летом 3-й том своего собр. соч. — «Трансвааль. Повести и рассказы». М.-Л., 1932.

662. Н. А. КЛЮЕВУ

12 февраля 1933, Москва

12.11.33

Дорогой Николай Алексеевич!

Благодарю Вас за большую радость, доставленную Вашими строками1. Ценю ее и дорожу Вашим приветом. Давно мечтал с Вами познакомиться и теперь при ближайшей возможности воспользуюсь надеждой увидеть Вас, которую Вы мне подали. Позвольте еще раз как-нибудь написать Вам, по миновании оргко-митетской недели2.

Сердечно Вам признательный Б. Пастернак

Впервые: «Быть знаменитым некрасиво...». Пастернаковские чтения. Вып. I. М., 1992. — Рукописная копия (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 209).

1 Н. А. Клюев, недавно переселившийся в Москву, через своего друга, художника А. Н. Яр-Кравченко, который писал портрет Пастернака для книги «Стихотворений в одном томе» и был «им весьма очарован», — заинтересовался Пастернаком и выразил желание познакомиться с ним. «Пастернаку написал, а ответа еще нет...», — сообщал Клюев Кравченко в Ленинград 14 февр. 1933 (там же. С. 193).

2 Речь идет о втором пленуме Оргкомитета Союза писателей, который проходил в середине февраля 1933 г. О встрече с Клюевым свидетельств не сохранилось.

663. Г. Э. СОРОКИНУ

18 февраля 1933, Москва

Дорогой Григорий Эммануилович! Назовем однотомник:

Собрание стихотворений в одном томе

так мне кажется всего проще и лучше.

Как понравилась Вам работа Кравченки?1 Он очень одаренный художник, и одно удовольствие было наблюдать его работу. К сожаленью, я неважно позировал ему, т. е. принял неудачную позу, напряженье которой отозвалось на лице: выраженье лица часто менялось и при легком утомленьи уже становилось неестественным. Короче говоря, если работа не так удачна, то виноват не автор, а модель. Мне интересно, что Вы скажете о голове: самому мне судить трудно, я за ее созданьем следил шаг за шагом и привыкал постепенно, так что свежести и непосредственности в сужденьи о ней у меня нет.

Спасибо Вам и главным образом Елене Михайловне2, что направили Анатолия Никифоровича ко мне: знакомство это доставило мне большую радость.

Сердечный Вам и всем друзьям привет. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Григорий Эммануилович, если это не составит трудности, распорядитесь, пожалуйста, перевести мне деньги как в прошлый месяц.

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507). Датируется по почтовому штемпелю.

1 Портрет Пастернака, выполненный Яр-Кравченко, воспроизведен на фронтисписе «Стихотворений в одном томе».

2 Елена Михайловна Тагер — одна из учредителей «Изд-ва писателей в Ленинграде».

664. А. М. ГОРЬКОМУ

4 марта 1933, Москва

4. III. 33

Дорогой Алексей Максимович!

Ну как решиться мне обеспокоить Вас? А между тем может быть у Вас явится охота и возможность помочь мне. И, говоря правду, одни Вы в силах это сделать. Вот в чем дело.

Сейчас Культпроп ЦК в общем порядке (т. е. не в отношении меня одного) предложил Ленинградскому издательству писателей отказаться от моего собранья. Кроме того, случилась у меня другая неприятность. С 29-го года собирал Гихл (он еще ЗиФом тогда был) мою прозу, и на днях должен был выпустить. Внушили издательству, чтобы предложило само оно мне отказаться от «Охранной грамоты», входящей в сборник, под тем предлогом, что «Охр<анная> гр<амота>» неодобрительно была принята писательской средой и будет не по-товарищески с моей стороны пренебрегать этим неодобреньем1. Но тут ничего, очевидно, не поделать: руководство Гихла само истощило все возможности в склоненьи влиятельных виновников запрещенья в мою пользу, и ничего не добилось, а я и подавно. Да и поздно что-нибудь предпринимать. 9 листов, вместо 14-ти уже отпечатаны и их брошюруют. Больно мне это, главным образом, тем, что «Охр<анная> гр<амота>» показывала бы лицо автора. Из нее всякому было бы видно, что он не обожествляет внешней формы, как таковой, потому что все время говорит о внутренней, что он не оскаруальдствует, что считает он горем, а не достойным подражанья «фрагментаризмом» незаконченную отрывочность всего остального, за вычетом одной «Охр<анной> гр<амоты>», матерьяла сборника. А теперь ко всем этим вредным недоразуменьям будет достаточный повод.

Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович, — в никчемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет.

Еще менее могу я жаловаться на недостаток чьей-нибудь симпатии: доброй воли поддержать меня кругом так незаслуженно много, что не будучи ни большим писателем, ни драматургом, я при помощи одного расположенья издательств довольно сносно держусь в нынешней необходимости моей зарабатывать на два дома при 7-ми иждивенцах, среди невозможных современных трудностей. На это ведь требуются тысячи сейчас, и со стыдом должен признаться, что я их получаю на веру2. Ерунду я эту вываливаю Вам, чтобы поскорее перейти к делу, и Вы меня простите.

Я долго не мог работать, Алексей Максимович, потому что работою считаю прозу и все она у меня не выходила. Как только округлялось начало какое-нибудь задуманной вещи, я в силу ма-терьяльных обстоятельств (не обязательно плачевных, но всегда, все же, — реальных) его печатал. Вот отчего все обрывки какие-то у меня, и не на что оглянуться. Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая, как крышка бы на ящик, легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы.

И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее, и очень хочется работать3. На ближайший месяц мне и незачем ее оставлять, — пока что, можно. Но мне долго придется писать ее, не в смысле вынашиванья или работы над стилем, а в отношеньи самой фабулы; она очень разбросанная и развивается по мере самого исполненья; дополненья приходится все время вносить промеж сказанного, они все время возвращают назад, а не прирастают к концу записанного, замысел уясняется (пока для меня самого) не в одну длину, но как-то идет в распор, поперечными складками.

Короче говоря, по счастью (для вещи), ее нельзя публиковать частями, пока она не будет вся написана, а писать ее придется не меньше года. И еще одно обстоятельство, того хуже: по исполнены! ее (а не до того) придется поездить по местам (или участкам жизни, что ли), в нее вовлеченным.

Словом, это дело долгое. И большим, уже сказавшимся для меня счастьем было то, что начал я далекую эту затею в нетронутой еще иллюзии того, что собранье мое будет выпускаться, — оно меня на этот срок или хотя бы на полсрока обеспечивало.

Алексей Максимович, нельзя ли будет сделать для меня исключенья, из тех, что ли соображений, что разнотомного собранья у меня еще не было, что (формально) первое оно у меня? Говорю — формально, потому что арифметически, оно, конечно, собирается частью из уже ранее выпущенного, частью из переиздаваемого.

Однако ряду товарищей, то же обстоятельство не помешало выходить собраньями — я не знаю, кому точно, но, например, Асееву и Жарову — кажется мне, но может быть я ошибаюсь. Да и не в том дело.

Алексей Максимович, я намеренно ограничиваюсь лишь просьбой этой4. Я хотел Вас очень видеть истекшею весной и здорово надоедал П<етру> П<етровичу>5, но ничего не вышло.

От души желаю Вам всего лучшего. Ваш Б. Пастернак

Москва 19 Волхонка 14 кв. 9.

Впервые: ИОЛЯ. Т. 45,1986, № 3. — Автограф (Архив Горького, КГ-П 56. 12. 16).

10 мотивах изъятия «Охранной грамоты» из переиздания см. письмо №667.

2 Договор на собр. соч. обуславливал ежемесячные гонорарные выплаты.

3 Продолжение романа, первой частью которого была «Повесть», 1929.

4 Горький отвечал, что займется этим после своего возвращения из Италии в СССР в мае 1933 г. Пастернак письмом 8 апр. 1933 благодарил его: «Дорогой Алексей Максимович. Горячо благодарю Вас за ответ. Запаздываю благодарностью, потому что был нездоров. Разумеется, терпит мое дело до Вашего приезда, да и тогда никакого спеху с ним не будет. Побеспокоил Вас под впечатлением нескольких неудач, и

пожалел об этом, да поздно. Еще и еще раз простите и будьте здоровы. Ото всего сердца желаю Вам всего лучшего. Ваш Б. Пастернак» (там же. С. 283).

5 Переписка с П. П. Крючковым летом 1931 г. касалась предложенного Горьким и несостоявшегося издания немецкого перевода «Охранной грамоты» в Kieppenheuer Verlag.

665. РОДИТЕЛЯМ

5 марта 1933, Москва

5. III. 33

Дорогие мои папа и мама!

Вы простите, что так давно не писал вам, как-то не выходило. Не знаю как исполнить мне твою просьбу насчет Анатолия Васильевича1, — страшно трудно, и душа не лежит. Перенесший удар и полуприговоренный к смерти человек, состарившийся, изменившийся, произносит публичную речь о драматургии перед писателями, речь полную ненависти и угроз, кровожадно-революционную, это почти что у края могилы. Я слушал с ужасом и непередаваемой жалостью к нему. Трудно мне будет к нему, да и болен он, говорят, опять. Ты, может быть, Шуру попросишь.

Рано радовались вы собранью моему: его запретили2. Кроме того, запретили на днях 2-е изданье «Охранной грамоты», посвященной памяти Рильке. Хотя все эти неприятности ничтожны по сравненью с тем, как тут люди живут, я все же напишу Горькому, как ни тяжело мне и это3.

Не в бровь, а в глаз попали слова в сп. пал. по нашему адресу. Горькая правда4.

Как я часто тебе писал, иногда кажется мне, что я с ума сошел или тяжелый сон вижу. Паспортизация и меня коснется: она обеих женщин столкнет, доселе бывших вместе на моем иждиве-ньи и которых я одинаково поддерживаю5. Кроме того, у Зины тетка живет, которую наверное выселят и которой некуда деваться. У Гаррика уже началась путаница. В страхе также соседи — Фришманы и Прасковья Петровна. С хлебными карточками много мучительных было передряг. А с писателями носятся. Что же делают простые люди?

Сейчас, верно, станет невозможно переписываться: подозрительность, верно, возрастет с обеих сторон. Вот почему я пишу открытее, чем когда-либо и прямо на тему, чтобы в будущем, если это письмо дойдет до вас и со мной ничего не случится, ограничиться одними обоюдосторонними осведомленьями о здоровье.

Всей душой, как немногие, я желаю успеха любой попытке устроить человечество, наконец, по-человечески, и прежде всего, — так как все перенесенные у нас испытанья делались во имя этой цели, то — нашей. И одно и то же, как это ни покажется странным тебе, угнетает меня и у нас, и в вашем порядке. То, что это движенье не христианское, а националистическое, т. е. у него та же опасность скатиться к бестиализму факта, тот же отрыв от вековой и милостивой традиции, дышавшей превращеньями и пред-восхищеньями, а не одними констатациями слепого аффекта6. Это движенья парные, одного уровня, одно вызвано другим, и тем это все грустнее. Это правое и левое крылья одной матерьялистичес-кой ночи.

На это письмо ответь мне извещеньем о его получке и о вашем здоровье, и также сообщи, продолжать ли писать вам по-русски, или лучше по-немецки. В случае неудобства переписки по-прежнему, я для практики стал бы писать вам скверным ломаным французским языком.

Читали ли Вы биографию Вагнера Gui de Pourtales'a. Прочтите.

У меня много планов, страшно хочется работать, но все это не по дороге: — идеализм.

Крепко вас целую. Ваш Боря

Спасибо за вырезку. Всегда доходят.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Разговор идет о пересылке монографии А. В. Луначарскому. «На днях приедет домой Анатолий Васильевич, с которым я тут часто в этот раз встречался. <...> Я ему показывал (и давал на дом) мою монографию <...> Анат. Вас. нашел — что вполне желательно и возможно, чтобы известное количество экземпляров (я думал бы хоть 100 штук) должно бы быть приобретено Нарком-просом», — писал Л. О. Пастернак сыну И янв. 1933 (там же. С. 59-60).

2 Л. О. Пастернак узнал о готовящемся собр. соч. от Луначарского и его жены. «Между прочим: по их словам — предпринимается издание в пяти томах (?!) собрания твоих сочинений. <...> Я этому искренне посмеялся: "Какие пять томов?! — удивился я, — у него ведь несколько всего необъемистых книжек, мне известных?!"» (там же).

3 Письмо Горькому было начато накануне, 4 марта 1933, но, видимо еще не дописано.

4 Зашифрованную сокращениями ссылку на высказывание какого-то политика прочесть не удалось.

5 Особым указом была введена обязательная паспортизация населения, отказ в выдаче паспорта означал лишение прав и высылку из столиц.

6 В понимании Пастернака бестиализм факта, то есть ограничения, накладываемые данностью рождения (фашизм) или принадлежности к классу (коммунизм), противоречит христианской широте понимания жизни как духовного возрастания, превращения и предвосхищения нового качества. Пастернак писал об этом в письме № 654, отрицая поклонение факту, не признающему рост и преодоление данности.

666. Дж. РИВИ

6 марта 1933, Москва

6. III. 33

Глубокоуважаемый Георгий Данилович.

Ответ на Ваше последнее письмо (от 20 янв. 33) очень долго пролежал у меня, и теперь не помню, отправил ли я его1. Сейчас убирал на столе у себя и не нашел среди бумаг. Может быть письмо отправлено, а может быть и пропало. На всякий случай повторю его содержанье. Я благодарил Вас за переводы и посвященье и сообщал Вам, что в начале зимы отправил Вам в Лондон (12, Philbeach Gardens, Kensington Ldn, S.W.5) большое письмо и экземпляр «Охранной грамоты»2, с трудом добытый, и что тем более жаль, если это все затерялось, что другого экземпляра этой книги мне не достать. Готовилось второе изданье этой книги, но на днях ее запретили. Далее я советовал Вам обратиться к И. Г. Эренбургу. Если Вы его увидите, очень кланяйтесь ему. Великолепные фельетоны он в Известиях публикует, молодец3. —

Очень жалко, что все так получилось. В последнее время я взялся за новую работу и очень занят, но не делом, а отвлеченья-ми, страшно трудная у нас жизнь, и все затрудняется.

Напишите мне, пожалуйста, между прочим и то, отправил ли я Вам ответ. Любопытно мне, — совершенно не помню.

Ваш Б. Пастернак

Москва 19, Волхонка 14, кв. 9.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (Houghton Library, Harvard University).

1 Ответ на письмо Риви 20 янв. 1933 не сохранился, возможно, что Пастернак его не отправил.

2 Большое письмо, сопровождающее посылку «Охранной грамоты», было послано 20 нояб. 1932.

3 Возможно, имеются в виду статьи Эренбурга «Мысль в отставке» и «Мораль их морали» («Известия», 16 дек. 1932 и 2 марта 1933).

667. Г. Э. СОРОКИНУ

14 марта 1933, Москва

14. III. 33

Дорогой Григорий Эммануилович.

В придачу к неприятности с собраньем у меня тут случилась новая: из Гихловского сборника предложили мне изъять «Охранную грамоту» под тем предлогом, что вещь эта встретила у писателей резкое осужденье1 и было бы неуваженьем к товарищеской среде выпускать ее сызнова, — в такой форме делаются сейчас запрещены!. Руководство Гихла было на моей стороне, но ничего не могло поделать, и теперь проза выйдет без Охр<анной> Гр<амоты>2.

В предотвращенье каких-нибудь новых и еще неведомых неожиданностей я написал Горькому. Я не знаю, найдет ли он нужным ответить мне или что-нибудь сделать3, но я написал ему и про казус с собраньем, во всех подробностях, т. е. как про случай из целого ряда, а не единичный. Притязательную эту попытку я сделал ради поглотившей меня в последние дни работы, от которой, может быть, будет когда-нибудь какой-нибудь прок, если ей отдаться целиком и главное, надолго. Когда б не это, желанье отстоять собранье было бы некрасивейшей претензией, от которой, вероятно, совесть бы меня удержала.

Но А<лексей> М<аксимович>, наверное, не ответит мне: когда он тут был, я как-то не попадал на его собранья.

Что слышно об однотомнике, скоро ли он выйдет?4 Всего Вам наилучшего. Если будет желанье черкнуть, сообщите о Федине и об Ахматовой. Как и что они? Всем друзьям самый сердечный привет.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1 В «Литературной газете» (18 дек. 1931) под общей рубрикой «Искусство социализма и буржуазное реставраторство» «Охранная грамота» вместе с романами «Сумасшедший корабль» О. Форш и «Художник неизвестен» В. Каверина была осуждена как «попытка буржуазного реставраторства в искусстве, апологетика буржуазного искусства». В напечатанной там же под этой рубрикой статье А. К. Тарасенкова «Охранная грамота идеализма» творческий метод Пастернака определялся как субъективно-идеалистический, были осуждены художественные симпатии автора (Скрябин, Рильке, Андрей Белый, Блок) и «косность непреодоленной буржуазной интеллигентности». В целом «Охранная грамота» была истолкована как «уход в идеалистическое созерцательство, аполитизм, сопряженный в своем объективном развитии с уходом от пролетариата в стан его прямых врагов». См. также статью Р. Миллер-Будницкой «О „философии искусства,, Б. Пастернака и Р. М. Рильке» («Звезда», 1932, № 5).

2 Имеется в виду сб. «Воздушные пути», ГИХЛ, 1933.

3 См. коммент. к письму № 664.

4 Сб. «Стихотворения в одном томе» был подписан к печати 15 янв.

1933.

668. Г. Э. СОРОКИНУ

21 апреля 1933, Москва

21. IV. 33

Дорогой Григорий Эммануилович!

Кравченко передал мне привет от Вас и Ваши извиненья, что не ответили мне. Если у Вас недосуг, не торопитесь писать мне, — подожду. Деньги получил, — большое спасибо. Но опять, как уже как-то раз при большой задержке, поставлен в угнетающую меня необходимость просить новых. Ну да теперь не Вас придется об этом беспокоить,

и как жаль, что не Вас. С величайшим сожаленьем узнал о перемене в руководстве издательством1. Как ужасно это всегда у нас: чуть что-нибудь наладится и — хлоп: точно успешность дела кому глаза мозолит.

Нового заведующего я не знаю и почему-то опасаюсь, что новизны ради и в целях контраста он все плюсы в обыкновеньях издательства сменит на минусы, и в частностях, касающихся меня, найдет, что я был избалован чрезмерным дружелюбьем, которое для выпуклости надо перебить недружелюбьем. Впрочем, не зная его, ничего не могу сказать. Но Вы ему что-нибудь обо мне на-шепните.

К Вам же у меня просьба. Мне бы очень хотелось Блока иметь, а также получить оба томика Петрова-Водкина2. Не будет ли какой оказии? Стенич3 сюда часто ездит и нам очень нравится.

Большой радостью была для меня книжка Спасского4. Просто в глаза бросается, до чего поэтически-содержательная это поэзия: серьезная, существенная. Я у него в большом долгу. Хотелось ему написать, но я так хвалил всем книжку, что теперь ума не приложу, кому из своих гостей позволил взять ее на про-чтенье. А другое поздравленье (с прибавленьем) хотел соединить с первым. Воображаю, что он обо мне думает! Все это Вам не для передачи, и даже с просьбой не передавать, — я ему сам напишу5.

В середине зимы немного работал, но работы ни к каким положительным результатам не привел. Бросил ее с месяц. Тут со знакомыми всякие напасти: мужей судят и ссылают, а женам с детьми паспортов не выдают: вот и хлопочу6.

Дорогой Григорий Эммануилович, спасибо Вам большое за

все.

Пусть предупредят меня из издательства, если предвидятся какие-нибудь измененья в моих с ним взаимоотношеньях и их порядке. Зое Александровне7 привет. Очень бы она или Вы меня обязали, если бы сообщили, с кем мне сноситься по деловым вопросам.

Текст «Повести» на днях, теперь уже самых ближайших, пришлю8.

Крепко жму Вашу руку.

Преданный Вам Б. Пастернак

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1 Никакой «перемены в руководстве» не произошло, Сорокин по-прежнему оставался на той же должности зав. худож. редакцией.

2 К весне 1933 г. в «Изд-ве писателей в Ленинграде» вышли первые четыре тома (стихотворения) и седьмой (переводы) собр. соч. Блока, подготовленные Р. В. Ивановым-Разумником. Также были изданы две автобиографические книги К. С. Петрова-Водкина: «Хлыновск. Моя повесть» (1930) и «Пространство Эвклида. Моя повесть. Ч. 2.» (1932).

3 Валентин Осипович Стенин.

4 Речь идет о книге стихов Сергея Спасского «Да» («Изд-во писателей в Ленинграде», 1933).

5 См. письмо № 670.

6 Речь идет о двоюродном брате Г. Г. Нейгауза Викторе Феликсовиче Анастасьеве (Блуменфельде), который был арестован, а его жене Анне Робертовне Грейгер с дочерью было отказано в получении паспорта и угрожала высылка из Москвы. Пастернак у Я. С. Агранова добился для них отсрочки.

7 З. А. Никитина.

8 В письме 19 янв. 1933 Пастернак обещал Сорокину скорейшую высылку текста «Повести» для иллюстрированного издания.

669. С. Н. ДУРЫЛИНУ

25 апреля 1933, Москва

Дорогой мой Сережа!

Простите, простите, простите! Какой свиньей я себя выказал! Вам надо было ответить немедленно, — и сейчас полтора тому месяца! Правда, Веру Клавдиевну1 я тогда попросил Вас успокоить. Постоянные заботы (несчастье со знакомыми) отвлекли меня тогда и до сего дня это продолжалось2. В письме своем о Вашей работе, упомянул в еще одну лишнюю Вам заслугу, о Вашем совершенном неведении о шагах моих, о Вашей неслыханной скромности и нетребовательности, о самочинности неуклюжей моей попытки быть Вам в помощь3.

На днях зайду в «Литературное наследие» и тогда Вам напишу4. Когда Горький приедет, постараюсь повидаться с ним. И к Вам приеду, вот увидите. Простите же меня.

Ваш Боря

Будьте здоровы.

Впервые. — Автограф (Музей С. Н. Дурылина в Болшеве; альбом). Датируется по стихотворению В. К. Звягинцевой С. Н. Дурылину. 1 В. К. Звягинцеву.

2 См. письмо Г. Э. Сорокину № 668 и коммент. 6 к нему.

3 Письмо Пастернака неизвестно.

4 С. Н. Дурылин писал тогда большую работу «Русские писатели у Гёте в Веймаре». Вероятно, он посылал ее Пастернаку и в несохранившемся письме Пастернак сообщал о своем желании помочь с ее изданием. Была опубликована в ЛН (М, 1932. Т. 4-6).

670. С. Д. и С. Г. СПАССКИМ 30 апреля 1933, Москва

30. IV. 33

Не знаю, передавали ли Вам в свое время наши приветы и поздравления, дорогие Сергей Дмитриевич и Софья Гитманов-на, но если даже и верить Стеничу, что он это сделал, то все же удивительно и как-то грустно, что я так много думал о Вас обоих и так часто говорил с другими о книжке Сергея Дмитриевича1, Вас же самих оставил без знака об этих разговорах: Вы вправе попенять мне и были вправе даже разочароваться во мне как в друге, — мне нечем отстранить этот упрек. Я готов принять его, потому что мне есть куда его поместить; среди невеселого запустенья этого года места для таких ощущений много — нашлось бы и для него.

А лучше, если бы вместо всего этого Вы бы меня простили.

Так или иначе двойное мое поздравление2 обращено к Вам обоим, и Софья Гитмановна, я и с книгою поздравляю Вас.

Самым радостным, Сергей Дмитриевич, будет для Вас и больше всего Вам скажет мое первое впечатленье, когда я только вскрыл посылку и пробежал содержимое почти невнимательными глазами.

Как ни мало читаю я современных поэтов, все же печатает стихи «Лит. газета», печатают и другие журналы, есть имена и книги, из которых никого я не назову прямее, потому что, тяготясь неопределенно-альтруистическим к ним отношеньем, хотел бы найти облегченье в определенно дурном, но не нахожу даже и его, так все это — «на уровне», так безнадежно; не буду вдаваться в подробности, хочу сказать: в фоне недостатка не имеется, есть фон. На него-то и легли Ваши страницы.

Они выделились на нем значимостью каждого Вашего слова, т. е. тем авторитетом удачи, или зрелого развития, без которого поэзия недвусмысленно-существенная невозможна. Лишь на какой-то высоте может она себе позволить последнюю и широчайшую метафору самоуподобленья простому человеку, пользующемуся языком как естественным средством общенья. Только на этой вершине удается ей этот распространеннейший до последней воздушности (и уже — драматический) образ,

который она оставляет не обнесенным рамою частного метафоризма, потому что он должен сдерживаться (если не распадается) метафоризмом энергии, его пропитавшей. Тогда только и значат все слова и самая серость их точного смысла становится музыкой.

Это — предел. Он мыслим только в идее. С реальным достиженьем его никто никого никогда не поздравлял.

Но направленье к этой высоте Вы избрали своим тоном, задачею, жанром — своим делом. И это очень крупно и редкостно. И если лучше всех страниц книги стр. 32, 33 и 533, то это очень хорошо, так и должно быть: это естественно. Это естественно и в Вашем случае, приближенном к пределу, это значит и музыкально (музыкой значенья) и образно, потому что естественно. Это естественно, что как ни живы лес вокруг строительства (стр. 14), ощущенье тишины и двигательной отдачи (стр. 16 и 17), как ни прекрасна страница 21 (и 22), вся, с начала до конца4, и пр. и пр. — поэзия скучнее говорит о трудностях ее жизни, чем о природе. И нужно еще сказать спасибо, что она это у Вас делает так просто и достойно.

Но все это — она, поэзия. И это главное.

Слышал однажды на вечере Павла Васильева5. Большое дарованье с несомненно большим будущим.

Прочел превосходную книгу Шторма «Труды и дни Михаила Ломоносова»6.

А у меня ничего не выходит, и остается только завидовать молодым и счастливейшим. Вам в том числе.

Как Ваша работа? Напишите, не считаясь с неслыханным моим промедленьем. Как здоровье С<офьи> Г<итмановны> и дочери? Обнимаю Вас. Ваш Б. П.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, №9.- Автограф (собр. В. С. Спасской).

1 Книга стихов С. Спасского «Да» (Л., 1933). В сб. два стих, посвящены Б. Пастернаку: «Поэту» («Подвластен улиц чертежу...») и «Дорогой мой, вот проходят...».

2 Двойное поздравление — поздравление также с рождением дочери Вероники.

3 Имеются в виду стихи: «День обнесли темных сосен перила...», «Озеро длинное блюдо. Платок...», «В зной, будто в спирт, погружены долины...».

4 Отмечены стихи: «Когда возникает завод...», «Баллада об электростанции», «Говорит безработный».

5 Вечер Павла Васильева проходил в редакции «Нового мира» 3 апр. 1933 г.; Пастернак выступал на нем в защиту Васильева, от которого другие участники обсуждения требовали «коренной перестройки». Пастернак спорил с этим положением: «Если писателю необходимо органически переделать себя, то горе нашей поэзии, горе нашей литературе», — и добавлял, «что самое главное у поэта — это его стержень, что крестьянский поэт будет сам перестраиваться, самотеком» («Новый мир», 1934, № 6. С. 218-225). В 1956 г. Пастернак писал о Васильеве: «У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы» (т. V наст, собр.: «В начале тридцатых годов...»).

6 Георгий Шторм. «Труды и дни Михаила Ломоносова. Обозрение в 9-ти главах в иллюминациях». М., 1932.

671. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

8-14 мая 1933, Москва

8.V.33

Дорогой папа,

с нетерпением жду закрытого письма, которое ты мне обещал. Дорогие мои, следуйте своим собственным намерениям, не приспосабливайтесь к нашим опасениям: пишите открыто, в соответствии со своими чувствами о настроениях, планах, делах,

здоровье, также и о Фединых. Занимает ли он по-прежнему свою должность?1 Тетя Ася обеспокоена вашим молчанием, я ее успокою за вас. Желание видеть вас у себя соединено с надеждой, что ваше присутствие сможет устроить мои семейные дела и примирить противоположные стороны. Ты конечно догадываешься о великолепном приеме (более утомительном, чем приятном), который тебе устроит правительство. Во всех случаях прежде, чем принимать какое-нибудь решение, учтите возрастающие трудности здешней жизни, отсутствие привычки к которым заставит вас вдвойне почувствовать (их странность)2.

14. V. Это письмо пролежало неделю, а сейчас я получил то закрытое твое письмо, которого ждал. И так как ты пишешь по-русски, то и тебе отвечу так же. Да, дела!

Если бы на лето вы приехали сюда, то, разумеется, ни один из тех вопросов, которые у тебя возникают по отношенью к Феде3, относительно меня бы не мог возникнуть. Не только потому, что я сын, а потому, что хотя в сумме у меня и семь иждивенцев, меня это никогда не тяготит морально. Тем естественнее и радостнее было бы, если бы мне пришлось заботиться о вас. И, разумеется, если у тебя есть колебанья, то они, вероятно, не вызваны неуверенностью во мне, а скорее концом французской части письма4.

Легко представляю себе, как тебя должно тянуть на портретную выставку в Париж5. Меня давно, и это без всякой дипломатии, стала притягивать сверходаренная человечность мужественной французской культуры, шествующей как воздух и свет через все неудобства настоящей, неурезанной действительности, и мне очень жаль, что я не только не знаю французского языка так, как хотел бы, а почти и вовсе его не знаю. Да, глупо это все до чрезвычайности, и может быть, лишь приближенье к какой-то равнодействующей все потом поправит.

На лето мы остаемся в городе, хотя сейчас гораздо интереснее, как устроитесь на лето именно вы. Я представляю себе, как все это циклопически трудно.

Большое тебе спасибо за письмо. Прости, что пишу второпях и неполно. В дальнейшем хотел бы писать, руководствуясь вашими указаньями, про то, что вам будет интересно и о чем вы меня спросите.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1Ф. К. Пастернак был одним из директоров Баварского банка.

2 Начало письма до этого места написано по-французски и дается в переводе. Французский язык, к которому прибегает Пастернак, он объясняет в письме Фрейденбергам 1 июня 1933: «Переписываться, во всяком случае, стало труднее. И так противно было по-немецки пробовать писать, что обратился к французскому языку, хотя знаю его плохо» (Переписка с О. Фрейденберг. С. 148). С первых месяцев после прихода нацистов к власти и официальных заявлений о дискриминации евреев Пастернаки подымают вопрос о необходимости возвращения в Россию.

3 Пастернак сознательно говорит о короткой поездке родителей в Москву на лето. Чувство неудобства по отношению к поддержке со стороны Ф. К. Пастернака объяснялось, кроме всего, тем, что на нем лежала забота о своих собственных братьях и сестрах в Австрии.

4 То есть вопросами о трудности здешней жизни.

5 Пастернак переводит в реальность «дипломатический» намек отца о его «тяге» в Париж.

672. Г. Э. СОРОКИНУ

17 мая 1933, Москва

17.V.33

Дорогой Григорий Эммануилович!

Горячо благодарю Вас за большое письмо и столь же горячо — за однотомник1.

Ну, заслуживаю ли я всего этого: внешнего вида, сорта бумаги, типографской красоты и опрятности! И кто будет покупать эту, далеко недостаточно изнутри (глубиной содержанья) оправданную драгоценность?2 Замечательно воспроизведен портрет. А главное. Так как лучшим, что я за всю свою жизнь сделал, была «Сестра моя жизнь», то путем какой-то идиосинкразии у меня общее ощущенье ее духа (ну наподобье почерка, что ли) связалось с типографскими особенностями ее вида (особенно во 2-м издании «Двух книг»)3. И характер этот (шрифт, продолговатый формат и пр.) соблюден так удивительно в однотомнике, что у меня такое чувство, будто я собран вокруг лучшего и счастливейшего своего. Или скажу еще прямее: существо «Сестры моей жизни» как-то просто-таки колдовски выражал внешний вид ее оглавленья: у оглавленья этого какой-то живой образ был, ближе неопределимый, бахчисарайской какой-то решетки со струнными шпалерами для вьющихся побегов — или еще более расплывчатого какого-то вздора, частого, сетчатого, таинственного и безмолвного, с большим летним светом в глубине4. — И вот форма такого оглавленья получилась у всего однотомника. Весь я, все множество слабейших и скучнейших вещей пропущено сквозь оглавленье Сестры моей жизни. Для превращенья этого сам я никаких оснований не подал, оно тоже — незаслуженная типографская случайность, но — счастливая, жизненосная и чудесная.

Да, — но, повторяю, — кто будет это покупать? Особенно по выходе избранных в Федерации?5 Теперь лягу и я в книжные залежи, дождался, и поделом, своего часа. Книга издана замечательно, с неподобающей мне торжественностью, но это конец мой, если не навсегда, то надолго.

И действительно. Нельзя ведь в самом деле целый год ввосьмером жить одними комбинациями переизданий, при такой бедности багажа, подлежащего переизданью.

А мне опять деньги нужны! 6-го получил 950 р., сердечно благодарю Вас. И опять их нет. Известите меня, прошу Вас проникновенно, — в каком состоянии наши расчеты? Сообщите мне это так же ясно и исчерпывающе, как сделали это, когда я был у Вас в Ленинграде, помните? Вы затребовали тогда несколько справок, взглянули и сказали. Очень, очень прошу Вас. И денег, если можно.

И нужна ли Вам «Повесть»? Теперь я могу ее выслать. Вышло ли что-нибудь с Фаворским или он отказался?6 Глупо, конечно, спрашивать, живя тут в Москве, Вас в Ленинграде, но — такова сутолока обихода.

Но Вы — удивительный и слов нет Вам в похвалу и благодарность. У меня было готово письмо к Вам, и запечатано было, когда пришло Ваше и лишило мое смысла. И мое кончалось так: — и Державина, пожалуйста, очень, очень прошу Вас!7 И вот Вы сами о нем вспомнили и пообещали! Еще раз от души благодарю Вас.

Ужасно хочется пожить еще и поработать. И только на днях взялся за брошенное зимой8. И так на волоске все, если бы Вы знали! Спугнут, оторвут от дела, и кончено, на месяцы. Ведь все это гибель (однотомник, положенье дел и пр.), а? Крепко, крепко жму Вашу руку. Преданный Вам Б. И

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1 «Стихотворения в одном томе», вышедшие в свет в мае 1933 г.

2 Цена книги — 14 рублей. В письме 2 июня 1933 Пастернак снова волнуется дороговизной книги: «Если будет время, черкните <...>, когда у Вас будут данные: велики ли признаки нерасходимости очень дорогого однотомника, судьба которого, верно, составится из: 1) высокой стоимости книги, 2) факта появленья нескольких моих книг в конце прошлого года и 3) того, наконец, факта, что и книги, всякие книги, начали покупать умереннее, чем было раньше, в силу общего безденежья. На дороговизну однотомника жалуются, но это тем менее должно звучать упреком для Вас, что

скорее я готов, наоборот, к Вашему с этой стороны упреку, так как знаю, какою тяжестью должен был лечь мой гонорар на калькуляцию изданья, и полон страха, не делаю ли им прорыва Вам и издательству» (там же. С. 219).

3 Борис Пастернак. Две книги. Стихи. Изд. 2-е. М.-Л., ГИЗ, 1930.

4 Речь идет о виде, который имеет оглавление книги, композиция которой представляет собой чередование циклов, больших и малых, перебиваемых более крупными отделами, первонач. называвшихся главами.

5 Борис Пастернак. Избранные стихи. М, «Федерация», 1933. Цена книги — 6 рублей.

6 Имеется в виду отдельное издание «Повести», намеченное в «Изд-ве писателей в Ленинграде». Иллюстрации к нему было предложено делать В. А Фаворскому (см. письмо № 659). Книгу иллюстрировал В. Конашевич.

7 Это был первый выпуск большой серии «Библиотеки поэта», предварявшийся статьей Горького «О "Библиотеке поэта"». Гавриил Державин. Стихотворения. Редакция и примеч. Гр. Гуковского. Вступит, статья

И. А. Виноградова. «Изд-во писателей в Ленинграде», 1933. В письме 2 июня Пастернак пишет в ответ на присылку книги: «Благодарю Вас также за Державина. Какое замечательное, нет, — какое гениальное изданье! Ведь Вас и издательство премировать надо! А над Вами начальников назначают» (там же. С. 219). Пастернак входил в редколлегию «Библиотеки поэта», в архиве зав. ред. Сорокина сохранилось письмо Пастернака с предложением, чтобы литературовед Иосиф Романович Эйгес сделал «для библиотеки Жуковского (редакцию, а также и статью и все прочее)... Он в разное время работал над Жуковским, печатал работы и читал доклады, прямые и косвенные на свою тему (Блок и Жуковский, влияния Жуковского в русской поэзии и др.). Его работы одобряли Сакулин, Вяч. Иванов и М. Гершензон, их, кажется, знает Борис Михайлович Эйхенбаум». Предложение Пастернака не было принято. Жуковский в «Библиотеке поэта» был издан под ред., со вступ. статьей и примеч. Ц. С. Вольпе (в 1936 и 1939— 1940 гг.). В 1940 г. Пастернак запрашивал издательство о книгах этой серии: «Мне хотелось бы иметь лучшее из "Библиотеки поэта", а сроки ее выхода я пропустил. Как это теперь сделать? Не помогло ли бы издательство мне каким-нибудь советом? Нет ли также списка выпущенного в обеих сериях? Б. Пастернак 4. XI. 40 г.» (РНБ, ф. 552, ед. хр. 94).

8 Имеется в виду продолжение работы над прозой, начатой в «Повести».

673. РОДИТЕЛЯМ

4—6 августа 1933, Москва

4. VIII. 33

Дорогая мама, из твоего нынешнего письма к Елизавете Михайловне1 заключаю я, что недавнее большое мое письмо ко всем вам, очевидно, не дошло.

Жалко. Из него, между прочим, могли бы вы усмотреть, какою все затрудняющеюся задачей становится год от году переписка с западом, не по внешним каким-нибудь препятствиям, а по самым непосредственным причинам, невинным.

Растут дети, до десятилетий разрастается время разлуки, растут темы, самые элементы которых вам неизвестны, происходят перемены с лицами и обстоятельствами, оставшимися вам незнакомыми и до их перемен.

В пропавшем письме я, между прочим, рассказал кое-что о Женёнке. И о Жене большой. Письма жалко еще и потому, что в нем меньше было хандры, чем обыкновенно.

Вот и теперь передо мною большое, неделю назад начатое вам письмо. Не оканчивая его, посылаю вам взамен его это сокращенное.

Тридцатого я был у Женички в санатории2. Там только раз в месяц разрешены свиданья с родителями, из соображений педагогических. В день моего приезда посещенья не было, это было против правил, и я хотел ограничиться разговором с педагогич-кой, но Женя, которого я издали узнал в лесу и уже долго наблюдал, вдруг увидел меня. Таким образом мы увиделись.

Но об этом после. Он все время очень скучал по Жене. По сообщенью одной ее знакомой, отдавшей свою дочь в тот же санаторий, противозаконно навестившей ее в середине июля и при этом видевшей Женю, тоска эта достигала таких тревожных форм, что сама эта знакомая потребовала, чтобы Женя к нему съездила, что та и сделала на следующий день.

Но встретившая ее педагогичка упросила ее не показываться мальчику, ввиду неожиданного перелома, наметившегося у него, и нежелательности нарушать это успокоенье при самом возник-новеньи.

Итак я видел Женичку, но провел с ним очень немного времени, полтора только часа, так как это было не в разрешенный день. Таковой будет послезавтра, шестого, когда к нему Женя и собирается.

Мне всегда нож в сердце его веснушки. Откуда они у него такие и зачем все это так? Тут даже какое-то запредельное, до конца невысказываемое «за что», которое меня всегда терзает до утери реальности, до душевного, если можно так сказать, головокруже-нья. Ну, допустим, велик мой грех — ну перед Женей, скажем, или перед Богом или судьбой что ли (ближе я не мог бы сказать, какой именно, но не теперешний, не грех разрыва, а прежний, — неглу-бокости, необязательности нашего брака). Но тогда ведь я должен был бы все это искупать.

За что же это ребенку? А если бы вы знали, как он тонок и восприимчив, как (внутренне) он лучше многих! Но несомненно, это забрызганное крапинками личико, забрызганное до того, что этой сеткою ослабляется выразительность его глаз, столь глубоко говорящих, несомненно, это уже влияет и в будущем повлияет еще больше на его судьбу. Несомненно, что та же тусклая паутина, которая лежит на его хорошо вылепленном облике, опутывает уже и его отношенья с детьми и положенье в школе и пр. и пр.

Все это, может быть, мои предположены!, тревожные, ревниво-больные. Мне они кажутся объективными. Но любые движенья, диктовавшиеся мне кругом подобных ощущений (сведенья ли веснушек, более ли мужественного и грубого и не такого изолированного от детей воспитанья и пр.), всегда воспринимались Женей как черты мнительности, почему-то оскорблявшие ее и взрывавшие.

Несогласия по этим пунктам, делавшие совершенно бесплодным мое участие в судьбе Женечка и его воспитаньи отчасти, ведь и предрешили наш разрыв. (Но и тут я, может быть, ошибаюсь, может быть, я ограничивался паникерством и меланхолическими замечаньями без положительных указаний и реальных советов, что всегда раздражает; может быть, Женя была права, права, может быть, и сейчас, смотря на все легко и оптимистически.)

Но мне кажется, что нигде с детьми у него нет настоящего ладу и, не к его выгоде. И тут дело не в вещах, на которые у вас обращают так много вниманья, потому что мальчиков и девочек его крови больше, чем достаточно, везде и в школе и в той же санатории, а в противоречивости его собственных качеств, усиленных и усложненных судьбой, примером и обстановкой, т. е. вос-питаньем. И опять-таки тут критиковать ничего не приходится: Женя большая матерьял не гнущийся. Стало быть, что-нибудь тут изменить можно было бы, если бы Женя был со мной. Я не буду перечислять преимуществ, которые принесло бы это ему, потому что вся их сумма, вероятно, все-таки отступила бы перед тем фактом, что плохая мать все же лучше хорошей мачехи.

Итак, я видел его, и не показывая ему этого, внутренне плакал. Это несомненно кусочек чего-то страшно моего; дико и непередаваемо дорогой мне; и в нем и вокруг него все не по-моему, не по-моему!

Так я от него и возвращался. И мысленно к вам обращаясь по дороге, я спрашивал себя, откуда я взял все то иллюзорно хорошее, чем я наполнил свое последнее письмо к вам, теперь, по-видимому, утраченное? Откуда я все это взял и как оно мне приснилось? И, разумеется, в этом состояньи я докатился до последних крайностей ипохондрии, и в особенности же потому, что при мне не было Зины с ее оздоровляющим влияньем (она в тот день дежурила в детской колонии на даче, где вместе с ее мальчиками находится также и Федя). И — кстати. Он себя чувствует очень хорошо и поправился, хотя первое время также не в пример прочим тосковал по дому, как и Женичка. То же, что ты, мама, подчеркиваешь, как никто вам не пишет, несправедливо в тоне своем. Они очень заняты, да и написать по-настоящему пришлось бы писать томы.

6. VIII. 33

Вчера видел Ирину с Шурой. Они, как оказывается, тоже написали вам недели три назад большое письмо. Таким образом, установлено, что письма пропадают. Послали они его, как и я, на Лидин адрес3. Я это отсылаю без надежды, что оно дойдет.

В утерянном письме я много писал о себе, но не на личные темы, а шире. Также говорил я там о Жене большой.

Повторю главное. Женя хорошо справилась с прошлогодней печалью. Она сумела создать у себя на Тверском настоящий уют и собрала вокруг себя много друзей и знакомых, интересных и достойных из разных кругов общества. После этого отношенья и со мною могли стать на ту приветливую и дружескую ноту, о которой я так мечтал в разгаре наших потрясений. Оттуда, за мрачным пологом прошлого года, я ничего доброго не видел впереди. Теперь все это пришло, и в лучшем виде. Женино настоящее превзошло мои ожиданья. (Или я уже об этом вам писал?)

Она сделала ощутительные успехи в рисованьи. Только теперь научилась она передавать живое сходство в рисунке, и в какой-то манере, очень по своему благородству особенной, хотя и робкой. Она перерисовала много военных из высшего командного состава (целую академию)4. Она так неплохо нарисовала Пильняка и Веру Инбер, что я сам предложил ей посидеть моделью для одного из ее заказов, и сделала она меня не только лучше одного гравера5, знакомого Павла Давидовича, рисовавшего меня в те же сеансы, но лучше всех, когда-либо рисовавших меня, за вычетом, разумеется, одного тебя, папа.

Она в большой дружбе с Пильняком и Л. Книппером, композитором (племянником О. Л. Книппер-Чеховой, артистки Художественного театра).

Зимою вынужденная меркантильность моих забот и понятная их устремленность в сторону Тверского бульвара иногда задевала Зинино самолюбье. И, правда, дело доходило до очень неприятных моментов в дележке талонов в продовольственной книжке и пр. Легко себе представите, далее, как при голоде, недостатке квартир и пр. не свободен я бывал во всех своих проявле-ньях во время паспортизации, усиленья карточной системы, пересмотра семейно-иждивенческих, квартирных и иных бытовых норм истекшей зимы. Каждое новое такое установленье вновь и вновь связывало меня боязнью за прочность Жениной квартиры, устойчивость ее прав и т. д. До недавнего времени мы официально не были разведены.

Частые размолвки (а я еще в такие минуты бываю нестерпимо груб и резок) огорчали Зину и настраивали ее недоверчиво.

Теперь мы с ней одни в квартире (дети в колонии6, а тетку она спровадила), и я вновь, как в самом начале, измерил ее редкую подлинность, как человека, женщины,

невыработавшейся артистки, работницы и союзницы. Глупо было бы писать о моих чувствах к ней или обратно, скажу, что они уместны и естественны, т. е. оправданы и понятны.

Недавно без всякого ущерба для Жени мы оформили наш развод, и на днях я распишусь (т. е. мы зарегистрируем наш брак) с Зиной.

Недавно Генрих Густавович, отец мальчиков и ее первый муж, отболел ангиной, по своим следствиям и осложненьям оказавшейся дифтеритом. Осложненья же обострились до степени полиневрита: в результате изъязвленья гортани он стал терять голос, а потом это перешло у него на конечности, которые полупарализовались. Его вчера в карете скорой помощи отвезли в институт физиотерапии для длительного леченья. Эти случаи всегда затяжные и трудно излечимые. В особенности страшно это для пианиста, и мы о нем в большом беспокойстве.

В конце августа я по всей вероятности уеду месяца на два, на три в Азербайджанскую часть Кавказа. Мне очень не хочется, потому что с большим трудом я, наконец, уселся за работу и только-только к ней пристрастился. Кроме того, это будет не по-товарищески в отношении Зины, нарочно разделившей со мною лето в городе (так, может быть, она бы устроилась при детях на даче), чтобы мне лучше было работать. Но об этом я говорю только с вами, речь в этом направлены! между нами не заводилась, такие упреки у ней и не зарождались. Однако, условья очень заманчивы в матерьяльном и во многих других смыслах. Кроме того, Кавказ есть Кавказ, а это будет Кавказ не знакомый мне, не грузинский, частью Шамилев (Шемаха, Горный Карабах, Ганджа и пр.). Я, наверное, поеду7.

Любопытно вам будет для характеристики Жениных возможностей, т. е. знакомств и связей, что по этой командировке наши интересы столкнулись, — взаимно друг друга исключая только в моем пониманьи, а не в ее, потому что с ее принципиализмом и отрицаньем условностей она никакого неудобства в нашей совместности в одной общей бригаде, как людей «только знакомых друг с другом» не усмотрела, а дело, значит в том, что до обращенья ко мне инициаторы экспедиции включили ее в состав едущих в качестве рисовальщицы, по предложению Пильняка, члена бригады. Разумеется, такая поездка была бы нонсенсом, незаслуженной обидности которого для Зины не устранили бы никакие комментарии, вообще говоря неприличные, когда они не заменены самой жизнью. Например, моя дружба с Гарриком и бываньe наше друг у друга и близость с его стариками — кажется естественной и в объяснениях не нуждается, потому что тон этот возник с самого начала и, так сказать, с кровью сердца был вырван у жизни. С Жениной стороны это как-то не удалось, она для этого слишком пряма и сурова и, например, Женечек не только не бывает на Волхонке, но как-то за зиму закостенел в совершенном отрицании Волхонки, — ожесточенье, в котором он не сам повинен и которое готовит ему совсем не нужные огорченья в будущем (в концепции моей жизни и искаженном представленьи своего места в ней). Но я в это перестал вмешиваться и самостоятельного Женина мира не критикую: может быть, она умнее меня.

Я хотел бы, чтобы поехала она. Ей это принесло бы больше пользы. Но поеду, очевидно, я, а не Женя.

Так можно писать без конца. Обнимаю вас всех. Ваш Боря Написали бы девочки Зине, когда меня не будет. Она будет скучать, а она — чудная.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1Е. М. Стеценко, по просьбе Р. И. Пастернак, регулярно писала в Берлин о маленьком Жене.

2 Детский санаторий ЦКУБУ «Поречье» находился под Звенигородом.

3 Из соображений безопасности Ф. К. Пастернака письма из Москвы в Мюнхен, по просьбе родителей, посылались на адрес Лидии.

4 Е. В. Пастернак получила заказ на серию портретов начальствующего состава бронетанковых войск, которые были выставлены потом в военной академии. Предполагалось издание книги, но вскоре все командиры один за другим были арестованы.

5 Зиновия Исааковича Горбовца.

6 Имеется в виду детский летний лагерь.

7 Пастернак отказался от поездки в Азербайджан, в экспедиции на Кавказ участвовала Евгения Владимировна.

674. З. А. НИКИТИНОЙ

10 августа 1933, Москва

10. VIII. 33

Дорогая Зоя Александровна, моя телеграмма была адресована не Вам, поэтому я не прошу у Вас за нее извиненья. Деньги были высланы до нее, — тем признательнее я за эту (бесспорно Вашу) заботливость1.

Мне предложили поехать на 3 месяца с бригадою в Азербайджан, я согласился, т. е., наверное, поеду. Если моя поездка состоится (25. VIII)2, то перед отъездом я вынужден буду попросить у Вас денежного перевода в обеспеченье остающихся, о чем напишу Вам дополнительно, и — на днях, потому что без этого не уеду, т. е. меня не отпустят.

Бедный Заболоцкий, как его распатронили! Я читал поэму, она мне очень понравилась. Я не нашел в ней ничего одиозного, т. е. умышленно иронического. Половина обвинений зиждется на непониманьи его примитивизма, менее даже хлебниковского, нежели — ранних пушкинских поэм. Именно этот буколизм и взорвал нашу передовую публику3. Хороший журнал «Звезда». В ней и дебютировать, если когда у меня откроются литературные способности.

Сердечный привет. Ваш Б. П.

Впервые: «Путь», 1995, N9 8. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 321).

1 Благодарность за получение денег на этот раз обращена к Никитиной, поскольку Сорокин находился в Коктебеле, в отпуске. Следующее аналогичное письмо было отправлено ему по его возвращении: «Дорогой Григорий Эммануилович! С приездом. Последовательно получил от издательства в начале месяца тысячу, и сегодня еще 500 р. — большое спасибо. Передайте также благодарность З. А. — это не без Вас обоих. Жить эту зиму буду еще строже, чем прошедшую. Это не письмо. Как-нибудь напишу по-человечески. Привет. Ваш Б. П.» (16 сент. 1933; Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. С. 220).

2 В Азербайджан Пастернак не поехал.

3 Речь идет о поэме Н. А. Заболоцкого «Торжество земледелия» («Звезда», 1933, N9 2-3), которая подверглась резкой критике в статьях В. В. Ермилова, О. М. Бескина, Е. Ф. Усиевич.

675. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

Начало октября 1933, Москва

Дорогой папа.

Получив недели три твое письмо, я тебе хотел ответить немедленно, но решил сначала показать письмо твое Шуре. Хотя Шура живет за ближним углом, но вот прошло больше двух недель, пока я его увидел. Теперь я не понимаю, зачем мне нужно было Шуру, то есть к чему я все это поставил в связь.

Девочки и мама правы в своих сомненьях: большинству все еще тут нелегко. Если бы в бытовом отношеньи это вас не коснулось, все равно от наблюдений вы бы не

были избавлены даже и дома. С другой стороны права и Оля, имея в виду, главным образом, нравственную атмосферу. Неправильность твоих представлений о здешней жизни сказывается уже в словах твоих о предварительных условьях. Если сборы и требуют продолжительной подготовки, то я не знаю, что пришлось бы подготовлять с нашей стороны. Слова твои об официальном приглашении я, как мне кажется, понял. Как только желанья ваши выяснятся с некоторой решительностью, ты меня об этом извести, и я так устрою, чтобы тебя вызвали. — Горячо всех вас благодарю за подарки, письма и карточки ко дню рожденья Женёнка1. Он провел этот день очень весело. В гостях, кроме Феди, был у него его школьный товарищ некий Стрелков, очень славный и смышленый мальчик. На днях мне пришлось сходить в Высшую прокуратуру Союза, хлопотать об одном родственнике Нейгауза2 в часы, когда Женичка ходит в школу и в ее районе. Он ходит теперь один, и я прошелся с ним удовольствия ради. Школа его на Патриарших прудах, на углу одного из самых проститутских переулков, с подвалами, выбитыми мостовыми, тараканьими булочными, провалившимися дворами, хулиганьем, гармоньями и финками. Он в вечерней группе, т. е. ходит в школу во втором часу и возвращается в шесть.

Школа его ужаснула меня помещеньем, в котором она находится, но сам Женек был мне очень, очень приятен, и мне было за него спокойно. Он немного напоминал Сашку Фрейденберга в бытность его гимназистом, высокомерной быстротой, с какой он окликал идущих в школу мальчиков, а часто даже и вовсе незнакомых, «союзников», как он мне объяснил, т. е. детей района, в отличье от мальчиков соседнего, за Садовой, которые могут поколотить.

На квартире у нас тоже очень хорошо. Но все это ценою Зи-ниных трудов. Мы живем без работницы, да и старуху тетку свою она отправила в Тулу, так что жилплощадь наша (бывшая мастерская и гостиная) не по-московскому обширна и пустынна. Принимая во вниманье ее величину и чистоту, а также и то, что у Зины на руках два мальчика, шести и восьми лет, просто поразительно, как она со всем справляется, с уборкою, ездой на Мясницкую в распределитель, стряпней, занятьями с детьми и пошивками на всех нас, сверх того что младшего (Лялика) она каждое утро водит в детский сад и в 6 часов за ним заходит.

Завидное воспитанье получают ее мальчики. Они не только занимаются с ней по вечерам (играми и предметами), но помогают ей по хозяйству: подметают, моют посуду и пр. и пр. Разумеется, играть ей совсем не приходится. Она очень обижается, когда до нее доходят сведения о моих восхищеньях ею с этой хозяйственной стороны, замечая, что эти кухарские лавры ей не льстят и она их не добивается, но и трагедии из нынешнего нашего образа жизни не делает. Матерьяльно нам не трудно было бы взять работницу, но летом слишком бросилось нам в глаза, насколько сытнее и здоровее жить одним без людей, которые не то, что обворовывают тебя, а хотя бы только произвольничают в дозировке жиров и прочих благ, да кроме того жалко расставаться и с тишиной, у нас царящей.

Если бы я вам писал открытку, я бы ограничился сообщень-ем, что все у нас благополучно, и поблагодарил бы вас за Женeнка и за твое, папа, письмо ко мне.

Сочтите открыткою это мое письмо и будьте здоровы.

Крепко вас обнимаю.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 День рождения Жени 23 сентября, ему исполнилось 10 лет.

2 Виктор Феликсович Анастасьев (Блуменфельд).

676. Т. ТАБИДЗЕ

12 октября 1933, Москва

12. X. 33

Дорогой Тициан!

Благодарю Вас за отклики, косвенно дошедшие до меня через Паоло и Элевтера1. Мне кажется, я понимаю, отчего они идут таким обходным путем, и готов Вас за эту деликатность поблагодарить.

Положенье мое было бы совершенно простым, если бы З<ина-ида> Н<иколаевна> и Е<вгения> В<ладимировна> знались друг с другом. Их взаимное игнорирование друг друга — это единственное, что продолжает затруднять мне жизнь. Сейчас мы с Зиной живем очень хорошо, ценой ее трудов, потому что мы нашли, что без работницы в доме тише и полнее. Никаких драм или колебаний у меня нет, и наверное, последние перегородки, которые еще отделяют меня от некоторых близких мне забот, со временем упадут. Зина так много перенесла в свое время, что я вполне ее настороженность понимаю и оправдываю. И тут, как во всем, чудотворцем окажется время.

Как бы ни изменилась жизнь Е<вгении> В<ладимировны>, мне никогда не перестанет быть близким все, что с ней делается.

Вы, наверное, и без моих писем это угадали. Но отсюда не надо делать ложных выводов. У меня не было бы никаких тайн от Зины, если бы сама она от них не отворачивалась. Так же невозможно, впрочем, говорить и с Евг<ением> Вл<адимировной> о Зине.

Было бы очень мило, Тициан, если бы Вы просто мне написали, ни словом не касаясь поездки Е. В.2, эти вещи можно отделить.

Правда ли нравятся Вам переводы? Позвольте в этом усомниться: всякие переводы заключают некоторое насилье над подлинником, и плохие и хорошие, мои же скорее — первого рода. Вероятно, я опошляю Вас, потому что у всякого художника в ходе его работы складывается своя собственная идея устойчивости слова и моя очень груба: в ней много дилетантского, не по-хорошему перемешанного с жизнью. По банальности она недалеко ушла от того, что зовут надсоновщиной, апухтиновщиной или есенинщиной, когда берут самое слабое у этих поэтов для обозначения чужих недостатков. Все это я очень хорошо знаю, но этим отличаются не только мои переводы из Вас и Паоло, но и весь мой однотомник.

Что же касается неточности, которую я допускаю в этой работе, то вина будет может быть несколько ослаблена, если я сборник назову «Из грузинских поэтов»3, т. е. упор в заглавьи переместится с претензии на полную передачу в сторону указанного источника, откуда эти попытки отправляются. При этом непритязательном заглавии совесть моя перед вами будет совершенно спокойна.

Есть у Анненского перевод Гейневского «Ich grolle nicht»4. Может быть, Гейне переводили и точнее, но, на мой слух, живет только этот перевод и кажется мне точным, потому что я люблю его, и, как живой организм, он бывает разным в разное время, как и Гейневский подлинник, в чем главное их сходство.

Как бы то ни было, Вы тут страшно понравились и идете в 3-м № альманаха «Год XVI»5. Паоловых стихов я еще не давал, сдам завтра, не дожидаясь некоторых его объяснений по поводу двух-трех мест, которые я не вполне понял. Но вчера и сегодня я никак не мог уловить его по телефону и, возможно, отошлю Жген-ти и сдам в здешнюю редакцию его вещи с упомянутыми неопределенностями, которые можно будет исправить в гранках. Если Вы увидите Жгенти, передайте ему, что, может быть, мне потребуется корректура.

Не удивляйтесь некоторой моей двойственности, Тициан, между давнишним моим письмом и этим: никакого расхожденья между ними нет. Взрыв признательности, который Вы во мне вызвали, не остался без продолженья. Чудо жизни остается в силе, ни на минуту не прекращается и связывает меня с Вами и Ниной Александровной

всеми сторонами моего существованья. Напишите же мне на Волхонку, «отталкиваясь» от переводов. Мы с Паоло было уговорились приехать вместе в конце месяца, но меня начинают пугать холода на дороге, и, вероятно, я не поеду.

Зина часто говорит о Вас и Вас и Нину Александровну очень любит. Чтенья переводов знакомым дали новый повод для этих воспоминаний. Кланялся ли ты от меня, когда посылал переводы, — спросила она меня как-то. Если я этого не сделал, то позвольте теперь восполнить этот пробел.

Крепко Вас целую.

Ваш Б. П.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, ф. 20894, 6).

1 Элевтер Луарсабович Андроникашвили, брат Ираклия Андроникова, физик.

2 Имеется в виду осенняя поездка Е. В. Пастернак на Кавказ (см. об этом в письме № 673).

3 Сборник переводов Пастернака вышел под назв. «Грузинские лирики» (М., 1935).

4 Имеется в виду перевод И. Анненского из Гейне: «Я все простил: простить достало сил, / Ты больше не моя, но я простил. / Он для других, алмазный этот свет, / В твоей душе ни точки светлой нет».

5 В альм. «Год XVI» (1933, № 3) публикация не осуществилась.

677. Б. ЖГЕНТИ

16 октября 1933, Москва

16.X.33

Милый товарищ Жгенти!

Я приступил к переводу современных поэтов Грузии. Если для Вашего журнала «Л<итература> и И<скусство> Зак<авказья>» пригодятся прилагаемые 4 перевода (три из Т. Табидзе и один из П. Яшвили1), то располагайте ими. Если по ним будет какой-нибудь гонорар, то пусть он пойдет в погашенье тысячного денежного долга, которого я за два года не успел вернуть Тициану. Я еще больше должен Паоло, но это погашу дальнейшими публикациями.

Товарищ Бесо! Если стихи Чиковани о Сванетии (среди них одна поэма2) не переведены, попросите его подготовить их мне для перевода, Тициан объяснит, как сделать подстрочник (но с ударениями, которых нет у него). Просьба о подготовке матерьяла относится не только к Чиковани, а ко всем поэтам, список которых установите вместе с Тицианом и Чиковани. Сборник будет не менее, чем на 2000 строк, и одна только поэма Важа Пшавелы, с которою будет начинаться книга, займет около 1000 строк3. Но я за это только что взялся и работать над этим буду параллельно с работой над собственною прозой. Здесь сборником этим очень интересуются и Тициан произвел огромное впечатленье в редакции Горьковского альманаха «Год XVI», где его стихи будут печататься. «Какого Вы поэта нам открыли!» — сказали мне4. Это стихотворенье Паоло — потрясающее, ничего живее и крупнее на смерть Ленина не читал.

Крепко жму Вашу руку. Всего лучшего. Привет друзьям. Поторопитесь ответом.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: Марк Златкин. «Когда книга сближает народы». Тбилиси, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2563, оп. 1, ед. хр. 97).

1 К письму приложены переводы стих. Паоло Яшвили «На смерть Ленина» (с дополнит, строфой между ст. 32 и 33) и Тициана Табидзе «Не я пишу стихи. Они как повесть пишут...» (с вариантами ст. 11,14,16), «Если ты брат мне, то спой мне за чашею...» (вариант ст. 3, 8 и дополнит, строфа между ст. 17 и 18), «Иду со стороны черкесской...».

2 Речь идет о поэме «Комсомол в Ушгуле», которая была вскоре переведена и опубликована в «Молодой гвардии», 1934, № 2.

3 Поэма Важа Пшавелы «Змееед» вышла отдельной книгой в Тифлисе в 1934 г., потом вошла в сб. Важа Пшавелы «Поэмы», 1935.

4 Несмотря на огромное впечатленье в редакции, в альм. «Год XVI» публикация стихов Табидзе не была осуществлена.

678. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

18 октября 1933, Москва

18. X. 33

Дорогая Олюшка!

Как же это случилось, что ты профессор и у тебя кафедра1, а я не узнал этого вовремя и тебя не поздравил! С чем только ни поздравляли мы друг друга в жизни, а с этим упустили.

У меня страшно болит голова, я только второй день с постели. Как-то вымылся я в ванне у знакомого в гостинице, а потом, позабыв дома гребенку, подобрал у него в номере старую частую расческу, неизвестно чью, из разряда вещей, оставляемых прежними жильцами в углах выдвижных ящиков и пр., и в кровь изодрал ею кожу на голове. Царапины покрылись корочками, они долго не сходили, я стал этому удивляться, оформить удивленье во что-нибудь было некогда, пока это не дало мне жару и не свалило в постель. По вызове специалиста оказалось, что это не сифилис (в X1X-ом веке я бы иначе писал двоюродной сестре), не фурункулез, не экзема, а загрязненье кровеносной и лимфатической сетки, от которого через три дня ничего не осталось, кроме головных болей, обыкновенных, как мигрень.

Ты совершенно права насчет стариков2. В двух-трех местах своего письма ты нашла слова для моих собственных ощущений (твое недовольство постановкой вопроса, взвешиванье преимуществ с точки зрения комфорта, концепция Феди и т. д.). Я и сам высказал пале свое недоуменье по поводу того, что еще тут можно было бы готовить целый год, настолько дело все просто. Что касается потребности его в приглашении, то не относится ли это скорее к моменту выезда, а не въезда, и не в интересах ли вывоза вещей и чего-нибудь другого хочет папа заручиться официальным вызовом? Ведь тамошних законов и ограничений мы не знаем. Впрочем, это только моя догадка, и может быть, я ошибаюсь.

Перед перспективой перевозки вещей (холстов хотя бы) руки бы опустились и у меня, не семидесятилетнего. И в этом отношении также требуется подход более радикальный или, — скажем, отчаянный. Согласится ли Федя взять на подержанье остающееся? Весьма в этом сомневаюсь. Но при официальном приглашении папа мог бы, может быть, найти поддержку в полпредстве. Хотя и это, при увеличивающемся дипломатическом напряжении, подвержено сомненьям. Одно ясно, формула взвешиванья должна быть именно твоя и должна основываться на какой-то максималистской истине, а не на сравнении гарантированных вероятностей.

На днях я, по всей вероятности, уеду по делам в Грузию3, а когда вернусь, начну исподволь развращать наших в названном направленьи. Хотя по твоему примеру и сам я недавно склонялся к выжиданью, но теперь мне вчуже страшно чего-то и хотелось бы как можно скорее иметь их при себе, и налегке, в качестве «временных гостей» (для отвода их собственных глаз), т. е. неотяго-щенными иллюзорною ответственностью перед самими собою: правильно ли или нет разрешен ими этот шаг (точно жизнь математика, — вот опять оно тут, мещанское самомучительство, свя-тошествующее и не святое).

Ах, много бы я мог тебе написать на эту тему пережитого и передуманного, но всякий раз, как в письме ли или работе подходишь к главному и уже готовому, потому

что найденному до всего остального, то такая тоска прутковская охватывает (необнимаемости необъятного4), что именно главное это и оставляешь в умолчаньи. Не потому, чтобы мысль изреченная была ложью5 или вообще из-реченью не поддавалась. Нет, нет, совсем не потому. Но физическое ощущенье бесконечности, коренящейся во всяком общем по-ложеньи, так перевешивает у меня интерес к его содержанью, что я его изложеньем жертвую из какой-то внутренней зябкости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом пустыре.

Оттого-то и захвачено у меня одно второстепенное, и, сколько я ни писал, теза оставалась неназванной. У всех этих вещей отрублены хвосты, каждый из которых, если бы дать им волю, должен был бы разрастись в трактат или, точнее, в нечто бесконечное о бесконечном.

Тут-то и пролегает водораздел между гением и человеком средних способностей. Первый именно не боится этого холода, и только. И тогда, вопреки Пруткову, Паскаль охватывает необъятное и только и делает, что пишет принципиально о принципах, и набрасывает бесконечность бисернее и непринужденнее, чем Бунин какую-нибудь осень.

Дорогая тетя Ася! Я только хотел поблагодарить Вас и Олю за Ваши письма и незаметно с Олею заболтался.

Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положеньях. Именно это ведь и характеризует наше время. На партийных ли чистках, в качестве ли мерила художественных и житейских оценок, в сознаньи ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны.

Какой-то ночной разговор девяностых годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах табачного дыма, может ли не казаться безумьем этот бред русского революционного дворянства теперь, когда дым окаменел, а разговор стал частью географической карты, и такою солидной! Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем эта голая и хамская и пока еще проклинаемая и стонов достойная наша действительность, — Ваша, тетя, правда. Это я по поводу керосина, что Вы папе написали или хотели написать6. Крепко Вас и Олю обнимаю, Зина целует и благодарит за память.

Женичка совсем уже большой мальчик. Ему 10 лет. Он живой, рассеянный, впечатлительный и, как все дети нашего времени, полон тех живых знаний, которые почерпываются в каком-то промежутке между бытом беспризорников и усильями педагогов. Разве я не писал Вам о нем.

Но это тема не для приписки. Будьте здоровы. Еще раз обнимаю Вас. Зовите наших, но не к себе, а ко мне или к нам, и по-Олиному, т. е. в духе сурового фатализма и под керосиновым аспектом. Все это правильно и было бы, если бы принялось, им во благо.

Ваш Боря

Поздно, запечатываю, не перечитывая. Не знаю, что писал.

Впервые: Переписка с О. Фрейденберг. — Автограф.

1 В декабре 1932 г. О. М. Фрейденберг пригласили в ЛИФЛИ (Ленинградский институт философии, литературы и искусства) возглавить только что открывшуюся кафедру классической филологии.

2 О. Фрейденберг писала о своей переписке с Л. О. Пастернаком по вопросу о возвращении в Россию.

3 Пастернак перенес свою поездку в Грузию с октября на конец ноября 1933 г.

4 Имеется в виду афоризм Козьмы Пруткова: «Никто не обнимет необъятного».

5 Из стих. Ф. И. Тютчева «Silentium»: «Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь».

6 Упоминания о керосине (далее: «керосиновый аспект») — обозначение бытовых неудобств советской жизни: готовка еды на керосинках и примусах, о которых родители забыли с 1921 г.

679. Т. ТАБИДЗЕ

23 октября 1933, Москва

23. X. 33

Дорогой Тициан.

Мне не удастся поехать сегодня с Паоло, как это предполагалось. Может быть, я приеду с бригадой, собирающейся в Тифлис в начале ноября1, но и это еще под сомненьем. Между тем я подписал договор на книгу переводов, как может быть уже писал Вам2.

Я начинаю серьезно бояться за судьбу этой книги. Я должен сдать ее к концу января, и легко бы справился с работой, если бы знал язык и не нуждался в помощи самих переводимых.

Паоло был тут очень занят и мог мне дать лишь незначительную часть из того, что я у него просил3. Он начал переводить прозаически «Змееда» Важа Пшавелы, но не мог довести до конца.

Кроме того, что я послал Жгенти, я ничего от Паоло не мог получить и не виню его, до того он был отвлечен делами по Рионгэсу4.

Между тем уже и тут по отношению к такому небезразличному для меня человеку, как Паоло, работа успела поставить меня в несвойственное мне и нестерпимое положение надоедливого просителя. Я боюсь, что в дальнейшем это только осложнится и ухудшится, поскольку дело сведет меня с людьми незнакомыми: для Вас и для Паоло, людей для меня дорогих, я могу стать в положение временно неловкое или невыясненное, в надежде, что в дальнейшем оно разъяснится, чего быть не может в отношении остальных.

Я хотел перевести Важа Пшавелу, Паоло, Вас, Гаприндашви-ли, Леонидзе, Надирадзе (Мицишвили, если он пишет стихи), Чиковани и еще дать переводы из Галактиона Табидзе и Гришаш-вили. Паоло, кроме того, советовал присоединить к ним Шанши-ашвили, Абашели, Лордкипанидзе, Каладзе и Машашвили. От них нужно получить подстрочники, но в самом спешном порядке. Все это должно быть доставлено в течение ноября месяца. Ничего из того, что будет прислано позднее, я перевести не смогу по обстоятельствам договора. Но никому я не хотел бы навязываться и с основаньем или напрасно, я именно Вам доверяюсь в этом отношении, т. е. прошу Вас помочь мне в раздобываньи подстрочников только у тех из перечисленных, где это будет делаться легко и с охотой. Вы знаете, Тициан, в какой форме подстрочников я нуждаюсь. Хотя в грузинском языке ударений нет, я очень просил бы обозначать, хотя бы условно, как именно читается стихотворение. Например я никогда не слыхал, чтобы говорили Тйбидзе или Табидзе, но всегда говорят Табидзе. Так же читаете Вы: лёксеби, а не лексёби или лексебй. Нет, например, ударений в древнегреческом. Но есть различия долгих и кратких слогов, в результате чего получается полное соответствие тому, что считается ударьями в новых языках. Например, первая строка Одиссеи читается: Андра мой бппере м^за полклропон пбс мала пблла5 — и получается гекзаметр. Ударения не было и в латинском языке. Пишу, пишу Вам и вдруг вспоминаю, что ударения не только были по-латыни и по-гречески, но в последнем были даже 3 градации ударений, и дело не в этом, а в том, что стихосложенье руководствовалось не ударьями, а долготами. Тогда, Тициан, скажу по-другому. Просто поставьте себя в положенье русского переводчика и, сообразуясь с

Вашим знаньем русского языка и стиха, дайте ему ясные указанья для воспроизводства размера. Иначе это становится областью произвола, как это было по отношению к Вам и Паоло, сколько ни уверяет меня Паоло в противном, т. е. в том, что размер свято соблюден. Я только воспроизводил идею размера по слышанному, потому что П<аоло> и Вы читали мне однажды эти вещи, и мне было от чего исходить, чего в других случаях не будет.

Дорогой Тициан, просьба эта обращена и к Вам. Дайте мне еще несколько стихотворений, — переведенных — мало. В отношении других имен я лишен возможности обратиться к авторам непосредственно (кроме Гаприндашвили, Надирадзе и Леонид-зе) — помогите мне в этом либо прямо, либо через посредство Жгенти.

Милый Тициан, больше я этих просьб не буду повторять ни Вам ни Паоло, ни Жгенти. Если к середине ноября, или к приезду моему дело это не сдвинется с мертвой точки, для меня это будет знаком, что работа моя в этом направлены» нежелательна.

Крепко Вас целую. Привет Вашей семье.

Б. П.

Впервые: Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. - Автограф (ГМГЛ, № 20895).

1 Пастернак поехал в Грузию в составе бригады оргкомитета Союза писателей 17 ноября 1933 г.

2 Договор с изд-вом «Московское товарищество писателей» на книгу переводов современных поэтов Грузии был подписан в 1933 г.; книга вышла под назв. «Грузинские лирики» в 1935 г.

3 Речь вдет о подстрочниках, без которых Пастернак не мог переводить.

4 Строительство электростанции на реке Риони.

5 Начальная строка «Илиады» Гомера: «Гнев, богиня, воспой...», перевод Гнедича.

680. Г. Э. СОРОКИНУ

5 ноября 1933, Москва

5. XI. 33

Дорогой Григорий Эммануилович!

Если высланные в октябре 500 р. не последние выжимки истощившегося наконец благополучья, то не откажите поторопить бухгалтерию, чтобы деньги перевели поскорее и более крупною порцией.

Это особенно нужно теперь, потому что, по всей вероятности, я на днях должен буду уехать в Тифлис1, ничего не оставив дома.

Перевод адресуйте мне, на Волхонку, в обычном порядке, как если бы я не выезжал: я жене оставлю доверенность.

Если бы деньги задержались и у меня явилась бы надобность телеграфно потревожиться об этом из Тифлиса, то смысл этой тревоги был бы тот же: деньги нужны домой в Москву (на мое имя), а не мне лично в Тифлис.

Я стал было переводить современных грузинских поэтов и вдруг все дело споткнулось об их невозможную лень: никак не добиться от них подстрочников для переводов. Только затем и еду в Тифлис, по почте этого не уладить. Не безобразье ли! Я бы на это дело плюнул, если бы не был связан договором на книгу (М<ос-ковское> Т<оварищество> П<исателей>)2.

Простите, что ограничиваюсь денежными вопросами, но перед отъездом много дел, хотя и беспредметных, но отнимающих время.

Если у Вас есть возможность увидать Ник<олая> Семеновича и есть возможность на него повлиять, склоните его к поездке с грузинской бригадой. Я только оттого в нее включился, что мне был обещан Тихонов, и перспектива трехдневного общенья с ним

в вагоне была для меня главною географической приманкой путешествия. Крепко жму Вашу руку.

Искренне преданный Вам Б. П.

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. — Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1С 17 по 29 нояб. 1933 г. Пастернак пробыл в Грузии, поехав туда в составе бригады оргкомитета Союза писателей СССР «по связи с литературой Грузии» (кроме него, туда входили П. А. Павленко, Н. С. Тихонов, О. Д. Форш, В. В. Гольцев, В. А. Каверин).

2 «Московское товарищество писателей» (1925-1934) — кооперативное изд-во, в 1934 г. влившиеся в изд-во «Советский писатель». О цели поездки на Кавказ Пастернак писал также сестре Лидии 9-11 нояб. 1933: «Необычайно трудно работать самостоятельно. Я ухватился за возможность приложить свое техническое уменье к переводу современных грузинских поэтов, но это страшные лентяи, и я от них не могу добиться нужных мне подстрочников, что подводит меня перед издательством и сокращает мне заработок, потому что заставляет сидеть сложа руки, пока там эта публика на Кавказе раскачается. Вероятно, придется самому съездить, потому что по почте их не проймешь. Русская способность переживать одно задуманное, как уже исполненное и состоявшееся и на этом мириться, еще сильнее на романтическом Кавказе. Подстрочников я не могу добиться потому, что уже стало известно, что я их перевожу, и этого достаточно для них, чтобы по этому случаю устраивать собрания с вином и произносить речи» (Письма к родителям и сестрам. Кн. П. С. 80).

681. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

12 ноября 1933, Москва

12. XI. 33

Дорогая Раиса Николаевна, страшно рад Вашей открытке (какой замечательный вид!), и только огорчает причина, опять погнавшая Вас в Италию1. Напишите мне поподробнее, как Ваше здоровье. Откуда Вы взяли, что Вы можете быть виновницей моего молчанья? Вы должны раз навсегда знать, что можете быть поводом только одного хорошего.

Я так давно не писал Вам, что не знаю, с чего и начать. Давайте по порядку. Начнем с тигров2.

Принципиальных возражений против духа книги быть не может, и я напрасно их преувеличивал в прошлом году. В том, что книга лежит без движенья у переводчиц — а они в восхищеньи от нее и, кроме того, заинтересованы в ее реализации матерьяльно, виноваты не убежденья А<лександра>И<вановича> как и не отдельные из здешних авторитетов, — причины этого шире и они неуловимы. Это те же причины, по которым вот уже третий год я не написал ничего нового, и начинаю забывать как это делают. Я хотел войти в анализ этого временного застоя, но сейчас узнал, что завтра еду с одной писательской бригадой в Тифлис, и должен подготовиться к поездке и собраться в дорогу3. По-настоящему следовало бы эту беседу с Вами отложить до возвращенья и более спокойного времени, но я так боюсь, что в теченье этого перерыва Вы вдруг вспомните обо мне и не будете знать причины моего молчанья, что хочу договорить хотя бы второпях.

Итак, главное, — спасибо. И прежде всего спасибо за снисходительность, с которой Вы прощаете мне глухоту, незамечатель-ность и непродуктивность моего существованья, и, вот, вспомнили обо мне.

Все мои близкие здоровы, все у Жени на Тверском бульваре в порядке, маленький Женя ходит в школу и недавно был зачислен в пионеры.

Родители и сестры в Германии, я их зову к себе, они отказываются, и потому, как это все рисует печать, их вкусы меня удивляют.

Тяжестью во все последнее время лежит на мне то, что я ничего не пишу, при довольно благоприятных для этого личных и матерьяльно-бытовых условьях.

Совсем недавно я перевел двух современных грузинских поэтов и подписал договор на целую книгу таких переводов. Для тогото и еду я в Тифлис, чтобы раздобыть на месте подстрочники для книги, потому что по почте этого никак не достать, так избездельничались люди или настолько привыкли к работе не из живых и личных побуждений и не по специальности.

Меня страшно радует Ваша английская книга о Пушкине!4 Когда я вернусь, нам с Вами надо будет еще списаться, ведь Вам потребуются книги, ну так вот, напишите, что Вам нужно и располагайте мной. В последнее время исследованьями о Пушкине стала тут заниматься Анна Ахматова с большою дельностью и рядом неожиданных и удачных находок5.

В торопливости, в которой я заканчиваю письмо, наиважнейшим остается пожеланье Вам здоровья и бодрости, просьба о скорейшей вести, сообщенье о благополучном здоровьи обоих Жень и уверенье в постоянной моей преданности Вам, при всей печали, которую всегда вызывает мысль, что я до сих пор доверья Вашего не оправдал и, по-видимому, никогда не оправдаю.

Целую Вашу руку и еще раз горячо желаю Вам, чтобы Италия совершенно Вас излечила.

Ваш Б. Пастернак

Впервые: «Минувшее», № 16. — Автограф (Russian Archive, Leeds University). Отправлено в Рим.

1 Ломоносовы пробыли в Италии с июля по сентябрь 1933 г. и, по неизвестной причине, Раисе Николаевне пришлось вернуться в Италию, в Рим, где она провела осень до середины декабря.

2 Имеется в виду перевод и публикация по-русски книги Джулиана Дюгида об А. И. Зимеле. См. письмо № 650.

3 Пастернак отправился в Тифлис 13 нояб. 1933 г.

4 Ломоносова много лет занималась Пушкиным, собирала материалы и хотела написать о нем книгу. Написала пьесу о его гибели «Дуэль» (1933-1937).

5 Речь идет об опубликованной в «Звезде» (1933, № 1) статье Ахматовой «Последняя сказка Пушкина», посвященной «Сказке о золотом петушке».

682. З. Н. ПАСТЕРНАК

14 ноября 1933, с дороги

Дорогая моя Лялечка! Нет возможности сосредоточиться, все время на людях, весь день вместе1. Утро 14-го. Едем Донбассом между Харьковым и Ростовом. Слишком много «культурных удовольствий», совсем непохоже на дорогу. Вчера были на киносеансе в поезде. Трогательный руководитель этого вагона-клуба. Он и проводник этого вагона, и радист, и доктор, и очень неплохой пианист (сопровождал киносеанс и играл на пианино). Вечером за ужином вдруг ворвался из Москвы целый концерт сплошь из Шопена, наверное, из радиотеатра, ноктюрны, баллада и даже вариации на тему ci darem la mano (Моц<артовский> «Дон Жуан»2). Когда этюды играли, я вообразил, что это ты вечером села играть и тебя стало слышно. Совершенно непохоже на путешествие. Крепко тебя целую и обнимаю, а также и Адика и Лялю.

Твой Б.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Примеч. З. Н. Пастернак: «Открытка написана в поезде в Грузию».

1 Пастернак поехал с писательской бригадой в Грузию. В бригаду входили П. Павленко, Н. Тихонов, В. Гольцев, О. Форш.

2 Знаменитая ария «Дай руку мне, красотка...» из оперы Моцарта «Дон Жуан».

683. З. Н. ПАСТЕРНАК

17 ноября 1933, Тифлис

17. XI

Дорогая Киса! Мы остановились в Орианте, я, Тихонов и Гольцев в одном номере. Тифлис неожиданно родной, то есть гораздо знакомее и ближе, чем был в воспоминаниях. В дороге я простудился и приехал с жаром, и сразу с вокзала, конечно, на ужин с вином и речами. Паоло и Тициан близки мне без всякой аффектации, без натяжки, без желанья, чтобы это было так, я их страшно люблю. В них необычайно много того самого, отсутствие или исчезновенье чего мы с тобой наблюдали в последнее время (например, на вечере у Анны Арн<ольдовны>1). Вчера легли в 5 ч. Все встали сегодня в 10 ч. и пошли на засед<ание> Закавказского Культпропа, а я остался, отговорившись нездоровьем, хотя аспирин мне вчера помог и я совершенно здоров: вот только допишу тебе открытку и выйду в город. По-прежнему ничего нигде не достать, по-прежнему все дико дорого2, но зато по-прежнему европейский налет на городе и всем здешнем, видно, что дома и улицы для живых людей, а не для призраков или формул. Вчера дорогой по Азербайджану (из Баку в Тифл<ис>) была летняя жара, в Гяндже покупали виноград, инжир, яблоки, груши (вспоминал Адика — поцелуй детей) — и у меня благодаря этому летнему дню все перемешалось: у меня такое чувство, точно зима 33—34 г. уже прошла и это лето 34 г. Кисанька, я не один тут, и у бригады «высокие» государственные цели. Как я ни отбрыкиваюсь, мне это дают понять на каждом шагу. Дескать, дело не в людях и талантах, а в организационной совболтовне. Может быть, не часто придется писать тебе поэтому. Крепко обнимаю тебя.

Твой Б.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60). Примеч. З. Н. Пастернак: «Написано в Тифлисе».

1 А. А. Антоновская — писательница, автор романов «Великий Моу-рави» и «Георгий Саакадзе».

2 Те же лишения наблюдали в Грузии Пастернак и Зинаида Николаевна летом 1931 г.

684. З. Н. ПАСТЕРНАК

21 ноября 1933, Тифлис

21. XI. 33

Дорогая моя Киса. Я пишу на Колином блокноте, говорю это, чтобы ты не удивлялась, увидав марку издательства1. Ничего не буду описывать, потому что все расскажу дома. Мы видели много замечательного, а еше более того пили. Вчера на обеде в Кутаиси нами выпито было 116 литров!!! Все почти больны от этого времяпрепровожденья. Общество все время только мужское: Там<ару> Георг<иевну>2 до сих пор не видал, хотя 5 дней уже, как мы тут, Нина Алекс<андровна>3 встречала нас на вокзале, и я с того вечера ее не видел. Ездили в Имеретию и на Рион. Я совершенно пока не знаю, сколько еще пробуду. Если бы подстрочники были готовы, я мог бы уехать хотя бы сегодня, но их пока нет ни у кого. Среди этого шума и гама я ни минуты не был один, кроме того утра, в которое я тебе написал последнюю открытку. Я был тогда простужен, а сейчас совершенно здоров. По тебе я соскучился как по мысли, как по себе самом, и чаще всего ты мне кажешься лицом той тишины, которую я опять найду только с тобою. Сейчас я с заседания в Культпропе и было улучил минуту, чтобы дописать письмо, но в номер опять вошли Тихонов и Гольцев, разговаривают и мешают. Давай расцелуемся, и мне придется бросить. Дольше 1 декабря я тут не засижусь, как ни уговаривают меня Тициан и Паоло. Киса моя золотая, очень трудно писать, поминутно заговаривают со мною, точно не видят, что я

занят. Меня начинает беспокоить, есть ли еще у тебя деньги. Почему-то я не так уверен в исполнительности Сорокина4, как был до сих пор. Телеграфируй мне об этом. Зажили ли у тебя руки? Играешь ли ты? Мне страшно хочется, чтобы ты взяла работницу. Это не пустые слова, но мне бы хотелось, чтобы ты не откладывала этого до моего приезда. Письма отсюда ходят так долго, что, вероятно, я приеду раньше этого письма. Жить и ездить с бригадою можно, но думать и чувствовать трудно. Не удивляйся поэтому, если почти не найдешь меня в письме. Я и простился с тобою не так, как если бы уезжал один, и когда на днях об этом вспомнил, то чуть не заплакал от обиды и жалости. Крепко обнимаю тебя, до скорого свиданья. Поцелуй, пожалуйста, Гаррика и детей.

Весь твой Б.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60).

1 Письмо написано на бланках с маркой «Изд-ва писателей в Ленинграде», редактором которого был Н. С. Тихонов.

2 Т. Г. Яшвили.

3 Н. А. Табидзе.

4 В письме JSfe 680 Пастернак просил выслать очередные деньги жене в Москву.

685. Ю. С. ГОЛЬЦЕВОЙ

21-23 ноября 1933, Тифлис

Милая Юлия Сергеевна!

Все мы разделяем Викторово беспокойство1 о Вашем здоровье, а он целыми днями так полон этих забот, что прямо жалко смотреть. Ему удалось уверить меня, что если я познакомлю Вас с двумя-тремя вещицами друга моего Паоло Яшвили, то это Вас развлечет. Но еще больше развлеченья принесут Вам те блистательные предложения, которые только что тут сделали В<икто-ру> Викторовичу>, которых я был свидетелем, и о которых он Вам напишет. Поправляйтесь и не скучайте.

Ваш Б. П.

А вот Яшвили2.

Другое стихотворенье я Вам напишу как-нибудь в другой раз: я растянул себе мышцу большого пальца на правой руке, и хотя это пустяки, но писать больно и неудобно.

Всего лучшего, будьте здоровы.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 3, ед. хр. 273). Написано на бланке: «Изд-во писателей в Ленинграде». Площадь Островского, д. 4. Телефон 9-55». Датируется по содержанию.

1 Юлия Сергеевна Гольцева — жена литературного критика Виктора Викторовича Гольцева, с которым Пастернак и Тихонов жили в одном номере гостиницы «Ориант».

2 Переписано стих. Яшвили «Утро» («Рассвет пришел как мысли до-пущенье...»), оно было опубликовано в газ. «Известия», 6 марта 1934 г.

686. З. Н. ПАСТЕРНАК

23 ноября 1933, Тифлис

23. XI. 33

Дорогая Киса, помнишь ли ты еще меня? Туг холодно и сыро, кругом Тифлиса на возвышенности (не выше Коджор) вчера выпал снег, в Орианте не топят, и так как ванны зависят от отопленья, то нельзя принять ванны, а в баню страшно пойти, можно простудиться, выйдя в легком на такой холод. Я хотел выехать завтра, потому что оставаться дольше решительно незачем, но билеты должен достать Павленко1, а он меня не отпускает раньше 26-го. Я не только сильно стосковался по тебе, но у меня есть еще и местные причины чувствовать себя неважно: параллельно с нарастающим

моим убежденьем в общем превосходстве Паоло и Тициана я встречаюсь с фактом их насильственного исключенья из списков авторов, рекомендованных к распространены© и обеспеченных официальной поддержкой. Я бы тут преуспел, если бы от них отказался. Тем живее будет моя верность им. Целую тебя без конца и счета.

Твой Б.

Телеграмму в Л<енингра>д послал, озабочен результатами2.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60).

1 П. А. Павленко был руководителем бригады.

2 Телеграмму Г. Э. Сорокину насчет денег.

687. З. Н. ПАСТЕРНАК

25 ноября 1933, Тифлис

25. XI. 33

Радость моя, чудная Киса, я дико по тебе соскучился и сейчас чуть не плачу: я должен был ехать завтра и уже купил себе билет, как вдруг все это переделали. Пришел Мицишвили и уверил

меня, что если бы я остался еще неделю, то не уезжал бы с таким пустым карманом, как сейчас1. Я не буду входить в подробности, потому что все это расскажу тебе дома, но доводы его были настолько вески, что я позволил ему взять билет у меня из кармана и переложить в свой собственный. Итак, я тут еще останусь до 29-го, если верить Мицишвили, то это будет для меня с какою-то материальной пользой. Но ведь я мысленно уже был с тобою или по крайней мере к тебе ехал, и вот можешь себе представить, как мне теперь грустно и больно. Зато я, может быть, все-таки достану платок тебе, без которого уехал бы завтра, за недостатком времени и денег. Но если бы ты только знала, на какое страшное безделье уходит у нас день. Так как почти каждую ночь, одну за другой, мы ложимся не раньше 4-х, то встаем соответственно поздно. И в таком же духе проходит остаток дня до вечера, с его неизбежным пьянством. Ты меня, верно, не узнаешь, так я похудел от этого неистового режима. Дорогой мой котик, киса, кисанька, я пишу с бешеной нежностью к тебе и в совершенно невозможной, до слез доходящей печали по поводу уступленного билета. Но зато у тебя, может быть, будет платок и у нас будут деньги. Мне тем тяжелее оставаться еще 3 дня, что для этого промедленья никаких причин кроме приведенных нет,— все видено и перевидено, все мы друг другу здорово надоели и будем помирать эти дни со скуки. Крепко и с болью за то, что это лишь слова письма, целую тебя и боюсь вообразить полностью, что значит целовать тебя, чтобы не сойти с ума от печали.

Твой Б.

Впервые: Письма Пастернака к жене. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 60).

1 Поэт Николо Мицишвили был гл. редактором Закгиза, где готовился сборник переводов Пастернака, и деньги, которые он обещал ему выплатить, были издательским авансом.

688. Т. ТАБИДЗЕ

6 декабря 1933, Москва

6. XI. 33*

Дорогие друзья мои, Нина Александровна и Тициан! Я не знаю, как называется возвышенность, по которой уходят поезда из Тифлиса. Ее видно было из нашего окна в Орианте, я часто смот-

* Авторская ошибка датировки. 694 рел на нее, следя за медленно плывшим дымом, то скрывавшимся за каменными выступами, то снова появлявшимся. Те же манипуляции, что и этот дым, стал производить я, когда Вы и Корнее-вы1 остались за

поворотом, и Николай с Гольцевым могли, если захотели бы, вычислить по часам из окна гостиницы, как медленно было мое прощанье с чудным городом, сколько явлений его из-за скал я счел последними и уже окончательными, после чего он вновь показывался, как бы оглядываясь уже из невозможности и сверх ожиданья, и как трудно было мне за всем этим удержаться от слез. Счастливые, счастливые! Как охотно я поменялся бы с вами судьбой, если бы только не любил вас.

Несловоохотливым пассажиром ехал я среди соседей по вагону; слишком большое богатство увозил я с собою в душе, но не с кем было им делиться: все это были люди, не знающие Вас, не бывшие той ночью у Леонидзе, не защищавшие Ладо от нападок Шаншиашвили, не искавшие Казбека в сумеречно-туманной панораме с террасы Э. А. Бедиа2, — несчастные невежды, без цели и призванья в жизни, раз их не было за теми столами, явившиеся на свет Божий за час до отхода поезда специально для заполненья билетной брони.

Вы легко представите себе, дорогие мои, сколько раз я имел время и случай вновь и вновь пережить все перечувствованное и виденное. Времени для этого было тем больше, что опоздали мы в Москву более, чем на сутки, — на 30 часов. Сперва под Баку нас на 9 часов задержала снеговая буря, потом мы целую ночь простояли под Махач-Калой, остановленные происшедшим на следующем перегоне крушеньем. А потом с нами стали обращаться как с выпавшими из графика по заслугам: семафоры, как подкошенные, опускались перед нами на полустанках и в полях. И, конечно, ясно было мне, что из расписанья выпал я, а не поезд, потому что всеми мыслями моими я был не в дороге, а в днях, среди Вас проведенных.

И так как я наговорил уже Вам столько глупостей, что их количество переходит в качество и как бы превращается в право продолжать и дальше в таком же духе, то сознаюсь Вам, что по приезде домой меня ждало возобновленье всего пережитого с Зиной с самого начала, во всем былом драматизме, но на этот раз только вдвоем, под мирным, никем не оспариваемым кровом, так что временами брало сомненье, уместна ли эта глупая буря нового ознакомлены!, раз она так давно признана и стала такой очевидностью.

А вот на совсем другую тему, из области чистой глупости, образцы «идиотизма как такового».

На основании каких-то телеграмм в английской и скандинавской печати отец радуется в письме моей поездке и... поздравляет меня (!). Прочел он, видите ли, что возглавлял (!!) я экспедицию писателей, потом в том же поезде проехавшую в Крым(!!!) и папе очень понравилась моя речь (!!!!), произнесенная в Тифлисе (!!!!!).

Дорогие мои, стоит ли жить после этого и работать, когда каждый из нас, не подавая к тому никакого повода, оказывается вдруг жертвой неведомой спекуляции, нереальной не только в отношеньи нас, но и с точки зренья ее собственных видов, и даже не разбирающей, где ей сесть и снести свое яйцо кукушки! Наудачу и совершенно случайно (так, очевидно, засевают поля с аэропланов) избираются объекты для ажиотажа, и человек, который желал бы честно прожить в горячих границах своей напряженной ограниченности, попадает в биржевую сказку. В моем случае это тем тошнее, что ведь и вес действительно сделанного мною наполовину отягощен фальшивою легендой: не разлагается ли половина моей наличности на такие «речи в Тифлисе» и «Крымские поездки»?

Ах, Тициан, как хотел бы я знать, но во всей действительности, кто я и что я, чтобы прийти на судебный процесс со своей судьбой во всеоружьи вещественных доказательств! У Зины есть ответ на этот вопрос, она со всей заинтересованностью большого друга полагает, что я бездельник, и ставит под сомненье нашу дальнейшую совместность, если, наконец, я снова не примусь за работу.

Но не совсем права она, потому что черта привязчивости, которую я за собой знаю как единственную определенность, так велика во мне, что заменяет мне дело и кажется профессией.

Привязываться к местам и некоторым часам дня, к деревьям, к людям, к историям душ, в пересказе которых я не нуждаюсь, так фигурно-геральдичны самые о них умолчанья, так готов я бываю пересказать их за них самих, — привязываться как-то не по-мужски и по-дурацки, вот единственное, что я без всякой радости для кого бы то ни было знаю и умею.

Среди поклонов, которыми я Вас нагружу сейчас, будет один, — Вы знаете, — которого я не смогу оформить, до того пережитой он и настоящий. Существо его в том, что я кланяюсь поэту Леонидзе и его поэзии тем же одним низким поклоном, что и его жене, и его судьбе, и дому3. И я могу заставить себя быть еще точнее: я кланяюсь искре детскости, пробегающей сквозь его руки и рукописи и его душу и нисходящей на его детей. И я говорю не о том ложном, рафаэлизированном и переслащенном представле-ньи детства, которого на свете нет, если не считать конфетных коробок, но о простоте и вздорности и незащищенности ребенка, о его электропроводности. О способности детства выстроить мир на игрушке и погибнуть, переходя улицу. О зрелище ребенка в гуще большой, далеко тем временем вперед зашедшей жизни, с которой он справляется по-детски просто, вздорно, расторопно и незащищенно. Но этот поклон так тяжеловесен, что лучше его не передавать.

У Зайцева узнал, что Б<орису> Н<иколаевичу> стало немного хуже4, и он в постели, но состоянье его здоровья не вызывает опасений. Вышло продолженье «Рубежа», второй том его воспоминаний5. Я его скоро увижу, приветы же Ваши передал через Зайцева.

Поцелуйте, пожалуйста, Нитуб, будьте здоровы и поскорее приезжайте. С нетерпеньем жду Тихонова и Павленку, чтобы узнать, что было дальше. В их рассказах опять все увижу и снова буду с Вами. Как с юга привозят загар, так привез я на себе минутный отсвет всего бывшего и отсверкавшего, он должен был бы потухнуть и забыться, но по выражению Яшвили, стал дружбою художника с любимым цветом и не уходит. Тициан, целую Вас.

Работаете ли Вы, Тициан? До получения подстрочников от Вас и Л<еонидзе> не прикоснусь к имеющимся подстрочникам других — скучно.

Ваш Б. Я.

Впервые: Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. — Автограф (ГМГЛ, № 20896).

1 Борис Иванович Корнеев — директор издательства «Заккнига» и его жена Серафима Васильевна. В дарственной надписи на книге «Второе рождение» Пастернак выразил С. В. Корнеевой свои сожаления, что не успел выбраться к ним в гости: «Десять дней сряду я все мечтаю попасть к Вам, уславливаюсь с Борисом Ивановичем, и никак не могу попасть, это просто фатально. Тем счастливее буду я познакомиться с Вами в следующий приезд, когда, может быть, нагрузка будет меньше. Привет Вам от всего сердца, будьте здоровы» (Г. Бебутов. Отражения. Тбилиси, 1973. С. 67).

2 Э. А. Бедия — партийный деятель.

3 Впечатления от встреч с Г. Леонидзе и его женой в ноябре 1933 г. отразились в стих. «Как-то в сумерки Тифлиса...», первонач. носившем посвящение Георгию Леонидзе (1936).

4 Б.Н. — Андрей Белый заболел в июле 1933 г. в Коктебеле, в начале декабря был помещен в больницу, где скончался 8 янв. 1934 г. П. Н. Зайцев — его ближайший друг и секретарь.

5 В ноябре 1933 г. вышли в свет воспоминания А. Белого «Начало века» (М.-Л., ГИХЛ). Первый том «На рубеже двух столетий» был издан в 1930 г. (М.-Л., «ЗиФ»).

6 Дочь Тициана Табидзе — Танит.

689. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

8 декабря 1933, Москва

8. XI. 33* Дорогой папа, отвечаю тебе и через тебя маме, Жоне и Лиде, от которых имел отдельные письма. Поздравляю Лидочку со смелым и неожиданным дебютом, Жоню и Федю благодарю за новое доказательство их бесценной заботливости (еще не полученное, но названное в твоем письме), маму за трогательное обращение к Зине. Зина хочет ответить ей, но не знаю, приведет ли в исполненье свое желанье; хотя она и обратилась в последнее время к помощи Прасковьи Петровны (бывшей Паши), которая теперь работает у нас, но оба мальчика у ней в кори, а остаток досуга я отнимаю у ней своей болтовней и глупостями.

Я оттого так нехорошо и безобразно скомкал поздравленья и выраженья благодарностей в одной фразе в начале письма, что кое в чем ты и мама находитесь в заблужденьи, и я хотел бы его поскорее рассеять.

Вероятно, каждый человек как мотив или мелодия, чаще всего подвергающийся искаженыо на протяженье своей жизни, де-тонируемый леностью или забывчивостью, обрываемый обстоятельствами, и лишь в редких случаях вдруг опять себя слышишь и обретаешь. По-видимому, я мотив для насвистыванья, до пустоты мажорный, потому что существо мое — сквозь все случившееся и что еще случится, — в счастьи, в факте счастья, в бессодержательности счастья, беспричинного и часто противопричинного. Все это я опять по-новому испытал в Грузии, чудесной стране, с которой я связан литературными традициями прошлого века и личной дружбой с двумя-тремя людьми нынешнего. Дорогой туда я сознавал не только свой собственный возраст, но и года моего товарища по купе, а потом и по номеру в гостинице (Ник. Тихонова). Уезжал же я оттуда без этого сознанья, после бездонных винных ванн, которые принимал там ежесуточно две недели сряду. Знаете ли вы, что такое литр? Это две бутылки обыкновенного размера. Ну так вот на одном обеде под Кутаисом (или, по геогра-

* Авторская ошибка датировки. 698 фическому расположенью над ним), 30-ю человеками в теченье 10—12 часов было выпито сто десять литров красного вина. Оно замечательное, от него можно потерять память, но никогда не тошнит, и, при таких порциях приходится только часто бегать pour 1e petit. Это было в конце ноября, уезжал я из Москвы еще снежной, а в саду на горе над Рионом, где устроена была и за ночь разобрана названная винная электростанция — доцветали последние розы. Это было в сердце древней Колхиды, на развалинах древней горы Эа, цели экспедиции аргонавтов, в месте, куда археология помещает резиденцию Медеи1, близ Рионской электрической станции (на этот раз уже всерьез), только что воздвигнутой. Это я рассказываю об одном вечере, а таких было 14, в разных местах, и вы получите о них понятье, если я скажу, что для этих разъездов лучшие друзья мои Паоло Яшвили и Тициан Табидзе добыли отдельный вагон с проводником, который отцеплял и прицеплял его в пути по усмотренью Паоло, усложняя эти маневры только тем, что пересыпал ночные станции и оставлял нас в пути не там, где надо, так что просто чудо, что мы не потерпели крушенья и на нас не налетели дальние поезда. Не надо прибавлять, что это был (парафразируя одно заглавье Rimbaud) — wagon ivre\ и утром на возвратном пути в Тифлис мне стало так весело, что захотелось пошвырять все с себя в окошко и заменить новым, и только сознанье того, что в Тифлисе ничего не достать, заставило ограничиться одною шапкой, после чего я купил себе новую. Таковы были и все мои остальные подвиги, если умолчать о том, что в составе делегации я был единственным бессловесным членом, не только не произносившим нигде никаких речей, но не

принявшим участья ни в одном из собраний и деловых заседаний, когда они собирались официально.

И ты поймешь, как рассмешили и сконфузили меня твои по-здравленья и громом поразил факт появленья всего этого в английской, как ты говоришь, печати2. Неужели ты не мистифицируешь меня и, действительно, что-то где-то прочел? Нет, правда, ты надо мной не смеешься? Но тогда ведь это еще хуже, чем ты думаешь, и только вывезенная из Грузии беззаботность поможет скользнуть мимо этого позорного недоразуменья и его забыть.

Ты, наверное, не понимаешь, как это ужасно. Если бы я изобрел какой-нибудь хлородонт, который везде рекламировали, или

* пьяный вагон, по аналогии со стих. Артюра Рембо «Пьяный корабль» (#.)• торговал презервативами или чулками, я еще понимаю: моя позиция была бы рыцарски-возвышенна и благородна по сравненью с моей нынешней. Я понял бы далее, если бы выдумки плодились о Горьком или Гладкове, Федине или Пильняке, или даже об Эрен-бурге. Тут есть о чем выдумывать, люди эти что-то сделали, и что бы ни сделали, — ажиотажу есть к чему прицепиться. Но я уже и в основаньи миф и ажиотаж (вне моей воли и помимо участия); я выдуман доброжелателями для дальнейших выдумок обо мне. Я далек от переоцениванья твоего сообщенья, я понимаю крохотность этой мифической заметки, это чеховская известность человека, сшибленного извозчиком и попавшего в дневник происшествий. Но все же, почему Х-ом или У-греком для таких фантазий стал годиться я, а не кто-нибудь другой из ничего не делающих и мало чего сказавших, ведь таких людей не мало? Итак, вот первое опроверженье. Второе — не совсем мне понравилось (чтобы быть искренним) и еще в скобках (с Зиной я своим впечатленьем не делился) мамина оговорка насчет того, что не знает она, пользовалась ли также и Зина, как она, мама, публичным успехом (это не собственные мамины выраженья, заменяю своими для краткости, но мысль та же), что дескать, мамина трагедия хотя и крупнее, но она Зину все же понимает, и да будет ей мамин пример, во всей его несоизмеримости, поддержкой и успокоеньем. Товарищи-родители, узнаю этот тон, я его никогда не приветствовал. Это — решительная мелочь, но задевала она меня и раньше, с Женей и Женичкой, т. е. всякий раз, как мне хотелось, чтобы кровно близкие мне люди узнавали вас, больших и замечательных людей, в настоящем вашем свете, а не с теми комментариями, которыми вы рекомендуете себя их вниманью и подражанью. Потому что настолько же, насколько крупны вы в своем существе, без слов самоочевидном для каждого, настолько бывает иногда мелка ваша философия о себе и о жизни3.

Отсюда и частое непониманье, которому, может быть, я сам подаю повод. Я не помню, что писал Лидочке, но вряд ли я мог жаловаться на трудности моей или Зининой жизни, я, может быть, просто описывал их, не только без вздохов, но и не ставя себе в заслугу их преодоленье, потому что преодолеваю их не я, а сами они как-то преодолеваются. Зина же без всякого трагизма и напыщенности относится к действительности, временами ее обессиливающей, потому что, во-первых, она человек очень легкой и молодой души, во-вторых же, потому, что она с 14 лет пережила так много всякого, не в воображеньи, а на деле, сотой доли чего иной хватило

бы на всю жизнь для воспоминаний и цитированья, что она, скорей бы я сказал, — живет, чем относится как-нибудь к жизни, трагически или не трагически. Это свойственно ей в высочайшей степени, но отсутствие этой тяжеловесности отличает даже и Женю, и даже Женек маленький знает жизнь лучше и глубже, чем в свое время мы у вас. Was ist der langen Rede kurzer Sinn? * Мне бывает неприятно, когда для каких-то движений души или мыслей ваших, самоценных по существу, вы избираете абсолютно непригодную и со стороны взятую форму мещанских поучений, неизбежно

ложную и всегда ханжескую. Форма эта произвольна и ничего общего с вами не имеет, и тем легче мне сказать, что она иногда повергает меня в неловкость, не перед Зиной или кем-нибудь, а перед истиной.

А вот случай в Помпее — (пересланный Олею4) — это мне нравится, это совсем другое дело! Потому что это часть действительности, со всем воздухом и развалинами и смещеньями времени, далекого и близкого, потому что это случайность, горячая и быстрая, и пришедшая, чтобы уйти.

Не сердитесь на меня. Если я себе позволил эту легкую критику, то только с тем, чтобы порадовать вас, потому что из нее вы усмотрите и вспомните и без того хорошо известное вам, что несмотря на все перенесенное и переносимое, мы свободнее и счастливее и независимее вас, потому что мы полудикари, и история нам позволила быть ими, не роняя своего достоинства. А знать это о детях и внуках вам будет приятно.

Крепко обнимаю вас.

Ваш Б.

Благодарю вас за чудную фотографию. Как вы еще молоды! Это самое важное, а вот попало в конец письма, на поля. И чудные Тюти!5

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Медея была дочерью царя Ээта, владельца золотого руна, за которым приплыли аргонавты (греч. мифол.).

2 См. об этой публикации также в письме № 688, но найти источник газетных сообщений, которые цитировал в своем письме Л. О. Пастернак, не удалось.

3 В письме 17 дек. Пастернак раскаивался в резкости своего тона: «Дорогие мои. По всегдашней глупой своей манере я наговорил вам кое-

* Как кратко передать смысл длинной речи? (нем.) 701

чего лишнего в последнем своем письме, и теперь не нахожу себе места от жалости и досады. Вы не только далеки будете от истины, но просто меня убьете, если примете легкую и совершенно неосновательную мою журьбу всерьез! Ради Бога, простите меня. Из нелепого допущенья, что нахалами бывают только в молодости, я напустил на себя наглость, чтобы показаться вам моложавым. Я страшно люблю вас, как вы есть, и не желал бы видеть другими» (там же. Кн. И. С. 86).

4 К сожалению, случай в Помпее, рассказанный Ольгой Фрейденберг в письме к дяде, неизвестен.

5 На фотографии изображены родители с внуками Чарли и Аленушкой.

690. Н. С. ТИХОНОВУ

4 января 1934, Москва

4.1. 34. Москва

Как живешь*, дорогой мой?

Ты, конечно, сразу введен в курс воспоминаний данными письменами, не правда ли? А что, если я, например, покажу тебе такое: Закгиз?**

Не уходит ли у тебя душа в пятки при мысли о договорах?1 А у меня случилось вот что. Когда я приехал, оба мальчика были в кори. Только они оправились, как старший заболел скарлатиной. Чтобы обеспечить младшему скорейшее посещенье детсада и обезопасить от зараженья, его отделили от заболевшего, а больного с большим трудом пристроили (я нарочно так выражаюсь и не говорю: поместили) в хорошую больницу. Потом у нас была дезинфекция, как до войны, формалиновая, с выворачиваньем всех потрохов и покиданьем дома, и потом с проветриваньем этого маленького авлабара2 все 31-е число, весь остаток старого года, при восьмидесятиградусном, если ты привык к небольшим преувели-ченьям, морозе и вышедших дровах. Оргкомитеты были все в разлете, и нам пришлось все это поднять самим, самыми смертными и демократическими средствами. Неделю мы были отрезаны при общем вое соседей от

воды и всего с нею связанного, а когда 1-го сели с Зиной друг против друга выяснить, кто из нас первый не выдержит этих молчаливых переглядок и рассмеется, поучительную эту игру прервали телефонным сообщеньем, что заболел и Лялик, отделенный младший сын З. Н., но сверх ожиданья это не

* Написано по-грузински.

** Не думай, пожалуйста, что это фига с инкрустациями, — это Закгиз. (Прим. Б. Пастернака.) скарлатина, а ветряная оспа, и завтра я его с совершенно измучившеюся Зиною перевезу из Трубниковского переулка домой. Я нарочно даю тебе это коротенькое резюме всего проверченного и проработанного, чтобы с его помощью измерить степень того легкомыслия и оптимизма, или энтузиазма, уж не знаю, право, как лучше это назвать, — которые я вывез из Грузии. Потому что, несмотря на все перечисленное, чувствую я себя так, точно мне сейчас в Ориант3 и, миновав обоих парикмахеров, я в конце коридора открою дверь и, о радость! — Ты будешь ерошить волосы и рвать бумажки, а Гольцев — лежать под пледом с ячменем. Нет, каков заряд-то, а? И вовсе не винный какой-нибудь, а более глубокий и широкий, черт знает, в чем он, опять не знаю, как сказать.

Наслышаны мы, между прочим, что не меньше нашего полюбился Вам Шаншиашвили Сандро. Я давно догадывался, что, если говорить о людях, он гораздо ближе тебе, чем, скажем, Юрин или Колосов, и даже симпатичнее Кирпотина4. Надо ли говорить, что я вполне разделяю твою симпатию и, например, даже не сравнил бы его с Никулиным. Но прости мне этот тон (это ощущенье Орианта; помнишь пытку коньяком (Арсенишвили, Гаприндаш-вили и пр.)?). Как твоя работа? Не заставят ли нас делать одно и то же? Списываешься ли ты с Мицишвили?5 Помнишь ли ты вообще что-нибудь? Да жив ли ты, черт побери, если уж на то пошло, и что с тобой, наконец?!

А я, может статься, подзаймусь грузинским, но не раньше, чем оргкомитеты переведут на положенье пожарных команд, с ночными дежурствами и вызовом на дом по первому требованью, а также изобретут сыворотку ото всех детских болезней сразу. Еще в скобках: ориантизм тона возможен благодаря тому, что у Адика болезнь в очень легкой форме и все у Жени тоже благополучно. И ты не поверишь, представь себе, я наравне с сулемою и лизолем переводил все это время Чиковани и Абашидзе, ведрами, изо дня в день. Не хочу и за глаза обижать названных: у Чиковани замечательный есть материал — «Мингрельские вечера», не шутя восхитительный, и тот я переведу как-нибудь в другое время, потому что его можно переводить без рецепта. В предвиденьи конца страницы я чувствую совершенную беспомощность перед Марией Константиновной6: ты, наверное, чтобы подать себя большим планом (хотя это не в твоем характере), таких гадостей нарассказал про меня, если вообще обмалвливался, что никакими поклонами теперь делу не помочь. Если это не так, то потрудись передать ей самый сердечный на свете привет, и знай: от меня он, собака. Зины нет здесь, она с младшим и лишь завтра переедет. Урывками читала она (оцени условия) «Кл<ятву> в тумане»7 и восхищалась.

Хотя переводы Ч<иковани> и А<башидзе> чудовищные, но тем не менее, однако, я дал их Колосову, в «Молодую гвардию»8. Лучше будут, — звездану9.

Впервые: ЛН. Т. 93. — Автограф (собр. Н. С. Тихонова).

1 В ноябре 1933 г. во время совместного пребывания в Тбилиси Пастернак и Тихонов заключили договор на книгу переводов грузинских поэтов с Закгизом.

2 Название старого района Тифлиса со смешанным населением.

3 Гостиница, в которой останавливались Пастернак, Тихонов и Голь-цев в ноябре 1933 г.

4 Михаил Петрович Юрин и Марк Борисович Колосов — сотрудники журн. «Молодая гвардия». Валерий Яковлевич Кирпотин в 1930-е гг. — секретарь оргкомитета Союза писателей и зав. сектором худож. литературы ЦК ВКП(б).

5 Николо Мицишвили — грузинский поэт, гл. редактор Закгиза, с которым был подписан договор; под его редакцией вышла книга «Поэты Грузии» (1935).

6 М. К. Неслуховская — жена Тихонова.

7 Роман Н. С. Тихонова (Л., 1933).

8 Переводы «Баллады спасения» И. Абашидзе и «Ушгульского комсомола» С. Чиковани были опубликованы в «Молодой гвардии» (1934, № 2).

9 То есть опубликует в «Звезде».

691. Г. Э. СОРОКИНУ

4 января 1934, Москва

4.1. 34

Дорогой Григорий Эммануилович!

Давно-давно собираюсь написать Вам и, частью, о делах. Но то в отъезде был с грузинскою бригадой, то в домашних хлопотах: по приезде из Тифлиса попал под обстрел детских болезней такой частоты, что это покажется Вам выдумкой: корь, скарлатина, ветряная оспа и все это у двух малышей З<инаиды> Н<иколаевны> — и все — подряд. Но не бойтесь, пишу Вам из квартиры, продезинфицированной формалином. В физическом смысле письмо мое совершенно безвредно, но невинно оно также и в нравственном.

В прошлому году мечты о прозе так тесно связались у меня с перепискою с Вами и с издательством, что стоило ей заглохнуть, чтобы я и думать позабыл о прозе, точно ее никогда и не задумывал. И правда, я далек теперь ото всего этого и совершенно в стороне от неосуществляющихся и плохо осуществимых планов. Порядочною мукой были для меня мои не оправдывавшиеся «поры-ванья», и я счастлив, что эти предположенья временно отложил. Зато я по уши ушел в переложенья с грузинского, работу подчас даже радостную и увлекательную.

Верьте мне, что вопрос мой будет совершенно академический и что он никакою безвыходностью не продиктован. Расплата по однотомнику и другим договорам так долго меня кормила, что к концу мне уже неловко стало прибегать к этому источнику, и лишь на расстоянии от дома, не сумев издалека управиться как-нибудь по-другому, осмелился я в последний раз протелеграфировать издательству о деньгах из Тифлиса. Это было тотчас же улажено, — спасибо.

Но если, как я сам всего скорее думаю, этою последней тысячей все Эльдорадо наконец исчерпано, я хотел бы об этом подтверждены!, т. е. проще говоря: попросите, пожалуйста, кого-нибудь в Издательстве известить меня, так ли это или нет, не более того, и, в случае отрицательном, — каков остаток К

Я был бы очень благодарен Вам, если бы Вы мне что-нибудь о себе самом и общих друзьях написали. Не шутя, — я только не сумел это выразить выше — для меня слились в одно целое Вы, издательство, Ленинград, Спасские и Чуковские и, наконец, мои последние надежды и претензии работать самостоятельно. Не подумайте, пожалуйста, что в последнем мне помешало что-либо вне меня лежащее, — напротив: поддержка была отовсюду, и, сильнейшая, — с Вашей стороны. Не суждено было это совсем по-другому, это долгий разговор, да, по правде говоря, мне и самому не все туг ясно. Теперь все это вытеснила Грузия и переход на второразрядные заданья. Но Грузия — комплекс непроходимой восхитительности, и случившемуся надо радоваться, а не жалеть об этом. Я что хочу сказать: весточка от Вас была бы для меня известием из очень сложного и милого прошлого, с которым я вынужден временно расстаться, чтобы потом, спустя какой-то срок, другим вернуться к нему.

Ваш Б. П.

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981. - Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1 На следующий день Пастернак писал Сорокину: «Едва успел отправить вчерашнее заказное, как пришли по телеграфу деньги, — очень кстати, хотя я их и не ждал. Все же просьба письма остается в силе... чтобы из издательства сообщили, в каком положеньи наши расчеты <...> За посланное большое спасибо. Сейчас отправлюсь за женой, перевозить домой с больным мальчиком» (там же. С. 224).

5 января 1934, Москва

5.1. 34

Дорогой Гаррегин Владимирович, от души благодарю Вас за новогодний привет, Н. И. Мицишвили1 пусть расскажет Вам, как мы с женой провели это время, а Вы в свою очередь дополните его сведенья тем, что у Адикова брата оказалась ветряная оспа, а не скарлатина, как у старшего2. Не путаю ли я Вашего имени и отчества, так ли Вас зовут?3 Если я ошибаюсь, простите и исправьте ошибку. Мне хотелось бы Вам сделать небольшой подарок. Напишите мне, пожалуйста, есть ли у Вас мой однотомник?4 Случайно достал сейчас 1 экземпляр, и если бы у Вас не оказалось, сохраню для Вас и вышлю. Если же он у Вас есть, постараюсь достать для Вас «Воздушные пути»5. Большое спасибо за газету; за что упрекать Вас? Вы только в связной форме выразили то, что в таких случаях требуется, и чего я не мог из себя выжать даже и бессвязно6. Номер, конечно, огорчителен другим, изображеньями гениев, но одной рожей больше, одной меньше, разница невелика, а товарищ Кротков настоящий рисовальщик и, за вычетом одного отца, сделал меня лучше многих прочих7. Всегда неприятен бывает этот дух «государственного событья», смотрите, мол, несчастные, — приехали! Ну да, к этому пора привыкнуть. Целую Б<ори-са> И<вановича>8. Сердечный привет всем. Попросите Оакгиз — по груз> ответить мне. Всего лучшего. Ваш Б. П.

Привет товарищу Фоляну9. Будьте здоровы, милый Вы человек.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3100, оп. 1, ед. хр. 150).

1 Николо Мицишвили — грузинский поэт и гл. редактор Закгиза.

2 Адик Нейгауз ездил в Тифлис с матерью в 1931 г., и Бебутов его знал; здесь имеется в виду Стасик.

3 Пастернак часто ошибался в правописании имени Бебутова; надо — Гарегин, все называли его уменьшительным: Гаррик. Еще в 1929 г. он запрашивал об этом А. Е. Крученых, с которым Бебутов был дружен: «Будь добр, сообщи мне по почте или по телефону имя и отчество Бебутова. Кроме того, если тебе не чужды человеческие чувства, дай мне на день на два альбом с моими фотографиями. Твой Б. П. 25. XII. 29» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 184).

4 Борис Пастернак. «Стихотворения в одном томе». Л., 1933.

5 Борис Пастернак. «Воздушные пути». Проза разных лет. М., 1933.

6 По-видимому, сообщение Бебутова о писательской бригаде, посетившей Тифлис в ноябре 1933 г.

7 Владимир Александрович Кротков — художник.

8 Борис Иванович Корнеев — журналист, директор издательства «Зак-книга».

9 Паруйр Меликсетович Фолян — директор Закгиза.

693. Г. Э. СОРОКИНУ

// февраля 1934, Москва

11.2. 34

Дорогой Григорий Эммануилович.

Все время собирался Вам написать после известья о Вашем посещеньи и опять довел это до необходимости писать прямо о деле, и в очень срочном порядке.

Все-таки жалко, что Вы не наведались потом еще раз, как обещали З<инаиде> Н<иколаевне>. И потом вот еще что. Когда на похоронах Белого ко мне подошла, как я узнал впоследствии, жена Ваша1, я должен был произвести на нее впечатленье непонятливого идиота. До того я был поглощен ходом похорон (не только со стороны душевной, но и технической). Со Спасским, которого я увидал среди провожающих, я поздоровался только спустя несколько часов, в крематории. Когда молодая женщина со знакомым, как мне показалось, лицом, назвала мне Сорокина, я стал ассоциировать сказанное с одним московским Сорокиным2 и с тем, что и его нет на похоронах, как и множества москвичей (как член похоронной комиссии я эти знаки вниманья или невниманья воспринимал почти кровно). Затем я задумался над тем, где именно видел эту даму. В крематории она стояла в головах у гроба, как раз против меня3.

Теперь я знаю, кто она. Бели Вам удастся, уверьте ее, пожалуйста, что в следующую встречу я не буду так бестолков, как в первую, что Вам случалось слышать от меня вещи вполне связные, нормальные. И, вместе с приветом, попросите у нее от моего имени извиненья.

Жена, как мне кажется, сказала Вам некоторую часть того, что Вы услышали бы, если бы меня застали. Бели обратиться к деловой стороне сказанного, то еще раз сердечное Вам спасибо за поддержку в теченье этих двух лет. Она права (и знала мое мненье): опять переиздавать что-нибудь просто неудобно и пользоваться форсированными договорами было бы с моей стороны бессовестно.

И вот, в явном, как Вам на первый взгляд покажется, — проти-воречьи — существо моей просьбы. Ознакомьтесь, пожалуйста, с прилагаемой бумагой, и не откажите мне в услуге: внесите, пожалуйста, за мой счет 1000 руб. дирекции Гос. Театра оперы и балета4.

Содержанье бумаги соответствует истине, все это так и было, и деньги надо вернуть. Если мне с Л<енинградского> И<здатель-ства> П<исателей> уже получать не за что, авансируйте меня, пожалуйста, этой суммой (в счет участия в составлены! грузинского томика Библиотеки поэта, что ли)5 и внесите ее в указанный бумагою срок.

Радлов предлагал мне через Анну Дмитриевну6 погасить эту задолженность какой-нибудь другой работой, даже, может быть, какой-нибудь пустяковой, — словом, ни с чьей стороны тут никакой неделикатности не допущено, свою же вину я хочу загладить именно так, как пишу Вам. Юрисконсульту пока, до полученья Вашего согласья, не отвечаю, срок же, поставленный им, истекает 17-го февраля. Надо торопиться. Сделайте, пожалуйста, одол-женье, снеситесь с ним по телефону. И телеграфируйте мне. Вы не поверите, как мне стыдно, что на этот раз приходится беспокоить Вас сверх обычного еще посторонними заботами, чрезвычайной при этом срочности.

Вообще я, кажется, переоценил свои возможности. Таких непогашенных долгов у меня еще на 6000.3 тыс. я должен Уральскому обкому (за летнее пребыванье на Урале с семьей впятером в 1932 г.)7, 2 — Новому Миру и одну — Красной Нови8. Я страшно затруднил себе ближайшие месяц-два решеньем разделаться с двумя последними долгами (журнальными) и тем, что довел это решенье до сведенья редакций. Как ни напряженно перевожу я грузин, мне трудно будет наработать столько, чтобы уже и за работою очистился остаток на текущую жизнь. Если оперною тысячей мой счет в Л.И.П. еще не исчерпан, то переведите мне, пожалуйста, что-нибудь в феврале. Но в том ли случае, если на ней кончаются мои честные ресурсы, в том ли, если уже и эта тысяча попадает в разряд авансов, — нового мифического источника для денежного перевода не создавайте, а то ведь и это может стать когда-нибудь нибелунгами, а ни-

чего я так сильно не желаю, как выбраться когда-нибудь из опер-но-балетных своих грехов на твердую и реальную почву.

Итак, телеграфируйте мне, пожалуйста, относительно юрис. консульта; напишите, что может получиться из дальнейшей моей просьбы; и, наконец, простите, что отнял у Вас столько времени. Крепко жму Вашу руку. Привет Вашей супруге.

Преданный Вам Б. Пастернак

Я не знаю нового адреса издательства. Говорят, Вы снова в Гостином дворе?9 Сейчас узнал окольными путями, но не уверен в правильности. Итак, телеграфируйте*

Впервые: Ежегодник ПД, 1979. Л., 1981.— Автограф (ИРЛИ, ф. 519, № 507).

1 Нина Николаевна Сорокина.

2 Сорокин Тихон Иванович — историк и искусствовед.

3 Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) скончался 8 января 1934 г. Пастернак был включен в комиссию по организации похорон. Гражданская панихида проходила в большом зале оргкомитета Союза писателей вечером 9 января: «В почетном карауле стояли В. В. Вересаев, Ф. В. ГЗщцков, Л. М. Леонов, Б. А -Пильняк, В. Лидии, Б. Л. Пастернак, В. В. Каменский, многие литературоведы, критики и др.» («Вечерняя Москва», 10 января 1934). 10 января состоялись похороны: «В 1 ч. 30 м. дня под звуки траурного марша писатели Богданов, Пильняк, Зайцев, Гроссман, Пастернак и другие выносят гроб. Траурная процессия направляется в крематорий» («Известия», 11 января 1934).

4 Имеется в виду расторжение договора с Театром оперы и балета и возврат полученного в 1932 г. аванса. Пастернак собирался перевести текст стихотворных либретто Р. Вагнера к его оперной тетралогии «Кольцо Ни-белунгов».

5 Том «Библиотеки поэта» «Грузинские романтики» (Л., 1940) вышел под ред. Н. С. Тихонова и Ю. Н. Тынянова. Пастернак в нем участия не принимал.

6 Режиссер Сергей Эрнестович Радлов и его жена Анна Дмитриевна Радлова, поэтесса и переводчица, вероятно, были инициаторами договора Пастернака с Ленинградским театром оперы и балета.

7 Речь идет о лете 1932 г., когда Свердловский обком пригласил Пастернака на 3-4 месяца для изучения и отражения в литературе успехов социалистического строительства на Урале. Пастернак отказался что-либо писать на эту тему и через полтора месяца вернулся в Москву.

8 Пастернак печатал в этих журналах грузинские переводы («Новый мир», 1934, № 3:6 стих. Н. Мицишвили, В. Гаприндашвили и К. Надирадзе; «Красная новь», 1924, JSfe 6: 6 стих. П. Яшвили, Г. Леонидзе и Т. Табидзе; JSfe 9: 3 стих. В. Гаприндашвили и И. Гришашвили).

9 Письмо отправлено по адресу: «Внутри Гостиного Двора, 122».

694. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

12 февраля 1934, Москва

12.11.34

Марина, спасибо. Страшно большая радость. Закрытые письма заводят страшно далеко. Пишу и конца не вижу. Ты права во всех своих недоуменьях и я радуюсь им. На днях отправлю тебе закрытое. Открытку пишу себе в успокоенье: жить не дает мысль, что ответ тебе еще не в пути. За эти годы жизнь моя хотя и облегчилась душевно и я не знаю нужды, но до совершенной непосиль-ности расширился круг забот, непосредственно на мне лежащих. Близких людей и судеб стало так много, что просто не знаю, как будет дальше. Итак о главном. Целый год пробовал писать прозу1 и ничего, кроме фабулы, оставшейся временно в голове, не получилось. Это меня не пугает. Судьба попытки мне ясна, эта неудача меня политически воспитала. Говорю о неудаче внутренней и субъективной, потому что никому ничего не показывал. Большую роль в жизни последних 3-х лет играла Грузия. У меня там много друзей. У

них два-три отличных поэта и — в потенции — вообще замечательная поэзия. Перевожу их по подстрочникам, книгу назову «Книгой переложений». Был при смерти Нейгауз, год пролежал в больнице (полиневрит), теперь дома, но долго не сможет играть, если и сможет когда-нибудь. Всю зиму болели дети: корью, скарлатиной, ветряной оспой и пр. Работаю урывками. Привет всем твоим!!

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 73).

1 Работа над романом, началом которого была «Повесть» (1929).

695. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

13 февраля 1934, Москва

Дорогая Марина, прости, я знаю, как неприятно получать открытки, точно они еще менее письма, нежели полное их отсутствие (молчанье). Но честное слово я не вру и не конспирирую, говоря, что закрытые неведомо куда заводят. Я начал тебе два письма и они разрастаются в трактаты. Их не будет, потому что это та мера многословья, которая равносильна взаимному мучительству. Пиши и ты мне открытки, чтобы не было неравенства. Кругом все больны и мне месяц-другой придется страшно гнать работу, чтобы оправдать себя и моих многочисленных своих. Но потом может быть станет немного легче и я буду тебе больше писать. Главное, что мы снова в совместном разговоре, мне просто не верится! На похоронах Б<елого> было меньше народу, чем того ждали П<иль-няк> и я. Мы были в пох<оронной> комиссии и я все это переживал с кровной деловитостью старух в семьях, где покойник (кто был, кого не было, сколько было цветов и пр. и пр.). В заметке моего только-две три деловых вставки и то не в моих выраженьях1. И мне и П<ильняку> не до содержанья было: надо было задать тон всей последующей музыке, т. е. судьбе вдовы, произведений, самих даже похорон и пр. Подбор имен был не только не мой, но мне наперекор. Пруст у меня в родном мне ряду между Толстым и Рильке2. Белый в ярком, но мне далеком. Будь здорова.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 73).

1 Речь идет о некрологе, подписанном Б. А. Пильняком, Б. Л. Пастернаком и Г. А. Санниковым, где говорилось: «Творчество Андрея Белого—не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно — создатель громадной литературной школы» («Известия», 9 янв. 1934). Эти слова вызвали резкую критику со стороны Союза писателей, отразившуюся в «Литературной газете» (16 янв. 1934): «Реакционным утверждением было бы зачислять Белого в классики мировой литературы, так как такое утверждение не соответствует истинному положению вещей — Белый слишком индивидуалистичен и манерен в своем творчестве, чтобы создать особую школу».

2 Имеется в виду следующая фраза из некролога: «Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее» («Известия», 9 янв. 1934). См. т. V наст, собр.: «Памяти А. Белого».

696. П. М. ФОЛЯНУ

14 февраля 1934, Москва

14. П. 1934 Дорогой тов. Фолян!

Был очень рад Вашему письму, и если меня немного и пугают Ваши ожидания и кажутся несколько преждевременными, то Вы нисколько в этом не виноваты, потому что Вам, наверное, ничего не известно.

В наше время одни известия о смерти воспринимаются как относительные перемены в жизни умершего, да и то при некотором снисхождении к покойнику, все же остальное плывет мимо ушей, даже и дружеских.

Дело в том, что я в свое время писал Николо Мицишвили и, кажется, Г. В. Бебутову о сюрпризах, ожидавших меня дома по возвращении из Тифлиса1, но по-видимому это осталось тайною адресатов. Дети переболели корью, скарлатиной и ветряной оспой, мальчиков разделяли, определяли в больницу, в квартире делали дезинфекцию и пр. и пр. Когда в начале января наступил временный перерыв, я взялся за несколько подстрочников сразу, впрочем собственно тогда только и доставленных Гольцевым.

Когда умер Андрей Белый, мне нельзя было отказаться от непосредственного участия в организации похорон, улажении первых дел и пр., да это и соответствовало моим ощущеньям. В конце января оргкомитету дали телеграмму о выезде бригады грузинских писателей, опять эти ожидания, к сожалению ложные (они не приехали), меня близко коснулись; в те же дни продольным сече-ньем, способом открытой сапы стали подрывать для Московского метро двухэтажный дом, в котором я живу. Сначала я лишился сна от восхищения работою молодежи, дни и ночи производившей чудеса последовательного превращения знакомого двора во что-то среднее между немецким Эссеном и греческим Тартаром, вскоре же чудеса эти обернулись для меня другой стороною, когда черный ход забили, обвалили лестницу на чердак, и мой конец квартиры стал хозяйственным трактом для остальных соседей, находящихся, конечно, в худшем положении, нежели я, потому что в чаяньи обвала я могу требовать для себя квартиры с некоторой надеждой ее когда-нибудь получить, с их же стороны такие попытки обогатили бы только народный фольклор, являясь бескорыстнейшими образцами устного творчества, ни к чему практически не ведущими. За этими хлопотами о квартире, отнюдь не безысходными, но и на строчку не подвигающими Важа Пшавелу, приехали, к большой моей радости, семьи Табидзе и Мицишвили (Т<ициан> Т<абидзе> болен гриппом и только завтра встанет с постели). Наконец, на днях заболела жена, как нам кажется (врач еще не определил), воспалением легких.

Все это я выписал нарочно для того, чтобы после всего этого Вам сказать, что если в отличье от только сидящих и болеющих кто и работает в республиках рассудку вопреки, наперекор стихии, так это: 1) рабочие метро, 2) я и 3) Гаприндашвили2.

Все его подстрочники замечательные и кроме того он и сам еще замечательный поэт. К моему прискорбию у меня нет времени написать ему лично. Также хотел бы я написать Б. И. Корнееву.

Но эти письма меня далеко заведут, я вынужден писать комбинированные письма, где вместе о деле и о жизни, и иногда пишу их в надежде, что второю своей частью они не останутся достоянием одних получателей, а пойдут и дальше волною поклонов и передач, по сделанным в них указаниям. Но правда, все так заняты, что нельзя быть в претензии на Мицишвили, у него и самого голова кругом от тысячи разноречивых миссий, на него легших. То, что отделывалось, посылалось ему, но при его недосуге рукописи попадают в положение порнографических открыток, которых никому не показывают. Так я перевел две вещи Чиковани и Абашидзе3 и если бы «На Рубеже» хотели ими воспользоваться, то можно бы, но я не знаю, известно ли это Б<орису> И<вановичу> и Г<арегину> В<ладимировичу>4.

Мне очень бы хотелось в ответ на Ваше нетерпенье сказать Вам, что я за Важу еще не садился, но к крайнему сожалению я себе это удовольствие испортил тем фактом, что сверх нескольких вещей Надирадзе, Гришашвили, Гаприндашвили и Мицишвилевского «Сталина» (не считая вышеназванных Чиковани и Абашидзе) я еще перевел 200—300 строк Змееда5.

Однако не делайте из этого опрометчивых выводов. Это нисколько не значит, что этих строк завтра будет 350, а послезавтра 400. Так может быть пошло бы дело, если бы Вы прислали мне на дом наряд Тифлисской милиции, которая перерезала бы телефонные провода, несла караул у дверей моей комнаты, ходила бы детям за молоком и

пр. и пр. Вам хотелось бы Важу пригнать к съездуб, издатели же современных антологий, обуреваемые тем же похвальным желанием, рекомендуют мне временно отложить Важу Пшавелу во имя того же съезда и ради современников. Но ни Вы, ни они не хотите учесть того, что с не меньшим рвением готовятся к съезду самые всевозможные стороны жизни, и всех больше — микробы и бактерии, положившие именно до съезда, а никак не после, извести меня и угробить моих близких.

Я работаю над всем сразу, не гуляю, не читаю книг, два месяца не видел своего сына, живущего в 20 минутах езды от меня — что большего могу я сделать для Вас и Гудиашвили, которому я от души кланяюсь и согласию которого иллюстрировать книгу7, радуюсь как первой радости на протяжении этих 9 страниц. Больше ничего не скажу. Крепко жму Вашу руку. Гаприндашвили же — молодец, и мне так нравится, что я прямо опасаюсь, не провел ли он эти 2У2 месяца так же пестро и бурно, как я.

Не откажите передать мой сердечный привет всем общим друзьям. Будьте здоровы.

Искренне уважающий Вас Б. Пастернак

Сделайте милость, доведите хоть часть рассказанного до сведения тех нескольких, которых я люблю, дружбою которых дорожу живейше и от невозможности написать которым, очень страдаю.

Впервые: «Литературная Грузия», 1966, № 1. — Местонахождение автографа неизвестно.

Паруйр Меликсетович Фолян — директор Закгиза, с которым был подписан договор на книгу «Поэты Грузии в переводах Б. Пастернака и Н. Тихонова» (1935).

1 См. письмо № 692.

2 Пастернак переводил поэму Важа Пшавела «Змееед» по подстрочникам, которые делал поэт В. Гаприндашвилщ кроме того в 1934 г. Пастернак перевел несколько стихотворений Гаприндашвили.

3 Имеются в виду переводы «Баллады спасения» И. Абашидзе и «Уш-гульского комсомола» С. Чиковани.

4 Б. И. Корнеев и Г. В. Бебутов были сотрудниками газ. «На рубеже Востока», где печатались переводы Пастернака. Сохранилось письмо Кор-нееву по поводу публикаций в газете: «Дорогой Борис Иванович! Свинство, что ни разу я не написал Вам, сколько ни собирался. Да и сейчас обращаюсь с деловой просьбой, отчего и ограничиваюсь открыткой. Если мне причитается какая-нибудь мелочь с "Рубежа Востока", и она еще не переведена по тому адресу, который я дал т. Фоляну, то она очень бы пригодилась мне тут, в доме отдыха. <...>£. Пастернак. Не напечатаете ли Вы в "На Р<убеже> В<остока>" Чиковани "Мингрельские вечера" в моем переводе?» («Дом под чинарами», Тбилиси, «Мерани», 1970. С. 232).

5 Поэма Важа Пшавелы «Змееед» была издана в 1934 г. (Тифлис, Закгиз).

6 Речь идет о съезде писателей, который происходил в 1934 г.

7 Оформление сб. Пастернака «Грузинские лирики» в Москве (1935) было сделано Ладо Гудиашвили.

697. РОДИТЕЛЯМ

27 февраля 1934, Москва

27. П. 34

Дорогие мои! Сегодня день вашей свадьбы. Как бы мне хотелось быть с вами в этот день1. И опять, который уже год мы — врозь. Поздравляю вас. Будьте здоровы и живите долго-долго.

И судьбе угодно, чтобы именно в этот день прилетел в Москву на аэроплане освобожденный Дм<итров>2. Как часто за последние годы останавливала меня в иных движеньях мысль о вас. Жертвовали на австрийских рабочих, я пожертвовал 500 р. и подумал: смею ли, не отзовется ли это как-нибудь косвенно на вас3.

Здесь незаслуженно носятся со мной. Это совершенно как в детстве, когда в доме, созданном тобой и твоими заслугами, столбами свежего воздуха ходило веянье всего крупного и значащего, когда я перевидал, как простых завсегдатаев, столько больших людей, когда я мог пользоваться как чем-то саморазумеющимся, близостью Скрябина и пр. и пр.: когда все это, отпущенное судьбою тебе, я глотал даром, как одну из полагающихся мне частностей моей детской.

У меня нет ни одной заслуги революционной, ни одной — общественной, при всем преклоненьи перед иными сторонами нашей действительности мне хотелось бы спокойно и незаметно писать хорошие вещи. Но тот же широкий стиль детства проникает и мою нынешнюю жизнь, на этот раз уже ничем не объяснимый, потому что уже не в такой степени, как прежде, объяснимый тобою. Та же короткость со всем совершающимся на свете, с лучшими мыслями, именно сейчас всеми додумываемыми и, почему-то, имеющими быть додуманными при моем участии, та же интимность с крупным, не завоеванная, валящаяся в рот, даровая и пассивная4. Как-то повелось тут в последнее время, что когда хотят обставить что-нибудь по-настоящему, тут должен быть также и я, или мой отказ, или чем-нибудь оправданное отсутствие.

И когда мне позвонили о прилете этого человека и о том, не захочу ли я завтра в печати отдельно приветствовать его рядом с Горьким, Вс. Ивановым и несколькими другими, каюсь, я не мог не поддаться тому давно накопленному восхищенью, с которым я следил за его судьбой. Я продиктовал это по телефону, и только совершенно неуместным подумалось мне обращаться от своего только лица к такому моральному богатырю, мне — нравственной пешке. И я это адресовал от себя и друзей своих. Я завтра пожалею об этой торопливости и с другой стороны: это сделано слишком коротко и плохо. Кажется так: «Здравствуйте. В придачу к слышанному со всех концов света примите выраженья восхищенья, моего и моих друзей. Год прошел под ежедневным отблеском вашего мужества. Спасибо за пример, за образец того, источником каких чудес может быть чувство долга. Вы пожизненно обязали нас, украсив нам часть наших воспоминаний». И затем подпись моя и трех грузинских поэтов5. Успокойте меня насчет того, что это ничего, что это вам не неприятно. Не бойтесь того, что я раскачусь как-нибудь и дальше, что я забудусь. Я всегда связан вами и чту и люблю эту связанность, но тут я не мог, так велика была сила аффекта.

У нас все более или менее здоровы, т. е. и у нас и у Шуры все, болевшие гриппом, постепенно повылезали из него. Только Зина, прямо с постели принявшаяся за невозможнейшую уборку, как никак трети всей бывшей Волхонской квартиры, с обметаньем пыли с потолков, мытьем полов и окон и пр. и пр., опять чувствует себя очень плохо. Я уговариваю ее походить к докторам и надеюсь, все обойдется.

В истекшем году я при подаче сведений о заработке (с целью обложенья) указал доход в 29 ООО р., целиком до копейки израсходованный в теченье года. Может быть, если бы и была возможность делать сбереженья, я бы их не делал из полной к этому неспособности, но такой возможности и нет, и только мне радостно, что при скромной сравнительно жизни (за исключеньем хорошего питанья), я легко сравнительно справляюсь с довольно большим диапазоном забот, на мне лежащих.

Мне часто делают сейчас предложенья (из издательских сфер или вдруг от партийного руководства в Грузии, или еще откуда-нибудь, но при нашей централизованности все это исходит от одной высшей инициативы государства) совершенно перестроить мою жизнь, облегчить ее, удвоить или даже утроить заработок, обеспечить одиночество где-нибудь на реке в ущелье, освободить от договорной зависимости, перепечатывать одно и тоже столько раз, сколько я захочу и пр. и пр.6, и на все это я неизменно отвечаю, что прикидываться бедняком было бы с моей стороны ханжеством, что по сравненью с общим заработком не только рабочих, но и

благополучнейшего слоя интеллигенции мне приходится зарабатывать непозволительно и безнравственно много. Но что этого, пусть и не легко дающегося заработка и достаточно. Что я слишком люблю жизнь и искусство, во всей реальной их прозе, и мне стало бы скучно и пусто без них по ту сторону, которая открывается за золотою границей приобрете-нья патефонов, американских шкапов, редких библиотек и пр. и пр. И отказываюсь. Правда, это делается немного и на ваш счет, и особенно на счет Зины, своими руками перелицовывающей даже и мои вещи (пальто, например), уже не говоря о ее собственных и детских, но, разумеется, стоит кое-чего и мне. И так, по-моему, все это и надо, иначе с любой из этих сторон это было бы бессовестно.

Правда и то, что в этом воздержаньи от соблазна нет ни капли самопожертвованья, потому что когда я прошу тысячу, а мне предлагают пять и я от четырех отказываюсь, я уступаю меньшую долю: главное, чем я живу, т. е. та неведомая и незаслуженная симпатия, которая все время пока что неведомо откуда на нас истекает, остается при мне.

Но я записался, пора спать. Крепко-крепко обнимаю вас и еще раз поздравляю. Спасибо за открытку. Всем поклон. Утешьте насчет беспокоящего.

Целую Федю, Жоню, Лиду, Аленушку и Чарли.

Уже я получаю просьбы об автографе из... Аргентины, со вло-женьем моей карточки с испанской подписью: El poeta. Дописываю на остатке французского ответа.

Boris Pasternak

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 «Знаменательное утро пережили мы <...>, когда в день 45-летия нашего наши ангелочки (Аленушка и Чарли. — Е. Я., М. Р.), разодетые в чудесные карнавальные костюмы сказочных принца и принцессы — с цветочками в руках постучали к нам утром и в стишках поздравили нас», — писал Л. О. Пастернак 15 марта 1934; там же. С. 92.

2 Георгий Димитров — деятель болгарского и международного рабочего движения, обвиненный вместе с Благим Поповым и Василем Таневым в поджоге берлинского Рейхстага в 1933 г., после профессионально проведенной им защиты, поддержанной выступлениями мировой печати, был оправдан и вместе с другими участниками Лейпцигского процесса приехал в Москву.

3 По аналогии с советским опытом Пастернак опасался, что его участие в антифашистских выступлениях, в частности подпись под статьей в помощь австрийским участникам восстания 12-15 февр. 1934 г. («Литературная газета», 22 февр. 1934), может поставить под удар родственные семьи в Германии и им повредить.

4 Имеется в виду знакомство с Н. И. Бухариным, который привлек Пастернака к участию в газ. «Известия», гл. редактором которой он был тогда назначен.

5 Точный текст письма, опубликованного в «Литературной газете» (28 февр. 1934) за подписью Пастернака, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе и Николо Мицишвили.

6 Подобные предложения могли исходить также от Бухарина, который считал, что Пастернак возьмет на себя роль «первого поэта», отражающего величие эпохи. Но подобная перспектива его отталкивала, и он ясно чувствовал смертельную опасность этой ловушки. См. об этом в письме Цветаевой 2 нояб. 1934: «Мне бы надо куда-нибудь на год, на два скрыться, а то тут ни жить, ни работать не дают. У нас как-то по-детски или по-американски ко всему относятся. Вдруг какое-то неумеренное, вздорное, разгоряченное вниманье. Теперь только мне открылось, что я ничего не сделал, и нечего показать. Ты одна бы только поняла меня» (Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. С. 553-554).

698. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

16 марта 1934, Москва

Дорогая Марина! Я совсем не согласен с твоим предложеньем не считаться письмами, и если до сих пор не поблагодарил тебя за письмо, то только оттого, что все надеялся в закрытом передать тебе: 1) свое восхищенье Муром (какой наполеонид1, что за прелесть мальчик, спасибо!) 2) свой ужас перед трудностями вашей жизни. И в закрытом я, к твоему негодованью, может быть, робко бы предположил, что ты слишком горяча и наверное несправедлива. Но, нимало в этом не служа примером общей здешней жизни, лично у меня этот год сложился очень трудно. Я писал тебе о болезнях и пр. Последние недели сильно продвинулась вперед работа по сооруженью метрополитена как раз под нашим домом. Двухэтажный флигель стал маленькой частностью очень сложной конструкции, обнявшей его снизу, с боков и отчасти даже сверху. Меня удивляет, что эта развалина, всегда вздрагивавшая от пробега трамвайных вагонов, еще не расселась и не рухнула. Очевидно надо переезжать, но пока некуда. Обещают помочь в союзе пис<ателей> и вообще мне жаловаться нечего, но вот чем занят тот плацдарм, с которого я должен был бы расположить свое письмо тебе. Благодарю тебя без счета за все твои мысли и за рассказ о себе. На днях опять в открытке скажу, в цепи каких уравнений находится мое задолженное письмо к тебе. Будь здорова. Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922—1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 173). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

1 Наполеонидом Пастернак называл Мура в письме № 347 в ответ на восхищение Цветаевой сходством своего сына с Наполеоном.

699. Е. В. ПАСТЕРНАК

И июня 1934, Москва

11. VI. 34 Дорогая Женя!

Вначале я мечтал в десятых числах попасть к вам. Но это никак не выходит. К 3<ининому> воспаленью прибавился грипп, в доме делается неведомо что, Пр<асковья> Петровна со всем справиться не в силах, круглые сутки грохот, пыль и грязь1, а ко всему и у меня без температуры сильно болит горло, вероятно это легкий грипп, который я переношу на ногах. Вы не беспокойтесь, лично для ваших опасений никаких оснований нет, т. е. я здоров и со всеми трудностями слажу; — я хочу сказать, что хотя трудностей этих много, все они идут по далекой тебе линии и чужой. Объяснила ли тебе, Женюра, Лена2, что теперь стали выдавать новый сухой паек (кажется 30 яиц, 2 кило сыра и 2 кило масла, — может быть, ошибаюсь), который ты сможешь получать полностью в месяцы нашего отъезда? Хотя мне очень бы хотелось к вам приехать, возможно, что первым свиданьем с тобой будет встреча с тобою в Москве числа 15—16-го, как ты, кажется собиралась. Не сердись на меня. Я тебе еще кое-что расскажу, что меня тут задержало3, в придачу к горлу. Крепко расцелуй Женечка. Загорает ли он? Правда ли все так хорошо (кроме твоей ноги)4, как мне передавала Лена? В ладу ли вы с хозяевами? Как здоровье Елизаветы Михайловны. Сегодня тут первые проблески жары, которые меня должны были бы пугать как городского жителя, и радуют при мысли о вас. Поцелуй, пожалуйста, Елизавету Михайловну и Женич-ку. Привет Лене.

Твой Б.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Грохот, пыль и грязь объяснялись работами по проведению метро открытой сапой, которые велись прямо под домом, под окнами. Газеты восхищались героическим трудом комсомольцев, но нечеловеческие условия работы губили жизнь и здоровье не только самих рабочих, но лишали возможности открывать выходящие на улицу окна, пыль проникала сквозь все щели, болело горло, закладывало грудь. Этим объяснялись заболевания всего дома.

2 Прислуга Е. В. Пастернак — Елена Петровна Кузьмина, которая регулярно ездила в Москву за продуктами и возила их в Марьино под Звенигородом.

3 Имеется в виду телефонный звонок Сталина, о котором Пастернак не решался писать, но собирался рассказать при встрече. Сталин позвонил Пастернаку, узнав из письма Бухарина о его беспокойстве по поводу ареста Мандельштама. Эта открытка позволяет считать, что разговор со Сталиным предшествовал официальному пересмотру дела Мандельштама и мог иметь на него прямое влияние. Через несколько дней, 13 июня 1934 г. ссылку в Чердынь Пермской области, где находился в это время Мандельштам, заменили на поднадзорную жизнь в Воронеже.

4 Е. В. Пастернак сломала косточку в ступне при игре в теннис и перетрудила ногу, когда обошла несколько деревень в поисках дачи.

700. РОДИТЕЛЯМ

23 июня 1934, Москва

23. VI. 34

Дорогие мои! Мне хотелось бы много-много написать вам всем:

1) в ответ на успокоительное большое Жонино (и от имени Феди) письмо о вас всех и папе и маме, 2) о чудных, Лидочкой надписанных группах с детьми (напрасно Жоня недовольна выходом последних, все — восхитительны, но конечно, особенно прелестна школьная), 3) в ответ на трогательную родительскую открытку с совершенно незаслуженными похвалами моим чувствам, совершенно естественным и безотчетным и тем менее заслуженною благодарностью, что если ее уже куда адресовать (а по-моему, вообще никуда не следует), то скорее не мне, а Жене; 4) в ответ на продолжающиеся, несмотря на ваши тамошние затрудненья и нашу письменную договоренность последнего месяца, денежные подношенья детям, не считая глазированных фруктов, переданных Шуре госпожою Штих.

Но вместо всего этого примите от меня за все это и ото всех сразу огромное мое, горячее и общее спасибо. Заботы мои многочисленны и сложны. Ты подумай, папа, если бы все твои вздохи шли в жизни в двойном размере. Я об этом теперь говорю потому, что все страшно усложнилось метростроем (дикая грязь и антисанитария) и болезнями. Зина то выздоравливает как будто бы, то вдруг опять «температурит», домылась, достиралась бедная.

Сегодня я набрал пять (толщиной с карточную колоду!) путевок (оплаченных назначений) в дом отдыха1. Когда я за них платил и получал их, то кругом думали, что я их беру на целую школу. Заказывая железнодорожные билеты, я не знаю, в состоянии ли будет Зина ехать или нет. Я переплатил уйму на врача и лекарства потому, что у меня не было времени узнать, что у меня есть право получать лучшее леченье, чем то, за которое я платил сотни, бесплатно. И так все сплошь.

Женя полтора месяца тому назад вывихнула себе на теннисе ногу и, не долежав, вынуждена была однажды обойти 15 верст московских окрестностей в поисках дачи. Потом они на даче поселились (я у них был однажды, место замечательной красоты и устроились они неплохо, только за всем продовольствием, вплоть до хлеба, приходится ездить в Москву 2 часа езды по железной дороге) — да так вот прошло 6 недель, боли в ноге у ней не проходили, приехала она в Москву, сделали с ноги рентгеновский снимок, и оказалось, что она сломала одну из косточек ступни. Теперь ей надо лежать. Она в Москве остановилась у приятельницы своей, скулыггорши Лебедевой, и я сегодня нашел у ней эти три снимка с Женечка. Их сделал где-то на воздухе у Петровских ворот (близ Екатерининской больницы, — помните?) знакомый Жени и Лебедевой театральный режиссер Поляков. Женя в пионерском галстуке, по случаю 1-го мая. Видите, как он осыпан веснушками, они его, как пчелы какого-то сластену в детской французской книжке, облепили, обезображивая его премилое впрочем, когда бы не эти

веснушки, личико. Все же я посылаю вам эти карточки. Я перешел на карточки, а хотел относительно Жениной ноги, сказать, что помимо жалости вызвало это и много с моей стороны непредвиденного: поездки экспромтом на далекую дачу, с целью успокоенья Женечка и Елизаветы Михайловны, для ула-женья разных хозяйственных неурядиц и пр. и пр. И так весь этот год сплошь. Спасает меня одно то, что ко мне очень хорошо (в самых разнообразных и прямо друг другу противоположных частях общества), хорошо относятся. На прошлой неделе мне даже (в первый раз в жизни) позвонил по телефону сам Ст<алин>, и вы не представляете себе, чтб это значит. Я даже Женечку этого не сказал, так легко поддается этот факт эксплоатации, даже помимо воли заинтересованного, т. е. в такую линию искусственной легкости можно попасть, этого не скрыв2.

Огорчительнее всего, что мне никак не удается поработать серьезно. Я переводил грузинских поэтов, но это не работа, хотя эти поделки (одно д<ерьмо>!) меня и кормили. Когда книга, неполная и сданная наспех, выйдет из печати, пошлю ее вам, если это позволено. Но это будет не раньше осени3.

Крепко вас всех, дедушку, бабушку, Федю, сестер и племянников целую и обнимаю. Летний адрес сообщу из деревни.

Странным образом, верхним чутьем жду у вас улучшений и разреженья семейной атмосферы. Это о тете вашей4.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Были куплены пять путевок в писательский дом отдыха для себя, жены, детей и кузины Г. Г. Нейгауза Н. Ф. Блуменфельд, которая смотрела за детьми.

2 Разговор со Сталиным датируется по письму № 699. Понимая неизбежную «мифологизацию», которую приобретет известие об этом, Пастернак не позволял себе разглашать его; первым, кому стало известно содержание разговора, были А. А. Ахматова и Н. Я. Мандельштам, записавшие последовательность вопросов и ответов (Н. Я. Мандельштам. «Воспоминания». М., «Книга», 1989; А. А. Ахматова. «Листки из дневника». Соч. в 2 т. М., «Художественная литература», т. 2,1990). Трехминутный разговор, носивший характер скрытого допроса, послужил впоследствии предметом многочисленных разноречивых версий и толкований.

3 Называя бранным словом свои первые переводы грузинских стихов, Пастернак, в первую очередь, имеет в виду недавно появившиеся в журналах два стих, о Сталине поэтов Николо Мицишвили и Паоло Яшвили, переводы которых были вызваны желанием поддержать друзей, которые подвергались критическим нападкам, перераставшим в политические обвинения. Сб. «Поэты Грузии» (Тифлис, Закгиз) и «Грузинские лирики» (М., «Советский писатель») вышли в 1935 г.

4 Высказывая робкие надежды на либерализацию в Германии, Пастернак, подхватывает определение, данное отцом в письме к нему, и называет это «семейными» делами («о тете вашей»).

701. В. ГАПРИНДАШВИЛИ

2 июля 1934, Одоев

2. VII. 34

Дорогой Валериан Иванович! Обнимаю Вас уже из Одоева, куда мы с превеликим трудом добрались наконец вчера. Сегодня получил Ваше письмо. Бесконечно благодарю Вас за него. Горячее спасибо и за то, что Вы не скрыли от меня Вашего недоумения относительно одной из первых строк Важа Пшавелы. Разумеется, это опечатка и меня удивляет, как я ее пропустил. Надо читать: Внимая из каждой строки1, а не «их», как Вы пишете, и если я действительно недосмотрел, то тем настоятельнее прошу Вас внести это исправление в оба экземпляра. Наверное есть и еще какие-нибудь упущенные мною опечатки ремингтонистки. Хорошо, если бы Фолян прислал

мне сюда одну из последних, до меня кем-нибудь хорошо выправленных, корректур. Здесь очень живописно, заведующие и руководители дома отдыха очень милые люди2, но, конечно, дом не может быть географическим исключением из общей жизни страны, и таким образом не все тут налажено. Обнимаю Вас. Всем привет.

Впервые. — Местонахождение автографа неизвестно. Печ. по копии Г. В. Бебутова, 1934 г.

1 Поэт и переводчик В. Гаприндашвили делал подстрочники поэмы Важа Пшавелы. Речь идет об издании поэмы «Змееед» в Гослитиздате (1935); ст. 9-12: «Внимая из каждой строки / О чьем-нибудь имени чтимом, / Покуривали старики, / Как облаком — скрытые дымом». В1946 г. эти строки были переписаны.

О своем беспокойстве по поводу опечаток Пастернак писал редактору книги В. В. Гольцеву 5 июля 1934: «Представь, застало меня тут письмо от Гаприндашвили. Восторги там всякие и пр., но не в этом дело. А из одного недоуменья его я усмотрел, что ремингтон-то мой верно недоправлен, как я ни бдел над ним в ту Леонидзевскую ночь. Это на первой же странице Змееeда. Легко себе представить, что дальше может открыться! Посему, когда будешь сюда собираться, обязательно захвати с собой твой хотя бы экземпляр, я свой дома оставил, — прости за вечные просьбы. Или может быть корректура будет к тому времени?» (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102). (Леонидзевской ночью Пастернак называет спешную правку перевода перед отъездом Леонидзе в Тифлис.)

2 Дом отдыха был расположен недалеко от города Одоева в бывшем имении Маневичей на реке Упе. Об этом же Пастернак писал Б. И. Корнееву: «Здесь очень хорошо. Места — Записок охотника. Старый дом с колоннами на горе над Упою, в запущенном яблоневом саду. В нем размещено до 60 человек отдыхающих» (26 июля 1934; РГАЛИ, ф. 2563, оп. 1, ед. хр. 26). Пастернак сдружился с персоналом дома отдыха, воспоминания о его пребывании до сих пор сохраняются среди жителей.

702. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

16 июля 1934, Одоев

Дорогой Витя! Сердечное тебе спасибо за письмо. Горячо благодарю тебя за деловую помощь. Ты говоришь, отдыхать, а мне приходится зарабатывать чертову уйму. Правда, тут нельзя не отдохнуть, потому что и круглый день работая, все же дышишь не московским воздухом, главное же, глазам даешь полный отдых1. Строчу дикую дрянь в прозе, не глядя, как и что, в скромной готовности так «Дрянью» и озаглавить, не до эстетики2, и, кажется, глохну на правое ухо, грипп у меня был в Москве, и ухо как мертвое. А в общем тут совершенный рай и я б тут с удовольствием на зиму остался. Зина хотела приписать тебе, но я знаю существо ее просьбы: это — папиросы. Привези, пожалуйста, если тебе не трудно, боюсь сказать сколько, ну скажем коробок 10, дешевых, предпочтительно Дели, но можно и по 1 р. 50 к., их легко достать в ГОРТе, за это тебе будет превеликая благодарность, мне же рукописных грузин не вези, не надо3.

Твой Б. Я.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102). Датируется по почтовому штемпелю на открытке.

10 жизни в Одоеве Пастернак писал Гольцеву 5 июля 1934: «Действительно, очень хорошо тут, и по-моему даже уход слишком хорош, распускаются люди, масла им подавай; а кругом как живут, это не их дело», — намекая на окружающий голод в деревнях (там же).

2 Работа над романом, началом которого была «Повесть» (1929).

3 Гольцев собирался приехать в Одоев, где жила его жена. «Дорога, правда, не из легких», — предупреждал его Пастернак в письме 5 июля (там же). ТОРТ— закрытый распределитель.

703. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

24-26 июля 1934, Одоев

24. VII. 34 Дорогой Витя!

Сердечное тебе спасибо за письмо. Как хорошо и интересно ты пишешь! Знаешь ли ты это?

Судя по твоим словам, ты свыкся с уединеньем, и стал им спокойно пользоваться для работы. Но тут-то оно и наскучит тебе, утратив тяжесть (а не прелесть) новизны. И, я думаю, ты все-таки приедешь.

Затрудненья с помещеньем не должны останавливать тебя, если они повторятся и в августе. Мы с Зиной это устроим.

Я сделал большую глупость, вписав со слов Каладзе, что отрывок из поэмы о раскулаченных. В подстрочнике этого слова нет, там просто пояснено: из поэмы «Учардион»1. Приписав его от себя, я думал, что это будет реверансом в советскую сторону и, видно, перестарался. Приседанья отменяются.

И все же я судьбы отрывка не понимаю. Не случилось ли чего при переписке? Иные машинки не проставляют вопросительных знаков, и их потом приходится ставить от руки. Не имело ли это места в данном случае?

Смысл отрывка совершенно ясен. Я именно потому его и перевел, что сомнительному и страшному делу раскулачиванья (не говоря уже о сомнительности главлитов) никогда такой человечной и состоятельной защиты не встречал. А в этом зверинце еще сомневаются?!!

Положенье такое: выселяемый со своей земли с сыном подходят к вековым деревьям и отец говорит: «Прощайте, деревья мои». «Твои?» — иронически подхватывают деревья и т. д. и нелепость мнимой принадлежности огромной многостолетней природы этим несчастным, выступает во всей очевидности.

В переводе я смысл этой ситуации сконцентрировал. Очень странно что то, что в слабом подстрочнике было мне без труда и с первого взгляда понятно, приобрело в более точной формулировке перевода, даже для тебя, какую-то таинственную темноту.

Деньги от Литтазеты получил, большое тебе спасибо. После телефонного разговора с тобою Юлия Сергеевна2 принесла неприятное известие о закрытьи МТП и Сов. Литературы. Любят у нас играть в организационную «хальму», мудрят и мудрят. На меня всегда эти проявленья склонности к домино и мажонту действуют обескураживающе. А сейчас к этому еще прибавилось и то, что все мои осенние расчеты были на МТП3.

Перед отъездом Ирина Сергеевна4 сказала мне, что их полит-редактура решила удвоить тираж сборника и мне предстоял если не повторный платеж, то все же довольно солидная получка. По-ступленья из Грузии ввиду их гадательности, я переадресовал в Жилстроительство в Лаврушинском, под будущую квартиру. На-сколько блестящи мои перспективы можешь судить по тому, что у меня не хватило на детские августовские путевки, так же как и на путевку для родственницы Нейгауза5, находящуюся тут при мальчиках, и я вчера написал в Оргкомитет, чтобы мне до сентября поверили эту сумму. Каков позор-то! А тут вдруг закрывают МТП. Что же я делать буду? Что же, и Ирину Сергеевну закрыли, и группком, и лифт на 10-й этаж? Оставлено ли по крайней мере в прежнем виде движенье по Гнездниковскому?6 Цела ли Тверская? Только приспособишься к какому-нибудь из очередных двадцать третьих апреля7, узнаешь в ее ходе кого-нибудь милого и хорошего, и — хлоп. В самый момент, как какое-то сходство с жизнью закрадется в это двадцать третье, обязательно

что-нибудь выдумают, обязательно, сев за новую партию в трик-трак, тебя как пешку, передвинут с квадрата на квадрат: осваивай сначала. Так вся жизнь и уйдет у нас на «освоенье».

26/VII

Хотел я достойным образом на твое живое письмо ответить, и все пишу какую-то сухую чепуху. Вряд ли я сегодня это поправлю, а откладывать письмо до лучшего настроенья не хочется. И так уж оно залеживается. Ну, прости, что поторопился отвечать.

Юлия Сергеевна прекрасно себя чувствует и от поездок на пасеку, танцев, попоек и пр., в которых вместе с Зиной участвует, не устает. З<инаида> Н<иколаевна> кроме того предается картежу. Были однажды на колхозном собрании. Ходили на поле, складывали снопы в крестцы.

То, что ты пишешь о Тихонове, надо вероятно возвести в квадрат8. Не потому чтобы ты был придирчив или чрезмерно взыскателен, а потому что Николай еще полон жизни во всем беспорядке этого понятья. Он еще не засклеротизировался, не заавторитетничал, не стыдится свободных размеров и неполных рифм и, следовательно, — хочу я сказать, у него может получиться либо плохо, либо, если уж хорошо, то совершенно превосходно. А я переводил, как учитель гимназии. Хотя и способный, но — в мундире.

Ну, всего лучшего. Кланяйся, пожалуйста, Ирине Сергеевне. МТП я воспринимаю всегда как деталь ее биографии. И потому, не зная еще, что принесет ей эта рокировка, обижен за нее, как за себя.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

1 Обсуждаются след. строки из поэмы К. Каладзе «Учардиони» (1933): «Сегодня он должен оставить свой двор! /Ив горе, и в гордости, и в забытьи / Он шепчет: «Прощайте, деревья мои!» / «Твои?» — удивляясь и как бы смеясь, / Ветвей повторяет зеленая вязь. / «Твои?» — вопрошают столетья, шумя / Деревьями ластящимися двумя».

2 Юлия Сергеевна — жена В. В. Гбльцева.

3 В издательстве «Московское товарищество писателей» готовился сб. переводов Пастернака «Грузинские лирики».

4 Ирина Сергеевна Орловская — издательский редактор. Пастернак выразил свою благодарность ей в надписи на «Стихотворениях в одном томе» (Л., 1933): «Ирине Сергеевне — одной из тех людей, на которых мне хотелось бы походить способностью к добру, единственной чертой, задуманной природой для человека не в меру надобности, но в виду бесконечности, — с избытком. Борис Пастернак. 10 мая 1934» (собр. адресата).

5 Двоюродная сестра Г. Г. Нейгауза Н. Ф. Блуменфельд.

6 Издательство помещалось на 10-м этаже дома Нирензее в Бол. Гнездниковском пер.

7 Аналогия с партийным постановлением о закрытии РАППа 23 апр. 1932 г.

8 Речь идет о недовольстве Гольцева переводами Н. Тихонова, печатающимися в сб. «Поэты Грузии» (Тифлис, 1935).

704. Е. В. ПАСТЕРНАК

6 августа 1934, Одоев

6. VIII. 34. Дорогие мои мама и сынок! Спасибо за письмецо ваше. Чудно ты пишешь, Женек дорогой. Много ли ты наловил рыбы? Ты не унывай, если покамест ничего не поймал, это и со взрослыми случается. Тут были рыболовы-любители, они день и ночь на реке возились без особенного прока. А пока они вылавливали по пескарю в сутки, тут один колхозник из деревни выследил в омуте и поймал

двухпудового сома. На одну наживку этому зверю пошла 3-х фунтовая щука на крюке, величиной с дверной! Спасибо за промокашку. Я совсем не забываю об авторе твоего уюта, то есть о тебе самой, Женюра-мамочка. Разумеется, его не было бы без твоего искусства, но это не исключает моей благодарности тем чудным спутникам в труде, которых тебе посылает судьба. Мне очень не хочется на съезд1, потому что я тут заработался и обстановка подходящая. Я написал в Оргкомитет, и если мне позволят не явиться, я, может быть, просижу тут до середины сентября. Справишься ли ты тогда с деньгами? По моим расчетам это невозможно. Но об этом отдельно в другой раз. Очень рад, что ты здорова.

Крепко целую вас. Всем привет.

Впервые: «Существованья ткань сквозная». — Автограф.

1 Имеется в виду съезд писателей, на который Пастернаку пришлось приехать 15 августа, но открытие отложили на два дня. На следующий день он писал З. Н. в Одоев: «Так как я всегда поддаюсь действию посторонних причин, то меня тут охватила сразу же страшная тоска, и я проклинал себя за то, что поехал. Денежные дела налаживаю. Ужасная толчея по поводу съезда, в учрежденьях трудно людей добиться. <...> Выедем, думаю, не раньше 22, хотя еще рано говорить!» (Письма Пастернака к жене. С. 83). Съезд растянулся с 17 августа до 1 сентября 1934 г.

705. З. Н. ПАСТЕРНАК

22 августа 1934, Москва

Съезд, утреннее заседание. 22. VIII

Дорогая Киса, пишу тебе за столом президиума в Колонном зале (на эстраде). Только что говорила Мариэтта Шагинян, произнесшая замечательно содержательную речь1. Вчера на вечернем заседании председательствовал я, а потом в 12 ч. ночи был вечер встречи с грузинскими делегатами, я и Коля Тихонов читали свои переводы, и я лег в 5 ч. утра, так что сейчас совсем сонный. Вчера же обедали с Гарриком и Паоло в ресторане2. У меня нет возможности все тебе рассказать в письме, сделаю это потом устно. Все время нахожусь в страшной рассеянности, что ни куплю, то сейчас же где-нибудь забываю, потерял вчера 30 руб., потом однажды посеял где-то шляпу и пр. и пр. Мне все время страшно хочется домой, и я подвел Ник<олая> Як<овлевича>3, упросив его взять мне билет (он уезжает сегодня), но ехать мне невозможно, да и было бы глупо: как раз открытье съезда (первые дни) отпугнуло нас своей скукой — было слишком торжественно и официально. А теперь один день интереснее другого: начались пренья. Вчера, например, с громадным успехом и очень интересно говорили Корн. Чуковский и И. Эренбург. Кроме того, мне и неудобно уезжать до доклада Бухарина и Тихонова4. Думаю, попаду я к тебе, Лялечка, и под Одоевское небо числа 28-го5. Если бы я еще задержался дня на два — на три, то мне очень хотелось бы, чтобы Туся6 без меня не уезжала, а дождалась моего приезда. Нам придется прожить сентябрь в Одоеве еще и потому, что в квартире на Волхонке будет ремонт. Здесь помимо повесток насчет квартплаты я нашел извещенье о налоге, мне надо доплатить ко всему ранее удержанному около двух тысяч (1955 руб.).

Это надо будет уладить, потому что на такую сумму пеня возрастает молниеносно и в большом размере. Нежно-нежно целую тебя, Киса, и не смотри на эту записку как на письмо. Крепко целую детей, сердечный привет Тусе. Когда я дам телеграмму о приезде, похлопочи через Ив. Ал. Рабкова, чтобы мне выслали машину, а если нельзя будет, то — лошадей. Поклон Лидии Ивановне7 и всем-всем.

Впервые: Вестник РСХД, № 106, Париж-Нью-Йорк, 1972. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379, оп. 3, ед. хр. 60). Примеч. З. Н. Пастернак: «Письмо написано в Москве».

1 Выступление М. С. Шагинян было посвящено национальным литературам: «Сейчас только одни мы во всем мире обладаем ключом любви, только мы одни знаем

тайну эроса; иначе сказать, только одни мы во всем мире вынашиваем в нашем искусстве идею нового человечества» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 209).

2 По поводу кормления писателей во время съезда Пастернак писал жене 16 авг. 1934: «Думаю, больше всего времени (как в Свердловске, помнишь?) займет тут питание, на которое получил уже талоны и которым нельзя будет пренебречь, потому что оно бесплатное (кажется, еще не проверил) и хорошее, но где-то на Тверской» (Письма Пастернака к жене. С. 83).

3 Писатель Н. Я. Шестаков, вместе с которым Пастернак приехал на съезд из Одоева.

4 Н. И. Бухарин выступал 28 августа с докладом «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР»; Н. С. Тихонов 29 августа — с докладом «О ленинградских поэтах», в тот же день выступал Пастернак.

5 З. Н. Пастернак писала в ответ: «Я очень скучаю по тебе. Но с другой стороны, очень хочется, чтобы ты не уехал до доклада Бухарина. Очень хочется, чтобы ты тоже поговорил на съезде. Ты удивительно умеешь говорить по существу и затрагивать важнейшие вопросы — это просто необходимо, чтобы ты выступил» («Второе рождение». С. 440).

6 Наталья Феликсовна Блуменфельд.

7 Директор — И А. Рабков и зав. хозяйством Дома отдыха — Лидия Ивановна.

1934, Москва Дорогой Григорий Александрович!

Примите, пожалуйста, участие в подателе сего, юноше с Кавказа, О. Номикос1. Есть что-то в нем, что меня страшно подкупает. Мне бы очень хотелось ему помочь, и не знаю, как это сделать. Ему надо попасть в вуз, он Вам все это расскажет. Не откажите, пожалуйста, в совете ему и поддержке. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Впервые. — Автограф (собр. Д. Г. Санникова).

Пастернак был знаком с поэтом Г. А. Санниковым по кружку молодых писателей, собиравшихся у Б. А. Пильняка. Вместе с Санниковым и Пильняком был составлен некролог «Памяти Андрея Белого», высокие характеристики роли Белого, данные в нем, для Санникова, как члена партии, послужили поводом политических обвинений.

1 Орест Александрович Номикос— поэт, родом из греческой семьи под Одессой, окончил горный институт, работал инженером на строительстве Рионской электростанции.

707. РОДИТЕЛЯМ

3 сентября 1934, Одоев

Одоевский дом отдыха. 3. IX. 34 Дорогие мои!

Давно не писал вам. В Москве от Стеллы узнал о ваших переездах и об обстоятельствах, их вызвавших. Я не знаю, где вы сейчас, и пишу наудачу по Берлинскому адресу.

Я ездил в Москву на две недели на съезд писателей, о котором вы, верно, сами откуда-нибудь узнаете. Из газет, если не непосредственно, то от кого-нибудь из знакомых.

Очень устал за эти две недели, так как был выбран в президиум съезда. Он происходил в Колонном зале, переполненном, как на концертах Никиша1, и протекал очень торжественно. В частности, если бы вы были тут, вы порадовались бы за меня2.

Напишите мне поскорее, что вы и где сейчас. Я ничего о вас не знаю. Пишите прямо сюда в Одоев. Та ваша летняя открытка дошла без особенного запозданья. На всякий случай напоминаю адрес: г. Одоев, Моск. обл. бывшей Тульской губ. Дом

отдыха № 3, писателей, — мне. Та же просьба и девочкам. Жоня, по слухам, в Цюрихе, но адреса ее я не знаю.

Я так занят был в Москве, что не имел возможности повидать Женёнка, так как для этого надо было съездить в Звенигород на дачу, т. е. освободить полдня. Стелла говорила мне об одном очень интересном Жонином письме, которое она мне хотела показать, но у меня не было времени зайти за ним на Волхонку.

Я остановился у Шуры, от которого уходил утром в 10 часов и возвращался от 4-х до 6-ти часов ночи, потому что к круглоднев-ным заседаньям присоединялись ночные фетированья друг друга в ресторанах.

Шура пугает меня своим аскетическим жизненным режимом. Ест он очень мало и не по бедности, а просто уж таков его домашний уклад. Ирина на Кавказе, а сам он собирался вскоре после моего отъезда уехать в Крым. Билет у него был куплен на 2-е, и, вероятно, он сегодня туда выезжает. Но, верно, и там он будет жить как йог, и вряд ли таким путем поправится. Я по нескольку раз звал его с собой в ресторан, доставал ему билеты на съезд, что было нелегко, а ему все некогда было. Сам-то он ни на что не жаловался, кончал проект и очень был занят.

В первые дни съезда видал Женю большую, приезжала с дачи, очень довольная тем, как прошло лето, здоровьем Женёнка и пр. и пр.

Если напишете мне сюда, то сейчас же, не откладывая. Хотя мы и предполагаем прожить тут еще весь сентябрь, но, может статься, что уедем и раньше, числа 20-го. — Крепко и без конца целую вас, девочек, Федю и деток. Сердечный привет от Зины.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Имеются в виду концерты венгерского дирижера Артура Никита в Колонном зале Дворянского собрания, которые посещали Пастернаки в 1910-х гг.

2 В докладах Бухарина, Тихонова и выступлениях других делегатов звучали высокие оценки поэзии Пастернака. Он был выбран членом правления Союза писателей.

708. В. В. ГОЛЬЦЕВУ

8 сентября 1934, Одоев

8. IX. 34

Дорогой Витя, привет тебе и Юлии Сергеевне. Я Вас искал в Сухиничах1, Юлия Сергеевна, и порадовался за Вас, что Вы уехали, и был неприятно разочарован тем, что не нашел. Направлял вопрошающие взгляды на Ворошилова и Горького, писаных во весь рост на столбе у среднего столика в буфете, и от них узнал, что Вы на них заглядывались часами. Вы слишком много денег перевели Зине: из них надо было вычесть то, что я в городе задолжал Вите.

Дорогой Витя, если ты уже сослуживец Рябининой2 (привет, привет), то у меня к вам обоим просьба. Надо привлечь к работе по антологии Звягинцеву, Веру Клавдиевну. Сделай это ты, Витя, со ссылкой на мою рекомендацию, если это кому-нибудь понадобится. Ты помнишь наш опыт с Корчагиным, — я думаю в этом случае нас ждут еще более приятные результаты. У ней хороший язык, масса вкуса и неплохая поэтическая сноровка человека с прирожденными способностями. Для начала ей можно было бы дать второпланные фигуры в группе, с переходом в дальнейшем на передние. Не беря никакого греха на душу (ни пред ней, ни перед тобой) я сегодня же пишу ей в обнадеживающем смысле с порученьем позвонить тебе на дом.

Ты страшная свинья, Витька, и ни капли меня не любишь. В каждом человеческом движеньи чудятся тебе подвохи, и в моих, в том числе. Ты думаешь, я не слышу, как ты критикуешь каждое слово моей просьбы, воображая, что я стараюсь тебе всучить какую-то бедную родственницу, и при этом забываешь, что интересы антологии так же

близки мне, как и тебе. Если бы это было не так, я бы не вставлял в разговор свиньи, помещенной сюда лишь для отрезвленья, чтобы ошарашить тебя чем-нибудь и тем вывести из твоей закоснелой подозрительности. Правда, не ты ее изобретал, и она у тебя ответ на неоднократно вкушаемую каждым из нас повседневную подлость, но не пересаливаешь ли ты при этом, и не лучше ли было бы ничем на нее не отвечать? — Так как 300 верст расстоянье небольшое, то у себя в Москве вы догадываетесь, наверное, какие золотые дни стоят тут в Одоеве. Только пусто в большом доме, пусто, тихо и грустно. Так же точно садились за стол, вероятно, в начале, до нашего приезда, но тогда это была тишина начинающегося лета, а теперь это недвижность и малолюдье конца.

Привет Вам обоим от меня и от Зины. Пробудем здесь до октября, если не погонят.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 102).

1 Сухиничи были местом пересадки с одного поезда на другой по пути в Одоев.

2 Александра Петровна Рябинина — редактор антологии грузинской поэзии.

709. С. Д. СПАССКОМУ

27 сентября 1934, Одоев

27/IX. 34

Дорогой Сергей Дмитриевич! Мне хочется успеть ответить Вам отсюда, из Одоевского дома отдыха. Здесь чудесно. Послезавтра мы уезжаем в Москву.

Ваше письмо получил я в день обратного выезда сюда со съезда, мне его передали, так как с Метростроем дело обстоит еще похлеще, чем весной, и я останавливался у брата. Я не досидел до конца съезда и уехал после речи Стецкого, до заключительного слова Горького1.

Первые дни по приезде сюда я мечтал Вам ответить с пространностью, которая и мне была бы на пользу, потому что упорядочила бы мои впечатления от съезда, но потом засел за работу, которая всегда идет хуже моих расчетов, и так вот прошел месяц.

Теперь вижу, что лучше на все эти темы поговорить при встрече (ведь Вы, наверное, в начале зимы в Москву соберетесь?), и не уверен, не больше ли потребность в таком разговоре у меня, чем у Вас.

Дело в том, что хотя Вас насчет телефона и не обманули (был он весною, а не перед съездом) и отношенье ко мне на съезде было совершенной неожиданностью, но все это гораздо сложнее, чем может Вам представиться, а главное: по косвенности поводов, связывающих эти вещи со мной, — серее и непраздничней2.

И уже допустил я неправильность, начав под влияньем Вашего письма с себя. Ведь ту же нескладицу, в гораздо большем зна-ченьи, для всех нас и для меня, представлял самый съезд, явленье во всех отношеньях незаурядное. Ведь более всего именно он поразил меня и мог бы поразить Вас непосредственностью, с какою бросал из жара в холод, и сменял какую-нибудь радостную неожиданность давно знакомым и все уничтожающим заключеньем.

Это был тот, уже привычный нам музыкальный строй, в котором к трем правильным звукам приписывают два фальшивых, но на этот и в этом ключе была исполнена целая симфония, и это было, конечно, ново.

Об этом и будет у нас с Вами разговор, я кое-что расскажу Вам, пока же поторопитесь расстаться с неправильными наблю-деньями насчет себя и ложными из них выводами.

Конструкция съезда была наполовину, чтобы не сказать целиком, случайна, и ход этой лотереи не должен Вас огорчать. Вы знаете сами, как вы в этом отношении не одиноки. Это очень хорошо, что Вы погрузились в глубину, ничего не оставив для поверхности, и хорошо не только под знаком вечности, но и в самом насущном смысле.

И, прежде всего: ничего не изменилось. В частности, не случилось никаких перемен со мной. По-прежнему нам нет новой квартиры, и первую, освободившуюся в Нащокинском3, которую все лето обещали мне, захватил Жаров. Уезжая со съезда, я занимал деньги направо и налево, малыми дозами. Но это не для сравненья: если у Вас неудача с издательствами, надо будет найти способы этому помочь, и мы найдем их. Об этом напишите мне в Москву до личного свиданья, если это спешно.

Вы пишете, что были заняты собой и отстали от литературной общественности. Так как и я рад бы пристать, да никакой не знаю, то без огорченья прочел про Ваше отставанье.

Зато глухая обмолвка Ваша о каких-то личных трудностях почти напугали меня, и простите за вмешательство и за то, что туг, наверное, я попаду пальцем в небо: если это что-нибудь семейное, объявите эти трудности призраками, каковые они на самом деле и есть. И еще раз простите: Вы сами не мальчик, жили и лучше моего все это знаете. Но ведь все это потом так забывается, что каждый, у кого свежа память, вправе, пусть и ценой немыслимейшего конфуза, особенно в случае ошибки, напоминать об аде, который готовит себе и всем участвующим каждый, пытаясь эти трудности... разрешить4.

Разорвите, пожалуйста, эту страничку и о ней забудьте. Ничего не пишу о себе, обо всем этом при устной беседе.

Задушевный привет Софье Гитмановне и поцелуй дочке. Зинаида Николаевна просит присоединить и ее поклоны.

Пишите, пожалуйста. Ваш Б. Пастернак

Г. Одоев, Моск. Обл., бывш. Тульской губ.

Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 9 (с купюрами). — Собр. соч. Т. 5. — Автограф (собр. В. С. Спасской).

1 Выступление заведующего Отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) А. И. Стецкого было 30 августа, а 31-го на заключительном заседании выступал Горький.

2 Речь идет о первых писательских толках по поводу телефонного звонка Сталина, которые приписывали этому событию особое отношение к Пастернаку, установившееся на съезде. О желании Пастернака «скрыть» этот факт из боязни «искусственной легкости» его распространения см. письмо N° 700.

3 В Нащокинском пер. был построен писательский дом, в котором получил квартиру Мандельштам. А. А. Жаров — комсомольский поэт.

4 Воспоминания о пережитом в 1931-1932 гг. расставании с первой семьей.

2 октября 1934, Москва

2. X. 34

Дорогой Гаррегин Владимирович!

Вчера приехал из Одоева и у сына нашел Ваше письмо ко мне и Змееда1. Чудно это все и очень меня радует. Какой хороший художник! Вагнеризм Важа Пшавелы (дракон, Зигфрид, птичка и пр.) еще усилился после того, что змея пошла лейтмотивом ко всем главам. Прекрасная графика и сколько вкуса!! Вообще очень все хорошо, только шпоны местами подгуляли: то редкая печать, нормальная, то вдруг строка на строке, — Вы заметили? Но очень удачное изданье, молодец Фолян. Бегло просмотрел сегодня утром (вчера вечером только получил) и не нашел ни одной досадной опечатки, а очень боялся. Редкая по аккуратности корректура, спасибо.

С принципом расположенья матерьяла в «Грузинских поэтах» совершенно согласен2. Надо еще кроме того перетасовать последовательность моих и Тихоновских переводов, когда у нас один автор. Или проще: либо чтобы он все время шел вперед меня, либо когда как, — но чтобы ни в коем случае я не предшествовал ему в виде

правила, хотя бы и с точки зрения алфавита. Это глупо и было бы мне неприятно. Я без ума от его переводов, слышанных на вечере. Я не предполагал, что такой класс вообразим и возможен.

Спасибо за деньги. Сколько же в общем Вы перевели мне за лето, вместе с этим последним переводом? Ввиду того, что адрес был дан сторонний (банк жилстроительства)3, я же, кроме того, жил в глуши и никаких известий от жилкооператива не имел, то я абсолютно ничего об этом не знаю, и Вы этому не удивляйтесь. Но узнайте в бухгалтерии, когда, куда и по скольку они мне переводили (с «Рубежно-Восточными»), и меня из этого неведенья выведите с их помощью. Следующий гонорар, если действительно есть еще остаток, пусть переведут по постоянному моему адресу: Москва 19 Волхонка 14 кв. 9.

Сюда же и авторские экземпляры «Змееeда», которых жду с нетерпением. Если эта просьба исполнима, то пусть присоединят к ним еще 23 экземпляров, вычтя их цену из гонорара. Очень, очень за все Вам благодарен. Пишите, пожалуйста. Недостающие стихи прилагаю. Крепко жму Вашу руку. Всем друзьям сердечный привет.

Ваш Б. Я.

Впервые. — Автограф (РГАЛИ, ф. 3100, оп. 1, ед. хр. 150).

1 Важа Пшавела. «Змееед». Тифлис, Закгиз, 1934.

2 Сб.: Поэты Грузии в переводах Б. Л. Пастернака и Н. С. Тихонова. Тифлис, Закгиз, 1935.

3 См. об этом в письме № 703: «Поступленья из Грузии <...> я переадресовал в Жилстроительство в Лаврушинском, под будущую квартиру».

711. РОДИТЕЛЯМ

2 октября 1934, Москва

2. X. 34

Дорогие мои пала и мама!

Вчера приехали в Москву, и я узнал, что с середины сентября тут дожидается меня твоя открытка. А я-то беспокоился в Одоеве! Что мне только в голову ни приходило! Ну слава Богу: до сих пор, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, мы с жизнью все-таки так распределили роли, что я каждую минуту готов к наихудшему и прав за собою ни к чему другому не знаю, она же ведет меня сплошным рядом радостных неожиданностей.

О вас — дальше (меня очень напугали мамины жалобы на частые головокруженья в письме Женёнку). Что же касается меня, то, повторяю, жаловаться не на что, и даже напротив, — неожиданно все хорошо.

Мы ехали очень трудно, как это всегда бывало в России по захолустьям, в стороне от прямых и главных магистралей.

Ведь, лето стояло чудное. В Тульской губернии (!), не в Крыму где-нибудь, я до конца сентября в реке купался.

А тут неожиданно пошли по утрам заморозки и целодневные дожди развели дороги. Позавчера в 8 часов утра мы напялили на себя каждый по сорок одежек, двойные пиджаки, польта, сверх них огромноворотые и долгорукавые армяки (у меня с собой ничего теплого, даже пальто не было) и около 5-ти часов ехали на лошадях, потом до 8 часов вечера в поезде, с которого в Сухини-чах должны были пересесть на ускоренный, идущий в Москву по Брянской ж. д. Ну и разумеется, наш опоздал на 20 минут, и мы с площадки видели, как уходит поезд, в котором нам по телеграмме в Брянск забронировали три мягких (соответствующих бывшему 2-му классу) места. И началась ночь на глухой станции, с проходящими ночными поездами и невозможностью попасть на них, с начальником станции, мягко что-то обещающим и бессильным эти обещанья исполнить, с подушками и одеялами, приносимыми ему

стрелочником в кабинет и страхом того, чтб же будет с тобой теперь, когда он ляжет спать и его неудобно будет будить, если и при нем ничего не выходит! Социалистический Чехов и только, очень хорошо тебе, папа, вероятно, памятный по годам, когда ты визитную карточку Маркова (кажется) на Курской дороге в такие же кабинеты носил (тебя, наверное, удивит, что я такие вещи помню, я меньше Женички был). Ночь с детьми и вещами, вещами, в этот переезд, наконец, сведенными у нас до трех мест, в предви-деньи таких осложнений, но вновь с трех штук распухшими до девяти, и преогромными, благодаря попутчице с девочкой (заведовавшей хозяйством в Одоевском доме). Клеванья носом, уборка буфета перед рассветом, чувство уваженья к людям, заставляющее просить вежливо и растерянно, наравне со всеми, и сознанье, что при твоих связях и с твоими возможностями другой был бы давно в Москве, и, наконец, неожиданный взрыв под давленьем Зины: посещенье линейного стрелкового поста станции (ты догадываешься, чему это соответствует в прошлом), угрозы телеграммы в Наркомвнудел, если мы сейчас же не уедем, подходящий в это время поезд с восьмиминутной сутолокой сундуков и мешков, и чудо нашего отъезда при расползшихся в разные стороны: мне, носильщиках и дамах, ищущих друг друга и потерявших связь. Потому что ответ им не известен, проводники их отказываются сажать, а я получаю плацкарты и перебегаю пути перед самым свистком к отходу. И все-таки, все-таки все это прекрасно.

Но конечно, не этой дорожной ночью хотел я вас порадовать, а легкостью приезда, т. е. радостностью того, когда после разлуки и неизвестности находишь все в лучшем виде, чем сам посмел бы желать.

Вчера вечером, только пообедав, я отправился на Тверской бульвар, откуда накануне Женек справлялся по телефону, не приехал ли я, сообщив, что у них будет купальный день, т. е. истопят ванну, и чтобы я пришел помыться с дороги. Когда я пришел, то на дворе перед квартирой Женек колол березовые (пополам распиленные) дрова для ванны. Он не знал о том, что я приехал, и не сразу разглядел меня в темноте двора, которого населенность устраняла для него удивительность неясной фигуры, остановившейся невдалеке. Так что было у меня время наглядеться на его колку. И неплохо колол, молодец! Когда колун в суковатой плашке защемлялся, он по всем правилам его переворачивал и обушком по камню колотил. Ну и обрадовался же он, когда меня узнал!

Мамы не было дома, она на родительское совещанье в его школу ушла. Мы чудно с ним провели три часа. У них опять прежняя домработница, что еще на Волхонке после заграницы у них служила, а потом ушла; пожилая, полная, спокойная, — Елена Петровна, она летом к ним вернулась. Ну вот, Женек и Лена меня чаем угощали, ванну растапливали и пр. и пр. Много и очень хорошо он мне о лете рассказывал, небезуспешно, оказывается, рыбной ловлей занимался. Однажды даже большого голавля с пескарем поймал, и жарили. На будущий год собирается покупать вершу. Побелили у них, и теперь еще светлее у них и уютней. Женя на рожденье подарила ему (кроме книг и пр.) застекленный свой рисунок с меня (ты его не знаешь) в фас, очень хороший, лучшее, кроме твоих работ, что с меня делали. Кстати, очень удачно я выходил в Одоеве у провинциального фотографа (бывшего учителя), который чуть ли не из самодельного аппарата снимал, дощатого и ободранного, как шарманка. Или это у него какой-то футляр приставной? Но только он с ним по деревням ходил, как с ученым попугаем. Так вот, эта фотография (в середине сентября) и Женин портрет — единственные, что я стоящего с себя знаю, никогда не выхожу, и страшно уродливые вещи распространяют.

Про вас мне рассказывал, про ваш подарок — горячее вам всем спасибо. И письмо показал, читали, горевали насчет бабушки и Лидка. Страшно он мне в этот раз

понравился и порадовал меня. Одно не хорошо — всякие пределы потерявшее его обожанье, которым он меня окружает. Т. е. то, что это чрезмерно. Но это хорошая, мужская, радующаяся любовь. Без надрыва.

Лена (домработница) рассказала, что каждый вечер, ложась спать, он с портретом моим (маминой работы) на стене прощается, как со мной, крича через всю комнату «Спокойной ночи, папочка». Все подробности о съезде писателей знает, по газетам следил (как и Зина в Одоеве) и вырезал, вместе с Елизаветой Михайловной. И вдруг совсем меня сразил словами: «Ах ты мой Мин-дия, Миндия мой!» Дело в том, что это имя героя одной хевсурской (высокогорная область Грузии) поэмы, которую я зимой переводил и никому не показывал1. Оказалось, что в Тифлисе она на днях вышла из печати, и не зная, где меня искать, пробный экземпляр прислали по их адресу совсем недавно. Можете себе представить, как я был поражен, пока он мне не разъяснил всего. Было это, когда уже он лег в кроватку. Я не мог ее найти по его указаньям (то, говорит, на столе в соседней комнате, то там же на буфете), и вот он выскочил из постели, и мечась босиком по разным углам, ее разыскал. Он ее уже знал, как оказалось. Я бы растянул письмо, если бы привел его по этому поводу рассужденья. Он спросил меня, кого мне больше жаль, героя или его жену. Я ответил по совести (так оно и есть), что — жену. Это его удивило. Он на стороне героя2. Но об этом в другой раз, когда вы сами прочтете. Хороший, как кажется, у меня сын, и большой друг растет. Радостно. И поправился он, окреп и пополнел.

Только надо его из его школы в какую-нибудь другую, лучшую перевести. Там (Патриаршие пруды и самые воровские, про-ститутские переулки Бронной) великовозрастные мальчишки со всех дворов форменные побоища устраивают с возвращающимися школьниками — а он в вечерней группе, и ведь, только 11 лет ему, рано ему в таких свалках участвовать.

Про стального коня вы друг друга не поняли. Решил ты, видно, по карточке, папа, что велосипед у него? Нет, это велосипед снимавшего его фотолюбителя, Жени большой знакомого, и отношенье Женёнка к нему только аксессуарное.

Заканчивая свои реляции о мальчике, хочу похвалить Женю большую. Умница, молодчина, — справилась со всем, понимаешь ли меня? И она, и он. Молодцы. Но что это нам всем стоило в те годы! Во сколько больше, чем нормальная семья! И однако не в том ли разрешенье этой вечной проблемы, что для того, чтобы очистить воздух в семье и поднять ее на высоту истинного платонического рыцарства, — под нее надо подвести вторую? Нет, я смеюсь и пишу глупости, но только никак не могу успокоиться, так по-хорошему, так блаженно я вчера разволновался!

Что за напасти на Лидка дорогого! Откуда это? Масла надо побольше есть. Вот теперь уже Зина (после Жени) мной не довольна, что хожу я, как оборвыш, отрицаю уют и обстановку и пр. и пр., да зато я в вопросах питанья настаиваю на том, чтобы все, что есть тратить. Вы всерьез не решите, что у нас с 3<иной> споры, нет, я только о разности стилей говорю. А я знаю только одно: еду и работу. Больше ничего мне не надо.

А вы знаете, что с Шурой бедняжкой. Я и сам только вчера узнал. Подхватил какую-то экзему заразную, весь месяц с ней промучился. В Крым уже привез ее. Весь отпуск на нет сошел. Ну, теперь поправляется — по телефону разговаривали. И у Ирины фурункулы не переводятся.

А зато Шурину квартиру для журналов снимать. И по одежде он против меня, — знатный иностранец. И Ирина. Есть надо побольше, а не полы натирать.

Много я вам хотел написать, но вдался в подробности, так ничего и не рассказал. Вы мне толком напишите, что с мамочкой.

И обстоятельно. И потом на прежних ли местах вы все? Значит переезды не состоялись?

Посылаю Змееeда, прочтите3. Пока это единственный, пробный. Потом, если захотят сестры, каждой по экземпляру пришлю. Карточками моими поделитесь, надо бы три отпечатка4, но пока нету.

Обнимаю. 2>.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Поэма Важа Пшавелы «Змееед» (Тифлис, 1934).

2 Сюжет поэмы заключается в том, что ее герой Миндия, наделенный сверхъестественными способностями понимания сил природы, внезапно теряет их, срубив дерево на дрова, по настоянию своей жены.

3 Пастернак послал родителям «Змееeда» с дарственной надписью: «Папе и Маме от переводчика. Москва. 2. X. 34. Я всего не просматривал, правил при поверхностном передистываньи, что в глаза бросалось. Прошу прислать Жоничкины и Лидочкины стихи. Немецкие? Очень жцу» (там же. Кн. II. С. 106).

4 На обратной стороне фотографий Пастернак записал: «Кучер Антон, Зина со Стасиком и я. 1934. Замечательно колоритный мужик. На другой, групповой он рядом со мною. Все просил меня, чтобы я ему аттестат письменный выдал, а в конторе, верил, к нему печать Максим Горький приложит. Аттестат за отличную езду. И никак я не мог его разуверить, что никакой такой печати ни в конторе, ни на свете нет. Ход мысли понятен: дом — писателей, значит, главный — М. Горький, а я — один из следующих. Начальник департамента». На другой, групповой фотографии: «Пятнадцать человек служащих (среди них кучер Антон по левую от меня руку). Повар — в ногах у Зины, заведующая (с которой мы в Москву ехали) — по правую руку — ее дочка на коленях у одной из отдыхающих. Восемь человек "отдыхающих" <...>, Зина с младшим сыном — в белом воротнике с галстуком и др. Очень милые служащие <...> Посылаю, чтобы вы вспомнили Россию, особенно в лице персонала, конечно. Снимал бывший Одоевский учитель».

712. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ

24 октября 1934, Москва

24. X. 34

Дорогая Раиса Николаевна! Я у Жени был: она Вам кое-что из книг посылает, какие могла достать. С Ваших слов она спросила меня, какую бумагу мне нужно, или вообще, что нужно мне1.

Вот что нужно мне, Раиса Николаевна: чтобы Вы простили меня. Эта вещь нужна мне до чрезвычайности, и для меня будет большим счастьем, если я получу ее.

Вы мне писали из Италии2, и вышло так, что я Вам даже не ответил. Предоставлялась возможность быть Вам хоть немножко полезным, это и задержало ответ, а потом его обессмыслило. Я думал послать Вам просимое о Пушкине3, но стал раскачиваться так же медленно, как во всех случаях моей жизни, а верил, что в этом деле будет исключенье. Безобразью этому имени нет, и его ничем не загладить.

Я знаю, что теперь уже поздно. Вы написали драматическую вещь, и она меня страшно интересует4. В матерьял ах по П<ушки-ну> Вы более не нуждаетесь. Но все же для очистки хотя бы совести, т. е. для того, чтобы в своих глазах вернуть себе право иногда обращаться к Вам, я просил на днях человека сведущего раздобыть мне новинок о Пушкине, и если он их достанет, Вы в непродолжительном времени получите две-три книжки, если не для себя (за миновеньем надобности, или оттого что оказалось бы, что такие Вы уже имеете) то для кого-нибудь из Ваших Лондонских знакомых, читающих по-русски.

А до этого я пошлю Вам (на днях выйдут): 1) «Второе рожденье» (я не помню, посылал ли я Вам его в первом издании в 1932-м году) и 2) Грузинского поэта Важа Пшавелу в моем переводе. О нем несколько слов ниже, а пока — новая просьба (первая, — чтобы Вы простили меня). Итак:

Ввиду того что мне очень хочется получить письмо от Вас, пожалуйста, ничего не пишите мне, пока не получите всего обещанного. Мне так редко удается сделать задуманное, что боюсь, как бы и на этот раз дело не ограничилось добрым желаньем. Требующейся для этого палкою будет Ваше молчанье.

Вам наверное кажется, что все это очень бессовестно, но, честное слово, это не вполне верно.

А о Важа Пшавеле следующее. Имеется английский перевод Уордропа «Барсовой кожи» замечательного грузинского поэта Руставели (XII века)5. Следующим, вторым по силе, грузинские литераторы считают автора, одну из поэм которого я перевел. Он почти что наш современник (умер в 1915 г.). Он уроженец Хевсуретии, высокогорной области Грузии, очень своеобразной и первобытной, где почти безвыездно прожил свою жизнь. Читали ли или слышали ли Вы что-нибудь о хевсурах? Спрашиваю потому, что сам узнал о них только в старости, до революции в широкой публике о них ничего не было известно. Это, равно как и другая, высоко в горах затерявшаяся народность сванов (область Сванетия) — очень интересное племя. Есть легенда, будто это потомки крестоносцев, попавших на Кавказ и там остановленных на уровне и в понятьях Крестовых походов дикостью и неприступностью места, т. е. почти полной оторванностью от остального мира и трудностью общенья с ним. В обычаях их христианство теснейшим образом переплелось с язычеством. При всем этом, как племя рыцарское и воинственное, они не раз играли роль в грузинской истории, в борьбе Грузии с персами и монголами, и пр. Важа Пшавела, разумеется, не был таким этнографическим экспонатом, это образованный самоучка, по некоторым известиям будто бы в свое время побывавший в Петербургском университете6. Я его перевел по подстрочникам.

Зимой выйдет целый сборник моих переводов из грузинских поэтов, там будут одни современники, среди них два моих друга и очень интересных поэта: Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Если Вам будет интересно, сборник пришлю7.

Что же касается меня, то я не выношу и слова «поэт» не говоря уже о том парфюмерно-кондитерском и парикмахерском привкусе, который в эту серую, строгую и до сумасшествия прозаическую область вносит ходячее пониманье, даже и в революционном государстве. Можно бы на это не обращать вниманья, но на людей уединяющихся смотрят как на преступников. Кроме того, тут был съезд писателей, на котором ко мне отнеслись так мило, что теперь эта верность себе (и только при этих условьях — времени) кажется с моей стороны неблагодарностью.

Очень хочу написать роман, очень обыкновенный, главным образом затем, чтобы вписать в него несколько серых и бедных бытовых слов. Из тех, которых до сих пор не брала бумага. Я принялся за него, но в городе работать почти невозможно: телефоны и пр. И затем наша квартира на Волхонке очень шумная, несколько семейств, не все стены в ее части, занимаемой мною, настоящие, а есть и призрачные, превращающие, по звуку, мою рабочую комнату в проходную. Все это особенно ухудшилось за последний год, когда под нашим двухэтажным домом пролегла трасса метрополитена, усложненная еще тем, что как раз под нашим участком строят одну из станций, и при том открытым способом. Дом и двор наш — горнило работ. Песок, грязь, стены расселись, опустились полы, черный ход обвалили, размножились крысы. Но работают превосходно, и такая отличная молодежь, я ведь это так близко наблюдаю! Кроме того,

как это ни странно прозвучит, я люблю скверные для работы условья и пропал бы среди хороших.

Когда я переводил «Змееда», я вспомнил, как мы в детстве Жуковского читали. И мне хотелось в переводе дать книжку, которая читалась бы легко и разом, и нравилась бы детям и старикам. Поэтому я наперед знаю, что она Вам не понравится. Привет Вашей семье.

Ваш Б. П.

Впервые: «Минувшее», № 17. — Автограф (Russian Archive, Leeds ишуегеку).Отравлено в Лондон.

1 По просьбе Ломоносовой, Е. В. Пастернак послала ей два тома романа А Толстого «Петр Первый» и 1-й том писем Пушкина (1815—1825) под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского (М.-Л., 1926). В Москву собирался приехать знакомый Ломоносовых морской инженер и писатель Г. Э. Меткалф и мог привезти нужную Пастернаку для работы хорошую бумагу.

2 Письмо из Рима было написано 20 нояб. 1933.

3 Ломоносова написала пьесу о гибели Пушкина «Дуэль».

4 В библиотеке Р. Н. Ломоносовой имеется первое издание «Второго рождения» (М., «Федерация», 1932). Судя по ярлыку книжного магазина, издание куплено в Лондоне. «Вчера вернувшись домой, — писал Пастернак Ломоносовой 23 окт. 1934, — нашел 1-ый экземпляр, принесенный из издательства и в ужас пришел. Открывающая сборник вещь "Волны" оказалась посвященной — Бухарину! Весной стали выходить Известия под его редакцией. Я в таком восхищеньи был от нового вида газеты, что все хотел это Бухарину выразить. В то время я "Второе Рожд<енье>" к изданыо подписывал. Тогда я сгоряча надписал ему вещь, никакого отношенья к нему не имеющую, страшно личную!! И об этом забыл!!! Вот какие иногда делаешь глупости» (там же. С. 362). Книги были посланы с дарственными надписями: на «Втором рождении» (М., 1934): «Дорогой Раисе Николаевне от глубоко ей преданного Б. Пастернака. 26. X. 34» и на «Змееде» (Тифлис, 1934): «Вот та книжка, о которой я писал Вам. Б. П. Наверное чепуха ужасная. В оригинале лучше. Но я его по подстрочному переводу знаю» (там же. С. 366—367).

5 Перевод Марджори Уордроп поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» был издан посмертно в 1912 г. ее братом, английским дипломатом и пропагандистом грузинской культуры.

6 Важа Пшавела (наст, имя: Лука Разикашвили) после окончания духовной семинарии, в 1883 г. поступил вольнослушателем на юридический факультет Петербургского университета, в 1884 г. вернулся и до конца жизни жил в родном селе, где пас скот, учительствовал и писал стихи.

7 Сб.: Поэты Грузии в переводах Б. Л. Пастернака и Н. С. Тихонова. Тифлис, Закгиз, 1935.

713. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5—24 октября 1934, Москва

5. X. 34

Дорогая Марина! Первого октября я приехал в город. Мне грустно и хочется написать тебе.

Только в состоянии инерции я не чувствую беспомощности, когда, не думая о себе, не думаю и о тебе. Комната мне «обо мне» напомнила1. Ах, если бы мы жили в одном городе! До чего мы были бы друг другу в помощь!

Надо зарабатывать и работать, надо за что-то садиться, и я знаю, за что: за прозу, которую я начал в позапрошлом году и бросил, а теперь летом возобновил. Но какое

это несчастное заблужденье! Сколько тут превращений, переходов одного в другое, как я дал обмануть себя, куда забрел!

24. X. 34

Так я начал тебе однажды по приезде, перед тем как приняться за работу, от неверья в нее. Теперь мне стыдно этой ненужной и предосудительной нервности.

Дело проще, надо переписываться, хотя бы по два, по три раза в год. Чаще я не умею, а неотвеченными письмами твоими болею.

Напиши мне о своих, о Сергее Яковлевиче, о Муре и Але. О себе тебе еще труднее будет писать, чем мне. Ведь это томы и томы, хуже всякой прозы. Чтобы не вышло недоразуменья: в такое положенье попал бы каждый из наших близких, если бы ему предложили о себе говорить, а я тебя о них спрашиваю. Мы это они, никакой разницы. Оттого люди, ради которых я живу, не замечают, что я люблю их. Тождество ведь не занимает места в пространстве, пальцем в него не ткнешь.

Я рад сказать тебе, что работаю в невозможнейших условиях, в которых другой бы спился или с ума сошел. Это не для того, чтобы равняться с тобой: я достаточно зарабатываю и это мне перед тобою рот зажимает. Я всех своих поддерживаю, мы масло едим, но обыкновенной человеческой квартиры я никогда не увижу.

Всех удивляет и даже раздражает, что я хожу ободранный, но не как человек опустившийся, а еще не заинтересовавшийся платьем. Это и вредит мне практически.

Тут выработался стиль, необходимый для преуспеванья, немой язык удачи, при пользованьи им ее обеспечивающий, при отказе от него, мстящий за отказ. Вот некоторые его признаки. Нельзя ограничиваться нужным, надо просить вдвое: тогда дают вчетверо. Надо любить радио, патефоны, пишущие машинки, американские шкапы, эстрадные выступленья. Надо это понимать.

Но у меня нет выбора. Сами обстоятельства меня оправдывают. Я наверное человек робкий: чуждая обстановка всегда мне кажется лучше и выше меня (как бы я разумом ни осуждал ее — физически я в ней теряюсь).

Именно оттого всегда выхожу я таким оторопелым идиотом на фотографиях. Чем надо быть и как это сделать, чтобы быть достойным фотографа и объектива? В минуту, которую занимает съемка, этого вопроса никогда не решить.

Но нынешним летом, в Одоевском бывшем уезде бывшей Тульской губернии (Одоевском районе Московской области), когда бывший Одоевский учитель, очень милый и робкий человек, навел на меня что-то дощатое и обшарпанное, не только ничем не похожее на фотографический аппарат, но и вселяющее к себе меньше уваженья чем клетка с прорицающим попугаем, я почувствовал себя на равной ноге со всем этим, и пришлю тебе фотографию.

Много семей у нас живет на Волхонке, все в разное время встают, начиная с 6-ти утра, весь день ходьба, все это мимо меня грохочет, а у меня перегородок тонкоребрость, сквозь которую можно пройти, как свет2, и все это раздалось, пошатнулось, опустилось, село: — метро. Всюду трещины, лоскутья обоев, дыры, грязь, песок, крысы. И шум. При рытье туннеля этаж под нами пошел под шахты, полы рубили. И обвалили черную лестницу. Черный ход отпал, строка из Волн стала общим трактом для всех живущих, для помоев, для ношенья дров и хожденья на рынок.

Но ты не ужасайся, потому что вперед надо знать, чему ужасаться: ужасаться надо мне. Для полученья квартиры надо только бросить работу (заработок от этого бы вырос) и купить новый костюм (заработок от этого поднялся бы еще выше).

Два слова о прозе, ты и с одного поймешь. На что она сдалась мне, к чему такое упорство? Ведь я ее писать не умею, это мне так трудно.

Мне почему-то верится, что — в предпринимаемой (скромной и серой, с фабулой, вытесняющей почти все нефабульное из ткани) мне удастся записать несколько хотя

бы слов нынешних: антипоэтических, повседневных, административно-советских и бытовых, — таких, которых до сих пор бумага не принимала. Мне хочется, чтобы она вдруг взяла их да и не как-нибудь, — а преданно и любовно. Мне за них больно, я жил с ними по поговорке стерпится-слюбится. Мне их как серых приютских девушек, из некрасивых и не смеющих глаза поднять, хочется в свет вывести, чтобы они глаза подняли и убедились, что нестрашно. Короче, это что-то вроде советской Достоевщины (только без проблем и надрывов и лишь в его сверхбелкиновщине, сверхъевгеньевщине)3.

Выше я тебе свое расхожденье представил с тоном наших благополучных. Ты ошиблась бы, если бы его за разлад с временем или порядком приняла. Ничуть не бывало. Ведь за это время время с гору выросло, и надо быть слепым, чтобы его не видеть. А как его не любить, когда оно, пока ты жил, все против тебя росло, тебе в укор, и вдруг все из тебя выросло, из лучшего твоего, из ближайшего. Я ведь это не только в первом лице говорю, а к тебе обращаю: и из лучшего твоего, Марина, и из Сережина. Где, в каком ином еще воплощеньи найдем мы и узнаем себя и то, что лучшего от домов и жизней осталось, что, по собственным давним-давним и затаенно дерзким нашим желаньям должно было от них остаться. А куда те ночные разговоры подевались, старших классов гимназии? Где они, коли не тут?4 А когда иногда этот американизм выпирает, про который было выше, так разве это не дура вырядившаяся, не ворона в павлиньих перьях, не то, от чего всего роднее и ревнивее сердце сжимается? Нет, я человек страшно советский.

Я тебе карточку в книжке пошлю, кстати не помнется. Слыхала ли ты что-нибудь о хевсурах и сванах, жителях двух, почти неприступных горных областей Грузии, мужественных, первобытных, подающих благодарный повод к построенью самых неожиданных легенд об их историческом происхождении, когда-то переплетших христианство с язычеством так, как это кроме них никому не снилось, и при всем том — географически реальных.

Перед войной умер грузинский поэт хевсур Важа Пшавела, которого они по силе считают вторым после Руставели.

Когда я стал переводить одну из его поэм по подстрочникам (заглавье с тремя е подряд долго будет тебе глаза колоть, но привыкнешь; заметь, что ять отменено, при котором этого бы не получилось, а змиеед или пожиратель змей казалось мне безвкусицей). Да, так значит когда я принялся за перевод, мне не то что Жуковский (тут никакого сравненья быть не может; модерниза-торские параллели между стариками и живущими всегда безответственно лживы, классики (и всякие!) всегда выше нас), а союз Жуковского с детьми и стариками, с детством и старостью нескольких прошедших поколений представился. И этот дух руководил мной. Мне именно этой гладкости хотелось, этой гладкости передачи. Чтобы это легко было читать и нравилось старикам и детям. Я о стариках и детях Ломоносовой написал и тут же сострил галантно, что это, стало быть, книжка не для нее, — если удалась5.

Ты же мне простишь, если я без таких комплиментов понадеюсь, что этот тон перевода будет тебе приятен, если я только достиг его.

Не пиши мне о «протестах», рифмовке иных мест и прочем. Я не о lapsus'ах говорю, их там куча. Но и они могли быть уместны, если старчески-детский замысел осуществлен, если это греш-невая или манная каша, которой надо съесть полную тарелку.

Во всяком случае крупа превосходная, как бы плохо я ее ни сварил. Я говорю об авторе. Как слабо я его ни перевел — содержанье, мысль, компоновка, члененье частей и их настроенье — его, и были бы сохранены и сквозь языковое сниженье. Но, думается мне, он сам поднимал меня.

Там много очень близкого тебе, со многих сторон. Нравственный лапидаризм, натуральное ницшеанство, горы, природа6. Не чужд он был, конечно и мне.

Ну вот, письмо получилось длинное.

Сейчас Ася звонила. Я было хотел уже запечатывать и посылать, да вдруг узнаю, что у тебя адрес новый. А открытки твоей с адресом Ася в минуту найти не могла и на днях сообщит мне7. Опять судьба письму лежать. Но теперь это меня не так беспокоит, потому что от Аси узнал, что вы живы все. И я, пока. Удивительно это, и не знаешь, как благодарить... Всего лучшего, тебе и твоим.

Твой Б.

Впервые: Цветаева. Пастернак. Письма 1922-1936. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 173). Послано 3 нояб. 1934.

1 То есть возвращение в свою комнату, «к себе» после трехмесячного отсутствия.

2 Цитата из «Волн» (1931): «Перегородок тонкоребрость / Пройду насквозь, пройду как свет».

3 Имеется в виду стилистическая окраска образа маленького человека в романах Достоевского, идущая от «Повестей Белкина» Пушкина (Самсона Вырина из «Станционного смотрителя») или Евгения из «Медного всадника».

4 Ср. в письме № 678 о «ночном разговоре девяностых годов», который «стал жизнью» и теперь кажется «безумьем». «Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем эта голая и хамская и пока еще проклинаемая и стонов достойная наша действительность».

5 Письмо №712.

6 В 1940 г. Цветаева сделала перевод двух поэм Важа Пшавелы «Раненый барс» и «Этери».

7 Цветаева переехала из Кламара в Ванв, под Кламаром. «...Узнал вдруг от Аси, что у вас новый адрес. Ася обещала его найти, но видимо далеко куда-то заложила. Сегодня Ел. Як. (Эфрон. — Е. #., М. Р.), которой я за этим позвонил, обещала прислать его в письме», — писал Пастернак 2 нояб. 1934 (там же. С. 553).

7 ноября 1934, Москва

7. XI. 34

Жоничка, у меня неделю залеживается письмо, которое я написал в ответ на твое вам обеим, тебе и Лиде. Мне больно обращаться к одной тебе из Лидочкиной комнаты (пользованье ее адресом к этому приводит). С другой стороны неестественно обсуждать сообща твои недосказанности (хотя из нас двоих только Лида до конца знает, о чем в них речь, а не я).

Я его не посылаю, того письма, а пишу новое, потому что в нем было много лишнего.

Прежде всего. Смотрите легче и проще на ваши предположены!. Они не нуждаются в долгом обдумыванье, их надо спокойно привести в исполненье. Вы обе должны побывать у нас.

Ведь это не сопряжено ни с каким риском, и для этого ничего не требуется. К примеру, Лиде, как ни приятно будет ее видеть в гостях у себя нам, Шуре, или кому бы то ни было еще, — Лиде, говорю я всегда есть бессрочный и готовый кров и стол у Жени, которая уже одной этой возможности радуется, как безумная. Лида списывается издали о работе, а этого не надо делать, это она сделает тут, не торопясь, — Жениных средств на нее хватит в той степени, что ни Лиде, ни Жене это не будет заметно. Отчего же не сделать приятного людям? Что может Лиду в этом направленьи остановить?

То же самое и о тебе, Жоня. Отчего тебе не прокатиться сюда весной, скажем, как туристке? Я тебя на майский парад сведу, в Ленинград и на Кавказ съездим. И опять, я

это сам подыму, на это от тебя не потребуется своих средств. Потом вернешься. Я не знаю, какие у вас трудности, но возьми, например, визу в Японию или Китай, и у нас, транзитом, заболей, если мы даже и географически вас дискредитируем1.

Недавно я получил от наших письмо, где родители приходят к мысли, и с горечью примиряются с ней, что нам больше никогда не свидеться. В особенности нам с ними.

Я сам стал приходить к этой мысли, и даже, может быть, им об этом писал. Но в последнее время у меня совсем другие настроенья. Если они будут беречь себя и Бог даст останутся здоровы, я уверен, что скоро повидаю их.

Если бы я всецело принадлежал себе, т. е. был бы совершенно частным человеком, я даже и сейчас бы отправился куда-нибудь в Швейцарию к Роллану и туда бы попробовал вызвать их. Или бы я транзитом через них отправился во Францию.

Но в моем положеньи съездить так куда-нибудь значит уже что-то сказать этим, или же обязаться что-нибудь сказать об этом непосредственно по возвращеньи. Вот почему я не могу собраться прямо к вам. Меня лично ничего бы от этого не удержало, потому что никакого риска и никаких неприятностей не заключало. Но косвенно вы связали бы меня необходимостью молчать о своей поездке, задачею, в моей судьбе, непосильной и неестественной2.

Если я справлюсь с помехами, т. е. со всякими радостными неожиданностями, еженедельно волнующими меня отовсюду, и в тишине напишу, что задумал, я в будущем году, если буду жив, обязательно соберусь за границу.

О твоих писаниях. Разумеется, мне дорого узнать, что ты пишешь3. О чем тут распространяться. Посылай, когда перепишешь. О приложимости и применимости опять не поверю, чтобы ты сама не понимала: 1) Что не видевши, трудно судить. 2) Что об этом вообще трудно издали сговариваться или списываться. 3) Что в этом отношении моя одноименность и родство будут вредить тебе (папа тебе объяснит) и что из всех людей на свете мне будет труднее, сложнее, больнее и неудобнее ратовать или страдать за тебя или вообще как бы то ни было переживать тебя в этом факте. Ты прости, что я об этом пишу без глубины и грубо: об этой области я по-другому не могу. Я убежден, что сделанное тобою все сплошь и в смысле вкуса и души и всего прочего — настоящее искусство. И вот, если этому суждено когда-нибудь проклятье объективности, покинувшей чистые пределы отдельной жизни и ее круга, то это случится своим путем, который трудно предвидеть, и по которому пойдешь ты сама, конфузясь и рискуя.

Милый папа, он все время смешивает свою интимность и мою: это разные вещи. Он мне пишет о ваших стихах и шутливо спрашивает, не возьмусь ли издать я. Он это говорит в шутку, но так как он в глубине души допускает, что нешуточные вещи на свете могут иметь шуточное начало, то это можно понимать и всерьез. Я боюсь, что тебе это все неприятно. Я же это говорю так, что никак это неприятным быть не может, и, значит, только не умею этого сказать. И опять это не тема для письма: тут надо бы мне многое сказать о себе, но об этом пришлось бы томы писать.

Всего же меньше тема для переписки твои недосказанности4. Однажды ночью я переулками возвращался к себе и вдруг стал думать о твоих детях так, как никогда до тех пор не думал. Я вдруг ошугил, что они — как мы были у наших когда-то: т. е. я сравнил их с нашим детством. Ближе и кровнее нельзя. Я так никогда ни Феди Шуриного, ни Женечка не воспринимал.

Замечательно, что эти мысли (связывающие и предельно небезразличные) явились у меня за размышленьями о том, что тебе обязательно надо было бы к нам приехать.

Я это вспомнил, когда читал твое письмо. Меня все в нем взволновало. Зачем мне скрывать от тебя, что если бы ты приехала, возможно было бы всякое, возможно было бы и то, что я бы куда-нибудь поехал с тобой и дорогой бы в тебя влюбился. Тебе

смешно и глупо это читать, а я чтб хочу сказать: что когда я читал твое письмо, я так его читал, что моя вера в тебя освобождала все твои недосказанности, предположенья и планы от каких-то сдер-жек, привязывающих их к месту, и они приходили в движенье и приносили последствия. Я все за тебя пережил, не зная чтб собственно переживать (ты свои сообщенья оставляешь в состоянии расплывчатого психологизма) — так велика у меня способность пережить с тобой самые сильные вещи, — и все это с моей мыслью о детях твоих ни в какое противоречье не пришло.

И опять, как говорить об этом в письме. Что нужнее всего на свете? Деятельная доброта. А куда угнаться в тонкости и жаре доброте правого за добротою виноватого, что-то видевшего и где-то побывавшего, и своими силами без чужой помощи с чем-то справившегося. Что добрее его опыта и утомленья.

Если бы я сказал, что я это пишу, и у меня Федя перед глазами, это было бы глупо в том только смысле, что сказанного было бы слишком мало. Вся жизнь у меня перед глазами и, значит, все твое, личное в ней.

Ах и это не тема для письма. Надо свидеться и поговорить. Приезжайте же обе, и поскорее.

Боря

Жоня, если будешь писать мне, пиши смелее, без недомолвок. О фактах. И посылай свое, очень прошу тебя.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

1 Речь идет о возможной поездке сестер в Россию, но советская виза могла повлечь за собой серьезные неприятности в нацистской Германии.

2 Написанный в официальном духе отчет о виденном в Германии мог отразиться на уязвимом положении родителей.

3 Речь идет о стихах Жозефины, которые позже были собраны в ее книгу «Координаты» (Берлин, <1938>).

4 Недосказанности касались сильного увлечения, которое переживала тогда Жозефина. И хотя Пастернак не знает фактических обстоятельств, но его мысли о ее детях и муже от этого приобретают непосредственную яркость.

715. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

27 ноября — 12 декабря 1934, Москва

27. XI. 34

Дорогая Жоня! Прости, что написал тебе тогда такое пустое и спокойное письмо. Но мы столького туг навидались, и, в частности, мне так много приходится узнавать про всякие несчастия и неудачи, столько всего разбирать и по таким поводам хлопотать и вступаться, что некоторое огрубенье, меня не избежавшее, — простительно.

Неожиданно от Жени узнал, что часть написанного тобой есть у Стеллы, и попросил у нее сейчас и прочел. Помнишь ли ты, чтб ей посылала?

Это: «Так медленно», «Я песен слагать не умею», «Ты ждешь?», Ночная фиалка, Воздух, 1934, осень, Цинерарии.

Для меня все это было поразительно. Я ждал большего беспорядка, душевной незрелости, недообобщенной и никого не касающейся прозы, беспомощности вкуса. За редкими исключеньями очевидной победы, искусство без мастерства всегда смущает: становится неловко за человека, который потянулся к области, призванной давать больше, чем составляет сам человек, и вместо того дает на языке этой области какую-то часть себя, малую и необязательную.

Такой тени ты на себя не бросила. Наоборот. Я в совершенном удивленьи от этой стороны дела. Уверенность прикосновенья к теме, естественность спокойно

исчерпывающего ее оборота, движенье в том промежутке между напряженностью и прозрачностью, в каком только и можно сказать то, что хотел, так, как этого хотелось — все это я у тебя встретил в степени, редкой даже у сложившихся художников. Если частью своей искусство всегда свидетельствует об авторе, то с его свидетельством о тебе тебя можно поздравить. Облик очень серьезной, очень благородной жизни встает за сказанным; как хорошо я тебя ни знаю, как ни думал, что знаю, такою я тебя еще не знал.

Ты должна обязательно съездить к нам. Там, где ты рассчитываешь на приложимость сделанного, начинаются ненужные иллюзии. Это и иллюзии, то есть ложные надежды; это и иллюзии ненужные: т. е. ты не о том мечтаешь, в чем, мне кажется, — нуждаешься.

Объяснять тебе первое после второго излишне. Однако, если хочешь, вот несколько слов. Когда человек в какой-нибудь области приобретает имя, за ним устанавливается авторитет. Основанья его — в силе гипноза. В стадии авторитетности человек получает право говорить элементарные истины. Их тогда слушают. Но дело не только в гипнозе. Авторитету не сопротивляются, потому что втайне его считают беззубым. Если говорить о хлебе, то он его давно уже отбил у других в борьбе за существованье, об этом надо было думать раньше, а теперь поздно.

Все это надо понимать не буквально. Я хочу сказать, что лишь в конце пути нам разрешается говорить по-человечески. В его начале приходится постепенно завоевывать это право. Я бы не хотел называть это борьбою, но я все исправлю, если скажу, что это только тогда воистину борьба, когда борющийся не знает, что он борется.

Чем она осуществляется. Вызывающей неслыханностью формы, не опирающейся на общепринятую и потому поначалу совершенно беззащитной; содержаньем, сводящимся к непримиримым частностям, обособленностью позиции, поражающей своей голой безоружностью, с теченьем времени превращающейся в вооруженье.

Какое отношенье имеет все это к тебе? Вот какое. Никакими силами не заставишь ты людей вслушиваться в твой душевно и тонально правдивый голос силою только этой правдивости: для тебя еще это рано, ты не авторитет.

Итак, если ты хочешь, не скажу, печататься, — но вообще быть собою для какого-то, безразлично какого, множества людей, ты должна за какую-то истину, из которой проистекает истинность твоих отдельных вещей, — бороться.

Когда я при этом себя спрашиваю, в чем главная твоя поэтическая сила, то вновь оказывается: она в искренности, она в глубине и подлинности твоей жизненной ноты, в ее несочиненной действительности; она — в твоей жизни. И тут она так глубока, что заставляет меня читать тебя, как запись авторитета, и послушно улавливать благородство и уверенность твоего стиля, несмотря на его неоригинальность. Тут-то тебе и надо бороться.

Если и раньше, думая о тебе, я полагал, что ты могла и должна была бы, не совершая никакой ломки, быть внутренне, а может быть, и внешне свободнее, то после стихов эта уверенность удесятерилась. Достаточно к ним прислушаться, чтобы в них самих услышать указанье, где, в какой области ты должна быть деятельнее и смелее. О, не в литературе, не в художественной манере, нет, нет, не в поэзии: в твоей собственной личной жизни, в обиходе, в двойной решетке привычек, которые ты приняла и которые привила другим. Вот отчего, настоящий ты поэт и человек, я назвал литературные твои иллюзии ненужными. Когда удачи в этой области могут возместить неудовлетворенность житейскую, — по-другому идут к этим удачам. Мне гораздо ближе и дороже твой случай: когда они ее не возмещают. Поэтому незачем их и искать. 12. XII. 34

Мучительно писать на такие темы. Я почти разлюбил тебя за этим письмом, т. е. на время его писанья. У меня нет времени, мне не дают работать. В конце концов мне так сейчас надо и хочется работать, что по совести говоря, на все на свете, кроме этой работы, наплевать.

И вот вдруг среди этого всего сумбура приходится мне поднимать для тебя труднейшие, после деторожденья, вопросы, и, ничего фактического о тебе не зная, основываясь, быть может, на твоих преувеличеньях, кропотливо их для тебя разбирать, заведомо попусту, потому что это немыслимо на расстояньи. — Стелла сказала мне, что ты довольна моим письмом и мне кланяешься. Это меня страшно обрадовало, и освобождает от необходимости доканчивать этот разбор, мучительный своим теоретизмом. Я от таких вещей внутренне заболеваю. Вкратце мораль всего того, что я тебе хотел сказать, сводится вот к чему. Ты гораздо богаче того, чем без чьей-либо, кроме твоей собственной вины, себя ограничила. Никого не ущербляя, никому не причиняя страданья, но напротив, получая возможность давать близким более здоровые и высокие вещи, чем они до сих пор привыкли иметь от тебя, ты должна была бы стать смелее, деятельнее и, в обиходе своем, внутренне шире. Я не могу определить это ближе, потому что ничего не знаю. Но вот единственная, по-моему, правильная тема, на которую мне следует с тобою говорить.

В одном я каждый день тебе завидую. И Лиде. В том, что вы можете видеть папу и маму, когда захотите. В особенности, в том круге чувств, который поднимают предметы этого письма, это относится к папе. Как мне недостает его, то есть возможности быть с этим большим человеком и иногда успокаивать его и напоминать ему, что смерть не должна пугать его, потому что все то, что ему однажды снилось в юношестве, потом пришло и подтвердилось с лихвой, что эта замечательная жизнь состоялась, что все это было, и есть. Какое счастье для меня, который теперь все это знает, иметь отцом такого человека, такого настоящего, за которого не страшно в старости и которого не жаль, как бывает жалко слабого и слабеющего, потому что слабым он никогда не был и быть не может.

Как я тебе завидую, что вместо меня все это ему говоришь ты, и как ты, наверное, недооцениваешь радостности этой возможности, как не представляешь себе важности и нужности ее для него и для себя, как не знаешь, как бы ты мучилась, если бы была разлучена с ним в эту пору. Вот тут, в среде таких разговоров, тут и учиться бесстрашью, т. е. тому, чтобы ничего не бояться. И правда, чего бояться, Жоня, чего бояться ему и тебе, когда в нашем с ним случае, случае такого человека и художника, и неотменимого не страшно. И опять, нельзя таких вещей касаться в письмах. Ноя тебе завидую.

Крепко их поцелуй, маму и папу.

Твой Б.

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Hoover Institution Archives, Stanford).

716. Н. и Т. ТАБИДЗЕ

8 декабря 1934, Москва

Дорогие мои Нина Александровна и Тициан!

Когда я получил тот вечерний стол в конверте, я стал Вам писать письмо за письмом. Ах, вы оба такие родные! Но ведь мы столько еще увидим в жизни общего и столько раз еще и так сильно будем жить друг другом, не правда ли? Так что зачем нам писать друг другу письма.

Мне бы только освободиться сейчас от своей кабалы, от прозы. Долго рассказывать, зачем я ее пишу.

Когда я называю Вас близкими, родными, равными, душевно-понятными, — это не пустые слова и не праздные. Приедете, у Клавдии Николаевны1 спросите.

В неотосланных письмах я Вам о себе писал. Что у меня в душе нечто подобное бутылке с крепким клеем, где в один кусок склеивается лучшее из того, что я переживал. Я Вам стал перечислять, с чем Вы у меня связаны: с Ролланом, с моей старшей сестрой, с нынешней революционной Германией, явившейся вдруг естественным продолженьем Рильке и т. д. И вдруг вспомнил, что Вам ли, Нина, не знать этого строя, когда рядом с Вами живая такая бутылка — Тициан. А Тициан, как там ни верти, оказывается сильнейшим лириком из всех. Я это и раньше знал. Но он слишком близок мне. Как и о себе самом, я не смел этого знать даже про себя. Иногда я им жертвовал совершенно, как собою, можете Вы это понять? Однако слышали ли Вы, что в зале сделалось, когда я перешел к нему! К Вашим собачкам2, Нина, Тициан будет сердцем московской книги, он ее спасает3.

Но довольно, довольно. А то и это письмо не отойдет.

Когда я увидел Змееда в виде книги, у меня сердце сжалось от невозможности сказать, кому я ею обязан. Это я должен был бы сказать Е<вфимии> А<лександровне>4.

Первый месяц по возвращении я помнил все места и мгновенья в Тифлисе, и они за меня работали. А она была их летящим лицом.

Ей не надо этого говорить, она и без нас с Вами это знает. Только знает, как только все всегда и Зина, ничего никогда не понимая.

Понимать совсем другой мир, совсем иной стиль и род жизни, это не места и не мгновенья, не Тифлис даже, даже, может быть, не земля, это близкая, случаем подаренная допущенность к делам истории, это участие в ее будущем, это широкий роман с теряющимися границами нескольких особо счастливых, под небом, покрывшим их смыслом одной общей даты. Это клей, о котором была речь выше, это Вы и я, это наши соединенные руки.

Посылаю Вам свою летнюю карточку. Ее снимал простой Одоевский учитель, я его не стеснялся, оттого и вышел.

Обнимаю Вас, Тициан.

Ваш Б.

Впервые: «Вопросы литературы», 1966, № 1. — Автограф (ГМГЛ, № 20897). Датируется по почтовому штемпелю.

1 К. Н. Бугаева — жена Андрея Белого.

2 Стих. Т. Табидзе «Сельская ночь» («Дворняжки малые "тяв-тяв" на месяц в небе...»).

3 «Грузинские лирики» в переводах Б. Пастернака. М., 1935.

4 Е. А. Леонидзе. Ей посвящены строки из стих. «Как-то в сумерки Тифлиса...»: «Нас отбрасывала в детство / Белокурая копна /В черном котике кокетства / И почти из полусна...» (1936).

717. Н. А. ТАБИДЗЕ

14 декабря 1934, Москва

14. XII. 34

Дорогая Нина Александровна!

Обеспокоен слухами о том, как ведет себя Тициан и не бережет своего здоровья.

Жена Жанго1 рассказывала мне, что он спит не больше ночи в неделю, а за бутылкою не отстает от товарищей. Что же ото всего этого получится?

Мне все это непередаваемо больно. На Тициана, как на человека и поэта у меня и у всех нас тут самые большие надежды. Пусть обращают ночи в дни и спиваются другие. Тициана мы не уступим. Если примеры заразительны, переезжайте к нам.

В словах моих о других не ищите намека. Это не персонально кто-нибудь (менее всего Гогла2 или Паоло), новая среда в целом.

А еще так недавно я заглядывал в ближайшее будущее и гадая о том, с кем бы мне хотелось разделить его, более всего думал о Тициане.

Хороша же на него надежда, если в то самое время, как я вдруг получил обостренный интерес к здоровью, забочусь о нормальном сне и стараюсь бросить куренье, он в припадке непозволительной детскости жжет свечу с обоих концов.

Пусть временно займется драмою или прозой. Это хуже каторги и дико скучно. Для этого ему потребуются совсем другие силы, нежели для лирики.

Наверное как и я, он ничего тут хорошего не напишет, и этих сил не найдет, но в их поисках он по крайней мере попробует дышать чистым воздухом, ложиться вовремя и иногда, курьеза ради, оставаться трезвым.

Ну, что нам с ним делать? Напишите мне, пожалуйста, что с ним. Ну как можно быть таким податливым и уступчивым. Ну, пьют, смеются над его мнительностью, — неужели у него так мало сил и воли? Неужели он не понимает, что они в неравном положенье? Пролета-рьяту нечего терять кроме цепей, а у него еще и часы найдутся.

Напишите мне, пожалуйста, как далеко зашло его паденье, и не сердитесь, пожалуйста, на мое прошлое письмо. Тициана обнимаю. Поцелуйте Ниту.

Ваш Б.

Впервые: «Дружба народов», 1996, № 7. — Автограф (ГМГЛ, № 24960,1).

1 Жанго Гогоберидзе — грузинский поэт-футурист.

2 Георгий (Гогла) Леонидзе.

718. РОДИТЕЛЯМ

25 декабря 1934, Москва

25. XII. 34 Дорогие мои! Надо ж, наконец, написать вам. Отчего я так редко это делаю? Я пишу большую вещь в прозе, она у меня растягивается вширь и уплотняется в глубину, и я ни на один день не могу ее бросить. Кроме того, не все часы дня я за работой, только небольшую его часть удается уделить на нее.

Потом, после поправки в Одоеве, я вошел в такой вкус насчет здоровья, что стал отдыхать днем, гуляю, стараюсь спать полностью, сколько надо и пр. и пр.

Скоро новый год. Мне безразлично, встречу ли я его или не встречу, и как и где. Никогда я так мало не нуждался в рассеяньи и не желал так сильно сосредоточенности и покоя.

Мне теперь столько же, сколько было тебе, папа, когда мы были в Берлине в 1906 году. Ты тогда писал Бебе и Рашель1, кажется. Достаточно мне вспомнить тебя того времени, чтобы оторопеть от сравненья. Ты был настоящим человеком, отцом четырех детей, уже тянувших в разные стороны; ты был тем папой, которого я так помню, тебя было на кривой не объехать, и перед этим образом, большим и широким, как мир, я совершенное ничтожество и во всех отношеньях мальчишка. Я тот же, как был тогда, только с расширившейся грудной клеткой и совершенно без зубов.

Мы недавно много вспоминали тебя с Сережей Дурылиным, помнишь ты его? У него было в жизни много испытаний, он дважды был в ссылке2, и в захолустном, например, городке Киржаче, без керосина и в довольно трудных условьях написал большую, получившую тогда, в год Гётевского юбилея, признанье в Веймаре, большую работу о русских гётеанцах, современниках Гёте и его веймарских гостях3. Он то, что у нас называется театровед, литературовед и пр., то есть теоретик и историк этих областей.

Ему заказана статья о Толстом и художниках, и меня поразила его память: он помнит все, что ты когда бы то ни было говорил ему на этот счет. Он спрашивал, где находится оригинал Толстого в елочках в Астапове и, стыдно Сказать, ни я, ни Шура

этого не знаем. Так же есть у него работа об Ольридже. Он твоего рисунка Ольриджа с Шевченкой никогда не видел. Где он был напечатан?4 Сережа (его зовут Сергей Николаевич) тебе напишет. Если тебе трудно будет ему отвечать, т. е. явятся опасенья, что ответ разрастется и отнимет у тебя много времени, можешь ответить вкратце мне, или как захочешь.

Боюсь, что вы распечатали и прочли письмо, через вас адресованное Жоне. Я начал его писать, когда она у вас была, и не знал, что она уехала. Кто упрекнет вас в этом, если вы его прочитали? Вы были вправе это сделать. Но многое, что я там только ей писал, частью о вас, может быть, показалось вам диким и огорчительным. Если бы я это собрался сказать вам, я все это сказал бы по-другому. Если это так случилось, как я предполагаю, меня это очень печалит, и пока Жоня или Лида не утешат меня на этот счет, мне не будет покою. И во всем эта Жоня виновата! Мне по ее милости на такие глубины пришлось опускаться, а я это делаю по специальности, на стороне, в работе, и по-другому, и повторять тот же анализ в жизни, из прямой потребности чьей-нибудь, терпеть не могу5.

Что мне сказать? Зачем я пишу вам? Что Сережа сказал мне о Малютине, которому 76 лет и который работает, не покладая рук и с большой бодростью? И о Нестерове, ставшем портретистом?

Что мы все здоровы, и я в особенности? Что мы непременно увидимся, и я не мог бы жить, если бы в это не верил?

Вот что я тебе скажу, папа. Что я бы тебя не беспокоил насчет Астапова и Ольриджа, если бы их репродукции имелись в твоей монографии. Но их там нет.

Зато какое удовольствие я испытал, ее просматривая для этой проверки!6 Я ее давно не перелистывал, и вдруг получил полный заряд тебя прямо в лоб. Какой ты замечательный художник! Сколько темперамента в технике твоего реализма, таким должно быть искусство, это вроде allegro vivace из VI-й Симфонии Чайковского, пусть мама напомнит тебе, — все с начала до конца в порыве одного движенья.

В границах сужденья, вмещающегося в восклицанье, мне кажется, что лучше всего ты рисовал Толстого и Жоню. А как ты их рисовал! Жоню ты рисовал так, что она постепенно росла согласно рисункам, следовала в жизни за ними, на них воспиталась больше, чем на чем-нибудь другом. Чувствуешь ли ты это? Что ты о себе думаешь и как себя чувствуешь на этот счет? На твоем месте я с такою жизнью за плечами был бы на седьмом небе. Такая жизнь, такая рука, такие встречи и воспоминанья! —

А я, хотя и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика Диккенсовского толка, а потом, если хватит

сил, в поэты — Пушкинского. Ты не вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятье о внутренней перемене.

Я бы мог сказать то же самое и по-другому. Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими.

Итак, с Новым годом, будьте здоровы и счастливы, вспомним друг друга в эту ночь.

Так как кто-нибудь из девочек к вам на эти дни, вероятно, приедет, а Жоня только что была, то, значит, это будет Лида. Если это умозаключенье правильно, то — целую тебя, Лидок.

Простите за торопливое письмо, дальше будут еще более торопливые.

Ваш Боря

Впервые: Письма к родителям и сестрам. — Автограф (Pasternak Trust, Oxford).

1 Сестры Высоцкие — Ребекка (Бебё) и Рашель (Решка).

2 Дурылин первый раз был арестован в 1922 пив 1924-м был сослан в Челябинск; после второго ареста в 1927 г. выслан в Новосибирск, переведен в Томск, затем в Киржач. Вернулся в Москву в 1933 г. Л. О. Пастернак отозвался на рассказ о Дурылине: «Конечно, очень хорошо его помню! <...> Помню его, когда он бывал у нас и к тебе приходил: очень милый, душевный, кроткий. <...> Когда-то Сережа писал о Франциске Ассизском — вот была живая натура, с которой можно было писать Франциска!» (там же. Кн. П. С. 118).

3 Работа С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гёте в Веймаре» была напечатана в ЛН. Т. 4-6,1932.

4 «Какая, верно, интересная будет работа Сережи о Толстом и художниках, — отвечал Л. О. Пастернак, — как много мог бы я поделиться с ним <...> А насчет Толстого моего в елочках в Астапове — он должен быть в Московском Толстовском музее. И картина моя и непосредственный эскиз к ней с натуры (когда я с тобою был в Астапове — помнишь?) <...> Насчет Ольдриджа. Конечно, существует такой мой рисунок. <...> Насколько помнится, я его предоставил, кажется какому-то сборнику в пользу раненых...» (там же). Имеются в виду пастель «Толстой на смертном одре», 1910 (Толстовский музей) и рисунок «Олдридж и Шевченко», 1915 (Музей Тараса Шевченко в Киеве), публиковавшийся в сб. «Клич» (М., 1915) и журн. «Рампа и жизнь» (1915, № 12). Книга С. Н. Дурылина «Айра Олдридж» вышла в 1940 г. в изд. «Искусство», там помещен рисунок Л. О. Пастернака. (Айра Олдридж — знаменитый английский актер (негр), неоднократно приезжавший с гастролями в Россию.)

5 Речь идет о письме №715. «...Что лично до меня и мамы, то мы были счастливы, прочитав из твоего письма, что ты нашел ее стихи достаточными твоей похвалы», — писал отец 8 янв. 1935 (там же. С. 117).

6 Отношение к монографии отца (Max Osborn. Leonid Pasternak. 1932) сильно изменилось со времени ее первого просмотра в 1932 г. (см. письмо №644).

СОДЕРЖАНИЕ

346. О. Д. ФОРШ 1 февраля 1927.....7
347. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 3 февраля 1927.....8
348. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 9 февраля 1927.....11
349. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 22 февраля 1927.....12
350. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 12 апреля 1927..... 16
351. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 29 апреля 1927.....19
352. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 3мая 1927.....21
353. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 6мая 1927.....26
354. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 7мая 1927.....28
355. Д. П. СВЯТОПОЛКУ-МИРСКОМУ 10 мая 1927.....28
356. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 17мая 1927.....31
357. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 20мая 1927.....34
358. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 27мая 1927.....37
359. В. П. ПОЛОНСКОМУ 1 июня 1927.....40
360. М. А. ФРОМАНУ 17 июня 1927.....42
361. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 19 июня 1927.....46
362. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 24 июня 1927.....51
363. Г. НЕРАДОВУ 25 июня 1927.....54
364. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 13 июля 1927.....56
365. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 17 июля 1927.....58
366. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 26 июля 1927.....60
367. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 26-27 июля 1927.....62

368. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 7-8 августа 1927.....66
369. С. А. ОБРАДОВИЧУ 29 августа 1927.....71
370. РОДИТЕЛЯМ 7-17 сентября 1927.....74
371. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 8 сентября 1927.....77
372. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 18 сентября 1927.....79
373. В. П. ПОЛОНСКОМУ 19 сентября 1927.....82
374. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 30 сентября 1927.....83
375. РОДИТЕЛЯМ 30 сентября 1927.....85
376. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 2 октября 1927.....88
377. Ф. К. ПАСТЕРНАКУ 3 октября 1927.....90
378. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 3 октября 1927.....91
379. А. М. ГОРЬКОМУ 10 октября 1927.....93
380. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 13 октября 1927.....95
381. А. М. ГОРЬКОМУ 13 октября 1927.....97
382. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 15 октября 1927.....99
383. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 16 октября 1927..... 102
384. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 21 октября 1927..... 105
385. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 24 октября 1927..... 107
386. А. М. ГОРЬКОМУ 25 октября 1927..... 109
387. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 26 октября 1927..... 111
388. А. М. ГОРЬКОМУ 27октября 1927..... 112
389. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 28-29 октября 1927..... 117
390. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 28 октября 1927..... 118
391. П. П. СУВЧИНСКОМУ 31 октября 1927..... 120
392. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 12 ноября 1927..... 122
393. А. М. ГОРЬКОМУ 15 ноября 1927..... 127
394. Ф. К. и Ж. Л. ПАСТЕРНАКАМ 18 ноября 1927..... 129
395. А. М. ГОРЬКОМУ 23 ноября 1927..... 130
396. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 27ноября -3 декабря 1927..... 133
397. РОДИТЕЛЯМ 19 декабря 1927..... 137
398. А. М. ГОРЬКОМУ 21 декабря 1927..... 138
399. Н. Н. АСЕЕВУ 21 декабря 1927..... 140
400. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 1 января 1928..... 142
401. С. Я. ЭФРОНУ Начало января 1928..... 144
402. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 3 января 1928..... 146
403. С. Д. СПАССКОМУ 3 января 1928..... 148
404. А. М. ГОРЬКОМУ 4января 1928..... 152
405. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 5января 1928..... 152
406. А. М. ГОРЬКОМУ 7января 1928..... 162
407. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 10января 1928..... 165
408. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 12-15января 1928..... 168
409. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 19 января 1928..... 171
410. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 23 января 1928..... 172
411. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 14-18 февраля 1928..... 175
412. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ Февраль 1928..... 177
413. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 25 февраля 1928..... 179
414. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 28 февраля 1928..... 182
415. П. Д. ЭТТИНГЕРУ 1 марта 1928..... 184
416. С. Я. ЭФРОНУ 6марта 1928..... 185
417. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 10марта 1928..... 187

418. В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДУ 26марта 1928..... 188
419. Н. К. ЧУКОВСКОМУ 29 марта 1928..... 192
420. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 31 марта 1928..... 193
421. А. М. ГОРЬКОМУ Первые числа апреля 1928..... 196
422. В. В. МАЯКОВСКОМУ 4 апреля 1928..... 198
423. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 5 апреля 1928..... 199
424. Р. И. ПАСТЕРНАК 6 апреля 1928.....200
425. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ И апреля 1928.....202
426. В. Н. ОРЛОВУ 21 апреля 1928.....204
427. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 24-26 апреля 1928.....205
428. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ 10-20мая 1928.....206
429. Л. О., Р. И. и Л. Л. ПАСТЕРНАКАМ 21 мая 1928.....210
430. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 21 мая 1928.....213
431. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 28мая-7июня 1928.....215
432. А. М. ГОРЬКОМУ 30мая 1928.....220
433. Е. П. ПЕШКОВОЙ 1 июня 1928 221
434. Е. В. ПАСТЕРНАК 13 июня 1928.....222
435. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 15 июня 1928.....224
436. Е. В. ПАСТЕРНАК 17 июня 1928.....226
437. Е. В. ПАСТЕРНАК 19 июня 1928.....228
438. Е. В. ПАСТЕРНАК 20 июня 1928.....232
439. Е. В. ПАСТЕРНАК 23 июня 1928 233
440. Е. В. ПАСТЕРНАК 25 июня 1928.....234
441. М. А. ФРОМАНУ 26 июня 1928.....236
442. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 29 июня 1928..... 237
443. Е. В. ПАСТЕРНАК 6 июля 1928.....241
444. Е. В. ПАСТЕРНАК 7 июля 1928.....242
445. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 7июля 1928..... 243
446. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 9 июля 1928.....245
447. Е. В. ПАСТЕРНАК 13-14 июля 1928.....246
448. С. Я. ЭФРОНУ 20 июля 1928.....247
449. К. А. и В. П. ПОЛОНСКИМ 24-25 июля 1928.....248
450. И. Н. и А. Л. ПАСТЕРНАКАМ 29 июля 1928.....249
451. Н. И. ЗАМОШКИНУ 24 августа 1928 250
452. Р. И. ПАСТЕРНАК 24 августа 1928.....252
453. А. Л. ПАСТЕРНАКУ 28 августа 1928.....253
454. К. А. ФЕДИНУ 9 сентября 1928.....254
455. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ 24 сентября 1928.....256
456. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 7 октября 1928 257
457. А. БЕЛОМУ 30-31 октября 1928.....259
458. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 14-19 ноября 1928.....260
459. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 16 ноября 1928.....263
460. Н. С. ТИХОНОВУ 19 ноября 1928.....266
461. К. А. ФЕДИНУ 6 декабря 1928.....267
462. Р. И., Л. О. и Л. Л. ПАСТЕРНАКАМ И декабря 1928.....271
463. С. Д. СПАССКОМУ 22 декабря 1928.....272
464. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 27 декабря 1928.....274
465. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 3 января 1929.....275
466. В. А. СИЛЛОВУ 4 января 1929 278
467. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 10 января 1929.....280

468. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 16 января 1929 280
469. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 25января 1929.....283
470. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 28января 1929.....285
471. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 30января 1929.....287
472. А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 8 февраля 1929.....288
473. П. Н. МЕДВЕДЕВУ И февраля 1929 289
474. Я. 3. ЧЕРНЯКУ 17 февраля 1929.....290
475. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 23 февраля 1929.....291
476. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 28 февраля 1929.....292
477. Л. О., Р. И. и Л. Л. ПАСТЕРНАКАМ Конец февраля 1929.....293
478. П. Н. ЗАЙЦЕВУ 4 марта 1929.....295
479.0. Э. ОЗАРОВСКОЙ 4 марта 1929.....295
480. РОДИТЕЛЯМ 5-6 марта 1929.....297
481. А. А. АХМАТОВОЙ 6 марта 1929.....300
482. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 15 марта 1929.....302
483. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 26марта 1929.....303
484. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 3 апреля 1929..... 304
485. А. А. АХМАТОВОЙ 6 апреля 1929.....305
486. А. А. АХМАТОВОЙ 10 апреля 1929.....307
487. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 23 апреля 1929.....308
488. Е. В. ПАСТЕРНАК 30 апреля 1929.....309
489. В. С. ПОЗНЕРУ 1мая 1929.....310
490. РОДИТЕЛЯМ Змая 1929.....312
491. Е. В. ПАСТЕРНАК 5-6 мая 1929.....314
492. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 12 мая 1929.....315
493. Е. В. ПАСТЕРНАК 12 мая 1929.....322
494. В. С. ПОЗНЕРУ 13 мая 1929.....324
495. А. Е. КРУЧЕНЫХ 14 мая 1929.....327
496. Е. В. ПАСТЕРНАК 17 мая 1929.....327
497. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 30 мая 1929..... 329
498. РОДИТЕЛЯМ 31 мая 1929.....331
499. Н. С. ТИХОНОВУ 31 мая 1929 333
500. Н. С. ТИХОНОВУ 14 июня 1929.....333
501. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 14 июня 1929.....336
502. РОДИТЕЛЯМ 30 июня 1929.....338
503. А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 9 июля 1929.....339
504. Е. В. ПАСТЕРНАК И июля 1929.....341
505. РОДИТЕЛЯМ 15 июля 1929.....342
506. И. М. НАППЕЛЬБАУМ 23 июля 1929.....345
507. В. М. САЯНОВУ 5 августа 1929.....346
508. Е. И. ЗАМЯТИНУ 9 августа 1929.....347
509. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 20 августа 1929 349
510. Ж. Л., Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАКАМ Начало сентября 1929... 351
511. РОДИТЕЛЯМ Середина октября 1929..... 354
512. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 6 ноября 1929..... 355
513. С. Н. ДУРЫЛИНУ 7ноября 1929 357
514. В. С. ПОЗНЕРУ Ноябрь 1929..... 359
515. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 28 ноября 1929..... 362
516. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 1 декабря 1929.....365
517. РОДИТЕЛЯМ 2-3 декабря 1929 368

518. Д. П. СВЯТОПОЛКУ-МИРСКОМУ 4 декабря 1929 371
519. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 4 декабря 1929 373
520. Н. С. ТИХОНОВУ 5 декабря 1929.....376
521. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 5 декабря 1929 378
522. И. С. ПОСТУПАЛЬСКОМУ 9 декабря 1929 378
523. Ф. И. ВИТЯЗЕВУ 1929.....380
524. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 24 декабря 1929 381
525. П. Н. МЕДВЕДЕВУ 30 декабря 1929.....383
526. В. И. ЭРЛИХУ 9января 1930 388
527. Л. Л. ПАСТЕРНАК 9 января 1930..... 390
528. РОДИТЕЛЯМ 10января 1930.....391
529 Р. РОЛЛАНУ 10 января 1930..... 393
530. РОДИТЕЛЯМ Середина января 1930.....394
531. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 19 января 1930.....395
532. С. Я. ЭФРОНУ 20 января 1930 399
533. Н. Н. ИЛЬИНУ Конец января - 14 февраля 1930.....402
534. С. Н. ДУРЫЛИНУ 24 февраля 1930.....403
535. Ж. Л. и Л. Л. ПАСТЕРНАК 26 февраля 1930.....405
536. В. М. САЯНОВУ 27 февраля 1930.....406
537. Р. И. ПАСТЕРНАК 6марта 1930.....408
538. Ж. Л. и Л. Л. ПАСТЕРНАК И марта 1930.....410
539. Н. К. ЧУКОВСКОМУ 17марта 1930.....410
540. Ж. Л. и Ф. К. ПАСТЕРНАКАМ 22 марта 1930.....413
541. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 26марта 1930.....414
542. Р. И. ПАСТЕРНАК 9 апреля 1930.....417
543. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ После 14 апреля 1930.....419
544. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 18 апреля 1930.....419
545. В. М. САЯНОВУ 15мая 1930.....421
546. Н. Н. ИЛЬИНУ 18мая 1930.....422
547. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ Май 1930.....422
548. Р. И. ПАСТЕРНАК 20-е числимая 1930.....424
549. А. М. ГОРЬКОМУ 31 мая 1930.....426
550. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 3 июня 1930.....429
551. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ 11 июня 1930.....430
552. Р. И. ПАСТЕРНАК 12 июня 1930 431
553. Л. Л. ПАСТЕРНАК 20 июня 1930.....432
554. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 20 июня 1930.....434
555. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 15 июля 1930.....436
556. М. А. ФРОМАНУ 17 июля 1930.....438
557. Р. РОЛЛАНУ 18 июля 1930.....439
558. РОДИТЕЛЯМ 26 июля 1930.....442
559. Я. З. ЧЕРНЯКУ 20 августа 1930.....444
560. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 21 августа 1930.....445
561. РОДИТЕЛЯМ И сентября 1930.....447
562. Р. РОЛЛАНУ 18 сентября 1930.....448
563. С. Д. СПАССКОМУ 29 сентября 1930..... 450
564. В. П. и К. А. ПОЛОНСКИМ 7октября 1930.....453
565. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 9 октября - 4 ноября 1930.....455
566. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 12 октября 1930.....456
567. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 28 октября 1930.....457

568. РОДИТЕЛЯМ 5 ноября 1930.....459
569. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 5 ноября 1930.....461
570. А. Е. КРУЧЕНЫХ 8 ноября 1930.....462
571. Р. РОЛЛАНУ 10 ноября 1930.....463
572. А. БЕЛОМУ 12 ноября 1930.....465
573. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 12 ноября 1930.....467
574. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 3 декабря 1930.....468
575. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ 5 декабря 1930.....471
576. З. Н. НЕЙГАУЗ 26 декабря 1930.....473
577. З. Н. НЕЙГАУЗ 15 января 1931.....476
578. С. Д. СПАССКОМУ 15 февраля 1931.....477
579. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 5 марта 1931.....478
580. К. Л. ЗЕЛИНСКОМУ 8 марта 1931.....481
581. РОДИТЕЛЯМ 8-23 марта 1931.....481
582. И. А. ГРУЗДЕВУ 21 марта 1931.....484
583. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 23марта 1931.....485
584. Дж. РИВИ 28 марта 1931.....488
585. Н. Н. ИЛЬИНУ 30марта 1931.....490
586. С. Н. ДУРЫЛИНУ 5 апреля 1931.....491
587. И. А. БЕЛИКОВУ 6 апреля 1931.....491
588. И. А. ГРУЗДЕВУ 9 апреля 1931.....492
589. З. Н. НЕЙГАУЗ 10-е числа апреля 1931.....492
590. З. Н. НЕЙГАУЗ 30 апреля 1931.....493
591. Е. В. ПАСТЕРНАК 6мая 1931.....495
592. З. Н. НЕЙГАУЗ Начало мая 1931.....496
593. З. Н. НЕЙГАУЗ 11 мая 1931.....497
594. З. Н. НЕЙГАУЗ 12 мая 1931.....498
595. З. Н. НЕЙГАУЗ 14мая 1931.....
596. З. Н. НЕЙГАУЗ 15 мая 1931.....
597. Е. В. ПАСТЕРНАК 15 мая 1931.....
598. З. Н. НЕЙГАУЗ 17мая 1931.....
599. П. П. КРЮЧКОВУ 20-е числа мая 1931.....
600. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ 25 мая 1931.....
601. З. Н. НЕЙГАУЗ 28мая 1931.....
602. С. Н. ДУРЫЛИНУ 28 мая 1931.....
603. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 28мая 1931.....
604. З. Н. НЕЙГАУЗ 29 мая 1931.....
605. З. Н. НЕЙГАУЗ 1-2 июня 1931.....
606. З. Н. НЕЙГАУЗ 9 июня 1931.....
607. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 10-17 июня 1931.....
608. З. Н. НЕЙГАУЗ 13 июня 1931.....
609. З. Н. НЕЙГАУЗ 14 июня 1931.....
610. З. Н. НЕЙГАУЗ 18 июня 1931.....
611. П. П. КРЮЧКОВУ 21 июня 1931.....
612. И. А. ГРУЗДЕВУ 25 июня 1931.....
613. З. Н. НЕЙГАУЗ 26 июня 1931.....
614. З. Н. НЕЙГАУЗ 28 июня 1931.....
615. П. П. КРЮЧКОВУ 14 июля 1931.....
616. Н. И. АНОВУ 29 июля 1931.....
617. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 30 июля - 6 августа 1931

618. К. А. и В. П. ПОЛОНСКИМ 6 августа 1931
619. С. М. АЛЯНСКОМУ 12 августа 1931.....
620. Е. В. и Ж. Л. ПАСТЕРНАК 19 сентября 1931
621. С. А. АСИЛОВУ 15 октября 1931.....
622. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 20 октября 1931
623. П. П. КРЮЧКОВУ 21 октября 1931.....
624. С. М. АЛЯНСКОМУ 22 октября 1931.....
625. С. М. АЛЯНСКОМУ 29 октября 1931.....
626. Е. В. ПАСТЕРНАК 2 ноября 1931.....
627. Е. В. ПАСТЕРНАК 16 ноября 1931.....
628. Е. В. ПАСТЕРНАК 27ноября 1931.....
629. Е. В. ПАСТЕРНАК Начало декабря 1931
630. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 11-27 февраля 1932
631. С. М. АЛЯНСКОМУ 16 февраля 1932.....
632. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 10 апреля 1932.....
633. РОДИТЕЛЯМ 10-е числа апреля 1932.....
634. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 24 мая 1932.....
635. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 27мая 1932.....
636. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ 1 июня 1932.....
637. Н. Н. АСЕЕВУ 1 июня 1932.....
638. Л. Л. ПАСТЕРНАК 1-11 июня 1932.....
639. Е. В. ПАСТЕРНАК 7 июля 1932.....606
640. И. В. ЕВДОКИМОВУ 10 июля 1932.....609
641. П. ЯШВИЛИ 30 июля 1932.....611
642. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ 4 августа 1932.....614
643. Е. Б. ПАСТЕРНАКУ Середина августа 1932.....616
644. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 18 октября 1932.....617
645. Н. Н. ПУНИНУ и А. А. АХМАТОВОЙ 19 октября 1932.....622
646. Г. Н. ПОПОВУ 22 октября 1932.....623
647. РОДИТЕЛЯМ 20-е числа октября 1932.....624
648. Г. Э. СОРОКИНУ 10 ноября 1932.....627
649. Дж. РИВИ 20 ноября 1932.....628
650. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 22 ноября 1932.....630
651. РОДИТЕЛЯМ 24 ноября 1932.....633
652. З. А. НИКИТИНОЙ 3 декабря 1932.....638
653. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 27декабря 1932.....639
654. З. А. НИКИТИНОЙ 27 декабря 1932.....643
655. С. П. БОБРОВУ Зима 1932-1933.....645
656. Дж. РИВИ 2 января 1933.....646
657. РОДИТЕЛЯМ 4 января 1933.....647
658. А. БЕЛОМУ 15 января 1933.....648
659. Г. Э. СОРОКИНУ 16 января 1933.....649
660. Г. Э. СОРОКИНУ 30января 1933.....651
661. К. А. ФЕДИНУ 12 февраля 1933.....652
662. Н. А. КЛЮЕВУ 12 февраля 1933.....653
663. Г. Э. СОРОКИНУ 18 февраля 1933.....654
664. А. М. ГОРЬКОМУ 4марта 1933.....655
665. РОДИТЕЛЯМ 5марта 1933..... 657
666. Дж. РИВИ 6марта 1933.....659
667. Г. Э. СОРОКИНУ 14марта 1933.....660

668. Г. Э. СОРОКИНУ 21 апреля 1933.....661
669. С. Н. ДУРЫЛИНУ 25 апреля 1933.....663
670. С. Д. И С. Г. СПАССКИМ 30 апреля 1933.....664
671. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 8-14 мая 1933.....666
672. Г. Э. СОРОКИНУ 17мая 1933.....668
673. РОДИТЕЛЯМ 4-6 августа 1933.....670
674. З. А. НИКИТИНОЙ 10 августа 1933.....675
675. Л. О. ПАСТЕРНАКУ Начало октября 1933.....676
676. Т. ТАБИДЗЕ 12 октября 1933.....678
677. Б. ЖГЕНТИ 16 октября 1933.....680
678. О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ 18 октября 1933 681
679. Т. ТАБИДЗЕ 23 октября 1933.....684
680. Г. Э. СОРОКИНУ 5 ноября 1933.....686
681. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 12 ноября 1933.....688
682. З. Н. ПАСТЕРНАК 14 ноября 1933.....689
683. З. Н. ПАСТЕРНАК 17ноября 1933.....690
684. З. Н. ПАСТЕРНАК 21 ноября 1933.....691
685. Ю. С. ГОЛЬЦЕВОЙ 21-23 ноября 1933.....692
686. З. Н. ПАСТЕРНАК 23 ноября 1933.....693
687. З. Н. ПАСТЕРНАК 25 ноября 1933.....693
688. Т. ТАБИДЗЕ 6 декабря 1933.....694
689. Л. О. ПАСТЕРНАКУ 8 декабря 1933.....698
690. Н. С. ТИХОНОВУ 4 января 1934.....702
691. Г. Э. СОРОКИНУ 4 января 1934.....704
692. Г. В. БЕБУТОВУ 5января 1934.....706
693. Г. Э. СОРОКИНУ И февраля 1934.....707
694. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 12 февраля 1934..... 709
695. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 13 февраля 1934.....710
696. П. ФОЛЯНУ 14 февраля 1934.....711
697. РОДИТЕЛЯМ 27 февраля 1934.....714
698. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 16 марта 1934.....717
699. Е. В. ПАСТЕРНАК 11 июня 1934.....718
700. РОДИТЕЛЯМ 23 июня 1934.....719
701. В. ГАПРИНДАШВИЛИ 2 июля 1934..... 722
702. В. В. ГОЛЬЦЕВУ 16 июля 1934.....723
703. В. В. ГОЛЬЦЕВУ 24-26 июля 1934 724
704. Е. В. ПАСТЕРНАК 6 августа 1934.....726
705. З. Н. ПАСТЕРНАК 22 августа 1934.....727
706. Г. А. САННИКОВУ 1934.....729
707. РОДИТЕЛЯМ 3 сентября 1934 729
708. В. В. ГОЛЬЦЕВУ 8 сентября 1934.....730
709. С. Д. СПАССКОМУ 27 сентября 1934.....732
710. Г. В. БЕБУТОВУ 2 октября 1934.....734
711. РОДИТЕЛЯМ 2 октября 1934.....735
712. Р. Н. ЛОМОНОСОВОЙ 24 октября 1934.....739
713. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 5-24 октября 1934.....742
714. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 7 ноября 1934.....747
715. Ж. Л. ПАСТЕРНАК 27 ноября -12 декабря 1934 750
716. Н. и Т. ТАБИДЗЕ 8 декабря 1934.....753
717. Н. ТАБИДЗЕ 14 декабря 1934.....755

718. РОДИТЕЛЯМ 25 декабря 1934.....756

Пастернак Б. Л.

П 19 Полное собрание сочинений [Текст]: в 11 т. Т. VIII. Письма 1927—1934 / Борис Пастернак; сост., коммент. Е. В. Пастернак и М. А. Рашковской. — М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. — 768 с. - ISBN 5-85050-688-8 (в пер.)

В томе представлены письма, написанные в период с 1927 по 1934 г., продолжающие дружеские отношения с М. И. Цветаевой, в частности, отражающие конфликт Пастернака с М. Горьким по поводу «помощи» Цветаевой. В центре тома — драматическая коллизия расставания с первой семьей из-за пробудившегося чувства к З. Н. Нейгауз. В эти годы завязывается дружба Пастернака с грузинскими поэтами и начинается работа над переводами.

Впервые публикуемые письма П. П. Крючкову, В. В. Гольцеву, К. Л. Зелинскому, Н. Н. Анову, С. М. Алянскому рисуют картину дружеских и деловых отношений наиболее активного в общественном плане периода жизни Пастернака.

УДК 821.161.1 ББК84 (2Рос-Рус) 6-5

Борис Леонидович Пастернак ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Том VIII

Редактор Т. Н. Беднякова Художник К. Е. Журавлев Технический редактор Л. А. Комарова Верстка Н. Ю. Пекиной Корректор С. В. Щербин

Подписано в печать 14.04.05. Формат 60X90/16

Бумага писчая. Печать офсетная

Гарнитура Newton

Усл. печ. л. 42,50. Уч.-изд. л. 36,57

Тираж 5000 экз. Заказ № 0509290.

Издательство СЛОВО/SLOVO 109147, Москва, Воронцовская ул., 41

Отпечатано

в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



ISBN 5-85050-688-8

9785850506889